

ВИАЛЬ МИПАТОВ

*Вилле
Липатов*

ЧЕРНЫЙ ЯР

СКАЗАНИЕ
О ДИРЕКТОРЕ
ПРОНЧАТОВЕ

И ЭТО ВСЕ О НЕМ...





Виктор
Липатов

ЧЕРНЫЙ ЯР



СКАЗАНИЕ

О ДИРЕКТОРЕ

ПРОНЧАТОВЕ



И ЭТО ВСЕ О НЕМ...



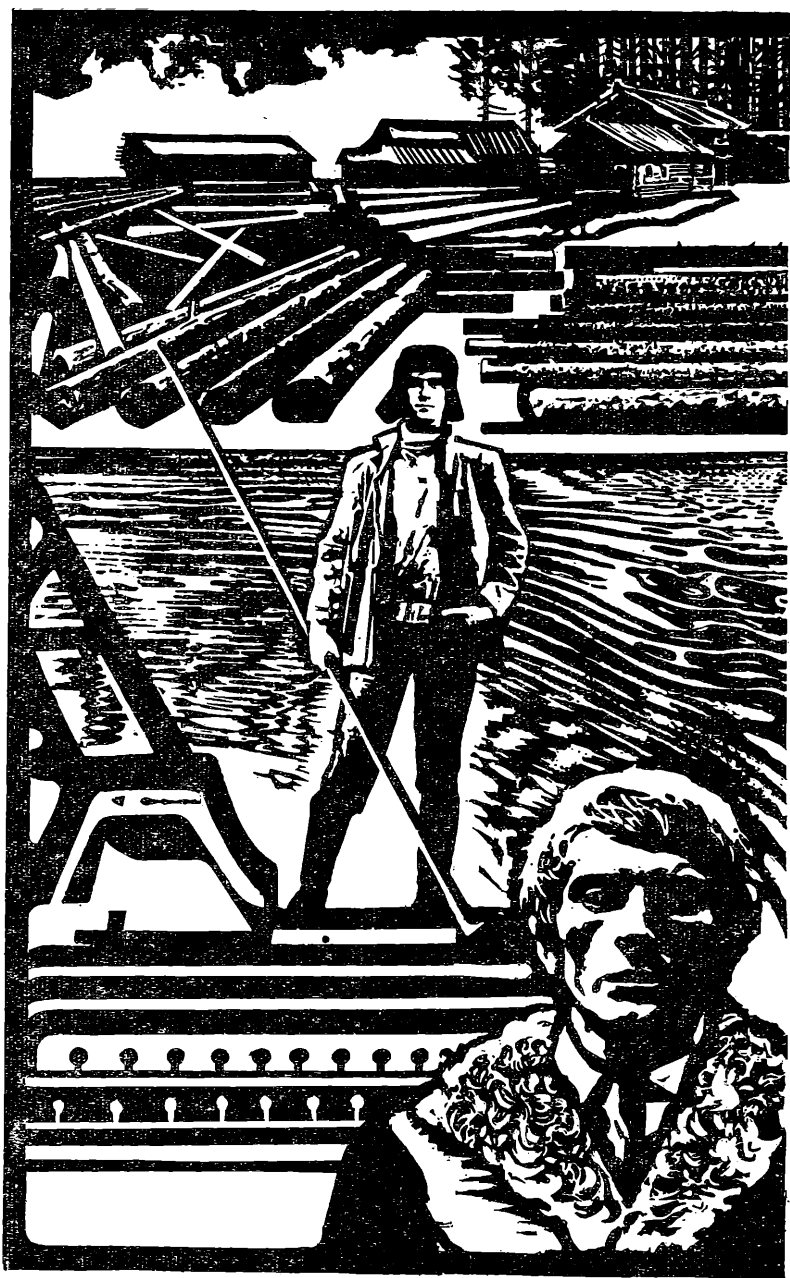
Москва
Советский писатель
1977

Имя Виля Липатова хорошо известно каждому читающему человеку. Не было года, когда Виль Липатов не порадовал бы читателя новой книгой, талантливой, заставляющей думать, спорить. От сельского милиционера, широкой и мудрой души человека, до делового, распорядительного, но слишком горячего и бескомпромиссного директора лесосплава Прончатова полюбились читателям герои повестей В. Липатова.

В настоящий однотомник вошли уже издававшиеся ранее повести «Черный Яр», «Сказание о директоре Прончатове» и роман «И это все о нем...».

ЧЕРНЫЙ ЯР

ПОВЕСТЬ





ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Раздается сухой треск.

Максим Ковалев удивленно смотрит на новые брюки, которые он натягивает, понимает, что случилось, и падает на стул. Несколько мгновений он ошеломленно молчит, потом неуверенно, как бы пробуя, всхлывает. Затем Максим начинает хохотать громко, неистово.

Он сгибается в три погибели, раскачивается, трясет скрипучий стул. Смех у него басовитый, захлебывающийся. Остановившись, он вновь набирает в грудь воздух, хохочет еще сильнее.

— Кон-ча-юсь! — по слогам произносит Максим, сползая со стула на пол. — Ой-ой! Умираю!

— Что здесь происходит, Максим?

В дверях комнаты стоит мать Максима Татьяна Егоровна. Она в домашнем халате, высокая, тонкая, с густыми волосами, собранными в большой пук на затылке.

— Что здесь происходит, Максим? — повторяет Татьяна Егоровна, проходя в комнату. — Ты можешь объяснить, что происходит?

— Самоубийство! — перевертываясь на спину, отвечает Максим. — Моя молодая жизнь висит на волоске! — И опять навзрыд хохочет.

— Тебе дать воды, — не то спрашивает, не то решает Татьяна Егоровна. — Похолоднее!

— Не надо! — заливается Максим. — Воды — не надо!

Он поднимает голову, и Татьяна Егоровна видит его сумасшедшие от смеха глаза.

— Вода мне не нужна! — икая, хохочет Максим. — Мне надо другое... Ох, умру!.. Мне надо зашивать штаны!

— Штаны! — удивляется Татьяна Егоровна. — Какие штаны?

— Которые на мне...

Татьяна Егоровна подходит к сыну и внимательно разглядывает брюки.

Это хорошие брюки — черные, из блестящего материала, без манжет. Отличные брюки, но на мускулистых ногах Максима они лопнули по шву.

— Лопнули! — опять хохочет Максим. — Не выдержали!

— По шву! — подтверждает Татьяна Егоровна.

После этого она возвращается на свое место, садится, кладет руки на колени и усмехается:

— Придется надеть другие!.. Максим! Довольно, пожалуй...

— Довольно! — соглашается он, поднимаясь с пола и вытягиваясь во весь рост.

Он — высокий, плечистый, сильный. И очень похож на Татьяну Егоровну — такие же серые глаза, как у нее, такой же прямой нос и такие же тяжелые губы. Только у Максима все молодо — кожа не бледная, а румяная, волосы черные, а не седые. Но одно у них совершенно одинаково — выражение лица. И у матери и у сына лица насмешливые, чуточку иронические, с морщинками возле глаз. Кажется, что Татьяна Егоровна и Максим знают о чем-то смешном, курьезном, но не хотят сейчас об этом говорить.

— Зашить нельзя? — вздрагивающим голосом спрашивает Максим.

— Не так просто! — качает головой Татьяна Егоровна. — Ты торопишься? — спрашивает она.

— Донельзя! — отвечает он. — Я сегодня приглашен на торжественный вечер, который имеет быть у технорука Егорова!

— Вот как!.. Придется надеть другие брюки! — после недолгого раздумья решает Татьяна Егоровна и поднимается. — Чтобы быть красивым, надо страдать!.. — смеясь, продолжает она. — В каком часу это самое... имеет быть?

— Через пять минут!

Они стоят рядом — мать и сын; молчат, улыбаются друг другу.

— Придется надеть другие брюки! — повторяет Татьяна

Егоровна. — Торопись, Максим! Опаздывать не следует, коли принял приглашение... Коричневые брюки в комод... А я догляжу рубашку!

Татьяна Егоровна уходит в кухню, а когда возвращается, то видит, что Максим, критически поджав тяжелые губы, рассматривает коричневые брюки, натянутые на ноги. Он подмигивает сам себе.

— Рубашка готова! — говорит Татьяна Егоровна.

В костюме Максим кажется выше ростом и шире в плечах, стройнее.

— А ну повернись-ка, сынку! — весело просит Татьяна Егоровна.

Максим поворачивается на каблуке.

— Пройдись независимой, светской походкой! — требует мать.

Вздернув голову, прищурившись, помахивая рукой так, словно в ней зажата белая перчатка, Максим проходит по комнате. Вид у него такой, как будто Максим сию минуту заговорит на французском.

— Мой дхуг Бохис Ехехов, судахыня, — грассируя, производит Максим, — будет хассехжен, если я опоздаю!

— Можете идти, сударь! — серьезно отвечает Татьяна Егоровна. — Вы меня вполне устраиваете!

Улыбаясь, Максим подходит к матери. Обнимает ее за плечи, наклонившись — он на голову выше ее, — целует в щеку.

— Иди, Максимка! — легко вздохнув, говорит Татьяна Егоровна. — Я оставляю тебе холодное молоко, хлеб и сахар. Вернешься, поешь!

Он отпускает ее, но отходит не сразу — еще несколько мгновений стоит рядом, задумчиво улыбаясь; она тоже стоит неподвижно, тоже смотрит на него, немного закинув голову, похожие, с одинаковым выражением лица.

— Будь великодушен, Максим! — с усмешкой говорит Татьяна Егоровна. — Великодушие — признак... — она не говорит, какой это признак, а машет рукой. — Держи себя на уровне!

— Мама! — торжественно поднимает руку Максим. — Даю тебе честное пионерское, что не буду выколачивать из Егорова чуждый дух.

Затем Максим решительно проходит в маленькую прихожую, надевает пальто с каракулевым воротником, мохнатую шапку, кашне. Мать провожает его до дверей.

— До свидания, мама!

— Счастливо, Максим!

Он уходит.

Татьяна Егоровна еще немного стоит у дверей, потом возвращается в комнату, садится на привычное место. Она складывает руки на коленях, задумывается. По комнате идет серый кот, вытянув трубой хвост, останавливается, смотрит на Татьяну Егоровну.

Собрав тело в комок, кот прыгает к ней на колени. Татьяна Егоровна прижимает его к себе, гладит. Кот вытягивается и блаженно закрывает глаза.

— Эх, Фомка, Фомка! — укоризненно говорит она. — Не понимаешь ты, Фомка, что наш Максим стал совсем взрослым! Нет, не понимаешь ты этого!

2

Над Черным Яром стынет синяя, пробитая остриями звезд, холодная ночь.

Черный Яр — это маленькая деревня, вытянувшаяся по берегу Оби. Десятка три маленьких старых домов, почерневший от непогоды клуб, новое здание конторы сплавного участка, высокий корпус механических мастерских — вот и весь Черный Яр. Зимой деревня тонет в снегу, весной ее затапливает непролазная грязь, летом Черный Яр зарастает яркой молодой травой.

В девятом часу вечера, в апреле, черноярцы топят печи. Из коротких труб валит густой дым, в безветрии прямыми столбами поднимается вверх, и потому кажется, что деревня похожа на многотрубный пароход. Словно развел он пары, прошуровал топки, зажег сигнальные огни домов, но сдвинуться с места не может. То ли сил нет, то ли некуда плыть многотрубному пароходу — Черному Яру.

В апреле, в девятом часу вечера, Черный Яр безлюден. Никто не бегаёт, не суетится по улицам-палубам, никто не бежит к сирене, чтобы, нажав ее, огласить окрестность гулом отходного гудка. Пароход Черный Яр стоит, причалив к берегу, так как зимой пустынна и мертва Обь. Черный Яр живет тихо, дремотно, лениво. Только весной оживут улицы, загремят погрузочные лебедки, пришвартуются к берегу пузатые баржи. Вот тогда и двинется в путь Черный Яр.

А сейчас, в апреле, улицы дремотны, безлюдны — пробежит закоченевшая собака, лениво твякнув на луну, скроется в ограде; пройдет торопливо женщина, тоже скроется; прошагает, хрустя льдинками, одинокий парень, нырнет в клуб. И снова стоит звонкая, отчетливая тишина. В безмолвии дымят трубы.

Максим Ковалев торопливо шагает по улице. Снег и лед хрустят под кожаными подошвами туфель, звук в тишине раздается отчетливо, сильно, словно не человек идет черноярской улицей, а лязгает железом гусеничный трактор. Прошагав всю длинную пустынную улицу, Максим подходит к дому технорука сплавного участка Бориса Егорова. Прежде чем подняться на крыльцо, он опускает воротник пальто, вынимает руки из карманов, приосанивается, затем, постукав ногой об ногу, чтобы с туфель отскочил снег и лед, поднимается по скрипучим сту-

пеньям. Он не громко, но твердо стучит в дверь, из-за которой доносится музыка.

— Максим! Наконец-то! — говорит Борис Егоров.

Максим входит в маленькую прихожую, в дверях которой, встречая Максима, стоят две нарядные и красивые девушки.

— Добрый вечер! — здоровается Максим.

Сняв пальто, он аккуратно его вешает, приглаживает пальцами волосы, поправляет галстук и манжеты рубашки.

— Я готов! — весело восклицает Максим и неторопливо, свободно размахивая руками, мягко погружая ноги в небольшой ковер, проходит в комнату.

— Сюда, Максим! — приглашает Борис Егоров, показывая на низенькое кресло с пологой спинкой.

— Спасибо!

Максим внимательно оглядывает комнату. Она обставлена современно — есть полированный сервант, два цветных торшера, стеллаж с книгами, полочка, на которой стоят две статуэтки: одна изображает Прометея, прикованного к скале, вторая — обнаженную женщину. На окнах висят прозрачные занавеси. «Уютно!» — решает Максим и переводит взгляд на хозяйина и гостей — двух красивых девушек.

Он, конечно, хорошо знает этих девушек, так как в Черном Яре все жители знают друг друга. Вот и Максим Ковалев знает гостей у Егорова девушек, а одну из них — Валентину Батаногову — знает особенно хорошо. Она работает мастером погрубочных лебедек, а он, Максим Ковалев, начальником рейда Черноярского сплавного участка. Таким образом, Максим — прямое начальство Валентины Батаноговой. А вот Борис Егоров — прямое начальство и Максима и Валентины Батаноговой; он технорук участка.

— Будем пить вино! — не то спрашивает, не то решает Борис Егоров.

Поднявшись с низенького стула, он медленно подходит к полированному столику, на котором бутылки с кагором и коньяком, конфеты и нарезанный тонкими ломтиками лимон.

— Кому коньяка, кому кагора? — спрашивает Борис. — Уважаемая публика молчит. Отлично! Мужланам наливаю коньяку, слабому полу — кагор! Так, Максим?

— Так! — говорит Максим, поворачиваясь к столу, чтобы видеть, как Егоров наливает вино.

Борис Егоров наливает вино в рюмки так, как делает все, — медленно, равнодушно и неохотно. Он длинным движением поднимает со стола бутылку, осторожно вынимает пробку открытой бутылки, тихо наклоняет горлышко к первой рюмке.

В комнате — тишина.

— Прошу! — налив рюмки, тихо говорит Егоров.

Девушки осторожно берут рюмки, приглушенно шуршат бу-
мажками конфет; Максим тоже медленно несет рюмку ко рту.

— Недурный коньячишка! — замечает Борис Егоров, снова
поднимаясь с места — на этот раз для того, чтобы поставить
на стол пустую рюмку. Он ставит ее, а Максим Ковалев на
мгновение закрывает глаза. «Редуктор!» — мысленно усмеха-
ется он.

Максим усмехается тому, что в комнате — сонная, замед-
ленная обстановка.

Борису Егорову, как и Максиму, двадцать четыре года, но
он выглядит значительно старше. Это объясняется не внешне-
стью технорука, а манерой двигаться и говорить. Борис Его-
ров двигается и говорит так замедленно, тихо и осторожно, что
думается — внутри Егорова есть специальный редуктор, постав-
ленный для замедления движений и речи. Редуктор универсален,
руководит всем — он замедляет движение руки, поворот
головы, улыбку, шаг, наклон туловища, движение губ.

Выпив вино, девушки ставят рюмки на стол. Они делают
это так же медленно, как и Егоров, хотя сами не понимают,
что невольно подражают хозяину.

— Может быть, сразу выпьем еще по рюмке, а потом по-
танцуем! — предлагает Борис.

— Пожалуй! — в тон ему отвечает одна из девушек — тон-
кая, бледнолицая и нарядная.

Ее зовут Людмилой Голубь, она работает заведующей чер-
ноярским клубом и считается одной из самых красивых деву-
шек деревни. Одета Людмила со вкусом, но чуточку вольно.
У платья великовато декольте, да оно и тесно, коротковато:
высоко открывает ноги в чулках телесного цвета, а на груди —
глубокую ложбинку. Но Людмила не одергивает подол и не
закрывает грудь, когда нога открывается много выше тонкого
колена, а материя на груди опускается.

— Итак, наливаю! — говорит Борис и опять замедленно
продельвает все движения, необходимые для наливания вина,
а сам негромко, с полуулыбкой обращается к Людмиле Го-
лубь. — Знаете, Людмила, — говорит он, — сейчас в столицах
модно носить именно такие глаза, какие носите вы!

— Носить глаза!.. — с восхищенным удивлением произносит
она, медленно всплескивая руками и вся подаваясь к Бори-
су. — Ах, вы скажете! Вы скажете! — опять всплескивает она
руками.

На лице Бориса не появляется и тени улыбки. Оставив на-
литые рюмки на столе, он возвращается на свое место, садится,
медленно поднимает рюмку к глазам, чтобы рассмотреть вино
на свет.

— Именно такие глаза теперь в моде! — говорит Борис, про-
должая разглядывать вино. — Монгольские!.. Что же, будем
пить!

— Будем пить! — отвечает Максим.

Вторая девушка — Валентина Батаногова — рассеянно перелистывает книгу.

— Валентина! — подняв брови на лоб, обращается к ней Борис. — Вы разве не хотите еще вина?

Это еще одна привычка Бориса Егорова — поднимать брови. Он медленным движением задирает их на лоб, а сам смотрит на собеседника долгим, изучающим взглядом, словно задает ему вопрос: «Кто ты такой! Что в тебе есть?..»

— Выпейте еще вина! — предлагает Борис Валентине.

Валентина Батаногова — красавица. Она красива особой, редкой теперь красотой, которую называют русской. Валентина Батаногова до того красива, что Максиму Ковалеву она кажется рисованной, сошедшей с картинки, невсамделишной. Просто-напросто не верится, что живая девушка может быть такой красивой, что на самом деле могут существовать такие голубые глаза, такая длинная шея, такие русые косы, такой овал лица.

Валентина берет рюмку, садится, ждет, когда другие начнут пить. А они не торопятся — по-прежнему замедленны, тихи, умиротворенны. Борис Егоров еще раз поднимает рюмку к глазам, вздымает брови.

— За девушек! — тихо произносит он и поворачивается к Максиму. — Поехали!

— Поехали! — отвечает Максим. Ему вдруг делается очень весело. «Все так, как должно быть!» — думает он и с удовольствием пьет коньяк — действительно очень и очень неплохой.

В комнате опять тишина. За окнами тоненько свистит ветер, бьет в раму, скрипит на крыше флюгер. Временами слышен тоскливый собачий лай.

Лай то приближается, то удаляется, так как ветер меняет направление. Иногда лай делается таким громким, отчетливым, что кажется — собаки лают под окнами. «Волки!» — думает Максим, представляя околицу Черного Яра, к которой в апрельскую ночь приходят волки. Три дня назад он обнаружил три пары их следов и подумал: «Ослабли от голода!»

Собаки лают тоскливо, заунывно. В их лае есть что-то дремучее, первобытное; если закрыть глаза, чтобы не видеть ярко освещенную комнату, то представляется пустынная степь, метель, луна, закутанная снегом, скрип полозьев, звон бубенцов под расписной дугой. И стихи слышны: «Буря мглою небо кроет...» И песня слышна: «Когда я на почте служил ямщиком...»

— Собаки боятся волков! — неожиданно громко и весело говорит Максим и быстро, резко поднимается. Встряхнув головой, еще громче продолжает: — Давайте же танцевать! — Он смеется. — Уходит дорогое время, отпущенное на танцы! Давайте же веселиться...

Он бросает взгляд на Людмилу Голубь, думает: «Мне, видимо, надлежит танцевать с ней!» Он думает так потому, что Борис Егоров ухаживает за Валентиной Батаноговой — об этом говорит весь Черный Яр, сам Борис не скрывает своего интереса к удивительной красавице. Ну, а коли Егоров ухаживает за Батаноговой, а пригласил в гости Максима, значит, он думал, что Максим заинтересуется Людмилой.

— Людмила, прошу! — весело басит Максим. — Мы будем петь и смеяться, как дети.

Пощелкав кнопками и выключателями, Борис пускает радио, предварительно выбрав пластинку. Сначала раздается шипенье, треск, а потом громко и дробно — мотив фокстрота, который наяривает джаз.

— О! — произносит Максим. Он уже держит в объятиях Людмилу, уже крепко прижимает ее к себе. — О, это здорово!

Затем он чувствует, как талия Людмилы начинает извиваться под его пальцами — девушка танцует.

Улыбаясь, он разглядывает Людмилу. Он видит ее полуголую грудь, тонкую шею и не торопится отводить глаза. На вечере у Бориса Егорова девушкам, видимо, полагается иметь глубокое декольте, короткое платье, а молодым людям — любоваться тем, что Людмила Голубь сочла нужным выставить напоказ. «Двадцатый век! Фокс! — с усмешкой думает Максим и весело подгоняет себя: — Давай, Максим, давай!»

Он старательно танцует с Людмилой, а сам продолжает думать о том, что коли согласился прийти на вечер к техноруку Борису Егорову, то должен вести себя так, как полагается вести в доме технорука, где горят два ярких торшера, блестит полированная мебель, изготовленная по чертежам Егорова черныярским мастером-краснодеревцем Яном.

— Вы вся такая воздушная! — смешливо говорит он Людмиле, вспомнив гадалку из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.

— Ах! — склоняя голову на плечо, восклицает Людмила.

Джаз гремит, стонет, завывает. Играет неплохой оркестр, играет темпераментно и ярко; Максим улавливает тонкую нить скрытой мелодии; старается включиться в нее и чувствует, что ему удается это. Пластинка кончается неожиданно — вдруг обрывается на самом стремительном куске мелодии.

— Танго! Теперь танго! — всплескивает руками Людмила.

Борис Егоров идет к радиоле, чтобы сменить пластинку, но вдруг раздается стук в дверь — стучат громко, настойчиво и, видимо, давно. Так громко можно стучать только тогда, когда сразу не открыли.

— Непонятно! — пожимает плечами Егоров. Затем он идет в прихожую, приволакивая ноги, держа поднятыми брови и плечи.

Грохочет дверь, слышен вой ветра, громкий хриплый бас. «Емельян Кузьменко! — узнает Максим и присвистывает от удивления. — Что это могло привести Емельяна к Егорову?» Но он не успевает ничего больше подумать: в дверях показывается Емельян — высокий, широкоплечий, в старенькой телогрейке и мохнатой шапке, надвинутой на лоб.

— Добрый вечер! — сумрачно произносит он.

Емельян обводит взглядом сервант, стеллаж, торшеры, маленький столик и зло усмехается.

— Что случилось, Емельян? — тревожно спрашивает Максим.

Емельян не отвечает. Еще раз обводит взглядом комнату, затем переносит взгляд на Людмилу Голубь, потом на Валентину Батаногову, потом на Бориса Егорова и уж потом смотрит на Максима.

— Так! — тихо говорит Емельян и переводит глаза на столик с бутылками, конфетами и ломтиками лимона. — Так! — повторяет он, поворачиваясь к двери.

Он идет к ней, открывает, собирается уж поставить ногу на порог, как останавливается.

— Я зашел попутно! — сквозь зубы произносит Емельян. — Меня Аленочкин попросил зайти... Передать вам, что сегодня в двенадцать ночи управляющий трестом делает переключку по радио. Аленочкин просил найти Ковалева, Егорова и Батаногову!

«Вот ты какой! — говорит взгляд Емельяна, устремленный на Максима Ковалева. — Вот ты какой! Оказывается, ходишь к Егорову, пьешь с ним коньяк, развлекаешься с красивыми девушками... С Людмилой Голубь развлекаешься!»

Еще раз криво улыбнувшись, Емельян зло передергивает плечами и так сильно хлопает дверью, что оконные стекла жалобно поют.

Максим садится в кресло, устало закрывает глаза. «Плохо! Плохо!» — думает он. Ему неприятно, что Емельян Кузьменко увидел его в обществе Бориса Егорова и Людмилы Голубь. Емельян ненавидит Егорова за его замедленность, пренебрежительный взгляд, за то, что Егоров снисходителен по отношению к Емельяну, смотрит на него пустыми, прозрачными глазами. Емельян считает технорука барчуком, пустым интеллигентом, а к Людмиле Голубь испытывает еще большую ненависть — она родная сестра Петра Голубя, с которым Емельян всегда враждовал.

Эх, не нужно бы Емельяну видеть Максима в доме технорука Егорова!

— Мне пора, товарищи! — поднимаясь, говорит Максим. — Завтра рано вставать! До свидания!

Одеваясь в прихожей, Максим думает о том, что теперь с Емельяном будет совсем трудно. Самолюбивый и гордый, он

слепо озлоблен на людей, мечется в поисках и не может найти самого себя. Емельян окончательно запутался в жизни, потерял тропочку и похож на слепого. После сегодняшнего он окончательно разозлится на Максима, а их отношения и без того были тяжелыми, запутанными и сложными.

3

Холодный апрельский рассвет медленно выползает из-за Оби на длинную улицу Черного Яра. Запутавшись в тальниках и соснах, растущих на левом берегу реки, солнце расплывается большим желтым пятном. В тусклом свете смутно холодеет Обь, похожая на застывшее море, провалы меж торосами, кедрачи за Черным Яром.

Безлюдность, бесконечность Васюганских болот освещает желтое солнце — тайга и остатки снега, белая лента реки и низкое небо, и болота, болота, пустынность которых угадывается сразу же за околицей деревни. Болота везде и кругом — они уходят в бесконечную бесконечность, окружают Черный Яр, вплотную подступают к нему. Даже скоростной самолет над Васюганскими болотами ощущает тревожную величину и громадность земли.

Максим Ковалев в девятом часу утра шагает по берегу Оби к конторе сплавного участка. Он в кирзовых сапогах, в замасленной телогрейке, на голове — шапка из собачины. Максим подходит к конторе слева, а справа, от одинокого дома на окраине, идет в контору технорук Борис Петрович Егоров. Таким образом, они шагают друг другу навстречу и должны встретиться как раз у крыльца конторы сплавного участка. И они встречаются. То есть за пять метров до крыльца Борис Егоров улыбается уголками губ, высоко подняв светлые брови, напускает на лицо такое выражение, словно он очень доволен встречей с Максимом Ковалевым, счастлив видеть начальника рейда.

Максим Ковалев спокойно идет навстречу Егорову. Выражение лица у Максима обычное — чуточку насмешливое, ироническое, взгляд серых глаз внимателен. Когда до Бориса Егорова остается не больше двух метров, Максим вынимает правую руку из кармана.

— Доброе утро! — здоровается Борис Егоров.

— Доброе утро! — отвечает Максим, крепко сжимая пальцы Бориса.

— Хорошо выспался? — после небольшой паузы спрашивает Борис.

— Отлично! — громко отвечает Максим.

С крыльца конторы они входят в большую квадратную комнату, которую сплавщики шутливо называют приемной, так как из нее можно попасть в две обитых клеенкой двери: одна

ведет в кабинет начальника Черноярского сплавного участка Владимира Алексеевича Аленочкина, вторая — в бухгалтерию. В приемной толпится народ — несколько оживленно разговаривающих рабочих, три женщины, куча ребятишек — учащихся, которые проходят производственное обучение в ремонтных мастерских участка. В приемной становится тихо, когда входят технорук сплавного участка Егоров и начальник рейда Ковалев. Сидящие рабочие спрыгивают с подоконников, двое поднимаются с пола, женщины сбиваются в кучку.

— Доброе утро, товарищи! — весело здоровается Максим.

— Доброе утро! — наклоняет голову Борис Егоров.

Им отвечают.

— Ох и накурили! — говорит Максим, проталкиваясь к дверям начальника. — Хоть топор вешай!

Максим почти достигает дверей кабинета Аленочкина, как ему преграждает путь высокая фигура. Это Емельян Кузьменко. Растолкав рабочих, он становится спиной к двери кабинета, высоко задирает подбородок. Емельян такой высокий, широкоплечий, что закрывает собой всю дверь. Он, пожалуй, сантиметра на три выше Максима Ковалева, хотя рост Максима метр восемьдесят.

— Постой, Ковалев! — низким басом требует Емельян и трагически сдвигает черные брови.

— Я слушаю!

Емельян Кузьменко еще никогда не смотрел так зло, так презрительно на Максима, как смотрит сейчас; никогда еще во взгляде Емельяна не было столько ненависти к Максиму Ковалеву, как сегодня. Он молчит, потом дергает губой, опять задирает подбородок, и Максим затаивает дыхание.

— Слушаю! — тихо повторяет Максим. — Я слушаю! Ну...

— Не нукай — не запряг! — зло передергивает плечами Емельян. — И не морщись! Я не виноват, что у тебя с похмелья голова болит!

Притихшие люди сдержанно вздыхают; женщины еще ниже склоняются друг к другу, торопливо перешептываются, любопытно поглядывая на Ковалева и Егорова. «Плохо! Все плохо!» — тоскливо думает Максим, не зная, что сказать, что сделать.

— Пусти-ка! — наконец холодно произносит Максим и крепко берет Емельяна за руку. — Отойди от двери! — опять просит он, опуская глаза, так как только теперь чувствует запах самогонки, которой пахнет от Емельяна. На него наносит такой злой сивушной волной, что ощущается тошнота. — Ты пьян, Емельян! — испуганно восклицает Максим. — Что с тобой, Емеля? Ты пьян!

— А ты меня поил?! — вдруг во все горло ревет Емельян. — Ты меня поил?!.. Может, технорук меня коньяком поил?!

В приемной — тишина. Люди опасливо отодвигаются от Емельяна.

— Ты меня поил?! — опять кричит Емельян.

Максим Ковалев бледнеет. Он чувствует, как за спиной медленно двигается, переступает с ноги на ногу Борис Егоров, как не дышат люди. «Только не сорваться! Только не закричать!» — трудно думает Максим, прикусывая тяжелую нижнюю губу. Он передыхает, набрав полную грудь воздуха, и тихо, раздельно говорит:

— Сегодня вы отстранены от работы, Кузьменко! Можете быть свободны!

Затем Максим делает стремительное движение — сперва отрывает от двери руку Емельяна, потом рывком отбрасывает его. Одновременно с этим, продолжая ощущать спиной испуганное молчание людей, он как можно спокойнее произносит:

— Вот так!

— Ой! — шепчет одна из женщин, а мужчины разом подаются вперед, так как им кажется, что Емельян стремительно бросится на Максима Ковалева — лицо у него наливается кровью, брови трагически выгибаются. — Ой! — снова вскрикивает женщина.

Ковалев и Кузьменко смотрят друг на друга. Трудно понять, как именно они смотрят, но между ними происходит что-то важное, значительное, известное только им двоим. Они смотрят друг на друга, наверное, целую минуту — Емельян зло, ненавистно, Максим много спокойнее, но дышит он тяжело, с прихрипом, словно поднимается на крутую гору. Затем дыхание Максима делается ровнее, спокойнее, он еще раз набирает полную грудь воздуха. А с лица Емельяна постепенно уходит бордовая краска, он начинает странно, болезненно косить правым глазом.

— Идите домой, Кузьменко! — начальственно говорит Максим. Затем он спокойно открывает дверь, показывает на нее рукой Егорову. — Проходите! — пропускает его и, медленно пройдя мимо замершего Емельяна, скрывается сам.

— Так! — шепчет Емельян.

Пальцы у него дрожат, когда он застегивает пуговицы телогрейки.

— Так! — хрипло повторяет Емельян. — Так! — говорит он в третий раз и бросается к уличной двери.

4

Начальника Черноярского сплавного участка зовут Владимир Алексеевич Аленочкин. В его кабинете есть все то, что полагается иметь начальнику такого участка, как Черноярский, — два стола, составленные буквой «Т», продавленный пружинный диван, ковровая дорожка на полу, крепдешиновые

шторы на окнах, громоздкий письменный прибор из светлого мрамора и глубокое кресло, в котором плотно и удобно сидит сам Владимир Алексеевич Аленочкин, проводящий производственную десятиминутку.

Лицо Владимира Алексеевича устроено так, что, поглядев на него, сразу можно понять, что он руководитель предприятия. Его нельзя спутать с учителем, директором банка, с врачом-хирургом или главой научного учреждения, так как только у руководителей промышленных предприятий бывает такая обветренная крепкая кожа, такой властный взгляд, такая прямая фигура, такие свободные жесты, как у Владимира Алексеевича Аленочкина, который много бывает на воздухе, постоянно двигается, общается с сильными людьми и с сильными машинами.

Кроме Аленочкина в кабинете находятся технорук Борис Егоров (он располагается за отдельным столом, над которым прибита табличка «Технорук»), начальник рейда Максим Ковалев и мастер лебедек Валентина Батаногова.

Владимир Алексеевич Аленочкин разговаривает негромким приятным баском.

— Расстановка — вчерашняя! — спокойно говорит он. — На сегодня работы остаются прежними!

Левой рукой Владимир Алексеевич звонко бросает костяшки счетов. Это тоже привычка хозяйственных руководителей, многие из которых так привыкли к счетам, что без них не могут разговаривать с людьми.

— Ремонт — это все! — щелкая счетами, говорит он. — Подготовка запани — второе! И третье — подготовка к приемке крана!

Затем Владимир Алексеевич точно, обстоятельно и вместе с тем коротко сообщает о положении на сплавном участке. Рассказывая, он попутно вносит предложения, обсуждает их, зацепившись за нужную мысль, не отпускает ее до тех пор, пока не поймет, согласны товарищи или нет. Он не сам решает дела сплавного участка, а как бы решает их вместе с другими; он как бы мыслит вслух в то время, когда присутствующие только думают.

— Решено! — время от времени говорит Владимир Алексеевич, продолжая бросать костяшки на счетах. — Решено!

В кабинете тихо, деловито-спокойно. Слушая Аленочкина, технорук, начальник рейда и мастер изредка нагибаются к блокнотам, делают короткие записи. Никто из них не перебивает начальника, не задает вопросов, так как Владимир Алексеевич сам решает все вопросы, обстоятельно говорит о всех проблемах. И, слушая его, Максим Ковалев постепенно успокаивается, приходит в себя после стычки с Емельяном Кузьменко. Он тоже делает записи в блокноте, внимательно следит за ходом мысли Аленочкина и думает о том, что Владимир

Алексеевич прекрасно ведет заседание и что это объясняется тем, что начальник поднялся, как всегда, в пять часов утра, а в шесть уже бегал по сплавному участку — обошел его из конца в конец, все увидел, понял, во всем разобрался. Поэтому на совещании нет суеты, ненужных разговоров, препирательств, как это бывает на других сплавучастках.

— Решено!.. И это решено! — снова время от времени говорит Владимир Алексеевич, и проходит точно десять минут с начала заседания, как он, закрыв блокнот, смахивает костяшки со счетов. — У меня все! Может быть, забыл что-нибудь?..

Но он ничего не забыл.

— У меня все! — говорит Максим Ковалев.

— У меня — тоже! — подтверждает Валентина Батаногова.

Видимо, нет никаких вопросов и у технорука Егорова — он молчит.

— А теперь — десерт! — торжественно произносит Владимир Алексеевич. — А теперь — сладкое! — улыбается он, нагибаясь к тумбе стола и вынимая из нее голубой альбом большого формата, на обложке которого выдавлены золотые буквы: «Машины и механизмы для погрузочно-разгрузочных работ». Владимир Алексеевич поднимает альбом, несколько мгновений держит на весу.

— Вчера только получил! — радостно говорит он. — С okazji! Прощу, товарищи, ко мне.

На чертеже изображен мощный погрузочный кран, носящий длинное название — плавучий крюковой кран ПК-10 с вылетом стрелы тридцать метров, смонтированной на понтоне. У крана легкая, воздушная стрела, вздыбленный к небу корпус, ажурное переплетение металла. Кажется, что кран не стоит на понтоне, а только прикасается к нему кромкой корпуса.

— Красавец! — покачав головой, говорит Максим. — Воздушный!

— И десятитонный! — увлеченно подхватывает Владимир Алексеевич, быстро поворачиваясь к Максиму. — Десять тонн и — ни граммом меньше! По проектной мощности он должен грузить баржу за семь-восемь часов! Что на это скажут молодые инженеры? Разве сие не технический прогресс?!

После этих слов Аленочкин негромко хохочет и шутливо грозит пальцем Максиму Ковалеву и Борису Егорову.

— Помните? — лукаво спрашивает он их.

— Помним! — тоже смеясь, отвечает Максим.

Максим Ковалев сейчас откровенно любит Аленочкиным — его улыбкой, непринужденным умением вести себя за председательским столом, уверенностью в себе, внешностью Владимира Алексеевича: большим лбом, веселыми глазами, крепкой шеей, коренастой фигурой.

Владимир Алексеевич Аленочкин — хороший инженер и начальник. Он до тонкостей знает дело, очень много работает. Его можно застать в конторе в час ночи, а в шесть утра Владимир Алексеевич опять вымеривает территорию участка неторопливыми хозяйскими шагами. Он всегда бодр, подтянут, весел, расположен к шутке и улыбке. Аленочкин умеет ладить с людьми — никогда не повышает голос, ровен в обращении. И рабочие Черноярского сплавного участка любят его.

— Значит, помните? — смеется Владимир Алексеевич.

— Помним! Помним! — отвечает Максим.

Владимир Алексеевич напоминает их первое знакомство, которое состоялось в несколько необычных, шуточных обстоятельствах. То есть обстоятельства были обыкновенные, а вот поведение Аленочкина — необыкновенным.

При их первом знакомстве Владимир Алексеевич Аленочкин повел себя не так, как должен бы вести начальник участка, когда к нему пришли сразу два молодых инженера и выложили на стол направления треста и дипломы, — он не стал говорить о предстоящих трудностях почетного дела сплава и переработки древесины, не развертывал перед ними сияющих перспектив, а вместо этого повел на берег реки, усадил на бревно, сел сам.

— Дожил! — улыбочиво сказал Аленочкин. — Дожил до времени, когда даже начальник рейда — дипломированный инженер! — Он потер лоб загорелыми пальцами, задумался. — Трест назначает Егорова техноруком, Ковалева — начальником рейда! — сказал он. — Я бы сделал не так! — Он прямо и твердо посмотрел в глаза Егорову. — Вы не обижайтесь на меня, Егоров! Вы — ленинградец, городской человек, незнакомый с местными условиями. Но... — Владимир Алексеевич шуточно развел руками. — Но боги в тресте все знают!.. Они назначают ленинградца Егорова техноруком, а сибиряка Ковалева, выросшего в Черном Яре, — начальником рейда!

Аленочкин достал из потайного кармана крошечный перочинный ножик, нашел щепочку и стал строгать ее, посмеиваясь. Потом обратился к Максиму:

— Вы закончили красноярский институт?.. Я кончал его же! Виктор Викторович жив-здоров? — спросил он о преподавателе сопротивления материалов, а когда Максим ответил, что жив-здоров, необычно оживился. — Задиристый был мужик!.. Подумать только, прошло двадцать лет, а он жив и здоров!

Потом Аленочкин бросил остроганную палочку, сложил нож; он, казалось, стал серьезнее, но в глазах по-прежнему прыгали веселые искорки.

— Вот что, коллеги-инженеры! — сказал он. — Вы — народ начитанный! Читали романы, повести на современную тему... Читали?

— Читали! — усмехнулся Максим.

— Вот и прекрасно! — разулыбался Аленочкин и шутливо ткнул пальцем себя в грудь. — Тогда вы знаете, что, по многим современным романам и повестям, мне, начальнику, положено быть консерватором. А вам, молодым инженерам, велено быть передовыми людьми... Я должен зажимать новое, передовое, а вы — бороться со мной, отстаивая новое, передовое!

Тут Максим Ковалев весело, облегченно засмеялся.

— Люблю веселый смех! — обрадовался Владимир Алексеевич. — Но все-таки продолжу мысль... Итак, вы должны бороться за новое и передовое, а я — отстаивать старое, отжившее. Дело кончается тем, что приезжает представитель партийной общественности и сводит меня на нет! Так?

— Так! — сказал Максим.

— А коли так, то сразу объявляю, что я не консерватор! — Аленочкин торжественно поднял палец. — Я обеими руками, — тут он для верности поднял вторую руку, — я обеими руками голосую за новое и передовое! Ясно? — спросил он.

— Ясно! — сказал Максим.

— Но не совсем... — заявил Владимир Алексеевич. — Вам, конечно, нужны доказательства моей верности идеям нового и передового? Пожалуйста!

Владимир Алексеевич повернулся к Максиму Ковалеву, доброжелательно глянул в глаза.

— Я знаю, Максим Максимович, что вы энтузиаст новых десятитонных кранов, — мягко сказал он. — Вы говорили об этом в тресте, когда получали назначение... Так вот — я тоже мечтаю о кранах и рад тому, что мы — единомышленники. Прогресс на погрузке — краны! Помогите мне внедрить их!

Эти слова: «Помогите мне внедрить их!» — были произнесены без улыбки, серьезно, энергично. И Максим Ковалев вспомнил, как хорошо, уважительно говорили об Аленочкине в тресте. «Мы сработаемся!» — подумал он. С тех пор прошла зима, и Максим Ковалев не разочаровался в Аленочкине, а, наоборот, убедился в том, что начальник участка — отличный руководитель. Но больше всего Максиму нравится настойчивость, с которой Владимир Алексеевич выколачивает из треста новый погрузочный кран.

— Кран... Кран! — задумчиво говорит Владимир Алексеевич. — Считаю, что нам надо самим ехать за краном!

Он встает с кресла, подходит к окну, раздвигает крепдешиновую шторку — видна замерзшая река, оголенный от снега коричневый берег, три погрузочных лебедки Мерзлякова, которыми на Оби грузят лес на баржи. Старые, замшелые, они стоят в маленькой гавани среди обдолбленного льда. Над лебедками висит бордовое большое солнце.

— Через несколько дней мы поедем за краном! — немного торжественно произносит Владимир Алексеевич. — А сейчас... Сейчас товарищей Егорова и Ковалева прошу пройти в ремонтные мастерские! За три дня надо успеть собрать последние моторы!

5

Солнце уже поднялось над тальниками и старыми осокорями — по-прежнему холодное, зимнее, несмотря на апрель; освещенная тусклыми лучами солнца деревня полна шумов — мычат в стайках коровы, скрипят калитки, за околицей гремит трактор, а на берегу звонко бьют тяжелой кувалдой в стальной лист. По обледеневшей дороге ветер метет почерневшее сено; пучки соломы. Неуютно и холодно. А по небу текут низкие, серые облака, чтобы на весь день спрятать солнце.

Ковалев и Егоров идут мимо почерневших домов, куч навоза, покосившихся заборов, деревянных отхожих мест, щелястых стаек, из которых выглядывают коровы — тощие по весне, с вытертой на боках шерстью, с измазанными навозом хребтами. Оскалив желтые зубы, выскакивают из подворотен собаки, задыхаются в злобном лае. Большинство домов покосилось, крыши провисли, вместо кирпичных труб видны прожженные старые ведра. В проводах тонко свистит ветер.

Молодые инженеры нигде не задерживаются. Шагают они рядом, касаются плечами друг друга, так как дорога узка. Сосредоточенно молчат. Максим иногда косится на Бориса Егорова, с любопытством поглядывает на него, но ничего не говорит. Оба курят: Максим папиросу, а Борис — сигарету. Ветер сносит дымок, завернув, бросает в спину. Они минуют крайние дома деревни, поворачивают к высокому зданию ремонтных мастерских. Здесь им надо подняться на небольшую возвышенность, и они поднимаются широким, сильным шагом, словно по команде вынув руки из карманов.

С возвышенности Черный Яр кажется сжавшимся, так как длинная улица видна с краю, и потому деревня представляется очень маленькой. Зато все окружающее распахивается бесконечностью горизонта — уходят к небу синие кедрачи, громадным зигзагом лежит грязно-серая Обь, покрытая чешуйками торосов, а за Обью тальниками и кедрачами начинаются бесконечные Васюганские болота. Они, как небо, облегают со всех сторон маленькую кучку домов.

— Черный Яр! — останавливаясь, говорит Максим таким тоном, словно Борис Егоров не знает, как называется деревня.

— Да, Черный Яр! — тоже задерживаясь, отвечает Борис.

Он внимательно оглядывает деревню, потом смотрит на небо, кедрачи, старый осокорь, стоящий поблизости, и уж затем переводит взгляд на Максима. Медленно подняв на лоб тонкие светлые брови, Борис усмехается уголками губ.

— В Черном Яре двадцать четыре жилых дома, сто шестьдесят шесть жителей,— говорит он.— Впрочем, я ошибся — не сто шестьдесят шесть жителей, а сто шестьдесят семь, ибо... — Борис вынимает изо рта догоревшую сигарету, далеко отбрасывает ее от себя и серьезно продолжает: — Сто шестьдесят седьмой житель Черного Яра — я!

Сказав это, Борис отвертывается от Максима и легкими шагами сбегает с горушки...

Максим не сразу следует за ним — он еще несколько минут стоит на возвышенности и следит за тем, как Егоров ловко запрыгивает на край оврага, как быстро проходит путь от оврага к забору мастерских. И только тогда, когда Борис тянет к себе деревянные ворота, Максим бежит за ним. Он так рассчитывает бег, что догоняет Егорова как раз у дверей в мастерские.

В здание они входят одновременно. Здесь пахнет солидолом и бензином, раскаленным металлом, теплой краской, возле стен гудят станки, отчаянно визжит сверлильный станок. В сутолоке и нагромождении металла люди видны не сразу — нужно внимательно приглядеться, чтобы заметить возле станков и моторов согнутые фигуры в спецовках. Люди что-то делают с металлом — зачем-то бьют его молотками, накалив докрасна, бьют еще отчаяннее, сдирают с металла заскорузлую корку, пронзают визжащими сверлами и опять бьют по металлу молотками.

Металл и люди... И люди похожи на металл, так как у них темные от грязи и пота лица, черные руки, шершавые, как необработанный металл, пальцы.

Приглядевшись к сумраку, Максим идет направо, где на деревянном стенде собирается мотор лебедки. Уже на ходу Максим срывает с себя телогрейку, несет ее в руках, а подойдя, бросает на верстак.

— Здорово, ребята! — громко, чтобы перекричать шум и лязг металла, здоровается Максим. — Как ночевали?

К нему обертываются три чумазых лица, три пары глаз с яркими белками. Сперва хорошо видны только эти глаза, обрамленные белым, а потом, когда Максима узнают, ярко блестят три пары полукружий белых зубов — слесари улыбаются Максиму.

— Добрый день, Максим Максимович! Хорошо ночевали! Здравствуйте! — радостно доносится в ответ. Оскаливая в улыбке белые зубы, слесари окружают Максима, воспользовавшись минутной передышкой, достают папирсы, закуривают.

— Блок уже поставили. Хорошо! — говорит Максим. — Надо торопить сборку! Скоро едем за краном, а к тому времени надо собрать моторы!

Он наклоняется к мотору, похлопывает ладонью по теплomu металлу,

— Кончай, ребята, перекур! — весело командует Максим. — Я встану на сборку маслонасоса! Добро?

— Добро! — смеются слесари, бросая недокуренные папиросы. Видно, что они довольны приходом Максима — делаются оживленными, веселыми, быстрыми.

— Давай, давай, ребята! — скороговоркой шепчет Максим, разглядывая мотор, чтобы определить, с чего начать.

Мотор наполовину собран — оброс гайками и болтами, проводами и втулками; металл матово отсвечивает, блестит протертой медью. Максим глядит на мотор и чувствует в пальцах знакомое жжение, покалывание. Ему хочется прикоснуться пальцами к блестящей, отполированной поверхности цилиндра, ощутить бархатность ласкового металла, холодную корочку шлифовки, почувствовать в руке приятную тяжесть гаечного ключа, сопротивление закручиваемых гаек.

— Ключ! Разводной! — коротко приказывает Максим.

Он, не глядя, принимает ключ, подбросив его в руке, перехватывает за рукоятку, нагибается к мотору.

— Шуруй, ребята! Поработаем до седьмого пота! — смеется он.

— Поработаем! — откликаются слесари на любимую сказку Максима, который часто произносит слова: «Поработаем до седьмого пота!»

— Поработаем до седьмого пота! — весело повторяет Максим и вдруг чувствует, что кто-то теснит его в сторону. Максим быстро оборачивается и видит Бориса Егорова, о котором он совсем забыл.

Борис усаживается на корточки рядом с Максимом, поднимает с пола механизм маслонасоса и внимательно — поворачивая так и этак — рассматривает его.

— В две руки мы быстрее соберем маслонасос! — говорит Борис. — Подвинься-ка еще, Максим Максимович! — просит он и смело, резко толкает руку в нутро двигателя, полное масла и острого металла. — Поработаем до седьмого пота! — серьезно, улыбаясь только глазами, говорит Егоров.

6

Борис Егоров ходит по большой комнате и щелкает выключателями — зажигает висячую трехрожковую лампу, два торшера, матовый плафон возле стеллажа. Когда комната наполняется ярким светом, он выходит на середину ковра и принимает стойку «смирно». Он одет в легкую шелковую майку, ноги обтянуты шерстяными спортивными брюками, волосы стянуты резиновой сеточкой.

Борис собирается делать вечернюю зарядку.

Он делает зарядку трижды в день — по утрам легкая разминка, дыхание по системе йогов, пятиминутное стояние на

голове и плечах, вдыхание через нос теплой воды; перед обедом Борис двенадцать раз разжимает пружинный эспандер, а перед ужином делает наиболее трудные гимнастические упражнения. Он приседает, пружинно выпрямляется, опять приседает, потом вращает талией, снова приседает. Потом ложится на спину, поднимает ноги, старается коснуться ими пола за головой. Когда тело делается подвижным, теплым, берет со стула эспандер, выдохнув воздух, с силой растягивает его.

Плечи, руки, бедра, ноги у Бориса тонкие, длинные, юношеские, но работа с эспандером резко обозначила мускулы — тоже тонкие, длинные. Мускулы перекачиваются под белой кожей, набухают на плечах. Дышит он умело и ровно и, растягивая в двенадцатый раз тугую пружину, не чувствует усталости. Он мог бы еще и еще растягивать эспандер, но не делает этого, так как опасается перенапряжения.

Зарядка продолжается пятнадцать минут. После нее Борис проходит в кухню, сняв майку и брюки, с головы до ног обкапывается прохладной водой. Из кухни он идет в спальню, где достает из гардероба темный костюм, светлый галстук, белоснежную накрахмаленную рубашку. Чувствуя бодрость, легкость во всем теле, Борис переодевается, ловкими движениями завязывает галстук и во весь рост вытягивается перед зеркалом. Он оглядывает себя внимательно, неторопливо; снимает с борта пиджака пушинку, поправляет галстук.

Вернувшись в большую комнату, Борис садится в низкое кресло — до ужина еще полчаса, и он может посидеть. Лоб у него наморщен, брови высоко подняты, так как Борис думает. В такт мыслям он покачивает ногой в теплом ботинке и клетчатом носке. Сидеть в кресле удобно, и он даже закрывает глаза, чтобы не мешал яркий свет, чтобы мысли были легкими.

Бориса со всех сторон окружает тишина — ни звука, ни шума, точно он находится в стальной толстостенной камере. Слышно только, как в висках пульсирует кровь да шумит в ушах. Через несколько минут от тишины появляется такое чувство, как будто кресло начинает медленно плыть — сначала плывет по прямой, затем, все ускоряя движение, плавно делает поворот, вздымается. Ощущение движения так реально, что к горлу подступает легкая тошнота, и Борис быстро открывает глаза.

— Да, Черный Яр, — после длинного молчания вслух произносит он.

Слова падают в звенящую тишину.

— Ти-ши-на! — говорит Борис, прислушиваясь к тому, как звучат слова. Они сразу же глохнут. Пожав плечами, он замедленно наклоняется к столу, берет толстый голубой конверт.

Письмо начинается шуточно: «О, романтик трудовых будней, живущий во глубине сибирских руд, чувак из столицы при-

ветствует тебя...» Так начинается каждое письмо старший брат Бориса Эдуард Егоров. Пишет он мелкими ровными буквами, прямыми строчками; пишет на толстой атласной бумаге, от которой пахнет мужскими духами. Подписывается брат тоже шутливо: «Эдуард де Егоре», а дату письма ставит вообще фантастическую: «18 апреля 1210 года, город Санкт-Петербург».

В письме Эдуард каламбурит, шутит и резвится. Девушек он называет статуэтками, рестораны — палубами, вино — нектаром; описывая ленинградскую жизнь, Эдуард не скупится на краски.

Неторопливо перечитав письмо, Борис не кладет его на стол, а небрежно роняет на пол. Конверт падает медленно, ложится на ковер плашмя и от этого беззвучно, словно пол пригнул его.

— Старший брат Эдуард! — почти по слогам, тихо произносит Борис. — Старший брат Эдуард! Вот какое положение, старший брат Эдуард...

Тишина по-прежнему жадно проглатывает звуки.

— Ти-ши-на...

Да, только здесь, в Черном Яре, Борис понял, какой может быть тишина! Раньше он и не предполагал, что тишина — это вещь, о которой стоит подумать.

Раньше Борис Егоров никогда не знал тишины — даже глубокой ночью их большая ленинградская квартира была переполнена звуками; шуршало в водопроводных трубах, ныли провода за окнами, дворники скребли мостовую, пощелкивали шинами ночные автомобили; всю ночь в десятках квартир дома хлопали двери — уезжали и приезжали, приходили домой на рассвете, вызывали скорую помощь, крутили до утра радиолы и магнитофоны. Не было тишины и на лесной даче, где летом жила семья Бориса, — всю ночь ходили по аллеям влюбленные, всю ночь летели с горящими фарами автомобили, гудели невидимые самолеты.

Тишина Черного Яра — тишина космоса. Когда прислушаешься к ней, становится жутко и кажется, что жизни на Земле нет. Пустая, холодная планета несется по звездной орбите, молча глотает миллионы километров пути. Предметы делаются нереальными: смотришь на стол и не веришь, что это стол, и приходится усилием воли уверять себя, что предмет на четырех ножках называется столом.

— Вот такое положение, старший брат Эдуард! — повторяет Борис. — Таково положение на сегодняшний день...

Он любит мысленно беседовать со старшим братом Эдуардом, представлять его, спорить с ним. Борис умеет мысленно говорить с братом так, словно Эдуард живет не в Питере (так Борис называет Ленинград), а сидит или ходит рядом с ним по Черному Яру. Это объясняется тем, что Борис хорошо знает

мысли Эдуарда, его отношение к жизни, к людям. Он легко представляет, что мог бы сделать брат в таком-то и таком-то случае, что сказал бы Эдуард, если бы ему пришлось столкнуться с тем-то и тем-то.

Старший брат Эдуард окончил театральную студию при известном театре; он красив, силен, жизнерадостен, прекрасно одевается, умсет ловко носить свое большое, отлично сколоченное тело. Когда Эдуард идет по улице, девушки оборачиваются.

На все явления, предметы, людей и события Эдуард имеет определенную, порой неожиданную точку зрения, а с Борисом он предельно откровенен, то есть откровенен так, как можно быть откровенным с родным и близким по духу человеком. Несмотря на это, Борис сложно относится к старшему брату — ему не нравится цинизм Эдуарда. Перед отъездом Бориса в Черный Яр они почти повздорили, и Борис винил в этом только Эдуарда с его откровенным цинизмом...

За два дня до отъезда Эдуард пришел в комнату Бориса, уселся на стол. Он поглядел на Бориса чистыми, ясными глазами, комически поджал губы.

— Пришел злить тебя! — объявил Эдуард.

— Ну! — неохотно отозвался Борис, так как знал, о чем пойдет речь.

— Знаешь, почему ты едешь в Сибирь? — спросил Эдуард и сам же быстро ответил на свой вопрос: — Ты едешь в Сибирь потому, что так хочет предок, в голове которого застряла сугубая мысль о том, что мы должны узнать, почем сотня грешков!

— Ну! — опять неохотно сказал Борис, на этот раз обозленный манерой Эдуарда говорить длинными предложениями и дурашливым тоном. — Ну продолжай!

— Пожалуйста! — развел руками Эдуард. — Ты боишься предка и потому едешь в Сибирь. Вернее, ты боишься того, что предок лишит тебя поддержки... А теперь брось в меня камень, если я неправ!

— Ты дурак! — зло сказал Борис.

— Пожалуй, да! — неожиданно весело согласился брат. — Ты на два года моложе меня, но в два раза умнее... Из Сибири ты вернешься на белом коне, на котором въедешь на самый Невский проспект. Женщины будут бросаться тебе на шею, а на кафедре тебе приготовят теплое местечко. И даже на старости лет, собрав у камина внуков, ты будешь рассказывать им, как осваивал Сибирь в годы построения коммунистического общества.

— Слезь со стола! — разгневанно закричал Борис. — Приличные люди сидят на стульях!

— Вот я и разозлил тебя! — мечтательно заметил Эдуард. — А коли ты серднишься, значит, я прав!

— Вон! Пошел, вон! — испуганно закричал Борис, но Эдуард вдруг положил ему руку на плечо, ласково погладил.

— Не злись, Борька! — попросил он. — Мне будет скучно без тебя...

— Но нельзя же быть таким циником, — по-прежнему зло сказал Борис. — Противно тебя слушать...

...С того дня прошло больше семи месяцев. Вспоминая Эдуарда, Борис теперь чувствует к нему ласку и признательность, по-прежнему часто думает о том, что старший брат во многом неправ. Нельзя же быть таким циничным, как он! И нельзя писать такие письма, какие пишет Эдуард.

Усмехнувшись, Борис нагибается, поднимает с пола голубой конверт и еще раз — это уже в третий — пробегает письмо. Старший брат Эдуард спрашивает: «Нашел ли ты в Сибири романтиков трудовых будней? А может быть, ты сам стал романтиком?..» Нетрудно представить выражение лица, с которым Эдуард писал эти слова.

Борис поднимается с кресла, медленно идет на кухню. Там он вынимает из кармана изящную зажигалку, щелкает механизмом и подносит к огню письмо брата. Толстая, гладкая бумага загорается не сразу — сначала набухает, чернеет, коржится. Но потом огонь мгновенно, с оглушительным хлопком охватывает письмо. На железный лист возле плиты летят крупные хлопья сажи.

— Вот так! — говорит Борис.

Он смотрит на часы — до ужина остается десять минут, то есть ровно столько времени, сколько и надо для того, чтобы не опоздать и не прийти слишком рано. Повеселев, Борис возвращается в прихожую, надевает просторное короткополое пальто. В нем он проходит в спальню, останавливается возле зеркала. Борис весело, как милому знакомому, подмигивает своему отражению в большом стекле.

— Ничего! — улыбается он.

На крыльце дома Борис еще раз задерживается, внимательно, сосредоточенно оглядывает вечерний Черный Яр — желтые огоньки в окнах, низкое небо, тускло поблескивающую ледяной корочкой Обь.

— Те-те-те! — говорит Борис. — Сто шестьдесят седьмой житель Черного Яра — я! Те-те-те!

После этого он спрыгивает с крыльца и быстро шагает по улице.

Борис идет к Владимиру Алексеевичу Аленочкину, у которого обедает и ужинает, так как в Черном Яре нет столовой, а жена Аленочкина Любовь Борисовна предложила Егорову питаться у них, внося за это определенную сумму денег.

Шагая, Борис весело посвистывает — ему нравится бывать у Аленочкиных. Ему нравятся и обстановка в доме начальника, и его жена, и его свояченица, и разговоры за столом, и то,

как его кормят. Но больше всего ему нравится Владимир Алексеевич Аленочкин. «Аленочкин — прелесть!» — думает Борис, все ускоряя и ускоряя шаг.

«Аленочкин — чудо!» — думает он еще раз, когда подходит к дому начальника. Остановившись у крыльца, чтобы очистить грязь с туфель, он вдруг говорит вслух:

— Аленочкин — вот человек! Так-то, брат Эдуард!

7

Дом Владимира Алексеевича Аленочкина, принадлежащий сплавному участку, велик и просторен. В нем пять комнат, дом с трех сторон обнесен стеклянной верандой; стены сложены из лиственничных брусьев, крыша железная, окна широкие, полносолнечные. Дом стоит на небольшой возвышенности, в самом центре поселка — рядом магазин, клуб, пекарня. С веранды летом видны загнутая подковой Обь, синие кедрачи, дальчина голубого горизонта. От дома пахнет смолой и свежей краской.

Борису открывает дверь сам Владимир Алексеевич.

— Вы точны, как хронометр, Борис Петрович! — улыбается он. — Ужин ждет нас!

Они идут по длинному и широкому коридору, потом минуют небольшую гостиную, кабинет Владимира Алексеевича и уж затем попадают в столовую, где за большим столом сидят жена Аленочкина Любовь Борисовна и ее сестра — учительница Софья Борисовна Боярская.

— Добрый вечер!

Большие ковры прикрывают стены и пол, мебель — дорогая, полированная, под потолком сверкает стеклянными гранями огромная люстра. Стол сервирован тоже отлично — сервиз дорогой, на полотняных салфетках лежат серебряные ножи и вилки, а в вазе чешского стекла желтеют подснежники. Накрахмаленная скатерть хрустит. И запахи в столовой приятные — пахнет ванилью, озоном от скатерти и лаком мебели.

Хозяйке дома Любови Борисовне Аленочкиной лет сорок, но она так хорошо сохранилась, что можно дать и тридцать три. Лицо у Любови Борисовны белое, тонкокожее, хотя она брюнетка. Фигура у нее отличная — крутые бедра, высокая грудь, но особенно хороши руки, они нежные, белые, даже на вид ласковые и горячие.

Ее сестра Софья Борисовна похожа на рано состарившуюся девочку — маленькая, тоненькая, проворная как мышь. И цветом одежды она тоже похожа на мышь — на ней серое платье с глухим воротником. На носу у Софьи Борисовны пенсне.

— Что же — начнем! — решительно говорит Владимир Алексеевич, раскладывая на коленях салфетку. — Что у нас сегодня на закуску?

На закуску сегодня копченая стерлядь, ломтики твердой колбасы, капуста с брусникой и маринованные помидоры.

— Борис Петрович, пожалуйста! — мило улыбается Любовь Борисовна. — Не сидите без дела!

— Благодарю вас! — вежливо отвечает Борис.

Он чувствует себя у Аленочкиных как дома; все здесь привычно ему — и обилие комнат, и красивая современная мебель, и сервиз, и даже то, как накрыт стол. В большой ленинградской квартире Егоровых все так же, как у Аленочкиных, — так же крахмалятся скатерти, накрывается стол, в таком же порядке подаются блюда. И даже вкус еды одинаков. Дело, видимо, в том, что и у Аленочкиных и у Егоровых хозяйки пользуются одними и теми же кулинарными книгами.

Борис с аппетитом ест закуски, а сам незаметно наблюдает за соседями. Владимир Алексеевич читает газету. Это вредно, некультурно, но Любовь Борисовна давно уже примирилась с мужем, который убедил ее, что он должен читать газеты за столом, так как иного времени для чтения газет не имеет. Любовь Борисовна ест рассеянно — во-первых, она боится полноты, а во-вторых, внимательно следит за мужем, который, читая газету, может не съесть какое-нибудь блюдо. Потому Любовь Борисовна время от времени пододвигает к руке мужа то салатницу, то тарелку, то ломоть белого хлеба. Неохотно ест и Софья Борисовна — она вообще ест мало и плохо. Ковыряет вилкой в капусте, выбирает отдельные кусочки и берет самую малость. Вид у нее такой, словно она недовольна ужином.

Наблюдая за соседями по столу, Борис Егоров думает о них, он вообще в Черном Яре много думает о жизни и людях. Глядя, как Аленочкин читает газету и рассеянно тычет вилкой в тарелку, Борис думает о том, что Владимир Алексеевич сумел в Черном Яре создать для себя сносную жизнь. У Аленочкина громадная зарплата. За руководство участком он получает тысячу восемьсот рублей, но это только та первоначальная сумма, на которую наматываются все остальные доходы Аленочкина. Начать следует хотя бы с того, что Черный Яр считается самым северным районом северной области, и в связи с этим обстоятельством начальник получает еще тысячу восемьсот рублей; кроме северной надбавки ему платят за выслугу лет. Однако и это не все: почти ежемесячно Владимир Алексеевич получает премиальные. Был случай, когда он заработал за месяц семь тысяч пятьсот рублей — за полutorное перевыполнение плана отгрузки леса и сортности древесины.

У Аленочкина, наверное, полно денег, так как в Черном Яре продукты дешевы — ведро жирных карасей стоит пять рублей, утка — семь, мешок картошки — двадцать. Семья же у Владимира Алексеевича невелика: сам он, жена да сын — томский студент. По расчетам Бориса, Аленочкин ежемесячно может откладывать не меньше трех тысяч рублей.

Глядя на жену Аленочкина, Борис вспоминает, что старший брат Эдуард таких женщин называет уютными, и Борис согласен с ним, ибо Любовь Борисовна именно уютная женщина. А вот ее сестра не вызывает у Бориса уважения к себе. Аленочкин как-то назвал Софью Борисовну идеалисткой. Он сказал так: «Гражданка Боярская год назад повздорила с городским школьным начальством и была вынуждена эмигрировать из области в Черный Яр... Она большая идеалистка!» Сказано это было очень насмешливо.

В Софье Борисовне действительно есть что-то смешное — старомодное пенсне, фигура девочки, и ведет она себя по-девчоночьи: порывисто, суетливо, а ведь ей уже пятьдесят лет.

Софья Борисовна давно уже не в ладах с Аленочкиным, но их ссоры редко начинаются при Борисе Егорове. Ему только приходится наблюдать, как меняется старая учительница, когда в комнате появляется Владимир Аленочкин. Вот она спокойно сидит на диване, оживленно рассказывает о школе, охает и ахает, всплескивает узенькими ладошками и вдруг меняется — лицо становится сухим, напряженным, а плечи увядают. Прервав речь на полуслове, Софья Борисовна забивается в уголок и оттуда наблюдает за зятем презрительными, немигающими глазами. Видно, что она не любит всего Аленочкина — ей не нравятся его движения, голос, мысли, слова, манеры, лицо.

За ужином Софья Борисовна ведет себя обычно, то есть откровенно выражает презрение к Аленочкину. Когда Владимир Алексеевич берет газету и углубляется в нее, она пожимает плечами и делает такую гримасу, словно говорит: «Вот какой занятый человек, что и поест не может без газеты!»; когда Владимир Алексеевич хмыкает — находит в газете интересное, — Софья Борисовна откровенно морщится.

Бориса терзает страстное любопытство — что не поделили Аленочкин и Софья Борисовна, в чем корень неприязни старой учительницы к Владимиру Алексеевичу?

— Борис Петрович, вам жидкий компот или густой? — словно издалека слышит он голос Любови Борисовны.

— Ах, да, да... — рассеянно отвечает Борис, еще не понимая вопроса, обращенного к нему.

— Вам жидкий компот или густой? — с понимающей улыбкой повторяет Любовь Борисовна. — Как вы глубоко задумались!

— Простите, Любовь Борисовна!

Галантно склонив голову, он весело смеется, разводит руками, как бы осуждая себя за то, что имел невежливость прослушать вопрос, обращенный к нему.

— Мне — средний компот! — продолжает смеяться Борис. — Я человек умеренных требований!

— А мне компота не надо! — тонким и сильным голосом восклицает Софья Борисовна. — Я уже по горло съта!

Резко поднявшись из-за стола, она решительным шагом уходит из столовой — маленькая, худенькая, с остро торчащими на спине лопатками. Быстро повернувшись к ней, Борис провожает ее взглядом, потом смотрит на Любовь Борисовну.

— Странно! — восклицает Любовь Борисовна. — Она так любит компот!

— Но зато не любит людей умеренных требований! — вдруг раздается из-за газеты спокойный голос Владимира Алексеевича. — И на этот раз нелюбовь к ним победила любовь к компоту.

Положив на стол газету, Владимир Алексеевич с легкой усмешкой проводит по уставшим от чтения векам.

— Кстати, сама Софья Борисовна ест компот средней концентрации! — насмешливо продолжает он. — А вот я люблю сладкую водичку!..

Борис Егоров восторженно расширяет глаза — оказывается, этот Аленочкин все видел и все слышал, хотя старательно делал вид, что углублен в газету.

«Чудо, а не человек!» — с любовью думает Борис.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

— Второй день? — огорченно спрашивает Максим.

— Второй день Емельян Кузьменко не выходит на работу! — повторяет мастер лебедек Валентина Батаногова, заглядывая в блокнот. — Я ходила к нему на дом, но не застала! — Она старается не смотреть на Максима, говорит тихо. — По деревне идет слух, что Емельян запил!

— Он не пьяница! — морщится Максим, быстро застегивая телогрейку. — Сплетни!

— Но на работу не выходит...

— Я пойду к Емельяну! Вы, Валентина Павловна, идите домой. На сегодня дела кончены. До свидания!

— До свидания! — совсем тихо отвечает Валентина.

Когда Максим выходит из конторы, на него наваливается тугой, взгальный ветер — хватает за полу телогрейки, рванув за воротник, раздувает кончик шарфа. Максим нагибается и плечами, головой, туловищем раздвигает плотную массу воздуха.

В конце апреля на Оби всегда дуют ветры. Упругие и настойчивые, они шлифуют до сияния торчащие из реки льдины, сметают с накатанных дорог сено и мусор; они словно

пылесосом продувают голую тайгу. Ветры дуют с утра и до поздней ночи, притихнув, отдохнув, на заре срываются опять.

Ветры подметают Обь, тайгу и болота к весне — они делают ноздреватыми, легкими толстые сугробы снега, обдувают ветви кедров, белые маковки вершин; громадной метлой ветры метут Васюганские болота. И они уже сейчас пахнут весной: оттаивающими смолевыми ветками, сырой землей, прелыми листьями.

Борясь с теплым апрельским ветром, Максим сердито думает об Емельяне Кузьменко — своем школьном товарище.

Всю зиму Емельян бузил — переходил с работы на работу, ругался с начальством, дважды пытался уволиться. С Максимом он поссорился еще осенью, когда тот приехал в Черный Яр с инженерским дипломом. Уже тогда Емельян встретил его угрюмо, злобно: «Моем начальством будешь!», а когда Максим попытался пригласить его в гости, усмехнулся: «К начальству в гости не хожу! Начальству со мной скучно — я человек серый!» Максим от удивления присвищнул, но Емельян повернулся и ушел. Недели через две Максим настойчиво повторил приглашение. На этот раз Емельян был еще злее. «Егорова с Аленочкиным приглашай в гости! — стиснув зубы, ответил он. — И вообще, не пойму, какого черта тебе от меня надо! Хочешь показать, что дружен с работягой!..» Потом они совсем разошлись, а несколько дней назад Максим был вынужден снять с работы Емельяна.

Через несколько минут ходьбы Максим подходит к дому Емельяна. Миновав калитку, Максим поднимается на крыльцо, хочет открыть сенную дверь, но вдруг опускает руку — он чувствует легкое покалывание в сердце. Становится грустно, тоскливо. «Я не был в этом доме лет семь!» — думает Максим, оглядывая почерневшие стены. Дом кажется ему очень маленьким. То ли оттого, что Максим вырос, то ли оттого, что дом ушел нижними венцами в землю.

Максим знает дом Емельяна до мелочей, до таких подробностей, которые известны только жильцам, — знает, например, что на чердаке есть маленькая, огороженная фанерой комнатка — в ней они детьми играли в дом; знает, что в сенях есть половица, которую можно поднять, — под нее Максим и Емеля прятались от мальчишек; знает, что за домом есть верстак, — на нем они мастерили деревянные сабли и пистолеты. И Казбека — разношерстного пса — знает Максим.

Увидев Максима, пес бросается навстречу, поднявшись на задние лапы, повизгивает от радости, высовывает язык. Максим ласково треплет его по скатанной шерсти. «Узнал! — растроганно думает Максим. — Узнал, Казбечина!» Он старается вспомнить, сколько лет псу, и у него получается, что Казбеку не меньше пятнадцати лет — потому-то он весь седой, и глаза у

него бесцветные, и лапы у пса стали вроде бы короче, и сам он — ниже и не лает уже от радости, а только визжит.

«Плохо! Все плохо!» — вздыхает Максим. Еще немного помедлив, он открывает дверь, проходит гулками пустыми сенями, в полутьме нащупывает ручку измятой двери. Он не нашел бы ее, если бы не знал на ощупь, где ручка. «Плохо!» — снова со вздохом думает он и, постучав, тянет на себя тяжелую дверь. Он не ждет ответа на стук, так как ответ все равно не будет слышен из-за двери, сделанной из толстых кедровых досок.

Максим входит в большую, но единственную комнату дома. В первые секунды он ничего не видит, ослепленный быстрым переходом из темных сеней в дом, где в глаза ему светят два небольших оконца.

— Здравствуйте! — наугад здоровается Максим.

— Кто это? Кто? — приглушенно доносится из угла комнаты.

— Это я, Прасковья Михайловна, Максим Ковалев, — открывая глаза, говорит он.

— Максимушка! — слышится вздох из того же угла.

Теперь Максим видит большую деревянную кровать и лежащую на ней Прасковью Михайловну — мать Емельяна, которая тяжело больна и лежит в кровати вот уже третий месяц.

— Проходи, Максимушка, садись! — шепчет Прасковья Михайловна. — Чего-то давно тебя не было... Уезжал куда или что? Матушка твоя кажинный день ходит, а тебя нету...

На цыпочках, чтобы не скрипеть разохшимися половицами, Максим проходит по комнате, не глядя, подтаскивает под себя табуретку и тихо опускается на нее.

— Совсем я плоха! — сама с собой разговаривает Прасковья Михайловна. — Совсем я на ноги сяла! Раньше, это, еще по дому ходила, шаршилась, а теперь совсем на ноги сяла. Щей, это, сварить не могу, картошки сжарить... Корову продали! — задумчиво сообщает она. — А как ее, корову, держать, коли я совсем на ноги сяла... Не знаю, поднимусь ли теперь на ноженьки-то! Не знаю, парень!

У Максима сжимаются тяжелые большие губы — он не узнает Прасковью Михайловну. Ведь еще осенью она ходила по дому, по двору, ухаживала за коровой, стояла в очередях в орсовском магазине. Была тяжеловато-полной, бледной, но веселой. А теперь... Сухонькая, остроносая, с серой кожей на лице, Прасковья Михайловна глядит в потолок большими, немигающими глазами. Волосы у нее совсем побелели.

— Надрыв во мне произошел! — шепчет Прасковья Михайловна. — Вот потому я на ноги и сяла... Матушка твоя, Максим, говорит: «Это у тебя, Михайловна, от невода!» Да я и сама думаю, что от него! Потаскай-ка неводище день-деньской... Вот я на ноги и сяла! — Она передыхает, набирается сил. — Мне бы только на ноги встать! Подняться бы мне на ноги... У Сузгиных

телушка есть, уступили бы. Поросят, слышала, по дешевке продают...— Она трудно поворачивает к Максиму лицо с лихорадочно блестящими глазами, спрашивает: — Ты не знаешь, Максимушка, почему поросята?

— Не знаю, тетя Паша! — тоже шепотом отвечает Максим.

— Плоха стала тетя Паша! — вздохнув, говорит Прасковья Михайловна.— Совсем тетя Паша на ноги сяла! Ты вот пришел, а мне тебя и угостить нечем... А ты любил мои шанюшки, Максимка, с маком да с творогом... Ты почему к нам не ходишь, Максимушка?

Опустив голову, Максим молчит. Его тяжелые губы сдвигаются так плотно, что становятся длинными, суровыми.

— Где Емельян, тетя Паша? — тихо спрашивает он.

— На печке спит... Некормленный он, голодный. Утресь мне кусок пирога принес, я и поснедала...

В комнате, оказывается, еще и холодно — даже через телогрейку Максим чувствует стылую нетопленность. Потом он замечает, что на столе воском замерзла струйка воды, избяная дверь подернулась инеем, а в доме грязно и пусто. На маленьких окнах нет занавесок, на столе — скатерти, печка давно не белена, пол покрыт коркой грязи, везде валяются тряпки, обрывки бумаги, веточки от веника.

— С третьеводни не убрано! — перехватив взгляд Максима, вздыхает Прасковья Михайловна.— Я ведь совсем на ноги сяла!

Она отвертывается от Максима, помолчав, говорит:

— Нужен Емеля, так разбуди...

Емельян спит крепко. Повалился лохматой головой в кучу старых шуб и телогреек, натащил на себя тулуп и как-то неловко, по-детски, подвернул под живот руку. Во сне лицо у Емельяна доброе, простецкое, улыбочивое, но затуманенное легкой, как бы мимолетной грустью. Большие брови Емельяна спокойно разведены, у губ нет тоскливой гримасы. Сейчас у него такое лицо, какое бывало у мальчишки. В детстве Емельян был хорошим мальчишкой — смелым, добрым, веселым и умным.

— Емельян! — Максим осторожно трогает Емельяна за плечо.— Вставай, Емельян! Ну вставай!

Емельян пошевеливается, застонав, вытаскивает руку из-под живота, перевертывается на бок, но не просыпается.

— Емельян! А Емельян!

Еще не совсем проснувшись, но услышав чужой голос, Емельян сдвигает брови, злым движением натягивает на голову тулуп.

— Емелюшка! Вставай! — ласково и негромко окликает сына Прасковья Михайловна.— Вставай, Емелюшка, к тебе товарищ пришел. Вставай, Емелюшка!

Емельян мгновенно открывает глаза, быстро поднявшись, сбрасывает тулуп.

— Что тебе, мама? — тревожно спрашивает он и видит Максима.

Емельян задерживает движение рук, которыми хотел опереться, чтобы спрыгнуть с печки. Брови у него сходятся на переносице, глаза становятся холодными, далекими.

— Ковалев,— усмехается Емельян.— В гости пришел...

Опростав ноги от тулупа, Емельян слезает с печки, идет к Прасковье Михайловне.

— Пить хочешь, мама? — спрашивает он и, не дождавшись ее ответа, берет с плиты чайник, протягивает матери. Она жадно пьет, напившись, роняет голову.

— Полегчало мне... Внутри все горит, ровно там печка... А теперь полегчало! — благодарно шепчет Прасковья Михайловна.

— Зачем пришел? — не поворачиваясь к Максиму, сердито спрашивает Емельян.

— Поговорить!

— О чем? — усмехается Емельян.— О чем ты можешь со мной говорить?

— Чайку поставь, Емелюшка! — торопливо перебивает сына Прасковья Михайловна.— Я ведь совсем на ноги сяла! Совсем по дому не шарашусь... Ты чайку поставь, Емеля, да сбегай в магазин, за пряниками...

— Ты зачем пришел? — не слушая мать, продолжает Емельян, и по его согнутой спине Максим понимает, что Емельян до отказа стискивает зубы.

— Чайку поставь, Емелюшка! — болезненно стонет Прасковья Михайловна.

— погоди, мама! — останавливает ее Емельян.— погоди с чайком...

Он повертывается к Максиму медленно, словно не сам, а кто-то посторонний поворачивает его, взяв сильными руками за плечи. Повернувшись, Емельян выпрямляется во весь рост — громадный, широкоплечий.

— Поговорить, значит, пришел! — презрительно улыбается он.— Проявить заботу о живом человеке! Тебя, наверное, учили в институте, что о живом человеке надо заботу проявлять...

— Емелюшка! — тонко восклицает Прасковья Михайловна.— Емелюшка, чего это ты...

— погоди, мама! — болезненно сморщившись, просит Емельян, кладя руку на высохшее плечо матери.— погоди, мама, мне надо поговорить с Ковалевым!

Теперь он говорит спокойнее:

— Неделю назад выгнал меня с работы, а теперь пришел проявлять заботу... Любопытненько! Не пойму, что это тебя привело! Может быть, Аленочкин послал? А может быть, с Егоровым посоветовался? Или сам пришел? Ну, чего молчишь? Сказать нечего...

— Я слушаю!

— Ах, вот как! — опять усмехается Емельян.— Он меня

слушает. Их величество инженер Ковалев изволят слушать разнорабочего Кузьменко! Они даже не перебивают его, так как знают, что ничего умного разнорабочий Кузьменко не скажет...

— Ну! Ну! — говорит Максим, внутренне холодея.

— Они нукают на разнорабочего Кузьменко! — разведя руками, зло смеется Емельян. — Они не могут ничего сказать, хотя пришли поговорить...

— Емелюшка! — жалобно стонет мать.

— Погоди, мама, постой... Им, инженеру Ковалеву, надо было бы захватить с собой технорука Егорова. Может быть, вдвоем лучше бы уговорили несознательного рабочего... Виноват, разнорабочего! Двоим было бы лучше... Они ведь дружки! — говорит матери Емельян и кивает на Максима. — Они дружки — Егоров и Ковалев. Вместе коньяк пьют из хрустальных рюмок, узенькие штаны носят, галстуки с булавками, заморские танцы танцуют... Они — дружки! — издевательски ухмыляется Емельян. — Инженеры!

— Емельян! Прекрати, Емельян! — тихо просит Максим.

— Пришел поговорить — слушай! — кричит Емельян и делает стремительное движение к Максиму.

Теперь они стоят друг против друга — сжав кулаки, тяжело дыша; они почти одного роста, широкоплечие, сильные, темнолицые; у них похожие фигуры, манера держаться, говор, руки замасленные, шершавые, плечи прямые, крепкие. Оба до предела взволнованы.

— Кузьменко! — по слогам произносит Максим.

— Ко-ва-лев! — тоже по слогам отвечает Емельян. — Зачем ты пришел ко мне? — дрожащим от обиды голосом продолжает Емельян. — Чтобы говорить красивые слова о пользе труда на благо родины. А я не поверю, если о родине будешь говорить ты! Я не верю тебе! Работать! Для чего? Чтобы Аленочкин, Егоров и ты получали премии, чтобы вы сидели в президиумах! Чтобы Егоров носил узенькие брючки и смотрел на меня, как на диво! Для этого?

— Емелюшка! — стонет Прасковья Михайловна, пытаюсь подняться. Она хочет взяться за кровать, но растопыренные тонкие пальцы хватают воздух.

— Лежи, мама! — с надрывом восклицает Емельян. — Погоди, мама, я все скажу ему... Какие ты слова знаешь, Ковалев, чтобы меня заставить на жизнь посмотреть добрыми глазами? Или ты, может, слово такое знаешь, которым мою маму на ноги поставишь, отца убитого мне вернешь, образование мне дашь? Я, думаешь, хуже тебя был бы инженером... Я лучше тебя по математике шел... Чем ты мне можешь помочь, Ковалев? Словами о родине... Не тебе их говорить! Не тебе и не Егорову! Вам от родины одно надо — сладкий кусок!

Он теперь совсем неистов, Емельян. Он похож на сумасшедшего, он одержим, он, наверное, не понимает, что говорит.

— Чего морщишься, Ковалев?! — кричит Емельян, заметив, как Максим страдальчески морщит губы. — Чего морщишься?! Обстановка наша не нравится! Занавесок нет! Скатертей! Сервантов нет... Это у Аленочкина, у Егорова, у тебя серванты да портьеры... Из хрустальных рюмок пьете! А мы из стакана — самогонку... Чего же ты ко мне пришел? Вали к Аленочкину — ты с ним дружок! Вместе ходите, чуть не в обнимочку... Иди к нему!

Бледный Максим делает два шага назад, отступив, глубоко засовывает руки в карманы, сжимает пальцы в кулак.

2

Максим выбегает из дома Емельяна, чуточку постояв на крыльце, широким шагом идет по улице. По-прежнему бесится ветер, низкие темные тучи быстро несутся над деревней. Западный край неба багров, словно где-то за синими кедрочками полыхает пожар, и оттого Черный Яр залит розовым отблеском. И ветер, и низкие тучи, и багровый край неба создают обстановку тревоги, неустроенности. У Максима такое ощущение, точно за кедрочками на самом деле полыхает пожар, и ему срочно надо бежать за далекий лес, чтобы кому-то помочь, кого-то спасти, но почему-то бежать нельзя.

На сердце холодно, пусто, как бывает всегда, когда встречаешься с людской неуживчивостью и непониманием. Нет слова правды в том, что говорил Емельян Кузьменко! Не таков же он, Максим, как представляет Емельян, и самое обидное то, что Кузьменко об этом должен знать. Мальчишками они очень дружили, дня не обходились друг без друга, веряли друг другу глубокие мальчишечьи тайны. У них была мечта вырасти и построить новый Черный Яр. Вместе рисовали смешные планы, высокую ажурную башню, на которой собирались водрузить алый флаг, обносили на рисунках берег гранитной стенкой, а дома изображали голубыми и розовыми. Над новым Черным Яром летали самолеты, похожие на стрекозы, у причала стояли пароходы, напоминающие торпеды, а в кедрочках прятались голубые мраморные будочки, в которых торговали мороженым и сладким морсом.

У мальчишки Емельяна была горячая фантазия, он был солидный, но добрый, честный. Когда они играли в войну, Емельян назывался начальником штаба. Он был непреклонен к воображаемым фашистам, считал себя самым красным большевиком. Он говорил: «Нет такого красного цвета, чтобы знать, какой я красный!»

Теперь же, когда Максим вернулся в Черный Яр, Емельян кричит, что Максиму надо свой сладкий кусок от государственного пирога, а на все остальное наплевать. Неужели не понимает того, что Максим затем и вернулся в Черный Яр, чтобы

исполнить уже не детскую мечту об ажурной башне, а зрелое, взрослое решение — помочь черныярцам сделать деревню и современную, и светлой, и радостной? Максим мог остаться в институте — ему предлагали, — мог работать в тресте, в конце концов, мог поехать в крупный лесозаготовительный район на должность заместителя главного инженера мощной сплавной конторы. Он же вернулся в Черный Яр, а Емельян бросает ему в лицо злые, несправедливые слова.

И все-таки Максиму понятно, что происходит с Емельяном. Старый друг запутался в жизни, в отношениях с людьми, а образ его, Максима, строит по подобию Петьки Голубя, брата Людмилы Голубь. Был в их классе такой Петька — ябеда, подхалим, пролаза и трус. Правдами и неправдами окончил десятилетку, поступил в институт, тоже с горем пополам окончил его и стал важным, недоступным, как китайский император. Прошлым летом он приезжал в Черный Яр, по слухам, вел себя гадко и мелко, поссорился с Емельяном, и тому теперь кажется, что Максим похож на Петьку. Зло и несправедливо! А ведь раньше Емельян был неглупым мальчишкой. Теперь же он ничего не видит потому, что неправедная обида на жизнь, на людей застилает взор.

Непонятно одно — за что Емельян не любит Аленочкина. Когда он говорил о нем, глаза были злы и гневны. Даже о Борисе Егорове он говорил с меньшей ненавистью, чем об Аленочкине. Чувствовалось это и раньше. Емельян как-то встретил Максима на улице, в ответ на приглашение заходить зло вздернул губу: «Ты к Аленочкину ходишь! Ты с ним дружок!» В этот раз он даже не упомянул о Егорове, хотя к техноруку тоже испытывал злость.

Остановившись, Максим замечает, что, разгоряченный, он незаметно забрел на край Черного Яра, почти вплотную подошел к маленькому домику на краю деревни. Повернувшись спиной к ветру, закурив, он еще раз оглядывает небо, пустынную реку — по-прежнему дует ветер, багровится запад. Однако ощущение тревоги постепенно проходит, мысли спокойны, четки. Еще немного постояв на месте, он облегченно улыбается и думает: «Мои ноги знали, что делали. Они привели меня туда, куда мне сейчас очень надо!»

В маленьком домике, что стоит над самой Обью — даже не стоит, а висит над ней, опершись одной стороной на две толстые сваи, — живет бывший рыбак, а ныне сплавщик Иннокентий Петрович Анисимов, с которым Максима связывает крепкая и чуточку странная из-за разницы в возрасте дружба. Максим еще был подростком, когда Иннокентий Петрович стал отличать его в толпе сверстников, подолгу разговаривал с ним, брал на рыбалку, водил в лес. Тогда это было непонятно, а теперь Максим знает, что Иннокентий Петрович отличал его потому, что старик дружил с отцом Максима, который погиб на Даль-

нем Востоке. Максим любил Иннокентия Петровича и любит его сейчас. Стоя возле маленького домика, он с радостью представляет, как зайдет в низенькую комнату, как заискрятся глаза Иннокентия Петровича и он станет с удовольствием оглаживать пальцами свою легкую и словно прозрачную бороду.

Еще раз радостно улыбнувшись, Максим входит в сени домика и без стука — старик не любит, когда к нему стучат, — открывает дверь. Бьет в нос запахом сушеных трав, сладостью слежавшихся овчин, рыбьей чешуей и тем ароматом, который издают свежие березовые веники, когда они только подбыгали на солнце.

— Здравствуй, Максим, садись на лавку! — одним духом произносит Иннокентий Петрович, не дав Максиму даже поздороваться. У него, как и ожидал Максим, лучатся глубоко запавшие светлые глаза, губы расплзаются в ласковую улыбку; он рукой оглаживает с довольным видом свою легкую, словно прозрачную бороду.

— Здравствуйте, Иннокентий Петрович! — весело здоровается Максим и садится на то место широкой и длинной лавки, на котором сидит всегда, — лицом к окошку, через которое виден вольный плес синей сейчас Оби.

Комната у Иннокентия Петровича маленькая, низенькая, но такая уютная, что трудно передать, как хорошо бывает в ней Максиму, когда он приходит к старику гостить. И очень трудно объяснить, что в комнате создает уют. Здесь нет почти никакой обстановки — не висят на окнах занавески, не лежат на полу домотканые деревенские коврики, но всякий входящий в комнату непременно испытывает чувство уюта и умиротворенности. Может быть, это объясняется тем, что комнатка мала и очень чиста, и тем, что в ней живут терпкие ароматы земли и трав да видна из небольшого окошка матушка Обь.

Сам Иннокентий Петрович вызывает тоже чувство спокойствия, уверенности и твердости. У него темное, не очень морщинистое лицо, хорошей формы и величины лоб, зоркие глаза. Иннокентий Петрович веселый человек — он умеет посмеиваться, громко хохотать.

Сейчас Иннокентий Петрович тоже очень весел, радушно-подвижен и бодр. Сидя на низеньком табурете, он плетет тонкую сеть: руки так и мелькают, вдевая иглицу в ячеи, а сам зорко присматривается к тому, как Максим садится на свое привычное место и как вообще ведет себя. Когда Максим окончательно усаживается, Иннокентий Петрович, не прекращая работы, громко, но неторопливо говорит:

— Сегодня мы разглядываем свой пуп!

— Точно! — отвечает Максим, и они враз хохочут.

Дело в том, что Иннокентий Петрович во время каждого прихода Максима начинает с того, что устанавливает, в каком состоянии и настроении находится Максим. В детстве это было

так: «Сегодня мы схлопотали от мамы хорошего шлепка!», или: «Сегодня мы получили пятерку по русскому языку!», или «Сегодня нас побили соседские ребяташки!» Став взрослее, Максим слышал другое: «Сегодня мы терпеть не можем Анку Светову!» или: «Сегодня мы не разговариваем ни с кем!» А теперь, когда Максим стал начальником рейда сплавного участка, Иннокентий Петрович отличает у него только три состояния: «Сегодня мы хорошо поработали на кране!», «Сегодня кран работал хреново!» и «Сегодня мы разглядываем свой пуп!», что значит — Максим думает о жизни.

Старик никогда не ошибается — он так знает Максима, что отлично определяет его настроение и, чуткий, умеет настраиваться на лад Максима, хотя всегда сохраняет и веселость, и всегдашнее свое милое и умное стариковское всепонимание, которое делает его особенно привлекательным.

— Рассказывай! — коротко приказывает Иннокентий Петрович.

Максим рассказывает подробно — и как встретил его Емельян, и как встретила мать Емельяна, и что сказал Емельян, и что сказала тетя Паша, и как поглядел Кузьменко, и как поглядела его мать, когда было сказано то-то и то-то; и что при этом чувствовал он, Максим, и что почувствовал потом, когда обдумывал разговор, и что чувствует сейчас, когда сидит против Иннокентия Петровича. Говорит Максим неторопливо, обстоятельно, находя по пути и новые мысли, и новые чувства, говорит так, словно мыслит вслух.

Иннокентий Петрович вяжет сеть, его жесткие и почти черные пальцы движутся с неуловимой быстротой, а в светлых глазах читается жгучее детское любопытство. «Давай, Максимушка, давай! — читается на его лице. — Говори дальше, а я, брат, послушаю да подумаю о том, что ты говоришь!»

— Вот, пожалуй, и все!

— Точка, значит! — улыбается старик. — Али еще запятая?

— Точка, Иннокентий Петрович!

Подумав, старик откладывает сеть, порывшись в карманах, достает кисет и газету, свертывает самокрутку. Движения у него неторопливые, словно нарочито медленные, и Максим выжидательно следит за ним, зная, что именно сейчас, закуривая, старик думает — на широком, просторном лбу появляется глубокая морщина, глаза чуточку темнеют, строжают. Спичку он чиркает резко, сильными пальцами.

Максиму интересно то, что происходит в широколобой голове старика. Без малого семидесятилетний, что он видит сейчас, какие картины проносятся перед его мысленным взором, какие ассоциации, воспоминания вызывает у старика рассказ об Емельяне, Егорове и Аленочкине. Ведь не так же смотрит на мир Иннокентий Петрович, как он, Максим Ковалев. Не так видит этот маленький деревянный стол, Обь за окном, иглицу,

которой плетет сеть; не так слышит слова и не то понимает в них. Как воспринимает человек с громадным жизненным опытом мир? Может быть, семидесятилетнему в жизни все немножечко смешно и грустно, может быть, наоборот, любое маленькое событие представляется неимоверно важным, так как жизненный опыт находит в нем тот скрытый и большой смысл, которого не видят те, кто не обладает таким опытом? И не сравнением ли жизненных фактов, сопоставлением их семидесятилетним человеком думает? Сейчас Иннокентий Петрович, может быть, вспоминает что-либо похожее — вдруг было в его жизни такое же.

Занятый этими мыслями, Максим смотрит на Иннокентия Петровича с уважением и любовью. Старик же неторопко курит самокрутку, глубоко затягивается и думает. Проходит, наверное, пять минут, потом он решительно берет иглицу, продевает ее в очередную ячейку и одновременно с этим быстрым и ловким движением спрашивает:

— Ты первый раз пришел к Емельяну на дом?

— Первый! — тихо отвечает Максим, так как в тоне старика слышится не только вопрос, а и ответ на него. «Первый ли ты раз пришел к Емельяну на дом?» Это суровое осуждение, это приговор. Действительно, Максим должен был уже давно пойти к Емельяну, любыми способами объясниться с ним, найти путь к запутавшемуся в жизни другу.

Иглица в руках Иннокентия Петровича опять бегаёт неуловимо быстро, в уголках губ стынет едва приметная веселая улыбка. Он, видимо, нарочно выдерживает длинную паузу, затем снова спрашивает:

— Ты приехал в Черный Яр вместе с Егоровым? В один день?

— Да!

И это опять не вопрос, а ответ. Действительно, Максим приехал в Черный Яр одновременно с Егоровым, первые дни не расставался с ним — ходил по деревне, иногда брал его под руку, и они шли тесно, как давние друзья. Потом Максим был у него на вечеринке, потом еще раз, а Емельян знал об этом и видел их вместе.

— Ты в Аленочкине души не чаешь? — спрашивает в третий раз Иннокентий Петрович, но на этот раз особенно долго и внимательно смотрит на Максима, и у старика такое выражение лица, словно он задал Максиму главный и самый сложный вопрос. И на этот раз в тоне Иннокентия Петровича не слышится ответа на заданный вопрос, не чувствуется, как относится сам старик к Аленочкину, и вообще трудно понять, зачем и почему задается этот третий вопрос.

— Мне нравится Аленочкин! — отвечает Максим.

Теперь, когда вопросы заданы, Иннокентий Петрович еще раз откладывает иглицу, повернувшись к Максиму, заглядывает

ему прямо в глаза. Говорить он начинает раздумчиво, очень медленно и как бы осторожно, словно подбирая слова и вслушиваясь в их звучание. Он говорит в своей обычной манере мыслить вслух. Старик долгие годы работал рыбаком, уезжал на целые недели к дальним обским озерам. В одиночестве он научился разговаривать вслух сам с собой, у него выработался протяжный и ласковый тон, которым говорят с животными и предметами.

— Запутался Емеля в жизни — это верно! — говорит Иннокентий Петрович. — Кружает, как стригунок жеребенок, а себя найти не может. Не мудрено, тяжелая ему жизнь досталась. Я как-то рано-рано вывездился, вышел на реку, смотрю — сидит Емеля на пеньке и думает. Четыре часа утра, а он сидит! Хорошо, смекаю, если человек о себе думает, есть ему путь. — Иннокентий Петрович продолжает еще медленнее, еще раздумчивее: — Емеля не тому завидует, что ты инженер и начальник, а тому, что ты знаешь много. Голове твоей завидует! На что я старик, а иногда потом исхожу от зависти — такой же человек, как я, а на двух языках говорит, в машинное нутро проникает, в книгах — как я в амбарушке. Вот чему завидует Емельян! Что горше ему всего? Серость его, отсталость.

Машинальным, неосознанным движением Иннокентий Петрович берет иглицу, продевает в очередную ячейку невода. И это тоже от привычки — на рыбных промыслах, в одиночестве, он всегда был занят делом: то сети проверяет, то хлебов варит, то рыбу коптит.

— О Борисе Егорове у меня разговор короткий! — продолжает старик. — Налимом я его зову! Рыба это хищная и ловкая, но довольно глупая.

Немного передохнув, старик внезапно улыбается:

— Касательно Аленочкина загадаю тебе загадку. Зеленое, блестящее, в комнате висит и пищит... Ну, ты знаешь ответ! Селедка. Зеленая потому, что выкрасили, пищит для того, чтобы не отгадали... Вот Аленочкин — он красный потому, что выкрасили, пищит для того, чтобы не отгадали. Не доходит?

Старик делается строгим, даже чуточку надменным. Широкие брови сходятся на переносице.

— Внимательно смотри, Максим, на Аленочкина! Интересный это человек, любопытный, как стерлядь. Та, говорят, еще до зарождения человека в воде плавала. Вечная это рыба — хребет гибкий, глаз острый, чешуя такая, что и щуке не по зубам, а ведь мягкой кажется, нежной. Потому и нет износу стерляди — живет миллион лет... Больше я тебе ничего не скажу. А теперь, как раз к сроку, мы с тобой, Максим, чай пить будем...

Иннокентий Петрович накрывает стол — ставит любимый, закопченный до крышки чайник, кружки-пиалы, режет на мелкие части копченую рыбу, колет на крупные куски сахар-рафи-

над. Чай у старика вкусный, рыба отменная, сахар слаще, чем дома (так казалось Максиму в детстве и кажется сейчас). Однако сегодня Максим не испытывает того обычного оживления, какое испытывал всегда, когда Иннокентий Петрович собирался угощать его чаем.

В словах старика об Аленочкине Максим уловил тревожное и грозное. И в тоне Иннокентия Петровича, и в светлых глазах его, и в том, что, говоря об Аленочкине, старик дважды сбился, втыкая иглицу не туда, куда надо, Максим увидел и почувствовал неприязнь старика к начальнику сплавного участка. Хорошо зная старика, Максим мог бы по пальцам перечислить людей, к которым он относился бы так же неприязненно, как к Аленочкину. Настораживало и то, что Иннокентий Петрович не ругал прямо Аленочкина, что означало крайнюю степень неприязни. Людей ошибающихся, вздорных или неуживчивых старик ругал долго и откровенно, а если он был сдержан к человеку, то это значило — человек до невозможности плох.

Почему же он так относится к Аленочкину? Вконец встревоженный Максим придвигается к столу, рассеянно берет чашку с чаем, подносит к губам, но не выдерживает — резко повертывается к Иннокентию Петровичу, взмахнув рукой, хочет спросить его об Аленочкине, но старик предупреждающе двигает бровями.

— Знаю, чего вертись, — строго говорит он. — Ни слова не скажу... Зри сам, отрок!

3

Татьяна Егоровна сквозь ветер и темень шагает к Прасковье Михайловне Кузьменко. В руках у нее маленький чемоданчик, из-под пальто выглядывает белый халат. Шагает она торопливо.

Татьяна Егоровна иногда в шутку говорит, что чернорабских жителей она знает насквозь. «Они для меня голые, эти чернорабцы!» — смеется она, когда речь заходит о жителях деревни.

В шутке Татьяны Егоровны много правды — тех чернорабцев, которым сейчас не больше двадцати лет, Татьяна Егоровна держала в окровавленных руках в тот великий для них момент, когда они появились на свет; жителей деревни, которым больше двадцати лет, Татьяна Егоровна когда-нибудь да лечила — от гриппа, свинки, воспаления легких, ревматизма, чирьев, рожи и т. д.

Татьяна Егоровна Ковалева знает все о каждом жителе Черного Яра. Ей известно, что у пожилого рабочего Перегудова на обоих легких петрификаты, на животе — шрам от осколка немецкой мины, что Иван, напившись на праздники, кричит жене Анне: «Сука!» — и выгоняет ее из дому, ссылаясь на то, что двадцать лет назад Анна не сразу вышла замуж за Ивана, а

раздумывала, не выйти ли ей лучше за Петра. В свою очередь о Петре Татьяне Егоровне известно, что у него грюжа белой линии.

Татьяна Егоровна знает, что едят в каждом черноморском доме, у кого сегодня есть деньги, у кого — нет; ей первой становятся известными через пожилых женщин все сердечные тайны и переживания деревенских жителей; она знает, кто что купил в орсовском магазине.

Татьяна Егоровна чувствует себя в Черном Яре как в большом собственном доме. Она никогда не стучит в двери черноморских домов, а просто входит в комнату, мельком поздоровавшись, идет к умывальнику. Ей ничего не стоит в пух и прах разругать хозяйку дома за грязь, накричать на хозяина по поводу того, что неделю назад напился; она прошлым летом на глазах у начальника сплавного участка Аленочкина сняла с лебедки целую смену рабочих за то, что они своевременно не сделали уколов против столбняка. Татьяна Егоровна — огромная власть в деревне. Без нее не обходятся ни одна свадьба, ни рождение, ни именины, ни драка, так как после драки Татьяна Егоровна зашивает раны.

Несколько лет назад Татьяна Егоровна смотрела фильм «Сельский врач»; выходя из черноморского клуба, она грустно улыбалась: «Сплошной праздник и любовь!» У нее в жизни не было праздников, а любовь убила японская пуля... В ее жизни все было не так, как в кинофильме «Сельский врач», хотя должно бы быть так — и праздники и любовь.

Взгальный, настойчивый ветер силится столкнуть Татьяну Егоровну с узенькой тропинки — хватает ее за полы короткого пальто, забирается за воротник, упругими ладонями нажимает на спину; ветер, словно нарочно, старается задержать ее. Но Татьяна Егоровна не сердится на ветер. Ветер — это хорошо, это здорово. Если на Васюганских болотах дуют взгальные, упрямые ветры, значит, близка весна, значит, через несколько дней на Оби поднимется бурый, торосистый лед, на черном берегу проглянет веселый глазок зелени.

Нынешняя весна особенная для Татьяны Егоровны. В деревню вернулся Максим, и впервые за пять лет они вместе встречают весну.

Татьяна Егоровна горда Максимом — сын вырос таким, каким она хотела, и она теперь счастлива. Ее жизнь не прошла даром, а то, что жизнь была тяжелой, — что поделаешь! Не она одна осталась без мужа; не только ей пришлось хлебнуть горького. Не было в жизни праздников... Что же! Не было веселых друзей, курортов, театров... Не было, собственно, молодости...

Смнная сырой ветер, идет Татьяна Егоровна по длинной черноморской улице, которую, впрочем, и улицей-то называть трудно: какая же это улица, если только на одной ее стороне стоят дома, а вторая сторона — высокий берег Оби. Да и жи-

лых домов в Черном Яре мало — всего двадцать четыре, хотя домов на самом деле значительно больше.

Двенадцать домов в Черном Яре крест-накрест заколочены досками — ветер дико свистит в холодных трубах, скрипят прогнившие стропила, голые деревья; забитые досками окошки похожи на раны. Жутко видеть, что крыши пустых домов покрыты слежавшимся, черным снегом, хотя с жилых домов хозяева давно соскребли снеговую корку.

Татьяна Егоровна заколоченные дома знает так же хорошо, как и живые, — помнит, где расположена печка, где полати, как сколочены пристенные лавки, в каком углу божница. И бывших хозяев домов знает она... В доме на пригорке жил горбатый, слепой старик, который играл на гусях — настоящих гусях... Через два дома от старика гусяра жили Вагановы — муж и два сына убиты на фронте... В узеньком простенке между двумя кедрами стоит маленький дом Шмелевых — вся семья подалась в город за старшим сыном, когда в Черном Яре случился неурожай картошки и коровы дохли от голода... В пятом доме до сих пор живет трагедия — в сенях из-за несчастной любви повесилась единственная дочь... Хозяева шестого дома стали большими людьми — средний сын Кондрашевых вышел в генералы и увез родителей в Москву...

Когда Татьяна Егоровна проходит мимо заколоченных домов, ее охватывает такая острая тоска, словно она идет по кладбищу. Поэтому Татьяна Егоровна и днем и ночью мимо заколоченных домов проходит торопливым шагом, отвернувшись. Доски, которыми забиты окна, ей кажутся похожими на кресты.

Ветер!.. Ветер! Сырой и сильный.

Это первая весна в жизни Татьяны Егоровны, когда Максим взрослым человеком вернулся на голубую Обь. Сын был еще совсем мальчишкой, когда то ли наяву, то ли во сне увидел над Черным Яром ажурную башню, на которой развевался алый флаг. Он прибежал к ней, таща за руку потешного Емельяна Кузьменко. «Железная башня, а с башни видно все-все!» — рассказывал Максим. «Я тоже стану инженером!» — заявил солидный Емеля. Чудесным мальчишкой был Емельян Кузьменко — способный, умный, ласковый и смелый. Татьяна Егоровна любила его, как собственного сына, а с его матерью — веселой хохотушкой Пашей Кузьменко — дружила.

Теперь Паша Кузьменко умирает.

Дом Паши совсем покосился — старенький, продутый до черноты ветрами, окруженный развалившимся забором. И пес Казбек тоже очень стар. Он уже не лает от радости, когда бросается навстречу Татьяне Егоровне, а только тихонько повизгивает и виляет облезлым хвостом.

— Да, да, я к вам, Казбек! — тихо говорит она собаке, поглаживая ее по скатавшейся шерсти. — К вам, к вам...

Да, Паша Кузьменко умирает! Кому, как не врачу Татьяне Ковалевой, знать об этом... Война подкосила Пашу — у нее сложная болезнь позвоночника. А какой работницей была Паша: веселой, быстрой, проворной; не было лучше в Черном Яре рыбачки, никто не пел песни таким звонким голосом, никто не плясал так лихо на праздниках, как она. Не жалела себя на промысле Паша; в годы войны она говорила Татьяне Егоровне: «Мужики воюют, их кормить надо! Мужикам труднее, чем нам, — со смертью рядом ходят!» И работала так, как не работали некоторые мужчины, — в холод и голод не теряла веселости, задора, все ждала, когда вернется с фронта муж. А он не вернулся! И тогда скрутила Пашу болезнь, с которой было бы легче бороться, если бы пришел домой ее Гриша.

Умирает Паша Кузьменко. Одна лежит в избе, так как ее сын Емельян не любит, когда ходят соседки, подружки, зло кричит на них: «Не надо нам вашей жалости!» С Емельяном дела плохи — вчера они с Максимом говорили о нем. «Трудно Емельяну, потерялся он в этом большом и сложном мире!» — сказал сын. Это так и есть — в Черном Яре Емельян не смог найти себя. И это понятно: деревня во многом отстала от жизни — всего в ста километрах от Черного Яра, на сбиве Оби и Каи, вырос за войну чуть ли не город, ниже по реке — в ста пятидесяти километрах — образовался самый крупный в области леспромхоз, а в Черном Яре только недавно открыт небольшой сплавной участок. Невыгодно стоял Черный Яр: сплавная речушка мала, массивы сосняков хилы, сразу за деревней, за кедрачами, начинаются болота. Потому и не расстраивался Черный Яр, отставал от соседей. В годы войны нужно было брать лес быстрее там, где это было выгодно, а черныярский лес был дорог.

Так и оставался в стороне Черный Яр, а вместе с ним и Емельян Кузьменко. Сын сказал о нем: «Озлобился на весь мир!»

Умирает Паша Кузьменко, а над Обью и Васюганьем несутся сырые весенние ветры — они торопятся взломать холодную грязно-серую реку. Придет весна, потом лето... Паше жить остается недолго. Никто в целом мире не может помочь ей. Нет лекарств против Пашиной болезни, и неизвестно, когда будут. Кому, как не врачу Ковалевой, знать об этом. «Подружка, подружка!» — тоскливо шепчет Татьяна Егоровна.

4

Обь тронулась ночью, когда над Черным Яром бешено неслись с юга на север низкие плотные тучи.

За несколько минут до того, как река тронулась, на берег, лениво волоча длинные задние ноги, выскакал медленный грязный заяц. Сев под талину, вытянул мордочку с дрожащими уса-

ми и нервно понохал воздух, насквозь пропитанный сыростью. Потом, наклонив голову, стал смотреть на Обь.

Выл ветрище, талина над зайцем скрипела, и он сидел на снегу тревожно, как на горячей сковородке, — прижав уши, не поставив лапы на землю, а как бы лишь прикасаясь к ней напряженными мускулами. Заяц был худой, тощий, с грустными глазами и на Обь глядел печально, точно не верил, что скоро будет тепло, солнечно, а на веретях вырастет сладкая заячья капуста.

Заяц недолго сидел под талиной — он вдруг тонко, жалобно вскрикнул и взвился вверх метровым прыжком. Заяц только на секунду опередил звук, который грозным накатом пронесся над рекой, над Черным Яром, над Васюганьем.

Что-то заскрежетало, заныло, потом раздался протяжный стон, грохот и скрипенье — река пошла, и, словно для того, чтобы увидеть это, из-за туч показалась луна. Сразу увиделось, как на середине реки, блеснув зеркальным изломом, поднялась на дыбки льдина, несколько раз перевернувшись, встала вертикально — громадная, высокая — да так и поплыла дальше.

Затем за несколько минут все стихло. Отмахавший с полкилометра по верети заяц прилег на снег, жадно лизнув его языком, прислушался к лихорадочному биению собственного сердца. Была немая тишина — без ветра, без звука. Когда прошло время первой тишины, послышался тихий треск — такой бывает, когда роговым гребнем расчесывают сухие волосы. Треск медленно усиливался, отдельные звуки сливались, сталкивались, пока над рекой не пронесся сплошной шорох, как будто кто-то мял руками пергаментную бумагу.

Заяц опять высоко подпрыгнул и понесся дальше — может быть, рассказывать другим зайцам, что Обь наконец-то тронулась.

Лед шел три дня, на четвертый Обь стала голубой и широкой, как море. Она залила тальники и осиновую рощу, на пять километров ушла от берегов, превратив видимое пространство в сияющую голубизну. И вот уже пятый день над рекой ярко полыхает майское солнце, раздробившись в воде на тысячи солнц.

У чернойярского берега Обь сердито тычется в яр — высокий и глинистый, который река не может перешагнуть. Глина яра темна, отсюда и название деревни — Черный Яр. Но какой бы черной ни была глина, она крепко держит обскую волну, не допускает ее на чернойярский берег, по которому ходят принаряженные чернойярцы — деревня гуляет. Под весенним солнцем, на берегу разлившейся, как море, Оби, Черный Яр справляет Первое мая.

Третий день в некоторых чернойярских домах пьют крепкую брагу, водку, самогон; третий день компании шатаются из дома в дом, где загодя приготовлено спиртное и закуска; третий день из этих домов несутся звуки гармошки, голоса поющих, крики

ссорающихся; третий день ходит по черноморским улицам специально приехавший на праздник участковый уполномоченный милиции товарищ Колпаков.

Подвыпив, черноморцы идут на берег Оби, ибо берег — это клуб, арена, место сборищ, площадь, которая так же важна для деревни, как центральная площадь для города. Здесь черноморцы встречают приехавших, провожают; здесь, на берегу, они работают, отдыхают, влюбляются и даже женятся, так как свадьбы тоже приходят после выпивки на берег — плясать и петь песни.

Сегодня на глинистом яру веселится компания мужчин и женщин — человек десять собралось в кружок, в котором лихо отплясывает под гармошку женщина. Молодой гармонист сидит на пеньке, покачиваясь, рвет трехрядку и кажет народу белые зубы. «Вот как нам весело!» — говорит его застывшая улыбка.

Сталью отликает огромная Обь, светит солнце, за деревней ярко синееет молодой кедрок, за кедрком — еще кедрок, а за ним — третий кедрок, отороченный по горизонту голубой дымкой. Тепло и тихо, а ветер такой слабый и ласковый, что к нему хочется прикоснуться щекой.

— Иэх! — вскрикивает женщина, помахивая белым платочком. — Иэх, пошла плясать, дома нечего кусать! Иэх!

Она уже немолода, эта женщина, ей лет за сорок.

— Давай, Анна! — кричит высокий мужчина, ее муж. — Откальвай!

И Анна Перегудова откальвает — то присядкой идет, то кругом, то бьет высокими каблуками по твердой земле, утоптанной плясунами.

— Пошла плясать, дома нечего кусать! — визжит она.

Старательно, истово отплясывает Анна; окружающие ее мужчины и женщины молчат, сосредоточенные и внимательные, следят за ней. Им, женщинам и мужчинам, давно уже надоело пить и плясать, давно уже хочется ткнуться гудящей головой в мягкую подушку. У них усталые, серые лица, налитые алко-голем, потные тела. Мужчин и женщин уже валит с ног усталость, но они продолжают пить и веселиться — пить потому, что водка дает силы веселиться, а веселиться потому, что вековой традицией в праздники заведено плясать на берегу, ходить из дома в дом, орать песни и ссориться. Традиция, привычки, а не веселье, не потребность в пляске заставляет плясать Анну в орущем кругу мужчин и женщин, и по той же традиции у нее на лице застывает веселая улыбка, а муж Иван кричит: «Откальвай!», а молодой гармонист старательно показывает, что ему весело.

— Иэх! Пошла плясать, дома нечего кусать! — повторяет привязавшуюся припевку Анна. И повторяет, наверно, потому, что припевка точно выражает и внутреннее состояние Анны, и ее грустные мысли, прикрытые искусственной, вымученной улыбкой.

По две, три тысячи прогуливают за праздники некоторые черныярские семьи — на водку, на закуски, на приправы; за праздники съедается все то, что было заготовлено осенью. Последние осенние запасы выкладывают на стол люди во время первомайских праздников.

— Ех! — веселится Анна Перегудова, а сама думает о том, что унесла в магазин последнюю сотню и истратила ее на водку, чтобы не было стыдно перед людьми: выпить, дескать, нечего у Перегудовых. — Ех! — пляшет Анна, а в доме хоть шаром покати после того, как двадцать человек побывали в гостях у Перегудовых, — ни масла, ни мяса, ни огурцов. — Иэх! — взвизгивает Анна, а сама раздумывает, у кого будет занимать деньги до двадцатого мая, когда муж Иван получит первую большую зарплату.

Придется идти Анне к тем черныярцам, что не пьют дико, что праздники проводят солидно, обстоятельно; придется занимать деньги у соседей. А что делать? Иван требует, чтобы на праздники звать не меньше двадцати человек; он любит выпить, ее Иван.

— Ех! Жить будем, да и плясать будем, а смерть придет, помирать будем! — веселится Анна.

— Рви, Анна! — подзадоривает ее муж.

Веселится компания. А рядом струится Обь, светит солнце, плещет речная волна и зеленеет за Черным Яром кедровый бор, покрытый глянцевицей и молодой зеленью. Хорошо вокруг.

Под солнцем, среди голубого сияния обской волны, обдуваемый теплым и ласковым ветром, медленно идет по берегу Емельян Кузьменко. Он не пьяница, к водке чувствует болезненное отвращение, но сегодня с утра, в одиночестве, он тоже хватил два полных стакана обжигающей жидкости.

Почти двухметрового роста, с громадными кулачищами, налитый водкой и злостью, Емельян напряженно шагает по обскому берегу и старательно ищет, с кем бы схватиться. Он нарочно задевает встречаемых плечом, толкает их, чтобы вызвать ответную вспышку или хотя бы недовольство. Емельяну нужен враг — нет сил держать в себе ненависть к пьяным людям: к неистовым женщинам, к мужчинам, делающим вид, что им весело. «Представляются, сволочи! — думает Емельян. — Показывают, что им весело!» Врага он найти не может — встречаемых, которых он задевает плечом, испуганно шарахаются в сторону, другие загодя обходят Емельяна, так как пьющие черныярцы панически боятся его огромного роста, могучих ручищ, неистовости. «Труссы!» — зло ругает их Емельян. «Труссы!» — злится он, выходя на берег, где танцует веселящаяся Анна Перегудова. «Пляшут, веселятся!» — сквозь зубы цедит Емельян, останавливаясь в десяти метрах от женщин и мужчин. Здесь все те, кого он особенно ненавидит в Черном Яре, — прижимистые, хитрые мужчины, умеющие копить деньги; просто пьяницы и гулеваны;

рабочие из тех, что приехали в Черный Яр за длинным рублем, когда открылся сплавной участок.

Емельян без пальто, в одном черном поношенном пиджаке, на голове кепка, из-под которой выбивается огромный русый чуб. У него красивые волосы — мягкие и шелковые, как у пятилетнего ребенка.

— Танцуете! Пляшете! — кривит он губы. — Сейчас я вам покажу пляску!

Мужчины и женщины замечают Емельяна — гармошка словно захлебывается звуком, пляшущая Анна замирает с поднятыми вверх руками.

— Пляшете? — спрашивает Емельян, подходя к людям.

5

— Пляшете? — переспрашивает Емельян и злыми, покрасневшими от водки глазами обводит замерших мужчин и женщин. — Пляшете? — в третий раз спрашивает он, покачиваясь не от водки, а оттого, что руки сами тянутся к пьяным рожам мужчин, и он держит кулаки в карманах. — Ну, чего замолкли, трусы! — обводит он их взглядом. — Бойтесь! Трусы! Трусы! — издевается Емельян.

Ох, какая тоска! Живут, называется... Как тараканы забились в щели, дрожат за свое благополучие, за сытую жизнь, за свой Черный Яр. Какие вы, люди, сволочи! Эх вы, сволочи! Для чего живете — чтобы пить да жрать? Ну, покажите, что вы люди, а не тараканы! Поднимите головы, избеите до полусмерти Емельяна, докажите, что вы не тараканы! Бойтесь! Эх, вы!

«Избеите меня, сволочи», — думает Емельян, тоскуя от ненависти к испуганным мужикам.

— Ну что, зайцы, трусы, бабы! — вслух спрашивает Емельян. — Ну, что стоите!

— Шел бы ты отдыхать, Емеля! — как можно мягче говорит гармонист. — Или спляши, я сыграю!

Ах, трусы, трусы! Нет здесь тех людей, что могли бы схватиться с Емельяном! Самые сильные и смелые не шатаются с песнями по берегу — по-другому встречают они праздник. А он, Емельян? Тоже пьян, гадок, растерзан. Эх, жизнь, черт подери! Емельян взмахивает кулаком и с криком «Убью!» бросается на гармониста. Тот валится с пенька, задрав неловко ноги, дрыгает ими, пытается подняться, но не может и закрывает руками голову.

— Лежачих не бьем! — презрительно кричит ему Емельян и бросается за самым высоким и здоровенным мужиком — Иваном Перегудовым. Тот убегает — странно видеть его, такого здорового, убегающим, но бежит резво, испуганно оглядываясь на ходу. Тяжелый на ноги Емельян не может догнать Ивана, остановившись, озирается, чтобы найти противника. — Трусы!

Козявки! — на весь берег ревет Емельян, но вдруг ссутуливается, склоняет голову, длинные руки безвольно повисают вдоль тела. «Убежали, трусы!» — с тоской думает он и не замечает, что гармонист, упавший с пенька, обронил шапку. Сейчас гармонист возвращается за ней.

Гармонист не идет, а крадется к шапке — не дыша, на цыпочках, облизывая языком губы. Смотрит он не на шапку, а на Емельяна. До шапки остается метра три, когда Емельян замечает тень гармониста, пробегающую по земле. Емельяну становится противно, и он делает вид, что не замечает крадущегося. «Козявки! Сволочи!» — ругается он про себя. Разве это люди! Боится его, но страх потерять шапку сильнее всего. Кулаки! Куркули! Сволочи! Лишь бы не пропала шапка, а оскорбление — пустяк, мелочь. О, сволочь! Ну погоди же!

— Э! — внезапно вскрикивает Емельян и бросается к крадущемуся гармонисту.

Тот, напружинившийся, приготовившийся ко всяким неожиданностям, убегает так быстро, что и его Емельян догнать не может. От злости к трусливому гармонисту он бросается к шапке, топчет ее ногами, приплясывает на ней, точно танцует дикарский танец.

— Получайте! — кричит Емельян. — Вот... Вот вашей шапке!

Но по берегу уже несется истошный, многоголосый крик — приходят в себя пьяные женщины, смеются мужчины. Дело в том, что, сопровождаемый радостным криком мальчишек, к Емельяну по-военному вышагивает участковый уполномоченный районного отдела милиции товарищ Колпаков.

— Забрать его! Посадить! В кутузку! — кричат милиционеры. — Куда милиция смотрит! Безобразия!

В отличной шинели, в фуражке с красным околышем, поблескивая звездочками на погонах и желтой кожей кобуры, Колпаков ни на кого не обращает внимания. Это словно не за ним валит возбужденная толпа — мужчины и женщины, ребятишки, невеста откуда появившаяся сплетница Сузгиниха и еще несколько человек. Не меньше двадцати черноморцев идут за Колпаковым, чтобы посмотреть, как участковый будет «забирать» Емельяна. А впереди всех ковыляет вдруг сильно опьяневший гармонист.

— Гляди, народ, что он с моей шапкой сделал! — трагически кричит он, потрясая шапкой. — Гляди, народ, что сделал с ней!

— У! — стремительно наклоняется к гармонисту Емельян, но в голосе уже нет угрозы. Емельяна охватывает безразличие, тело становится ватным, непослушным. Хочется сесть на прогревающуюся под солнцем землю и ни о чем не думать.

Толпа тесно сжимает милиционера и Емельяна. Люди наваливаются спереди и сзади, дышат водочным перегаром, луком, чесноком.

— Пускай заплатит за шапку! — визжит гармонист.

— В кутузку его! — кричит баба Сузгиниха.

Толпа шевелится под ярким весенним солнцем, двигаясь, то распадается на отдельные островки — группы, то сжимается опять вокруг Емельяна и Колпакова. Приободренные приходом Колпакова мужчины кричат:

— Изватлять его!

— Судить!.. Морду начистить!

Хриплые от водки голоса похожи друг на друга.

— Засадить в кутузку! — надрывается Сузгиниха.

Емельян стоит в центре толпы. Ни Колпакова, ни мужиков он не боится, но ему мутно, тоскливо оттого, что кругом красные, пьяные лица, мутные глаза. «Трусы! Сволочи!» — ругает он людей, так как не находит в толпе ни одного симпатичного лица. Вокруг Емельяна стоит тот самый Черный Яр, что пьет три дня подряд, что ходит из дома в дом, что неистово ревет, приплясывая: «Пошла плясать, дома нечего кусать!» А где друзья Емельяна? Нет здесь у него друзей. Был раньше другом Максим Ковалев, да не тот теперь он; был другом Пашка Вертков, да нет теперь Пашки — работает инженером на большом заводе, а дом, в котором жил Пашка с родителями, заколочен крест-накрест досками.

Пьяный Черный Яр вокруг Емельяна. Другого Черного Яра, того, что не пьет и не пляшет, нет на берегу — нет молодых красновщиков, слесарей, дизелистов, девушек-сортировщиц. Непьющий Черный Яр поехал сегодня за реку — на рыбалку, на охоту, — сидит дома, отдыхая перед трудной и длинной навигацией. На берегу вокруг Емельяна только тот Черный Яр, что пьет и орет песни под ясным весенним солнцем, те самые, что варят самогонку, брагу, собирают дома большие компании. Здесь большинство рабочих со старых лебедок Мерзлякова.

«Эх, жизнь наша», — вздыхает Емельян. Нет вокруг друзей. Злы все на Емельяна, и только лицо одного человека не пылает злобой к Емельяну. И самое странное то, что это лицо принадлежит участковому уполномоченному Колпакову.

— Пройдем, Емельян! — говорит Колпаков, мягко беря пальцами Емельяна за рукав. — Расступись! — приказывает он толпе. — Ну, кому говорят! — орет Колпаков на людей, ибо участковый уполномоченный тоже зол на пьяных мужиков: он третий день ходит по Черному Яру, но так и не может найти дом, в котором варят самогонку. — Разойдись! — кричит Колпаков.

В толпе образуется брешь, люди расступаются, чтобы Емельян и Колпаков могли пройти. И они уже почти выходят из толпы, как над берегом раздается тонкий и испуганный мальчишеский крик:

— Смотрите!

Мальчишка кричит тонко, фистулой, в голосе и испуг, и пронзительный восторг.

— Глядите, какая чуда!

Емельян, Колпаков, все, кто стоят на берегу, оборачиваются на голос мальчишки. Сначала они ничего не понимают, но потом видят, что мальчишка смотрит на Обь. И когда люди оборачиваются к реке, тихий вздох пронесется над ними.

На расплавленной солнцем Оби, на широкой излучине, возникает что-то серое, громадное. И это серое, громадное почему-то кажется ажурным, воздушным — то ли оттого, что, отражаясь в реке, не плывет в ней, а висит, то ли оттого, что серое и громадное покрывает голубая дымка.

— Большой пароход! — восторженно охают ребятишки.

Но это не большой пароход, так как серое и громадное много выше и больше парохода.

— Трехэтажный дом! — вопят ребятишки.

Но это не трехэтажный дом, так как трехэтажный дом не может быть таким легким и ажурным.

— Батюшки! — вскрикивает сплетница Сузгиниха.

Вот «батюшки» — это, пожалуй, то самое, что наиболее точно выражает впечатление от серого и громадного, так как в истории Черного Яра еще никогда не приближалось к берегу такое огромное, серое, ажурное, легкое и сияющее на солнце.

— Приближается! — стонут от восторга ребятишки.

И это так — громадное приближается, занимая все большую и большую часть голубого неба. И крошечным, малой малостью кажется рядом с громадным буксирный пароход, который тянет это громадное к черноморскому берегу.

— Новый погрузочный кран! — шепчет Емельян Кузьменко, вырывая руку из пальцев участкового Колпакова. — Новый кран! — шепчет Емельян, забывая о том, что он все еще находится в толпе ненавидящих его черноморцев.

— Новый кран! — охает весь берег.

Жители Черного Яра бросаются к Оби.

Семена, бежит пожилой директор школы; идут учителя; закрыв на замок магазин, бежит на берег продавец орсовского магазина Иван Иванович Голубь, отец Людмилы; легким шагом бегут девушки из конторы, Валентина Батаногова; шагает на берег Татьяна Егоровна Ковалева, старики и старухи. Бежит тот Черный Яр, что не пьет, что с большой радостью и надеждой ждет новый погрузочный кран, — молодые крановщики, дизелисты, подсобные рабочие, девушки-сортировщицы.

Громадное, серое, величественное приближается — уже видны переплетения металла, мощный понтон, поддерживающий тело крана; солнце переливается в окнах кабины крановщика, на ажурной, легкой даже на вид стреле. Кран приближается медленно, но от медленности кажется, что он будет без конца увеличиваться в размерах, что, сейчас захватывающий четверть голубого неба, захватит скоро половину его, потом три четверти, а пристав к берегу, все небо.

Люди молчат. В напряженной тишине слышно тяжелое шипенье буксира, ожесточенный стук паровых плив, шип пара. Уже можно прочесть на спасательных кругах, висящих на леерах буксира, крупные буквы «Щетинкин». Буксир делает разворот, чтобы причалить кран, а когда забирает левее, толпа возбужденно пошевеливается, так как только теперь, когда кран поворачивается, видно по-настоящему, какой он громадный и величественный. Занявший половину синего неба, кран так высок, что люди поднимают головы, чтобы увидеть верх механизма.

— Ой-ой! — стонет от восторга белоголовый мальчишка.

Проходит еще несколько минут, и на лица черноморцев падает тень — кран закрывает от них солнце. Вода с шумом бурлит у яра, с грохотом валятся глиняные глыбы; берег вздрагивает.

Слышно шипенье, тонкие гудки «Щетинкина», крик матросов: «Прими чалку!» Машина «Щетинкина» ожесточенно срабатывает назад, кран от этого выравнивается. Летят легкости, их принимают, на берег выскакивают речники, начинают закреплять чалки, а черноморцы стоят все еще молча. На их лицах тень. Кран так близок к берегу, что Максим Ковалев, Аленичкин и Егоров, стоящие на понтоне, оказываются в десяти метрах от черноморцев.

— Здравствуйте, товарищи! — весело кричит Владимир Алексеевич Аленичкин.

6

Когда нервное напряжение первых минут встречи проходит и буксир «Щетинкин», сработав задним ходом, убегает вниз по реке, Емельян вспоминает, что его задержал участковый уполномоченный Колпаков и собирается вести в «отделение» — небольшую комнатку в доме вдовы Сузгинихи.

Зажатый в толпе, Емельян торопливо оглядывается и присвистывает от удивления — Колпакова нет, а те мужики, что с ожесточением кричали: «Извалтать Емельяна!», спокойно стоят возле него.

На толпу падает резкая тень громадного крана, все еще валятся в воду с яра кусочки земли, но люди уже медленно и как бы приглушенно расходятся — уходит гармонист, шапку которого топтал Емельян, Анна Перегудова с мужем, потом сразу трое, потом валят целой группой. И по-прежнему стоит тишина. Не слышно захлебывающегося воя гармошек, песен — пьяных и протяжных; только бьет плечами о воду убегающий вниз по Оби «Щетинкин». Нарядные, веселые стоят на понтоне крана Максим Ковалев, Борис Егоров, Аленичкин, несколько городских парней-монтажников, усатый пожилой человек и поднимающаяся наверно Валентина Батаногова.

Тепло светит солнце, река отражает зелено-голубой свет, и от этого все предметы кажутся мягкими, легкими, словно наполнены светом и солнцем, а легче всего, конечно, новый кран. Ажурный, он поднимается в голубое небо, и, когда смотришь на него, приятно и радостно кружится голова. Емельян жадно вдыхает свежий воздух, распрямляет плечи, неярко улыбается — у него в груди все еще радостно сжимается сердце.

Увидев новый кран, Емельян забыл обо всем на свете — исчезли на мгновение из его жизни участковый Колпаков, пьяные мужики, горькое чувство одиночества и тоски. Его охватило такое ощущение, словно он вырвался вперед всех людей, стоящих на берегу, точно ему одному был виден новый громадный кран. Показалось, что это для него плывет по Оби серое, величественное; предчувствие чего-то радостного, до боли счастливого ощутил он, когда услышал тонкий мальчишечий крик: «Глядите, какая чуда!»

Емельян бросился к берегу, весь вытянулся и замер. Происходило действительно чудо — новым, неизведанным повеяло на него от ажурной громады. Показалось, что вместе с краном в Черный Яр по яркой солнечной реке плывет новая жизнь, что все должно измениться после того, как он пристанет к берегу. И жизнь его, Емельяна, тоже должна измениться. Что произойдет с ним, он не знал, но был уверен, что обязательно произойдет что-то счастливое и радостное. Взволнованный, он не дышал, когда кран разворачивался, он ощутил как ласку тень крана на своем лице.

Теперь, когда нет участкового Колпакова, когда мужики не смотрят на него зло и ненавистно, а кран по-прежнему стоит у яра, Емельян опять чувствует теплое и щекочущее под сердцем. Медленно выйдя из толпы, он направляется к дому, но время от времени останавливается, глядит на кран, задрав голову. Ощущение радости не проходит. Он глядит на Черный Яр — чувствует радость, на реку — тоже радость, поднимает взгляд на старенький заколоченный дом — нет, не проходит радость! Она теплым клубком свертывается в груди, касается сердца мягкими и нежными пальцами.

Емельян подходит к дому, садится на лавочку. Достает кiset, аккуратно свертывает самокрутку. Движения у него неторопливые, спокойные; курит он задумчиво, с мечтательной и мягкой улыбкой на лице. Хмель уже выветрился, дышать легко и радостно, чуточку гудит голова, но боли нет — от солнца, от речного воздуха. Хочется есть, и он с удовольствием думает о том, что дома стоит в печке чугунок наваристых шей.

Деревня по-прежнему тиха — не слышно гармошек, песен; видимо, все разошлись по домам. «Щетинкин» уже скрывается за поворотом, и почти не слышно цоканья плит. Хорошо вокруг! Тепло, солнечно. Теперь, когда не слышно гармошек и песен, как-то лучше видится и чувствуется теплый майский день,

просторный мир, наполненный весной. Посвежев, отливают голубизной кедрачи, сияет небо, Обь ярко блестит. Охватывает чувство широты, великости всего, видимого глазом, думается, что нет конца кедрачам, река кажется безбрежной, похожей на море.

Емельяну снова кажется, что ничего не было — пьянки, милиционера Колпакова, злых мужиков. От тишины, от солнца и просторности мира не верится, что могло быть все это: полчаса назад его «забирал» участковый, мужики истошно кричали, он, пьяный и неистовый, топтал ногами шапку гармониста. Словно приснилось все это. А ведь было! Было! Шатались по теплomu обскому берегу пьяные компании, шел злой Емельян, топтал шапку гармониста. Он чувствует, как в груди начинает ныть неприятное, холодное, голова опять побаливает и поташнивает под ложечкой.

Неужели все это было с ним, Емельяном? Сейчас, под теплым солнцем, ему кажется, что не он, а другой человек, гадкий и вздорный, шел по берегу, ненавидел весь мир, был тяжело пьян и тоскливо одинок. Сейчас Емельяну стыдно за то, что произошло: он как бы со стороны видит себя, лохматого, пьяного, мутноглазого, слышит свой хриплый голос, и все это у него вызывает отвращение, острую неприязнь к самому себе. И снова не верится, что он мог быть таким гадким и пьяным. Черт возьми, что происходит с ним? Зачем он ругается с Максимом Ковалевым, с соседками, со всем миром? Ведь не такой же он, Емельян, каким кажется сейчас людям!

Он ведь не пьяница, не хулиган, не злой человек; он чувствует отвращение к водке, сам не любит драчунов и бузотеров, ощущает в себе потребность в добрых, ласковых поступках. Почему же так все неладно получается? Словно какой-то злой и недобрый ветер подхватил его и несет навстречу ненавистничеству, одиночеству, тоскливому прозябанию. Перессорился с друзьями, с товарищами по работе, создал вокруг себя пустоту и мается в ней, озлобленный на весь мир и неприкаянный. «Ох-хо!» — тоскливо вздыхает Емельян.

Стоит у берега громадный ажурный кран; уперся в небо легкой стрелой, увеличенный отражением в воде, кажется сказочным, невиданным существом, веет от него большими городами, могучими заводами, иной, нездешней жизнью. Радостно смотреть Емельяну на кран, но ведь не для него он. Прошлой осенью Емельян отказался поехать на курсы крановщиков, неизвестно отчего обозленный на Максима Ковалева, заартачился, кричал несправедливые, чужие слова.

Не для него новый кран! Не он поднимется по узенькому трапу в просвеченную солнцем кабину, не он сядет за теплые и блестящие рычаги управления; он, Емельян, будет отцеплять бревна на барже. Не наступит для него новая и радостная жизнь, по-прежнему он будет ощущать свою неполноценность,

одиночество. Эх, жизнь, черт возьми! Не так все! Не так! Запутался он, заплутал на ясных и коротких дорожках Черного Яра и не знает теперь, по которой идти.

Снова острая тоска, недовольство собой охватывает Емельяна; он поднимает голову, осматривается — как переменилось все вокруг. Пять минут назад деревня, река, небо казались теплыми, радостными, счастливыми, а теперь нет этого. Лучи солнца сейчас ему уже кажутся не теплыми, а жаркими, небо не голубым, а серым, белесым, река не синей, а свинцовой. И опять слышится всхлипывающий перебор гармошки — правда, негромкий, приглушенный, но по-прежнему пьяный.

«Эх, жизнь!» — тяжело вздыхает Емельян.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Госгортехнадзор или Комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, — вот как называется организация, которая неделю назад передала в эксплуатацию Черноярскому сплавному участку новый погрузочный кран ПК-10. Со стороны Госгортехнадзора протокол подписал усатый строгий человек; со стороны Черноярского сплавного участка — Аленочкин, Егоров, Ковалев и Батаногова.

Полный титул крана — КПлПК грузоподъемностью десять тонн, с вылетом стрелы тридцать метров. Переводится это так: кран плавучий погрузочный крюковой. Высота крана с поднятой стрелой 35 метров; он может поднять и перенести с места на место десять тонн груза. Буква «П» в титуле свидетельствует о том, что кран предназначен именно для погрузки — поэтому кран КПлПК грузоподъемностью десять тонн, с вылетом стрелы тридцать метров и установлен на Черноярском сплавно́м участке.

Почти все жители Черного Яра — грузчики, так как Черноярский сплавно́й участок занимается погрузкой леса на баржи. Смысл работы участка — круговорот порожних и груженых барж. Чем больше барж погрузят черныярцы, тем лучше для государства и черныярцев. Новый погрузочный кран им для того и нужен, чтобы ускорить кругооборот пустых и груженых барж, ибо кран мощнее старых погрузочных лебедок системы Мерзлякова — он может нагрузить баржу за смену, а лебедка грузит за сутки; на кране занято три человека, на лебедках — более двадцати.

Подписав протокол о сдаче крана, усатый представитель Госгортехнадзора уехал в областной город, а кран остался в Черном Яре. Теперь он стоит у высокого черного берега, поднимает и опускает стрелу — работает. В это же время в конторе

сплавного участка идет обычное десятиминутное заседание, на котором председательствует Владимир Алексеевич Аленочкин.

— Праздники кончились! — энергично говорит он, разрубая рукой воздух. — Начались будни! — Владимир Алексеевич придвигает к себе счеты, кладет пальцы на костяшки. — Если кто-нибудь из присутствующих здесь считает, что праздники не кончились, то он глубоко ошибается! — продолжает он и с улыбкой озирает присутствующих: «А ну, кто считает, что праздники не кончились?» — Внедрение нового — это тяжелый труд! Говоря словами начальника рейда Максима Максимовича Ковалева, для внедрения нового надо работать до седьмого пота... До седьмого! — улыбается Владимир Алексеевич и откладывает на счетах сразу семь костяшек. — Прежде чем мы достигнем проектной производительности крана, с нас сойдет семь шкур! Уж поверьте мне, что это так, товарищи!

Его внимательно слушают: озабоченно сдвигает брови мастер Валентина Батаногова, поднимает тонкие светлые брови технорук Борис Егоров, а начальник рейда Максим Ковалев улыбается — его поражает совпадение слов Аленочкина с тем, о чем он только что думал. Буквально десять минут назад Максим, шагая на десятиминутку, размышлял о том, что начинается самое трудное в освоении нового погрузочного крана — будни. Наступает время тревог и беспокойства, круглосуточной работы, нервного напряжения, а то праздничное ожидание, которое испытывал он раньше, сменится обычным, спокойным трудом.

— Освоение нового трудно монотонностью, — говорит Владимир Алексеевич, — а монотонность тяжела будничностью. Нужно быть немного одержимым, чтобы и в будни работать с праздничным настроением! Надо быть очень влюбленным в свое дело, чтобы будничную работу превратить в праздник, хотя он кончился.

Владимир Алексеевич, подняв счеты, смахивает сразу все костяшки.

— Мы не знаем сотен неожиданностей, заключенных в кране. Механизм не освоен, и было бы смешно полагать, что кран будет работать бесперебойно. Нет! Он будет ломаться, капризничать, преподносить нам сюрпризы. И к этому надо быть готовыми... Что нужно делать, чтобы кран работал хорошо? — спрашивает Владимир Алексеевич, поднимаясь с места. — Что нужно?

Аленочкин спокойно прохаживается по ковровой дорожке — руки заложены за спину, взгляд серьезен, голова поднята; он туго затянут в серый полувойенный костюм из коверкота. Галифе ловко и красиво обнимают полную мускулистую ногу, китель так впаян в грудь и плечи, что ни капельки не морщится. Аленочкин опрятный, подтянутый, как бы выглаженный.

— Мероприятия таковы, — говорит Владимир Алексеевич. — Первое и основное — профилактика. Второе — дежурства на кра-

не. Чтобы облегчить работу Максима Максимовича, как начальника рейда, и Валентины Павловны, как мастера крана, я составил график дежурств. Нас — четверо. В сутки три смены. Я предполагаю, что каждый из нас в состоянии дежурить на кране через три смены, чтобы ни на секунду не оставлять механизм без присмотра инженерно-технического работника!

Далее Аленочкин перечисляет другие мероприятия, потом говорит о сложности руководства крановщиками, о создании резерва запасных тросов и чокеров, о необходимости хорошо сортировать лес, и слушателям, как всегда, начинает казаться, что Владимир Алексеевич не отдает указания и распоряжения, не командует людьми и событиями, а просто рассуждает вслух о том, что тревожит всех. Таким образом, начальник как бы высказывает вслух мысли всех присутствующих. И они, конечно, согласны с Аленочкиным, так как он говорит то, что сказал бы каждый из них.

— Кран должен иметь три комплекта запасных чокеров, — говорит Аленочкин, и Максим Ковалев мысленно поддакивает: «Правильно! Именно так!»

Владимир Алексеевич высказывает предположение о том, что плохая сортировка леса может стать причиной аварии, и Максим согласно кивает: «Так! И только так!» Аленочкин беспокоится о работе сортировочной сетки, а Максим Ковалев только что думал о ней, ибо работа сетки тоже тревожит его. Каждое слово Аленочкина находит отклик у Максима, и это естественно — Владимир Алексеевич прекрасно знает дело.

— Кажется, все! — заканчивает Аленочкин. — Не пропустил ли что-нибудь важное?

Нет, он ничего не пропустил — Максим Ковалев удовлетворенно закрывает блокнот, в который он кое-что записывал; Валентина Батаногова задумчиво улыбается, а технорук Борис Петрович Егоров быстро пишет в настольном календаре — не надеясь на память, записывает дни, когда он будет дежурить на погрузочном кране.

— Значит, ничего не забыл! Хорошо!

Владимир Алексеевич возвращается по ковровой дорожке к своему столу, садится, расправляет широкие плечи. Он делается строгим, сосредоточенным; на лице начальника уже нет беглой, радушно-начальственной улыбки, серые глаза смотрят сурово.

— Вы, товарищи, не знаете о самом трудном, — строго говорит Аленочкин и круто поворачивается к Максиму Ковалеву. — Максим Максимович, вы помните, когда по предварительному плану кран должен быть включен в план?

— Конечно!.. Двадцатого июня!

— Нет, не двадцатого июня! — ударяя пальцами по счетам, жестко произносит Владимир Алексеевич. — Нет, не двадцатого

июня, а первого июня... Понимаете, первого июня!— Владимир Алексеевич со звоном, размашистым движением пальцев откладывает одну костяшку на счетах.— Первого июня кран должен давать лес для плана! К первому июня должна быть достигнута проектная производительность. И ни днем позже! Вот в чем загвоздка, товарищи!

На несколько секунд в просторном кабинете начальника наступает тишина. Хорошо слышно, как на берегу работает новый погрузочный кран — гремит моторами, визжит блоками; гарахтит сырой лес на погрузочных лебедках Мерзлякова. По стеклам окна бегут сине-розовые зайчики — отблеск Оби; текущей в ста метрах от конторы.

— И вы согласились на такие условия? — тихо спрашивает Аленочкина Борис Егоров, вдруг сделавшись суровым и быстрым.— Вы дали согласие на первое июня? Вы согласились?— переспрашивает он, резко поднимаясь из-за стола.

— Да!— коротко и резко отвечает Аленочкин.

Борис Егоров, подумав, медленно опускает брови. Проходит секунда, вторая, и он опять становится таким замедленным, что Максиму Ковалеву уже и не верится, что две секунды назад Борис резко вскочил, протестуяще взмахнув руками, сделал такое движение, точно хотел броситься к начальнику, а на лице у него появилось незнакомое выражение злой надменности.

— Что же, вам виднее!— совсем спокойно говорит Борис, и снова поднимает на лоб брови, и снова смотрит на всех так, словно старается понять, что они из себя представляют, чем живут, что думают, каким воздухом дышат.

Дважды прошагав по ковровой дорожке, Аленочкин останавливается против Максима и Бориса.

— Вам еще, наверное, неизвестно, товарищи, что нынешней осенью или зимой соберется очередной съезд Коммунистической партии. Скоро будут опубликованы документы для всенародного обсуждения.— Он делает небольшую паузу, встряхнув головой, энергично заканчивает: — Мы должны встретить съезд трудовыми подарками! Именно поэтому я согласился включить кран в эксплуатацию первого июня... Мы должны сделать почти невозможное, товарищи! И мы сделаем!

Максим пристально смотрит на Владимира Алексеевича — начальник ему нравится. «Молодец!— думает о нем Максим.— Решительный и настойчивый человек этот Аленочкин».

Уж Максим-то Ковалев знает, что такое — включить в план на двадцать дней раньше новый погрузочный кран. Это значит, что Черноярский сплавной участок может превратиться из передового в отстающий, Владимир Алексеевич Аленочкин из передового начальника станет непередовым; это может привести к тому, что в Черном Яре начнется глухое роптанье рабочих, которые, лишившись премиальных, будут зарабатывать

меньше; это может привести к тому, что и сам Аленочкин потеряет большие деньги.

— Не надо молчать!— весело смеется Владимир Алексеевич.— Не надо смотреть в пол! Надо работать, товарищи, работать... До седьмого пота, как говорит Максим Максимович. Я уверен, мы справимся с задачей... У меня такие помощники, что любой может позавидовать!

И он так широко разводит руки, точно хочет обнять всех — технорука Егорова, начальника рейда Ковалева, мастера Батанову.

— По местам, товарищи! Все будет хорошо! — уверенно восклицает Аленочкин.

2

Задумавшись, Максим идет к стареньким лебедкам системы Мерзлякова — на них работает Иннокентий Петрович. Подходя к Иннокентию Петровичу, который сидит на носовой части лебедки, Максим, как всегда, испытывает радость оттого, что увидит старика, будет говорить с ним. Максим скучает, если долго не видит Иннокентия Петровича, — ему не хватает его, как родного человека. Максиму легче жить и думать, когда Иннокентий Петрович рядом, когда всегда знаешь, что к старику можно пойти, не стесняясь и не раздумывая, все рассказать.

На Черноярском сплавном участке есть два магических слова, перед которыми пасуют приказы Аленочкина, инструкции треста и сплавной конторы, — это слова: «Петрович сказал...» Их произносят почтительно и таким тоном, словно они есть истина в последней инстанции. Запутанные споры и истории кончаются неизменно тем, что люди идут к Иннокентию Петровичу, выслушивают его и дело кончается тем, что из уст в уста передается: «Петрович сказал...»

Слава Иннокентия Петровича в Черном Яре велика и прочна, хотя старик никогда не задумывается о ней, а может быть, даже и не подозревает. Максим до сих пор помнит то удивление, когда еще пятиклассником он попал с матерью в областной город и на одном из угловых домов прочел: «Улица имени Иннокентия Анисимова».

— О-го-го!— воскликнул Максим.— Смотри, мама, имя и фамилия совпадают с дядей Иннокентием.

— Это не совпадение, — строго ответила мать.— Улица названа в честь Иннокентия Петровича.

Тогда Максим только охнул, но потом узнал все, — оказывается, его пожилой друг в годы гражданской войны командовал полком, первый ворвался в губернский город, занятый белыми, а на партийном билете старика было написано черными четкими цифрами: «1914 год». Однажды Иннокентий Петрович

открыл сундук, улыбаясь, достал саблю в потертых ножнах. Взволнованный Максим схватил ее и с криком восторга прочитал: «За доблесть и бесстрашие от Михаила Фрунзе славному пулеметчику Иннокентию Анисимову».

— Большой был человек! — ласково сказал старик. — Я его батькой звал...

Максим посмотрел на старика удивленными, непонимающими глазами — он не мог осмыслить, что перед ним сидит такой человек, который в гражданскую войну командовал полком, знал командарма Фрунзе, а в партию вступил тогда, когда на свете не было советской власти. Раньше юному Максиму казалось, что такие люди, как Иннокентий Петрович, живут обязательно в Москве, за высокой Кремлевской стеной, что они необычные люди, не такие, как все. Временами Максиму хотелось прикоснуться к Иннокентию Петровичу, убедиться, что это живой человек.

Потом слава старика стала привычна Максиму; Иннокентий Петрович оставался все таким же, по-прежнему дружил с Максимом, весело хохотал, ездил на рыбалку. С годами он становился все суше фигурой, все прозрачнее и воздушнее становились волосы, все светлее — глаза. Старик не сгибался, не сутулился, но походка у него становилась напряженной, точно ему было трудно сгибать ноги в коленях. Это единственное, что заметил Максим, когда вернулся в Черный Яр, в остальном старик оставался прежним.

Сейчас Иннокентий Петрович сидит на носовой части лебедки, курит здоровенную самокрутку и прищуренными глазами наблюдает за тем, как Максим, легко перепрыгивая через толстые бревна, ходко приближается к нему. Старик заранее морщит лоб, складывает губы в улыбку, так как он доволен приходом Максима, рад возможности побыть и поболтать с ним. Когда Максим вскакивает на трап лебедки, Иннокентий Петрович поднимается и шагает навстречу Максиму.

— Здравие молодому начальству! — весело говорит Иннокентий Петрович, так как Максим на самом деле прямое и непосредственное начальство Иннокентия Петровича, который по положению должен получать у начальника рейда инструкции, по утрам докладывать о состоянии дел на лебедках, а по вечерам приходить к Максиму с отчетом за день.

Иннокентий Петрович, когда есть посторонние люди, ведет себя с Максимом подчеркнуто уважительно и дисциплинированно; он в три раза старше Максима, но при его появлении поднимается, прямой и немножко официально подтянутый, подходит к нему. На виду у всех рабочих старик негромко, но энергично докладывает:

— Происшествий не было, Максим Максимович! До полудня погрузили на двух лебедках триста семьдесят кубометров...

Их, конечно, замечают, прислушиваются, и Максим благодарно смотрит на старика — Иннокентий Петрович делает для него неоценимое.

— Присядем, Иннокентий Петрович! — ласково просит Максим. — Поговорить хочется...

— Правильно! — улыбается старик. — В ногах правды нет!

Они садятся, Максим оглядывается и видит, что почти все рабочие наблюдают за ними — улучают минутку вечно занятые сортировщицы, внимательно смотрят более свободные отцепщицы, моторист лебедки выглядывает из-за деревянной стойки. На них сосредоточены взгляды многих людей, и Максим понимает, что он этим обязан старику. Понимает он также и то, что рабочие ведут себя с ним, Максимом, уважительно и дисциплинированно и потому, что с ним дружит Иннокентий Петрович.

Максим еще слишком молод, неопытен, мало работает на сплавленном участке, чтобы полностью приписывать себе все, чего ему удалось добиться в отношениях со сплавщиками. Да, он родился и вырос в Черном Яре, знает всех и каждого, любит свою деревню и дружен с ее жителями, но это полдела. Многие в его авторитете объясняется дружбой со старым партизаном. Это не обидно Максиму, а, наоборот, приятно, так как за долгие годы дружбы со стариком он привык к нему, как к родному человеку.

— Скоро включаем в план новый кран, — говорит Максим, коротко взглянув на старика. — Аленочкин проводил производственное совещание...

— Когда включаем? — после паузы спрашивает Иннокентий Петрович.

— Первого июня.

Они переглядываются, так как и Максим и Иннокентий Петрович понимают, что значит включить в план первого июня новый погрузочный кран. У старика на лбу пролегал резкая складка, он суровее, но ничего не говорит. Максим же ждет его слов, нетерпеливо поглядывает и даже легонько берет Иннокентия Петровича за рукав грубой брезентовой спецовки.

— Ну что же — первого так первого! — наконец говорит старик. — Чего крану зря стоять у яра. Работать ему надо!

Он, видимо, ничего больше не собирается говорить, но Максим выжидает, надеется, что старик скажет еще что-нибудь, и это будет относиться не к крану, а к Владимиру Алексеичу Аленочкину. Однако Иннокентий Петрович упорно молчит — покуривает себе и посмеивается, глядя на голубую воду.

— Аленочкин поступает решительно! — не выдержав, говорит Максим, и в его голосе слышится вызов. — Не каждый пойдет на такое!

— Аленочкин поступает правильно! — отвечает Иннокентий Петрович, осторожно вынимая рукав из пальцев Максима и поворачиваясь к нему лицом, чтобы видеть Максимовы глаза. Он

заглядывает в них и удовлетворенно двигает бровями. — Думаешь об Аленочкине? — спрашивает он.

— Думаю! — сознается Максим. — С того самого дня, как мы говорили о нем...

— Молодца!

Иннокентий Петрович опять замолкает, приняв прежнюю позу. На его загорелой щеке, повернутой к Максиму, лежит отблеск голубой волны, легкие и прозрачные волосы пошевеливает текучий горячий ветерок. На дворе вообще жарко — стынут в небе желтые раскаленные облака, от деревянного настила лебедки пышет теплом, даже от воды поднимается горячий парок. По обе стороны от лебедок и крана с шумом купаются ребяташки, две девушки в ярких купальниках лежат под яром — кто такие, когда и откуда приехали в Черный Яр, неизвестно.

Максим тоже закуривает, бросает спичку в воду. Шикнув, она гаснет, а он долго провожает ее взглядом. И пока спичка кружится в водовороте, пока выплывает на течение и начинает двигаться, он думает о Владимире Алексеевиче Аленочкине. Максим теперь вообще часто думает о нем, так как слова Иннокентия Петровича о начальнике сплавного участка встревожили его. Максим в последние дни все пристальнее наблюдает за Аленочкиным, тщательно взвешивает и обдумывает его слова, как бы проверяет жесты и движения. В его ушах все звучит голос старика: «На стерлядь похож Аленочкин. Это рыба вечная, хитрая. На вид мягкая, нежная, а на самом деле такая, что и щуке не по зубам!» Какие наблюдения за Аленочкиным скрываются за этими словами?

3

Поднявшись высоко над тальниками, солнце ярко освещает реку — Обь уже не темно-синяя, как на восходе, а голубая. На реке оживленно. Ожесточенно дымя, тилипает вдоль берега маленький буксирный пароход, по плесу снуют лодки, обласки, на излучине виден еще один пароход — белый, высокий, стремительный. На Оби и берегу много солнечных зайчиков — блестят покатые волны, стекла крана, капли воды, стекающие с кончиков весел. Звуков тоже много — веселый крик ребяташек, тяжелое погромыхивание сырых бревен, скрип тросов на лебедках, шипенье пара.

Новый погрузочный кран работает: вздрогнув, стрела поднимается к высокому, сквозному облаку и замирает на тридцатипятиметровой высоте. Рабочие сортировочной сетки бросаются к тяжелому крюку, что-то делают с ним. Проходит не больше минуты, как раздается звучное чваканье металла — кран поднимает пучок бревен. Гремят лебедки, скрипят тросы, а бревна бросают на понтон крана резкую тень, которая быстро увеличивается. Когда тень покрывает почти весь понтон, по берегу раз-

носится веселый громкий звонок. Это голос десятитонного крана.

«Берегитесь, люди! — предупреждает звонком кран. — Я сейчас понесу на баржу пучок тяжелых бревен. Беда, если оборвется трос! Берегитесь, люди!» И люди берегутся — как ни крепки тросы, случается, что рвутся, как ни могуча стальная стрела, бывает, что ломается. Нельзя быть ротозеем, работая на кране.

Прозвонив, кран поворачивается — тяжелый пучок бревен наискосок прочерчивает небо, застив солнце, повисает над баржей. И опять звенит звонок, но теперь еще тревожнее, громче: «Замрите, люди! Кладу опасный груз! Будьте бдительны!» Покачиваясь, вращаясь, бревна опускаются в руки отцепщика Емельяна Кузьменко, который разворачивает их, задержав, машет рукой крановщику: «Клади!» Затем полегчавшая стрела снова поворачивается к берегу.

Прыгая с бревна на бревно, начальник рейда Максим Ковалев пробирается на баржу. Цель у него единственная — поздороваться с Емельяном Кузьменко, то есть сказать ему: «Добрый день, Емельян!» — и вернуться обратно. Максиму нужно сделать это потому, что Емельян до сих пор зол на Максима — разговаривает сквозь зубы, смотрит на инженера как на врага.

— Добрый день, Емельян! — подойдя вплотную, здоровается Максим.

— Добрый день! — сквозь зубы отвечает Емельян и смотрит на Максима так, словно хочет добавить: «Гуляешь — руки в брюки! Осуществляешь руководство, командуешь! Ну, командуй, командуй, — может быть, докомандуешься!»

Поздоровавшись с Емельяном, Максим сразу же, весело насвистывая, возвращается на понтон — он старательно показывает, что не заметил злую усмешку Емельяна, не понял его взгляд, а, наоборот, доволен тем, что поздоровался со старым другом.

Максим подходит к машинному отделению крана, возле которого за маленьким столиком сидит Валентина Батаногова.

— Сколько? — коротко, отрывисто спрашивает он.

— Двести семьдесят! — отвечает Валентина Батаногова.

— Мало! — говорит Максим, сжимая тяжелые губы.

Эти два слова — сколько и мало — мастер крана Валентина Батаногова слышит от начальника рейда Максима Ковалева с утра до вечера. Он появляется на кране в шесть-семь часов утра и сразу же: «Сколько?!»; услышав ответ, режет: «Мало!» — и становится мрачным. Сжимает тяжелые губы. Глаза — строгие, сухие, тревожные. Одержимостью, фанатичностью веет от Максима, когда он с раннего утра до глубокой ночи крупными шагами ходит по берегу, крану, баржам. Максим словно одновременно присутствует во многих местах — и везде он оставляет напряжение, высокий темп, вихорек взбудораженного воздуха.

«Мало! Мало!» — только и слышно от Максима. «Работать до седьмого пота!» — с фанатизмом повторяет Максим, и в такие минуты Валентина Батаногова чувствует, что его одержимость передается ей. Она тоже стремительно ходит с баржи на кран, с крана на баржу; появляется в конторе, на сортировочной сетке, в запани, тоже спрашивает: «Сколько?!» — и режет: «Мало!» Невольно подражая Максиму, Валентина сухо поджимает губы, ходит размашистой походкой; она тоже встает в пять утра, ложится спать в двенадцать.

Сейчас, когда Максим стоит перед Валентиной, она опять чувствует потребность куда-то бежать, что-то делать; кран представляется действительно медленным, работа людей — ленивой.

— Мало! Мало! — повторяет Максим и, не спрашивая, берет из рук Валентины блокнот с записями, перелистывает его, двигая губами, считает в уме. — Почему дали понижение во второй час? Что случилось? — жестко спрашивает он.

— Простоял пучковязатель...

— Почему?

Это третье слово, которое Валентина в эти дни очень часто слышит от Максима. И это слово он тоже умеет произносить с одержимостью фанатика. «Почему?» — спрашивает Максим, и начинается длинная цепь «почему», так как он будет докапываться до самой первой причины плохой работы пучковязателя, после чего будет невозможно задать вопрос: «Почему?»

— Так почему простоял пучковязатель? — переспрашивает Максим.

— Слабы кронштейны!

— А почему слабы кронштейны?

— Так были запроектированы! — отвечает Валентина. — Их рассчитывали в городе.

Докопавшись до «города», Максим совсем мрачнеет — резко повернувшись, большими шагами идет на пучковязатель, оторвав от работы сплавщиков, задает им вопросы, опять хмурится, сжимает губы. Он неистов, этот Максим! Он одержим!

Валентине хочется помочь Максиму, сделать так, чтобы он не сжимал губы, чтобы разгладились складки на лбу. Ей почти по-матерински жалко Максима — он мало спит; ест на ходу, не вовремя, к вечеру глаза Максима краснеют от усталости. Помочь Максиму она может единственным — работать так же напряженно, как он: подниматься по утрам еще раньше, ложиться спать позже, не отходить от крана ни на секунду. Максим станет радостным, если Валентина однажды скажет ему, что за час погружено двести шестьдесят кубометров.

Максим возвращается с пучковязателя.

— Надо уметь предупреждать аварии! — сухо говорит он. — Вы утром осматривали пучковязатель?

— Я осматривала! — тихо отвечает Валентина.

— Надо внимательнее осматривать! — тоже тише говорит он. — Вы же сами монтировали кронштейн, Валентина Павловна?

— Сама!

— Ну хорошо! — успокаивается Максим. — Следует продолжать почасовой хронометраж. Нам надо знать точно, что мешает!

— В обеденный перерыв я усилию второй кронштейн! — от-
вернувшись от него, говорит Валентина. — Вызову сварщика!
Не беспокойтесь, Максим Максимович.

В спецовке и резиновых сапогах Валентина кажется выше, стройнее, золотистые волосы, собранные на затылке в толстый пучок, блестят на солнце. Максим видит ее профиль — прямой нос, овальный подбородок, крутую линию лба. В профиль лицо Валентины много строже, чем в фас. Губы у нее твердые, крепкие.

— Я пошел на лебедки, — говорит Максим.

— Хорошо!

Когда Максим прыгивает с понтона на берег, из конторы сплавного участка, держа под мышкой черную папку с чертежами, выходит Борис Егоров. На голове у него очень красивая мохнатая кепка. Выйдя на солнце, Борис закуривает, то есть вынимает из кармана пачку сигарет, подносит ее ко рту и губами хватает сигарету; аккуратно уложив пачку в карман, он достает маленькую механическую зажигалку. Дым Борис выпускает сквозь узко сложенные губы.

Заметив Егорова, Максим преображается — становится насмешливым, ироническим, подчеркнуто энергичным. Егоров тоже видит Максима; он легко сбегает с горки, заранее улыбается.

— Ты куда? — спрашивает Егоров.

— На лебедки! — отвечает Максим.

— А я на кран! — Борис стучит пальцем по папке. — Проверить комплектность запасных частей!

— Ну счастливо!

— Счастливо!

Они расходятся в разные стороны — Максим продолжает свой путь по берегу, Борис запрыгивает на трап крана.

Максим посмеивается: «Ты куда? Я на лебедки!.. А я на кран! Счастливо!.. Счастливо!» Что же, если говорить начистоту, то так и должно быть: если Борис Егоров идет на кран, то он, Максим Ковалев, должен идти на лебедки. И наоборот, если Егоров идет на лебедки, то Максим должен идти на кран.

— Вот так-то, Борис Егоров! — вслух произносит Максим, поднимаясь на лебедки. — Так-то, милый мой!

Максима Ковалева давно уже нет на кране, Борис Егоров полчаса назад проверил комплектацию запасных частей и скрылся в конторе, а Валентина Батаногова до сих пор взволнована разговором с Максимом. «Мало! Мало!» — слышится ей, видятся строгие глаза инженера, его напряженная походка. Она торопливо ходит по понтону, испытывая прежнее желание куда-то бежать, что-то очень важное сделать; ей по-прежнему кажется, что стрела крана вращается медленно, моторы притихли, багры замерли в руках рабочих сортировки; Валентине хочется засучив рукава броситься в машинное отделение, открыть моторы, что-то сделать с ними, чтобы моторы вращались быстрее, гудели неистовей. «Мало! Мало!» — повторяет про себя Валентина, борясь с желанием бежать и что-то делать, — она понимает, что кран работает нормально, моторы вращаются с нужной скоростью, багры в руках рабочих двигаются с обычной расторопностью. «Неистовый, фанатичный человек!» — думает она о Максиме и сама в этот миг не может понять, осуждает его или восхищается им, но одно Валентина знает твердо — никогда еще ее жизнь не была такой трудной, запутанной, напряженной и счастливой.

Валентина Батаногова любит Максима Ковалева. Она любит его с той самой минуты, как впервые увидела в кабинете Аленочкина. Он сидел на диване, слушал начальника, когда она вошла. «Познакомьтесь!» — сказал Аленочкин. — Новый начальник рейда, инженер Максим Максимович Ковалев!.. А это мастер лебедек, техник Валентина Павловна Батаногова!» Валентина протянула руку Ковалеву и вдруг вся сжалась от страха — это был он.

— Это ваш первый помощник! — улыбаясь Валентине, говорил Аленочкин. — Товарищ Батаногова имеет некоторый производственный опыт и вам, Максим Максимович, окажет большую помощь!

— Присаживайтесь, Валентина Павловна! — дружелюбно сказал Максим, и она села рядом с ним.

Валентина теперь не помнит, о чем они говорили тогда, — она не слышала ни Аленочкина, ни Максима. Она хорошо помнит только то, как вышла из конторы и пошла по берегу Оби. Была золотая осень, под ногами лопались желтые листья, река золотилась на солнце. Валентина вышла на берег, остановилась, посмотрела на Черный Яр и не узнала его — это была не та деревня, в которой она прожила два года!

Да, это была не та деревня! В прежнем Черном Яре были маленькие покосившиеся домики, единственная улица томила печальной протяженностью, у берега стояли три темные от непогоды, старенькие лебедки. Прежний Черный Яр пугал беспредельностью Васюганских болот, теперешний Черный Яр был

другим: золотистые на солнце, стояли дома, маленькие, уютные, длинная улица поселка вела к синим кедрочам, и по этой улице хотелось идти медленно-медленно, думая о том, что придешь к счастью; три лебедки Мерзлякова тянулись в небо, к розовому легкому облаку; здание ремонтных мастерских казалось легким, просторным. «Кто сказал, что чудес не бывает? — подумала Валентина. — Вранье — есть чудеса на свете!»

Наутро Валентина проснулась в шесть часов, открыла ставни, засмеялась солнцу. Она уже оделась, когда вошла старушка хозяйка, удивившись, сказала:

— Ишь что подеялось! Это ведь всем на удивленье — сама проснулась!

— Я теперь буду всегда просыпаться сама! — звонко ответила Валентина.

Когда Валентина вышла из дома, она поймала себя на том, что бежит к конторе. Это поразило ее. Ведь вчера она шла на работу неохотно, вяло, сонная, мечтала о том, чтобы опять зарыться с головой в подушку. Теперь же она с радостью представляла, как поднимется на лебедки, начальственная и строгая, откроет блокнот с записями. Соберутся рабочие, станут задавать вопросы, жаловаться на бригадиров и требовать решения сотни неотложных дел. «Чудо! Чудо!» — думала она.

С тех пор прошло десять месяцев, но ощущение происходящего чуда не покинуло Валентину, — что из того, что Максим Ковалев не стал ее мужем, что из того, что он по-прежнему не замечает ее любви, не догадывается о ней? Чудо продолжается. Оно в том, что Валентина каждое утро просыпается от счастья, радостная бежит к конторе, что для нее Черный Яр теперь навсегда останется таким, каким она его увидела осенним золотым днем. Чудо в том, что Валентина по-прежнему твердо уверена — Максим будет ее мужем. Пусть идут месяц за месяцем, год за годом! Это хорошо, это так и должно быть, ибо все ближе время, когда он станет ее мужем...

Взволнованная, стремительная Валентина ходит по крану. Ей невдомек, что она сейчас похожа на Максима Ковалева — движениями, манерой широко ставить ноги при ходьбе, прямо держать голову, иронической, насмешливой улыбкой; ей невдомек и то, что она смотрит на мир глазами Максима. Вот она поднимает голову, видит воздушную стрелу крана, и глаза у нее такие же, как у Ковалева, — прищуренные, увлеченные, словно перед ней не просто кран, а нечто большее. Губы у нее складываются плотно, нижняя немного выступает, и кажется, что она сейчас скажет голосом Максима: «Мало, товарищи!»

Валентина размашисто спускается с крана, по тоненькой цепочке бонов пробирается на сортировочную сетку, где работают зацепщики бревен. Она берет багор, подбросив его в руках, упирается в ближайшее бревно, и ей сразу делается весело. Проходит беспокойное желание куда-то бежать, что-то сроч-

ное делать. Валентина улыбается, с силой толкает бревно к зацепщикам. Рабочие видят Валентину, ее улыбку, увлеченные глаза, им передается ее настроение. Они быстрее двигаются, веселее мелькают в воздухе багры, чаще звучит металл чокеров, а потом кажется, что и кран как будто учащает повороты — стрела словно бы быстрее взмывает в небо и опускается.

— Пошло! Пошло! — негромко вскрикивает Валентина.

Восторг охватывает ее. Ей представляется, что Максим Ковалев с лебедек наблюдает за ними, видит, как хорошо идет работа, и ему тоже становится весело, щекотно, как от солнечного зайчика, когда он пробегает по лицу. Морщины на лице Максима разглаживаются, нет больше глубокой, сосредоточенной складки на лбу, глаза веселеют.

— Пошло, пошло, товарищи! — радуется Валентина. — Пошло! Поработаем до седьмого пота!

Ей делается счастливо, когда она вслух произносит любимую присказку Максима Ковалева.

5

Борис Егоров с трудом удерживается от того, чтобы не расхохотаться во все горло. Для этого он незаметно стискивает пальцами шею, отвернувшись от Софьи Борисовны, закусывает нижнюю губу, но все-таки мелко подрагивает — так вздрагивает человек, когда хочет сдержать рыдания. Щеки Бориса раздуваются пузырями.

Он сдерживается от смеха потому, что Софья Борисовна, встретив его в прихожей дома Аленочкина, совершенно неожиданно сделала таинственное лицо, схватив его за рукав серого пиджака, шепотом сообщила, что жена Аленочкина Любовь Борисовна ушла покупать какие-то кофточки, а сам Аленочкин, предупрежденный об этом по телефону, придет обедать на полчаса позже.

— Тогда, простите, я приду тоже на полчаса позже! — вежливо заметил Борис, но она еще таинственнее прошептала:

— Нет, нет, проходите в столовую! Нам надо поговорить!

— О чем? — удивился Борис.

— О жизни! — значительно сказала она и потащила Бориса мыть руки...

Сейчас Софья Борисовна сидит на мягком стуле против Егорова и сквозь огромное пенсне смотрит на него строгим учительским взглядом. Но это не самое смешное — до неудержимого желания расхохотаться во все горло Софья Борисовна доводит Бориса не потешным видом, а тем, что говорит.

— Вы близорукий и недалновидный человек, Борис Петрович, — горячо говорит Софья Борисовна, — если до сих пор увлечены Аленочкиным! Вы плохо разбираетесь в людях, если принимаете Аленочкина за образец руководителя и коммуни-

ста. Я могу оправдать вас только тем, что вы молоды и плохо разбираетесь в людях! Аленочкин — безыдейный и дрянной человек! — сердито добавляет она. На ее маленьком морщинистом лице — румянец, глаза блестят; она кажется моложе оттого, что говорит с энергией и силой.

«Вот это да! Вот это разворот событий!» — думает Борис, едва удерживаясь от смеха. Большим усилием воли он заставляет себя не вздрагивать, еще раз стиснув горло пальцами, глядит на Софью Борисовну отсутствующими, прозрачными глазами.

— Так, так, так! — произносит он. — Так, так, так...

— Аленочкин — мещанин! — проникновенно продолжает Софья Борисовна. — Но мещанин высокой марки, не из тех мещан, которых можно узнать по канарейке и вышитым салфеточкам! Он мещанин в душе и в мыслях. Он — обыватель, а не коммунист!

— Но факты, факты? — спрашивает Борис, поборовший желание расхохотаться. — Чем вы можете подтвердить сказанное, Софья Борисовна? Факты... Дайте факты!

Возмущенно отмахнувшись от него, она с таким видом всплескивает руками, словно увидела нечто ужасное, невозможное, услышала от Егорова такое, что у нее нет слов — так это гадко и неожиданно.

— Факты! — восклицает Софья Борисовна. — Вы требуете фактов! Да неужели вам непонятно, что такие, как Аленочкин, не любят фактов, доказывающих их обывательское нутро... Факты! — скептически улыбается Софья Борисовна. — Да если бы у меня были факты, я бы давно пошла войной на Аленочкина и приперла его к стенке. Как вы не понимаете этого!

— Значит, у вас нет фактов, доказывающих, что Аленочкин плохой коммунист? — спокойно спрашивает он.

— И нет и есть! — отвечает она. — У меня нет таких фактов, которые бы я могла вынести на партийное бюро, но я знаю, что Аленочкин плохой коммунист.

— Откуда вы это знаете?

— Боже! — Софья Борисовна еще раз всплескивает руками. — Боже великий! Разве мало того, что я вижу Аленочкина, думаю о нем... А это? — Она зло дергает рукой белоснежный чехол кушетки, на которой сидит Егоров. — А это? — Она быстро озирает комнату. — Ковры, серванты, сервизы, тысячные люстры, опять ковры... А это? — Она со злостью ударяет маленьким кулачком по стене, на которой висит дорогой натюрморт. — Что это, я вас спрашиваю?

— Это приличная обстановка! — мирно замечает Борис.

— Для Аленочкина это не приличная обстановка, а смысл жизни! — почти кричит Софья Борисовна. — Вы знаете, почему он работает в Черном Яре? Не знаете, а говорите...

— Я ничего не говорю, — улыбается Борис.

— Вещи могут честно служить только тому, кто обладает идеей! — сердито выкрикивает Софья Борисовна. — Любезнейший Аленочкин никакими идеями не обладает! Он живет в деревне потому, что здесь высока зарплата, что он может накапливать деньги... Борис Петрович, вы молодой человек, — умоляюще произносит она, — перед вами только открывается жизнь. Вы должны научиться отличать подлинное от мнимого, золото от подделки. Я замечаю, что вы смотрите на Аленочкина восторженными глазами. Это опасно, ибо аленочкины заразные...

— Но вы тоже живете с ним, — подняв брови на лоб, говорит Борис. — Чем объяснить это?

— Я сама не знаю! — упавшим голосом отвечает Софья Борисовна. — Моя сестра.., случай в городе, когда я.. Я сама не знаю! — Она склоняет голову и вздыхает, но быстро приходит в себя. — Мне Аленочкин не страшен! — ожесточается Софья Борисовна, — Он лилипут по сравнению с той идеей, которой обладаю я..

После этих слов она соскакивает со стула, легкой походкой пробегает по громадному ковру.

— Когда я из города в первый раз ехала в деревню, я была счастлива! Я хотела, чтобы деревня стала грамотной и культурной. Потому мне не были страшны ни кулацкие обрезы, ни морозы и метели, ни тоскливое завывание собак под окнами. Я знала, за что боролась... Аленочкин борется только за свое жизненное благополучие.. А вы, Борис Петрович... — Софья Борисовна вдруг останавливается, но потом медленно идет к Борису, на ходу повторяя: — А вы, Борис Петрович... Минуточку! — восклицает она, словно вспомнила что-то важное. — Минуточку!.. А вы, Борис Петрович, обладаете идеей? Что вас привело в Черный Яр? — с удивленным любопытством спрашивает Софья Борисовна. — Я почему-то никогда в этом смысле не думала о вас, Борис Петрович..: Обладаете ли вы идеей?

— Да, да, да! — глядя прямо в пенсне Софьи Борисовны, трижды повторяет Борис. — Да, да, да! — говорит он и опять чувствует страстное желание громко расхохотаться.

— Значит, вы счастливы! — торжественно заявляет Софья Борисовна. — Значит, вам сам черт не страшен!

— Мне действительно не страшен черт! — убежденно отвечает Борис. — Во-первых, я атеист, во-вторых, по утверждению бабы Сузгинихи, советская власть вывела в Черном Яре чертей!

Замахав руками, Софья Борисовна собирается что-то сказать, но не говорит, а только еще раз взмахивает руками. Лицо у нее добрее, глаза улыбаются.

— Могу заметить, — добродушно говорит она, — что чувство юмора — прекрасное чувство! Оно свидетельствует о душевной щедрости и критическом складе ума!

— Спасибо! — кланяется Борис.

— Пожалуйста! А теперь позвольте мне оставить вас одного. Моя сестрица стоит в очереди за сногсшибательными кофточками, и это значит, что я должна позаботиться об обеде.

Софья Борисовна выходит из столовой легким, молодым шагом; она так несет свое маленькое тело, что со спины ей можно дать не пятьдесят лет, а девятнадцать — вот какая у нее девчоночья фигура.

Так вот где зарыта собака! Оказывается, неприязнь старой учительницы к Аленочкину объясняется идейными разногласиями; выходит, речь идет по большому счету; конфликт, значит, не по пустякам... Борис усмехается. Она, Софья Борисовна, спросила: «Обладаете ли вы идеей?..»

В столовую, бесшумно переступая по ковру домашними туфлями, входит Владимир Алексеевич — умытый, свежий, весело улыбающийся. Кивнув Борису, берет с тумбочки кипу газет, садится рядом, с шуршаньем разворачивает страницы.

— Любовь Борисовна с минуты на минуту будет дома, — говорит он. — Еще капельку надо подождать!

— Ах, какие пустяки! — отвечает Борис. — Я могу ждать сколько угодно!

«Значит, Аленочкин — плохой коммунист и обыватель, — думает он, искоса разглядывая Владимира Алексеевича. — Значит, Софья Борисовна ждет фактов, чтобы пойти на него войной!

Факты, факты... Какие же нужны факты, чтобы свалить такого человека, как Владимир Алексеевич Аленочкин?»

«Монумент! Глыбища!» — думает Борис о начальнике.

6

У Аленочкиных обедают.

Владимир Алексеевич, как всегда, читает газету — шелестит страницами, хмыкает, когда находит что-нибудь интересное; Любовь Борисовна, довольная покупкой отличной шерстяной кофточки, бдительно следит за обедающими — угощает Бориса Егорова, придвигает читающему мужу то салатницу, то кусок хлеба, то горчицу; Софья Борисовна ест неохотно, словно презирает еду, стол, салфетки. Когда Аленочкин хмыкает и качает головой, она выжидающе поворачивается к нему, передернув плечами, ждет дальнейших событий. Но Владимир Алексеевич продолжает спокойно читать газету.

В общем, обстановка в столовой Аленочкиных обычная, такая, какая была день, неделю, месяц назад. Мерно постукивают ложки и вилки, гремит крышкой суповой миски Любовь Борисовна да хмыкает Владимир Алексеевич — вот все звуки.

— Безобразие! — вдруг громко говорит Владимир Алексеевич и, положив газету, строго постукивает по ней пальцем. — За такие дела надо судить! Безобразие!

— Что случилось, Володя? — пугается Любовь Борисовна. Владимир Алексеевич делает руками гневное движение.

— Объем заготовок мяса по области увеличен на шестнадцать процентов, а холодильное хозяйство... — Он раздраженно мнет газету. — А холодильное хозяйство сокращено. Погибло пятьдесят тонн мяса! — Сунув в рот кусок котлеты, Владимир Алексеевич прожевывает, кладет вилку и обеими руками упирается в край стола. — Суд и только суд! — гневно продолжает он. — Ну, не я председатель облисполкома — я бы им показал! Головоотяпство!

Борис Егоров торопливо поворачивается к Софье Борисовне — она нервно комкает бумажную салфетку, а выражение лица у нее такое, словно ее обманули, словно она в чем-то просчиталась. Видимо, Софья Борисовна ожидала от Аленочкина чего угодно, но только не осуждающих слов по поводу головоотяпов из холодильного хозяйства.

— Софочка, котлета остынет! — ласково говорит Любовь Борисовна.

— Да, да! —

— С либерализмом пора кончать! — продолжает сердиться Владимир Алексеевич. — Мы ничего не достигнем, будем топтаться на месте, если каждый руководитель — маленький и большой — не станет заботиться о государственном, как о личном! Еще Владимир Ильич Ленин указывал на опасность бюрократизма! — Владимир Алексеевич снова берет вилку, высоко поднимает ее, взмахивает, как указкой. — Ну ничего, ничего! Скоро соберется съезд! Я уверен — он даст по шапке подобным головоотяпам!

— Володя! — страдательно восклицает Любовь Борисовна. — Котлета остынет!

Борис Егоров торопливо наклоняется к тарелке — он чувствует желание громко расхохотаться. «Ну и ловкач! Артист оперы и балета!» — думает он об Аленочкine и бросает торопливый взгляд на Софью Борисовну — старая учительница закусывает нижнюю губу. Теперь, когда Борис знает об отношениях между Аленочкиным и Софьей Борисовной, ему понятно поведение Владимира Алексеевича, Борису ясно, что Аленочкин говорит о холодильном хозяйстве только и только для Софьи Борисовны. Он как бы ведет с ней полемику: «Вы утверждаете, что у меня нет идеи, Софья Борисовна!.. Так? Позвольте вам заметить, что вы ошибаетесь, глубокоуважаемая Софья Борисовна! Вам только кажется, что я не обладаю идеей! Я имею ее».

Черт возьми, это очень интересно — наблюдать за людьми, понимать скрытые душевные движения, отгадывать, что лежит за обычными словами, незначительными поступками! Борис Егоров где-то прочел: «Сущность людей выражает то, что они хотят скрыть!» Может быть, это так и есть... Ну что, например,

представляет из себя Владимир Алексеевич Аленочкин? Кто он? Черт возьми, здорово интересно!

Увлеченный своими думами, Борис не слышит, что в прихожей дома раздается громкий звонок.

— Боже, кто это? — морщится Любовь Борисовна. Ей, видимо, делается зябко, неприятно, как бывает неприятно всякому человеку, когда во время обеда раздается неожиданный звонок и кто-то посторонний входит в дом. — Софочка, открой! — недовольно просит Любовь Борисовна. — Ты сидишь ближе к двери!

— Хорошо! — отвечает Софья Борисовна и идет в прихожую так, с таким видом, точно она рада звонку, чужому человеку, который во время чинного обеда позвонил к Аленочкиным.

Слышен скрип двери, незнакомый приглушенный голос, потом веселое, очень громкое восклицание Софьи Борисовны:

— Ах, боже мой, какие глупости, Анна! Проходите немедленно!

Меж бархатными малиновыми портьерами высокой двери столовой показывается Анна Перегудова, та самая женщина, что в Первомайские праздники лихо-отплясывала на берегу и взвизгивала: «Пошла плясать, дома нечего кусать!» Вернее, сначала показываются большие кирзовые сапоги Анны и ноги, закрытые длинной юбкой, — туловище и голову еще не видно из-за портьеры. Но потом показывается и туловище и голова.

— Здравствуйте-ка! — здоровается Анна, обводя столовую расширившимися от полумрака зрачками. — Приятный аппетит! — говорит она и вдруг страшно смущается — торопливо одергивает полы телогрейки, переступив с ноги на ногу, одну ногу быстро отводит назад. — Здравствуйте-ка! — ненужно повторяет она.

— Здравствуйте, Анна Семеновна! — поняв ее смущение, неловкость, восклицает Владимир Алексеевич и бросается к Анне, берет за локоть. — Проходите, Анна Семеновна! Милости просим.

Анне чуточку становится легче; передохнув, она торопливо озирается.

— Спасибо! — говорит Анна. — Проходить я не буду!

— Садитесь с нами обедать, Анна! — радушно разводит руками Любовь Борисовна. — Очень прошу, Анна!

— Я уже обедала, — тихо отвечает Анна; смущение постепенно проходит. — Я уже обедала! — повторяет она, оглядываясь по сторонам. Лицо у нее делается изумленным, восторженным: «Вот это да!»

Анна Перегудова впервые вошла в дом Аленочкина, и она только по рассказам других женщин знает, что начальнику участка живет замечательно. Женщины много и восторженно говорили о его доме, но такой роскоши, какую она видит, Анна не могла и представить — она всю жизнь прожила в Черном

Яре, дальше районного центра не бывала и не знала даже, что обстановка квартиры может быть такой роскошной. «Ой-ее! — качает головой Анна. — Рай земной, а не столовая».

— Садитесь, Анна, обедать! — приглашает Любовь Борисовна. — Хоть чайку попьете, коли есть не хотите.

— Я за другим... — говорит Анна. — Я за другим забежала! — повторяет она и опять смущается.

— Ну, ну, Анна! — радушно улыбается Владимир Алексеевич.

— Мне денег надо... взаймы! — покраснев, говорит Анна. — До получки! Кофточки дают... шерстяные...

Дальнейшее происходит в веселой сутолоке — Владимир Алексеевич спрашивает Анну, сколько надо, получив ответ, кивает головой жене, та весело, развевая запах крепких духов, убегает в соседнюю комнату, моментально возвращается, держа в руках блестящую сумку. Она еще на ходу достает несколько ассигнаций, не считая, кладет их Анне в руки, отклонившись от нее, мелодично смеется:

— Кофточки — загляденье. Не прогадаете, Анна!

— Ох, эти женщины! — пожимая плечами, смеется и Владимир Алексеевич и кивает на жену: — Знаете, Анна, Любовь Борисовна даже на обед опоздала из-за кофточки! Женщины! Что поделаешь!

— Сколько здесь денег? — держа ассигнации щепоткой пальцев, тихо спрашивает Анна, так как ей неловко считать деньги на глазах у всех.

— Ах, там, кажется, триста! — машет рукой Любовь Борисовна. — Одним словом, на кофточку вам хватит, Анна!

— Спасибо! — тихо благодарит Анна. — В получку отдадим!

— Ах, пожалуйста, пожалуйста!

— До свидания! — еще тише говорит Анна и поворачивается, чтобы уйти, — сперва исчезают ноги в кирзовых сапогах, потом туловище. Портьера бесшумно смыкается за ней.

— Садись, Владимир! — просит Любовь Борисовна. — Котлеты теперь уж совсем остыли!

— Да! Да! — соглашается он. — Котлеты, наверное, остыли!

Борис Егоров пристально наблюдает за Софьей Борисовной. Поблескивая стеклами пенсне, напряженная, как ветка под ветром, она медленно наклоняется к Аленочкину. «Сейчас закричит! — думает он, замечая, что она дышит тяжело, порывисто. — Сейчас! Сейчас!» Софья Борисовна хрустит пальцами, покусывая губы, щеки горят лихорадочным румянцем. «Начинается!» — внутренне улыбается Борис, когда Софья Борисовна жадно хватается ртом воздух. Но Аленочкин опережает ее — на какую-то долю секунды раньше Софьи Борисовны он звонко хлопает ладонью по столу.

— Шестой человек занимает у меня деньги! — сердито говорит он. — С этим надо кончать! Безобразие, когда в праздни-

ки люди пропивают большие деньги! С этим надо кончать!

Борис видит, как Софья Борисовна выдыхает воздух.

— А завтра рабочим мы выдадим зарплату! — веселее продолжает Аленочкин. — За десять дней до срока! Мне удалось уговорить райфинотдел!

«Ах ты черт! Ах, ловкач! Ускользнул!» — восторженно думает Борис Егоров.

— Кому жидкий компот, кому густой? — распевно спрашивает Любовь Борисовна, поднимая над столом серебряную ложку для разливания компота.

— Мне жидкий! — говорит Аленочкин.

— Мне средний! — говорит Борис.

— Мне компота не надо! — отрезает Софья Борисовна. — Я сыта по горло!

«И это все? — насмешливо смотрит на нее Борис. — И это все, чем вы, Софья Борисовна, можете выразить свой протест. Не много же! Очень немного!»

7

За триста метров от крана Максим чувствует, что случилось неладное, тревожное, хотя для тревоги как будто нет никаких причин — кран работает, по сортировочной сетке ходят рабочие, на барже темнеет штабель леса, изредка доносится треск электрического звонка. Однако Максим знает, что случилось неладное. Кран словно стал не таким, каким был до обеда, — что-то переменялось в положении баржи, как-то не так ходит громадная стрела.

Максим прыжком бросается к крану — бежит, не глядя под ноги, стараясь на ходу понять, что случилось, почему сердце кольнула острая тревога, но пока ничего понять не может. Он бежит еще быстрее, сердце отчаянно стучится в ребра. Вскочив на трап понтона, Максим на секунду замирает, поморщившись от громкого звонка и от надсадного гула дизеля, тревожно глядя на баржу.

Максим понимает, что произошло. Баржа перекошена — корма грузно сидит в воде, а носовая часть, подняв несколько рядов погруженных бревен, задралась вверх. Поэтому-то и кажется, что кран стал ниже.

— Стой! — кричит Максим, забыв, что его не услышат в гуле моторов, рокоте сырого дерева, скрежете тросов и напряженным побряхтывании работающего металла. — На кране стой!

Его, конечно, не слышат, и Максим прыжком бросается на баржу, становится на пути пучка бревен, поднимающегося от воды. Он как бы отгораживает пучок бревен от баржи.

Тревожно прозвонив, кран замирает, и оказывается, что он окружен звуками — плещет обская волна, гудят лебедки Мерзля-

кова, переключаются за Обью два встречных буксира; деревянная мычит голосами коров, скрипит калитками и ставнями домов, в палисадниках поскрипывают еще голые тополя.

«Что сказать? Что сделать?» — тяжело думает Максим.

На кране произошло опасное — стремясь ускорить погрузку, рабочие неравномерно нагрузили баржу. Они клали бревна только на корму, чтобы не переставлять баржу. Это — нарушение технологии. Страшно подумать о том, что может произойти, если продолжать грузить баржу неравномерно.

Максим молча наблюдает за Емельяном Кузьменко. Увидев Максима и услышав его голос, Емельян поворачивается лицом к берегу, картинно опирается на багор. Он без кепки и снял рубаху; на плечах у Емельяна вылинявшая майка, на ногах запыленные брюки. На него любо посмотреть, здоровый, обвитый мускулами, крупноголовый. «Это работа Емельяна!» — думает Максим.

— Где Батаногова? — тихо спрашивает он. — Где Батаногова?

— Обедает! — отвечает крановщик Иван Перегудов.

Максим слышит биение собственного сердца — колотится тяжело, рывками. Комары, жужжа, лезут за воротник, норвят, сволочи, укусят за самое больное место — губу, веко, шею.

«Это работа Емельяна!» — уверенно думает Максим.

— Прошу всех подойти ко мне! — говорит он. — Позовите и шкипера баржи... Это я вас прошу, Перегудов!

Из палубной надстройки баржи выходит седой сгорбленный старик, шаркая развалившимися валенками по понтону, семенит к Максиму.

— Добренько живали! — здоровается старик.

Теперь Максиму надо сделать самое трудное: приблизить к шкиперу Емельяна Кузьменко. Крикнуть, чтобы пришел, опасно — передернет плечами, ненавистно улыбнется, а может быть, и того хуже: повернется и уйдет. «Пусть стоит на барже! — наконец находит выход Максим. — Он же слышит меня!» Перед тем как говорить, он еще раз невольно оглядывается — Емельян стоит, все еще картинно опершись на багор, рабочие сортировки опасно переглядываются.

— Товарищ Перегудов, — ровным, но хриловатым голосом начинает Максим, — разве вы не знаете, что баржу надо грузить равномерно.

— Знаю!

— Знаете... — Максим передыхает. — Вам, значит, известно, что неравномерно нагруженная баржа может порваться, лопнуть! Баржа поломается посередине, понимаете...

И старик шкипер, и крановщик Иван Перегудов, и дизелист, выбравшийся из машинного, и рабочие сортировки — все косятся на Емельяна. «Неужели Емельян не понимает, что творит?» — думает Максим. Он отчего-то чувствует грусть. Может

быть, ее вызывает старик шкипер, может быть, мысль о том, что крановщик, дизелист, рабочие сортировки боятся Емельяна Кузьменко.

— Ну, хорошо,— печально произносит он.— Представим самое страшное. Баржа порвалась... Наш сплавной участок заплатит большие деньги за ремонт, во время аварии кран простоит не меньше суток... Вы же сами ни черта не заработаете... А вот что будет со шкипером баржи,— не то спрашивает, не то сообщает Максим.— С работы его выгонят— это непременно! Шкипер отвечает за погрузку баржи... Дедушка, вы видели, что баржу грузят неправильно?— вдруг ласково спрашивает он.

— Я, сынок, все вижу!— молодым и ясным голосом отвечает старик.— Я завсегда все вижу и с самого первоначалу матерился из рук вон как матерно! Однакожь меня не послушались... Чего я им! Они вон какие здоровенные да охальные!— и он показывает рукой на Емельяна Кузьменко.— Им на старика плевать!

Максим вздыхает— неужели Емеля так озлобился на жизнь, что не видит горькой беззащитности старика, неужели не осталось в Емеле ничего человеческого? Ведь каким хорошим был Емеля в мальчишках— добрым, ласковым, отзывчивым... Не может быть, чтобы все это исчезло! Осталось хоть что-нибудь, хоть малость, а!

— Иван,— громко спрашивает Максим,— ты сколько заработал за декаду?

— Рублей шестьсот...

— Дедушка, а вы сколько получаете за месяц?

— Четыреста пятнадцать рубликов хрен копеек!— отвечает старик.— Моя заработка известная!

— Ну, не сволочи ли вы!— огорченно качает головой Максим.— В погоне за лишней десяткой ставите под угрозу суда и увольнения шкипера!

Спокойно урчит на холостом ходу дизель, на малой обской волне качаются, стучаются друг о друга сырые бревна.

— Передвиньте баржу и продолжайте работу!— тихо говорит Максим.— Теряем время...

Прежде чем уйти с баржи, Максим еще раз смотрит на Емельяна. Положив багор, Емельян сидит на бревнах, голой спиной к Максиму. Трудно понять, как он принял слова Максима, но хорошо уже то, что не стал отругиваться, зло усмехаться.

— Смешно!— говорит Максим.— Дико и смешно, когда шесть здоровенных мужиков боятся одного Емельяна Кузьменко!

Емельян, конечно, слышит его, но ничем не показывает, что слышит. «Ну хорошо, Емельян!— думает Максим.— Считаем это только началом!» Он спускается с крана, несколько мгновений стоит на берегу, наблюдая за перестановкой

баржи. «Так, так, Емельян! Вот на какие штучки ты идешь!» Он слышит гудки рейдового катера, видит суматоху перестановки баржи, но все это не доставляет ему той радости, которую он испытывал обычно от веселой, слаженной работы. Горькое недовольство собой охватывает Максима. Неуловимое чувство недостаточности своих действий и слов, нерешенности чего-то очень важного, нужного не только ему, Максиму, но и участку, рабочим, всему Черному Яру, тревожит его.

В последние дни Максим вообще часто недоволен собой. Ему порой думается, что он неправильно, не так, как надо, относится к Емельяну Кузьменко. Максим порой прямо спрашивает себя: «Чего жду?» Неужели дурацкое самолюбие, уязвленная гордость мешают ему пойти к Емельяну? А чего стоило его малодушие, когда Максим вместо борьбы сказал: «Придет время, ты сам откажешься от своих слов, Емельян!»

Нечего ждать! Надо силой заставить Емельяна отказаться от своих слов, ибо Емельян неправ... Кому нужны эти интеллигентские штуки — самолюбие, самокопание, ожидание выдающихся событий! Кончать надо с этим, кончать!

«Ну, держись, Емельян!» — жестко думает Максим.

Емельян же продолжает сидеть на бревне, повернувшись лицом к Оби. Все уже кончено: Максим ушел, старик шкипер спрятался от солнца в своей рубке, но Емельян не может сделать и движения — щеки жжет стыд, в груди — больное, неприятное чувство. Перед глазами стоит лицо старика шкипера, слышится вздрагивающий голос: «Моя зарплата известная...» «Ой-ой!» — стонет сквозь плотно сжатые губы Емельян. Неужели он совсем очерствел, стал бессердечным и злобным человеком? Действительно, что было бы со шкипером, если бы порвалась баржа?.. Почему он не думал об этом раньше, почему он такой слепой и глухой к тому, что происходит вокруг?

От стыда он не может повернуться лицом к берегу, посмотреть вслед Максиму, который, конечно, во всем прав. Черт возьми, что творится с ним, Емельяном?! Ведь раньше он был не таким, тот же Максим в юности говорил ему: «Ты добрый парнишка, Емельян!» А что с ним теперь? «Очерствел я!» — думает Емельян, пригибая голову к коньям. Ему кажется, что все видят его пылающие щеки. А что думают о нем рабочие? Что думает Максим? Валентина Батаногова? Что в конце-то концов подумает о нем мать, если ей расскажут об этом? Стыдно, горько...

«Что же со мной происходит? — вдруг спрашивает он самого себя. — Ну почему я стал перегружать эту самую баржу?» Емельян вспоминает то, что происходило перед погрузкой, представляет подробности, видит, как поднимается на трап Владимир Алексеевич Аленочкин, довольный, веселый, обходит рабочие места, крепким голосом отдает распоряжения. «Ни в коем случае не допускать перекоса баржи!» — говорит Влади-

мир Алексеевич. — Это самое опасное! Буду беспощадно штрафовать за нарушение технологии!» И как только Емельян вспоминает эти слова Аленочкина, так понимает, что с ним происходило.

— Я перегрузил баржу потому, что Аленочкин не велел ее перегружать! — вслух говорит он и брезгливо морщится.

Да, да, теперь он отчетливо понимает, что с ним происходило. Он, Емельян, ненавидит Аленочкина, и если Аленочкин говорит, что баржу надо нагружать ровно, Емельян грузит ее не ровно, если Аленочкин говорит, что на улице день, то Емельян утверждает — ночь!

— Аленочкин! — зло шепчет Емельян. — Аленочкин!

Емельян ненавидит всего Аленочкина; его сытое моложавое лицо, кипучую энергичность, накрахмаленные белые кители, огромный дом, в котором живет начальник, нездешний запах, исходящий от белого кителя, звонкие слова, которыми начальник разбрасывается направо и налево.

8

В Черном Яре весенняя ночь.

Полная, прозрачная луна висит над деревней на невидимой ниточке; если поглядеть на луну прищурившись, то можно различить нос, глаза, губы. Лицо можно увидеть в луне — сморщенное, неприятное, точно луне надоело висеть над Черным Яром, освещать маленькие покосившиеся домики, голые еще ветки деревьев, расквашенную дорогу и остатки снежных сугробов в кедраче.

Лают собаки. Видимо, на луну. Зачем, дескать, она висит такая — недовольная, скособочившая рот.. Стоя на крыльце своего дома, Емельян Кузьменко тоскливо вздыхает. Куда пойти? Друзей у него нет, девушки — тоже. Самый близкий человек на свете — мать — прикована к постели. Он только что покормил ее, помог сходить по нужде, оставил на табуретке воду, какие-то таблетки. Мать сказала: «Погоуляй, Емельюшка.. Молодой ты — жениться ведь надо! Как помру, один останешься на белом свете!»

Ах, какая тоска! Лежит под лунным светом благословенный Черный Яр — дома ветхие, покосившиеся, слепые. Горстка бревен и крыш на безлюдности Васюганских болот. Родное, кажется, близкое, а чужое — такое чужое, что в груди больно. Уж лучше бы оно не было родным! Пусть чужим, незнакомым был бы Черный Яр, чем-то от этого стало бы легче. «Эх, неудачный я! Совсем неудачный!» — горько думает Емельян.

Три года назад, когда в Черном Яре организовался сплавной участок, Владимир Алексеевич Аленочкин спросил его: «Почему не учился дальше? Почему окончил всего семь классов?»

Емельян зло прищурился, побагровел.

— Пимов не было! — процедил он сквозь зубы.

— Так... так! — задумчиво протянул Аленочкин. — Валенок, значит, не было, понятно.

Знающий жизнь Аленочкин понял, что значит не иметь пимов в Черном Яре. Это значит — не учиться в десятилетке, так как ближайшая средняя школа в те годы была в десяти километрах от Черного Яра, а у Емельяна не было пимов, чтобы ходить по морозу, — он носил старенькие сапоги, на которые, чтобы не было видно дыр, напялил тоже старые ка-лоши.

Отца Емельяна убили в 1942 году под Москвой, но повестка о смерти пришла в Черный Яр лишь в начале 1943 года. Бумага успела пожелтеть, буквы набухли и расплылись... Мать билась головой о спинку деревянной кровати, а Емельян стоял рядом и ничего не понимал — ему было четыре года, когда отец ушел на фронт, а когда пришла повестка — Емельяну шел шестой год. «Осиротели мы, Емелюшка!» — истошно выла мать.

Слово «осиротели» Емельян по-настоящему понял года три-четыре спустя, когда сидел за школьной партой. Оно — слово — стало еще страшнее, когда закончилась война и возвращались домой уцелевшие черноморцы. Вот тогда-то Емеля и достал из сундука повестку о смерти отца, прочел и впервые заплакал — через пять лет после отцовской гибели.

Послевоенный Черный Яр был тоскливым, пустым. Только в девятнадцати домах жили люди, остальные были крест-накрест заколочены почерневшими от непогоды досками. Ветер тоскливо продувал деревню, мычали голодные коровы; обносившиеся за войну люди торопливо перебежали из дома в дом, прикрывая озябшими руками худую одежонку; выли собаки, так как волки заходили в деревню. А в сорок шестом году в деревню пришел медведь — переломил хребет корове, но уволочь не смог — не хватило, голодному, сил. Медведя видела баба Сузгиниха, испугавшись, рассказывала: «Шерсть на нем клоками висит... Сам худущий, как коза!» Мать Емельяна работала на рыбном промысле — таскала тяжелый невод, гребла на громоздких лодках-метчиках, так как мужиков в деревне почти не было. Когда Емеля пошел работать тоже на промысел, он был вторыми «штанами» в бригаде, которой заправлял восьмидесятилетний старик.

Годы катились, а в Черном Яре ничего не менялось — стояли заколоченные дома, выли собаки, зимой по-прежнему было трудно прокормить корову, так как окрестные колхозы не разрешали косить траву. Черный Яр оставался в стороне — и не колхозное село, и не рыбацья деревня, ни черт, ни дьявол. Жизнь шла где-то в стороне от Черного Яра. Там строились города, возводились заводы, а здесь...

Шесть или семь сверстников Емельяна закончили среднюю школу, трое пошли в институты: Максим Ковалев, Петр Голубь и Любка Верткова. В первые годы Максим и Любка иногда забегали к Емельяну, рассказывали о городских новостях. Потом он встречался с ними все реже и реже. Емельян летними месяцами работал на дальних озерах. Петька Голубь, брат Людмилы, никогда не заходил к Емельяну. Петька еще в школе был заносчивым, высокомерным и глупым. Он списывал задачи у Емельяна, диктанты — у Максима; Петька с детства был хитрым, ловким. Сволочью был Петька.

В последний раз Емельян встретил Петьку в клубе, на танцах. На Петьке был шикарный костюм, клетчатые носки, совсем белый галстук, а на лацкане пиджака блестел инженерский значок — в это лето Петька закончил горный факультет политехнического института и приехал в Черный Яр, чтобы отдохнуть перед работой в Кузбассе.

Петька Голубь... Кто в Черном Яре не знает, что его мать, работая бухгалтером сельпо, спекулировала, продавала изпод прилавка ходкие товары, наверное, и приворовывала. Откуда, если мать не ворует, у Петьки шикарные костюмы, клетчатые носки, большие деньги? Определенно ворует! Злые мысли о жизни, о людях терзали Емельяна.

Какой из Петьки Голубя инженер! Когда Петьку вызывали к доске, он потел, лицо было глупым, как у телка; задачи, которые Емельян щелкал, как орехи, Петька без подсказки никогда решить не мог. Наверное, и в институте хитрит, списывает, заискивает перед преподавателями. Весь в мать — лживую, хитрую, самодовольную бабу. У Емельяна от презрения раздувались ноздри — Петька Голубь пролез в инженеры.

Емельян смотрел на танцующего Петьку и скрипел зубами. Он нарочно далеко протянул ноги — может быть, Петька заденет. И Петька запнулся за громадный сапог Емельяна. Он, не извинившись, прищурился: «Чего выставил ноги, Кузьменко!» Тогда Емельян неторопливо поднялся с места, сгрел Петьку пальцами за воротник шикарного пиджака. «Убью ведь сейчас!» — сам дивясь своему спокойствию, сказал Емельян и тряхнул Петьку. У Петьки в глазах мелькнул ужас, глаза закатились под лоб, и он заверещал противным заячьим криком. Сбежался весь клуб. Петькина сестра Людмила кричала, что вызовет милицию, что засадит Емельяна в тюрьму. Тогда он отпустил Петьку. У того все еще были обморочно закачены глаза. Через три дня Петька уехал.

Это произошло за неделю до возвращения в Черный Яр Максима Ковалева. Услышав о нем, Емельян вдруг — сам не ожидал этого — обрадовался. Стало тепло на душе оттого, что Максим все-таки вернулся в Черный Яр, из которого уехали насовсем и Петька и Любка Верткова. «Молодец!» — подумал

Емельян. Ему захотелось повидать Максима, и он пошел в контору.

Дело было осенью, в сентябре, когда по Оби шли последние пароходы; день выдался теплый, словно весенний, хрустели под ногами желтые листья, Обь голубела мягко, затуманено, и воздух был легкий, по-осеннему чистый. «Молодец Максимка, что вернулся в Черный Яр!» — думал Емельян, шагая по хрустящим листьям. Он сел на крыльцо конторы, решив подождать Максима — ему сказали, что Ковалев беседует с начальником сплавного участка Аленочкиным. Он ждал почти час и зря: Максим из кабинета начальника вышел не один. Его под руку держал Владимир Алексеевич Аленочкин, а позади, подняв брови на лоб, замедленно, словно заведенный слабой пружиной, шагал красивый молодой человек в ярком пиджаке и серых брюках.

Аленочкин что-то весело говорил Максиму, и Максим смеялся тоже, обратив к начальнику сияющее лицо; на Максиме был черный костюм из дорогого материала, светлый галстук, лакированные туфли с хрустом раздавливали сухие листья. Увлеченный Аленочкиным, он не замечал Емельяна, а красивый молодой человек поглядел на Емельяна пустыми, невидящими глазами.

«Новое начальство! — подумал Емельян. — Технорук и начальник рейда... А Ковалев-то какой — не узнаешь, коли встретишь на улице!» Емельян неслышно соскользнул с крыльца, согнувшись, юркнул за угол и почувствовал радость оттого, что Максим так и не заметил его.

Ковалев, Аленочкин и медленный молодой человек пошли к реке. Аленочкин продолжал держать Максима за локоть, потому они шли тесно, рядом, как старые приятели, и разговор, наверное, был интересным, так как Максим радостно улыбался. «Дружки!» — подумал Емельян, гневно сжимая кулаки, — ему была ненавистна широкая, прямая спина Аленочкина, его темная боксерская шея.

Молодой незнакомый человек показался Емельяну чем-то похожим на Петьку Голубя — то ли одеждой, то ли манерой ходить, то ли тонкими морщинами у губ. «Интеллигентик!» — насмешливо скривился Емельян. Выждав, когда они спустятся под яр, Емельян огородами ушел домой.

С Максимом он встретился только через три дня. «Емеля! — обрадовался Максим. — Здорово, Емеля!» — «Добрый день!» — буркнул Емельян, нарочно выбрав такое приветствие, чтобы не обращаться к Ковалеву ни на «вы», ни на «ты». Перед мысленным взором Емельяна появился Аленочкин, с улыбкой взял Ковалева за локоть, наклонившись, стал говорить веселое... «Пошли ко мне, Емеля» — оживленно предложил Максим. — Посидим, поболтаем!» — «Некогда мне болтать! — зло ответил Емельян. — Это у вас, инженеров, есть время для болтовни!»

Максим не то обиделся, не то удивился, но приглашение повторил и так странно посмотрел на Емельяна, что Емельян смутился. «Идите к Аленочкину, к Егорову!» — забормотал он, потом, окончательно запутавшись, торопливо ушел. Весь вечер и следующий день Емельян терзался — все было не так. Он чувствовал свою вину, ругал себя за глупость, порывался пойти к Максиму, но так и не пошел: было стыдно.

Во всем происходящем Емельян винил Аленочкина и незнакомого молодого человека — зачем Аленочкин тогда держал за локоть Максима, зачем молодой человек смотрел на него, Емельяна, пустыми глазами?

9

Тоскующий, одинокий стоит Емельян на крыльце своего дома. Тоска! Эх, жизнь, черт тебя задери!

Вздыхнув, Емельян запахивает старый пиджак — три года носит без замены, — нахлобучивает на лоб кепку, спускается с крыльца. В клуб, что ли, пойти? Там хоть светло, играет радиола. «Пойду!» — поразмыслив, решает Емельян.

По дороге в клуб он идет мимо нового погрузочного крана. Поравнявшись с ним, Емельян останавливается, достав папиросу, закуривает. Постояв, медленно опускается на низкий пенек, опускает голову. Кран! Новый погрузочный кран... С ним был связан момент в жизни Емельяна, когда он замер от предчувствия счастья; в ушах словно зазвенели малиновые колокольчики, серебряное видение встало перед глазами. Это было 2 мая, когда буксирный пароход «Щетинкин» вывел на обский плес ажурную громаду крана. Солнечный зайчик ударил Емельяну в глаза, он зажмурился и вспомнил другое...

Это было прошлым летом, когда Емельян косил сено на дальних покосах. Он только прошел ряд, достал из голенища брусок, чтобы подправить литовку, как услышал отдаленный гром, рокотанье. Емельян поднял голову — этого еще не хватало, чтобы во время покоса пошел дождь, но ни туч, ни далеких зарниц не увидел. «Странно!» — подумал Емельян, но в этот миг земля задрожала, словно бы покачнулась. Он инстинктивно присел... По небу неслась серебряная птица, бесшумная, стремительная, похожая на белокрылую чайку; птица неслась, пронзая воздух. Увиделись красные звезды, прозрачная полоска дыма, казалось, что гром и рев воздуха не принадлежали птице. «Реактивный самолет!» — подумал Емельян и отчаянно затосковал — умчаться бы за ней, за серебряной птицей. «Жизнь!» — тяжело вздохнул он.

Нет, не для Емельяна Кузьменко стоит возле черноморского берега новый погрузочный кран! Поднимает стрелу, как живой, поворачивается, бросает два кинжальных луча прожекторов. В темноте кран кажется еще выше, легче, ажурней, опоясанный

огнями, ушедший в темное небо, он кажется необычным для черноморского берега. Точно не кран, а островок иной жизни, осколочек больших заводов и громадных городов стоит, причалившись к Черному Яру. Осколочек двадцатого века.

Двадцатый век, иная жизнь стоит у черноморского берега под видом десятитонного погрузочного крана. А при чем здесь Емельян Кузьменко! Отцепщик бревен, разнорабочий Емельян Кузьменко... Емельян вздыхает, поднимается с пенька. «Так я до клуба не дойду!»

Войдя в клуб, Емельян сразу же садится на стул, стоящий недалеко от дверей, и подтягивает под себя длинные ноги в больших сапогах. Он внимательно, подолгу останавливаясь на предметах и людях, осматривает зал. В клубе обычно — для танцев — стулья расставлены вдоль стен, посерединке образован небольшой пятачок; на открытой низенькой сцене стоит табуретка, на табуретке — радиолка, а рядом, на втором стуле, сидит слепой баянист дядя Степа. Он играет только старинные танцы — вальс, краковяк, полечку и падеграс.

Черноморское общество танцующих так же разнообразно, как всякое другое общество — в Москве ли, в Минске ли, — в нем, обществе, есть представители разных стилей танцев. Отличить их друг от друга не трудно: если играет баянист дядя Степа, значит, танцуют представители черноморского стиля; если играет радиолка, то на круг выходят представители современного стиля.

Когда Емельян входит в клуб и садится в сторонке, играет радиолка. Танцуют Борис Егоров, Людмила Голубь, Валентина Батаногова, две учительницы, три молодых учителя, фельдшер Белкина и пожилой холостяк — ветврач. Егоров танцует с Батаноговой, холостяк ветврач — с Людмилой Голубь.

Емельян криво, презрительно улыбается: «Аристократия! Высший свет!» Его злит одежда танцующих — на Людмиле Голубь блестящее платье не то из парчи, не то из какого другого материала; платье на подоле разрезано, узкое, облегающее, оно раздвигается, и видна выше колена тонкая нога, обтянутая прозрачным чулком. Грудь у Людмилы глубоко открыта. Еще больше злит Емельяна ветврач. Лысая образина! Рыжий, облезлый, как старый диван, прижимает к себе тоненькую Людмилу, трясет щеками от удовольствия. Не лучше фельдшерница Белкина. Людмила хоть молода, красива, а эта — рот до ушей, морда наштукатурена, в талии как подушка, а ноги — спичкамн. Зачем ей облегающее платье?

«Аристократы! Высший свет!» — ругается Емельян. Он двигается на стуле, чтобы переменить позу — затекла нога, и, выпрямляясь, вытягивает ноги. Показываются большие порыжевшие сапоги, смятые брюки. Обладающий живым воображением, Емельян как бы со стороны представляет самого себя — старый, неглаженный костюм, порыжевшие сапоги, распахну-

тая на груди рубаха. Емельян как бы взглядывает на себя глазами расфранченной Людмилы Голубь, молчаливо-пренебрежительного Егорова, кокетничающей Белкиной. Он смотрит на себя их глазами и представляет, как они должны презирать его, понимает, как насмешливо, снисходительно-иронически они относятся к нему. Емельян торопливо убирает ноги, густо покраснев, криво улыбается.

«Аристократы! Высший свет!» Зачем он пришел в клуб? Что бы злиться, тосковать, сжимать кулаки, чувствуя непреодолимое желание подняться, взять за шиворот ветврача или Бориса Егорова, встряхнув, увидеть, как от страха обморочно закатятся глаза? Интересно, что произойдет, если схватить за шиворот Бориса Егорова,— зальется ли смертельной бледностью его холеное лицо, закричит ли он от страха противным заячьим голосом, как визжал Петька Голубь? Трудно сказать, но Борис Егоров все-таки похож на Петьку. Тот, наверное, тоже танцует с шахтерскими девушками, выламывает из себя большое начальство, осуществляет руководство. Сволочи! Козявки!

Егоров танцует так, словно собрался помирать,— еле волочит ноги. Он что-то говорит Валентине, улыбаясь, поднимает светлые тонкие брови. Играет, собака, какого-то важного человека, представляется. А Валентина? Как ей не противно? Она ведь не такая, как Людмила Голубь. Но что с ней, с Валентиной? Вдруг отвертывается от Егорова, глянув в сторону двери, делается напряженной, скованной, она уже не слушает Егорова, рассеянно глядит в пол, танцую, сбивается с такта. Что произошло?

На пороге клуба, доставая головой до верхнего косяка, стоит Максим Ковалев. На нем старенький, потрепанный костюм, кирзовые сапоги, замасленная кепка — как работал на кране, так и пришел в клуб. Но он веселый, оживленный; губы разжаты, руки в карманах. Не смущаясь, Максим озирает клубное общество; он, видимо, замечает все, так как на лице появляется насмешливость, ироничность. Верно, приметил разрез на платье Людмилы, обольстительную улыбку холостяка ветврача, обтянутый модным платьем толстый живот фельдшерицы.

Конечно, он все понимает, этот Максим Ковалев! Он, Максим, конечно, не такой, как Петька Голубь и Борис Егоров, он все-таки лучше остальных. Хотя бы потому, что Максима нельзя схватить за шиворот, встряхнув, увидеть, что у него от страха побелели глаза.

О-го-го! Попробуй взять Максима за шиворот! Жизни станешь не рад... Однажды Емельян, будучи еще мальчишкой, повздорил с Максимом, которого тогда еще мало знал, за какой-то пустяк ударил его по щеке. Вот тут-то произошло то, чего Емельян никогда не забудет. Максим до невозможности сузил глаза, стал криворук и кривоног. Он пошел на Емельяна таким медленным, тяжелым шагом, точно отталкивая от себя всю землю. Емельян был тогда сильнее Максима, Емельяна окружали

друзья-ребятишки, но он со страхом подумал: «Убьет!» Неотвратимый, напружинившийся, Максим приблизился к Емельяну, заглянув в глаза, с огромной силой ударил в лицо, и Емельян опрокинулся на спину.

Друзья Емельяна завывли, обозлившись, пошли на Максима стеной, но он попятился, вырвал из забора палку. «Большевики не сдаются!» — негромко сказал Максим и шагнул к ребятам. «Бегите!» — раздался тонкий крик.

О-го-го! Максима Ковалева не возьмешь за воротник! В нем все-таки много родного, понятного; вот стоит на пороге клуба, смотрит в зал, а на лбу, меж бровей, пятнышко автола — измазался на кране. Похоже, что Максим кого-то ищет, но не может найти. Он опять оглядывает зал, прищуривается и видит Емельяна. Их глаза встречаются — Максим смотрит сосредоточенно, угрюмо, словно говорит: «А, значит, ты здесь! Нахулиганил на кране, а теперь посиживаешь себе на танцах!» Потом Максим делает крупный шаг к Емельяну, и теперь становится ясно, что он искал именно Емельяна — затем и пришел на танцы, затем и оглядывал публику.

Емельян быстро поднимается. Вскочив из клуба, зло передергивает плечами. «Ковалев-то, Ковалев! — думает он. — Верно, хочет поговорить о случившемся. Опять собирается воспитывать!» Эх, надоело все! Самое правильное завалиться головой в подушку, забыться.

Емельян устало входит в дом и останавливается на пороге — в комнате сидят три женщины-соседки, придвинув стулья к кровати, беседуют с матерью. При виде Емельяна они испуганно затихают, всполошившись, вскакивают с мест, не смотрят на Емельяна, чтобы не поймать его злой взгляд. В комнате чисто прибрано. «Опять притащились!» — сердито думает Емельян. Его злит молчание женщин, их испуг, суতোлка при его появлении.

— Чего не здороваешься, Емеля? — со вздохом говорит мать.

— Здравствуйте! — буркает Емельян.

Женщины торопливо прощаются, кучкой выходят в дверь, а Емельян бросает кепку на печь, сев за стол, опускает голову на скрещенные руки. Эх, жизнь, жизнь! Вот и женщины-соседки боятся его, а что они сделали ему плохого — ходят к матери, переживают за нее, подмели пол, протерли окна. Он же зверь зверем: бросается на всех, вместо того чтобы улыбнуться, поблагодарить, смотрел злыми глазами, буркнул, топал недовольно, показывая, что ему не по сердцу их визит. Для чего все это? Зачем? И чего он злился в клубе? На кого?

Горькое недовольство собой охватывает Емельяна. Нельзя так жить, как живет он! А что делать? Пойти к Максиму, сказать ему, что неправ, что сглупил, когда отказался от приглашения, когда кричал Максиму злые, несправедливые слова. Трудно сделать это — надо переломить себя, перемениться, а он

в общем-то слабый, малодушный человек. До сих пор стоит перед его глазами лицо старика шкипера... «Ой-ой!»—стонет Емельян. Нет, неправильно он живет! А как быть? Что делать?

Неизвестно, как жить; неизвестно, что делать.

— Совсем я на ноги сяла, Емелюшка!—шепчет на кровати Прасковья Михайловна.—Поди, не подняться мне теперь на ноженьки-то! И что это делается? Раньше, бывало, хоть и болела, а я все по дому шарашусь, бегаю, хлопочу... Бесприютный ты, Емелюшка! Вот бы встать мне на ноги-то, я бы уж тебя душенькой одела—накормила бы, как стоит, обстригла бы да выгладила...

Емельян обхватывает голову руками—боже, как помочь матери? «Мамочка, мама!»—хочется закричать ему, броситься к ней, обнять—сухонькую, невесомую; но не может он сделать этого: зарыдает. Самое страшное, что в голосе матери не слышится ни жалобы, ни упрека, ни страдания; одно только слышится в голосе—сожаление о том, что не может стоять у плиты, ходить за коровой, убирать в комнате. Мать всегда говорит только о ногах, хотя у нее болезнь позвоночника.

Ничем не поможешь матери! Татьяна Егоровна сказала, что у нее неизлечимая болезнь, а Татьяна Егоровна—хороший врач. В доме душно, жарко; Емельян пальцами рвет воротник рубашки, и как раз в этот момент раздается твердый и частый стук сапог на крыльце; скрипит сенная дверь, вздрогнув, открывается домовая дверь—широко, на весь пролет. На пороге, сильно согнувшись, стоит Максим Ковалев.

— Добрый вечер, тетя Паша!—громко здоровается он.— Вот заглянул к вам!

Потом Максим подходит к Емельяну, тем же веселым голосом продолжает:

— Можешь меня материть, Емельян, но на этот раз я не отвязусь от тебя! Называй меня прихлебателем, аристократом, выскочкой, эксплуататором—кем хочешь, но на этот раз я не отстану, Емельян! Мы будем с тобой долго разговаривать! Мало того, ты пойдешь ко мне домой... Ты знаешь меня, Емельян! Чего хочу, добиваюсь...

Они стоят вплотную друг к другу—одинакового роста, примерно равной силы, ловкости, одного возраста, выросшие в Черном Яре и знающие друг друга с раннего детства.

— Вот как!—усмехается Емельян.

— Именно так! Ты сейчас же пойдешь ко мне, Емельян!

— Не пойду!

— Нет, пойдешь!

— Иди, Емелюшка, иди!—стонет Прасковья Михайловна, стараясь подняться на кровати.—Иди, Емеля. Лучше Ковалевых у нас друзей нету! Они нам как родные!

— Постой, мама!—Емельян почти кричит Максиму.— Не пойду!

— Нет, пойдешь! — раздельно произносит Максим. — Пойдешь? — Когдатошнее, детское второй раз в этот вечер вспоминается Емельяну... Как он однажды ударил Максима и как тот стал кривоногим, криворуким, как неотвратно страшно пошел на Емельяна, как бросился на кучу мальчишек. Сейчас Максим тоже вроде бы становится криворуким, кривоногим...

— Иди, Емелюшка, иди! — собрав последние силы, вскрикивает Прасковья Михайловна. — Свои они люди! — Тяжело дыша, она падает на подушку, протягивает к сыну руки: — Иди, Емелюшка, иди!

10

— Проходи, Емельян, — говорит Максим, пропуская Емельяна в домовую дверь. — Иди, иди... Ну, чего медлишь? — раздражается он. — Входи в дом!

Емельян криво усмехается — проходить так проходить! «Посмотрим, как живет инженер Максим Ковалев, — насмешливо думает он. — Послушаем, что он будет говорить, как доказывать, что не верблюд. Интересно все-таки, черт возьми!»

— Садись за стол! — сухо просит Максим.

Но Емельян не садится — он стоит на месте, закрыв глаза, словно их полоснул яркий свет. Ему кажется, что жизнь вдруг попятилась назад.

В доме Ковалевых за шесть лет ничего не переменилось — посередине стоит круглый стол, накрытый белой льняной скатертью, на окнах полотняные занавески, у одной стены — самодельные (работы Максима) книжные полки, у другой стены — старенький диван-кушетка. Вновь только одно — вместо керосиновой лампы над столом висит матовый абажур.

Емельяну хочется встряхнуть головой, чтобы прогнать странное ощущение попятившегося времени. Он чувствует тревогу, грусть; наверное, оттого, что на мгновение делается восемнадцатилетним. Сердце щемит.

— Прходи, Емельян! — негромко просит Максим.

Емельян идет к столу осторожно, точно по свежеекрашенному полу, присаживается на кончик стула, медленно кладет на край стола большие темные руки. «У Ковалевых ничего не переменилось! — думает он. — Все так, как было шесть лет назад, когда Максим поехал в институт!» Теперь его поражает другое — поза и место Максима, который сидит в такой же позе и на том же самом месте, где сидел всегда, когда Емельян приходил к ним. Как и шесть лет назад, Максим откидывается на низенькую подушку кушетки, забрасывает руки за голову, а ноги перекрещивает. Кажется, что Максим тоже восемнадцатилетний, думается, что может соскочить, пробежав по комнате, ошеломить Емельяна необычной новостью, фантастической идеей.

«Странно!» — думает Емельян.

Максим насмешливо улыбается, и эту улыбку Емельян тоже знает. Веселой усмешкой Максим прикрывает многое — торжественность, любовь к кому-нибудь, растроганность, нежность, сострадание, растерянность, боль, тревогу.

— Чудак ты, Емельян! — усмехается Максим. — Собственно говоря, это мне надо обижаться на тебя, а не тебе на меня... Я — пострадавшая сторона в этой истории! Причем невинно пострадавшая... — Говорит Максим добродушно, весело, так, словно они и не ссорились с Емельяном. — Я страдаю за грехи других! Невинная жертва... Молчишь! Хорошо! — говорит Максим, вышагивая по комнате. — Пока молчи... А я продолжу! Итак, Емельян Кузьменко считает, что если Петька Голубь карьерист и пройдоха, то Максим Ковалев тоже карьерист и пройдоха. Если Борис Егоров аристократ, то и Максим Ковалев аристократ. Значит, долой дружба!

Он подходит к комоду, достает кипу бумаг — разноцветных, разноформатных, разной толщины. Некоторые листики вырваны из ученических тетрадей, есть обложки книг, серая оберточная бумага, немые карты. Все это пожелтело, обтрепалось.

— Архив! — хохочет Максим. — Хранилище тайн и биографий!

А Емельян облизывает пересохшие от волнения губы — перед ним все документы их детского, игрушечного «штаба», начальником которого был он, а командиром отряда — Максим, и поэтому каждая бумажка имеет две подписи: командир отряда «Смерть фашистам!» Ковалев, начальник штаба отряда Кузьменко.

— Тайны мадридского двора! — посмеивается Максим, снова ложась на кушетку и забрасывая руки за голову. — Историческая находка — материалы боевой деятельности легендарного отряда «Смерть фашистам!». Работники московских архивов срочно выезжают на место обнаружения ценнейшей находки...

Емельян поднимает верхний листок... «Донесение. Командир разведывательного отряда Кочетков сообщает, что произведенная разведка боем обнаружила большое скопление немецких танков у объекта № — избы тетки Марьи...» На второй бумажке — схема боя, на третьей — приговор: «Предать казни злейших врагов советского народа Калугина и Смольянинова...» Их тогда драли крапивой... А вот большой портрет Чапаева. Его по клеточкам перерисовал с журнала Максим, а Емельян посмотрел и заявил, что усы неправильные. Потом он намуслил в губах черный карандаш и пририсовал к усам тоненькие кончики. Усы от этого стали больше, а лицо Чапая — лихим. Черт возьми, до сих пор видно, что кончики усов пририсованы. А ведь сколько лет прошло!

Емельян перебирает бумажку за бумажкой; некоторые перечитывает, некоторые сразу перекладывает из кучки в кучку. Но вот он настораживается, подносит бумажку к глазам —

подписи сделаны не чернилами, а какой-то желтоватой краской. Но это не краска, это — кровь. Они прокололи пальцы и подписали кровью. «Клятва. Мы, Максим Ковалев и Емельян Кузьменко, клянемся, что не выдадим ни одной военной тайны, если нас будут пытать мечом и огнем. В чем и расписываемся кровью».

Перед тем как подписать этот документ, они пошли в сарай, заперлись на палку. «Давай!» — прошептал Максим, вынимая из кармана свечу и старенький будильник. Емельян поджег свечу. «По минуте!» — сказал Максим и первым поднес руку к пламени свечи. Запахло паленой кожей; припрыгивая, молчаливо плача, Максим выдержал минуту. Потом руку подставил Емельян. «Держи! — орал Максим. — Большевики не сдаются!» Вечером Татьяна Егоровна лечила их. Узнав о причине ожогов, она улыбалась, хотя сначала было собралась отнять на месяц у Максима велосипед.

— Вот! — говорит Максим, обнажая звездчатый шрам возле локтя. — Покажи-ка свою руку! — просит Максим. — И у тебя тоже... Ну, давай, давай! Досматривай исторические документы!

На следующей бумажке нарисована огромная ажурная башня. Когда Емельян разворачивает ее, Максим не выдерживает — поднимается с кушетки, встав за спиной Емельяна, говорит:

— Это ты рисовал! Но проект был мой... Ты рисовал потому, что был способнее меня к рисованию...

Посмеиваясь, Максим вспоминает, что в те времена, когда была нарисована ажурная башня, он присвоил себе звучное имя «Красный дьявол». Ночами, забившись под теплое одеяло, он мечтал, как, став знаменитым инженером, вернется в Черный Яр. Он собирался построить в деревне голубые дома, красные лестницы и мраморную набережную; он думал вырастить на берегах не зеленую, а голубую траву, дороги он мечтал раскрасить в синее, красное и желтое. А над всем этим «Красный дьявол» решил возвести ажурную башню из стекла и стали, которая бы касалась самых высоких облаков. Зачем нужна эта башня, «Красный дьявол» точно не знал. «Радио там или для наблюдений! — туманно объяснял он матери и задумчиво добавлял: — Главное, чтобы на башне был красный флаг и красная лампочка... Зачем красная лампочка? Ты, мама, словно и не знаешь, что ночью бывает темно, а флаг нужно видеть всегда!»

Максим поворачивается к Емельяну и смотрит на него смущенно, застенчиво, словно говорит: «Дурак ты, Емеля, но и я не лучше! Оба мы с тобой дураки!»

— Хочу все-таки построить в Черном Яре ажурную башню! — тихо говорит Максим. — Думал, что вместе с тобой буду строить. Должен же Черный Яр выйти в люди, — продолжает он и вдруг улыбается. — А ведь усы Чапаю ты пририсовал! — говорит Максим и кладет руку на плечо Емельяна.

— Я! — говорит Емельян. — Черным карандашом!

— А теперь всех магом кроешь!— усмехается Максим.— Порой не поймешь, кого ты ругаешь. Уж не советскую ли власть? А может, только одного Бориса Егорова?

Спросив об этом, Максим как-то торопливо нагибается к Емельяну, опять полуобнимает его за плечи, пристально глядит в глаза. Наверное, он задает Емельяну самый главный вопрос и потому так напряжен, взволнован.

— Я ненавижу Аленочкина!— очень тихо отвечает Емельян.— Люто ненавижу!

— Аленочкина!— поражается Максим.— За что?

— За все!— сразу ожесточается Емельян.— За гладкую рожу, за белые костюмчики, за то, что он не любит Черный Яр, реку, работу...

— Емельян! Емельян!— еще больше поражается Максим.

— Ух, как я ненавижу Аленочкина!— продолжает Емельян.— Я его ненавижу даже больше Бориса Егорова. Он хуже Егорова... А советскую власть... Мальчишкой я бы дал тебе в рожу, Максим!

— А ты мне дай в рожу сейчас!— хохочет Максим.— Чего ты ждешь, Емеля?

Максим весело хохочет, а сам думает: «Он ненавидит Аленочкина! Странно — он ненавидит Аленочкина!» Ему вдруг вспоминается, что Емельян замыкался в себе, уходил от него, от Максима, именно тогда, когда появлялся Аленочкин, а однажды Емеля сказал прямо: «Ты с Аленочкиным дружишь... Иди к нему!»

«Странно!— думает Максим.— Очень странно!»

Вот уже второй человек, ненавидящий Аленочкина. Это Емельян Кузьменко. Когда он говорит об Аленочкине, у него глаза пустые, а у Иннокентия Петровича глаза делаются стальными, страшноватыми. «Аленочкин — стерлядь!— говорит Иннокентий Петрович.— А стерлядь — рыба древняя, хитрая!»

Максим морщит лоб. Он напряженно и тяжело думает.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Пассажирский пароход «Рабочий» швартуется к черной пристани.

Он пристает ненадолго — только притыкается носом к берегу, и по узенькому трапу на высокий яр торопливо сходит мужчина в сером дорогом макинтоше. Пароход «Рабочий» уходит дальше, вниз по течению, а приехавший внимательно оглядывает деревню; он, видимо, в Черный Яр приехал впервые. Поэтому несколько минут стоит на месте, изучает обстановку. Потом его взгляд останавливается на высоком здании конторы.

«Ага! Вот тут!»—обрадованно загораются глаза приезжего, и он неторопливо шагает к конторе.

Крепко прижимая к животу кожаный портфель, приезжий поднимается на крыльцо, открыв дверь в приемную, раскланивается направо и налево. Движения у него мягкие, интеллигентные, и лицо приятное—полноватое, здоровое. Пахнет от него хорошим одеколоном. Осведомившись, здесь ли, то есть за этой ли дверью, обитой черной клеенкой, работает Владимир Алексеевич Аленочкин, приезжий, продолжая раскланиваться с рабочими, находящимися в приемной, боком влезает в дверь кабинета.

— Приветствую вас, Владимир Алексеевич!—негромко, желая ошеломить приятной неожиданностью, здоровается приехавший.

Пишущий Аленочкин быстро поднимает голову. Сначала он как бы неверяще глядит на приезжего: он ли, дескать, это, да может ли быть такое?

— Поликарп Семенович!—удивляется Аленочкин.—Глазам своим не верю! Зачем же вы?

— Здравствуйте, здравствуйте, Владимир Алексеевич!—галантно кланяется приехавший.—Телеграмму я послать не мог, по телефону говорить неудобно, а письмо... Я решил, что съезжу к вам и обратно быстрее, чем дойдет и вернется письмо! Так, Владимир Алексеевич?

— Так, Поликарп Семенович, так!—оживленно отвечает Аленочкин и, крепко пожав руку гостю, деловито смотрит на часы.—Через пятнадцать минут обед! Идемте ко мне, Поликарп Семенович. Там и поговорим...

— Там и поговорим!—словно эхо откликается Поликарп Семенович и шутливо добавляет:—Каждому овощу—свое овощехранилище.

Поглядев друг на друга, они весело смеются.

По случаю солнечной погоды Владимир Алексеевич одет в белый ослепительный китель. Лицо у него загорелое, крепкое, волосы коротко и аккуратно пострижены; в белом кителе, подтянутый, он похож на морского капитана в отставке. Пожав руку гостю, Владимир Алексеевич веселеет, становится подвижным, даже немного суетливым.

— Ну, идемте ко мне!—торопится он.

— Благодарю вас!—раскланивается Поликарп Семенович.

Когда они идут по чернойорской единственной улице, несколько женщин-домохозяек выбегают на крылечки своих домов, застав глаза от солнца ладонями, бесцеремонно-любопытно разглядывают приехавшего, а те женщины, чьи дома стоят рядом, обмениваются громкими замечаниями. «С области,—говорит одна.—Когда с портфелем, значит с области!»—«А может, с району?»—сомневается другая.—Теперь в районе часто одеваются ровно как в области!»

Они слышат реплики женщин. Владимир Алексеевич, посмеиваясь, молчит, а Поликарп Семенович перед каждым крыльцом, на котором стоит женщина, чуть-чуть приподнимает фетровую шляпу и сдержанно, но весело кланяется.

На крыльце своего дома Владимир Алексеевич пропускает вперед гостя. В полутемной прихожей Поликарп Семенович снимает серый макинтош и остается в светло-коричневом костюме; он достает из кармана расческу в металлическом футляре, причесывается — волосы у него тонкие, рыжие. Приводя себя в порядок, Поликарп Семенович осматривается так, словно говорит: «Это, значит, прихожая! Ясно!» Затем они идут дальше — минуют дверь спальни, коридорчик в кухню, дверь в ванную и туалет. Войдя в столовую, Поликарп Семенович опять озирается так, словно говорит: «Вот это, значит, столовая! Ясно!»

— Любовь Борисовна! — громко зовет Владимир Алексеевич. — Любовь Борисовна!

Где-то, за несколькими дверями, слышится бег дамских туфель по мягким коврам, потом доносится торопливое шуршание материи, хлопки дверей. «Володя! Так рано!» — еще невидимая за дверью столовой говорит Любовь Борисовна.

— Так рано! — удивленно повторяет она, появляясь меж партнеров, и видит незнакомого человека. Очаровательно смутившись, Любовь Борисовна на мгновение замирает — она, вероятно, вспомнила, что на ней домашний халат, фартук, а волосы — в беспорядке. И халат и фартук на ней, конечно, милые, модные, но все-таки... Посторонний человек!

— Простите, ради бога! — глубоким голосом восклицает Любовь Борисовна. — Я по-домашнему!

— Ах, ах! — кланяется гость. — Что вы, что вы! — И смотрит на нее так, словно говорит: «Это, значит, жена! Ясно!»

— Любовь Борисовна! — улыбается Аленочкин. — Это Поликарп Семенович.

Как и ее муж при встрече с гостем в конторе, Любовь Борисовна сначала как будто не верит, что перед ней стоит самоделишный Поликарп Семенович, — на ее красивом, холеном лице появляется такое выражение, будто она не в состоянии поверить в это. «Неужели? Да не может быть, что сам Поликарп Семенович пожаловал в Черный Яр!» — говорит ошеломленное лицо Любови Борисовны.

— Как! Неужели? — Она прижимает руки к груди. — Неужели?

Гость чуть слышно щелкает каблуками:

— Поликарп Семенович Соколов!

Вот теперь Любовь Борисовна верит в то, что перед ней сам Поликарп Семенович, — широко открываются ее черные влажные глаза, улыбка заливает лицо; она мягким, летучим движением протягивает гостю белую, душистую руку.

— Я рада познакомиться с вами! — счастливым голосом произносит Любовь Борисовна. — Муж столько рассказывал о вас! Столько рассказывал!

— Любовь Борисовна! — каким-то особым тоном говорит Владимир Алексеевич. — Мы займемся в моем кабинете!

— Понимаю! Понимаю! — отвечает она и ослепительно улыбается Поликарпу Семеновичу. — Я вынуждена оставить вас вдвоем... Извините, ради бога!

— Дела всегда есть дела!

Любовь Борисовна уходит на кухню, а они — в кабинет Владимира Алексеевича. Это небольшая комната, обитая светлыми обоями; здесь стоят шкафы, полные книг, блестит толстым стеклом ореховый письменный стол.

— Прошу! — приглашает Владимир Алексеевич.

Поликарп Семенович останавливается на пороге. «Вот это, значит, кабинет! Так! Ясно!»

— Благодарю вас!

Они садятся в низкие, удобные кресла, в которых мягко утопает тело, в таких креслах удобно разговаривать по душам, пить хорошее вино.

— Итак! — легонько хлопает ладошкой Владимир Алексеевич.

— Итак, я приехал! — тонко улыбается гость, и как раз в этот момент в комнату входит Любовь Борисовна; покачивая полными бедрами, она проходит к столу с подносом в руках. На подносе — бутылка коньяку, две хрустальные рюмки, конфеты в серебряной обертке и лимон, разрезанный на маленькие ломтики.

— Мужчины! — говорит она. — С этим, я думаю, вам будет веселее разговаривать!

Это фокус, но Любовь Борисовна успела переодеться. Платье из золотистого материала туго обтягивает грудь, бедра, покатые плечи. На груди платье открывает овальную ложбинку, немного прикрытую тонкими кружевами.

— Я опять оставлю вас! — сокрушенно вздыхает Любовь Борисовна. — Домработницы мы не имеем... Я все делаю сама!

— Итак! — наливая в рюмки коньяк, повторяет Владимир Алексеевич.

— Итак! — отвечает Поликарп Семенович.

Звучно чокнувшись, они выпивают коньяк и, как по команде, откидываются в креслах.

— Нужны деньги, Владимир Алексеевич! — серьезно говорит гость. — И как можно скорее, ибо наступил самый ответственный момент.

Подняв с пола портфель, Поликарп Семенович достает из него кипу бумаг: несколько фотографий, планы на синьке и, наконец, большой альбом с цветной обложкой.

— Вот! — Он показывает Владимиру Алексеевичу крупную фотографию. — Полюбуйтесь на своего красавца!

На фотографии снят дом — высокие кирпичные стены, остроконечная крыша из шифера, еще не застекленная, но уже воздушно-солнечная веранда, огромные окна, легкий коробок верхнего полуэтажа. Дом не достроен. Это видно по тому, что вокруг него валяются обломки кирпича, доски, щебень.

Кирпичный дом принадлежит Владимиру Алексеевичу, то есть он дает деньги на строительство дома, который Поликарп Семенович возводит для него на одной из тихих улиц областного города. Несмотря на то что Поликарп Семенович хороший знакомый Аленочкина, он за услуги берет немалую сумму — двадцать тысяч. Но по сравнению со стоимостью дома эта сумма невелика, так как дом по смете, составленной Поликарпом Семеновичем и одобренной Аленочкиным, будет стоить около ста двадцати тысяч. Поликарп Семенович и Аленочкин познакомились в областном городе три года назад, месяца за три до того, как Владимир Алексеевич принял решение поехать в Черный Яр, где организовывался сплавной участок. До этого Владимир Алексеевич работал рядовым инженером в тресте.

— Остается штукатурка, паркетные полы, дворовая постройка, отопление, ванна и клозет! — загибая пальцы, говорит Поликарп Семенович. — Вот документы на истраченное...

Владимир Алексеевич внимательно прочитывает каждую страничку, шевеля губами, иногда поднимает на гостя невидящие глаза.

Аленочкин удивительно быстро и точно считает в уме, и, зная это, Поликарп Семенович старается не мешать Владимиру Алексеевичу — он бесшумно тянется к бутылке, наливает... Коньяк отличный! Да и вообще Поликарпу Семеновичу очень нравится Аленочкин, а теперь, когда побывал в его деревенском доме и познакомился с женой, нравятся и жена и дом. Что и говорить, Владимир Алексеевич умеет жить — в газетах частенько мелькает его имя, как имя одного из лучших начальников сплавных участков, зарплата у него громадная, дом обставлен со вкусом, а жена — прелесть!

Если говорить откровенно, то Аленочкин для Поликарпа Семеновича — трудный клиент, пожалуй, самый трудный из всех, кого он знал за последние пять-шесть лет, когда занялся строительством домов. Сначала он даже хотел порвать соглашение с Владимиром Алексеевичем, но потом, здраво поразмыслив, отказался от своего намерения. Трудность отношений с Владимиром Алексеевичем состоит в том, что он не позволяет покупать строительные материалы окольными путями, и это, конечно, замедляет строительство, хотя Поликарп Семенович может спокойно спать по ночам, не боясь вмешательства ОБХСС. Аленочкин сказал: «Пусть я уплачу лишних двадцать тысяч, но дом должен быть построен так, чтобы на каждый кирпич и доску у нас был оправдательный документ!»

Поликарп Семенович смотрит на Аленочкина с глубочайшим уважением. Да, это не та шантрапа, с которой он обычно имеет дело, это — солидный, обстоятельный клиент, это в конце-то концов член партии, коммунист, а коммунистов Поликарпу Семеновичу приходится обслуживать не особенно часто.

«Вот как надо жить! — глядя на Аленочкина, думает Поликарп Семенович. — Этот человек спит спокойно, он всегда знает, что делает! Этот человек занимает прочное место на этой спокойной земле. Этого человека не возьмешь голыми руками! Нет, не возьмешь!»

Очень уважает Владимира Алексеевича Поликарп Семенович Соколов! Да, это не те люди, с которыми он привык иметь дело. Те трясутся над каждой копейкой, жульничают, а этот не таков! Деньги тратит смело, поступает решительно, не хочет лепить дом из всякого барахла. Кирпич ему нужен — лучший, шифер — лучший, ванна — самая лучшая. И лицо у Аленочкина не мелочное, не жадное, а просто сосредоточенное.

Да, в жизни теперь берут верх вот именно такие люди, как Аленочкин, а не та шушера, что стремится все подешевле да по знакомству. Та шушера ночами спит беспокойно, ей все мерещится тюремная решетка, а этому — море по колено! Ишь как... В кресле сидит прочно, уверенно, лбище огромный, сильные плечи облиты белым кителем. Большой человек! Уверенный в себе человек! Вот каков он, Владимир Алексеевич! «Вот у кого надо учиться жить! — думает Поликарп Семенович. — Начальник, коммунист, авторитет огромный — что ему!» Ну как не помочь такому человеку, как Аленочкин; ему можно построить дом уже за одно то, что сидишь рядом, учишься у него. «За науку деньги платят!» — вот как говорят умные люди, а та шушера — плевать на нее! Вот с какими людьми надо иметь дело — с такими, как Аленочкин. И спать будешь спокойно, и деньги будут водиться! Да, вот как надо жить, дорогой мой товарищ Соколов!

— Так, так! — говорит Владимир Алексеевич, отрываясь от бумаг. — Значит, вам нужно по крайней мере восемь тысяч!

— Минимум, Владимир Алексеевич! — отвечает Поликарп Семенович с уважением в голосе. — Лето — лучший строительный сезон, и, если мы сейчас не будем форсировать штукатурные и сантехнические работы, мы много потеряем!

— Восемь тысяч будут! — говорит Аленочкин. — Вы их сегодня же получите... Но... — Он с улыбкой останавливается, поднявшись с кресла, подходит к окну, широко распахивает створки. В комнату врывается разноголосый шум берега — вой моторов крана, скрежет лебедок, плеск воды, тархтенье мокрых бревен. Кран работает: блестит окнами кабины, вздымает стрелу. — Но в июле я вам могу не дать такой суммы. Видите этот кран? Через три дня он будет включен в план участка! И

может случиться такое, что я не получу премиальных — crane еще не освоен! Надо быть готовым к этому...

— Дорогой Владимир Алексеевич! — горячо говорит гость. — Если понадобится, моя сберегательная книжка к вашим услугам! Для вас...

— Спасибо! — вежливо перебивает его Аленочкин. — Если понадобится... Но я думаю, что нет... Лучше идемте-ка обедать!

Владимир Алексеевич пропускает гостя вперед, а сам идет за ним и думает о том, что Поликарп Семенович жулик, прощелыга и надо как можно скорее разделаться со строительством дома. Денег у Соколова займы он, конечно, не возьмет. «Я буду сутками сидеть на кране, уморю себя работой, — думает Владимир Алексеевич, — а у этого жулика денег не возьму... Мы должны выполнить июльский план. Должны!»

— Прошу к столу! — радостно встречает их Любовь Борисовна.

2

Во время парадного обеда у Аленочкиных Борис Егоров сидит между почетным гостем Поликарпом Семеновичем и самим Владимиром Алексеевичем Аленочкиным. Борис уже все знает — в прихожей его остановила Софья Борисовна, сделав таинственное лицо, заговорщически прошептала: «Вам нужны были факты, доказывающие обывательское лицо Аленочкина! Извольте пройти в столовую... Там сидит главный строитель двухэтажного особняка Аленочкина. Посмотрите на его лицо, и вы поймете, что он жулик! А поговорка, — тут она подняла морщинистый палец, помотала перед носом Бориса, — а поговорка хороша: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты!»

Софья Борисовна ушла в кухню, а Борис быстро прошел в столовую, заинтересованный ее сообщением. Его вообще интересовало все, что касается начальника Черноярского сплавного участка Владимира Алексеевича Аленочкина.

Сейчас Борис сидит меж гостем и Аленочкиным, с большим удовольствием ест свежую осетрину и наслаждается возможностью наблюдать за обедающими, думать о них, принимать участие в той тонкой игре, которую ведет Владимир Алексеевич со строгой Софьей Борисовной. Борис уже выпил две небольших рюмки коньяку и, улыбаясь, держит в руках третью.

— За благополучие! — говорит гость, Поликарп Семенович.

— За благополучие! — откликается Владимир Алексеевич.

— За удачу! — говорит Борис.

Они чокаются — рюмки звенят. Борис подносит ко рту запашистый коньяк, смакуя, выпивает, а сам поверх рюмки смотрит на Софью Борисовну. «Вот так-то, голубушка! — думает он и усмехается, так как она беспокойно возится, бледнея от напряжения, покусывает нижнюю губу. Голову она втянула в

плечи и от этого похожа на нахохлившуюся от холода птицу. — Вот так-то, голубушка! — внутренне усмешается Борис. — И ничего-то ты не сделаешь, ничего не скажешь! Вот так и будешь сидеть, брезгливо морщиться, а потом откажешься от компота!»

— Отличный коньяк! — весело говорит Борис.

— Наиотличнейший! — с воодушевлением поддерживает его Поликарп Семенович. — Надо отдать должное вкусу хозяев — наиотличнейший коньяк!

У Поликарпа Семеновича действительно жуликоватое лицо — бегающие глаза, мелкие зубы, смятый маленький подбородок. Но особенно выразительны его руки — рыжие, вздрагивающие от нетерпения. Одним словом, Софья Борисовна была права, когда говорила, что строитель особняка прохвост. Но вот в другом Софья Борисовна ошиблась — Владимир Алексеевич ничуть не похож на своего гостя.

Владимиром Алексеевичем можно без усталости любоваться. Его чеканным профилем, ровным загаром, крутой линией широкого лба; хорош у Владимира Алексеевича затылок — квадратный, выпирающий; шея у него крепкая, толстокожая, короткая, а уши маленькие, прилегающие к голове. И выражение лица у него не жуликоватое, а мужественное, честное, волевое, и руки у него, конечно, не вздрагивают. Это сильные, могучие руки, которыми он умеет ворочать тяжелые бревна и чертить тончайшие чертежи.

Разглядывая Владимира Алексеевича, Борис Егоров мысленно разговаривает со своим старшим братом Эдуардом. Это у него уже вошло в привычку — разговаривать со старшим братом, и в последнее время Борис находит удовольствие в этих воображаемых, мысленных беседах. Он как-то обнаружил, что брат помогает ему думать, то есть, полемизируя или соглашаясь с Эдуардом, Борис точнее, до конца, обдумывает то, что волнует его. Но главное в другом — Эдуард полезен тем, что его словами можно называть вещи своими именами. Сам Борис, например, никогда не сказал бы вслух о том, что в двадцатом веке нет романтиков трудовых будней, а вот Эдуард говорит: «Покажите мне романтика трудовых будней, — умоляет он, — и я встану перед ним на колени!»

— Сегодня у нас два супа, — говорит Любовь Борисовна. — Могу предложить выбор — с фрикадельками и рыбный.

— Мне, пожалуйста, с фрикадельками! — просит Поликарп Семенович.

— Мне рыбный! — говорит Аленочкин.

— И мне рыбный! — быстро заявляет Борис.

Да, он будет есть именно рыбный суп!

Собственно говоря, почему бы ему не есть именно тот суп, который будет есть Владимир Алексеевич Аленочкин, ну что может помешать ему есть рыбный суп. Ничто и никто не может помешать ему есть рыбный суп. Ну, хотя бы потому, что он те-

перь до конца понял Аленочкина, ответил сам себе на все недоуменные вопросы, которые возникали при размышлениях о начальнике сплавного участка.

Подобно кибернетической счетной машине, Борис Егоров теперь может разложить Аленочкина на составные части, проанализировать каждую из них в отдельности и в целом; он может ответить на любой вопрос по поводу и в связи с жизнью и работой Владимира Алексеевича Аленочкина. Ответил Борис и на главный вопрос: «Почему Владимир Алексеевич живет и работает в Черном Яре?» Это, откровенно говоря, был самый трудный вопрос, ответить на который Борис смог только после того, как узнал о строительстве почти двухэтажного особняка. Остальное показалось легким — ответы так и посыпались.

Почему Аленочкин внедряет новый кран?.. Почему он сутками пропадает на берегу?.. Почему ссорится с Софьей Борисовной?.. Почему любит высокие фразы?..

На все эти вопросы Борис легко ответил, когда увидел сидящего за столом Поликарпа Семеновича Соколова, а ответив, вдруг спросил самого себя: «А зачем приехал в Черный Яр ты, Борис Егоров?» Борис улыбнулся, так как сразу представил старшего брата, который говорил: «Ты, Борька, едешь в Сибирь потому, что не хочешь лишиться поддержки предка!» После этого ему стало откровенно смешно. «Эдька — дурак!» — решительно подумал он.

Конечно, брат Эдька дурак! Ему надо показать Владимира Алексеевича Аленочкина, вот такого, каков он сейчас — оживленного коньяком, затаятого в белоснежный китель, ясноглазого, похожего с затылка на каменное изваяние. Брату надо бы увидеть, как тянется к коньячной бутылке мощная, обросшая темными волосами рука Аленочкина, как пальцы сжимают горлышко бутылки — сильно, хватко, как наливает Владимир Алексеевич коньяк в рюмку — не проливает ни капельки, как он поднимает рюмку на уровень глаз и рассматривает на свет золотистую жидкость. Надо бы увидеть брату лицо Владимира Алексеевича в этот миг, когда он поднимает рюмку.

— Внимание! — уважительно к Аленочкину восклицает Поликарп Семенович. — Внимание! Владимир Алексеевич хочет произнести тост!

Ах, вот как. Борис поворачивается к Аленочкину, тоже поднимает рюмку с коньяком. Ах, вот как! Начальник участка собирается произнести тост! Ну что же, валяй, Владимир Алексеевич! Интересно, о чем ты скажешь! Может быть, о процветании Черноярского сплавного участка, может быть, выпьешь дорогой коньяк за тружеников-сплавщиков... Давай, давай, Владимир Алексеевич, говорить ты умеешь!

— К сожалению, никакого тоста я произнести не могу! — весело говорит Аленочкин. — Мне остается только любоваться

этим вином. — Он наклоняется к Поликарпу Семеновичу, огорченно продолжает: — Рабочий день, Поликарп Семенович... Рабочий же день! И вы понимаете, что нам с Борисом Петровичем больше пить нельзя!

— Да, нам пить нельзя! — подтверждает Борис и тоже ставит свою рюмку, полную коньяка, на стол. — Мы люди рабочие!

— Да, да, мы люди рабочие! — смеется Владимир Алексеевич.

А обед продолжается все в той же теплой, дружественной обстановке, — аппетитно ест рыбный суп Владимир Алексеевич Аленочкин, охотно поглощает жирные фрикадельки жуликоватый Поликарп Семенович, как всегда, плохо едят Софья Борисовна и ее сестра Любовь Борисовна: первая — оттого, что ей противно есть, вторая — потому, что вынуждена следить за обедающими и помогать им насыщаться. Впрочем, Любовь Борисовна не огорчена тем, что ей некогда есть, — сияющая, помолодевшая от возбуждения и рюмки коньяку, она с удовольствием прислушивается обедающим.

Любовь Борисовна зорко наблюдает за Поликарпом Семеновичем, придвигает к нему нужные блюда, но следит не только за тем, чтобы он хорошо ел, но и за тем, чтобы гостю не было скучно. Вот она замечает, что Поликарп Семенович особенно внимательно смотрит на Бориса Егорова, улыбается, но ничего не говорит, хотя, видимо, интересуется молодым инженером. И она приходит на помощь гостю.

— Борис Петрович для нас стал родным человеком! — мило улыбается Любовь Борисовна. — Я совсем не чувствую, что он чужой. И подумать только! — Она с недоумением пожимает плечами. — И подумать только, что он мог бы питаться как попало... В таком цветущем возрасте нельзя питаться плохо! Я искренне рада, что наша семья как-то может скрасить его пребывание в деревне. Ведь после Ленинграда — Черный Яр... Вы представляете, Поликарп Семенович!

— Отлично представляю! — восклицает гость.

— Борис Петрович теперь нашенский! — говорит Аленочкин. — Был ленинградский, а стал нашенский...

— Мерси! — шутливо кланяется в ответ Борис. «Плохо это или хорошо — быть нашенским?» — с веселой иронией думает он о словах Владимира Алексеевича.

— Нравится ли вам утка, Поликарп Семенович? — озабоченно спрашивает Любовь Борисовна. — Вам не кажется, что она чуточку пережарена!

— Что вы! Что вы! — даже пугается Поликарп Семенович. — Деликатес!

— У меня разболелась голова! — неожиданно для всех сухим, скрипучим голосом говорит Софья Борисовна. — Я должна уйти!

Она поднимается и уходит из комнаты.

— Ах, эти вечные головные боли! — восклицает Любовь Борисовна. — Они так часто мучают мою старшую сестру. Ужас! Вы не представляете, Поликарп Семенович.

— Есть отличное средство против головной боли, — сочувственно отвечает гость. — Если хотите, я немедленно пришлю...

— Ах, конечно, конечно...

«И это все! — мысленно хохочет Борис. — И это все, что вы можете сделать, Софья Борисовна, — подняться и уйти, сославшись на головную боль».

3

Владимир Алексеевич Аленочкин недовольно морщится, прищурившись, мерит глазами расстояние между черной пристанью и пароходом «Шевченко», который собирается приставать к ней, понимает, что пройдет не меньше десяти минут, когда бросят трап, и опять недовольно морщится.

— Что вы сказали? — торопливо спрашивает его Поликарп Семенович.

— Нет, ничего! — отвечает Аленочкин. — Впрочем, я хочу сказать, что вам повезло! Приехать утром и уехать в два часа дня — везенье!

— На том стоим! — смеется Поликарп Семенович, но Владимир Алексеевич уже не слышит его. Аленочкин нервничает, переступает с ноги на ногу, словно палуба дебаркадера жжет подошвы. Дело в том, что к пристани идет неторопливый, веселый и прямой, как юноша, старик Иннокентий Петрович Анисимов. «Черт знает что!» — мысленно ругается Владимир Алексеевич, так как ему не хочется, чтобы старик видел Поликарпа Семеновича. Любо́й другой человек в Черном Яре может видеть гостя Аленочкина, но только не Иннокентий Петрович: у старика зоркие глаза и по серому макинтошу, бегающему взгляду, сытой физиономии Поликарпа Семеновича он сразу поймет, что за птица перед ним.

«Черт знает что!» — опять ругается Владимир Алексеевич, беспокойно ворочая головой: шее жарко в тесном воротнике кителя, потеют руки, чего давно не случалось с ним.

— Итак! — звучно произносит Поликарп Семенович. — Мы обо всем договорились с вами, дорогой Владимир Алексеевич! Форсировать, форсировать и еще раз форсировать!

— Не так громко! — просит его Владимир Алексеевич, хотя Поликарп Семенович не говорит ничего такого, что можно дурно истолковать. — Не так громко, Поликарп Семенович!

Неторопливый Иннокентий Петрович приближается. Вот уже начинает спускаться с горушки; освещенный жарким солнцем, легко перепрыгивает с бревна на бревно. Он уже, конечно, узнал Владимира Алексеевича, а через сто шагов начнет разглядывать Поликарпа Семеновича. Он обязательно сделает

это, так как Иннокентий Петрович и самого Аленочкина постоянно разглядывает внимательными, испытующими глазами, и выражение лица у него такое: «Ну, что у тебя новенького, товарищ Аленочкин!»

Иннокентий Петрович Анисимов бывает в доме начальника рейда Максима Ковалева, по рассказам старожиллов Черного Яра, был самым лучшим другом отца Максима. Глядя на приближающегося старика, Владимир Алексеевич вдруг чувствует, что не может больше стоять рядом с Поликарпом Семеновичем. Аленочкин еще не знает, как быть, что предпринять для того, чтобы старик не видел его возле гостя, и собирается искать выход, как оказывается, что он уже говорит Поликарпу Семеновичу:

— Фу ты, боже мой! Поликарп Семенович, я ведь забыл, что ровно в два часа раздастся звонок из треста. Будет звонить сам управляющий. Боже, как я мог забыть! Сейчас как раз без десяти два...

Он произносит эти слова, а сам с усмешкой думает: «Ишь как быстро сработала внутри меня какая-то машинка!» Мысль об этом так смешна, что он на самом деле усмехается и весело продолжает:

— Я прошу извинения, Поликарп Семенович, но мне придется бежать в контору!

— Ах, ах! — вежливо всплескивает руками Поликарп Семенович. — Ах, какие пустяки! Конечно, вам надо бежать в контору. Управляющий трестом — это так важно!

«Теперь это как-то нужно сделать так, чтобы не пожимать ему руку на глазах старика!» — торопливо думает Владимир Алексеевич, но то внутри его, что он смешливо назвал машинкой, уже срабатывает, и Владимир Алексеевич быстро говорит:

— Я вам позвоню утром, Поликарп Семенович! А теперь бегу! Прощальные поцелуи откладываем на другое время... Ах, как я мог забыть о звонке управляющего! — И, подняв руку к часам, смотрит на часы, и его руки теперь заняты и понятно, что он не может дать руку Поликарпу Семеновичу. — До встречи! — озабоченно повторяет Аленочкин и торопливо сбегает с дебаркадера, делая такой вид, словно и не стоял возле Поликарпа Семеновича, а зачем-то ждал парохода, но дожждаться не мог.

— Черт возьми, опаздываю! — на ходу восклицает Владимир Алексеевич, услышав недалекие шаги старика. — Добрый день, Иннокентий Петрович!

— Добрый день, товарищ Аленочкин!

Раскланявшись со стариком, Владимир Алексеевич уходит широкоим, озабоченным шагом, поднимаясь на горюшку, чувствует спиной напряженный взгляд Иннокентия Петровича. Однако Аленочкин не оборачивается, почти бегом поднимается на верхотинку, минует крайний к берегу дом и только тогда, когда его не видно с дебаркадера, останавливается. Одышки у него

нет, но сердце бьется часто. «Я строю двухэтажный дом на собственные деньги! — думает он. — Я строю двухэтажный дом на собственные деньги!»

Владимир Алексеевич смотрит на Черный Яр, залитый солнечным светом. Привычно, зримо он представляет себе будущий дом, который будет больше любого чернораевского дома в четыре раза. Пожалуй, даже в шесть раз. Если говорить откровенно, то он будет выше и больше чернораевской школы, а во дворе дома строится бетонный бассейн.

«Я строю дом на собственные деньги!» — на этот раз с улыбкой думает Владимир Алексеевич.

4

С веселой позванивающей от коньяка головой Борис Егоров подходит к новому погрузочному крану. Настроение у него отличное.

Над Обью синее высокое небо, по-летнему густое, осыпанное черными бордовыми точками, с двумя летними облаками — одно висит над кедрачами, второе как бы зацепилось за ажурную стрелу крана. Растопырив острые крылья, висит над зеленой водой обский баклан, похожий на чайку, — высматривает мелкую рыбешку, прицелившись, камнем бросается в реку. За околицей, на подступах к кедрачам, белеет молодой веселый сосняк, от которого пейзаж становится легким, праздничным.

При солнечном свете Черный Яр Борису Егорову кажется похожим на дачное место — лес, вода, свежая трава, легкий, как шипучка, воздух. Иногда ему грезится, что из-за синих кедрачей вот-вот послышится лязг буферов, постукивание колес и на берег Оби стремительно выскочит яркая электричка. Из вагонов повалят разбитные отдыхающие люди — рыбаки со спиннингами, девушки в узких брючках и с рюкзаками, толстяки с большими чемоданами в руках и медленные молодые люди в громадных светофильтрах. Пройдет пять минут, и берег Оби станет похожим на тюленью лежбище.

Но электричка не выскакивает из-за синих кедрачей, и берег не становится тюленьим лежбищем.

Новый погрузочный кран наваливает на баржу мокрые тяжелые бревна. На понтоне, задрав голову и держа в руках блокнот, стоит Максим Ковалев; наблюдая за работой крана, он нетерпеливо постукивает ногой по металлическому полу и время от времени смотрит на хронометр. Недалеко от Максима работает на барже голый по пояс, черный от загара Емельян Кузьменко. Отцепляя бревна, он то и дело обертывается к Максиму, подает ему знаки. Тогда Ковалев торопливо нагибается к блокноту, делает короткую запись. Он, видимо, изучает цикл работы крана.

Докурив сигарету, Борис хочет подняться на кран, но Максим Ковалев, закончив хронометраж, сам спускается к нему.

Оживленный, веселый Максим спрыгивает с понтона, размахивая блокнотом, за пять метров от Бориса весело кричит:

— Вошли в график!

Видимо, радость Максима по поводу вхождения крана в график так велика, что при виде технорука Егорова он забывает принять независимо-насмешливый вид, сложить тяжелые губы в веселую усмешку. Мало того, подскочив к Егорову, Максим даже хватает его за рукав клетчатой ковбойки, чтобы до технорука скорее дошел смысл того, что кран наконец вошел в график.

— Точка в точку, ты слышишь! — оживленно говорит Максим.

— Слышу! — тоже весело отвечает Егоров и затаивает дыхание, чтобы случайно не дохнуть на Максима запахом коньяка.

Борис понимает, что ему нельзя дышать на Ковалева после торжественного обеда у Аленочкина. Нельзя по многим причинам — положение технорука, разгар рабочего дня, деловитая оживленность Ковалева, но главная причина в том, что Борис мало и плохо знает Максима. Да, несмотря на то что они проработали бок о бок почти год, что в один день приехали на сплавной участок и Максим несколько раз бывал в доме Егорова, Борис плохо знает Максима.

В Максиме Ковалеве многое непонятно Егорову. Он, например, не может ответить на те же вопросы, что мысленно задавал Аленочкину и на которые по отношению к Аленочкину уже ответил. Борис до сих пор не знает, почему инженер Ковалев вернулся в Черный Яр, что заставляет Максима сутками торчать на кране, почему Максим такой насмешливо-иронический человек?

Не понимает Борис и многого другого — ну, скажем, отношений Максима Ковалева с Емельяном Кузьменко, так как эти отношения необычайно странны. Месяц назад Емельян Кузьменко при виде Ковалева гневно сжимал руки в кулаки, глядел на молодого инженера ненавидящими глазами, а теперь они дружно ходят на работу, много времени проводят вместе, и угрюмый Кузьменко уже не смотрит на Максима ненавидящими глазами. Это странно, как странно и многое другое в поведении Максима Ковалева.

Поэтому Борис Егоров старается не дышать на Максима после торжественного обеда у Аленочкина, но он смотрит на Максима так, как смотрит на всех в Черном Яре, — испытующе, внимательно, боясь пропустить что-то важное. «Ну, кто ты такой, Максим Ковалев? — спрашивают глаза Бориса Егорова, когда он смотрит на начальника рейда. — Что есть в тебе? Чем дышит грудь, отчего бьется сердце, почему ты ходишь по круглой и теплой земле?»

— Значит, вошли в график! — бодро говорит Борис, щелкая зажигалкой, чтобы закурить и дымом прикрыть запах конья-

яка. — Это хорошо, что вошли в график! Но ведь нам нужно идти дальше! — добавляет он со строгой ноткой в голосе. — Нам нужно перекрыть график!

И только теперь Максим становится обычным, спохватившись, что он держит Егорова за рукав. Максим убирает руку, делает шаг назад, напускает на лицо насмешливо-ироническое выражение. Только теперь он замечает, что Борис Егоров неестественно оживлен, щеки технорука покрыл яркий румянец, глаза поблескивают и смотрит он на него, на Максима, еще любопытней, еще пристальней, чем обычно.

— Да, да, да,— смешливо говорит Максим. — Мы должны перекрыть график! Это наша задача — перекрыть график!

— И мы его перекроем! — в тон Максиму отвечал Борис.

— И мы его перекроем!

Они несколько мгновений молчат, смотрят друг на друга. Потом Максим поворачивается, чтобы уйти на лебедки, Егоров собирается подниматься на кран, но ни тот, ни другой своего намерения не выполняют — на кране вдруг раздаётся оглушительный хлопок, похожий на выстрел из пистолета.

— Что такое? — удивляется Борис Егоров.

— Автогенная сварка! — спокойно отвечает Максим, и сразу же после его слов на кране вспыхивает яркий огонек, раздаются шипенье и треск.

По краю понтона с газовой горелкой в руках идет Валентина Батаногова, одетая в тугую брезентовую спецовку; за ней тянется черный шланг, а двое рабочих несут тяжелый балдон. Они останавливаются на конце понтона, где лежит разорванный на две части металлический кронштейн с пучковязателем.

— Почему Батаногова? — подняв брови, спрашивает Борис.

— Она до техникума работала сварщицей! — отвечает Максим. — А кстати, другого сварщика на участке сегодня нет...

Подойдя к кронштейну, Валентина опускается на колени, натянув на руки брезентовые перчатки, резким, но изящным движением прикрывает глаза щитком и от этого делается похожей на марсианку. Щиток на глаза она опускает таким движением, каким, наверное, опускали забрала своих шлемов средневековые рыцари. Просторным жестом Валентина отсылает рабочих от кронштейна, сгибается и приставляет горелку к металлу. Сначала слышны только шипенье, ожесточенный треск, но уже через несколько секунд ее с ног до головы осыпают пучки ослепительных искр, гул горелки делается грозным, раскатистым. Стоящие позади нее рабочие отшатываются, а она словно и не замечает того, что искры цевками, как опилки из-под пилы, брызжут на ее спецовку.

Со щитком на голове, осыпанная с ног до головы искрами, в ловком комбинезоне, туго обтягивающем фигуру, Валентина чудо как хороша! Ни одно платье, ни один костюм не могут сделать ее такой красивой, как брезентовая спецовка; даже в

танце у нее никогда не бывает таких красивых движений, такой пластической позы, какие дает ей изящная целесообразность труда. Неземное, марсианское есть в ней, а осыпанная искрами, она вызывает чувство восхищения и тревоги: как это она не боится искр, жуткого рева огненной струи, раскаленного металла?

Валентина чувствует, что она красива, когда сваривает кронштейн; знает она и то, что с берега за ней наблюдают. Еще тогда, когда шла по понтону, она заметила Максима Ковалева и технорука Егорова, увидела, что они следят за ней. И, опуская на глаза щиток, она еще раз искоса глянула на Максима Ковалева — высокий, сильный, в распахнутой на груди рубаше, он улыбался.

«Ну что же, смотри, Максим Ковалев!» — подумала она, представляя горелку к кронштейну.

И вот Валентина сваривает металл, работает горелкой и понимает, что изящна, красива, чувствует, что с берега любуются ею, и, сама того не желая, Валентина кокетничает. Как иные женщины кокетничают одеждой, манерой говорить, ходить и держаться, особым голосом, фигурой, выражением глаз или улыбкой, так и Валентина кокетничает работой. Пользуясь целесообразностью движений сварщика, она нарочно усиливает впечатление — принимает пластическую позу, играет смелостью, точностью, умением. Но оттого, что она кокетничает, зная, что за ней наблюдают, нарочно усиливает изящество движений, работа получается отличной. Валентина выводит на кронштейне такой ровный и крепкий шов, что во время короткой передышки один из рабочих уважительно говорит:

— Это да — как ниточка!

Но Валентина не обращает на него внимания — опять наклоняется, опять осыпают ее горячие искры, опять движения изящны и красивы. «Вот так! — как бы говорит облик Валентины. — Вот так надо варить кронштейн, не бояться искр, ровно тянуть шов, от которого деталь станет прочной! Любуйтесь на меня!» — разрешает Валентина. — Смотрите, как я красива, как хорошо умею работать... Смотри на меня, Максим Ковалев!»

Минут через пять, распрямившись, Валентина гасит горелку, снимает с головы щиток и облегченно улыбается — солнцу, легкому ветру, расплавленной Оби, светлому березняку за околицей.

— Вот и все! — тихо говорит она.

Поднявшись на понтон, Максим подходит к кронштейну, трогает пальцами еще горячий шов — работа выполнена отлично. Сизый, с перламутровыми оттенками шов похож на тугую свернутую веревку; гребешки ровно опоясывают его, а окончания шва изящно сведены на нет.

— Отлично! — говорит Максим, — По-мастерски!

— Старалась! — по-прежнему тихо отвечает Валентина.

С берега на них внимательно, изучающе смотрит технорук Борис Егоров. Он курит сигарету, голова у него приятно кружится от коньяка, солнце ласково греет спину, обтянутую клетчатой ковбойкой. Настроение у него отличное, мысли приятные. Он спокойно, обстоятельно думает о том, что по поводу субботы в черноморском клубе сегодня состоятся танцы и он пойдет на них и после танцев будет провожать домой Валентину Батаногову.

Девушка нравится Борису до того, что у него пересыхает во рту, когда он видит ее в спецовке. «Красавица! — думает он, разглядывая Валентину, стоящую рядом с Ковалевым. Борис неторопливо пробегает взглядом по ее длинным ногам, высокой груди, узким, но крепким плечам. — Замечательная красавица!» Потом он останавливает взгляд на Максиме.

Борис смотрит на Ковалева долго, испытующе.

«Кто такой этот Ковалев? — думает он. — Что представляет собой этот здоровый и веселый парень?»

5

Прежде чем войти в дом тети Паши, Татьяна Егоровна останавливается у порога, отвернувшись от Емельяна и Максима, несколько секунд смотрит на голубую подкову Оби. Лицо у нее застывает, глаза пустые. Чувство бессилия, опустошенности охватывает ее. «Ничем не поможешь Паше! — тоскливо думает она. — Нет ничего на свете, что могло бы помочь подружке!»

— Мама! — тихо окликает ее Максим.

— Да, да! — спохватывается она. — Да, да! Идем, идем!

Татьяна Егоровна внимательно оглядывает себя — белый халат, туфли на низком каблучке, — поправляет на голове белую косынку, напускает на лицо уверенно-спокойное выражение. Войдя в комнату, она весело здоровается с тетей Пашей, положив чемоданчик на табуретку, садится рядом с ней.

— Как делишки, Прасковья Михайловна? — громко спрашивает Татьяна Егоровна. — Ночь спала?

— Спала! Ничего... — силясь привстать, отвечает Прасковья Михайловна. — Спасибо, Таня!.. Проходи, Максимушка!

Максим садится за стол, Емельян становится рядом с кроватью, и они напряженно следят за тем, как Татьяна Егоровна, шевеля губами, считает пульс.

— Так! Ничего! — Татьяна Егоровна достает стетоскоп, но Прасковья Михайловна останавливает ее.

— Погоди, Татьяна! — просит она. — Погоди немножко... Посиди рядом! Мне от твоего халата в глазах режет... Посиди, пригляжусь я! — Вздохнув, она роняет руку на одеяло, закрывает глаза. — Халат на тебе, Таня, белый как снег! — после дол-

гого молчания продолжает Прасковья Михайловна. — Словно ранний снежок... Бывало, выбежишь это на крылечко и сосленишь — ни-и-чегошеньки-то спервоначалу не видишь, а в глазах все круги — веселые да разноцветные! А потом откроешь глаза — мать честная! Все звездочки, звездочки на снегу-то... Одна одной блестящее да красивее... Жалко по ним ходить-то, по звездочкам-то! Вот ногу-то и ставишь осторожно, чутко...

Она говорит очень тихо, но в тишине ее голос кажется кричащим; она не открывает глаз, но Максиму кажется, что Прасковья Михайловна глядит на него широко раскрытыми, сияющими глазами.

— Идешь по звездочкам-то, а их жалко! Однако идешь! Молодость — чего поделаешь... Молодыми все ходили по звездочкам! Все ходили, Таня! — Прасковья Михайловна передыхает, легонько качает головой. — Все ходили по звездочкам-то!

Холод заползает за воротник к Максиму; он съезживается, и, наверное, от этого холод со спины пробирается на грудную клетку, на руки и ноги. «У мамы действительно белый халат!» — почему-то думает Максим.

— Не ходить теперь мне, Таня, по звездочкам-то... Совсем я на ноги сяла! — говорит Прасковья Михайловна и открывает глаза. — Вот и пригляделась я к твоему халату, подружка! Теперь мне с тобой можно разговаривать... — по-прежнему тихо продолжает она, и на ее темном неподвижном лице появляется улыбка. Сначала улыбаются огромные глаза — серые и внимательные, — потом улыбка раздвигает пергаментные губы, потом показываются неожиданно белые и здоровые зубы. Она улыбается мягко, душевно. — Совсем я на ноги сяла, Таня! Вы пришли, а мне и угостить вас нечем... Емеля, а Емеля!

— Что, мама? — нагибается к ней сын.

— Вздуд бы самовар-то! Хоть чаем напои дорогих гостей... Скатерку достань белую, что с кружевами... Я сама вязала! — вспоминает она. — Ты ведь помнишь, Таня, как я кружева вязала?

— Помню, Паша!

— Я их хорошо, быстро вязала... А теперь вот на ноги сяла, так и вязать не могу... В хребте-то ведь я не гнуся, Таня... Так вздуд самовар-то, Емеля! Скатерть белую постели!

— Не надо, Паша! — ласково говорит Татьяна Егоровна. — Мы обедали... Спасибо!

— Как же так — обедали! — огорчается Прасковья Михайловна и просит сына: — Подними, Емеля, мне чуток голову...

Емельян поднимает подушку, помогает матери выпрямиться. Теперь хорошо видно ее лицо, и Максим чувствует, как в горле перехлестывает — с худого, обтянутого кожей лица смотрят на него огромные, всепонимающие и мудрые глаза старинной иконы. Все изменилось в лице тетки Прасковьи, и глаза, которые не меняются с возрастом, тоже изменились. Когда нет улыбки,

это страшные глаза, они все понимают в Максиме, все знают о нем, и он, сжавшись, думает: «Она скоро умрет!» Максим отводит взгляд — в глазах закипают слезы.

— Жила во мне какая-то лопнула... — спокойно продолжает тетя Паша. — И то подумать, мужикам трудно неводище таскать, а не то что бабам... Вот я на ноги и сяла... Конечно, не будь войны, не ушел бы Гриша на фронт, не надорвалась бы я! А он, конечным образом, ушел! Все мужики уходили... — задумчиво вспоминает она. — Девкой была — отец ушел, бабой стала — мужа проводила! Отец тоже не вернулся с германской...

Несколько минут она молчит, отдыхая.

— В русском народе бабы до всего привычные! Мужики воюют, а они ворочают... Испокон веков!.. Говорят, в других народах бабы так не могут!.. Вот я на ноги и сяла!.. Войны больше не надо, это так... Всем народам надо стать против войны... А что я работала много, так как было не работать, когда враг напал. Я теперь, подружка, себя оттого лучше чувствую, что работала от души. Есть, думаю, и моя доля в победе над супостатом, над немцем окаянным... Всей душой я Грише помогала... Потому и на ноги сяла... Ну, да ничего!

Взгляд у нее вдруг становится твердым, властным, непреклонным, и Максим сразу вспоминает прежнюю тетю Пашу — крепкого и начальственного бригадира рыбаков. О, ее побаивались мужчины, начальство говорило о ней почтительным шепотом, а женщины повиновались незаметному кивку головы.

— Вот так, подружка! — улыбается тетя Паша. — Так!

В это время раздается грохот двери, тяжелый скрип сенных половиц, и в дом быстро входит Иннокентий Петрович. Под низким, темным потолком он кажется неожиданно высоким. Мягко ступая ногами в чирках — кожаной обуви обских рыбаков, — он подходит к кровати больной, мельком поздоровавшись с присутствующими, нагибается к тете Паше.

— Здравствуй, Паша! Воюешь все?

— Здравствуй, Иннокентий! — тихо отвечает она и, трудно повернув к старику голову, неярко улыбается. — Отвоевалась я, Кеша! Если уж и воюю, так больше все глоткой да стоном. Пороху-то нету у меня! Может, ты им богат, так поделился бы с немощной бабенкой...

— Вон что! — тоже улыбается Иннокентий Петрович. — Дай тебе пороху, так это что получится — ты сызнава всех мужиков по закускам разгонишь. Да они меня со свету ж сживут, коли про такое узнают... Мужики на спокойе, когда ты тут разлежи-ваешься!

— Ну, ты-то меня сроду не боялся! Ты лихой был!

— Не боялся? — пораженно всплескивает руками Иннокентий Петрович. — Я тебя не боялся? Боже ж милостивый!.. Не грехи, Паша! Когда с фронта вернулся да в бригаду под твою

начало попал, день, бывало, проживу и радуюсь, что ты меня не схарчила...

— То-то ты меня потом с бригадиров спихнул и сам в начальство вылез! — оживленно откликается тетя Паша.

— А как же! — опять всплескивает руками Иннокентий Петрович. — Да не стань я бригадиром, что бы со мной было... Неужто не помнишь, каким я под твоим началом тонким, звонким и прозрачным стал... Самосохранение, Пашенька, борьба за существование!

Максим смотрит на Иннокентия Петровича и поражается тому, каким молодым и озорным стал старик — глаза весело смеются, губы подвижны, прозрачная седая борода лихо торчит. Повеселела и тетя Паша — глаза тоже смеются, и кожа на лице чуточку порозовела. Кажется Максиму, что и в комнате стало светлее: она уже не кажется такой низкой, солнце лежит на полу ровным и светлым квадратом.

— Ох, Кеша, Кеша! — смеется Прасковья Михайловна.

— Ох, Паша, Паша! — вторит Иннокентий Петрович.

Меж стариком и тетей Пашей такие отношения, которые бывают меж старыми комсомольцами двадцатых или тридцатых годов, — это веселые отношения товарищества, интимного подтрунивания друг над другом, ласкового взаимопонимания и горячей приязни. Комсомольцы тех лет до глубокой старости зовут друг друга короткими именами, в их подтрунивании друг над другом чувствуется дружба и горячая любовь. Точно так же ведут себя Иннокентий Петрович и тетя Паша. Посмеявшись, они весело переглядываются, опять укоризненно покачивают головами.

— Эх, Кеша, Кеша!

— Эх, Паша, Паша!

Иннокентий Петрович хочет еще что-то сказать, но в дверь вдруг настойчиво и громко стучат. Тетя Паша поворачивается на стук, тихонько покачивает головой:

— Вон сколько у меня сегодня гостей!

— Войдите! — громко разрешает Емельян.

Дверь распахивается широко, в нее проникает рассеянный солнечный свет и показывается темный мужской силуэт — прямые плечи, короткая шея, крупные ноги, обтянутые галифе. Это Владимир Алексеевич Аленочкин. Увидев гостей у кровати больной, он только на секунду задерживается в дверях, только секунду медлит, как бы пораженный тем, что он не единственный гость. Но уже в следующую секунду Владимир Алексеевич пружинистой походкой идет к кровати тети Паши, берет ее руку, осторожно пожимает тонкие, высохшие пальцы.

— Добрый день, Прасковья Михайловна!

— Здравствуйте! — медленно отвечает тетя Паша. — Емеля, дай человеку стул,

— Нет, нет! — весело басит Аленочкин. — Сидеть я не буду... Я зашел для короткого разговора, Прасковья Михайловна!

От Аленочкина веет сосновым запахом; загорелый, светлоглазый, он весь как бы переполнен солнцем, силой, энергией, весь как бы пронизан движением. Складки на светлом кителе кажутся нарисованными масляной краской, тугой воротник подпирает выпуклый подбородок. Освоившись, приглядевшись к полумраку, Владимир Алексеевич бросает беглый взгляд на Иннокентия Петровича, и еле заметная, беглая улыбка трогает губы начальника.

— Я зашел для короткого разговора, Прасковья Михайловна! — еще веселее повторяет Владимир Алексеевич. — И очень хорошо, что здесь собралось такое большое общество.

Владимир Алексеевич стоит лицом к тете Паше, но боковым зрением видит Иннокентия Петровича, потому Максиму кажется, что говорит Аленочкин не для тети Паши, а только для старика. И весь Аленочкин как бы обращен только к Иннокентию Петровичу.

— Вам надо ехать в область, Прасковья Михайловна! — твердо, как о давно решенном деле, говорит Владимир Алексеевич. — Вам нужно немедленно ехать в город! Мой катер в вашем распоряжении, Прасковья Михайловна! Мало того, я сегодня разговаривал по телефону с клиником профессора... — Аленочкин быстро выхватывает из кармана записную книжку, ловко открывает ее на нужном месте и читает: — С клиником профессора Краснова... Он готов принять вас!

В наступившей тишине Владимир Алексеевич спокойно укладывает в карман светлого кителя яркую записную книжку, застегивает медно-блестящую пуговицу и опять бросает скользкий, беглый взгляд в сторону Иннокентия Петровича. Вид у Аленочкина такой, словно его личный катер уже подошел к берегу, а профессор Краснов сходит с трапа.

— Итак, Прасковья Михайловна, — твердо повторяет Аленочкин, — завтра вы едете в город!

Но по-прежнему стоит тишина — в комнате ни движения, ни голоса, ни улыбки. Смотрит в потолок большими глазами Прасковья Михайловна, болезненно морщится Татьяна Егоровна, побледнел Иннокентий Петрович, рванулся к матери, но вдруг застыл, остановился Емельян. Полминуты, наверное, стоит тишина, потом тетя Паша повертывает голову к Аленочкину, окидывает его внимательным, спокойным взглядом.

— Слыхала я, — медленно говорит она, — что вы мой ровесник. С одного года мы с вами... А ведь чудно! — Она покачивает головой. — У вас ни одного седого волоса, а я вот на ноги сяду... Мой-то Гриша в первые дни войны сложил голову... А я вот на ноги сяду! Вас, что ли, не брали на фронт-то, а?

— Я заготавливал лес для военной промышленности! — тихо говорит Аленочкин, — Это был тоже фронт!

Аленочкин весь как-то сузился, стал выше, тоньше, бледнее; губы у него стиснуты, лоб наморщен.

— Лес, конечно, дело! — со вздохом продолжает Прасковья Михайловна. — Опять же в лесу бабы ворочали... Мужиков было мало — все на фронте! Как и на рыбалке... Вот я на ноги и сяла!

— Прасковья Михайловна, — чуточку громче произносит Аленочкин, — вам надо ехать в город! И так, завтра катер забрет вас... До свидания, Прасковья Михайловна!

Все в той же тишине Владимир Алексеевич идет к двери, рывком открывает ее, ставит ногу на порог и уже было скрывается, как Татьяна Егоровна бесшумно бросается за ним. Максим, не зная отчего, бросается тоже и догоняет мать тогда, когда она, задыхаясь и ломая руки, говорит Владимиру Алексеевичу:

— Вы знаете... Вы знаете!

Аленочкин недоумевающе смотрит на Татьяну Егоровну, спустив уже одну ногу с крыльца, медленно возвращает ее обратно и так же медленно поворачивается лицом к Татьяне Егоровне.

— Что? — отрывисто спрашивает он. — Что?

А Татьяне Егоровне словно не хватает воздуха; задыхаясь, она стискивает руки на груди, жмурится на солнце и все повторяет:

— Вы знаете... Вы знаете...

— Что? Что? — недоумевают Аленочкин, и только после этого Татьяна Егоровна произносит быстро и громко:

— Как вы смеете, Аленочкин! Как вы смеете думать, что мы ничего не делаем для Паши! Как вы смеете!

— Я не понимаю вас! — сухо говорит Аленочкин.

— Зато я понимаю вас! — почти кричит Татьяна Егоровна. — Явились этаким ангелом-спасителем, а разве вам неизвестно, что Паша нетранспортабельна... Ее никуда нельзя везти... Ей вообще ничто не может помочь. Как вы смеете, Аленочкин!

Максим берет мать за руку, заглядывает ей в лицо.

— Спокойно, мама! — жестко говорит он. — Владимир Алексеевич не поймет тебя...

6

После танцев Борис Егоров провожает Валентину Батанову.

Они идут вдоль берега по дороге, залитой лунным светом. Черный Яр кажется красивым ночью, когда над ним висят облака, пропитанные лунностью, а внизу, загнутшись серебряной подковой, течет Обь. На кране и лебедках горят прожектора; поворачиваясь, то выхватывают из полумрака дома, то утыкаются в зеленую воду, то, поднявшись в небо, рассеиваются мучнистым светом.

— Отличная ночь! — рассеянно говорит Борис.

— Хорошая ночь! — после длинной паузы отвечает Валентина.

Борис пальцами, легонько, поддерживает ее за локоть, идет медленно, раздумывая, иногда косится на Валентину и высоко, вопросительно поднимает тонкие брови. Его тревожит профиль девушки, так как только сегодня Борис заметил, что в профиль лицо Валентины не кажется таким добрым, простецким, как фас, — подбородок, оказывается, упрямый, волевой, крутая линия лба тоже свидетельствует о сильном характере. Шагая рядом с ним, она о чем-то напряженно думает, смотрит себе под ноги; она словно забыла о том, что Борис идет возле нее, осторожно поддерживает пальцами за локоть. Создается такое впечатление, что Валентина считает свои шаги: «Сто двадцать шесть, сто двадцать семь... двести...», и похоже, что Валентине нужно считать шаги — может быть, она загадала что-то?

— Зайдем на кран? — предлагает Валентина, когда они подходят к рейду. — Посмотрим, что новенького.

Кран работает.

Молча копошатся на сортировке рабочие, в гавани мелькают черточки багров; громоздится мокрый и от этого блестящий лес, а вот сам кран не виден — только угадывается его высокая и напряженная стрела, ушедшая высоко в небо.

— Постоим на берегу! — просит Валентина, не дойдя пяти метров до трапа. — Здесь Максим Максимович!

Максим неярко освещен бортовой лампочкой и потому не видит Валентину и Бориса Егорова, стоящих в тени. Вытирая руки паклей, он что-то кричит дизелисту, высунувшемуся из машинного, затем, размашисто пройдясь по крану, скрывается в освещенных дверях дизельного отделения.

— Пойдемте, Борис Петрович, — тихо говорит Валентина. — Коли Максим Максимович на кране...

Теперь Валентина идет быстрее, но по-прежнему смотрит в землю, а Борис тоже опускает голову и видит ее ноги, поочередно появляющиеся из-под короткой юбки, — длинные, стройные, с круглыми коленями и выпуклыми икрами. Улыбнувшись, он вспоминает слова брата Эдуарда: «В Сибири все девушки толстые! Они находятся в стадии молочно-восковой спелости!» И это сказано о Валентине Батаноговой. Эх, показать бы ее Эдуарду! О-го-го! От изумления брат, закатив глаза, проговорил бы бархатным актерским баритоном: «На что живем!»

— Ну, вот мы и дома! — неожиданно для Бориса говорит Валентина, останавливаясь. — Вот мы и пришли... Спасибо, Борис Петрович!

Крепко пожав ему руку, она бесшумно проскальзывает в калитку, а он удивленно озирается по сторонам — оказывается, они прошагали уже всю длинную улицу, оставили кран на полкилометра позади. Пока он вспоминал брата и думал о нем,

они, оказывается, успели дойти до дома Валентины Батаноговой, и она опять ускользнула от него! Пожав плечами, Борис усмехается, опускает брови, потом медленно трогается с места. «Кажется, меня оставили с носом!»—смешливо думает он и достает из кармана пачку сигарет, которые ящичками посылает ему мать из Ленинграда. Закурив, он переходит через дорогу и оказывается возле собственного дома, поднявшись на крыльцо, достает ключ от английского замка, хочет вставить его в скважину, но вдруг опускает руку,—завтра воскресенье, что он будет делать теперь дома, когда еще нет двенадцати. Помедлив, Борис отходит от двери.

С крыльца хорошо виден Черный Яр, река, густые кедрачи, залитые светом луны, низко повисшей над домами. Луна велика, прозрачна, как в театре, да и вообще все окружающее кажется театральным. Именно так в театре вырубают зубчиками декорации ночного леса, такой серебряной лентой делают реку, такой луну, изготовленную в мастерских. И собаки в театре, записанные на магнитофонную ленту, лают точно так, как в Черном Яре.

Борис не переносит собачьего лая — в нем столько первобытного, дремучего, звериного, что его охватывает острая тоска. Хочется закрыть уши руками, ткнуться головой в подушку. Особенно тяжело слушать собачий лай, когда одиноко лежишь в постели и от тишины звенит в ушах. Почему так лают собаки? Почему в их лае страх, тоска, обреченность?

Снаружи дом облупился, почернел от ветра и дождей, печальный и тоскливый. На крыше, поскрипывая, тихонько вращается металлический флюгер, хотя стоит безветрие. Окна дома слепо смотрят на блестящую Обь. «Двадцатый век! Фокс!»—вдруг зло думает Борис, бросая на землю окурочок. Он раздраженно садится на крыльцо, обхватывает голову руками; злые, гневные мысли приходят ему на ум, так как вспоминается старший брат. Интересно, чем занят сейчас Эдуард? Теперь в Питере утро, а что делал брат накануне — сидел ли в ресторане со «статуэткой», был ли на даче актера-приятеля или катался на его «Волге» по курортным местам?

Черт возьми! Что бы ни делал братишка, он хорошо провел время, а он, Борис... Он одиноко сидит на крыльце, хотя есть две девушки, которые его интересуют,— Валентина Батаногова и Людмила Голубь. Собственно, он сперва заинтересовался Людмилой — привлекала легкая фигурка с острой грудью, тонкая талия и задранный носик. Он сразу же пригласил ее к себе, и она еще больше понравилась ему, но через два дня после этого вернулась из отпуска Валентина Батаногова — загорелая, высокая красавица. «Она!»—радостно подумал Борис.

В его доме по ночам, в крошечной темноте, жужжат комары. На улице их меньше — сносит ветер,— но в доме комары

ужасны. Только начинаешь засыпать, как раздается зудящее: «Жжжу!» По ночам на крыше дома скрипит флюгер, слышно, как на рейде гудят проходящие пароходы и нервно звонит новый погрузочный кран. Тоска, первобытный и дремучий собачий лай...

Борис поднимается, зло поглядев на черные, прожухшие стены дома, запахивает пиджак и решительно поворачивается лицом к Черному Яру.

— Дома! Не спит! — вслух говорит он.

Он полубегом пробегает по переулку, поворачивается, сокращая путь, перелезает через невысокий забор и подходит к освещенному окну комнаты Людмилы Голубь. Он жадно прищипывает глазом к щели между шторами-задергушками — Людмила сидит на стуле. «Действовать решительно!» — приказывает себе Борис, проводя языком по пересохшим губам; он снова перелезает через забор, возвращается к крыльцу и стучит в дверь. Сначала — тишина, потом в сенях слышен приглушенный топот, затем опять наступает тишина.

— Кто там? — шепотом спрашивает Людмила.

— Борис Егоров! — с едва заметной хрипотцой в голосе отвечает Борис.

Гремит щеколда, дверь медленно открывается, вытянувшись, белая Людмила стоит на пороге.

— Так поздно! — шепчет она.

Шагнув к ней, Борис мягко, но решительно обнимает за плечи, наклонившись, прикасается к губам, потом целует в то место, где начинается ключица. Он чувствует губами прохладную, нежную кожу, а руками — тонкую и гибкую талию Людмилы.

— Я не могу без тебя! — оторвавшись, шепчет Борис. — Я это понял... Сейчас понял... Идем ко мне!

— Так поздно! — тревожно шепчет она. — Первый час ночи... Все спят...

— Так надо! Надо!

Внезапно выпрямившись, Людмила вырывается из его рук, отшатывается.

— Я знала, что так будет! — вдруг порывисто говорит она. — Я знала... Вы не такой, как все в Черном Яре, и только я могу понять вас... Я сейчас переоденусь!

Хрипло засмеявшись, Борис достает из кармана пачку сигарет, спокойными пальцами шелкает зажигалкой. Он терпеливо ждет девушку и, когда Людмила выходит, властно берет ее за руку. Неизвестно почему, но он вспоминает Владимира Аленочкина — сегодняшний торжественный обед, гостя Поликарпа Семеновича, отлично одетую Любовь Борисовну с полуоткрытой нежной грудью.

— Идем! — спокойно говорит Борис.

До дома Егорова они идут молча.

Войдя в комнату, он щелкает выключателем, и свет обливает Людмилу — она в том же открытом платье, что была на танцах.

— Вот так! — говорит Борис и, приблизившись к Людмиле, берет ее за талию, поднимая, сажает на стол. Одну руку он нарочно забывает на ноге девушки и двигает ее до тех пор, пока не нащупывает маленькую коленку.

— Не надо! — слабо вскрикивает Людмила, но сама прижимается к нему.

«Вот так-то, брат Эдуард! — думает Борис. Подняв Людмилу, он на руках несет ее в спальню, а сам усмехается. — Вот так-то, Владимир Алексеевич Аленочкин! Мы тоже не лыком шиты!»

— Я люблю тебя, Людмила! — говорит он.

7

Черный Яр спит.

Густая, черная в темноте, помаргивает бакенами Обь; прожектора крана то бросаются в воду, то, скользнув по берегу, высветливают береговые дома. Монотонно, устало гудят моторы, поскрипывают тросы и гремит мокрое дерево. Ночь тепла, дует влажный ветер. Когда прожектора крана утыкаются в небо, Черный Яр скрывается в душной темноте, и только тогда видно, что в двух домах деревни горят огни — в доме Аленочкина и Максима Ковалева.

Владимир Алексеевич и Любовь Борисовна лежат на двух деревянных кроватях; меж ними на тумбочке горит маленький ночничок. Оба закрыты белыми пикейными одеялами, а так как в спальне жарко, то руки положены на одеяла. У Владимира Алексеевича руки сильные, короткие, покрытые такими густыми волосами, что кажутся махровыми; у Любви Борисовны руки розовые, нежные, даже на взгляд горячие.

Они разговаривают спокойно, тихо, делая длинные паузы, раздумывая над сказанным; они хорошо понимают друг друга, чувствуют свою ласковую близость, умиротворенное ночной тишиной согласие; они разговаривают так, как только могут разговаривать прожившие вместе много лет муж и жена, совместная жизнь которых была хорошей.

— Софья, конечно, неправa, — говорит Любовь Борисовна, — но она моя сестра! Пойми, Володя! — Она задумывается, ласково смотрит на мужа.

— А если твоя сестра будет везде кричать, что я строю дом, что тогда? — тоже задумчиво, глядя в потолок, отвечает он. — Софья Борисовна фанатичка... Никаких, конечно, фактов у нее против меня нет, но кому нужны лишние разговоры! Разве я не прав? — тихо спрашивает он.

Любовь Борисовна отвечает не сразу: она поправляет край одеяла, удобнее устроившись на кровати, морщит невысокий белый лоб. Видно, что она внимательно обдумывает слова мужа и не торопится отвечать потому, что эти слова очень важны для нее и на них нельзя ответить опрометчиво. Она думает, а Владимир Алексеевич терпеливо ждет.

— Софа нигде не будет кричать о доме! — наконец мягко говорит Любовь Борисовна. — Она умная женщина и понимает, что ты неуязвим. Ну что она может противопоставить тебе? Кто она такая? Старая учительница, и все... А ты? Руководитель сплавного участка, коммунист, человек, которого высоко ценят в тресте. Ну, кто она такая перед тобой? Если разобраться, то Софа — просто несчастный человек! Ни семьи, ни своего угла, ни прочного положения! Но все-таки я люблю ее — она моя сестра.

Теперь молчит Владимир Алексеевич — он тоже поправляет одеяло, пошевелив губами, прикусывает нижнюю губу. Думает он еще дольше и сосредоточенней, чем жена. Большой, выпуклый лоб Аленочкина прорезает глубокая суровая морщина, которая придает лицу мужественность, значительность; твердый подбородок заостряется.

— В области лютуют, — после длинного молчания говорит он и опять замолкает.

— Ну, — поворачиваясь к мужу лицом, просит Любовь Борисовна. — Ну, Володечка...

— В области лютуют, — усмехаясь, повторяет он. — Гонят из партии по пустякам... Ты помнишь Гришаева?

— Начальника техучастка...

— Его выкинули из партии только за то, что без очереди, как говорится, по блату, купил холодильник «ЗИЛ»...

Владимир Алексеевич продолжает усмеяться, покусывает нижнюю губу, а Любовь Борисовна снова ложится на спину. На этот раз они молчат особенно долго — может быть, пять минут лежат неподвижно, разделенные тумбочкой с изящным ночником. На двух противоположных стенах спальни темнеют их распластавшиеся тени — ночник установлен низко, и потому на стенах очерчен профиль их тел. Тень Владимира Алексеевича большеголова, тень его жены много меньше и короче.

— Софа не представляет опасности, — наконец говорит Любовь Борисовна. — Софу я не боюсь... Но вот Егоров... Я теперь часто жалею о том, что мы пригласили его столоваться.

— Ты не должна жалеть об этом! — неожиданно весело говорит Аленочкин, и его большеголовая тень на стене раскрывает рот — он улыбается. — Ты не должна жалеть об этом... Егоров нам ближе и роднее, чем твоя сестра! — говорит он и еще больше веселеет. — И вот что, Люба, все это пустяки! Я не делаю секрета из того, что строю дом! Конечно, было бы лучше,

если бы меньше болтали об этом, но уж коли станет известно...
Давай-ка спать! Мне ведь подниматься в пять часов!..

— Милый! — растроганно отзывается Любовь Борисовна. — Ты так много работаешь, так устаешь! — Она протягивает к нему молочные руки. — Иди ко мне. Иди, родной!

Он ложится рядом с ней — горячеей, нежной, преданной. Любовь Борисовна крепко обнимает его, гладит по крупной голове.

— Родной мой, ни о чем не думай! — шепчет она. — Ты заслужил отдых! Дай я поцелую тебя, родной! Вот так!.. И не мучайся — ты во всем прав! Редкий человек работает так честно, как ты, и я горжусь тобой! Спи и ни о чем не думай! Ты неуязвим...

Чувствуя нежность, ласку к мужу — большому, умному, — Любовь Борисовна не шевелится, чтобы не помешать ему, и думает о том, что их совместная жизнь была всегда счастливой, что ей очень повезло в жизни, когда она встретила в институте Володю Аленочкина.

Он сразу понравился ей — большеголовый, веселый, в меру бойкий и в меру серьезный. Она почувствовала в нем прочность, солидность, сдержанную мужскую силу. «Этот будет хорошим мужем!» — подумала она сразу и не ошиблась. Теперь, когда они прожили вместе около двадцати лет, она может твердо сказать себе самой о том, что ей повезло в замужестве. Да и жизнь была ласковой к ней. Она, жизнь, как-то ухитрилась обходить несчастьями их маленькую семью. Война не задела мужа, жену и сына Аленочкиных. В 1941 году он был начальником отдела, снабжающего шахты лесом — его не взяли на фронт; после войны он перебрался в трест — здесь он получил орден за выслугу лет.

Она была хорошей, их жизнь с Владимиром Алексеевичем. Володя никогда не изменял ей, не пил, был всегда заботливым и ласковым, и она всегда чувствовала его широкие плечи, знала, что рядом с ней живет не только муж, а родной, близкий человек. У них были одинаковые вкусы — они любили одно и то же.

Главное теперь — построить дом, а там снова для них начнется счастливая жизнь. Они переберутся из Черного Яра в город, сын окончит институт, Володе дадут пенсию... Они снова будут счастливы, а сейчас она должна мириться с Черным Яром, помогать Володе, скрашивать ему жизнь. Черный Яр — это путь в город.

«Я счастлива!» — благодарно шепчет Любовь Борисовна и осторожно, нежно гладит мужа по жестким, без единой сединки волосам. Она, конечно, думает, что он спит, но Владимир Алексеевич только делает вид, что спит. На самом же деле он думает о том, о чем никогда не говорит даже жене.

Владимиру Алексеевичу представляется старый рыбак Иннокентий Петрович. Видятся его глаза, мозолистые руки, слышится негромкий, но звучный голос. В воспоминаниях Владимира Алексеевича старый рыбак то шагает по чернойярской улице с Максимом Ковалевым, то идет из школы рядом со свояченицей Аленочкина, Софьей Борисовной, то спускается с горушки в тот самый момент, когда Владимир Алексеевич провожает Поликарпа Семеновича. Но где бы ни шел старик, в каком бы виде ни вспоминался, в его глазах всегда читается вопрос: «Ну, что новенького у тебя, товарищ Аленочкин! Что удивительного?»

А потом вспоминается и самое главное — как Иннокентий Петрович произносит слово «коммунист». Он его при Аленочкине произносит так, что каждый звук становится тяжелым, режущим, требовательным, словно каждой буквой старик хочет ранить Владимира Алексеевича. Самое же тяжелое воспоминание такое: Владимир Алексеевич идет по областному городу к своему строящемуся двухэтажному дому и вдруг читает: «Улица имени Иннокентия Анисимова». Пораженный, он останавливается, несколько мгновений рассматривает надпись, а потом думает: «На следующей улице строится мой дом!»

Сейчас, в ночной тишине, притихнув, чтобы жена не мешала, Владимир Алексеевич откровенно сознается самому себе: «Я боюсь Иннокентия Петровича! Я боюсь его!»

Черный Яр спит.

У высокого глинистого берега работает новый погрузочный кран. Завывая дизелем, хватает мощной стрелой тяжелые пучки бревен, скрипнув напряженным металлом, несет на пузатую баржу; то и дело звенит предупреждающий звонок, два прожектора обливают берег и небо меловым светом. В гуденье крана слышится сдержанная сила, словно он жалуется на то, что ему мало тяжелых бревен.

Над Черным Яром неподволь течет ночь с 21 на 22 июня. Это самая короткая ночь нарымского короткого лета, когда она только на час-два прикрывает темнотой длинную деревню, а затем пугливо пятится — над зубцами тальников поднимается солнце. Тогда над Обью становится туманно, ибо перед самым рассветом река вдруг скрывается под серой пеленой. Тогда кажется, что по реке плывут облака.

Туман рассеивается так же быстро, как и появляется, — он как бы раздается, плотно прилегает к воде, и вот тут-то обнаруживается, что в реке отражается откуда-то появившийся тусклый месяц — полчаса назад его не было и в помине, а теперь он плавает в голубой утренней реке. Но и месяц живет недолго. Он растворяется в небе, всасывается в него, и тогда из-за

тальника высовывается ослепительный край солнца. Это рас- свет.

Когда солнце выныривает из тальника, в доме Максима Ковалева со скрипом раскрываются створки окна, и теплый комнатный воздух выбрасывает наружу белую занавеску. Сперва не видно того, кто открыл окно, стоит прежняя тишина, но потом показывается Максим — бледный, похудевший.

Максим не спал всю ночь.

Максиму до рассвета ходил из угла в угол комнаты, курил папиросу за папиросой; он не мог ни остановиться, ни лечь, ни уснуть.

Всю ночь Максим думал о тете Паше, Емельяне, Егорове и Аленочкине; всю ночь он думал о том, что вот таким же утром, с 21 на 22 июня, началась Отечественная война. Сегодня годовщина войны, и потому он думает о войне, об убитом отце, о тете Паше и ее муже — дяде Грише. А об Аленочкине Максим думает потому, что для него все сегодняшние воспоминания отчего-то связываются с Аленочкиным. О чем бы ни думал Максим, он все возвращается к Аленочкину. Мысли у него тяжелые, отрывистые, как клочки телеграфной ленты. Он стоит у окна, жадно вдыхает холодный воздух и думает:

«Тетя Паша умрет! Она сама знает, что умрет, и потому не хочет ехать в город... Она сильный человек и понимает, что ее нельзя спасти... Аленочкин выглядел гадко, когда пришел к тете Паше... Что такое этот Аленочкин? Он начинает вызывать чувство протеста и негодования. У Аленочкина в волосах нет ни одного седого волоса... Интересно, почему Аленочкин не был на фронте?.. Моего отца убили весной, когда на Дальнем Востоке цвели ландыши... У Аленочкина хороший цвет лица, как у юноши... Емельян и Иннокентий Петрович не терпят Аленочкина... Борис Егоров — циник. Ему ничего не дорого на этом свете... У Аленочкина деловая инженерская хватка. Он умеет работать, этот Аленочкин! Тетя Паша скоро умрет...»

Бледный стоит Максим у окна. Кажется, что он похудел за ночь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Госгортехнадзор — организация строгая. Если за рычаги погрузного крана посадить недипломированного человека, Госгортехнадзор оштрафует начальника сплавного участка, техника и начальника рейда; мало того — работники Госгортехнадзора надолго остановят кран и напишут длинный протокол, в котором будут упоминаться слова «безответственность», «нарушение правил эксплуатации» и «превышение власти со стороны».

руководителей сплавного участка». Но и этого мало — сотрудники Госгортехнадзора непременно сообщат о случившемся в трест и во все другие вышестоящие организации.

Протокол Госгортехнадзора забудется не скоро — его год или два будет цитировать в передовых статьях областная газета, когда ей понадобится пример безответственного отношения к новой технике; о протоколе будут вспоминать на различных областных совещаниях ораторы: «За фактами, товарищи, не надо далеко ходить! Как наплевательски относятся некоторые руководители сплавных участков к внедрению новой техники, можно видеть на примере Черноярского участка, где к пульта управления допустили недипломированного человека!»

Одним словом, сажать за пульт управления краном недипломированного человека рискованно, но начальник рейда Черноярского сплавного участка Максим Ковалев решил: он хочет посадить в кабину своего друга Емельяна Кузьменко. Чтобы сделать это, он несколько недель занимался с Емельяном теорией, а вот сегодня хочет впервые посадить Емельяна за рычаги управления.

Емельян и Максим встречаются на берегу в пятом часу утра, когда солнце едва-едва поднимается над черными верхушками тальников. Они шагают навстречу друг другу. Емельян идет медленно, покачиваясь, пожевываясь; он болезненно щурится, словно ему неприятна встреча с товарищем. Максим шагает энергично, напористо, но сегодня в глазах Максима нет веселой искорки, в улыбке насмешливости, ироничности. На лбу глубокая складка, веки припухли, точно Максим тяжело устал.

— Здоров, Емельян!

— Здравствуй, Максим!

Они одеты одинаково — кирзовые сапоги, сатиновые рабочие брюки, клетчатые ковбойки; они одинакового роста, одинаково широкоплечи и чуточку сутуловаты, как бывают сутуловаты рабочие люди, которые привыкли глядеть в землю; и у того и у другого громадные, черные от загара и работы руки с шершавыми мозолистыми пальцами.

Объ курчавится тонким туманом, на траве, отражая неяркое солнце, поблескивают росинки. В реке гулко, как в металлической трубе, двоятся и троятся звуки — стук дерева, цокот паровых плит, скрип уключин лодки раннего рыбака.

— Половина пятого, — взглянув на часы, говорит Максим. — Самое время!.. Поднимайся на кран! — хмурится он. — Прошу тебя, поднимайся на кран!

— Аленочкин и Егоров поднимут вой!.. — тихо говорит Емельян.

— Поднимайся на кран! — сухо повторяет Максим и вдруг весело улыбается. — Аленочкин не поднимет вой — он вчера вечером уехал на плотбище и вернется только к обеду!

Круто повернувшись к Максиму, Емельян заглядывает ему в лицо, поглядев, отворачивается. Большие, черные брови Емельяна трагически сходятся на переносице.

— Украдкой.. воровски... не хочу!— усмехается он.

Максим медленно достает из кармана пачку «Беломорканала», еще медленнее вынимает папиросу, поломав две спички, прикуривает.

— Емельян, Емельян! — звенящим шепотом произносит Максим. — Быть всю жизнь обиженным и играть на этом... Лет десять назад я бы дал тебе в морду, Емельян!— Жадно затянувшись папиросой, он хватается Емельяна за рукав, рывком приближает к себе. — Ты пойдешь на кран, Емельян! Ты сядешь в кабину! Мне не до чистоплюйства, Емельян!.. Иди на кран! Ну!— кричит Максим. — Иди вперед!

— Ладно!.. Я пойду!— сникая, говорит Емельян.

Дальнейшее происходит быстро. Поднявшись на понтон, Максим жестом останавливает кран, жестом же вытаскивает из кабины удивленного крановщика и подталкивает Емельяна к лесенке в кабину.

— Иди!

Движения у Максима злые, порывистые.

— Иду!— вздыхает Емельян.

Высокая кабина крана просвечена насквозь. Солнце дробится на рычагах и стеклах приборов, заполнив до отказа тесное пространство, золотистыми столбами упирается в пол, и от этого кажется, что под ногами ничего нет. Кажется, что ступить на пол нельзя; не встретив сопротивления, нога провалится. Ощущение провала под ногами так реально, что Емельян чувствует легкое головокружение и, чтобы не потерять равновесия, хватается за спинку сиденья.

— Ого!— восклицает Емельян, на секунду закрывая глаза.

И как только он закрывает глаза, в черном провале появляется ослепительно белый силуэт бесшумной птицы. Едва приметно покачивая крыльями, птица мчится в голубом и сиреневом навстречу прозрачному облаку, потом слышен нарастающий гул, похожий на отдаленный гром. Предчувствие счастья, небывалой радости охватывает Емельяна, и он больше не может держать глаза закрытыми, и он открывает их и видит с высоты птичьего полета раскидистую подкову Оби, голубые на восходе солнца кедрачи и чистенький, светлый, с высоты птичьего полета совсем не похожий на себя Черный Яр. Странно, но дома деревни с высоты представляются аккуратными, светлыми, даже новыми — так удачно освещает их восходящее солнце.

— О-го-го!

— Садись!

Емельян садится на маленькое, удобное сиденье.

— Поворот?— спрашивает Максим.

Емельян находит блестящий металлический рычаг.

— Вот!

— Поворот стрелы?

— Вот так!

— Влево?

— Так!

Максим задает вопрос за вопросом — он заставляет Емельяна то мысленно повернуть кран вокруг оси, то поднять стрелу, то опустить ее, то включить грузовой трос, то сразу сделать комплекс движений: поднимать воображаемый груз и одновременно с этим, вращая кран, опускать стрелу.

— Подъем стрелы и поворот налево?— командует Максим.

— Так и так!

— Грузовой трос, поворот направо и подъем стрелы?

Когда Емельян научивается быстро находить рычаги управления, Максим, высунувшись из кабины, приказывает завести дизель.

— Для начала постой рядом!— говорит он Емельяну и садится на место крановщика.

Рабочие занимают свои места. Дождавшись их сигнала: «Готовы к работе!», Максим берется за рычаги. Поза у него легкая, полная готовности к движениям, но он туго сжимает губы, когда ударяет первый такт дизеля и кран, легонько вздрогнув, становится теплым, живым.

— Вращая кран направо, поднимаю стрелу!— говорит Максим.

Небо с прозрачными облаками вздрагивает, пошатнувшись, плывет влево; вместе с небом плывут вздыбившаяся Обь, берег, дома на берегу. Весь мир как бы совершает плавный оборот вокруг Максима и Емельяна. Кажется, что кран взлетывает над Обью и лесом, раздвигая воздух, плавно опускается на берег. Емельян опять чувствует головокружение, опять на секунду закрывает глаза, но тут же торопливо открывает.

— Следи!— предупреждает Максим.— Делаю сразу три операции: подтягиваю лес тросом, поднимаю стрелу и вращаю кран влево.

Снова головокружительно мимо кабины проносится небо, берег, вода, снова появляется ощущение крылатости, воздушности.

— Вот так!— закончив поворот и положив бревна на берег, говорит Максим.— Садись-ка теперь ты...

Емельян осторожно притрагивается к рычагам, затаив дыхание, ждет, когда барабан придет в зацепление. Он бледнеет и тяжело дышит.

— Смелее!— подбадривает Максим, и Емельян вдруг видит, что небо, река и берег уже несутся мимо окна,— оказывается, кран, набирая скорость, вращается.

— Еще смелее!— шепчет Максим, и Емельян хочет крепче нажать на рычаг поворота, как Максим быстро кладет руку на его пальцы. — Минуточку!

На берегу, широко расставив ноги, стоит Борис Егоров. Тонкий сигаретный дым вьется над головой технорука, который, застав глаза от солнца ладонью, с удивлением смотрит на кран, работающий вхолостую. Борис, видимо, не может понять, в чем дело, почему стрела уходит уже на второй поворот без пучка бревен.

— Егоров!— говорит Емельян.— Идет на кран!

— Продолжай работать!— сухо отвечает Максим и, с грохотом задевая ногами за металлические ступени лестницы, сваливается вниз.

— Здравствуй, Максим Максимович!— протягивая руку, приветливо здоровается Егоров.— Что здесь происходит?

— Здравствуй, Борис Петрович!— без улыбки, но приветливо отвечает Максим.— А происходит вот что...

2

Борис Егоров однообразно покачивает головой.

— Ясно! Ясно!— время от времени говорит он, слушая объяснение Максима.— Понимаю... Ясно!

— Ну, а коли понимаешь, то дело в шляпе!— без улыбки шутит Максим.— Я хочу, чтобы Емельян стал крановщиком! Вот и все, что здесь происходит, а что касается Госгортехнадзора, то...

— Вот это-то меня и интересует!— дружелюбно отзывается Егоров.— Что ты думаешь о надзоре?

— Что я думаю о надзоре?— Максим на мгновение задумывается.— Мне недосуг думать о надзоре. Если хочешь, то...

— Хочу, хочу!— подтверждает Егоров.

— Раз в жизни... Единственный раз закон может потесниться, чтобы дать место в жизни Емельяну!— говорит Максим.— Вот что я думаю о надзоре.

Сказав это, Максим неторопливо садится на кнехт.

— Слово за тобой, Борис Петрович... Если нас будет двое, то Аллочкин...

— Конечно! Конечно!.. Понимаю!— охотно соглашается Борис и садится на соседний кнехт.

Егоров сегодня движется особенно медленно, так, что даже для него такой темп кажется черепашьям. Чтобы сесть на кнехт, Борису надо затратить полминуты — спервоначалу он осторожно тушит сигарету, потом делает маленькие шажки вперед, потом садится, да так медленно, что каждое движение занимает по несколько длинных мгновений. Усевшись, Борис еще замедленнее поворачивается к Максиму и вопросительно поднимает брови.

— Я все сказал!— говорит Максим.

— Ясно!— Улыбнувшись, Борис запускает руку в карман синих брюк, достает две конфетки в прозрачных бумажках. Он долго разглядывает их, затем протягивает одну Максиму. — Театральные,— говорит Борис. — У меня по утрам чертовски накостно во рту. А если к тому же поднимусь рано, то хоть асцензатора нанймай... У тебя такого не бывает? А, Максим Максимович!

— У меня здоровый желудок!— отвечает Максим.

— И у меня желудок отличный!— нараспев отвечает Борис. — Желудок у меня отличный!— почти поет он и смотрит в глаза Максима — прямо, не мигая, с острым интересом.

Борис Егоров смотрит на Максима Ковалева так, как он смотрит на всех других людей в Черном Яре. «Ну, что ты представляешь собой, черныярский житель Максим Ковалев? Что есть в тебе? Что заставляет тебя двигаться, говорить, совершать поступки?» — спрашивает он взглядом, и Максим внутренне напрягается. «Вот как!— думает он. — Вот как!»

Две недели назад, увидев такой взгляд Егорова, Максим бы улыбнулся насмешливо и иронически, развел бы руками и ушел бы от технорука, испытывая к нему снисходительную жалость. Но сегодня Максим не может принять взгляд Егорова усмешкой.

— Ну!— требовательно произносит Максим. — Я все сказал!..

— А ты не торопись!— спокойно улыбается Егоров. — Дай мне подумать! Госгортехнадзор — серьезная организация!

Оценивающее любопытство в глазах Бориса сменяется замедленным, углубленным раздумьем, но он по-прежнему не торопится — лезет в карман, достает сигареты, зубами выхватывает одну, щелкает механической зажигалкой. Курит он неторопливо, даже мечтательно — пропускает дым сквозь сложенные дудочкой губы, делает из дыма кружки и завитушки.

— Ну!

— А что — ну!— отвечает Борис, разглядывая сигарету. — Нуканем не сможешь, когда человеку надо принять серьезное решение!.. А вот и мастер крана! — внезапно восклицает он, заметив шагающую по берегу Валентину Батаногову. — Явление Христа народу! — шутливо добавляет Борис. — Красавица, а? Ты посмотри, Максим Максимович, какая красавица, а!

Валентина Батаногова действительно красива — свежая, загорелая, обтянутая тугой спецовкой, она легко запрыгивает на понтон крана, увидев технорука и начальника рейда, улыбается по-утреннему весело, чуточку затуманенно. Поздоровавшись, проходит к навесу возле машинного отделения, садится на низкую скамейку.

— Рио-де-Жанейро — хрупкая мечта моего детства!— веселится Борис. — Нимфы и ангелы купаются в реке...

— Я жду! Я жду твоего решения...

— Ах, ах! — вдруг театрально всплескивает руками Егоров. — Я и забыл о цели нашего сидения на кнехтах! — Состроив изумленное лицо, Борис торопливо поднимается, делает несколько светлых движений и опять всплескивает руками. — Но ничего, ничего, — быстро говорит он. — Этот вопрос мы решим в кратчайшие исторические сроки. В кратчайшие!

Сказав это, Борис становится серьезным, озабоченным, словно вспомнил что-то очень важное и именно в такой миг, когда еще не поздно сделать это важное.

— Да, да, да, — говорит он. — Да, да... Я вынужден покинуть тебя...

Сбежав с понтона, он торопливым шагом поднимается к конторе. Максим провожает его взглядом, затем, машинально толкнув руку в карман, чтобы достать папиросу, нащупывает пальцами гладкие, круглые камешки. Он усмехается — вчера шел берегом, задумавшись, присел на яр, набрал полную горсть камешков. Вспомнилась детская игра.

— Пять камешков! — слышит он негромкий голос Валентины Батаноговой.

— Валентина Павловна!.. Вы тоже знаете эту игру?

— Конечно! — отвечает она.

— Присаживайтесь! — просит Максим. — Вот на этот кнехт! — Он показывает на тот самый кнехт, где сидел Борис Егоров.

Валентина садится; несколько секунд она молчит, думает, потом негромко говорит:

— Вы где взяли камешки, Максим Максимович? На Оби их нет, здесь — глина...

— Да, на Оби камней нет, — раздумчиво отвечает Максим. — На Оби только глина... А камни... Мы привезли на кране гравий для бетона, а использовали не весь — вот я и набрал камешков!

Он достает из кармана все камни, протягивает Валентине: — Берите, Валентина Павловна... Все берите!

Стуча, камешки сыплются в протянутую руку Валентины, и Максим близко видит ее лицо — голубые глаза, загнутые длинные ресницы, матовую кожу, такую нежную и бархатную, что она кажется неживой. И его снова, в который уже раз, схватывает ощущение того, что Валентина Батаногова невсамделишная. У обыкновенного человека не может быть таких больших глаз, таких длинных ресниц, такой гладкой кожи. Лица такой красоты бывают только на полотнах художников. «Она ненастоящая!» — думает Максим.

— Жаль! — с улыбкой говорит он. — Жаль, что больше никогда не придется играть в камешки.

«Нет, живой человек не может быть таким красивым!» — убежденно думает он.

После обеда, вернувшись с дальних плотбищ, Владимир Алексеевич Аленочкин обходит сплавной участок. Всего шесть часов не был он в Черном Яре, ранним утром уже бегал по бонам запани, но у него такой вид, точно он давным-давно не был на берегу,—озабоченный, деловито-суровый и энергичный. Аленочкину, наверное, кажется, что за время его отсутствия произошло черт знает что. Он как бы сызнова проверяет запань и боны, старые лебедки Мерзлякова, подозрительно прислушивается к работе крана, озабоченно прикидывает на глаз запас леса в сортировочных сетках — хватит ли.

Специально приглашенный, за Аленочкиным ходит по сплавному участку Максим Ковалев. Как начальник рейда, он отвечает за все то, что есть на берегу, и потому с такой же суровостью и даже подозрительностью приглядывается к окружающему. Максим сгорел бы от стыда и огорчения, если бы начальник нашел что-нибудь неладное, обнаружил бы упущение. Вместе с тем Максим чувствует досаду и гнев — его злит недоверчивость Аленочкина. Неужели начальник и на самом деле думает, что за шесть часов его отсутствия на сплавном участке произошло черт знает что? Злясь и досадуя, Максим быстро ходит за Аленочкиным, насмешливо улыбается в широкую и прямую спину начальника, но порой не может сдержать чувство восхищения Аленочкиным.

На Владимира Алексеевича любо смотреть, когда он энергичным и стремительным шагом обходит сплавной участок. Счет времени уже идет не на минуты, а на секунды — вот Аленочкин на мгновение останавливается возле пучковязателя, бросает на него мимолетный взгляд и в следующее мгновение уже движется дальше, сказав: «Усилили кронштейны. Отлично! Молодцом, Максим Максимович!» К концу этой фразы Аленочкин уже пристально разглядывает на ходу крайнюю лебедку Мерзлякова и чуть приметно морщится: «Завтра же передвинуть лебедку метров на пять — обсохнет!» Теперь он смотрит на Обь, и по лицу понятно, что Владимир Алексеевич прикидывает, на сколько метров уйдет река от берега в ближайшие два-три дня — Обь быстро мелеет. И конечно, Аленочкин не ошибется: если он говорит, что река уйдет от берега на пять метров, то через три дня можно брать рулетку и мерить — ровно пять метров. А Аленочкин уже идет к бонам, по которым можно пробраться на головку запани.

Владимиру Алексеевичу без малого пятьдесят, но он смел и ловок. Ходить по бонам — двум узким связанным бревнам, лежащим на воде, — нужна большая ловкость, сноровка и сила. Аленочкин же с берега на боны переходит так, словно с земли на ровный и широкий тротуар, — не меняет темпа, скорости, по нему не видно, что под ногами у него теперь не твердая почва,

а два зыбких и опасных бревнышка — чуть оступился, перенес нерасчетливо вес тела на одну ногу или поскользнулся на раскисшем дереве — и, пожалуйста, барахтайся в Оби в опасном соседстве со стремительным водоворотом, который бурлит возле тяжелых понтонов огромного крана.

Аленочкин же с грациозной легкостью идет по бонам, перепрыгивает с бревна на бревно, и у него по-прежнему такой вид, словно шагает по удобному тротуару. Как не любоваться им, если в походке начальника чувствуется сплавщицкая сноровка, ловкость и насмешливое презрение к опасности. Поневоле будешь думать об Аленочкине уважительно и даже подражать ему в походке и манере держать руки полусогнутыми, когда приходится идти по шатким бонам. И Максим действительно подражает Аленочкину, шагая за ним, невольно повторяет движения начальника, но он не в силах забыть слова Иннокентия Петровича об Аленочкине. С тех самых пор, как они говорили о начальнике, Максим уже не может смотреть на него прежними глазами. Он проверяет, анализирует каждое слово и каждый шаг Владимира Алексеевича.

Теперь уже от Максима не может укрыться то, что и в словах, и в походке, и в жестах, и в том, как ловко идет по бонам, Аленочкин немного манерничает, играет; он старается подчеркнуть свою деловитость, и энергичность, и работоспособность. Нет сомнения, что начальник затем и пригласил Максима ходить с ним по сплавному участку, чтобы показать — на участке ничего не делается помимо Аленочкина и ничего не может делаться помимо него. Потому Максим и усмехается в спину Аленочкину, потому и злится на начальника.

Между тем боны кончаются, приближается крупная и глубоко сидящая головка запани, которую медленно и плавно покачивает обская волна. На головке и на соседних с ней бонах разместились человек шесть сплавщиков — укрепляют головку и вяжут новую нитку бонов. Еще издали Максим замечает среди них седую прозрачную бороду Иннокентия Петровича, его прямую, всегда величественную на людях фигуру, хотя старик ничего не делает для того, чтобы казаться величественным, — просто он так носит голову, так широко держит плечи, так умеет глядеть и разговаривать. Иннокентий Петрович тоже видит приближающегося Максима, кивает ему и улыбается.

Аленочкин приближается к рабочим в стремительном темпе. За десяток метров от головки он еще увеличивает шаг, еще смелее перепрыгивает с бревна на бревно, а когда боны кончаются и между головкой и ними остается почти двухметровый разрыв, Аленочкин не обходит его по привязанной лодке, но разбегается и переносится над водой плавно и точно. И наблюдающий за ним Максим снова насмешливо-иронически улыбается.

Когда Максим и Аленочкин оказываются на головке, рабочие бросают дело и приближаются к ним. Это все высокие, сильные и крепкие люди, так как на головке и бонах работать могут только такие. Шестеро сплавщиков, что стоят перед Аленочкиным и Максимом,— это своего рода избранные люди, элита среди сплавщиков, от которых их отличает не только физическая сила, но и знания, смелость, напористость. Работать на бонах и головке, принимать тяжелые плоты, вязать их к берегу, рискуя и напрягаясь, способны только именно такие люди, как эти шестеро,— каждый из них почти двухметрового роста, ловок, дисциплинирован, сдержан. Эти люди знают себе цену.

Сплавщики, работающие на головке запани и бонах, не похожи на тех временных рабочих, которые часто попадают в сплавные конторы по организованному набору. Некоторые из них суетны и мелки, гонятся за заработком, по отношению к начальству держат себя излишне почтительно, так как в сплавных делах заработка чаще всего зависят от бригадиров, мастеров и других начальников. Эти же шестеро не подчеркивают, но поневоле ведут себя так, что все к ним проникаются уважением. Это настоящие рабочие, из тех, что чувствуют себя хозяевами производства. Сознание своей полноценности, значимости придает их характерам размашистость, крупность и широту. Это видно сразу, при первом же взгляде на шестерых сплавщиков.

Не только крупные физически люди, но и крупные характеры — вот что такое шесть сплавщиков, встретивших Аленочкина и Максима. Расступившись, чтобы начальник участка и начальник рейда могли пройти по пятаку головки, сплавщики вынимают из карманов пачки папирос, неторопливо и со вкусом закуривают. Видно, что они давно не курили и вот воспользовались приходом начальства, чтобы устроить перекур.

Весело и энергично поздоровавшись со сплавщиками, Аленочкин садится на свободный кнехт головки, а Максим опускается на бревна рядом с Иннокентием Петровичем. Владимир Алексеевич еще ничего не говорит, выжидает, видимо, когда все сплавщики закурят, а Иннокентий Петрович уже внимательно и изучающе глядит на него. Максим перехватывает взгляд старика и видит, что Иннокентий Петрович приметно улыбается. Эта улыбка понятна Максиму — она сразу же вызывает в его памяти их разговор об Аленочкине, и Максим вдруг чувствует, что между ним и стариком возникает тайная, но очень крепкая и тесная связь. На мгновение представляется, что Максим проник в мысли Иннокентия Петровича, а Иннокентий Петрович — в мысли Максима, и они понимают друг друга без слов и взглядов. У Максима нет времени, чтобы разобраться в этом, понять, что эта связь объясняется тем, что они оба в мыслях и чувствах связаны напряженным и трудным наблюдением за словами и действиями Аленочкина.

Что бы ни происходило дальше, что бы ни делал, о чем бы ни говорил Аленочкин, оценку всему этому Максим словно впитывал у Иннокентия Петровича и был уверен, что старик то же самое делает по отношению к нему, Максиму. Они словно думали одним мозгом, чувствовали одним сердцем. Потом произошло и еще более странное и еще более важное — через Иннокентия Петровича Максим стал понимать, что думают об Аленочкине сплавщики, как оценивают его слова и поступки: Максим получил возможность через Иннокентия Петровича испытывать те чувства, которые испытывали к начальнику сплавного участка шестеро человек. И опять у Максима не было времени, чтобы докопаться до причины этого и понять, что Иннокентий Петрович сильнее и определеннее шестерых выражает их мысли и чувства, так как он — главный среди них.

Аленочкин начал говорить. Выждав, когда сплавщики закурат, он радушно улыбается, разводит руками и произносит напористо:

— Сегодня объезжал запани. Лесу нам хватит вполне.

Аленочкиным сказаны простые, нужные слова, сплавщикам тоже радостно, что леса хватит и что он хорош, но Максим уже ощущает, как напрягается под просторной спецовкой тело Иннокентия Петровича. Старик бросает на Максима летучий взгляд, но Максим уже читает: «Начало есть. Скоро будет самое главное!»

— Подсчет показывает, — продолжает Аленочкин, — что, работая прежними темпами, мы месячный план прикроем за три дня до срока и выполним его на сто шестьдесят процентов.

И, опять ничего плохого, предсудительного нет в словах начальника участка, но Максим читает в мыслях Иннокентия Петровича: «Ишь, как борзо считает! Вот оно, начинается!» Максим переводит взгляд на сплавщиков, и ему кажется, что они думают так же, а потом приходит уверенность в том, что сплавщики и на самом деле так думают.

— Мы добьемся, — говорит Аленочкин, — такого положения, когда новый кран будет давать больше ста процентов нормы. А теперь, товарищи, вот какое дело — сможете ли вы ускорить вязку бонов? Если через неделю новая запань вступит в строй, мы создадим такой запас леса, которого хватит до осени.

Ну что плохого в этих словах? Начальник сплавного участка заботится о создании резерва леса, вполне резонно хочет ускорить постановку новой запани, и всего два часа назад Максим бы ничего другого не уловил в его словах, но вот сейчас, связанный тайным и прочным пониманием с Иннокентием Петровичем, а через него с шестью сплавщиками, Максим слышит в словах Аленочкина другое — от всей речи начальника остаются только проценты и круглые цифры выполнения плана. И в этом опять нет будто бы ничего плохого, а с другой стороны, это так плохо, что Максим не может найти слов.

— Как, товарищи, насчет запани? — энергично переспрашивает Владимир Алексеевич, хотя сплавщиков переспрашивать не надо: сосредоточенные, суровые, они раздумывают над словами начальника, и Максиму опять чудится, что он читает их мысли. «Вот, наверное, — думают сплавщики, — сидит человек, который хочет, чтобы мы скорее поставили запань. Бог с ним, с этим человеком, но он прав, что запань надо ставить быстрее, — это выгодно сплавному участку!»

— Хорошо! — наконец говорит один из них, самый старший по возрасту и положению. — Хорошо! Мы прихватим пару ножек, а запань поставим!

Теперь наблюдать за Аленочкиным жгуче интересно: он как бы весь расцветает от радости, вскочив с места, крепко жмет руку пожилому сплавщику.

— Спасибо, товарищи! — искренне восклицает Аленочкин, и сразу после этого наступает момент, который потрясает взволнованного и напряженного Максима до глубины души: старший сплавщик, вынув руку из пальцев Аленочкина, говорит густым басом:

— Рады стараться, хозяин! Запань нам и самим нужна!

Полчаса назад Максим пропустил бы мимо ушей эту фразу, считал бы ее обычной, а сейчас он чувствует, что бледнеет, — и слово «хозяин», и выражение «запань нам и самим нужна» вдруг открывают ему такое, о чем он никогда не думал. Как-то беспомощно и нервно оглянувшись на Иннокентия Петровича, он совсем холодеет оттого, что тот тоже напряжен и взволнован. Значит, и его задела фраза, значит, и он все понял. Потом в глазах старика читается откровенное и сердитое: «Вот видишь, Максим, чем это все кончилось!»

Слова сплавщика все еще звучат в ушах Максима. «Хозяин!» Это слышится как хозяин в самом прямом смысле. «Нам и самим нужна запань» — означает, что бригадир сплавщиков отделяет Аленочкина от того, что принадлежит им, всем сплавщикам Черноярского сплавного участка.

«Почему я решил, что рабочие любят Аленочкина? — думает Максим. — Что дало мне возможность заключить это? Они же не любят его!»

Рабочие не любят Аленочкина!

4

Емельян Кузьменко, как южный плод солнцем, переполнен счастьем. Он давно уже сошел с крана, но руки до сих пор хранят тепло рычагов, перед глазами плывут Обь, небо с легкими облаками, голубые кедрячи, весь просторный и радостный с высоты птичьего полета Черный Яр. Кажется, что он все еще сидит в кабине, просвеченной насквозь солнцем, и у него такое чувство, словно он тоже весь пропитан солнцем. Опять

вспоминается бесшумная серебряная птица, грудь переполняет ощущение полета в радостное, счастливое.

Емельян идет по Черному Яру, улыбается, напевает про себя. Деревня кажется ему красивой, светлой. Просторно раскинувшись по Оби, она поблескивает на солнце стеклами окон, домишки освещены голубым отблеском реки и кажутся выше, новее, а те, что заколочены крест-накрест досками, днем не представляются мрачными. Думается, что люди из них выехали временно и вот-вот вернуться, чтобы сильной рукой сорвать доски, распахнуть ставни. Да так и есть — вчера по деревне пробежала молва о том, что вернулся в Черный Яр Никодим Васильевич Краснов, бывший бригадир рыболовецкой бригады.

С дочерью Краснова, Полей, когда-то дружил Емельян. В школе они сидели на соседних партах, писали друг другу записочки, а немного повзрослев, ходили вечерами на берег Оби. Маленькая, беловолосая Поля смотрела на реку задумчиво, чуть-чуть испуганно, так как не умела плавать и вообще была робкой, тихой. Когда Емельян купался — нырял и фыркал, — она, бледная, затаивала дыхание. Поля любила неяркие нарымские цветы. Вечерами на Оби Емельян рассказывал ей о том, как они с Максимом Ковалевым построят в Черном Яре высокую ажурную башню, с которой будет виден весь мир. Поля широко раскрывала глаза, восхищенно ойкала в самых интересных местах. «А что думаешь! — важно говорил он. — Мы с Максимом такие!» Потом Поля училась в техникуме, писала ему, называла Емелюшкой.

Главная улица Черного Яра заросла густой зеленой травой, идти по ней мягко, кажется, что шагаешь по огромному ковру. Емельян останавливается, подумав, поворачивает к дому Красновых, проходит несколько метров и снова останавливается — сердце бьется громко, часто. «Что с Полей? — думает он. — Наверное, вышла замуж, родила детей». До него доходили слухи о том, что она хорошо работает на шахте, что портреты Поли печатала областная газета. Взволнованный Емельян медленно идет к дому Красновых, стараясь унять колокольный бой сердца.

Никодим Васильевич уже сорвал доски с окон, починил крышу, переменял несколько жердей в городьбе; новые доски весело поблескивают на солнце, на стеклах лежат солнечные зайчики, и, наверное, оттого, что дом светел, река голуба, а небо бездонно, старый дом Красновых кажется помолодевшим, высоким. Сам Никодим Васильевич в выцветшей старой рубашке ходит по двору с топором в руках, жена его — тетка Феня — возится около дворовой плиты: варит, верно, обед — наносит запахом дыма, картошки. Емельян опирается на забор, чувствуя, что в горле сохнет, хрипло окликает хозяина:

— Здравствуйте, Никодим Васильевич!

Краснов поворачивается к Емельяну, прищуривается; он, видимо, не узнает его и потому медленно подходит к забору, положив на землю топор. Он — широкий, крепкий, приземистый.

— Емельян! — наконец радостно произносит он и быстро протягивает руку. — Здорово, Емельян! Вон ты такой здоровый вымахал!

Видно, что Краснов рад Емельяну — улыбается, торопливо открывает калитку, кричит жене, чтобы встречала дорогого гостя. Тетя Феня бежит навстречу Емельяну, подолом фартука вытирает руки, смеется. Она тоже рада ему, и Емельян смотрит на них и понимает, что Красновы рады не только ему, Емельяну, а тому, что вернулись в Черный Яр: своему дому, родной деревне, солнцу, Оби, синим кедрочам. Оба они родились здесь, на крутой излучине Оби, в городе тосковали по деревне, по приволью и теперь счастливы возвращением.

Емельяна Красновы встречают так, как встречали бы свою молодость, прошедшую радость. Никодим Васильевич приносит из дома табуретку, тетя Феня обмахивает ее тряпкой от пыли, затем они хором предлагают Емельяну садиться, смотрят на него смеющимися, потеплевшими глазами. Вспоминают, наверное, как шутливо звали юного Емелю зяtkом, как Никодим Васильевич при встрече острил: «Ну и зять у меня будет — серьезный да грозный! Да ничего — не даст в обиду мою кровинушку!»

— Вернулись, значит! — стараясь унять волнение, говорит Емельян и отводит глаза от хозяйина: боже, как Поля похожа на него! Такие же серые добрые глаза, такой же овал лица, и выражение губ такое же — мягкое, улыбочивое.

— Вернулись, Емельян! — отвечает Никодим Васильевич. — Не можем мы жить без Черного Яра!

— Куда нам без него! — подхватывает тетя Феня и широко разводит руками. — Все, бывало, во сне его видела. Иду вроде по кедровнику, а белка орех грызет... Проснусь, и так в лес охота, что плачу, плачу, плачу...

— Глаза на мокром месте, вот и плачешь! — улыбается Никодим Васильевич, но сам тоже, как и жена, оглядывается на синий кедровник, что стоит вплоть к деревне. — Теперь в Черном Яре веселее стало, — продолжает он. — Сплавной участок, народу прибавилось, вчера дед Сидор коров гонит, так я более тридцати насчитал. Получшела жизнь в Черном Яре!

— Петровы тоже собираются вернуться! — говорит тетя Феня. — Ты помнишь, Емельян, Петровых?

— Помню, тетя Феня!

Как не помнить Емельяну Петровых, когда это у них они с Максимом в детстве таскали огурцы — умели их хозяева выращивать крепкими, здоровенными, как поросята, — а с Генкой Петровым Емельян частенько дрался — задиристый был, черт, и важный, словно князь.

— На сплавучастке будете работать? — спрашивает Емельян хозяина.

— На нем, на сплавучастке, — отвечает Краснов, а сам весело косится на Емельяна, хитренько прищуривается. — Что же ты про Полю не спрашиваешь, Емеля?

— Кланялась тебе Поля! — живо вмешивается тетя Феня. — Непременно велела тебя найти да узнать, женатый ли ты, как живешь, чего ей не пишешь...

— Адреса нет! — багровея, отвечает Емельян.

— Адрес простой: Кемерово, Арочная, шестнадцать, Красново-вой... Она ведь не замужем, Емеля.

— В отпуск к нам приедет! — опять улыбается Никодим Васильевич. — Тоже стосковалась по Черному Яру. Пишет, что в августе прибежит на пароходе...

От городской жизни у Красновых бледные лица — мало, верно, бывали на воздухе, — но уже на щеках Никодима Васильевича бордово лежит солнце, которое скоро станет густым загаром. Тетя Феня чистым обским воздухом дышит глубоко, сладко, словно пьет его; она тоже загорит, посвежеет на солнышке. Они оба — народ работающий, старательный; раньше, бывало, Краснов лучше всех знал реку, рыбы повадки, а тетя Феня была ловка в любой работе.

— Ладно! Пойду я! — тихо говорит Емельян. — Я ведь тоже работаю на сплавнои участке... В крановщики скоро перехожу!

Красновы провожают его до калитки, на прощанье жмут руку, просят заходить, не забывать, а когда приедет Поля, пожаловать в гости.

— Мы тебя, Емеля, помнили! — ласково говорит Краснов. — Все время помнили... Бывало, говорю старухе: «Что теперь подельывает наш зятек?»

— Говорил, Емеля, говорил... Мы тебя помнили! И Поля тоже...

Отшагав от дома Красновых метров сто, Емельян оглядывается, улыбается. Все радует его — новая доска на крыше дома, чисто промытые окна, то, что хозяйева все еще стоят у горюды, провозага его... Значит, Поля еще не замужем, думает приехать в Черный Яр, по которому истосковалась; она, оказываега, помнит его, интересуега. А он? Он первым перестал писать ей письма, поставил крест на том хорошем, радостном и счастливом, что было.

Емельян выходит на берег Оби, садится на бревно. Его ярко освещает солнце, река мелодично побулькивает, просторная, наполняет все голубым отблеском; ласковая прохлада веет от нее. Емельян снимает кепку, подставляет лицо ветерку. Несколько минут он сидит бездумно, просто так, наслаждаега покоем, радостью и тишиной, потом спокойно, с внезапной ясностью и глубокой откровенностью перед самим собой думает о том, что последние годы жил плохо, неправильно и неумно.

— Не так нужно было жить, как он! Совсем не так!.. Емельян вспомнил, что все эти годы он был озлоблен на себя и людей, что нарочно прятался от жизни и от самого себя. Да, в жизни есть такие люди, как Петька Голубь, технорук Егоров, мать Петьки Голубя и его сестра, но ведь есть Максим Ковалев, Поля, Татьяна Егоровна, Красновы, Валентина Батаногова. Да, ему не удалось получить образование, но ведь он сам отверг возможность учиться в вечерней школе, сам зло накричал на директора. Да, была война, но ведь не одного его она опалила своим горячим крылом. У Максима тоже убили отца, но он не пал духом, он все такой же, как был в детстве,— горячий, честный, энергичный...

Емельян же замкнулся в себе, озлился на весь мир и видел в нем только плохое, гадкое, не замечал, что в жизни больше хороших людей, солнца и радости. И с Полей был несправедлив. В последнем письме она его называла родным, любимым, он же шептал озлобленно: «Родной! Не знает Поля, какой я теперь!» Она действительно не знает, какой теперь он, Емельян.

Он — плохой человек. Хотя бы потому, что с самого начала отверг дружбу Максима, злился на него, считал чужим и ловким человеком, даже карьеристом. А сам? Сам вел себя как мелочный, завистливый человек, от злости однажды перегрузил баржу, сам, испуганный тем, что сделал, молчал, чтобы не показать Максиму растерянности. Разве можно забыть старика — шкипера баржи! Никогда его Емельян не забудет, всегда будет мучиться оттого, что доставил старику унижение, горечь. Да, гадко он вел себя. А драка на берегу Оби в Первомай, и пьянка, а оправдание себя тем, что многие пьют. А что он кричал Максиму, когда тот пришел к нему? Было хоть одно слово справедливым? Нет. Опять он был озлоблен, растерян и старался скрывать всю растерянность криком, чужими словами.

«Плохо! Все плохо!» — думает Емельян. Он считал, что люди несправедливы к нему, но никогда не думал о том, справедлив ли он к людям. Кому он за последние годы сделал хорошее, доставил радость? Никому... Он сам себе был в тягость, что уж говорить о людях! А какую радость он принес больной матери? Пьянки, драки, невыходы на работу, ссоры с людьми, большинство из которых ему хотели только хорошего... Он корчил из себя мученика, представлялся несчастеньким, наслаждался этим. Да, теперь Емельян отчетливо понимает, что ему нравилось играть роль обиженного, он старался уйти от ответственности, от работы и учебы. Разве не мог бы он раньше стать красновщиком? Мог бы!

«Я — плохой человек!» — думает Емельян и чувствует, что его наполняет злость к самому себе. Конечно же плохой человек! Так, как он живет, жить нельзя. «Мне надо все начинать

сначала!» — думает он. Да, все надо начинать сначала... Емельян вздыхает. Снова и снова он перебирает свою жизнь и находит, что жил плохо, неправильно и глупо.

5

Валентина Батаногова идет в клуб.

Синий и теплый вечер опускается на деревню. Спрятавшись за новый погрузочный кран, солнце кладет на Черный Яр огромную тень стрелы, которая наискосок перечеркивает деревню. Поднимая пыль, возвращаются с пастбища ленивые, отяжелевшие коровы и позванивают медными боталами. За коровами шагает пастух дед Сидор — голова как пивной котел, волосы белые и так густы, что торчат шанкой. За дедом Сидором волочится длинный бич, на тонком волосяном кончике которого висит дохлая мышь.

Мышь привязали ребятишки. Довольные, они толпой валят за стариком и выжидают момента, когда дед взмахнет бичом и дохлая мышь, описав дугу, взлетит в небо. Тогда начнется потеха. «Ишь, старый! — заорут бабы, встречающие коров. — Так-то ты пасешь наших животных! Мышей ловишь, ровно кот!»

Остановившись, Валентина ожидает старика. Подходя к ней, он заранее склоняет белую голову, приветливо помаргивает, а поравнявшись с девушкой, кланяется в пояс. Так до сих пор делают на Оби древние старики, встречаясь со знакомыми и незнакомыми людьми.

— Здравствуй, касатушка! — напевно произносит старик.

— Здравствуйте, дедушка Сидор! — ласково отвечает Валентина и шепчет ему на ухо: — Мышь!

— Ах ты мать честная! — восклицает старик. — Опять привязали! Ах-ах, озорники! — Беззлобно, радушно улыбаясь, дед Сидор подтягивает к себе мышь, берет ее черными пальцами. — Ить ты, скажи! Совсем свежая мышь! Где только ловят! — продолжает он и деловито заталкивает мышь в карман брезентового дождевика. Затем оборачивается к ребятишкам, машет руками, весело кричит: — От мого кота спасибо! Отжирается кот-то... Отжирается.

Ребятишки прыгают от восторга, воют, женщины громко хохочут.

— Ах-ах! — радуется старик. — Повеселел народ теперича! Беззлобней стал, улыбчивей... А то ить и зубов-то у народа было не видать!.. Ах-ах! На полках лежали зубы-то!

Уложив мышь в карман, старик поднимает к бровям ладони и, как на солнце, смотрит на Валентину.

— Какая ты красавица, доченька! — восхищенно говорит он. — Ровно солнышко! Ведь исподобит бог такую красоту!

— Вы уж скажете, дедушка! — смущается Валентина. — Вас послушать, так...

— Бог тебе в помощь! — радостно продолжает старик. — Ить подумать, какая красота! — И по-прежнему смотрит на Валентину из-под горбушечки ладони, и восторгом горят его белесые, выцветшие глаза.

— До свидания, дедушка! — опуская голову, говорит Валентина. — Коровы-то разбредутся...

Тихая, сжавшаяся, она медленно отходит от старика и грустно улыбается: «Как все смешно!» Вот она идет в клуб, надела свое лучшее платье, повязала голову новой косынкой, а для чего все это? Для кого? Для Бориса Егорова? Но он не нравится ей, Валентине Батаноговой, хотя она, видимо, нравится ему. Она медленно, задумчиво поднимается на крыльцо клуба, входит и сразу видит Бориса Егорова, сидящего подле Людмилы Голубь — веселой, оживленной, с длинными накрашенными губами. Разговаривая, Людмила низко наклоняется к Борису, задевает его плечом. «Она любит! — думает Валентина. — Она любит Бориса, и ей, наверное, нравятся узкие плечи, замедленная походка, голос и улыбка Егорова!»

— Добрый вечер! — здоровается Валентина.

В клубе темно и серо. Затканые серой пылью, тускло горят лампочки; несколько пар танцуют танго — лениво, неохотно. Ни новых лиц, ни новых пластинок, а баянист дядя Степа играет одни и те же надоевшие вальсы и фокстроты. «Зачем я пришла сюда?» — с тоской думает Валентина. Танцевать ей не хочется, разговаривать с Людмилой и Борисом — тоже. Остается одно — сидеть, сжавшись в комочек, ощущать пустынность клуба, неустроенность и одиночество. Лучше бы ей было остаться на кране, еще поработать, но Максим Максимович возразил, когда она предложила помощь. «Зачем нам быть на кране вдвоем, — сказал он. — Отдыхайте, Валентина Павловна. Один справлюсь!» Он сейчас ходит по крану — суровый, постаревший за последние дни. С ним что-то происходит, но она не знает, в чем дело, и думает, что Максим на танцы не придет.

— Разрешите, Валентина! — слышит она голос Бориса, который, оказывается, стоит перед ней с ослепительной улыбкой на лице.

— Пожалуйста, но... — нерешительно отвечает Валентина. — Люда не рассердится?..

— Нет, нет! Пожалуйста! — смеясь, отмахивается Людмила.

Борис крепко обнимает Валентину за талию, прижимает к себе. Он танцует легко, умело, тонко чувствуя музыку — радиола играет старинный вальс. Они быстро и легко несутся по кругу. Борис ласково посмеивается, разговаривает о пустяках.

Смеяться Валентине не хочется, но она с улыбкой слушает Бориса, которого ей по-прежнему жалко. Чем он виноват, что она его не любит! Разве он виноват в том, что у него не такое лицо, не такие руки, не такой голос? Не виноват, конечно...

— А вот еще один вопрос армянскому радио... — говорит

Борис, но останавливается, так как Валентина вдруг резко и как бы испуганно отстраняется от него.

— Простите! — недоумевает Борис. — Я наступил на ногу?

— Нет, нет!

Валентине кажется, что в клубе стало светлее — лампочка под потолком засияла ярче, пластинка на радиоле завертелась быстрее, музыка зазвучала веселее, громче. Еще не видя, Валентина чувствует присутствие Максима Ковалева. Она торопливо поворачивает голову — Максим стоит на пороге клуба, а рядом с ним — Емельян Кузьменко и два крановщика. Максим одет шикарно — в черном костюме, светлом галстуке, в модных туфлях; он стоит на пороге, высокий, загорелый, улыбающийся. Блестящие волосы зачесаны назад, голова чуть-чуть откинута. Оглядев внимательно зал и танцующих, Максим наклоняется к Емельяну, что-то говорит ему, видимо смешное, так как Емельян хохочет. Емельян сегодня выглядит тоже празднично — старенький костюм отглажен, воротничок белой рубашки, вытщенный на пиджак, оттеняет загорелое чернобровое лицо.

Максим и Емельян похожи фигурами — одного роста, широкоплечие, обоим низка дверь, в которой они едва-едва помещаются. Два крановщика стоят позади них. Переговариваясь, посмеиваясь, все четверо проходят, садятся на скамейку. Максим еще раз оглядывает зал, затем, поднявшись, свободной походкой проходит наискосок и останавливается возле маленькой и веснушчатой девушки, сидящей в уголке.

— Верочка, прошу! — громко и весело произносит Максим.

Верочка смущается — краснеет, опускает голову, но все-таки поднимается, так как Максим берет за руку. Верочка и до плеч не достает Максиму, но он бережно обхватывает ее рукой, что-то говорит ей, нагнувшись. Опустив голову, Верочка отвечает, затем кладет руку Максиму на локоть.

Когда кончается танец, Максим с Верочкой садятся возле Емельяна и крановщиков. Не проходит и минуты, как их окружают — пересаживается вместе с девушкой еще один крановщик, через весь зал идет дизелист, подвигается к Максиму молодой учитель рисования из школы. Вокруг Максима становится шумно, весело. До Валентины доносятся обрывки фраз, смех, она видит оживленные лица, понимает, что люди тянутся к Максиму. Вскоре вокруг него собирается половина присутствующих в клубе. Оживленно поворачиваясь из стороны в сторону, он что-то рассказывает, кивает на Емельяна и сам хохочет, откидываясь на спинку стула. Окружающие его молодые рабочие так шумят, что радиолоа почти не слышна, и к Максиму уже идет заведующая клубом Людмила Голубь.

— Надо танцевать, товарищи! — укоризненно, но и кокетливо говорит она. — Максим Максимович, не нарушайте порядок!

— Есть не нарушать порядок! — поднимаясь, шутивно вытягивается перед ней Максим. — Сейчас мы это дело искореним!

Пошли, ребята, шляться по берегу! — неожиданно громко предлагает он. — Пошляемся, как в старину... Танцы мы изобразим на свежем воздухе. Дядя Степа! — кричит Максим. — Дядя Степа, пойдете с нами шляться по берегу?

— Пойду! Пойду! — быстро соглашается баянист.

— Айда, ребята! — обрадованно кричит Максим. — Айда!

— Айда! — кричат ему в ответ.

Шумная толпа устремляется к выходу. Крановщики и девушки со смехом проталкиваются к двери. Максим, ожидая, держит за руку Емельяна.

— Пошли и мы! — громко говорит он.

Наступает тишина, в которой слышны смех и галдеж уходящих людей и гул моторов на обском берегу. И, далекая, приглушенная расстоянием, плещет речная волна.

— Мне пора идти! — еле слышно произносит Валентина. — Завтра рано вставать...

— Клуб закрывать нельзя! — томно вздыхает Людмила. — Придется мне сидеть до одиннадцати...

— Разрешите проводить? — говорит Борис Валентине и смело берет ее за руку.

Кивнув головой, она соглашается, и они выходят из клуба.

План Бориса прост — он незаметно выведет Валентину на берег Оби, подальше от лебедки, там скажет что-нибудь незначительное, повернется к ней лицом и... Он крепко обхватит ее за талию, прижмет к себе и поцелует в губы — долгим затяжным поцелуем, от которого она потеряет власть над собой. Потом он уведет девушку к себе домой. Он пообещает ей все, ради того, чтобы увести в свой дом. Жениться — пожалуйста, взять в Ленинград — пожалуйста, сделать императрицей — милости просим!

— Прогуляемся по берегу! — непринужденно предлагает Борис, а сам за локоть поворачивает Валентину влево, к густой темноте молодого кедрача, растущего в полукилометре от работающего крана.

— Хорошо! — задумчиво соглашается Валентина.

Он насмешливо усмехается — вот и эта согласилась идти к темному кедрачу! И вести она себя будет, наверное, так же, как глупая и жадная Людмила Голубь. Та исподволь, осторожно заговаривает о Ленинграде, расспрашивает о родителях, интересуется городской квартирой. В такие минуты на узеньком бледном лобике Людмилы появляется озабоченная морщинка, которая вызывает у него припадок веселости. «Дура!» — мысленно смеется он над Людмилой.

Вечер хорош. Небо сплошь проткнуто иголочками звезд, которые сливаются в синюю пелену — далекую, похожую на улицу освещенного города. Издалека доносится песня, перебор баяна. Это ходит по берегу Максим Ковалев со своей веселой компанией. Они поют «Подмосковные вечера», и, когда голоса

замолкают, баян четко выговаривает мелодию. А на берегу, празднично освещенный, работает новый кран.

Теперь Борис уже не спускает глаз с ног Валентины. Они поочередно появляются из-под короткой юбки, натягивая тонкую материю, рельефно открываются — длинные, с круглой коленкой, волнующе полные в том месте, где переходят в бедра. Он боком чувствует тепло и упругость ее тела, рукой — движение мускулов на тонкой талии. «Хороша!» — думает он.

Они выходят на пустынный берег, в лунные тени молодых кедров. Осторожно освободив руку, Валентина тихонько подходит к обрыву, останавливается.

Поблескивая лунами, течет Обь. Ночью особенно хорошо заметна ее громадность, просторность; лишенная противоположного берега, река словно уходит в небо — расплавленная, пошевеливающаяся. На крутом изгибе видны яркие огоньки — идет буксирный пароход с тремя баржами. Огоньки кажутся таинственными.

Стоя позади Валентины, Борис замедленным движением вынимает руки из карманов, делает неслышный шаг к девушке. Он ни капельки не волнуется, он уверен в себе и не торопится потому, что обдумывает, как удобнее и лучше обнять девушку. На это у него уходит несколько секунд, после которых Борис поднимается на цыпочки. Затаив дыхание, мягким, кошачьим движением кладет руки на плечи Валентины и сильно, но плавно поворачивает ее к себе лицом. Сначала его руки чувствуют сопротивление, но потом Валентина легко поворачивается к нему, печальная, затуманенная. Она исподлобья смотрит на него, легонько вздыхает, как бы говорит: «Не надо, Борис, это лишнее! Я знаю, ты любишь меня, но... Не надо, Борис!»

— Не надо, Борис! — вслух, но очень тихо просит Валентина.

Он быстро думает: «Не сопротивляется! И значит...» Борис крепко прижимает к себе Валентину, обхватив ее одной рукой за талию, второй — за плечи, чтобы она не могла отвернуться от поцелуя.

— Я люблю тебя, Валентина! — спокойно шепчет он. — Я не могу жить без тебя! Это как туман, как наваждение! — продолжает он, прижимаясь губами к ее холодной и гладкой щеке и стараясь найти губы девушки. Для этого Борис сильным движением перегибает ее в талии. — Я люблю тебя, Валентина! — повторяет Борис, ощущая радостный укол в сердце, так как Валентина, ошеломленная его стремительным натиском, не сопротивляется. «И эта моя! — радостно думает он, прижимаясь к девушке еще теснее. — Надо сделать так, чтобы она совсем утратила самообладание!» Он страстно целует ее в губы, но потом чувствует, что твердое и острое упирается ему в грудь, девушка напрягается и делает сильный рывок, от которого у Бориса сами собой размыкаются руки.

— Что? — отскочив в сторону, недоумевающе восклицает Валентина. — Что такое?

— Я люблю тебя, Валентина! — по инерции продолжает шептать Борис, еще не поняв происшедшего. — Я люблю тебя! — громко повторяет он.

И тут происходит неожиданное — на красивом лице Валентины появляется ласковая, нежная улыбка, глаза расширяются, словно она видит что-то хорошее, счастливое.

— Как ты смел, Егоров, как ты смел прикоснуться ко мне! — тихо говорит она. — Ведь я люблю Максима Ковалева.

Замолкнув, Валентина склоняет голову, несколько мгновений молчит и облегченно, счастливо вздыхает.

— Да, я люблю Максима, — тихо говорит она. — И он любит меня... Он любит меня! — с силой повторяет девушка, и в ее глазах отражаются две больших полных луны. — Ты слышишь, Егоров, мы с Максимом любим друг друга!

Последние слова Валентины почти не слышны — с берега, где работает кран, доносится тревожный вой. Это ревет сирена. Один длинный и три коротких вопля издает она, и ее голос, повиснув над Обью, раздваивается, растривается, а затем превращается в сплошной гул. Кажется, что звучит небо, река, темные кедрачи, бесконечные Васюганские болота. Что-то древнее, первобытное есть в голосе крана, словно кричит большой раненый зверь.

— Беда! — пугается Валентина. — Беда!

Она прыжком бросается сначала почему-то в сторону, затем исчезает в тени молодых кедров.

Сирена воеет по-прежнему дико, оголтело. Крановщик, наверное, забыл, что пальцы лежат на кнопке, а рот крановщика, наверное, открыт в беззвучном крике. Поежившись, Борис делает несколько шагов назад, почувствовав ногами острый срез пенька, садится. Он пока ни о чем не думает, а только зло, надменно кривит губы и поднимает на лоб тонкие брови.

Минут через десять Борис замедленно, как бы неохотно, достаёт из кармана пачку сигарет, но не закуривает, а держит пачку на весу.

— История! — вслух произносит он. — Я, оказывается, опоздал. Понятно! — говорит он после небольшой паузы. — Понятно!

Да, теперь все понятно: пока он возился с Людмилой Голубь, Максим успел с Батаноговой.

— Ковалев не такой простак, как мне казалось! — опять вслух говорит Борис. — О, он вовсе не простак!

Теперь он двигается много быстрее и энергичнее, чем раньше, он даже тороплив в движениях, когда зубами выхватывает из пачки сигарету и щелкает зажигалкой. Затянувшись ароматным дымом, Борис разводит руками и вдруг хохочет.

— Ковалев-то, Ковалев-то... — заливается он. — Ха-ха! Нет, подумать только — он уже успел с этой Валентиной Батаноговой!

Хочоха, Борис сползает с пенька на землю, падает на нее животом.

— Ты дурак, Егоров! — подрагивает он от хохота. — Пока ты занимался вопросом, кто такой Ковалев, этот Ковалев...

Борис Егоров хохочет оглушительно весело. Он словно не слышит, что кран по-прежнему тревожно гудит. Там, на кране, вероятно, случилась беда.

6

В спящем Черном Яре торопливо открываются скрипучие калитки. Разбуженный воем сирены, выбегает из дома Владимир Алексеевич Аленочкин, несутся Максим Ковалев, Емельян Кузьменко и все те, кто пел под баян «Подмосковные вечера».

Люди один за одним поднимаются по трапу на кран и бросаются к машинному отделению, возле которого уже стоит Валентина Батаногова.

— Что случилось? — чуть не налетев в темноте на девушку, спрашивает Максим.

— Странное, — торопливо отвечает Валентина. — Кран работает, а стрела не двигается! Такого еще не было...

А люди продолжают подниматься на кран — влетают шумные крановщики, быстро идут два пожилых дизелиста и, наконец, прогибая трап грузно-мускулистым телом, идет Владимир Алексеевич Аленочкин. Несмотря на то что уже первый час ночи, он ловко обтянут белым кителем и лицо у него свежее, бодрое, так как он не ложился спать — все сидел да работал в своем домашнем кабинете. Ширским, начальственным шагом Владимир Алексеевич проходит к столику возле машинного отделения, садится и спокойно подзывает к себе крановщика ночной смены.

— Садитесь, Сверкунов! — говорит Аленочкин. — Садитесь и успокойтесь!

На кране непривычная, тревожная тишина. Дизель не работает, и слышно, как у металлических бортов понтона, заглушенная, бормочет вода. Иногда раздается плеск — это отывается от берегового яра кусок глины и падает в воду.

— Все остальные садитесь на тросы! — по-прежнему спокойно предлагает Аленочкин и терпеливо ждет, когда разгоряченные бегом люди рассядутся на бухтах металлического троса. — Ну вот, а теперь рассказывайте по порядку, Сверкунов! — вежливо просит Владимир Алексеевич. — С чего все началось?

Теперь, когда все сидят, особенно хорошо видно, что Аленочкин абсолютно спокоен, что он нисколько не обескуражен аварией, так как считает подобные случаи неизбежными и относится к ним так, как должен относиться настоящий руководитель, — спокойно, но требовательно.

— Ну, рассказывайте! — ободряюще улыбнувшись крановщику, еще раз просит он.

— Да нечего рассказывать... Я поднял пучок, понес его на баржу, донес и включил спуск стрелы, а она не пошла... Вот так и висит! — показывая пальцем на стрелу, заканчивает крановщик.

Высоко в темно-синем небе, на фоне тонкого облака висит громадный пучок бревен. В темноте трос не виден, и кажется, что пучок висит в воздухе, и хочется опасно отстраниться от бревен — вдруг сорвутся, круша все, обрушатся на баржу?

— Что вы проверили? — в тишине спрашивает Аленочкин.

— Все проверил! — отвечает крановщик. — Весь кран излазил, а в чем дело — не пойму... Потому и дал сирену!

— Когда встал кран?

— Шестнадцать минут назад!.. Я заметил время, как при-казывали...

— Хорошо! — Аленочкин поднимается, подходит к Максиму Ковалеву. — Что будем делать, Максим Максимович?.. Ловить мышь, как вы говорите?

— Ловить мышь! — отвечает Максим. — Это, по-моему, самый лучший способ!

Аленочкин и Максим переглядываются, так как никто из присутствующих, кроме Валентины Батаноговой, не понимает, почему они говорят о мыши, что значит — ловить мышь, зачем ее надо ловить, когда стоит кран. Поэтому Максим, смеясь, объясняет:

— Вот о чем идет речь, товарищи! Когда в ста комнатах надо найти одну мышь, лучше всего взять сто человек и послать по человеку в каждую комнату. Они сразу найдут мышь...

— Распределяйте, Максим Максимович, — тоже весело просит Аленочкин. — Вы — главнокомандующий!

Максим внимательно оглядывает людей, прищурившись, что-то быстро прикидывает, затем громко говорит:

— Емельян Кузьменко проверит пульт управления, Иван Перегудов просмотрит грузовые тросы, Валентина Павловна займется дизелем, Владимир Алексеевич — лебедками, остальные пойдут на осмотр кабелей. Я стану на распределительный щиток! Вот, кажется, и все!.. Запускайте дизель!

Мотор крана смачно чавкает, потом такты учащаются, сливаются в сплошной гул, и кран оживает — где-то дребезжит гайка, поскрипывают канаты, пенится вода у бортов понтона. Когда дизель набирает полные обороты, вспыхивают два мощных прожектора, и на кране становится шумно, оживленно. Веселее на кране, когда работает дизель и светят прожектора; кран не кажется притаившимся, злобещим, темнота не пугает.

Ухватившись руками за металлические поручни, не касаясь ногами ступенек, Максим сваливается в машинное отделение. Здесь веет теплом от дизеля, тяжелый маховик гонит душную

волну воздуха, пахнущего озоном. Блестит медь и сталь, вздрагивающий металл напряжен.

Нагибаясь к щитку электрооборудования, Максим чувствует облегчение, остановка крана, странная, непонятная, не кажется пугающей, когда он стоит возле мотора, держит разводной ключ, а за ухом заложена папироска, чтобы можно было быстро закурить во время работы. Максим в своей стихии. Он любит возиться с моторами, мазаться в масле, ощущать пальцами тяжелую ласковость отвертки, глянецовую ручку молотка, напряженную сталь пробойника.

Максим развертывает схему электросистемы. На бумаге изображены сотни перекрещивающихся линий, завитков, спиралей, темные точки соединений, густая сеть цифр, но он видит не линии и точки, а другое — вместо линий и завитков струятся в разные стороны разноцветные провода. Они то подходят к лампочкам, то осторожно прикасаются паяным концом к контактам рычагов управления, то обматываются вокруг статоров электромоторов, то через напряженность магнитного поля перебрасываются в роторы, бесшумно вращающиеся на полированных подшипниках. Для инженера Максима Ковалева линии и точки схемы — это разноцветные провода, тяжелые моторы, соединения и контакты, которые он не только видит, а как бы чувствует пальцами, ощущает, как ток от распределительного щитка впитывается в провода, подобно крови по венам и артериям, растекается по крану. Он зримо и чувствительно представляет бег электрического тока по многочисленным механизмам огромного крана.

Несколько раз взглянув на схему, Максим присаживается на корточки возле распределительного щитка и закрывает глаза. Так ему удобно следить за проводами, обдумывать их путь. Он мысленно развертывает каждый провод, каждое соединение, не дает мысли прерваться до тех пор, пока провод не окончится механизмом, лампочкой, сиреной, прожектором, рычагом управления. «Здесь ничего не может быть,— думает он и восстанавливает в памяти следующий провод. — А вот здесь может быть!» — думает Максим и оставляет в памяти короткую зарубку, чтобы потом вернуться к замеченному месту рассуждения. Так он перебирает провод за проводом.

Углубленный в себя, Максим не замечает окружающего, а в машинное отделение спускается Валентина Батаногова, останавливается возле Максима, внимательно смотрит на него. Она несколько раз порывается обратиться к Максиму, но не решается и с каждым разом все ближе и ближе подходит к нему. Наконец Валентина оказывается в полуметре от сидящего на корточках Максима.

— Максим Максимович! — тихо говорит она. — Выходы из генератора проверены... Там все нормально!

Максим не слышит ее.

— На выходах все нормально! — повторяет она чуть громче.
— Что? — отрывисто спрашивает Максим. — Что вы ска-
зали?

— На выходах повреждений нет...

— ...повреждений нет! — машинально, по слогам повторяет Максим и вдруг требует: — Отвертку! Дайте отвертку!

Протягивая ему отвертку, Валентина понимает, что Максим не слышит ее слов и не видит ее. Затуманенный мыслью, он берет отвертку и соединяет ею два контакта — летят искры, слышен звонкий щелчок. Максим качает головой (не здесь!), присоединяет отвертку к следующим двум контактам (опять не то!). Тогда он перекладывает отвертку из руки в руку и опять закрывает глаза и, как во сне, шевелит губами. Сидящий на корточках, он кажется маленьким, юным и беспомощным. Это, наверное, кажется еще и оттого, что лоб Максима измазан мазутом, а лицо с закрытыми глазами у каждого человека делается моложе. Валентина, не дыша, смотрит на него и чувствует непреодолимое желание погладить Максима по всклокоченным волосам, провести пальцами по морщинке меж бровями. Желание так сильно, что Валентина быстро отдергивает руку и прячет ее за спину. «Сумасшедшая!» — думает она.

Наконец Максим открывает глаза. Они у него блестящие, взволнованные; он улыбается, разомкнув большие и тяжелые губы, собирает на лбу веселую гармошку крупных морщин.

— Валентина Павловна! — звонко произносит он. — Все ясно! Все понятно, Валентина Павловна.

Лицо у Максима юное, увлеченное, словно у мальчишки, который запускает в небо бумажный змей.

— Кажется, нашел причину! — повторяет Максим. — Если ребята ничего не найдут, значит, я прав! Значит, мысль правильна! — ликует он и вдруг понимает, что Валентина смотрит на него не так, как смотрит обычно.

— Что, Валентина Павловна? — спрашивает он.

— Отвертка! — говорит Валентина. — Отвертка у вас!

— Отвертка!.. Ах, да, отвертка!

Он протягивает ей отвертку.

— Вот отвертка!

— Вот отвертка! — повторяет Валентина.

— Возьмите ее! — просит Максим, держа отвертку на вытянутой ладони.

Валентина осторожно берет отвертку.

— Взяла! — тихо говорит она.

Максим медленно поднимается.

— Вот пакля... руки вытереть! — Валентина протягивает Максиму паклю.

— Спасибо! — говорит Максим. — Спасибо! — еще раз благодарит он.

— Пожалуйста!

— Я нашел причину остановки крана,— медленно говорит Максим.

Валентина опускает голову «Все! Он все понял! — думает она. — Он теперь знает, что я люблю его!» Затем она тихонько поворачивается, кладет отвертку на верстак.

Первое движение Максим делает тоже медленно — кладет паклю на металлический пол, распрямляется, чуточку быстрее берет со щитка схему, засовывает в карман. Затем движения Максима убаюкиваются — он круто поворачивается, крупно шагает, схватившись сильными руками за поручни, выбрасывает тело в узкую дверь, из которой тянет ночной прохладой.

«Она любит меня! — думает Максим, быстро шагая по понтону. — Она любит меня!» — думает еще раз и почти натывается на Владимира Алексеевича Аленочкина, который стоит под навесом в слабом свете матовой лампочки.

— Ну? — тревожно спрашивает Аленочкин.

Возле Аленочкина — крановщики, Емельян Кузьменко, два дизелиста, чуть поодаль стоит Валентина Батаногова.

— Ну, Максим Максимович, мы ничего не нашли...

Лица людей обращены к Максиму — полуоткрыв рот, смотрит с надеждой крановщик смены, нетерпеливо переступает с ноги на ногу Емельян Кузьменко, выдвинувшись вперед, напряженно мигает длиннорукий Иван Перегудов и даже спокойный, уверенный в себе Владимир Алексеевич Аленочкин глядит на Максима со скрытой тревогой.

— Так... так! — задумчиво произносит Максим. — Значит, вы ничего не нашли... Так, так!.. Это к лучшему! Если вы ничего не нашли, значит, подгорели контакты... Емельян, возьми напильник и зачисти! — весело заканчивает он.

Крановщик почему-то тонко хихикает и, прижав руки к груди, бесшумно бросается к столику, на котором лежат напильники. Схватив один, бежит к Емельяну, отдает ему и грубо толкает в спину: «Иди скорее!» Емельян с грохотом спускается в машинное отделение, крановщик возвращается на свое место и опять поворачивается лицом к Максиму и смотрит на Максима так же восторженно, благоговейно и почтительно, как все остальные крановщики и дизелисты.

Максиму становится душно от радости. «Нильские крокодилы! Черти полосатые! — думает он. — Ах вы нильские крокодилы! Перемазались в мазуте, облазили весь кран, ничего не нашли и так огорчились, что стояли погребальной процессией. Ах вы черти полосатые! Ах вы нильские крокодилы!»

— Готово! — высовываясь из машинного, кричит Емельян.

Крановщик вихрем взлетает в кабину, рванув звонком, включает сразу два мотора. Воеет лебедка, заскрипев, двигаются тросы, и пучок бревен, висящий над баржей, медленно опускается. Емельян Кузьменко падает на него грудью, повиснув всем телом, разворачивает. Опять заливается звонок, отдается на

темной реке, и сильный прожектор утыкается в зеленую обскую воду — в ней ходят веселые мальки, будущие рыбы.

Когда пучок бревен мягко ложится на баржу, на понтоне крана происходят сразу два события — Владимир Алексеевич неторопливым, солидным шагом идет к Максиму Ковалеву, а на трон понтона запрыгивает технорук Борис Егоров. Подойдя к Максиму, Аленочкин протягивает ему руку, крепко сжимает Максимовы пальцы и теплым, дружеским голосом говорит:

— Я рад, Максим Максимович, что вы работаете со мной на одном участке. Вы — прекрасный инженер! Большое спасибо, Максим Максимович... Не знаю, что было бы с краном, коли бы не вы! Еще раз спасибо!

Он не успевает закончить, как к Максиму подходит Борис Егоров, остановившись, широко, крепко расставляет ноги.

— Виноват за опоздание! — весело улыбается Борис. — Были такие обстоятельства, что я опоздал...

Еще веселее оглянувшись на рабочих, Борис тоже протягивает руку Максиму.

— Я не знаю, что здесь произошло, — говорит он, — но я всегда рад пожать руку Максиму Максимовичу! Мне хочется добавить, что Максим Максимович не только прекрасный инженер, но и сильный человек... Вот с этим я и поздравляю тебя, Максим Максимович! — заканчивает он и так же крепко, как Аленочкин, встряхивает руку Максиму. — У тебя есть чему поучиться! — серьезно добавляет он, и Максим видит его близкие глаза — веселые, нагловатые и действительно восхищенные. У Бориса такие глаза, словно он именно сейчас понял, какой замечательный человек Максим Ковалев.

— А может быть, мы пойдем спать! — насмешливо говорит Максим. — Может быть, вспомним, что завтра рабочий день... А, товарищи?

И как раз в это время с темного берега доносится приглушенный вскрик. Все оборачиваются на него и видят бегущую к трапу женщину. Запыхавшись, покачиваясь на зыбких досках, она вбегает на понтон.

— С тетей Пашей плохо! — испуганно восклицает она.

Прасковья Михайловна Кузьменко умирает. Коленки остро торчат из-под тонкого одеяла, сшитого из разноцветных кусочков. Одеяло от времени стало тонким, сквозным, а когда-то оно было теплым и пышным.

Целых три года собирала крошечные кусочки на одеяло молодая Паша Кузьменко — бережно хранила в сундуке остатки старых кофт, фланелевых юбочек, отрезки ситца, мадаполама. Когда набралось достаточно, взялась за кропотливую работу. Кроила и перекраивала кусочки, сшивала и расшивала,

стараясь создать узор. Молодой муж Гришка приходил с работы, разглядывал одеяло, улыбаясь, советовал, как лучше расположить кусочки; обняв за плечи, говорил: «Теплое будет одеяло, Паша!»

Месяц шила Паша лоскутный верх одеяла, но зато и получилось загляденье — словно большие цветы были брошены на одеяло, по краям шли две полосы, от которых весело рябило в глазах. Еще месяц ушло на доставание ваты и еще месяц на стезжку. «Славно, Пашенька!» — сказал Гришка, ложась в первый раз под цветное, пышное одеяло.

Всего шесть месяцев проспал с Пашей под новым одеялом Гриша и ушел защищать Москву. Одна спала теперь Паша под разноцветным одеялом.

Умирает Прасковья Михайловна Кузьменко.

Стоит возле ее кровати Татьяна Егоровна Ковалева. Смотрит на умирающую. Держит склянку с камфарой. Вспоминает, наверное, молодую Пашу Кузьменко. Эх, какая она была в молодости! Кровь с молоком, певунья, хохотушка, чернобровая, ясноглазая. И Гришка ее тоже был чернобровым, статным. Пел украинские песни. И у нее, Татьяны Егоровны, тоже был муж — Максим Ковалев. Молодой, здоровый, веселый. И ее мужа срезала пуля — только не немца, а японца; только не под Москвой, как Гришу Кузьменко, а под Халхин-Голом... Вот и стоит Татьяна Егоровна Ковалева. Держит склянку в руках. Думает.

Умирает Прасковья Михайловна Кузьменко.

Стоит рядом единственный сын Емельян. Закрыв глаза, молча плачет.

Стоит возле ее кровати друг ее сына, Максим Ковалев, который тоже помнит тетю Пашу молодой. Максим проглатывает тугой комок, застрявший в горле, прикусывает губу.

Глаза Прасковьи Михайловны широко открыты. Она словно заново, в первый раз, смотрит на облупленную русскую печку, на прогнувшиеся балки потолка, словно она никогда не видела маленькие окна, стол, табуретки, полотенце, висящее на стене. Ее глаза ярко блестят.

— Совсем я на ноги сяла! — шепчет Прасковья Михайловна. — Сяла, что ты будешь делать... Емеля, а Емеля! — зовет она.

— Что, мама? — глотает слезы Емельян.

— Ты, Емелюшка, самовар бы вздул... Гости пришли... Становой хребет во мне надорванный...

Медленно-медленно закрываются глаза Прасковьи Михайловны. Все уже щелочка между веками, все тише ее голос:

—...гости это пришли... Глаза слепые, никак не вдену нитку в иголку... Корова мычит — не доена... По полатам не ищи, ты в сундуке ищи... Баню истопила...

Совсем закрываются глаза Прасковьи Михайловны, почти не слышен ее голос.

—...гирю... подтяни...

Недышащий Максим замирает — на стенных часах ходиках гиря упирается в скамью.

Теперь у Прасковьи Михайловны только шевелятся губы. Мелко-мелко, точно она пытается облизать их языком, но не может. Потом, легкая, прозрачная, поднимается рука, и высохшие пальцы шупают лицо; словно на нем паутина и ее нужно смахнуть, но пальцы не могут сделать это. Рука, странно переломившись в кисти, застывает на груди.

— Мама! Мама! — всхлипывает Емельян.

— Максим, выведи Емельяна на улицу! — почти кричит Татьяна Егоровна.

Максим обнимает Емельяна за плечи, но разжимает руки — лицо Емельяна облито медленными слезами.

Крупно вздрагивая, Максим тоже плачет. Потом он чувствует, что на его плечо ложится крепкая и сильная рука. Обернувшись, Максим сквозь слезы видит крупное, как бы распухшее лицо Иннокентия Петровича — кажется это, наверное, от слез в глазах. Взгляд у старика жесткий, твердый, две глубокие вертикальные складки лежат на лбу. Он привлекает Максима, заглядывает ему в лицо.

— Пошли! — говорит старик. — Надо помочь Емельяну!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

На всяком цирковом представлении находится человек, который знает все фокусы искусного актера. В то время, когда весь зал, затаив дыхание, следит за ловким исполнителем, знающий человек снисходительно, скептически улыбается. «Дурни! Дурни! — говорят его всезнающие глаза. — Ну, чего вы бьете в ладоши, ревете «браво!»? Неужели вы не видите, что вода течет из трубки, пропущенной в рукав, а голубей в цилиндр подсунул тот самый ассистент, который старательно делает вид, что занят другим... Ах, дурни, дурни!»

Именно такой улыбкой всезнающего, снисходительного человека улыбается технорук Борис Егоров, когда слушает Владимира Алексеевича Аленочкина, проводящего обычную пятиминутку.

— Итак, товарищи! — весело говорит Владимир Алексеевич. — Не так страшен черт, как его малюют... За неделю мы увеличили производительность крана на шесть процентов. Увеличение значительно!

Владимир Алексеевич делает паузу и после нее еще веселее, еще ярче улыбается.

— Мне хочется,— говорит он,— сказать несколько теплых слов о работе Максима Максимовича Ковалева и Валентины Павловны Батаноговой. Не хочу раздавать комплименты, а только замечу, что молодым специалистам надо заполнить трудовые книжки! — Он опять делает паузу, таинственно поджав губы, продолжает: — Я считаю необходимым объявить приказом благодарность Валентине Павловне Батаноговой и Максиму Максимовичу Ковалеву. Таким образом, счет благодарностей открыт!

От хорошей, славной улыбки лицо Аленочкина делается добрым, ласковым, симпатичным; видно, что он рад возможности поблагодарить Валентину и Максима за хорошую работу, вынести им благодарность и порадоваться их успехам.

«Актер! Великолепный актер!» — усмехается Борис Егоров, рисуящий на клочке бумаги веселую рожицу — торчащие усы, кривой рот, глупые глаза. Подумав, он пририсовывает рожице туловище, длинные руки, в которые вкладывает два больших флага; еще раз подумав и сморщив лоб, печатным инженерским почерком пишет на одном из флажков: «Да здравствует Аленочкин — гениальный вождь и учитель Черноярского славного участка!» Поставив жирный восклицательный знак, он любуется своей работой, затем тщательно зачеркивает написанное.

— Кран работает лучше,— продолжает Владимир Алексеевич,— но мы не можем останавливаться на достигнутом.

Владимир Алексеевич поднимается с мягкого кресла, сделал несколько шагов, останавливается посередине ковровой дорожки. В молчании проходит несколько секунд, потом он энергично взмахивает рукой:

— Приближается съезд Коммунистической партии! Страна готовится встретить его выдающимися трудовыми достижениями. Мы с вами, товарищи, взяли обязательство дать сверх плана десять тысяч кубометров леса. Обязательство высокое, и надо хорошо поработать, чтобы выполнить его. Отсюда наша задача заключается в том, чтобы довести производительность крана до двух тысяч кубометров леса в смену. Каковы пути к этому?..

«А действительно, каковы пути к этому?» — насмешливо думает Борис Егоров и начинает рисовать рядом с человеком громадный дом; ко второму этажу он приклеивает затейливый балкон, во дворе рисует похожий на гриб атомного взрыва фонтан, а над парадной дверью прилаживает табличку: «Пенсионер Аленочкин — бывший романтик трудовых будней».

— Один из путей повышения производительности труда,— говорит Владимир Аленочкин,— это путь повышения квалификации крановщиков. На участке крановщики неплохие, работают они добросовестно, но мастеров своего дела, выдающихся крановщиков у нас еще нет, а они должны быть...

После этих слов Владимир Алексеевич неторопливо подходит к столу, берет вчетверо свернутую газету, на которой изображен улыбающийся молодой человек.

— Вот, товарищи, факт, взволновавший меня до глубины души! — торжественно произносит он. — В газете описан опыт крановщика Среднеенейской сплавной конторы Еремееенко. Он ежедневно грузит две тысячи сто кубометров леса. Его работа — лучшая в Сибири.

Сейчас лицо Аленочкина серьезно, тугой подбородок поднят. Молча усевшись в кресло, он бросает на счетах несколько костяшек и решительно поворачивается к Максиму Ковалеву.

— Максим Максимович, — строго спрашивает Аленочкин. — Вы читали об опыте работы Еремееенко?

— Да!

На этот раз Владимир Алексеевич выдерживает очень большую паузу. Он молчит ровно столько времени, сколько ему надо на то, чтобы привести стол в порядок — прячет в ящик бумаги и счета, скомкав бумажку, вытирает настольное стекло. Вид у него такой, словно в кабинете никого нет, а движения сердитые, даже злые. Закончив уборку стола, Владимир Алексеевич с размаху кладет на стекло обе руки.

— Максим Максимович, — сухо обращается он, — вы ничего не поняли?

— Нет! — серьезно отвечает Максим.

— Тем хуже для вас!.. Тем хуже для вас! И для меня... И для меня... — повторяет Владимир Алексеевич, медленно поднимаясь. — Вы, Максим Максимович, совсем не доверяете мне! А я почему-то думал, что мои отношения с молодыми специалистами строятся на основе взаимного доверия и приязни. Я, видимо, ошибся. Да, видимо, ошибся!

С каждой секундой голос Аленочкина делается все приглушеннее и печальней, плечи опускаются, становятся сутулыми. Он грустно покачивает головой.

— Я всегда был искренен с молодыми специалистами, хотел найти общий язык и с Максимом Максимовичем, и с Борисом Петровичем, и с Валентиной Павловной, а вы мне платите недоверчивостью. Нельзя так поступать, товарищи, нельзя!.. Неужели вы, Максим Максимович, могли подумать, что я плохо отнесусь к вашему предложению. А, Максим Максимович? — огорченно обращается он к Максиму. — Неужели вы могли подумать, что я не одобряю ваше предложение?.. Вы хотите спросить, какое предложение...

Печально взмахнув рукой, Владимир Алексеевич повертывается лицом к окну.

— Я имею в виду ваше предложение сделать крановщиком Емельяна Кузьменко, — устало говорит он. — И мне обидно, что вы не поделились со мной мыслями об этом! Ну,

почему вы не предупредили меня, Максим Максимович!.. Вот вы и молчите! Вам нечего сказать...

— Почему же нечего! — строго отвечает Максим. — Очень даже есть что сказать...

— А вы не говорите, — печально перебивает его Аленочкин. — Я же знаю, что вы скажете!.. Вы скажете, что хотели взять всю ответственность на себя и поэтому начали обучать Кузьменко в мое отсутствие... Это вы скажете!

— Примерно!

— Вот это и обидно, Максим Максимович... Вы, вероятно, думаете, что Аленочкин трус, что он побоится надзора и спрячется в кусты...

Владимир Алексеевич делает еще одну длинную, внушительную паузу, затем удобно устраивается в кресле и спокойно, но тоном приказа говорит:

— С понедельника прошу зачислить Кузьменко в штаты крановщиков. Запишите это себе, Валентина Павловна, а вы, Максим Максимович, зарубите себе на носу — я знаю все, что происходит на сплавном участке. Муха... Обыкновенная муха не сдохнет без моего ведома! Эх, Максим Максимович! — весело произносит он. — Я ведь тоже понимаю, что из Кузьменко получится отличный крановщик. Совещание окончено! — громко объявляет Владимир Алексеевич. — Прошу занять рабочие места!

Максим первым выходит из кабинета начальника, не оглянувшись на контору, спускается с крутой горюшки. Он садится на короткий и широкий пенек, на котором сидит всегда, когда ему надо думать. С пенька просматривается Обь, левобережье; если оглянуться, то видны синие, молодые кедрачи, Черный Яр — вся длинная улица, механические мастерские, околица.

— Владимир Алексеевич Аленочкин! — вслух произносит Максим. — Начальник Черноярского сплавного участка Владимир Алексеевич Аленочкин...

Максим зябко поеживается — он испытывает такое чувство, словно вымылся нечистой, болотной водой, которая стягивает кожу; хочется достать платок, вытереть лицо. Гадкое чувство вызвано Аленочкиным. Максим никогда не думал, что слова могут быть такими — липкими, как паутина, скользкими, как мыльный камень. Чего только не наговорил этот Владимир Алексеевич — съезд партии, передовой опыт, долг перед государством, дело чести... Аленочкин разбрасывался словами, жонглировал ими, как фокусник шарами. Как много слов! Кажется, им нет конца, внутри Аленочкина слов столько, что он может заполнить ими комнату, и тогда нечем будет дышать.

— Ну и ну! — как бы удивленно произносит Максим. — Ну и ну!

Незнакомое, тревожное открывается ему в Аленочкине. Вместо того чтобы сказать одну простую фразу, нагородил

черт знает что, жонглировал словами, фокусничал. Как искусный актер, представлялся обиженным, беденьким, потом превратился в начальника. Зачем все это? Что за этим кроется?

У Максима туго сжимаются губы, подбородок делается твердым, острым.

2

Максим все еще сидит на пеньке, когда с лебедек Мерзлякова неторопливо спускается по широкому трапу Иннокентий Петрович. Он давно увидел Максима, следил за ним и теперь идет по берегу — прямой, спокойно-улыбчивый, легкий и подвижный. Ветерок колышет белую прозрачную бороду, солнце отликает бликами на темном, загорелом лице, и это очень красиво — белая борода и загорелое до черноты лицо. Брезентовая спецовка на Иннокентии Петровице приятно похрустывает, сидит на нем ловко, как всякая одежда сидит на бывалом солдате, умеющем лихо носить и обмотки, и тяжелые сапоги.

Старик не здоровается с Максимом — они сегодня много раз встречались, — молча опускается рядом, на густую траву, и так же молча готовит для себя толстую самокрутку. Он углубленно задумчив, на лбу залегли глубокие складки, придающие лицу суровость. Максим глядит на него и думает, что старик понимает его состояние. Впрочем, и нетрудно понять, что Максим встревожен, сердит и напряжен.

Проходит несколько длинных минут — они молчат. Потом Иннокентий Петрович тихонько трогает Максима за колено, затаенно улыбается:

— Говори! Нечего смотреть на собственный пуп!

И ласковое прикосновение к колену, и затаенная усмешка, и тон, которым произнесены слова, — все это приносит Максиму облегчение; на секунду охватывает такое чувство, словно ничего не произошло в кабинете Аленочкина и начальник сплавного участка остался прежним. Затем приходит ощущение того, что слова переполняют грудь, их так много, что трудно высказать все, что накипело, и Максим думает об этом, и сразу же, конечно, мысль переносится на Аленочкина, который жонглировал словами, как пестрый клоун раскрашенными шарами. Нет, было все это, было! Максим наклоняется к Иннокентию Петровичу, отчего-то шепотом, в котором сам он не улавливает тревоги и трагичности, быстро и взволнованно говорит:

— Аленочкин не тот человек, за которого я его принимал!

Максим не улавливает движения, которое делает Иннокентий Петрович, — старик весь как бы устремляется к Максиму, — не видит изменившихся до суровости и грозности глаз Иннокентия Петровича, его затвердевших скул. По-прежнему взволнованный, Максим так же страстно продолжает:

— Он хитрый демагог и ловкий актер. Я теперь не верю ни одному слову Аленочкина! Все его слова фальшивы,

неискренни, они идут не от души, а от холодного и расчетливого ума...

Иннокентий Петрович ведет себя необычно: бесшумно смеясь, он всплескивает руками, несколько раз тоже бесшумно ударяет в ладоши, точно аплодирует Максиму, а затем смеется громко и заразительно весело. Выражение лица у старика такое, словно с ним произошло счастливое, нескончаемо радостное. Он смотрит на Максима детскими, восторженными глазами и восклицает молодым, звонким голосом:

— Крылья выросли... Оперяется птенец! Еще маленько, и вылетит из гнезда. Ишь как крылышками трепещет! Давай, Максимушка, давай!

Сияя глазами, растягивая губы доброй и счастливой улыбкой, Иннокентий Петрович как будто с трудом становится серьезным. Сначала пропадает сияющая улыбка, потом твердеют губы, потом суровеет худощавое и словно вылитое из бронзы лицо. Голос звучит торжественно, но приглушенно, когда Иннокентий Петрович продолжает:

— Узнаю в тебе отца, Максим. Твой батька был такой же непримиримый и до болезненности честный. Настоящий коммунист был! Ох, какой настоящий! Боец! Коммунар!

У Максима сдавливают сердце, взволнованность подступает к горлу, и, чтобы удержать теплые уколы в глазах, он поворачивается лицом к реке, туго сжимает губы. Отец! Он дружил с Иннокентием Петровичем; по рассказам матери, в день известия о гибели отца старик ушел в тайгу и бродил целую неделю. Вернулся он худой и оборванный, пришел в их дом, положил на стол большие натруженные руки. «Жить будем дальше! — сказал он матери. — У нас есть Максимка-младший!»

Борясь со слезами, Максим словно в тумане видит синюю Обь, барашки облаков над нею, лимонное солнце в сиреневой дымке; голубеют кедрачи, и золотится песок, похожий на шлейф, которым украсила себя река. И стоит над Обью немолчный гул крана, и летят по воде и земле блики, отраженные от ажурной громады, и тонкими голосами, треском, грохотом вторят крану старенькие лебедки Мерзлякова.

— Уважаю тебя, Максим, коли говоришь такое! — произносит с необычной интонацией Иннокентий Петрович. — В корень смотришь! Когда ты раскусил Бориса Егорова, я ведь и глазом не моргнул. Мелкий он, Егоров, видный, как рыба-малек, что ходит по поверхности. А стерлядь в глубину лезет, толстой водой прикрывается... Созрел ты, Максимушка, коли разобрался в Аленочкине. Я за этим человеком давно наблюдаю, да и не только наблюдаю, а и разужнаю кое-что, сравниваю; прикидываю... Теперь слушай сюда — вроде речи про-изнесу...

Сызнова положив руку Максиму на плечо, старик обращает к нему очень серьезное, задумчивое лицо, глядя прямо в глаза — он часто делает так, — медленно говорит:

— Ты ко мне все бегал, Аленочкиным радовался. И инженер-то он хороший, и организатор-то ладный, и хозяин-то видный, и то-се и пятое-десятое. Правильно вроде все, а в корне ложь и обман! В шестнадцатом, кажется, году работал я на спичечной фабрике купца Кухтерина — рабочих бунтовал... Знал и самого Кухтерина. Что, думаешь, плохой хозяин был? О-го-го! Такой капиталист, что пальчики оближешь! Он, брат, не в шесть часов, как Аленочкин, поднимался, а в четыре да в пять. И работал зверски умно, напористо, хитро... Секрет, Максимка, не в том, чтобы хорошо дело организовать, а в том, чтобы всегда оставаться коммунистом, большевиком.

Иннокентий Петрович вдруг прищуривается, жестко сжимает губы.

— Коммунист не может только на свой карман работать. А ведь ты и не знаешь, что милый Аленочкин в областном городе себе особняк о двух этажах возводит... Для чего он работает? И еще, Максимка, противное слово — хозяин. Как услышу, перед глазами сам собой Кухтерин встает. Коммунист в деле не хозяин, а пайщик, участник. Доля у него в деле равная, а ответственности, труда в сто раз больше, чем у другого, который не коммунист... И еще, Максимушка, гибнет человек, если он только на себя работает. Все пропадает! Коммунистом он, конечно, считаться не может!

Сказав эти слова, Иннокентий Петрович вдыхает воздух, улыбка освещает его лицо, на котором появляется чуточку виноватое, смущенное выражение.

— Она, — насмешливо говорит он, — она какую речь длинную толкнул! Вроде с трибуны, но для дела надо... Я все ждал, что ты ко мне с такими словами придешь. От души скажу, волновался даже — неужто, думаю, не раскусит! Неужто, думаю, придется Максимку, как слепого щенка, тыкать в Аленочкина? На, дескать, гляди, вникай! Нет, брат, ты сам раскусил... Праздник это для меня, Максим! Большой праздник! Сдай ты пять экзаменов в самой преакадемии, я бы так не обрадовался. Раскусить Аленочкина — это, брат, такой экзамен, что...

Старик не находит сравнения и беспомощно машет рукой с зажатой в ней самокруткой:

— Эх, не знаю, Максимка, какой это экзамен! Одним словом, серьезный! Ты не зазнавайся только, но скажу — по нашей линии идешь, если разобрался в Аленочкине.

У Максима опять сдавливают сердце — он понимает, что Иннокентий Петрович не просто рад, а счастлив за него, Максима, что он выдержал в глазах старика действительно трудный и нужный экзамен. И когда он думает об этом, его охватывает

чувство серьезности, ответственности за то, что происходит сейчас. Ощущение такое, словно он стоит на грани самого важного, словно начинается в его жизни то главное, для чего он и живет на земле. Словно все то, что было раньше,—кран; лебедки, чертежи и вообще техника,—что занимало его, отодвигается немного в сторону, а остается то, что звучит в словах Иннокентия Петровича,—раздумья о жизни и месте в ней, о людях с высоким титулом коммуниста. Думается ему, что наступает пора самая важная и ответственная, когда он будет выступать не только в роли инженера и начальника рейда.

Максим становится строгим; по-прежнему взволнованный, он благодарно глядит на старика, сам не подозревая, что в его глазах можно прочесть все мысли. И Иннокентий Петрович читает их.

— Угу! — сдержанно кивает старик. — Нелегкие времена наступают...

3

Борис Егоров обедает у Аленочкиных.

Он веселый, благодушный; настроение у него отличное. Причин для этого много: хорошая погода, вкусный обед, прошедшая половина рабочего дня, в которой было много занимательного и интересного. Он до сих пор восхищен Аленочкиным.

Благодушно посмеиваясь, Борис ест беф-строганов и внимательно наблюдает за обедающими. За столом ничего нового нет — Владимир Алексеевич читает газету, Любовь Борисовна бдительно следит за порядком, Софья Борисовна презирает зятя и сестру.

К беф-строганову Софья Борисовна прикасается осторожно, брезгливо, кончиком вилки поддевает кусочек мяса или картошки, подняв к глазам, рассматривает, поморщившись, несет в рот. Одновременно она бросает косые, негодующие взгляды на Владимира Алексеевича, который углубленно читает газету. Иногда Софья Борисовна нервно передергивает плечами, глаза под выпуклыми стеклами пенсне лихорадочно блестят.

Борису кажется, что сегодня Софья Борисовна ведет себя необычно. Она, конечно, и раньше презирала зятя и сестру, но сегодня презирает особенно старательно. Что-то новое, знакомое есть в ее поведении; представляется, что Софья Борисовна до предела переполнилась негодованием и с трудом сдерживает себя. Незаметно наблюдая за ней, Борис невольно сравнивает Софью Борисовну с Аленочкиным и именно от этого благодушно посмеивается. Старая учительница и Аленочкин примерно одного возраста, но сравнивать их просто нельзя. Софья Борисовна морщинистая, сутулая, чуточку кривобокая, а Аленочкин прямой, молодежавый, бодрый.

Аленочкин сидит на стуле, как вылитый из бронзы, — левая рука твердо держит вчетверо сложенную газету, подбородок выдается, а развернутые плечи так широки, что поневоле приходит мысль о бронзе. У него интересный затылок — прямой, квадратный. И шея атлетическая; дочерна загорелая, она покрыта такой густой сетью мельчайших морщин, что кажется грубой, как кожа слона. А под кожей шея сплошь состоит из мускулов. Даже на взгляд ясно, что если взяться за шею рукой, то почувствуется железная крепость.

Монумент, а не человек — вот что такое Владимир Алексеевич Аленочкин. Профиль у него чеканный, резкий, словно выточенный на фрезерном станке.

Читая газету, Владимир Алексеевич хмурится, цыкает языком, порой застывает с поднятой вилкой. Иногда же он вольно откидывается на спинку стула, шумно вздыхает. Потом опять хмурится, цыкает.

— Разделяют Петровскую сплавную контору! — наконец громко объявляет он. — Статья называется «Обещалкины еще живы!»!

— Вот как! — удивляется Любовь Борисовна. — Жуть!

— Жуть! — подтверждает Владимир Алексеевич.

— Гнать из партии и отдавать под суд! — гневно продолжает он, закончив читать статью. — Таким людям не место в партии! — Владимир Алексеевич зло тыкает вилку в мясо. — Это не только головотяпство, а политическая незрелость! Взяли обязательство, уверили, что рабочие готовы дать полтора плана, и... провалили выполнение!

Он машет газетой:

— Месячный план выполнен всего на семьдесят процентов! На двух плотбищах древесина обсохла и наверняка погибнет! На предприятии приписки! Низка трудовая дисциплина! Директор в разгар молевого сплава выезжал на охоту... Бил уток!

— Ужас! — всплескивает руками Любовь Борисовна.

— Нет, я уверен, что подобных руководителей надо отдавать под суд! — сердито продолжает Владимир Алексеевич. — Без чувства ответственности за план, как за свое, кровное дело, мы не сдвинемся с места! Только подбором честных, работающих людей мы сможем решить стоящие перед нами задачи! Еще Владимир Ильич Ленин говорил...

— Противно! — вдруг тонким голосом перебивает его Софья Борисовна. — Противно слушать! — Она схватывается ладонями за щеки, страдальчески морщится и как бы перевивается от брезгливости. — Боже! — стонет Софья Борисовна. — Съезд, Ленин, бюрократизм... И это говорит Аленочкин! Боже!

Газета не шуршит, а гремит, когда Владимир Алексеевич бросает ее на стол.

— Что вы сказали? — тихо спрашивает он.

— Я сказала, что мне противно слушать вас! — звонким, учительским голосом восклицает Софья Борисовна. Скомкав бумажную салфетку, она стремительно поднимается.

«Решилась! — с веселым ожесточением думает Борис. — Ну вот и началась потеха. Сейчас Аленочкин разделает ее, как бог черепаху!»

— Мне противно слушать вас, Аленочкин! — звонко повторяет Софья Борисовна. — Я не верю ни одному вашему слову! Вы лгун и актер, Аленочкин!

— Софочка! — пугается Любовь Борисовна.

— Вы называете меня идеалисткой, Аленочкин! — горячо и страстно продолжает Софья Борисовна. — Пусть так! Пусть я идеалистка! Но вы... вы, Аленочкин, страшнее всего! Вы страшны, Аленочкин!

— Софочка, перестань! — заламывает руки Любовь Борисовна. — Что ты говоришь, Софочка?

Но Софья Борисовна не слушает ее. Обежав стол, она подсакивает к Аленочкину, неистовая, вдохновенная.

— Без идей жить нельзя, как без воздуха! — поблескивая пенсне, говорит она. — Человек без идеи — дерево, пустота! А вы, Аленочкин, живете без идеи. Ваши слова об идеях неискренни... Вы живете не для идей, а для себя. Ваши идеи — это... — Она обводит взглядом столовую — стол, сервант, ковры, тахту, торшеры. — Вот ваша идея, Аленочкин! Вы живете для вещей, для желудка, для городского дома...

Софья Борисовна гордо поднимает голову.

— Вы называете меня идеалисткой... Прекрасно! Я горжусь этим. Я горжусь тем, что никогда не знала компромиссов, что была верна идее. Вы страшны, Аленочкин! — еще энергичнее, громче, неистовей говорит она. — Беда в том, что вы неуловимы. Вас трудно раскусить, Аленочкин!

— Софья! Я запрещаю! — холодно говорит Любовь Борисовна и поднимается из-за стола. — Я запрещаю!

— Мне нельзя запретить сказать правду! — вскрикивает Софья Борисовна. — Я скажу все!.. Дойдет и до вас очередь, Аленочкин! Придет время, когда вас раскусят. И тогда земля покачнется под вашими ногами... Если хотите знать, Аленочкин, ваш крах начнется на том самом партийном съезде, о котором вы беспрерывно говорите. Я это предчувствую! У нас, идеалистов, как вы говорите, на такие вещи хороший нюх... Помните мои слова, Аленочкин!

— Софья, прервати! — кричит на нее Любовь Борисовна, но Владимир Алексеевич вдруг берет жену за руку, потянув к себе, сажает на место.

— Пусть Софья Борисовна скажет все! — негромко говорит он.

Владимир Алексеевич абсолютно спокоен — он монументально сидит на стуле, прямо держит туловище, голову, и глаза у него спокойные, и лицо спокойное.

— Я слушаю вас, Софья Борисовна,— тихо произносит Владимир Алексеевич.— Продолжайте, пожалуйста, Софья Борисовна!

— Я сказала все! — отрезает она.

— А я вас выслушал! — спокойно отзывается Аленочкин. — Наконец-то известно, что вы думаете об мне... — Он сцепляет пальцы, внимательно смотрит на стол.

«Ну, сейчас начнется! — с веселым ожиданием думает Борис. — Сейчас он ее превратит в сосульку! Сейчас начнется!»

— Ваша главная ошибка в том, Софья Борисовна,— говорит Аленочкин,— что вы пытаетесь выдать желаемое за действительное. Вам, видимо, по каким-то причинам хочется увидеть во мне плохого коммуниста. Больше того, вам хочется сделать обобщение!.. Какое обобщение, я скажу потом, а пока будем говорить только обо мне... Так вот, вы по каким-то причинам не хотите верить тому, что я искренне принимаю к сердцу заботы и дела партии. По каким-то причинам — мы их пока не будем называть — вам хочется приписать мне такой смертный грех, как безыдейность. Так ведь?

— Я говорила, что вы, Аленочкин, мещанин! — отвечает Софья Борисовна.

— Я понял вас! Повторять не надо! — Он поднимает голову, смотрит прямо в зрачки Софьи Борисовны. — У меня создается впечатление, что вы вообще не способны поверить в искренность партийного человека.

— То есть? — сурово спрашивает она.

— Вы не способны понять мою искренность потому, что стремитесь во всех людях партии видеть только плохое,— холодно отвечает Аленочкин. — Вы стараетесь найти в людях партии недостатки, выпятить и раздуть их!

— И это значит... — Софья Борисовна немного отступает от Аленочкина.

— Вы сами поймете, что это значит! — еще холоднее говорит он. — Вы сами поймете, что это значит... А теперь позвольте продолжать! И прошу вас, не перебивайте! Я вас слушал, не перебивал и прошу вас не перебивать меня. Проявите такт хоть в этом... Итак, мы остановились на том, что вам по каким-то причинам хочется шельмовать людей партии. Каковы же причины этого?

Аленочкин замолкает, склонив голову, задумывается. Согнутыми пальцами он однообразно постукивает по скатерти, выбивает какой-то сложный неторопливый мотив.

— Главная причина этого,— продолжает он,— в том, что вы всех людей меряете на свой аршин. Вы сами не верите, что

всепобеждающие идеи партии способны стать плотью и кровью коммуниста, и думаете — так считают все!

— Аленочкин! — расширив глаза, пугается Софья Борисовна. — Аленочкин!

— Я просил вас не перебивать меня... Но продолжим... Вы, товарищ Боярская, относитесь к тем людям, которые критику культа личности восприняли как сигнал для нападков на партию и советскую власть. Справедливую критику недостатков партийных работников, партийного руководства при Сталине вы расценили как возможность шельмовать партию...

— Аленочкин! — шепчет Софья Борисовна. — Аленочкин!

— Вы даже не находите мужества выслушать правду, Боярская, — сухо и желчно говорит Аленочкин. — Это тоже характеризует вас. Но это мелочь. Главное, вероятно, в том, что до критики культа личности вы молчали и втайне шельмовали партию, а теперь хотите сделать это во весь голос. Сорок с лишним лет советской власти ничему вас не научили, и вы остаетесь на враждебных нам позициях.

Лицо Аленочкина с прищуренными глазами так жестоко, что даже Борис Егоров, с любопытством следящий за его схваткой со свояченицей, чувствует, как по спине бегут мурашки. А Владимир Алексеевич поднимается, выпрямившись, властно закидывает голову.

— Вы опасный человек, Боярская! — выпятив подбородок, медленно произносит Аленочкин. — Защищая себя, вы готовы идти на любую подлость. А? — вдруг отрывисто, с придыханием спрашивает он. — А? Что вы молчите, Боярская? А? Может быть, вы недовольны тем, что под видом критики культа личности вам не удалось протащить ваши враждебные взгляды?.. А? Что вы молчите, Боярская? А?

Софья Борисовна действительно молчит. Она смотрит на Аленочкина и медленно, как в полубомороке, снимает пенсне.

— О, боже, боже! — еле слышно произносит она. — О, боже! — Она съеживается, втягивает голову в плечи, словно ждет удара сверху. — О, боже, боже!

«Инцидент становится интересным!» — думает Борис Егоров, поживаясь.

— О, боже! — стонет Софья Борисовна.

Она слепо тычется по комнате — сначала идет к дверям, затем почему-то поворачивается обратно, потом опять делает шаг к дверям, шарахается из стороны в сторону, как человек с завязанными глазами. Любовь Борисовна бросается к ней:

— Софочка! Успокойся, Софочка! Ну поспорили, ну поругались — не чужие же люди! Ты же знаешь Володю, он такой горячий...

Потом Любовь Борисовна бросается к мужу, повисает на его плечах.

— Володечка! — умоляет она. — Ну не надо быть таким, ну не надо...

И снова — к сестре:

— Софочка! Не надо уходить... Ведь мы так любим тебя! Куда ты пойдешь? Не смей делать этого... Я так люблю тебя! Я так люблю тебя!

«Уморал — забавляется Борис Егоров. — Комедия! Эти Аленочкины знают свое дело... Ну, а ты, Борис Егоров, ты знаешь дело?» — спрашивает он себя.

4

Борис Егоров в одиночестве сидит в конторе, под стеклянной дощечкой, на которой крупными буквами написано «Технорук», и рисует на чертежной бумаге профили. Так Борису удобнее думать — мысли текут ровнее, додумывается до конца, до полной ясности.

Для начала он рисует Владимира Алексеевича Аленочкина — проводит прямую линию, только чуточку изогнув ее, ведет карандаш дальше, чтобы получилась короткая борцовская шея; затем рисует высокий и крутой лоб, резко очерченный нос с круто вырезанными ноздрями и, не пририсовывая губы, внизу накладывает выпуклый подбородок. Этого достаточно, чтобы профиль походил на Аленочкина. Затем Борис рисует профиль Максима Ковалева — тоже крупная голова, сильная шея, большой лоб, резкий подбородок.

Нарисовав профиль, Борис бросает карандаш, откидывается на стуле и несколько мгновений сидит неподвижно. Потом он берет автоматическую ручку и, дурашливо подмигнув сам себе, делает подпись под рисунками: «Черноярские князья!» После этого Борис больше ничего не рисует, а, наоборот, зачеркивает профили и поднимается с места. Сам того не замечая, он идет к окну походкой Владимира Алексеевича Аленочкина, настезь распахивает обе створки и жадно вдыхает свежий речной воздух. Борис выпрямляется, гордо вскидывает голову. Он стоит не шевелясь, твердо опершись руками в бока. Затем набирает полную грудь воздуха и кричит на весь берег:

— Прошу послать ко мне начальника рейда Ковалева! Эй, товарищи на сортировке, прошу послать ко мне Ковалева!..

Он видит, как рабочие сортировки поднимают головы, ищут взглядами Максима Ковалева; потом он слышит, как среди них переключается зычный крик: «Ковалева в контору! Ковалева в контору!» Уверенный, что начальник рейда немедленно появится в кабинете, Борис возвращается к своему столу, садится, выпрямившись, откидывается на спинку стула. Левой рукой он берет со стола какую-то бумагу, правой карандаш. Он принимает позу занятого, делового человека, который бережет каж-

дую секунду рабочего времени. Он так и встречает Максима, когда тот стремительно врывается в кабинет.

— Ты звал меня? — громко спрашивает Максим.

— Да! Садись!

С ходу влетевший в кабинет, Максим весь полон движения, солнца, воздушной легкости; он в два шага проходит от двери к дивану, бросается на него со всего размаху. Подождав, пока успокоятся заскрипевшие пружины, Максим поворачивается лицом к Егорову. Несколько секунд они молчат. В раскрытое окно вместе с напузырившейся занавеской влетает гул моторов, лязг, напряженное гудение лебедек. На рейде пискляво, тревожно вскрикивает рейдовый буксир, над всеми звуками — резкими и приглушенными — висит мощное аэродромное гудение нового крана. Кран не скрежещет и не гремит, не поскрипывает и не тарыхтит, а именно гудит, как гудит мощный реактивный самолет.

— Ну! — нетерпеливо произносит Максим. — Я слушаю!

— Я не задержу тебя! — спокойно отвечает Егоров.

Положив бумаги на стол, он поднимается, несколько раз проходит по ковровой дорожке из конца в конец, точно по тому направлению, по которому ходит Аленочкин. Лицо у него спокойное, движения замедленные. Потом Егоров останавливается, склонив голову набок, внимательно, изучающе смотрит на Максима. Брови у него поднимаются на лоб, глаза веселеют.

— Ну! — Максим сжимает тяжелые губы.

— Одну минутку! — вежливо просит Егоров. — Одну минутку, Максим...

Не спуская взгляда с Максима, он еще раз проходит по дорожке, круто поворачивается и тихонько, как бы исподволь усмеяется. «Молодец, этот Ковалев! — неожиданно для самого себя думает он, так как ему нравится положение, в котором сидит на диване Максим. — Молодец он, черт возьми!» — с настоящим восхищением думает Борис.

Максим сидит на диване как впаянный — крепкие ноги широко расставлены, руками он опирается в сиденье, могучая шея наклонена, натянувшийся пиджак обтягивает без складок широкую спину. Выражение лица у него замороженно-спокойное. Чутьочку прищурившись, он смотрит на Егорова холодноватыми глазами.

«Ах, какой молодец, черт возьми!» — опять думает Борис, и ему вспоминается темный обрез молодого кедрача, осколочек луны над Обью, затаенно-радостный голос Валентины Батановой: «Мы с Максимом любим друг друга!»

— Да, да! — незаметно для самого себя вслух произносит Борис. — Да, да!..

— Что? — резко спрашивает Максим.

— Ничего, ничего! — спохватывается Борис и тихо, мелодично смеется. — Это я так... задумался!

— Я жду! — требует Максим.

Но Егоров продолжает молчать. Не торопясь, спокойно думает о том, что ничуть не сердится ни на Максима, ни на Валентину, так как ему не на что сердиться. Он сам виноват во всем — он опоздал. Да, да, опоздал, а потом, когда пытался овладеть Батаноговой, нарвался на застолбленный участок, принадлежащий другому.

— Вот в чем дело, Максим! — дружелюбно говорит Борис. — Я очень хорошо отношусь к тебе и Алёночкину, я многому научился у вас, но есть границы моего восхищения вами.

— То есть?

— Видишь ли, всему есть пределы, которые я не могу перешагнуть, даже если бы очень хотел этого. Не могу, ты пойми меня, Максим.

Борис говорит таким мягким, дружеским тоном, каким говорят с друзьями, с единомышленниками, и выражение лица у него тоже дружеское, мягкое, симпатичное. Он словно умоляет Максима понять его, простить, войти в тяжелое положение.

— Пойми меня, Максим, и не суди строго! — проникновенно продолжает Борис. — Но я не могу сделать этого. Не могу! — повторяет он и умоляюще прижимает руку к груди. — Это выше моих сил, ибо закон есть закон!

Круглые зеленые глаза Бориса наливаются радостью, когда Максим начинает медленно, словно по частям, подниматься с дивана. Борис еще больше вселает, когда на лицо Максима наплывает прозрачная бледность. «Пошло дело!» — торопливо думает он и продолжает:

— Мне очень жаль, но придется ссориться с Алёночкиным! Он разрешил посадить Емельяна Кузьменко на кран, а я не могу сделать этого! Не могу, Максим!

Теперь Максим выпрямляется во весь рост, и оказывается, что он почти на голову выше Бориса Егорова.

— Я понимаю! — душевно продолжает Борис. — Ты хочешь сделать из Емельяна знатного крановщика, но ведь есть закон... Переступать его нельзя! А жалко! Ох, как жалко! — Борис сочувственно склоняет голову набок. — Но я ничего не могу поделать! Закон! Я все сказал! — склоняет голову Егоров.

Максим молча уходит.

Седьмой день Емельян Кузьменко лежит на диване в доме Ковалевых. Его собственный дом стоит пустой, крест-накрест заколоченный свежими досками; на крыше вертится, скрипит беспрестанно жестяной флюгер, и дважды в день — до работы и после нее — Максим ходит к дому Емельяна кормить воющего от тоски Казбека.

Седьмой день лежит Емельян на диване — думает, курит папиросу за папиросой, перебирает в памяти свою жизнь от начала до конца, затем начинает с конца и идет к началу. Как бесконечный приводной ремень на шкивах, вертелась перед Емельяном его собственная жизнь — бездумное детство, трудная юность, тоскливое возмущение; то вставало перед глазами прошлое, то хватало за сердце настоящее.

Шесть дней пролежал Емельян на стареньком ковалевском диване, а сегодня, на седьмой день, проснулся от звона в ушах. Прислушался, поморщился — где-то на Оби, испуганный поворотом и мелью на перекате, ревел буксирный пароход. Поревев, затих, словно кто-то успокоил его. Емельян перевернулся на спину, снова прислушался к тишине, — в ней чакали ходики и поплескивала Обь. Телу захотелось вытянуться, почувствовать движение мускулов, развернуться. Он подвигал руками, сжал ноги — показалось, что чужие, непривычные. «Отлежал!» — подумал Емельян. Ему захотелось встать, но в комнату беззвучно вошла Татьяна Егоровна, думая, что Емельян спит, на цыпочках прошла к столу, поставила крынку молока, положила хлеб, сахар-рафинад. Вздохнув, вышла из комнаты, а он еще долго не открывал глаза; которые торопливо закрыл при ее появлении.

Вот так и лежит до сих пор. День кончается, а ему кажется, что только начался. Емельян просто не помнит, как выпил молоко, что ел за обедом, не помнит того и о чем думал весь этот день. Лицом к стене, неловко подвернув под себя руку, лежит он и чувствует, что так больше нельзя — нельзя лежать, думать, ощущать, как отекают руки и ноги. «Скорее бы пришел Максим», — думает он. Когда приходит Максим, Емельяну становится легче. И оттого, что Максим рядом, и оттого, что от Максима пахнет солнцем и Обью.

Обычно шаги Максима слышны издалека — редкие, но твердые, словно он шагает не под летним безветренным небом, а преодолевает сопротивление ураганного воздуха. Так Максим ходит всегда, и Емельян теперь из тысячи походок узнает его походку. На крыльцо Максим поднимается быстро; звонко бьют о дерево стальные подковки, словно он пересчитывает ступени. В прихожей Максим задерживается — снимает сапоги, меняет пропотевшую ковбойку, и Емельян уже знает все звуки — и как Максим снимает сапоги, и как гремит умывальником, и тишину, когда Максим готовится идти в комнату.

Максим входит медленно, мягко ступая ногами в кожаных тапочках. Садится за стол, лицом к лежащему Емельяну, кладет темные тяжелые руки на стол. Лицо у него строгое, задумчивое. Несколько минут Максим молчит, рассматривая свои большие руки, заусеницы на ногтях. Емельян поворачивается к нему, затихает. Железно чакают ходики, в оконной раме, тыча в стекло, тоскливо воеет оса.

Максим каждый день начинает разговор о крапе. Рассказывая, он делает длинные паузы, временами молчит. Потом они говорят о разном, их разговоры невозможно вспомнить, трудно привести в систему то, о чем они говорили ночами, вечерами и утрами в эти семь дней — о жизни, о будущем, о прошлом и настоящем. Иногда Максим поднимался из-за стола, брал с этажерки книгу, читал, иногда вытаскивал из ящичков стола тетради с записями. Говорил он негромко, спокойно, с таким видом, словно не только Емельяну, но и самому себе. Казалось, что Максим внимательно прислушивается к своим мыслям, сам сценивает их, додумывает в разговоре.

Сегодня у Емельяна радостно ударяет сердце, когда на крыльце слышен четкий, пересчитывающий стук кирзовых сапог. Повернувшись на спину, он жадно смотрит на дверь, из которой должен появиться Максим, и морщится, как от физической боли, — Максим сегодня неспокоен. Когда он моется, умывальный стучит зло, раздраженно, шаги Максима раздроблены, отделены друг от друга неравномерными интервалами. «Что-то опять случилось!» — сумрачно думает Емельян.

Наконец слышно негромкое пошаркивание тапочек, скрип двери и щелястого пола. Максим появляется в дверях, ссутулившись, проходит к окну, открывает обе створки.

— Надо вставать, Емеля! — тихо говорит он. — Вставай, разомнись! — Он берет табуретку, переставляет ее ближе к окну, жестом приглашает Емельяна сесть. — Девятый час идет, а ты все лежишь.

Емельян тяжело поднимается, садится к окну.

На улице нет солнца, но очень светло; заголубевшая, вздымающаяся как море к небу, видна Обь. Шумят в палисаднике молодые тополя. В окно натягивает запахом сырой травы, свежих листьев и пыли. Если затихнуть, затаив дыхание, прислушаться, можно услышать шуршащее течение Оби, по которой медленно плывет лодка — трепещущими черточками поднимаются и опадают весла, отражение в воде колеблется темным зигзагом.

— Дать папироску? — спрашивает Максим.

— Давай!

Когда Емельян курит и смотрит в окно, глаза его спокойны, только чуточку грустноваты. «Вижу тополя, Обь, воробья, — говорит лицо Емельяна. — Ну и хорошо, что вижу тополя, Обь».

Максим и Емельян внимательно следят за лодкой, пересекающей наискосок Обь. Гребцы все чаще и чаще взмахивают веслами, рулевой берет резко вправо, чтобы лодку не снесло течением. Он, рулевой, должен так держать лодку, чтобы она шла не только поперек реки, а и против течения, так как тихая и медленная на вид Обь крепко хватает за днище стрежнем.

— Зиновьевы поехали на покос! — тихо говорит Максим. — Говорят, в Заречье такая трава намахала, что литовка вязнет!

— Да, Зиновьевы! — подтверждает Емельян и спрашивает: — Что случилось, Максим?

Максим отвечает не сразу. Он поднимается, походив по комнате, берет с полки книгу, раскрывает, но не находит то, что надо, и ставит книгу на место.

— Что книги? — грустно усмехнувшись, говорит Максим. — Книги хороши, но в них нет рецептов!..

— Так что случилось?..

— Аленочкин, Егоров... — говорит Максим. — Опять Аленочкин, опять Егоров...

— Аленочкин — сволочь! — печально произносит Емельян. — Ты теперь понимаешь, что он сволочь...

— Да! — спокойно и твердо отвечает Максим.

— Аленочкину чихать на меня, на тебя, на Черный Яр, на всех нас! — немного злится Емельян. — Если хочешь знать, я из-за Аленочкина да Егорова тебя ненавижу!..

Они замолкают.

Проходит, наверное, десять минут. Наконец Максим поднимается, кладет руку Емельяну на плечо.

— Пошли искупаемся! — предлагает он.

— Пошли! — соглашается Емельян.

Он согласился бы на все, что бы ни предложил Максим, самое трудное для Емельяна — лежать в одиночестве. Ох как тяжело! Смотреть в потолок, ворочаться, от тоски зарываться головой в подушку. Много легче, когда с ним Максим.

На улице дует легкий влажный ветер, окрест лежит тишина, мягкая как вата. Шагая за Максимом, Емельян чувствует, что ноги отвыкли от ходьбы, их трудно переставлять, но именно это отчего-то приятно. Он мог бы идти далеко-далеко, хоть за тридевять земель — так тело истосковалось по движению. «Хорошо!» — опять думает Емельян и коротко, как бы летуче вздыхает.

— Здесь!

Максим останавливается у высокого яра. Да, самое удобное место здесь — они с Максимом купались всегда у этого яра. Емельян скидывает рубашку, брюки. Сначала он чувствует зябкость, терпкий холодок пробегает по телу, но это тоже приятно, щекотно. Хорошо! Только немного боязно обрыва, высоты. Чувство это незнакомо Емельяну — он всегда без страха бросался головой вниз.

— Высоко! — говорит Емельян.

— Здесь всегда было высоко! — соглашается Максим. — Ну, давай!

Максим готов к прыжку. Он согнул колени, руки распластал за спиной: так и надо нырять с обрыва. Емельян делает то же самое, он во всем подражает Максиму и уже не думает о зыбкой далечине воды.

— Пошли!

Емельян ударяется грудью о воду, чувствует ожог холода, волна смыкается над ним, и в темноте он думает, что нырнул неловко, грудью, но это пустяки, главное в том, что он нырнул с обрыва вместе с Максимом. Потом он, быстро разгребая воду руками, выныривает на поверхность и жадно глотает ртом воздух. Телу становится тепло, радостно, оно теряет вес — словно нет рук и ног, словно тело висит в воздухе. От этой легкости хочется громко, на всю реку кричать, но Емельян сдерживает себя и ищет взглядом Максима.

«Теплая вода», — думает Емельян, и его вдруг охватывает чувство облегчения, радости. Скованность движений пропадает, руки делаются сильными. Повернувшись на плечо, он мощным рывком бросается вперед, на полтуловища обгоняет Максима.

— Пошел! — кричит Емельян.

— Давай, Емеля! — сразу же отзывается Максим.

Соперничая, они стараются перегнать друга друга, но оба, видимо, равны по силе, по умению плавать и потому плывут рядом, почти касаясь друг друга руками.

«Хорошо!» — третий раз за этот вечер думает Емельян.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

— Боевое крещение? — весело спрашивает Аленочкин у Максима, когда Емельян делает первый разворот крана.

— Да, боевое крещение! — отвечает Максим.

Над Обью плывет тонкий, зябкий туман, бордовое солнце висит над тальниками, а напротив солнца, окруженный радужными кольцами, затуманенный лунный диск. Он не успел спрятаться и теперь не знает, что делать: то ли таять, то ли набираться блеску. Когда стрела крана проплывает над головами Максима и Аленочкина, клочки тумана, уцепившись за металл, оседают на нем блестящими капельками.

— Начинается грузовой поворот! — сухо говорит Максим. — Может быть, вы отойдете в сторону?

— Нет, я буду стоять здесь!

Слышно покряхтывание металла, басовито гудит напряженный трос. Потом громко, тревожно звенит звонок и на секунду наступает тишина — кран готовится к трудному делу. Дизель работает приглушенно, на малых оборотах; электрические моторы застыли в ожидающей неподвижности. Передохнув, Максим напрягается, застывает, но его руки невольно делают то, что должен делать в этот миг Емельян: правая тянет на себя рычаг поворота, левая нажимает на другой. Ногами он, как на педали, жмет в металл понтона.

— Ого! — вдруг восклицает Аленочкин.

С пучком бревен происходит необычное: вместо того, чтобы подниматься вверх, бревна неожиданно двигаются по крутой опасной дуге, пролетают над головами зацепщиков, потом устремляются к баржевой надстройке, и кажется, что бревна неминуемо ударятся о нее.

— Ого! — еще громче восклицает Владимир Алексеевич.

Бревна на большой скорости проносятся над надстройкой, миновав ее, неожиданно меняют дугу полета. Теперь они так быстро убегают в противоположную сторону, что возникают опасение — пучок с грохотом зароется в штабеля, на полном ходу навалится на отцепщика. Но ничего страшного не происходит и на этот раз. Дуга хода бревен прерывается как раз у того места, где стоит отцепщик, и слышно, как облегченно, обрадованно снижает обороты дизель.

— Вот и все! — облегченно говорит Максим. — Совмещение грузовых операций! Кузьменко использовал в одном развороте крана все возможности механизма. Расчет был основан на том, чтобы все операции были слиты, и потому он совершил разворот в два раза быстрее, чем обычно!

Стрела опять висит над сортировочной сеткой, опять слышится побряхтывание металла, потом стремительное нарастание гула дизеля, а затем бревна начинают чертить опасную крутую дугу. Все повторяется. И в этом — в повторении дуги полета бревен — видится уверенный расчет, крепкие, спокойные руки крановщика. Сочетание математического расчета и природной даровитости Емельяна Кузьменко — вот что видится в полете тяжелого пучка бревен.

Туман словно впитывается в воду и землю. Веселыми островками уже проглядывают голубые клочки воды; четкие, появляются дальние дома Черного Яра. Луна исчезает с неба внезапно, точно ее задергивают. А потом наступает и такой момент, когда туман, став тонким, лентой прилегает к Оби и мгновенно растворяется в ней. И тогда в глаза ударяет сияющая голубизна. Теперь Обь вольно раскидывается громадным плеском — от берега к берегу, от излучины до излучины, громадная, поднимающая к небу.

Голубая, лежит под солнцем река, а небо делается светлее и от этого бездонно изгибается над видимым пространством. День начинается над Обью и Черным Яром — светлый, жаркий, длинный-длинный.

— Ну, вот и все! — со вздохом говорит Максим. — Емельян стал крановщиком. Емельян стал крановщиком! — тихо повторяет Максим, испытывая такое чувство, какое испытывает путник, когда в глухой темноте видны огоньки города, к которому он шел много дней. Еще несколько шагов, и путник войдет в теплые улицы, увидит людей, знакомых, родных, он снимет с натруженных плеч тяжелую котомку и радостно вздохнет от облегчения: «Дорога позади!»

Теперь Максим Ковалев может повернуться лицом к Владимиру Алексеевичу Аленочкину. И он поворачивается и внимательно смотрит на него, так как пять минут назад, когда Емельян работал на кране, Максим не видел Аленочкина. С глазами Максима происходило то же самое, что происходит с объективом фотоаппарата, когда он не наведен на фокус. Аленочкин тогда не был в «фокусе» глаз Максима Ковалева, а вот теперь Максим разглядывает его внимательным, требовательным взглядом.

Облитый белым кителем, загорелый и веселый, Аленочкин коренасто стоит на понтоне. На фоне просветлевшего неба он четко, скульптурно нарисован. И Максим впервые замечает, какая у него шея и какой затылок. Собственно, шеи у Аленочкина нет, а прямой квадратный затылок сразу переходит к плечам. Потому и кажется, что затылок у Аленочкина борцовский, тугой и твердый, как до отказа накачанная резина, а там, где у человека должна быть шея, у Аленочкина бугрятся две твердые, жесткие складки, обросшие короткими волосами.

— Ну что же, Максим Максимович! — весело произносит Владимир Алексеевич. — Считаю, что вы одержали еще одну победу — на Черноярском сплавном участке появился выдающийся крановщик. Позвольте поблагодарить вас за это!

— Да! — говорит Максим. — У Емели с детства был талант математика и механика. Из него вышел бы прекрасный инженер.

— О Кузьменко скоро заговорят газеты и радио, — продолжает свою мысль Владимир Алексеевич. — Если он будет хорошо вести себя в быту, он достигнет всего. Это дорогая вещь...

— Емельяну надо кончать десятилетку и поступать заочно в институт, — тоже настойчиво продолжает свою мысль Максим. — Надо все начинать сначала!

— Емельяну надо хорошо вести себя в быту! Он далеко пойдет, если захочет! — говорит о своем Владимир Алексеевич.

— Нелегко будет ему! — говорит свое Максим. — Все начинать сначала!

— Талант — редкость! — говорит Аленочкин. — Его надо выбирать до конца! Чему вы улыбаетесь, Максим Максимович? — спрашивает Аленочкин. — Впрочем, я понимаю — успех колоссальный! Я бы на вашем месте тоже смеялся как ребенок!

Вот, вот — Аленочкин на его месте смеялся бы как ребенок. Он, Аленочкин, умеет смеяться так, как того ему захочется — как ребенок, как добрый дядя, как товарищ-одногодок, как снисходительно-слытный коллега. Он все умеет, этот Владимир Алексеевич Аленочкин!

— Ну что же, Максим Максимович! — говорит Аленочкин. — Спасибо! Есть у нас крановщик.

— А вот идет технорук Борис Егоров! — вдруг весело говорит Максим.

Технорук Борис Егоров действительно выходит из конторы и спускается с горушки к новому погрузочному крану. Шагает он, как всегда, замедленно и одет по-обычному — на ногах сандалеты, клетчатая ковбойка выпущена поверх брюк, на голове светлая ворсистая кепка.

Борис хорошо выспался, прекрасно позавтракал и пришел в контору ровно без десяти девять. Он немного посидел за своим столом, привел в порядок кое-какие бумаги, а когда стрелки часов показали девять, поднялся и пошел на кран. И вот уже спускается с горушки, и ему так весело, что он легонько насвистывает сквозь зубы и напевает: «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...»

У него действительно все хорошо, так как еще вчера вечером Борис принял окончательное решение. Перед тем как заснуть, он счастливо улыбнулся сам себе, отвернулся от полуголой Людмилы и сказал вслух: «Так и будет!» Людмила торопливо спросила, что будет, но он не ответил — спал. Утром Борис сделал напряженную зарядку, окатился с ног до головы холодной водой и от чувства бодрости засмеялся так же счастливо, как накануне от дневной усталости и любви с Людмилой Голубь.

А во время завтрака ему в голову пришла та самая мысль, которая заставляет Бориса улыбаться до сих пор. Прихлебывая горячий кофе, Борис подумал об Аленочкине: «Эх, Владимир Алексеевич, а ведь я тоже не лыком шит!» Он решил, что пришло время помериться силами с самим начальником сплавного участка Аленочкиным. Еще несколько минут спустя, одеваясь, Борис окончательно додумал эту мысль, а выходя из дома, задержался на высоком крыльце, облитый солнцем, сладко потянулся. Потом, усмехаясь, поглядел на Черный Яр.

— Так будем же сильными! — вслух сказал он. — Докажем Аленочкину, что Борис Егоров что-нибудь да стоит. Если вы Аленочкин, то и Борис Егоров не лаптем щи хлебал!

И вот теперь Борис спокойно спускается с горушки, поднимается по трапу на кран и, по-прежнему не торопясь, подходит к Аленочкину и Ковалеву. Он протягивает им руку, пожимает и ищет глазами Валентину Батанову. Она стоит под маленьким навесом и держит в руках блокнот. Лицо у нее бледное, застывшее, а вид такой, словно Валентина нарочно стоит поодаль от Ковалева и Аленочкина.

— Здравствуйте, товарищи! — говорит Егоров, а сам думает о Валентине: «Не спала ночь! Любила с Ковалевым, а теперь показывает, что и знать его не знает!» Потом глядит на Владимира Алексеевича. «Владелец двухэтажного дома! Можно допнуть от смеха, когда он делает вид, что заинтересован работой крана! Умора!»

— Владимир Алексеевич,— спокойно обращается Борис к Аленочкину,— прошу выслушать меня! — Он делает небольшую паузу и продолжает: — Я не могу пойти на то, чтобы краном управлял недипломированный человек! Это нарушение всех инструкций!

«Ага! В самую точку!» — радостно думает он, когда Ковалев и Батаногова делают одинаково поспешное движение к нему.

— Прошу немедленно снять Кузьменко с крана! Если этого не будет сделано... — Он выдерживает еще одну длинную, насыщенную холодной угрозой паузу, потом резко заканчивает: — Если этого не будет сделано, я буду вынужден подать телеграмму в Госгортехнадзор! Текст уже заготовлен.

Борис двумя пальчиками левой руки лезет в нагрудный карман ковбойки и достает небольшой листок бумаги с четким, написанным чертежными буквами текстом:

— Вот телеграмма!

Кран останавливается: сникнув от снижения нагрузки, неслышно работает дизель, прерывается грохот мокрого дерева; выплывает, делается отчетливо слышным торопливый бег по реке небольшого буксирного парохода — шипит пар и стучат плиты. Потом среди звуков раздается двойной стук, буханье. Это спрыгивает с сиденья Емельян Кузьменко. Выбравшись из кабины, он подходит к начальству, останавливается в трех метрах от Егорова, заталкивает руки в карманы, оставив ногу, прищуривается.

— Ты, инженер,— говорит Емельян,— ты, инженер, не волнуйся. Я могу уйти! Понял?

— Емельян! — кричит Максим. — Спокойно, Емельян! Спокойно! — торопится Максим, так как замечает, что на щеках Емельяна появляются красные пятна. — Спокойно! — И он делает такое движение, которым как бы отгораживает Емельяна от Егорова.

— Слушай, Егоров! — тугим голосом произносит Максим. — Слушай, Егоров!

— Ну, ну! — с улыбкой перебивает его Владимир Алексеевич. — Что же это получается, Максим Максимович, просите Емельяна сохранять спокойствие, а сами... А сами не сохраняете спокойствие. Нехорошо!

После этого Аленочкин подчеркнуто спокойно берет Емельяна за руку, отводит его в сторону.

— Плохо делаете, Кузьменко! — укоризненно говорит Владимир Алексеевич. — Без всякой на то причины останавливаете кран, прекращаете работу... Так делать нельзя, Кузьменко! — строго продолжает он. — Прошу немедленно занять свое место! Я не привык дважды повторять распоряжения! — властно вскрикивает Аленочкин, когда видит, что Емельян не двигается. — Я кому говорю, товарищ Кузьменко!

Шаркая тяжелыми сапогами, Емельян идет к кабине,

— Вот так! — удовлетворенно замечает Аленочкин. — С дисциплиной у нас еще не все ладно!

Затем на загорелом мускулистом лице Владимира Алексеевича появляется изумление — светлые глаза округляются, левая бровь, изогнувшись, поднимается на лоб.

— Борис Петрович, вы серьезно говорите все это? — спрашивает он.

— Вполне! — холодно отвечает Егоров. — Но я ничего больше говорить не буду... Я иду на телеграф. — И действительно хочет идти, но Аленочкин вдруг крепко хватает его за рукав ковбойки.

— Мило! Очень мило! — удерживая Егорова, донельзя изумленно протягивает Аленочкин. — Так мило, что и не верится! Вы слышите! — восклицает он. — Вы слышите, что делается... Борис Петрович собирается жаловаться в надзор! Он подает телеграмму, они немедленно пришлют контролера, и заварится каша...

— Отпустите мою руку! — напружинившись, тихо просит Егоров. — Отпустите руку! — повторяет он. — Если вы не сделаете этого, я обращусь к помощи силы!

— Силы! Вы говорите — силы!

Лицо Владимира Алексеевича становится надменным, презрительным; две глубокие начальственные складки пролегают у губ, глубокая вертикальная морщина прорезывает лоб, глаза светлеют. Что-то жесткое появляется в его тоне, а движения делаются короткими, стесненными, голос снижается до вкрадчивости.

— Вы говорите — силы, Егоров! Ах, щенок! Ах, мальчишка! — После этого Аленочкин еще крепче сжимает руку Егорова, притягивает его к себе, и Борис подается так легко, точно в нем десять килограммов веса. — Вы грозите мне силой... Мне, Аленочкину! Вы, пижон и бездельник!

— Отпустите! — совсем тихо просит Егоров, но об этом просить уже не надо — Аленочкин сам отпускает Егорова и вытирает руку об руку. Он вытирает руки так, словно держался за что-то грязное, непотребное, и лицо у него делается брезгливым, сморщенным.

— Вы подлец, Егоров! — гневно говорит Аленочкин. — Вы не понимаете, что люди щадят вас! Вы хотите черной неблагодарностью заплатить людям за то, что они прощали вам все хамства!

— Какие хамства? — медленно спрашивает Егоров.

— Ах, вы не знаете, какие! — Взбешенный Аленочкин поворачивается к Максиму. — Он не знает, какие безобразия! Вы слышите, Максим Максимович... Он не знает! Так я скажу вам, Егоров! Знайте, что Максим Ковалев работает за вас... Что, не нравится? Да, он работает за вас... Это ваше дело — сутками, как Максим Максимович, сидеть на кране, находить способных

крановщиков, внедрять новую технику... Это ваше дело! А не начальника рейда.

Передохнув, Аленочкин кричит:

— Вы не знаете, что мы мирились с вами, как с пижоном и бездельником. Мы это делали потому, что понимали ваше городское воспитание, видели вашу неспособность к настоящему делу. И вы не цените это, а? Вы не цените это, а! Ну, что вы молчите, Егоров, а?.. Вы боитесь! Знаете, что мы можем испортить вам биографию, а! Понимаете, что стоит нам выставить вас с треском, как ваша биография будет испорчена навсегда, а!.. Ну, Егоров! Такими вещами не шутят! Вы что, хотели характер показать, а? Ну и ну! Вы помните мои слова при вашем назначении, когда я говорил, что трест ошибся, назначив вас техноруком? Могу вам сообщить, что о моих колебаниях я еще осенью сообщил тресту, и мне разрешили действовать по своему усмотрению. Я могу сейчас же, немедленно, снять вас с техноруков и перевести в мастера. Ну, Егоров!.. Что вы молчите? Максим Максимович! Скажите этому пижону пару теплых слов. Скажите! — просит он.

Но Максим ничего не говорит Егорову — он внимательно наблюдает за начальником сплава участка и техноруком. Посмотрит на Аленочкина — лицо перекошено от гнева, глаза запали; переведет взгляд на Егорова — щеки бледны, словно припудрены, глаза злые, как у маленького зверька. «Тарантулы в банке! — думает Максим. — Черт знает что делается!»

— Что же вы молчите, Максим Максимович! — поражается Аленочкин. — Что с вами?

— Ничего! — передернувшись, отвечает Максим и делает несколько шагов назад, к Валентине Батаноговой. Девушка так взволнована, что дышит тяжело, прерывисто, голубые глаза расширены, руки до боли стиснуты. Она тоже медленно отступает от начальника и технорука, пятится от них.

— Возьмите свои слова обратно, Егоров! — спять набрасывается Аленочкин на технорука. — Скажите, что вы пошутили и вообще у вас дурное настроение... Ну, Егоров!

«Тарантулы в банке, — снова думает Максим. — Интересно, кто кого съест!» Он понимает, что сейчас ему может помочь только усмешка, шутливое настроение; перед мысленным взором появляется мать: «Ну, ну, Максимка, разве ты не умеешь улыбаться? Где твои тридцать два белых зуба?» Мать — врач, она точно знает, что у человека тридцать два зуба. «Вот мои тридцать два зуба», — насильно заставляет себя улыбаться Максим и снова поворачивается к техноруку и начальнику.

— Я жду ответа, Егоров! А? — требует Аленочкин. — Вы что, решили окончательно испортить свою карьеру?

Владимир Алексеевич делает небольшую паузу, передыхает.

— Мне кажется, что все это вы говорили несерьезно! — спокойно говорит он. — Вы просто не подумали, какую свинью

хотите подложить снисходительным к вам людям!.. А ведь надо думать, Егоров, перед тем, как что-нибудь говорить! Подумав, вы могли бы понять, что и я, и Максим Максимович, и Валентина Павловна не без оснований идем на нарушение инструкций.

А после этого происходит невероятное. Аленочкин неожиданно для всех улыбается, шагнув к Егорову, кладет ему руку на плечо.

— Подумайте, Егоров,— соболезнующим, отцовским голосом говорит Владимир Алексеевич.— Подумайте над тем, что вы хотели сделать! Подумайте на досуге, и вы поймете, что мы правы! Молодость, конечно, имеет свои права, но надо уметь быть благодарным людям за доброе! Вот в чем дело, Борис Петрович!

Теперь Владимир Алексеевич весело, показывая белые зубы, улыбается.

— А на мою резкость, Борис Петрович, не обижайтесь! Я ведь стараюсь удержать вас от поступка, за который вам потом стало бы очень стыдно... Ради бога, не обижайтесь! Вы все мне в сыновья годитесь! — И он делает такое движение, точно хочет разом обнять и Егорова, и Максима, и Валентину. — В общем-то вы у меня народ замечательный! — радостно говорит Владимир Алексеевич. И вдруг лицо его становится грустным. — Да! — печально говорит Аленочкин. — Для каждого человека наступает час, когда он понимает, что уже стар!

Что случилось с Владимиром Алексеевичем? Плечи его ссутуливаются, опадают, руки безвольно повисают вдоль тела. Теперь все видят, что Аленочкин действительно уже старый человек. Что из того, что кожа загорелая и румяная, что из того, что шея бычья? Посмотрите, люди добрые, какие глубокие морщины лежат на лбу, какие у него усталые глаза, какая печаль таится в уголках опущенных губ! Кто говорил, что у Аленочкина нет седых волос? Они есть, но их просто не видно. Бывает же так, что снаружи волосы молодые, свежие, черные, а откинешь прядь и ужаснешься — седой ведь человек-то.

— Нет, товарищи, старость не определяется возрастом! — говорит Аленочкин. — Это не так! Старость начинается иначе... Запомните — старость начинается в тот день и час, когда тебя не понимает молодежь... Да, да! Старость начинается в тот миг, когда ты начинаешь с молодыми людьми разговаривать на разных языках!

О, сколько тоски в голосе Владимира Алексеевича Аленочкина!

— Вот как начинается старость... Мне сегодня было очень трудно говорить с вами, Борис Петрович. Я думал о том, что я стар!.. Не желаю вам когда-нибудь испытать то же самое... Да, не хотелось бы, чтобы и вы на старости лет испытали подобное чувство... Но...

После «но», произнесенного с тяжелым вздохом, Владимир Алексеевич делает длинную, значительную паузу. Затем он вдыхает побольше воздуха, распрямляет согнутые плечи, стирает со лба горестные морщины. По всему видно, что человек приходит в себя, так как понимает, что ему, руководителю, начальнику, не к лицу расслабленность и печаль. И вот уже он прежний, и вот уже на губах улыбка, просящая извинить его за минутную слабость.

— Ну, хорошо! — весело басит он. — Будем продолжать напряженную работу!

Владимир Алексеевич обертывается к крану и удивленно поднимает брови, так как Емельян Кузьменко все еще стоит, оказывается, возле кабины, презрительно усмехается, и вид у него такой, словно и не собирается садиться за рычаги управления.

— В чем дело? — пораженно спрашивает Владимир Алексеевич. — Почему вы до сих пор не выполнили мое распоряжение?

Вместо ответа Емельян длинно, презрительно усмехается. Но он спокоен, сдержан, строг.

— А ведь ты, Аленочкин, не обо мне заботишься, — наконец говорит Емельян. — На меня тебе наплевать! Тебе важно, чтобы погрузки было больше... А кто будет на кране сидеть — тебе плевать!

После этих слов Емельян рывком бросается к лесенке крановой кабины, в три прыжка преодолевает ее и сразу раздается вой мотора, потом грохот лебедки, и сверху слышен грозно-веселый голос Емельяна:

— Эй, Аленочкин, Егоров, поберегитесь, покалечу!

Синее небо наискосок начинает перечерчивать темная стрела крана, одновременно с нее спускается тяжелый захват, и кажется, что он заденет Аленочкина и Егорова. Потому они торопливо отскакивают в сторону, а Максим широко и радостно улыбается — он-то знает, что захват не достанет до палубы крана.

«Молодец Емеля! — счастливо думает Максим. — Он здорово вырós, этот мой дружище Емеля, коли понимает, что кран должен работать, хотя на нем стоят Аленочкин и Егоров!»

— Давай, Емеля, давай! — вдруг во всю мочь кричит Максим.

К полудню на Черный Яр наваливается зной; солнце печет необычно жарко для Нарыма, и река делается светло-желтой, словно расплавленной, небо — белесым, дрожащим от марева. Под ярмом купаются ребятишки, над рекой стоит крик; забрела по пузо в воду лошадь и замерла в блаженной истоме, а орсовский конюх не гонит ее из реки — он дремлет в тени осокаря.

Так жарко, что у Максима Ковалева рубашка темнеет от пота. Он медленно, задыхаясь от жары, идет по чернойярской улице. Не домой, не в контору, не на кран, не на лебедки, а просто так шагает вдоль деревни и думает о Владимире Алексеевиче Аленочкине. Иногда Максим иронически усмехается, иногда хмурится. Состояние у него необычное — еще никогда Максим во время рабочего дня не ходил бесцельно по улице, никогда не было такого, чтобы он в первом часу дня шел медленным, задумчивым шагом. Он всегда ходил быстро, полубегом, был занятым, энергичным.

Максиму надо обдумать случившееся на кране, привести все в порядок, разобраться в Аленочкине, прийти к определенному, понятному — тогда будет легче. Можно будет вернуться на кран, чувствуя облегчение, взяться за дело. Что же, собственно, произошло? Почему на душе такой осадок, точно извалялся в грязи, точно присутствовал при чем-то гадком, мерзком? Да потому, что и на самом деле произошло гадкое и мерзкое!

Аленочкин! Ловкий актер, демагог, жестокий человек. Не стало того Аленочкина, которого Максим видел раньше. Энергичность, деловитость, технические знания теперь оборачивались к Максиму другой стороной, и он уже не находил в них того, что находил раньше. И внешность Аленочкина представлялась теперь другой. Одним словом, Максим имел дело с таким человеком, которого целиком не мог принимать, так как в нем, в Максими Ковалева, все было противоположно Аленочкину.

«Вот так-то, дорогой Максим!» — говорил он сам себе.

Великое это искусство — разбираться в людях. Он должен научиться ему. Что из того, что он, Максим, сразу раскусил Бориса Егорова! Технорук в общем-то был несложен, примитивен и открыт; Аленочкин оказался сложнее. Молодость не оправдывает Максима, он не имеет права ссылаться на нее, когда речь идет о главном — о работе. Максим, пожалуй, слишком много был занят краном, техникой; он мало приглядывался к людям, все отдав Емельяну и технике, преступно ошибался в Аленочкине.

Если говорить начистоту, то и с Борисом Егоровым Максим вел себя пассивно. Пусть Егоров легковесен, примитивен, это не оправдывает Максима — техника для него закрыла многое, он смотрел на мир односторонне; видел его, так сказать, через решетчатую башню крана. А это неправильно! Он, Максим, должен решительно перемениться. Хвала и честь ему, что Емельян Кузьменко стал крановщиком; можно быть довольным тем, что кран стал работать много лучше, но ведь Максим неправ, когда устраняется от борьбы с Егоровым — пусть легким и примитивным! — когда целый год любитесь Владимиром Алексеевичем Аленочкиным, вместо того чтобы раскусить его.

Думая об Аленочкине, Егорове, Максим чувствует, как ему становится легче, — это оттого, что появляется определенность,

все становится на свои места. Конечно! Точно так, как он воюет за кран, как воевал за Емельяна Кузьменко, нужно воевать против Егорова и Аленочкина. Ведь дело в том, чтобы бороться не только «за», но и «против». До сих же пор Максим боролся за кран, за Емельяна, но не боролся против гадких и мерзких явлений. Вот ведь в чем его главная ошибка. Жизнь такова, что надо бороться и «за» и «против». Подумав об этом, Максим совершенно приходит в себя; он уже не хмурится, не улыбается иронически — выражение лица у него сейчас спокойное, решительное и твердое.

В жизни его много ждет неожиданных открытий и в себе и в людях, и надо быть готовым к этому, так как никогда жизнь не может быть гладкой, ясной и безоблачной. Ирония, конечно, хорошее дело, но и кроме нее есть прекрасные вещи. Гнев, например. Если технорук Борис Егоров достоин иронии, насмешливости, то по отношению к Аленочкину этого мало. Начальник сплавного участка — крепкий орешек, и, чтобы раскусить его, мало иронического отношения. А чтобы бороться против него, надо еще большее.

Остановившись, Максим оглядывается. Вон куда он забрел! Деревня уже кончается, кран, наверное, в километре от него, и стоит тишина, так как не слышно шума механизмов, а улица возле околицы безлюдна. Он поворачивается, чуточку постояв, медленно, но твердым шагом идет обратно. Теперь, когда все ясно, когда пришло облегчение, не так тяжело идти под палящим солнцем. Кажется, что с реки дует прохладный ветер, от земли наносит черноземной сыростью.

Шагающий Максим чем-то похож на путника, собравшегося в дальнюю дорогу, — у него лицо человека, который решил для себя главное, нашел нужное, понял необходимое. Очищенный от шелухи мимолетных настроений, пустычных чувств и суеты, он идет так, словно все это за спиной и он взял в дорогу только самое важное — запаса гневом и иронией, твердостью и энергией, терпением и волей. У Максима такое лицо, что если бы его сейчас увидел Аленочкин, то он понял бы, в какую дорогу собрался Максим и куда приведет эта дорога.

На полпути к крану Максим поворачивает налево, входит в узенький переулок и шагает к маленькому домику, в котором вот уже вторую неделю живет Софья Борисовна Боярская. В деревне нет тайн, и весь Черный Яр уже знает, что старая учительница ушла от сестры, не поладив с Владимиром Алексеевичем Аленочкиным. Слухи были противоречивы, но все деревенские кумушки сходились на одном: если Софья Борисовна ушла от сестры, то, значит, виновата сестра. К старой учительнице в деревне относились ласково, благодарно за то, что ребята очень любили ее.

Мать Максима, Татьяна Егоровна, несколько дней назад,

вернувшись с работы, не снимая пальто, прошла в комнату, села за стол, улыбнулась Максиму.

— Поразительные новости! Я буду сплетничать, готовься к этому, Максим! Боярская ушла от Аленочкина... Только что я встретила ее, и она очень хочет повидаться с тобой, Максим!

Больше мать ничего не сказала, но лицо у нее было озабоченным, и Максим понял, что за всем этим что-то кроется. Посидев за столом, мать рассеянно ушла в кухню, переделалась. Было слышно, как она досадливо гремит посудой. Тогда Максим сам пошел в кухню, за плечо повернул мать к себе лицом.

— Вы что-то скрываете, Татьяна Егоровна! Извольте, сударыня, говорить правду!

Она помолчала, потом грустновато улыбнулась:

— Я знаю только одно — Софья Борисовна порядочный и честный человек. Сходи к ней, Максим...

Последние слова матери прозвучали как приказ, и Максим собрался было в тот же день сходить к старой учительнице, но так и не выбрался — занимался вечером с Емельяном. На следующий день что-то случилось с краном, затем приглашение забылось, и он так и не сходил к Софье Борисовне. Сегодня же Максим решительно идет по узенькому переулку, останавливается возле маленького домика. В нем живет крановщик Семенов с женой Лизой и тремя ребятишками.

Семью Семенова Максим знает хорошо. Сам Иван — старательный, умелый крановщик, Лиза — домовитая, хозяйственная женщина, и ребятишки у них милые. Ребят сейчас, конечно, нет дома — купаются. Иван на смене; значит, дома Лиза. Увидев в окошко Максима, она выбегает на крылечко, радостно всплескивает руками, весело здоровается.

— Дома! Дома! — говорит Лиза. — Вас ждут!

По торопливости Лизы, по ее лицу и жестам видно, что в доме хорошо относятся к старой учительнице. Видимо, Лиза знает, что Софья Борисовна ждет Максима, — даже не спросив, к кому он пришел, открывает дверь, пропускает его вперед, а сама шагает на цыпочках, повторив почтительным шепотом:

— Вас ждут!

Постучав, Максим входит в комнату и, пораженный неожиданностью, радостно улыбается — за маленьким столиком, опершись локтем на толстую книгу, сидит принаряженный Иннокентий Петрович. Волосы аккуратно расчесаны, темная косоворотка ловко обнимает шею, а поясок у рубашки — витой, желтый, яркий. Борода расчесана тоже и лежит просторно на широкой груди.

— Здравствуй, Максим свет Максимович! — здоровается Иннокентий Петрович и показывает Максиму на свободный стул. — Садись!

— Милости просим! — весело приглашает Максима Софья Борисовна. — Я давно вас ждала!

Софья Борисовна теперь ходит по черноморским улицам с гордо поднятой головой.

Порвав с Аленочкиным, она чувствует себя свободной и счастливой. Первые дни ей, правда, было трудно, непривычно в доме Ивана Семенова, но на четвертый день она проснулась на заре, вытянулась в кровати и, вспомнив случившееся с ней, вдруг счастливо улыбнулась. «Боже мой! — подумала она. — Я сейчас встану, буду завтракать и не увижу Аленочкина!» Радость оказалась ослепительной, яркой, как солнечный свет, она задохнулась от нее, как, бывало, в детстве от счастья бытия, молодости, ожидания будущего. Ей захотелось петь, и она пропела вслух:

— Я никогда не увижу Аленочкина! Я никогда не увижу его!

После завтрака она вышла на улицу и поразилась — мир был радостным и счастливым. И все из-за того, что не было Аленочкина, пухлой и счастливой сестры, жидкого или густого компота.

Софья Борисовна подняла голову, улыбнулась, она показала сама себе похужей на птицу — так было остро и волнующе чувство освобождения от Аленочкиных. Гордая, радостная, она шла по улице и думала о том, что нет на свете человека счастливее ее.

Она до сих пор переживает радость освобождения, легкость и счастье. Когда в комнату входит Максим Ковалев, Софья Борисовна мимолетно думает о том, что и в этом — в приходе Ковалева — ее новая жизнь. Раньше к ней не ходили такие люди, как Максим Ковалев и Иннокентий Петрович Анисимов, так как она была отгорожена от мира плотной стеной аленочкинского благополучия и мещанской сытости. Теперь же, когда к ней пришел Иннокентий Петрович, а потом — Максим, Софье Борисовне кажется, что возвращаются в ее жизни времена, когда она была не одинокой и очень нужной людям.

Софья Борисовна особенно остро почувствовала это в тот момент, когда открылась дверь и вошел Иннокентий Петрович. В его лице, в неторопливом голосе, в манерах, даже в косоворотке, подпоясанной витым поясом, было нечто такое, что ей напомнило комсомольцев ее юности. В глазах старика было молодое озорство, смелая мудрость и то самое, что она про себя называла комсомольской искоркой. Понравилось ей и то — в груди зажглось что-то теплое, ласковое, — как через несколько фраз Иннокентий Петрович вдруг перешел на «ты» и назвал ее Софьей. Она тоже сказала «ты», и тогда всю ее залила волна признательности к этому человеку, которого так можно назвать.

Присев на табурет, Максим осматривается — комнатка мала, но уютна, кругом по-студенчески валяются книги, а на краешке стола — сковородка с остатками картошки и кусочком хлеба. Все это подтверждает рассказы о том, что Софья Борисовна Боярская — человек, до старости ведущий кочевую, студенче-

скую жизнь. Мать говорила о ней: «Софья Борисовна — человек, который не стоит на земле! Это, наверное, очень плохо, Максим, когда человек не стоит на земле!» Максим думает об этом как раз в тот момент, когда Иннокентий Петрович говорит, улыбаясь:

— Тут Софья Борисовна рассказывала, как подралась с Аленочкиным. Назвала его мещанином и плохим коммунистом...

— Это так и есть! — прижав руки к груди, восклицает Софья Борисовна.

— Правильно! — внезапно строго перебивает ее Иннокентий Петрович. — Однако Аленочкин тебя правильно разделал! Если каждый на коммунистов будет поднимать голос, то плохо дело... — Он улыбается, поднимает руки так, словно хочет защититься от Софьи Борисовны, которая стремительно вскакивает с места. — Не к тебе это относится! Так говорю, вообще... А Аленочкин прав потому, что ты шла на него войной без фактов. Чем ты докажешь виновность начальника?

— Вы рассуждаете так же, как рассуждает Егоров! — гневно устремляется к нему Софья Борисовна. — Он тоже все говорит о фактах...

— Значит, деловой мужик, — по-прежнему весело продолжает Иннокентий Петрович. — А мы чем хуже его... У нас тоже будут факты, Софья. — И он добавляет такую фразу, которая поражает Максима совпадением со словами его матери: — Нельзя висеть в голубеньком небе. По земле ходить надо!

Иннокентий Петрович теперь говорит спокойно, рассудительно, таким тоном, словно хочет привести в себя старую учительницу.

Она действительно успокаивается, садится на место и складывает руку на руку. Он замечает ее позу, понимает, что происходит в душе у старой учительницы, и совсем тихо говорит:

— О деле давайте, товарищи...

Максим придвигается ближе к старику. Софья Борисовна невольно делает то же самое, и ее опять охватывает такое чувство, словно вернулись в ее жизни прежние радостные и милые времена. Наверное потому, что сидит напротив молодой и горячий парень Максим Ковалев с решительным лицом и несколько иронической улыбкой; наверное, потому, что в глазах у старого партизана Анисимова бьется молодое и лукавое. Она опять чувствует праздничность, бодрость и уверенность в себе. Кажется, что теперь позади в ее жизни самое трудное и гадкое, что вот сейчас и начинается то, о чем она мечтала — быть среди людей, быть нужной им.

— Я слушаю вас, Иннокентий Петрович! — ясным голосом произносит Софья Борисовна. — Что нужно делать, чтобы, как вы выражаетесь, спуститься на землю! — Она тоже улыбается. Спокойно, сдержанно, уверенно. — На земле хорошо, Иннокентий?

— Еще бы! — восклицает он. — Еще бы, дорогой товарищ Софья!

Она чувствует, как перехлестывает горло: так обращались к ней во времена молодости... «Дорогой товарищ Софья!»

4

Емельян сидит на крыльце дома, в котором родился и вырос. С этого крыльца спускался отец, когда уходил на фронт, с этого крыльца снесли на руках легкое тело матери в обтянутом кумачом гробу. С этого крыльца Емельян первый раз в жизни сошел на тонких ножках на теплую землю. Он знает в лицо каждое бревно дома, каждую царапину, каждую вмятину в почерневшем дереве. И каждую половицу на крыльце знает Емельян. И сучки в бревнах помнит он...

Вот на стене глубокая вдавленка — это Емельян, стараясь попасть в воробья, запустил камнем. Услышав громкий стук в стену, мать выскочила на крыльцо, весело закричала: «Не балуй, Емелюшка! Окна выстегнешь!..» Вот осколок литовки, торчащий из щели, — это Емельян поломал косу, решил из обломка сделать нож, да так и не собрался — то ли забыл, то ли чем важным был занят. На толстом бревне вырезаны две буквы — П. и Е. Это Поля Краснова и Емельян Кузьменко.

Было время, когда он везде вырезывал две эти буквы, а вечерами шел к Поле — маленькой, беленькой. Они уходили на берег Оби и в молчании, взявшись за руки, просиживали почти до утра. Потом Поля уехала учиться в техникум, писала ему, называла Емелюшкой, но затем уехала работать на шахту, да так и исчезла.

Наконец Емельян поднимается, медленно открывает сенную дверь. Она жалобно, тонко скрипит. В доме пахнет амбарной сыростью. На окнах пыль, на столе пыль, пол покрыт серым налетом. Кровать пуста...

Емельян неподвижно стоит посередине комнаты, не дышит, но все вокруг полно звуков: раскачиваемый ветром, скрипит ставень, кряхтят сами по себе половицы, пощелкивают сырые бревна, а за печкой верещит сверчок.

По щекам Емельяна ползут редкие, медленные слезинки. Он плачет так, как плачут старики, у которых нет ни сил, ни желания вытирать слезы, которые они, может быть, и не замечают. Продолжая плакать, Емельян садится на табуретку, кладет голову на скрещенные руки. Так он сидит еще минут десять. Потом разгибается, достает из кармана пригоршню махорки, бумагу. Закурив, подходит к окну, широко распахивает его и садится на подоконник. Теперь он смотрит в палисадник, где стоят старые ветлы. Ветер шевелит листья.

Да, жизнь продолжается... Расцвела и уже отцвела черемуха, у крыльца родного дома из каменистой земли выросла

молодая упругая трава. В палисаднике порхают синицы — верткие, жадные; складываясь, ползет по наличнику зеленая гусеница. Куда, зачем — сама не знает, но ведь станет со временем яркой бабочкой, полетит на солнце. За летом наступит осень, за зимой весна.

«Надо жить! — думает Емельян. — Надо жить дальше!»

Он начнет заново создавать дом. Пусть именно здесь, где умерла его мать, откуда ушел на фронт отец, начнется все сначала — придет молодая жена, раздастся крик роженицы, радостный смех ребенка, в первый раз увидевшего солнце. Пусть все начнется сначала — целая жизнь.

Он подведет под дом несколько новых венцов, перестелет полы, заново — железом — покроет крышу; русскую печку он заменит небольшой плитой, комнату перегородит на две половины. Емельян возьмет на участке бензomotorную пилу, злой рукой расширит окна — пусть в них широко льется солнце, пусть ветки деревьев забираются в комнату, пусть будет много воздуха и света.

«Надо начинать все сначала!» — думает Емельян.

Не может же быть такого, что жизнь повторяется. Нет, не может быть этого... Не может! Не уйдет Емельян от молодой жены на фронт... Не останется вдовой его молодая жена... Не будет сиротой его сын...

Да, все надо начинать сначала. Ему всего двадцать четыре года. В этом возрасте еще ничего не поздно, в этом возрасте еще можно все сначала... Мысли о жизни — сначала, мысли о себе — сначала, мысли о людях — сначала. Все сначала. Любовь, учеба, работа, друзья, враги, дом, голубое небо, звездные ночи, туманные утра, сверкающий на солнце звездочками снег...

Емельян выходит в сени, широко раскрыв дверь, находит за притолокой консервную банку с дегтем. Высохший деготь покрыт пленкой, но под ней все-таки есть немного жидкости. Емельян берет щепочку, поддев дегтю, мажет шарниры дверей. Намазав, пробует — двери двигаются бесшумно, легко. Он ставит деготь на место, щепочку прячет в щель и выходит на крыльцо.

В лебеду и крапиве что-то шуршит, извивается, стебли гнутся, расходятся. Бесшумно, стремительным прыжком из травы выскакивает лохматый Казбек. Без голоса бросается к Емельяну, всем телом ударяется о его ноги, потеряв равновесие, валится на спину, но сейчас же вскакивает и опять прижимается к ногам Емельяна.

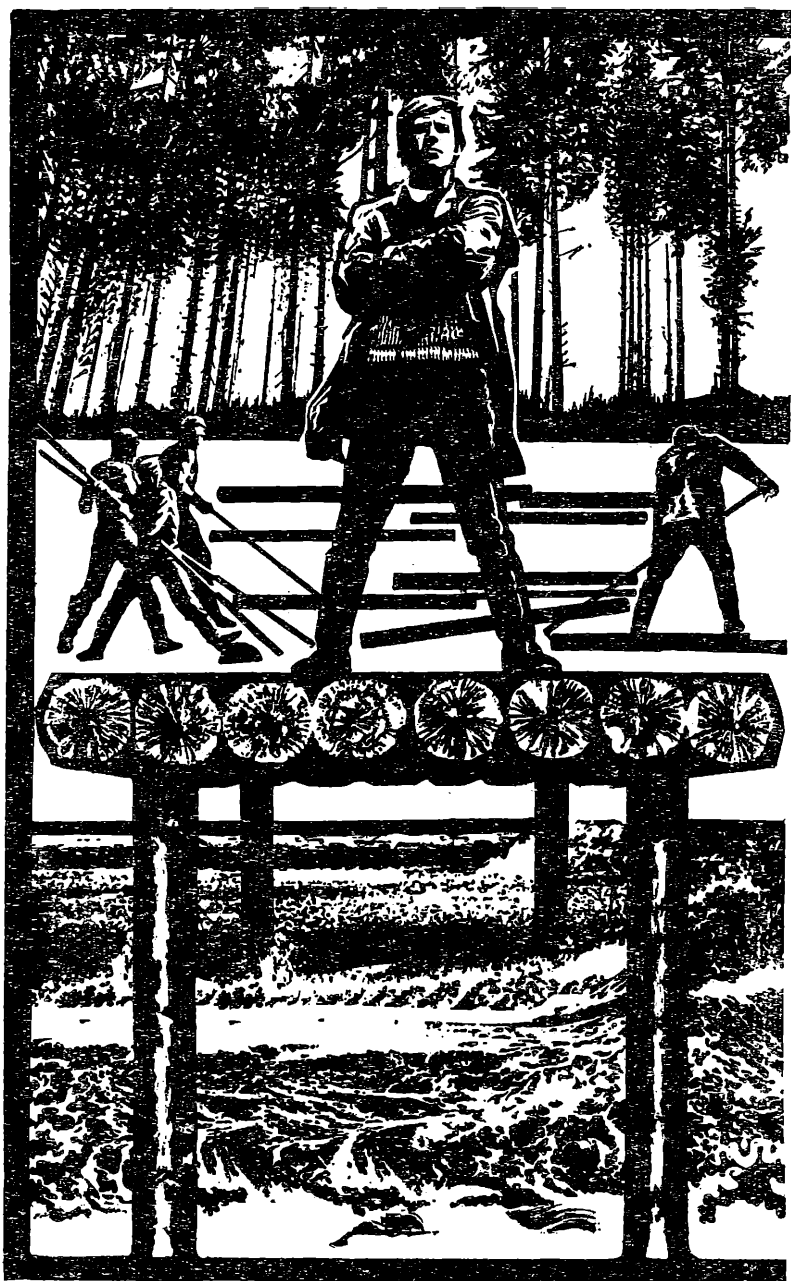
— Казбечина! — тихо говорит Емельян.

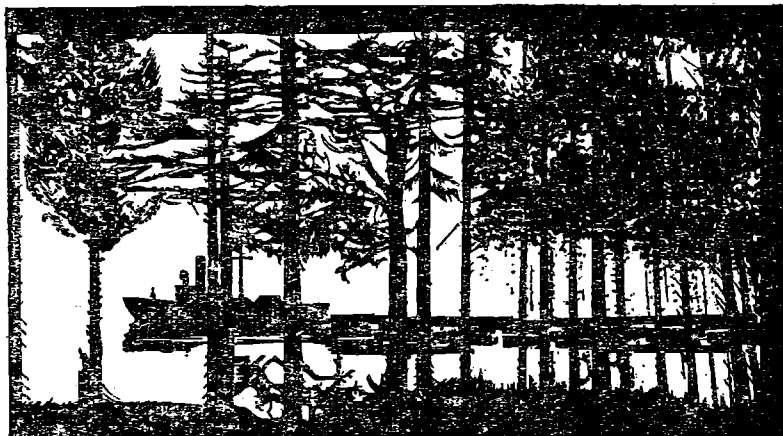
Пес взвизгивает, поднявшись на задние лапы, заглядывает в лицо Емельяну.

— Прости, Казбечина, забыл я о тебе! — говорит Емельян, прижимая к себе пса. — Прости, дорогой!

**СКАЗАНИЕ
О ДИРЕКТОРЕ
ПРОНЧАТОВЕ**

ПОВЕСТЬ





СКАЗ О НАСТОЯЩЕМ...

1

Лесотехнический институт Олег Олегович Прончатов закончил в конце сороковых годов, несколько лет работал инженером на мелких сплавных участках, затем попал в штат сплавной конторы и к началу следующего десятилетия был главным инженером. А в шестьдесят втором году, когда умер от рака директор Тагарской сплавной конторы Иванов, Олег Олегович числился в двух ипостасях: директора и главного инженера.

Жили Прончатовы в большом брусчатом доме, комнаты у них были просторные, обстановка современная, во дворе имелась отличная баня, в которой Олег Олегович парился по субботам. Жена его Елена Максимовна, преподававшая в Тагарской средней школе литературу, в те времена была еще истинной блондинкой. Позже она начала от возраста темнеть, к сорока годам была бы шатенкой, если бы не сочла нужным и в дальнейшем оставаться блондинкой. Прончатов же с возрастом не менялся — был темноволосым человеком с серыми глазами, подбородок имел квадратный, губы полные, взгляд веселый,

а одевался прекрасно, стараясь не отставать от всесоюзной моды, опережая, конечно, областную.

В тот год, когда умер директор Иванов, Олег Олегович отпраздновал торжественную дату — его отцу, Олегу Олеговичу Прончатову-старшему, исполнилось семьдесят лет. Отец — старый член партии, политкаторжанин, человек без ноги и со шрамом вместо правого глаза — приехал из района только на один день. С невесткой Еленой Максимовной он не сказал ни слова, внучку Татьяну едва приметил, но внука Олега похлопал по плечу, картаво проговорив: «Ор-р-р-л!» Олег Олегович Прончатов-старший уехал ранним утром, его катер, вырываясь из старицы на обский простор, ревел возмущенно: «Р-р-р-р!» Стоя на берегу рядом со своим катером, Прончатов-младший веселился: «Молодец, безногий черт!» — а когда отцовский катер скрылся в дымке, вслух проговорил ласково: «Люблю я своего батьку!» И жена Елена Максимовна тоже улыбнулась: «Удивительно цельная личность!»

Олег Олегович Прончатов-младший на эти слова ничего не ответил. В голове у него еще погуживало от вчерашнего спирта, на белокрахмальной рубашке расплывалось огуречное пятно, падал на выпуклый лоб лихой чуб — он уже походил на того Маяковского, что стоит в бронзе на одной из московских площадей.

Над Сиротскими песками начинало колобродить солнце, толстая Обь пошевеливалась в ложе, как хорошо проспавший человек, обская старица курилась в глинистых берегах. Олег Олегович, храня в уголках губ ласковую насмешку, смотрел на катер, а жена Елена Максимовна зорко глядела на мужа. Ей казалось, что нет в мире сейчас более значительного, чем эти две фигуры: Прончатов-старший на корме рычащего катера и Прончатов-младший, сквозь распахнутый ворот рубахи которого были видны ключицы, похожие на чугунные рычаги машины. Елена Максимовна вследствие гуманитарного образования образ мышления имела абстрактный, глядя на двух Прончатовых, думала: «Отдельные они люди, в каждом мир на особицу!»

Сам же Олег Олегович Прончатов-младший, посмеиваясь над отцом, ворочал в голове мысли действительно особые. Именно вот тут, на берегу обской старицы, провожая взглядом широкие плечи отца, почувствовал он, как крепко привязан к земле, на которой стоят его длинные ноги. Олег Олегович любил огуречное пятно на белой рубахе, сладок был ему горький дух вчерашнего спирта, собственная улыбка на губах. Он наклонился, посмеиваясь, зачерпнул горсть речной воды, не пролив ни капли, выпил, и от этого спирт в нем обрел новую жизнь. Олегу Олеговичу показалось, что сизая дымка над старицей рассеялась, солнце скакнуло поверх горизонта и тальники стали прозрачными.

— Никому не отдам сплавконтору! — сказал Олег Олегович и звучно чакнул зубами, как пес, который ловит на себе блох. — Землю буду есть, голову положу, спать месяцами не буду...

Елена Максимовна видела мужа на берегу четким, в чертежной определенности линий, словно нанесенным на плоскость. Взволнованной, ей отчего-то казалось, что в это утро, в этот миг происходило новое рождение ее мужа, детей и самое ее, Елены Максимовны, а все, что предшествовало этому, было таким же несерьезным и далеким-далеким, как детство.

Рассеивался теплый туман, доцветала в палисадниках черемуха, с весел стекали в реку золотые капли, утиные крылья свистели в воздухе с любовной тревогой, и на маковке тагарской церкви трепетал звонкий луч...

2

На следующий день Олег Олегович Прончатов, садясь на дрожки, поданные ему бессменным конюхом умершего директора Иванова, разглядел на семичасовом небе утреннюю зеленую звезду. Поглядев на нее и на сладко улыбающегося конюха Гошку Чаусова, главный инженер Прончатов вдруг соскочил с дрожек, смеясь приглушенно, сгреб обеими руками в сторону сено, которое лукавый конюх положил аккуратной горкой для начальничьего зада. Гошка Чаусов — проходимец, бестия, лукавый хитрец — изобразил на своем разбойном цыганском лице почитительность и закланялся часто, как китайский игрушечный болванчик. А Олег Олегович преспокойно уселся на голые дрожки, скрестив руки на груди, осмотрел со всех сторон родной Тагар, которому поклялся служить верой и правдой.

Старинной щедрой постройки, возведенная с сибирским размахом и молодцеватостью, в самом центре речного поселка Тагара стояла бело-розовая церковь, вокруг которой concentрическими кругами располагались крутолобые листовенничные дома. Они, дома, по мере удаления от церкви вытягивались в улицу, делались еще выше и стройнее, а выбежав на берег реки, превращались в производственные постройки: слева по-пыхивали высокой трубой механические мастерские, справа гремел, зудел пилами лесозавод, посерединке торчали скошенные трубы катеров.

Вот что видели глаза Олега Олеговича Прончатова, сидящего на голых дрожках. Пять минут, а может быть дольше, смотрел он на знакомый мир, потом повернулся и сказал насмешливо Гошке Чаусову:

— Чаусов может поздороваться с начальством!

Лихач лошадиник и пьяница, Гошка Чаусов растерянно молчал, перебирая рыжей рукой цветные шикарные вожжи. Глаза на его широченном лице превратились в щелочки, нос

морщился от напряжения, желваки так и перекатывались на выпуклых скулах. «Ой, смотри, Гошка Чаусов, ой, смотри!» — кричали его перекошенные губы.

— Нового директора ждешь? — ласково спросил Олег Олегович, заглядывая в щелочки чаусовских глаз. — Цветкова ждешь, а мне сено подкладываешь...

За узким лбом Гошкиного черепа вершилась грандиозная работа. Улыбнись не так Чаусов, скажи не то, погляди не так на Олега Олеговича и — пропала тройка вороных зверей, жизнь сама пропала, так как нет жизни для Чаусова без конского храла и конского резкого запаха.

Что ждало Чаусова при новом директоре Цветкове? Неизвестность! Вдруг глянет начальство на разбойную морду, проникнет в тайный смысл ореховых глаз, испугается звериного разлета плеч — и вали Гошка Чаусов своей дорогой, вкальвай на лесозаготовках или в колхозе. А может быть, за охапку сена под начальственный зад новый директор вознесет тебя — оставит в той же должности главного, высокопоставленного возницы. Ах, как хороша должность директорского кучера! Мужики тебе улыбаются, бабы глядят с поволокой. А как летит тройка вороных по поселку, как бегут ребятишки вслед, как глядят на сидящего впереди начальства Гошку Чаусова!

Чего ждет Гошка Чаусов от главного инженера Олега Олеговича Прончатова, если он будет директором? Радости! Нет другого человека в поселке, которого Гошка Чаусов уважал бы больше, чем Олега Олеговича; если бы знал наверное, что быть ему директором, костыми бы лег за него. Лошади Олега Олеговича боятся и уважают, мужики к нему — всей душой, а сам Гошка Чаусов с Прончатовым ездит так, как не ездивал и с родным отцом: все напрямки да все махом! Ну, а если не будет Прончатов директором...

— Олег Олегович, товарищ главный инженер, — простонал Гошка Чаусов, обливаясь потом и показывая подсиненные цыганские белки, — про какого вы Цветкова говорите?

Прончатов свободно вздохнул, наклонил голову и заглянул Гошке Чаусову прямо в зрачки, и увидел, как у Гошки Чаусова мелко задрожали ресницы.

— Держитесь, Олег Олегович! — таежно закричал он. — Эх, прокачу с ветерком! Эй, залетные!

Лучшие лошади в районе, а может быть и в области, вздев головы, на мгновение замерли в волосатых руках Чаусова. Прокатилась по спине коренника блестящая волна. Он нервно, как молодая балерина, переступил ногами, фыркнул, разбрызгивая розовую и кружевную слюну. Миг — и скакнул на Олега Олеговича, закуролесил в глазах спутавшийся канителью Тагар. Он проглотил твердый комок воздушной струйки, откусил от него сколько мог и все-таки задохнулся.

— Эй, залетные!

Летел Олег Олегович по Тагару и чувствовал в себе силы не меньше, чем у вороного коренника. Куда несли его залетные, куда? Промелькнуло двухэтажное здание средней школы, пролетели мимо похожего на самолетный ангар клуба «Ударник», вписались наконец в узкий переулок, ведущий к тому месту, где старица Оби наотмашь сшибалась с коричневой Кетью. Здесь домишки пошли уютные, сдобные, наподобие тортов украшенные резьбой наличников, крыш и крылец. Зажиточный здесь был Тагар, богатый; самые лучшие сплавщики жили здесь: плотгоны, мастера с лебедек, слесари и токари механической мастерской, сам Никита Нехамов, судостроитель, плотник, столяр, человек необычный. А вот голубой дом начальника планового отдела Глеба Алексеевича Полякова — наличники в петухах, на крыльце резные балясины, а на крыше вращается флюгер-осстр. Как живой, шельма, завернул хвост в энергичном рывке.

С бешеной скоростью мчали Олега Олеговича вороны, от встречного ветра вымпелом сошлись на затылке рыжие космы Гошки Чаусова, земля дрожала от подковного гула, но все равно заметил Прончатов женщину, что стояла на крыльце поляковского дома. Да и трудно было не заметить ее, так как женщина вся — от маковки золотистых волос до вытянутых на цыпочки пальцев ног — сама подалась навстречу воронным. Кто такая? Почему?

— Племянница Полякова! — прокричал сквозь ветер Гошка Чаусов. — Неделю в Тагаре живет, в клуб не ходит. Врачиха!

Стук копыт, свист синего воздуха, удар по глазам серебряной излучиной обской старицы. Прончатов на какую-то секунду зажмурился, покрутил головой, точно хватил стакан спирту:

— Осади у Нехамова!

Он спиной чувствовал женщину, словно волна теплого воздуха давила на плечи; ласковая это была волна, теплая, как марево над левобережьем Кети. «Не время, не время!» — думал Прончатов, шагая к нехамовскому крыльцу. Поднимаясь по крепко сбитым кедровым половицам, застегивая на ходу пуговицы на пиджаке, он радовался предстоящей встрече, но и побаивался ее.

Из сеней, пропахших редкими травами, дверь вела в просторный коридор, из коридора — в горенку, где из-за стола неслышно поднялась и молча кивнула Прончатову женщина с прозрачными, как бы невидящими глазами. А уж из горенки дверь вела прямо в комнату Никиты Нехамова, который со вчерашнего вечера знал, что придет к нему главный инженер сплавконторы Олег Олегович Прончатов. Однако на стук в двери он ответил не сразу, а чуточку погодя, голосом очень тонким и вздорным.

— Ай, заходи, заходи, Олег Олегович! — слышалось из-за двери. — Входи, милой товарищ!

Плотник и столяр, судостроитель, лобастый мужик, умница Никита Нехамов сидел в деревянном кресле, обнимающем его сухонькие ноги острыми орлиными когтями; за седой макушкой Никиты скалилась клювом орлиная голова, а его сухонький зад помещался на распростертых орлиных крыльях. Вот такое кресло смастерил для себя Никита Нехамов. Увидев Прончатова, он помахал желтой, как бы немощной рукой, выстроив на лице приветливую улыбку, сказал с барской хрипотцой:

— А ты не стой, Олег Олегович, не стой! Ты садись, мил человек, не робей, садись!

Когда Нехамов нагонял на длинное лицо ласковую улыбку, а глаза жертвенно поднимал к потолку, то казалось иному человеку, что старик молится своему доброму богу. Однако знающие Нехамова люди богоспасительному выражению стариковского лица не верили, так как и на седьмом десятке Никита слыл лихим выпивохой, любителем пышных вдов, а в грозном настроении на головы судостроителей обрушивал такие замысловатые конструкции из матерных слов, что мужики крутили носами да приговаривали: «Ну, память у человека!» Именно поэтому богоспасительной позе старика Олег Олегович ни на секунду не поверил, но все-таки на некрашеную табуретку присел робко и подчеркнуто заинтересованно, с любованьем посмотрел на новый стол, который нарочно был придвинут к окну, чтобы ярко освещался.

— Спасибо, Никита Никитич! — смирно сказал Прончатов. — Мало этого Гошку Чаусова драли! Сколько раз ему было говорено, чтоб по вашей улице ежился без грома, чтобы вас не беспокоивал, а ему все нейметя. Так что прощения просим за лихость, Никита Никитич.

Употребив несколько местных нарымских слов, составляя их в нарочито напевную конструкцию, продолжая с восторгом смотреть на новый стол, Прончатов добивался только одной цели: хотел понравиться Никите Нехамову. Олег Олегович, конечно, догадывался, что старик насквозь видит его, что еще до прихода в гости Нехамов раскусил прончатовскую игру, но продолжал в прежнем духе.

— Никак новый стол соорудили, Никита Никитович? — уважительно сказал Прончатов. — Этому столу надо на выставку, в Третьяковскую галерею. В жизни я такого стола не видывал!

Сейчас Прончатов не врал — где он раньше мог видеть стол с куриными ножками, с мозаичным рисунком на столешнице, изображающим рыбу-стерлядь, что, развалиясь, лежала на блюде? Стол был составлен из различных сортов дерева, воздушная легкость чувствовалась в нем, а полировка была такой, что хоть глядись в нее как в зеркало. Большой красоты был стол, и Олег Олегович искренне продолжал:

— Это не стол, а произведение искусства, Никита Никитович!

Невесомый, сухонький старик держал на лице прежнюю улыбку, хотя по-прежнему не смотрел на Прончатова. Узкая мушкетерская бороденка у него была крючком задрана, неожиданно крупные и сильные кисти рук лежали на орлиных подлокотниках так властно и крепко, словно старик вместе с креслом собирался взлететь.

— У японской-то нации землетрясение! — сказал он безразличным голосом. — Им, однако, ничего. Дом из бамбука, он прочной, легкой. А ежели бамбук молодой, его в пищу употреблять можно... — Никита Нехамов вдруг всплеснул руками, крикнул почти испуганно: — Елизавета, а ведь у тебя опозданье наблюдается!

Нехамов еще докрикивал последние слова, а в комнату уже врывалась его жена, повязанная до глаз черным платком. Держа на вытянутых руках резной поднос из цветных кусков дерева, она с полупоклоном приблизилась к старику, опустив глаза в пол, напевным голосом произнесла:

— Изволь откусать, Никита Никитович!

Нехамовская жена старинной ладьей выплыла из комнаты, дверь за ней бесшумно притворилась, а старик с прищуром придирчиво скосил глаза на поднос — стоял на нем графин не то с квасом, не то с медовухой, лежали жарко зарумянившиеся олады, как бы покрытые лаком куски сала, горбатый от сочности ломоть мяса, ленивый соленый огурец, а в уголке притулился серебряный стаканчик (тут уж гадать нечего!) с водкой.

— Молодой бамбук, он вкусный! — наставительно сказал Нехамов самому себе. — Японская нация его ест.

Затем Никита Нехамов схватил узловатыми пальцами четвертуху хлеба, разорвав ее на части, ослабившись, с хрустом откусил от соленого огурца ровно половину, крикнув, поведя шеей, приподнял над подносом серебряную стопочку.

— Японская нация вообще хорошая, — задумчиво сказал он, — но народ среди нее попадаетеся вредный. Я так думаю, что у него от плохой пищи вредность заводится. Бамбук — он хоть и дерево, но от него жиру нету, от него желчь в организме ходит...

Нехамов жадно выпил чарку водки, заел ее сочным куском мяса, еще раз крикнув, налил вторую.

После этого он опять вздел глаза к потолку и еще задумчивее продолжал:

— Японская нация лягушек и черепашек в пищу потребляет.

Подумав, старик вонзил белые молодые зубы в сало, покачав головой, осуждающе посмотрел на свои ноги в аккуратных новеньких чириках. Однако ему что-то в них не понравилось, он досадливо подергал верхней губой и недовольно сказал:

— Немецкая нация крепче японской будет. Немец — он что любит? Колбасу, сосиски, шоколад почему зря трескает.

Пиво опять же он пьет от пуза. Немец без пива жрать не сядет, это его и не проси. А от пива в теле получается крепкость, сила. Или ты возьми свиначью ногу, какую немец жарит целиком...

Прончатов сидел каменно. За то время, пока старик ел и философствовал, Олег Олегович не издал ни звука, не пошевелился, не переменял почтительного и несколько глуповатого выражения лица. Да и что он мог сделать, что значил он, главный инженер сплавной конторы, когда в кресле сидел истинный владыка Тагара Никита Никитович Нехамов — философ, умница, самородок, плотник и столяр, глава огромной династии Нехамовых!

Десять сыновей Никиты Нехамова, двадцать внуков, четыре дочери, около двадцати внучек — вот кто вершил главные тагарские дела! Придешь на шпалозавод — висят огромные портреты двух рамщиков Нехамовых, заглянешь в механические мастерские — возле ворот три поясных портрета металлостов Нехамовых, забредешь в кузницу — машет молотом Нехамов, пойдешь в сельсовет за справкой — за председателем столом посиживает Клавдия Нехамова, зайдешь на огонек вечером в клуб — похаживает по нему заведующий Нехамов, приплетешься на маслозавод сдавать молоко государству — молоко принимает Мария Нехамова, захочешь на малом пароходишке поехать в райцентр — сидит на кнехте начальник пристани Нехамов, напьешься до чертиков — тебя бережно отведет в кутузку участковый уполномоченный милиции Нехамов. Везде и всюду в Тагаре были Нехамовы, и конца-краю этим Нехамовым не было.

Поэтому Олег Олегович Прончатов на резной табуретке сидел смиренно, на то, как кушает Никита Никитович, смотрел скромно, речи его слушал внимательно. Он и глазом не моргнул, когда старик, закончив трапезу, довольно почмокал губами, вытершись домотканой салфеткой, поднял руки и негромко хлопнул ладонями:

— Лизавета, а Лизавета! Опять наблюдается опоздание, Лизавета!

Приняв от мужа опустевший поднос, жена поднесла ему деревянную миску, в которой он вымыл пальцы, потом подала полотенце, которым он вытер руки, и уж тогда исчезла, пробормотав на прощанье:

— Слава богу, напился!

Тихо сделалось в комнате. Слышалось теперь, как сбиваются струи обской старицы и Кети, как в нехамовском палисаднике додираются воробьи. Шастали по комнате узорчатые тени от деревьев, прорывался сквозь пузырящиеся занавески запах доцветающей черемухи. Бойкая, веселая жизнь шла за окнами, и Прончатов вдруг подумал тихо: «И кого она ждала на крыльце?» — так как явственно увидел ту женщину, что стояла на

крыльце, почувствовал сызнава ее напряженность, радость и тревогу.

— Ловкой ты, Прончатов, мужик,— внезапно громко сказал Никита Нехамов и усмехнулся загадочно.— Вот я гляжу на тебя и вижу: ох, ты остер, ох, ты хитер!

Нехамов выпрямился в кресле и действительно внимательно посмотрел на Олега Олеговича, по спине которого от этого пробежал мороз — такие прозрачные, и умные, и холодные, яркие и жестковатые глаза были у старика. Выцвели они, но все равно отливали фарфоровой синью, казались большими, девичьими, и напряженная, мудрая мысль билась на самом донышке их, как птица в силке. В глаза Нехамова смотреть долго было трудно, невозможно, и Олег Олегович опустил взгляд.

— Остер ты, как трава-осот! — еще немного помолчав, сказал Нехамов.— Я палец в рот тебе не положу, Олег Олегович! Нет, не положу! — Он прищурился, пожевал губами и вдруг произнес тонким голосом: — А вот что ты не гордый — это хорошо! Ты вот думаешь, я в потолок глядел или там в миску. Нет, брат Прончатов, я все время на тебя глядел! И как ты мое издевательство переносил, замечал. Молодец ты, молодец! Перед простым человеком не гордишься. Так что говори, зачем пришел. Я человек хоть и сурьезный, но добрый...

Старик опять усмехнулся, помахал рукой, просто и даже добродушно повернул к Прончатову большое квадратное ухо. Увидев это, Олег Олегович ощутил, как стало тепло в груди. Чтобы не показать радость, он торпливо отвернулся к окну, где продолжали драться сварливые воробьи. Немного погодя, взяв себя в руки, Прончатов негромко сказал:

— Хочу вашего совета послушать, Никита Никитич. Человек вы большого ума, жизненный опыт у вас громадный, посоветуйте, как поступить.

Говоря, Олег Олегович опять понемногу повертывался к Нехамову, боясь пропустить хоть малейший оттенок на лице старика, сдвинулся на табуретке по направлению к нему. Самое главное происходило сейчас, самое главное!

— Посоветуйте, как мне быть, Никита Никитич,— совсем тихо продолжал Олег Олегович.— Если назначат директором Цветкова, ехать в район встречать его или дождаться в Тагаре?

Он сказал это и затаил дыхание. Волнуясь, он заметил, как Нехамов удивленно двинул бровью, как нервно дернулось веко и превратились в ниточку синеватые губы. Потом старик думяще пожевал губами, хмыкнул протяжно, еще раз оценивающе оглядел Прончатова. «Ну, что ты есть за человек?» — спросили мудрые глаза Нехамова.

— Не надо ехать в район! — спокойно сказал старик.— Чего тебе в район переться, Олег Олегович, когда про директора бабка еще надвое гадала. Может, он пойдет в директора, а может, не он! Кто знает, кто знает...

Прончатов слышал весь Тагар, лежащий за окном. В эту секунду у него слух так обострился, что он улавливал, как растет трава в палисаднике, слышал нервное биение шпалозавода, гул механических мастерских, буйное движение рейда, где сновали катера и пароходы. Весь тагарский мир — видимый и невидимый — бросился в Прончатова, заполнил его.

— Хорошо себя держишь! — покровительственно заметил Нехамов, пощипывая пальцами нижнюю губу. — Другой бы распетушился, а ты на меня глядишь с уважением, лицом своим владаешь...

Старик встал, выпрямился, приподняв повелительно брови, несколько раз прошелся по комнате; потрогал чуткими пальцами новый стол, поправил раздутую ветром занавеску. Потом Нехамов так тихо, что Прончатов едва расслышал, проговорил:

— Не за красивые глаза я веду с тобой разговор, Олег Олегович... Я с тобой потому мирно разговариваю, Прончатов, что я тебя с малолетства знаю. Местами ты мне нравишься, местами — нет, но я тебя признаю! Ты слышишь, я тебя признаю! — вдруг крикнул Нехамов дребезжащим дискантом. — Я тебя признал, товарищ Прончатов!

Старик сделал паузу; затем басом закричал на весь дом: — Ей, Лизавета, Лизавета!

Когда жена Нехамова появилась на пороге, он ернически подбежал к ней, схватил за локоть, спросил въедливо:

— Ты чего же это, Лизавета, ты чего же! Гость в доме, а ты угощение не несешь, мед-пиво на стол не ставишь... Ой, боюсь я за тебя, Лизавета!

Нехамов кричал, грозил, хвастливо подскакивал перед женой, а она, как бы не обращая на старика внимания, повернулась к Прончатову, посмотрела на него теми самыми серыми глазами, которыми кичился в Тагаре весь нехамовский род. Глаза были большие и внимательные, на дне их хранилась вечная грустинка, и думалось, что вот такие глаза, наверное, и были у женщин тех казацких родов, которые, покинув теплую Европу, неторопливой поступью шли по чуждой монгольско-татарской Руси. Царственно глядела на Олега Олеговича старуха Нехамова, чуждая суетности, далекая от мелочного, житейского, церемонно, по-русски поклонилась ему:

— Изволь откусать, Олег Олегович. Я ради дорогого гостя стол в горенке накрыла.

3

Пьяный не пьяный, трезвый не трезвый, а веселый, распахнутый, как щедрый кошелек, выходил Олег Олегович из нехамовских чертогов. Гошка Чаусов, проходимец, хитрая bestия, завидев начальство, кинулся со всех ног, торопясь, открыл рот, чтобы спросить, куда держать путь-дорогу, но не успел — Прончатов

так оглушительно хлопнул его ладонью по литому плечу, что Гошка присел и весь залоснился от радости.

— С захмеленьем вас, Олег Олегович! — с завистью пропел он. — Со счастливым воскресеньцем!

Ударила по твердой земле копытами тройка, захрипев, вздернул розовогубую морду коренник, пристяжные скакнули как бы в стороны, как бы из упряжки и — пошли плясать небо, земля, берега таежной реки Кети. Опять тугой воздух ударил в прончатовское лицо, осенил глаза теплом, поддул под рубаху свежесть и пустоту. Восторг полета, радость бытия, счастье молодого, здорового тела... И, пролетая мимо дома плановика Полякова, будоража переулков громом и свистом, Олег Олегович призывно оглянулся, но женщины на крыльце поляковского дома не увидел. Пустым было крыльцо, и от этого с ним случилось полубыстрое: почувствовал вдруг, как под сердцем остренько кольнуло. «Батюшки-светы! — удивился сам себе Прончатов. — Что же это делается, батюшки-светы!»

Тройка летела по крутому берегу Кети. Пронеслись мимо с воем, как мост под колесами курьерского поезда, пустые и зияющие сараи, громадой навалились шестиэтажные штабеля леса и теса, затем открылся зеленый, сквозной, точно облитый ранним холодом березняк; пахло прелью, земляничкой, а уж потом скакнул выше головы густой кедрач.

— Стой, залетные!

Перед Прончатовым валяжно разлеглась Кеть — река перед Обью невеликая, но по европейским масштабам широкая, могучая, глубоководная. И вместительной была она: сновали катера и лодки, разворачивая, причаливал под подгрузку две большие металлические баржи буксирный пароход «Щетинкин», навстречу стрелю пробивался небольшой пассажирский пароход «Отважный», веселый паром пересекал реку сразу за «Отважным». Большое движение было на Кети.

— Встречать будешь в два часа! — сказал Прончатов.

Под яром стоял катер с цифрой «2» на борту. Он имел один мотор, одна красная труба маячила над палубой, в носовой части стояла только одна скамейка, и только один трап соединял «Двойку» с твердой землей. В два раза меньше и в два раза слабее была «Двойка» по сравнению с «Единицей» — директорским катером, который стоял тут же, на причале.

Прекрасна была «Единица»! Если «Двойку» покрасили в желтое и темное, если у «Двойки» только труба была яркой, то «Единица» стояла под солнцем павлином: сама белая-белая, две трубы — голубые, корпус — кроваво-красный. В трюме у «Единички» два мотора по сто пятьдесят сил, в носовой надстройке две каюты — приемная и кабинет, в кормовой — коричневая спальня, зеленый линкрустовый туалет, желтая кухня на четыре керосиновых конфорки. А как бежит «Единичка»! Как она бежит! Птица...

На этом месте повествования в судьбу Олега Прончатова активно вмешивается автор. Оставив главного инженера Тагарской сплавной конторы на берегу, он, автор, заглядывает в будущее товарища Прончатова, зная, что шестнадцатого июля 1965 года...

СКАЗ О БУДУЩЕМ

Шестнадцатого июля 1965 года в районной газете «Труженик Нарыма» появился фельетон Евг. Кетского (псевдоним Ивана Мурзина) «Кушать подано!».

Как полагается, в Тагарской сплавной конторе первой фельетон прочла секретарша Людмила Яковлевна. Так как дело происходило в половине девятого утра и директора Олега Олеговича Прончатова в конторе еще не было, она позволила себе громко вскрикнуть от возмущения:

— Какая черная, нечеловеческая несправедливость! А мы всегда так радушно принимали этого Евг. Кетского! Боже, боже!

Потом Людмила Яковлевна представила, как газета с фельетоном попадет на стол к Олегу Олеговичу, и ей стало страшно. «Он такой неожиданный! — подумала она о директоре и зажмурилась. — Он такой вспылчивый!» — хотя вспылчивым Олег Олегович никогда не был.

Без пятнадцати девять Людмила Яковлевна торопливо напудрила носик и начала с содроганием глядеть на дверь приемыш, так как именно в это время по коридору прогукали твердые шаги, потом дверь во всю ширь распахнулась, и в ней, как в рамке картины, появился Олег Олегович в сером костюме. Прончатов весело поздоровался с Людмилой Яковлевной, блеснув запонками белоснежной сорочки, направился к ней и спросил чистым, утренним голосом:

— Что случилось, товарищ Людмила Яковлевна?

— Ах, ничего не случилось! — берясь пальцами за бледные виски, сказала Людмила Яковлевна. — Абсолютно ничего, ничего не случилось!

Однако Олег Олегович ей не поверил. Он пожал плечами, улыбнулся насмешливо и поглядел на Людмилу Яковлевну с укором, точно хотел сказать: «Нехорошо вы себя ведете, дорогая! Имеете тайны, и от кого?» После этого директор чеканным шагом проследовал в кабинет, сказав на прощанье:

— Ну, ладно-с!

Двери между приемной и кабинетом были двойные, толстые, дермати́н на войлоке хорошо поглощал звуки, но Людмила Яковлевна была тем единственным человеком на свете, который слышал все, что происходит в кабинете, и ей казалось, что целая вечность прошла с той минуты, когда Олег Олегович

начал читать фельетон «Кушать подано!», до той роковой секунды, когда в кабинете раздались непонятные звуки, что-то с шумом обрушилось на пол, зазвенело, задвигалось, заходило. Потом опять на мгновение установилась тишина — зловещая, опасная, — и уж затем Людмиле Яковлевне показалось, что в кабинете случилось нечто страшное... «Будь что будет!» — подумала секретарша и, схватив первую попавшуюся телеграмму, бросилась на выручку.

Вбежав в кабинет, она обомлела на пороге от негодования и неожиданности: Прончатов смеялся. Он просто помирал от хохота, и Людмила Яковлевна взяла со стола графин, чтобы налить воду, но не успела — Олег Олегович вдруг перестал смеяться.

— Вы и представить себе не можете, Людмила Яковлевна, что будет! — неожиданно трезвым голосом сказал Прончатов и сел в кресле прямо. — Спрячьте глупую телеграмму да срочно соедините меня с редактором районной газеты...

Когда секретарша ушла, Олег Олегович сладостно потер руку об руку, прешироко улыбнувшись, достал из ящика стола карандаш и, подчеркивая нужные места, перечитал фельетон «Кушать подано!».

Евг. Кетской писал:

«Единица — вздор, единица — ноль!» — говорил Владимир Маяковский, но мы скажем: «Единица не вздор, единица не ноль, если эта «Единица» — личный катер директора Тагарской сплавной конторы Олега Олеговича Прончатова! Однако следует рассказать все по порядку.

...В один из весенних дней, когда природа и отдел рабочего снабжения радовались солнцу и открывшейся навигации, Олег Олегович ехал в служебную командировку. У него было прекрасное настроение. Еще бы: штурвальный «Единички», он же личный повар директора, хорошо побеспокоился о том помещении на катере, которое раньше называлось каютой, а теперь стало называться камбузом. Да, не удивляйтесь, читатель! В личном катере Олега Олеговича есть не только кухня. Но об этом ниже...

Итак, пели птицы, журчала за кормой катера вода, оба стопятидесятильных мотора пели веселую, бодрую песню. Зачем нужны личному катеру два мощных мотора, которые можно было бы использовать на катерах-буксирах, Олег Олегович, понятно, не знал сам, но у него, повторяем, было прекрасное настроение, так как в кухне уже жарилась молодая утка весеннего отстрела (заметьте, что охота еще запрещена!), томилась на противнях картошечка и аппетитно лежали на тарелках разные закуски.

— Кушать подано! — наконец возвестил повар-штурвальный.

Улыбаясь от предвкушения сытного завтрака, Олег Олегович направился в... столовую. Да, да, не удивляйтесь, читатель,

но на личном катере директора Тагарской сплавной конторы, кроме кухни, есть и прекраснейшая столовая.

Пообедав, Олег Олегович решил отдохнуть в своей спальне.

Да, да, читатель, на катере имеется и спальня!

После сладкого сна Олег Олегович проснулся только тогда, когда его личный катер подходил к плотбищу Ула-Юл. «Ну что же, — подумал Олег Олегович, — можно и поработать». И он отправился в... свой личный кабинет.

— Связь установлена! — доложили Олегу Олеговичу.

Вы ничего не поняли, читатель, так как, конечно, ждете, что Олег Олегович пойдёт на плотбище, чтобы лично встретиться с коллективом сплава участка, разобраться в нуждах и претензиях. Увы! Олег Олегович, сидя за столом, кладет руку на что-то черное, подносит это черное к уху и... разговаривает по телефону. Не удивляйтесь, читатель, а знайте, что катер директора уже соединен... телефонной линией с конторой сплава участка.

— Ну, как работа, как делишки? — бодро спрашивает в трубку Олег Олегович и довольно улыбается, что ему не надо выходить на берег, где проливной дождь.

— Плохо идет работа, товарищ директор! — вдруг отвечают руководители Ула-Юльского сплава участка. — Имеется ряд важных вопросов.

Да, у Олега Олеговича возникает потребность сойти на берег. А как же проливной дождь? А как же непролазная сибирская грязь?

— Машину! — бодрым голосом кричит Олег Олегович... и происходит чудо! С верхней палубы «Единички» на берег опускаются два железных трапа, а по ним, читатель, на землю спускается личная машина Олега Олеговича марки ГАЗ-63. Довольно улыбаясь, директор садится в машину и, прекрасно чувствуя себя, катит на сплавной участок, до которого всего... шесть километров.

Кончая фельетон, дорогой читатель, мы задаем простой вопрос: так ли нужен Тагарской сплавной конторе катер с излишествами, как это кажется Олегу Олеговичу Прончатову? Так ли?!»

Вот что писал в фельетоне «Кушать подано!» Евг. Кетской, и, перечитав его вторично, Олег Олегович еще немного похотал, потер еще раз руку об руку и вырезал фельетон из газеты. Затем он небрежно нажал кнопку звонка, а когда появилась Людмила Яковлевна и сообщила, что редактор районной газеты готов говорить, спросил деловито:

— Прогноз погоды слышали? Что будет завтра?

— Переменная облачность, Олег Олегович. Периодически сильные дожди с грозами.

— Отлично! — прорычал Прончатов. — Колоссально! Соединяйте с редактором...

Услышав в трубке голос редактора районной газеты, Прончатов приватно развалился в кресле.

— Борис Андреевич,— закричал он,— здравствуй, дорогой! Как я себя чувствую? Плохо, очень плохо! Допек меня твой Евг. Кетской, допек!.. Как я считаю фельетон по фактам?.. Подловил ты меня, подловил! Что говоришь? Надо признать критику, отреагировать. Вот это ты правильно говоришь. Спасибо, Борис Андреевич! От души... Теперь вот что, дорогой, ты подошли ко мне Евг. Кетского, пускай сам посмотрит, какие меры приняты по критике. Что? Ты это дело одобряешь? Тебе это пришлось по нраву? Ну, еще раз спасибо, дорогой!.. Теперь ты вот что... Чтобы твой Евг. Кетской зря время не тратил, возьму-ка я его на Ула-Юл. Там производится эксперимент с новым плотом. Да, дорогой, не хотел я этот материал отдавать районным газетчикам, но теперь вижу: надо! Ну, добре. Привет жене! Детям привет!

Положив телефонную трубку, Олег Олегович, словно от холода, пожал плечами, потом, вызвав Людмилу Яковлевну, приказал ей немедленно доставить в кабинет старшину катера «Единички» Яна Падеревского. А когда старшина пришел, Прончатов посмотрел на него прищуренными глазами и показал пальцем на стул:

— Садись, Янус! И не вздумай пропустить ни одного слова из того, что скажу. — Он помолчал. — Мы, братец мой, начинаем операцию, которая в целях конспирации будет называться «Сатурн-12». Почему ты вытаращил глаза, когда надо развешивать уши?

— Я слушаю! — ответил Ян Падеревский и показал несколько золотых зубов. — Говорите, Олег Олегович, я имею намерение вас слушать дальше.

Во вторник, в четыре часа дня, фельетонист Евг. Кетской и директор сплавной конторы Олег Олегович Прончатов неторопливо подходили к Тагарской пристани. Как и предсказывало бюро погоды, собирался дождь с грозами, небо было низкое, как потолок в бане, и, видимо, поэтому Прончатов оделся забавно: на нем были старые кирзовые сапоги, заношенный до дыр брезентовый плащ, зимняя шапочка. В правой руке Олег Олегович нес дерматиновый тощий портфель с испорченными замками.

У берега густо стояли катера и разнокалиберные баржи, сигарами воткнулись в деревянный причал лодки и обласки; такой шум и гам висели в воздухе, что человека поневоле охватывал веселый, особенный, пристанский темп жизни. Очень весело было на Тагарской пристани, но наблюдалось и грустное, пессимистическое явление: в самом центре причала, там, где пристают самые почетные гости Тагара, располагалось нечто

древнее, полуразвалившееся и грязное. Это стоял у причала катер «Волна», два года назад за маломощность и непослушание рулю изгнанный из буксиров в подвозчики горюче-смазочных материалов.

Возле рубки «Волны» сидел грустный, подавленный старшина Ян Падеревский, курил самокрутку из самосада и жалостливо поглядывал на свои штаны из продранной парусины. Когда Прончатов и Евг. Кетской подошли к старшине, то оказалось, что у него во рту наполовину меньше золотых зубов, чем было раньше: то ли снял фиксы, то ли зубы от тоски и подавленности почернели, хотя золото вроде бы и не темнеет.

— Судно подано! — мрачно сказал Ян Падеревский и выплюнул самокрутку. — Одно плохо, Олег Олегович, мотор барахлит. Надо будет большое спасибо говорить, если заведется!

— Проходите, Евг., на судно! — любезно пригласил Прончатов, но и из его груди вырвался тяжелый вздох. — Думаю, что мотор все-таки заведется. Люди ведь у нас золотые!

На палубе валялись окурки и рыба чешуя, скамеечка возле леера была поломана; все палубные надстройки были черны от мазута и солярки. Да, непригляден был катер «Волна», и Олег Олегович осторожно тронул фельетониста за рукав.

— Дорогой Евг., — сказал он. — Простите, но мне придется навести порядок на судне!

После этого Олег Олегович выпучил глаза, набрав в легкие побольше воздуха, по-базарному пронзительно закричал:

— Старшина Падеревский!

Прончатов закричал так громко, что отчасти заглушил пристанские звуки; горло у Олега Олеговича было такое луженое, что на соседней брандвахте всполошились белые курицы, но на собственном катере директорский вопль отклика не получил: старшина Падеревский как сидел на кнехте, так и остался на нем сидеть. Правда, через полминуты он поднял глаза и проговорил:

— Ну, чего старшина Падеревский! Может быть, я уже тридцать пять лет Падеревский...

— Ох, товарищ Падеревский, товарищ Падеревский, — печально ответил Прончатов, — что с вами происходит? Разве вы так отвечали мне, когда были старшиной злополучной «Единички»? Ох, ох, ох!

Сказав это, Олег Олегович опустил взгляд, понурился, как уставшая лошадь, и начал тяжело, но редко вздыхать. Он был такой жалкий, этот директор Прончатов, что Ян Падеревский поднялся с кнехта, сделал два шага к нему, но остановился, так как под ногами зашуршала рыба чешуя.

— Авторитет, он и есть авторитет, — туманно пояснил Ян Падеревский. — Сегодня он есть, авторитет, а завтра его нету, авторитета... Вот и плащишко на вас дырявый!

Затем Падеревский отступил на два шага назад, поморщился брезгливо и махнул рукой с таким видом, точно ставил точку на прончатовской жизни.

— Заводиться, что ли, будем? — презрительно спросил он. — Может, заведется мотор-то...

Шаркая подошвами, вялый Падеревский сошел с палубы, двинулся потихонечку к машинному отделению, ворча себе под нос: «Катер называется... Переговорной трубы нет!» Когда старшина скрылся в машинном отделении, на палубе сделалось тихо-тихо, словно кто-то специально для этого момента выключил все пристанские звуки, и в этой гнетущей тишине услышалось, как вздохнул в очередной раз директор Прончатов, а в машинном отделении хриплый голос сказал: «Пусть сам заводится! У меня заводилка кончилась!»

— Пала дисциплина! — разведя руками, сказал Прончатов. — Придется провести собрание на тему: «Дисциплина и выполнение пятилетки».

Евг. Кетской, фельетонист районной газеты, был строг, очень строг. Он то и дело нахмуривал несуществующие брови, пытался время от времени подобрать детские губы, руки он держал сложенными на груди. У него был такой вид, словно он запоминал каждое словечко, ухватывал на лету каждое движение, впитывал в себя картины быстротекущей жизни. И в молчании Евг. Кетского чувствовалось напряжение мысли человека, собирающего факты для заметки «По следам наших выступлений».

— Гроза собирается, — мрачно сказал Прончатов. — А тут мотор не заводится...

Действительно, над белой тагарской церковью висели черные облака, внутри них клубилось ядро со зловещим малиновым оттенком, и вся эта кутерьма медленно приближалась к реке. На южной стороне Тагара уже шел дождь, издали похожий на промозглый осенний туман.

— Придется спуститься в каюту, — сказал Олег Олегович. — Может быть, там отдохнем душой.

Но Прончатов жестоко ошибся: в каюте было невозможно отдохнуть душой. Посередь тесного и душного помещения стоял стол, заваленный всяческой железной рухлядью: гайками, болтами, проволокой, медными обломками, шестеренками и другими непонятными деталями. Осмотрев все это, Олег Олегович присел на узенькую кушетку, на которой лежал тощий матрац и еще более тощая подушка, вынул из своего потрепанного портфеля несколько переплетенных в дермати́н тетрадей и положил их к себе на колени.

— Доклад буду писать! — решительно сообщил он Евг. Кетскому. — Я в дороге всегда пишу доклады.

Прончатов вынул из портфеля какие-то книжицы, справки и таблицы и через две-три минуты действительно по голову

ушел в работу. Предоставленный самому себе, Евг. Кетской немножечко посидел в каюте, потом поднялся на палубу.

Здесь Евг. Кетской широко расставил ноги, опять сложил руки на груди и стал наблюдательно глядеть на берег и реку, накапливая жизненный материал. Мотор не заводился еще минут двадцать, и за это время Евг. Кетской занес в блокнот следующие наблюдения: «Чехов прав: некоторые облака похожи на роаяль», «Погрузочный кран напоминает человека с вытянутой рукой». После этого Евг. Кетской блокнот закрыл, так как в машинном отделении утробно и шатко заработал мотор. От этого «Волна» затряслась мелкой дрожью, застучала о причал грязными боками и, наконец, вытрясла на палубу старшину Яна Падеревского.

— Завелся, зараза! — сказал Падеревский, подходя к штурвалу. — А вы бы не торчали перед рубкой, товарищ корреспондент. Ни хрена не видать! Эй, Ванька, отдавай концы!

Фельетонист Евг. Кетской испуганно отскочил от рубки, а из кормовой каюты вылез молодой, грязный и лохматый матрос, косолапа и почесываясь, затащил на катер трап, сбросил с кнехта на причале конец и, забравшись обратно на катер, пришагал на носовую палубу. Здесь лохматый матрос начал с нескрываемым презрением наблюдать за тем, как катер отходил от причала.

«Волна» отчаливала на самом деле не очень красиво. Как только Ян Падеревский дал передний ход, корма вяло развернулась, встала поперек течения и, так как оно было сильным, описала еще один полукруг. Теперь роль кормы стал выполнять нос катера, и дело кончилось тем, что «Волна», вместо того чтобы идти вперед, поплыла по течению. По этой причине на соседнем катере раздался обидный хохот:

— Бабушку катаете? А может, не опохмелились?

В ответ на эти слова в черных тучах ослепительно сверкнула молния, подождав две-три томительные секунды, ударил такой силы гром, что «Волна» похилилась набок.

— Глазыньки мои не смотрели на это дело! — сказал лохматый матрос. — Вот давай с тобой спориться, товарищ. Унесет нас в старицу али не унесет? По полбанки давай спориться. Ты хоть пьющий?

Евг. Кетской молчал, с зябкой тревогой наблюдая за тем, как «Волну» несло по Кети; ее еще раз развернуло, поставило носом к течению и потащило к старице, так как мотор еле-еле брякал в машинном, а Ян Падеревский напрасно из стороны в сторону перекачивал штурвал.

— Так давай спориться на полбанки! — закричал матрос радостно. — А ты хоть плавать-то умеешь?

«Волну» все несло и несло. Падеревский ругался все громче и громче, лохматый матрос, веселясь, расстегивал уже верхние пуговицы ситцевой рубахи, как вдруг произошло неожидан-

ное: Евг. Кетской выхватил из кармана блокнот, что-то написал в нем, затем судорожным движением сунул блокнот на место и тоненько вскрикнул:

— Непьющий я!

И сразу после этого мотор вдруг набрал голос, зарычал рассерженно, и «Волга» стала понемногу выправляться — развернулась тяжеловесно, пошла боком-бокком, но потом окончательно выпрямилась. В ответ на это опять сверкнула в небе ошеломительная молния, ударил кулаком по металлу гром, и несколько мелких капель цокнули по палубе.

— А ты трус, оказывается! — сказал лохматый матрос. — Не стал спориться на полбанки... А мне бы выпить во как надо! — Он провел ладонью по горлу и усмехнулся: — У меня ведь горе! — Матрос интимно понизил голос, положил Евг. Кетскому руку на плечо и зашептал ему на ухо: — Ты ток директору ни слова, ты ток молчи... У нас ведь катер-то как отобрали? А фельетоном! Ты вот человек городской, ты такую сволочь не знаешь, как Евг. Кетской? Если знаешь, я тебе сам поставлю полбанки. У меня душа горит, мне клюкнуть охота!

В третий раз ударил гром, наступила пустая тишина, а после нее затарабанили, застучали дятлами по палубе крупные и твердые дождинки. Миг — вся земля превратилась в сплошной дождь, такой плотный и сильный, словно весь мир накрыли плотным зеленым покрывалом.

Могучий, торжествующий дождь обрушился на землю, и мгновенно вымокший Евг. Кетской бросился к люку, провалился в него и в тесной каютке наткнулся на такую картину: оторвавшись от доклада, Олег Олегович Прончатов смотрел на фельетониста сочувственно, но растерянно. Потом на лице Прончатова появилась застенчивая, неловкая улыбка.

— Дело осложняется, товарищ Евг., — сказал он прочувствованно. — При такой скорости мы на Ула-Юл придем только завтра к вечеру. Доклад я, конечно, закончить успею, но вот вопрос, что мы будем есть? Вы захватили что-нибудь с собой?

— Нет! — ответил мокрый фельетонист. — В суматохе как-то и в голову не пришло...

— Вот и я в суматохе, — огорчительно признался Прончатов. — Может быть, у команды что-нибудь найдется... Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, не стесняйтесь!

К девяти часам вечера дождик немного утихнул, но зато окончательно выяснилось, что «Волна» навстречу течению идет со скоростью двенадцати километров в час, а у команды ничего съестного, кроме хлеба, соли и лука, нет. Это объяснила через люк перевернутая голова склонившегося вниз Яна Падевского и добавила многозначительно:

— ...конечно, если экономить командировочные...

— Пойдите прочь с моих глаз! — гневно сказал голове

Олег Олегович и совершил вытянутым пальцем дугу. — Немедля подать нам постельное белье!

— Белье? — переспросила голова. — Белье мы можем подать! Вот только, Олег Олегович, оно сырое по той причине, что кормовая каюточка-то протекает. А матрасов, Олег Олегович, и вовсе нету. Завхоз сказал, что все пришлось отдать молодому рабочему пополнению.

— Прочь, прочь! — берясь дрожащими пальцами за виски, хрипло сказал Прончатов.

— Пожалуйста! — ответила голова, прежде чем скрыться. — За бельишком-то сами пойдете или вон гостя откомандируете. Я от штурвала оторваться не могу, матрос Пуляев брезент держит, чтобы крыша не протекала, а моторист у мотора, так как с этой железины глаз спускать нельзя.. Ой, катастрофа, я, поди-ка, с курса сбился! Ой, авария!

Голова мгновенно исчезла, наверху раздались испуганные вопли и крики, содрогнувшись, катер пошел влево, потом вправо. Секундой спустя на палубе загремели тяжелые шаги. «Волна» панически заревела сиреной, донеслась умопомрачительная ругань, скрежет металла.

— Если пробойну не получим, то все кончится хорошо, — стоически сказал Прончатов. — Я вам, товарищ Евг., советую не держаться за край лежанки. В таких случаях вообще ни за что держаться нельзя. Надо положиться на судьбу. Куда бросит, туда уж и бросит!

Подбадриваемый Прончатовым, фельетонист хорошо перенес ожидание опасности, а когда стало ясно, что «Волна» выправилась и прошла мимо опасных мелей и берегов, Евг. Кетской приосанился и даже что-то быстро записал в свой блокнот. Наверное, по этой причине Прончатов поглядел на него с большим уважением и со вздохом произнес:

— Вот я смотрю на вас и удивляюсь. Колоссальной выдержки вы человек, товарищ Евг.! — Прончатов вздохнул и понурился. — Вы, журналисты, вообще воспитаны на трудностях. Как это у вас в песне поется? — Олег Олегович защелкал пальцами и начал досадливо морщиться. — Ах, вот как: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете».

Инфарктно рокотал мотор «Волны», суденышко раскачивалось, как на море, волны били в тонкие переборки, и Прончатов немного послушал окружающие звуки. «Хороший он парень!» — неожиданно подумал Олег Олегович о фельетонисте.

— Позвольте тогда еще вопросик, — почтительно обратился Прончатов к фельетонисту. — Совсем маленький вопросик!

— Пожалуйста! — стеснительно ответил Евг. Кетской.

— Вопрос у меня такой, — еще более робко произнес Олег Олегович. — А бывает так, что несколько строчек достаются легко?

— Бывает, Олег Олегович,— раздумчиво ответил Евг. Кетской,— но это чаще всего то, чего не замечает читатель.

— Спасибо, спасибо! — закланялся Прончатов. — Тогда я принимаю тяжелое для меня решение сегодня не ужинать. Не будем приставать в Горищах, товарищ Евг., не будем! Если надо, чтобы ваши строчки были замечены, я на все пойду... Желаю вам счастья на пути к постельному белью!

Когда Евг. Кетской вышел, Прончатов откинулся на спинку дивана и принялся весело, добродушно хохотать; прохихотавшись же, он кликнул Яна Падеревского.

— Янус,— торжественно сказал Олег Олегович старшине. — Я не буду есть!

— Да что вы, Олег Олегович! — удивился Падеревский. — Из-за этого паршивца спать с пустым желудком! Идите за корму, там все приготовлено и прикрыто от него брезентом. А какая копченая стерлядка!

— Исчезните, Ян! — ответил Прончатов и усмехнулся. — Крутите свой штурвал, чтобы утром быть в Ула-Юле.

Еще раз усмехнувшись, Олег Олегович склонился над докладом и через секунду увлеченно писал, хотя краешком уха слышал все, что происходило вокруг него: и как вернулся с сырым бельем Евг. Кетской, и как ругался с ним из-за наволочек Ян Падеревский, и как фельетонист вторично поднимался наверх, ибо нашлись два матраса. Прончатов оторвался от доклада только тогда, когда на лежанке фельетониста раздался тоненький, залихватый храп и стали доноситься жалобные, мальчишечьи стоны.

Поднявшись, Прончатов посмотрел в лицо Евг. Кетскому. Без очков, с закрытыми глазами, с сонным румянцем на щеках, оно казалось совсем детским, добрым и умным. «Расчуднейший парень!» — подумал Олег Олегович. Ох, как нравились Прончатову самоотверженность Евг. Кетского, его уверенность в том, что все в жизни должно доставаться с трудом, его добродушная наивность и, черт возьми, мужество! Не каждый человек выйдет на голый борт катера, когда кругом темень, дождь, когда старшина нарочно бросает катер в опасные кульбиты и когда неизвестно, за что держаться.

Хороший человек спал на левой лежанке «Волны», и Прончатов ему улыбался хорошо. Потом вернулся к столу и до двух часов ночи писал доклад.

Дождь к утру не перестал, а пошел еще пуще прежнего; тучи обложили небо густо и прочно, внутри них что-то посвистывало, посапывало; обстановка в общем была такая, что надо было с секунды на секунду ждать или града, или северного холодного ветра. В добавление ко всему Ян Падеревский поймал транзистором областную сводку погоды, в которой синоптики, опровергая вчерашнее сообщение, обещали дождь уже не в те-

чение суток, а трех дней. Так что в восемь часов утра, когда «Волна» хорошим ходом подбегала к Ула-Юлу, Прончатов стоял на палубе мрачный, голодный; из-под капюшона плаща торчал его синий злой нос. В лютости он дошел до того, что два приглашения Падеревского позавтракать пропустил мимо ушей, но на третье отреагировал, хотя и не по существу.

— Доигрались, так твою перетак! — выразился Олег Олегович. — Храни нас бог, чтобы на плотбище ничего плохого не произошло! Доигрались с Евг. Кетским! Кстати, почему он спит? Будить! Пусть наблюдает жизнь.

Минут через пять сонный и дрожащий от холода фельетонист поднялся на палубу, зацепившись за леер, едва не свалился в воду, но Ян Падеревский попридержал его за локоть. Тогда фельетонист обеими руками схватился за поручень, подставив лицо под дождь, окончательно пришел в себя.

— Доброе утро! — сонно улыбаясь, сказал он. — Это какая пристань, Олег Олегович?

— Это не пристань, товарищ Евг., — важно ответил Прончатов. — Это славное плотбище Ула-Юл.

От удивления глаза фельетониста стали большими, как оправка его очков, но особенно долго удивляться у него времени не было, так как долговязый Ян Падеревский вдруг наполовину высунулся из рубки, легкомысленно бросив штурвал, стал делать руками темпераментные восточные жесты, призывая фельетониста подойти к нему.

— Подите сюда, подите сюда, — интимно шептал Падеревский и при этом закатывал глаза. — Что такое социалистическое соревнование, знаете? Ну, хорошо! Так вот это оно и есть. Оно! — еще проникновеннее заявил Падеревский и от удовольствия сощурился, как сытый кот. — Вступив в соревнование за досрочную доставку директора на Ула-Юльский рейд, мы вчера взяли повышенные обязательства. Сегодня мы можем рапортовать, что обязательства выполнены и даже перевыполнены.

По дождевику фельетониста монотонно били капли, река шуршала и пузырилась, и под этот монотонный и тоскливый шум слова Падеревского лились тоненькой журчащей струйкой. Его шепот был так убедителен, лицо таким дружеским и гордым, что Евг. Кетской тоже перешел на шепот.

— А как вы этого добились? — спросил он. — За счет чего повысили скорость?

— Форсировали форсунки, — отвечал Падеревский. — Вопрос это технический, вам его не понять... Ой, ой, погибаем!

Ян Падеревский испуганно отшатнулся от фельетонистского уха, мельком глянув на берег, завыл монотонным, жутким голосом, так как «Волна», которой он перестал управлять, перла на крутой яр, грозя разбиться об него в лепешку.

— Ой, — выл Ян Падеревский, но руки на штурвале держал неподвижно, и это было самым страшным. — Ой!

Евг. Кетский открыл рот, чтобы крикнуть нечто предупреждающее, но не успел: старшина Падеревский вдруг перестал выть, немного подал штурвал влево, и «Волна», как послушная овечка, пристала к берегу. Тут и оказалось, что в мокрой глине яра проложены деревянные ступеньки, на берегу видится дощатая будка, а возле нее стоит человек в плаще и приветственно машет рукой,

— Плотбище Ула-Юл,— отрапортовал Ян Падеревский.— Можно позавтракать в столовой. До нее всего шесть километров!

Ян Падеревский ласково посмотрел на фельетониста, потом на Олега Олеговича и уж только после этого скрылся в рубке, чтобы выйти из нее с другой стороны. Он бросил на землю трап, по нему на катер быстро поднялся мужчина в брезентовом дождевике и подошел к Прончатову здороваться. Они пожали руки друг другу, затем повернулись к Евг. Кетскому, и брезентовый мужчина сказал:

— Здравствуйте, товарищ Кетской! Я начальник Ула-Юльского сплавного участка Ярома. Пойдемте в контору. До нее всего шесть километров!

Прончатов и Ярома сошли с катера, поднялись по ступенькам на яр и там подождали, когда поднимется Евг. Кетской.

Жизнь на ула-юльском пустынном берегу была очень плохая. Весь мир заливала вода, везде пузырился и шумел дождь. Была похожа на узенькую реку дорога, разбитая скатами машин, по ней катились мутные волны, а где-то далеко-далеко, на конце этой дороги, в синей дымке проглядывало не то человеческое жилище, не то стояли деревья. Васюганские болота, черт возьми, начинались сразу за кромкой речного яра.

— Идемте, что ли,— бодро сказал Прончатов,— здесь всего шесть километров!

Две-три секунды они стояли неподвижно в тишине дождя, затем раздался хлюпающий звук— это фельетонист Евг. Кетской, разбрызгивая воду полуботинками, пустился в путь. На ногах, похожих на ходули, он емко прошел метров десять, успел дважды по щиколотки провалиться в воду, трижды поскользнуться, но все шел и шел. Потом в шагах фельетониста почувствовалась неуверенность, он остановился, заметив, что за ним никто не идет.

— Товарищ!..— позвал Евг. Кетской.— Чего же вы стоите?

— Минуточку! — сказал Олег Олегович Прончатов и попридержал Ярому за рукав.— Погодите, Степан Гурьевич! Я сейчас.

Прончатов догнал фельетониста, остановившись очень близко от него, значительно помолчал, глядя на Евг. Кетского строгими глазами. Потом неторопливо сказал:

— Вам, наверное, известно, что во время навигации я двадцать дней в месяц нахожусь в командировке. Отчего я должен голодать, мерзнуть, жить без телефона? Ну, не жалеете человека, пожалейте дело... Вы вот спали, товарищ журналист,

а я себе места не находил! Мало ли что может произойти в сплавной конторе за ночь!

Дождь все шел и шел. Видимо, синоптики ошиблись и на этот раз: какое там три дня, неделей дождей пахло низкое небо, клубящиеся тучи, серый, как пепел, горизонт. Из грозового дождь перешел в обложной, и по всем приметам Прончатов видел, что ему предстоит тяжелая неделя: непременно станет отставать сплотка, пойдет неурядица на буксировке, замедлится погрузка барж. Беспокойное наступило время.

— Вот такие дела, товарищ Евг. Кетской!

По реке пронеслось низкое мощное гудение. Сперва нельзя было понять, что гудит в серой пелене тумана, но потом из нее мгновенно, словно торпеда из воды, вынырнул белоснежный красавец «Единичка». Он был так стремителен, что на флагштоке красный вымпел не висел мокрой тряпкой, а держался хоть узеньким, но мысочком.

Серо и мрачно было вокруг, все пропадало в сырости и тумане, но от ревущей «Единички» мир повеселел. Показалось, что бойко сверкнули иллюминаторы, мелькнул солнечный зайчик — это на «Единичке» блеснула красная полоса обнажившейся от скорости ватерлинии.

— Ну, Олег Олегович,— радостно сказал начальник Уля-Юльского сплавного участка,— спасибо тебе за «Волну»! Год я у тебя ее просил, а толку не было! Чего это ты расщедрился?

— Ты вот кого благодари за «Волну»! — вдруг улыбнувшись, ответил Прончатов и показал на фельетониста.— Вот кто тебе подарил катер!

После этих строк автор возвращает Олега Олеговича Прончатова из будущего в настоящее, то есть опять видит его стоящим на берегу, подле своего катера «Двойка». Полчаса назад Прончатов был в гостях у всемогущего Никиты Нехамова, выяснив, что чудака старик хочет видеть его, Прончатова, директором Тагарской сплавной конторы, пришел в отличное настроение. И теперь Олег Олегович находится на пристани, собираясь ехать «Двоеккой» на Пиковский погрузочный рейд.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗА О НАСТОЯЩЕМ...

— Олегу Олеговичу привет! — послышался голос с «Двойки».

На борту катера появился прончатовский старшина Ян Падеревский. Был он весь изящный и длинный, движения совершенные плавные, во рту имел несколько золотых зубов, а одет был так, словно собирался идти на званый ужин: на белоснежной рубашке узенький галстучек, длинноносые туфли блестят, на брючном карманчике болтается серебряный брелок. А лицо у

него узкое, а нос горбатый, а карие глаза смотрят с победительной улыбкой.

— Заждались мы вас, Олег Олегович,— делая твердыми все буквы подряд, говорил Ян Падеревский, пока Прончатов поднимался по трапу.— Прибежал с рейда сердитый Колотовкин, жаловался на речников. Сейчас, Олег Олегович, лебедки стоят!

— Как стоят?

— Стоя стоят! — позволил себе шутку Падеревский, но глаза у него были серьезные. — Судострой кончился...

Чем особенно хорош был Ян Падеревский, так это тем, что слова в него входили, а обратно не выходили. Могила, камень, печать за семью замками — вот что такое Ян Падеревский. Нос у него вершковый, ноздри здоровенные, так что он сразу учуял, как от Олега Олеговича несет водкой, но вида не показал и не покажет: хоть на части руби Падеревского, ни одна душа на земле никогда не узнает, что Прончатов попахивал водкой.

— На лебедки, Ян! — весело сказал Олег Олегович и похлопал старшину по плечу.— Гони направо!

— Есть на лебедки! — дисциплинированно ответил старшина. Он правой длинной рукой дал команду работать машине, а левой забрался в задний карман пижонских зеленых брюк, уверенно пошарив, подал Олегу Олеговичу кусочек мускатного ореха — хорошего средства против водочного запаха. Для гигиены орех был завернут в пергаментную бумагу.

— Тихай вперед! — прокричал Ян.— Тихай, тихай!

«Двойка» отставала от причала — повернулись и встали на противоположную сторону шпалозавод и кедрач, эхом повторяя рокот мотора. «Двойка» писала по Кети размашистый круг, вздымая за собой пенный бурун, вырывалась на кетский простор. Посмеиваясь уголками губ, небрежно перекатывая длинными руками штурвал, Ян Падеревский опасно подрезал корму у могучего «Щетинкина», шуганув с дороги почтовый катерок, заставил испуганно шарахнуться в сторону сельповского торговца — засаленный пузатый катер, беременный солью и сахаром, селедкой и керосином.

Прончатов сидел на носовой палубе. Пиджак он снял, сорвав галстук, рубашку на волосатой груди распахнул до пупа, чтобы речной воздух касался разгоряченной кожи.

За излучиной Кети открывался погрузочный рейд. Здесь стояли две лебедки системы Мерзлякова, похожие на лежащие этажерки, к ним притулилась огромная триста шестая баржа, за этажерками, вровень с ними, темнел высокий глинистый берег, слева гнулась запань, в которой тесно, словно рассыпанные спички, желтели бревна. На берегу сидели на чурбачках рабочие лебедок и сортировщицы запани, а впереди них стоял начальник рейда Демид Касьянович Куренной и отчаянно жестикулировал, объясняясь с начальником нижнего склада Батаноговым.

— Заседают! — тонко улыбнувшись, сказал Ян Падеревский. — Куренной вчера имел встречу с товарищем Вишняковым...

Ах вот оно что! Олег Олегович поднялся со скамейки, неторопливо подошедши к борту, облокотился на леер. Интересно было, когда все-таки заметит начальник рейда стремительно приближающуюся к берегу «Двойку». Конечно, по случаю воскресенья он, Куренной, не ждал визита главного инженера, конечно, Куренной вместе с парторгом Вишняковым ждут не дождутся нового директора Цветкова, конечно...

— Не замечают! — ухмыльнулся Ян Падеревский. — Беседу ведут!

Да, начальник рейда товарищ Куренной по-прежнему активно размахивал руками перед носом начальника склада Батаногова, притоптывал ногой, сердился, а вот директорский катер не замечал, и Прончатов подумал: «Увлекающийся человек! То новым директором увлечется, то парторгом... Пылкая натура!»

— Ко второй лебедке, Ян!

Четыре ступеньки вели с носовой палубы на борт «Двойки», и, спускаясь по ним, Олег Олегович прошел четыре степени изменения. Верхняя ступенька — гневный Прончатов, следующая — сдержанный, еще одна — спокойный и самая последняя — насмешливый. Его лицо — лицо бронзового Маяковского — налилось смуглой кровью, рубаха открывала мускулистую грудь, длинные ноги по-обезьяньи карабкались по влажному дереву, а руки бывшего грузчика лебедек умело и цепко хватались за тросы.

— Падеревский, в контору! — не оборачиваясь, приказал Прончатов. — Найти директора леспромхоза, держать на проводе.

После этого Прончатов в три прыжка преодолел крутой подъем, чертиком выскочив на высокую кромку яра, мгновенно окунулся в ленивую, заторможенную тишину бездействия. Да, тихо, очень тихо было на кетском берегу — росли чахлые талины, торчало несколько осокорей, за которыми громоздилось столько дерева, что и небо над ним казалось чахлым. На разделочной эстакаде Пиковского леспромхоза ленивый белый пар поднимался над трубами трех притихших узкоколейных паровозов, погуживала слабо электростанция, мертво вздымали в небо руки погрузочные краны, похожие на важных гусей.

— Идиллия! — пробормотал Прончатов. — Никто не работает — все едят!

Он удивлялся тому, что начальник рейда Куренной все еще не замечал начальства: махал по-прежнему руками перед носом Батаногова, сипел простуженно. А слева от него, сбившись в кучку, шептались сортировщицы, грузчики спокойно поигрывали в карты, молодые сплавщики лежали ничком, подставив под солнце и без того обожженные спины. «Идиллия! Курорт Мацеста!» Олег Олегович насмешливо смотрел в спину

Куренного и думал о том, что рабочие не любят начальника рейда, так как никто из них не окликнул его, не предупредил о появлении Прончатова.

Рабочие Прончатова заметили давно: перестали шептаться девчата, оторвались от карт грузчики, молодые сплавщики начали по одному перевертываться на спину. Лица мужчин начали оживать, а девчата, наоборот, затихли чуточку испуганно, так как красив был главный инженер Прончатов. В белой распахнутой рубашке, в отличных брюках, в блестящих туфлях, с картинной прядью волос, упавшей на выпуклый лоб.

— Олег Олегович! — вдруг заметил главного инженера Куренной. — Здравия желаем, Олег Олегович!

Еще раз посмотрев на нижний склад Пиковского леспромохоза, на лебедки Тагарской сплавной конторы, вместив в себя всю громадность машин, механизмов, находясь в центре всего этого, Олег Олегович внезапно радостно подумал: «Все это сейчас придет в движение!» — так как он, маленький, незаметный по сравнению с машинами, лебедками, паровозами, шестизажными штабелями леса, способен заставить все это вращаться вокруг себя.

— Здравствуй, Олег Олегович! — еще раз сказал Прончатову начальник рейда и посмотрел на него исподлобья. — Судострой кончился, сошел со стрелки паровоз...

Полуденное солнце висело высоко, старый осокорь поворачивал к нему серебряные листья, плыла по Кети лодка, над которой истончался женский голос: «Живет моя отрад-а-а-а»; пыхтел за излучиной все тот же «Щетинкин».

— Жарко сегодня, а! — сказал Олег Олегович, отдуваясь и вынимая из кармана белоснежный платок. — Под двадцать градусов, говорят... Ты не слышал, Куренной, сколько сегодня градусов?

— Не слышал! — приглушенно ответил Куренной, зябко сжимаясь в плечах, так как знал, что бывает после того, как Прончатов спрашивает о погоде или о здоровье жены. — Не слышал.

Рабочие тоже притихли — глядели на руководителей вопросительно, истомившись от безделья, ждали скорого решения, ибо кому сладко бить баклуши в воскресенье на погрузочном рейде: и заработка нет, и до жены далеко, и ходит в Кети жирная рыба, и весь Тагар вывалил на пляж загорать. Потому и глядели с надеждой на Прончатова мужики, потому улыбались ему женщины.

— Вот так ты и живешь, Куренной, — равнодушно сказал Прончатов. — Сколько на дворе градусов, не знаешь, судострой у тебя кончился, паровоз сошел со стрелки...

Сияла на солнце синтетическая прончатовская рубашка, солнечный свет обтекал его крупные уши, полыхало на руке золотое обручальное кольцо.

— Ну ладно, Куренной,— лениво промолвил Олег Олегович. — Уж коли ты такой невезучий, отойди в стороночку, посиди, отдохни...

После этого Прончатов потерял всяческий интерес к начальнику рейда; он повернулся, приблизившись к маленькому дощатому сараю, носящему громкое название «Контора рейда», сел на чурбачок. Вынув из кармана коробку «Казбека», Олег Олегович закурил, и тут, словно по волшебству, из сарая выбежал с телефонной трубкой в руке Ян Падеревский — он волочил за собой длинный провод, который был намотан на барабан. Военная система связи на рейдах всего год назад была введена Прончатовым, он перенял ее по памяти у фронтовых батальонных связистов и, иногда разговаривая по переносному телефону, удивленно хмыкал: фронтовая память, сказывается, была так еще свежа, что мнилось, не лебедки грохочут сырым деревом, а поговаривает на горизонте корпусная артиллерия.

— Ошурков на проводе! — доложил Ян Падеревский.

Прежде чем взять в руки трубку, Олег Олегович сам себе согласно покивал, прищурившись от солнца, усмехнулся одними губами. На это ушло две-три секунды, но в течение их Прончатов успел до неузнаваемости опроститься: лицо у него сделалось дремучим, взгляд поглупел, а фигура стала коренасто-тяжеловесной.

— Здравствуй, Павел Иванович! — тихо сказал в трубку Прончатов. — Ты извини меня, извини, Павел Иванович! Тут воскресный день, понимаешь, тут, понимаешь, у тебя чирья пошли по шее, а Прончатов, понимаешь, звонит, беспокоит... С чирьями, понимаешь, шутить нельзя. От чирьев, случилось, богу душу отдавали, Павел Иванович... Да нет, понимаешь, дрожжами дело не поправишь! Тебе, понимаешь, Павел Иванович, надо кровь перелить... Из этого места, на котором ты, понимаешь, сидишь, кровь тебе, понимаешь, перельют в вену, и ты, понимаешь, совсем другим человеком станешь...

Сто раз повторяя слово «понимаешь», снижая голос до шепота, Прончатов разговаривал точно таким голосом, каким говорил обычно по телефону сам директор Пиковского леспрохоза Ошурков Павел Иванович.

— У тебя, понимаешь, от переливания крови, Павел Иванович, и психология переменится. Нижний склад заработает... Что? Я острою? Да нет, Павел Иванович, не до острот мне, когда паровоз с рельсов сошел и все движение застопорил. Ну, все, Павел Иванович! Привет чирьям, привет жене, привет райкому партии! Надеюсь, в райкоме мы, понимаешь, и встретимся... Все! Все!

Прохладный ветер сорвался откуда-то, коричневая Кеть сделалась от ряби зеленой; и — чу-чу! — висело в зените черное облако с розовыми рваными краями. Ой, разрастется, коварное, ой, брызнет на землю обильным дождем!

— Вот такие дела, товарищ Куренной! — сказал Прончатов, через спину возвращая телефонную трубку Яну Падеревскому. — Ты сегодня, по-моему, не коммуникабельный, а?

— Какой?

— Не коммуникабельный, а?

— Мы этих слов не понимаем, Олег Олегович!

— А должны понимать, — ласково улыбнувшись, заметил Прончатов. — Должность инженера занимаешь, Демид Касьяныч!

Секунд пять Прончатов сидел неподвижно, с непонятым выражением на лице, затем поднялся, подшагав к Куренному, улыбнулся своей знаменитой прончатовской улыбкой. Она редко появлялась на лице Олега Олеговича, но зато была дорога, как алмаз, — от этой улыбки лицо Прончатова делалось таким привлекательным, что женщины чувствовали под сердцем тонкий укол, а суровые мужчины смягчались, точно от доброй рюмки коньяку. «Какой милый, хороший, славный парень Прончатов!» — думали суровые мужчины и испытывали острое желание немедленно сделать что-то хорошее для Олега Олеговича: или душу перед ним раскрыть, или отдать последнюю папиросу, или обнять его за прямые плечи. Когда Прончатов улыбался, у него исчезали со щек холодноватые углубления, от которых казалось, что Олег Олегович сосет леденец.

— Я вас слушаю, Демид Касьяныч, — вежливо произнес Прончатов. — Хочется услышать ваш голос.

Однако Куренной непробиваемо молчал. Был он большим другом сплавконторского парторга Вишнякова, всего года три назад ходил в незаменимых, а теперь с нетерпением ждал приезда нового директора — Цветкова.

— Ну, ты помолчи, Куренной, — раздельно сказал Прончатов, — а я делом займусь. Я начальником рейда работал, мне не впервой.

Поднявшись, Олег Олегович неторопливо пошел к рабочим. Чем ближе подходил он к ним, тем все начальственнее, суровее, непреклонней становилась его фигура; ни улыбки, ни кривета не было на прончатовском лице, когда он остановился в пяти метрах от рабочих, не здороваясь, с обидным пренебрежением посмотрел на них. Голова у него была вздернута, губы сложены брезгливо, а руки он ленивым жестом заложил за спину.

— Загораете, господа хорошие? — издевательским тоном спросил Прончатов. — Жирок нагуливаете?

Человек тридцать вольготно располагались перед главным инженером. У всех загорелые, хорошо откормленные физиономии, на голах по поясу телех блестят, перекатываются живые мускулы; человек пять отпустили бороды, да такие, что каждая — лопата. Варнаки, богатеи, тагарская аристократия, привилегированная верхушечка — вот кто лежал на прохладной земле, бесцеремонно разглядывая Прончатова. Самый пло-

хонький из этих мужиков зарабатывал в месяц по триста — четырехста рублей, каждый имел соток семьдесят огорода, все держали по две-три свиньи, по корове и телке, каждый был искусным рыбаком и охотником, каждый держал в доме неработающих, гладких баб, каждый имел по большому дому, построенному чуть ли не задаром.

Семеро из мужиков — бывшие уголовники. В каких только тюрьмах не сидели, чего только не повидали, каких статей Уголовного кодекса не попробовали, а вот за Тагар зацепились, и каждый из семерых лезет бить морду, если напомнишь о прошлом.

В этом месте повествования автор снова останавливает сказ о настоящем, чтобы заглянуть в прошлое инженера Прончатова, вспомнить о том, как девять лет назад на рейде появилась брандвахта. Ее, то есть брандвахту, привели...

СКАЗ О ПРОШЛОМ

Брандвахту на рейд привели утром, часов в шесть, когда ночная бригада закончила грузить металлическую баржу «Весна», а сменный инженер Олег Прончатов искал укромное местечко, чтобы спрятать в него молодой, неистребимый сон. Однако он не успел и прикорнуть в уголочке, как раздался синий рев буксирного парохода «Гвардия», по реке гулко прокатились удары пароходных плиц, тоненькие звоночки, и вслед за буксиром явилась эта самая брандвахта, покрашенная желтой краской, пузатая и неопрятная, как уличная торговка. Брандвахты на погрузочном рейде презирали, считали их посудинами самого низкого пошиба, и Прончатов, поглядев на нее мельком, зевнул. «У, купчиха толстомясая!» — подумал он.

Потом сменный инженер заметил на брандвахте странное: на коротенькой носовой мачте висела калоша и драные подштаники синего цвета. Прончатов еще не успел властью удивиться этому обстоятельству, как на борт брандвахты вышли трое мужчин, опершись на перила и лениво переговариваясь, стали глядеть на тихий утренний берег. До пояса мужчины были голыми и так густо татуированными, что Прончатов невольно остановился, подумав: «Вот тебе и купчиха!».

Когда буксир причалил судно и, шипя паром, отошел, брандвахта начала постепенно оживать: сначала выбрались из трюма еще трое мужчин, потом показались четверо, а затем мужчины, словно тараканы, стали выползать изо всех дверей, люков и щелей брандвахты. Человек двадцать пять мужиков вышло на борт кургузой посуды. Только после всего этого Прончатов заметил, что на брандвахте нет шкипера. Вот тогда он понял, что за брандвахта пристала к берегу — на ней сплавной трест

доставил новое рабочее пополнение, так как во всей стране проходила амнистия тысяча девятьсот пятьдесят третьего года.

Брандвахта до восьми часов утра довольно спокойно стояла у причала, но в начале девятого начали происходить события. Первым на берег сошел здоровенный бородатый мужчина в трусах и с красной косынкой на шее. Под нахмуренными бровями мужчины слегка улыбались умные прозрачные глаза, подбородок был выставлен, как сапожная колодка, а плечи и спина обросли густыми черными волосами.

Сходя с брандвахты, он за спину сказал:

— Шнырь пойдет со мной, остальные — сидеть!

Спустившись по трапу, бородатый бесшумно подошел к двум хорошо вооруженным милиционерам, которые на него смотрели не то со страхом, не то с удивлением. Им бородатый мужчина сделал ручкой, шаркнул ногой и очень вежливо сказал:

— Да, товарищи лягавые, с нами плыли два мильтона! Эй, на броненосце, выпускайте лягавых!

На брандвахте загрохотали, заголосили, застонали от восторга, а когда все это кончилось, в дверном проеме появились два человека, похожих бог знает на что: во-первых, лица у них были густо вымазаны сажей, руки связаны за спиной, во-вторых, на шеях болтались пустые кобуры от наганов, из которых торчали порожные водочные бутылки.

— Африка пробуждается! — пояснил бородатый. — Вернуть артиллерию государству!

Тотчас из-за его спины вынырнул вертлявый и гундосый, неся на отлете два пистолета, с ужимками и прыжками вручил их милиционерам.

— Приказанье исполнено! Патроны вынуты.

Все это происходило на глазах сплавконторского начальства, которое к восьми часам утра изволило прибыть, чтобы полюбоваться на новое рабочее пополнение. Понятно, что среди руководителей с улыбкой на лице стоял сменный инженер Олег Прончатов.

Подходя к начальству, бородатый мужчина доброжелательно шурился на божий свет. Казалось, что ему понравилась белая и легкая тагарская церковь, стоящая в трехстах метрах от берега, произвела впечатление многоэтажность штабелей леса, приятно поразило то обстоятельство, что начальство его ждет. Поэтому бородатый мирно подошел к сплавконторскому руководству, поправил красную косынку и сказал отменно вежливо:

— Гражданам начальникам привет! — Он ткнул себя пальцем в волосатую грудь. — Ответственный за доставку рабочей силы, гражданин Петр Александрович Сарычев. Шнырь, поклонись гражданам начальникам!

Низкорослый и мрачный Шнырь вышел несколько вперед, стеснительно оглядел начальство, попятился как бы от страха и низким голосом пророкотал:

— Здорово, лягаши!

После этого Сарычев и мрачный Шнырь на глазах удивленного начальства сели на бревна, положили ногу на ногу, и бородатый начал добродушно щуриться на присутствующих. Ему определенно нравился директор сплавконторы Иванов, был приятен замполит Гусев, заставил улыбнуться механик Пикарский, но вот Олег Прончатов у бородатого вызвал такое неудовольствие, что он обернулся к адъютанту и сказал:

— Ты видишь, Шнырь, этого красавчика? Запомни его: уж очень смело он на меня смотрит. Ты ему, Шнырь, вечером объясни, что к чему...

— Где милиция? — вдруг рассвирепел замполит Гусев. — Я вас спрашиваю: где милиция?

— Милиции нема! — меланхолично ответил Шнырь и пояснил: — Милиция обратно в Африку уехала.

Так оно и оказалось. Когда пораженное сплавконторское начальство бросилось к причалу, то увидело, что оба поселковых милиционера густо намазаны сажей, связаны и посажены вместе с сопровождающими милиционерами на корму дебаркадера, незаряженные пистолеты лежали рядом с ними. Возле областных и тагарских милиционеров расхаживал полуголый уголовник, держа на манер ружья палку.

На завлекательное зрелище собрался полюбоваться почти весь Тагар. Как стрижи на проводах, густо облепляли кромку берега ребятишки, терпеливо стояли на яру молчаливые деревенские женщины, сдержанно галдели солидные мужики. Первая смена, естественно, работала плохо: половина бригады грузчиков торчала на берегу, сортировщицы, воспользовавшись суматохой, смылись в сельповский магазин за покупками, а мастер первой смены Чухломцев, надорвав горло, сидел в одиночестве на кнехте пустой баржи.

— Надо посоветаться, товарищи! — тихо сказал директор конторы Михаил Никсалаевич Иванов и поблелел щеками. — Не дошло бы дело до самосуда! Если амнистированные окончательно распоясаются, поселок бросится на них...

Но амнистированные не распоясывались. Сарычев и Шнырь поднялись с бревен, чинно подойдя к начальству, потребовали еды и денег на карманные расходы. При этом бородатый вынул из-за резинки трусов внушительную бумагу с печатями и помалял ею:

— Все по форме, граждане начальники! Совершенно уверен, что распоряжение Советской власти вы выполните. Я верно рассуждаю, Шнырь?

— Так точно!

После этого сплавконторское начальство несколько секунд постояло на месте в молчании, потом директор Иванов жестом пригласил товарищей следовать за ним и при этом как-то странно улыбнулся, словно его не беспокоило поведение амнистированных. Сам директор пошел позади всех, но потом догнал Олега Прончатова и о чем-то начал шептаться с ним.

А в Тагаре начали вершиться дальнейшие события.

Первые тревожные сведения поступили из орсовского магазина. Именно сюда в половине девятого вошли два вполне одетых амнистированных и чинно встали в очередь. Один из них с продавщицей Веркой начал шутить.

— Какая вы будете из себя раскрасивая красавица! — говорил он, снимая шляпу и водя ею над головой так плавно, что казалось, будто шляпа плавает. — Нельзя ли будет с вами познакомиться? Меня, например, зовут Жора, а моего напарника будут звать... Коля, где же ты есть?

Оказалось, что Коли в очереди нет, а у Глазковых со двора пропало три пары хорошего мужского белья, которое спокойно сушилось на веревке. Причем сама старуха Глазкова клялась, что безвылазно сидела на крыльце, убаюкивая младшего правнука Сережку. Правда, позднее она призналась, что ей в какой-то из моментов примстилось, будто в голове пошел туман-туман, глаза застило слезой, и от этого в них вроде бы круги, круги, круги...

— Это он, проклятуший, наводил, портил меня, бабоньки! — говорила Глазкова, а три пары хорошего мужского белья как корова языком слизнула.

Вот какое вопиющее безобразие творилось в самом центре поселка Тагар, а что касается окраин — здесь тоже спокойствия не было. Во двор к Пименовым, например, вошел тихий, средних лет человек. Сняв с головы сиротскую кепчонку, слабым голосом попросил старика Пименова напоить водичкой. Скучающий дед очень обрадовался незнакомцу, пригласил его пройти в горницу и сесть на лучшее место, охотно разговорился.

— Вы из каких себя оказывать будете? — спрашивал культурный дед, значительно мигая левым глазом. — По обличью на колхозного трудящегося вы не оказываете. Не есть ли вы человек, который из городу?

— Так точно, из его, — отвечал незнакомец. — В городе, дед, теперь такая мода пошла, что многие варят брагу или гонят самогонку.

— Ну! — радостно сказал дед. — Я вас сразу проник. Ежели человек сам грамотный, то и в другом грамотность понимать может...

Дед полез в подполье за брагой, нацедил ее полный ковш, а когда поднялся наверх, увидел, что городской гость ушел, да не один — увел с собой из сундука отрез голубой шерсти, кото-

рый невестка старика ладила на вечерний костюм с белой отделкой. Так что ровно через час на дворе у Пименовых была большая суматоха; дед кричал и разводил руками, сын искал патронташ от ружья двенадцатого калибра, а невестка отчаянно кричала:

— Слепешарая кочерга! Поменьше бы свои газеты читал!

Самая же потрясающая новость из конца в конец обежала поселок ровно в два часа дня. Тот самый Жора, что шутил с продавщицей Веркой, женился на приемщице маслозавода Любке Исаевой — бабе очень толстой. Произошло это дело так.

Съев сто граммов купленного в сельпо мармелада, Жора почувствовал тягу к молоку и по этой причине забрел на молокозавод, где Любка Исаева, шибко нагнувшись, доставала из колодезя-журавля воду. Платье у нее и так было короткое, а тут еще тужилась внаклонку. В общем, Жора сел на сосновую колоду, достал из кармана засаленные карты и угасающим голосом сказал:

— Какая вы будете из себя раскрасивая красавица! Дай, золотко мое, погадаю. Всю правду расскажу, всю твою судьбу раскрою. Эх, жизнь ты моя цыганская, эх, залетные мои! Сижу я, красавица, а сам падаю! Пронзила ты мое сердце. Люби меня, как я тебя...

На Жорин лоб опускался черный кудрявый чуб, над губой у него колечками завивались усики, в ухе была серьга, а карты так и летали в тонких пальцах. Посмотрев на это, Любка Исаева голосисто засмеялась, опустив подол, подошла к Жоре и села рядом на колоду.

— Я ведь тебя, родимый, задавлю, ежели чего! — ласково сказала Любка Исаева. — Для меня ни один мужик в деревне не подходящий, как я сто тридцать килограмм тяну.

— Жениться хочу! — сиплым от волнения голосом ответил Жора и стал быстро раскидывать карты. — На сердце у тебя, красавица, трефовый король, в голове у тебя — бумага, чем сердце успокоится, сам сказать боюсь. Держи меня: падаю!

Через час Жора сидел в Любкином доме, заткнув за воротник вышитое украинское полотенце,пил крепкий самогон и самодовольно поглядывал на печку, куда Любка загнала тетку, у которой проживала. Тетка с печки сверкала глазами и громко призывала на голову Жоры все напасти. Жора вежливо слушал ее, но время от времени говорил:

— Ты, бабка, лучше спой! Я, когда пьяный, песни люблю.

Любка и Жора поженились в третьем часу дня, а в шесть вечера брандвахта медленно и верно перепилась. Сначала амнистированные буйствовали внутри судна, потом стали понемножку выползать на борта, появилась украденная в поселке гитара, которую держал в руках тоненький паренек с одухотворенным лицом. Пощипывая струны, он томно глядел на раннюю луну и пел приятным голосом: «Будь проклята ты, Колыма, что

названа чудной планетой...» Слушая его, амнистированные грусти-ли, затем все дружно опять спустились в трюм, а через пол-часа появились снова, абсолютно пьяные.

Они поднялись наверх с ликующим воем, они гундосили, как стадо разгневанных слонов; их глаза были по-бычьи налиты кровью, они качались, норовя упасть в воду, они шевелились на палубе злобным клубком грязных, налитых водкой тел, и толпа тагарских зевак подалась вперед, когда, мешая друг другу на узком трапе, амнистированные ринулись на берег. Брандвахта наклонилась, но вдруг все остановилось, замерло.

— Полундра! Берегись, громодяне! Лягаши!

Это амнистированные все-таки заметили, что толпа на берегу вдруг раздалась, ее, как волосы гребень, прочесала цепочка мужчин, которые шеренгой вышли вперед и остановились. Это были грузчики третьей прончатовской смены, и, естественно, позади шеренги стоял сам Прончатов и сдержанно улыбался. Рабочие вели себя спокойно, покачиваясь с ноги на ногу, посмеиваясь, с интересом глядели на брандвахту. Как выяснилось, амнистированных было двадцать семь человек, и рабочих Пронча-тов привел двадцать семь человек, причем в центре шеренги стояли Самохин и Почучуев — в прошлом взломщики, переко-вавшиеся на сплавконторских хлебах. Стояли на берегу и чет-веро милиционеров, которых амнистированные отпустили.

— Эй, на корабле! — весело крикнул Прончатов. — Высадка десанта отменяется!

Немного отрезвев, амнистированные грозно молчали. Уже дважды осколочками зеркала блеснули ножи, бородатый Сары-чев выдвинулся вперед. Уголовники молчали только потому, что вели подсчет сил, прикидывали, что получится, если схлестнут-ся берег и брандвахта. В общем тяжело, напряженно было на берегу и брандвахте, сам бог, наверное, не знал, чем это все кончится, но вдруг произошло выдающееся событие: из ше-ренги сплавконторских выскочила заспанная Любка Исаева, потрясая над растрепанной головой толстыми руками, с хриплым криком бросилась к брандвахте.

— Распроклятый цыган! — вопила Любка. — Две юбки унес! Ворюга!

Любка на большой скорости пролетела мимо Прончатова, вскочив на трап, сбила с позиции бородатого Сарычева и пря-мым путем вцепилась в волосы Жоре, не успевшему из-за силь-ного хмеля скрыться в трюме. Любка истошно вопила и пучка-ми выдирала жидкие волосенки возлюбленного.

На берегу и на судне начался большой хохот. Сам Петр Александрович Сарычев, перегнувшись, лег хохотать на леер брандвахты, его гундосый помощник Шнырь катался у кнехта, а все остальные амнистированные смеялись так неорганизован-но, что брандвахта стала опасно покачиваться, хотя была креп-ко принайтовлена к дебаркадеру. Сплавщики на берегу тоже

заходились от хохота, толпа зевак визжала радостными детскими голосишками.

— Юбки отдай! — кричала Любка, общупывая Жору. — Положь юбки на место, цыган проклятый!

Любка Исаева придушила бы несчастного Жору, если бы амнистированные не догадались в восемь рук оттащить ее, хотя это было нелегко: лютая женщина их дважды раскидывала. Поддалась Любка только тогда, когда вмешался совершенно трезвый Петр Александрович Сарычев. После этого они вытолкали Любку с брандвахты, а общипанный Жора под хохот ссыпался в трюм.

Когда люди на берегу и судне немного прохотались, а Любка Исаева совершенно охрипла и села на землю отдыхать, Олег Олегович Прончатов подошел к трапу, воспользовавшись веселой обстановкой и благодушным амнистированных, завел с Петром Александровичем Сарычевым мирный разговор.

— Не надо нам ссориться, любезный! — добродушно сказал Прончатов. — Ставь своих ребят на погрузку, три тысячи в месяц на нос обеспечено. Каждым двоим — комната в общежитии, через год надбавка, двухмесячный отпуск. Шнырь на будущий год в Крым поедет!

— Хорошо объясняешь, красавчик! — тоже радушно ответил Сарычев. — А меня в президиум?

— Как же, как же... На доску Почета!

— Ну, уговорил... Да ты проходи на брандвахту, красавчик, гостем будешь.

Тут и случилось такое, что толпа на берегу охнула. Прончатов бодреньким шагом взбежал на трап и встал рядом с бордатым. Они весело улыбнулись, а поулыбавшись, начали колотить друг друга ручищами по плечам с таким видом, точно дружили сто лет и наконец встретились после долгой разлуки.

— Любезный! — говорил Прончатов.

— Вашество! — отвечал Сарычев. — Ваше превосходительство!

Сменный инженер и главарь уголовников обменивались любезностями, хохотали театрально, а амнистированные начали потихонечку окружать их. Они оттеснили Прончатова от борта, осторожно подталкивая плечами, загнали на кормовую площадку, и здесь круг замкнулся. Теперь уж не два ножа, а все десять сверкнули в лучах заходящего солнца, раздался приглушенный разбойный свист, угрожающе прошелестели голоса. Шеренга рабочих на берегу резко подвинулась вперед, женщины в толпе заойкали, мальчишки испуганно сбились в стайку. Однако на берегу ничего особенного не произошло, так как внезапно раздался громкий голос Прончатова.

— Есть предложение открыть митинг! — закричал он. — Будут возражения?

— Нет возражений! — громко ответил Сарычев. — Сыпь, громодяне, в трюм!

Как раз в этот миг на западе нечез золотой ободок солнца, по воде и по небу трепетно пробежал зеленый луч, и почудилось, что где-то далеко-далеко прозвучал печальный звук пастушьего рожка — это спряталось за кедрячи солнце. Прошло еще несколько секунд, и мир переменял краски: лицо Прончатова, окруженного амнистированными, из белого сделалось смуглым, деревья из зеленых — синими, а небо цвет утратило совсем.

— Айда в трюм! — прежним голосом крикнул Прончатов, оглядываясь на молчаливую шеренгу рабочих. — Спокойно, ребята!

Похожий из-за шпангоутов на скелет огромного доисторического животного, освещенный колеблющимся светом стеариновых свечей, пропахший водкой и потом, трюм был просто-напросто страшен. На деревянных ящиках стояли бутылки и стаканы, лежали объединенные селедки, по бортам и по потолку шастали живые изогнутые тени, все сплошь безголовые, так как трюм был низок. Только в восточной сказке или в страшном сне могли быть такими бледными и рельефными лица людей, такая зловещая тишина могла стоять там, где собралось двадцать семь человек.

Прончатов осторожно сделал несколько шагов назад, покосившись на Сарычева, почувствовал спиной, как наваливаются на него горячие, возбужденные водкой и видом ножей люди. Он понимал, что достаточно неосторожного слова или нерасчетливого движения для того, чтобы вопящие амнистированные бросились на него. Опасность была повсюду, но самыми страшными были те из амнистированных, которые сопели и шептались за спиной. Поэтому Прончатов, укоризненно покачав головой, сказал:

— Ай, ай, как не стыдно, дорогой Петр Александрович! Хорошо ли человеку, если у него стоят за спиной? Ай, ай!

Сразу же после этого из-за спины Прончатова вышли Шнырь и белобрысый толстяк, сделав три шага вперед, с непроницаемыми лицами стали глядеть на Олега Олеговича, причём Шнырь взвешивающе держал на ладони раскрытый нож, а белобрысый поигрывал здоровенным сапожным шилом. Тогда Прончатов сделал еще два шага назад, облегченно прислонившись спиной к лестнице, полушутливо сказал:

— Надо бы поработать, граждане! Конечно, от работы конидохнут, но неплохо бы немного пожить и на воле.

Говорить Прончатов начал громко, первую фразу даже выкрикнул, а вот последние слова произнес так тихо, словно к чему-то прислушивался. Видимо, молодой инженер и на самом деле что-то услышал, так как ораторским жестом вскинул руку,

прищурился остро и вдруг закричал так громко, словно выступал на городской площади:

— Вот вы молчите, граждане амнистированные, а правда на моей стороне. Кем вы были, граждане, и кем можете стать? Вы были справедливо осуждены за различные преступления, понесли заслуженное наказание, а вот теперь вы свободны. Разве не правду я говорю?

Голос Прончатова крепчал, глаза сверкали, руки в воздухе выделявали бог знает что, а бородатый Сарычев на него смотрел удивленно, словно бы не узнавая. Он даже подался вперед, насторожившись, следил за каждым движением молодого инженера.

— Разве я не правду говорю, граждане амнистированные? — разорялся Прончатов. — Ну, вот кто есть Жора, которого бьет женщина? Он, товарищи, мелкий вор и получил по заслугам. Не воруй, паразит, не кради бабьи юбки, а работай, падла! Вот так стоит вопрос, граждане!

Прончатов для нападок потому выбрал общипанного Жору, что еще на берегу видел: к рыжему парню уголовники относятся насмешливо, несерьезно; он явно среди настоящих «урок» был парией, но все равно прончатовский выпад вызвал бурю.

— Кто это падла? — обморочно закатив бархатные глаза, завопил Жора. — Ты кого, сука, называешь падлой? Корешки, вы слышите, что говорит этот фраер?

Сначала трюм глухо и ровно заревел, потом поднялись ноги, общий шум разделился на отдельные голоса. Среди общего шума опасно выделялось спокойное молчание Сарычева и Шныря — они стояли как бы отдельно от толпы, трезвые, поглядывали по сторонам, принимались, прислушивались. Этого Прончатов испугался больше, чем рева толпы, и поэтому закричал, сколько было моченьки:

— Не будем считать обиды, граждане, не будем! Мы приветствуем вас всем дружным коллективом. Я кричу: «Ура, товарищи, ура!» Пусть нас объединит единый созидательный труд!

Своим трубным, могучим голосом Прончатов перекрыл вой амнистированных, перекричал всех горластых, а сам напряженными ногами старался уловить покачивания брандвахты, сквозь оглушительный вой пытался услышать посапывание рейдового буксира «Калининград». Звуки судна он, конечно, не мог услышать, а вот трепетный ход днища уловил. «Вышли на старпучу!» — обрадовался Олег Олегович и еще громче заорал:

— Пусть живет!

Когда Прончатову не хватило воздуха, а амнистированные, пораженные мощью его глотки, удивленно притихли, он крик оборвал так резко, что у самого зазвенело в ушах. Секунду-две Прончатов в тишине глядел прямо перед собой, вдруг пораженный неправдоподобием совершающегося. Не могло быть на свете трюма, похожего на скелет животного, на теле живого чело-

века не могло помещаться столько татуировок, сколько было на белобрисом уголовнике, а в воздухе не могло содержаться столько винных паров, столько было в трюме. «Нет, нет, все это мне снится!»— мгновенно подумал Олег Олегович, и как раз в эту секунду снаружи донеслись три тоненьких протяжных гудка. В тишине они прозвучали резко, словно удары бича; эхо от них прокатилось по реке, уйкнуло, и по времени продолжительности эха Прончатов понял, что брандвахта находится там, где ей положено быть.

Судорожно передохнув, Прончатов выпрямился, замер, так как увидел, что Сарычев втягивает голову в плечи, словно готовится к длинному косому прыжку. Тогда Олег Олегович спиной еще раз ощутил спасительную твердость лестницы, набрав в грудь побольше воздуха, бешено взревел: «Пусть живет!»— и, разогнувшись пружиной, сделавшись стремительным комком мускулов, отпрянул к люку. Воспользовавшись секундным опозданием Сарычева и замедленной растерянностью пьяных амнистированных, Прончатов мгновенно выскочил на палубу брандвахты, с криком бросился в воду, где сильное течение обской старицы мгновенно отбросило его к рейдовому буксиру «Калининград», который потому и дал три тоненьких гудка, что отбуксировал брандвахту на километр от пристани.

— Пусть живет! — счастливым мальчишеским голосом вопил Прончатов, когда его за руки выволакивали на борт буксира. — Пусть живет!

На брандвахте тоже кричали ужасными протрезвевшими голосами, так как действительно положение амнистированных было сложное: буксир вывел брандвахту на плес, ширина которого состояла из обской старицы и реки Кети, так что целый километр воды отделял посудину от Тагарской пристани, метров четырехста оставалось до другого берега, где стеной поднимался непролазный кедрчак.

Когда амнистированные, освоившись с обстановкой, от ярости замолкли, мокрый, но веселый Прончатов приказал капитану «Калининграда» приблизиться к брандвахте и так работать колесами, чтобы держаться на месте. Приказание сменного инженера было выполнено, и Олег Олегович, небрежно держась руками за леер, с высоты капитанского мостика с амнистированными заговорил укоризненным тоном.

— Пить надо меньше, мальчики! — грустно пожав плечами, сказал он. — А вы, Петр Александрович, тоже... — Он махнул рукой. — Неужто не понимаете, что путь таких митингов — гибельный путь?!

Наклонив брандвахту на правый борт, с красными от заката лицами и выпученными глазами стояли двадцать семь амнистированных и по-настоящему внимательно слушали молодого красивого инженера.

— План, граждане уголовники, простой, — вразумительно

объяснил Прончатов. — Сломить вас голодом! На правый берег вы не подадитесь — там гибельные Васюганские болота, на левый берег — пожалуйста! Первый, кто доберется вплавь, получит обед и направление на отдаленное плотбище... Впрочем, прошу не плавать! Утонете, как котят! Желаящим высадиться на берег будет подаваться лодка... Петр Александрович, а Петр Александрович, хорош планчик?

«Калининград» добродушно шипел паром, выглядывали из иллюминаторов ухмыляющиеся рожи речников, старенький капитан беззвучно тряся в хохоте возле рубки, вытирая глаза большим носовым платком. С Прончатова на палубу лились потоки воды, но голос его был ясен.

— Петр Александрович, а Петр Александрович! — позвал он. — Чего же молчите? И где ваш верный Шнырь, которому было приказано вечером побеседовать со мной? Почему он молчит, отчего не беседует? А, Петр Александрович!

...Кончая сказ о прошлом, автор напоминает, что в настоящем Прончатов приехал на Пиковский погрузочный рейд, обнаружив беспомощность начальника Куренного, сам пошел к рабочим, которые, бездельничая, лежали на траве. Среди них было семеро из тех, кто прибыл в Тагар на брандвахте, и теперь Олег Олегович, глядя на них, просто диву давался: где оставили прошлое?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗА О НАСТОЯЩЕМ..

«Ах, черт вас побери!» — подумал Прончатов и сделал шаг вперед, чтобы быть совсем близко от рабочих.

— Ну, загорайте, загорайте! — обидным тоном, явно напрашиваясь на драку, продолжал Прончатов. — Дозагораетесь: сниму прогрессивку!

Эх, как всполошились! Вскочили с теплой травы, поигрывая потными мускулами, бросились к Олегу Олеговичу, окружили так плотно, точно арестовали, а закричали-то хором, как детский сад на лужайке:

— Не имеете прав! Куда Коренной смотрит? Нас на понт не возьмешь, начальник! Несправедливо, Олег Олегович! Разве мы в том виноватые... Не снимешь прогрессивку, Прончатов! Прончатов и бровью не повел.

— Прокричались? — вежливо спросил он, когда шум немного утих. — Продрали горло? А ну, шагайте за мной!

После этого он неторопливо стал выбираться из обступившей его толпы. Прончатову пытались преградить дорогу, но он могучими руками отставил в сторону одного, плечом отпихнул другого, локтем отстранил третьего. Ни разу не оглянувшись, посмеиваясь себе под нос, подчеркнуто не интересуясь тем,

идут ли за ним рабочие, Прончатов вальяжной походочкой направился к нижнему складу Пиковского леспромхоза. Он по тропочке обошел эстакаду, балансируя руками, по бревнам выбрался к железнодорожному тупику, возле которого — точь-в-точь сплавконтторские — лежали на травке леспромхозовские рабочие.

— Здорово, ребята! — мельком сказал им Прончатов. — Помогите-ка нам!

Не дожидаясь ответа, он пошел дальше и метров через сто увидел узкоколейный паровоз, сошедший с рельсов. Здесь Олег Олегович остановился, задрал на лоб брови, критическим взором окинул паровоз. Картина на самом деле была непривлекательная: сошедши со стрелки, бедолага-паровоз глядел на человечество виновато перекошенными фарами, жалкий парок тонкой струйкой поднимался из похилившейся трубы, а правые колеса беспомощно висели в воздухе. Рядом с паровозом сидел на земле грустный машинист и покусывал молодыми зубами горькую травинку.

— Здорово, Петя Самохин! — насмешливо сказал ему Прончатов. — Скучаешь?

— Кран жду!

— Жди, жди...

Олег Олегович спиной чувствовал, как приближается толпа рабочих, как наплывает на него нервное людское ожидание; потом толпа остановилась, дыша напряженно, притихла. «Ну, ну, голубчики!» — неопределенно подумал Олег Олегович, а сам неторопливо прикидывал вес паровоза, определял на глаз угол наклона, интересовался профилем откоса, который мог помешать подвести слезы. Напряженно считая в уме, он делил вес паровоза на количество рабочих рук, вводя поправочный коэффициент наклон и остатки воды в тендере, соображал, хватит ли силенок. При этом он вполголоса бормотал:

— ...угол... наклон... а?

Паровоз дышал мягким паром, из поддувала простреливали искры; паровоз лоснился, как загнанный конь. Ей-богу, жалость, сострадание вызывал он, этот паровоз, не сумевший довести до разгрузочной эстакады двенадцать сцепов отборного судостроя. «Ничего, голубчик, ничего! — весело думал Прончатов, продолжая считать. — Нужно поднять только переднюю тележку, параллелограмм сил в данном случае распределяется выгодно, центр тяжести переместился вперед, но... Ой, не опозориться бы, дорогой Олег Олегович! Ой, гляди в оба!»

— Надо поднять паровоз! — наконец легкомысленным тоном сказал Прончатов. — Прошу товарищей рабочих приблизиться.

Человек сорок стояли за спиной Прончатова, выстроившись полукольцом, поглядывая на горячую махину с недоверием: конечно, паровоз узкоколейный, конечно, он много легче

обычного, но поднимать паровоз руками, вздымать на плечах... Черт его знает, а! Поднимать паровоз, а!

— Десять человек к предохранительной решетке, десять — к тележке с одной стороны, десять — с другой! — уже покрикивал Прончатов. — Анисимов, Мурзин, становитесь к решетке! Свищев и Подпругин, заходите справа... Леспромхозовские, какого рожна стоите, апостолы!

Черт его знает что! Посмеиваясь, недоверчиво пожимая плечами, рабочие один за одним подходили к паровозу, опасливо притрагивались к горячему металлу. Черт его знает что! Этот главный инженер Прончатов, его лихие глаза, ослепительно белая рубашка, тугой подбородок, похожий на луковку. Ох ты, мать честная, черт знает, что делается...

— Мурзин, намазанный, сухой, — покрикивал Олег Олегович. — Мурзин, не за пуп держись, а за паровоз! Свищев, не на пузо бери, а на плечо... Давай, ребята, давай готовься! Ну, все взяли?

Рабочие облепили паровоз, словно мухи пряник, на солнце пошевеливались, переливались коричневым голые спины; невероятная была картина, даже смешная тем, что паровоз стал еле виден: торчали только половина котла да труба.

— Приготовились! Раз-два... Взяли!

Паровоз медленно приподнялся, повисев в воздухе, подался вправо и с легким стуком стал на скаты. Секунду стояла тишина, в которой слышалось шипение пара, потом сорок глоток издали радостный, торжествующий крик. Услышав его, Олег Олегович неторопливо повернулся, хмыкнув, легкомысленной походкой пошел от паровоза. По пути Прончатов нагнулся, подняв с земли ивовый прутик, пошел дальше с ним. Прутиком он помахивал во все стороны, свистя им, шелкал себя по длинной ноге и был весь несерьезный, фатоватый такой, а шум и радостный вопль рабочих за своей спиной старался не слушать.

Прончатов шел и думал философски: «Нет, брат, рабочие любят не того, кто сюсюкает с ними, не того, брат, кто обнимается... Дело надо знать, дело!» Спиной он, конечно, чувствовал, что сплавконторские мужички следуют за ним почтительной стайкой, а кося глаз, видел, что на рейде происходят события не менее значительные. «А, почуяли, что жареным пахнет!» — сдержанно подумал Прончатов, нагоняя на лицо непроницаемое, сухое выражение.

На берегу возле начальника рейда Куренного стояли начальник планового отдела сплавконторы Поляков, парторг товарищ Вишняков, главный механик Огурцов Эдгар Иванович. Они стояли и молча глядели, как приближается главный инженер, на белоснежной рубашке которого расплывалось безобразное мазутное пятно: паровоз таки пометил рубаху! Спутанные волосы Прончатова липли на потный лоб, движения были медленные, значительные, такие, какие может иметь только хорошо

поработавший человек. Шел Олег Олегович вроде бы ко всему сплавконтторскому начальству, но смотрел только на Куренного, к нему обращал свой властный, нахмуренный взгляд и мазутное пятно на белоснежной синтетической рубаше. Подойдя к начальственной группе, Прончатов, не здороваясь, покачал головой и сухо сказал:

— Простой отнесу на ваш счет, товарищ Куренной! Добрый день, товарищи!

Олег Олегович поздоровался с коллегами-руководителями только потому, что не считал нужным видеть, как Куренной краснеет пятнами. Мало того, через секунточку взбешенный начальник рейда начал злобно трясти головой.

— Не выйдет, товарищ Прончатов! — прохрипел Куренной. — Самоуправство! Бюрократизм!

Олег Олегович усмехнулся: ишь сермяжный мужичок! Когда выгодно, с придыханием цедит: «Этого мы не понимаем, мы народ простой!» — а когда припекло, кричит: «Бюрократизм!» Знает, шельма, иностранные словечки, подначитался законов и постановлений, а сам глядит на парторга Вишнякова так, словно ждет помощи. И для этого есть основания: спелись они с парторгом, живут душа в душу, ждут не дожудяся приезда нового директора — Цветкова. Вишняков, Цветков — оранжерея...

— Товарищ Поляков, — официальным тоном обратился Прончатов к начальнику планового отдела. — Прошу завтра просчитать сумму убытка и предъявить товарищу Куренному.

Он произнес эти слова начальственно, властно, но все-таки с внутренней тревогой вцепился взглядом в плановика — чем черт не шутит, может быть, что-нибудь переменялось, может быть, и Поляков уже перекинулся на сторону Вишнякова?

— Хорошо, Олег Олегович! — медленно ответил плановик. — Ко второй половине дня сумма будет выявлена.

Мрачная туча что-то не решалась наползти на солнце; ветер, видимо, был слабый, медленно подталкивал тучку, и она висела неподвижно, бросая резкую тень за старицу, за луговые озера и синие кедрачи. А здесь было солнце, синий ветер, перекатывалась под яром коричневая кетская вода.

Прончатов сдержанно молчал. Было приятно, конечно, что Поляков поддержал его, но было интересно знать, отчего не вмешивается в драку парторг Вишняков и что думает о происходящем беспартийный гражданин Огурцов Эдгар Иванович — на диво умный, толковый и энергичный человек. Поэтому Олег Олегович повернулся именно к нему, посмотрел на механика пронзительно, но ничего не понял по значительному и своеобразно красивому лицу Огурцова. За кого он, на чью сторону встанет? Но, как бы там ни было, смотреть на молодого механика приятно, дело иметь с ним интересно, а еще любопытнее подразнивать Огурцова. А ну, попробовать и сейчас...

— Эдгар Иванович,— вежливо улыбаясь, сказал Олег Олегович. — Эдгар Иванович, было бы хорошо, если бы вы обратили внимание на машинную часть лебедки. Грязь!

После этих слов Прончатову на берегу было делать нечего, и верный Ян Падеревский, правильно уловив модуляции прончатовского голоса, уже приближался. Почтительно поклонившись начальству, пробормотав под нос: «Прошу извинения!» — он вслух почтительно сказал:

— «Двочка» готова, Олег Олегович!

Умница Ян, голова, дипломат высшего класса! Ни секундошки, ни щелочки в прончатовском времени не оставил он взбешенному начальнику рейда Куренному и удивленному механику Огурцову — Куренной судорожно передохнул, а Эдгар Иванович даже не успел открыть рот для умопомрачительно вежливого ответа.

— Прошу на катер! — гостеприимно разведя руками, пригласил Олег Олегович начальника планового отдела и парторга, хотя видел, что они приехали на полуглиссере. — Прошу, прошу, товарищи!

Однако парторг Вишняков на катере ехать не захотел, механик Огурцов вынужден был оставаться на рейде, чтобы навести порядок в машинном отделении. Так что на «Двочку» поднялись трое: Прончатов, Ян Падеревский и плановик Поляков. Они еще не успели отчалить, как начальник рейда подбежал к парторгу, Вишняков наклонил к нему ухо, они заговорили, зашептались, а механик Огурцов с улыбчатой бодростью побежал на лебедку.

— Славно! — сказал Прончатов.

«Двочка», набирая скорость, все глубже погружалась кормой в воду, задирала нос, вздымая гордый флагшток, вниз по течению неслась с такой скоростью, что ветер резал лицо. Несмотря на темное облако, воскресный Тагар все еще нежился под солнцем на пляже, шумно купались у берега мальчишки, играли в волейбол парни, а на той части пляжа, где песчаная коса выдавалась далеко в реку, стояла одинокая женщина. «Она!» — спокойно подумал Олег Олегович.

Женщина приближалась к «Двочке», росла, проявлялась в цвете, и, когда стали различимы тонкие бретельки на ее круглых плечах, Прончатов внезапно ощутил большой и острый укол под сердцем. Женщина выросла еще, теперь метров двадцать оставалось до нее, и, увидев белую полноту длинных ног, покорно заструганные вниз плечи, Олег Олегович вдруг подумал: «Ой, что будет! Пропадешь, пропадешь, Прончатов!»

— Моя племянница! — за спиной Олега Олеговича гордо сказал плановик Поляков. — Весьма самостоятельная женщина. По профессии врач. Невропатолог.

«Боже, невропатолог! — думал Прончатов. — Боже, весьма самостоятельная!..»

Изогнувшись звездчатым полотном, лежала над Тагаром ночь, луна отдельно от всего великолепия светила на краешке неба, река Кеть изгибалась, золотые облака плыли, когда Олег Олегович вышел из пустой, темной конторы. Остановившись на крыльце, чтобы передохнуть немножко, он помассировал пальцами вечерний воздух, так что пиджак на спине затрещал.

— Красотища, а? — вслух произнес Прончатов, осматриваясь и закладывая руки в карманы. — Черт знает что делается!

Над Кетью, освещенной розовыми всполохами электричества, вилял цепной бутылочный звон работающих на лесозаводе болиндеров, покрикивали тонкими рабочими голосками катера-буксиры, наплывал волнами шмелиный гул лесопильных рам — много звуков бродило, перекатывалось над поселком, и ночь приглушала, приглаживала, нежно смягчала их. На прончатовских часах стрелки показывали уже одиннадцатый час.

Олег Олегович зашагал по направлению к Кети, задумчиво прошел возле белой церкви, поднявшись на деревянный тротуар, проник в узкий переулок, уставленный скамейками, на которых сидели притихшие, залитые лунным светом парочки, тесно прижавшись друг к другу, по-деревенски обнявшись. Он, не глядя по сторонам, прошагал мимо них, погрузившись еще в переулок, добрался наконец до дома начальника планового отдела Полякова, хотя обычным домом затейливый особняк плановика назвать было трудновато: семь комнат, громадная веранда, мезонин с венецианским окном, в саду — можете себе представить! — бетонированный бассейн, всегда наполненный проточной водой.

Три окна особняка сально светились, на крыльце — белая лупочка звонка, под которой эмалированная табличка с забавным текстом: «Глебу Алексеевичу Полякову — один звонок, Людмиле Евсеевне Поляковой — два звонка». Над табличкой, конечно, горела экономичная, подключенная через трансформатор, крошечная электрическая лампочка, под ногами мягко пружинил коврик для вытирания ног, привинченный к дереву фасонными гайками на тот случай, чтобы обычным ключом отвернуть было нельзя.

— Совершим один звонок, — посмеиваясь, пробормотал Прончатов. — Нам к Глебу Алексеевичу Полякову.

Он длинно надавил на белую кнопку звонка и тут же засмеялся, так как желтые окна мгновенно погасли, а в одном из них быстро приподнялась штора, сверкнули квадратные очки — Глеб Алексеевич Поляков высматривал, кого бог несет в этукую поздность. Когда он узнал Прончатова, штора,

запутавшись, упала, в глубине особняка послышались шаркающие, летучие звуки.

— Милости просим, Олег Олегович! — выходя на крыльцо, обрадованно говорил Поляков. — Просим, просим, Олег Олегович!

Пятясь, он провел Олега Олеговича в такой кабинет, где каждая пядь стен и пола была украшена и обставлена коврами, картинами, торшерами, вышивками, полированным деревом и прочей всячиной. Глеб Алексеевич Поляков не пил, не курил, носил старенькие костюмы, отказывал себе в курортах, в командировках умудрялся сутки прожить на три рубля — и все только для того, чтобы набить ненужно громадный дом полированным деревом, собирающими пыль коврами, стеклянными шкафами, из которых музейно глядели дорогие безделушки, а книги в шкафах были набиты так плотно, что ни одну из них выгнать было невозможно.

— Милости просим, милости просим, Олег Олегович!

Садясь в кожаное кресло, Прончатов исподволь посмеивался: его забавлял кабинет Полякова, сам хозяин. Если служащий Поляков ходил по сплавной конторе в задрипанном костюмчике, в латаных-перелатаных ботинках, то дома на нем конфеточной оберткой барственно топорщился шелковый халат с кистями и вышивкой, а на голове — можете себе представить! — сидела шитая золотом тубетейка.

— В этом кресле вам будет покойно, Олег Олегович, — прежним тоном говорил Глеб Алексеевич, закатывая глаза и делая постное лицо. — Сидите, отдыхайте, курите...

Посмеиваясь, Прончатов все-таки удивлялся: другим человеком был Поляков по сравнению с тем, конторским. Халат был нелепым, это правда, но он придавал плановику значительность, смешной казалась тубетейка, но она делала лоб хозяина высоким. А то обстоятельство, что Глеб Алексеевич находился у себя дома, в собственной прочной крепости, придавало ему необычную уверенность. «А ведь Полякову хорошо! — вдруг подумал Олег Олегович. — Вечна эта история чеховского крыжовника...»

— Я вас слушаю, Олег Олегович! — медленно сказал плановик.

— Минуточку, Глеб Алексеевич!

Прончатов задумался. Он, конечно, не мог начать разговор с плановиком без того, чтобы не вызвать в памяти человека, который хочет быть директором Тагарской сплавной конторы, — Василия Ивановича Цветкова... Олег Олегович, точно наяву, увидел серый кабинет, зеленые бархатные портьеры, малиновую дорожку на полу, а за столом человека с большими темноватыми руками.

Василий Иванович Цветков разговаривает с молодым инженером Прончатовым. Он, Цветков, медленно и неторопливо

шевелит большими и широкими губами, тщательно подбирает слова, верный давней привычке, не глядит в глаза собеседнику. Цветков скучен и уныл, как последний осенний дождь, он такой же серый и незаметный, как его кабинет. И слова его скучны, точно подстрочник переводного романа.

Жизнь вокруг Цветкова течет серо и вяло: у его подчиненных скучные глаза, они ходят по коридорам вялой походкой, они разговаривают друг с другом такими же вялыми, стершимися словами, какими сам Цветков говорит с Олегом Прончатовым. И телефоны во всем учреждении звонят тоже вяло, приглушенно, лениво.

Внешне Цветков ни толст, ни тонок, не блондин, и не брюнет, и даже не шатен — у него бесцветные волосы. Он обладает забавным качеством так ловко и быстро осваиваться в окружающей обстановке, что делается незаметным, точно ящерица на серых камнях. Таким образом, когда Цветков молчит, его просто-напросто нет, он куда-то девается, хотя находится в комнате, и, думая об этом, Прончатов всегда представляет, как Цветков стоит в шеренге солдат, возле которой похаживает старшина, которому надо назначить человека в наряд. Будьте уверены, этим человеком никогда не будет Цветков. Его старшина просто не заметит.

Вот каков будущий директор Тагарской сплавной конторы. Вспоминая о нем, Прончатов чувствует, как скулы сводит зевота, как в грудь проникает вялая скука. И это сейчас, когда до Цветкова еще далеко, когда вопрос о его назначении еще не решен. А что будет, когда Цветков придет, когда вяло сядет за стол покойного Иванова, посмотрит скучными глазами на Тагар? Черт побери, невозможно это!..

— Я сразу открою карты, Глеб Алексеевич! — дружелюбно сказал Прончатов. — Мне не хочется, чтобы директором был Цветков: я работал с ним в Нарымской конторе и знаю, что он нам не подойдет.

В торшере горела только одна сорокасвечовая лампочка, от розового абажура на худом лице Полякова лежали розовые тени, длинный, нелепый нос заострялся. «Ничего удивительного!» — подумал Прончатов, так как понимал, что его мирные слова на плановика произвели впечатление выстрела над ухом. И потому он терпеливо ждал, стараясь не смотреть на расстроенного плановика, думал о разной разности. Например, о том, что при стопроцентной северной надбавке — двадцать лет в Нарыме! — Глеб Алексеевич получал ежемесячно около пяти тысяч рублей, имел бесплатный проезд по железной дороге, пользовался ежегодно двухмесячным отпуском. Потом Олег Олегович на секундочку представил, что произойдет с Поляковым, если новый директор Цветков шуганет его на сплавной участок... Что и говорить — плохо будет плановику!

— Минуточку, Олег Олегович,— простонал Поляков,— минуточку!

— Я вас не тороплю, Глеб Алексеевич...

Эта зануда, филистер и педант, этот Глеб Поляков был пронзительно хорошим работником. Если Глеб Алексеевич чего-нибудь не знал о своем деле, то этого вообще никто не знал; плановый отдел у него работал, как хорошо отлаженное электронное устройство, работники отдела ходили по половичку, все новости экономической науки Поляков скарредно собирал. Не было второго такого плановика в области, и Прончатов втайне гордился Глебом Алексеевичем.

— Еще одну минуточку, Олег Олегович,— взволнованно попросил Поляков. Вынув из кармана халата огромный носовой платок, он вытер им вспотевшее лицо, страдая, поерзал в кресле и еле слышно спросил:— А если не Цветков, то... Сами понимаете... Если не Цветков, то...

— Я хочу быть директором,— спокойно, даже нехотя ответил Прончатов и расслабленно помахал кистью правой руки.— Считаю, что имею на это право.

Поляков бросил на Прончатова испуганно-ошеломленный взгляд, хмыкнув, откинулся на спинку кресла, вспотев во второй раз, напряжился, как бы заостенел. Потом он поднял голову, сложив губы сердечком, посмотрел на Прончатова с таким умным, пронизательным выражением, с каким обычно глядел в конторские книги. Умные у него были глаза, внимательные, и Олег Олегович с внезапно нахлынувшей радостью подумал: «Отличные у меня помощники, ей-богу, отличные!»

— И еще маленькую секундочку, Олег Олегович!

Поляков поднялся, раздувая воздух халатом, резко прошелся по комнате, остановившись на углу ковра, вдруг громко щелкнул длинными пальцами.

— Какая роль отводится мне в проводимых мероприятиях?— грозно блеснув очками, спросил Поляков.

Прончатов длинно усмехнулся; только сейчас, по дрогнувшим пальцам своей правой руки, он понял, как волновался, дожидаясь решения Полякова. Усмешечки его, расслабленные жесты, спокойствие, нахальство— все было маскировкой, неправдой, плохой, черт возьми, игрой! Теперь же он чувствовал облегчение, теплая волна подкатывала к горлу, и, чтобы не показать радости, не обнаружить перед Поляковым мальчишеского восторга, он прищурился, суховато поджал губы.

— О Семеновском плотбище надо думать,— сказал Олег Олегович.— Оно большое, это Семеновское плотбище...

— Опасное мероприятие, Олег Олегович!— подумав, сказал Поляков.— Три человека в курсе дела. Вы, я и Вишняков...

— Бред!— быстро ответил Прончатов.— Информация Вишнякова приблизительно... Пятидесятипроцентная у него информация, дражайший Глеб Алексеевич!

Впитывали все живые звуки ворсистые ковры, вызывающе пестрели на шторах экзотические цветы, просвечивала сквозь розовый абажур сиротская лампочка, зыбко освещая восхищенное лицо Полякова.

— Блястяще! — проговорил он. — Это надо понимать в том смысле, Олег Олегович, что покойный Михаил Николаевич Иванов...

— Нет! — резко ответил Прончатов. — Покойный Михаил Николаевич знал все! Если хотите... — Он остановился, потом медленно продолжил: — На Семеновском плотбище восемнадцать тысяч четыреста кубометров леса существует неофициально...

И произошло неожиданное, поразительное: Глеб Алексеевич навзрыд рассмеялся. Этот вечно нахмуренный, всегда недовольный человек смеялся отчаянно, визгливо и нервно, как девица на выданье, его мумиеобразное лицо покрылось мелкими морщинами и складочками, обнажились крупные зубы, сделался кругленьким дамский подбородок. А просмеявшись, он торжественно сел в кресло, водрузив на нос очки, и, сияя шелковым халатом, оживленно спросил:

— Это я так понимаю, Олег Олегович, что восемнадцать тысяч неучтенных кубометров вам покойный Михаил Николаевич оставил в наследство?

— Именно, Глеб Алексеевич!

Они помолчали. Оба были грустны, приглушены, так как покойный директор был еще до боли жив в памяти. Был ли Прончатов на лебедке — он чувствовал след Иванова, говорил ли с рабочими — звучало с уважением имя Иванова, разбирал ли документы — на них лежал отпечаток индивидуальности покойного. Как в доме, где умер хозяин, люди на каждом шагу натываются на молчаливые вещи, так Олег Олегович в огромном сплавконторском хозяйстве везде узнавал Иванова.

— Михаил Николаевич перед смертью мне сказал: «Никому не отдавай контору, Олег!» — тихо и медленно проговорил Прончатов. — Иванов тоже не любил Цветкова...

По-прежнему грустный, задумчивый, Прончатов осторожно поднялся, медленно пошел к дверям по глухому ковру. Шагов: через пять он остановился, опустив голову, долго смотрел в пол.

— До свидания, Глеб Алексеевич! — наконец попрощался Прончатов. — Не раскаивайтесь, святое дело отстаиваем.

На улице Олег Олегович тихонечко присел на скамейку, расставив ноги, поставил на них локти, а на кисти рук положил подбородок — и затих, затаился.

Луна уже перевертывалась с пуза на рога, обещая походить скоро не на букву С, а на Р без палочки, что означало не смерть луны, а ее рождение; на притихшей Кети лежал истончившийся лунный след, пели на берегу девушки невесомыми голосами «Ой, цветет калина в поле у ручья», звезды

набирали силу, чтобы к рассвету не погаснуть сразу, не дать себя мгновенно затмить солнцу. Часов двенадцать ночи, пожалуй, было; руку с часами поднимать не хотелось и вообще ничего не хотелось. Прончатов все сидел и сидел, затем выпрямился, задрал на лоб левую бровь, сделал удивленные глаза.

— Дуб я! — вдруг отчетливо проговорил он. — Дубина я сторосовая!

Олег Олегович только сейчас вспомнил о том, что женщина-то, женщина, с которой он сегодня встречался дважды, — племянница Полякова. Значит, он сидел в кабинете, за стенкой которого находилась женщина с покатыми, покорно заструганными плечами и загорелым ненакрашенным лицом, но он забыл о ней, а вот теперь вспомнил.

— Интересное кино! — пробормотал Прончатов.

Теперь он удивлялся тому, что взял да и вспомнил вдруг о поляковской племяннице. Почему, зачем? А действительно? Какого дьявола он несколько раз за этот день вспоминает о незнакомой женщине, четко видит ее стоящей на крыльце и как бы бросившейся навстречу Прончатову, когда он пролетел мимо дома на тройке вороных? Что он знает об этой женщине и что она знает о нем?

5

Спал Олег Олегович вот как: далеко за двенадцать ночи он ложился на узкую кровать, скрещивал руки на груди, закрыв глаза, в то же мгновение засыпал. Во сне Прончатов не храпел, не кашлял, не скрежетал зубами, не двигался, вообще не издавал ни звука, и жена Елена Максимовна в пору медового месяца пугалась: «Он не дышит!» Однако Олег Олегович исправно дышал, прodelывал это он до шести часов утра. Проснувшись, Прончатов сам себе говорил «здрaсте», затем открывал непременно левый глаз, которым и определял утреннее местонахождение: мало ли куда приводит судьба инженера-сплавщика.

Сегодня Прончатов «здрaсте» сказал энергичнее обычного, вслед за левым глазом сразу же открыл правый, глядя в потолок, бодренько сказал:

— Так на чем мы остановились, товарищ Елена Максимовна?

Было ровно шесть часов утра, в спальне, выходящей в сад, затаился голубой сумрак; по Тагару разносился протяжный коровий мык, шелкал бич пастуха, на разные лады и выкрутасы звучали бубенцы. Черемуховая ветвь упала на подоконник, а в самой черемухе, среди переплетенных ветвей, висел совсем уж растаявший осколочек месяца. Пахло свежо и сонно, росинки, на вид твердые и прочные, как алмазы, висели на кончиках листьев. Олег Олегович покосился в левый угол ком-

наты, где стояла отдельная кровать жены Елены Максимовны. Она лежала неподвижно, но с открытыми, блестящими в полумраке глазами, и Прончатов неким седьмым чувством улавливал напряженное недовольство, которое истекало на него из темного угла. Жена лежала совершенно спокойно, дышала легко, профиль у нее был умиротворенный, но — вот подите же! — он ощущал, что Елена Максимовна настроена воинственно: пышные руки поверх одеяла лежали принципиально длинно, голова была закинута назад.

— Ну, хватит! — наконец решительно заявил Олег Олегович и так ловко сбросил ноги с кровати, что сразу угодил в тапочки. Очень довольный собой, он, поморщившись, чихнул, а чихнувши, развел руки в стороны и стал приседать, приговаривая: — Раз, два, три...

Тело у Олега Олеговича было смуглое, росли на груди буйные волосы, на тонком перехвате талии туго, как литые, сидели красные плавки. Фигура у него походила на треугольник, где основанием плечи, сторонами — линии ног и бедер. Каждый мускул на теле залегал отдельно, а когда Прончатов взялся за тяжелые гантели, мышцы покрылись блестящей пленочкой пота, набухли, налились.

— Доброе утро, Олег! — наконец сказала Елена Максимовна, выбрав секундочку, когда муж передыхал после трудного упражнения. — Не переутомляй себя, ты и так много работаешь...

После этих слов Елена Максимовна широким движением руки сбросила с себя одеяло, выйдя из него, неторопливо встала на ноги. Она была еще хороша, очень хороша, жена Прончатова! Легкая рубашка открывала плечи шевровой выделки, под тонким шелком, выпуклые, загадочно двигались бедра, на лице бархатилась нежная, гладкая кожа, глаза были, как в девичестве, цвета перезревшего крыжовника, но особенно хороши были волосы — рассыпчатые, скользкие, как бы вспененно улетающие вверх.

— Завтрак будет к семи, Олег!

Продолжая махать гантелями, Прончатов проводил жену взглядом, выполняя сложное упражнение для брюшного пресса, умудрился-таки пожать плечами: «Что с ней, господи, случилось?..» Однако он выполнил до конца весь комплекс, подражая йогам, подышал глубоко и только после этого, подставившись под ледяной душ, злобно завыл: «Ой, пропадаю!» Потом, растираясь жестоко махровым полотенцем, он вдруг остановился, подмигнул умывальнику и вслух недоуменно произнес:

— В чем же я провинился? Уж такой я хороший...

Когда Олег Олегович в пижонском летнем костюме, чисто выбритый, надушенный «Шипром», появился в дверях столовой, то за столом уже сидели жена Елена Максимовна, сын Олег и дочь Татьяна, хорошо и тщательно одетые, так как Прончатов

любил дорогую одежду. Так что в столовой, где стоял простенький стол и плетеные стулья, посиживала его семилетняя дочь Татьяна в отличном платье, которое отец привез ей из Финляндии, где изучал сплавное дело.

— Доброе утро, господа-товарищи! — поздоровался Прончатов, скашивая глаза на двенадцатилетнего Олега. — Как мы сегодня живем-можем?

Олег Прончатов-Третий задумчиво ел творог с изюмом, молчал, а ложку держал кособоко, всеми пальцами, точно ручку молотка. Это было странно, но сын Олег, внешне как две капли воды похожий на мать, характер имел отцовский, а Татьяна — копия отца — обладала материнским характером. Вот тебе и внешность — зеркало души!

— Мой сын стал вегетарианцем? — кладя на тарелку свиную котлету, спросил Олег Олегович. — Он дал клятву не есть мясо?

— Он копит колбасу! — за брата ответила дочь Татьяна и опустила загнутые ресницы. — Потом он колбасу ест с мальчишками в бане.

— Слышишь, Прончатов! — после длинной паузы заметила Елена Максимовна. — Опять эта баня!

Чтобы не путаться, Елена Максимовна при сыне мужа всегда называла по фамилии, потом незаметно привыкла к этому и теперь только в спальне называла его Олегом. Сегодня слово «Прончатов» она произнесла подчеркнуто четко, каждую букву поставила отдельно.

— Опять эта баня, Прончатов!

Он не ответил, так как испытующе глядел на жену и детей. Что и говорить, он был главой чинного, весьма благопристойного семейства — у каждого на коленях лежала чистая накрахмаленная салфетка, стол был сервирован отлично, посуда была отменной, и Олег Прончатов-Третий, с мужской точки зрения, вел себя вполне достойно: на выпады матери и сестры не отвечал. Вообще было интересно наблюдать, как маленький человек, фотографически похожий на тебя, делает непрончатовские движения, говорит непрончатовские слова, а человек, на тебя совсем не похожий, делает все по-твоему. Вот извольте полюбоваться!

Выпив чай со сливками, дочь Татьяна напустила на лицо материнское выражение, аккуратно вытерла каждый палец салфеткой, сложила ее на четыре дольки и чинно устремила на Прончатова его собственные глаза:

— Папа, я хочу выйти из-за стола. Мне надо пойти к девочке, с которой я играю.

Покачиваясь на стройненьких ножках, грациозная, как дикая коза, Татьяна выбралась из комнаты, оставив в воздухе чинный, протяжный голосок. А вот сын Олег Прончатов-Третий с материнским лицом и глазами, из-за стола поднялся грубо

и резко, весь независимый, насуспенный, пошел к дверям прончатовской походкой, и левый карман у него оттопыривался — колбаса!

— До свиданьица! — насмешливо попрощался Олег Прончатов-Третий.

Ему, конечно, надо было дать укорот за украденную колбасу, поставить на место, но у Олега Олеговича были дела и поважнее — жена его, сама Елена Максимовна, вела себя непонятно, в высшей мере странно и даже загадочно. На мужа она глядела редко, но зато пронзительно, брови у нее сдержанно хмурились, а лоб пересекала думающая морщина. Необычной была она, ох, необычной!

— Так на чем мы остановились вчера? — весело спросил Олег Олегович. — Помнится, что ты говорила о Вишнякове.

— Это ты говорил о Вишнякове, — не подымая глаз от стакана, ответила Елена Максимовна. — Ты вот уже две недели о нем только и говоришь...

— Тю-тю-тю!

Елена Максимовна осторожно поставила стакан, сложила салфетку на четыре дольки и свободно, отдыхаясь вздохнула. Свежа она была, здорова и уж до того опрятна, проглажена и простирана, что Прончатов шутливо говорил: «На тебя ни один микроб не сядет: побойтсь!»

— Ох уж мне этот Вишняков! — поигрывая вилкой, туманно сказал Олег Олегович. — Вишняков, он и есть Вишняков!

Помолчав немного, он бросил вилку на край стола, скрестив руки на груди, решительно округлил глаза. Что все-таки происходит с женой? Почему она постно опускает ресницы, отчего напудрилась не рашелью, а какой-то светлой пудрой, отчего, черт возьми, в утренний час нацепила на пышную грудь медальон? И юбку надела короче обычного.

— Елена, а Елена, — вкрадчиво спросил Олег Олегович, — может быть, ты все-таки объяснишь, что произошло?

— Ничего не произошло! — скучным голосом ответила жена. — Просто я встретила на улице жену Мороза, и она меня спросила: «Вы знакомы с племянницей Полякова?» Ну, я...

Не договорив, Елена Максимовна поднялась и подчеркнуто равнодушно принялась бросать в посудную миску вилки, ножи, ложки, чашки. Делала она это ловко, попадала в цель метко, и Олег Олегович пораженно поднял брови. «Те-те-те! — подумал он. — Те-те-те, дело-то вот в чем! Батюшки-светы!» Пораженный, Прончатов почесал затылок и уж открыл было рот, чтобы весело расхохотаться, как Елена Максимовна с треском бросила в миску сразу три ложки и приглушенно сказала:

— Всему уж Тагару известно, что в прошлое воскресенье ты был у Поляковых, а во вторник встретил племянницу на почте. — Она передернула плечами. — И уж конечно всем

давно известно о том, что приезжая красotka помирает от любви к Прончатову...

Олег Олегович ошеломленно молчал. Он машинально сложил салфетку на четыре дольки и медленно положил ее на краешек стола, подумав при этом: «Ох, ты мой родной, единственный Тагар!»

— Елена,—сказал Прончатов,—Елена, какие пустяки...

С новой силой загремели чашки, ложки, Елена Максимова поднялась, прихватив миску, пошла из столовой на высоких-высоких каблуках, покачиваясь, как семилетняя Татьяна. Она действительно была красивой, стройной, все было, как говорится, при ней, но Прончатову было не до того, чтобы любоваться женой. Он напряженно размышлял.

Да, позавчера он случайно встретил на почте племянницу Полякова, не будучи с ней знакомым, лишь молча и пристально посмотрел на нее, но действительно заметил, что при его появлении женщина переменилась: сделалась выше, значительнее, глаза ее потемнели. Она, видимо, имела сильный характер, но румянец бросился в щеки, пальцы на белых руках заволновались... Все это так, все это было, но при чем тут он, Прончатов!

Олег Олегович поднялся, выйдя в прихожую, достал из шкафа пиджак, вынул из пачки «Казбек» папиросу, направился к дверям, чтобы покурить на крыльце. Он еще и сесть не успел на вкусно пахнущие росой сосновые доски, как в голову толкнулась мысль: «Влюблена, а! Весь Тагар об этом говорит, а!»

Солнце патефонной пластинкой вертелось над крышей сарая, носились по двору из конца в конец пряные запахи согревающейся земли. Такая свежесть, такая молодость и чистота были вокруг, что у Олега Олеговича перехватило дыхание. «Славно, славно!» —подумал он.

Было по-утреннему тихо. Ограда Прончатовых высоким забором отгораживала от улицы клочок соснового леса, так как всего десять лет назад на месте дома буйствовала корабельная роща. Двенадцать сосен уходили кронами в высокое, белесое еще небо, кора была девственно чиста, земля устлана желтыми мягкими иголками. Ветра не было, но сосны шумели приглушенно, строго, сдержанно. Подняв голову, Прончатов глядел на вершины деревьев, слушая дремное шелеленье листьев, затаивая, чувствовал, как прерываются мысли, как затухает возбуждение.

Через несколько минут с ним произошло странное: показалось, что крыльцо под ним исчезло, родной дом отодвинулся, ушел в неизвестное, его место занял сосняк. Он еще раз прислушался: ни звука, ни движения, точно окрест все вымерло. Это объяснялось тем, что на лесозаводе и в сплавной конторе кончилась ночная смена, но мысль об этом не уничтожила

странности ощущений — ему по-прежнему казалось, что в мире нет ничего, кроме корабельных сосен.

Олегу Олеговичу вдруг показалось, что у него нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, что вот сидит он вне времени и пространства, распятым на вечном шуме сосен, а потом самое странное, самое непонятное ощущение пришло к нему: он почувствовал, что нет разницы между ним и корабельными соснами. Одно целое составляли они, и в этом не было ни грусти, ни отчаяния, ни тревоги; не было вообще ничего.

Далее Прончатов действовал почти бессознательно. Он медленно поднялся, ссутулившись, вышел на улицу, крупным, но мерным шагом двинулся к синему сосняку, что рос за околицей поселка. Улица была еще пустынна, всего два-три пешехода встретились на деревянном тротуаре. Он негромко поздоровался с ними, одинокий, особенный, чуждый всему, пошел дальше. Он был собран в самом себе, как еж в минуту опасности, ничто реальное не существовало, в ушах по-прежнему стоял приглушенный шум сосновых крон.

Прончатов миновал околицу поселка, начав подниматься на пригорок, двигаясь все тем же мерным, крупным шагом. Незаметно для самого себя он еще больше ссутулился, руки вдоль тела висели тяжело, неподвижно, точно у измотавшегося в кузнице молотобойца. Он шел так, как ходят за гробом товарища солдаты.

С кладбищенского пригорка был виден весь Тагар — сейчас тихий, сероватый, с ласково прижавшейся к нему рекой, которая в этот час была тоже серой и пустынной, и даже пароход, идущий по просторному плесу, казался неподвижным. И солнце было желтым, неярким, вылинявшим оттого, что сизая дымка поднималась от земли.

Усевшись на трухлявый пенек, Олег Олегович замедленными движениями закурил, крепко затянувшись сладковатым дымом, нашел глазами дом на окраине. На фоне новых высоких домов этот дом казался совсем маленьким, был он черен от непогод и времени, но стоял еще крепко. В этом доме Олег Олегович родился; это он прибил на крыше шест со скворечником, это он когда-то перекрыл дом шифером.

Хитрость Прончатова не удалась: он думал, что увиденный с пригорка родной дом вернет его к реальности, надеялся, что вместе с домом возникнет привычное ощущение времени, хотя бы и прошлого. Однако дом на окраине поселка существовал сам по себе, а он, Прончатов, сам по себе.

Время тоже не двигалось, и продолжался в ушах шум сосняка.

Он тихонечко подошел к могиле Михаила Николаевича Иванова. Железная ограда, бетонный обелиск, красная звезда; живые цветы никли к холодному камню, росинки сверкали на бетоне. А вот человека не было. Прончатов никакими силами

не мог заставить себя представить, что под плитой лежит человек, который наедине называл его Олежкой и любил шутливо щелкать Прончатова по носу желтыми от никотина пальцами, приговаривая: «А ну, не задирай нос!»

Прончатов подумал, что ему было бы легче, если бы он испытывал тоску, горе или безнадежность, но то чувство, которое заставляло его страдать, не имело названия, не было знакомым, так как нельзя ни ощущать, ни понимать пустоту. Он прислонился лбом к холодному металлу: спине и шее было зябко. Потом он закрыл глаза, лишившись способности видеть могилу, мгновенно представил покойного Михаила Николаевича — встал перед глазами, точно живой.

Где-то тоненько попискивала синица, с уханьем перелетел с дерева на дерево филин, на реке протяжно загудел буксирный пароход.

6

Понедельник и вторник Олег Олегович провел на Ула-Юльском рейде, среду — на Коломенском, в четверг, за ночь проскочив двести километров Кети, утром шумно совещался со сплавщиками, вечером в заезжей шушукался с начальником участка стариком Яромой, а ночью встречал капитана Бориса Зиновьевича Валова. Прончатов почернел, похудел, довел до лихорадочного блеска глаза, опал щеками. Напряженный, словно с туго заведенной пружиной внутри, пышущей жаром плотбищ, просквоженный ветрами, истерзанный до крови комарами, пропахший дымом, Прончатов в пятницу утром вернулся в Тагар, бросив запыхавшуюся «Двоечку» у причала, пешком добрался до конторы, и ровно в девять часов его грязные кирзовые сапоги простучали по гулкому крыльцу.

Секундочку постояв на пороге, прислушавшись, Олег Олегович пошел по коридору — слева была черно-золотая табличка «Партком», справа серая — «Начальник производственного отдела», затем и справа и слева шли густо: «Главный механик», «Плановый отдел», «Бухгалтерия», «Комитет ВЛКСМ», «Отдел капстроительства» и, наконец, просто-напросто «Секретарь». Возле этой двери Прончатов остановился, дав затихнуть эху от собственных сапог, опять прислушался. Кузнечиками потрескивали арифмометры, кастаньетами щелкали счеты, потараканьи шуршали бумаги, доносилось телефонное говоренье.

Шумел-шумел конторский коридор, и только за дверью с табличкой «Партком» стояла начальственная тишина, так как парторг товарищ Вишняков говорить по телефону не любил, считал, что руководитель обязан непосредственно общаться с массами. Поэтому за его дверью было тихо, и Прончатов, послушав эту тишину, с грустной усмешкой подумал: «Черт возьми, парторг, а чужой человек!» Непривычно было ему, что при

слове «парторг» возникло чувство раздражения. Он зло выругался и рванул дверь с табличкой просто «Секретарь».

— Олег Олегович, а мы уж и не ждали! — радостно вскричала уютная, ласковая секретарша Людмила Яковлевна. — Здравствуйте, Олег Олегович! Добрый день, Олег Олегович!

— День добрый, день добрый! — стремительно ответил Прончатов. — Почту, сводки, чай... Через десять минут — главного механика, начальника производственного отдела, бухгалтера, главного комсомольца и... товарища Вишнякова.

Дыша мазутом, пылью, речной влагой, оставляя на ковре глиняные следы, Прончатов прошел в кабинет с табличкой «Главный инженер», не мешкая снял пропыленную куртку, рубашку, сапоги, брюки, оставшись в одних плавках, раздвинул занавеску в углу кабинета — открылась ниша с умывальником, встроенный в стену шкаф. Умывшись до пояса, Олег Олегович вынул из шкафа серый летний костюм, коричневые туфли-мокасины, тонкие носки, белую рубашку со светлым галстуком.

Через десять минут Прончатов сидел за столом — свежий, сдержанный; ни морщинки не было на его бронзовом лице, ни на отличном костюме, а в тот миг, когда он вопросительно постучал по циферблату часов пальцем, дверь открылась, и в кабинет быстро вошел главный механик Огурцов; за ним начальник производственного отдела Наталья Петровна Сорокина, бухгалтер Спиридонов и секретарь комсомольской организации Сергей Нехамов. Поздоровавшись, они деловито сели за стол. Все это заняло не больше минуты.

— Нет товарища Вишнякова, — сухо произнес Прончатов. — Подождем полминуты!

Он не успел договорить, как двери замедленно открылись, выстояв несколько неподвижных мгновений на пороге, в кабинет резким шагом вошел секретарь парткома Вишняков. Примерившись к обстановке, оглядев поочередно всех присутствующих, он сел на тот стул, который стоял точно посередине, меж Прончатовым и другими. Григорий Семенович Вишняков имел высокий лоб, внимательные, серьезные глаза и плотно сбитую, крутоплечую фигуру; в движениях он был нетороплив, плавно, держался прямо. Парторг вообще внешне производил приятное впечатление — несуетный, основательный, значительный такой человек...

— Итак, начали! — стремительно сказал Олег Олегович. — Обстановка на сегодня такова: контора на шесть процентов отстает от графика, в том числе по молевому сплаву — на тридцать процентов, по сплотке — на восемь. Ваши мероприятия, товарищ Сорокина?

Начальник производственного отдела Сорокина сняла квадратные очки, взмахнула ими, но ничего не сказала, а только удивленно ойкнула:

— Как это получается, что контора отстает?

— На шесть процентов от графика,— подтвердил Олег Олегович и вяло помотал кистью поднятой руки.— На Ула-Юле забракован плот, на Черной речке заторило моль... Итак, ваши мероприятия!

Дневной безмолвный Тагар лежал за широким окном кабинета — стоял под солнцем тихие дома, дремал под светлым облаком колодезный журавель, на здании двухэтажной средней школы ветер и солнце выжигали красный флаг; пусто было в поселке, который исправно трудился на лесозаводе, в сплавной конторе, в колхозе «Ленинский путь».

— Несколько частных замечаний! — бесстрастно сказал Прончатов. — На Ула-Юльском рейде недостает такелажа, на Коломенском кончилась проволока, вчера в мехмастерских секретарь первичной партийной организации Исидор Нехамов при шлифовке запорол коленчатый вал бульдозера. Вам известно об этом, товарищ Вишняков?

— Нет!

— А вы знаете о коленчатом вале, Эдгар Иванович?

— Знаю! — ответил Огурцов и крепко затянулся папиросой. Он курил часто, жадно, прикуривая одну папиросу от другой, дым всегда обволакивал его крупную лохматую голову. — На бульдозер ставим сегодня вал с тридцатьчетверочки, а на нее получим...

— Отлично! — шлепнув по столу ладонью, отозвался Прончатов. — Я надеюсь, что партком разберется в случившемся! Если секретари первичных партийных организаций...

Не договорив, Олег Олегович пошевелил в воздухе пальцами, с непонятым выражением лица покачал головой. Глаза у него сухо поблескивали, кожа сурово обтягивала аскетические скулы, весь он был деловой, энергичный. Оглядывая присутствующих, Олег Олегович молчал, словно дожидаясь, когда тем, кто сидел в кабинете, передастся его энергия, деловитая стремительность, жажда действия. И он видел, как кипит негодованием начальник производственного отдела Сорокина, сурово сдвигает брови бухгалтер, переполняется жаждой действий комсомольский секретарь Сергей Нехамов. И только парторг Вишняков ничуть не менялся — был суров, сдержан, нетороплив.

— Прошу к трем часам дня сообщить план мероприятий и командировок,— в прежнем, стремительном темпе сказал Прончатов. — Все свободны! Григорий Семенович, прошу задержаться на минутку.

Главный инженер и парторг остались одни. Они сидели друг против друга, были неподвижны, и теперь было хорошо видно, какие они разные, какие далекие друг от друга, хотя были одинакового возраста: Прончатову исполнилось недавно тридцать шесть лет и Вишнякову исполнилось тридцать

шесть. Однако все остальное было разным. Прончатов имел высшее образование, говорил на немецком и понимал английский, Вишняков только недавно окончил областную партийную школу; Прончатов, будучи командированным в Финляндию, на симпозиуме лесозаготовителей сделал часовой доклад, Вишняков среди шутников славился выражением: «Мы его неоднократно раз об этом предупреждали...»

После войны с Вишняковым произошли странные вещи. Он вернулся с фронта примерно в то же время, что и Олег Прончатов, но жить начал иначе, чем другие фронтовики: не пошел в институт, хотя имел среднее образование, а фронтовую гимнастерку не снял. Кажется, в сорок седьмом году, когда Прончатов на каникулы приехал в Тагар из лесотехнического института, он при встрече с Вишняковым остолбенел: шел навстречу тот самый Гришка, что в сорок пятом вернулся с фронта. Желтым, словно опаленным войной, было его лицо, настырно скрипели до блеска надраенные старенькие сапоги, та же гимнастерка, побелевшая от стирок, ловко обхватывала крепкий торс.

Они остановились, поговорили. Вишняков успел жениться, народил уже двоих детей, заправлял на лесозаводе тарным цехом. Был будничным день, но на Гришкиной груди звенели орден и медали, чистый подворотничок был по-военному ловко приторочен к гимнастерке, начищенные пуговицы сияли. Разговаривал Вишняков преимущественно о войне — вспомнил свой Первый Украинский, с похвалой отозвался о фронте, на котором воевал Прончатов, поругал за капризность винтовку СВТ и о работе рассказывал военными словами: «держим равнение на правофланговых», «плохо, что тылы завода не обеспечены», «насчет кедра разведку произвели, но неудачно»...

Прошло еще несколько лет. Вишняков работал истово, предельно честно, видимо, за это был выдвинут на профсоюзную выборную должность. О его принципиальности, справедливости ходили легенды, а о том, что он был бессребреником, люди говорили с восхищенным почтением: «Полена дров для себя не возьмет. Замерзает будет, а не возьмет!» Семья у Вишнякова росла, так как каждый год рождались то мальчишки, то девочки, и семью свою он любил преданно: смотришь, ведет ребяткишек в детсад, назавтра рысью бежит по улице с аптечными пузырьками в руках, через месяц ночами торчит возле больницы, где рождается еще один его отпрыск.

Вишняков и в областную партийную школу пришел в гимнастерке, хотя на дворе шел уже пятьдесят шестой год и рядом с ним сидели на парте ребята из тех, кто знал про войну только из книг и кинофильмов. Потом Вишняков добровольно поехал работать секретарем партийной организации небольшого лесопункта; проведя три года в глухой тайге, не сразу

согласился стать парторгом Тагарской сплавной конторы: искренне боялся, что не справится.

К началу шестидесятых годов Вишняков ходил все в той же белесой гимнастерке, но времени чуточку уступил — надевал поверх гимнастерки черный дешевый пиджак, а ордена и медали заменил планками к ним. Карманы древней гимнастерки были аккуратно заштопаны, к вороту пришиты новые пуговицы, но ремень был фронтальной, широкий, потрескавшийся.

Перед Прончатовым парторг сидел прямо, расправив плечи, выпятив грудь, лицо у него было таким же сухим, желтым, словно обожженным войной, хотя с конца ее прошло около двадцати лет. И кирзовые сапоги у него так блестели, что в них можно было смотреться. В кармане галифе парторг постоянно носил кусок бархата, и Прончатов не раз видел, как он, вынув его, наводил на голенища глянец — это была привычка, с которой Вишняков не мог бороться.

Да, разными были главный инженер и парторг, и молчали они по-разному: Вишняков тяжело, с поджатыми губами и непреклонным выражением лица, а Прончатов легко, просветленно, думаясь. Потом он даже улыбнулся своим мыслям, поправив выбившиеся из-под рукавов манжеты, негромко сказал:

— Чего же делать, Григорий Семенович, надо разбираться с Исидором Нехамовым. Коленчатый вал все-таки...

Прончатов умышленно упрощал язык, нарочно нагонял на себя простоту, хотя Вишняков примитивным человеком не был, а просто интеллектуально и технически отстал от века, жил по-прежнему во фронтальных годах.

— Ты понимаешь, Григорий Семенович, чувствуется все-таки отсутствие директора, — медленно подбирая слова, продолжал Прончатов. — Так ты мне, пока не приехал Цветков, помогай. Позабудь, так сказать, о наших распрах.

На обширном столе Прончатова ничего не стояло, не лежало, был он пуст, как аэродром, и Вишняков ни за что не мог зацепиться взглядом. Однако на предложение Прончатова о мире надо было отвечать, и Вишняков длинно задумался. Затем он поднял крупную, лобастую голову, прищурившись, сказал:

— С Нехамовым разберемся... А насчет помощи, Прончатов, так она тебе не нужна. Ты ведь все на свой манер делаешь, товарищ главный инженер. Ты ведь один шагаешь в ногу, а вся рота — не в ногу.

Он замедленно поднял руку, грустновато покивал — серьезный, непробиваемый, неулыбающийся, похожий на бульдозер, когда тот раздвигает грудью тяжелую глину. Да, железным человеком был Григорий Вишняков, продолжая жить фронтальной жизнью, не знал полутонов, черное для него всегда было черным, белое — белым, видимо, поэтому ни пятнышка, ни царапинки не было на послужном списке Вишнякова: не пил, не курил, не изменял любимой жене. Броня прошлых заслуг, сталь

сегодняшних добродетелей надежно прикрывали выпуклую орденоносную грудь парторга.

— Опять ты за свое, Григорий Семенович! — рассмеялся Прончатов. — Опять сорока про Якова...

— Про него... — тоже оживленно согласился Вишняков. — И буду говорить до тех пор, пока ты не поймешь! — Он сцепил пальцы, хрустнул ими. — Ты выше всех себя ставишь, Прончатов! С коллективом не считаешься, хороших работников гонишь, плохих выдвигаешь. И парторганизация для тебя — тьфу! Вот, например, последнее решение парткома ты не выполнил... Почему?

— Ну вот...

Это было так нелепо, дико, что Прончатову не хотелось и смеяться, но он все-таки круто повернулся к парторгу и выдал из себя любезно-ироническую улыбку. «Ну что с ним поделаешь!» — чуточку рассеянно подумал Олег Олегович, так как ему в голову пришла еще одна мысль, крупнее первой. Он подумал о том, что Вишняков был на самом деле подвижником, бессребреником. Взять хотя бы его давнюю дружбу с заведующим промышленным отделом обкома Семеном Кузьмичом Цыцарем... Они воевали в одном батальоне, спали на одних нарах, рассказывали, что именно Вишняков вынес раненого Цыцаря с поля боя, но весь Тагар также знал о том, что Вишняков за все послевоенные годы ни разу не воспользовался дружбой Цыцаря; наоборот, он вставал на дыбы, когда заходила речь о том, что Цыцарь может ему помочь.

Прончатов мягко, изучающе смотрел на Вишнякова. Он в сотый раз с грустью думал о том, что не может быть дружным, согласным с парторгом, и это печально, так как он, Прончатов, привык к тому, что даже от слова «парторг» становится легче его инженерная и административная ноша. Сейчас же Прончатову было тяжело уже от того, как Вишняков смотрел на него, как прищуривался, как каменно держал прямые плечи.

— Ты опять за свое! — сдержанно засмеялся Прончатов. — Ну когда это кончится, Григорий Семенович?

— Никогда!

Вишняков упрямо, как молодой бычок, мотнул головой, усмехнувшись, окатил Прончатова таким холодным взглядом, из которого сделалось понятным, что парторг не принимает всего Прончатова: ему были неприятны серый костюм главного инженера, туфли-мокасины, выпуклая прядь волос на лбу, поза, накрахмаленная сорочка, запах «Шипра». Главный инженер весь — от волос макушки до туфель — был чужд Вишнякову, отдален от него, как небо от земли.

— Мне трудно с тобой говорить, Григорий! — вдруг с тоской и отчаянием проговорил Прончатов. — Так трудно, что слов не нахожу. И что это значит: «Хороших работников гонишь, плохих выдвигаешь»? У тебя примеры есть?

— А как же! — безмятежно отозвался Вишняков. — Куренного ты со света сживаешь, а Огурцова во все дыры тычешь. Где справедливость, Прончатов?

Парторг выпрямился, привычным солдатским движением огладил складки гимнастерки, подбородок выпятил так, точно его подпирала жесткая пряжка каски.

— Вот такие дела, дорогой товарищ Прончатов!

Олег Олегович сидел грустный, словно приплюснутый к сиденью кресла тоской и одиночеством, свалившимися на него вместе со словами Вишняка. Да, все было бы по-другому, бороться против назначения в Тагар нового директора Цветкова было бы во сто крат легче, если бы Вишняков понял, что в мире происходит промышленная революция, а сама жизнь так стремительно изменяется, что в ней нет места не только гимнастеркам времен Отечественной войны, но и широким брюкам пятидесятих годов.

— Чепуху говоришь, Григорий Семенович! — устало сказал Прончатов. — Как можно назвать плохим работником умного, знающего, прогрессивного молодого инженера? Ты пойми: если есть в конторе Огурцов, значит, будут получены и освоены новые электрические краны...

— А что краны? — мгновенно ответил Вишняков. — Я людьми занимаюсь, а не техникой... — Парторг остро прищурился. — А твой Огурцов скептик, он над всем смеется... Ну, чего ты молчишь, Прончатов!

Олег Олегович все еще грустил, думая о времени, о бесконечности. В математике бесконечность — это, например, ряд натуральных чисел, в жизни — это морщины, угасание ума, дряхлость, сама смерть: вот был директор Иванов, и вот нет его! И приходят на место покойного Прончатов или Цветков, а на их место придет теперешний механик, а на место механика... Ох ты, мать честная, какие мысли могут возникать в голове, когда перед тобой сидит парторг Вишняков!

— Ну, хватит гнать бодягу! — вздохнув, сухо сказал Прончатов. — Времени у меня немного, но изволь, Григорий Семенович, выслушать пространную речь. Обвинение уж очень серьезное...

Прончатов встал, подняв руку, вяло помотал в воздухе кистью. Он так делал всегда, когда напряженно думал или разговор был ему неинтересен, неприятен; Прончатов при этом становился насмешливым, глаза у него поблескивали. Весь он был опасным, настороженно-ласковым.

— Ну вот, слушай, Вишняков! — холодно произнес Прончатов. — Меня, молодого бригадира грузчиков, тагарские бабы и мужики, то есть, по-твоему, народ, послали учиться в лесотехнический институт. Все пять лет, пока я там учился, мужики и бабы вкладывали в меня деньги, чтобы я, Прончатов, знал то, чего не знают они... — Он усмехнулся, покачав головой. — И вот я вернулся... Не кажется ли тебе, Вишняков, что народ должен

потребовать обратно свои деньги, если я стану спрашивать у него, как учаливать плот или грузить лес на металлические баржи? — Прончатов прошел наискосок по ковру, резко повернувшись возле окна, встал спиной к Вишнякову. — Я советуюсь с коллективом только в тех случаях, когда речь идет о морально-этической стороне вопроса. Разве я не обратился к людям с просьбой спасти Коло-Юльский моль? Обратился, и его спасли...

Прончатов повернулся к парторгу, погрозил длинным пальцем.

— Фразы о народе чаще всего прикрывают равнодушие к народу... Ты защищаешь Куренного, хвалишь его на всех перекрестках за то, что он тесно связан с массами, а Куренной своим невежеством и демагогией приносит вред.

Прончатов подошел к Вишнякову, наклонившись, близко заглянул в покрасневшее от негодования лицо.

— Тут примитивная философия, Вишняков! Знаешь дело, хорошо работаешь — народен, халтуришь, дела не знаешь — антинароден... Вот что ты на это скажешь, парторг?

— А то же самое, что и говорил, — медленно ответил Вишняков. — Меня красивыми словами не пробьешь!

Сказав это, парторг скрестил руки на груди, прищурившись, так посмотрел на Прончатова, что Олег Олегович опять затосковал: «Что с него возьмешь! Ничего не понимает!» Досадуя, Прончатов подошел к окну, прижавшись лбом к стеклу, несколько мгновений стоял молча — спина у него была сутулая, грустная.

— Ты все путаешь, парторг, — наконец негромко произнес Олег Олегович. — По твоему выражению, Вишняков, я себя выше народа ставлю... А я, Прончатов, разве не народ? — Он медленно обернулся. — Чем моя жизнь отличается от жизни славконторских рабочих? На Пиковском рейде десятки грузчиков зарабатывают больше меня. — Прончатов сделал два шага вперед, подойдя к Вишнякову, усмехнулся. — Ты говоришь, что я не считаюсь с коллективом, плюю на его интересы... Ну не смешно ли это, Вишняков? Ведь в этом самом коллективе работает слесарем мой младший брат Борька да семеро двоюродных сестер и братьев. Я их люблю, они мне родные люди...

Вишняков молчал. Он только упрямо мотнул головой, стиснул зубы, и в груди у Прончатова вдруг засветился, затрепетал озорной зайчик. Ох, как захотелось ему разнести вдребезги гранитную величавость Вишнякова, хотя это походило на самоубийство — силен, еще очень силен был железный парторг Вишняков! Ох, толкаешь голову в петлю, Прончатов, ох, зарываешься, голубчик!

— Ты прав, Вишняков! — звонким голосом сказал Прончатов и повернулся перед парторгом, как манекенщица. — Прав ты на все сто процентов! — Выпрямившись, Олег Олегович показал парторгу всего себя, — Ты посмотри на меня, Вишняков!

Возможно разве, чтобы я, Прончатов, стал скромным? Ты глянь-ка, глянь-ка на меня, парторг!

Задирался, лез на рожон Прончатов, но Вишняков и глазом не моргнул — железный он был все-таки человек. Огонь, воду и медные трубы прошел он на фронте, закалился до стальной крепости и на паясничающего Прончатова глянул вдруг веселым, умным глазом, так как второй был прищурен. Потом парторг свободно улыбнулся, пожевал губами и сказал:

— Посмотреть есть на что, Прончатов! Мужик ты видный! Весь Тагар уже говорит, что ты снюхался с племянницей Полякова. Говорят, в гости к ней ходишь, по лесу с ней гуляешь... Ой, чую: персональным делом пахнет!

Крепок, силен, упрям был Вишняков, но и Олег Прончатов был слеплен не из крупчатой муки: ничего не изменилось на его лице, когда парторг заговорил о поляковской племяннице, но внутри у Прончатова все гневно застыло. Помедлив секунду-другую, чтобы усकोиться, Олег Олегович с таким видом, точно племянница и не упоминалась, вернулась к столу, сел, положив ногу на ногу, откинулся на спинку кресла и резким движением поднес к глазам часы.

— Благодарю за внимание, Григорий Семенович! — холодно сказал он. — Прошу немедленно разобраться с коленчатым валом.

Когда Вишняков, по-солдатски размахивая руками, подчеркнуто громко стуча стальными подковками сапог, вышел из кабинета, Прончатов, усмехнувшись, посмотрел в окно... Оживив улицу, шла стайка мальчишек, шагал учитель рисования, двигалась вразвалочку по тротуару одинокая рябая курица, очень смешная курица, так как Прончатов видел ее перед своим окном чуть ли не каждый день — чья, откуда пришла, почему гуляет по тротуару, неизвестно.

Он вспомнил Гришку Вишнякова мальчишкой — был веселый, общительный, свойский пацан. Хорошо вел себя, когда всей школой дрались с бугринскими, но в первые ряды не лез; вообще обычный был мальчишка... Что же произошло с Гришкой Вишняковым на войне? Почему до сих пор не снимает гимнастерку, отчего так держится за возможность ходить солдатским чеканным шагом? Что вообще происходит с ним сейчас? Отчего не понимает, что изменилось время, что жизнь безвозвратно похорошела?.. А он, Прончатов, тоже хорош гусь! Задирался, хвастался, лез на рожон. «Экий дурацкий характер!» — подумал Олег Олегович о себе, затем, закрыв глаза, дал себе пятиминутный отдых — он все-таки здорово устал от Вишнякова. А через пять минут Олег Олегович встряхнулся, как утка, подмигнул сам себе и резко надавил кнопку звонка. Когда на пороге появилась секретарша Людмила Яковлевна, он вежливо сказал:

— Могу принять Огурцова, но... Минуточку, Людмила Яковлевна... Не знаете ли вы... не известно ли вам...

Он лениво педил слова, как бы мучительно вспоминая что-то, а сам изучал лицо целомудренно вдовствующей Людмилы Яковлевны, которая была в центре всех амурных дел поселка: кое-что ей рассказывали коллеги-вдовы, кое-что подслушивала по телефону, кое-что просачивалось через многочисленные двери сплавконторского коридора, кое-что приходило в приемную с посетителями. Одним словом, все знала о Тагаре секретарша Людмила Яковлевна, и Прончатов внимательно глядел на нее, думая о том, что Людмила Яковлевна, конечно, слышала сплетню. Поэтому Олег Олегович подчеркнуто безразличным и даже ленивым тоном сказал:

— Да, Людмила Яковлевна, я ведь вот о чем... Совсем вылетело из головы! Что вы знаете о племяннице Полякова? У нас не хватает врачей, а она, говорят, невропатолог...

Еще договаривая, он понял, что попал в точку: голубенькие глазки Людмилы Яковлевны блеснули, приятный румянец бросился на щеки, она нетерпеливо переступила с ноги на ногу, но сразу ничего не сказала. Потом Людмила Яковлевна осторожно произнесла:

— Я как раз собиралась говорить с вами, Олег Олегович, о товарище Смоленской. Это фамилия племянницы Полякова. Она хочет устроиться в сплавконторскую больницу... — Людмила Яковлевна сделала небольшую паузу, еще немного подумала. — Не сможете ли вы принять ее, Олег Олегович, по квартирному вопросу?

— Могу.

Людмила Яковлевна опять замолчала. Потом она еще раз переступила с одной шелковой ножки на другую, потупившись, проговорила в пол:

— Она вас знает, Олег Олегович... Вы встречались на вечеринке у начальника производственного отдела треста Каминского... Это было в позапрошлом году, Олег Олегович. Помните, вы ездили на Первомай в область?

Те-те-те! Прончатов едва удержался от того, чтобы громко не засвистать от удивления. Боже великий, а ведь в конце вечеринки у Каминского, когда гости уже изрядно подпили, действительно появилась какая-то женщина в голубом, незаметная и трезвая, села в уголок, глядя на гостей с тайной, интригующей замедленностью; что-то необычное, странноватое было в том уголке тахты, где сидела эта женщина; отчего-то целомудренными были далеко открытые колени, но зато женское, притягивающее сквозило в развороте покорно заструганных вниз плеч, в положении небрежно брошенных на колени рук... Те-те-те! Прончатова в тот вечер тянуло смотреть в сторону голубого и молчащего, он несколько раз ловил на себе ее глаза, но коньяку было выпито так много, разговор был такой насыщенный... Да, да, вскоре после прихода женщины в голубом Прончатов помчался

на ночной аэродром, чтобы улететь в Тагар, но и в самолете он дважды вспомнил голубое.

— Да, да, да! — вслух сказал Прончатов и сам себе покивал головой. — Помню, помню...

Отрешаясь от воспоминаний, он крепко потер пальцами подбородок, еще раз встряхнув головой, поглядел на Людмилу Яковлевну осмысленными глазами. Секретарша все еще смотрела в пол, и смущенно-деликатный румянец цвел на ее свежих щеках. Она опять переступила с ноги на ногу и сказала:

— Ко мне есть еще вопросы, Олег Олегович?

— Нет.

Когда секретарша ушла, Прончатов всей грудью оперся о стол, подмигнув самому себе, неторопливо подумал: «Да, брат, Тагару есть о чем поговорить... Мы с племянницей Полякова, оказывается, познакомились в городе, затем она приехала, чтобы устроиться на работу, затем...» Он не додумал — опять встало перед глазами лицо женщины в голубом. Те-те-те! Она, ей-богу, она! Он позвонил:

— Пригласите механика Огурцова!

7

Прончатов отдыхал душой и телом, когда в его кабинете сидел инженер Эдгар Иванович Огурцов. По всему было видно, что механику приятен визит к главному инженеру, что Огурцов рад предстоящему разговору, хотя вся его фигура, лицо, глаза были независимо-насмешливы, а длинные губы сложены коварно. Усевшись, Огурцов закурил сигарету с фильтром, поигрывая красным карандашом, собрал на лбу расположительные дружеские морщины.

— Горячие денечки! — оживленно проговорил Олег Олегович. — И всюду страсти роковые... Чем, интересно, закончилось дело со сто четвертым дизелем?

— Тарахтит! — сморщив нос, тоже оживленно ответил Огурцов. — Его величество Никита Нехамов ловчил поставить дизель на новый катер, а начальник мехмастерских Бутырин рисует сто четвертый на персональной посудине. Я же на их распрю взираю с высоты. Означенная возня чи-ри-звычайно поднимает мой жизненный тонус!

Он был похож на актера миманса, этот механик Огурцов. Все, что было надето на нем, плотно обтягивало гибкую, живую фигуру, руки и ноги были великолепной длины; разговаривая, Эдгар Иванович сдержанно жестикулировал, и тело его существовало только вместе со словами. Если бы не умопомрачительный загар, если бы механика напудрить, походил бы он на Марсея Марсо, и он весь — снаружи и изнутри — был свободен, этот Эдгар Иванович Огурцов.

— Пусть победит сильнейший! — сказал Олег Олегович. — Думаю, Никита Нехамов одолеет-таки...

Расслабляющее бездумье было приятно Прончатову, как теплая волна после морозной улицы, он отдыхал, благодумствовал, думал о том, что вот уже и в Тагарской конторе есть пятток человек, которые смогут определить ее будущее, которые все похожи на механика Огурцова, но все разные, по-своему. Вот скоро поступят современные мощные краны, флот пополнится сильными водометными катерами, пойдут большегрузные плоты...

— У меня к вам нет дел, — вдруг сказал Прончатов. — Потрепемся, а, Эдгар Иванович!

— Извольте! — охотно согласился Огурцов. — Если я вас правильно понял, нас интересует не экскурс в историю, а современное положение и даже будущее Тагарской сплавной конторы.

Его слова нравились Прончатову: он тоже любил говорить шутивно-напыщенно, велеречиво, под иронией скрывая серьезные, нужные вещи.

— Словно в воду глядите, Эдгар Иванович! Что нам груз прошлого? Тлен! — ответил Прончатов.

Они, смеясь, глядели друг на друга. Мирная, дружелюбная тишина стояла в кабинете; на карте мира, что висела над головой Прончатова, порядочный кусок Азии был обведен красным карандашом; побольше Франции, но меньше, конечно, Соединенных Штатов Америки был этот очерченный кружок — Тагарская сплавная контора. Огромный зигзаг Оби, Кети, Васюганские болота, дикость верховьев Тьма принадлежали ей. Десятки шахт Кузбасса и Донбасса, верфи Европы и Африки, энергетики Японии, строители всех континентов прямо-таки дышать не могли без Тагарской конторы, которая снабжала их крепежом, судостроем, пиловочником, драгоценным кедром.

— С инженером Прончатовым работать зело трудно! — загибая пальцы, безмятежно сказал Эдгар Иванович. — Прончатов самолюбив — раз, властолюбив — два, мечется меж лебедками Мерзлякова и кранами — три, состоит из эклектической смеси дерзости и лукавой хитрости — четыре.

Загнув четвертый палец, механик поглядел на Олега Олеговича и увидел, что главный инженер легкомысленно раскачивается вместе с креслом.

— Ату его! — воскликнул Прончатов. — Ату!

Смеясь, Огурцов обвинил гибкими ногами ножки стула, положив голову на плечо, превратил губы в узкую щель.

— По лицу Прончатова я вижу, что он хочет получить жизнеописание директора Цветкова, — насмешливо сказал Огурцов. — Я, видимо, за этим и приглашен в начальничий кабинет, ибо работал под руководством вышеназванного товарища...

Прончатов оживленно кивнул. Да, именно вот так — насмешливо и несерьезно — можно было говорить о том человеке, которого собирались назначить директором Тагарской сплавной

конторы. Механик Огурцов нащупал правильный тон, и им сразу стало легко смотреть друг другу в глаза, понимать друг друга.

— Я работал с Цветковым десять лет назад,— сказал Олег Олегович. — Был бы рад, если бы за это время...

— За это время ничего не изменилось,— весело перебил его Огурцов. — Нет, пожалуй, я не прав... — Он чиркнул спичкой, прикуривая потухшую сигарету, помолчал. — За десять лет Цветков стал толстым, рыхлым человеком... Все остальное вам знакомо: сладкая улыбка вместо ответа на вопрос, фальшивая чуткость, умение ладить с начальством всех рангов и поверхностное знание техники... Когда я увольнялся из его богадельни, Цветков со слезой во взоре провожал меня до порога: «Ах, как жалко, что не сработались!» Самое смешное знаете что?..

— Знаю, знаю,— быстро сказал Прончатов. — Цветков искренне жалел, что вы уходите.

— Точно! Мы говорим об одном и том же человеке.

Прончатов задумался. Механик Огурцов рисовал довольно точный портрет Цветкова, но описание, конечно, было неполным и потому необъективным, так как всякий человек не помещается в строго ограниченные рамки схемы. Видимо, об этом же думал и механик Огурцов — он сделался серьезным, строгим, сосредоточенным.

— Молодые инженеры не хотят работать с Цветковым,— негромко сказал он. — В нашей альма-матер перед распределением перечисляют пять-шесть фамилий директоров сибирских контор, куда идти опасно... Среди них — Цветков.

— Чем же объясняется это? — тоже негромко спросил Прончатов.

— Хором говорят: «Погрязнешь, отстанешь!»

Прончатов поднялся с места.

— Да. Цветков — бедствие! — сказал Прончатов, подходя к окну. — Он не только технически отстал от века, но и несет в себе активный заряд консерватизма. Он как раз из тех руководителей, которые приносят добро уходом на пенсию. Впрочем, когда-то он был хорош и, безусловно, порядочный человек!

Они помолчали. Огурцов теперь тоже глядел в окно, видел тихий Тагар, бредущих по тротуару мальчишек; лицо у него было задумчивое, славное, спокойное. Он думал, наверное, минуты три, потом негромко сказал:

— Будем работать, Олег Олегович! Нам в общем-то по пути...

Прончатов был сильным человеком, но ему сейчас нужно было приложить усилие, чтобы не выдать радость, сохранять прежний безмятежный вид. Поэтому он отвернулся от механика, прислонившись лбом к оконному стеклу, стиснул зубы. Он прислушивался к самому себе, как прислушивается врач к шорохам легкого, и ему казалось, что он слышит ход часов на собственной руке, заложенной за спину.

— Спасибо! — немного спустя сказал Прончатов. — Мерси!

Он выпрямился, поправил узел галстука, одернул привычными движениями манжеты и вдруг мгновенно переменялся, словно переводная картинка: секунду назад она была тусклая, серая, но вот с нее сдернули бумагу — и все стало ярким. После этого Олег Олегович сделал шаг вперед и улыбнулся своей знаменитой улыбкой, от которой механик Огурцов почувствовал непреодолимое желание незамедлительно сделать для Прончатова что-то хорошее — то ли благодарить его, то ли обнять за широкие плечи. Рубахой-парнем, свойским до гробовой доски человеком, душкой-милягой был главный инженер.

— Эдгар Иванович, а Эдгар Иванович, — вкрадчиво сказал он, — а ведь лебедки-то Мерзлякова надо любить! Ненависть к старому, конечно, полезна, но лебедки-то надо любить...

Прончатов вдруг заинтересовался картой мира, что висела за его спиной; подошедши к ней, проследил, как впадает в океан экзотическая река Амазонка, покивал одобрительно, хмыкнул удовлетворенно, затем пробормотал:

— Фантастика!

Механик насторожился: он уже знал, что надо ждать необычного, если Прончатов вкрадчиво ходит возле карты мира и хмыкает. И вид у главного инженера был именно такой легкомысленный, фатоватый, когда надо было ждать необычного.

— Подумаешь, река Амазонка... — пробормотал Прончатов. — Спрос превышает предложение, предложение отстает от спроса... Хлеб надо есть с маслом...

Сейчас Прончатов в кабинете был один. Не сидел в кресле механик, не было за окнами Тагара, карта мира на стене не висела. Вот это умение сосредоточиваться, уходить в себя, способность в любой обстановке быть в одиночестве, отрешенность от всего житейского в те мгновения, когда требуется...

— Ура! — негромко сказал Прончатов. — Ура!

У Прончатова лукаво изгибались уголки губ, снова были вкрадчивыми шаги, когда он возвращался на свое место; для Олега Олеговича опять существовала занимательность тагарской улицы, был любопытен механик Огурцов, важны телефонные звонки и звуки в приемной, где колдовала секретарша Людмила Яковлевна.

— Яблоко упало! — негромко сказал Прончатов. — Закон всемирного тяготения открыт.

Прончатов медлил, наслаждаясь настороженным лицом механика, его молодым неумением сдерживаться, всей открытостью инженера. Олег Олегович не в первый раз удивлял Огурцова необычностью решения, оригинальностью мысли, но сегодня наступил момент, когда он навеки прикует к себе симпатии молодого инженера.

— Эдгар Иванович,— подчеркнуто равнодушным тоном сказал Прончатов,— что произойдет на погрузочных рейдах, если вдруг увеличится поток древесины? Ну, представьте, что мы наконец получили большегрузный плот.

Он сказал это, а сам с удивлением прислушивался к себе. Ну, как на самом деле могло произойти такое, что три минуты назад, во время легкого, пустякового разговора с механиком, он решил проблему, которая всегда казалась неразрешимой? Неужто только оттого, что молодой инженер не терпит лебедки Мерзлякова, он, Прончатов, посмотрел на них с противоположной точки зрения и увидел то, чего раньше и сам не видел?

— Так что же, Эдгар Иванович? — переспросил Олег Олегович. — Каким образом можно справиться с возросшим объемом леса?

— Установить новые электрокраны! — мрачно ответил механик Огурцов. — Вообще на эту тему...

Прончатову теперь было окончательно ясно, что озарившая его идея была вызвана ненавистью молодого инженера к лебедкам Мерзлякова и любовью к этим же лебедкам парторга Вишнякова. Встав между двумя разными людьми, Прончатов посмотрел на дело с объективной точки зрения и увидел то, чего не могли видеть ослепленные ненавистью и любовью механик и парторг.

— Можно форсировать лебедки Мерзлякова! — спокойно сказал Прончатов. — Если увеличить скорость хода тросов хотя бы процентов на двадцать пять...

Олег Олегович нарочно медленно повернул голову к окну, озорно подмигнул самому себе, стал глядеть, как по деревянному тротуару неторопливо шагает смешной и нелепый человек — тагарский парикмахер Нечаев. Он в профиль походил на гуся, нестриженные волосы на затылке торчали хохолком, туфли были самые красные из всех, какие создавала обувная промышленность, а плотно прижатые к бокам руки чрезвычайно походили на крылья. В Тагаре парикмахера все называли Гусем, и он так привык к прозвищу, что на фамилию не откликался. Когда смешной человек прошел мимо окна, Прончатов снова медленно повернулся к механику.

— Ну, как делишки, Эдгар Иванович?

Олег Олегович удивился: сейчас перед ним сидел просто очень молодой, наивный парень. Помолчав еще несколько мгновений, Огурцов порывистым детским движением почесал затылок, хихикнув, протяжно сказал:

— Елки-палки, а ведь верно! Установить простой редуктор и...

Прончатов ласково смотрел на него. Неизвестно отчего волнуясь, чувствуя, как в груди становится тесно сердцу, Олег Олегович сухо проговорил:

— Начинать работу с лебедками, Эдгар Иванович!

Он опять глядел в окно, где ярко светило солнце, ветер пошевеливал на здании средней школы выгоревший плакат с первомайским лозунгом.

Над Тагаром висел шерстяной звук заводского гудка; он густой струей входил в уши, дрожью отзывался в груди, казалось, что мир набили удушливой ватой. Это был один из тех пяти гудков, которые знал речной поселок Тагар,—ноль часов, шесть часов утра, двенадцать, час дня и шесть вечера. И каждый раз ровно пять минут первобытным зверем ревела медная горловина, меняя до неузнаваемости поселковую жизнь. Неизвестно, что произошло бы в Тагаре, если бы отказал заводской гудок! Может быть, замолкли бы пилы на лесозаводе, а может быть, ринулись бы штурмовать дома голодные недоенные коровы.

Оборвавшись ровно в двенадцать, гудок оставил после себя светлую пустоту. Показалось, что Тагар, река, небо, поля за поселком, кабинет Прончатова сделались выше, просторнее, чище; стало легче дышать, и солнце засияло ярче. Оборвавшись, заводской гудок выбросил на порог прончатовского кабинета секретаршу Людмилу Яковлевну.

— Обкомпарт, Олег Олегович! — сказала она и зябко повела плечами. — Обкомпарт! Через минуту соединят.

— Спасибо!

Потянувшись к трубке, Прончатов нахмурился: одно дело, если звонит заведующий промышленным отделом Семен Кузьмич Цыцарь, другое — если секретарь обкома по промышленности Николай Петрович Цукасов. Но гадать времени не было, и Олег Олегович неторопливо снял трубку.

— Соединяю с товарищем Цыцарем! — сказала районная телефонистка. — Говорите, товарищ Прончатов.

Значит, все-таки Семен Кузьмич! Выпрямившись, Прончатов искоса приложил трубку к уху, сжав губы, стал дожидаться, когда товарищ Цыцарь произнесет первое слово. При этом Олег Олегович на трубку глядел насмешливо, держал ее двумя пальцами, хотя фигура у него была напряженная. Услышав голос заведующего промышленным отделом, Прончатов негромко ответил:

— Здравствуйте, товарищ Цыцарь! Слушаю!

У Прончатова в этот миг был вкрадчивый, чужой голос, словно он вел по мелководью громоздкое судно: и слева мель, и справа мель, и впереди не видать ничего. И лицо у Олега Олеговича так изменилось, точно он постарел лет на пять.

— Я вот что звоню, — размеренным голосом сказал заведующий промышленным отделом обкома Цыцарь. — Есть у нас такое мнение, что Тагарской сплавной конторе сам бог велел

выступить инициатором соревнования за высокую выработку на списочного рабочего. — Произнеся эти слова, товарищ Цыцарь остановился, чтобы дать Прончатову одуматься, затем прежним тоном продолжал: — Так вот, я звоню, товарищ Прончатов, чтобы подсказать. Подбейте-ка вы бабки, прикиньте-ка свои производственные возможности... Сами понимаете, товарищ Прончатов, такие дела с кондачка не делаются. Так вы соберите коллектив, посоветуйтесь, настройте людей, дайте им заданию...

Прончатов длинно усмехнулся, отняв от уха трубку, осторожно положил ее на стол, так как и при этом положении был отчетливо слышен занудливый голос Цыцаря. Заведующий промышленным отделом все говорил и говорил, а Олег Олегович сидел истуканом. Он терпеливо дождался тишины в трубке, подняв ее, грудью лег на стол.

— Товарищ Цыцарь, минуточку! — совсем вкрадчиво сказал Олег Олегович. — Товарищ Цыцарь, я, конечно, понимаю значение соревнования, но мне, как вы говорите, сам бог велел спросить: «А что думает о соревновании секретарь обкома товарищ Цукасов?» А соревноваться мы будем, почему не посоревноваться, если дело хорошее!

Мстительно улыбаясь, Прончатов чутко слушал, как на другом конце провода за пятьсот километров от Тагара заведующий промышленным отделом тяжело дышит в трубку. Олег Олегович видел широкое, рябое лицо Цыцаря, его сильные пальцы с вечной папиросой в них, шрам, рассекающий на две части лоб, — след войны. И видел, конечно, хорошо представлял, как наливаются гневом глаза заведующего.

— Есть такое мнение, товарищ Прончатов, чтобы тагарцы к среде представили свои расчеты, — совсем тихо сказал Цыцарь. — Недельки вам хватит, так думаю...

Прончатов на секунду отнял горячую трубку от уха, пожегся, словно на него дохнуло холодом. Дышал он тяжело, бледность пробила бронзовую кожу на щеках, а левое веко подрагивало.

— Товарищ Цыцарь, — напряжнив скулы, сказал он, — вот что, товарищ Цыцарь... Вы так и не сказали, что думает о соревновании товарищ Цукасов.

В трубке щелкнуло, завывло, раздался встревоженный голос телефонистки: «Алле, алле, что случилось?» — потом метельно завыл зуммер, раздался шепот другой телефонистки: «Ой, что делается!» — а уж затем трубка заглохла, словно ее оторвали от телефона, — это выключила прончатовский аппарат подслушивающая разговор секретарша Людмила Яковлевна.

Обладающий живым воображением Прончатов легко представлял себе, как Семен Кузьмич Цыцарь сейчас идет по длинному обкомовскому коридору, входит в кабинет секретаря по промышленности Цукасова, садится в кресло и, выждав мо-

мент, лениво говорит: «Надо поторопиться с назначением Цветкова!»

Они большие друзья — заведующий промышленным отделом и Цветков. Вот уже лет двадцать Семен Кузьмич Цыцарь, поднимаясь по служебной лестнице, ведет за собой друга молодости. Цыцарь был секретарем сельского райкома, Цветков выдвинулся в заместители председателя райисполкома, Семен Кузьмич переезжает в областной город — Цветков избирается председателем райисполкома, а потом переходит на работу в сплавной трест. Теперь Цветков хочет быть директором одной из крупнейших сплавных контор Сибири, и Цыцарь помогает ему в этом: именно он предложил бюро обкома кандидатуру Цветкова, хотя секретарь обкома партии по промышленности Цукасов выдвигал Прончатова...

Равно десять минут Олег Олегович сидел, отдыхая: глаза были закрыты, узел галстука распущен, пиджак распахнут. Он дремал, так как его могучему организму было довольно десяти минут, чтобы тело налилось утренней бодростью и наступила ясность ума. Он дремал, ни о чем не думая, хотя было трудно ни о чем не думать, когда Семен Кузьмич Цыцарь в эту минуту сидел у секретаря обкома Цукасова, который совсем недавно выдвинут на этот высокий пост.

По истечении десяти минут Олег Олегович открыл глаза, встряхнувшись, резким движением придвинул к себе большие конторские счеты. Раз — откинул одну костяшку, два — вторую, три... Восемь костяшек, над каждой думая, перебрал Олег Олегович, затем ребром ладони вернул их на место, вздохнув, поднялся. Открыв двери кабинета, он сказал Людмиле Яковлевне: «Меня нет», — затем подошел к той стене комнаты, где в обоях виделась тонкая щель, похожая на трещину, — это была дверь.

В крошечном кабинете-столовой располагался ресторанный столик на железных ножках, два металлических стула, кухонный шкафчик; на столе стоял термос с горячим чаем, лежали бутерброды с колбасой, шпроты, черствые булочки. Никаких украшений в комнатешке не было, но на стене висела маршрутная карта Москвы, так как Олег Олегович любил за едой смотреть на нее, а иногда даже мысленно следовал столичными маршрутами. Понятно, что о слабости главного инженера ни одна душа на свете не знала, а тем, кто интересовался маршрутной картой, Прончатов говорил: «Под ней безобразное масляное пятно...»

Войдя в комнату, Олег Олегович сел спиной к двери, а лицом к маршрутной карте, открыв бутылку, жадно выпил подряд два стакана томатного сока. Затем он принялся за чай и бутерброды, одновременно с этим поглядывая на стенку. Он посмеивался над самим собой — взрослый мужик, отец двоих детей, инженер... Небольшое окно светило как раз на

маршрутную карту, отчетливо были видны известные столичные здания, которые художник нарисовал для удобства пользования картой. Высотное здание на Котельнической набережной, ГУМ, дома на площадях Восстания, Дзержинского, здания на Садовом кольце.

Интереснее всего было ехать на легковом автомобиле. Чтобы, например, попасть с Внуковского аэродрома в гостиницы Алексеевского городка, что недалеко от ВДНХ, надо было проехать Ленинский проспект, сделать небольшой поворот на Октябрьской, выскочить к кинотеатру «Ударник». Потом еще один поворот на светофор с дополнительной стрелкой, прямая, еще поворот — Министерство лесной и бумажной промышленности... На проспект Мира можно выезжать со Сретенки, где на левой стороне улицы стоит табачный магазин, в котором Прончатов обычно покупал дефицитные сигареты. Продащицу звали Лариса Павловна, она складывала бантиком губы, обновалась, когда появлялся у прилавка насмешливый сибиряк...

После второго стакана чая Прончатов прилег на узкую кушетку. В комнатешке было тихо, как ночью, за окном старые черемухи пошевеливали черствыми ветвями, три молодых кедра в конце аллеи тесно сплетали кроны. Глухо, дремно, первобытно... Олег Олегович закрыл глаза. Тишина вздымала его, несла, покачивала, словно кушетка плыла по волнам. Слышалось, как пульсирует в висках кровь, а время было шелестящее, слышнее, словно песок в древних часах.

Прончатов тосковал. Казалась безлюдной, неживой глухота за окном, тяжело давила на плечи тишина; у стола был притаившийся опасный угол, ноги паучьи... Он отчетливо увидел кухню своего родительского дома, запотевшую крынку с молоком. Восемнадцатилетний Олег Прончатов возвращается во втором часу ночи из клуба, счастливо поеживаясь, раздевается до трусов, садится за стол с книгой в руках. В соседней комнате похрапывает, разговаривает во сне Олег Прончатов-старший, беззвучно спит мать. За открытым окном — звезды, зыбится кривобокая луна, кто-то поет сильным голосом «Позарастали стежки-дорожки...». Олег пьет холодное молоко и читает биографию Гоголя, спокойно перевортывает страницу за страницей, пока не доходит до слов писателя: «Страх терзает мою душу при мысли о том, что жизнь свою я проживу в безызвестности...»

Свет керосиновой лампы померк, а тишина стала похожей на речное улово, луна насмешливо опиралась на косые рога. Ему было холодно, страшно: неужели будут проходить годы, десятилетия, века, а все так же будет безмятежно светить луна, выть собака, храпеть человек? И неужели его жизнь пройдет в безызвестности?..

Много лет прошло с тех пор, но Олегу Олеговичу опять было холодно и страшно, и он лежал неподвижно; жалкими, узкими были его плечи, постаревшим — лицо. «Чего тебе надо еще от

жизни, Прончатов?»— с тоской думал он, завидуя счастливому своим домом Полякову, парторгу, секретарше Людмиле Яковлевне, Гошке Чаусову. Почему он, Прончатов, никогда не бывает доволен собой? Почему его кольнули в сердце слова Гоголя, а старший брат Валентин, прочитав их, улыбнулся: «Псих ненормальный!..»

Что заставляет его, Прончатова, скрывать лес, завещанный ему Михаилом Николаевичем, что заставляет его бороться с Цветковым за Тагарскую сплавную контору? Положение, большая зарплата, директорская власть? Ничуть не бывало! Почти равны заработок директора и главного инженера, положение главного инженера выгоднее, интереснее, значительнее директорского, а власть полнее, так как сплавная контора — это техника. Так что же?

Прончатов осторожно выдохнул воздух, усмехнувшись, положил щеку на ладонь. В комнатешке вдруг сделалось уютно, тепло, и мысли поползли спокойные, трезвые, словно бы прозрачные...

Здесь автор снова оставляет Олега Прончатова одного, чтобы заглянуть в будущее героя. Автор видит, как несколько лет спустя, когда Олегу Олеговичу было уже за сорок, в апреле, а точнее, двадцать пятого апреля, когда на Оби...

СКАЗ О БУДУЩЕМ

Обь пошла двадцать пятого апреля — довольно рано! — и утром двадцать восьмого еще не произошло никаких изменений в погоде. Дул такой холодный ветер, какой всегда бывает во время ледохода, облака цеплялись за антенны, несусветная грязь заполняла до краев речной поселок Тагар.

Грязь коровьими лепешками лежала на стенах домов, толстым слоем покрывала деревянный тротуар; грязь заскорузла на машинах и животных, всхлипывала под резиновыми сапогами прохожих, постанывала под колесами телег. Серым, грязным был в конце апреля речной поселок Тагар, ни одного цветного яркого пятна не виделось окрест.

Яркое цветное пятно появилось в восемь часов пятьдесят минут — это, как всегда за десять минут до начала работы, вышел из своего дома директор Тагарской сплавной конторы Олег Олегович Прончатов. На нем была серая вельюровая шляпа, стального цвета плащ, бордовый шарф, коричневые брюки и отполированные до зеркальности черные туфли, которые он окунал в коричнево-серую грязь с таким видом, точно шел по блестящему асфальту. Это объяснялось тем, что при ходьбе Прончатов никогда не смотрел под ноги: его крупная квадратная голова всегда мечтательно закидывалась назад.

Прончатов поднялся на скрипучее крыльцо конторы и вошел в гулкий высокий коридор, пустой до чрезвычайности. Он шел по нему, поскрипывая туфлями, которые в оглашенной грязи не успели размокнуть, так как от дома до конторы расстояние не превышало трехсот метров. Кабинет Прончатова располагался в конце коридора, он добрался до него, никого не встретив по пути, что являлось хорошей приметой.

Сахарная, уютная, ласковая секретарша Людмила Яковлевна привстала, до предела выкатив глаза, со значением сказала:

— Олег Олегович, область молчит! Здравствуйте!

— Что вы говорите! — как бы удивился Прончатов.

Людмила Яковлевна подняла прозрачный пальчик, маленький страх плеснулся в зрачках, она прикусила губу, но все-таки сказала:

— Олег Олегович, извините, но я сама вызвала приемную управляющего.

— Подумать только! — еще больше удивился Прончатов.

Людмила Яковлевна облегченно вздохнула.

— Лялечка не в курсе! — сказала она. — Она даже обиделась: «Я бы предупредила Олега Олеговича, если бы вызов наклеивался!»

— Кто бы мог подумать! — металлическим голосом проговорил Прончатов, открывая двери в кабинет. Они, двери, были так туго обиты дерматином, так старательно лишены звукопроводимости, что человека как бы проглатывало тайное безмолвие. Вот был директор Прончатов, и вот нет его, так как исчезли все звуки, сопровождающие движение. Людмила Яковлевна потупила глаза и обреченно, страдальчески вздохнула.

Директор Прончатов, сняв плащ и шляпу, доставал из встроенного стенного шкафа пару свежих туфель. Он заменил ими туфли, запачканные серой грязью, грязные бросил в шкаф. Кроме туфель, в шкафу лежали две пары сапог — кирзовые и резиновые, — но сегодня сапоги Прончатову надобны не были. «Теперь надену сапоги после праздников! — подумал он. — Вызовут же меня в область, черт возьми!»

Прончатов мизинцем надавил кнопку настольного звонка, дверь мгновенно и бесшумно отворилась, на пороге показалась секретарша Людмила Яковлевна, возникшая, как джинн из арабских сказок.

— Будем принимать человечество, — серьезно сказал Прончатов.

— Начальника планового отдела? — со значением спросила Людмила Яковлевна.

— Это не лучший представитель человеческого рода, — ответил Прончатов, — но начнем с него.

— Сейчас, Олег Олегович!

Прончатов сидел, когда начал входить в кабинет начальник планового отдела Глеб Алексеевич — тщательно закрыв двери,

посмотрел, не осталось ли щелочки, удовлетворенно качнул головой и только после этого пошел по ковру так бесшумно, словно по воде.

— Приветствую вас, Олег Олегович,— медленно сказал начальник планового отдела. — Разрешите приступить?

— Разрешаю!

Всего за какую-нибудь минуту Глеб Алексеевич уселся на маленький стул без спинки, развернул коленкорovou папку, взглядом соединил директора, папку и себя в одно целое и только после этого сказал:

— Обстановка на двадцать восьмое апреля складывается более или менее благополучно. Я бы сказал, что даже более чем благополучно...

— Пожалуйста, короче! — вежливо попросил Прончатов.

— Если вы меня просите короче сформулировать положение со сплоткой древесины, то позволительно заметить, что по сравнению с тем же периодом прошлого года сплочено древесины больше на двенадцать целых восемь десятых процента, причем...

— Еще, пожалуйста, короче!

— План по сплотке древесины выполнен на сто шесть процентов,— сказал начальник планового отдела.

— Поехали дальше!

— В отношении молевого сплава я хочу сказать...

Было восемь минут десятого, и директор подумал, что телеграмма должна прийти сегодня до обеда, иначе он, Прончатов, плохо знает трест и обком. Именно двадцать восьмого должна поступить телеграмма, так как бюро обкома должно было состояться именно в пятницу — иначе все теряло смысл.

— ...при форсировании молевой сплав может быть закончен на неделю досрочно. Но если бы меня спросили...

Начальник планового отдела был весь в поле зрения директора — костистый, сутулый, с двойными складками под глазами, а задравшиеся брюки открывали серый тошнотворный носок. «Невозможно!» — подумал Прончатов, как бы сызнова разглядывая начальника планового отдела. Прончатов не замечал, что на его собственном лице, лице бронзового Маяковского, появилось детское выражение любопытства. Отключенный напрочно от того, что говорил Глеб Алексеевич, директор глядел на него такими глазами, как можно смотреть на существо иного рода и племени.

— Пожалуйста, совсем коротко! — осторожно попросил Прончатов.

— Коротко так! Положение коллектива у меня не вызывает никакого беспокойства!

— Пожалуйста, оставьте мне ваши выкладки! — сказал Прончатов и чуточку приподнялся на стуле, что означало конец приема. Глеб Алексеевич мгновенно это понял, но, к удивлению Прончатова, даже не сделал попытки встать. Напротив, он

напустил на лицо серьезное выражение, прокашлялся трубно, и стало понятно, что начальник планового отдела готовится к важному разговору.

— Слушаю! — улыбнулся директор.

— Вопрос маленький, но немаловажный! — осторожно сказал Глеб Алексеевич. — Сводку прикажете давать тридцатого или... — начальник планового отдела сделал убедительную паузу, — или третьего мая?

— Минуточку! — попросил Прончатов. — Минуточку.

Оказалось, что лепешки грязи на брюках уже высохли. Директор вышел из-за стола, остановившись у встроенного в стену шкафа, удобно поставил ногу на перекладинку, вынул маленькую поролоновую щетку.

— Подайте сводку третьего мая, — спокойно сказал Прончатов. — Чего нам торопиться...

Дочистив брюки, он обернулся к начальнику планового отдела и увидел совсем невероятное: Глеб Алексеевич и на этот раз не собирался сходить. Он только передвинулся на краешек стула да снял очки. Вид у него был выжидательно-вопросительный, и Прончатов поджал губы. «Ну, беда! — подумал он. — Исключительно дотошный человек!»

— Мне чужды ваши страдания, Глеб Алексеевич! — шутливо сказал Прончатов. — Коллектив сплавконторы ничего не теряет, если сводка поступит третьего мая. Премияльные мы все равно получим... Вы согласны?

— Согласен!

— Так в чем же дело?

Начальник планового отдела ответил не сразу, а только после того, как водрузил на нос очки.

— Перемены в обкоме, — сказал он и поглядел на Прончатова исподлобья. — А если поймут, что мы нарочно задерживаем сводку...

Он опять не договорил, хотя Прончатов глядел на него доброжелательными, ласковыми глазами. Потом Олег Олегович, пройдясь по кабинету, сказал:

— Ах какие пустяки! Ну такие пустяки...

Он тоже не договорил, и, наверное, именно от этого Глеб Алексеевич решительно поднялся, зачем-то потер руку об руку и с энтузиазмом сказал:

— Желаю вам, Олег Олегович, хорошо провести праздник!

— Спасибо! — ответил Прончатов. — Вам, конечно, привезти магнитофонную пленку.

— О! — медленно воскликнул начальник планового отдела и взмахнул длинными, тощими руками. — О!

Начальник планового отдела беззвучно прикрыл за собой дверь, ушел, а Прончатов все еще стоял. У него было простое задумчивое лицо, трудовая рабочая спина, но глаза сухоовато поблескивали.

— Разрешите!

В кабинет входила, покачиваясь на высоких каблуках, Людмила Яковлевна — приученная к бесшумности, почитая святым долгом ничему не удивляться, она сейчас не могла все-таки справиться с ярко накрашенными губами. Они улыбались.

— Олег Олегович! — сказала она. — Есть телеграмма! Вас вызывают на заседание бюро обкома КПСС!

— Что вы говорите! — удивился Прончатов.

— Вот она!

— Ах какая неожиданность! — еще больше удивился Прончатов. — Кто бы мог подумать, что перед праздником состоится бюро обкома КПСС! Видимо, чрезвычайный случай!.. Вот это жизнь для белого человека!

В три часа дня газик привез Прончатова на раскисший аэродром, что находился в десяти километрах от Тагара. Когда директор вошел в маленький домик, началась тихая суета: выбежал из своей комнатешки старик в аэрофлотской фуражке, надвинула наушники молоденькая радистка, завертел ручку старинного телефона помощник старика. Они побегали, послушали, поразговаривали, и минут через десять старик в аэрофлотской фуражке доложил Прончатову о сложившейся обстановке: АН-2 вышел с ближайшего аэродрома, на борту находился пассажир Анисимов, который позаботился о Прончатове: в самолете ему оставлено место.

— Минут через двадцать взлетите, Олег Олегович! — доложил старик, прикладывая руку к фуражке. — Погуляйте пока!

Прончатов вышел из домика, неторопливо двинулся вдоль раскисшей взлетной полосы. По-прежнему низко висело серое небо, собирался идти дождь, но не решался, аэродром раскис. Было как раз такое время года, когда колес самолеты еще не надевали, лыжи тоже не представляли удобства, и Прончатов покачал головой: «Ну и погода, черт возьми!»

На грязном снегу, на злой пустынности взлетного поля, среди лужиц холодной воды Прончатов казался очень молодым. Это уже был не тот директор, который походил на Маяковского, стоящего на московской площади. Сейчас на взлетном поле находился тот человек, которому начальник планового отдела пожелал хорошо провести праздники в городе, который сорок минут назад сказал: «Вот это жизнь для белого человека!» — и который теперь распахнул серый плащ, ослабил тугой узел галстука. Всего десять километров отделяло Прончатова от служебного кабинета, но тот человек, что сидел в кресле и ходил по кабинету, исчез. Вместо него стоял под серым небом другой — мягко, хорошо светились серые глаза.

— Машина на подходе, Олег Олегович!

Пилот посадил машину очень далеко от дома, — самолет все-таки оказался на колесах. Прончатов увидел, как из-под них чиркнули два грязных опасных дымка. «Анисимов растрясет

животик!» — смешливо подумал он и, ступая блестящими туфлями в грязь, снег и лужи, пошел к тому месту, куда, по его расчетам, должен был подрулить самолет. Расчет оказался правильным, самолет замер как раз в пяти метрах от директора Прончатова, винт цокотнул в последний раз, остановился, и открылась плотная, влитая в фюзеляж дверь.

— Пожалуйста, товарищ Прончатов! — пригласил пожилой пилот.

Директор поднялся по четырем ступенькам в теплое нутро самолета, уверенно пошел вперед, за ним с чемоданом в руках двигался пожилой пилот.

— Ну, здорово, Анисимов! — сказал Прончатов, садясь рядом с необычно толстым и каменно-неподвижным человеком. — Здорово, друг Анисимов!

— Здорово, Прончатов! — ответил толстый человек, неторопливо повертываясь к Прончатову. Он вытянул масляно-блестящие губы, Прончатов наклонился, и на глазах шести молчащих пассажиров они нежно поцеловались.

— Все толстеешь! — громко, словно в машине никого не было, сказал Прончатов.

— Толстею! — вздохнул Анисимов. — Поздравляю тебя с будущим выговором! С праздничком, одним словом!

— Тебя с тем же! — захохотал Прончатов, ласково обнимая Анисимова за необъятные плечи. — Поздравляю с новым начальством!

— С таким начальством можно поздравить! — тонким голосом засмеялся Анисимов. — Я, брат, переволновался! Думал, что уж телеграммы не будет!

— Я тоже! — ответил Прончатов. — Я тоже!

Самолет дрогнул, покатился, подсакивая, оглушительно хлопнула за пожилым пилотом дверь, и директор Анисимов недовольно поморщился — он болезненно переносил полеты. Прончатов в самолете чувствовал себя отлично — любил стремительность движения, захватывающие дух перегрузки взлета и посадки, радостную легкость крутых виражей. Он без любопытства, без заинтересованности зеваки прислонился к окну, бросил взгляд на землю, которая быстро уходила под крылья.

— Тошнит, холера такая! — сказал Анисимов. — Ах, холера!

Прончатов, наоборот, чувствовал мальчишескую хмельную радость. По-прежнему глядя в окно, он видел крутые вилужины рек и речушек, небритую, как бы изрытую оспой, болотистую землю. Она походила на немую, грязную и изодранную карту, но директор Прончатов на этой немой карте знал каждый завиток реки, каждое озерцо, помнил большие, одиноко стоящие деревья; директор Прончатов знал каждую пядь этой земли, такой непривлекательной и холодной сверху.

Над страной Прончатией, как сказал однажды пятнадцатилетний сын директора, летел самолет АН-2. Пятнадцатилетний

сын директора тогда получил от отца нахлобучку, но Прончатов внутренне добродушно смеялся. Он не хотел быть владыкой земли, но эта земля, что лежала под самолетом, была его землею. Сотни раз он пешком промерил ее, прикоснулся ногами к каждой кочке и к каждой тропинке. На этой земле пили его кровь комары, валили его с ног бураны, засасывали по плечи болота. На этой земле Прончатов два раза тонул, трижды замерзал.

Час летел самолет АН-2 над страной Прончатией. Франция, Швейцария и королевство Люксембург легко помещались на территории этой страны, и еще оставалось место для нескольких княжеств, подобных княжеству Монако. Миллионы кубометров леса заготавливала страна Прончатия, и каждый кубометр леса так или иначе проходил через руки директора.

— Усни, Николаша! — ласково сказал Прончатов директору Анисимову. — Будет легче!

— Я сплю! — ответил Анисимов.

Двадцать девятого апреля без пятнадцати одиннадцать директора Тагарской и Зареченской сплавных контор Прончатов и Анисимов пришли к расфуфыренному зданию обкома партии. До революции в нем помещалось дворянское собрание, и подрядчики-купцы угодили аристократическим заказчикам — голые младенцы ползли по карнизам, цветы обнимали полуколонны, волнистые линии, как на торте, покрывали стены.

Оба директора шли медленно, в меру важно, молча. Председателем захудалой артели выглядел директор Анисимов, одетый небрежно и расхлестанно; лощеным иностранцем казался со стороны директор Прончатов. Разными внешне были они, но внутренним, главным очень похожи.

Они посмотрели друг на друга, улыбнулись одинаковыми многозначительными улыбками.

— Кабина в ресторане заказана? — заботливо спросил Анисимов.

— Конечно! — ответил Прончатов и посмотрел на часы. — Без десяти! Постоим?

— Постоим! — ответил Анисимов.

Став очень серьезными, они изучающе смотрели на здание обкома, на голых младенцев, на разноцветье красок, на стальные ворота. Потом опять взглянули друг на друга.

— Шахтеры о нем говорят хорошо! — сказал Прончатов, вынимая зажигалку. — Жалеют, что переведен в другую область.

— Трое детей! — задумчиво проговорил Анисимов. — Младшему четыре года... В силе мужик!

— Две бутылки коньяку — на ногах! — без выражения продолжал Прончатов. — Шахтерская школа, видимо!

— Где пьет? На рыбалке?

— И на рыбалке! — Прончатов расхохотался. — Ты, Коленка, богов лепишь по своему образу и подобию!

Директора помолчали.

— Интересно, интересно! — сказал Анисимов. — Признайся, истукан, что волнуешься!

— Не больше тебя! — пожав плечами, ответил Прончатов. — Пошли?

— Пошли, дорогой!

За стеклянной дверью к ним шагнул седой милиционер с лицом главы большого, дружного семейства. Он, конечно, узнал Прончатова и Анисимова, но виду не показал — милиционер сделал строгие глаза, проведя пальцами по портупее, строго откашлялся, но вдруг расплылся в родственной улыбке.

— Кого я вижу! — пророкотал он. — Олег Олегович, Николай Иванович, с приездиком!

Зная до мелочей, что за этим последует, директора рассмеялись. Радуюсь, оглаживая Прончатова и Анисимова родственными глазами, милиционер прикрыл могучим телом дверь, протянул руку к нагрудному карману Прончатова, сказал ласково:

— Партбилетик!

— Петрович, — включившись в игру, удивленно сказал Анисимов. — Это ведь бюрократизм! Ты же знаешь нас!

— Знать-то знаю, — привычно ответил милиционер, — но жизнь, товарищи, — сложная штука. Сегодня ты директор сплавконторы, а завтра ты нетрудоустроенный гражданин!

После этих слов улыбаться не полагалось, и директора одновременно вздохнули. Хорошим актером был директор Прончатов и сыграл сложное — опустил печально голову, прикрыл грустной поволокой глаза, но надежда светлым лучом проглядывала сквозь тоскующие черты.

— Да-с! — вздохнул он. — Жизнь, жизнь!

Поднявшись на второй этаж, они пошли по длинному пустому коридору. Ни звука не проникало сквозь твердые двери, которые не хлопали, открываясь и закрываясь, никто суетливо не бежал навстречу, никто не обгонял идущих. Толст и пушист, лежал ковер под ногами, мощно стояли возведенные купцами стены. В тишине торжественности шли по коридору Прончатов с Анисимовым, пока не остановились перед высокой дубовой дверью с золотой табличкой «Зал заседаний», за которой находился еще не сам зал, а так называемый «предбанник».

В последний раз переглянувшись, они вошли в «предбанник», молча огляделись и слегка кому-то покивали гордыми головами.

— Так! — неопределенно произнес директор Анисимов.

— Так-с! — в тон ему сказал директор Прончатов.

Они вошли в «предбанник» так, как могут войти в него директора двух самых крупных сплавконтор в области, те самые

директора, которые вслед за первым секретарем обкома партии подписывают рапорты в ЦК КПСС. Директора Прончатов и Анисимов — это были те самые люди, которые производят материальные ценности группы «А», от которых зависит в какой-то степени судьба этой северной лесной области. Прончатов и Анисимов вошли в «предбанник» так, как могли войти люди, знающие себе цену, но и ценящие партийную власть: Прончатов и Анисимов признавали и утверждали руководящую роль партии в строительстве социализма и коммунизма.

— Здоровеньки булы! — еще немного помолчав, сказал Анисимов людям, сидевшим в «предбаннике».

— Здравствуйте, здравствуйте! — приветствовал их Прончатов.

Большие часы показывали ровно одиннадцать, и к директорам торопливо подошел помощник первого секретаря. Нагнувшись к уху Прончатова, он шепнул: «Вас вызывают первым!» То же самое помощник секретаря шепнул Анисимову, и тогда оба одновременно пожали плечами — ничего необычного им помощник не сообщил.

— Арсентий Васильевич начинает бюро ровно в одиннадцать! — громко сказал помощник. — Но Арсентий Васильевич пять минут уделяет беседе с членами бюро!

— Хорошо, хорошо! — кивнул Прончатов.

— Не велики паны, можем и подождать! — сказал Анисимов.

Директора внимательно оглядели ожидающих. Сегодня в «предбаннике» сидели люди трех сортов, для классификации которых не требовалось особого ума и наблюдательности. К первому сорту принадлежали обкомовские работники масштаба инструкторов и замзавов отделов, которых можно было отличить от всех прочих по папкам и по выражению лиц — папки были тоненькие, а на лицах проглядывала деловая озабоченность.

Ко второму сорту принадлежали люди, ожидающие от бюро обкома радости, — эти узнавались по потным, сероватым лицам, по толстым папкам и портфелям, так как эти люди пришли на бюро обкома затем, чтобы утвердиться в новой должности. Они временами открывали толстые папки и портфели, выхватывали бумажки, торопливо перебирая губами, прочитывали что-то.

Люди третьего сорта сидели согнувшись: они ждали от бюро обкома беды. Таких Прончатов и Анисимов увидели троих, но они заметно выделялись среди остальных.

В «предбаннике» не было людей еще одного сорта, тех людей, которые в дни обычных бюро до предела заполняли «предбанник». Директора заводов и председатели колхозов, профессора и военные — вот кто отсутствовал. Не сидели сегодня здесь те, кто любит в «предбаннике» разговаривать громко, спорить

до хрипоты, просыпая на ковер пепел дорогих сигарет, а окурки втыкая в цветочницы. Таких людей, как Прончатов и Анисимов, не было сегодня в «предбаннике».

Без скрипа, развевая воздух, открылась самая крупная дверь в здании обкома, на пороге появился веселый человек в больших очках иностранной конфигурации — заведующий общим отделом. Весело и озорно блестя эти очки, струился по фигуре блестящий костюм тоже иностранной материи и конфигурации. Холостяк и щеголь, умница и знаток вин, знаменитый преферансист и тонкий ценитель актрис областного театра, большой друг Прончатова и Анисимова стоял в открытой двери. Он нашел сверкающими очками директоров Прончатова и Анисимова, подмигнул им весело, дружески, ласково.

— Директора сплавконтор товарищи Прончатов и Анисимов, пожалте на бюро! — звучно сказал он, и эти слова прозвучали так, словно в шутовой фразе «Пожалуйте бриться!».

Заведующему общим отделом обкома в вечерних планах Прончатова и Анисимова отводилось особое место, потому, поглядев на него, директора почувствовали оживление. Они тоже одновременно подмигнули ему, и Прончатов первым вошел в двери зала заседания, так как директор Анисимов любил ходить позади. Они вошли в зал и внимательно, строго, серьезно и независимо огляделись. Члены бюро молча следили за ними.

Два полукресла в зале заседания обкома специально стояли для Прончатова и Анисимова в том месте, где проходила средняя линия меж местами членов бюро и местом председательствующего. Они заняли эти места, даже не поглядев на других членов бюро, дружно повернулись к первому секретарю обкома Арсентию Васильевичу. «Кто ты такой, что ты хочешь от нас, что ты знаешь о нас, что ты скажешь нам?» — молча спрашивали они человека, от которого теперь зависело многое в их жизни. Весел ли этот человек или скучен, добр или нет, любит водку или коньяк, ходит домой пешком или ездит в машине — все было важно директорам. И как он одет, как выглядит — тоже важно.

Восемнадцатый день после очередной партийной конференции, которую называли неофициально «объединительной», работал Арсентий Васильевич в северной области, и ни Прончатов, ни Анисимов его как следует не знали. Они голосовали за избрание Арсентия Васильевича на пост первого секретаря потому, что привез его представлять знаменитый в области инструктор ЦК, которому Прончатов и Анисимов верили, но теперь они хотели близко посмотреть на нового первого секретаря, понять его хоть немножко.

Арсентий Васильевич неторопливо перелистывал дело. Крупный человек был он — лежала на полированном столе огромная

рука без двух пальцев, на виске синело пятно — след шахты. Очень большая, небрежно причесанная голова держалась на мощной шее прямо, глаза в дело смотрели спокойно. Напротив Арсентия Васильевича сидели члены бюро — люди, равные сейчас ему по положению, — но читал первый секретарь углубленно, не торопясь — он работал.

— Мм! — чуть слышно подал голос Прончатов.

— Угу! — отозвался Анисимов.

Прочитав необходимое, первый секретарь поднял голову, закрыл папку, сняв очки, потер пальцами глаза. Лицо устало бледнело — верно, давали знать партийная конференция, новая область, холостяцкое еще житье. Арсентий Васильевич молчал. Сидели спокойные, прямые секретари; рисовал рожицы в дорогой записной книжке начальник КГБ; расстегнув две верхние пуговицы кителя, тяжело дышал генерал — начальник гарнизона; писал на клочке бумаги что-то редактор областной газеты; ожидающе держал папку в руках заведующий промышленным отделом обкома Виктор Андреевич.

— Послушаем промышленный отдел, — тускло и тихо сказал Арсентий Васильевич. — На сообщение пять минут!

Виктор Андреевич прокашлялся, раскрыв папку, повернулся к Прончатову и Анисимову. Потом он отпил глоток воды и снова прокашлялся.

— Начну с положительных сторон, товарищи! — сказал Виктор Андреевич. — Всем известно, что коллективы Тагарской и Зареченской сплавных контор занимают подобающе высокое место в соревновании сплавных контор Западной Сибири и даже страны. По итогам первого квартала Тагарская сплавная контора вышла на первое место, Зареченская — на второе!

Сказав это, заведующий отделом строго посмотрел на Прончатова, потом так же строго — на Анисимова. Было видно, что они ему не нравились, хотя заняли оба первых места в соревновании. И чтобы не было сомнений в этом, заведующий промышленным отделом обличительно сказал:

— Однако в апреле месяце коллективы сплавных контор резко сократили темпы работы. Особенно это чувствуется в последнюю декаду месяца, когда... — он зло мотнул головой, — когда требуется особо напряженная работа в условиях развертывания молевого сплава древесины и перевозок ее в баржах. Я должен информировать бюро обкома о том, что на сегодняшний день мы имеем отставание обеих сплавных контор в среднем на семь процентов от графика.

Виктор Андреевич громко захлопнул папку и сел на место, довольный тем, что гсворил не пять минут, а минуту с хвостиком.

— Послушаем управляющего трестом! — опять тускло и тихо сказал Арсентий Васильевич. — На сообщение три минуты!

Управляющий трестом посмотрел на Прончатова и Анисимова, подумал что-то длинное и сказал задумчиво:

— Мне нечего добавить к сообщению Виктора Андреевича. Мне утром подавать сводку в министерство, а как? Шутка ли, когда по молевому сплаву отстаем. Как я буду говорить с министром?

Управляющий трестом сел. Опять напряглась в зале деловая тишина. Прончатов скосил глаза на Анисимова, дернул губой и, убедившись, что тот все заметил и оценил, продолжал глядеть на первого секретаря, который снова бесшумно перевертывал страницы другой папки.

— Кто еще будет говорить, товарищи? — снова негромко спросил он.

И опять сразу никто не отозвался. Молчали члены бюро, молчал довольный собой заведующий промышленным отделом — все молчали. Тогда Прончатов, повозившись, опять скосил глаза на Анисимова, тот опять это заметил, но вида не подал.

— Мм! — промычал Прончатов. — Мм!

— Мм! — ответил Анисимов.

Они уже поняли, что бюро шло не так, как должно было идти обыкновенное, привычное им бюро. Все в зале было не так, но Прончатов и Анисимов не могли понять, что было необычного. Они только смутно чувствовали, что члены бюро относятся к ним почему-то не очень серьезно, что в их молчании заключается нечто тайное, подспудное. Шло ли это от манеры первого секретаря, шло ли от другого, они тоже понять не могли.

— Кто же будет говорить, товарищи?

— А что тут говорить! — сказал начальник КГБ, отрываясь от блокнотных рожиц. — Безобразники, и все! Безобразники! — подумав, по слогам произнес он и, утыкаясь опять в блокнот, добавил: — Наказать! Наказать!

— Кто еще?

— Выговор без занесения в личное дело! — страдая одышкой, сказал генерал. — Работать они могут, но не хотят!

— Еще кто?

Прончатов и Анисимов незаметно от членов бюро переглянулись, снова испытующе посмотрели на первого секретаря — он по-прежнему читал дело. И по-прежнему молчал весь зал заседаний. Это было так странно, что Прончатов и Анисимов уже открыто переглянулись, откровенно удивленно посмотрели друг на друга. Все это так не походило на обычные напряженные, бурные бюро, что они почувствовали растерянность.

— Это же комедия! — пробормотал Прончатов.

— Мгу! — отозвался Анисимов.

— Значит, никто не хочет говорить? — спросил Арсентий Васильевич, снимая руки со стола. Ему никто не ответил, и первый секретарь встал. Он и за столом казался громадным, а теперь представился двухметровым. Арсентий Васильевич снял

очки, потер усталые глаза пальцами. Синее пятно на виске выделось особенно четко.

— Положение действительно ясное! — неторопливо заговорил первый секретарь. — Тем не менее у меня есть несколько вопросов.

Арсентий Васильевич повернулся к полукреслам Прончатова и Анисимова, несколько секунд смотрел на них, потом привычным, резким движением надел очки.

— Олег Олегович, — спросил он, — в прошлом году на двадцать девятое апреля вы сколько недодавали по молевому сплаву?

— Шесть процентов! — ответил Прончатов.

— А вы, Николай Иванович?

— Семь процентов.

Секретарь удовлетворенно покачал головой.

— Еще вопрос, — тускло сказал он. — А в позапрошлом году сколько было недодано по обоим сплавным конторам на двадцать девятое апреля?

— Шесть процентов, — ответил Прончатов.

— Семь, — сказал Анисимов.

— Спасибо! — поблагодарил первый секретарь, повертываясь к членам бюро и чуточку повышая голос. — Вопросы помогли мне окончательно уяснить суть дела, а она, товарищи, такова... — Он вдруг сдержанно улыбнулся. — Мы были правы, товарищи, когда предполагали фальсификацию...

Первый секретарь поднял папку на уровень глаз, близоруко заглянув в бумаги, читающим голосом продолжил:

— Вот уже три года подряд товарищи Прончатов и Анисимов в конце апреля оказываются в числе тех, кто невыполняет месячный план. Их вполне резонно вызывают на бюро обкома и делают серьезное внушение... Горячо пообещав исправиться, директора возвращаются домой, и четвертого мая оказывается, что обе конторы значительно перевыполнили план. Видимо, происходит чудо...

Арсентий Васильевич положил папку, надел очки, так посмотрел сквозь них на Прончатова и Анисимова, что они затаили дыхание. Затем он спокойно продолжил:

— Мы обсудили предварительно на бюро ваш вопрос, товарищи Прончатов и Анисимов. Учитывая то обстоятельство, что вы прекрасные работники, бюро обкома считает возможным отнестись к вашей игре с месячными сводками снисходительно. — Он повернулся к своему помощнику и, помахивая указательным пальцем, мерно продиктовал: — В протокол надо записать так: «За порочную практику задерживания производственных сводок отстранить от должности директоров Тагарской и Зареченской сплавных контор товарищей Прончатова и Анисимова в том случае, если в апреле будущего года план окажется невыполненным». Записали? Отлично!

Первый секретарь неожиданно для всех сел на место и снял очки; несколько мгновений помолчав, он задумчиво сказал:

— Таким образом, план апреля будущего года уже можно считать перевыполненным, товарищи!— Он еще раз улыбнулся.— А теперь прошу голосовать. Кто за?

Арсентий Васильевич снова встал; теперь было видно, что он не только высок ростом, но и то, что у него холодные, властные глаза, квадратный подбородок и контуры губ тверды, хотя в уголках их скрывается еле приметная усмешка.

— Единогласно!— подвел итоги первый секретарь.— Вы свободны, товарищи Прончатов и Анисимов.

Они осторожно поднялись со своих мест, повертываясь, чтобы идти к выходу, заметили, что все переменялось на бюро обкома: начальник КГБ уже ничего не рисовал в блокноте, секретарь обкома по промышленности глядел на директоров отстраняющими глазами, генерал непреклонно блестел опогоненными плечами. Сидели перед директорами люди, которые никоим образом не могли ответить на шутку, и Олег Олегович Прончатов на лету зажевал движение губ, которые собирались неловко улыбнуться.

Если милиционер с лицом главы большого семейства только проверял партийные билеты знакомых людей перед входом в обком, то на обратном пути он эти же билеты тщательно исследовал — ведь бывали уже случаи, когда в обком входили с партийными билетами, а выходили без оных и добродушному милиционеру приходилось звонить заведующему общим отделом, чтобы выпустить из здания человека, у которого нет больше партийного билета.

У Прончатова и Анисимова партийные билеты оказались на месте.

— Пока! — дружески улыбнулся им милиционер.

— Пока, пока, — ответили директора.

Они остановились на том же самом месте, где стояли раньше, и пристально поглядели друг на друга. Анисимов был крашен и потен, Прончатов обычен. Усмехнувшись, они огляделись. Прошло минут тридцать, как они вошли в обком, но город за это короткое время переменялся.

Обкомовскую неширокую улицу перепоясал надутый ветром кумачовый лозунг, на углу болталась гроздь разноцветных воздушных шаров; подметальная машина с ревом чистила асфальт. Город издавал такой шум, какой издает всякий город перед праздником, — ревели всполохами клаксоны машин, весело перекликалась толпа, галдели пионеры, идущие строем, гремел военный оркестр, репетируя парад. Город готовился произносить торжественные слова, пить, есть, петь, любить, плакать, радоваться, драться, наряжаться, смеяться и скучать...

— Умен, а? — спросил Анисимов, прищуривая один глаз. — Умен, собака!

— Умен! — ответил Прончатов.

— Последний разочек, — весело сказал Анисимов.

Алое полотнище бурлило на ветру. «Да здравствует 1-е Мая — день международной солидарности трудящихся!» — было написано на нем, и Прончатов вдруг почувствовал детскую радость. Бесшабашным движением руки он сбил на затылок шляпу, распахнул плащ, повернувшись к Анисимову, открыл в улыбке белые, как у негра, зубы.

— Последний нынешний денечек... — баритоном пропел он. — Пошумим так, что небу станет жарко!

— У Риты? — хлопотливо спросил Анисимов.

— Конечно! — проревел Прончатов. — Ее дурень опять в командировке. В научной! Двинули, Николаша!

Они пошли вдоль здания обкома, к центральной, самой шумной и веселой улице сибирского города. Всего двести метров теперь отделяло Прончатова и Анисимова от нее. Там, на конце двухсот метров, на центральной улице, ждали их распахнутые двери ресторанов, блестящие ради праздника такси, неоновые огни аэродрома, где зимой и летом водятся ананасы и черная икра; ждали их три городских джаза и филармония, тайны кулис областного театра, загадочная улыбка Риты — академиковой жены, который опять был в командировке. В научной!

— Алешка! — радостно охнул Анисимов. — Сбежал, стерва!

Их неторопливо догонял заведующий общим отделом. Сверкал на солнце его синтетический костюм, скрипели туфли, развевался на ветру выхваченный из-под пиджака галстук.

— Сбежал? — нежным голосом спросил Анисимов, когда заведующий догнал их. — Мамаша заболели?

— Мамаша здоровы! — ответил заведующий и тонко улыбнулся. — И папаша тоже!

После этого заведующий повернулся лицом к металлическим резным воротам обкома. Прончатов и Анисимов тоже посмотрели на них и удивились — ворота сами, как при словах «сим-сим, откройся!», медленно распахивались. Для чего это делалось, сначала не понималось, но потом медленно, сказочно показался ослепительный от никеля и глянцевой черни капот единственной в городе «Чайки». Плавным лебедем выплыла она на блестящий асфальт обкомовской улицы, бесшумная, как привидение, подвернула к Прончатову и Анисимову.

— Здравствуйте! — бесшумно открыв зеркальную дверцу, сказал шофер. — Прошу, товарищи Прончатов и Анисимов!

— Алеша? — тихо спросил Анисимов.

— Хе-хе два раза! — ответил заведующий общим отделом, заправляя галстук за борт пиджака. — Арсентий Васильевич изволили раскусить вас, господа!

— Так! — сказал Прончатов.

— Опять же — хе-хе два раза! — показывая золотые зубы, сказал заведующий. — Вам, господа, интересно, что сказал Арсентий Васильевич, когда вы вышли из зала заседаний?

— Интересно! — тихо сказал Прончатов.

— Арсентий Васильевич сказали: «Хулиганство!»

— Говори все! — прикрикнул Прончатов. — Говори!

— Потом Арсентий Васильевич сказали: «Эти хулиганы директора, видимо, любят встречать Первомай в городе!»

— Кончай! — пропищал Анисимов.

— Потом Арсентий Васильевич улыбнулись во второй раз. «Конечно, это лучшие директора сплавконтор в Сибири, но их надо проучить!» После этого Арсентий Васильевич пошутили: «Пусть немедленно летят домой и начинают ликвидировать оставшиеся различия между городом и деревней!»

Заведующий общим отделом прикрыл капризной верхней губой три золотых зуба и печально закончил:

— Одним словом, братцы, сидайте в авто! Эх, черт, жалость-то какая!

— С аэродрома позвонили, Алексей Савич, — сказал шофер, — что машина уже прогрета! Товарищам Прончатову и Анисимову выделен личный самолет начальника гарнизона!

— То-то генерал от смеха катался! — почесывая голову, сказал заведующий отделом. — Они, черти, обо всем заранее договорились! Потому и комедию ломали...

Прончатов и Анисимов молчали всю дорогу до аэродрома. Когда же «Чайка», разбрызгивая грязь и снег, стала подниматься на взгорок и показалось летное поле, на котором стоял зеленый, как саранча, самолет, Прончатов нажал кнопку на дверце. Стекло бесшумно поползло вниз, в машину ворвалась тугая струя воздуха. Прончатов хватил ее полной грудью, смакуя, подержал в легких и, выдохнув, повернулся к Анисимову.

— Николай, — сказал он. — Вот и объединились обкомы. Есть у нас первый секретарь!

— Будь здоров! — ответил Анисимов. — За милую душу, друг Олег!

Возвращая Олега Олеговича из будущего в настоящее, автор напоминает, что герой находится в маленькой комнате, которая примыкает к его кабинету. Прончатов лежит на небольшой кушетке, думает о разной разности, так как всего несколько минут назад говорил по телефону с заведующим промышленным отделом обкома Цыцарем.

Олег Олегович поднялся наконец с кушетки, вяло подошел к дверям, взявшись за ручку, замер. Прошло несколько секунд, не более,—стоял у порога кабинета другой Прончатов. Он негнушейся рукой рванул дверь, энергичным шагом вошел в кабинет, небрежно — мизинцем надавил белую кнопку.

— Было три звонка,—доложила Людмила Яковлевна.— Звонил Пиковский леспромхоз, второй секретарь райкома Гудкин и Поляков.

— Чаусова, да поскорее! В район...

Через десять минут у крыльца стояла тройка, запряженная в легкую тележку. Гошка Чаусов в кожаных рукавицах, натягивая вожжи, зычно кричал: «Не балуй!» Лежал на тележке цветной ковер, на лошадях разноцветилась праздничная сбруя, под дугой у коренника ждал своего времени колокольчик. Полуденное солнце цеплялось за маковку церкви, белесое небо было покрыто сиреневыми точечками и вращающимися бордовыми кругами.

— Пошел! — выдохнул Прончатов.

9

Нигде не сбавляя иноходной рыси, прогрохотав досками мостика, тройка выскочила на взлобок горушки, сглотнула четыре километра по прямой, потом, загибая кругую дугу, обезжала травянистый холм, и на седьмом километре открылся деревянный город Пашево. Перво-наперво стояла на краю деревянная тюрьма, похожая из-за решетчатых наоконников и башенок на замок; за тюрьмой пошли белые особнячки, за ними начали изгибаться по профилю дороги двухэтажные брусчатые дома образца тридцатых годов, а уж за ними бешеные колеса торжествующе застучали по деревянной мостовой, на двух сторонах которой локоть в локоть, лицо в лицо стояли районные учреждения: райфо, райсельхозуправление, райпотребсоюз, райисполком, райзаготконтора, райплан, райком и так далее.

Тройка совершила последний головокружительный разворот по торцовой мостовой, остановленная могучими руками Гошки Чаусова, замерла у зеленого липового островка, живущего обособленно от города и окружающего пейзажа. Хотя липы стояли густо, сквозь них все равно просвечивал белый двухэтажный дом — Пашевский райком партии. К нему вела асфальтовая дорожка, по сторонам ее стояли парковые зеленые скамейки, вход в райком был увит северным плющом, похожим на виноград; мало того, среди лип можно было заметить южные кустики с малиновыми цветами.

Постукивая каблуками по асфальту, с наслаждением прислушиваясь к этому цивилизованному звуку, Прончатов поднялся на зеленое крыльцо, с которого попал в прохладный коридор, ведущий прямо к дверям приемной первого и второго секретарей. Ни на секундочку не задержавшись, он проник в уютную приемную, остановившись в дверях, шутливо покашлял.

— Олег Олегович! — вскрикнула сидящая здесь женщина и оживленно поднялась. — Олег.

Звали ее Тамара Нехамова, была она третьей дочерью знаменитого старика и когда-то училась вместе с Прончатовым, которому сейчас так обрадовалась, точно не видела его много лет.

— Здорово, Тамара! — дружески ответил Олег Олегович.

Они оглядывали друг друга с той бесцеремонностью и простотой, которая свойственна друзьям детства. Таких близких людей, как Тамара Нехамова, в Тагаре оставалось уж немного, и Прончатов испытывал удовольствие оттого, что стоял подле женщины. Она знала Олега с младых ногтей, никаких тайн в Прончатове для Тамары не было, и он сделался на ее глазах таким, каким бывал в молодые годы. Если бы сейчас кто-нибудь посторонний посмотрел на Олега Олеговича, то увидел бы незамысловатого деревенского парня — так он помолодел и опростился.

— Ты к Сердюку или к Леониду? — спросила Тамара Нехамова. — Оба у себя.

Она назвала второго секретаря райкома Гудкина по имени потому, что в десятом классе будущий райкомовский секретарь сидел за соседней партой, отставая в литературе, пользовался Тамириными сочинениями, а Тамара списывала у него задачи. Позади них посиживал Олег Прончатов, пускал бумажных голубей и списывал у обших: он был довольно ленив в школе. — К Леониду! — ответил Олег Олегович и спросил: — Ты чего?

Не ответив на вопрос Прончатова, Тамара показала пальцем на свой стол, понизив голос, интимно шепнула:

— Прочти!

На бумаге с грифом «Пашевский райком КПСС» было напечатано письмо первого секретаря райкома Сердюка к первому секретарю обкома. Черным по белому было написано, что Пашевский районный комитет КПСС считает возможным назначить директором Тагарской сплавной конторы Прончатова Олега Олеговича, исходя из того объективного положения, что Прончатов Олег Олегович обладает большими организаторскими способностями, имея высшее образование, работая на должности главного инженера, активно способствовал дальнейшему развитию технического прогресса, будучи уроженцем Тагара, прекрасно знает местные условия, а также

энергичен, работоспособен, принимает активное участие в деятельности партийной организации.

В следующих абзацах высказывалась мысль о том, что, выполняя решения XX съезда КПСС, надо смелее выдвигать на руководящие должности молодых специалистов. А еще ниже было сказано: «Проводя серьезную работу с руководящими кадрами районных предприятий, учреждений, строек, колхозов и совхозов, Пашевский райком КПСС, рекомендуя на должность директора Тагарской сплавной конторы Прончатова О. О., собирається и впредь вести с ним большую воспитательную работу, направленную на укрепление личной дисциплины и ликвидацию таких недостатков в характере, как самолюбование, зазнайство, поспешность в принятии некоторых решений. Пашевский райком недостатки в характере Прончатова О. О. считает недостатками роста и примет все меры для того, чтобы новый директор работал в тесном контакте с партийной и профсоюзной организациями, чтобы все важные решения принимались на основе коллегиальности».

— Лихо! — сказал Прончатов. — Сегодня отправляешь?

— Отправляю! — ответила Тамара и опять шепнула: — Отец приезжал в райком! Прошел к Сердюку и грохнул кулаком по столу: «Надо в директора Прончатова!» Чем ты купил папаню, Олечка?

Переглядываясь с Прончатовым, радуясь его приходу, Тамара Нехамова меж тем подошла к дверям кабинета, хотела уж было открыть их, как остановилась, и что-то изменилось в ее лице. Оно вдруг приобрело грустное выражение, глаза стали по-матерински тревожными; Тамара уже глядела на Прончатова исподлобья, руки деревенским движением сложила под грудь. Потом она покачала головой и бабьим грудным голосом сказала:

— Ну, иди, иди к Леониду...

Пока она говорила это, Прончатов уже успел открыть дверь в кабинет второго секретаря, занес ногу за двойной порог, и потому у него не было времени разобраться в том, что произошло с Тамарой Нехамовой. Будь бы у него свободная минута, он бы насторожился, но времени не было, так как секретарь райкома Гудкин уже поднимался навстречу. И Прончатов быстро подошел к нему, дружески хлопнув ладонью по плечу, сказал:

— Здорово, Ленька!

Узнав Прончатова, секретарь райкома недовольно поморщился, почувствовав удар по плечу, по-заячьи нервно дернул верхней губой. У Леонида Гудкина было все, что требовалось секретарю райкома: высокий лоб с залысинами, представительная фигура, твердые губы; и все это сейчас было направлено против Прончатова. Лоб нахмурился, губы скривились, фигура выражала негодование.

— Остолоп! — с ненавистью сказал Гудкин. — Мы добиваемся твоего назначения директором, Сердюк час назад схлестнулся с Цыцарем, скоро приезжает Цукасов, а ты разводишь шашни! — Он засопел. — Мы заботимся о тебе, а все Пашево и Тагар болтают о твоём романе с племянницей Полякова.

— Ленька! — тихо сказал Прончатов. — Слушай, Ленка...

Под ногами Прончатова цвел экзотическими цветами китайский ковер, бил ему в глаза солнечный зайчик от книжного шкафа, гордая прядь на лбу распрямилась, перестав быть колечком.

— Ты чего? — удивленно спросил Гудкин, стараясь заглянуть в склоненное прончатовское лицо. — Врут, что ли?

— Конечно! — совсем тихо ответил Прончатов. — Я эту племянницу только издавека два раза видел...

Он хотел еще что-то добавить, но раздумал и только огорченно махнул рукой, словно хотел сказать: «Словами не поможешь!» Потом он мягко посмотрел на секретаря райкома.

— Какая же сволочь набрехала? — зло сказал Гудкин. — Слушай, Олег, если найти источник дезинформации... — Он тоже не договорил, а только выругался: — Ах, черт побери! Вот мне небось не припишут племянницу... никто не поверит.

Олег Олегович поднял голову, покусав нижнюю губу, стал глядеть, как по липовому саду, прихрамывая, идет старик с метлой. Звали его Касьяныч, много лет назад он бригадирствовал в колхозе прончатовского отца, потом пошел на войну, потерял руку, охромел на левую ногу. «Надо как-нибудь зайти к нему», — подумал Олег Олегович и вздохнул.

— Ты прав, Гудок! — сказал он. — Тебе племянницу не припишут. От тебя всегда ладаном пахло, а я... — Он опустил голову. — Я давно руководил бы трестом, если бы походил на старика Касьяныча.

— Не хвастайся!

— Я не хвастаюсь, Гудок! — опять грустно сказал Прончатов. — Ты же знаешь, что я привязан к Ленке, не желаю себе лучшей жены, проживу с ней, банально выражаясь, до гробовой доски.

Старик Касьяныч начал подметать асфальтовую дорожку. Единственной своей рукой он обвил черешок метлы, деревянную ногу выставил вперед, зрячий глаз искося навел на асфальт — и пошла писать губерния! Слово постукивающий и шуршащий механизм, состоящий сплошь из шарнирных соединений, Касьяныч скоро продвигался вперед, оставляя за собой вычищенный до блеска асфальт. Железно шуршала метла, методично постукивала деревяшка, брэнчали неснимаемые медали на груди...

— Черт с тобой, Олег, живи как хочешь! — опять обозлился Гудкин. — Что у тебя произошло с Цыцарем?

Милая ты моя деревня, родной ты мой Пашевский район! Двух часов не прошло с той минуты, как Прончатов разговаривал по телефону с заведующим отделом обкома, а Гудкин уж знает о ссоре. Ну хоть связывай руки, зашивай рот...

— Поругался! — задумчиво сказал Прончатов. — Решил ускорить события!

— Идиот!

Гудкин выругался, но лицо у него осталось спокойным. Мало того, секретарь райкома неторопливо положил подбородок на руки, прищурившись, стал глядеть на стол с таким видом, точно перед ним была шахматная доска, а он разыгрывал труднейшую партию. У него действительно был громадный лоб, мудрый изгиб губ. Гудкин напряженно молчал, а Прончатов терпеливо ждал. «На Леньку можно положиться!» — мирно размышлял Олег Олегович.

Минут через пять Гудкин как бы очнулся — он потряс головой, хлопнув ладонью по столу, удовлетворенно ухмыльнулся.

— Ты прав, Олег! — сказал он. — Пора объявлять Цыцарю войну!

Гудкин энергично вышел из-за стола, Прончатов тоже поднялся; они подошли к окну, раскуривая папиросы, обменялись многозначительными взглядами. Затем Прончатов сквозь зубы спросил:

— Вишняков написал жалобу на меня?

— О-го-го какую!

Они стояли друг против друга; даже со стороны было видно, как они дружны, крепко-накрепко связаны одной судьбой и одной работой, как они уверены в обоюдной дружбе. Им для общения требовалось очень мало слов, порой хватало взгляда, движения, жеста. Еще через несколько секунд они сдержанно улынулись друг другу, затем, не сговариваясь, вернулись к столу.

— Вишняков бьет хитро, — безмятежно сказал Гудкин. — О сплетне ни слова, зато две страницы о коллегиальности. Нужно отдать ему должное — факт с партийным собранием хорош! Кстати, почему ты не выполнил решение?

— Глупейшее решение! — тоже спокойно ответил Прончатов. — Вишняков хотел, чтобы на рейде ежесуточно дежурили молодые инженеры. А мне от них нужна мозговая работа.

— Тем не менее факт играет... — Гудкин вдруг засмеялся. — Тамара Нехимова молодец! Перепечатавая письмо Вишнякова, она сохранила все орфографические ошибки... Сердюк их заметил!

Теперь они оба глядели на старика Касьяныча, который уже подмел асфальтовую дорожку и, сидя на зеленой скамей-

ке, одной рукой склеивал самокрутку. Прончатов и Гудкин были тагарскими мальчишками, когда Касьяныч ходил по поселку с гармошкой, таскал за собой шумную стаю девчат, и не было такой, которая бы не хотела пойти с белокурым трактористом к березовой роще на берегу Кети. Женился Касьяныч на самой красивой девке, и она теперь стала старухой, видной, красивой старухой...

— В следующую субботу отчетно-выборное профсоюзное собрание,— сказал Прончатов и по тому, как насторожился Гудкин, понял, что сказанное важно для секретаря райкома.

— Кто передвинул собрание на месяц вперед? — спросил он.

— Вишняков.

— И тебя собираются выдвинуть в состав завкома?

— Да, я дал согласие.

Их внимание опять привлек старик Касьяныч. Кончив пеперкур, он поднялся со скамейки, волоча метлу, неторопливо пошел по асфальтовой дорожке навстречу окнам гудкинского кабинета. Он шел той самой размеренной, трудовой и расчетливой походкой, которой каждый день шествовал из Тагара в Пашево и обратно, так как, работая вахтером и садовником в райкоме, Касьяныч упрямо оставался жить в Тагаре, хотя ему несколько раз предлагали квартиру в райцентре. Отказываясь, он говорил: «Я тагарский!» — и вот каждый день, в шесть часов утра, прихрамывая, отправлялся за восемь километров в райцентр, а в седьмом часу вечера возвращался, запыленный и усталый.

Когда Касьяныч дошел до конца асфальтовой дорожки и завернул за угол, Прончатов задумчиво сказал:

— Вишняков думает, что я не получу большинства голосов, и тем самым будет доказан, как он выражается... мой вопиющий отрыв от коллектива. — Он подошел к окну, прислонившись спиной к стене, немного помолчал, думая. Потом неторопливо продолжил: — У меня есть основания для беспокойства. Как там ни крути, а голосовать будут не за главного инженера Прончатова, а за директора Прончатова. Переход в новое качество уже совершился.

Прончатов сейчас был простым, задумчивым, притихшим; с него, как перчатка с руки, снялось все то внешнее, что определялось его положением, работой, связями с людьми. Находясь наедине с человеком, который знал Прончатова с детства, Олег Олегович приобрел ту простую естественность, какая лежала у истоков его характера. Самим собой был сейчас Прончатов.

— Боишься собрания? — спросил секретарь райкома. — Не скрывай: боишься?

— Боюсь,— просто ответил Прончатов. — Ты понимаешь, Гудок, когда был жив Михаил Николаевич, его широкая спина

прикрывала главного инженера. А вот теперь... Чего я стою как главный инженер, известно, но моя директорская цена — величина икс.

— И все-таки дал согласие быть членом завкома?

— Дал, Леонид, — подумав, ответил Прончатов. — На кой ляд мне Тагарская сплавная контора, если не получу подавляющее большинство голосов...

Они оба смотрели в окно, и лица у них были грустные, так как пусто, неуютно было без старика Касьяныча в саду и на асфальтовой дорожке. Одинокие скамейки стояли по бокам ее, пестрели тени листьев, кроны тополей пошевеливались, дорожка вела неизвестно куда.

— У меня есть сюрприз профсоюзному собранию! — вдруг громко и заносчиво сказал Прончатов. — Область охнет, когда узнает!

Переход от простого, незамысловатого Прончатова к заносчивому и высокомерному был так резок, что секретарь райкома удивленно вскинул голову, ошарашенно посмотрев на Олега Олеговича, неожиданно для самого себя засмеялся.

— Петух, истинный петух, — хохоча, проговорил он. — Ты гляди, что делается с человеком! Подумать только...

Не договорив, Гудкин удивленно подпер щеку языком, так как Прончатов глядел на него по-прежнему заносчиво, хотя полуушмешка на его лице была шутилой, а когда секретарь райкома остановился, Олег Олегович тоже громко рассмеялся и сказал:

— Ну, чего замолк, Гудок! Понял, что я к тебе не с пустыми руками? Ох, Гудище ты, Гудище!

А секретарь райкома поднимался с места, медленно подошел к Прончатову, глядя на него, как на малознакомого человека, тихо спросил:

— Неужели большегрузный плст, Олег?

Теперь у Гудкина было тоже оживленное, простое лицо тагарского парня. Он давно привык к неожиданностям, которые нес в себе и с собой Олег Прончатов, но никогда не мог остаться равнодушным, так как жизнь Гудкина и Прончатова связывала всегда так прочно, что успехи и неудачи одного были успехами и неудачами другого. Поэтому Гудкин сейчас с ожиданием глядел на Олега Олеговича.

— Неужели большегрузный? — повторил он.

— Нет, еще не большегрузный, — ответил Прончатов, — но дело стоящее... Собирай-ка свои шмотки, Гудок, да айда-ка на Пиковский рейд. Я тебе такое покажу, что ты ахнешь! Ну, Гудок, одна нога здесь, другая — там...

«Победа, победа!»— ликовал Прончатов, глядя, как секретарь райкома Гудкин—серьезный, суховатый и сдержанный человек, которого редко удавалось вывести из равновесия,— то удивленно пожимал плечами, то пораженно хмыкал, то улыбался неловкой, кривоватой улыбкой, точно ему было неприятно смотреть на мощно гудящую лебедку Мерзлякова. А она не только вызывала новыми моторами, не только был непривычно торопливым перестук сырого дерева, но и вся лебедка казалась незнакомой, изменившейся, так как на ней и вокруг нее переменялся темп и смысл жизни.

Впрочем, картина внешне была довольно обычная: стояла возле высокого яра старая допотопная лебедка, похожая на этажерку, лежащую на боку; к лебедке притулилась пузатая металлическая баржа, на которую тяжело ложились сосновые бревна. В запани копошились женщины-сортировщицы, на барже быстро передвигались голые по пояс мужчины—одним словом, все было так, как прежде, но опытный человек видел, что все переменялось.

Другим человеком был главный механик Эдгар Иванович Огурцов. Если прежде он ходил возле лебедок Мерзлякова с презрительно оттопыренной нижней губой, то теперь, заметив секретаря райкома и главного инженера, торопливо поднялся на яр, вытирая руки ветошью, энергично подошел к ним.

— Добрый день, товарищи! Привет, Олег Олегович!

Поздоровавшись, механик небрежно бросил на землю истершуюся ветошь, повернувшись лицом к лебедке, посмотрел на нее такими ревнивыми глазами, что Прончатов мгновенно развеселился: «Молодец, Эдгарушка!»

Они долго стояли молча. Грудились в кучу над Кетью облака; обтянутые острыми листьями, сидели под солнцем ветлы; в неуточное время кричал за тальниками коростель, а над штабелями леса, высокими, как многоэтажные дома, кружился коршун. Птица что-то высматривала на земле, была безупречно законченной—эти стреловидные крылья, это веретенообразное тело с заостренным клювом, эта продолжительность парения, когда встречные потоки воздуха держат птицу на месте...

— Молодцы, черти!—вдруг сквозь зубы пробормотал секретарь райкома.— Это ж надо придумать...

Отбросив все казенное, официальное, перестав сдерживаться, Гудкин с откровенной завистью смотрел на Прончатова и Огурцова, волновался вместе с ними, а на лице у него было написано: «Вроде ничего особенного нет в Прончатове и Огурцове, а вот поди ж ты...» Гудкин окончил лесотехнический институт, будучи хорошим инженером, мог реально оценить то, что произошло на Пиковском рейде. Это, конечно, не было пе-

реворотом, так как лебедки отживали свой срок, но из жизни они уходили не сразу, и можно было легко представить, какое благоприятное впечатление это произведет на областное начальство. Радуюсь за дело, за товарищей, секретарь райкома радовался и за себя — они не ошиблись в Прончатове.

— Молодцы, черти! — повторил Гудкин. — Славное дело провернули.

Не ответив, Прончатов начал спускаться на лебедки, уверенный в том, что Гудкин и Огурцов последуют за ним. По узкому трапу они сошли на понтон, пройдя мимо женщин-сортировщиц, остановились на моторной площадке, с которой было хорошо видно все происходящее: Прончатов что-то шепнул на ухо механику Огурцову, который в ответ одобрительно кивнул и сразу же после этого отправился на край понтона, где цепочку сортировщиц и зацепщиц начинала розовощекая разбитная девица в яркой косынке. Огурцов, в свою очередь, ей тоже что-то шепнул, она бросила багор и вальжной походкой подошла к начальству. На ходу она кокетливо поигрывала бровями и складывала губы сердечком.

— Начальству привет! — подойдя, поздоровалась разбитная девица и подмигнула Олегу Олеговичу Прончатову. — Зачем звали?

Прончатов бойкую девицу выбрал потому, что она была его двоюродной сестрой и носила ту же фамилию, что и главный инженер, — их отцы были родными братьями, и у Полины Прончатовой под темными бровями серели такие же большие и внимательные глаза, как у Олега Олеговича, и подбородок тоже был прончатовский.

— Зачем звали? — повторила Полина, поглядывая на секретаря райкома. — А, Леонид Васильевич?

Будучи сестрой Олега Олеговича, бойкая сортировщица, естественно, была знакома и с Леонидом Гудкиным — в детстве они росли вместе. Поэтому секретарь райкома подошел к ней, бегло пожав руку Полины возле запястья, озабоченно спросил:

— Не трудно?

— Не! — ответила Полина Прончатова и для убедительности добавила: — Веселее стало. Все, что ли?

— Все! Иди работай...

Полина еще раз подмигнула Прончатову, показав глазами на Гудкина, сделала такое лицо, словно хотела сказать: «Ленька-то, а!» — и ушла на свое место. И все это произошло так быстро, так весело и естественно, что почти никто из рабочих не заметил происходящего, а отсутствие Полины на левой стороне лебедки не сказалось на темпе работы. Опять гремело сырое дерево, озабоченно выли два мотора вместо одного, а на самой вершине штабеля, на барже пожилой рабочий, ухмыляясь, продолжал дразнить молодого грузчика, время от времени оклика

его: «Сережка?» — «Че!» — отвечал молодой. «Через плечо!» — с хохотом бросал пожилой.

— Прекратите! — грозно крикнул наверх Прончатов, но про себя улыбнулся.

— Есть прекратить! — ответили с баржи. — Сережка?

— Че!

— Через плечо...

— Сопрыки! — заревел Прончатов. — Сниму со смены!

— Ладно, Олег Олегович, больше не буду.

Прончатову было хорошо: рядом стояли друзья, ухмылялись на барже грузчики, пестрые платья и кофты сортировщиц веселили, поддувал от реки слабый ветерок, солнце решительно намеривалось пробить облака. А потом произошло неожиданное — из недр лебедки вдруг выбрался на свет божий старик Никита Нехамов, окруженный свитой из трех человек, стал что-то разглядывать, щупать, показывать своим спутникам.

— С утра торчит на лебедках! — засмеялся Огурцов. — Привез бригадиров, водит по лебедке и тычет пальцем: «Учитесь, олухи царя небесного!»

Легкий, тонкий, цепкий старик ловко прошел по краю лебедки, не дойдя до моторной площадки, остановился. Он старательно делал вид, что не замечает начальство, хотя оно стояло рядом, так как был анекдотически тщеславен — до смерти любил, чтобы начальство всех рангов ходило к нему на поклон. Поэтому Прончатов улыбнулся и сказал:

— Пошли! Утешим старика.

Старик нехотя повернулся к подошедшим, кивнув им, молча протянул руку секретарю райкома. Прончатову выдал только два пальца, а на Огурцова и не поглядел. Затем Нехамов опять повернулся лицом к реке, заложив руки за спину, начал сердито, сосредоточенно молчать. Так прошло минуты три, потом старик негромко приказал:

— Вот подойди-ка, товарищ Прончатов!

Когда Олег Олегович приблизился и, усмехаясь, заглянул в лицо старика, Нехамов ощерил молодые частые зубы, с придыханием спросил:

— Ты чего же это, Олег Олегович, с народом насчет лебедок не посоветовался? Ты как смел такие произвести без нашего разрешения?

Задав этот каверзный, провокационный вопрос, старик положил голову на собственное плечо, изобразив на лице неискреннюю улыбку, стал в грозном молчании дожидаться ответа. Он буравил Прончатова маленькими хитрыми глазками, угрожал ему гневно задранными на лоб седыми бровями, коварным изгибом губ.

— Ну, чего молчишь, товарищ Прончатов?

В этот момент солнце окончательно выпуталось из тесных облаков, закрутившись, запылав, залило мир щедро и торжест-

вующе; потянулись ввысь, стали стройнее лебедки и сосны, тальники и два старых осокоря; разноцветные одежды женщин казались теперь яркими, праздничными, седая борода старика Нехамова тоже заблестала, заискрилась. И только теперь заметили, что на барже, возле выросшего штабеля леса, широко расставив начищенные сапоги, стоит парторг Вишняков. Значит, это для него старик Нехамов задавал Прончатову провокационный вопрос, говорил нарочно громко, чтобы парторг услышал. И слова старика достигли Вишнякова — он начал спускаться на лебедки.

— Перекур! — вдруг раздался громкий голос бригадира, и сразу после этого на лебедке длинно зазвенел звонок. — Отдыхай, ребята!

Когда замолкли моторы и прервался стук сырого дерева, парторг Вишняков оказался идущим в толпе рабочих и работниц, хотя секунду назад стоял в стороне от них. Шагая сквозь толпу, он почти каждому встречному пожимал руку, говорил несколько слов и шел дальше. Кончив наконец рукопожатия и разговоры, парторг неторопливо направился к моторной площадке, подойдя, отвесил общий поклон, но со стариком Нехамовым поздоровался отдельно.

— Здравствуй, Никита Никитович!

Подтянутый, стройный, по-военному ловкий, Вишняков после этого повел себя так, как ведет человек в одиночестве, — он скользнул равнодушным, отсутствующим взглядом по секретарю райкома Гудкину, начисто обойдя Прончатова и Огурцова, весь сосредоточился на каких-то своих, особых мыслях. Он, конечно, сурово молчал и не чувствовал в этом молчании неловкости, хотя любой другой человек, оказавшись он на месте Вишнякова, испытывал бы потребность обменяться хоть несколькими словами с товарищами. Но Вишняков был Вишняковым, и даже Никита Нехамов удивленно хлопал белесыми ресницами.

— Ну и важный же ты человек, Вишняков! — неожиданно добродушно проговорил старик и с размаху ударил парторга ладонью по плечу. — Это ж надо понимать: ты и меня в оторопь бросил.

После этого любой должен был улыбнуться, ответив старику шуткой на шутку, хлопнуть Нехамова тоже по плечу — ну, слабее, ну, почтительнее, но хлопнуть. Однако это уже был бы другой человек, а не Вишняков, и поэтому произошло то, что должно было произойти: парторг, нахмурившись, выслушал старика, неопределенно кивнув головой, отвернулся к реке. Сосредоточенный, хмурый, суровый, затаенный в гимнастерку и галифе, он сейчас смахивал на командира, обходящего после битвы поле боя; во что-то свое, непонятное окружающим, не существующее, в этот миг был устремлен Вишняков, и понималось, что нет простого, ясного, человеческого подхода к тому,

что хранится за суровыми солдатскими складками его обветренного лица.

— Я хочу присоединиться к мнению секретаря райкома товарища Гудкина,— мерным голосом произнес Вишняков, оглаживая под пиджаком складки гимнастерки.— Я слышал, что товарищ Гудкин высоко оценил модернизацию лебедек. Я согласен с оценкой. Товарищ Прончатов, позволь поздравить!

Пребывая в прежнем одиночестве, начисто отключенный от происходящего, парторг протянул руку Прончатову, совершив рукопожатие, руку вернул в прежнее положение, чтобы стоять как бы по стойке «смирно». У него были сильные пальцы, он крепко сдвинул кисть Прончатова, и, потирая занывшие пальцы, Олег Олегович тоскливо подумал о том, что Вишнякову придется трудно. Разлиновав свою жизнь, как ученическую тетрадь, прямыми линиями, Гришка Вишняков лишил себя миллиона человеческих радостей — тепла, легкости, дружеского участия, прелестной нелогичности поступков. Трудно было парторгу, ох как трудно!

— Спасибо!— запоздало ответил на поздравление Прончатов.

Больше говорить было не о чем, и так происходило всегда, когда Вишняков появлялся среди людей. Он задавал несколько вопросов, ему отвечали, он в категорической форме оценивал ответы и, нахмурившись, замолкал. Поэтому при Вишнякове никогда не рассказывали анекдоты, не решались обсуждать житейские новости, вообще не говорили о привычном, так как при парторге казалось неловким произносить такие первичные слова, как «хлеб», «земля», «корова», «огород». Сейчас происходило то же самое: Вишняков, нахмурившись, молчал, а все остальные зависели от этого молчания, терпеливо ожидая, когда парторг уйдет, но он этого, конечно, не замечал. Он все хмуро глядел на речной плес, морщился от солнечного света, а затем вдруг резко повернулся, ни разу не оглянувшись, ушел четким шагом с моторной площадки.

К этому времени перекур кончился; снова прозвенел звонок, людская толпа перекатилась с одного борта лебедки на другой, взвыли моторы, и мгновенно в ответ на это застучали, загрохотали бревна. Шум, треск, всплески прокатились по воде, но людям, стоящим на моторной площадке, показалось, что стало легче дышать и двигаться,— их покинул Вишняков. Чему-то своему улыбнулся секретарь райкома Гудкин, гулко выдохнул застоявшийся воздух из легких Прончатов, облегченно переступил с ноги на ногу механик Огурцов, и принял прежний самодовольный вид старик Нехамов. Одним словом, вернулось прежнее веселое, легкое настроение, и знаменитый судостроитель опять поманил к себе пальцем главного инженера Прончатова:

— Ты подойди, подойди поближе, мил человек! Ты подходи, не стесняйся.

— Подошел,— ответил Прончатов, становясь рядом со стариком.— Вот он я, Никита Никитович.

Старик вынул руки из-за спины, стал серьезным, вдруг положил ладонь на плечо Прончатова; чуточку грустными сделались глаза Нехамова, печальным был голос, когда он раздумчиво сказал:

— Я при лебедках родился и вырос. Вы еще пешком под стол ходили, когда Никита Нехамов вместе с покойным Мерзляковым эти лебедки выдумывали. Вы еще портки не носили, а Никита Нехамов на лебедках лошадей гонял. Моторов-то не было...

Совсем грустным сделался старик: опустил голову, опал плечами, старческими пальцами крутил пуговицу на косоворотке.

— Я на этих лебедках вырос,— негромко продолжил Нехамов,— а Олег Олегович пришел и говорит: «Твои лебедки ни к хрену не годятся!» Ну разве это хорошо! Разве это хорошо, я вас спрашиваю?

Никита Нехамов замолчал. Наверное, минуты две он глядел в одну точку, затем медленно поднял голову, огладив пальцами бороду, второй рукой еще крепче сжал плечо Прончатова.

— Молодца, Олег Олегович!— резким, пронзительным голосом выкрикнул он.— Правильными глазами на жизнь глядишь, правильными. Не ошибся я в тебе, нет, не ошибся!

Еще одну паузу сделал старик — помолчал еще с полминуты грозно, потом снял руку с плеча главного инженера, тоном приказа сказал:

— Теперь большегрузный плот надо, Олег Олегович! Большегрузный плот давай, товарищ Прончатов, чтобы лебедкам было на чем работать...

Оставляя героев повести стоять на старой лебедке Мерзлякова, автор предлагает читателю заглянуть в ту темную, ненастную ночь, когда на рейде впервые появился большегрузный плот, то есть опять отправиться в будущее Олега Олеговича Прончатова... -

СКАЗ О БУДУЩЕМ

Плот привели ночью.

Прожектора горели на рейде, освещая донышки клубящихся туч, зеленую воду; сипло почмокивала паровая электростанция, гремели цепи болидеров. Пароход «Латвия» тоже включил прожектор — сверкнули мертвенно окна домов, зеленые глаза лежащей на пирсе собаки. Она залаяла хрипло, одиноко. Потом луч прожектора взлетел на пирс, выхватив известковую белизну строганных досок и человека в сером плаще — на пирсе стоял директор сплавной конторы Олег Олегович Прончатов.

«Латвия» закричала трубно, первобытно; взбивая воду в мыльную пену, пароход ожесточенно работал колесами, от вагтерлинии до труб окутанный паром, дрожал, но не двигался: держал его на месте толстый трос, уходящий в темное, зеленое.

Директор Прончатов покусывал мундштук длинной папиросы, руки держал в карманах, ноги широко расставил. Гневная, изломанная морщина пересекла его лоб, когда по палубе парохода побежали, согнувшись, люди, громыхнув железом, провалились в машинное отделение. Шипел пар, стучали колеса, метался по берегу луч пароводного прожектора.

— «Латвия»— старая калоша! — сквозь зубы сказал Прончатов, хотя пароход год назад сошел со стапелей. — Старая калоша!

Словно могучий якорь, держал «Латвию» серебряный трос, на конце которого скрывался в далечине и загадочной темноте самый большой плот, который когда-либо проводил по сибирской реке буксир — двенадцать тысяч кубометров леса.

Невиданный, загадочный, долгожданный, скрывался в темноте плот.

На пароходе бежали уже в обратном направлении, выскочил из рубки маленький ростом капитан, что-то сделал на ходовом мостике, и «Латвия», утробно заворчав, вздрогнув, окончательно скрылась в густом серебряном паре. Надсадно, ожесточенно работала машина, тонкий комариный звук висел в воздухе, и инженер Прончатов поморщился от жалости к машине. «Давай, родная, давай!»— сердечно попросил он «Латвию», закрывая глаза. Прончатов ярко, словно наяву, видел гигантский плот — головку величиной с танцевальную площадку, пятисотметровую протяженность стонущих от нагрузки лежней, дощатый домик сплавщиков. Он видел, как, раскорячив ноги, почти лежа, ребята-сплавщики тянули грузы, опасно скользили по мокрому дереву.

— Сволочь! — выругался Прончатов, гневно глядя на пыльную в свете прожекторов реку. — Куда несет ее!

Майская Кеть действительно словно взбесилась: полноводная, в три раза шире обычного русла, река оголтелым стрежнем хватала пароход за днище, прилипала к бортам, словно мельничные колеса, пыталась вращать в обратном направлении пароводные плиты.

— Сволочь! Сволочь!

На «Латвии» колокольным перебором прогудели чьи-то шаги, пароход тонко, жалобно вскрикнул, и этот крик прозвучал как бы командой: пар рассеялся. Чистенькая, освещенная прожекторами «Латвия» словно выпрыгнула из ничего, показалась высокой, торжественно длинной, неожиданно похожая на город, лежащий в огнях под крылом самолета.

— Пошла! — шепнул директор Прончатов.

«Латвия» отрывала от днища жадные лапы стрежня, вырывала из темени плот, схваченный течением двух рек — Кети и

старицы Оби, которые сбивались возле крутого тагарского берега. И вот что-то зазвучало торжественно, что-то благодатное со стеклянным звуком разрушилось, и увиделось, что пароход медленно движется — наплывала вздыбленная рубка, проявлялись в цвете спасательные круги. Метр за метром преодолевала «Латвия», и вдруг, как при проявлении негатива, за кормой парохода в ярком свете прожекторов взошло золотистое полукружье плота, обрамленное серебряной полоской троса.

— Молодец, старая калоша!

Директор Прончатов вынул руки из карманов, достал пачку «Казбека», выбрав папиросу, обернулся к человеку, который тихохонько стоял за его спиной. Прончатов попросил закурить, а когда спичка, вспыхнув, приблизилась, проговорил:

— Волнуешься, товарищ Огурцов? Руки дрожат!

— У тебя тоже! — насмешливо ответил главный механик. — Потому и попросил прикурить... У тебя зажигалка в кармане!

— Не знаю, не знаю... — туманно ответил Прончатов, снова поворачиваясь к «Латвии», которая уже приблизилась настолько, что читалось ее имя на спасательных кругах, различалось лицо человека маленького роста — капитана Валова.

«Латвия» приближалась: струился на серебряном буксире живой, широкий, нескончаемый плот, на головке которого стоял закованный с ног до головы в брезент бригадир сплавщиков Семка Безродный. Он сейчас отдыхал, так как через десять — пятнадцать минут ему предстояло зачалить плот за гигантские «мертвяки», спустить в узкую горловину запани. Около двенадцати тысяч тонн дерева, напряженного стрижнем, надо было остановить Семке Безродному, и он пока отдыхал, опершись на лом.

Двенадцатитысячетонный плот завели в гавань, закрепили; один за одним потухли прожектора, болиндер перестал позвякивать цепями; на землю окончательно опустилась дремучая, сырая ночь. Казалось, можно было достать рукой до кромки грязных облаков, проступивших в темноте, с реки потянуло холодом, неудобом. В каютах и на мостике «Латвии» тоже гасли огни; дверь в машинное отделение закрыли, и горячий отблеск топки уже не ложился на серый металл. «Латвия» медленно, лениво подходила к пирсу. Капитан Валов стоял на палубе, кутаясь в плащ, — маленький, сутулый, повязавший горло громоздким пуховым шарфом.

Директор Прончатов поежился, прикурив от собственной зажигалки шестую за час папиросу, пошел к обрезу пирса, где тускло горела маленькая лампочка, однообразно покачиваясь, сидел закутанный в тулуп сторож. Прончатов молча остановился рядом, сунув руки в карманы, нахмурился, гля-

дя, как «Латвия» притыкалась к пирсу. Сонный матрос закрепил на береговом кнехте чалку, не поздоровавшись с директором, лениво вернулся на пароход. Потом по металлической палубе прошли мягкие ревматические ноги, раздался простуженный кашель.

— Здравствуй, Олег Олегович! — сказал капитан Валов, сходя на пирс. — Здравствуй, Олег!

Они пожали друг другу руки, поглядели друг другу в лицо, неторопливо, разом повернулись к западу, где гигантским изогнутым удавом в километровой запани засыпал плот. Было темно, сумрачно, но капитан и директор видели плот, и они смотрели на него и молчали в тишине. Слышалось, как, тихо и скучно зевая, прошел по палубе первый помощник капитана Валька Чирков, как в машинном отделении кочегар стучал лопатой.

— Третий час! — сказал капитан, не глядя на часы. — Хорошо, пожалуй, управились...

— Хорошо! — отозвался Прончатов и спросил: — Что Вятская?

— Обыкновенно!

Теперь они не глядели друг на друга, думали о своем; совсем маленьким казался капитан рядом с директором Прончатовым, и молчал он грустно, тихо, по-стариковски вяло, совсем не так, как директор Прончатов. Как бы навечно застыв, сидела на директорской голове шляпа, чеканные спускались с плеч складки плаща.

— Борис Зиновеевич! — сказал Прончатов. — Похоже на то, что ты выполнил навигационный план!

— Да, — сказал капитан. — Одним рейсом. Тебя надо благодарить, Олег. Не плот — мечта!

— Не стоит, — ответил Прончатов. — Я хорошо знаю Вятскую протоку, Борис.

Капитан вздохнул, подняв голову, заглянул директору в глаза.

— Олег! — сказал капитан. — Мне нравится Семен Безродный!

В сырой тишине раздавались три звука: плеск волны, легкой, освобожденное от нагрузки прожекторов и болиндера пыхтение электростанций и постукивание далеких тяжелых сапог. Это шли к пирсу сплавщики.

— Что будешь делать, Олег? — спросил капитан.

— Его ждет милиция! — ответил Прончатов. — Я милиционера пока посадил в сторожку, но он здесь. Ты сказал Безродному?

— Нет. Не могу...

Сплавщики шли в ногу, но тяжело, волоча по дереву подковки сапог, запинаясь носками, ерничая коленями. Капитан

и директор прислушались к шагам, услышали все, что было за ними: три бессонные ночи, три дождливых дня, пудовые грузы, жидкая похлебка из прошлогодней вяленой рыбы, Вятская протока, узкая горловина Богодуховского поворота. В тяжелой, отрешенной поступи сапог угадывались изодранные в кровь руки, стонущие от напряжения спины, иссеченные ветром и дождем лица.

— Прости, Олег,— тоскливо сказал капитан.— Я лучше уйду.

— Не уходи, Борис! — попросил Прончатов.— Я хочу поблагодарить ребят при тебе.

Директор вдруг широко улыбнулся, лихим движением сбил шляпу на затылок, распахнул плащ. С ног до головы веселым стал Прончатов, громко засмеялся, прошелся по пирсу, разминая длинные, сильные ноги.

— Все-таки мы привели этот плот, черт возьми! — громко сказал Прончатов.— Слава нам, братцы!

Еще больше повеселел директор Прончатов, помолодел — серый плащ мягко струился с плеч, яркий галстук сверкал. Он шагнул навстречу четырем сплавщикам, с размаху обнял за плечи Семку Безродного.

— Здорово, Васька Буслаев! — пророкотал Прончатов.— Здорово, богатыри, черт бы вас побрал!

— Здравствуйте! — смущенно ответили сплавщики.— Здравствуйте, Олег Олегович, Едгар Иванович!

Крепкие, мускулистые шахтеры — четверо сплавщиков были сильнее; широки в плечах водолазы — четверо были крупнее; мощными шеями славятся борцы — у четверых шеи казались стальными; открытыми, обветренными лицами гордятся рыбаки — у четверых лица потемнели, как кора старой сосны. Отборные ребята, четверо из трех тысяч, работающих в сплавконтуре, стояли на пирсе, но и среди них богатырем выглядел Семка Безродный, закованный в брезентовые доспехи. На полголовы выше других, шире в плечах, веселее и моложе был он.

— Вот так... Так оно... — смущенный горячей встречей, бормотал Семка Безродный.— Приволокли плот... Привели, одним словом...

— Это дело, братцы, надо отметить! — весело сказал Прончатов.— Сам бог, братцы, велел!

Словно и не бывало городского, интеллигентного облика директора Прончатова: распустился и обвис узел галстука, некрасиво повис на широких плечах дорогой плащ, в молодой, непритязательной улыбке расплылись губы. Двадцатитрехлетний сплавщик Семка Безродный выглянул из распахнутого плаща директора Прончатова.

— Главный, а главный! — закричал Прончатов.— Выходи из тени! Читай, главный!

Из-за спины директора спокойно вышел главный инженер сплавконторы, достал из кармана кожаного пальто бумажку, строго посмотрел на директора Прончатова, сдержанно улыбнулся капитану Валову, осклабился в сторону четырех сплавщиков.

— Вступление не стану читать! — сухо сказал он. — Сразу дело... Вот! «...Товарищей Безродного С. А., Семякина В. В., Горчакова Ю. П., Говорова В. С. премировать среднемесячной заработной платой!» Среднемесячной, понятно? Безродный С. А. получит, например, триста семьдесят два рубля шестнадцать копеек. Все!

Главный инженер запахнул кожаное пальто, оглушительно чихнув, неторопливо спрятался за спину директора Прончатова.

— Акимыч! — позвал Прончатов, смеясь над главным инженером. — Появись, Акимыч!

Громко шурша брезентовым плащом, подошел сторож с одностволкой в руках, приставил ее по-военному к ноге, хрипло сказал:

— Кого прикажешь, Олег Олегович! Давешне я все сполнил!

— Покажи, Акимыч! — торжественно приказал Прончатов.

— Вот она! — деловито сказал сторож, торопливо кладя на доски пирса одностволку. — Вот она, родненькая!

Бормоча и суетясь руками, старик стал рыхлить и раскапывать свой огромный плащ — расстегивал крючки и пуговицы, развывзал веревочки и все бормотал-бормотал: «Да вот она, родненькая! Да здесь она, касатухка! Где ей еще быть!»

— Вот же она, родненькая! — громко сказал сторож. — Вот она!

Изогнувшись в спине, старик держал в руках блестящую в свете лампочки четверть водки. Изумление, оторопь появились на лицах сплавщиков, один из них сделал невольный шаг вперед, но сторож опередил его.

— Тут такой фокус! — хлопотливо молвил он, ставя четверть на пирс. — Ее, родненькую, так не удержишь, так я сумку в приспособлении имею. Во, гляди, ребята, какая приспособления!

Под огромным плащом сторожа, на боку, висела холщовая сумка.

— Она себе спокойно висит и головой мне под мышку тычется! — радостно объяснил сторож. — Да ты мне бутыл в два раза дай, я ее снесу в тайности. Ты мне только бутыл дай! Дай мне только бутыл!

Шел четвертый час ночи, висело темное, сырое небо, затаился гигантской змеей в запани плот, туман бинтом прикасался к щекам людей, но сплавщики хохотали отчаянно. А когда они прохохотались, когда сумели унять себя, в тишине раздался сонный голос:

— Ты гляди-ка! У них целая четверть! Хитрюки!

Перегнувшись через поручни, смутно белея лицом, смотрел на пирс с «Латвии» первый помощник капитана Валька Чирков. Еще раз удивившись, он протер глаза, сразу проснулся и деловито сказал:

— Олег Олегович, чего же стоите! Идите в каюту, я разом закуску соображу.

— Ну нет! — решительно ответил Прончатов. — В твою каюту, бабский ты прихвостень, девкин ты гребешок, мы не пойдем. Мы будем пить водку в каюте сплавного капитана Бориса Зиновьевича Валова... Ты нас приглашаешь, Борис?

— Рад вам! — ответил капитан и повернулся к Вальке Чиркову: — Разбуди механика Уткина. Без него на «Латвии» водку не пьют.

В каюте жарко горели плафоны, люстры, струились кремовым шелком занавески, по зеленому линкрусту ползли экзотические цветы. В поролоновых креслах, на поролоновых диванах сидели речники и сплавщики, попирая кирзовыми сапогами пушистые ковры; висели над ними два любимых капитаном эстампа — черная девушка на фоне черного солнца и желтый японец на фоне желтого моря.

Речники, сплавщики, директор Прончатов и главный инженер выпили недавно по граненому стакану водки, краснолицые, отчаянно веселые, ждали, когда сторож-виночерпий разольет по второй. Старик щурился на стаканы, измерял стекло ногтем большого пальца, хмуро покачивал лохматой головой.

— Сто мало, полтора ста много, лей по двести пятьдесят, — бормотал старик. — Ты с мое поживи, тогда водку без оплошки наливать будешь... Ты с мое поживи...

Хорошо было в капитанской каюте! Что граненый стакан водки речникам и сплавщикам — только чуточку покраснели, расстегнули верхние пуговицы глухих рубашек, вольно развалились в креслах и на диванах. Окрепли, налились силой руки ребят, повеселели красные от бессонницы глаза, в ноющих поясах волнообразно перекачивалось тепло.

— Как в аптеке! — сам себя похвалил старик сторож, но предостерегающе поднял руку. — Погоди, парни, пить!

Старик начал хлопотливо готовить закуску: клал на толстые ломти хлеба толстые куски колбасы и ветчины, резал сало, соленые огурцы, сдирал кожу с жемчужной вяленой стерляди. Сторож делал все это, а сплавщики и речники внимательно, напряженно, словно происходило самое главное, нужное, смотрели на руки старика. Пощелкивала батареями водяного отопления теплая тишина, полная ожидания радостного, необходимого, всем приятного. Стараясь сдерживать бес-

причинную улыбку, сдвигал на переносице крупные брови Семка Безродный.

— Ну, теперя выпивайте! — ожесточенно сказал старик. — Я по причине нахождения на посту службы не могу, а вы, ребята, выпивайте.

Громадные ладони, протянувшись, накрыли стаканы, бережно подняли их, неторопливо понесли ко ртам. По сибирским традициям все делалось чинно, обстоятельно, без спешки; ребята старательно показывали равнодушие к водке, к закуске.

— Погоди, ребята! — вдруг попросил Прончатов. — Один момент! — Он внимательно посмотрел на стакан, покачал головой. — Не люблю телячьи нежности, но мне хочется выпить за Семку! За него, братцы!

Прончатов подошел к Безродному, негромко прикоснулся стаканом к Семкиному стакану, спокойно продолжил:

— За твою удачу, Семка!

Гости капитановой каюты опять медленно поднесли стаканы ко ртам, но снова не выпили: хлопотливо вскочив, старик сторож схватил рюмку, торопливо налил в нее немного водки, повернулся к директору.

— Ты, Олег Олегович, хуть меня свольняй с работы, но за Семку и я должен выпить! — сказал он. — По такому случаю должен каждый выпить! Будь здоров, Семен сын Алексея! — вдруг по-фельдфебельски закричал сторож. — Ура! Ура!

Сплавщики выпили, покрякав для порядку, наклонились над столом. Ели они опрятно, беззвучно, деликатно прикрыв ладонями рты. Уютно, радостно, тепло было в капитанской каюте; переполняла ее радость тесной дружбы, взаимоприязнь людей, живущих семь месяцев в году одной семьей, простота отношений, свойственная сибирякам.

— Из Семки ловкий плотовщик вышел! — негромко сказал старший по возрасту сплавщик. — Борис Зиновеевич еще на «Смелом» бегал, когда я заметил, что из Семки толк будет. Ну-ка, думаю, пригребу его в бригаду, а он вот что... Сам в бригадыры вышел! Ты его мальчонкой должен помнить, Борис Зиновеевич! Помнишь, поди?

— Помню! — негромко ответил капитан. — Семен с Яромой работал!

— Во-воо! Ловкость в Семке есть, душу дерева чувствовать, реку понимает... Ежели ему еще строгого ума набраться, то и на мастера пойдет.

— Чего мне делать в мастерах! — по-прежнему смущенный происходящим, ответил Семка Безродный. — Меня и на бригадыры-то еле вытащили... А ты говоришь, в мастера! Зачем в мастера...

Совсем смутившись, Семка отрешенно махнул рукой, потупился. Обилие света, внимание товарищей, влюбленный взгляд

Прончатов — все это было неожиданным для Семки Безродного. Он краснел, запинаясь в словах, чувствовал себя не в своей тарелке, и, поглядев на него, Прончатов усмехнулся. Ведь это был тот самый Семка Безродный, который провел по Вятской протоке плот, в прошлом году одним ударом разрушил залом на молевом сплаве, один отбил от трех уголовников в грандиозной драке. Да, это был тот самый Семка Безродный, и директор Прончатов, еще раз поглядев на него, стиснул зубы. На глазах веселых, чуточку хмельных сплавщиков и речников директор снова превращался в сорокалетнего властного и жестковатого человека. Вот стек румянец с лица, затвердел подбородок. У Прончатова не было времени глядеть по сторонам, но он все-таки заметил, как в черных глазах капитана Валова плеснулась боль.

— Водку выпили, бутерброды съели! — резко сказал Прончатов. — Теперь и за дело... Борис Зиновьевич, ты не попроси своих ребят выйти?

— Вы свободны! — сказал речникам капитан Валов.

Речники вышли, и директор Прончатов холодно оглядел сплавщиков — всех, по одному, но остановился на Семке Безродном.

— В сторожке Акимыча сидят милиционер и потерпевший, — сказал Прончатов. — Ты кого избил за день до ухода в рейс, Безродный? Смотри в глаза! Отвечай!

Отвернувшись, ждался в комочек капитан Валов, удивленно молчали сплавщики, крихтел и слезливо моргал старик сторож. И все они медленно поворачивались к Семке Безродному, который, посеревав глазами, неверующе, словно отыскивая смысл непонятной шутки, молча смотрел на директора Прончатова.

— Отвечай!

Директор наклонился к Семке, схватив его рукой за плечо, глянул прямо в расширившиеся зрачки и увидел, что молодой сплавщик бледнеет, хотя бледности было трудно пробиться сквозь бурый загар и шелушащуюся, обветренную кожу. Безродный медленно отклонился от Прончатова, зажмурившись, слепо провел пальцами по лицу.

— Кого бил? — хрипло ответил Безродный. — Никого я не бил...

Исчазал лихой сплавщик Семка Безродный — суживался в плечах, уменьшался в росте, тупело лицо, гасли молодые глаза.

— Лжешь, Безродный! — тихо сказал Прончатов. — Смотри на меня, говори правду...

Прончатов уже понимал, что Безродный не помнит того вечера, когда возле поселкового круба произошли трагические события: все застилал пьяный туман. Прончатов выпрямился, зябко поежившись, безнадежным голосом спросил:

— Ты сколько выпил в позавчерашний четверг, Безродный?

Слова падали в пустоту; продолжал сжиматься в комочек Безродный, в глазах которого вдруг мелькнуло осмысленное, но тут же погасло: нет, не пробивался Семка через страшную мешанину пьяных воспоминаний. Болезненно скривившись, он прижался затылком к стене, загородился ладонью от яркого света, который бил прямо в глаза.

— Ничего не помню,— прошептал он.

Прончатов сделал такое движение, словно хотел ответить, но слов не нашлось, и он нервно покривил шею. Как хорошо было жить всего десять минут назад! Пароход «Латвия», большегрузный плот, славная улыбка капитана Валова, ярко освещенная каюта.

— Так, хорошо! — отчетливо произнес Прончатов, отступая от сплавщика. — Сейчас Акимыч позовет милиционера и потерпевшего. Будет произведено опознание..

Зябкий, тонкий лучик надежды оставался у Прончатова; чудо должно было произойти, чтобы Безродный не ушел в ночь из каюты, но Прончатов цеплялся за возможность чуда.

— Сидите смирно! — сердито прикрикнул он на сплавщиков. — Сидите смирно!

Первым — в форме и поскрипывающих сапогах — в каюту вошел Закон в облике молодого, розовоскулого милиционера. Он лихо козырнул золотой форме капитана Валова, подумав, козырнул и костюму директора Прончатова, затем, щелкнув каблуками, остановился в трех метрах от порога. Оттопыривалась кобура с пистолетом, тускло мерцали ремни, смотрел в потолок курносый независимый нос милиционера. Нос уловил запахи свежего хлеба и спиртного, колбасы и сала, но повел себя гордо — отвернулся к двери. Парень еще раз щелкнул каблуками и простуженно прохрипел:

— Потерпевший, прошу взойти и произвести опознание. Ну, заходи, потерпевший!

В каюту вошло Несчастье, принявшее на этот раз облик молодого, худощавого человека с перевязанной рукой и забинтованным лбом. Несчастье в помещение вошло робко, оказавшись на ярком свете, окончательно стусеивалось, но милиционер четко подшагал к потерпевшему, взяв его за руку, вывел на середину каюты.

— Пострадавший, производите опознание!

Несчастье пятнами покраснело; оно смущенно оглядывало сплавщиков — кособоко висела рука потерпевшего, заточенная в деревянные лубки, толстая повязка стягивала лоб, но не было на лице Несчастья ни жалобы, ни злости, ни мстительной ненависти. Одного хотел этот маленький человек: бежать из

каюты, не глядеть на сплавщиков, не опознавать того, кто должен был пойти на суд.

— Производите опознание, потерпевший! — строго приказал милиционер. — Производите, производите опознание!

Взгляд растерянного Несчастья медленно приближался к Семке Безродному, но все уже понимали, что потерпевший узнал сплавщика в ту самую секунду, как вошел в каюту, и теперь только тянул время, страдая и мучаясь. И не было разницы в выражении лиц Семки Безродного и маленького избитого человека — одно и то же мучение лежало на них. Прончатов стоял неподвижно. Боковым взглядом он видел напряженно вытянутые фигуры сплавщиков, чувствовал всю доброту и все страдания потерпевшего, понимал суровость курного носа.

— Потерпевший, я последний раз предлагаю...

Милиционер не договорил, так как потерпевший натолкнулся взглядом на Семку Безродного. Сплавщик начал медленно выпрямляться, и осмысленное, четкое воспоминание отразилось в его глазах: снова поумнели, налились мыслью, хотя страх плескался в зрачках.

— Потерпевший, — вдруг спокойно сказал милиционер, — вы будете привлечены к ответственности за клевету, если не проведете опознание.

Прончатову стало холодно. Молодой, розовоскулый милиционер был младшим сыном старика Нехамова. Несколько дней назад Прончатов, встретив его на улице, подивился тому, что плохо, медленно растет Петька Нехамов — как был заморышем, так и остался. А вот сейчас Петька казался великаном и нос у него не был смешным.

— Потерпевший...

Глаза человека с перевязанной рукой встретились с глазами Семки Безродного, и в каюте сделалось совсем тихо: не дыша сидели сплавщики, горько опустив голову, застыл капитан Валов, и только один звук оставался живым — тонко и мелодично позванивали стеклянные висюльки на люстре.

— Он, — тихо сказал потерпевший. — Он сильно пьяный был, очень сильно пьяный...

Директор Прончатов медленно прошел по каюте, сел в кресло, сжал темными пальцами лоб, и в тишине вдруг услышалось, что на руке Прончатова ясно, словно одним золотом, постукивает дорогой хронометр.

— Вы арестованы, гражданин Безродный! — сказал милиционер и тяжело гроыхнул сапогами. — Прошу следовать!

Семка Безродный поднялся. Встал он во весь рост, достав головой до потолка, переступил с ноги на ногу. Потом на лице сплавщика появилась смущенная, непонятная улыбка.

— Это, значит, я за вторым плотом не пойду? — спросил он. — Без меня его будете брать? — Семкины глаза побелели,

лицо осунулось, губы натянулись, обескровленные. — Прости, Олег Олегович! — прошептал он. — Ребята!

Безродный осторожно пошел по блестящему линолеуму, миновав Прончатова, беспомощно улыбнулся. Затем захохотали сапоги, электрический свет отразился в козырьке фуражки, небольшая фигура милиционера надвинулась на Безродного и закрыла его.

— Ребята! — стоя уже у дверей, сказал Безродный. — Ребята!

Громко бренчали висюльки на хрустальной люстре. Это Семка Безродный, выходя из каюты, потряс ее тяжелыми шагами. Когда же люстра успокоилась, директор Прончатов поднялся, неслышно подошел к столу, оперся на него обеими руками. Он молчал долго, наверное с минуту, потом тихо сказал:

— Вот и нет у нас Семки Безродного!

Он медленно повертывался к сплавщикам. Посмотрел в глаза одному, другому, третьему, затем сурово сжал губы.

— Надо уметь пить водку! — сказал Прончатов. Он усмехнулся и погрозил пальцем. — Надо уметь пить водку!

Вернувшись из будущего в настоящее Олега Прончатова, автор напоминает, что главный инженер Тагарской сплавной конторы был оставлен им на борту лебедки Мерзлякова в кругу друзей и соратников. Прончатов стоял возле...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗА О НАСТОЯЩЕМ...

Прончатов стоял на берегу возле знаменитого на всю область механика, плотника, столяра и судостроителя Никиты Нехамова, глядел на его грустное лицо и опять думал о том, что сложна, очень сложна жизнь, если относиться к ней серьезно.

Позади Прончатова сдержанно улыбался секретарь райкома Гудкин, рядом с ним — главный механик Огурцов. Они стояли и глядели на то, как хорошо и быстро работают старые лебедки Мерзлякова, на которых была увеличена скорость хода тросов. Все уже было переговорено, обсуждено, уже Никита Нехамов похвалил Прончатова за удачную мысль, и слово было только за секретарем Гудкиным, который был специально приглашен посмотреть на лебедки. И он посмотрел и сказал:

— Ну, добре, товарищи! Давай лапу, Олег Олегович, пожму при всем честном народе. Хорошее дело провернул! Рад, братцы, за вас душевно.

И был вечер, и была ночь, и было раннее утро, которое Олег Олегович Прончатов встретил покрасневшими от бессонницы глазами и кривой усмешечкой, так как ему было стыдно перед женой за то, что он, Прончатов, не спит ночь перед обыкновенным отчетно-выборным профсоюзным собранием. Елена Максимовна любила мужа, не спала сама, если он мучился бессонницей, и ее трудно было обмануть. Так что в шесть часов утра Олег Олегович бессонно лежал на своей кровати, Елена Максимовна — на своей, в окна проникал розовый свет, и тишина была тугой, полной, словно комната от пола до потолка была набита прончатовским волнением, ожиданием и тревогой. Однако Елена Максимовна была умной женой: она старательно показывала, что спит, дышала ровно и сонно, а когда муж поднялся, даже не пошевелилась.

Олег Олегович осторожно умылся, выпив на скорую руку молока, вышел на крыльцо. Здесь все было розовым и свежим, перепархивал с ветки на ветку знакомый скворец, солнце, точно сквозь сито, процеживалось сквозь черемуховые листья. Он полчаса посидел на крыльце, повздыхал своим мыслям, потом неторопливо пошел в контору.

Весь этот длинный день Олег Олегович время от времени ощущал во рту вкус утреннего холодного молока, что было странно, непонятно. Он дважды побывал в механических мастерских с двух до четырех часов дня просидел на лебедках, за день принял двадцать человек в кабинете, а молочная сладость все пузырилась на губах.

Без пятнадцати восемь Олег Олегович пешочком двинулся к поселковому клубу. Он двигался к нему той улицей, по которой Прончатов никогда не ходил на работу, и поэтому оказалось, что улица Свердлова переменялась. Благодаря этому Прончатов сообразил, что в кино он не был месяца три, а когда смотрел последний кинофильм, то шел в клуб и обратно вечером, то есть в темноте. Все это, следственно, значило, что Прончатов, живя в рабочем поселке Тагар, улицу имени Свердлова при дневном освещении видел год назад во время какого-то собрания. Факт был сам по себе любопытный, и Олег Олегович пришел в хорошее настроение.

Прончатов добродетельно осмотрел новый дом под шатровой крышей, благосклонно отнесся к детским яслям, которые по его, прончатовскому, приказу перекрыли шифером, пошурился удивленно на новый деревянный тротуар и даже поразился тому, что ворота дома директора лесозавода Мороза оказались покрашенными в мощный зеленый цвет, хотя раньше, кажется, были коричневыми. «Мороз-то эстет!» — иронически подумал Олег Олегович, и в этот самый момент — здравствуйте, пожалуйста! — из зеленых ворот появился сам Александр Николаевич Мороз в домашних туфлях на босу ногу, но в шляпе.

— Олег, подбеги-ка ко мне! — негромко позвал он. — Вон ты как подчепурился — ровно на Первомай!

Морозу было под шестьдесят, тридцать лет из них он директорствовал на Тагарском лесозаводе, и Прончатов к нему подошел охотно. Они пожали друг другу руки, Мороз оглядел Прончатова с головы до ног и вдруг звучно плюнул через свое толстое левое плечо:

— Ни пуха тебе, ни пера!

— К черту, Александр Николаевич!

Прончатов пошел дальше скрипучим деревянным тротуаром, продолжая наблюдать за улицей Свердлова и мельком думая о том, что вот и директор. Мороз беспокоится за исход профсоюзного собрания. Не дойдя до клуба метров сто, он удивленно остановился, расставив ноги, потрясенный, зацокал по-извозчичьи языком. «Тагар, любушка моя! — подумал Олег Олегович. — И что же с тобой будет дальше, кровиночка!» Это Прончатов дивился тому, что на левой стороне улицы вырос газетный киоск модернистского стиля. Ух ты, ух! Деревяшка на киоске не было — все стекло да стекло, изнутри смотрели разноцветные обложки журналов, газеты одна над одной висели на прищепочках, а половину блистательного киоска занимала Нюська Нехамова — самая толстая и добрая девка в поселке.

Подумав, Прончатов приблизился к киоску, облокотившись на стеклянный прилавок, озабоченно спросил:

— Нюрк, а Нюрк, ты чего это стоишь, а не сидишь?

— Вам бы только подсмеяться, Олег Олегович! — басом ответила девка и кокетливо закатила глаза. — Где же я сяду, ежели места нет!

— Хороши твои дела, Нюрка! Тебя со всех сторон видать.

Разговаривая с толстухой, Олег Олегович, конечно, хитрил: от прилавка ему хорошо виделось клубное крылечко, к которому уже стекались группки сплавконторских рабочих, а сам Прончатов с клубного крыльца виден не был.

— Ты, Нюрк, теперь живо замуж выскочишь!

Сплавконторские дружно шли на собрание: привалили толпой сразу две смены из механических мастерских, торчали над перилами крыльца здоровенные парни из первой Пиковской бригады, полосатились тельняшки ребят с катеров, а сбоку от крыльца стояла интеллигентная группка служащих, в которой самым высоким человеком был плановик Поляков. Справа от крыльца — аристократы! — стояли неразговорчивые, даже меж собой неконтактные старшины катеров, до такой степени презирающие человечество, что не носили даже форму — на них были небрежные штатские костюмы.

— Ты знаешь, Нюрка, — спросил Прончатов, — чем эта стекляшка хороша?

— Ну чем, ну чем, Олег Олегович? — заранее хохоча, ответила Нюрка. — Вы сроду такой шутник, такой шутник...

Хихикая и кокетничая, Нюрка Нехамова торопливо зыркала глазами по сторонам: неужели никто из девчат не видит, как с ней разговаривает сам Олег Олегович Прончатов, как он улыбается белоснежными зубами, обратив к ней свое распрекрасное лицо?

— Чем же хороша стекляшка, Олег Олегович, чем же?— нарочно привлекая внимание, хохотала Нюрка. — Уж вы скажете...

— А тем, что тебя, Нюрка, видеть, а достать нельзя!— ответил Прончатов.— Ты вроде королева.

Пока Нюрка, взвизгивая, как от шекотки, смеялась и заслоняла вспыхнувшее лицо журналом, Прончатов слушал разнобойный разговор на крылечке, до которого от киоска было метров сорок. На Пиковском причале закончили четыреста шестую баржу, токарь Петька Скородумов на собрание пойти не мог из-за «большого градуса», у тех Мурзиных, что жили по Садовой, объелась вехом корова, Лизка Нехорошева вернулась к мужу, у катера номер 18 разносились клапаны, у Колотовкиных намечается свадьба, но народ думает, что ей, свадьбе, не быть... Потом из глубины крыльца вдруг послышалось:

— ...А Олег Олегович и говорит...

Рассказывающий понизил голос, вместо слов стали слышны только их обрывки, а затем раздался жеребчий хохот, и Олег Олегович так и не узнал, что он там такое говорил. «Голяков, так его перетак!»— подумал он, узнав голос рассказчика и представляя его рябое шельмоватое лицо.

— Ты, Нюрка, теперь самая грамотная девка в поселке. Ты, поди, от скуки все газеты прочитываешь?

Прончатов уже спиной слышал знакомый скрип кирзовых сапог, мелкое топотанье парусиновых туфель и шарканье старых, очень стоптанных ботинок. Тяжелые скрипящие сапоги, конечно, принадлежали парторгу Вишнякову, но если Прончатов шел на профсоюзное собрание один, то парторг двигался на народное действо в тесном единении с начальником рейда Куренным и техноруком того же рейда Груниным, сзади прикрывался братьями Голубицыными, а совсем позади шла та самая группа людей, которые присоединились к парторгу только потому, что он уже шел с четырьмя слутниками. Известно, что толпа притягивает толпу. Однако со стороны шествия вишняковской когорты производило впечатление, и Прончатов рассеянно сказал Нюрке Нехамовой:

— Ну, прощевай, королева, не скучай!

После этого он вернулся на тротуар, расставив ноги, встал на пути Вишнякова.

— Внушительная картина,— бормотал он. — Народное шествие!

В окружении Вишнякова произошли перемены, хотя он сам, конечно, пуше прежнего задрал голову, заскрипел сапогами, а начальник Куренной выпятил вышитую грудь. Первыми сбились

с шага брата Голубицыны, потом завилал глазами технорук Грунин, а затем вышитый Куренной не выдержал прончатовского взгляда — он сбился с шага, отчаянно покраснел и, видимо, неожиданно для себя торопливо проговорил:

— Добрый вечер, Олег Олегович!

После вероломной измены Куренного когорта смешалась, те, что были позади, переместились вперед, и, таким образом, возле Прончатова оказались не соратники парторга, а примкнувшие к ним вольные ходоки, которые весело и радостно принялись здороваться с главным инженером и даже окружать его плотным кольцом. Это Олегу Олеговичу не понравилось, и он сумрачно проговорил:

— Проходите, товарищи, проходите!

Прончатов удивленно вскинул брови, когда, отстав от послушно уходящей толпы, Вишняков возвратился к нему. Сапоги парторга теперь скрипели несколько мягче, голова находилась в нормальном положении.

— Олег Олегович, на секундочку, — позвал Вишняков.

На Тагар накатывался теплый и медленный вечер; по-сонному мычали коровы, мягко стелилась пыль, и так ясно звучали голоса, точно разговаривающие сидели в кружке. Висело над клубом, старательно свернувшись, совершенно круглое облако с дыркой посередине.

— Я к тебе, Прончатов, в большое уважение вошел! — сказал парторг и посмотрел на главного инженера честными, прямыми, откровенными глазами. — Ты правильно решил проверить себя на народе. Правильное, партийное решение принял ты, Прончатов! — мерно продолжал Вишняков. — За это я тебя уважаю. Есть в тебе смелость, Прончатов!

Под распахнутым пиджаком, на застиранной гимнастерке у парторга скромно поблескивали обтянутые целлофаном колючки к орденам и медалям. Два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны двух степеней, медали, медали, медали. Блестяще воевал батальонный командир Вишняков, слыл мастером разведки и ближнего боя; не было в полку человека преданнее воинскому долгу, воинской службе, полковому знамени и полковым традициям.

— Спасибо за доброе слово, Григорий Семенович! — задумчиво сказал Прончатов.

Парторг глядел на Прончатова все теми же ясными, искренними, честными глазами, в которых не было ни подвоха, ни тайной мысли, ни гаденькой неискренности. Ну весь, с головы до ног, был парторг живым воплощением долга, ответственности, человеческой принципиальности и непреклонной целеустремленности. Он молчал, покусывал нижнюю губу; на его серых, усталых щеках лежал отсвет низкого солнца — парторг работал в сутки по восемнадцать часов.

— Ты не думай, Прончатов, что я с тобой примирился, — вдруг сказал он. — Так что ты надежды на мою ласку не держи...

Вишняков по-военному четко повернулся, каблуки щелкнули, прямые плечи застыли как бы в металлическом окладе. И пошел парторг отсчитывать пехотные шаги: раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три...

Возле клуба шумела, бурлила толпа. Подошла вторая бригада с Пиковского рейда, приехали на грузовике ребята с Нольпикета; по-гусиному вытянув шею, уже расхаживал возле клуба руководитель местного оркестра, собираясь играть марши и туши. Однако ни одного человека из рода Нехамовых еще не было у клуба: старый Никита всегда приводил выводок с опозданием. Собственно, всяческие собрания только тогда и начинались, когда в узкой горловине Красного переулка появлялась седая, обрамленная сиянием голова Никиты Нехамова, а за ним — почтительное и принаряженное семейство. В клубе Нехамовы занимали два первых ряда, Никита садился в центре, клал подбородок на палку, которой в случае недовольства чем-нибудь дробно стучал по полу.

Усмехнувшись, Прончатов повернулся, чтобы пойти к клубу, но успел сделать только один шаг, как ему пришлось резко остановиться: из короткого, узкого переулка вышел человек с квадратными широкими плечами, с висящим над глазами широким лбом и маленькими капризными губами. Человек был одет по-летнему свободно, на ногах желтели модные босоножки, а в руке держал махровое полотенце: человек шел купаться. Заметив Прончатова, мужчина остановился так резко, словно налетел на невидимое препятствие; загорелое его лицо мгновенно покраснело, лоб пересекла трагическая вертикальная складка.

Перед Прончатовым стоял заведующий кафедрой теоретической механики одного из крупных институтов Георгий Семенович Кашлев, приехавший в родные места на летние каникулы.

Пока Олег Олегович Прончатов и доцент Георгий Семенович Кашлев с непонятым выражением лиц глядят друг на друга, автор делает еще одно отступление в прошлое главного инженера Тагарской сплавной конторы. Вспоминая весну тысяча девятьсот сорок третьего года, автор утверждает, что школьников рождения тысяча девятьсот двадцать пятого года Пашевский райвоенкомат...

СКАЗ О ПРОШЛОМ

Школьников рождения тысяча девятьсот двадцать пятого года Пашевский райвоенкомат должен был призвать в армию в апреле, но областной военный комиссариат, учитывая военную ситуацию и нужду действующей армии в офицерском со-

ставе, решил призыв десятиклассников отсрочить на три месяца, чтобы получили аттестаты. Был уже разгром немцев под Москвой, была уже позади страшная зима сорок второго — сорок третьего годов с ее метелями и холодами, с низким голосом Левитана, с мерзлой картошкой вместо хлеба и смешной кинокомедией «Антоша Рыбкин».

Готовясь уйти в армию, Олег Прончатов — сын председателя колхоза имени Ленина — жадно смотрел в клубе фронтовые киножурналы, читал центральные газеты, успевая в школе весьма слабо, на уроках военного дела отличался: из мелкокалиберной винтовки бил в «десятку», на лыжной десятикилометровке уступал только остяку Гришке Глазкову, окапывался в снегу мгновенно и ползал по-пластунски мастерски. С фронта он собирался писать Анне Мамаевой и холодными вечерами, спрятавшись от мартовского ветра в палисадник, целовался с ней. Олег обещал Анне вернуться с победой, но она, наслушавшись фронтовых лирических песен, решила пустить его в свою комнату только после полной победы над врагом. «Вот вернешься ты с фронта домой, и под вечер с тобой повстречаемся...» — пела Анна с чувством.

В апреле, когда Олегу исполнилось восемнадцать лет, отец в первый раз в жизни угостил сына крепкой медовухой и до трех часов ночи разговаривал с ним. Олег Олегович Прончатов-старший воевал в империалистическую и гражданскую, был ранен на Халхин-Голе, так что разговор у них был мужской, военный, в котором не было места матери Олега, она до трех часов ночи тоже не спала, тихонько посиживая в кухне и вытирая глаза концом ситцевого платка.

На следующий день Олег опоздал в школу; явился только ко второй перемене, но по коридору шел с таким видом, словно принимал военный парад. Он едва-едва поклонился математику, которого по причине разных болезней в армию не брали, снисходительно поулыбался младшеклассникам, которые провожали его почтительной стайкой, туго закинув голову назад, прошел мимо девчонск-девятиклассниц, затихших при его появлении. В классе он мрачно подошел к своей парте, сел и весь третий урок просидел неподвижно, а в конце урока написал друзьям записку: «Смываемся с занятий!»

На следующей перемене Олег Прончатов и двое его друзей — Гошка Кашлев и Виталька Колотовкин — открыто ушли с уроков. По пути в раздевалку они встретили завуча Тамару Ивановну и вежливо с ней поздоровались, так как завуч была молодая, добрая и красивая. Потом они сделись и неторопливо вышли на улицу, секундочку постояв, решительно двинулись к околице поселка, шагая прямо по лужам.

Весна была в разгаре, хотя в Нарыме апрель почти всегда бывает холодным и ветреным. А тут висело над домами по-весеннему лучистое солнце, снег осел, на улицах журчали ручьи,

проклевывались на деревьях почки, резкий воздух пахнул свежей рогожей, и вообще все кругом было таким прозрачным и расширившимся, точно по миру прошли мойщики с мокрыми тряпками.

За околицей деревни стоял большой деревянный сарай, до войны в нем хранили бочки с соленой рыбой и клюквой, а теперь в сарае селились только ветры. В щелки меж досками пробивалось солнце, отражалось в разбитых бутылках, солнечные лучи в пыльном воздухе походили на лучи прожекторов.

— Заходи скорее! — шепнул Олег Прончатов. — Кажется, никто не видел.

В восемнадцать лет Олег Прончатов был нескладен, длинноног, на круглой, остриженной военкоматом голове торчали оттопыренные уши, высокая фигура была до нелепости костиста, но он уже был широкоплеч, шея уже обрастала продолговатыми мускулами. За высокий рост и костистость Олега в школе звали Дрын.

— Спички давай! — опять шепотом сказал Олег. — Свечка у меня.

Гошка Кашлев и Виталька Колотовкин осторожно подошли к пустой бочке, перешептываясь и переглядываясь, достали по коробке спичек, затихли в нерешительности. Гошка Кашлев был широкий, приземистый, голова у него была большая, расширяющаяся вверху, за что он носил кличку Налим; Виталька Колотовкин не был ни тонким, ни низким, прозвище имел Щекотун, так как к Виталькиным бокам или к пяткам нельзя было и пальцем прикоснуться: он немедленно валился на спину, верещал пронзительным поросычьим визгом.

— Часы я достал! — сказал Олег. — Зажигай свечку, ребята!

Когда свечка разгорелась, стало слышно, как трещит ее серый фитиль. В сарае все-таки пахло рыбой, слежавшейся пылью, от солнечных лучей, похожих на лучи прожектора, сарай казался колеблющимся, призрачно невесомым, словно был растворен в солнце. Лица ребят бледнели, покрывались таким же серым налетом, какого цвета был заброшенный сарай, в молчании зыбко пошевеливался страх ожидания. На щеках Витальки Колотовкина рдел тугой лихорадочный румянец.

— Бросим жребий, друзья! — дрогнувшим голосом сказал Олег, вынимая из коробки три спички. — Длинная — первый, покорооче — второй, совсем короткая — третий.

Судьба сыграла с ребятами злую шутку: самому робкому из них — Витальке Колотовкину — выпала доля первому принять мучения, самому отчаянному, Олегу Прончатову, — последнему. Держа спички в пальцах, не решаясь бросить их, парни молча глядели друг на друга, сильнее прежнего побледнев, опустили головы. Несколько секунд они были неподвижны, затем Олег закатал рукав телогрейки, обнажив тонкую белую руку, шепотом приказал:

— Гошка, давай палочку!

Налим-Кашлев нашел толстый прутик, примерив его к горячей свечке, установил торчком так, чтобы верхний конец был посередине пламени. Затем он отошел назад и тоже закатал рукав телогрейки.

— Виталька, начинай! — крикнул Гошка. — Ну, чего ждешь!

У Колотовкина дрожали руки и ноги, лицо было бледным до синевы. Он сонными, неверными движениями засучил рукав вытертой, прожженной в нескольких местах шубенки, затравленно оглянувшись на Олега, пошел к бочке так, словно его тащили незримыми канатами. Остановившись, он тоненько, жалобно простонал.

— Трус! — крикнул Олег.

Скривив лицо, весь сжавшись, заранее открыв рот, Щекотун лунатическим движением поднес обнаженную руку к свечке и в то же мгновение закричал страшным коровьим голосом. В пустом сарае, в тишине голос резанул уши Олега и Кашлева, они инстинктивно сжались, отступили от бочки, испуганно замерли, но Налим-Кашлев шепотом считал: «Раз-два-три...» Когда он сказал «шесть», Щекотун перестал кричать, закатив глаза, плавно и мягко, но так быстро, что Олег не успел подхватить, упал на спину. В сарае душно запахло паленым мясом.

— Не выдержал! — крикнул Кашлев. — Всего шесть секунд!

В сарае вдруг сделалось темно: солнце, видимо, на минуту забежало за легкую тучу, по всему Тагару прокатилась рваная голубоватая тень. Показалось, что свеча загорелась ярче, в ее колеблющемся свете глаза Олега стали зелеными, кошачьими, а лежащий Колотовкин застал прежнего.

Ребятam было по восемнадцати лет, Гошка Кашлев недавно, побывав у вдовой солдатки, узнал, что такое женщина, через три месяца их брали в армию, в газетах войной пылали страницы, но сейчас у Прончатова и Кашлева были мальчишечьи лица, детская жестокость светилась в глазах, дух соревнования распирали их, словно на футбольном поле. Они пренебрежительно поглядели на лежащего Витальку Колотовкина, одинаково хвастливо передернули плечами и высокомерно улыбнулись.

— Твоя очередь, Налим! — сказал Олег. — Считать буду я.

Злым, мстительным, жестоким парнишкой был Гошка Кашлев, но в смелости и упрямстве не уступал Олегу Прончатову. Он ядовито улыбнулся, ссутулившись, звериной косолапой походкой подошел к горячей свече. В то мгновение, когда огонь лизнул живую плоть, его лицо потеряло детскость — четко проступили на нем будущие сильные, волевые складки, распух мясистый нос, глаза превратились в узкие, жестокие щелочки, а зубы он так стиснул, что рот распух. Страдая, он что-то шептал, приговаривал.

— ...семь, восемь, девять, десять... — считал Олег, — одиннадцать...

Крупные мутные слезы текли по лицу Гошки, скрученный судорогой, бормочущий нечленораздельное, он был жалок, как раненое животное.

— ...двенадцать...

Следующее число не вышло: Кашлев хватанул ртом воздух и медленно повалился на спину, но не мешком, как Виталька Колотовкин, а твердым, прямым бруском. Две-три секунды стояла пьяная качающаяся тишина, затем Олег бросился к Гошке, поднял вялую руку товарища — сквозь закопченность кожи проглядывали связки кровотокающих сухожилий. От этого у Олега плавно-плавно закружилась голова. Еще через несколько мгновений Кашлев пришел в себя, суетливо вскочив, сквозь боль крикнул:

— Сколько?

— Двенадцать.

Олегу было труднее других. Если бы испытание по жребью досталось ему первым, он не был бы переполнен страхом Колотовкина, волю не ослабили бы звериные страдания Кашлева. Олег шел к свече с двойным страхом, с двойной тяжестью ожидания боли. Он поднес руку к пламени, страдая, заскулил сквозь стиснутые зубы. На шестой секунде он впился зубами в мякоть левой руки, раздирая кожу, давился соленой кровью. Потом он тихонечко, про себя, заплакал...

— ...пятнадцать! — четко сказал Гошка Кашлев. — Шестнадцать...

Падая на спину, Олег инстинктивно боялся удариться о землю затылком, подставляя под себя ноги, задом добежал до противоположной стены сарая и всей спиной ударился о нее. Здесь он потерял сознание, а пришел в себя оттого, что Виталька Колотовкин восторженно вопил:

— Семнадцать, семнадцать! Рекорд, рекорд, рекорд!

Шатаясь от боли, Олег вернулся к бочке, осторожно потушил свечку, затем тихонечко вышел на улицу. Рваная тучка унеслась на юго-запад, за Кетью бежали по кедрочкам вишневым тени, солодкий ветер дул в потное лицо. Он был настоян на сыром снеге, еловых шишках и талой воде, и Олег жадно хватал воздух растрескавшимися губами. Он боялся посмотреть на руку: казалось, что до локтя ее нет.

— Бинты! — крикнул Олег. — Бинты, йод, мазь. Живо, Колотовкин.

Перевязав ожоги, с трудом натянув на бинты рукава телогреек, ребята медленно двинулись в сторону поселка. Впереди, согнувшись, шел Олег, за ним ковылял Виталька, последним мрачно переваливался с ноги на ногу Гошка. Он зло сопел, шепотом матерился, время от времени поднимал голову и смотрел в спину Олега сощуренными глазами — таким злым, неуживчи-

вым, самолюбивым парнем был Кашлев, что никому не прощал удачи. Счастливых соперников он никогда не прощал, а если случалось ему поддаться в драке, то не успокаивался до тех пор, пока за кровь не платил кровью, за царапину — царапиной.

Когда ребята прошли с полкилометра, Гошка остановился, гневно дыша, поднял с земли тяжелую палку.

— Дрын, сволочь, — пробормотал он.

Олег не услышал угрозы. Счастливый, он шел горделивой походкой, поглядывая на Тагар, мечтал о том, как болтливый Виталька Колотовкин растреплет по всей школе о случившемся. Так что уже завтрашним утром, проходя мимо Аньки Мамаевой, Олег посмотрит на нее, как на пустое место, наказывая строптивую девчонку за то, что не пускает в комнату. Потом он сладостно представил, как почтительно будут посматривать на него малыши, как умоются черной завистью соклассники и как бросит на него восторженный взгляд завуч Тамара Ивановна — добрая, красивая, молодая девушка. От всего этого боль в руке казалась пустяковой, прошлые страдания — смешными.

— Дрын, сволочь, гад! — громко повторил Гошка.

Радостный Олег и на этот раз остановился не сразу — он сделал еще несколько крупных шагов, чуточку задержавшись, благодушно спросил:

— Ты чего бормочешь, Налим?

— А тебе какое дело, сволочь! — быстро ответил Гошка. — Идешь, гад, и шагай себе, пока не схлопотал по шее!

Они стояли на белом снегу меж сельповским сараем и огородами, на них щедро лилось апрельское солнце, у ребят были еще бледные, запавшие от боли щеки, но Олег, забыв о сожженных руках, мгновенно бросился на Гошку. Они покатались, продавливая снег, и там, где прокатились их сцепившиеся тела, оставались мутные лужицы. Парни дрались молча, как два зверя, а Виталька Колотовкин, ухая и стеля, бегал вокруг них.

— Ну хватит, ну довольно, ну хватит...

Драка была жестокой: то Олег оказывался на Гошке и молотил его тяжелыми кулаками, то Гошка оказывался на Олеге и бил его короткими, тупыми ударами. Затем они опять сцеплялись, катались, скрежеща зубами, выплевывали снег и куски прошлогодней травы.

— Ну, голубчики, ну, родные, милые...

Но ребята дрались еще минуты три, потом наконец все остановилось. Олег Прончатов сидел верхом на Гошке Кашлеве, держал обе руки на его горле, а коленями прижимал распятые руки к земле. И так велико было великодушие Олега, так он был переполнен счастьем побед, что добродушно крикнул:

— Сдавайся, Гошка! Наша взяла!

Извиваясь, силясь подняться, плача от унижения и боли в руке, Кашлев с трудом повернул голову, хватил губами из лужицы талую воду и вдруг затих, опав всем телом. Это было

странно, непонятно, не в характере Налима, и, охваченный предчувствием опасного, Олег вдруг тоже притих. Ох как были страшны глаза Гошки!

— Ну погоди, Прончатов! — прошептал Гошка. — Отец говорит: «Немцы одолеют, мы вас всех, коммунистов, перевешаем!..» Ну погоди, Прончатов!

Олег услышал, как тихо в мире. Не шипел паром лесозавод, не гудели катера сплавконторы, не грохотал сырым деревом Пиковский лесопункт: наступил обеденный перерыв. Тихо, тихо было в тыловом Тагаре. Около пяти тысяч километров отделяло его от фронта, солдатские письма-треугольники шли с зимней почтой до Тагара две недели, первый раненый тагарец Андрей Базуев добирался от Москвы до родного дома три недели, из которых неделю шел пешком от Томска до Пашева.

— Так, Кашлев! — прошептал Олег.

Олег Прончатов с сыном спецпереселенца — так называли бывших кулаков — Гошкой Кашлевым учился с первого класса, лет пять они сидели на одной парте, в один месяц и день вступили в пионеры, потом в комсомол; они вместе ездили на рыбалку, тайком от родителей убегали на охоту, плечо в плечо дрались с ребятами Буровского хутора, списывали друг у друга уроки. Гошка Кашлев был злым, неуживчивым, вздорным парнем, но вернее друга, чем он, у Олега не было — ни в драке, ни в тайне, ни в учебе.

— Я не знал, не знал, что ты такой... — потерянно повторил Олег. — Ты чего же это, Гошка! Ты как же это, Гошка!

Он страдал физически. Апрельский холод был на дворе, но лоб Олега покрылся потом, погуживал ветер, но ему пришлось распахнуть телогрейку, рука невыносимо болела, но боль под сердцем была сильнее. Давнее, полузабытое, кошмарное поднималось из глубин памяти... Не то просторные сени, не то темная комната; запах вялого от тепла сена, ускользающий шепот отца и оголенное белое плечо матери. «Идут!» — слышал Олег, и мутная волна страха поднимала его голову с подушки. Опасное бряцание дверной щеколды, задыхающийся скрип половиц, освещенный спичкой движущийся кадык на шее отца. За стенами возплся, умащивался, как курица в гнезде, страх, потом — выстрел, выстрел, еще выстрел. Утробный стон отца, крик матери, крик за стенами: «Собака, коммунист!»

— Вставай, Кашлев! — тихо сказал Олег. — Вставай, хочу посмотреть тебе в глаза...

Он все еще не верил происшедшему, хотя чувствовал, как на его плечи наползает рваная тень от темного облака. Взрослел, на глазах взрослел Олег Прончатов, глядя на медленно поднимающегося с земли Гошку. Значит, между ними были не только школа и поселок, не только дружба и драки, разговоры и шалости, а и другое — тайное, чужое, кровавое. Было, значит,

в мире что-то такое, что было сильнее Гошки и Олега, всей их мальчишеской жизни.

— Гошка! — прошептал Олег. — Ты чего же это сказал, Гошка?

Лицо Кашлева перекошил страх, осунувшееся, оно вдруг сделалось таким, каким его никто никогда не видел, — взрослым, страдальческим, жалким. Затем у него затряслись, запрыгали губы. Он попятился, согнувшись в три погибели, вдруг резво побежал в сторону деревни. Бежал он хромоного, так как проваливался в снег, потом упал, распластался, вскочив, побежал опять. Кашлев казался уже маленьким — со спичечный коробок, — когда упал вторично. На этот раз он лежал на мокром снегу, наверное, минуту, затем, поднявшись, затрусил дальше.

Вернувшись к настоящему Олегу Олеговичу Прончатову, автор видит его стоящим на тротуаре против друга детства Георгия Семеновича Кашлева. Тротуар был узок, на нем было трудно разойтись людям, которые, встречаясь, никогда не здоровались, и они смотрели друг на друга, раздумывая, как поступить...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗА О НАСТОЯЩЕМ...

Они смотрели друг на друга, раздумывая, как поступить, ничего хорошего придумать не могли, и дело кончилось тем, что, засвистав фальшивый мотивчик, Прончатов пошел на Кашлева, а Кашлев на Прончатова. Чуть не задев друг друга локтями, главный инженер Тагарской сплавной конторы и заведующий кафедрой теоретической механики разошлись на узком тротуаре и спокойненько двинулись дальше: один на отчетно-выборное профсоюзное собрание, второй на реку купаться.

Меж ними было уже метров десять, когда Прончатов остановился, сосредоточенно почесав подбородок, подумал о том, что парторг Вишняков — уникальное явление, если умудрился за пятнадцать лет ни капли не измениться. Понятно, что мысль была вызвана встречей с Кашлевым, который пять лет назад вступил в партию, а его отец — матерый кулак — привез с фронта полный букет боевых орденов и теперь бригадирствует в колхозе. А вот Вишняков оставался Вишняковым.

Часы показывали восемь. Прончатов круто повернулся, заложив пальцы за борт пиджака, легкой, прогуливающейся походкой направился к клубу. Он был ради собрания одет в строгий черный костюм, белую сорочку и черные туфли с острыми носками. Когда Прончатов приблизился к крыльцу, рабочие повернулись лицами к нему, поздоровавшись хором, образовали проход в двери. Не имея возможности здороваться с каждым отдельно, Олег Олегович отвесил сдержанный общий поклон,

поднявшись на крыльцо, по длинному коридору прошел в кабинет директора клуба, где сначала сел на дерматиновый диван, а уже потом сказал:

— Добрый вечер, добрый вечер, товарищи!

За столом сидела руководящая сплавконторская тройка: парторг Вишняков, председатель завкома Иван Фомичев и комсомольский секретарь Сергей Нехамов. Когда Прончатов вошел в кабинет и сел на диван, Иван Фомичев — однорукий человек с обожженным лицом — оживленно поднялся, подбежав к Прончатову, наклонился.

— Здоров, здоров, Олег Олегович! — радостно закричал он. — Куда ты пропал, мил человек, если до тебя дело есть? Мы тут будущий состав завкома подрабатываем. Присаживайся, Олег Олегович, позыркай, чего мы тут накопали...

На этих словах Иван Фомичев осекся: Прончатов глядел на него пустыми глазами, а нижняя губа у него насмешливо оттопыривалась.

— Что ты, Иван Матвеевич, — любезно сказал Прончатов. — Какое я имею право вмешиваться в дела общественных организаций? Ты уж уволь меня, Иван Матвеевич, уволь!

Иван Фомичев растерянно замолк. Добрый, общительный, свойский парень, он никак не мог понять, чего это не поделили такие хорошие, замечательные люди, как главный инженер и парторг. С Олегом Прончатовым Ванюшка Фомичев учился в одной школе, однако женат он был на дочери Вишнякова; Олег Прончатов когда-то рекомендовал калеку Фомичева на пост председателя завкома, а Вишняков за него, однорукого, писал доклады и выступления... Так чего же они сорются, почему глядят друг на друга сурово, отчего никто из них не улыбнется в ответ на добрую, наивную, славную улыбку Ивана Фомичева?

12

Как полагается на любом собрании, выбрали рабочий и почетный президиум, проголосовали за регламент, утвердили руководящие органы собрания, немного пошумели по тому поводу, что доклад длинен. Затем, как и полагается, рабочий президиум долго занимал свои места, а выбранный в него Никита Нехамов из первого ряда прокричал заносчиво:

— Не хочу от своих отбиваться! Уж если в президиум, так выбирай всех Нехамовых!

Собрание охотно засмеялось давно известной реплике старика, две стесняющиеся работницы рейда наконец решились взойти на сцену, и уж тогда Иван Фомичев поднялся на фанерную трибуну. Все наконец пришло в норму, и Олег Олегович, тоже дружно выбранный в президиум, принял ту позу, в которой всегда сидел на собраниях. Для этого Прончатов свободно

положил руки на стол, ноги вытянул, расслабленной спиной оперся на спинку стула, ибо именно в такой позе он мог, не шевелясь, просидеть два часа, поражая терпением даже выдержанных заседальщиков.

Как водится в поселковых клубах, висела под потолком люстра со стекляшками из бутылочного стекла; шесть деревянных колонн подпирали — бог знает зачем — потолок, желтые панели опоясывали стены, к которым никто и никогда не прикасался спиной. Стулья были канцелярские, соединяли их в ряды толстые кедровые планки. Светом со сцены было хорошо освещено только несколько первых рядов, где сидели Нехамовы, одетые в однообразные шевнотовые костюмы и без галстуков, так как старый Никита презрительно называл их «сеledками». Женщины нехамовского рода располагались во втором ряду — им капризный глава семейства отводил отнюдь не первое место в жизни.

Дотошно, внимательно осмотрев зал и людей, Прончатов начал подремывать под мерное поскрипывание рассохшихся стульев; впрочем, он на лету поймал из доклада несколько цифр, обратил внимание на то, что под руководством профсоюзной организации повысилась трудовая дисциплина, но остального не слушал, так как ничего нового Ванюшка Фомичев ему сообщить не мог, и весь доклад Олег Олегович думал о том, как в последнее воскресенье месяца устроить себе охоту и рыбалку. На этот раз он пригласит механика Огурцова, покажет ему, взяв предварительно клятву о неразглашении тайны, заветное Долгое озеро. Прончатов прихватит новое ружье, две заграничные блесны, и все будет так хорошо, как никогда не бывало. Перипетии рыбалки и охоты Прончатов обдумывал до тех самых пор, пока доклад не закончился. Народ зашумел, задвигался, и временно председательствующий парторг Вишняков торопливо прокричал:

— До начала перерыва мы имеем возможность предоставить слово двум выступающим. Слово имеет товарищ Семеновских!

Зал длинно и охотно заржал. Вот уже лет десять не было в Тагаре собрания, на котором бы первым не выступил пожилой счетовод из бухгалтерии Анипадист Григорьевич Семеновских. Поэтому зал скрипел стульями и ржал, раздавались аплодисменты и выкрики, в задних рядах грузчики наяривали каблуками по полу, когда Семеновских быстро, пригнувшись, как под пулеметным огнем, шел по проходу к трибуне.

— Тихо, товарищи, тихо!

Семеновских, страдая от волнения, забирался по ступенькам на трибуну. Рот у старикашки был по-рыбьи открыт, грудь высоко подымалась и с хрипом опадала, руки, ухватившиеся за трибуну, так дрожали, что фанера подергивалась. А в зале, в шестом ряду, сидела светленькая старушка в очках, со старинным гипюровым шарфом на плечах: жена счетовода. Она судорожно

стискивала руки, вытягивала к президиуму тонкую шею, издали Прончатову казалась как бы распятой. Он болезненно дернул губой.

Смешно, нелепо, трогательно, но старый счетовод Семеновских жил полно и радостно только от собрания к собранию. Уже за две недели до очередного из них жена Семеновских пришла в продовольственный магазин, смиренно выстояв длинную очередь, жеманно обращалась к продавщице: «Милостиво прошу простить меня, но Анипадист Григорьевич двадцать шестого выступает на собрании, так нельзя ли для него купить кефиру?» В эти же дни старики выходили гулять вечерами по центральной поселковой улице, надев самое лучшее; шли под руку, тихие и сияющие, а встретив знакомых, жена говорила: «Вы ведь знаете, что Анипадист Григорьевич выступает. Поэтому нам надо много гулять. У мужа слабая нервная система!»

За две недели ожидания Семеновских удивительно молодец. Его глаза блистали демонически, походка убыстрялась, твердела до такой степени, что Прончатов начинал узнавать его шаги в коридоре, а на службе счетовод работал так много и хорошо, что его хвалили.

В день собрания, за те минуты, пока приходилось в зале ждать выступления, Семеновских старел сильнее прежнего. Рассказывали, что перед выступлением старик иногда терял сознание и жена давала ему нюхать загодя прихваченный из дома нашатырный спирт, но счетовод все равно бледнел, ронял на пол каллиграфически написанную речь и старел на глазах, точно с него смывали блеск молодости и энергии.

Сегодня повторялось знакомое: постаревший, дрожащий Семеновских поднялся на трибуну, прыгающими пальцами развернул тетрадочку, не найдя начала речи, тоненько, по-детски ойкнул, отчего у него свалились очки. А зал рычал от восторга, скрипел стульями, в задних рядах раздавался жеребачий рев, летели под потолок кепки, визжали девчата.

— Тихо, ну тихо же!

Внешне спокойный, начальственный, Прончатов страдал от жалости к старику. Выждав еще несколько секунд и увидев, что председательствующий с залом справиться не может, Олег Олегович начал медленно подниматься с места. Встав во весь рост, он не сделал ни жеста, не произнес ни слова, но собрание стало волной притихать. Тишина от первых нехамовских рядов прокатилась к середине, как бы покачавшись, медленно докатилась до самого последнего ряда, где сидели самые злые и отчаянные мужики. Когда сделалось совершенно тихо, Прончатов так же медленно сел на место.

— Начинай, товарищ Семеновских! — обрадованно прокричал Иван Фомичев. — Используй свой регламент!

Слушать старика Олег Олегович просто не мог: счетовод, запинаясь, говорил такое, чего понять было нельзя. Тетрадь от

волнения он раскрыть так и не смог и потому делал страшные для самого себя минутные паузы. Так что Олег Олегович от Семеновских отвернулся, вынув из кармана блокнот, начал рисовать домики, а когда страдания счетовода приблизились к концу, Прончатов, вырвав страницу, написал на ней несколько слов и передал бумагу председательствующему.

— Исходя из фактов, — неожиданно ясным голосом сказал Семеновских, — нужно улучшить учет горюче-смазочных материалов. — Он вдруг ораторским жестом выкинул руку, тонким дребезжащим голосом выкрикнул: — Я сказал все, что мог, пусть другой скажет лучше!

Торопливо спустившись с трибуны, счетовод сел на место, два-три раза судорожно передохнув, посмотрел на жену счастливыми, сияющими глазами. Она радостно затрясла головой, положила пальцы на локоть мужа. Страдания Семеновских закончились, опять наступило радостное время; теперь каждый вечер супружеская пара будет гулять по Тагару, при встрече со знакомыми она будет спрашивать: «Вы слушали выступление Анипадиста Григорьевича? Он очень смело критиковал руководство!»

— Слово имеет начальник планового отдела товарищ Поляков!

Из десятого ряда вышел плановик, сутулясь и не обращая внимания на зал, поднялся на трибуну, развернул крошечную бумажонку, проговорил неприятным, каркающим голосом:

— Довожу до вашего сведения, товарищи, положение сплавконторы на сегодняшний день...

Поляков замолчал, разбираясь в своей бумажонке; он несколько раз перевернул ее, чему-то недовольно хмыкнул, но в зале стояла строгая тишина. Люди напряженно, терпеливо ждали, так как от бумажки плановика зависел каждый человек. Если Поляков скажет, что Тагарская сплавная контора не выполнит месячный план, все, кто сидит здесь, лишатся премиальных — солидной суммы при хороших средних заработках. Поэтому люди на плановика глядели внимательно, ждали его слов с нетерпением, поэтому и Поляков позволил себе длинную паузу.

— На сегодняшний день сплавная контора выполнила месячный план, — кисло сморщив губы, сказал Поляков. — Предварительные подсчеты показывают, что за оставшиеся дни будет дано сверх плана восемь тысяч кубометров леса...

Дальше голос Полякова не был слышен — в зале раздались аплодисменты и крики; задубелые ладони гремели, визжали девчата, грузчики звенели стальными подковками сапог, кто-то в задних рядах по-сычиному ухал, кто-то хохотал басом. Радостно аплодировал Полякову главный комсомолец Сергей Нехамов, однорукий Фомичев топал ногами, радостно улыбалась начальник производственного отдела Сорокина, и самоотверженно приветствовал успех родного коллектива парторг Вишняков. А в первых рядах, где сидели Нехамовы, тоже было оживленно, хо-

тя сам старик, конечно, не аплодировал, не кричал, не ухал, а только разрешающе улыбался. Однако его родичи солидно, дружно прихлопывали ладошками, не снисходя до проявления бурного восторга.

Главного инженера Прончатова в состав завкома выдвинул сам бывший завком в общем списке. По алфавиту Олег Олегович шел восьмым, так что в половине одиннадцатого приближалась минута, когда его кандидатура должна была обсуждаться для внесения в список для тайного голосования. Сейчас обсуждали слесаря Коломенцева.

Пока перечисляли достоинства и недостатки Коломенцева, Прончатов принимал начальственно строгий вид. Для этого он круто вздернул подбородок, губы сжал, пальцы собрал в кулаки, а глядеть стал на противоположную стену, где были пробиты четыре квадратных отверстия для киноаппаратов. Он поглядывал на них, неторопливо думал о том, что все-таки добьется установки широкоформатной аппаратуры; если директору лесозавода Морозу хорош и обычный экран, если председатель поселкового Совета наплевательски относится к техническому прогрессу, то... В общем мелкие, мелкие были мысли, ход самих рассуждений примитивен...

— Следующая кандидатура — главный инженер Прончатов Олег Олегович! — выкрикнул председательствующий Иван Фомичев. — Какие будут мнения, товарищи?

После этого в довольно шумном зале вдруг наступила глубокая, длинная, сквозная тишина; скрип стульев затих, потом отчетливо послышался чей-то протяжный вздох. Это было странно, неожиданно, так как раньше после каждой названной кандидатуры сразу раздавались крики: «Даешь!» — и гремели дружные аплодисменты. Теперь же в зале не раздалось ни звука, не произошло никакого движения, и Прончатов заметил, как парторг медленно наклонился вперед, а начальник рейда Куренной торопливо обернулся.

— Кто имеет слово, товарищи?

Еще несколько секунд постояла тишина, а потом в задних рядах послышался тихий удивленный голос:

— А чего тут обсуждать, ведь это Олег Олегович...

— Значит, замечаний не будет?

— Не будет! — по-прежнему удивленно ответили из зала. — Голосуй, Фомичев!

Взволнованный каждой частичкой своего большого тела, сидел Прончатов и не мог найти силы для того, чтобы отнять пальцы с лица, положить их на стол и снова сжать в кулак. Он и не предполагал никогда, что такую полную, абсолютную, ослепительную радость может принести ему просто голосование

на профсоюзном собрании. В прончатовскую горячую голову лезли бог знает какие возвышенные мысли, сердце билось взволнованными толчками, и в ушах продолжал звучать голос: «А чего тут обсуждать, ведь это Олег Олегович...»

— Против — нет, воздержавшихся — нет! Единогласно, товарищи!

И собрание потекло дальше ровной проторенной дорожкой. Вслед за Прончатовым обсудили бурно кандидатуру бригадира Рахтанова, затем минут пять дебатировали фамилию веселого и смешного грузчика Уфимцева, а после внесения в список для тайного голосования фрезеровщика механических мастерских Яковлева и самого Ивана Фомичева председательствующий Вишняков снова объявил перерыв для тайного голосования. Зал обрадованно заревел и бросился к буфетам, которые начали работать в фойе и на дворе клуба.

Подумав, Олег Олегович пошел вслед за всеми, так как главной достопримечательностью обоих буфетов было пиво жигулевское, которое в Тагар завозили только во время больших торжественных собраний да на два праздника — Первомай и годовщину Октября. Буфеты с жигулевским пивом сплавщики брали штурмом, при этом они хитрили, ловчили, нахальничали, вступали в конфликты и раздували давнишние ссоры. Именно возле буфетов с пивом возникали межцеховые противоречия: грузчики с рейда кричали, что рабочие механических мастерских «паразиты», а последние, в свою очередь, «паразитами» считали рабочих орса и пристани. Одним словом, шумно, скандально было возле буфетов, и Прончатов, наблюдая за сплавщиками, ходил себе по фойе и посмеивался. Пива он терпеть не мог, китайские мандарины его не интересовали, как и копченые колбасы.

Работал в клубе и третий, самый маленький буфет — для президиума и членов счетной комиссии, в этом буфете стояла полная тишина и наблюдался образцовый порядок, хотя имелись и свои трудности. Здесь, кроме пива, были в продаже коньяк и водка, так как предполагалось, что члены президиума обладают высокой сознательностью. И организаторы буфета не ошиблись: никто из членов президиума и даже счетной комиссии к спиртным напиткам не притронулся, хотя каждый из мужчин желал попробовать коньяк, который, подобно пиву, завозили в Тагар только во время больших праздников. Однако каждый стеснялся быть первым, каждый вопросительно поглядывал в сторону непьющего парторга Вишнякова. И так как он пример не подал, члены президиума позволили себе взять только по бутылке фруктовой воды и по двести граммов редкой в Тагаре докторской колбасы.

Члены президиума неторопливо закусывали, когда в их отдельную комнату, то есть в клубную гримировочную, неторопливо вошел Прончатов. Повернув голову назад, он на ходу

разговаривал с кем-то, оставшимся за дверью — судя по голосу, с Яном Падеревским, — потом кивком головы отпустил своего невидимого собеседника и уж тогда окончательно оказался в комнате. Мельком, даже небрежно посмотрев на буфет, Олег Олегович покрутил в воздухе растопыренными пальцами и холемым голосом сказал:

— Сто граммов коньяку и три порции икры без бутербродов.

Донельзя озабоченный Прончатов сел на пыльный диван, подумав секундочку, поочередно оглядел членов президиума и счетной комиссии.

— Сергей Нехамов здесь самый молодой, — вежливо сказал он. — Ему придется поехать на Ноль-пикет. Опять не идет крепеж!

Во время этих слов Олег Олегович принял из рук буфетчицы поднос с икрой и коньяком, по-гурмански покрутив пальцами над фужером, медленно выщедил коньяк и закушал его тремя порциями икры. Покачав головой, Прончатов проговорил вполголоса: «Прелестно!» — после чего встал и вышел из гримировочной.

Плотно притворив за собой дверь, оказавшись в полусумраке кулис, Прончатов оперся спиной о стенку и, представив себе, что произошло в гримировочной после его ухода, сладостно улыбнулся. Он точно наяву видел, как дружно подошли к буфету четверо рабочих из президиума, на глазах у парторга заказали по стакану коньяку и потребовали по пять порций икры без бутербродов, так как все четверо президиумских сидельца зарабатывали больше главного инженера да еще держали дома богатое натуральное хозяйство.

Обдумав свои дальнейшие действия, Олег Олегович через запасный ход вышел из клуба, постояв немного на свежем воздухе, поднял руку — тут же раздался приглушенный грохот колес, из-за угла клуба выскочил на легкой двуколке Гошка Чаусов. Ради профсоюзного собрания на нем был черный пиджак от хорошего костюма, но брюки оставались те же — продранные и прожженные.

— В контору, — сквозь зубы сказал Прончатов. — Погоди-ка минутку...

Две сильные электрические лампочки горели над фасадом клуба, шесть фонарей и десятки окон освещали улицу Свердлова, так как в поселке никто не спал, ожидая окончания профсоюзного собрания. Мало того, площадь перед клубом была заполнена молодыми людьми, которые ловчили попасть на обязательный после собрания концерт и танцы. Так что Прончатов, устраниваясь на кожаном сиденье, с большим интересом разглядывал толпу.

Олег Олегович еще час назад заметил, что механик Огурцов тихонечко, хоронясь за нелепыми колоннами, выбрался из клубного зала, даже строил предположения, куда мог направиться.

стопы молодой инженер, а вот сейчас увидел, что хитроумный Эдгар Иванович расхаживает по травушке-муравушке, да не один — на расстоянии полуметра от него прогуливалась та самая женщина, с которой Прончатов, по мнению Тагара и общественных организаций, нарушал моральный кодекс. Света в узком переулке не было, но Олег Олегович все равно разглядел белые туфли, белую блузку и белую полоску зубов на загорелом лице. «Скучает племянница-то!» — подумал Прончатов и, выждав момент, когда механик и женщина повернутся к нему, двинулся им навстречу.

Пахло черемухой, нагретым за день деревом, речной волглостью; в ближнем доме работал радиоприемник, сладкая ночная музыка лилась приглушенно.

— Нехорошо, товарищ Огурцов, нехорошо! — осуждающе сказал Прончатов. — Пренебречь профсоюзным собранием... Ах, ах!

Однако на механика Прончатов не глядел — бесцеремонный, пронизывающий взгляд главного инженера был устремлен на племянницу, которая шла чуть впереди Огурцова. Нет, она не ускорила шаги, но все-таки оказалась к Прончатову много ближе, чем механик, и он насмешливо подумал: «Они, пожалуй, правы! Именно с такой женщиной...»

— Стыдно, товарищ Огурцов, антиобщественно, — машинально продолжал Олег Олегович. — Как же так, а?

В женщине не было ничего особенного, но в то же время в ней было все. Круглые колени, высокая грудь, длинные бедра, красивые ноги — это было обычно, это в избытке демонстрировали современные городские девчонки, но вот таких свирепо счастливых глаз, такого безмятежного выражения лица...

— Здравствуйте! — сквозным, текучим голосом сказала женщина.

Бог ты мой! Смех-то смехом, шуточки-то шутками, но Олег Олегович чувствовал себя так, точно стоял на сквозном ветру — нечто такое дуло в лицо, нечто непонятное лилось в глаза.

Луна, голубушка, висела прямо над головой женщины, пахло одуряюще какими-то странными духами, белая полоска меж губами женщины стала совсем широкой, а она сама так прямо и вызывающе глядела на Прончатова, что ему пришлось как бы удивленно развести руками и как бы вспоминая сказать:

— Постойте, постойте, да не встречались ли мы с вами у Каминского?

— Встречались! — охотно ответила женщина. — А зовут меня Евгения Михайловна.

— Прончатов!

Он думал, что стиснет пальцы, но ему ничего не досталось — только холодные скорлупки ногтей оказались в руке Олега Олеговича да от приблизившейся Евгении Михайловны пахло

душным теплом. Именно поэтому Олег Олегович совершенно неожиданно для себя отступил от женщины на один шаг.

— Ну, до свидания, до свидания, Евгения Михайловна,— снисходительным тоном попрощался Олег Олегович и, резко повернувшись, пошел к двуколке, и уже через две-три секунды у Прончатова был такой вид, словно на свете не существовало никакой Евгении Михайловны.

— Пшел! — приказал он Чаусову. — Пошевеливайся, пошевеливайся!

Через десять минут Олег Олегович подъехал к конторе, приказав Чаусову ждать, пошел по длинному и темному коридору в свой кабинет. В приемной сидел бессонный дежурный, при появлении главного инженера он поднялся и доложил:

— Телеграмма из области. Получена в двадцать часов двадцать пять минут.

Олег Олегович неторопливо прочел: «Понедельник приезжают сплавконтору секретарь обкома Цукасов зпт заведующий промышленным отделом Цыцарь тчк Приготовьте развернутое сообщение делах конторы зпт форсируйте безусловное выполнение месячного плана зпт разработайте предварительные мероприятия выполнения плана следующего месяца тчк Инструктор обкомпарта Белов...»

Прончатов сдержанно улыбнулся. «Молодец Петька Белов! — подумал он о своем старинном приятеле — инструкторе обкома. Потом он вопросительно поднял брови. — Почему, интересно, надо было разрабатывать план на следующий месяц? Для кого? Для себя или для товарища Цветкова?»

— Ба-ба-ба! — вслух произнес Прончатов.

Ну и жестоким же сделалось лицо Прончатова; с таким лицом нож в зубы и на проселочную дорогу.

14

В четыре часа ночи, когда над далекой стеной кедрача начинало само себя солнце и утишивался ночной бой крупной рыбы на Кети, Прончатов возвращался с Ноль-пикета. Приморившийся жеребец шел иноходной рысцой, Гошка Чаусов однообразно поцокивал. Вокруг-кругом была божья благодать: и заливной луг, покрытый ровной, нежной травой, и пурпурно-темная застекленевшая река, и протертое до сияния небо — все было из конфетного антуража, и лениво подремывающий Прончатов мстительно думал: «Уйду, мать вашу перетак, в бакенщики!», так как все еще злился на леспрохозовских, которые в тот миг, когда Прончатов приехал на Ноль-пикет, не только перестали давать крепезный лес, но, как и предполагал Олег Олегович, довели до истерики Сергея Нехамова. Именно в ту секунду, когда Прончатов появился на рейде, Нехамов кричал на всю разделочную площадку:

— Антигосударственная практика... Прокуратуру надо! Прокурора и следователя...

Размахивая руками и бегая, Нехамов вопил до тех пор, пока не заметил Прончатова, увидев же его, бросился к главному инженеру, встал рядом с ним и опять было открыл рот, чтобы докричать последнюю угрозу, но Олег Олегович успокаивающе положил ему руку на плечо.

— Спокойно, дорогой Сергей Никитьевич!

После этого Олег Олегович по бревнам проследовал к маленькой дощатой конторке леспромхоза, сев на засаленную скамейку, поманил Нехамова пальцем с таким безмятежным видом, точно собирался рассказать ему пресмешной анекдот. Глаза у Олега Олеговича при этом были мечтательно сощурены, а сидел он мирно, отдыхая, по-стариковски положив руки на колени.

— Известно ли вам, Сергей Нехамов, — философски-глубокомысленно спросил Олег Олегович, — что страх — самый большой недостаток человечества? Многие умные люди весьма резонно полагают, что человечество давно вело бы райское существование, если бы с Земли исчез страх. — Прончатов сам себе согласно покивал и любезно улыбнулся. — Запомните, Сережа, на всю жизнь, что сейчас произойдет. Об этом у камелька вы будете рассказывать внукам и правнукам.

Прончатов ласково посмотрел на электрическую лампочку, вокруг которой гудело сонмище мошки, округлив губы, огляделся. Вокруг него была ровная площадка, заваленная лесом, в отдалении ронял искры паровоз, лениво и от этого грациозно повертывался вокруг себя разгрузочный кран, а четыре мощных прожектора заливали всю внушительную картину ярким светом. Так что стоящие в пяти метрах от Прончатова двое руководящих леспромхозовцев — бригадир и мастер — всем были видны отчетливо, до мелких деталей их рабочей одежды.

— Ваша ошибка, Сергей, в том, — задумчиво сказал Прончатов, — что вы материте сразу всю лесозаготовительскую власть. Это не может дать эффекта, так как министр далеко, а местные руководители к материне притерпелись. Значит, надо материть не начальство вообще, а конкретное начальство. — Убив на шее комара, Прончатов отбросил его в сторону. — Из конкретного, живого начальства мы имеем мастера Стогова и бригадира Калимбекова. Вот они, перед нами!

Жестом гида Прончатов показал на бригадира и мастера, вежливо сделал им ручкой и продолжал поучительно:

— Рыба, конечно, не крупная, но для того, чтобы дать угольной промышленности крепежный лес, народ вполне подходящий... Итак, начнем, пожалуй!

Прончатов сел прямо.

— Начнем мы, дорогой Сергей Никитьевич, с того простого рассуждения, что сегодня в Тагарской сплавной конторе, которую мы с вами здесь представляем, проходит отчетно-выборное

профсоюзное собрание. — Прончатов ухмыльнулся. — Ну, сами посудите, дорогой Сергей Никитьевич, разве мог мастер Стогов предположить, что мы с вами, члены профсоюза, нагрянем в двенадцатом часу ночи на рейд, когда, по предположению Стогова, мы должны после профсоюзного собрания пьянствовать, ибо в сельпо привезли пиво?

Олег Олегович остановился, чтобы передохнуть немножечко. На лице главного инженера появилось обиженное выражение, которое, безусловно, относилось к его, прончатовской, незавидной судьбе: «Войдите в мое положение, товарищи! Люди наслаждаются пивом, а я, понимаюте, страдаю, речи произношу, комаров родной кровью питаю».

— Самый последний пункт рассуждения таков, — отдохнув, продолжал Прончатов. — Так как мы обязаны из двух человек выбрать одного, то Калимбаева отмечаем сразу: Галимзян водку в рот не берет и вообще мужик хороший.

Олег Олегович сделал большую паузу, медленно повернувшись к мастеру, смерил его взглядом.

— Стогов сегодня в подпитии! — сказал Прончатов озаренным голосом. — Иначе ему и в голову не пришла бы мысль о том, что можно оставить без крепежа шахтеров славного Кузбасса. Это Стогов воспользовался нашим профсоюзным собранием для того, чтобы раздавить бутылочку!

Даже пилы, казалось, замолкли на эстакаде, даже тучи комаров перестали виться над головой мастера Стогова, когда он сделал резкое, испуганное движение. Прожекторы светили хорошо, и было отчетливо видно, как красное от водки лицо мастера побледнело.

— Может показаться, — серьезно сказал Прончатов, — что я поступаю жестоко. Поверьте, я не заметил бы пьяного Стогова, если бы он работал добросовестно, но перед нами завзятый бездельник. Товарищ Стогов, — вдруг повысил голос Олег Олегович, — не можете ли вы к нам приблизиться?

Мастер пришибленно молчал. Все, казалось, было так хорошо: легкая ночная смена, прекрасная погода, веселое гудение в голове, завтрашний свободный день. Но вот свалился на голову Прончатов, и жизнь кончилась. Боже мой, неприятности на работе, партийное собрание, строгий выговор с предупреждением, шепоток по Тагару, больные глаза жены.

— Я давно до вас добирался, товарищ Стогов! — гневно сказал Прончатов. — По моим данным, вы за лето изволите в шестой раз выйти на работу в состоянии подпития.

После этих слов Прончатов резко повернулся к Сергею Нехамову, уже не боковым зрением, а прямым взглядом увидел, что лицо парня искажено гримасой жалости и того стыда за другого человека, который бывает острее стыда за самого себя. Много бы отдал сейчас Сергей Нехамов за то, чтобы исчезнуть

с эстакады, провалиться сквозь землю, быть как можно дальше от Стогова и Прончатова.

— Товарищ Нехамов,— строго сказал Прончатов,— не приходит ли вам в голову мысль о том, что я совершаю добро? Вы думаете, мне очень легко на глазах у людей раздевать человека?

Какими каменными сделались прончатовские губы, как у него заходили на скулах желваки; даже на пьяного Стогова не смотрел Олег Олегович так жестоко и гневно, как на комсомольского секретаря Сергея Нехамова.

— Добреньким хотите быть, товарищ Нехамов! — почти крикнул Олег Олегович. — Страдальческими глазами в землю смотрите, а о том, что на Вохминской шахте из-за плохого крепежа в позапрошлом году погибли два шахтера, забыли? Морщитесь, как институтка, Нехамов, а Стогов развращает коллектив! Конечно, конечно... Не у каждого хватает мужества сказать человеку прямо в лицо: «Ты пьяница и бездельник!»

Сделав еще одну напряженную паузу, выждав нарочно несколько жестоких секунд, Прончатов вдруг поднялся, усмехнувшись кончиками губ, вразвалочку пошел прочь. Он молча миновал мастера Стогова, безразлично посмотрел в лицо бригадиру Калимбекову, а потом заложил руки в карманы и легкомысленно стал насвистывать мотивчик, напоминающий отдаленно «Подмосковные вечера». Потом Олег Олегович задумчиво сказал:

— Добро должно быть с кулаками, товарищ Нехамов. с кулаками...

Предложив читателю запомнить то обстоятельство, что Олег Олегович Прончатов в полуночное время находится на рейде, автор делает экскурс в будущее героя, так как знает, что Капитолина Алексеевна Домажева овдовела в годы войны...

СКАЗ О БУДУЩЕМ

Овдовев в годы войны, Капитолина Алексеевна Домажева много лет жила одиноко, выращивала сыновей Пашку и Володьку, но, когда старший сын окончил лесотехнический техникум, а младший поступил в него, на новогодней вечеринке познакомилась с новым неженатым бухгалтером Тагарской сплавной конторы, которого устроители вечеринки не без умысла посадили рядом с Капитолиной Алексеевной. Капитолине Алексеевне в ту пору было чуть больше сорока, преподавала она спокойный предмет — географию, и самый понимающий мужчина в поселке, директор сплавконторы Олег Олегович Прончатов, о ней однажды сказал: «Вы только посмотрите, какая у

нее теплая кожа, какого оттенка белки глаз! Не понимаю, куда глядит народ!»

Действительно, к сорока годам Капитолина Алексеевна взяла моду носить на голове русский пробор, волосы на затылке вязала в тяжелый пук; в нежном горле Капитолины Алексеевны залегало низкое контральто, и, когда она рассказывала своим ученикам о скалистых Кордильерах, старик директор, если ему случалось проходить мимо класса, шептал себе под нос: «Теперь таких женщин нет!»

На новогодней вечеринке Капитолина Алексеевна смеялась грудным смехом, выпив целых три бокала шампанского, смотрела на бухгалтера Александра Прокопьевича лукаво. Говорили они сначала о январской погоде, потом о трудностях бухгалтерского учета, а кончили тем, что, всемерно поощряемый Капитолиной Алексеевной, бухгалтер наконец решился проводить ее. Новый год, имея три часа жизни, сиял над Тагаром лунной, окруженной радужными морозными кругами, скрипучие шаги Капитолины Алексеевны и Александра Прокопьевича разносились по всему поселку, и ей казалось, что лунный свет и шампанское пронизывают ее насквозь через серую беличью шубку, она не идет, а парит над блестящим снегом. В пальто с широкими плечами Александр Прокопьевич оказался на голову выше Капитолины Алексеевны, хотя за столом ей казалось, что он ниже ее; сутулость бухгалтера отчего-то пропала, и он шел рядом мужественным шагом.

— В конторе надо ставить наново весь бухгалтерский учет, — серьезно говорил он. — Олег Олегович Прончатов для этого меня облек чрезвычайной властью... Если бы вы знали, Капитолина Алексеевна, какой это умный, энергичный человек!

У калитки ее дома Александр Прокопьевич опять смутился, перестал глядеть ей в лицо, и от этого Капитолина Алексеевна пришла в такой восторг, что засмеялась низким голосом и внезапно непреодолимо захотела спать. Не стесняясь Александра Прокопьевича, она сладко зевнула, потянулась и сказала, глядя ему прямо в глаза:

— Спасибо вам, голубчик! Спокойной ночи! Приходите завтра, я сделаю блины.

На следующий день Александр Прокопьевич пришел часа в два пополудни и, так как день был нерабочий, просидел до восьми вечера. Ему понравилась ее просторная квартира, большое впечатление на него произвела сожигательница-домработница Варвара, с которой Капитолина Алексеевна обращалась как с подругой, а от блинов, испеченных самой Капитолиной Алексеевной, он пришел в восторг.

— Супруга у меня умерла, — рассказывал он. — Я, Капитолина Алексеевна, все принимаю очень близко к сердцу. Мне кажется, что у вас такой же нервический характер.

В уютной столовой пахло блинами и духами «Красная Москва», Варвара ради праздника принарядилась в крепдешинное платье, и весь вечер в уголках ее глаз Капитолина Алексеевна видела крохотные слезинки: Варвара была счастлива за Капитолину Алексеевну. Встретившись с ней на кухне, куда обе пошли за блинами, она прошептала с дрожью в голосе: «Капа, я чувствую, то это тот, кто тебе нужен. Тут твоя судьба, Капа!»

Действительно, все в поселке сходились на том, что Александр Прокопьевич — судьба Капитолины Алексеевны, но быстро пролетел январь, был на исходе февраль, а Александр Прокопьевич не делал предложения. Когда же она сама нарочно заводила разговор с намеками, он отводил глаза, краснел, как мальчишка, и говорил:

— Дело идет к тому, Капитолина Алексеевна, что за март меня премируют месячным окладом. Ну, это к лучшему: мне в ближайшее время деньги будут очень нужны!

Это он определенно намекал на женитьбу, но и в марте, когда за окном спальни Капитолины Алексеевны стало ласково пригревать солнце, предложения опять-таки не сделал, хотя уже весь Тагар переживал за учительницу географии и ходили слухи, что директор Прончатов кому-то сказал: «Тагарский вариант чеховского «Человека в футляре». А работник, понимаете ли, он хороший!» Капитолине Алексеевне было очень трудно, но сожительница Варвара ее успокаивала:

— Он не какой-нибудь там тебе прыщ! Ему за все подумать надо! У тебя сыновья... А вдруг Володька и Пашка начнут с ним сражаться? Нет, Капа, он человек приличный, в нем твоя судьба!

Капитолина Алексеевна терпеливо ждала. Она потеряла всяческую надежду только тогда, когда на Первомай бухгалтер не сделал предложения, хотя принес охапку подснежников, нежно поцеловав ей руку, смотрел в глаза преданно, как верный пес. Он, конечно, заметил бледность ее всегда смуглых щек, увидел бессонные круги под глазами и с испугом спросил:

— Вы не больны, Капитолина Алексеевна?

— У нее нервы! — сказала с намеком Варвара. — У нее нервное.

Прошел май с его грозами и мягким солнцем, наступил июнь, сразу поразивший сухью и длинными звездами, зеленой водой рек и густой синевой неба. В окно спальни Капитолины Алексеевны вечерами забрасывала лапы цветущая черемуха, облетающие лепестки падали на пол, и почему-то ей казалось, что они пахнут песней «Позарастали стежки-дорожки...». Дни в июне были длинные и жаркие, облака в небе висели серебряные, на плечи Капитолины Алексеевны ложился здоровый, молодой тагар, хотя лицо оставалось бледным.

В середине июня Капитолина Алексеевна решила больше не принимать у себя бухгалтера Александра Прокопьевича. Два

дня она готовила слова, которыми собиралась все объяснить ему, построила три вежливые, но твердые фразы и немножечко успокоилась. В таком состоянии она и была тогда, когда, возвращаясь из школы домой, встретила на улице директора Прончатова. Заметив ее, он еще издали разулыбался, прибавил шагу, а догнав, остановил.

— Здорово, Капа! — сказал Прончатов. — Помолодела, по-свежела, смотришь весело...

Прончатов обращался с Капитолиной Алексеевной свободно потому, что с ее покойным мужем учился в одной школе, а с ней когда-то, тоже в школе, дружил. На молодую Капу Олег Прончатов иногда поглядывал с интересом, но отчего-то никогда не пытался за ней ухаживать.

— Здравствуй, Олег! — ответила Капитолина Алексеевна. — Ты тоже не стареешь, дружок!

Она смотрела на него с невольным восхищением. И львиная грива каштановых волос, и гордый подбородок, раздвоенный ямочкой, и смелые глаза, и вознесенная вверх стройная фигура... Да, это был такой мужчина, который бы не побоялся ни сыновей, ни будущей семьи, ни черта, ни дьявола.

— Хороша, хороша, — повторил Прончатов. — Стою и думаю: уж не влюбиться ли в тебя?

Она весело засмеялась.

— Попробуй!

Им вдруг сделалось хорошо — то ли ласковые ветры провеяли вдоль улицы, то ли действительно по-молодому пахла черемуха, то ли вспомнилось, как по этой же улице гуляли толпой, когда десятиклассник Олег уходил на фронт... Они несколько минут задумчиво молчали, потом Прончатов осторожно положил пальцы на локоть Капитолины Алексеевны, смешливо прищурился, но сказал серьезно:

— Он неплохой мужик, Капа! Говори как на духу: влюбилась?

— Наверное, так, Олечка! — просто ответила она. — Парни выросли, а я одна. Неужто вековать в пустом доме с Варварой!

Он все еще держал пальцы на ее локте, потом тихонечко убрал их, прищурился, сунул руки в карманы. Олег Олегович наигранно тяжело вздохнул, опустив голову, задумался. Она смотрела на него и с предчувствием чего-то необычного, неожиданного, странного и радостного видела, как меняется лицо Олега Олеговича — на нем с каждой секундой появлялось все более легкомысленное выражение, губы капризно оттопыривались, глаза сделались наглыми, фатоватыми. Потом он рассмеялся и насмешливо сказал:

— А вот ты не знаешь, Капитолина, что непротивление злу насилием — гнилая философия. Одним словом, прощай, прощай!

Прончатов поднял правую руку, вяло помотал кистью и пошел себе дорогой, а Капитолина Алексеевна осталась стоять в

удивлении на высоком деревянном тротуаре, — полуоткрыв пухлые губы, она тяжело дышала и ничегошеньки не могла понять. Что все это значило? Голова шла кругом, виски ломило от такой прончатовской загадочности... Было около двух часов дня, солнце старалось на совесть, черемухи в палисадниках густо пахли, и спина Прончатова из отдаления казалась похожей на спину редкого жука: такой на нем был блестящий костюм.

Продолжая улыбаться уголками губ, Прончатов проследовал по главной тагарской улице в контору, ровно в два часа вошел в гулкий и прохладный коридор, прислушиваясь к гулу кабинетов, вошел в приемную.

— Главного бухгалтера!

Пока секретарша Людмила Яковлевна искала бухгалтера, Прончатов сел за стол, положив руки на стекло, принял такую позу, в какой, наверное, сидит следователь перед первым допросом опасного преступника, когда надо быть и осторожным, и ласковым, и тактичным, и хитрым, и жестоким.

— Главный бухгалтер Свиридов вызван! — доложила с порога Людмила Яковлевна. — Пригласить?

— Просите!

Бухгалтер Александр Прокопьевич Свиридов в кабинет главного инженера вошел довольно свободно, но на длинно-тягучем ковре да под испытующим взглядом Прончатова, естественно, немного тушевался. Поэтому в предложенное ему кресло Александр Прокопьевич сел осторожно, руки положил на колени и вопросительно поглядел на Прончатова сквозь сильные очки. Он все-таки был очень прост, незатейлив, этот бухгалтер Свиридов. Лицо у него было круглое и гладкое, как бильярдный шар, щеки и кончик носа круглые тоже, подбородок был кругл до геометрической точности, а уши, наоборот, квадратные. Однако у бухгалтера были добрые губы, неглупое выражение глаз, во всей крепкой, здоровой фигуре чувствовалась та основательность, тот покой, какие дают человеку уверенность в завтрашнем дне и благополучие на службе. Одним словом, это был как раз тот человек, какой был нужен сейчас Домажевой.

— Нуте-с! — неожиданно громко произнес Прончатов. — По года-то что делает, а? Это ведь с ума сойти, а! — Олег Олегович по-птичьи склонил голову набок, поглядев на бухгалтера, как на пустое место, и себе под нос досадливо продолжил: — Позор, позор, позор!.. Какой источник разума угас, какое сердце биться перестало!

Ничего, конечно, не поняв, донельзя пораженный бухгалтер притих, часто-часто замигал белесыми ресницами и вдруг болезненно закашлял.

— Вы о чем, Олег Олегович? — спросил он. — Что такое?

— О бухгалтерском учете, — со вздохом ответил Пронча-

тов. — С одной точки зрения, он хороший, с другой — никуда не годится! — Олег Олегович до ребячливости повеселел и растянул краснотупый рот до ушей. — Тьфу ты, черт, какая несообразность! А еще статьи в областную газету пишет, об иррациональности мира рассуждает, в преферанс мизер без записи ловит... Тьфу ты, черт! — После этого Прончатов сделал длиннейшую паузу, достав из кармана пачку «Казбека», удивился: — Что это с вами, Александр Прокопьевич? На вас лица нет!

Бухгалтер на самом деле был чрезвычайно растерян. Намек на его корреспондентскую деятельность, упоминание о преферансе, когда Свиридов в пух и в прах обыграл директора Прончатова, насмешка над склонностью к философствованию — что все это значит? Голова раскалывалась, виски ломило... Бухгалтер сроду не курил, но от растерянности взял у Прончатова толстую папиросу. Боже, что это все значит?!

— Как могло случиться, Александр Прокопьевич, — внезапно спросил Прончатов, — что на Пиковской нефтебазе образовались излишки горючего? Вот что я хотел бы знать, товарищ Свиридов!

Нужно было видеть, как обрадовался бухгалтер! О, как он облегченно вздохнул, как свободно откинулся в кресле, как возликовал, когда оказалось, что речь идет о простых, понятных вещах. Свиридов даже нетерпеливо ерзанул на сиденье и тоненько ойкнул.

— О горючем я вам уже докладывал! — торопливо ответил бухгалтер. — Видите ли, в чем тут дело, Олег Олегович...

Однако договорить ему Прончатов не дал: вдруг поднялся дружинисто с кресла, крупным шагом подошел к окну и уперся лбом в прохладное стекло. Он всегда так делал, когда не знал, о чем говорить с посетителем. И вот Олег Олегович рассеянно глядел на солнечную улицу, видел мальчишку, который нес буханку хлеба, и огорошенно думал о том, что не может придаться к Александру Прокопьевичу. Чудес не бывает, но главный бухгалтер был таким отличным работником, что Прончатов так и не придумал, как, придравшись к свиридовской ошибке, доказать бухгалтеру отрицательное влияние на производственные дела холостяцкого образа жизни. «Черт, Капа! — восхищенно подумал Прончатов. — Хорошего мужика выбрала!»

— ...Вот и все, Олег Олегович! — закончил главный бухгалтер. — Таким образом, излишки горючего получили отражение в февральской накладной. Абсолютно законная операция!

После этого Прончатову надо было захотеть, вернуться на место и поблагодарить бухгалтера, но он не мог сделать это, так как видел несчастные глаза Капитолины Алексеевны, вспоминая выражение надежды, вдруг вспыхнувшее в них, а на бухгалтере была плохо выглаженная сорочка, да и весь он был все-таки необходим, грустновато-одиноким. Поэтому Олег

Олегович еще пуще прежнего нахмурился, заложил руку за борт пиджака и трагической походкой прошел по кабинету.

— Так-то это так, — задумчиво сказал он, — но излишки все-таки излишки... Не туманьте мне голову, Александр Прокопьевич, не туманьте! А вот лучше скажите-ка мне, не мешает ли вам что-нибудь в работе? Спите, может быть, плохо, а может быть, у вас трудные квартирные условия?

По сплавконтторским делам Прончатов дважды был под судом и следствием, имел, таким образом, дело с милицейской породой людей и сейчас явно подражал какому-то следователю — прищуривался, загадочно улыбался; глядел на бухгалтера такими глазами, словно знал о нем всю подноготную.

— Мне не на что жаловаться, — наконец ответил Свиридов. — Квартира у меня небольшая, но хорошая.

Да, он не лез в драку, этот бухгалтер Свиридов. Он сейчас довольно робко сидел на кончике кресла, сложенные ладони по-детски зажал между коленями, глаза, увеличенные очками, были нерешительны, и вообще вел себя не так, как должен был вести человек, съевший собаку в бухгалтерском учете. Да при Свиридовском умении трудиться нужно было не только послать Прончатова к черту, а, стукнув кулаком по столу, немедленно гордо уйти из кабинета — такого бухгалтера, как Свиридов, взяла бы немедленно другая контора. Одним словом, он был трусоват, этот главный бухгалтер, нерешителен, и по этой причине гибла отличная баба Капитолина, а сам Свиридов шлялся по паршивым столовым, жил в дрянной комнатке молодежного общежития. «Эх, была не была!» — вдруг подумал Прончатов и стремительно повернулся к бухгалтеру.

— Вот что, Александр Прокопьевич, — сказал он. — Немедленно женитесь на Капитолине Алексеевне! — Он открыто улыбнулся. — Чего вы боитесь? Черт возьми, да Володька и Пашка — чудесные ребята!

Всего ожидал Прончатов, но то, что случилось, превзошло все его ожидания: бухгалтер вдруг на всю круглую физиономию разулыбался, покраснев, с таким облегчением засмеялся, словно раньше ему было запрещено хохотать. Потом он резво вскочил с места, непривычно суетясь и подпрыгивая, бросился к дверям. Ну, не больше трех секунд прошло, как, пробежав весь длинный сплавконтторский коридор, Свиридов выскочил на улицу, по-прежнему подпрыгивая, кинулся пересекать улицу в том месте, где было поближе к Садовому переулку. Со стороны казалось, что Свиридова несет ветер, так он был наклонен вперед и так над головой стояли нимбом светлые, уже поредевшие волосы.

Отыскав связь настоящего с будущим, утверждая мысль о логичности развития характера героя, автор вновь переносится в настоящее Олега Олеговича Прончатова. Автор напоминает

о том, что главный инженер Тагарской сплавной конторы в двенадцатом часу ночи приехал с профсоюзного собрания на погрузочный рейд, столкнувшись с пьяным бригадиром Стоговым, начал размышлять о соотношении добра и зла. Потом Прончатов побывал еще на одном рейде, а в пятом часу утра...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗА О НАСТОЯЩЕМ...

...А в пятом часу утра Прончатов возвращался в Тагар. Кучер Гошка Чаусов сонно чмокал, сам Олег Олегович чутко подремывал, а вокруг была божья благодать. Вставало солнце, и сиреневая дымка полосами стлалась над рекой, росная свежесть щекотала ноздри, дышать было легко, словно из кислородной подушки. Минут тридцать Прончатов дремал, отдаваясь покою и бездумности, потом медленно поднял голову. «Славно, славно!» — думал он.

Хорошо пахло конским потом, двуколка методично покачивалась, скрипела сбруя, и скоро на виду у дальнего Тагара к Олегу Олеговичу пришло такое ощущение, словно он мальчишкой возвращается откуда-то домой, — та же молодая сладость была в молодом теле, то же ожидание счастья, когда предполагается, что весь мир будет принадлежать тебе: то ли девчонка ждала его возле школы, то ли расцвела за ночь черемуха в палисаднике, то ли свалил в драке троих.

Еще раз посмотрев вокруг себя, Прончатов почувствовал, что он непроходимо, мучительно здоров и молод и что он частица этого ясного утра. Он видел туманную реку — ощущал меж собою и ею сродство; вдыхал запах конского пота — казалось, что это было всегда, есть и будет продолжаться вечно; находил щекой ветер — мерещилось, что ветер пронизывает насквозь; слушал утреннее ликование птичьих голосов — казалось, что собственное горло раздувается от щебета. Мир был переполнен Прончатовым, а Прончатов — миром, и все это требовало выхода, не вмещалось в двуколку; ему было тесно от горячего бока Гошки Чаусова; радость бытия рвалась во все стороны, как снаряд, но ему отчего-то казалось, что только стоит сделать резкое движение, как здоровье и молодость могут выплеснуться из груди. Тогда он медленно-медленно поднял руку, тихонечко коснулся колена Гошки Чаусова.

— Погодь, Георгий! — сказал он мягко. — Притормози!

Пораженный переменой в Прончатове, Чаусов осторожно придержал идущего шагом жеребца, тоже охваченный непонятно отчего боязнью резких движений и громких звуков, шепнул себе под нос: «Стою, Олег Олегович!» Прончатов спустился на землю, подошвой сапога ощутив ее теплую утреннюю дрожь, тихо пошел к реке, неся себя как бы отдельно от самого себя.

Мимо молодых синих елок он спустился к песчаному пляжу, остановившись, увидел, что слева белела тагарская церковь, река возле поселка изящно поворачивала в сторону, открывая его из конца в конец,— весь на виду был Тагар, и Прончатов тоже был на виду у Тагара.

Олег Олегович раздевался медленно-медленно, сладостно крутил головой, ловя глазами пологие солнечные лучи. Потом он прислушивающимися шагами приблизился к воде, остановился, притих, словно хотел проверить, не прошла ли радость. Нет, не проходила! Улыбнувшись солнцу, он головой бросился в воду. В прозрачной глубине ходили веселые мальки, песок на речном дне залегал барханными складками, тайное сияние излучала глубина. Прончатов почти минуту двигался под водой, потом бесшумно вынырнул на поверхность и поплыл поперек реки.

На середине реки Прончатов развернулся, нырнул, опять минуту пробыл под водой; дальше он поплыл на боку, наслаждаясь движениями, прохладной водой, ярким солнцем. Сквозь мокрые ресницы берег и Тагар расплывались радужными кругами, сделавшись такими, какими они были в юности. Так он доплыл до берега, по-прежнему медленно, осторожно вышел из воды, пронизанный солнцем, нагнулся к одежде, но тут же выпрямился: ему показалось, что на него смотрят посторонние глаза.

Справа от Прончатова, на взлобке берега, где начинались тальники, стояла Евгения Михайловна и, сощурившись от солнца, исподлобья смотрела на Олега Олеговича. В левой руке она держала плетеную пляжную сумочку, а правой короткими движениями, нетерпеливо убирала волосы, которые то и дело падали ей на глаза.

Усмехнувшись, Прончатов на глазах у женщины быстро оделся; с распахнутой на груди рубахой, с мокрыми волосами, с которых на лицо стекала вода, крупными шагами пошел к Евгении Михайловне. Когда до нее оставалось метров пять, Олег Олегович остановился, снова усмехнувшись, спросил:

— Это у нас свидание?

— Да, и, если верить сплетням, не первое! — в тон ему ответила она.

Боже, как любил ее Прончатов! Каждую складку на ее платье, каждую царапину на босых ногах, каждый миллиметр покатога, текучего тела; он любил ее пеструю сумочку, волосы, небрежно завязанные на макушке, незагорелую полоску на лбу, пальцы ног, открытые босоножками!

— Чаусов, поезжай домой! — крикнул Прончатов. — Доберусь пешком!

Когда стук двуколки затих за кромкой тальников, Олег Олегович сделал вперед еще два шага, немного удивленный ее молчанием, наклонился, чтобы заглянуть Евгении Михайловне

в лицо. На нем лежали пологие лучи раннего солнца, зрачки от этого казались светлыми.

— Ну! — произнес Прончатов и весь потянулся к ней.

Она стояла неподвижно, потом подняла голову, прикрыв лицо от солнца ладонью, сквозь пальцы посмотрела на Прончатова одним глазом.

— Какой решительный! — негромко сказала Евгения Михайловна и отняла руку от лица. Она коротко, словно бы подражая Прончатову, усмехнулась, обойдя его, неторопливо пошла по рыхлому песку к берегу. Босоножки проваливались, в них набрался песок, и Евгения Михайловна остановилась, чтобы вытряхнуть его. Уже стоя на одной ноге, она сказала громко, чтобы он слышал:

— У нас уже все было: письма, звонки, цветы, свидания... Однажды, говорят, мы с вами ездили в Томск...— Она засмеялась.— Как говорили наши бабушки: все в прошлом!

Сняв босоножки, Евгения Михайловна пошла прочь, и, так как солнце вставало за противоположным берегом реки, он вместо ее фигуры видел только резкий темный силуэт. Потом она остановилась возле кромки воды, бросив на песок сумочку и туфли, медленно опустилась на землю. Над ее головой висело маленькое солнце, над плечами стеной вставала темно-зеленая кетская вода, песок вокруг нее был золотисто-светлым.

«Теперь мне будет худо! — замедленно подумал Прончатов.— Все это может кончиться тем, что я действительно буду писать письма и дарить цветы...» Он стоял неподвижно, точно прикованный к теплему песку.

Так как обкомовский катер пришел без всякого расписания, Прончатов встретить его, естественно, не мог, да и не было времени: Олег Олегович с механиком Огурцовым разбирал чертежи крана. Встретил катер парторг Вишняков, который с заведующим промышленным отделом Цыцарем был дружен давно: они вместе воевали под Москвой. От катера до конторы было недалеко, и в половине одиннадцатого обкомовское начальство подходило к высокому крыльцу, на котором с деловито-серьезным видом стоял Прончатов. Он, конечно, мог бы и спуститься с крыльца, но не пожелал сделать это. Олег Олегович не сдвинулся с места и тогда, когда заметил, что вместе с областными товарищами в Тагар прибыл и секретарь Пашевского райкома партии Леонид Гудкин.

Пока начальство, оживленно улыбаясь и разговаривая, шло к крыльцу, Прончатов бесстрашно глядел на серую шляпу секретаря обкома товарища Цукасова, который, естественно, шагал впереди заведующего отделом, хотя товарищ Цыцарь отставал совсем немного. Однако секретарь первым поднялся

на крыльцо, подойдя к Прончатову, крепко и дружески пожал ему руку.

— Ну, здравствуйте, Олег Олегович! Рад вас видеть! — сказал Цукасов и улыбнулся очень хорошо. — Давненько не виделись.

Пожимая руку секретарю обкома, Прончатов отдельно для него улыбнулся, так как Николай Петрович Цукасов был ему очень симпатичен — Олегу Олеговичу нравилось удлиненное лицо секретаря обкома, светлые глаза, не зачесанные назад короткие волосы, потешно выдвинутая вперед нижняя губа, вся поджарая, спортивная фигура, только совсем немного подпорченная кабинетной сутулостью. И как одевается Цукасов, тоже нравилось Прончатову: темный костюм, удобные мягкие туфли, цветной галстук, отличные янтарные запонки на твердых манжетах.

— Прошу ко мне, товарищи! — вежливо пригласил Прончатов, когда на крыльцо поднялись остальные и поздоровались с ним. — Прошу, прошу!

Бледная и красивая от волнения секретарша Людмила Яковлевна цаплей вытянулась на порожке, улыбаясь областным руководителям так ласково и самоотверженно, точно хотела своей пышной грудью, как амбразуру, закрыть всю Татарскую контору от бед и несправедливостей.

— Сюда, Николай Петрович, сюда, Семен Кузьмич, милости просим, Леонид Васильевич! — приглашала Людмила Яковлевна. — Вот сюда, вот сюда...

Возле дверей своего кабинета Прончатов опередил начальство, открыв обе дерматиновые створки, первым шагнул на ворсистую дорожку и пошел, не оборачиваясь, на свое место. «Это мой кабинет, извольте понимать!» — говорила прямая спина Олега Олеговича. Гости еще только проходили в кабинет и разбирались, где кому сесть, а Прончатов уже цепко держался в кресле, его руки, сжавшись в кулаки, лежали на толстом стекле, складки у губ начальственно закруглялись.

— Разрешите начать? — спросил Олег Олегович и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Телеграмма получена своевременно, мы готовы рапортовать о проделанной работе.

Всем, чем можно: тоном, позой, глазами, положением спины, — Прончатов как бы подчеркивал, что он не собирается вести душевный разговор, что в кабинете нет места для легкости, дружеских бесед и обоюдověжливых улыбок, а, наоборот, все в кабинете принадлежит делу и только делу: удобно стоящие телефоны, пустой стол, шкаф с технической литературой, карта на стене, чертежи, небрежно лежащие на особой тумбочке. И подчеркнутая простота, бедность кабинета тоже, в свою очередь, свидетельствовали о том, что в комнате можно только работать.

— Сводка о выполнении месячного плана в обком посту-

пила позавчера, — сухо прищурившись, сказал Прончатов, — следовательно, я должен рапортовать о мероприятиях, обеспечивающих выполнение плана следующего месяца...

Прончатов выхватил из ящика стола несколько густо исписанных страниц, поднес их к глазам, но продолжить не успел: раздался густой голос Семена Кузьмича Цыцаря.

— Постой, постой. Олег Олегович! — смешливо произнес заведующий отделом. — Ну, чего ты нас сразу угощаешь цифирью! — Он широко развел тяжелыми руками, хлопнул себя по коленке, закончил неожиданно разухабисто: — Эх, не работа бы, попросили бы мы тебя, Олег Олегович, сообразить стерляжью ушицу! Ты, слышать, по этому делу великий мастер!

Цыцарь еще не успел договорить, еще только по-гурмански потирал руку об руку и еще только собирался наблюдать реакцию Прончатова, как Олег Олегович, на виду у всех, подчеркнуто открыто надавил кнопку звонка.

— Закажите в орсовской столовой стерляжью уху, икру и коньяк, — сказал Прончатов мгновенно появившейся секретарше. — Попросите Падеревского проследить за исполнением. Все!

Когда Людмила Яковлевна бесшумно исчезла, Прончатов улыбался той самой улыбкой, от которой становился рубахой-парнем, милейшим человеком, предобрейшей душой, но его слова и действия были так неожиданны и стремительны, что в кабинете несколько секунд стояла удивленная тишина, потом Цыцарь по-настоющему весело расхохотался.

— Ну, молодец, Прончатов! — добродушно воскликнул он, и его широкое монгольское лицо подобрело. — Вы только поглядите, Николай Петрович, каков он, а! Конфетка, а!

Секретарь обкома Цукасов молча улыбался. Все это время, пока Прончатов и Цыцарь разговаривали, он внимательно оглядывал кабинет Прончатова, подолгу задерживал взгляд на дисциплинированно сидящем в углу Вишнякове, и Олег Олегович заметил, что пальцы Цукасова, лежащие на подлокотнике кресла, жили как бы отдельно от него. Они то складывались, когда отвечали утвердительной мысли хозяина, то расходились, выражая его несогласие с самим собой или с другим человеком.

— Да, Олег Олегович — голова! — шутливо заметил Цукасов. — Бриан — тоже голова...

Прончатов разжал кулаки. Мелочи, надоевшего упоминания о знаменитом романе, короткого взгляда было довольно для того, чтобы он, Прончатов, получил право делить Николая Петровича Цукасова от Семена Кузьмича Цыцаря. Неважно, читал ли «Золотого теленка» заведующий промышленным отделом; важным было то, что после шутливых слов Цукасова уже нельзя было принимать Цыцаря на полном серьезе, и к Прончатову пришла такая легкость, которую он испытывал только в беседе с молодым инженером Огурцовым. Их многое

объединяло, секретаря обкома и главного инженера: одна и та же институтская скамья, одни и те же учебники, кинофильмы, песни, современная манера поведения и тот неуловимый, но реально существующий дух времени, который объединяет людей одного поколения.

— Чего это мы молчим, как на похоронах,— пробасил Цыцарь. — Муха летит, слышно!

Муха не муха, но овод, залетевший в кабинет, обреченно бился о твердые стекла; гудел прерывисто, как тревожный зуммер, с размаху налетал на тетрадь, то кружился, то замирал в воздухе и опять обреченно бился, хотя сантиметров двадцать отделяло овода от распахнутой форточки.

— Расскажите о положении конторы, Олег Олегович,— попросил Цукасов. — Каким макаром вам удалось вырваться вперед? Не чудо же...

Как легко было Прончатову с секретарем обкома! Знающий инженер, теоретик и практик сплавного дела, просто умный человек сидел перед ним, и Прончатов, пожалуй, в первый раз за все эти дни с тоской подумал о том, что приходится скрывать правду. Не будь бы сейчас в кабинете Цыцаря и Вишнякова, останься бы Прончатов с глазу на глаз с Цукасовым, он бы сказал: «Николай Петрович, я не хочу, чтобы конторой руководил Цветков. Покойный Михаил Николаевич тоже не хотел Цветкова и потому завещал мне не учтенный еще в годы войны лес». Вот что хотел бы сказать Прончатов секретарю обкома, но вместо этого он озабоченно порылся в бумажках и подчеркнуто небрежно проговорил:

— На двадцать пять процентов увеличена скорость хода лебедочных тросов. Вот выкладки, Николай Петрович. — Он протянул секретарю обкома лист бумаги и продолжил: — Это помогло нам ускорить погрузку леса в баржи. Что касается перевозок леса в плотях и молевого сплава, то мы просто-напросто улучшили организацию труда...

Приняв бумагу, Цукасов вежливо кивнул, но ничего не сказал. Несколько минут он внимательно читал, глядя в расчеты углубленными, настрожившимися глазами. Пальцы левой руки, по-прежнему лежащие на подлокотнике кресла, то сходились, то расходились, и Прончатов весь сосредоточился на них, хотя прекрасно знал, где пальцы скажут «да», а где «нет». Прочитав расчеты, Цукасов положил бумажку на стол, подумав, задумчиво проговорил:

— Все гениальные идеи просты. Поздравляю, Олег Олегович, но, понимаете ли... — Он еще сделал паузу, еще глубже сосредоточился: — Но, понимаете ли, хочется точно знать, как именно была улучшена организация труда на сплаве и перевозках леса в плотях. Это ведь нелегко теперь — накормить до отвала форсированные лебедки?

Олег Олегович уважительно молчал и думал о том, что Цу-

касов потому в сорок один год и был избран секретарем обкома партии, что на лету ухватил такие сложные проблемы, над которыми он, Прончатов, бился несравненно дольше. Ведь в самом деле нельзя было обеспечить лесом лебедки Мерзлякова только за счет «улучшившейся организации труда».

— Вы правы, Николай Петрович! — серьезно сказал Прончатов. — Если хотите, я с этой проблемой вторгся в непривычную мне область философии. — Он насмешливо улыбнулся над самим собой. — Лебедки потому и работали на малых скоростях, что сплав и перевозка леса в баржах позволяли им быть тихоходными. Не было спроса, отсутствовало и предложение...

Он еще только договаривал, а уже понимал, что Цукасов немедленно ухватился за слово «спрос», поставив его в связь с действительностью, будет добиваться прямого ответа. Так оно и произошло. Как только Прончатов закончил, секретарь обкома спокойно спросил:

— Как все-таки вы увеличили спрос?

Прончатов помолчал, затем поднялся, подойдя к окну, накрыл рукой надоевшего овода. Он метко выбросил его в форточку, вытер пальцы носовым платком, сказал отрывисто:

— Энтузиазм!

Он назвал то, что не поддавалось никаким расчетам, не было подвластно инженерной мысли, но что Прончатов иногда учитывал как материальную силу, а сейчас понимал, что секретарь обкома Цукасов не сможет отнести отрицательно к той силе, которая скрывалась в смысле этого слова.

— Да, энтузиазм,— вяло повторил Прончатов. — Мы, конечно, понимаем, что на энтузиазме далеко не уедешь, и разработали ряд кардинальных мер. Открыты два новых плотбища, усиленно ведется работа по комплектовке большегрузных плотов. Вы знаете, мы третий год бьемся над этой проблемой, но пока... Нуль, нуль, нуль!

Он огорченно развел руками и шумно сел, заметив во время движения, что пальцы на левой руке Цукасова разошлись. А что оставалось пальцам делать, если инженер Цукасов в отличие от секретаря обкома Цукасова мог принять только наполовину прончатовскую версию об энтузиазме, давшем сплавной конторе почти девять процентов прибавки. «Ох, как нехорошо! — садясь, думал Олег Олегович. — Ах, как нехорошо!»

Сидели в прончатовском кабинете опытные, умные, знающие дело мужчины; задумчив был секретарь райкома Гудкин, переполнен силой и энергией заведующий промышленным отделом Цыцарь, непреклонно молчал, храня заряд отрицания Прончатова, парторг Вишняков, думающе пощипывал правой рукой подбородок секретарь обкома партии Цукасов; все они были неторопливы в выводах и решениях, умели осторожно и умно пользоваться властью, знали, какой ценой добывается истина, и, конечно, понимали, что ведется важный разговор.

— Ну, что же, Олег Олегович, — решительно сказал Цыцарь и полуобернулся к Цукасову. — Если я правильно понял Николая Петровича, областной комитет партии положительно относится к эксперименту с лебедками, хотя они отживают свой срок. Спасибо вам, Олег Олегович! Человек вы, несомненно, творческий.

Он славно говорил, этот заведующий промышленным отделом обкома товарищ Цыцарь. На его монгольском лице читалось истинное удовольствие, он, несомненно, был рад успеху Прончатова, так как славился объективностью, был знаменит тем, что никогда не руководствовался в работе побочными влияниями, был предельно честен и как вол работоспособен.

— И вам спасибо! — спокойно ответил Олег Олегович, а сам подумал о том, что нет, не бывает просто плохих или просто хороших людей. Жизнь так сложна, так быстро и противоречиво развивается, что тасует людей, события и факты, как колоду карт. Ведь можно было предположить, что лет десять — пятнадцать назад Цыцарь сидел бы на месте Цукасова, а кто-то другой — на месте Цыцаря и теперешний заведующий отделом был бы прогрессивен, а тот, другой, вызывал раздражение отсталостью. Шла, понимаете ли, жизнь-жизнюха, намазывала на колеса дни, месяцы и годы; старила одних и рожала других, наказывала; и прекрасна она, жизнь-жизнюха!

— Нужно поехать на лебедки, — задумчиво сказал секретарь обкома. — Поговорим с людьми, посмотрим... — Он сказал это так, точно разговаривал с самим собой, отвечал на собственные вопросы. — На рейдах области устанавливаются новые погрузочные краны, значит, проблема увеличения объема погрузки становится всеобщей...

Простота, естественность поведения, несуетность, способность всегда быть выше сиюминутного, преходящего, привычка мыслить крупно — как хорошо все это было в Цукасове! Его мало занимало то, что происходит между Прончатовым, Вишняковым и Цыцарем, но зато чрезвычайно интересовал сам главный инженер Тагарской сплавной конторы. Секретарь обкома исподволь, осторожно наблюдал за Прончатовым, что-то укрупнял в нем, что-то не принимал в расчет, и от этого Олег Олегович поневоле настраивался на естественность поведения, на простоту, несуетность, на крупность. Прончатов и Цукасов знали друг друга давно, десятки раз встречались, сжививали вместе на разных заседаниях и пленумах, но Олегу Олеговичу казалось, что все их прошлые отношения были подготовкой, черновиком к тому, что их будет связывать в дальнейшем.

— Можно поехать на рейд, — согласился Прончатов, — хотя я думаю, что лебедкам не надо придавать слишком большого значения. Эпизод — не более! От нужды изобрели велосипед...

Олег Олегович понимал, что для Цукасова модернизация лебедек не имеет того смысла, который усматривал тут заведующий промышленным отделом, хотя Прончатов еще не разобрался в причинах поведения Цыцаря. Почему он так торжественно и велеречиво поздравил их с победой, что руководило им, если победа Прончатова ему невыгодна?.. На этом месте рассуждения Олег Олегович иронически сощурился: не в пользу Цыцаря было сравнение.

— Надо, надо ехать на рейд! — поддержал Цыцарь предложение секретаря обкома. — Кстати, я давненько не видел Никиту Никитьевича Нехамова.

Олег Олегович опять поймал на себе изучающий взгляд Цукасова, который как бы спрашивал: «Ну, товарищ Прончатов, что для вас сейчас важно, что значительно?» Потом секретарь обкома неторопливо поднялся, но прежде чем подойти к дверям, подошел к карте мира, что висела за спиной Прончатова. Он посмотрел на жирные красные линии, которыми был обведен большой кусок сибирской земли — Тагарская сплавная контора, и прежним, задумчивым голосом сказал:

— Велика, велика! Среднее европейское государство..

Нет, не хотел жить будничными категориями и масштабами Николай Петрович Цукасов; каждым своим словом и поступком уходил от привычного и этим как бы приглашал всех, а Прончатова особенно, посмотреть на дело с иной точки зрения.

— Чего же мы стоим? — вдруг раздался суровый, непреклонный голос. — Надо ехать на рейд!

Эти слова сказал парторг Вишняков, который уже стоял у порога двери и был единственным из четверых, кто не глядел на карту мира.

— Поехали, поехали! — прежним тоном повторил парторг. — Зря время теряем!

Осмотрев лебедки и пообедав, обкомовское и райкомовское начальство посетило механические мастерские, побывало на верфи, где беседовало с гордостью сплавной конторы Никитой Нехамовым, а после всего этого обкомовское и райкомовское начальство пошло совещаться в поселковую гостиницу. Прончатов же вернулся в контору, где разобрал вторую почту, прочел международный отдел в «Правде», принял двух служащих, поговорил по телефону с районной нефтебазой и уж было хотел вызвать облнефтебсыт, чтобы в пух и в прах поругаться с управляющим, как увидел в окно жену Елену Максимовну.

Жена направлялась прямехонько в контору, и Олег Олегович понял, что значил один из телефонных звонков, на который ответила только секретарша Людмила Яковлевна, — это

Елена Максимовна, находящаяся в заговоре с Людмилой Яковлевной, выясняла обстановку. В телефонных разговорах они Прончатова называли «он», интимно понижали голос — в общем, всячески секретничали, хотя Олег Олегович обо всем знал.

Глядя в окно, Прончатов улыбался: Елена редко заходила в контору, еще реже старалась быть женой ответственного работника, и, значит, у нее были серьезные причины для того, чтобы нести голову так высоко, надеть модное платье и туфли на высоком каблуке. Потом Прончатов начал глядеть на жену мужскими, оценивающими глазами — красивая, значительная, заметная женщина. Она чуточку располнела, это правда, но зато располнели и бедра, став совсем крутыми; ей было тридцать четыре года, это тоже правда, но зато только у зрелой женщины могла быть такая уверенная осанка, таким недоступным лицо. Красавица, черт побери, завидно здоровая и величественная женщина шла по тротуару, и носила она фамилию Прончатова. «Ах ты, Ленка, Леночка, Ленок!» — подумал Олег Олегович и поднялся, чтобы встретить жену в приемной.

— Добрый день, Елена! — первым сказал Прончатов и, взяв жену за локоть, провел в кабинет. Не отпуская руку Елены Максимовны, он усадил ее в кресло, а сам устроился напротив и внимательно заглянул в лицо. — Что случилось?

Она помолчала мгновение, потом сказала тихо:

— Я беспокоюсь, Олег! Зная, как это для тебя важно, я очень беспокоюсь!

Боже, как любил Прончатов жену! Каким родным, близким человеком была она!.. Он любил серые глаза и нежный подбородок, пышные волосы, пополневшие ноги и бедра; он любил ее манеру держать себя, сидеть на стуле, глядеть исподлобья и поднимать одну бровь; он любил руки, которые стелили ему постель, ему была дорога каждая царапина на ее ногах, каждая трещинка на губах; он задышался от чувства любви к жене и ничего не мог поделать с собой, когда его потянуло к ней, и он обнял ее крепко.

— Ленка, — прошептал Прончатов. — Женушка ты моя!

Она прижалась к нему, вся потянувшись вверх; потом жена замерла, притихла, притаилась. И так они были долго, до тех пор, пока жена не освободилась сама. Елена Максимовна выпрямилась и мизинцем стерла слезинки с глаз.

— Всю жизнь я буду любить тебя и мучиться с тобой! — прошептала жена. — Всегда я буду спать тревожно, никогда не будет покоя! — Она грусто улыбнулась и погладила Прончатова рукой по щеке. — Ну, рассказывай, мучитель, что нового.

Склонив голову, Прончатов молчал. Ему было не грустно и не весело, не спокойно и не тревожно, не хорошо и не плохо. И даже легкой печали не испытывал Олег Олегович, даже мысли о прошлом сами обегали его, словно ни прошлого, ни

будущего у него не было. Прончатов в этот миг был так же прост и естествен, как тополь за окном или его большой письменный стол.

— Сижу на смотринах! — сказал Прончатов. — Вишняков поставил Цыцарю компрометирующие меня факты и фактики, а Цукасов пока не занял никакой позиции... Сам аллах не знает, чем это кончится! — Он все-таки вдруг улыбнулся. — Я пытаюсь играть строптивую, переборчивую невесту...

— И все это из-за того, что ты хочешь нести еще более тяжелую ношу! — тоже после длинной паузы сказала Елена Максимовна и неожиданно для Прончатова энергично поднялась. — Не опаздывай к ужину, муженек!

Твердо всаживая каблучки в ковер, Елена Максимовна пошла к дверям, открыла их, но задержалась все-таки. Обернувшись, она спросила:

— Ты уверен, что Цукасов за тебя?

— Да! — ответил Прончатов.

— Не опаздывай к ужину! — повторила Елена Максимовна. — Я пошла.

Только сейчас Прончатов понял, чем объяснялся и приход и быстрый уход жены, — не Тагарская сплавная контора беспокоила ее, а нечто более важное. Жене нужно было увидеть его лицо, посмотреть в глаза, послушать его голос. И вот она уходила успокоенная, так как все короткие минуты их общения Прончатов целиком и полностью принадлежал Елене Максимовне, любил ее отчаянно, был естествен в этой любви, как дерево в росте.

— Будь здоров, Олег!

Когда бесшумно закрылись двери и в кабинет пришла глухая безлюдная тишина, Прончатов долго-долго сидел не шевелясь, затем подошел к окну, оперся лбом о холодное стекло. Зачем действительно волнения, интриги, вранье и хлопоты? Не сгинет же, черт побери, в тартарары сплавная контора, сам речной поселок Тагар — останется на земле вот эта белая церковь, освещенная теплыми лучами солнца, зеленая пространственность рек, кедрачи и глухая громада Васюганских болот. Будь ты неладен, трижды проклятый и трижды любимый Тагар! Но отчего боль и гнев охватывают тебя, когда думаешь о том, что ступит на тагарскую землю чужой человек, пройдет начальственной ступней по тротуару, сядет в кабинете Михаила Николаевича? Что знает он об этой белой церкви, что говорит ему старый осокорь на берегу, синий кедрач, в котором бродил мальчишка Прончатов!

За синим кедрачом течет небольшой приток Оби — таежная речушка Смородиновая, за ней распластывается другой кедрач, а уж за ним — два больших длинных озера, на которых плавно качаются кувшинки, играет крупная рыба, по ночам полощет крутые рога прозрачный месяц. Что знает об этом

Цветков? Разве было в его жизни такое, когда тайга, реки, озе-
ра, небо тагарской земли платили за любовь к ним здоровьем,
молодостью, силой?..

*Здесь автор в последний раз делает отступление в прошлое
своего героя, припомнив, что через несколько месяцев после
окончания войны, в августе тысяча девятьсот сорок пятого
года...*

СКАЗ О ПРОШЛОМ

В августе с неба часто падали звезды, озерная вода была
густа, как чай; по ночам на лугах косили тишину дергачи-пти-
цы, луна над веретями и сорами Васюганских болот висела пу-
стая, прозрачная до синевы. Звезды все падали и падали, но
меньше звезд не становилось, вот только боязно было, как бы
не сорвалась с места самая яркая в Нарыме звезда — Поляр-
ная. От страха перед тем, что звезда обреченно покатится вниз,
Олег Прончатов закрывал глаза и в темноте лежал долго-долго,
пока хватало решимости. Рана в плече болела, запахи госпиталя
окружали кровать, хотя давным-давно были сняты повязки. Всю
ночь Прончатов ворочался на горячих простынях, пытаюсь
уснуть, заползал с головой под подушку, но сна не было. Тогда
Олег читал о том, как у майора Ковалева пропал нос или черт
сидел за плечами кузнеца Вакулы.

Непонятное, странное произошло с Прончатовым. Через
месяц после окончания войны он был демобилизован, в Тагар
вернулся в конце июля и уже на следующий день, брэнча орде-
нами и медалями, сверкая иноземным глянцем сапог, облитый
зеленой диагональю, неторопливо прошелся по поселку. Он до-
служился до старшего лейтенанта, славился лихостью, храб-
ростью, шегольством и потому по Тагару прошел так, что жен-
щины ахнули. На второй гулянке по поводу возвращения Олега
местная красавица Анка Мамаева сказала ему открыто:

— Пропала я, товарищ старший лейтенант! Чего хошь
делай — твоя!

Две недели Олег ходил от водки и от счастья пьяный, пере-
бывал в гостях у всего Тагара, но каждую ночь зоревал на сено-
вале у Мамаевых. Он играл на трофейном аккордеоне все фрон-
товые песни, в застолье пел приятным баском «Бьется в тесной
печурке огонь ..» и плясал тоже хорошо.

Однако в конце третьей недели с Прончатовым случилась
беда. Произошло это в четвертом часу ночи, когда Олег на стар-
ром отцовском велосипеде возвращался домой от Анки Мамае-
вой, так как в пять часов утра договорился с отцом рыбалить.
Августовская ночь была глухой, рассвет только начинался. Оле-
гу казалось, что он на велосипеде несется по воздуху, как ведь-
ма на помеле. Когда переднее колесо опускалось в низинку,

сердце замирало от сладости. На Бульварной улице Олег сошел с велосипеда, чтобы на руках перенести машину через лужу, двинулся уж шаткими дощечками, как вдруг услышал скрипучий голос дверных петель — кто-то, видимо, вышел во двор.

Прончатов огляделся. Мертво и слепо стояли дома, холодно мерцал над ними алюминиевый горизонт, колодезный журавль угрожающе замахнул рукой; пусто, дремуче, глухо. Потом раздался тонкий, жалобный стон, небо над ним мгновенно сомкнулось, сдавленно оборвавшись, стон оставил после себя ощущение боли, страха. Похолодев, Прончатов прислушался, несколько секунд не мог определить, откуда послышался стон, а потом понял, что это он сам тонко и жалобно простонал.

«Я сейчас упаду!» — подумал Олег и действительно повалился на спину так быстро, словно ему перебили ноги. Падая, он инстинктивно оттолкнул от себя велосипед, взмахнул руками и от этого ударился о землю боком, так как успел повернуться. Еще падая, еще с ужасом видя, как наваливается оловянная лужа, он потерял сознание, но последняя мысль отпечаталась в сознании надолго. «Полярная-то звезда сгорела!» — подумал он, и на этом все кончилось.

Сколько времени длилось забытье, Олег не знал, что с ним происходило, не чувствовал, но впоследствии ему казалось, что он помнит, как его куда-то несли, слышал, как рыдала у ног мать, как кричали сестренки и как его укладывали, как раздевали.

Очнулся Олег в двенадцатом часу дня, когда возле кровати уже сидел приехавший из райцентра врач Гололобов. Он смотрел на больного пронизывающими глазами, усмехался уголками губ, и Прончатову показался гигантским, занимающим всю комнату.

— Вот мы и очнулись! — сказал Гололобов.

В комнате было просторно от солнца, ослепительно сверкал в руке врача никелированный стетоскоп, позади Гололобова, пропыленный насквозь, сидел отец Олега. Он спокойно улыбался, был для своих лет молодым, красивым.

— Ну те-с, будем рассказывать, что случилось! — сказал Гололобов. — С самого начала, по порядку.

Тут и выяснилось, что Олег ничего не помнил, остался в памяти только дверной скрип, холодное прикосновение к затылку оловянной лужи и дрожащий звонок велосипеда. Что произошло с ним, отчего началось, что испугало, когда Олег впервые почувствовал тревогу — все это из памяти ушло.

— Отлично, хорошо! — бодро сказал Гололобов. — А теперь, дорогой, послушаем сердечко.

Как много солнца жило в комнате! Казалось, что если добавить еще чуточку, то стены упадут, открыв сияющую голубизну неба, вольную просторность реки; тогда на душе станет со-

всем спокойно и легко, все несчастья кончатся и не надо будет тревожиться за Полярную звезду — ничего с ней не случится!

— А страхи вас какие-нибудь мучают? — спросил Гололобов таким тоном, словно подслушал мысли Олега. — Бойтесь вы чего-нибудь?

— Нет!

— Ну и отлично, ну и отлично! — фальшиво-бодро воскликнул невропатолог. — Никогда не встречал такого здорового больного!

Посидев еще минут пять, поговорив о разных разностях, Гололобов и отец ушли, долго шептались в соседней комнате, но Олег не прислушивался. Подтянув ноги к животу, вобрав голову в плечи, лежал он на кровати — маленький, тихий, очень бледный. Лежал и боялся, что солнце вечером уйдет за горизонт; неотвратимость этого была очевидна, и страх перед ней был так же ужасен, как страх перед вечностью.

Прошло три дня. Прончатов пил лекарства, купался по утрам в прохладной реке, вздымал двухпудовые гири, но ничего не помогало — за три дня он вымотался, как на сенокосе; коричневая кожа сухо обтянула лицо, на локтях повисли сухонькие мешочки из сморщенной кожи, а Анка Мамаева напрасно стучалась по вечерам в его окошко твердым длинным ногтем — он затаивался, не дышал от страха, что она услышит. Когда же женщина тихими шагами удалялась, Олег думал: «Не знаешь ты про Полярную звезду, не знаешь!»

В конце недели отец решил везти Олега в областной город. У директора леспромхоза уж был выпрошен катер, Гололобов уж назначил для сопровождения медсестру, в областном городе обкомовское начальство уже договорилось со знаменитым профессором, чтобы он принял сына известного председателя колхоза, как все переменилось...

В конце недели, часов в девять вечера, когда на небе вспушилась ранняя луна и скворцы в палисаднике пели сытые песни, в калитку прончатовского дома постучал старый-старик Емеля Рвачев. Имел он в руке березовый посох, на голове — войлочную шапку времен крепостного права, на плечах — холщовую рубашу, а на ногах, как полагается, лапти с онучами. На дворе у Прончатовых жили две злющие собаки, кобель Крючок был под вечер спущен с цепи, но он первым ласково подбежал к старику, ткнулся носом в его колени. Не обращая на собаку внимания, Емеля Рвачев сдернул с головы шапчонку, перекрестившись двумя перстами, напевно сказал:

— Ну, здорово, Марей, здорово, председателев! Вы не сидели бы на крылечке, а подмогли бы мне. Нога по ровному-то еще ничего, еще идет, а вот подняться куды — так это я не могу!

Олег Олегович Прончатов-старший и его жена Мария Яковлевна радостно бросилась к Емельяну Рвачеву, взяв его под

руки, завели на крылечко, где и посадили на кедровую табуретку. Он удобно устроился на ней, положив на пол котомку, закрыл глаза и стал пахнуть на весь двор. Овчиной и разнотравьем, печной сухостью и рыбой, жарким ветром и солодом пахло от Емели Рвачева.

— А кобель-то ничего,— наконец задумчиво сказал он и движениями плеч почесал спину. — Только скучно ему. Одно дело — сидеть на дворе, другое дело — медведь!.. Ты, председателев, на месте, однако, не стой, на меня сурьезным глазом не гляди, а вали-ка за сыном. Пушай он предстанет предо мной, как лист перед травой...

Когда Олег Прончатов-младший появился на крыльце, Емеля Рвачев на его приветствие не ответил, а, наоборот, бороденку задрал к небу, приосанившись, так строго посмотрел на больного, что глаза сделались тонюсенькими щелочками. Потом старый старик Емеля опять закрыл глаза и самодовольно сказал:

— Ты садись, парень, садись! Опосля того, как я твой шаг услышал, мне твоя болезнь ясная. Так что ты сиди себе и молчи!

Все притихло на прончатовском дворе. Свернувшись уютным клубком возле крыльца свирепый кобель Крючок, уgomонилась непрерывно бегающая по цепи сучка Репа; катилась по нежной траве предвечерняя тень от сквозного розового облака, загорались красным окна соседних домов. В пегой бороденке Емели Рвачева путались солнечные соломинки.

— А вот вылечу я вам сына! — после длинной паузы сердито сказал он. — Лечить буду десять ден, во всем ему сделаю переворот. Что было верхом, станет низом, что ходило впереди, то будет с хвоста, чего не было, то будет, а что было, того не найдешь... За лечение возьму кобеля. Глаз у него ровно крыжовник, носом он к месяцу, под брюхом у него — благодать!.. Энта вон сука — мать егойная?

— Мать!

— Этого кобеля мне отдашь!

Емеля Рвачев поднялся с табуретки, запахнув пуще прежнего, с длинной улыбкой положил руку на голову Олега. Старик только-только прикоснулся к волосам пальцами, как по телу Прончатова пробежали легкие, завихряющиеся искорки, мускулы обмякли, дыхание утишилось; Олег, закрыв глаза, затих под рукой старика. «Все это было когда-то. И запах этот был, и рука была, и скрип лаптей...» — подумал он.

— Ты, парень, как есть, так и вали за мной! — строго сказал старик. — Не оглядывайся ни на мать, ни на отца, ни на дом родной. Ты только на меня гляди — я тебе мать, отец и дом родной!

Опираясь на посох, увлекая за собой подвывающего от тоски кобеля, Емеля Рвачев двинулся к калитке, бесшумно оторвав ее, вышел на улицу. Он уже был метрах в двадцати от огра-

ды, как Олег поднялся с крыльца, плавной, качающейся походкой двинулся за стариком, глядя ему в спину. Он на самом деле ни разу не оглянулся ни на мать, ни на отца, ни на дом родной. Когда Олег догнал старика, кобель Крючок, подняв голову к ранней луне, тонко, по-волчьи завыл.

Олег Прончатов и старик Емеля Рвачев сначала долго ехали по реке обласком, потом — уже под утро — высадились в устье неизвестной речушки, отдохнув чуток, пошли березовыми колками. За два часа они отмахали километров десять, хотя не ужинали, не завтракали. Еще через километр старик остановился возле тальниковой заросли, раздвинув ветки, открыл спрятанный там второй обласок, под которым лежали весла, торба с хлебом и луком. Однако Емеля Рвачев к еде не притронулся, посапывая носом, задирая бороденку, велел Олегу тащить обласок к озеру, что синело за тальниками.

Озеро длинно-длинно уходило вдаль, за ним зеленел старый кедрач, которому не было ни конца ни краю. На взлобке бора куковала кукушка, жадно кричали над озерной синью бакланы, мучительно извиваясь, тоскуя по солнцу, выплескивались на поверхность сверкающие рыбы. Озеро казалось бескрайним, взмахи весел длились вечно, все кругом тоже было вечным, мудрым, простым. Когда озеро наконец кончилось, они вышли из обласка, пропахшие влагой и водорослями, пошли кромкой кедрача, и шагов через пятьдесят открылась поляна — три отдельных кедра, голубой клочок высокого неба и сказочная, невозможная в реальной жизни избушка.

— Что такое? — мрачно спросил Олег. — Этого не может быть!

Избушка походила и на церковь и на берестяной туес, сделанный деревенским умельцем, — крыша у нее заканчивалась продолговатой луковкой, в каждой из шести стен были прорезаны окошки, да какие: одно напоминало замочную скважину, второе — знак карточных трефей, третье — знак червей, а четвертое было просто круглым. Избушка стояла на чем-то таком, что явно напоминало куриные ноги, была, казалось, способна поворачиваться к человеку передом, к лесу — задом и, видимо, по этой причине над избушкой висело чужое, нездешнее небо, по которому плыли сказочные смывые облака, а тихо было так, что слышалось, как на кедрах от жары вспучивается смола.

— Наша эта избушка, старообрядческая, — сказал старик Емеля. — Кто строил, не знаю, на какой ляд — одному богу ведомо!

Старик помолчал, затем бросил мешок на землю, лег на траву и умиротворенно сказал:

— Туточки и будем жить! Ты, парень, ложись-ка рядом да гласа-то закрой.

Олег послушно лег на землю, прижавшись к теплой траве щекой, закрыв глаза, почувствовал сразу, что нет ничего ни над

головой, ни кругом его, ни под ним; казалось, что он лежит на густом, теплом воздухе и мерно покачивается, и от этого тело сладко томилось, голова была легкой, словно мыльный пузырь. Война, ранение, госпиталь, возвращение домой — где все это? В мире не было ничего, кроме запаха теплой травы и упоительно покачивающегося тела, которому хотелось слиться с землей так, чтобы было одно целое — земля и он, Олег Прончатов.

Через час они поднялись, чтобы жить в избушке, на поляне, под желто-синим небом. Оказалось, что в сказочном домике есть единственная шестигранная комната, обнесенная по стенкам толстой кедровой лавкой, устланная травой. Странные иконы висели меж окнами, какие-то непонятные буквы были написаны на них, а потолка в избушке не было — конусообразный верх где-то высоко превращался в круглую маковку.

Емеля Рвачев постелил на лавке два кожуха, подостлал в изголовье свежую траву, посередине комнаты поставил жаровню, чтобы вечером зачадить дымокур. Олега он послал разводить на поляне костер, а через полчаса огонь жадно лизал котелок с картофельной похлебкой, острый нож разваливал надвое буханку хлеба. А когда варево поспело, старик положил руки на острые коленки, выставив бороденку, сказал негромко:

— Тебе, парень, похлебку не дам! Я ее, парень, сам есть буду, а ты рассказывай, что с тобой дается, ты мне все расскажи, все!

На фоне сказочной избушки, среди трех разлапистых кедров, в войлочной шапке старик казался тоже сказочным — такого человека, как он, на земле не могло быть, и Олег Прончатов стал отвечать не ему, а небу, избушке, деревьям, длинному озеру.

— Сам не знаю, что со мной, — задумчиво говорил он. — Жить не хочется, умирать не хочется. Одного боязно: как бы не сгорела Полярная звезда! Может, оттого нет мне покоя..

Сам того не замечая, Олег говорил с интонациями Емели Рвачева, слова произносил плавно, в каждом его слове звучали напевность старинной русской речи, дремучий простор лесной поляны с древней избушкой.

— Мститесь мне, что ничего вокруг меня нету, а от этого в сердце тревога. Вот в котелке похлебка, а вдруг ее нет. Вот рука моя, а вдруг не моя! И сам я себе непонятен, ой как непонятен!

Олег говорил, а его слушали кедры и небо, избушка и старик Емеля Рвачев, трава и потухающий костер — весь мир слушал Олега. Когда же он кончил, старик помотал головой и хитро ухмыльнулся.

— Когда ничего нет, значит, все есть, когда ни жить, ни умереть не хошь, значит, долго жить будешь! — сказал он. — Ну, теперь помолчи, парень, а я похлебку-то доем...

Емеля Рвачев съел полный чугунок похлебки, подремал на солнышке полчаса, потом, кряхтя и стоная, принялся готовить загадочное снадобье. Он нюхал и перетирал в порошок сухую траву, тряся бородой, то и дело рысцой бегал в избушку, возвратившись, приносил новую траву. Над кедрами прорезалась ранняя луна, грозилась уже проклюнуться звезды, тишина колокольным звоном бухала в ушах.

Олег спокойно лежал, думал тихими мыслями — о том, что близится вечер, что подорожник пахнет детством, что рисунок на луне похож на карту Африки, но если прищурить один глаз, появляется сходство с головой теленка. Он остался спокойным, безмятежным и тогда, когда старик Емеля, закончив суетливую работу, сел рядом с ним, поглядев на вечерний небосвод, вдруг хвастливо сказал:

— А у меня, парень, имя-отчество как у батюшки Пугачева. И фамилия родственная. Он Пугачев — я Рвачев. Это разве слабо получается? Так что поймей в виду, парень, какой я есть человек! Я тебя вылечу!

Старик неторопливо поднялся с земли, ушел в избушку, пробыв там минут десять, появился на пороге с логушком в руках. Емеля Рвачев теперь был одет в белую холщовую рубаху, волосы расчесал на прямой пробор, смазал блестящим маслом. Торжественно, величественно он прошел от избушки до костра, поставил логушек на землю, но сам не сел.

— Рыба иди вглубь, зверь — в нору, птица — в гнездо, разная червяк-букашка — в землю! — скороговорочкой произнес старик. — Дождь иди, когда надо, снег — каждый вторник, молонья будь с громом. Тьфу, тьфу!

Сделав длинную паузу, старик свинцовыми глазами посмотрел на Олега, прищурившись, продолжал беззвучно шевелить губами, потом сел на землю и сказал:

— Что пить будешь, смахивает на бражку, но не бражка, вкусомшибат на медовуху, но не медовуха, дыханье прерывает, ровно спирт, но не спирт. Пить будешь большим глотком, чего пьешь — не гляди! Станешь ты ровно пьяным, но пьяным не будешь. Чего хошь — делай! Песни захочешь орать — ори, землю кусать — кусай, кедры крушить — круши! Все тебе можно!.. А теперь глаза закрой, досчитай до тринадцати и опять открой. Если увидишь, что чего не так, молчи, ровно трухлявый пень!

Слова с толстых губ старика стекали медленно, ровно; они катились, как бисеринки с нитки, обволакивали, убаюкивали, их хотелось ловить на раскрытые ладони, перекатывать. Олег послушно закрыл глаза, начал считать до тринадцати, а когда досчитал и открыл глаза, Емели Рвачева на полянке не было. Перед Олегом стояла большая эмалированная кружка с питьем, чуть поодаль, неизвестно откуда взявшись, лежала березовая дубина, половинка мельничного камня и веник из крапивы.

— Пей большим глотком, что пьешь — не гляди! — откуда-то донесся голос старика. — Выпивай все, зла не оставляй!

Олег поднял кружку, усмехнувшись своему спокойствию, отпил большой глоток. Как было приказано, вкус питья он разбирать не стал, но дыхание перехватило, и он, выдохнув воздух, выпил кружку до дна.

— Сиди, как сидишь, гляди в себя! — донесся голос старика. — Ты дурак, мозга у тебя за мозгу заходит, сердце — хреновое.

Трудно было понять, откуда доносится голос: в первый раз он звучал со стороны избушки, потом начался в кустарнике, а закончился возле широкого кедра. Олег усмехнулся этой несообразности, заглянув в себя, ощутил терпкое и звонкое головокружение, но опять раздался голос Емели, который теперь, казалось, скрывался в тальниках:

— Глаза закрой, досчитай до тринадцати.

Он досчитал, открыл глаза — на земле стояла новая, алюминиевая кружка с питьем.

— Пей большим глотком, чего пьешь — не гляди!

После второй кружки у Олега сдвоило сердце, холодок пополз в желудок, горячая волна прилила к голове; он выпрямился, мгновенно похудев щеками, огляделся так, словно впервые увидел поляну, избушку, темный кедрач. Он закинул голову, дерзко посмотрел на Полярную звезду, которая, растопырившись, висела над поляной. «Что хочешь делай! — вспомнил Олег. — Песни захочешь орать — ори, землю кусать — кусай, кедры крушить — круши!»

— Не сиди дурак дураком, — откуда-то раздался голос старика Емели. — Сам ты человек гнилой, мозга у тебя слабая, волосы жидкий. Главное же дело, что ты дурак!

В глазах Олега поднялась и вспучилась избушка, маковка от крыши отделилась и брякнулась о ручку ковша Большой Медведицы; от этого Полярная звезда вздрогнула, растеклась, словно ее размыли, и по всей поляне пошел набатный звон. Вскрикнув, Олег вскочил на ноги, распрямившись, почувствовал, что он сделался тонким и длинным, словно его растянули. Потом ему показалось, что весь мир полыхнул розовым огнем — осветились вершины кедров, опустилась на место и стала бордовой маковка избушки, алые языки, лизнув проклюнувшиеся звезды, начисто сожгли их. «Ах так! — злорадно подумал Олег. — Ни одной не осталось! Ладно!» Он поднялся на цыпочках и, напружинившись, сделал такой длинный прыжок, что сразу оказался возле того места, где лежала березовая дубина. Схватив ее, он крутанул тяжелое дерево над головой, держа дубину так, как, видимо, держал палицу первобытный человек, бешено, хрипло и торжествующе закричал:

— Уля-ляй! Уля-ляй!

Олег присел, согнувшись, словно на четвереньках, двинулся к кедрачу, начав действовать бессознательно, — с диким ревом он бросился к избушке, вытянувшись, полыхнул дубиной по лиственничным бревнам, едва сохранив равновесие, вторым ударом вдребезги разнес ромбическое окно. Не зная, что делать дальше, он громко закричал, оглядываясь по сторонам, сверкал глазами, но из кедрачей снова послышался голос старика: — Ирод проклятый! Трус, Июда, дурак!

Бросившись на голос, Олег на бегу сокрушил треногу над костром, единым взмахом дубины снес головы двум молодым елкам, врубился в кедрач. Бесперывно размахивая дубиной, он, согнувшись, прокрался кромкой кедрача к избушке, затем слепо бросился к кустам, а потом, когда голос снова переместился, отпрыгнул в центр поляны, схватив половинку жернова, метнул ее в кусты, так как казалось, что голос старика теперь звучит со всех сторон. Олег высадил еще одно окно, расколотил перила резного крылечка, но он постепенно замедливался, затихал, уже не скачками, а рысцой перебегал от избушки к деревьям, охрипнув, кричал все тоньше, все жалостливее. Становилось темно и прохладно, костер образовывал вокруг себя бордовый колеблющийся круг.

Окончательно замедлившись, Олег, шатаясь, подошел к костру, опершись на дубину, стал бессмысленно глядеть на огонь. Его похудевшее лицо понемногу теряло звериный оскал, стиснутые зубы размыкались, плечи опускались, детское, беспомощное выражение ложилось на окровавленные губы. Потом он жалобно всхлипнул, пошмыгав носом, тихо и горько заплакал.

Прончатов плакал долго. Затем он медленно опустился на землю, свернувшись клубочком, напоследок всхлипнув еще несколько раз, быстро уснул. Минут через пять из кедрача осторожно вышел Емеля Рвачев, подойдя к Олегу, склонился, внимательно заглянул в лицо. Хитро улыбнувшись, он закутал Олега в кожу, лег рядом и, поворочавшись, грея спину у потухающего костра, с удовлетворенным, радостным лицом уснул.

Ночь вершилась своим чередом — пал на землю туман, луна повернулась, засветившись красным, и тогда уж пришел рассвет. Пастушьими дудками засвистали птицы, светлый оком прорезался на востоке, осветившись, стали желтыми головы старых кедров, и, наконец, где-то на длинном озере, пав грудью в воду, трудно прокричал голодный баклан.

Первым проснулся старик Емеля; умывшись из ручейка, натаскал дров, очистил несколько картофелин, вынул из торбы жирное баранье мясо, обернутое в траву. Опять весело запылал костер, солнце вставало за кедрачами, на озере начинался бой рыбы, и по-утреннему попискивали кулики, и гулко, точно в пустой бочке, куковала кукушка. Она прокуковала тридцать

два раза, когда проснулся Олег Прончатов, широко раскрыв глаза, сел на траве и хриплым, удивленным голосом спросил:

— Где я?

— Где надо, там и есть! — словоохотливо ответил Емеля Рвачев. — Вот я сижу, вон избушка, вон кедрач. Все, парень, на месте, и скоро баранья похлебка поспеет!

Однако Олег пораженно осматривался. Он посмотрел на избушку — кто-то выбил начисто два окна, опустил взгляд — валяются щепки от крыльца, повернулся к молодым елкам — кто-то снес им макушки. Березовая дубина лежала возле костра, валялась половина жернова, блестели осколки стекол. А руки у Олега были в ссадинах, кости ломило, голова нудно болела.

— Что произошло?

— Что надо, то и произошло! — помешивая похлебку, ответил старик. — Это еще спасибо, что я по своим малым силенкам легкую дубинку вырубил. А принеси я аршинный краж, так от избушки-то бревнышка бы не осталось... Это, парень, еще хорошо, это еще прости господи!

Но снова ничего не понял Олег. Он только сморщился от боли, простонав тихонько, так жалобно поглядел на старика, что тот пришел в неопикуемый восторг — замахал руками, как петух крыльями, победно выставив бороденку, захихикал.

— Ты еще спасибо говори, парень, что у меня денег был самый чуток! — хлопотливо сказал Емеля. — А ежели бы я в старухин сундук проник, то ты бы пластом лежал... — Старик вдруг разъярился, задергал губами. — Ты вот, парень, как женишься, бабу смолоду поколачивай. Беспремен поколачивай! Баба в летах делается ярая, в кости крепкая, так что поглядывай, как бы она сама не отчихвостила...

Нет, ничего не понимал Олег Прончатов!

— Дед Емеля! — жалобно вскричал он. — Да ты скажи, наконец, что происходит со мной?

— А выздоравливать ты начинаешь! — ответил старик. — Прошел лечение и вот выздоравливать начинаешь.

Старик Емеля Рвачев не ошибся — Олег Прончатов пошел на поправку. Уже в то первое утро он съел две миски жирной похлебки, опьянев от еды, опять заснул, проснувшись, пошел потихонечку в кедрач. Замечая путь ударами ножа по кедровым стволам, он бродил по тайге часов до шести вечера, спугнул лосиху с лосенком, слышал, как в отдалении похрустывает валежник, видимо под медведем. Олег останавливался, чтобы посвистеть белкам и бурундукам, перемигивался с сороками, уважительно поглядывал на умных ворон, кедровкам небрежно грозил пальцем. Вернувшись к избушке, Прончатов опять наелся до отвала, перекинувшись со стариком несколькими не-

значительными словами, мгновенно уснул, чтобы поутру проснуться спокойным и веселым.

Так прошло три дня. Олег ел, спал; гулял по бору часов по восемь подряд. С утра до вечера под ветром звенели кедры, шелестела трава, наливались орехами шишки; солнце вставало и садилось, луна вызревала на небе еще при солнце; еженощно поднималась над избушкой Полярная звезда.

Вечером четвертого дня Олег решительно подошел к костру, сев на землю, требовательно посмотрел на Емелю Рвачева. Сложив ноги калачом, старик сидел на траве, что-то шепча себе под нос, колдовал над жареным мясом.

— Ну вот что, Емельян Иванович,— сказал Олег.— Живу я весело, хожу быстро, сплю как зарезанный, ем как помилуванный. Скажи, что со мной было и что ты сделал?

Слушая Олега, старик глядел на него исподлобья, хитрые морщинки лучились возле торжествующих глаз, а выражение лица было такое: «Ах вот как ты заговорил, парень! Вот как поешь!» Потом Емеля Рвачев положил на землю нож и, покачав головой, сказал:

— Ай, однако, ты и вправду выздоровел! Волос у тебя стал блескучий, глаз тихий, грудка топорщится. Опять в человека ты, парень, произошел, опять жить хочешь! — Старик почесал пятерней в бурой голове, мудро улыбнувшись, вкрадчиво спросил: — Это я правильную тебе лекцию читаю?

— Правильную.

Старик выпрямился. Пожалуй, впервые за все время знакомства с ним Олег увидел, что у Емели Рвачева карие невыцветшие глаза, узкий и высокий лоб философа, а губы по-юношески яркие. Возвышенное, торжественное выражение легло на лицо старика, вечная печаль живого существа неподвижными точечками блестела в глазах.

— Жить завсегда охота! — тихо сказал старик и опустил голову.— Сто лет тебе будет, нога под тобой сломится, а жить пуще прежнего захочется. Ты ведь, парень, не знаешь, что старые старики дня не видят. Я утресь проснусь, переkreщу лоб и — спать пора! — Он задумался, пожевал губами. — А молодой да неженатый был, день — он ровно год. Это оттого, парень, что старики живут без удивленья... Вот травинка. Ты на ее длинным глазом глядишь — батюшки-светы, чего в ней нет! А мне травинка не в диковину, я на ее коротко время гляжу, и день у меня короткий...

Олегу снова казалось, что голос старика стекает с деревьев, с маковой сказочной избушки, струится, как мареву, над теплой травой. Голос был грустен и спокоен, мудр и безмятежен; от него было тепло, тоскливо, горько-сладко.

— А что с тобой было, парень, я и сам толком не знаю,— говорил старик.— Только нерв у тебя на войне натужился, а я ему, нерву, освобожденье дал. Как народ говорит, я тебе клин

клином вышиб! — Разгребая угли, старик замолчал, бордовый отсвет солнца и костра лежал румянцем на его впалых щеках, ушли в себя глаза, мучительное раздумье таилось в глубоких складках на лбу.— Я еще молодой совсем был, как мой родитель после империалистической войны Ганьку Свиридова вот таким же макаром пользовал. Родитель-то лучше меня травы знал, человека понимал, но я тоже кое-что кумекаю...

Опять замолчал старик Емеля Рвачев, опять опустил голову, длинно и печально вздохнул. Потом он тихо продолжал:

— Я из тебя, парень, фронтову тяжесть вывел. Я как на тебя первый раз глянул, так сразу Ганьку Свиридова признал. Кто хорошо воевал, кто на фронте был геройский, тот в себе долго напряженным нерв носит...

Молчала тишина, потрескивал костер. Словно с высокой горы, точно с невидимой вершины ее, катились в кедрач и умирали в нем последние солнечные лучи, озеро розовыми полосками просвечивало между деревьями, опять куковала кукушка, да долго — больше сорока тоскливых вскриков насчитал Олег, а потом задумчиво сказал:

— Чуток начинаю понимать, Емельян Иванович.

— Ну и молодец! — обрадовался старик.— Я вот сам не понимаю, а ты понял. Образование в тебе большое!

Старик неожиданно весело хлопнул себя ладонями по коленям, вдруг мелко, игриво засмеялся. Он даже откинулся назад, как это делают мальчишки, когда им невоготу от смеха, когда жизнь хороша так, что хочется от радости кататься по земле. Ничего мудрого, философского на лице Емели Рвачева не осталось — все оно было озорным, несерьезным, шутейным.

— А бог с ним, с лечением! — тоненько пропищал Емеля Рвачев и замахал руками.— Я тебе еще только про то скажу, как лечение производил.— Он покатился на землю от хохота.— Я ведь тебя, парень, чистым спиртом опоил! Конечно, я в него травы-дурману бросил, но ты, парень, моего родного спирту чтыреста грамм стеганул... Я потому на старуху и ругался; что у меня больше денег не было! Мне-то, парень, и ничего не досталось! Ну ладно, ну ладно!

Емеля Рвачев потешно похлопал ресницами, надув щеки, возликовал:

— Ну ладно, ладно,— повторил он хлопотно,— теперь твой родитель, парень, от меня одной бутылкой спирту не отделяется! Я при твоём родителе, парень, так напьюси, что мне небо в овчинку покажется. Ну я и напьюси!

Старик вернулся к костру, и, увидев его сияющие, простоватые, мальчишечьи глаза, разглядев, как Емеля Рвачев в предвкушении выпивки облизывает губы и трясет бородой, Олег Прончатов навзрыд расхохотался. Он тоже упал грудью на прохладную траву, обхватил ее руками, хохотал долго и всласть.

Олег давно так хорошо не смеялся — с тех пор, как увидел в небе высокую Полярную звезду и почувствовал затылком оловянный холод лужи.

Закончив экскурс в прошлое своего героя, автор возвращается в его настоящее, где Прончатов в своем кабинете ожидает возвращения обкомовского начальства, которое пошло совещаться в поселковую гостиницу, и так как решается вопрос, кому быть директором Тагарской сплавной конторы, то с обкомовскими руководителями в гостиницу пошел парторг Вишняков.

Стоя у окна, опираясь лбом в холодное стекло, Прончатов думал о том, что парторг Вишняков...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗА О НАСТОЯЩЕМ...

Парторг Вишняков жил все это время войной и послевоенными годами. У него, парторга Вишнякова, не было, наверное, в жизни старого старика Емели Рвачева, избушки на курьих ножках, солнечной поляны, душного от сухости кедрача и длинных ночей, которые кончаются солнцем. Вишнякову не довелось видеть глаза старика Емели, слышать его голос, переполняться его мудростью.

Олег Олегович долго стоял неподвижно, потом тихонечко вернулся на свое место, удобно устроившись в кресле, неторопливо достал из ящика стола бумаги. Он только еще собирался работать, а на лице уже появилось сухое выражение углубленности, две вертикальные складки залегли на лбу, глаза утратили свободный блеск.

Прончатов работал до пяти часов вечера. Отключенный от всех телефонов, он ни разу не поднял голову от стола, ни разу взгляд не сделался рассеянным, не пришла расслабленность; он работал спокойно и напряженно, легко и трудно, медленно и быстро и очнулся только тогда, когда ожил телефон. «Олег Олегович, товарищи прибывают!» — диспетчерским голосом сказала в трубку Людмила Яковлевна. Тогда Прончатов убрал бумаги в стол, помассировав пальцами уставшие веки, поднялся, чтобы встретить гостей на середине ковровой дорожки.

Партийное начальство к пяти часам имело тоже несколько усталый вид, тагарская пыль запорошила одежду и обувь. Видимо, именно поэтому руководителям области и района в кабинет вошли медленно, молча расселись на прежних местах и замолчали, примериваясь к обстановке. Прежнего легкого настроения не было и быть не могло, так как между утренней беседой и теперешней стояли лебедки Мерзлякова, беседа со стариком Нехамовым, который самому Цыцарю тайно шепнул,

что хочет видеть директором Прончатова, и весь длинный разговор в гостинице, где фамилия главного инженера склонялась на разные лады. Все вновь было теперь, и, сохраняя молчание, Прончатов понимал это.

— Ну что же, Олег Олегович,— наконец сказал Цукасов.— Мы увидели много интересного, метод форсирования лебедек, несомненно, достоин распространения. Что касается новой организации труда, то, видимо, вы еще сами не успели сделать обобщений.— Он подумал немного, положил пальцы левой руки на подлокотник кресла.— Обком будет всячески способствовать созданию большегрузного флота.

— Интересное, интересное дело! — пробасил Цыцарь.— Я вполне согласен с Николаем Петровичем.

Заведующий промышленным отделом вынул из кармана затрепанный блокнот, нахмурившись, заглянул в него, затем быстро, изучающе посмотрел на Цукасова:

— Николай Петрович, вы не будете возражать, если я задам товарищу Прончатову несколько вопросов?

— Нет!

Да, след длинного разговора в поселковой гостинице еще сохранялся на лицах гостей — пальцы левой руки секретаря обкома были раздвинуты, что означало «Нет!», Леонид Гудкин покусывал нижнюю губу, широкий лоб Цыцаря хмурился, чтобы скрыть истинное выражение лица, а парторг Вишняков, как всегда, сурово молчал. И по тем взглядам, которыми иногда обменивались пришедшие, тоже было видно, какая напряженная схватка происходила в номере люкс, а по хмурым бровям Гудкина можно было заключить, что секретарь обкома и заведующий отделом не сошлись во мнении.

— Первый вопрос такого порядка,— подбирая слова, заговорил Цыцарь.— Чем вызван ваш конфликт, Олег Олегович, с начальником рейда товарищем Куренным?

— Вопрос ясен! — мгновенно ответил Прончатов и мизинцем надавил кнопку звонка.— Книгу приказов! — распорядился Олег Олегович, а когда секретарша скрылась, повернувшись к Цыцарю, вежливо продолжал: — Вы, видимо, что-то путаете, Семен Кузьмич. Между мной и начальником Пиковского рейда Куренным нет конфликта.

Договаривая эти слова, Олег Олегович с улыбкой принял от бесшумной Людмилы Яковлевны толстую книгу приказов, развернув ее, показал Цыцарю.

— Начальник Пиковского рейда Куренной еще вчера снят мною с занимаемой должности,— сказал Прончатов.— Людмила Яковлевна, будьте добры, передайте книгу приказов товарищу Цыцарю...

Прончатов холодно улыбался все те мгновения, пока заведующий промышленным отделом читал формулировку приказа, пока Людмила Яковлевна на цыпочках уходила из кабинета

и пока Цыцарь задирает на лоб круглые восточные брови. Когда же лицо заведующего отделом сделалось откровенно гневным, Олег Олегович любезно сказал:

— Я осуществляю единоначалие на производстве. По моему мнению, неудовлетворенность главного инженера работой начальника рейда нельзя назвать конфликтом. Куренной — бездельник и неуч! Все это документально подтверждается докладными записками главного механика Огурцова, начальника производственного отдела Сорокиной и целой группы комсомольцев, недовольных грубостью и нетактичностью Куренного. Документы, как говорится, прилагаются. — Он выбросил из ящика кипу скрепленных бумаг. — Если хотите, познакомьтесь, пожалуйста, Семен Кузьмич!

Протягивая бумаги Цыцарю, Олег Олегович смотрел в окно, чтобы не видеть лица заведующего промышленным отделом... Было уже минут десять шестого, и потому по улице шли усталые рабочие, женщины несли из яслей младенцев. Прончатов заметил токаря Анисимова, плотника с верфей Голдобина и многих других знакомых ребят, которые, проходя мимо конторы, невольно заглядывали в окна. Солнце уже висело довольно низко, красный флаг на средней школе казался нежно-розовым. Хороший вечер обещал прийти в Тагар, удивительно хороший...

А заведующий промышленным отделом Цыцарь — сильный человек, значительная личность — уже пришел в себя. Он вернул бумаги Прончатову, коротко хохотнув, сделал такое движение, точно хотел потерять руку об руку, но сдержался и сказал весело:

— Тогда второй вопрос, Олег Олегович! Мы люди свои, нам друг от друга скрывать нечего... — Он остановился, выдержав небольшую паузу, вдруг сделался таким милым, что его захотелось ласково похлопать по плечу. — Я думаю, Николай Петрович не осудит меня за то, что я выдам нашу маленькую тайну.

Ну предельно милым человеком был сейчас заведующий промышленным отделом обкома! Он даже по-бабьи хлопнул себя руками по бокам, ерзанул на стуле, припрыгнул даже как-то игриво.

— Пашевский райком, — сказал Цыцарь, — просит нас, чтобы директором Тагарской сплавной конторы назначили вас, товарищ Прончатов... Так что ты нас не обессуди, если что не так спросим. Не за понюшку табаку рядимся — директора назначаем!

После этого Цыцарь нагнал на губы суровость, глянув Прончатову в душу, старательно замолчал, чтобы посмотреть, как главный инженер переживет ошеломляющее известие. Через секунду-две заведующий отделом удовлетворенно откинулся на стул, так как Прончатов отлично сыграл удивление,

оторопь, нечаянную радость. Потом Олег Олегович тоже развел руками, подражая Цыцарю, задрал на лоб левую бровь.

— Большая честь,— скромно сказал Прончатов.— Сразу не сообразишь, как вести себя...

Прончатов старательно играл то, что было нужным для Цыцаря, а сам искоса следил за пальцами Цукасова, которые, отделившись друг от друга, говорили «нет», и Прончатов с грустью подумал: «Не повезло мне, что Цукасов только недавно пришел в обком. Цыцарь еще в силе!» Он так считал потому, что по глазам Цыцаря видел, что заведующий промышленным отделом готовится к новой атаке — Цыцарь уже дважды испытующе глянул на секретаря обкома, весь внутренне напрягся, хотя с губ не сходила прежняя наигранно-добродушная улыбка.

— Ну, поехали дальше! — весело заявил Цыцарь, окончательно поворачиваясь к Олегу Олеговичу. — Ты вот скажи-ка нам откровенно, товарищ Прончатов, когда тебе пришла в голову идея насчет лебедек? Ты, если можешь, число, месяц назови.

Да, все предыдущее было цветочками, ягодки ждали впереди, так как всей области было известно, что нужно опасаться беды, если заведующий промышленным отделом обращается к человеку на «ты», смотрит на собеседника теплыми родственными глазами и непрочно, словно собираясь уйти, сидит на стуле. Зная об этом, Прончатов мгновенно напустил на лицо мягкость, тоже родственно улыбнулся, подчеркивая голосом местоимение «ты», проникновенно сказал:

— Ты не самый трудный вопрос мне задал, Семен Кузьмич. Вот тебе число, вот тебе месяц... Двенадцатого июля!

Прончатов четко произнес каждую букву, хотя заметил, что Леонид Гудкин предостерегающе вращает глазами, а Цыцарь еще ласковее улыбается. Однако Олегу Олеговичу интереснее было то, что происходит с длинными, нервными пальцами Цукасова — они по-прежнему расходились, говоря решительное «нет». Секретарь обкома молчал, но самый важный, значительный разговор происходил между ним и Прончатовым.

А заведующий промышленным отделом Цыцарь продолжал наступать. Беззвучно проглотив непочтительное прончатовское «ты», не обратив, казалось, внимания на вызывающий тон главного инженера, он передвинулся на самый кончик стула, легонько хлопнул себя руками по коленям и подчеркнуто равнодушно сказал:

— А вот товарищ Вишняков называет другое число. — Он быстро повернулся к парторгу: — Григорий Семенович, ты бы подправил Олега Олеговича...

Прончатову было не до смеху, но все равно трудно было сохранять приличную серьезность, глядя на то, как приходил в движение Вишняков, сидящий в суровой, тяжелой неподвиж-

ности. Он оживал так, как, бывает, трудно заводится на морозе застывший двигатель: сперва его металл был мертв, неподвижен, потом пулеметом затарахтел пускач, минутой спустя раздалась редкие выхлопы основного мотора, и уж тогда пришло в движение все остальное.

Ожив, Вишняков всем телом повернулся к Прончатову, выставив непреклонный подбородок, заговорил в своей обычной манере, то есть с прищуренными мерцающими глазами стал одно за одним перекачивать тяжелые, как булыжник, слова.

— Мне товарища Прончатова подправлять нечего, — сказал Вишняков. — Подправить человека можно тогда, когда он ошибается, а главный инженер нас просто водит за нос. Вот что я скажу, товарищи!

Поразительной была отъединенность парторга от того, что происходило между людьми, сидящими в комнате: ему была непонятна ласковая вкрадчивость Цыцаря, не было дела до вдумчивого молчания секретаря обкома Цукасова, был безразличен — вот это самое странное! — главный инженер Прончатов. В своем одиночестве, уходе от действительности парторг Вишняков жил совершенно в ином мире, где все было по-другому, чем здесь, в кабинете.

— Товарищ Прончатов говорит неправду, — медленно продолжал Вишняков. — Переоборудование лебедек он задумал давно, а осуществил только сейчас, после смерти Михаила Николаевича... — Парторг секунду помолчал, затем неторопливо повернулся к Цыцарю. — Прончатов карьеру делает! — спокойно продолжил Вишняков. — Вот потому и затаился с лебедками...

С того самого мгновения, когда заговорил парторг, Прончатов не отрывал глаз от Цукасова — когда парторг оживал, Цукасов на него глядел с простым любопытством, потому угуб Цукасова прорезались острые и тонкие складки, а когда парторг закончил речь четко сформулированным обвинением, Цукасов вопросительно посмотрел на Прончатова, словно говоря: «Ну, а это что такое?»

— У тебя все, товарищ Вишняков? — спросил Цыцарь. — Ты все сказал?

— Пока все! — отрезал парторг. — Когда будет надо, я еще пару слов скажу...

За окнами кабинета улица опять была пустынной; давно разошлась по домам первая смена, работала вторая, и по тротуару шли только мальчишки с удочками, которые ловчили попасть к вечернему клеву. Удили, черти, ельцов возле самых лебедек Мерзлякова, хотя кругом стучало и гремело сырое дерево. Ребятишки прошли, несколько секунд на улице никого не было, а затем вышла на тротуар рыжая собака с обрубленным хвостом.

— Еще вопрос! — медленно сказал Цыцарь. — Бог с ними, с лебедками, бог с ними...

Заведующий промышленным отделом еще понизил голос, старательно нацелив взгляд в глаза Прончатова, положив ногу на ногу, вдруг принял свободную, благодушную позу.

— Есть сигналы, товарищ Прончатов, что ты неправильно ведешь себя в быту, — извиняющимся голосом сказал Цыцарь. — Прости, что вникаем в это дело, но сам знаешь... Ты у народа на виду, народ с тебя берет пример...

Рыжая собака с обрубленным хвостом двигалась вдоль тротуара, и, так как Прончатов по-прежнему глядел на нее, к собаке постепенно повернулись все — секретарь обкома Цукасов, и Цыцарь, и секретарь райкома Гудкин. Собака шла к конторе, и Прончатов наконец вспомнил, чья это собака — ночного сторожа.

— Я не буду отвечать на ваш вопрос, товарищ Цыцарь! — негромко сказал Олег Олегович. — Только уважение к такой высокой партийной инстанции, как обком...

Прончатов осекся, так как увидел похолодевшие глаза Леонида Гудкина. Секретарь райкома сидел уже так, что, казалось, был готов вскочить, бросившись к Олегу Олеговичу, закрыть ему рот ладонью. А заведующий отделом Цыцарь улыбался такой родственной ослепительной улыбкой, какой, если надо, умел улыбаться и Прончатов, так как товарищ Цыцарь получил как раз то, чего добивался, и Олег Олегович отчетливо услышал, как заведующий отделом говорит в обкоме: «Рыльце-то у Прончатова в пушку! Отказался отвечать на вопрос!»

— Ну и здорово же ты зазнался, товарищ Прончатов! — со вздохом сказал Цыцарь. — Возомнил себя богом, который не подвластен критике. Зазнался, зазнался ты, Прончатов!

И тут произошло неожиданное: Олег Олегович весело расхохотался.

— На обвинение в зазнайстве ответа нет! — смеясь, заявил Прончатов. — Я сам, товарищ Цыцарь, иногда позволяю себе пользоваться таким нечестным приемом... — Он поднял кисть руки и вяло помотал ею в воздухе. — Хотите, я вам продемонстрирую, как обвинением в зазнайстве можно угробить любое хорошее дело, любую здоровую инициативу? Ну, хотите?..

Секретарь райкома Гудкин уже не делал предостерегающих жестов — он сидел грустный, ко всему безразличный. «Дурак ты, Прончатов, круглый дурак!» — говорило лицо Гудкина. И он был прав! На все вопросы заведующего отделом Прончатову надо было отвечать охотно, смотреть ему в глаза преданно, время от времени говорить сокрушенно: «Ошиблись; Семен Кузьмич, исправимся!» — а когда речь зашла о неправильном поведении в быту, сокрушенно разведя руками,

признаться: «Было такое дело, Семен Кузьмич! Приехал в воскресенье на рейд слегка выпившим. Никита Нехамов, будь он неладен, уговорил. Так что сигнал Куренного правильный. А вот насчет племянницы — поклеп, навет, по злобе врут, Семен Кузьмич!» И Цыцарь бы растаял, довольный тем, что Прончатов поддается воспитательным мерам, говорил бы потом в обкоме: «Много нам пришлось возиться с Прончатовым, но зато теперь...»

Вот как надо было вести себя Прончатову, а он вместо этого на Цыцаря глядел холодно, катая желваки на скулах, сидел в кресле вольготно, сильные пальцы необдуманно сжимал в кулаки. Именно поэтому Цыцарь медленно повернулся к секретарю обкома с таким выражением на лице, словно хотел сказать: «Я же вас предупреждал, Николай Петрович!» — огорченно пожал плечами.

— Не выходит у нас разговор с Прончатовым, не выходит, Николай Петрович! — сказал Цыцарь. — Разрешите мне не задавать больше вопросов.

Он все расставил по своим местам, этот могучий Цыцарь. Выходит, это не он расспрашивал Прончатова, а выполнял волю секретаря, выходит, не его вопросы были обращены к Олегу Олеговичу, а цукасовские, не только, выходит, Цыцарь беспокоился за судьбу Тагарской славной конторы, а и секретарь обкома. И как ни был зол на заведующего отделом Прончатов, не мог все-таки пересилить себя — восхитился им: «Голова! Умница!»

— У меня вопросов больше нет, — повторил Цыцарь. — Может быть, Николай Петрович...

— Я хочу сказать! — мерным голосом вмешался парторг Вишняков. — Конечно, Прончатову не хочется отвечать на вопросы, но придется! — Он угрожающе сдвинул брови. — Я уж не говорю за то, что товарищ Прончатов в первое воскресенье июня приехал на рейд выпивши, что о его развратной связи с врачихой знает весь поселок, но вот за профсоюзное собрание я скажу... — Вишняков поднял руку, из стороны в сторону пошевелил указательным пальцем. — Ты почему, Прончатов, на профсоюзном собрании среди членов президиума организовал коллективную пьянку? Это раз! А во-вторых, кто тебе позволил уклониться от голосования? Дисциплина в партии для всех одинаковая, Прончатов!

Он напоследок еще раз пошевелил пальцем, раздвинув брови, принял прежнюю позу. Теперь его лицо ничего не выражало — даже удовлетворения не было на нем.

— Я все сказал!

Секретарь обкома на этот раз не смотрел на говорящего Вишнякова, и вид у Цукасова был такой, точно он отсутствует. Когда же в кабинете опять наступила тишина, Цукасов поднял голову,

— Олег Олегович,— спросил он,— вы готовы в августе принять два новых крана?

Прончатов вздохнул, повернулся к Цукасову, потеряв пальцем переносицу, так посмотрел на него, точно не понимал вопроса. Какие краны? Почему? О каких кранах можно говорить здесь, в кабинете, где сидят Цыцарь и Вишняков? Краны! Боже, это же из другой жизни... Потом до Прончатова все-таки дошел смысл вопроса.

— Да, да,— рассеянно ответил он.— В августе примем краны...

У Олега Олеговича был такой вид, словно он просыпается,— встрепенулся, повеселел, осмысленно глянул на секретаря обкома. Август, краны... Черт возьми, а что он ответил Цукасову?

— Николай Петрович,— засмеявшись, спросил Прончатов,— правильно ли я понял, что в августе мы получим электрические краны?

— Правильно!

Олег Олегович окончательно пришел в себя: встряхнувшись, энергично поднялся, обойдя стол, сел рядом с Цукасовым. Известие было таким значительным, важным, что Прончатов мгновенно превратился в того главного инженера, который сидел в кабинете до прихода партийного начальства — властными, жестковатыми сделались его глаза, губы затвердели.

— Ну, наконец-то! — облегченно проговорил Олег Олегович.— У механика Огурцова сегодня большой праздник!

Прончатов почувствовал, что ему очень не хватает Эдгара Ивановича; его подвижного иронического лица, свободных движений, привычки садиться на стул задом наперед. Как обрадовался бы механик! Не будут теперь стоять возле берега лебедки Мерзлякова, скрипеть старое дерево, визжать ржавые тросы; современный, индустриальный, пейзаж придет на берега рек — могучие фермовые конструкции, ослепительный свет прожекторов, вознесенный высоко в небо серый металл.

— Краны, краны...

Прончатов вдруг как бы заново увидел, перечувствовал все эти дни, что прошли после смерти Михаила Николаевича; его, прончатовские, тревоги за Тагарскую сплавленную контору, попытки удержать дело в своих руках, короткие ночи и длинные рабочие дни. Три месяца прошло как во сне, жизнь была беспоконной, точно у кочевника, который не знает, куда ведет его незаметная тропа. Три месяца были длинными, словно прошло три года, и ему отчего-то вспомнилось то утро, когда он провожал отца, уезжающего на рычащем катере, а он, Прончатов, поклялся никому не отдавать Тагарскую контору... Он вспомнил; над Сиротскими песками колобродило солнце, Обь поше-

веливалась в ложе, как хорошо проспавшийся человек, обская старица курилась в глинистых берегах. И он наклонился, посмеиваясь, зачерпнул горсть речной воды, не пролив ни капли, выпил, и ему показалось, что сизая дымка над старицей рассеялась, солнце скакнуло на верх горизонта и тальники стали прозрачными. Вот ведь как все было, а теперь хотело уйти, исчезнуть навсегда, так как его желания превращались в фарс, делались смешными... Прончатов потёр пальцами побледневшее лицо, криво усмехнувшись, вызывающе громко сказал:

— Я хочу кое-что объяснить, товарищи! Дело в том, что вы не знаете самого главного...— Олег Олегович досадливо посмотрел на секретаря райкома Леонида Гудкина, который испуганно таращил глаза. «Не мешай, Леонид!» — взглядом сказал ему Прончатов и спокойно продолжил: — Лебедки потому и могли быть тихходными, что в запанях никогда не было лишнего леса...

Сиротские пески и солнце над ними стояли перед глазами Олега Олеговича, и в кабинете все для него было неважным: ипой счет ценностями вел сейчас Прончатов, в ином мире жил.

— Перед смертью Михаил Николаевич оставил мне восемнадцать тысяч кубометров неучтенного леса,— сказал Прончатов и резко повернулся к секретарю обкома.— Товарищ Цукасов, я буду защищать покойного! Неучтенный лес образовался в годы войны, государственной комиссией был списан как непригодный к сплаву, но Иванов нашел способ взять его, когда река Ягодная начала менять русло... Михаил Николаевич отдал мне лес для того, чтобы я отстоял контору от варяга Цветкова...

Прончатов вобрал голову в плечи, набычившись, жестко проговорил:

— Мне бы не следовало рассказывать об этом, но и молчать нельзя!

Олегу Олеговичу было безразлично, как смотрит на него заведующий промышленным отделом, что делает пораженный Вишняков и что думает о нем секретарь обкома. Прончатов чувствовал такую легкость, какой давно не чувствовал,— так давили ему на плечи эти восемнадцать тысяч кубометров леса.

— Вот это дела! — протяжно проговорил Цыцарь и озабоченно почесал висок.— Выходит, сейчас контора дает сверх плана неучтенный лес?

— Выходит! — легко и просто ответил Прончатов.— Таким образом, лес включается в сводку, Михаил Николаевич сам поступил бы так, если бы... Он не успел!

Теперь Олег Олегович увидел железную оградку, гранитный обелиск, печатные слова на нем; повеяло запахом вянувших цветов, холодок крашеного металла прикоснулся к щеке, потом раздался хриплый голос умирающего директора: «Нико-

му не отдавай контору, Олечка!» Душная тишина стояла в кабинете; две створки окна были открыты, но в комнату не проникал прохладный воздух, так как теплый ясный вечер собирался опуститься на поселок.

— Будем закругляться! — задумчиво сказал Цукасов, — Нам надо ехать. Мы ведь направляемся в Среднереченскую контору.

Он поднялся, разминая уставшие ноги, прошелся по кабинету, остановился у того самого окна, где обычно любил стоять Прончатов. Секретарь обкома Цукасов несколько длинных секунд смотрел на улицу, затем полуприсел на подоконник.

— Вы правильно сделали, Олег Олегович, что сообщили о неучтенном лесе, — прислушиваясь к самому себе, сказал Цукасов. — Действительно, получалась неувязка. Скорость лебедок увеличена примерно на двадцать процентов, а поступление леса в запань оставалось прежнее... — Он еще немного подумал. — Поэтому и оставались неясности... Теперь картина прояснилась.

В последний раз сделав думающую, сдержанную паузу, Цукасов внезапно переменял позу. — он взял да и сел на подоконник.

— Олег Олегович, — оживленно спросил секретарь обкома, — объясните, пожалуйста, как можно обвинением в зазнайстве убить здоровую инициативу? Помните, вы говорили давеча?

— Очень просто! — в тон ему ответил Прончатов. — Представьте, что к нам приходит молодой инженер и говорит: «У меня есть предложение ускорить скорость лебедочных тросов!» Вы внимательно смотрите на него... — Прончатов, сощурившись и задрав бровь на лоб, показал, как надо глядеть на молодого инициативного инженера, — вы смотрите на него и говорите: «А здорово ты зазнался, Сидоров! Вот вы уже и умнее всех себя считаете! Выходит, все мы кругом дураки, а вы один умный! И обком дурак, и трест дурак, и я, выходит, дурак, если не подумал о том, что можно увеличить скорость тросов... А, Сидоров!..»

Расхохотавшись, Цукасов обнял колени руками, затылком оперся на раму и от этого сделался несерьезным, простоватым, похожим на того Цукасова, которого Прончатов знал тогда, когда будущий секретарь обкома был главным инженером лесославного треста.

— Забавно! — сказал секретарь обкома, просмеявшись. — И ведь действительно ничего нельзя опровергнуть. Ну, как доказать, что ты не зазнался?

Прончатову было совсем легко — и шуточный тон Цукасова, и сброшенные с плеч тяжелые восемнадцать тысяч, и внезапно сделавшееся умиротворенным лицо Гудкина.

— Ну хорошо! — после паузы сказал Цукасов. — Нам все-таки надо ехать в Среднереченскую контору.

Секретарь обкома спустился с подоконника, обойдя прончатовский стол, подошел к Олегу Олеговичу.

— До свидания, товарищ Прончатов!

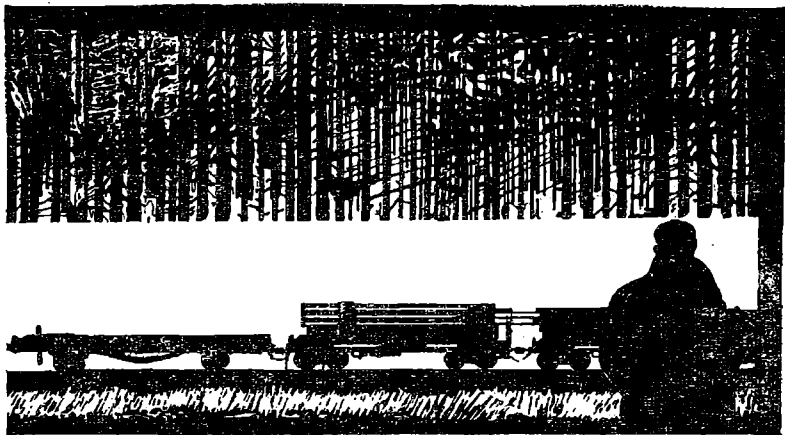
Крепко пожав руку Олегу Олеговичу, Цукасов неторопливо пошел к дверям. Он, казалось, забыл о том, что вместе с ним приехал в Тагарскую сплавную контору заведующий промышленным отделом Цыцарь, но в ту секунду, когда открывал толстые дерматиновые двери, вдруг вспомнил об этом. Он, не оборачиваясь, позвал:

— Так идемте, идемте, Семен Кузьмич!

И ЭТО ВСЕ О НЕМ...

РОМАН





Комсомольцам семидесятих годов посвящается

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Пароход длинно загудел, за окнами каюты застучали каблуки, радостно — приехала домой! — ойкнула женщина, и Прохоров понял, что подходят к Сосновке. Он еще удобнее прежнего откинулся на мягком сиденье и осторожно зевнул. «Не буду толкаться!» — решительно подумал Прохоров и стал глядеть в окно на подплывающую к пароходу деревню.

Он увидел то, что ожидал увидеть, — несколько десятков стандартных домов из брусчатки, выпирающий из деревянного ансамбля здоровенный, но тоже бревенчатый клуб, гаражи, механические мастерские, десятка три старых домов специфической сибирской архитектуры — с пристройками амбарного типа; магазин на высоком фундаменте, больницу, аптеку; за околицей высились мачты метеорологической станции. И все это стояло на высоком берегу, сверху было накрыто плоским, серым небом, казалось дымчатым, размазанным. В воздухе пахло дождем, и было трудно дышать. «Большая деревня!» — скучно подумал

Прохоров, хотя Сосновка официально именовалась поселком. Он не любил слово «поселок».

Когда все пассажиры сошли на берег и на судне сделалось по-будничному тихо, Прохоров, подхватив чемодан, спустился из первого класса в четвертый, прошел по нижней палубе, где отчаянно пахло селедкой, к широкому трапу и, прежде чем шагнуть на берег, посмотрел внимательно на встречающих, которые оказались такими же обыкновенными, будничными, как серое небо. На пароход взгляли несколько ленивых мужчин, куча рассудительных по-деревенски мальчишек и две-три женщины с грудными детьми, неподвижные, как изваяния, и было, как всегда, непонятно, зачем они пришли, что их интересует, почему женщины стоят в тупой осоловелости.

Прохорова никто не встречал. Это было естественным для человека его профессии, но неожиданным для такого поселка, то бишь деревни, как Сосновка, где одиноких пассажиров-мужчин городского вида непременно встречали то руководители лесопункта, то поселкового Совета, то школы, больницы или клуба. Прохоров же стоял на берегу один, держал в руках чемодан, никуда не торопился, а выражение лица у него было такое, словно не существовало ни парохода, ни людей, ни новой для него деревни.

Первым обратил внимание на необычность Прохорова пожилой мужчина в брезентовой куртке и капитанской фуражке; судя по одежде, он был начальником сосновской пристани, имел возле губ две руководящие складки, строгие глаза и такую походку, какую дает человеку своя пристань, своя деревня, свой берег. Подойдя к Прохорову, строгий начальник спросил:

— Вы, гражданин, откуда будете?

Прохоров улыбнулся:

— Из области я буду, папаша.

После этого Прохоров подумал, что обманывает самого себя, когда считает свое стояние на берегу бесцельным,— в этом неподвижном стоянии была необходимость, неизбежность и, если так можно выразиться, фатальность. Бог знает почему, Прохорову надо было впитать в теперешнее собственное существование терпеливую созерцательность женщин с младенцами, проникнуться бескрайностью окружающего, насытиться замедленностью, тишиной, серостью низкого неба и добродушной ленью глазующих на него мужчин.

— А чего вы, гражданин, к слову сказать, никуда не идете? — спросил строгий пристанской мужчина. — Чего вы, например, стоите на месте?

Прохоров радостно прислушивался... Слова во фразе пристанского начальства сливались, цеплялись одно за другое, целое предложение казалось одним длинным словом, и все это было так стародавнее, так по-родному знакомо, что слышался

покой длинных зимних вечеров, полумрак теплой избы, сонные тени или другое — плеск речной волны, распластанные в небе крылья коршуна, приглушенность таежных мхов, пронзенных алыми звездами брусники... Серое небо, остекленевшая серая река, молчание женщин, похожих на мадонн...

— Вы, гражданин, отвечайте! У меня не бо-знат сколь времени, чтоб с каждым разговаривать...

Пристанской начальник ошибался: у него в запасе была вечность. Чудак! Уселся бы вместе с Прохоровым на бревнышко, закрутил бы вершковую самокрутку, назвав собеседника по имени-отчеству, завел бы разговор о жене, о детях, о соседях, о пароходном пиве, о телеграфном столбе, который протяжно поет зимними вечерами. Куда торопиться, когда мимо них бесстрастно струилась река, над зубцами тайги, как желток сквозь пронзенное лучом яйцо, пробивалось через серые тучи солнце, и от этого кожа на лицах женщин отливала пергаментной вечностью?

— Вы разговаривайте, гражданин, вы беседуйте!

— Вот это дело я люблю! — неторопливо сказал Прохоров и ласково посмотрел на мужчину. — У меня, Иван Федорович, работа такая, чтобы разговаривать... Вот вы удивляетесь, что я вас назвал по имени-отчеству, а откуда я вас знаю? Да из разговоров... — Прохоров весело подмигнул. — Я ежели всего знать не буду, то мне и кусать будет нечего!..

Когда пристанское начальство от неожиданности и удивления полезло пальцами под фуражку чесать затылок, Прохоров коротко рассмеялся и пошел, не оглядываясь, от пристани. Он размеренно покачивал чемоданом, поддегивал сползающие брюки, очень довольный собой, старался определить, где в Сосновке помещается служебное помещение участкового инспектора милиции Пилипенко, которому было строго-настрого приказано не встречать Прохорова на пристани, чтобы не вызывать в деревне шума.

Судя по протоколу, написанному рукой Пилипенко, инспектор должен был размещаться в новом брусчатом доме, на помещении должна была непременно висеть яркая вывеска, на окнах обязаны были стоять горшки с геранью, чего, конечно, не полагалось делать в официальном помещении, но инспектор Пилипенко сочетал в дочерке ефрейторский шик с южной сентиментальностью, любовь к помпезности пережегал с девичьей пристрастностью к оборочкам и кружёвцам. Пилипенко писал с двойным «р» слово «урегулировать», обычные предложения часто заканчивал восклицательным знаком, но слово «рассказал» писал через «з» и «с», а на двух страницах не поставил ни единой точки.

Сосновка в этот полуденный час казалась вымершей. На встречу Прохорову шел только кривобокий старик, пробежали —

одна за одной—две собаки неизвестной породы, неподвижно сидела на скамейке задумчивая старуха. Работающая деревня была пуста, как стадион после матча, и Прохоров почувствовал острую радость, словно после путешествия по желтой безводной и палящей пустыне вернулся наконец в маленький домик с прохладным и влажным липовым садом. Захотелось сесть рядом с задумчивой старухой, закрыть глаза, прислухиваться к тому, как шелестит в ушах вязкая тишина; пришли бы в голову простые ясные мысли, например, о том, как растет капуста или как поворачивается лицом к солнцу подсолнух, или думалось бы о том, как в подполе прорастает белыми ростками картошка и стынет на льду запотевшая кринка с молоком... «Я буду купаться каждое утро, вот что,— подумал Прохоров и сам себе улыбнулся.— Буду вставать на заре, встречать солнце и купаться... Куплю большое полотенце...»

— Это что такое? — вслух спросил он, когда по тихой деревне пронеслось пронзительное лошадиное ржание.— Это откуда же?

Повертев головой, Прохоров понял, что лошадиное ржание доносится из старой, замшелой конюшни, нелепо примостившейся возле аптеки с высоким застекленным крыльцом. От конюшни струился запах навоза и лошадиного пота, возле дверей бродили белые куры, стоял древний козел с выщипанной бородой.

— Здравствуйте-бывали, бабуся! — вежливо сказал Прохоров задумчивой старухе.— Это кто же так иржет, так старается?

Задумчивая старуха подняла голову, без удивления посмотрев на Прохорова, неторопливо ответила:

— Бывайте здоровехоньки! А кто иржет? Так это жеребец... Прозывается Рогдаем, годок ему будет седьмой, масти он будет вороной...

Прохоров поставил на землю чемодан.

— А вот еще такой вопрос,— тоже задумчиво спросил он.— Как там, в орсовском магазине? Махровые полотенца есть?

— Их давно не быва́т! — поразмыслив, ответила старуха.— Посудны—это ты еще сыщешь, те, которы в фафельку, тоже купишь, а махровы—нет! Их, поди, годов уж десять как не стало...

— Ну, спасибо, бабуся!

И Прохоров пошел дальше, продолжая раздумывать над тем, где же мог все-таки обосноваться участковый инспектор Пилипенко. Нужно было явно сбросить со счетов те дома, из труб которых валил сизый дымок, пренебречь строениями старинной лиственничной вязки, считать ненужными дома с палисадниками, так как окна пилипенковского кабинета непременно

должны были глядеть на улицу... Если человек пишет в протоколе «согласно наблюдению за передвижением», если сообщает, что, «находясь в стадии среднего опьянения, гр-нин Варенцов шествовал вдоль улицы», то все совершенно понятно...

Теперь он искал в Сосновке дом под железной красной крышей, ибо вспомнил, что в одном из протоколов Пилипенко, описывая происшествие, черт знает с каких пирожков упомянул о красной крыше дома свидетеля Никиты Суворова. Именно от этой детали протянулась ниточка к герани, к сияющим офицерским сапогам, к влажным глазам южанина, к той солдатской старательности, которой должен обладать человек, обращающий внимание на цвет...

Дом с красной крышей стоял на небольшой возвышенности, возле него на самом деле не было палисадника, окна действительно глядели прямо на улицу, на окне — вот вам, пожалуйста! — стоял цветок — не герань, кажется, — в большом горшке; цвет железа был скорее всего не красным, а коричневым, да и вывеска была не такой яркой, как ожидалось.

— «Согласно наблюдению за передвижением», — насмешливо повторил Прохоров. — И восклицательный знак, понимаете ли, в конце...

У крыльца Прохоров остановился, повернувшись спиной к дому, оценивающим взглядом посмотрел на деревню...

Ему понравилось то, что он увидел. С небольшой возвышенности деревня казалась чистой, уютной; широкая. Обь так славно обнимала ее крутым изгибом, что Сосновка казалась вечно существующей на дымчатой серой излуине, а крохотность занятого человеком пространства была естественной перед рекой километровой ширины, низким, серым небом; тайгой. Не было ничего лишнего, тревожащего; улавливалась гармония в сочетании серого с зеленым, тишины с небом, реки с кедрачами, крутого обского яра с пропадающим в дымке левобережьем... «Плохо, что я ленив!» — подумал Прохоров. Ему действительно было лень поворачиваться лицом к служебному помещению инспектора Пилипенко, не хотелось вообще двигаться, но когда за спиной раздались удары железных подковок сапог о твердое дерево, Прохоров неожиданно лихо подмигнул речной пространственности.

— Здравствуйте, товарищ Пилипенко! — не оборачиваясь, чтобы отдалить признание в собственной ошибке, сказал Прохоров, и уж тогда резко повернулся к человеку, портрет которого давно создал в воображении: томная соболиная бровь, грушевидный нос, влажные глаза, солдатская складка меж бровей, зеркальные сапоги, скошенная набок фуражка...

— Я Прохоров! — сухо сообщил он и мгновенно сосчитал процент ошибки: «Восемьдесят пять на пятнадцать!»

Фуражка живого Пилипенко сидела на голове ровно, сапоги были тускловатыми, нос был, наоборот, тонким, с горбинкой... Все же остальное: «Ах, Прохоров, ах, умница!»

— Здравия желаю, товарищ...

— ...капитан,— сказал Прохоров. — Капитан!

2

Стараясь на первых порах не вникать в особенности пилипенковского кабинета, хватывая только крупные подробности, Прохоров своей обычной — ленивой — походкой вошел в комнату, сморщившись от того, что скрипели половицы, сел на табуретку, на которой, видимо, минуту назад сидел Пилипенко — сиденье было еще теплым, — и с интересом посмотрел на туго обтянутый зад участкового инспектора: «Хорошо кормлен!»

— А вы присаживайтесь, присаживайтесь, товарищ младший лейтенант!

Участковый инспектор Пилипенко был открыто недоволен прямым, бесцеремонным взглядом Прохорова, так как, видимо, давно миновали те времена, когда участкового инспектора смели разглядывать бесцеремонно и пронзительно; он, участковый инспектор, видимо, уже сам привык смотреть прямо и бесцеремонно, и Прохоров не спешил отвести глаза — если человек пишет в протоколе «согласно наблюдению за передвижением», если человек сидит у окна на табуретке, с которой просматривается вся длинная деревня...

— Молодца, Пилипенко! — сказал Прохоров. — После того как вы сели, могу сообщить, что трудно разговаривать с человеком, если он стоит, а рост у него сто восемьдесят два сантиметра... Надеюсь, вы заметили, Пилипенко, что я на голову ниже вас? — Прохоров иронически засмеялся. — Когда-то я себя утешал тем, что все великие люди низкорослы, но теперь мной командует двухметровый верзила, и, знаете, Пилипенко, я уже не думаю о собственной потенциальной гениальности...

Прохоров вздохнул, подумал: «Эко меня понесло!» — а неугаданный нос Пилипенко — тонкий, с горбинкой — презрительно подрагивал ноздрями, младший лейтенант, наверно, полагал, что Прохоров дорогой «хватил лишку». Все это так, но все-таки...

...Восемьдесят пять на пятнадцать — вот каков был процент ошибки Прохорова в портрете Пилипенко, так как капитан ошибся в предсказании не характера, а внешности участкового инспектора.

— Хорошо быть молодым и длинноногим! — восхищенно сказал Прохоров. — Можно, конечно, посчитать, что капитан из областного управления на пароходе надрался, и дисциплинированно молчать, думая: «Проспится — человеком станет!» Позвольте заметить: я трезв, как папа римский. Что же касается

спанья, то вот здесь,— Прохоров показал пальцем на пустое место возле второго окна,— вот здесь вы поставите рас-кла-ду-ушку... На крыльце... на крыльце вы повесите медный рукомойник... — Он оживился. — Вы сможете найти, Пилипенко, настоящий медный рукомойник? Круглый такой, знаете ли, с затейливой крышечкой... Его надо надраить до солнечного сияния и наполнить колодезной водой.

Прохоров мечтательно смежил ресницы.

— Под рукомойник надо поставить ушат, от которого будет пахнуть сырым деревом и лягушками... Вы достанете медный рукомойник, товарищ Пилипенко?

— Постараюсь, товарищ капитан.

«Постараюсь!» — мысленно передразнил его Прохоров. Знал бы ты, Пилипенко, что самое опасное в тебе — вот эта самая старательность!.. Ты так старался описать место трагического происшествия, так подробно живописал положение трупа, так самозабвенно, высунув язык, вырисовывал злополучный белый, похожий на череп камень, что ослеп от собственной старательности. Ах ты, двухметровая, гладко причесанная исполнительность! Как же тебе не пришло в голову, что есть разница между человеком, которого столкнули с подножки вагона, и человеком, который сам спрыгнул с подножки вагона?..

— Скажите, товарищ Пилипенко, как называется этот цветок? — сердито спросил Прохоров.

— Невеста.

«Ну, конечно,— возликовал Прохоров,— цветок в кабинете Пилипенко должен называться невестой! Герань — это слишком просто, незатейливо; в герани нет того оттенка пилипенковской души, как сентиментальность. Этот старательный человек непременно говорит женщине: «Горлинка ты моя незабвенная!» — неотрывно глядит ей в глаза и ласково перебирает пальцами какую-нибудь оборку на ее кофточке. И женщины любят таких, как Пилипенко».

— Я вам приказываю, младший лейтенант, не обращать внимания на болтливость старшего по званию! — строго сказал Прохоров. — Слушайте, почему вы скрипите табуреткой?

— Раскачалась.

— Сама не раскачается, если вы перестанете тарашить на меня глаза! — обозлился Прохоров. — Я же не тарашусь на человека, который не знает разницы меж тем, кого столкнули с подножки вагона и кто сам спрыгнул с подножки! Извольте не тарашиться!

— Слушаюсь, товарищ капитан!

— Я хочу, Пилипенко, чтобы вы спокойно и доверительно, словно пишете школьному товарищу, рассказали о смерти Евгения Столетова,— задумчиво сказал капитан Прохоров. — Забудьте о том, что вы милиционер,— это раз! Не учитывайте того

обстоятельства, что я уже хорошо знаю дело, — это два! И, ради бога, не старайтесь... Только не старайтесь!

Прохоров с таким же успехом мог попросить чеснок не пахнуть, как младшего лейтенанта Пилипенко не стараться: едва инспектор открыл рот, как все надежды капитана рухнули карточным домиком. Пилипенко был милиционером и только милиционером; он и зачат был как милиционер и сосал из груди матери милицейское молоко. «Лишних два рабочих дня — вот чем это пахнет!» — грустно подумал Прохоров.

— Рассказывайте, Пилипенко!

— Двадцать второго числа мая месяца, — прокашлявшись, сказал Пилипенко, — в ноль часов двадцать три минуты машинист паровоза Фазин сообщил в диспетчерскую, что на шестом километре от станции Сосновка — Нижний склад, в четырехстах метрах от дороги на хутор, им был замечен лежащий на земле неизвестный...

Ей-богу, Прохоров еще не встречал человека, который так полно соответствовал бы собственному протоколу — буква совпадала с буквой, интонация с интонацией, всегдашняя приблизительность и полуправда бумаги жили в голосе Пилипенко той же полуправдой и приблизительностью... Прохоров отвернулся от инспектора Пилипенко, разглядывая свои блестящие туфли из настоящей кожи, пропустил огромный кусок инспекторской старательности. Думал он в это время о том, что сапоги Пилипенко с утра были тоже очень хорошо вычищены, но вот к полудню заплыли.

— В час тринадцать минут я прибыл на место происшествия, — рассказывал Пилипенко. — В неизвестном, лежащем в трех с половиной метрах от пня, был опознан тракторист Сосновского лесопункта Столетов Евгений... Осмотр показал, что потерпевший при падении ударился затылком об острый край камня, в результате чего наступила смерть...

«Уши надо было бы оборвать человеку, который в фискальных целях лишил служебное помещение палисадника, вырубив под окнами деревья, открыл доступ в комнату всему постороннему и лишнему. Почему, спрашивается, надо серой реке слушать о том, как лежал возле белого камня Евгений Столетов, какое дело трем прибрежным осокорям до плакатной улыбки бравого Пилипенко? Как, черт возьми, было не хмуриться небу, когда несли вот такую ахиною...»

— ...расположение трупа и местонахождение места происшествия в четырехстах метрах от дороги на хутор позволили вы-ра-бо-та-ть версию, что тракторист Столетов Евгений пытался на ходу спрыгнуть с платформы...

И это говорил человек, который старательно — рулеткой! — измерил расстояние от трупа до рельсов, приложил к делу сломавшийся каблук, снял по-дурацки точный чертеж с местности и сфотографировал все, что можно, кроме следов на обочине узко-

колейки, а к приезду следователя из райотдела милиции прошел сильный дождь, почва откоса оплыла и сровнялась...

— Машинист паровоза гражданин Фазин из-за сильного потемнения, образовавшегося в результате наплыва густых туч на луну, не мог видеть спрыгивающего с платформы Столетова... Исходя из этого, наличие царапин и разорванная рубашка Столетова позволили выработать вторую версию о том, что Столетов Евгений не сам спрыгнул с платформы... Дальше...

Дальше пилипенковская казуистика не распространялась — приехал следователь райотдела милиции, пришел на размокший от дождя откос, назвав участкового инспектора ослом, передал труп судебно-медицинской экспертизе, а ровно через месяц по телефону сообщил Прохорову, что дело надо закрывать или... «Или не закрывать», — подсказал ему Прохоров и положил телефонную трубку, добавив к первому ослу второго — следователя Сорокина...

— У меня все, товарищ капитан, — сказал Пилипенко таким тоном, словно выложил перед Прохоровым сокровищницу. — При необходимости могу доложить о связях Столетова Евгения... Следователь товарищ Сорокин...

— Не надо о Сорокине! — задумчиво перебил его Прохоров. — Лучше расскажите тысяча вторую сказку Шехерезады. Я хочу, чтобы вы закончили словами: «И это все о нем!»

Капитан ядовито ухмыльнулся.

— Вы, наверное, заметили, Пилипенко, что безымянные авторы «Тысячи и одной ночи» историю каждого героя заканчивают гениальными словами: «И это все о нем!»

Честно признаться, выдержка Пилипенко начинала нравиться Прохорову. На лице Пилипенко не было и тени угодливости, и, если бы, черт побери, не эта старательность, не это ощущение своего вечного милиционерства, не этот рот с платкатым изгибом губ...

Прохоров взглянул на часы. Его пребывание в Сосновке длилось всего час, но он уже чувствовал, как затихала в нем городская и пароходная жизнь, ощущал новый, замедленный ритм существования. Прохоров посмотрел на цветок — все в нем представлялось законченным, необходимым; перевел глаза на реку за окном — она жила в одном ритме с Прохоровым; поднес к глазам собственную руку — ему понравились ровно обстриженные ногти. «Раскачаюсь как-нибудь! — с надеждой подумал он. — Чего мне не хватает? Пустыка мне не хватает...»

Прохоров по-хорошему улыбнулся Пилипенко.

— Дело нельзя начинать с фразы: «Двадцать второго числа мая месяца на полотне железной дороги...» Хорошую кашу можно сварить только тогда, когда начнешь так: «Жил-был в Сосновке двадцатилетний парень Женька Столетов. Глаза у него были голубые, нос курносый, любил он пельмени с уксусом...» И как только вы дойдете до слов: «И это все о нем!» —

я скажу, что произошло поздним вечером двадцать второго мая...

Прохоров встал. Он был невелик — пиджак сорок восьмого размера (рост третий), туфли — сорок первого; костюм на капитане сидел несколько мешковато, галстук был того неопределенного цвета, который любят холостяки и бухгалтеры, костюм был не дорогой, но и не дешевый, зато на ногах у капитана сверкали очень дорогие, пижонские туфли французского происхождения, а из туфель выглядывали узорчатые носки.

— Наш девиз: «Все о нем!» — лениво сказал Прохоров. — Обедал я на пароходе, съел прекрасную осетровую уху, отбивную — похуже и выпил три стакана холодного компота... Теперь я хочу видеть Андрея Васильевича Лузгина, пятьдесят первого года рождения, беспартийного, ранее не судимого, по национальности русского, по социальной принадлежности рабочего... Так вы достанете медный рукомоЙник, Пилипенко?

— Постарайсь!..

3

Примерно через полтора часа Прохоров завершил тот путь, который проделывал трагически погибший Евгений Столетов: капитан минут пятнадцать дожидался поезда на станции Сосновка — Нижний склад, сорок минут ехал в тряском и скрипучем, как старый диван, вагоне узкоколейки и наконец вышел на конечной остановке, которую станцией назвать было нельзя. Здесь рельсы нерешительно вползали в лес и обрывались.

Верный себе, Прохоров вышел из вагона последним, прыгнув на землю, сладко потянулся... Пахло смолой, брусничкой, влажной сыростью мхов, над вершинами сосен продолжало вырывать солнце, затянутое дымчатой пеленой туч; уступами стоял звонкий корабельный лес, через анфиладу колонн-сосен тайга просматривалась во все стороны, пространство от этого казалось бесконечным, и не было поэтому того ощущения давленности, которое возникает в буреломистой тайге.

Игрушечные рельсы узкоколейной дороги делили пополам круглую, свободную от тайги площадку — эстакаду. На ней, задрав в небо хоботы, стояли два погрузочных крана, несколько тракторов отдыхало поодаль, беспорядочно, как рассыпанные спички, лежали хлысты — деревья с обрубленными сучьями. Горели костры, с забубенной сложностью абстрактного рисунка всюду громоздились сучья, пни, обломки деревьев; торчали комли сосен со срезами, похожими на обнажившуюся кость. Во всем этом чувствовалось пиршество пилы и топора.

— Кр-кр-кх! — кричала в тишине ворона. — Кр-х-х!

Прохоров наблюдал за человеком в темной клетчатой ковбойке.

Неизвестный стоял в центре эстакады неподвижно; несуетностью, основательностью он напоминал камень, торчащий в могучем стрежне быстрой реки, о который разбиваются, меняя направление, мощные струи. Человек произносил неслышимые Прохорову слова, делал властный жест рукой или просто кивал, но этого было достаточно, чтобы поток рабочих спецовок вечерней смены менял направление, останавливался, устремлялся вперед. В линии плеч, в широко расставленных ногах человека, в напряженной шее — во всем читалась неторопливая начальственность, добродушная уверенность, целесообразное одиночество, но главное заключалось в том, что человек в клетчатой ковбойке был противоположен хаосу и разрушению, был тем фундаментом, на котором держалось живущее. Человек в клетчатой ковбойке созидал — вот какой у него был вид, и Прохоров лениво пробормотал: «Гасилов, Петр Петрович, девятнадцатого года рождения, беспартийный, не судимый, уроженец села Петряева, Томской губернии...»

О Гасилова разбивались последние людские волны — он проводил добродушной гримасой суетного мужичонку в ярко-голубой майке, назидательно отстранил от себя парня с татуированными руками, молча осадил натиск дивчины с ногами-бутылками, и внимательно разглядывающий его капитан Прохоров мысленно послал к черту следователя Сорокина — с его протоколом, тщательным почерком и дурацкой привычкой почти каждое предложение начинать с абзаца. «Объявить Сорокину служебное несоответствие, содрать погоны, посадить за бухгалтерский стол...» — сладко думал Прохоров, стараясь сообразить, как человек-утес, человек-созидатель и человек-фундамент мог сказать для протокола следующее: «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!»

Прохоров неторопливо пошел к человеку-созидателю в ту самую секунду, когда заметил, что Петр Петрович Гасилов краешком глаза обнаружил задумчивое молчание незнакомого человека. Заранее предупрежденный по телефону, он, конечно, знал, кто стоит на эстакаде, но Прохоров уже понял, что ему предстоит испытать веселые перипетии начальственной бдительности, отбивать покровительственную атаку человека-утеса на несущественную разницу в их возрасте, преодолеть социальное расстояние между человеком, создающим материальные ценности, и человеком, только охраняющим эти ценности... Поэтому Прохоров заранее нащупал в нагрудном кармане твердый переплет удостоверения, приглушенно улыбувшись, понес навстречу Гасилову тусклый блеск равнодушных глаз.

— Я Прохоров! — негромко сказал он. — Вы Гасилов.

— Здравствуйте, товарищ Прохоров!

Ошибка была так велика и непоправима, что капитан уголовного розыска приглушенно засмеялся... У человека, казавшегося каменным, среди гладкого, блестящего молодой кожей

лица жили широко расставленные, умные, мягкие, интеллигентные глаза; линии рта были решительны, контурно очерчены, но и в них чувствовалась доброта, а на крутом лбу лежало несколько страдальческих морщин, и вообще широкое, скуластое, коричневое лицо мастера Гасилова походило на морду старого и мудрого пса из породы боксеров.

Впечатление от Гасилова оказалось настолько сильнее профессиональной бесстрастности капитана Прохорова, что выработанные годами умение не поддаваться первому впечатлению отказало, как стершиеся тормоза. Три секунды прошло, не более, а Прохоров уже не думал о том, что из каменных губ мастера прольется снисходительное: «Сколько же вам лет, товарищ Прохоров?» — а потом последует и тот вопрос, после которого человек-утес не только сядет на шею капитана Прохорова, но и свесит ножки: «Ах, вы не женаты, товарищ... кажется, Прохоров? Как же так? Видимо, бросили семью? Ну, а парторганизация что? Небось, выговорочек носите?»

Нет, ничего подобного не угрожало капитану Прохорову, никто не собирался покушаться на его профессиональную честь, и дело кончилось тем, что Прохоров почувствовал, как хорошо сидеть теплым вечером на какой-нибудь старенькой скамейке с мастером Гасиловым. Петр Петрович будет дружелюбно и легко молчать, его неторопливый разговор будет занимателен, по-житейски мудр, а боксерье лицо сделается по-хорошему грустным. И весь он, Гасилов, был вообще такой, что казались невероятными обремененные кавычками и восклицательным знаком слова: «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!»

— Если вам нужен Андрей Лузгин, — мягко сказал Гасилов, — то спешите: он может уехать в поселок...

— Да, конечно... Задержите, пожалуйста, Лузгина.

После ефрейторской старательности инспектора Пилипенко, после сорокинской уверенности в том, что люди реже умирают сами, чем при содействии ближних, Прохорову было по-человечески приятно видеть доброе лицо мастера, по-собачьи мудрое. Еще приятнее было, что и мастер Гасилов оценил Прохорова, — ему, несомненно, понравился мешковатый костюм капитана, было оценено пижонство в обуви, понят нелепый бухгалтерский галстук в горошек и со старемодной булавкой. В голове Гасилова шла напряженная работа, да и Прохорову было о чем подумать. «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!» Что из этого принадлежит Сорокину, что Петру Петровичу Гасилову?

— Позовите Андрея Лузгина!

И пока лучший друг погибшего тракториста Андрей Лузгин шел через сумятицу эстакады, пока робко приглядывался к незнакомому человеку, Прохоров размышлял о том, что, кажется, столкнулся с выдающимся случаем в своей милицейской прак-

тике. Ни его специально культивируемый в утилитарных целях цинизм, ни профессиональная пронизательность, ни общеизвестная интуиция пока не могли обнаружить противоречий в облике и поведении мастера Гасилова. Ни признака наигрыша, ни зубринки расчета, ни тени двойственности. Цельность, глубина, непосредственность.

— А вот и Андрей Лузгин! — сказал Гасилов. — Знакомьтесь. Капитан милиции Александр Матвеевич Прохоров, тракторист Андрей Лузгин... Меня прошу извинить: дела!

— Здравствуйте, Андрей!

4

Убежденный в том, что лучшие друзья рекрутируются по принципу «лед и пламень», капитан разглядывал Андрея Лузгина с таким напряжением, с каким человек читает зеркальное изображение печатного текста. Знакомый с Евгением Столетовым по фотографиям, капитан не давал себе ни секунды передышки, так как знал по опыту, что первое впечатление — самое сильное.

Евгений Столетов на групповой школьной фотографии был высок и худ, на девичьей шее незащищенно торчал острый кадык, в удлинённом лице молодая наглость соседствовала с обидчивыми кукольными губами, подбородок торчал, как кукиш, а глаза у парня были такие несговорчивые, словно его насильно втиснули в обалделый ряд товарищей, обрадованных возможностью зафиксировать навечно жадное ожидание будущего. Евгений Столетов выпирал из фотографии, торчал особняком, как одинокое дерево в поле; в руке, положенной на дружеское плечо Андрея Лузгина, чудилось желание оттолкнуться, закричать, уйти.

Андрей Лузгин в жизни, а не на фотографии, походил на спелое, пронизанное солнцем розовококое яблоко. Круглое лицо парня было румяное, майка туго обтягивала налитые здоровьем плечи, стриженная под машинку голова казалась безупречно круглой. Он позволял Прохорову и солнцу проливать на него тепло и любопытство, так как в тот момент, когда Андрей Лузгин подошел к капитану, над тайгой и кошмаром эстакады наконец-то высунуло лучи дневное светило.

Прохоров и оглянуться не успел, как, подпрыгнув на собственных тенях, вытянулись в просветлившееся небо сосны, а в хаосе эстакады неожиданно обнаружился покой целесообразности. Во-первых, из страшноватой сумятицы веток, комлей и тупых обрубков эстакада преобразовалась в банальнейший реализм таежного бурелома, во-вторых, на хоботках кранов солнце зажгло отблески красных огоньков, в-третьих, среди выросших сосен пространство эстакады оказалось свободным и легким, как вздох. Иная жизнь началась на солнечной

эстакаде, сделавшейся веселой, как яблочные щеки Андрея Лузгина.

— Вот что, Андрей Лузгин,— деловито сказал Прохоров,— зовите меня Александром Матвеевичем...

Бесцеремонно повернув Андрея за плечи в сторону тайги, Прохоров обнаружил, что пышные плечи парня обросли продолговатыми, твердыми мускулами, кожа была грубой, как наждак, и вообще паренек-то, оказывается, был крепкий, сбитый, упругий, как шина тяжелого трактора. «Ишь ты, какой бодрячок!» — подумал Прохоров, но руку на плече Андрея оставил.

— Мы получили ваше письмо, Андрей,— сказал Прохоров, и его рука, лежащая на тугом плече парня, спросила: «Вы лучший друг Женки Столетова, вы сидели на одной парте с ним, вы дружили с пятилетнего возраста... Как же случилось так, что вы, Андрей, греете на солнце веснушчатое лицо, а Женька Столетов лежит на деревенском кладбище?»

Игрушечный паровозик закричал обиженно и тонко, лягнули буфера; земля под Прохоровым и Лузгиным поплыла мимо стонущих вагончиков — это двинулся в обратный путь, увозя в поселок первую смену, специальный рабочий поезд; положенные на болотистую землю рельсы изгибались и поскрипывали, паровоз старательно работал поршнями, и через несколько секунд Прохоров почувствовал головокружение от того, что поезд внезапно прекратил движение, а земля, наоборот, оказалась движущейся и солнечность освобожденной от поезда эстакады хлынула в глаза.

На эстакаде все уже двигалось, все работало: сгибались и разгибались краны, наползали медленно трактора, из лесу доносился предупреждающий крик вальщиков «О-о-о-о!», затем раздавался длинный влажный удар падающего дерева.

— Вот и «Степанида»! — сказал Андрей Лузгин, показывая на трактор, медленно разворачивающийся на эстакаде. — Видите белые буквы?

Прохоров прищурился... И в областном управлении милиции, и дома перед отъездом, и на пароходе, и в кабинете инспектора Пилипенко он представлял, как подойдет к столетовскому трактору, пощупает теплый металл, помедлив в предчувствии счастливого озарения, заберется в кабину. Прохорову отчего-то надо было непременно сесть на рабочее место Евгения Столетова, посмотреть сквозь ветровое стекло, оказаться наедине с самим собой в ограниченном металлическом пространстве. Ему казалось, что это будет то мгновение, с которого он начнет отсчет своего рабочего времени.

«Степанида» сзади казалась нелепой, как все трелевочные трактора, которым рабочее предназначение отрубило хвостовую часть. Впечатление было такое, словно легкомысленные люди

взяли нормальный человеческий трактор и, пребывая в юмористическом настроении, шутки и развлечения ради подкоротили его... Кургузый, заносчивый, как щеголь в тесном фраке, трактор «Степанида» катился бодрым колобком по пням и ямам, по кочкам и бревнам, по лужам и мелколесью в прозрачный сквозной сосняк, и шагающий за ним Прохоров пробормотал: «А ведь на самом деле Степанида!»

— Пусть все уйдут от машины! — сквозь зубы приказал он.

Прохоров оказался наедине с теплой, живой машиной, и это было именно так, как он представлял себе в областном управлении милиции, дома, на пароходе и в кабинете Пилипенко. Ему был нужен такой трактор, который в любое мгновение мог двинуться, хотелось, чтобы от мотора веяло ласковым и тревожным теплом, чтобы не было никого, кроме трактора, тайги и его, Прохорова. Закрыв глаза, он увидел Евгения Столетова на групповой школьной фотографии, зафиксировав упрямый, отталкивающий взгляд парня, деловито открыл глаза: «Не топись, Прохоров!»

Он обошел машину, расставив ноги, в подвижности начал глядеть на капот трактора, где над радиатором было написано белой масляной краской «Степанида». Прохоров опять почувствовал властную неумность молодого заносчивого почерка. Писавший был так нетерпелив, что его выдержки хватило только на две первые буквы: в семи последующих Столетов уже спотыкался о необозримую вечность времени, две последние буквы, схватившись за руки, плясали, а нетерпеливый маляр даже на этом не мог остановиться — слово «Степанида» было подчеркнуто исчезающей к концу косой линией.

— Степанида! — прислушиваясь, произнес Прохоров. — Степанида!

Он мог поклясться, что никакого другого имени, кроме Степаниды, трактор не мог и не хотел иметь; трактор встал бы на дыбы, если бы его назвали, скажем, Марией. Все в нем — от лобастого ветрового стекла до отполированных мхами гусениц — было от солидной, вальяжной и довольно хитроумной Степаниды — бабы толстой и смешливой. Да, эта машина могла быть только Степанидой: она выносила свое имя, как мать ребенка, существовала в мире именно как Степанида.

— Степанида! Степанида!

Примерив на себя движения, которые надо было сделать, чтобы забраться в кабину трактора, Прохоров поставил правую ногу на гусеницу, руку положил на скобу, левой ногой оттолкнулся от земли, хотя несколько не сомневался в том, что юноша со школьной фотографии поступал наоборот: ставил на гусеницу левую ногу и за скобу брался левой рукой... «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!» Вот в чем была загвоздка, вот что надо было решить в первую очередь: сказал ли эти слова человек с лицом собаки.

боксера, или их случайно извлек из бухгалтерской души следователь Сорокин?

Прохоров сумрачно затаился в подрагивающей кабине, вызвав образ со школьной фотографии, опять закрыл глаза, затем снова деловито открыл их, чтобы понять, отчего же это над ветровым стеклом, на самом стекле и даже на свободном пространстве приборного щитка «Степаниды» висят вырезанные из журналов цветные фотографии и рисунки, изображающие негров, негров и негров, среди которых не было ни одной женщины, ни единого ребенка, а только старики. Сморщенные, как пустой кошелек, лица, глаза с библейской тоской, беспомощные, кукольные губы. Что это могло значить? Почему двадцатилетний парень коллекционировал стариков негров? И по какой такой причине он наполнил кабину машины карманными электрическими фонариками? Раз — фонарик, два — фонарик, и над капотом — фонарик, и за спиной — фонарик...

Прохоров осторожно положил руки на рычаги машины. «Степанида» добродушно пофыркивала; солнце, пробив облака, опускалось уже за кроны сосен, вершины деревьев трепетали. Левую ногу поставить на сцепление, правой рукой хрустнуть шестернями передачи, нажать второй ногой на акселератор — мерное движение, болтающийся перед ветровым стеклом мир; неподвижные старческие глаза негров, одиночество металлической кабины.

Негры тревожили Прохорова, как шепот за тонкой стенкой. Он поерзал на жестком сиденье, сняв руки с рычагов, подул на пальцы, словно они озябли... «... из вещей погибшего Столетова в тракторе обнаружено: карманных фонариков — пять, старая полукожаная куртка, книга «Как самому сделать моторную лодку», противосолнечные очки, соска-пустышка, перочинный нож...» Ну, а негры, гражданин Сорокин? Почему не вошли в опись негры? Негры ведь, гражданин Сорокин, глядели трактористу Столетову прямо в лицо.

Криво улыбаясь, Прохоров выбрался из кабины «Степаниды», оказавшись на земле, подошвами почувствовал, какая она прочная, верная, устойчивая.

— Погуляем, Андрей! — сказал Прохоров. — Выберем тихую поляну, сядем на пеньки....

Сосняк послушно сомкнулся за Прохоровым и Лузгиным, в углубляющейся тишине слышался телеграфный перестук дятлов, поляну покрывал нежный мох, и опять все было так, как Прохоров представлял в областном управлении милиции, дома, на пароходе... Он найдет лучшего друга Женьки Столетова — тракториста Андрея Лузгина, поведет его в тайгу, положит парню на плечо свою руку...

— Садитесь, Андрей.

Прохоров вынул из кармана большой носовой платок, развернул его, обдумывая каждое движение, аккуратно застелил

срез короткого пенька. Все это он проделал так, словно на нем не было мешковатого костюма, нелененого галстука, не торчали во все стороны продолговатого черепа жесткие волосы. Когда он сел, сделалось заметным, какое у него усталое, ночное лицо, горькие морщины у губ и такие глаза, которые знают много о тракторах, деревьях, неграх, белых прирельсовых камнях, карманных фонариках, участковых инспекторах.

— Почему Женька Столетов коллекционировал стариков негров?

У Андрея Лузгина побледнели яблочные щеки: занудные движения капитана, полусумрак, ночное лицо, морщинки у глаз, похожие на бескровный след ножа,— все было такое, чего еще не видел двадцатилетний Лузгин, живущий в простом и ясном мире. В этом лузгинском мире люди умирали редко, смерть казалась инопланетной жительницей, сном, когда можно было проснуться.

— Отвечайте, пожалуйста, Андрей! Почему Евгений коллекционировал негров?

— Он давно вырезал изображения негров... Кажется, в третьем классе он взял в библиотеке «Хижину дяди Тома» и всю изрезал... В класс приходил директор, старуха библиотечарша, слепой завуч Викентий Алексеевич... Они тоже спрашивали: «Почему ты это сделал, Евгений Столетов?» Женька молчал...

— А карманные фонарики?

— Он боялся темноты.

Чиркнула в сосновом подросте пичужка, слева обиженно выла «Степанида», комары торжественно гудели над головой. «Забавный мальчишка!» — подумал Прохоров о Лузгине, но занят капитан был другим: мысленно поставил рядом с розовощеки парнем погибшего, несколько раз переместив их с места на место, заставил пойти по ночной деревенской улице. В руках длинновязого Женьки Столетова поблескивал фонарик, тонкий луч спотыкался на неровностях дороги, шаги тревожно отдавались в тишине. Лаяли собаки, холодно поблескивала река, мир представлялся станционным тупиком, за границами которого жили старики негры...

— О вашем письме, Андрей... — негромко сказал Прохоров. — Почему вы думаете, что Столетова убили?

У Андрея снова побледнели щеки.

— Я не писал, что его убили! — загоразвиваясь ладонями, воскликнул он. — Я писал, что не верю... То есть я не могу верить... Женька умел хорошо прыгать. Он не мог сорваться. Понимаете, мы всегда прыгали с подножек... — Он прижал руки к груди. — Узкоколейные поезда ходят медленно...

Парнишка был, видимо, умен, откровенен, от ласковой вопросительной интонации умел вывертываться наизнанку, как рубаха, но в мире Лузгина, где смерть считалась исключением из правила, не существовало еще тончайших и многочисленных

переходов между «да» и «нет». Поэтому было страшно выбирать между двумя полярностями и необъяснимой жутью веяло от вопроса: «Почему вы думаете, что Столетова убили?» А вот Евгений Столетов, должно быть, мгновенно расправлялся с опасными «да» и «нет». Вырезал из журналов и книг стариков негров, трусил в темноте, выставлял с фотографии незащищенный кукиш подбородка...

— По делу проходят три женщины,— задумчиво сказал Прохоров.— Людмила Гасилова, Анна Лукьяненко, Софья Лунина... Что вы знаете о них?

Лузгин сосредоточенно смотрел на свои темные от машинного масла руки.

— Следователь Сорокин меня уже спрашивал об этом,— медленно сказал он.— Тогда я ответил, что не знаю, а теперь... Когда вы спросили про негров, я подумал, что все расскажу... — Лицо у него вдруг сделалось несчастным.— Мне кажется, что вы хорошо относитесь к Женьке! — воскликнул Андрей.— Я не ошибаюсь, Александр Матвеевич?

Прохоров покачал головой.

— Дурошлеп! — сказал он.— Яблочко наливное!

...На школьной фотографии Людмила Гасилова с бантиками на голове стояла по левую руку от Столетова, улыбалась классному окошку и была единственной из тридцати двух десятиклассников, кто не имел никакого представления о том, что стоит перед объективом фотоаппарата. Она также не подозревала о том, что ее локоть прикасается к бедру белобрысой соседки, что стоит она, Людмила, на крашеном полу и что на дворе — двадцатый век. Нельзя также было полагать, что красивая девушка торопилась навстречу жизни,— у нее было такое безмятежное лицо, какое, наверное, должно было иметь Сегодняшнее Благополучие, Счастье и Удача, а в окно девушка глядела только потому, что окно случайно оказалось в поле ее зрения — с таким же успехом она могла глядеть на кончик носа белобрысой соседки, на обшарпанный учительский стол или на Женьку Столетова...

— Я все скажу, Александр Матвеевич! — жалобно проговорил Андрей Лузгин.— Понимаете, Пилипенко, Сорокин, ребята из райкома комсомола... А я ничего не могу сказать! Ведь вот что получается... — Он по-детски вздохнул.— Людмилу Гасилову он любил с шестого класса, говорил, что женится на ней, куда бы Людка ни уехала... Он часто от этом говорил, а я... Я старался перевести разговор на другое...

— Почему?

— Вы, может быть, тоже не поймете... Он говорил о ней так, словно они уже были женаты, хотя Женька...

Андрей остановился, прикусив губу, немного помолчал.

— У Женьки ничего не было с Людмилой... Он только ходил... Он ходил к Анне Лукьяненко...

Сидел перед капитаном Прохоровым богатырь и прятал глаза, когда на язык просилось слово, обозначающее любовь; маячили перед капитаном могучие плечи, а парень мучился тем, что его погибший друг говорил о любви так, как она, любовь, того требует.

«Деревенщина!» — ворчливо подумал Прохоров.

А «деревенщина» все еще топтался на месте, все еще ковырял землю кирзовым сапогом сорок пятого размера.

— Он пошел к Анне Лукьяненко... Он почему-то пошел к ней, хотя собирался... Он хотел жениться на Людмиле.

...Из трех фотографий вдовы Анны Лукьяненко капитан Прохоров выбрал ту, где женщина сидела на обском берегу с тусклоглазой и серой, как мышь, подружкой и старательно подтверждала предположение, что покойный тракторист Столетов любил яркие вещи. Но если Столетов делал это осознанно, то какого же черта в его горячую голову пришло решение прыгать в ночь, в свистящий воздух, в смерть с камнем-черепом? Не мог он разве погодить, если прекрасные глаза вдовы на фотографии умоляли?

— Не надо волноваться, Андрей! — насмешливо посоветовал Прохоров. — А вот лучше ответьте на такой вопрос... Когда ходил Столетов к вдове Лукьяненко? До или после коварной измены Людмилы Гасиловой?

У Лузгина смешно, как у голодного птенца, открылся розовый рот.

— Какой измены? Разве Людмила изменила? С кем?

Прохоров усмехнулся:

— Давайте-ка соблюдать статус-кво... Вопросы задаю я, вы на них отвечаете, затем, довольные друг другом, мы чинно расходимся... Когда ходил Столетов к вдове?

Пока Андрей с яростью рабочего слона, взбунтовавшегося от пустяка, переживал коварство, капитан Прохоров окончательно решил, что не бывает таких отношений между двумя людьми, где не существовало бы тайн друг от друга. Судя по той же школьной фотографии, Евгений Столетов принадлежал к тем, кто в несчастье замыкается, повалившись на кровать и сунув голову под подушку, наедине с самим собой решает вопрос: «Быть или не быть?»

— Он ходил к Анне после восьмого марта, — сказал Лузгин. — Девятого или десятого... Седьмого Анна тоже звала Женьку в гости, но он сказал: «Я не отмечаю женские праздники!» — а дня через три пошел... Мы гуляли у клуба, он вдруг говорит...

— Что?

— Он сказал: «Это словно умереть!» Потом ушел... В руках тросточка, шляпа на затылке, ноги длинные...

Прислушиваясь к тишине, Прохоров машинально отметил, что дятлы смолкли так дружно и внезапно, точно у них кончился

рабочий день; уже не слышались тяжелые, бичующие удары о землю спиленных деревьев, ветер утишивался в высоких кронах, так как в тайгу потихонечку да полегонечку вползал вечер: дышали прохладной ночью мхи и лакированные листья брусники, сосновые ветви так старательно пахли смолой, точно спешили вместе с дневным теплом истончиться до звонкой сухости, а совсем недалеко от Прохорова, оказывается, лежала мертвая молодая сова.

— Людмила Гасилова, она какáя? — спросил Прохоров. — Добрая, злая, нервная, спокойная?

— Она красивая... Она очень красивая... — Андрей замолк, чтобы удивленно поднять брови. — А вот какая она? Добрая, злая, нервная, спокойная... Она просто красивая и...

— И?

Андрей вдруг засмеялся:

— Я не знаю! Женька говорил, что Людмила всегда пасется... Ну вот! Вы ничего не понимаете!

...На школьной фотографии Людмила Гасилова не была просто красивой — там по левую руку от Женьки Стелетова стояла обыкновенная, самая заурядная красавица. Доморощенный фотограф был настолько немудрящ, что не стал выбирать лучший ракурс, а снял десятиклассников, как бог велел, и вот из просто красивой Людмилы Гасиловой родилась красавица. Эти ласковые брови, этот искусно вылепленный классический нос, эти безмятежные глаза — поклясться можно, что серые! — этот изгиб шеи, который пошляк назвал бы лебединым, этот подбородок...

— Людмила похожа на молодую корову, — осторожно, точно на ощупь проговорил Андрюшка Лузгин. — То есть внешне она не корова, она красивая, но... — Глаза у парня сделались несчастными. — Чепуха какая-то! Ну как вам объяснить?.. Тигр охотится на антилоп, орел — на зайцев, человек работает, учится, читает, Людмила — насется... Да вы сами все поймете, когда увидите ее...

Кожей лица, спиной, коротко остриженным затылком Прохоров чувствовал холод остывающей тайги. В безветренном воздухе нагнеталась стеклянная прозрачность, звуки двойлись, как в лабиринте пустых комнат, сосновые иглы увлажнялись, словно после тяжелого дня покрывались трудовым потом; ветви казались мягкими, нежными, ими хотелось, как веером, опануть лицо, горящее от безжалостных комариных укусов.

— Чем непонятнее, тем лучше... — проговорил Прохоров и туманно улыбнулся. — В принципе общение двух людей способно дать только примитивную информацию... Да или нет. Нет или да... Эмоциональная окраска опасна! Спросите-ка у Гулливера: «Где вы находились в тот час, когда остроконечники и тупоконечники вошли в заговор?» Не правда ли, Андрей, хочется тут же арестовать Гулливера?

...У девятнадцатилетнего Евгения Столетова на школьной фотографии ноздри были гордо и в то же время незащищенно раздуты. Запахло ли в классе черемухой, приплыл ли слева аромат девичьих волос, пахнуло ли от горячего пола масляной краской — какое это имело значение, если рука на дружеском плече Андрея лежала так, словно Столетов хотел оттолкнуться, уйти, исчезнуть. Разве можно было сомневаться, что вечером двадцать второго мая эта длинная и худая рука что-то перечеркнула, на чем-то поставила крест или... «Что произошло двадцать второго мая?» Прохоров мысленно передразнил Сорокина: «Обыкновенный рабочий день!» Дура!

— Вы упрямец, Андрей Лузгин! — недовольно сказал Прохоров. — Я вас просил рассказывать откровенно, а вы... Мямлите, жуете мочало, играете на растрепанных нервах усталого капитана... Вот извольте-ка преподробно рассказать о вечерних событиях двадцать второго мая! Советую начать так: «В тайге еще жили майские холодные снега...» Подходит?

Андрей вздохнул:

— Подходит!.. В тайге еще жили...

За пять часов до происшествия

... в тайге еще жили майские льдистые снега, лужи в лесосеке покрывала радужная нефтяная пленка, солодкий запах оттаивающей земли щипал губы; резиновые сапоги по шиколотку проваливались в кашу из хвои и снега, сосны хлюпали на ветру ветками, как мокрое белье на веревке. Насвистывая «Черного кота», Евгений Столетов развернул «Степаниду» в центре эстакады, помедлив секундочку, с размаху бросил машину на гору бревен, чтобы тупой лоб трактора проткнул низкое небо ослепшими фарами. Когда стало ясно, что машина перевернется на спину, если гусеницы сдвинутся еще на сантиметр, Женька выбрался из кабины, счастливо улыбнувшись, поманил пальцем такого же счастливого Андрея Лузгина.

— Притыкин! — ласково сказал Женька. — Зри! Стоит курит сигарету... Пошли?

— Пошли! — обрадовался Андрюшка. — От него с утра опята пахивало.

Бригадир Притыкин на самом деле курил сигарету «Прима», круглое, узкоглазое, налитое здоровьем и водкой лицо было таким красным, словно с него содрали наждачной бумагой кожу. Вразнотык торчали лошадиные прокуренные зубы, животной радостью бытия веяло от каждого сантиметра сутулой, кривоногой фигуры. Заметив приближающихся парней, Притыкин стиснул зубы, переступил с ноги на ногу нетерпеливо, с фырканьем, как уросливый жеребец.

— Иван Михайлович, голубчик! Родной! — еще на ходу жалобно закричал Женька Столетов. — Себя не жалеешь, нас пожалей!

— На кого ты нас спокинешь! — рыдая, подхватил Лузгин. — Пожалей ты нас, сироток! Побереги ты нас, больных!.. Ой, глядите, люди добрые, как ходит наш Иван Михайлович рядом со своей смертушкой!

Причитая, обнажив поникшие головы, парни подошли к бригадиру Притыкину, согнув ноги, хотели уж было пасть перед ним на колени, да успели поддержать друг друга: Женька Андрея — за плечи, Андрей Женьку — за талию. Молитвенным безмолвным движением они протянули дрожащие руки к отступающему Притыкину, жутким шепотом промолвили:

— Не с той стороны, Иван Михайлович, не с той...

— Рак! — слезно зарыдал Андрюшка Лузгин. — Если куришь сигарету с другой стороны — рак! Ой, что ты делаешь, Иван Михайлович? Чем тебе жизнь опостыдела, что ты нас спокидаешь? Мы ли тебя не любим, мы ли тебе не служим!

— Дифференциальное интегрирование... — в забытьи шептал Столетов. — Разгерметизируется вестибулярный аппарат, правая плоскость эклиптики сойдется с Леонардо да Винчи в области вальпургиевой ночи...

Рука Женьки Столетова медленно поднялась, подползла к губам опешившего бригадира, вынула из них сигарету «Прима» и вставила ее обратно, но другим концом.

— Будет жить! — восторженно забрал Женька Столетов. — Мы, мы вернули к трудовой жизни товарища Притыкина!

Притыкин пришел в себя только тогда, когда услышал повальный хохот на эстакаде, увидел, как заблаговременно отходят на безопасные позиции Столетов и Лузгин, но было поздно... Смеялись в сквозных от солнца кабинках крановщики, катались от хохота трактористы, зацепщики, чокеровщики, мотористы бензопил, сдержанно улыбался в окне вагонки мастер Гасилов; две смены рабочих смеялись над бригадиром Притыкиным, и только двое не смеялись — сам Притыкин и тракторист «Семерочки» Аркадий Заварзин.

Узкоколейный паровоз трижды просительного прогудел, под сапогами заторопившихся рабочих захлюпала вода, пробуяще всплакнул сиреной один из погрузочных кранов: рабочий поезд ушел в Сосновку, и парням пора было садиться в вагон, но Женька Столетов задумчиво стоял на месте — козырек серой кепки надвинут на глаза, на худой длинновязой фигуре топорщилась промасленная спецовка, согнутые руки были плотно прижаты к бокам.

— Женька, поехали! — позвал Андрей Лузгин, но Столетов не услышал. — Женька, ну, Женька!

За решетчатым окном передвижной столовой виделся мастер Петр Петрович Гасилов; переходя от окна к окну, то исчезал из поля зрения, то появлялся, весь освещенный весенним солнцем. Столетов приподнялся на носки кирзовых сапог, вытягивая шею, наблюдал за ним. Лицо у него было такое, словно оборвалось все, что связывало Женьку с лесосекой, тайгой, эстакадой, словно только двое оставались в мире — Столетов и мастер Гасилов.

— Опоздаем! Ты слышишь? Опоздаем! Женька же...

Женька Столетов неотступно глядел на смутный силуэт мастера Гасилова, а в Женькину спину с тем же выражением смотрел тракторист Аркадий Заварзин — перенес тяжесть тела с одной ноги на другую, поставил локти на теплый металл трактора.

— Вот и опоздали!

Оставив на эстакаде запах сухого пара и березовых дров, поезд быстро скрылся. Во всю ивановскую уже работали трактора и краны, стучало сырое дерево, ветер свистел в кронах; было действительно холодно, зябко, после ухода поезда на эстакаду со всех сторон хлынула пустота.

— Женька, что с тобой?

Ошеломленно, словно пробуждаясь, Столетов повел плечами, зажмурив глаза, поежился. Тяжелая овальная капелька холодного пота выползла из-под козырька серой фуражки, добравшись до брови, растеклась по ней. Столетов хрипло засмеялся, больно сдавив тонкими пальцами локти Андрея Лузгина, приблизил лицо к лицу... Рот у Женьки маленький, круглый, похожий на рот государя Петра Великого с известного портрета; рот окружали твердые короткие мускулы, верхняя губа казалась припухшей.

— Заварзин тоже остался! — прошептал Андрей. — Стоит за спиной...

— Знаю! Я его чувствую!.. Пойду один!

— Один не пойдешь!

Снова переменивший положение тела тракторист Аркадий Заварзин казался распятым на темном тракторе — раскинул руки по шиту, склонив голову, страдательно-ласково глядел на Столетова. У него было красивое, твердо очерченное лицо, кожа казалась нежной, бархатной, ресницы были длинные, загнутые, и одет он был слишком вызывающе для тракториста: хорошие джинсы, прошитая белыми нитками кожаная куртка, на темной рубашке — галстук.

— Стойте? — вежливо спросил его Женька. — А ведь трактор-то мой... Стояли бы, гражданин, у своего трактора!

Заварзин и теперь не двигался; весь он был задумчивый, ленивый, мягкий в суставах, как неподвижно лежащая возле мышиной норы кошка. У ног тракториста расплывалась радужная лужица, ответ от нее падал на бледное лицо.

Наконец Аркадий Заварзин нежно улыбнулся, поморгав, сказал:

— Я три раза тебя предупреждал, Столетов: не ставь машину торчком! А больше трех раз я не предупреждаю...

Он поднес руку ко рту, пощупал нижнюю яркую губу.

— Придется выдавить тебе глаза, Столетов... Легче отсидеть червонец, чем видеть, как ты топчешь землю!.. Ну, почему ты, Столетов, не послушался меня? Просит же человек: «Ставь трактор ровно!» Отчего не уважить? Человек человеку — друг, товарищ и брат.

Вдалеке одиноко закричал ушедший поезд, размножившись в тайге, эхо долго шаталось между деревьями, потом оборвалось так резко, точно звук прихлопнули мягкой тряпкой.

— Выдавливаю тебе глаза, Столетов, человеком стану... Я ведь не живу, а существую, когда ты по земле ползаешь... В тюрьме спокойнее... Глаза твои не видеть... Спать хорошо буду...

Аркадий Заварзин выпрямился, протянув руку, ласково положил ее на высокое плечо Евгения Столетова, и показалось, что Заварзин потянулся, начал расти.

— Пошел на Гасилова? — сочувственно спросил Заварзин. — Неужели не понимаешь, родной, что ты это на меня поднял руку?.. Ты чего, родной? Почему на меня не глядишь? Глазыньки бережешь?..

Из передвижной столовой вышел мастер Гасилов, остановившись возле края эстакады, выпрямился, огляделся с начальственной ленцией; весь он был безмятежный, по-весеннему светлый, по-домашнему уютный. На нем хорошо сидела скромная рабочая куртка, мудрое лицо непритязательно улыбалось солнцу, волосатые руки добродушно сцепились на подтянутом животе. Славный, хороший, добрый!

— Глаза ты мне выдавишь попозже, Заварзин! — тихо сказал Женька и, повернувшись, пошел к Петру Петровичу Гасилову, продолжая бормотать: — С глазами потом, потом, Заварзин... Все потом, все потом...

Он уже двигался стремительно, как бы падая вперед, казалось, что Столетова подгоняет сильный ветер; он и со спины походил на молодого царя Петра — не хватало только палки и развевающегося кафтана. Шагая, Женька в мелкие брызги раздавливал голубые лужи, щепки веером летели из-под длинных ног, изломанная тень взволнованно волочилась за ним, пересекая бревна, пни, машины, людей, желтые сосны. Подойдя к Гасилову, Женька что-то сказал ему, мастер в ответ улыбнулся, тоже что-то сказал, затем они быстро вошли в вагон.

— Люблю молодых дураков! — услышал Андрей мечтательный голос Аркадия Заварзина. — У молодого дурака спина прямая, ноги — палками. — Он вдруг кокетливо улыбнулся. — А ты умнее Столетова, дружок! У тебя спинка мягкая, бабья, с желобочком...

Андрей слушал его вполуха, неуважительно — главное было там, в вагоне передвижной столовой, где металась между окнами длинная фигура Женьки, где мастер Петр Петрович Гасилов стоял соляным столбом. С Аркадием Заварзиным проблема решалась просто: взять его за отвороты пижонской куртки, приставить спиной к сосне: «Если пикнешь, тут тебе и карачун!» Короткий удар в золотозубый рот, второй удар — в солнечное сплетение, беспокойная мысль: «Не слишком ли?»

— Поехали домой, Заварзин, — медленно сказал Андрей. — Я без тебя не уеду!.. Грузовой состав формируется, поехали!

Мелко семеня, торопясь и поскальзываясь, подходил к ним сменщик Столетова — маленький, сморщенный сорокалетний мужичонка Никита Суворов в такой короткой телогрейке, что из-под нее высывалась сатиновая рубаха. Он на ходу восторженно всплескивал руками, личико было умиленным, глаза сияли.

— Ну, ты гляди, народ, чего делается! — восторгался Никита. — Он ведь лететь хочет, трактор-то, лететь! Он ведь ровно селезень, когда от воды отрывается... Ах ты, мать честна! До чего же этот Женька чудливый!.. Ты отойди, Арканюшка, от трактора-то, отойди! Не ровен час, перевертается... Ну, этот Женька такой чудливый, что от него ложись на землю да помирай...

...Спешно темнело в лесу, в пролетах сосен мелькали огоньки тракторных фар, рокот моторов был так отчетлив, словно поляна, на которой сидели Прохоров и Лузгин, вплотную приблизилась к лесосеке. В полумраке лицо деревенского богатыря казалось расплывшимся, круглым, белые пятна кулаков покорно лежали на коленях. Закончив рассказывать, он вздохнул:

— В Сосновке я самый сильный! Вот Заварзин и поехал со мной... — Он опять остановился, наклонившись к Прохорову, изумленно спросил: — Почему вы не интересуетесь Заварзиным? Разве вас не волнует, почему он угрожал Женьке? А вы все время расспрашиваете о Гасилове.

Прохоров промолчал. Он слушал Лузгина лениво, рассеянно следил за блуждающими в лесу огнями, лицо у него было скучное, и думал Прохоров о далеком: вспомнилась родная деревня Короткино, теплая зима тридцать девятого; потом взбодрилась ручьями дружная весна, превратившись в лето, вывела из безрезьяка стайку девчат в красных и синих косынках; взявшись за руки, девчата спускались с веселой горюшки, но пели грустное: «Меж высоких хлебов затерялся...» Затем Прохоров увидел свою мать. Молодая, насмешливая, шла она с коромыслом на покатых плечах, улыбаясь, подпевала девчатам: «...горе-

горькое по свету шлялося и на нас невзначай набрело...» Потом появился отец с желтой сетью в руках, ворча, пошел навстречу матери; поплавки из балберы¹ волочились по земле, приятно постукивали... Прохоров помотал головой, с досадой понял, что ему теперь долго не отвязаться от песни «Меж высоких хлебов затерялося...»—будет путаться в нужных мыслях, застревать между словами, першить в горле.

— Все, что вы рассказывали, правда, правда и только правда! — задумчиво сказал Прохоров. — Врать вы не умеете, Лузгин, но... Черт возьми, почему правда в вашем рассказе кончилась на словах Заварзина: «Пошел на Гасилова?» Что вы утаиваете от меня?

Старинная песня продолжала работать. Прохоров посмотрел на темную землю — она пела: «...горе-горькое по свету шлялося...»—перевел взгляд на смутную во мраке сосну — та продолжала: «...и на нас невзначай набрело...» Он опять pokrutil головой, со злостью убил на шее комара.

— Меня не обведешь вокруг пальца, Андрей! После слов: «Пошел на Гасилова?»—картина искажилась... Что вы скрываете? Почему сообщаете полуправду?

Лузгин отклонился назад, скрытый темнотой — виднелась только полоска белых зубов,—затаился в молчании. Затем выдвинулся из темноты:

— Да ничего я не скрываю!.. Война Гасилову была объявлена давно... Вот Заварзин и сказал...

Лгунишка! Птенец! Кого он хотел обмануть? Капитана Прохорова, того самого, который... Прохоров опять стоял на яркой деревенской улице, с коромыслом шла навстречу мать, поплавки из балберы стукотали весело, как деревянный ксилофон... Черт возьми, он, оказывается, не знал всех слов песни «Меж высоких хлебов затерялося...». Что там шло дальше, за словами «и на нас невзначай набрело»? Прохоров закусил губу, чудом удержался от того, чтобы не спросить у Лузгина, что там шло дальше.

Поднявшись, он понял, что кончился теплый ясный вечер, что на землю опустилась холодная нарымская ночь, пронзенная длинным светом звезд. В просвете сосен висел экзотическим бананом месяц, от земли поднимался пряный туман, плавал простынными полосами; злыми голосами ревели трактора, желтые пучки света качались в темноте прожекторами осени сорок первого года. Ночь была, ночь.

— Меж высоких хлебов затерялося... — безнадежно пробормотал Прохоров и выругался: — Черт знает, что там такое набрело?

¹ Балбер а — кора старого осокоря.

Стуча сапогами, участковый инспектор Пилипенко вышел из кабинета, большая навозная муха жужжа билась о стекло, разошедшийся пол раздражающе скрипел, а в дополнение ко всему ныл зуб мудрости, который давно надо было бы выдрать. Сам капитан Прохоров стоял у распахнутого окна, глядел на реку, по которой празднично двигался большой белый пароход «Козьма Минин». В пух и прах разодетый капитан стоял на ходовом мостике, по верхней палубе гуляли пассажиры, блестя стекла, яркие спасательные круги, белые переборки. «Уехать бы! — размечтался Прохоров. — Забраться в одноместную каюту, взять с собой «Трех мушкетеров»...»

Бог знает, что с ним происходило! Пилипенко вызывал острое — до боли в висках — раздражение, ночь Прохоров провел отвратительно, с раннего утра мучила изжога, а минуту назад он забыл, как зовут Гасилова... Прохоров ленивыми движениями снял галстук, бросил его на раскладушку, застеленную белым пикеинным одеялом, искоса посмотрел на тетрадную страничку, которая, оказывается, была зажата в его правой руке. Нет, действительно, что с ним творится?

Прохоров поднес страничку к глазам, сморщившись, прочел: «Большинством голосов проходит предложение товарища Столетова». Дальше — жирное многоточие, затем шли написанные каллиграфическим почерком ошеломительные слова: «Просить райком комсомола оказать содействие в снятии с должности мастера Гасилова!» — а кончалось все торжествующим восклицательным знаком. Протокол комсомольского собрания писала, видимо, девушка лет семнадцати, можно было дать голову на отсечение, что писавшая белобрыса, светлоглаза, волосы заплетает в косички, на клубных танцах забивается в темный угол и глядит на Женьку Столетова обожающими глазами. «Не протокол, а любовное объяснение! — рассердился Прохоров. — Не смотреть надо было на Женьку, а получше записывать! Больше было бы пользы...»

«Снять с должности мастера Гасилова!..» А за что?

«Белобрыса холера! — ругался Прохоров. — Не могла как следует записать речь обожаемого Женечки, глядела, дуреха, ему в рот, пропускала целые куски. А вот теперь возись, ищи ветра в поле, восстанавливай Женькину речь по словечку...»

Капитан Прохоров еще раз выругал белобрысую, когда почувствовал, что не справляется с собой, — этот дурацкий протокол, нашпигованный любовью, эта тоска девчонки по несбыточному, этот восклицательный знак. Он почувствовал резкий запах арабских духов, в полутьме прошуршала твердая синтетическая юбка, сделалось пусто, прохладно, точно на сквозняке, и низкий, почти мужской голос проговорил насмешливо: «Капи-

тан Прохоров звучит лучше, чем майор Прохоров!» Женщина засмеялась, словно аплодируя, похлопала ладошкой о ладошку. «Давно замечено,— сказала она,— что на улицах майоров в два раза больше, чем капитанов. Боже! Майорами хоть пруд пруди!» В желтоватых пальцах Веры дымила забытая сигарета, лежал на тахте скомканный носовой платок. Он глядел на него и скучно думал: «Красивая женщина!»...

...Белый пароход «Козьма Минин» давным-давно скрылся за крутым поворотом сиреновой реки, по улице шли двое босоногих мальчишек с удочками, размахивая руками и ужасаясь: «А Гошка ка-а-а-к прыгнет, ка-а-а-к подскочит...» Зачем прыгал Гошка, какого черта ему надо было подскакивать, осталось неизвестным. И Прохоров решил, что Гошке никакой нужды подпрыгивать не было, как и у Андрюшки Лузгина не было никаких оснований для вранья. А ведь темнил, такой-сякой, скрывал что-то от капитана Прохорова, забивался в тень, когда понял, что проговорился...

Предстояло ответить на сто, тысячу, миллион вопросов! Почему мастер Гасилов произнес чужие слова: «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!»? Был ли сегодняшний Аркадий Заварзин способен столкнуть Женьку Столетова с подножки платформы? Что скрывал Андрюша Лузгин? Спал ли парень, похожий на государя Петра, с Анной Лукьяnenок? Почему не замечает фотоаппарат Людмила Гасилова? Почему до сих пор нет инспектора Пилипенко, ушедшего за техноруком Сосновского лесопункта? Уж кто-кто, а технорук-то должен знать, что случилось на лесосеке двадцать второго мая...

Технорук Сосновского лесопункта Петухов шел позади внушительного Пилипенко такой роскошный, что капитан Прохоров начал ожесточенно скрести короткими ногтями до сияния выбритый подбородок: «Батюшки мои!» Да как было и не удивляться, когда пыльной сосновской улицей двигался джентльмен английской выпечки — шляпа на нем была чрезвычайно короткополая, туфли сверкали активно, а о костюме ничего, кроме «Ах!», сказать было нельзя — такой был переливчатый да по-заморскому затаенный. Этому костюму не по Сосновке бы ходить, а по московской улице Горького — между магазином «Подарки» и лошадью Юрия Долгорукого.

Узкой лодочкой выставляя ладонь, Прохоров пошел на встречу техноруку Петухову.

— Если накричите на меня, будете правы, товарищ Петухов! — говорил Прохоров. — Попросив вас в рабочее время прийти сюда, я нарушил... Я все нарушил, черт побери! Секите повинную голову...

Не давая Петухову опомниться, капитан подмигнул Пилипенко: «Смотайтесь-ка!» — не опуская руку технорука, повел его к удобному стулу; на ходу общительно беседуя:

— Я вчера, понимаете ли, простудился, знобит, знаете ли, ломит кость, как говаривал мой покойный дед... Ба-а-льшой был оригинал! Простуду, знаете ли, лечил спиртом, любое количество делил на пять частей: пять четвертых — вовнутрь, одну пятую — натирать груди! Каково, Юрий Сергеевич!

Можно было себе представить, как удивился бы технорук Петухов, если бы узнал, что никакого деда, лечившего простуду спиртом, у капитана Прохорова не было, — дед по отцу погиб в гражданскую войну, дед по матери в рот не брал спиртного, а болтовня о чуде деде капитану была нужна только для того, чтобы приглядеться к техноруку Сосновского лесопункта.

— Каково, Юрий Сергеевич, а! Деду-то было семьдесят пять... Были люди в наше время, не то, что, знаете ли, нынешнее племя... Забавный был дед, забавный!

Прохоров постепенно снижал голос, наблюдая, как устраивается на стуле Петухов: сначала технорук положил ногу на ногу, но эта поза показалась неудобной — он ногу снял; затем поставил локоть на край стола, подвигал им так, словно проверял прочность доски, но опять что-то не понравилось — убрал локоть, подумал, скрестил руки на груди, одновременно отыскав спиной покойное положение на спинке стула. В такой позе Петухов и устроился — перестал двигаться, безмятежно смотрел на Прохорова коричневыми, с крохотной искоркой глазами.

— Чем обязан? — спросил он и так подвигал губами, словно сдерживал зевок. — Я уже беседовал с товарищем Сорокиным.

Было ясно, что человек, умеющий так удобно устраиваться на стуле, знает цену словам, не торопится выкладывать на тарелочку с голубой каемочкой все то, что ему известно. Поэтому капитану Прохорову придется работать головой втрое больше, чем обычно, — достраивать за Петухова картины, выуживать меж словами нужное. «Брянская область, деревня Сосны, шесть километров до границы с Белоруссией, отец погиб в сорок втором... Парнишке тогда было около двух лет...»

— Вы неторопливы, Юрий Сергеевич, — одобрительно сказал Прохоров. — Я живу в Сосновке второй день, но уже чувствую, как затихает вот здесь... — Он постучал себя по груди — ...вот здесь лихорадка городской жизни. Я говорю слишком напыщенно? Да? Слишком красиво? Да?

— Есть немножко! Теперь многие говорят красиво...

«И одеваются...» — подумал Прохоров, стараясь определить, из какого материала шит петуховский костюм; он блестел, переливался, был мягким, но немнущимся, из нагрудного кармашка — в будний-то день, в деревне-то! — торчал уголок шелкового платка. А какие у Петухова носки, туфли, как замороженно

лежал на ослепительной рубашке галстук! А запонки! Настоящий янтарь, в золотой оправе...

— У меня слабость к хорошей обуви,— признался Прохоров.— Однако ваши туфли... Где брали? — голосом любопытной бабы спросил он.

— В ГДР.

— И костюм там же?

— Там же.

Вот каков бывший мальчишка из брянской деревни Сосны! Езживал по заграницам, ходил в будний день по деревне в таком костюме, которых в областном центре насчитывалось дватри...

— Мир тесен, как студенческое общежитие,— словоохотливо сообщил Прохоров.— Я был, представьте, в ваших Соснах... Подразделение, в котором лейтенант Прохоров изображал командира минометного взвода, освобождало Брянскую область.

Прохоров представил деревню Сосны: увидел древние избы, сбегающие к узенькой речке, услышал скрежещущий звук колодезного журавля; две женщины стояли у колодца, застыв ладонями глаза от солнца, глядели в солдатские спины. Он подумал, что одна из женщин у колодца могла оказаться матерью Петухова, а сам — тогда еще трехлетний — технорук мог стоять среди ребятишек, обступивших дорогу, по которой шли молчаливые солдаты.

— Вы еще больше удивитесь, Юрий Сергеевич, если узнаете, что меня ранило под Соснами...

Однако удивился не Петухов, а сам Прохоров. Поразительно было, что на лице технорука не отразилось даже любопытства, когда он услышал о родной деревне, и только сообщение о том, что Прохорова ранило, вызвало обязательную улыбку сочувствия на твердых губах. «Вот как!» — сказали глаза Петухова.

— Последний раз в Соснах я был четыре года назад,— не догадавшись остановиться, досказал Прохоров.— За речкой похоронен друг моего детства...

Прохоров поморщился от солнца, отраженного раскрытой створкой окна, выпрямил усталую спину: «А вот Петухову, небось, удобно... У него, небось, поясница не ноет!»

— Вы давно были в Соснах? — спросил он.

— Давно ли?.. Лет семь назад...

Прохоров сосчитал: два года Петухов работал в Сосновке, пять лет учился в институте; значит, он наезжал в родную деревню перед поступлением на учебу. До института, вспомнил Прохоров, теперешний технорук три года был трактористом; очерк о нем однажды опубликовала даже центральная газета.

Безмятежность технорука Петухова, способность молчать без вопроса в глазах «А что дальше?» оказались вдруг нужными Прохорову. У него теперь было время наблюдать за тех-

норуком, вспоминать Сосны, сравнивать, сопоставлять, отдыхаяще глядеть за окно, где плыла под синевой неторопливая Обь, суетился маленький зачуханный катер.

— Вернемся к нашим делам,— отдохнув, сказал Прохоров.— Меня интересует... Вы присутствовали на том комсомольском собрании, когда было принято знаменитое решение... Чего добивался Евгений Столетов?

Прохоров внезапно понял, чего не хватало лицу технорука — работы мысли. Именно от этого заграничный костюм Петухова казался снятым с чужого плеча, лицо — неинтеллигентным, а грубо сколоченным, толстокожим. Человек с таким лицом не мог спрашивать «Чем обязан?», не был способен ухаживать за Людмилой Гасиловой или откровенно рассказать о том, что произошло на лесосеке во время первой смены двадцать второго мая.

Несколько секунд Петухов спокойно раздумывал, глядел на Прохорова неподвижными глазами, затем равнодушно сказал: — Мальчишество!

Он постепенно соединялись, мало-помалу съезжались вместе — деревня Сосны и три года работы на тракторе, Людмила Гасилова и черствое равнодушие к родной деревне, слово «Мальчишество!» и падающая вперед при ходьбе фигура Евгения Столетова. Трудно еще было сказать, в какой последовательной связи существовало все это, но предчувствие открытия ощущалось Прохоровым как щемящее беспокойство.

— Поехали тогда дальше, Юрий Сергеевич!

Бац! Лицо технорука сделалось интеллигентным, лобастым, умеренно умным: это заработала его точная, неторопливая, всегда деловитая мысль.

— Смысл речи Столетова уловить было трудно; — безмятежно сказал Петухов. — Еще труднее передать... Начал он, кажется, с того, что назвал Гасилова мещанином... Это запомнилось потому, что обладало конкретностью...

Петухов вспоминал добросовестно, гладкая речь складывалась из обдуманых, неслучайных слов.

— Затем комсомолец Столетов обвинил мастера в недобросовестности, но фактов не привел... Затем... Затем опять провал... Пожалуй, запомнилась еще одна фраза: «Гасилов не похож на английскую королеву. Она царствует, но не правит, а Гасилов не правит и не царствует!»... Столетов был предельно эмоциональным человеком.

Капитан Прохоров поднялся, массируя пальцами поясницу, прошелся по кабинету. Он видел лицо Петухова, отраженное в стекле: технорук поворачивал голову вслед за Прохоровым.

— Худосочны наши воспоминания! — весело сказал Прохоров. — А не скажете ли вы мне, Юрий Сергеевич, что означает сей сон? — Он поднес к глазам протокол, с иронией прочитал: — «Петр Петрович Гасилов суть гелиоцентрическая система ниче-

гонделанья!»... Восклицательный знак, кавычки закрываются, каждое слово нуждается в комментариях... Пролейте свет, Юрий Сергеевич, Христом-богом прошу!

Петухов подумал.

— Я уже говорил,— с неудовольствием сказал он,— что выступление Столетова невозможно пересказать, а записать — тем более. Что же касается этой фразы... Столетов, видимо, хотел сказать, что Петр Петрович работает недостаточно много...

— И все?

— Думаю, все.

— Я вот что думаю, дорогой Юрий Сергеевич! — оживленно заговорил Прохоров.— Он экзистенциалист! Да-да! Наш Столетов — экзистенциалист! Ну, ей-богу же! Взрослый человек, образование среднее, прочел тонну книг, а говорит — ничего не поймешь... Между прочим, Юрий Сергеевич, вы как насчет философии, разной там диалектики? Не увлекаетесь? А я, знаете, люблю, грешным делом, люблю!

Прохоров обрадовался:

— Люблю, грешным делом, люблю! Возьмешь, этак, книжечку, завалишься на диванчик, глядишь — там Гегель сплывал, там Спенсер чего-то такого, а то и сам Фейербах... Уголовничков за день слушаешься, намаешься с ними до седьмого пота, а тут — «вольтерьянство», «субстанция», «нищешанство». Как в раю! Смотришь: уснул на второй странице...

Капитан Прохоров сообразил, что в деревне Сосны была только начальная школа, значит, в послевоенные голодные годы — лет с одиннадцати — Юрка Петухов ходил в восьмилетнюю школу за семь километров от Сосен; потом, после восьмилетки, жил на частной квартире в райцентре Линцы, что в тридцати пяти километрах от родной деревни. Раз в неделю — автобусы тогда меж Соснами и Линцами не курсировали — он с тощим мешком за спиной шел домой той же дорогой, по которой наступал минометчик Прохоров. Юрка прибывал в родную деревню к полуночи, спал несколько тревожных часов и возвращался обратно в Линцы с тем же серым мешком — ведро картошки, небольшенький кусок сала, лук, может быть, немножко масла, мяса — ни-ни!..

— Ночью потеха! — смущенно захохотал Прохоров.— Фейербах мне снится в маршальских погонах, Гегель — сержантом, а Спенсер — старшиной... Однако утром просыпаешься — голова свежа, как молодой горюх!

Прохоров отчетливо представил, как тракторист Юрий Петухов получает зарплату — неподвижно держит в пальцах разглаженные бумажки, лицо, не затуманенное мыслью, кажется грубым, неотесанным. Молодой тракторист редко ходит в дороговатую рабочую столовую, у него в тумбочке есть блестящая

от старательной чистки кастрюля, небольшой чугунок; сало он покупает у местных жителей в ноябре, когда повсеместно режут свиней; два раза в месяц Юра Петухов ходит в сберегательную кассу, кладет деньги, книги не покупает. С леспромхозовскими девчатами тракторист Юрий Петухов...

— Ха-ха-ха! — театрално засмеялся Прохоров. — Вы правы, Юрий Сергеевич! Я болтун! Неисправимый болтун!

...Тракторист Юрий Петухов не интересовался леспромхозовскими девчатами, не привлекали его также институтские сокурсницы. Он хранил себя для будущего, ждал праздника, который должен был прийти на улицу его Сдержанности. Бедный, упрямый, по-житейски умный мальчишка из Сосен выжидал...

— Надо любить ближнего, — шутливо вздохнул Прохоров. — Один болтлив, как я, другой... Когда вы, Юрий Сергеевич, решили жениться на Людмиле Гасиловой?

«Ни один мускул не дрогнул на его лице!» — насмешливо подумал Прохоров, наблюдая за Петуховым, который только слегка нахмурил брови.

— Это произошло двадцать четвертого февраля, — сказал Петухов с интонацией крестьянина, сопоставляющего день месяца с погодой или сельскохозяйственным сезоном. — Двадцать второго Петр Петрович пригласил меня отметить День Советской Армии, двадцать третьего была вечеринка, а утром... Да, это случилось двадцать четвертого февраля...

В общий сладости мальчишка из Сосен ждал праздника девять с половиной лет. Мало того, по данным следователя Сорокина, год из последних полутора лет Петухов не обращал никакого внимания на Людмилу Гасилову, вел себя целый год так безупречно, точно красавицы не существовало на белом свете.

— Еще вопрос! — извинительно произнес Прохоров. — Отчего свадьба не состоялась до сих пор?

— Проще простого! Мы свадьбу назначили на осень. Так хотела Людмила...

Конечно, когда ждешь девять с половиной лет, подождать еще полгода — пустяки-вареники. Впрочем, не так уж плохо ходить в женихах самой красивой девушки Сосновки, целоваться на тихих скамейках, простаивать ночи над рекой, по утрам звонить, шептать в трубку глупости... «В его годы, — вздохнув, подумал капитан, — телефонная трубка по утрам не кажется такой тяжелой, точно ее отлили из свинца...»

— Непонятно все-таки, — размышляюще сказал Прохоров, — непонятно все-таки, Юрий Сергеевич, как удалось Столетову протащить на комсомольском собрании хамскую резолюцию? Неужели только на эмоциях?

Петухов, наконец, переменял положение: выпрямился, расцепил руки, поправил галстук.

— Как секретарь комсомольской организации Столетов пользовался авторитетом, — ответил Петухов. — Он умел зажигать аудиторию.

Прохоров был уверен, что технорук почувствовал связь между вопросом о дне свадьбы и выступлением Столетова на комсомольском собрании, тоже протянул ниточку между Людмилой, собой, Петром Петровичем Гасиловым и Евгением Столевым.

— Тогда мне остается задать только последний, самый простой вопрос...

Капитан уголовного розыска сделал несколько привычно заученных движений: повернул голову к яркому окну, на лицо нагнал скромное выражение, одно плечо опустил, второе приподнял, спину заузил и ссутулдил, правую руку по-наполеоновски сунул за борт пиджака.

— Что произошло на лесосеке двадцать второго мая? — спросил он. — О ссоре Заварзина и Столетова я знаю, о схватке Столетова и Гасилова мне тоже известно, что еще произошло или происходило?

Прохоров улыбнулся реке за окошком, когда подумал о том, что технорук Петухов из десяти пришедших на ум слов пользуется только одним — вот какой железной выдержкой обладал парнишка из брянской деревни! Однако из девяти произнесенных слов пять читались на его якобы непроницаемом лице, о двух можно было судить по смутной ассоциативной цепочке, одно слово уходило в трудную биографию технорука, а ложь ярко посверкивала в мнимой значительности пауз.

— Так что произошло на лесосеке, Юрий Сергеевич?

— Кроме перечисленного, ничего.

Надо было кончать разговор. Мысль Прохорова уже ходила по замкнутому кругу, а технорук Петухов произносил только одно слово из десяти, не унижаясь прямой ложью, врал тем, что скрывал главное — какие-то очень важные события на лесосеке.

— Спасибо, Юрий Сергеевич, — благодарно сказал Прохоров. — Я отнял у вас много времени.

Когда Петухов ушел, Прохоров задумчиво побродил по кабинету, приблизившись к окну, выглянул наружу, чтобы посмотреть, как удаляется полузагадочный технический руководитель Сосновского лесопункта. Нового он ничего не увидел и не понял. Слегка откинув назад голову, экономно размахивая руками, Петухов споро продвигался вперед по самым ровным и самым гладким доскам деревянного тротуара. Блестел изысканно иностранный костюм, солнце множилось в лакированных туфлях, подчеркнутая начальственностью спина двигалась в прекрасное Сегодня, в уверенное Завтра: школа, вуз, таежный лесопункт, леспромхоз в райцентре, гулкий коридор лесосплавного комбината; для начала тонкая деревянная дверь, покры-

тая скучной желтой краской, потом черный дерматин, стеклянная табличка с мелко написанной фамилией, а уж затем — двойные двери тамбура, четыре телефона, кнопка звонка, кресло...

Брянская область, Брянская область!.. На фоне колодца-журавля женские фигуры, усталый стук солдатских сапог, пожарища, трупы, голодные глаза... Многострадальная, милая ты моя Брянская область! С какой будничной жестокостью прошелся по тебе гусеничный ход мировой военной истории! Издавна мешочная и полуголодная, ты только в тридцатые годы начала подниматься на ноги, накормила было досьята баб и ребятишек, заплясала было веселая, советская, возле подновленных прясел, да так и недоплясала — покатилося по твоим знаменитым лесам эхо самой тяжелой войны в истории человечества. И это прошло!.. На исхудалых коровьих хребтах поднимала ты первую послевоенную борозду, припрягала к исковерканным немецким танкам многолемешные плуги, счастливая послевоенной надеждой, была сыта и картошкой без масла; шли годы, и за веру твою, за муки твои дождалась ты облегчения — пошли по деревенской грязи девчата в резиновых высоких сапогах, при шелковых кофточках, с румянцем на щеках (твердым и ярким). Купили твои молодожены скрипучие металлические кровати с пружинными сетками, бабы постарше оделись в полупальтишки из черного материала, похожего на бархат, мужики поменяли гимнастерки на пиджаки, а к телогрейкам уже кое-кто стал пришивать овчинные воротники, хотя далеко еще было до суконного демисезонного пальто.

Поднималась и деревенька Сосны, но много труднее росла она, чем соседние большие поселки. И обнаружили мужики и бабы, мальчишки и девчонки, что в стороне от шоссейных дорог, высоких заводских труб стоят родные Сосны, почувствовали пустое пространство, отделяющее их от космического века...

...Солидно шел по деревянному сибирскому тротуару технорук Петухов. Вот прощально сверкнули туфли, вот скрылся, вот исчез за поворотом. Улица сияла солнцем и зноем, возилась в теплой пыли хохлатые курицы; высунув язык, сидела посереде дороги собака; а над всем этим, вздыбившись, приникая к небу, сливаясь с ним, млела маревом великая сибирская река Обь, широкая как море. Вечным праздником веяло от реки, и ласково прильнувшая к ней деревня Сосновка была тоже праздничной, нарядной и молодой...

Вялый, ленивый, мутноглазый, сидел на белой раскладушке капитан Прохоров, рассматривал собственные руки, вяло, лениво и отстраненно раздумывал о том, что вот доживает в Сосновке третьи сутки, исходил деревню вдоль и поперек, перепро-

бывал в орсовской столовой все закуски, перезнакомился с доброй половиной участников столетовского дела, а в рабочую форму так и не вошел. Мысль по сложной логической ниточке карабкалась с черепашьей скоростью, ассоциации бедны и худосочны, об интуиции и вдохновении было смешно думать — мир казался плоским, примитивным, бесцветно-серым, как осенний бросовый денечек. Все удручало. Небо над Обью было откровенно голубым — это была не та голубизна; река являла собой вечернюю сиреневость — сиреневость была не той, нужной сиреневостью; раннему месяцу на руду было положено казаться сквозным — с наличной просквоженностью дело обстояло исключительно плохо. Одним словом, чевухистика, прозябание, скукота, не жизнь, а тьфу!

— Можно войти?

Андрей Лузгин просунул в дверь налитое яблочное лицо, найдя Прохорова взглядом, улыбнулся. Чему? Уж не тому ли, что Прохорову надо подняться с раскладушки, найти стул для Андрея, посадить его, а потом выстраивать умное лицо, делать вид, что знаешь все, хотя ни черта не знаешь. А разговаривать? Кто будет разговаривать, когда сосновский Илья Муромец сядет на стул, еще раз улыбнувшись, обратит к Прохорову верующие глаза?

— Присаживайтесь, Андрей. Посумерничаем.

В пилипенковском кабинете на самом деле было сумеречно. Вот если бы под пистолетом, то Прохоров, наверное, поднялся бы с раскладушки, включил электрический свет, а так просто, без насилия — слуга покорный!.. Пусть Андрюшка Лузгин сам зажигает, если ему надо, а нам и так хорошо.

— Вы почему молчите, Андрей? — недовольно спросил Прохоров. — Привыкли уже к тому, что я болтаю, как нанятый... А?

Прохоров взял две подушки, приставив к стене, навалился спиной на их барскую мягкость, удовлетворенно хмыкнул: «Вот так и будем сидеть!» Если в жизни заведен такой порядок, что пожилые капитаны из областного управления должны работать за «высоколобых» следователей Сорокиных, то уж будем трудиться с комфортом — спину устроим так ловко, как умеет это делать технорук Петухов, распрекрасный тувель правой ноги выставим на всеобщее обозрение..

— Кто может показать, что Аркадий Заварзин, вернувшись в лесосеку, поехал обратно вместе с Евгением Столетовым на одной тормозной площадке?

Деревенский Добрыня Никитич сделал из лица печеное яблоко, так взволнованно завозился на стуле, что тот жалобно застонал.

— Второго июня у Никиты Суворова был день рождения, — сказал Лузгин. — Он здорово напился и за столом говорил, что... В общем, про Заварзина слышала Алена Брыль... Сплетница!

Прохоров неверяще прищурился:

— Ну вот! Никита Суворов напился, что-то говорил, слышала сплетница Алена Брыль... Дядя теткинoго мужа сестры двоюродного брата...

Инспектор уголовного розыска, насмешливо поаплодировав самому себе, решительно поднялся с раскладушки, тремя крупными шагами подошел к двери, поднял уж было руку к выключателю, но остановился и свет не включил, хотя и сам не мог бы объяснить, что задержало его руку над выключателем, что заставило повернуться к Андрею.

В сумерках мучилось большое и сильное, искреннее и доброе, беспомощное и могучее. Андрюшка Лузгин корчился: сдержанный, сильный, сдавливал грудь руками, чтобы не так уж остро болело сердце. Уже больше месяца Андрей плохо спал по ночам, подолгу бродил по деревне, потерял в весе восемь килограммов; лучший друг Женьки Столетова за версту обходил дом погибшего, на похоронах брел в конце рыдающей толпы, к гробу Женьки так и не подошел.

— Эх, если бы я догадался не отпускать Заварзина до возвращения Женьки! — прошептал в темноте Андрей Лузгин. — Ну почему я его отпустил, когда мы приехали в Сосновку?

Наверное, от десятого уже человека Прохоров слышал, что ничего не случилось бы с Евгением Столетовым, если бы Андрей Лузгин не отпустил обратно в лесосеку бывшего уголовника Заварзина, — об этом говорил инспектор Пилипенко, следователь Сорокин, две женщины в орсовском магазине, удильщик на обском берегу, мальчишка, наклеивающий на доску объявлений афишу фильма «Белое солнце пустыни», словоохотливый старик из числа скамеечных сидельцев. Одним словом, вся деревня считала: нельзя было отпускать обратно на лесосеку Заварзина!

— Эх, если бы я догадался!

Ночное светило напоминало ковригу с откушенной горбушкой, было по-настоящему прозрачным, пятна на лунной поверхности образовывали вздорное, скучное старушечье лицо, по кабинету распространялся бледный свет. По-прежнему мучился на стуле парень, считающей себя убийцей друга, ибо логика была проста и жестока: скажи Андрей Лузгин бывшему уголовнику «Останься!», дождись минуты, когда на станции Сосновка — Нижний склад сойдет с опасной подножки Женька Столетов, — не стоял бы возле выключателя капитан Прохоров, не было бы холмика сырой земли на деревенском кладбище.

— Не буду включать электричество, — опуская руку, сказал Прохоров. — Бог с ним, с электричеством...

Приподняв плечи, капитан неслышно прогулялся по диагонали квадратной комнаты, стараясь не смотреть на Андрея, опустился снова на раскладушку, мирно затих... Он мысленно всматривался в почерк белобрысой девчушки, писавшей протокол

знаменитого комсомольского собрания, представлял ее глаза, нос, брови. У буквы «з» был мужской энергичный завиток, буквы «ч» и «г» были по-женски неразличимы — им не хватало решительной отъединенности, слова друг от друга стояли далеко, точно писавшая разделяла их длинным вздохом.

— Глазоньки бы мои не смотрели на эту расчудесную луну! — насмешливо сказал Прохоров. — Как только гляну на нее, так — нате вам! — думаю о Соне Луниной... Она действительно белобрысая?

Во! Повесть о дикой собаке Динго и первой любви... «Показания Луниной Софьи Васильевны дают основания полагать о наличии любовного чувства к ней со стороны Лузгина Андрея Григорьевича». Это следователь Сорокин...

Прохоров открыл глаза.

— Меня все-таки интересуют отношения Евгения Столетова, Анны Лукьяненко и... — Прохоров помолчал. — Что произошло в клубе, на новогоднем празднике?

Андрей не пошевелился. Он жил в сложном мире вечера двадцать второго мая, все никак не мог сойти с подножки вагона в предновогодний клуб, и даже имя Сони Луниной не выбило его из страданий: корчился на стуле, сжимал по-прежнему грудь могучими руками, остановившиеся глаза отражали мертвенный лунный свет.

— Двадцать второго мая Женьку нельзя было оставлять одного! — прошептал Лузгин.

Прохоров насторожился:

— Почему именно двадцать второго мая?

И случилось то же самое, что на лесосеке: парень мгновенно замкнулся. Смотрел на капитана исподлобья, взволнованный, был таким, что, пытай огнем, пали железом, мори голодом, не скажет, что произошло на лесосеке двадцать второго мая. А ведь день был особенным, ключевым для всего столетовского дела!

— Что происходило, Андрей? — скучным от безнадежности голосом повторил Прохоров. — Поймите, от меня ничего скрывать нельзя. Что случилось?

Никакой реакции.

— Еще раз спрашиваю, Андрей, что случилось?

Как горохом об стенку...

— Что вы от меня скрываете?

— Ничего!

Ну, слава богу! Хоть словечко произнес, хоть губы пухлые разжал! Разозленный Прохоров мысленно послал Лузгина к черту, понимая, что за упрямым молчанием парня скрывается серьезное, если не главное!

— А ну, расскажите-ка о новогоднем вечере, Андрей Лузгин! Расскажите-ка все подробненько, обстоятельно, словно,

знаете ли, на духу... И не забывайте, пожалуйста, товарищ Лузгин, что говорите с инспектором уголовного розыска!

Ага! Вздохнули, потупились, заробели? Ну?!

— Ничего особенного тогда не произошло, — тихо сказал Лузгин. — Был обыкновенный бал-маскарад... Мы опоздали немножко, а когда притащились, то веселье было бодрым ключом...

За пять месяцев до происшествия

...был обыкновенный деревенский бал-маскарад; в новогоднем клубе веселье действительно было бодрым ключом: наяривал без нот духовой оркестр, стояла посередь зала ширококronистая красавица лучших елочных кровей, горели разноцветные лампочки, крутился под потолком многогранный матовый фонарь. По клубу запыленно носился заведующий с мушкетерской бородкой, у входных дверей стоял свечечкой участковый Пилипенко, пьяных налицо еще не виделось, вокруг елки танцевали девчата с девчатами, парни отсиживались на скамейках, исключая трех студентов, приехавших в деревню на каникулы, — эти на кедровом прекрасном полу работали старательно.

Опоздав минут на двадцать к началу торжества, четверо друзей — Женька Столетов, Андрюшка Лузгин, Генка Попов и Борька Маслов — ввалились в разноцветный клуб сплоченно: оттеснили в сторону величественного Пилипенко, остановившись у края танцевального круга боевой шеренгой, обхватили руками друг друга за плечи, ноги широко расставили, глаза сделали строгими: «Ну, как вы здесь? Веселитесь?»

— А почему без красных повязок? — прицепился участковый. — Сами же, комсомол, организовали встречу Нового года... Где повязки?

— В карманах! — ответил Женька. — Новый год объявлен... В карманах.

Аркадия Заварзина в клубе не оказалось, не было среди танцующих и сидящих Людмила Гасилова, а Соня Лунина тихонечко танцевала «На сопках Маньчжурии» с двоюродной сестрой Катей; сидели на скамейке с наглыми лицами чокеровщики Пашка и Витька, демобилизованный солдат Мишка Кочнев шушукался с молодой женой, и на большинстве сосновцев были большие маски из папье-маше, оптом закупленные заведующим клубом несколько лет назад. Этим масок в наличии имелось сорок, и час назад в кабинете завклубом, где распределялись маски, можно было услышать: «Постойте, Михеев, вы же в прошлом году были овцой. Как вам не а-яй-яй нынче отказываться от свины?»

Танцевали и сидели на скамейках клоунские носы и лисьи пасти, медвежьи рыла и свиные пятаки, крокодильи зубы и клювы попугаев. Все это кружилось, хохотало, паясничало, и, конечно, весь маскарадный табор узнавался сразу; под

свинячьей мордой танцевал костюм Михеева, крокодилью пасть расконспирировали полосатые брюки деревенского аптекаря Гуляева, лисья мордочка досталась длинным ногам и узким бедрам Алены Брыль — сплетницы.

— Сели! — сказал Женька.

Четверо заняли скамейку возле дверей; скрестили руки на груди, положили ногу на ногу, подбородки задрали, прищурились; на них были одинаковые черные костюмы, на белых нейлоновых сорочках — одинаковые бордовые галстуки, часы — с одинаковыми полосатыми ремешками. Они в Сосновке славились давнишней преданной дружбой, всегда и везде ходили вместе, а когда сидели рядом в черных костюмах, чем-то походили друг на друга — то ли насмешливым выражением глаз, то ли ироническими губами, то ли уверенным разворотом плеч. Длинновязый и коротконосый Женька Столетов, могучий и спокойный Андрюшка Лузгин, сосредоточенный, будто всегда что-то считающий Борька Маслов, высокомерный и холодный Генка Попов — они сейчас смотрели на веселящийся зал одинаковыми глазами.

Прошло несколько молчаливых минут.

— Я тоже хочу быть охваченным всеобщей радостью! — задумчиво заявил Генка Попов.

Трое неторопливо повернулись к нему, покивав, стали печально глядеть друг на друга и пожимать плечами. Они не торопились с ответом, размышляли долго, зрело, потом Борька Маслов озабоченно спросил:

— Вам хочется интеллектуального общения или бездумного смехачества? А может быть, налицо уклон в животную страсть?

— Мне хочется бездумного смехачества! — нехотя сознался Генка Попов. — Что вы предлагаете?

— Феньку Бурмистрову! — важно сказал Женька Столетов. — Думаю, что под лошадиной мордой скрывается нужное нам бодрое смехачество.

Генка Попов приуныл.

— Она меня свяжет по рукам и ногам! — после длинной трагической паузы прошептал он. — Только балбесам Столетову и Лузгину неизвестно, что на женской косе можно поднять нагруженную железнодорожную платформу...

Духовой оркестр играл вальс «На сопках Маньчжурии», учительница начальных классов Бурмистрова танцевала с подружкой в центре круга, и вокруг нее темной каруселью вращались удивительные косы — в мужскую руку толщиной, иссиня-черные, такие длинные, что достигали тонких щиколоток, а под унылой лошадиной мордой-маской действительно скрывалось лицо веселой, добродушной, разбитной девицы.

— Нет, нет! Не могу! — загораживаясь ладонями, сказал Генка Попов. — Коса — это как раз то, что способно погубить

гениального физика! Мировое общественное мнение не простит тебя, Столетов!..

Между тем веселье продолжалось. Отыграв положенное количество танцев, ушел на отдых духовой оркестр, и после короткого перерыва заиграла клубная радиолка. Пластинка оказалась современной: надрывался саксофон, по-свиному ухал тромбон, флейта взвизгивала, как девчонка, увидевшая мышь. Парни несколько секунд слушали музыку спокойно, потом незаметно для самих себя начали легионько притопывать каблуками, подпевать радиоле, изгибаться и двигать бровями. Затем они расцепили руки, скрещенные на груди, как бы разделившись, сделавшись каждый сам по себе, начали все убыстряться и убыстряться, словно их обтекало высокое напряжение электрического поля; схваченные ритмами двадцатого века, они, чудилось, медленно превращались в мерцающие панели электронно-вычислительных машин. Находясь в непрерывном движении, мелко вздрагивая, струясь и переливаясь блестящей материей черных костюмов, вспыхивая белизной рубашек, бордовыми огоньками галстуков, белыми зубами, цветными носками, парни то включали, то выключали крохотные части собственного тела, отрешенные от реальности, все больше проникались механичностью, высокой напряженностью — мерцали на черных панелях затаенно страстные огоньки, метались зигзаги локаторных экранов, выли и стонали горячие трансформаторы; зеленое, красное, белое... Двадцатый век!

Гудели прибором морские раковины, верещали сладкими голосами дебри африканских джунглей, оставляя длинный росчерк реверсионного следа, с гулом гибнущей Помпеи вывинчивался из атмосферы ракетносец... Летели медленные пули в президента Кеннеди и негра Кинга, на стальные лопатки турбин Братской ГЭС обрушивалась бешеная ангарская вода, неторопливо шел по ковровой дорожке Юрий Гагарин...

Двадцатый век!

Четверо парней танцевали сидя. Они потеряли ощущение времени, места. Первым поднялся со скамейки Генка Попов, продолжая вздрагивать, вычурно извиваться, мерцать глазамиллампочками, двинулся к Феньке Бурмистровой, которая тоже уже дрожала и струилась; не дождавшись кавалера, сбросив почему-то с круглого лица лошадиную маску, щелкала пальцами, вывинчивала длинные металлические каблуки в деревянный пол сосновского клуба. Вторым поднялся Женька Столетов, мотаясь из стороны в сторону, двинулся навстречу Соне Луинной — потом Борька Маслов, Андрюшка Лузгин...

Целомудренно обнажались сильные женские ноги, дерзко глядели на партнеров полуобнаженные груди, как на картинах фламандцев; среди танцующей восьмерки вообще не было ни женщин, ни мужчин — музыка, отрешенность, боль и радость века, надежда и отчаяние; вчера, сегодня и завтра...

На танцующую восьмерку глядели с завистью и презрением, с ревностью и злостью, с восхищением и негодованием, с восторгом и тупой неприязнью.

Восьмерка танцевала. Отделенный от Сони Луниной трехметровой дальностью, изгибался и «давил окурки» на полу Женька Столетов, побежденно опускал ресницы Генка Попов, когда косы Феньки Бурмистровой ударяли его по раскинутым рукам, издевательски кривил губы, многозначительно подмигивал партнерше Борька Маслов, улыбался Андрюшка Лузгин. Было весело, лихо, тревожно.

Когда сумасшедший танец кончился, когда музыка оборвалась так резко, точно радиолу накрыли подушкой, и наступила тишина, восьмерка танцующих замедлилась и, остановившись окончательно, замерла с такими лицами, словно только сейчас поняла, что произошло... Переливались разноцветные огни елки, вращался под потолком блестящий шар...

— Спасибо, Соня! — раздался в тишине голос Женьки Столетова. — Спасибо!

Парни подали руки девушкам, осторожно повели их на прежние места... Зал тоже приходил в себя: нервно засмеялись столетовские чокеровщики Пашка и Витька, две пожилые девицы наконец-то решились без смущения посмотреть друг на друга — так им было стыдно за восьмерку, а участковый инспектор Пилипенко по-прежнему был занят только Пашкой и Витькой, которые опять пошумливали и вполголоса матерились, изображая очень пьяных тружеников леса. Еще немного погоды на скамейках послышался смех, через весь клубный зал пробежал заполошный заведующий — организовал опять духовой оркестр...

— Я люблю тебя, Женька! — вполголоса сказала Соня Лунина, когда он проводил ее на прежнее место. — Я по-прежнему люблю тебя...

Возбужденная танцем, вся еще переливаясь и дрожа, девушка дерзко глядела в Женькины глаза, и Женька сжался, потерянно улыбулся:

— Соня!

Слова девушки наверняка слышали Андрюшка Лузгин, Сонина двоюродная сестра, две пожилых девушки; и Женьке казалось, что клубный зал, словно темнотой, наполнялся несчастьем, бедой, ощущением неустроенности. Темнело так заметно, что Женька затравленно огляделся.

— Иди, иди! — с улыбкой сказала Соня.

Сутулый, несчастный, Женька вернулся к ребятам, насильственно улыбувшись, растолкал их, чтобы сесть рядом с Андрюшкой Лузгиным.

Духовой оркестр, вспомнив молодость заполошного заведующего клубом, играл танго «Брызги шампанского», сам заведующий дул в золотистую трубу, глядел на ее раскачивающийся конец пустыми глазами. Скамейки быстро пустели, зал напол-

нялся движением и голосами, топотом ног и скрипом пола, выкриками чокеровщиков Пашки и Витьки, но для Женьки Столетова в клубе по-прежнему было темно, как в доме перед грозой, а веселая Соня Лунина танцевала с двоюродной сестрой, на Женьку Столетова не глядела, была счастлива, как первоклашка на каникулах.

В середине танца Женька почувствовал, как в том углу клуба, где свечкой стоял участковый Пилипенко, все вдруг постветлело, задвигалось, зашумело — это вошла в двери вдова Анна Лукьяненко. Сначала увиделось блестящее парчовое платье, потом проплыла величественная, гладко причесанная голова, возникли глаза, сразу же нашедшие Женьку Столетова в переполненном клубе, глаза с выгнутыми бровями, в которые было страшно глядеть.

— Пойдем ко мне, Женья! — подсев к Женьке, сказала вдова. — Новый год я хочу встретить с тобой... Ты все равно придешь... Пошли сейчас!

А за спиной участкового Пилипенко по прихотливой воле случая опять образовалась густая пустота, зияющий провал, среди которого отдельная, в костюме «домино» стояла Людмила Гасилова — третья женщина в короткой жизни Евгения Столетова. От нее веяло родной безмятежностью, тишиной, солнечным лугом, на котором паслись рыжие кони; ленивый наклон головы, беспомощные руки вдоль тонкой фигуры. Людмила!

— Прощай пока, милый! — добродушно засмеявшись, сказала Анна Лукьяненко. — Пойду инженеров мучить...

Анна лениво поднялась, не замечая Людмилу Гасилову, пошла грудью, глазами, бедрами, плечами на участкового Пилипенко, оттеснив его в темный угол, вдруг оскалила зубы, бережно подняв руку, на глазах у Людмилы слабо подвигала в воздухе ладошкой: «Прощай, Женья! Прощай пока!»

Людмила стояла на месте, никуда не стремилась, ничего не хотела, никуда не глядела, ничего не слышала и только тихонечко покачивалась, точно ее шатало слабым теплым ветром, каким — неизвестно: обским ли, волжским ли, днестровским ли... Не все ли равно ей, Людмиле Петровне Гасиловой!

Женька вдруг крепкими пальцами схватил за плечо Андрюшку Лузгина, сдавив до боли, шепотом попросил идти за ним, не дождавшись согласия, стремительно двинулся к запасным клубным дверям падающей вперед походкой — качались перед глазами Андрюшки сутулые плечи, незащищенно круглел затылок, жалкий вихор висел над ухом, спина казалась узкой, как у дряхлой лошади. Короткий дверной тамбур, удар ноги по заиндевевшей двери, грохот сброшенного с петли крючка, скрип мерзлых половиц, морозный туман...

— Простудимся, Женька!

— Плевать!

Ярко светила новогодняя ночь, накатанная дорога тракторной колеей уходила ввысь, луна судорожно цеплялась за небо распыренными лучами; снег походил на нафталин, казался неживым, придуманным.

— Позвольте представиться: Евгений Столетов — подлец из подлецов! — высокопарно произнес Женька.

Короткая пауза, суетливое движение длинных рук, гримаса отчаяния:

— Я действительно подлец, Андрюшка!.. Люблю Людмилу, а танцую с Соней... Люблю Людмилу, а тянет меня к Анне Лукьяненко... Я ее вижу во сне, Андрюшка! Мне стыдно просыпаться утром... Я подлец, сволочь, подонок...

Жесткий мороз хватал за уши, луна уже цеплялась за легкую тучку...

...Отстраненно вздохнув, Андрюшка Лузгин понурился, перебирая пальцами медную монету, глядел в темный угол милицейской комнаты, в котором таилась такая же опасная темнота, как в том клубном углу, где стояла, покачиваясь на теплом ветре всех широт, бледнолицая Людмила Гасилова. Жизнь была сложна: любить одну, видеть во сне другую, танцевать с третьей... Где начало? Где конец?

— Женька Соню не любил... Он любил... Я не знаю, кого он любил, хотя думал жениться на Людмиле... А потом говорил: «Это как умереть!»

Между тем сам Андрей Лузгин любил Соню Лунину.

А в областном городе в этот час ходила по тесной комнате женщина с вызывающе жалкими уголками губ. При встрече с ней капитан Прохоров угасал, садился на низкую кушетку, не отрывая глаз от тлеющего кончика ее сигареты, думал: «Красивая женщина!» Она ненавидела майоров всех родов войск и служб.

— Заварзин был в клубе? — деловито спросил Прохоров. — Или так и не появился?

— Так и не появился...

Луна висела очень высоко над обским левобережьем, уже понемножечку уменьшалась, тускнела потихонечку; в лесопунктовской конюшне вдруг по-ночному тревожно заржал сонный жеребец Рогдай. Потом залаяли сразу три собаки, проблеяла где-то молодая овца. Ночь была уже, самая настоящая ночь...

7

В синем ельнике тревожно смеялись девчата, постанывала неуверенная гитара, светлячками вспыхивали огоньки папирос, и бог знает почему от всего этого сжималось сердце. Думалось о молодости и старости, хотелось неизвестно чего: то ли за-

браться в ельник, то ли вернуться на раскладушку, чтобы в тишине и одиночестве улеглось беспокойство. Лунная Обь, гитара, девичий смех, желтые фонарики шишек на елках, сладкая тоска строк: «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он...», а потом и страшное: «...другой поэт по ней пройдет...» В груди пусто, точно нет сердца... Прохоров, опустив голову, шел по пыльной дороге; съездившийся, казался маленьким, щуплым; короткий подбородок прижат к шее. Шаги удаляли его от ельника, гитара утишивалась, спина чувствовала, как гаснет белый свет на кладбищенских крестах, но ощущение тревоги не проходило.

Между тем второй Прохоров, то есть капитан уголовного розыска, не обращающий внимания на выкрутасы первого Прохорова, отыскал дом за номером семь по Октябрьской улице и, оказывается, давным-давно, покачиваясь на каблуках, стоял против искомого объекта. Именно возле дома преподавателя истории Викентия Алексеевича Радина, по рассказам участкового инспектора Пилипенко, росли голубые ели, торчали высокие шести со скворечниками, в доме были преувеличенно широкие окна и незастекленная веранда.

Прохоров подошел к калитке, собрался было притронуться к металлической задвижке, но по веранде прошаркали ноги, заскрипели половицы, и — хорошо освещенная луной — в проеме крыльца возникла фигура высокого человека с закинутой назад головой и такими линиями шеи и плеч, словно человек постоянно к чему-то прислушивался, чего-то ждал, и от этого походил на локатор, медленно вращающийся в таинственности высокого неба. Совершив полукруг, человек замер, потом спросил хрипловатым голосом:

— Товарищ Прохоров?

— Да, Викентий Алексеевич. Здравствуйте!

— Здравствуйте, товарищ Прохоров! Прошу!

Дождавшись, когда капитан Прохоров приблизится, Викентий Алексеевич уверенно пошел по темной веранде, странно размахнувшись, как бы со всего плеча, широко распахнул домовую дверь — яркий электрический свет полосой лег под ноги, и Прохоров попал сначала в коридор, затем — в комнату, казавшуюся огромной оттого, что в ней не было ничего, кроме стола и двух стульев. В центре потолка солнечно сверкала огромная электрическая лампочка без абажура — провод и патрон.

Викентий Алексеевич Радин был слеп; на том месте, где у всякого человека блестели драгоценные скорлупки роговой оболочки, у него морщилась плохо зарубцевавшаяся фиолетовая кожа, и надо было обладать воображением, чтобы увидеть, как хорошо интеллигентное, узколобое, чуточку широкоскулое лицо учителя без того напряженного выражения, которое свойственно лицам большинства слепых. Закинутая вверх голова,

локаторные линии шеи и плеч делали учителя устремленным вверх, как бы отлетающим.

— Ну-с, разглядели меня, товарищ Прохоров? — громко спросил Радин и улыбнулся так, что кожа на глазницах сделалась ровной. — Вас зовут-величают?.. Садитесь! Будьте как дома... Лида! У нас гости!

В комнату вошла маленькая женщина с гладко зачесанными назад волосами. Она была лет на десять моложе Радина: востренько торчал пикантный носик, под свободным платьем угадывалась тонкая талия. Когда она открыла дверь, Прохоров увидел просторную спальню, ковры, затейливый торшер с тремя ножками и тремя абажурами — розовым, зеленым и синим, и уж после этого заметил, что и стены пустого кабинета были покрашены в те же цвета — розовый, зеленый, синий.

— Меня зовут Лидия Анисимовна... Кофе, водки, чаю?

Прохоров хмыкнул.

— Водки! — вдруг отважно ответил он. — С чаем, а?

— Пойдет!

Лидия Анисимовна спокойненько удалилась, оставив в кабинете легкий запах славных духов и глухую картавость мягкой речи: как бы зажеванные губами нотки. Она преподавала в средней школе английский язык, и Пилипенко восторгался: «По-иностранному чешет, как по-русски. Два раза в Англии была!»

Лидия Анисимовна вернулась с ярким подносом в руках, поставила на стол графинчик водки, колбасу, холодное мясо, свежие огурцы и помидоры, толсто нарезанное сало, селедку с луком. Вилки и ножи она положила на полотняные салфетки; одна из них была розовой, вторая — синей, третья — зеленой. Убедившись, что ничего не забыто, Лидия Анисимовна приветственно помахала маленькой рукой:

— Меня нет, товарищи мужчины!.. К прогулке я вернусь, Викентий.

Викентий Алексеевич уже сидел за столом, розовая салфетка лежала возле его правого локтя, зеленая — слева, синяя — в центре. Услышав, что Прохоров тоже сел, слепой безошибочно протянул руку к графину, стал наливать водку в две пузатых стопки; бог знает, чем руководствуясь, Викентий Алексеевич налил их до краев, ни капельки не пролив, вернул графин на место.

— Люблю водку! — бережно сказал он. — В умелых руках — чудо! Но вот прекурьезная вещь... Водка отнюдь не выполняет той главной роли, которую ей приписывает большинство пьющих — не служит утешительницей... А? Каково? Водка может быть чем хотите... Колокольным звоном может быть, но не утешительницей! Приемлем все-таки, Александр Матвеевич?

— С радостью!

Прохоров выпил, поставив пустую стопку на скатерть, длинно подумал: «Та-а-а-к!» Ходила минуту назад по стерильно чистому полу женщина с английской раскатистой ноткой на губах, пузырями вздувались на громадных окнах разноцветные занавески — синие, зеленые и розовые; стояли под пятисотсвечовой голой лампочкой странно окрашенные стены — синяя, зеленая, розовая. «Меня нет, товарищи мужчины... К прогулке я вернусь, Викентий». Молодой шорох матери, над супружескими кроватями «Маха обнаженная», высокий торшер — синий, зеленый, розовый; на толстом ковре нежится пушистая кошка с лениво прижмуренными глазами.

Викентий Алексеевич похрустывал молодыми огурчиками. Прохоров тоже вонзил зубы в облитой желтым жиром кусок холодного мяса, и оно оказалось вкусным, как раз таким, какое он любил; потом съел большой кусок сала, пахнущего чесноком и укропом, — тоже ничего себе: вкусно, ароматно, отлично насыщает.

— Я, пожалуй, начну, — сказал Викентий Алексеевич. — Вы получили мое письмо, но, думаю, нужны комментарии... Видите ли, Александр Матвеевич, у меня нет оснований считать смерть моего ученика и друга случайной...

Когда он говорил, кожа в глазницах разглаживалась, теряла сухой блеск, и лицо как бы выравнивалось: исчезали тени, делающие глазницы пустыми. Высокий голос был учительски приподнят, и Прохоров вдруг широко улыбнулся, подмигнув самому себе, начал устраниваться на стуле с комфортабельностью технорука Петухова: разобрался с ногами, отыскал удобное положение для спины, с головой обошелся наиболее бережно — предоставил ей отдых.

— Евгения нельзя было сбросить с подножки! — решительно заявил Викентий Алексеевич. — Он сам был из тех, кто сбрасывается... Весьма неразумно также полагать, что Евгений не мог сам сорваться с подножки... Обладая импульсивным, увлекающимся характером, мой ученик часто предпочитал недуманные поступки рациональным...

Черт знает, как было хорошо, уютно! Очень долго держался в воздухе запах неизвестных духов, разноцветные стены казались ласковыми, мягкими, не мешали, и яркий свет — ничего!

— Деревня есть деревня, — улыбнулся Радин. — Мне ведомо, Александр Матвеевич, что вы пристально занимаетесь личностью моего безвременно погибшего ученика и друга... Значит, хотите знать и мое мнение... Так вот! Столетова я воспринимал как красный цвет...

Он хрипло засмеялся и замолк, словно для того, чтобы Прохоров мог неторопливо подсчитать шансы на успех. Во-первых, не было уже никаких сомнений в том, что учитель Радин — сильный человек; во-вторых, репликой о красном цвете, разноцветными стенами, салфетками, торшерами Викентий Алексее-

вич поддерживал надежды Прохорова на успешное окончание столетовского дела, которое теперь — так интуитивно предчувствовал капитан — зависело только от слепого учителя Радина. Вот и дальнейшие слова Викентия Алексеевича оказались нужными.

— Вы, наверное, обратили внимание, Александр Матвеевич, на разноцветные салфетки, занавески, стены... — сказал он. — Это сделано для того, чтобы я мог ориентироваться по цвету... Сейчас я густо чувствую розовость салфетки, и знаете: меня неудержимо тянет пощупать ее. Так за чем дело стало? Пощупаю!

Они одинаково улыбнулись, когда Викентий Алексеевич положил пальцы на салфетку, ласково погладил ее: «Розовая, теплая!» После этого стало тихо, и Прохоров подумал, что он поступает нечестно, когда беспрепятственно — без ответного взгляда — наблюдает за лицом слепого человека. Прохоров покраснел, потеряв вальжность, осторожно заерзал на стуле, а Викентий Алексеевич сделал губами такое движение, словно сдувал со щеки муху.

— Если вам это интересно, Александр Матвеевич, то... Андрея Лузгина я воспринимаю, как голубой цвет, технорука Петухова — вижу серым, Людмилу Гасилову — зеленой, Анну Лукьяненко — бордовой, Соню Лунину — розовой... — Он забавно сморщил губы. — О, в деревне тайн нет! Петухов только сядил на стул в кабинете Пилипенко, а мне уже было известно, что «милиция заарестовала анжинера»...

В этой трехцветной комнате, оказывается, тоже вели следствие: учитель следил за каждым шагом Прохорова, мысль Викентия Алексеевича шла примерно теми же ходами, что и прохоровская, ассоциации были тождественными, и Прохоров быстро спросил:

— Как воспринимается Петр Петрович Гасилов?

Викентий Алексеевич замер, притаился.

— Гасилов мною в цвете не воспринимается! — тихо произнес он. — Да, да. Гасилов тот человек, мимо которого можно пройти, не заметив!.. Что с вами, Александр Матвеевич?

Прохоров подул на кончики пальцев.

— Вот уж этого я вам не скажу, Викентий Алексеевич... Как вам не стыдно знать больше милицейского крючка?

Было тихо, как в глубоком колодце, пятисотсвечовая лампочка пощелкивала, погуживала, огромные окна были черны, разноцветные стены воспринимались стрелкой компаса.

— Поразительно! — задумчиво сказал Радин. — Гасилов не воспринимается в цвете, но у него умное, сосредоточенное тело... Весьма желательно, Александр Матвеевич, чтобы вы не пропустили мимо ушей мои сугубо специфические рассуждения о теле Петра свет Петровича... Это, пожалуй, единственное, что он передал вместе с генами дочери... Некый пошляк из школь-

ной учительской о Людмиле сказал: «Не тело, а божественная поэма!»...

Закинутое лицо Викентия Алексеевича повернулось к лампочке, как подсолнух к солнцу, пальцы опять нашли розовую салфетку.

— Младший лейтенант Пилипенко — мой племянник! — смеялся Радин. — Пришел взволнованный, злой, черный и выпросил два тома «Тысячи и одной ночи»... Заморочили вы ему голову с вашим: «И это все о нем!»... Ну-с, а теперь, благословясь, поедем... Как пишут в старинных романах, стояла дружная весна, цвела черемуха, и солнце не только светило, но и грело...

За шесть лет до происшествия

...цвела черемуха, стояла ранняя весна, солнце светило, грело, и Женька Столетов впервые почувствовал, что черемуха пахнет не только черемухой, а лунные ночи могут причинять такую боль, словно в грудь вонзается тонкий нож. Ледяные сосульки пахли волосами Людмилы Гасиловой, сердце обрывалось и летело в пустоту, когда ржали на конюшне кони, собачий лай по ночам раздавливал грудь тоской, пугали самые простые вещи — на уроке физики он вдруг побледнел при виде пустой стеклянной колбы, а по дороге домой похолодел оттого, что ступил резиновым сапогом в голубую лужицу, а однажды...

...однажды под вечер, когда солнце ушло за голубые верети и киренные тени катились по деревне, когда радиоприемник в комнате матери скликал тоску скрипкой, а за соседней стенкой кашлял дед, Женька дочитывал последние страницы романа Гюго «93 год»... Уже отзаседал суд, обвинивший Гавена, уже его учитель и друг сказал роковые слова, уже готовилась гильотина. Не ведая беды, Женька перевернул последнюю страницу, вздохнув протяжно, дочитал роман до последней точки.

На потолке догорал розовый отблеск солнца, трещинки и линии на толстом слое известки образовывали знакомую тигриную морду с прижатыми ушами, торчал дурацкий неизвестно для чего и кем вколоченный в потолок гвоздь. «Я тоже умру!» — спокойно подумал Женька. Прошла секунда, вторая, третья — в комнате произошла какая-то смутная, незаметная перемена, хотя все оставалось на местах: отблески заката, трещины на потолке, гвоздь.

«Я тоже умру!»

С перехваченным горлом, неподвижный, Женька разминал пальцами шейные мускулы, чтобы хватить хоть маленький глоток воздуха, потом тонко закричал и все-таки на несколько мгновений потерялся в темноте... Он пришел в себя от прикосновения холодного стекла. Граненый стакан плясал у стиснутых губ, перевернутое, мерцало лицо матери, сбоку торчала рыжая борода деда, бледнела щека отчима.

В комнате было так же темно и так же пахло лекарствами, как бывало, когда он болел корью и мать занавешивала плотными шторами окна.

— Женька, Женька!

Он послушно взял в губы дрожащий край стакана, отпил несколько глотков воды.

— Смотри-ка ты,— удивленно сказал он.— Я никак в обморок брякнулся...

Родители облегченно улыбнулись, мать, вздохнув, хотела что-то сказать, но отчим положил ей руку на плечо, дед оглушительно прокашлялся.

— Спокойной ночи, Женька!

Весь вечер и бессонную ночь Женька боялся вспоминать о романе; всю ночь на столе горела настольная лампа — то затуманивалась, то вспыхивала ярко, когда на электростанции менялась нагрузка. У воображаемого тигра на потолке хищно торчали клыки.

Утром, опаздывая в школу, Женька испытывал необычное: все на свете казалось уменьшившимся. Он посмотрел на клуб — маленький и ветхий; перебросил взгляд на особняк Гасилова, казавшийся раньше огромным,— клетушка; заинтересовался школой — ее необычная для Сосновки двухэтажность показалась придуманной, и Обь была не такой широкой, как вчера, и небо опустилось до антенн.

С классом произошло то же самое. Он показался маленьким и низким, окна — крошечными, черная доска — небольшой, и очень маленькой, птичьей показалась голова Людмилы Гасиловой, хотя солнце освещало пышные, высокие волосы, была красивой крепкая шея над девственными кружавчиками школьной формы.

Ровно через три минуты после звонка в класс изящно впрорхнул преподаватель литературы Борис Владимирович Сапожников, молодой, белокурый, с нежной улыбкой на квадратном лице — кумир девчонок девятого и десятого классов.

— Доброе утро, друзья мои! Весна на дворе. Настоящая весна.

В раскрытые настежь окна на самом деле струился весенний пестрый воздух, на высоких тополях собирались раскрыться надтреснутые почки, над кромкой сосняка вращалось аккуратное солнце; пахло озоном, парты празднично желтели, на черной доске лежали веселые молодые блики, и все это было так свежо, так по-утреннему первозданно, что Женька облегченно вздохнул: «Обойдется!»

— Валентина Терентьева! Извольте отвечать!

Терентьева у доски всегда терялась, зная урок, путалась, и Женька опустил голову, стараясь не слушать, задумался — вспомнился вчерашний день, а среди всего — чалый жеребенок. Заблудившись, потеряв мать — пожилую кобылу Киску, жере-

бенок распластывался над землей длинным телом и тонкими ногами; летели — отдельно от него — грива и хвост, с лакированных копыт падали яркие капли весенней воды... Потом по тем же лужам, не разбирая дороги, прошел пьяный дядя Артемий — сторож при лесопунктовском гараже, — увидев Женьку, сказал загадочно: «Палка-то, она о двух концах, язви ее, о двух концах!»...

— Хорошо, садитесь, садитесь!

Преподаватель литературы Борис Владимирович прошелся возле доски, красивым движением головы закинув назад волосы, спрятал руки за спину, чтобы не делать жестов. «Жестикуляция, друзья мои, обедняет речь...» У него действительно был ясный, высокий лоб, глаза улыбались дерзко; когда Борис Владимирович читал стихи Блока, у девчонок сохли губы.

— Не удивляйтесь, товарищи, если я в трактовке образов Евгения Онегина и Ленского буду придерживаться несколько иной точки зрения, нежели вы найдете в учебнике! — насмешливо сказал преподаватель. — Позвольте ваше молчание считать согласием...

Женька притих. Он любил именно вот такие начала уроков, по-мальчишечьи восхищался необычностью молодого литератора, не дышал, когда Борис Владимирович говорил: «В учебнике — для экзаменов, в классе — для души!»

— Общепринятая точка зрения такова... Евгений Онегин рассматривается как типичный продукт эпохи, превратившей его в так называемого лишнего человека... А вот что до меня, то мне Онегин кажется пре-е-л-е-стным...

Борис Владимирович неторопливо прошествовал между партами, повернувшись на каблуках, прислонился спиной к стене в метре от Женьки. Пахнуло запахом крепкого одеколona, рядом с Женькиным плечом повисла тонкая кисть руки с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце; рука была нежная и белая; длинные, аккуратно подстриженные ногти казались девичьими, мизинец был оттопырен, как у женщины, держащей стакан.

— Самолюбивая посредственность Ленский, — со вкусом проговорил Борис Владимирович, — настолько масштабно незначительнее Онегина, насколько яркая личность крупнее полного отсутствия личности!

Он отправился в обратный путь между партами.

— Поймите, друзья мои! Лиричность, способность любить, увлеченность, поэтичность Ленского блекнут в сравнении с онегинским умом, волей, презрением к смерти, знанием человека и его слабостей...

Женька жадно глядел в удаляющуюся спину учителя, незаметно для самого себя наклонялся вперед, вытягивал шею. Отчего-то опять вспомнилось вчерашнее: вздыбившиеся от ужаса волосы, холодный край стакана, клыкастый тигр на по-

толке; он снова почувствовал головокружение, сердце тонко заныло.

— Муть! — вдруг сказал Женька развязно. — Я так не хочу!

Было сладостно наблюдать, как быстро зауживается широкая учительская спина, возникает пораженное лицо, слишком яркий для серого костюма, почти красный галстук. По-прежнему чувствовалось, что есть связь между кошмаром прошедшей ночи и тем, что говорил Борис Владимирович, — каким-то образом Онегин, Ленский имели отношение к Женькиному вчерашнему состоянию.

— Что вы сказали? — послышался издалека голос Бориса Владимировича. — Повторите, Столетов!

— Я сказал: муть!.. Муть, муть, муть!

Женька, наверное, походил на дятла, когда клевал слово «муть», парта ему мешала, он выпрямился, уперся затылком в стену. Неторопливо повернулась к нему Людмила Гасилова, испуганный Андрюшка Лузгин бледнел.

— Изволь объясниться, Столетов! — насмешливо сказал Борис Владимирович. — При моем уважении к личности я способен простить грубость, но вправе потребовать объяснения. Пожалуйста!

У него был такой сильный голос, такие по-молодому обиженные глаза, что Женька беспомощно замычал. Было жалко Бориса Владимировича, стыдно перед Андрюшкой, страшно за самого себя. Помогла Людмила Гасилова с ее безмятежным лицом, пышными волосами, непонятной улыбкой. Она глядела на Женьку спокойно, терпеливо ждала, когда он скажет что-нибудь умное.

— Плохо жить, если Ленский — посредственность! — проворчал Женька. — Я не хочу, чтобы он был таким!

Ему отчего-то стало легче. К груди прихлынуло горячее, затылок почувствовал верную твердость стены.

— Вы говорили, что любите Пушкина, а ведь Ленский похож на него... — хамским тоном сказал Женька. — Так и Лермонтов думал...

Покачивающийся с носков на каблуки Борис Владимирович неожиданно стал так ненавистен Женьке, что зашипало в глазах. Блестело на среднем пальце золотое кольцо — вызывало душадую ненависть, лежала на высоком лбу картинная белокурая прядь — он задыхался от презрения к ней, обиженно дрожали глаза — он видел, что они похожи на шарики от детского бильярда.

— Если вам хочется быть Онегиным, — будьте! — с дерзкой улыбкой разрешил Женька. — Вы тоже неживой, придуманный...

— Покиньте класс, Столетов! На перемене зайдите в кабинет директора...

В коридоре Женька подошел к окну, прижавшись разгоряченной щекой к стеклу, замер в медленной тоске.

Школьный коридор звенел пустотой, но покоя не было — за коричневыми дверями пошумливали ребята, слышались голоса учителей, скрипели парты, шаркала валенками сторожика тетя Дуся и, глядя на Женьку, вздыхала. Он думал: «Плохо, ой как плохо!» — и чувствовал, что надо что-то предпринять: или разрыдаться на весь пустой коридор, или, достав из кармана пачку «Прибоя», закурить в десяти метрах от директорской двери. Он осторожно, краешком мысли, вспомнил о казнии Гавена, потом, мысленно захлопнув книгу, произнес шепотом: «Я тоже умру!» Должна была опять открыться черная пустота и бесконечность над стрехой родного дома, увидеться холодный Млечный Путь, остановиться сердце, но ничего не произошло... Деревенская околица виднелась через школьное окно, торчал скучный скворечник, голубела тайга. Не было, нет, не было смерти, пахнувшей типографской краской и дерматинном; были только пустота, усталость, скучные воспоминания о бессонной ночи да боль в пояснице.

Когда зазвенел звонок, Женька тихонечко побрел к дверям директорского кабинета, нахально улыбнувшись, прислонился к затемненной стенке. Все было известно наперед: добродушный директор Петр Васильевич будет охать и жалобно вытаращиваться, жалеть замечательного сельского врача-энтузиаста Евгению Сергеевну Столетову, сочувствовать выдающемуся советскому метеорологу-энтузиасту Василию Юрьевичу Покровскому. Потом придет и умостится на кончике соседнего стола Викентий Алексеевич, подумав, непременно скажет: «Весьма, весьма огорчен!» — и протяжно вздохнет.

Бориса Владимировича все не было, затем над головами первоклассников появились наконец его прямые плечи и высоко вознесенная голова. Преподаватель шел неторопливо, сморщившись от шума и суеты, досадливыми движениями рук разгребал ребячью толпу.

— Ага, ты на месте, Столетов! — проговорил Борис Владимирович. — Ну, что же, пойдём-ка в учительскую! Шагай-ка за мной, Столетов... Вали-ка за мной, как говорят в нашешенской деревне...

Женька угрюмо сопел, потом сказал:

— Вы меня пригласили в кабинет директора, а не в учительскую...

Преподаватель смотрел на Женьку весело, насмешливо.

— Забавное приключение! — великодушным тоном проговорил он. — За-а-бавное! В твоём возрасте, Столетов, естественно хотеть быть загадочным лишним человеком, одеться во флер таинственности... Н-да! Юноши твоего возраста, Столетов, убиенным Ленским быть не хотят! Невыгодно, дорогой мой! А ты?

Женька глядел в ускользящие серые глаза, видел нервную жилку на крепкой шее, беспокойный палец с обручальным кольцом. Потом Женька медленно-медленно подумал: «Не хочет он

меня вести к директору...» Конечно! Добродушный директор, поохав и поахав, непременно заинтересуется новой трактовкой образа Онегина, завуч Викентий Алексеевич наверняка доберется до фразы: «В учебнике — для экзаменов, в классе — для души!»

Потрясенный Женька, не мигая, смотрел в серые глаза преподавателя литературы. «Он боится, боится!» Медленно-медленно наплыла острая жалость к учителю; жалким, тонким казалась золотое кольцо, самодельным — купленный в городе галстук, обнаружились седина, начинающая трогать виски Бориса Владимировича, корневшего сутками над стопками тетрадей.

— Борис Владимирович! — прошептал Женька. — Борис Владимирович... Это ничего, это пустяки... Я читал Писарева, знаю, что это он говорил про Ленского «самолюбивая посредственность»... Я скажу Петру Васильевичу, что я виноват во всем...

Вчерашний вечер, длинная ночь, птичья головка Людмилы Гасиловой, холодный край стакана — все сошло, сцепилось, взяло Женьку за горло. Он согнулся и тихо заплакал — на виду у всей школы, возле дверей директорского кабинета.

Время приближалось к десяти, графинчик с водкой был ополовинен, на тарелках не оставалось ни мяса, ни овощей, и уже заканчивалось гостеванье капитана Прохорова в трехцветной пустой комнате.

— Мой ученик и друг, Александр Матвеевич, был естествен, как... как молодая репа... В тот же вечер мы с ним долго беседовали. Впечатление было странное. Он был скучным, как старик, и наивным, словно первоклашка... И всего только одни сутки! Не знаю, как у вас, но в моей молодости такого резкого перехода, кажется, не было... В каком возрасте стрелялся Алеша Пешков?

— Помнится, в семнадцать...

— Ой ли?

Перед Прохоровым лежала еще одна фотография Столетова, принесенная Викентием Алексеевичем из спальни. На ней Женька стоял в петушиной позе, со специально прищуренными глазами, с расчетливо закинутой назад головой.

— Мне трудно говорить о Женькиных любовях! — сказал Викентий Алексеевич. — Я не выношу Людмилу Гасилову, полон нежности к Соне Луниной и до сих пор ханжески побаиваюсь Анну Лукьяненко, пытавшуюся соблазнить моего Женьку...

— Он был влюблен в Гасилову?

— Он думал, что влюблен...

В спальне мелодично, громко и неторопливо пробили часы. Прохоров узнал по бою высокую коробку из дерева, длинный

маятник, вычурные стрелки на медном циферблате; часы были этакie глупые, купеческие, с осипшим пружинным голосом и двумя ключами — для хода и боя, и как раз такие, какие капитан Прохоров собирался купить в комиссионном магазине, как только получит отдельную квартиру.

— Сейчас откроется дверь и войдет Лида! — сказал со снисходительной улыбкой Викентий Алексеевич. — Это, я вам скажу, настольно европеизированный человек...

И действительно: в комнату вошла Лидия Анисимовна — прохладная и свежая, вечерняя и оживленная. По ее виду можно было заключить, что на улице тихо и звездно, что деревня понемножку успокаивается, а река становится пустынной. Мокрые волосы женщины блестели, пахло от нее обской водой, и Прохоров, вспомнив о своем решении каждый день купаться, загрустил. А Лидия Анисимовна подошла к столу, летуче поцеловав мужа в щеку, села.

— Вы только поглядите на них! — насмешливо сказала женщина. — Они еще только начали разговаривать...

После этого Лидия Анисимовна смахнула с брови капельки речной воды и посмотрела на Прохорова прямо, дерзко и так откровенно неприязненно, что он, ничего не поняв, невольно посторонился взглядом. Лицо Лидии Анисимовны мгновенно постарело, сверкнули между губами остренькие зубы.

— Они еще только начали разговаривать... — звонким голосом повторила Лидия Анисимовна. — О прогулке они забыли...

И только тогда Прохоров понял, что произошло. «Я должен был предугадать это!» — подумал он, а вслух сказал:

— Я могу прийти завтра, Викентий Алексеевич.

Слепой учитель молчал грустно, безнадежно; глазницы снова сделались морщинистыми, провалившимися, и он уже не походил на греческие скульптуры, у которых отсутствие живых глаз кажется естественным и потому незаметным. Как и Прохоров, он не знал, что сказать в злой и напряженной тишине.

— Идите гулять! — усмехнулась Лидия Анисимовна. — Зачем приходите еще завтра, когда можно продолжить разговор сегодня... Идите, идите!

Она уже ничего не скрывала... «Ты увидишь луну, реку, дома! — говорило лицо женщины. — А он... — Опять сверкнули мелкие зубы. — Ты любишь его мужеством, станешь рассказывать за чашкой чая знакомым, с каким удивительным человеком познакомился в Сосновке, а он...»

— Вам еще неизвестно, Прохоров, почему в нашем доме нет ни одного мужского головного убора? — механическим голосом сказала Лидия Анисимовна. — Ну, это дело времени! Рассказчик наверняка найдется...

— Лида!

— Не мешай, Викентий!

Не спуская глаз с Прохорова, она медленно засмеялась.

— Мы не носим головные уборы стого, что боимся потерять ориентировку... Однажды у Викентия веткой тополя сшибло с головы шапку, он, естественно, нагнулся, чтобы поднять ее, и потерял ориентировку... Это было зимой. Сорок три градуса мороза!

— Лида!

— Я прошу тебя не мешать, Викентий!.. А знаете, что мы ненавидим?

— Лида!

— Мы ненавидим сельское строительство... Когда в поселке возникает новое здание, нам хочется взорвать его... Успокойся, Викентий! Я кончила... Отправляйтесь гулять!

Она негромко хлопнула ладонями по столу, поднявшись, насмешливо поклонилась и пошла в спальню — вся ненависть, презрение. Хлопнула оглушительно дверь, занавески закачались, задребезжала пробка в графине, а потом стало очень тихо. Опять было слышно, как потряскивает, погуживает что-то в электрической лампочке.

— Нам пора! — сказал Викентий Алексеевич. — С десяти до одиннадцати я привык гулять...

Но и сам не торопился: посидел еще несколько секунд в тихой задумчивости, потом повернул лицо к электрической лампочке, зафиксировав положение, на мгновение замер. Дальше Викентий Алексеевич действовал как зрячий человек: поднявшись, решительно прошел по комнате, отворил дверь в коридор, двинулся серединой; миновал веранду и крыльцо, похрустывая песком, пошел к калитке, отворил ее и сразу повернул налево. Викентий Алексеевич не пользовался палкой, руки привычно заложил за спину, а линии плеч, шеи, лица по-прежнему напоминали чуткую локаторную конструкцию.

— Тепло! — не останавливаясь, сказал Викентий Алексеевич. — А мне казалось, что прохладнее...

Спелая, как растрескавшийся помидор, уютная, как темнота под одеялом, ночь покалывала землю длинным светом звезд, катилась по блестящей дороге колом луны; вздымалась к небу черная река, в недалеком лесу аюкала ночная пичуга. На улице Октябрьской никого уже не было, собаки лаяли редко и неохотно, а на реке жил в торопливой судороге мотора, как бы поедая самого себя, случайный катершико, и по-прежнему, не уставая, постанывала в ельнике неумелая гитара.

Викентий Алексеевич шел первым — высокий, сутуловатый, с прямыми офицерскими плечами. Он был одет в плотно облегающие брюки, лыжного типа куртка сидела на нем плотно, все пуговицы были застегнуты, а длинные шнурки ботинок обвязаны вокруг щиколоток — все целесообразно, продуманно.

Повиляв по улице Октябрьской, дорога кончилась, уперевшись в синий лес, рассеченный надвое просекой. По ней они и пошли дальше — на возвышенность обского яра, поближе к

мерцающим звездам, к той точке берега, где река, живущая далеко внизу, была совсем не слышной, но зато Сосновка лежала под ногами с отчетливостью хорошо освещенного аэродрома. Остановившись на самой верхотуре, Викентий Алексеевич сделал медленный поворот на девяносто градусов, расположив щеки ровно посередине между желтой луной и темной пропастью реки, спокойно дождался отставшего Прохорова.

— Вы простили мою жену? — спросил он, когда Прохоров приблизился. — Это я виноват: потерял ощущение времени...

Прохоров не ответил и, видимо, поступил правильно, так как Викентий Алексеевич засмеялся. Теперь, ночью, когда глазницы всякого человека кажутся темными, а зрачки не видны, лицо Радина было обыкновенным — прямой, чуточку толстоватый нос, спортивная подобранность щек, раздвоенный подбородок.

— Я добрее жены! — сказал Викентий Алексеевич. — Мне легче быть добрым: слеп я, а не Лида...

После этого они засмеялись оба.

— Я родился в Сосновке, — сказал Радин, — а за годы войны деревня не переменялась... Вы деревенский?

— Да!

— А жена из города... Ей трудно понять, что для меня Сосновка — большая привычная комната! Лида боится новых домов...

Прохоров был уверен, что Викентий Алексеевич зримо чувствует пустоту провала, звезды над головой, притаившийся мрак сосняка, слюдяной блеск дороги за спиной.

— Я знаю о столетовской коллекции карманных электрических фонариков... — сказал Прохоров. — Вы о ней тоже знаете, Викентий Алексеевич.

— Конечно! В деле описан шрам на его виске?

— Да.

— Шраму девять лет. Женька напоролся на сучок, когда с завязанными глазами, подражая мне, ходил по Сосновке...

Скрылся в темени катеришко-самоход, на реке теперь самолюбиво пыхтел смутный в очертаниях, но с яркими огнями на мачтах буксир; река бесшумно — целиком — неслась на север, висящая над ней луна походила только на луну — такая была неповторимая, полнокровная.

— Я должен заявить, — шутиливо сказал Прохоров, — что тоже не отношу себя к тем людям, которым можно запросто положить палец в рот! Если вы каждодневно гуляете по этой дороге с десяти до одиннадцати, то вы единственный человек, мимо кого можно пройти без риска быть опознанным... — И он спокойно добавил: — Простите!

Прохоров терпеливо ждал, пока Викентий Алексеевич припомнит вечер двадцать второго мая, мысленно пройдет по дороге, остановится на круче, прислушается к ночной тишине —

звучат или не звучат шаги. Прошло не менее двух минут до того мгновения, когда Викентий Алексеевич, коротко передохнув, сказал:

— Мимо меня действительно проходил незнакомый человек. Это мог быть и Заварзин, его я не знаю... Мать честная! Он мог не принять меня в расчет! Но как же я узнаю, что это был Заварзин?

Прохоров на секундочку замялся.

— Нужен следственный эксперимент, — наконец решительно сказал он. — Проведем мимо вас пять знакомых и незнакомых человек, среди которых будет Заварзин...

В тишине раздались коротенькие, еле слышные металлические удары — это отсчитывали одиннадцать часов на руке Викентия Алексеевича. Когда они замолкли, сделалось совсем глухо и от этого особенно уютно, тепло, словно температура зависела от интенсивности звуков. Слепой учитель опять поднял голову, покачал ею так, точно гладил кожу лунным светом.

— Еще есть чисто милицейские вопросы?

— Только один, Викентий Алексеевич! Что происходило на лесосеке двадцать второго мая, кроме ссоры Столетова с Аркадием Заварзиным и стычки с мастером Гасиловым?

— Странное происходило! — быстро ответил Радин. — Накануне Женька явился ко мне и еще на пороге заорал: «Гасилову — кранты!»

— Как это понять?

— Вот и я спросил Женьку: «Как это понять?» Но он только орал: «Кранты!»

— И все?

— Все! Правда, уходя, загадочно шепнул: «После окончания операции будет доложено, комиссар».

Они стояли неподвижно, грустные, раздосадованные. Потом Викентий Алексеевич весело спросил:

— Хотите знать, как я воспринимаю вас? Вы темно-коричневый... А лет десять назад были красным, как Женька...

Помолчав, капитан Прохоров принужденно оживился.

— Я был просто красным или ярко-красным? — спросил он.

Под ногами лежала ночная Сосновка — в редких огнях, с разъединственным фонарем возле конторы, с блестящей пустотой дороги. По-ночному хрипло лаяли собаки, звезды качались на зыбких ниточках собственных лучей, по-прежнему сладко и тревожно брэнчала в ельнике гитара.

В пилипенковском кабинете лунный свет отъеденным ломтем лежал на раскладушке, оконные стекла синели, часы-ходики гвоздями вколачивали в стенку жаркие секунды душевной ночи,

Не зажигая света, Прохоров подошел к раскладушке, сел на стул, лениво потянулся. Сколько обременительных поступков надо было произвести: расстелить постель, раздеться, лечь, закрыть глаза, зная, что не уснешь...

Он мягким движением пальцев полез в карман, вынул плоский кошелек, взвесил его на ладони, снова лениво потянулся и почувствовал, какой он, Прохоров, весь взбудораженный, горячий, неспокойный до болезненности. И воображение оказалось горячечным, нервным... Вот вам пожалуйста! Вошла в комнату Вера, покачиваясь на высоких каблуках, укоризненно покачала головой, вынув из его пальцев черный кошелек, насмешливо сказала: «Ты станешь наркоманом, Прохоров!»

Прохоров сосредоточенно считал: «Сегодня вторник... Значит, в последний раз я пил снотворное четыре дня назад... А на пароходе... При чем тут пароход!» Он сунул коробочку обратно в кошелек, решительно щелкнув замком, принялся лениво расстелить постель — снял и аккуратно свернул на восемь долек пикейное одеяло, поправил углы пододеяльника, взбил слежавшиеся подушки. Потом быстро разделся. Засыпал он всегда на правом боку, ладонь подкладывал под щеку, колени подтягивал к животу. Точно так Прохоров устроился и сегодня — закрыл глаза, перестал двигаться, два-три раза легонько вздохнул... И началось! В комнату снова вошла Вера, походила бесцельно из угла в угол, шелестя фольгой, развернула и съела шоколадную конфету; потом она сказала, что не звонила сегодня от десяти до одиннадцати и звонить не собирается. Тут неожиданно явился в кабинет завуч сосновской школы Викентий Алексеевич, по-хозяйски усевшись, критически поджал губы: «Весьма, весьма прискорбно, Александр Матвеевич, что десять лет назад вы были ярко-красным, а затем... потемнели!»

...Слепой учитель был прав: капитан Прохоров не только потемнел, а побурел, залесневел, покрылся бронированной скорлупой лени, сделался нерешительным, как сороконожка, скучным, как зимний вечер за подкидным дураком. Как он живет, черт побери! Двенадцать часов на работе, ужин в маленькой столовой, где спиртные напитки распивать воспрещается (шницель, два стакана крепкого чая), вечер в холостяцкой квартире. С друзьями встречается только на работе; ни в кино, ни в театры не ходит, матери последний раз писал месяц назад; на соседей по лестничной клетке рычит, а коммунальных сожителей открыто ненавидит. А они обыкновенные хорошие люди. Им хочется в субботу и воскресенье посидеть с гостями, поразговаривать, попеть песню «Подмосковные вечера». А как зазнался Прохоров! Как зазнался этот областной капитанишко! Все у него бездари и кретины, все, понимаешь ли, не стоят прохоровского мизинца... Он даже не коричневый, капитан Прохоров, а черный, он... Валаамова ослица!

Прохоров задумался: можно ли называть самого себя Валаамовой ослицей? Судя по тому, что ослица женского рода, — нельзя, но в принципе... И по звучанию Валаамова ослица очень шла человеку, который недавно сказал любимой женщине, то есть Вере: «Не хочу антиквариата!» Она с глубокой печалью ответила: «Дурачок!»

Черный кошелек Прохоров оставил в кармане пиджака, пиджак повесил на спинку стула (препротивная холостяцкая привычка!), карман с кошельком поэтому находился на расстоянии вытянутой руки от раскладушки... Сама «Валаамова ослица» лежала на левом боку, старательно зажмурировала глаза и не хотела спать... «Буду считать и погонять слонов!» — решила она.

Первый слон был расплывчатый, нематериальный, по сеням не прошел, а проплыл, ни одной половицей не скрипнул, вошедши в пилипенковский кабинет, медленно растаял; второй слон оказался бесхвостым, плоским и одноглазым — на спине у него сидел плоский старец Валаам и помахивал гусиным пером.

Третий слон был трехмерным, в сенях половицами не скрипел, а грохотал, в кабинетные двери пробрался с трудом — пришлось сгибать морщинистые ноги. На серой попоне сидел Аркадий Заварзин, махал валаамовским гусиным пером и нежно улыбался Прохорову: «Вы ошибаетесь, капитан! Я вовсе не ехал на одной тормозной площадке с вашим Столетовым!»

...Прохоров перевернулся на спину, отдуваясь, подмигнул светлому потолку: «Плевал я на слонов! Надо считать...» ...Через три секунды выяснилось, что у цифры 3 наблюдается полногрудость, 5 похожа на полковой барабан с палочками, 7 стремится к обособленности, и вообще мысль зацепилась намертво за рассказ Чапека «Поэт». Однако он упрямо считал: «...девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два...» Двадцать два?

Что произошло в лесосеке 22 мая? Как понимать: «Гасилову — кранты»? Отчего кажется, что созидательный Петр Петрович Гасилов имеет пря-а-мо-е отношение к смерти Столетова?

Гасилов — Заварзин — Столетов...

Людмила — Софья — Анна...

Случайно — подтолкнули — толкнули — сбросили...

Пе-ту-хов!

Нок-си-рон!

«Венгерское успокаивающее средство ноксирон не относится к числу барбитуратов, то есть к той группе снотворных, которые... Ноксирон является успокаивающим и снотворным средством. Сон после приема препарата наступает через 20—30 минут и продолжается 5—6 часов. В отличие от барбитуратов он не оказывает угнетающего влияния на дыхание и кровооб-

рашение, на кроветворные органы, печень и почки. Препарат мало токсичен, быстро выводится из организма почками...»

«Вот это память!» — восхитился самим собой Прохоров.

Луч зеленой важной звезды коллол глаза. Он медленно вытянул руку, не глядя — вот скотина! — вынул из кармана кошелек, достав пилюлю ноксирона, обнаружил — трижды скотина! — что стакан с водой стоит на тумбочке.

Выпив снотворное, Прохоров вслух выругался:

— Черт знает что!

...Каждое новое дело он начинал изматывающей бессонницей, воображение разыгрывалось до болезненности, лобные кости болели, а тут еще радинская водка, ожидание телефонного звонка Веры, постоянная мысль о родителях Евгения Столетова, загадочный Петр Петрович Гасилов, странная тайна майского дня...

Минут через двадцать Прохоров заснул — маленький, худенький, бледнолицый, с крепко зажмуренными глазами и насмешливо выпяченной нижней губой...

9

И началась жара великая...

Следующий день с утра вызрел такой душный и горячий, что уже на рассвете Обь дымилась маревом, небо над ней возникло раскаленное добела, деревья в палисадниках сухо пошевеливали листьями, а воздух сделался липким, как плохая клеенка. И к полудню в Сосновке житья не было — все слепило и обжигало; деревянный тротуар через подошву туфель горячил ноги, животные притихли, а куры лежали в лопухах с обморочно закаченными глазами.

Обливаясь потом, но при галстукке и пиджаке капитан Прохоров неторопливо шествовал по деревне, заложив за спину руки, производил осмотр сосновских домов со своими особыми, милицейскими целями... Вот небольшое строение полуказенного типа — здесь проживают технорук Петухов и холостой техник Гущенко; далее следует дом бригадира Притыкина — толстые бревна, четыре окна, кирпичный фундамент, железная крыша; вот здесь имеет вид на жительство напарник погибшего Столетова тракторист Никита Суворов — в домишке пять комнат, веранда огромная, огородишко можно превратить в полнометражный стадион; вот еще одно монументальное строение... А!

Одним словом, хорошо, богато, как выразился участковый Пилипенко, жили сосновские лесозаготовители, а когда Прохоров заглянул в пилипенковскую записную книжку, то сухо поджал губы — обыкновенный тракторист вместе с северной надбавкой зарабатывал в месяц не менее трехсот рублей, а лучшие — Андрюшка Лузгин, Борька Маслов, погибший Женька Столетов — иногда получали и четырехста. Что касается бывшего

уголовника Аркадия Заварзина, то его лицевой счет находился перед глазами Прохорова в виде лиственничного добротного дома.

Богато, богато жили сосновские лесозаготовители! Всего четыре года прошло с тех пор, как освобожденный из исправительно-трудовой колонии Аркадий Заварзин, но уже отгрохал себе такой домишко, что разлюли-малина! Построенный в кредит особняк со всех сторон обшит свеженьким тесом, крыша шатровая, фундамент кирпичный, мощные ворота содрогаются от лая свирепого пса, посаженного на звенящую цепь; на окнах — резные наличники, крыльцо тоже украшено затейливой резьбой, в петухах, а на трубу нахлобучена этакая корона из листового железа. В доме, должно быть, не меньше четырех комнат, хотя семья Заварзина состояла из трех человек — он сам, жена Мария, двухлетний мальчишка по имени Петька.

— Шикарно! — вслух сказал Прохоров. — Богато!

Еще немного постояв возле заварзинского дома, капитан застенно улыбнулся, промокнув платком пот на лбу, пошел дальше. Он, конечно, не мог еще ходить по деревне с завязанными глазами, но довольно уверенно разбирался в обстановке — вот это Трудовой переулочек, вот это — переулочек Зеленый, вот это — еще один Трудовой переулочек, а вот это — детский сад и ясли. Построены они буквой Г, обнесены невысоким забором, посередине пасутся разнокалиберные ребятишки, похаживает грандиозная от полноты и белого халата воспитательница.

— Здравствуйте!

Воспитательница через низкий забор подозрительно оглядела Прохорова, нагнав на подбородок три жирных складки, бегло заглянула в удостоверение работника уголовного розыска.

— Кого надо?

— А Петьку Заварзина!

Двухлетний сын Аркадия Заварзина сидел на деревянном торце песочницы, наблюдал за тем, как узкоглазая девчонка строит домик из серого песка. На мальчишке была аккуратная рубашечка с белыми пуговицами, штаны на помочах, желтые ботинки; мальчишка был свежий и розовый, как молодая морковь, серые глаза возбужденно блестели, белокурые волосы вились. Нижняя часть лица Петьки была отцовской, все остальное, видимо, материнским — курносость, страстные бровки, ладные круглые уши.

— Шумно у вас очень! — сочувственно сказал Прохоров монументальной воспитательнице. — А тут еще жарница... Не продохнешь!

— Шум у нас обыкновенный...

— Тогда до свиданья! Желаю вам успехов в труде и личной жизни!

Раза два оглянувшись, Прохоров двинулся дальше по пыльной дороге, посмеиваясь над воспитательницей, похожей на ку-

рицу с растопыренными крыльями и очень взволнованной прохоровским появлением, хотя разговаривала с ним строго. «Дамочка-то является незамужней!» — думал он, вспоминая востренький взгляд, в котором так и кричало: «Незнакомый мужчина!»

Прохоров вышел на обский берег, подыскал удобное бревно, сел лицом к реке. Аккуратно сложенный пиджак он положил рядом, расстегнул на груди рубаху, но галстук не снял, подумав насмешливо: «Не могу же я представиться Людмиле Гасиловой, так сказать, в неглиже!» После этого Прохоров прислушался к себе и понял, что у него хорошее настроение — было спокойно, иронично, отчего-то утишивалось лихорадочное состояние первых дней работы в Сосновке, и, как всегда, было совершенно непонятно, почему происходит это. Он по-хорошему улыбнулся, когда вспомнил утрешнее...

...Участковый Пилипенко, стоя посередине кабинета, держал нос высоко, сапоги сверкали, румянец лежал на щеках многослойными напластованиями, и все это было заслуженным, так как Пилипенко пять минут назад сообщил такое, что капитан Прохоров на несколько секунд перестал улыбаться. Потом Прохоров сел на кончик двухгумбового стола, сосредоточенно поболтав ногами, почувствовал вдохновение.

Он сказал:

— Найдите, мой родной, Аркадия Заварзина, возьмите подлиску о невыезде и положите ее вот об это место стола...

Потом он снисходительно прищурился.

— Вольно, младший лейтенант! Можете отставить ногу и вытереть с ясного лба обильный пот... Спасибо! А может быть, сядете?

Когда участковый Пилипенко сел и улыбнулся знакомой улыбкой («Болтай, болтай, капиташка, знаем мы вас, как облупленных!»), Прохоров еще раз одобрительно посмотрел на него, затем собрал на лбу морщины и дал душеньке полный разгул.

— Ах, ах, товарищ Пилипенко! — укоризненно сказал он. — Разве можно думать о вышестоящем начальстве: «Давай болтай, болтай — язык без костей!» О вышестоящем начальстве надо думать так: «Ой, не пропустить бы слово, которое оно обронило!» Вы согласны со мной, младший лейтенант Пилипенко?

— Так точно!

Бестя! Говорит: «Так точно!» — а в коричневых глазах насмешка, губы растягиваются — охота хохотать, лицо с плаката: «В сберкассе накопил — машину купил!» — по-молодому оживленно, так как думает обидное: «Ни хрена бы ты не сделал без меня, трепач!» Однако сидит на стуле строго, крепкий такой, здоровый, уверенный в том, что жизнь прекрасна и удивительна, и кожа на лице — без единой морщинки, складочки, темного пятнышка.

— Стыдно, молодой человек, не уважать старших! — ласково продолжал Прохоров. — Признаю: вы накололи технорука Петухова, но ведь и Прохоров не дремал! Мне уже известно, почему Евгений Столетов вырезал из книг и журналов негров. А! Обомлели!

Пилипенко если и не обомлел, то по крайней мере удивился, перестал насмешливо улыбаться и нагло скрипеть новенькой португеей. «Какие негры? Кто вырезал?» — сказали его ореховые глаза, плакатные брови. Потом Пилипенко умудрился в сидячем положении сделать руки по швам — прикоснулся ладонями к коленям.

— Разрешите вас поздравить, товарищ капитан!

Прохорову сделалось совсем весело. Он бросил взгляд в распахнутое окно — голубеет река, покосился на свои туфли — блестят, перевел взгляд на раскладушку — отлично застелена. И сам Прохоров очень понравился себе... Вот сидит перед молодым офицером умудренный опытом и обремененный годами старший товарищ, чуждый сопливой сентиментальности, строгий, но справедливый, учит его уму-разуму. Насмешливые глаза капитана Прохорова полны отцовской нежности, которую приходится скрывать под маской суровости, губы у капитана Прохорова...

— Столетов был хороший парень, но психический, — тоном рапорта произнес Пилипенко. — Когда он еще был живой, я ему сказал, что не уважаю таких, как он...

Прохоров слез со стола.

— А почему же?

— Он тоже переспал с гражданкой Лукьяненко! Убивался по Гасиловой, а переспал с Лукьяненко... Аморалочка?

Прохоров обозлился:

— Вы-то откуда знаете?

— К Лукьяненко зря не ходят!

Младший лейтенант Пилипенко — предполагаемый ученик капитана Прохорова — блестящей стружкой взвился со стула, задрал подбородок, посмотрел на областное начальство насмешливо.

— Разрешите выполнять задание, товарищ капитан?

— Выполняйте, черт... Простите, Пилипенко!

— Пустяки, товарищ капитан!

Дальнейшее было традиционным: ни разу не оглянувшись, забыв начисто о Прохорове, участковый вызывающе прогрохотал половицами сеней и ступеньками крыльца, пошел по деревянному тротуару свечечкой, с такой презрительной спиной, которая говорила: «Плевали мы на вас! Мы свое дело знаем туго!»

— Какой пышный!

После этих слов Прохоров еще немножко постоял у окна, дождавшись, когда Пилипенко завернет за угол, вышел на

крыльцо сам и снова остановился — снимать пиджак или не снимать, идти в галстуке или без галстука?..

...И вот пиджак лежал рядом, галстук был свободно распушен, сам Прохоров, оказывается, находился в хорошем настроении — сидел на бревне, лениво отмахивался от большой настырной мухи, а думал о том, что давно не выдался с рекой... Капитан Прохоров родился в такой же обской деревне, как Сосновка, ему было скучно, когда мимо городского окна текла не Обь, а темная, быстрая и беспокойная Ромь. Что-то в ней было суетное, куда-то она все торопилась, постоянно все-таки опаздывая; берега у Роми тоже не отличались величием, — то под правой рукой у реки жили яры, то под левой, то вообще было трудно понять, равнинная река Ромь или горная и чего ей, собственно, надо. Другое дело на Оби! Здесь только бросишь взгляд на берега, сразу понятно, где север, где юг, где ловятся нельмы и осетры, а где и захудалого чебака не вытащишь. На Оби спокойно, просто, хорошо дышится, мир кажется простым и приятным; можно думать и не думать, вспоминать и не вспоминать... Хорошая, очень хорошая река, эта Обь!

Прохоров краешком уха услышал легкие шаги на дороге, скосив глаза, увидел белую фигуру девушки, движущейся сквозь волнистое марево. Белый цвет был ярок, насыщен, скрывал подробности фигуры, но общее впечатление было такое, точно приближается жданная неожиданность... Действительно, на фоне темных домов передвигалось нечто легкое, прозрачное, такое же зыбкое, как окружающее девушку марево. Белое платье, летучая походка, вздыбленные на затылке, как бы улетающие волосы.

Когда Людмила Гасилова еще приблизилась, Прохоров увидел, что на ней платье, которое сверху донизу застегивается на пуговицы, на ногах у нее были резиновые «вьетнамки», через правую руку перекинута громадное махровое полотенце, а в левой руке она несла синюю пластмассовую сумку, состоящую из крупных ячеек. Дно сумки тоже было плетеным, ручки — длинными, сумка вовсе не предназначалась для переноски купальных принадлежностей — косынки, зеркала, губной помады и прочей пляжной премудрости. Синяя сумка была явно фруктовой; такую сумку, наполнив яблоками, удобно окунуть в воду или поставить под сильную струю воды из крана.

Еще через несколько секунд Прохоров отлично разглядел небольшое, слегка удлиненное, нежно-матовое лицо и тут же понял, что девушка по-настоящему красива, хотя у нее был чуточку тяжеловат подбородок, слишком выгнута линия лба, узковато поставлены глаза. Не портило Людмилу и то, что на ее лице не было умнейших, мудрых, добрых глаз отца Петра Петровича Гасилова, так как глаза у девушки были, видимо, материнские — серые, удлиненные и влажные.

Подойдя к песчаному срезу низкого берега, девушка неторопливо поставила на землю сумку для фруктов, плавно нагнувшись, достала из нее плед, постелила его на песок, потом, поразмыслив немного, бросила на плед дымчатые очки с крупными фиолетовыми стеклами, часы, еще какую-то мелочь; полотенце она положила на уголок пледа и уж затем выпрямилась, потянулась, зевнула длинно и, видимо, сладко. Она, конечно, спиной ощущала прохоровские любопытные глаза, но вела себя так естественно и непринужденно, точно и не догадывалась о его присутствии. Тогда Прохоров весело подумал: «Пасется!»

Людмила стояла неподвижно, изогнувшись на фоне желтой реки, безмятежная и светлая, как небо. Так продолжалось минуты три, потом девушка сделала несколько быстрых, неуловимых движений, и платье плавно — легкое, тонкое, — опустилось к ее ногам. «Эффектно!» — медленно подумал Прохоров и не сразу, а по частям, по раздельности ощущений почувствовал, как подступила к горлу тревожная боль; она, боль, подобралась толчками, как бы незаметно, и тут же сделалась тупой, ноющей. «Они должны были стать мужем и женой!» — подумал Прохоров. Только Женьке Столетову должны были принадлежать эти покатые плечи, эта невинная округлость рук, эти ноги, полные в икрах и сухие в круглом колене...

Людмила пошла к воде. И произошло странное: девушка повела себя так, словно не она входила в обскую воду, а, наоборот, обская вода по ее разрешению покорно обтекала ноги, бедра, локти, плечи. Девушка так шла по ровному дну, словно не заметила перемещения из одной стихии в другую, и вид у нее был такой, словно Людмила говорила: «Был воздух, теперь вода. В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

Было что-то бездумно-плавное, дремотное, растительное в ее движениях, в руках, слабо загибающих воду, в лице, которое даже не собиралось менять безмятежного выражения на выражение удовольствия; ей было все равно, куда плыть, солнце ей не мешало. Людмила плыла все дальше и дальше по слепящей желтой полоске, вскоре стала маячить в отдалении только красная купальная шапочка — то пропадая, то появляясь, — но это не вызывало беспокойства, так как и красная шапочка говорила: «Можно плыть, а можно и не плыть. Можно утонуть, а можно и не утонуть... В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

— Пасется! — вслух произнес Прохоров и, прислушиваясь, повторил: — Пасется!

Прохоров вдруг рассмеялся тому, что резиновая шапочка Людмилы походила на поплавков удочки — девушку подхватил сильный обский стрежень и понес, то окуная, то вздымая на поверхность; казалось, что красный поплавок трогает очень осторожная, умная и опытная рыба.

«Собираетесь жениться на Гасиловой, товарищ Петухов? — спросил Прохоров у красной купальной шапочки. — Собираетесь жениться, а вот Пилипенко говорит...»

— Посмотрим, посмотрим! — снова вслух сказал он. — Разберемся, кто красная шапочка, а кто серый волк!

И суетливо оглянулся, не слышит ли кто, как разговаривает сам с собой сорокапятилетний капитан уголовного розыска.

10

Безразличная к холодным капелькам воды, осыпавшим гладкую кожу, к деревне, глядевшей на нее окнами всех домов, ко всему белому свету, выходила из реки Людмила Гасилова. Постояла минуточку к солнцу лицом, затем повернулась к жарким лучам спиной, потом — боком, и опять это происходило так, словно не девушка подставляла тело солнцу, а само солнце спешило предоставить ей тепло. Сытно, счастливо, спокойно паслась девушка на солнце, воде, на земле, выбирала самую вкусную и питательную траву, и капитан Прохоров терпеливо переживал ее жизнелюбие.

Девушка не свернула полотенца, когда кончила вытираться, а бросила его, не глядя, в сумку, не надела очки-фильтры, а очки сами плавно сели на переносицу, не застегнула платья сверху донизу, а оно само сомкнулось вокруг нее, не пошла на верхотинку яра, а сам яр начал подставляться под ее безмятежные ноги. Зыбкая, длинная, она очень бережно несла себя от песчаной косы к яру; вся была чистенькая, нарядная, свежая, как двухлетний Петька Заварзин, а от больших очков казалась бы заграничной штучкой, если бы не фруктовая сумка, будь она неладна!

До Людмилы оставалось еще метров пятнадцать, но Прохоров уже начал глядеть на нее открыто, улыбаться так, точно смотрел на человека, которого давно знал, да вот забыл, кто он такой. Когда же девушка подошла, оживленным голосом произнес:

— Здравствуйте, здравствуйте, Людмила Петровна! Простите меня! Ох, простите меня! Но как я мог поступить иначе? Ведь если в реке под названием Обь купается Афродита, то в ней, в реченьке-то, нет места капитану уголовного розыска Александру Матвеевичу Прохорову!.. Искупаться ведь я хотел... Но увы! Увы. Суждены нам благие порывы... Это кто написал? Пушкин или Лермонтов? Впрочем, вполне возможно, что ни тот и ни другой...

Паясничая, профессионально улыбаясь и мельком думая о том, что поступает несправедливо, заранее считая Людмилу причастной к гибели Евгения Столетова, капитан Прохоров уже набело, окончательно рассмотрел девушку, которая захотела обнимать загорелую шею человека, умеющего хорошо сидеть

на стуле, и отвергла парня, умеющего ходить так, словно навстречу всегда дул холодный тугой ветер.

— Здравствуйте, здравствуйте, Людмила Петровна! — повторял Прохоров, жадно осматривая девушку и улыбаясь тому, что на ее лице по-прежнему было написано безмятежное: «Вы — Прохоров, я — Гасилова. В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

— Присаживайтесь, присаживайтесь, Людмила Петровна! В ногах, как говорится, правды нет, а я ужасный болтун... Я такой болтун, что через пять минут вы помрете со скуки... А день такой прекрасный, что просто ужас!

От нее пахло речной свежестью, у нее было и вблизи нежное, молодое, сероглазое, аккуратно вырезанное лицо, руки — округлые, с тонкими пальцами, с гладкой и тоже нежной кожей; она вся была такая молодая, такая чистая, такая благоуханная, что и день казался прохладней, и Обь голубела праздничней, и небо сияло над ней как бы хрустальное.... «Женька, Женька! — тоскливо думал Прохоров. — Как же это так случилось, Женька Столетов?»

— Я, знаете ли, Людмила Петровна, всегда путаю Лермонтова с Пушкиным, а Пушкина с Лермонтовым.

Девушка сидела на бревне так же вольготно, как недавно сидел в пилипенковском кабинете технорук Петухов, слушая Прохорова, слегка приподняла тонкую бровь, пальцами перебирала цепочку-браслет на правой руке.

— Я все-таки больше люблю Лермонтова, — без улыбки сказала Людмила и повернула синеватые белки глаз в сторону Прохорова. — Нет, серьезно!

Девушка произнесла всего несколько незначительных слов, но они были сказаны с такой простотой и непосредственностью, с такой интимной интонацией, что Прохоров почувствовал, как девушка начинает занимать в нем, в Прохорове, такое же удобное место, какое занимает на основном бревне. «Вы, Прохоров, хороший, замечательный человек! Я, Людмила Гасилова, тоже хороший, замечательный человек! Так в чем дело? Ах какие все это пустяки!» — сказали серые глаза девушки, и Прохоров невольно почувствовал, что действительно пустяки! Важно в мире только одно: сидеть на бревнышке и переживать конец медленной минуты, а что касается следующего мгновения — ах, какие пустяки!

— Вы, наверное, романтическая, увлекающаяся натура, — шуточно сказал Прохоров. — Может быть, вы даже сами пишете стихи... Про темные ночи, широкий плащ и острый кинжал, как говорит мой друг из Еревана, замечательный майор Ваню. Ах, каким вином он угощал меня!

Людмила негромко засмеялась, а Прохоров с новой силой почувствовал, какое у него хорошее настроение. Ему так легко и весело болтается, так много слов висит на кончике освобо-

денного языка, так легко думается и кажется, что на самом деле все пустяки!

— Жарко вот только,— пожаловался Прохоров.— Мой друг Ваню не верит, что на Оби бывают душные, южные дни. Он вообще забавный, этот Ваню! Говорит: «В Армении есть все, на Оби — ничего!»— «Эх, Ваню, говорю я ему, на Оби есть то, чего нет в Армении, и плюс то, что есть в Армении». Он отвечает: «Берем кыжжал!» Ну, вот вы смееетесь, Людмила Петровна, а мне не до веселья. Какой уж тут смех, Людмила Петровна, когда следователь Сорокин, разговаривая с вами, не догадался спросить, где вы находились в те минуты, когда трагически погиб Евгений Столетов? Это первый вопрос. А второй вопрос такой: не собирался ли Евгений в тот вечер повидаться с вами?

Людмила слегка нахмурила брови, вспоминая покусала ровными зубами нижнюю губу, а Прохоров почувствовал желание закурить. Ей-богу, в его милицкой практике еще не встречался такой человек, как Людмила Гасилова, которая никак — ну, никак! — не отреагировала на его иезуитский прием. Он-то думал, что очень ловко подвел под болтовню о несуществующем майоре Ваню два страшных для девушки вопроса, а она только нахмурила брови да деловито примолкла.

— Мне надо все хорошенько вспомнить,— сказала Людмила.— Серьезно!.. Ну вот! Вспомнила. До шести я была дома, потом пошла гулять... Часов до семи я гуляла, зашла домой, переделась и отправилась... — Людмила спокойно улыбнулась.— Я отправилась на свидание с Петуховым... Серьезно. Что касается второго вопроса, то... Накануне я получила от Жени записку. Он просил о встрече...

Прохоров молчал. Ему казалось, что Людмила снова вернулась на кромку речного плеса, встав лицом к Оби, сделала несколько ленивых, безмятежных движений, и платье опять упало к ее ногам... «Да,— утверждали серые глаза девушки,— между моим свиданием с Петуховым и смертью Столетова может существовать связь. Поэтому ничего я не хочу утаивать, буду говорить правду и только правду. В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

— Вы ответили на записку?

— Нет! — подумав, сказала она.— Я еще раньше предупредила Женю, что не буду отвечать...

Он замер, ожидая слова «серьезно», но девушка на этот раз не произнесла его. Она покачала головой и замолкла так естественно, как перестают шуметь деревья, когда затихает ветер; лицо у нее погрузнело. Людмила, наверное, вспомнила разговор с Евгением о письмах, видела, наверное, как Женюка стоит перед ней, как молчит, как улыбается, как не верит в серьезность происходящего. Это было в те дни, когда происходило что-то очень серьезное между ним и Петром Петровичем Гасиловым, когда Женькины друзья-комсомольцы от чего-то словно осата-

нели, вся деревня наполнилась тайными шепотами, заговорщицкими встречами Столетова с друзьями, открытой ненавистью ребят к Гасилову...

— Вы разлюбили Женьку? — вдруг тихо спросил Прохоров.

Было около пяти часов, река от жары была сиреневой, лодки на воде казались не плывущими, а висящими в сиреневости; за спиной Прохорова, за домами, погукивала кукушка, а деревянная казалась вымершей, пустой, как заколоченный дом; грустно было слушать кукушку, глядеть на сиреневую Обь, плывущую к северу, к Обской губе, к чертовой матери...

— Я не знаю, любила ли Женю вообще, — медленно сказала девушка. — Только я всегда чувствовала, что не выйду за него замуж...

Теперь Прохоров уже не боялся, что она произнесет слово «серьезно», ему был интересен процесс мышления Людмилы, и он негромко покашлял, чтобы поторопить девушку.

— Я не могла быть его женой... Женщина чувствует, когда человек не может быть хорошим мужем...

Она трудно находила слова, ей самой, конечно, не все было понятно.

— Я вот так скажу: Женя любил слишком многое, чтобы быть хорошим мужем. Ему тоже было трудно со мной... Знаете, Женя не мог видеть, как я ем. Seriously!

Инстинктивно убежденная в том, что существовала связь между нею и смертью Столетова, но не понимая уголовной опасности этой связи, Людмила по-прежнему была предельно правдивой, раскрывалась с такой жестокостью, что Прохоров не верил своим ушам... Бог ты мой, она еще продолжает!

— С Женей было тревожно, как перед грозой. Я никогда не знала, чего он хочет, всегда ждала неожиданного поступка. Да, да, он был неповторимым человеком, но это так трудно... Seriously. Он укорял меня: «Людка, ты одинаковая, как маковинки в коробочке!» Перед встречей с Женей я всегда чувствовала беспокойство, усталость...

Людмила сделала паузу как раз в тот миг, когда Прохоров понял, чего ему не хватало — знакомства с матерью девушки! Ох, как было важно знать ту женщину, которая снабдила дочь серыми безмятежными глазами, ровной линией зубов!

— Я все надеялась, что Женя переменится... Однако ничего не менялось! Такие люди, как Женя, не меняются до последнего дня жизни. В чем он был постоянным, так это в непеременимости... Папа говорит: «Такие люди, как Столетов, не должны умирать», но Жени нет... Нет Жени! Не будет он никогда купаться со мной в Оби...

Прохоров уже боялся глядеть в спокойные глаза девушки.

— Женя всегда далеко плавал, а однажды переплыл Обь... Я лежала на берегу, он подошел и сказал: «Людка, я теперь знаю, что самое опасное — середина!..» Это он сказал для меня.

Он всегда говорил, что я не плохая и не хорошая... Потом Женя признался: «На середине Оби я струсил! До тебя было столько же, сколько до противоположного берега... Брр! Страшно было на середине!..»

Хотелось тихонечко завывать...

— А я сказала Жене: «Я ни капельки не боялась, что ты утонешь! Серьезно!» Тогда он засмеялся и сказал: «Я выжил только потому, что поплыл к противоположному берегу, а не к тебе»... Эти слова я и тогда не поняла, и теперь не понимаю. Я только чувствую, что в них много правды. Женя так любил меня, что иногда ему надо было уходить... Теперь он ушел навсегда... Больше не вернется...

Девушка замолкла, положила руки на колени, и они сделались беспомощными, невинными, девчоночьими: исчезло из поля зрения кольцо с зеленым камнем, браслет, красные ногти сучающей курортницы. Прохорову стало холодно на палящем солнце. Если Людмила понимает самое себя, если знает о своей любви к Женке, если в эту любовь осознанно помещает технорука Петухова...

— Надо немного отдохнуть,— сказал Прохоров.— Помолчим, Людмила Петровна?

— Помолчим!

Прошло уже полчаса с тех пор, как Людмила присела на сосновое бревно, солнце еще чуточку скатилось к западу, река густела в сиреневом цвете, желтая полоска растворялась, но никаких существенных перемен в мире, оказывается, не произошло. По-прежнему было до одурения жарко, воздух звенел и дрожал, белые чайки в небе висели неподвижно; Людмила Гасилова сидела в прежней позе, сам капитан Прохоров тоже, оказывается, не очень переменялся. Настроение у него было достаточно хорошее, с самим собой он боролся успешно, за какие-то паршивые полчаса узнал от Людмилы в два раза больше, чем предполагал узнать, и перспективы на ближайшее будущее открывались блестящие.

— Людмила Петровна,— мягко сказал Прохоров,— четвертого марта Столетов был у вас дома и, кажется, крупно разговаривал с Петром Петровичем... Разговор длился примерно минут сорок, вы присутствовали при начале, а потом, наверное, подслушивали из соседней комнаты... Что тогда произошло? О чем шла речь?

Он терпеливо и добродушно, как кошка перед мышьиной норой, наблюдал за Людмилой Гасиловой. Она подняла голову, прищурилась, опять покусывала зубами нижнюю губу. Сначала было трудно понять, что чувствует девушка, затем Прохоров заметил, как сползла со щек легкая пленка грусти, зрачки прояснились.

— Я все расскажу!— ответила Людмила.— Верьте мне, Александр Матвеевич, я ничего не утаиваю! Серьезно.

Снова появилось в глазах выражение безмятежного жизнерадостия, естественности существования.

Прохоров неожиданно засмеялся.

— Я напрашиваюсь к вам в гости, Людмила Петровна! — заявил он. — Ваша мама уехала с домработницей за малиной, Петр Петрович катается. Вот вы мне и расскажете о происшествии на месте действия. Я не очень нахален, а, Людмила Петровна? Впрочем, мы все такие. Вс-е-е-е мы такие, милицейские крючки... «Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать», — говорили не то греки, не то римляне, не то мой армянский друг Ваню...

Он уже вставал с бревна, уже затягивал узел галстука, уже чувствовал вдохновение:

— А вот Петр Петрович меня в гости не приглашает... Приходите в контору, говорит. У нас в конторе, говорит, спокойно, начальник лесопункта Сухов занят своим изобретательством. Не помешает он нам, говорит...

Говоря все это, капитан Прохоров уже энергично шел впереди Людмилы Гасиловой, чувствовал такую жажду и способность к работе, что кружилась голова и сладко посасывало под ложечкой.

Он первым поднялся на верхотинку яра, не понимая, для чего делает это, внимательнейшим образом посмотрел на свои запыхавшиеся туфли, затем повернулся лицом к реке и две-три секунды стоял неподвижно, задавая себе такие вопросы, на которые никогда не сможет ответить...

Что с ним произошло за эти короткие сорок минут? Почему именно разговор с Людмилой Гасиловой вернул ему рабочую форму? «Я все-таки похож на служебную овчарку, когда она берет след!» — насмешливо подумал Прохоров.

Он действительно чувствовал, как широко и радостно раздуваются ноздри, как он весь переполняется ощущением нужности бытия, здоровьем и силой, энергией и пронизательностью. Он глядел на реку — нужная, славная, очень солидная река; заглянул в провал яра под ногами — необходимый, замечательный провал; заинтересовался Людмилой Гасиловой — целесообразная, цельная и улаженная...

Ну, слава богу, слава богу!

«Ну, слава богу, слава богу».

Стараясь не расплескать ощущение радости, энергии, здоровья и силы, капитан Прохоров размахисто шагал впереди девушки; небольшой и худенький, делал крупные движения руками; преображенный, обнаруживал в деревенском неизменившемся мире новые качества, состояния, приметы. По-прежнему стоял жестокий зной — это был совсем другой зной; лежала в

пыли: знакомая пестрая свинья — это была новая свинья; на заборе сидел петух, молчал с опущенным от зноя гребнем — это был очень хитрый петух, так как догадался забраться повыше, где продувало ветерком с реки; они приближались к дому Гасиловых — это был не тот дом, мимо которого он проходил уже несколько раз. И капитан Прохоров уже был другим капитаном Прохоровым, так как вчерашний Прохоров только подозревать мог, что скрывает высокий забор вокруг гасиловского особняка, а вот теперь без всякого удивления поглядывал на то, что предполагал увидеть...

На гектаре земли располагались огромный дом с просторным мезонином, финского вида остроконечный флигель, кирпичная баня, каменный гараж, парники, покрытые полиэтиленовой пленкой; зеленели дисциплинированные рядки карликовых фруктовых деревьев — сибирского сорта, за ними шли грядки со всякой всячиной, среди них кружевная, деревянной резьбы беседка.

Дом хороший! И флигель хороший!

Над двухметровым бетонным фундаментом дома жирно блестя отборные кедровые бревна, шесть окон глядели с высоты фундамента, четыре окна — с высоты мезонина. Стены особняка ласково обнимали вьющиеся цветы, клумбы с еще более яркими цветами степенно шли вдоль песчаной дорожки, цветы свешивались из горшочков, подвешенных то к стене дома, то к стойкам резного крыльца, то просто к шестам, вбитым в землю. Флигель вонзался в небо готическим собором, воздушный, как бы неохотно стоял на своем зыбком, но тоже бетонном фундаменте; только два узких длинных окна прорезали стены флигеля, но окна были из цветного мозаичного стекла.

Что еще? Бетонный бассейн, устроенный в том месте двора, куда выходили окна, дверь и крыльцо флигеля. К бассейну вела деревянная ступенчатая дорожка — этак плавненько, покато спускалась она в зеленую воду бассейна... Прислушавшись, Прохоров уловил звон струи, шелест мотора, который вращал насос.

— Артезианская скважина? — деловито спросил Прохоров.

— Угу.

Они поднялись по кедровым ступенькам крыльца, ноги еще в прихожей утонули в ковре. Отсюда дверь вела в холл, освещенный двумя окнами, из холла три двери вели в другие комнаты, слева витками поднималась лестница, покрытая красным ковром. На стенах холла висели олени рога, на эстампах — целых три! — гарцевали разноцветные веселые кони.

— Сюда, пожалуйста! — пригласила Людмила.

Девушка не замечала барской роскоши холла, не понимала, в каком доме живет. Ноги в резиновых вьетнамках, испачканных прибрежным песком, с простотой неведения попирали дорогой ковер, глаза, не видя, скучно пробегали по стенам, отделанным

березой, по хрустальным подвескам, не останавливались на паркетном полу, собранном из всех существующих сортов сибирских деревьев. А ведь в холле все было такое, что казалось невозможным в Сосновке. Кто собирал паркет? Где куплены бра? Откуда привезены ковры?

— Пойдемте в кабинет папы!

Девушка пошла вверх по витой лестнице, а Прохоров на секунду остановился, чтобы представить, как поднимался по этой же лестнице Столетов... Он увидел его коротконосое лицо, вертикальную складку на лбу. Что делал Женька, когда поднимался по винтовой лестнице? Усмехался, зло молчал или трещал без умолку?

— Вот здесь кабинет отца.

Они стояли в широком — с фонарем на потолке — коридоре, обшитом такими линкрустовыми листами, которыми обшиваются каюты на пароходах и купе вагонов: на линкрусте блестяли выпуклые розовые цветы и снова висел эстамп с лошадьми — на этот раз зелеными и черными, но очень веселыми.

— Папа любит лошадей, — тихо проговорила Людмила и задумчиво добавила: — Разговор папы с Женей происходил здесь. — Она показала на дверь кабинета. — Потом, когда папа попросил меня выйти, я стояла вот здесь...

Усмехнувшись уголками губ — вылитая Монна Лиза! — девушка открыла дверь в отцовский кабинет, жестом пригласив Прохорова входить, сказала:

— Папа иногда спит в кабинете... Вот на этом диване.

В кабинете мог спать не только Петр Петрович Гасилов, там можно было разместить отделение солдат, поставив каждому кровать да еще и оставив место для небольшой скорострельной пушки. Пушка охотно бы гляделась в окно, если можно было назвать окном стеклянную стену, — виделась расплавленная снизвившимся солнцем стремнина Оби, тоненькая полоска леса за рекой... Пол кабинета покрывал светлый ковер, в центре его, разявив пасть, лежала медвежья шкура, а стены были просто-напросто затянуты серым атласом. Мебели было мало — средней величины стол, старинные часы с боем, кожаный диван, четыре шкафа с книгами, три глубоких кожаных кресла...

— Ну, что же, — оживился Прохоров, — теперь самое время, Людмила Петровна, послушать о том, что произошло четвертого марта текущего года.

Капитан Прохоров сразу заметил, как устраивается на кожаном диване Людмила Гасилова — девушка делала это точно так, как устраивался на стуле технорук Юрий Петухов. Она положила руки на колени, но убрала — неудобно, попробовала опустить одну руку на валик дивана — опять плохо, приставила вторую руку к бедру — еще хуже! Несколько пробующих движений сделала Людмила, но зато устроилась хорошо.

— Женья и папа давно ссорились,— сказала Людмила. — Но мне было трудно понять, почему они ссорились...

Она замолчала, подумав, продолжила:

— Странно! Они ругались, но, когда Женья уходил, папа говорил: «Настоящий парень! Вот если бы...» Серьезно!

Левый конь на эстампе, стреноженный, стоял смиренно, устало, зубы торчали в разные стороны, улыбка у коня была трудной; это был очень старый конь, хотя художник сделал его красным, гриву — зеленой.

— Я как-то спросила Женью, о чем они разговаривали с папой. Он засмеялся: «Кто не работает, тот не ест...» Серьезно. Я не умею рассказывать, Александр Матвеевич! Все время отвлекаюсь, теряю мысль, путаюсь. Серьезно. В школе вот тоже так было. Урок знаю, а отвечаю долго, учитель сердится: «Не тужи, Гасилова!..»

— Продолжайте!

— Продолжайте... Четвертого марта они тоже поссорились... То есть не поссорились, а... Один Женья поссорился, а папа, как всегда, помалкивал... Вы знаете, Александр Матвеевич, с папой очень трудно поссориться! Серьезно... Папа, когда рассердится, уходит к своей подзорной трубе...

— Какая еще труба?

— Подзорная... Скорее всего, небольшой телескоп... Папа купил его на толкучке сразу после войны...

— Где же установлен телескоп?

— Во флигеле... Мне дальше рассказывать?

А для чего? В этом кабинете не хотелось слушать, рассказывать, думать, совершать поступки; здесь вещи были предупредительны, послушны, отлично вышколены; отсюда не хотелось идти даже во флигель, где стоял хоть и маленький, но все-таки телескоп. Кресло приняло тело бережно, бесшумные пружины расположились так, что капитан уголовного розыска словно бы повис в пустоте, словно бы потерялся среди кожи, принявшей форму его тела. Хотелось закрыть глаза, поплыть вместе с креслом в сквозное окошко, повиснуть над расплавленной рекой, пусть ветерок щекочет лицо, внизу шелестит вода, наплывает на горизонт закат...

— Рассказывайте, рассказывайте...

Людмила начала неторопливо:

— Женья пришел к нам довольно поздно, часов в десять вечера...

За семьдесят восемь дней до происшествия

...март начинался холодами, пронзительными ветрами, хрусткими льдинками повсюду: на крышах, заборах, телеграфных столбах, на кромке обского яра. В девятом часу вечера улица звенела под ногами, как битое стекло, на Оби торосились редкие

льдины, до голубого сияния продутые ветром, собаки лаяли остервенело, точно подошли к околице голодные волки.

Женька Столетов бежал по пустынной улице, проклиная себя за пижонство, чувствовал, как в туфлях холодеют пальцы. Его высокая фигура была одинокой на улице, луны не было, фонарь на клубе светил тускло, как бы захлебнувшись ветром. У ворот гашиловского дома Женька остановился: надо было перевести дыхание, успокоиться, чтобы войти в дом вальяжно, с небрежной улыбкой на губах...

Двери отворила Лидия Михайловна. Узнав гостя, вежливо кивнула, смотрела на Женьку так спокойно, словно ничего не случилось, не было опустошающих телефонных звонков, когда Лидия Михайловна отвечала, что Людмилы нет дома, а изда-лека слышался знакомый голос: «Кто это звонит, мама?»

— Так проходите, проходите, Евгений! — поднимая брови, сказала Лидия Михайловна. — Мы вас не ждали, но... мы вам рады...

Она была одета в пунцовый нейлоновый халат, волосы крупными локонами лежали на маленькой голове, серые глаза были холодны от блеска. Женька поежился. Как случилось, что на это холеное, полное до тошноты лицо попали глаза Людмилы? Отчего возле единственных в мире глаз лежали тоненькие морщины, откуда локоны, яркие губы, пунцовый халат? И почему так спокойно, безмятежно и приветливо лицо этой женщины? Разве не она диктовала дочери: «Мы взрослые люди, Женя. Нам надо расстаться!»?

— Я хотел бы поговорить с Петром Петровичем, — тихо сказал Женька.

Женщина в пунцовом халате усмехнулась уголками губ — это была Людмила улыбка, спокойно поправила парикмахерский локон на виске. Значительная, безмятежная, по-женски мудрая. Женька почувствовал, как утишается нетерпение, остывает желание ворваться в кабинет Петра Петровича со стиснутыми кулаками, улечувиваются горячие слова, приготовленные для начала разговора.

— Я хочу подняться к Петру Петровичу, — сказал Женька. — Передайте ему, что я пришел.

Открылась дверь, зевая и сонно потягиваясь, в холл вышла Людмила, сразу же прислонилась спиной к стене. На ней был точно такой же нейлоновый халат, как и на матери, на волосах косынка, под ней — бигуди.

— А, это Женя, — сонно сказала Людмила. — Я думаю, кто это разговаривает? А это Женя! Здравствуй! Почему не заходил? Нет, серьезно?

Он по-прежнему тупо смотрел на дочь и мать, ничего не понимая, ощущал необычное смещение времени, так как происходящее не могло датироваться началом марта. Разве не в конце февраля Людмила приревновала его к Анне Лукьяненко,

не отвечала на письма, не приходила в клуб? Что сейчас на дворе? Февраль, январь?..

— Евгению не до нас! — с улыбкой сказала Лидия Михайловна. — Он пришел с визитом к Петру Петровичу. Как государственный человек к государственному человеку. Да простит их господь обоим!.. Говорить о делах в девять часов вечера, после ужина, перед сном! Сыграли бы лучше в подкидного дурака...

Людмила засмеялась.

— Женю не остановишь, — ласково сказала она. — Он не поддается уговорам. Папуля тоже любит пофилософствовать. Серьезно!..

Как уютно, тихо, тепло было в холле, устланном толстым ковром, как ласково шурилось лицо Людмилы, как спокойно светили нейлоновые халаты, как славно шутила Лидия Михайловна... Женьке захотелось тоже привалиться спиной к стене, надеть халат, сыграть в подкидного дурака. Затуманивались лица друзей, приглушался веселый шум сегодняшнего комсомольского бюро, хохот парней, придумавших забавный способ борьбы с Гасиловым... Женька протяжно ухмыльнулся, поежившись, тупо повторил:

— Я хочу подняться к Петру Петровичу.

— Я провожу тебя, — после паузы ответила Людмила.

— Проводи, проводи! — разрешила Лидия Михайловна. — Папа будет рад.

Они поднялись по винтовой лестнице, остановились в коридоре. Людмила опять прислонилась к стенке — такая красивая, что глядеть на нее не хватало сил. Она исподлобья смотрела на него, перебирала кружевную бахрому халата тоненькими пальцами; губы были раскрыты.

— Женя! — ласково сказала Людмила. — Ну, почему ты ссоришься с папой?.. Не надо, Женя! Папа хорошо к тебе относится...

Женька проснулся сегодня рано — в шесть часов, открыл глаза, услышал, как воеет за окном холодный мартовский ветер, как звенят льдинки над ставнями: дом подрагивал, словно двигался в темноту и безвременье. Женька по-детски подтянул колени к груди, спрятал голову под одеяло, притаился: было так же жутко, как бывало в детстве, когда выли зимние метели, а за околицей первобытно, обреченно лаяли собаки, напуганные зелеными глазами голодных волков. Он долго лежал в страхе, потом перед глазами вдруг вспыхнуло: «Людмила!» Он счастливо рассмеялся: «Людмила!» Женька сбросил одеяло, спрыгнув на холодный пол: «Людмила!» И остановился, словно наскочив на острое, режущее.

...Людмила стояла на втором этаже отцовского особняка, привалившись спиной к стене, глядела на него ласково, просительно.

— Не надо ссориться с папой, Женя! — повторила она. — Чего вам с ним делить?..

В коридоре второго этажа совсем не слышался свист ветра, было тихо, как в таежной глубинке, тисненый линкруст пощелкивал от прикосновения легкой спины девушки, и было видно, как у подножия винтовой лестницы тихонько пошевеливается клочок пунцового халата. Лидия Михайловна подслушивала их разговор, было нетрудно представить выражение ее лица, когда она думала, что Женька не знает о подслушивании, — холодное, надменное, такое опасное, словно внутри женщины поставили на боевой взвод тугую пружину курка.

— Пошли к отцу! — с улыбкой сказал Женька. — Доложи ему о моем визите.

Людмила постучала в двери.

— Папа! К тебе пришел Женя.

Гасилов расхаживал по кабинету — руки заложены за спину, большая голова наклонена, седые волосы по-домашнему освободенно рассыпались. Здесь, в родном доме, у мастера не было даже намека на созидательное выражение лица и фигуры, а, наоборот, все было теплым, ласковым, уютным. На лбу разгладились глубокие боксерьи морщины, в глазах — ласковый покой, спина сутулилась по-стариковски, и нельзя было понять, счастлив он или несчастлив, доволен жизнью или недоволен. Просто расхаживал по кабинету, переваривал ужин, думал о пустяковой всячине.

— Садитесь, молодые люди! — благодушно-насмешливо сказал Петр Петрович. — Холода-то, а? Зимние!

На нем был толстый, простеганный белыми нитками халат с длинными кистями, на ногах — мягкие восточные туфли, на голове — вышитая тюбетейка. Иронически прищуриваясь, Петр Петрович в последний раз прошелся из угла в угол, остановившись, внимательно посмотрел на Женьку.

— Если я правильно понял выражение твоего лица, Женя, то Людмилу надо выставлять за дверь! — мирно сказал он. — Людка, готовься!

Выражение лица! А Женька-то думал, что он стоит перед Гасиловым браво-спокойный, вальяжный, благодушный, этаким величественный. Значит, опять на его лице все написано: нетерпение, вызов, желание немедленно развязать ссору. И это теперь, когда надо разговаривать с Гасиловым вот так — вольготно сидеть на кожаном диване, прищуриваться, держать на губах добродушно-снисходительную улыбку, рассеянно прислушиваться к утихающему ветру.

— Людмила, выйди! — шутливо вздохнув, попросил Петр Петрович. — Женя собирается устроить бой быков...

— Хорошо, папа! Ты зайдешь ко мне, Женя?

Не получив ответа, Людмила вышла, задев за косяк двери сонным боком.

В кабинете горела только настольная лампа под зеленым абажуром, свет ее был укромен, вся эта комната, обтянутая блестящим атласом, застланная ковром, казалась доброй, уютной, спасительной. Женька проглотил слюну, но голос у него все равно оказался хриплым.

— Выражение моего лица не имеет никакого отношения к разговору, — вызывающе сказал он, хотя собирался произнести эту фразу спокойно. — Вы целый день избегали встречи со мной, поэтому я пришел на дом... Я обязан сообщить вам о решении комсомольского бюро.

Гасилов опустил в глубокое кресло.

— Я вовсе не избегал тебя, Женья! — мягко сказал он. — Днем у меня не выкраивалось свободной минутки...

Женька шумно выдохнул воздух, хотел еще что-то сказать, но поперхнулся. Ложь Гасилова была такой чудовищной, что была даже не ложью, а откровенным глумлением, словно мастер сказал: «Солнце светит ночью!»

— Ложь! — еще раз передохнув, быстро сказал Женька. — Этого не может быть, так как вы в течение шестнадцати часов в сутки ничего не делаете... Восемь часов я отвел на сон...

Торопясь и поэтому путаясь ногами в толстом ковре, он стремительно приблизился ко второму кожаному креслу, брякнувшись в него, снисходительно — так ему казалось — улыбнулся:

— Вы не только ничего не делаете, Петр Петрович, но и мешаете работать другим... Мы три дня назад перешли в новую лесосеку. Почему до сих пор не повышена норма выработки? Ведь в новой лесосеке более крупный древостой... Только не говорите, что забыли, закрутились, заработались! Не поверю!

Женька опять ошибся, так как Петр Петрович даже и не собирался говорить: «Ой, Женья, как же я так? Мы ведь в самом деле перешли в новую лесосеку, а я... Ах ты, черт возьми!» Нет, Петр Петрович не говорил этого! Он сидел в кресле по-прежнему мирно, спокойно, улыбочиво: глядел Женьке прямо в глаза, ждал терпеливо, что еще скажет секретарь комсомольской организации.

— Я слушаю, Женья.

Глумление продолжалось, Женька выпрямился, теряя слова и мысли, проговорил:

— Комсомольцы поручили мне сообщить вам о том, что с завтрашнего утра мы объявляем открытую войну Гасилову...

И снова ошибся: лицо мастера не изменилось. Мало того, Петр Петрович мечтательно повернулся к лошадиному эстампу, халат немного распахнулся, и Женька увидел волосатые ноги. Продолжая молчать, Петр Петрович положил подбородок на ладонь, задумчиво, длинно глядел на синюю лошадь, которая безмятежно паслась по зеленому лугу.

— Мы требуем, — монотонно проговорил Женька, — чтобы вы отказались от синекуры, чтобы ушли в бригадиры или

вообще расстались с лесопунктом... Ваши должностные пре-есту-упления разлагающе влияют на рабочих и сдерживают выработку...

Молчание. Мирные глаза. Задумчивая улыбка.

— Мы, комсомолыцы, собираемся на деле осуществить принцип: «Кто не работает, тот не ест!»

Женька тоже улыбнулся, но криво, неловко, смятенно.

— Вы не хотите списать меня, Петр Петрович, как мы собираемся бороться с вами?

Ветер за окном неистовствовал, очертя голову бросался на двойные, по-зимнему, рамы гасиловских окон, отсчитывали глухие секунды часы в деревянном большом футляре, синяя лошадь на эстампе улыбалась.

— У тебя все, Женя? — тихо спросил Петр Петрович. — Шли бы гулять с Людмилой... Эй, дочка!

Через три-четыре секунды в кабинет вошла Людмила, выслушала предложение отца, прислонилась спиной к дверному косяку.

— Не хочется гулять! — задумчиво сказала она. — Одеваться, раздеваться, натягивать сапожки... Ну его, это гулянье! Давай, Женька, лучше поиграем в подкидного дурака. Ты, я, мама, папа... Серьезно! Папка, давай играть в подкидного дурака. — Она надула губы. — Только с тобой, папка, трудно играть: ты всегда знаешь карты!

Зеленая лампа, красивые халаты, тишина, холод за окнами, добрые лица, тихий домашний разговор... Лидия Михайловна поставит самовар, домработница принесет на деревянном подносе вкусные печенюшки, Петр Петрович, озабоченно почесав ухо, вынет из шкафа неполную бутылку коньяка: «Мы по рюмочке, по рюмочке, Лидуша!» Хозяйка дома будет держать карты на отлете, путать бубнового короля с червонным, Людмила станет хохотать над Женькой, который играет плохо, Петр Петрович начнет прищуриваться, убивая чужие карты, приговаривать: «У нас королей нету! Мы супротив королей! У нас, граждане, демократия!»

Всего три месяца назад Женька охотно игрывал в подкидного дурака в семье Гасиловых, злился, когда проигрывал, тщеславно завидовал Петру Петровичу, который на самом деле помнил вышедшие из игры карты, а вернувшись домой, ворчал при матери и деде: «У нас дома все не как у людей! Нет в карты поиграть, так соберутся и давай долдонить: «В Европе то, в Ираке это, в больнице то, в больнице это...» Ну, и нудный вы народ, Столетовы! Скучно с вами, зевать охота...»

Сегодня Женька развалился в кресле — нога на ногу, тупой нос поднят, брови задрались, как запятые.

— Играем, играем в подкидного дурака? — обрадовалась Людмила. — Папка, Женя согласен играть! Давайте, ну, давайте!

— Можно и в подкидного дурака,— сказал Женька.

Он уже чувствовал себя круглым дураком: прийти к Гасилову для объявления войны, вместо спокойствия и дипломатической вальяжности суетиться и волноваться, краснеть и бледнеть, а потом сесть играть в карты. А главное — ничего не добиться, не обосновать обвинения...

— Давайте играть в дурака! — мрачно пробасил Женька. — Давайте!

Людмила отклеила спину от дверного косяка, посмотрела на Женьку исподлобья, тоже басом протянула:

— Такой смешно-о-й, такой хоро-ши-ий! Та-а-ко-ой сла-авный Жеяя.

...Солнце еще на вершок приспустилось к западу, по реке бежали наперегонки серые тени, зубчатая кромка кедрового заречья становилась синей, как бывает всегда, когда на тайгу падают розовые отблески заката. В кабинете Гасилова было тоже по-вечернему ало, обтянутые атласом стены казались седыми.

Закончив свой спокойный рассказ, Людмила воровато поглядела на дверь, затем решительно вынула из кармана пляжного платья пачку сигарет «Столичные». Прикурила она умело, кончик сигареты закусилась лихо, мизинец изысканно оттопырила.

— Я волнуюсь? — медленно спросила она. — Нет, серьезно!

— Что вы! — удивился Прохоров. — Ваше лицо дышит неизменным покоем! Серьезно.

Он сосредоточенно определился во времени и пространстве, как делал всегда, когда запутывался. Поглядел на часы — девятый, помотал ногой — на туфле оставался след обского песка, кивнул разноцветным лошадям — мастер лесозаготовок Гасилов существовал где-то рядом; на кожаном диване сидит его единственная дочь, в кресле по-барски развалился капитан уголовного розыска и слушает, как дочь понемножечку да полегонечку передает папашу, ковыряется в его ранах, срывает бинты да еще и заботится о том, чтобы не потерять вальяжности. Рассказала о телескопе, не упустила ни одного столетовского слова, безмятежным голосом сообщила о том, что мать подслушивала ее разговор с Женей, а она, Людмила, стояла в коридоре до тех пор, пока Петр Петрович не позвал: «Дочка!..»

— Вы удивительная! — сказал Прохоров девушке. — Что же было дальше?

— Я пошла провожать Женю,— сказала Людмила. — Он, конечно, проигрался в пух и прах, был очень сердитый, грустный... Серьезно! И не хотел, чтобы я его провожала... Потом он сказал, что будет бороться с гасиловщиной...

Прохоров хмыкнул:

— С гасиловщиной? Столетов так и сказал?

— Да, Александр Матвеевич! Он часто употреблял это слово. Seriously.

Бог ты мой! Прохоров опять не верил своим собственным ушам, отказывался доверять глазам — сидит на диване, спокойно и красиво курит, лицо ласковое, нежное, улыбка, и тут же: «Гасиловщина, подкидной дурак, провожание...» Прохоров поерзал в кресле, потом принял решение по-петуховски устроиться в жизни — положил щиколотку левой ноги на колено правой, руки скрестил на груди, а с лицом поступил так — расправил все морщины...

Хотелось играть в подкидного дурака, пить чай из самовара, провожать красивых и нежных девушек. Капитан Прохоров сосчитал бы все вышедшие из игры карты, не отбивался бы крупными козырями, хранил бы до конца игры боевые шестерки, чтобы дать радостной душеньке полный разворот: «У нас, товарищ Гасилов, королей тоже не держат! У нас, Петр Петрович, демократия! У нас, понимаете ли, тузы!»

— Женя и на комсомольском собрании употреблял термин «гасиловщина»? — спросил Прохоров.

— Не знаю... Я не комсомолка.

«Seriously», — добавил за девушку Прохоров. «Нет, серьезно!» Подниматься с дивана, переодеваться, натягивать тесные сапожки, класть в карман комсомольский билет, идти на собрание. Ах, какие пустяки!..

— Людмила Петровна, — безмятежно ляпнул Прохоров, — почему вы отложили до осени свадьбу с Петуховым?

Девушка легонько вздрогнула, медленно повернувшись, посмотрела на него широко открытыми глазами.

— Вы знаете об этом? — спросила она. — Откуда? От Юрия Сергеевича? Нет, серьезно! От Петухова?

— Угу!

Она вздохнула, потрогала мизинцем нижнюю губу.

— Я все чего-то ждала, Александр Матвеевич! Я все чего-то ждала...

Зеленый конь на самом крупном эстампе давно устал пасть по зеленому лугу. Он стоял на широко расставленных ногах, задрал морду и раздув ноздри, принюхивался, прислушивался к вечернему тихому миру; ему не хватало движения, бешеной скачки, волчьих глаз за длинной спиной.

— Я все чего-то ждала...

Вся она была правда и только правда и ничего, кроме правды: первоклашка бы понял, что Людмила не хотела выходить замуж за Петухова, ждала чего-то от Женьки Столетова, на что-то надеялась в тот мартовский вечер, обе женщины подслушивали, одна внизу, вторая наверху, а когда потом играли в подкидного дурака и Петр Петрович тщательно считал вышед-

шие карты: «Не надо ссориться с папой, Женя! Ну что вы все делите?»

— Людмила Петровна, скажите, пожалуйста, когда Евгений узнал о том, что вы решили выйти замуж за технорука?

Она медленно подняла руку к лицу, как бы загородила от Прохорова глаза.

— Он никогда не узнал об этом! — прошептала Людмила. — Женя так и умер, думая, что мы просто поссорились...

Прохоров поднялся, подошел к столу, взял фотографию в некрашеной кедровой рамочке, дальнозорко отнес ее от лица. На фотографии стоял обычный Гасилов — в ковбойке, в тонких сапогах, с добрым боксерским лицом, а возле него сидела на высоком стуле пяти-шестилетняя Людмила, и он держал руку на ее девчоночьем плече. Губы отца сомкнулись от нежности к дочери, смотрел он мимо Людмилы, видимо, в стену, но так, словно вглядывался в будущее дочери, скрытое этой стеной, словно на мгновение позабыв о том, что его пальцы прикасаются к ее плечу. Думы Гасилова были широки, глобальны — о жизни, о судьбе, о смерти. Дочь прижалась ласковой щекой к его огромной кисти с коротко и аккуратно, как у хирурга, обрезанными ногтями; рука была холеная, чисто промытая, даже на тыльной стороне ладони покрытая густыми темными волосами.

— Я просил вас через Пилипенко приготовить письма и записки Евгения, — сказал Прохоров. — Вы приготовили, Людмила Петровна?

— Да! Я все отдала товарищу Пилипенко.

Он подошел к кожаному креслу, но не сел, так как увидел, что Людмила вернулась в прежнее состояние — сделалась кулапальщицей с фруктовой сумкой в руках. Сигарета в ее губах долевала, щеки приняли обычный нежный цвет, движения были ленивыми, пасущимися, платье далеко обнажало невинную голую ногу.

— Я приглашаю вас отужинать со мной, Людмила Петровна, — весело сказал Прохоров. — Лидия Михайловна с домработницей из-за реки вернутся поздно, Петр Петрович все еще гарцует на жеребце Рогдае... Вы принимаете мое предложение, Людмила Петровна? Угощу оше-ело-о-мительной осетриной!

И пошел-поехал:

— Ах, ах, Людмила Петровна, я физиономист, плюс психоаналитик, плюс психопатолог, плюс бух... Как там у Ильфа и Петрова?.. Обедали вы плохо — лень разогреть — пощипали только утренний пирог и сейчас голодны, как капитан Прохоров из уголовного розыска... Орсовская столовая — прелесть, конфетка, заповедник комфорта. А мне палец в рот не клади! Я еще три дня назад из профилактических соображений занес в книгу жалоб сердечную благодарность официанткам, директору, кухонной челяди и сторожу дяде Коле... Теперь меня

обслуживают на полусогнутых, а вареная осетрина здесь лучше столичной, спиртные напитки не приносятся и не распиваются — штраф три рубля!.. О, верьте, верьте, Людмила Петровна, завсегдатаю столовых, кафе, закусовых! Мне только сорок с хвостиком! Захотите, мы будем смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда... Не захотите, буду рассказывать об эски-стен-циа-лиз-ме...

Хохоча, посмеиваясь, паясничая, Прохоров за локоток провел Людмилу через коридор, лестницу и еще один коридор на крыльцо, снова взяв Людмилу за нежный локоть. Выйдя из ворот, Прохоров по-уличному прокашлялся, взбодрил голову и так огляделся, точно давно не виделся с Сосновкой, точно просидел в гашиловском кабинете три затворнических дня и три затворнические ночи.

В орсовской столовой (в поселке была еще сельповская) на окнах висели марлевые занавески, на квадратных столах лежали голубые клеенки, посередине столовой торчала деревянная арка, похожая на ворота — для чего, почему, с какой целью поставленная, неизвестно, так как арка ничего не поддерживала, ничего не распирала, ничего не соединяла. Три официантки были толсты, упитанны, благодущны от безделья — спиртные напитки не приносятся и не распиваются, два раза по вечерам приходит участковый Пилипенко; на их лбах, похожие на деревянную арку, торчали кокошники. С потолка столовой свешивались длинные липучие ленты, так густо унавоженные мертвыми мухами, что Прохоров поторопился занять пустой угловой столик: с него липучки были не видны, а, наоборот, можно было наблюдать вечернюю розовую реку по имени Обь.

Озабоченно посоветовавшись с Людмилой, капитан Прохоров заказал окрошку, вареную осетрину, телячий холодец, потом смущенно почесал заскрипевший под пальцами подбородок.

— Жаль, сухого винца нет, Людмила Петровна!

Ему нравилось, как девушка вела себя в орсовской столовой. Она, видимо, никогда не бывала в ней, но по сторонам удивленно не глядела, не заметила ни мух, ни липких клеенок, толстым официанткам кивнула просто и сердечно, никакой специальной ресторанный позы не приняла. Уже было понятно, что Людмила хороша за столом — с ней будет весело, непринужденно, легко оттого, что девушка умеет молчать, не испытывая при этом неловкости.

— Два холодца! — возникая возле стола, сказала самая толстая официантка. — Горчица вон тамочки — у в солонки, а перетц, наоборот, у в горчицнице.

Они посмеялись.

Холодец стоял под носом у девушки, но она почему-то еще не начинала есть, сидела тихо, спокойно, задумчиво. Однако что-то уже менялось в ее лице: оно становилось просветленным, губы раскрылись, открыв частые, белые и ровные зубы, такие,

какие поэты сравнивают с жемчугом. Потом Людмила осторожно, коротко, как счастливый ребенок перед сном, вздохнула, взяв вилку и ножик, опять замерла с таким видом, словно не знала, что делать с ними. На свежее, молодое, красивое лицо продолжало наплывать светлое, торжественно-праздничное выражение.

Людмила начала есть. Медленно-медленно подцепила на вилку аккуратный кусок холодца, внимательно осмотрев его со всех сторон, бережно положила в рот. Жевала она неторопливо, с непонятными останковками; сидела при этом прямо, спокойно, с ровными плечиками, а выражение лица снова менялось — затуманивалось, становилось сосредоточенным, настороженным, чуточку деловитым; серые материнские глаза внезапно приняли отцовское выражение с той фотографии, где Петр Петрович положил большую руку на хрупкое плечо пятилетней дочери. Она так же глядела в даль дальнюю, видела за рекой будущее, думы ее были крупны, глобальны — о жизни, судьбе, смерти. Но праздник продолжался: безлюдный, одинокий, сам в себе, но праздник.

— А в клубе сегодня кино, — сказал Прохоров. — Называется «Анжелика и король». Играет о-о-чень красивая актриса. Серьезно!

Улыбнувшись, Людмила съела очередной кусок холодца, задумчиво начала облюбовывать следующий, и Прохоров понял, что ни пиршеством, ни вкушением, ни торжеством плоти нельзя было назвать тот особый интимный процесс, в который Людмила Гасилова презрительно обыкновенный обед; для обозначения этого процесса не подходило ни одно из распространенных определений, так как еда и девушка составляли одно целое, и это было так естественно, как растет дерево, летают над Обью птицы, пасется на лугу добродушно-ленивая корова, лакает молоко кошка. И всякий, кто смотрел, как ест Людмила Гасилова, непременно думал о том, что она живет так же, как ест, — неторопливо, маленькими кусочками, облюбовывая, пробуя на вкус, тщательно прожевывая, берет прелести плотского существования по секундочке, по минуточке, по всякому оттеночку радости... Корова!

В матовой окрошке плавал целомудренный лук, мелко нарезанные огурцы пахли летом, кусочки мяса высывались зубчиками горной цепи, ровные квадратики картошки затаенно светились. Все это кричало: «Съешь меня!» — и Прохоров грустно потупился, и опустил в тарелку ложку, и ничего не мог поделать с собой: все думал о Женьке Столетове, который страдал, когда видел, как ест любимая девушка, и который никогда уже не почувствует, как пахнут огурцы, не увидит, какое это чудо — мелко нарезанная картошка! «Я нетерпелив, я очень нетерпелив! — подумал Прохоров. — Мне хочется иметь ружье, которое не только стреляет, но и поджаривает дичь!»

— Что произошло с Женькой? — спросил Прохоров. — Вы знаете его с детства? Что произошло? Его толкнули или он сам сорвался?

Людмила застыла с вилкой в руке. Потом тихо сказала:

— Папа уверен, что Заварзин не мог... Он не толкал Женью... Я не знаю, почему папа так уверен в этом...

Прохоров тоже, оказывается, не мог видеть, как ест Людмила Гасилова. Поэтому он повернулся к окну и заметил сразу, что на обском яру произошло какое-то изменение, что-то появилось новое...

Ровно в девять пятнадцать возвращался с прогулки на жеребце Рогдае мастер Петр Петрович Гасилов. Поднимаясь по дороге, он бросил на гриву Рогдая поводья, сидел лениво и прямо, монотонно покачивался, но на лице еще виделись остатки бешеной скачки — ветер в прищуренные глаза, храп, топот, сверканье скошенных на ездока лошадиных лиловых белков, разбойный запах лошадиного пота.

Рогдай шел устало, опустив длинную шею, бережно представляя тонкие породистые ноги. Коня слева освещало закатное солнце, и Прохоров глупо открыл рот: жеребец был красным.

На красной лошади ехал мастер Петр Петрович Гасилов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Как волка, боящегося красного цвета, обкладывал капитан Прохоров тракториста Аркадия Заварзина. Два страшных красных фляжка вбил в пустоту грузовых поездов, идущих один за одним с интервалом в сорок пять минут, третий флажок поставил на извилистой тропинке, по которой любила бродить сосновская молодежь, четвертый прилаживал в том месте, где тропинка пересекалась с проселочной дорогой, по которой ежевечерне гулял слепой учитель Викентий Алексеевич. Последний флажок капитан Прохоров собирался поставить на продутой ветрами железнодорожной платформе.

Войдя в рабочую форму после встречи с Людмилой Гасиловой, капитан Прохоров спал по шесть часов в сутки, вечерами засыпал мгновенно, без снотворного, утрами пробуждался с песней: «Заиграли, загудели провода... Мы такого не видали никогда». По Сосновке ходил стремительный, ясноглазый, ловкий, хотя костюм по-прежнему мешковато сидел на нем; лицо загорело, голос от ветра и солнца сделался хрипловатым, губы плотно сжаты.

Два дня назад Прохорову звонило милицейское начальство, осторожно намекая, что он, Прохоров, такой замечательный оперативный работник, что без него в управлении обойтись не мо-

гут. «Ты давай-ка, Саша, без этого самого... Философствуешь ты больно много, вот что я тебе хочу сказать, Прохор! — говорил дружески в телефон начальник уголовного розыска полковник Борисов. — Вот ты молчишь, Саша, а я ведь вижу, как зубы скалишь... Тебе хорошо — речка, осетрина, всякие там закаты и восходы, а у меня в Погарском районе сейф вскрыли! Кого я пошлю на это дело?.. Давай, Прохоров, поскорее, а! Сделай милость, голубчик!»

Потом начальство сообщило, что товарищ Прохорова — майор Лукомский — уже получил квартиру, значит, теперь и Прохорову недолго ждать отдельной секции в новом доме; ордерок Прохоров получит скоро, если, конечно, не слишком задержится в Сосновке. «Одним словом, давай без философии, Саша! Гони только информацию: да или нет!.. Почему я такой веселый? А вот туточки майор Лукоша тебе привет шлет... Квартирку он получает — конфитюр! Окна — на Ушайку!» У полковника Борисова был приятный баритон. Он успешно выступал на любительской сцене — пел арии из классических опер.

Вскрытый сейф в Погарском районе, естественно, интересовал Прохорова, но фраза: «Кого я пошлю на это дело?» — заставила приглушенно улыбнуться. Не обошлось и без того, чтобы Прохоров не вспомнил о своем мешковатом костюме, о сибирских словечках, которые порой непроизвольно проскальзывали в его речи, о простецком курносом носе, который придавал его, прохоровскому, лицу наивность. Конечно, эта лиса Борисов нянькался с Прохоровым как с малым дитятей, кричал на всех перекрестках, что капитан Прохоров — золотой, выдающийся работник, осыпал капитана всевозможными премиями и наградами, но он-то, Прохоров, не забыл, как однажды случайно услышал баритончик самого Борисова: «А что тут думать? Коли деревенское дело, посылай Прохора!»

Ну, конечно, форменный мундир на Прохорове не сидел так изысканно и аристократически, как на Борисове, ногти капитан Прохоров по примеру полковника не подравнивал маленькой пилочкой с перламутровой ручкой, не ходил в плавательный бассейн при университетском спортзале, не пел на любительской сцене арии из «Пиковой дамы», но... посмотрим, посмотрим!

После разговора с начальством Прохоров спал отменно хорошо, вставши утром, вспомнил о разговоре и громко засмеялся: «Посмотрим, посмотрим!»

После этого Прохоров и почувствовал, что пришло время составить примерный план дальнейших действий, так как до сего момента он, оказывается, действовал как бы на ощупь. Теперь в тумане уже просматривалась маковка прибрежного маяка, понемногу прояснялись человеческие фигуры, было уже недалеко до той минуты, когда увидятся глаза... Прохоров мысленно набрасывал:

вызвать на первый предварительный — осторожный — допрос Аркадия Заварзина;

встретиться с начальником лесопункта Суховым;

осторожно и незаметно собрать в кучу комсомольцев лесопункта;

вызвать для веселого разговора белобрысую девчонку, писавшую протокол знаменитого собрания;

провести серьезную беседу со сменщиком Столетова, потешным мужичком Никитой Суворовым;

с легкомысленным видом гуляки и фланера посетить даму Анну Лукьяненко, чтобы навсегда покончить с темой любовного треугольника или, может случиться, четырехугольника;

узнать, наконец, что произошло в лесосеке двадцать второго мая...

Вот, пожалуй, и весь план, в котором, конечно, не учтены мелочи: найти и перечитать новеллу Исаака Бабеля, в которой есть фраза о женщинах и конях, «случайно» встретиться с женой Гасилова, прыгнуть с грузовой платформы на среднем ходу поезда и так далее и тому подобное. Дураку понятно, что пункты можно переставлять, их очередность определяется...

Прохоров опять поймал себя на том, что оттягивал визит в семью Евгения Столетова — боялся! Да, да! Он боялся идти в родной дом Евгения Столетова, и даже на улице, когда проходил мимо зеленой крыши невысокого строения, отводил глаза и опускал голову, а вчера юркнул в переулок, так как увидел на тротуаре знакомую по фотографиям мать Женьки...

Плохо было и другое — до сих пор не вернулся из города загадочный парторг Сосновского лесопункта Голубинь.

И все-таки капитан Прохоров весело улыбался, напевал свое утреннее: «Загудели-заиграли провода...»

«Начну-ка я рабочий день с Никитушки Суворова!» — решил капитан Прохоров.

2

Когда тракторист Никита Суворов, сопровождаемый чеканным стуком пилипенковских сапог, вошел в кабинет и, смущаясь, начал переминаясь с ноги на ногу, Прохоров впал в тихое неистовство: всего полчаса назад он предупредил Пилипенко о том, чтобы тот не смел сопровождать по деревне свидетелей. Теперь капитан с яростью смотрел в пилипенковскую переносицу, но связанный присутствием постороннего человека, прошипел только нечленораздельное:

— ...стоеросовая, самая стоеросовая...

Пилипенко улыбнулся, сделав руки по швам, удалился со словами:

— Как приказано, пошел искать кондуктора Акимова! Будет допрошен, как приказывали!

Он набатно простучал сапожищами по гулкому крыльцу, на улице засвистел лихо, красиво понес свое ефрейторское тело через солнечную улицу; сверкали, конечно, сапоги, бриджи на икрах сидели удивительно плотно. «Чудовище!» — подумал о нем Прохоров, но все равно почувствовал восхищение.

— Вон как потопал Пилипенко-то! — с улыбкой сказал капитан Никите Суворову и показал пальцем на стул. — Садитесь, Никита Гурьич... Вот и во второй раз встретились, как говорится... Опять я вас зачну мучить, как вчера, Никита Гурьич. — Прохоров помолчал. — Выходит, что вы, Никита Гурьич, вокруг правды ходите, как коза вокруг высокого прясла. И капуста хочется, и ноги короткие... Вот вы показали товарищу Сорокину, что Столетов и Заварзин дрались на Круглом озере. А дракито, Никита Гурьич, ведь не было! Не было, говорю, драки, Никита Гурьич!

Морщинистое, маленькое лицо Никиты Суворова сняло робкой, предупредительной и опасливой улыбкой. Ему, конечно, было приятно беседовать со своим, сибирским человеком, он, конечно, с большой симпатией относился к Прохорову, во всем доверял ему, но был так запуган, что ему по ночам, видимо, мерещился острый нож с ложбинкой на лезвии, он, наверное, просыпался в холодном поту и от ужаса опять закрывал глаза.

— Ну, как же будем жить дальше, Никита Гурьич? Будем продолжать запираяться?

Суворов помигал и торопливо ответил:

— Что было говорено, то и есть говорено. Больше нет правды, чем ты от меня услышал, товарищ Прохоров. Врать мне не с руки, не такой я человек, чтобы врать...

Прохоров легко поднялся с места, неторопливо подошел к окну и опять почувствовал, какой он весь спокойный, деловитый, умный. Если его не вывел из себя старательный Пилипенко, если он способен почувствовать восхищение твердой линией упрямого младшего лейтенанта, то запуганный Заварзиным тракторист Никита Суворов и подавно не мог удивить капитана, когда повторял вчерашнюю ложь.

— Вы меня вокруг пальца, как мальчишку, водите, Никита Гурьич! — обидчиво сказал Прохоров и помигал на Суворова: — Я вашу байку брать в резон не могу: она потолочная.

— Это уж как ты себе на душу положишь, товарищ Прохоров!

Ох, как нетрудно было запугать трусливого мужичонку...

— Мучение мне с вами, Никита Гурьич! — со вздохом сказал Прохоров и сел на прежнее место. Он с полминуты помолчал, потом произнес негромко: — Снова мне рассказывайте вашу байку, Никита Гурьич... Надежда только на то, что вы сегодня по-другому врать будете, а я вас тут-то и поймаю! Ох, скажу, Никита Гурьич, ох, врете, ох, путаете!

У мужичонки отвисла нижняя губа, открылся рот с желтыми, стоящими вразнотык зубами; совсем был плох красотой и мужской силой Никита Суворов, обидели его отец и мать всем тем, что надо давать сыну: силой, ростом, разворотом плеч.

— Начинайте, начинайте, Суворов!

Тракторист ухватился руками за края табуретки, начал было сгибаться обреченно, но Прохоров все еще требовательно глядел на него, все еще улыбался, и Суворов заговорил:

— Ну, дело с того началось, что Арканя-то Заварзин на лесосеку вдругорядь вернулся. Сначала он будто с Андрюшечкой-то Лузгиным на поселок уехал, а потом я трактором-то на эстакаду бреду, гляжу: он обратно возля столовой стоит! Ах, думаю, забери его лихоманка, как же он оттеля сюда попал, когда должен уже по деревне шастать! Да так он быстро вернулся, что и сапог на нем забывать не успел... Ну, стоит возля столовой, куренкой занимается, наплоть к вагонке-то подошел, чтобы его-то не видать...

Прохоров про себя усмехался, вынимая из памяти полузабытые слова. Забывать — значит просохнуть, наплоть — вплотную, куренка — курить... Волной воспоминаний веяло от местных словечек мужичонки, в мягких интонациях скрывалась прохоровская молодость, детство с зарницами и рекой, прохладой звездных вечеров, гармошкой на улице, шорохами на полатях, где спала древняя бабка. Гармонь шла переулком, пела «Расцветали яблони и груши...», смеялись девчата; на заре — петушинный всполошный крик, зябкая роса, тревога молодого тела...

— ...Ну, стоит он у вагонки, куренкой занимается, глаз у него прищуренный, как у сома-рыбы,— продолжал Суворов, вздыхая. — Тут надо тебе сказать, товарищ Прохоров, что сом-то только кажет круглый глаз, у его только обличье, что глаз круглый, а взаболь у его глаз-то прищуренный. Ты вот возьми сома, товарищ Прохоров, да искосу на него глянь: глаз прищуренный! У шуки глаз — круглый! А за карася я тебе и говорить не буду: каждый знат, что у его глаз даже шибко круглый...

Слушая Суворова, капитан Прохоров сидел тихо, не двигаясь, как бы боясь спугнуть плавную речь, прервать нить неожиданных ассоциаций и прямых воспоминаний. Суворова нельзя было ни перебивать, ни торопить, и Прохоров думал: «В тридцать минут уложится!»

— ...глаз прищуренный бывает еще у молодой стерляди. Ну, это особ статья, это рыба така, что у нее все наперекосяк...

Никита Суворов приостановился, почесал веко.

— Ну, гляжу я на Заварзина, ничего понять не могу, однако смеаю: дело нечисто! Во-первых, чего возвернулся, во-вторых, чего прищуривается, чего лыбится на контору? В ей же не сахар, в конторе-то! В ей Женечка Столетов с самим Гасиловым

‘разговариват... — Он покрутил головой. — Ну, до чего долго Женечка с Гасиловым говорили, что я три ездки трактором-то сделал. Это ведь поболее часа, никак не меньше...

По-прохоровскому тоже выходило, что между отъездом и возвращением Заварзина прошло никак не меньше часа, и, значит, именно столько времени разговаривал Столетов с мастером Гасиловым.

— Да это никак не меньше двух часов прошло, когда Заварзин-то возвернулся, — снова пересчитал Никита Суворов. — Я, конечно, тракторист не ахти какой — я ведь колтоногий. — Он показал на хроменькую ногу. — Мне с Евгеньем Столетовым, конечно, равненья не было. Куды там! Он, Женька-то, на тракторе ездил, как остяк на обласке... Это я тебе, товариш Прохоров, на полном сурьезе говорю, что во всей области лучше Евгенья тракториста не было... Вот те хрест! Ну, ты сам посуди, товариш Прохоров! Я дельвал за смену, сказать, двадцать ездок, а Женечка — тридцать! Это что? Это рази не стахановска работа? «Степанида» под нем было ровно конь! Бывалыча, скажет: «Ну, давай, родимая!» А она его слушат, ровно живая. Ей-бо! «Степанида» его понимала, это соврать никто не даст, а я с ней, бывалыча, часа два вожусь. Все, зараза, не заводится. Ну, Женечка подойдет, руку ей на бочину положит, в моторе кой-чего покопается — она и заведется. Ну, зараза, ну, зараза!.. Это я про трактор говорю, не про Евгенья...

На улице творился летний день. Было так же жарко, как вчера и позавчера, но над деревней висело большое, темное в середине, растопыренное облако, обрамленное по краям белой спящей каймой. От облака лежала на реке тень, и вода в этом месте казалась рябой, простуженной. Облако медленно-медленно приближалось к солнцу.

— Дождь будет! — поймав взгляд Прохорова, сказал Никита Суворов. — Падет короткий, зальвит всю деревню, под вечер угомонится... Ну, я дальше пойду... Я, значит, воз на эстакаде отцепляю, с бригадиришкой Притыкиным, язви его мать, хлестаюсь насчет тросов, а сам, не будь дурак, на Заварзина поглядаю. Здесь вдруг и Женечка выходит... Ах ты, мать честна! Лица на нем нет, ногами-руками дрыгат, туда, откеля вышел, супротивно зыркает... Ну, тут Заварзин и подходит к нему. Ах, мать твою распротак, думаю, бандюга, семь лет по колониям да тюрьмам сживал, чего бы он плохого Женечке не произвел!

Опять всплеснув руками, Суворов приподнялся, поглядел на Прохорова с испугом.

— Ну, они поговорели, поговорели да в тайгу пошли... Идут, обои руками размахиват, обои огромные, балмошные... Ну, думаю, за имя надо иттить! Бегом бежать за имя, думаю, надо! Ладно! Бросаю трактор, бригадиру Притыкину говорю: «Я по большой нужде поспешаю!» — а сам — шесть за имя в тайгу! Вот, думаю, останятся, вот, думаю, что плохое начнется,

а они все валят да валят дальше. Обратнo ручищами махают, о чем разговор, мне, обратнo, не слыxать, как я шибко позади их поспеваю,— не ровен час, Заварзин усмотрит! Он страшенный! Чего хорошего, если ножом обранит али, того хужее, вовсе убьет?

Прохоров слушал чутко, так как приближался момент, когда в рассказе начиналась ложь, а надо было непременно засечь картину, после которой тракторист врал.

— Ну, шнырим дальше, уж порядочно от лесосеки отошли, как на тебе — останавливаются... Ну, они еще маненько руками помахали, построжились друг на друга и давай молчать, ровно нанятые... А было дело, надоть сказать тебе, товаришш Прохоров, возля озерца.— Никита Суворов оживился.— Ты теми местами не хаживал, ты, товаришш Прохоров, и в понятие не держишь, чтобы посередь тайги да вдруг — ветельник, сморода, дерево... Это озеро Кругло называтся, в нем, если хочешь знать, всяка рыба живет...

И страшно было мужичонке, и любопытно, и воспоминання наваливались, и хотелось, чтобы все были довольны — милиционер Прохоров, страшный Аркадий Заварзин, несчастные родители Евгения Столетова. А трудное место в рассказе приближалось, а темное озерцо уже посверкивало в проеме сосен. Милиционер Прохоров смотрел так, словно просвечивал Никиту Суворова насквозь, и все было так страшно, что страдальческие глаза тракториста спрашивали: «Зачем все это, для чего?»

— Утки в Кругло озере невпроворот! — радовался отдыху Никита Суворов. — Ну, чирка там видимо-невидимо, нырка по мене будет, но тоже есть — садится, бьват, и нырок. Крякуша, само собой, водится, однако чернсклювика не видать. Черносклювик, он больше на луговине, на сорах или на болотгне... — Никита Суворов ни на секунду не приостановился. — Ну, тут надо тебе сказать, товаришш Прохоров, что они не сразу драться стали. Они еще хотели договориться без драки, но, надо быть, не сумели...

Никита Суворов тяжело, прерывисто вздохнул.

— Тут на Кругло озеро крохаль-утка села... Вот об это время, товаришш Прохоров, они и начали хлестаться, как лончаки... Страшное дело!.. Ты чего так на меня зыркаешь, товаришш Прохоров? Крохалья-утку не знаешь?.. Сам он из себя большой, сизый, питатся рыбой, мульков имает и тоже ест. А вот еще есть така птица — мартын с балалайкой. Этого не едят, не стреляют, сам белый, над полями летат, крылья долги, а сам меньше утки. Этого ты, когда встренешь, не стреляй — почто он тебе...

Никита Суворов начал врать после слов «они не сразу драться стали». Именно здесь картина каким-то образом перекосилась, перед мысленным взором Прохорова возникло что-то неестественное, мешающее. Прохоров закрыл глаза, отключив-

шись от Никиты Суворова, наново мысленно просмотрел ту картину, когда Столетов и Заварзин подошли к берегу озера... Они стояли вплотную друг к другу, в полете сосен качались лучи догорающего солнца, в таежной тишине слышалось хриплое дыхание парней. Свистнув крыльями, тревожно крякнув, опустилась торпедой на озеро крохаль-утка, погнала грудкой овальную волну по темной масляной воде...

— Есть! — прошептал Прохоров. — Есть! — Он облегченно засмеялся: — Есть!

Ну, полковник Борисов, что сказал бы ты сейчас Никите Суворову? Что сделал бы ты сейчас, полковничек Борисов, со своими полированными ногтями, английским пробором, кителем в талию и роскошным баритоном?

— Стреливал и я крохаль-утку! — мечтательно проговорил Прохоров. — И на сорах стреливал, Никита Гурьич, и на болотах стреливал, и на луговине стреливал. Утка эта не так вкусна, как увертлива, не так увариста, как жилиста...

Он снял руки со стола, удобно отвалившись на спинку стула, протяжно зевнул, пожаловался:

— Только вот, Никита Гурьич, никогда мне не приходилось крохаль-утку стрелять на лесном озере! Крохаль-утка, она ведь на лесные озера не садится... Не садится крохаль на лесные озера!.. Хватит врать, Суворов, — жестко сказал Прохоров. — Ничего вам Заварзин не сделает, если вы по правде покажете, что драки не было и Столетов с Заварзинным поехали в поселок на одной платформе...

Никита Суворов пустым мешком висел на стуле: челюсть отвалилась, как створка капкана, в глазах — ужас, руки дрожат. Вот как запугал его Аркадий Заварзин! Наверное, вынул из кармана нож, приблизив лицо вплотную к лицу Суворова, проговорил лениво: «Меня посадят — другие найдутся! Из-под земли тебя достанут, горло от уха до уха распластают».

— Никита Гурьич, а Никита Гурьич!

Суворов понемножечку приходил в себя, оклемывался, бедный, потихонечку... Какой непосредственностью и наивностью надо было обладать, чтобы потеряться от такой мелочи, как крохаль-утка, чтобы не найти самый простейший ответ на прохоровскую реплику! Эх, Сибирь, Сибирь! Добрая, искренняя земля...

— Надо правду показывать, Никита Гурьич! — мягко сказал Прохоров. — Всего несколько слов надо подписать: «Драки не было! Поехали вместе...»

— Была драка! — прохрипел Суворов и вдруг выкрикнул ошалело: — Не подписую я бумагу! Ты отселева через недолги дни уедешь, а мне под ножа идти, семью свою губить!

— Надо подписать! — торопливо сказал Прохоров. — Обязательно надо подписать, Никита Гурьич, не то... Очень прошу подписать!

— Не подпишу! — вдруг спокойно ответил Суворов. — Не подпишу.

Это было такое серьезное поражение, что Прохоров растерялся, сконфузился, одним словом, потерял лицо. Он сделал несколько суетливых движений, поспешно вскочил из-за стола, просительным образом протянул руку к Суворову, но тут же услышал категорическое:

— Это дело я никогда не подпишу! Какой мне мотив бумагу подписывать, если ты, товарищ Прохоров, все одно, кого надо, споймаешь? У тебя ум большой, ровно как у старой собаки... Вот такое дело, товарищ Прохоров...

— Ну, Гурьич, — тонко произнес Прохоров, — ну, Гурьич, ты так подвел... ты меня... то есть вы меня...

— А ты меня тыкай, тыкай, товарищ Прохоров! — обрадовался Суворов. — Когда меня тычут, мне сердцем веселее. На «вы» с человеком тогда надо говорить, если, скажем, ты у него корову за долги уводишь... Ему морозно, человеку-то, от выканья...

Оторопелый Прохоров искоса поглядел в окно — река хорошо, ласково светится, перевел взгляд повыше — грозитя напоздти на солнце облако с яркой каемкой, опустил взгляд — стоят на полу здоровенные, не по росту, кирзовые суворовские сапоги. Что делается, а, родной мой уголовный розыск! Три дня строил пирамиду, вершиной которой должно быть форменное, письменное признание Никиты Суворова, а вместо этого...

— Ты вот что, Гурьевич, — сдерживая смех, сказал Прохоров. — Ты катись-ка домой, пока я сердцем не извошел. Ты лындай-ка отсюда, Гурьич! Марш отсюда, срамота, мать твою распротак!

— Вот это ты дело говоришь, товарищ Прохоров! — радостно заорал Суворов. — Ну, ты ничего лучшее этого, парень, придумать не мог! Я счас от тебя так лындану, что ты и глазом уморгнуть не успеешь, ты еще и «тятя» сказать не угораздишься, как я дома на печку взовьюсь!

3

Никита Суворов по улице наяривал быстро, словно его подгонял ураганный ветер, волосенки на затылке развевались, мелькали здоровенные каблуки, руками размахивал, как участковый инспектор Пилипенко.

Прохоров отошел от окна, весело крякнув, сел. Бог знает, почему образовалось у него смешливое, легкое настроение — от мужичонки, наверное, от своей забавной неудачи, от темной тучи, которая с урчанием понемножечку застила солнце. Ливанет через часика два крупный кромешный дождина, запылают молнии, одуряюще запахнет щекочущим ноздри озоном. «Дождик, дождик, пуще, дам тебе гущи! — пели они ребятишка-

ми и плясали босые в теплых ласковых лужах. — Дождик, дождик, припусти, мы поедем во кусты...»

Прохоров вслух засмеялся. Ах, каким хорошим было настроение! Все радовало его. Раскладушка казалась целомудренно белой, чемодан лихо поскрипывал никелированными застежками, белая рубашка приятно хрустела. В термосе, из которого Прохоров по утрам пил крепкий чай, отражались оловянная Обь, черная туча, искаженное окно; чистый лист бумаги на столе завывно белел. Он вдруг сухо поджал губы, отодвинувшись от стола вместе со стулом, критически-насмешливо поглядел на свои замшевые туфли — явно не годились для дождя, раскисшей дороги, мокрого, деревянного тротуара.

Прохоров зябко поежился от предчувствия удовольствия и огляделся так, словно сомневался, что в кабинете, кроме него, никого нет. Отлично! Хорошо! Он взял приятно пахнущий, поблескивающий чемодан, аккуратно поставил его на стол, расположив так, чтобы свет из окна падал на его, чемоданные, внутренности. Отлично! Колоссально!

В чемодане лежали две белые нейлоновые рубахи; он их вынул, аккуратно положил на стол; под рубахами обнаружили чистые носовые платки, майки, трусы, запасные подтяжки, две пачки мыла «Красная Москва», три пакетика норвежских бритвенных лезвий — на тот случай, если в Сосновке откажет электростанция, одеколон «Красная Москва», импортный крем для бритья, две катушки ниток — белые и черные, — четырнадцать пар буйно-разноцветных носков, пять шариковых ручек, стопка плотной, очень хорошей бумаги, пасьянсные карты, крошечный англо-русский словарь, два перочинных ножа, пакетики с аспирином, анальгином и тройчаткой, пузырек с йодом, широкий и узкий бинты, коробка разноцветных карандашей, пистолет, завернутый в газету, ложка, вилка, открывашка для бутылок, электрическая лампочка на сто свечей — он не любил слабый свет, куча запасных стержней к шариковым ручкам, ботиночные шнуры, матрешка в клетчатой юбке и так далее и так далее...

Прохоров бережно вынимал вещь за вещь, губы у него попрежнему были сухо сжаты, а выражение лица было таким, каким оно бывает у сладкоежки-женщины, когда ей предстоит выбрать одну-единственную шоколадку из громадного шоколадного набора. Очень хороша шоколадка в форме дубового листа, привлекательна и та, что похожа на египетскую пирамиду, славенько лежит шоколадка-слоненок, шикарна шоколадка-трюфель, роскошна шоколадка-медаль. У женщины тускнеют глаза, губы делают сосредоточенными, словно она идет по узкой жердочке над стремительным потоком.

Под газетой на самом дне чемодана лежали три пары новых туфель; каждый был вложен в целлофановый мешочек, между туфлями — два тюбика с кремом, черным и коричневым; железная щеточка для чистки замшевых туфель и целых три щетки

для туфель обыкновенных — жесткая, полужесткая и мягкая. Существовала, конечно, и бархотка для наведения глянца, рожок для надевания туфель и несколько металлических подковок с шурупами, которыми они привинчивались к каблукам, чтобы каблучки не сбивались.

Вынув все это из чемодана, Прохоров после неторопливого раздумья выбрал черные туфли с широким рантом, поднеся их к носу, понюхал приятный запах новой кожи, крема и клея, потом, омахнув туфли бархоткой, снял с них едва приметный слой пыли — какая пыль в чемодане! Потом, счастливо вздохнув, он стал выдавливать на правый туфель черный крем из затейливого тюбика. Крем у Прохорова был лучших европейских фирм, щетки из отечественной щетины, бархотка была куплена в московском магазине «Обувь».

Прохоров обработал туфли жесткой щеткой, полюбовавшись, перешел на щетку средней жесткости; затем поласкал блестящую поверхность третьей, самой мягкой щеткой. Губы у Прохорова сжались от радости и нежности к туфлям, брови страдальчески сошлись на переносице. Он в такт взмахам щетки покачивал головой, притопывал; он не успокоился до тех пор, пока на коже не осталось ни единого мутного пятнышка, пока обрез ранта не стал сверкать остро и лихо. Затем Прохоров за кончики взял московскую бархотку, такими легкими, слабыми движениями, какими, наверное, вынимают из часов тончайший волосок, начал придавать туфлям окончательный шик. Он лакировал кожу до тех пор, пока не увидел в туфле свой собственный подмигивающий глаз.

Через пять минут Прохоров закрыл чемодан, поставив его на место, надел новые клетчатые носки. Туфли блестели хорошо, настырно, поверхность вовсе не походила на кожаную; туфли казались вылитыми из блестящего черного металла.

Он легко прошелся по пилипенковскому кабинету. Отлично! Когда сверкают туфли, плевать на то, что костюм сидит мешковато, галстук завязан неумело, густые волосы торчат на макушке, нос кончается примитивной нашлепкой. Он был готов своротить горы, опуститься на дно морское, взлететь под облака... «Я вот что сделаю! — подумал капитан Прохоров. — Я пойду сейчас к Анне Лукьяненко!»

Но прежде чем выйти из кабинета, он подумал: «Если Столетов и Заварзин дрались на озере Круглом, моя версия — тьфу и растереть! Но он врет, этот славный мужичонка...»

4

Славный мужичонка Никита Суворов не ошибся, говоря, что скоро ливанет сильный дождь...

Когда Прохоров вышел из дома, одна черно-синяя туча уже застила солнце, две других прибивались к нему острыми кра-

ями; четвертая туча поднималась из-за Оби. Река казалась рябой, как курица, ветер на плесе то и дело взвихривал белые продольные полосы, гром погуживал, на небо между тучами было трудно глядеть — такое было яркое, ослепительно голубое. У собаки, торопливо бежавшей вдоль улицы, столбом стоял пушистый хвост.

Прохоров весело шел по деревянному тротуару, наступал блестящими туфлями на сосновый дощаник, поскрипывал туфлями с приятностью. Бодрый, свежий, помолодевший, он не без игривости думал о визите к разбитной бабенке, по слухам, любвеобильной, хотя Пилипенко рассказывал и о таком: из дверей дома Анны Лукьяненко сначала вылетала мужская шапка, за ней — пальто, потом ошпаренно выбегал хозяин летающих вещей.

Следуя своей давней привычке, Прохоров искал дом вдовы не по названию улицы и номеру, а по одному ему ведомым признакам.

Прохоров подошел к дому, который явно мог быть домом Анны Лукьяненко. Здесь ни огорода, ни сараюшек не было, крыльцо выходило не во двор, а прямо на улицу, что и позволило инспектору Пилипенко наблюдать полет мужской шапки. Номер дом имел 13, что тоже свидетельствовало о проживании в данном доме веселой Анны Лукьяненко, не страдающей суевериями. Какие уж тут суеверия, если на окнах нет ни занавесок, ни гераней, ни завалищающего цветочного горшочка, а лежит поцыгански пестрый головной платок!

Крыльцо дома выступало в сторону улицы далеко, нагло, словно бросало вызов деревне, всему белому свету. Окна у дома были не большие, не маленькие, сам дом не старый и не новый, крыша была не деревянная и не железная, а шиферная. Была у дома и одна особенность — на бревнах расплывалось такое свежее пятно, словно их чем-то скоблили. Это был след дегтя, которым резливые бабы три месяца назад вымазали стену дома — ворот-то не было!

Прохоров вошел в крохотные сенцы, уловив звуки жизни, постучал в дощатую дверь.

— Войдите!

Он ошалело остановился у порога, так как прямо в глаза ему бросились белые ноги, обнаженные юбкой значительно выше колен. На Анне Лукьяненко была знаменитая мини-юбка, которая и в столице коротка, а добравшись до такой деревни, как Сосновка, да полав на бедра Анны Лукьяненко, превратилась в повязку австралийца. Плечи же и грудь были туго обтянуты тесной шерстяной кофтой.

— Бывай здоров, следовательно! — громко поздоровалась Анна и показала два ряда плотных зубов. — Хочешь квасу? Пей! Вон на столе...

На пустом столе действительно возвышалась четверть с квасом, рядом примостилась фарфоровая кружка с отломленным краем, и вообще в большой и единственной комнате дома все предметы, кроме монументальной русской печки и кровати, казались кривоватыми, надломленными: стул, например, был о трех ногах, у этажерки одна полка с пыльными книгами провалилась, голые подоконники просели и расщелились, пол перекосялся так здорово, что Прохорову захотелось побежать по наклонной плоскости.

— Ошибаетесь, Анна Егоровна! — заботливо сказал Прохоров. — Я не следователь. Я оперативный работник.

— Один леший! — ответила Анна и повела плечами. — Мне что поп, что дьякон!

Было совершенно ясно, что Анна Лукьяненко — самая красивая женщина в Сосновке. Ее родители, видимо, недавно распрощались с теплой Украиной, где у женщин бывают вот такие рисованные брови, вот такой румянец на тугих щеках, вот такие женственные формы тела, такое торжество цветущей плоти и женского здоровья. Одним словом, вдова Анна Лукьяненко была такой, что капитан Прохоров, впад в риторику, подумал напыщенно: «Вот если взять Рубенса, добавить к нему фламандцев да разбавить все это Ренуаром...»

— Садись, оперативный работник! — услышал он веселый голос Анны Лукьяненко. — Садись вон на ту табуретовку...

Прохоров неторопливо прошел в комнату, попробовав на прочность табурет, сел на него и внимательно стал разглядывать Аннину кровать.

— Королевское ложе! — опять напыщенно сказал Прохоров. — На такой кровати, Анна Егоровна, можно играть в гордки. Исключительно выдающаяся кровать!

Да, кровать не уступала в монументальности русской печке. Возведенные, видимо, местным столяром, стояли широченные, оббитые резьбой спинки, трепетал ситцевый, очень яркий балдахин-полог, резные бильярдные ножки давили на шаткий пол с такой силой, точно хотели провалить его в тартарары. Плоскость кровати была квадратной; на кровати лежало, стояло и валялось так много разнообразных вещей, что было понятно: это не кровать, а жилище Анны Лукьяненко. Судя по спицам и моткам шерсти, Анна на кровати вязала; от того, что на цветастом одеяле стояли две тарелки, можно было заключить, что Анна ела на кровати; исходя из того, что на спинках висело много одежды, можно было понять, что и гардероб находился тут же. Всем была кровать для Анны Лукьяненко — ложем, столовой, гардеробом, столом для игры в подкидного дурака, кухней. Вся жизнь женщины проходила на кровати — такого Прохоров еще не видывал.

— Вот это кровать! — продолжал восхищаться он. — Вот это кровать! Как же вы ее везли от столяра-то? Ночью?

Она захохотала легко, спокойно.

— Днем! — сказала вдова. — Я ее нарочно днем везла... Как тебя зовут-величают? Это ты мне не сказал...

— Александр Матвеевич — вот как меня зовут! — солидно ответил Прохоров и, подумав, добавил: — А я не такой вас представлял, Анна Егоровна... Счетовод, конторская крыса, бумажная душа... Вот и думал, что вы другая...

— Какая же?

— Да вот такая... Черноволосая, высокая, худая, глаза злые... По улице идете — на скулах яркий румянец, рот сжат, губы тонкие... Голос у вас должен быть низким, кожа на переносице обязана блестеть, волосы должны быть прямыми...

Прохоров уже понял, что ему хорошо сидеть в доме Лукьяненко, смотреть на то, как она его слушает, разглядывать кровать; он уже почувствовал, что разговор с Анной будет легким, полезным и умным.

— И разговариваете вы не так, как я ожидал, — продолжал Прохоров. — Думал, что вы скажете: «Присаживайтесь, товарищ Прохоров, я готова давать показания», — а вы... «Как там тебя зовут-величают?» К таким словам, Анна Егоровна, надо юбку до щиколоток, на голову — ситцевый платочек, на стол — самовар!

Анна сидела на кровати страшная.

На такой вот женишься — мир исчезнет! Какое дело до мира человеку, которому постоянно светят эти ясные глаза; небо покажется с овчинку тому человеку, которого навечно полюбит женщина с такими коленями, в которые хочется уткнуться лицом и молчать вечность, не двигаться вечность... Что же ты, Женька Столетов! Что же ты, глупый!

— Я к вам, Анна Егоровна, вот почему пришел, — сказал Прохоров. — Я из-под земли достану тех, кто помог Столетову умереть... — Он сделал крошечную паузу. — Уверен: вы любили Столетова! Все факты сходятся на том, что вы его любили...

Третий десяток лет доживала на земле Анна Лукьяненко, считанные годы оставались до морщин и вялого рта, тонкой кожи на веках, бабьей утиной походки; она и сейчас — после слов Прохорова — обмякла налитым, цветущим телом, возле губ прорезались морщинки, глаза полиняли.

— Ну, спасибо, Александр Матвеевич! — негромко сказала Анна. — Мне такого давно не говорили. Думают: не может вдова любить — балуется!

Она поднялась, взяла с окна цветастый платок, накинула на плечи: прохладно было ей в душной комнате.

— Вы неделю в деревне поокочачиваетесь да уедете, — перейдя на «вы», продолжала Анна. — Поэтому нет мне резона вам врать, Александр Матвеевич, убеждать, что я не такая, как думает деревня...

Она усмехнулась.

— Правду тоже обидно говорить. Но вот вам правда: я покойному мужу седьмой год верная. Ну разве не обидно мне об этом говорить?

Она подняла на Прохорова ясные, чистые глаза, усмехнувшись, попыталась надернуть юбку на белые колени; ей это, конечно, не удалось — ноги остались далеко открытыми.

Было странно: высокая прическа, мини-юбка, босоножки — современно, привычно, а вот речь по-деревенски напевна, слова стоят друг от друга далеко, и кажется, что говорит не Анна, и все время хочется оглянуться, чтобы увидеть другую женщину — пожилую и допотопную.

— Вам многого не понять, Александр Матвеевич, — сказала Анна. — Вы мужчина. Мужик! А я — баба! Кто бы понял, как это тяжело — баба! Вы вот сидите, так вы — один. А во мне столько таких, как вы, напихано! Бабы, ее много — так мне одна умная старуха говорила...

Она смотрела в окно, в зрачках отражалась низкая туча.

— У меня детей нет, Александр Матвеевич! Покойный муж был хороший человек, но мужик плохой... Почему это я вам все рассказываю? — вдруг спросила она и сама же ответила: — Вы с женщинами невезучий, Александр Матвеевич! Вот и ног моих голых боитесь, как Женя боялся... Так я их закрою...

Она медленно стянула с плеч косынку, заботливо укутала ею колени, затем посмотрела на Прохорова исподлобья.

В комнате было тихо, над крышей уже отчетливо поговаривал с землей картавый гром, сверкнула дважды тусклая молния, меж Обью и небом протягивались не то дождевые, не то световые штрихи частых линий; на берегу ожидающе кричали ребятишки.

— Я тоже в любви невезучая, — продолжала Анна. — Но я бы этого не знала, если бы не Женя... Я бы так и думала, что любовь такая и есть, как у меня к мужу была... А тут Женя... Пропала я! Пропала! И девять лет разницы, и Людка Гасилова, и необразованность, и слава моя проституточья... Один человек для меня родился, но и он на девять лет опоздал. Я много раньше родилась... И чего я Людкой Гасиловой не родилась!

Говорить Анне было трудно: слова от губ отрывались куцыми, укороченными, словно застревали в горле, на шее, шевеля кожу, пульсировала кровь, серым сделалось крепкое, пышущее здоровьем лицо. «Ничем не поможешь!» — подумал Прохоров и спросил:

— За что Евгений не любил Гасилова?

— За все! — секунду помолчав, ответила Анна. — За себя, за Людку, за Сухова, за Притыкина, за меня, за жеребца Рогдая... Вижу: не понимаете, Александр Матвеевич, так я с другого конца зайду. Вы бригадира Притыкина знаете?

— Знаю.

— Тогда сейчас все поймете... Притыкин — гад, сволочь, проститутка в штанах, но он хоть пьяным бывает, а Гасилов... Гасилов — мертвяк! Теперь понимаете, Александр Матвеевич?

— Понимаю! — сказал Прохоров, хотя не мог представить, как можно называть трупом человека с такими умными глазами, как у Гасилова, с фигурой создателя. — А Женя тоже говорил, что Гасилов неживой?

Она укоризненно покачала головой:

— Да разве было у меня время, Александр Матвеевич, говорить с Женей о Гасилове? Стала бы я о нем говорить, если... Я за всю жизнь три раза с Женей-то разговаривала. В первый раз на покосе, когда копны возили, второй раз на скамеечке мы с ним сидели, а в третий раз... Третий раз последним был!

Крупные мысли приходили в голову Прохорова — о жизни, о смерти, о женщинах, о конях, о зеленой траве, о синем речном безлюдье; впервые с того дня, как Прохоров сидел на пеньке с Андрюшкой Лузгиным, в ушах опять возник протяжный мотив: «Средь высоких хлебов затерялось небогатое наше село...» Опять шла с коромыслом на плечах мать Прохорова, босые ноги оставляли круглые следы на желтой глине, ведра покачивались, в них купалось маленькое, чистое солнце; на матери была длинная юбка, вышитая белая кофта казалась желтой... Куда шла мама, он не знал: она почему-то несла ведра в противоположную сторону от их дома...

Прохоров сунул руки в карманы, покашлял, поглядев на Анну Лукьяненко, почувствовал, каким узкоплечим, низкорослым был он; ощутилась мешковатость собственного костюма, плохо завязанный галстук, слишком свободный воротник рубашки, шишечка на носу. Ждалось: Анна поднимется, подойдет к нему, наклонившись, проведет пальцами по волосам, скажет: «Чего же ты, Санько, такой скучный? Ну, попалась тебе плохая баба, ну, разженился ты с ней, чего же три раза на день помирать? Есть у тебя, Санько, еще одна — вот на ней и женись... Не бойся, женись!..»

— Что произошло девятого или десятого марта? — спросил Прохоров. — Что случилось в этот вечер, когда Женя приходил к вам?

Анна не удивилась ни вопросу, ни осведомленности Прохорова, только еще немного посерела лицом.

— Женя приходил вечером десятого марта, — сказала она. — В клубе тогда шло кино «Прощайте, мальчики!». Я хотела пойти на семичасовой сеанс, надела розовую кофту, волосы собрала на затылке... Холодно, грязно было, а я взяла да и надрючила лаковые туфли... Думала, встречу в клубе Женю, нахально сяду рядом, прижмусь в темноте. Хоть на полтора часа, а мой!

Анна перебирала пальцами бахрому цветастого платка, на щеках лежали растопыренные тени от длинных прямых ресниц.

— В марте я надеялась, Александр Матвеевич, что Женя со мной будет... Они уже начали ссориться — Людка и Женя... Я за ними следила! — внезапно зло выкрикнула она. — Бывало, целый час за ними по дорожкам иду... Несчастливая я баба, правду сказать!

На реке загудел пароход. Прохоров покосился, прочел название — «Козьма Минин», опять стал глядеть в переносицу Анны.

— Приделась я, собралась, пошла уже было к двери, как сердце: «Ек!» Выглянула в окно — Женя! Сколько я его заманивала, все не шел, все не шел, а теперь идет... Руки болтаются, вперед падает, словно его в спину толкают...

Она посмотрела на потолок.

— Андрей Лузгин говорит, что Женя на царя Петра из кино походил. Это правда... Он был тоненький, высокий, худой, но сильный.

За семьдесят два дня до происшествия

...тоненький, высокий, худой, но сильный, задрал голову, бежал Женька Столетов по дороге, превратившейся в месиво всего за одни сутки. Еще Восьмого марта, на женский праздник, лютовала над Сосновкой зимняя метель, ударяла в почерневшие от печной копоти крыши, сгибала в злые дуги голые осокори, бесилась в узких переулках, туго набивая их тяжелым снегом. А уже следующим вечером прилетел с верховьев Оби влажный алтайский ветер, уронил на землю ранние капли дождя, перемешанного с разбухшими снежинками. И сразу почернела Сосновка, умер голубой цвет, прорезалась через всю деревню лохматая, покрытая фиолетовыми ссадинами дорога. Запахло сырым деревом и хвоей, опилками и мокрым снегом; среди воздушных потоков случался и такой, что головкружительно пахло черемуховыми почками и жирным черномом.

Женька сапогами раздавливал лужи, застревал в жидком снеге, спотыкался, но бежал, бежал к Анне Лукьяненко, хотя час назад и предполагать не мог, что побежит к ней...

Час назад Женька скомкал в пальцах записку от Людмилы Гасиловой, осторожно присев на кровать, расправил бумагу: «Женя, нам не надо больше встречаться. Людмила». Крепостной стенкой стояли ровные каллиграфические буквы, заглавные пыжились старательными завитушками, точки были крупными.

Минут пять он сидел неподвижно, потом встал, прошелся по комнате, помедлив, снял телефонную трубку.

Людмила к телефону подошла не сразу: ее мать, Лидия Михайловна, сначала попросила подождать, пока посмотрит, дома ли дочь, потом Людмила все-таки появилась.

— Слушаю! Это ты, Женя? Ну, я слушаю тебя...

— Я получил записку,— сказал он. — Что с тобой, Людка?

Она и в трубку молчала так, как умела молчать без телефона — легко, спокойно, просто. Потом сказала:

— Я пью чай, Женя...

Он медленно положил трубку, опять сел на кровать, положил подбородок на скрещенные руки. Хотелось долго и громко смеяться... Еще вчера он провожал Людмилу, оперевшись спиной о ворота, привычно привлек ее к себе. Она переступила с ноги на ногу, отыскав удобное положение, вся легла на Женкину грудь, поцеловавшись с ним раза три, заботливо проговорила: «На тебя не каплет? Нет, серьезно!..»

Женька торопливо поднялся, сорвал трубку и попросил знакомую телефонистку еще раз соединить его с квартирой Гасилова, сказал:

— Лидия Михайловна, я снова прошу к телефону Людмилу!

— Я допила чай,— сказала Людмила. — Говори, Женя...

— Почему нам не надо встречаться, Людка? Что случилось?

Она опять долго молчала.

— Так надо, Женя! — потом сказала она. — Так надо.

И положила трубку. Он почувствовал, что бледнеет, засало под ложечкой, в груди что-то захлопнулось. Так прошло несколько длинных минут.

Зазвенел телефон, он поднял трубку.

— Женя, я, кажется, поступила невежливо,— спокойно сказала Людмила. — Конечно, я подчинилась, но так надо. Мы уже взрослые, нам не надо встречаться. Серьезно.

Он вдруг услышал в телефонной трубке посторонний голос, словно кто-то подсоединился к линии. Сначала Женька подумал, что плохо работал коммутатор, но тут в постороннем голосе мелькнула знакомая интонация Лидии Михайловны.

— Ты не обижайся на меня, Женя, жизнь — сложная штука. Seriously. Если хочешь, приходи к нам, мы поговорим подробно... — «...подробно...» — услышал он голос Лидии Михайловны.

«Он стоял несчастный, с бледностью на челе... — подумал Женька о себе. — Он стремглав бросился грудью на смятую кровать, уткнув голову в подушку, забылся в облегчающих слезах...»

— Почему ты молчишь, Женя? — спросила Людмила. — Почему ты не хочешь поговорить подробно?

Он прислушивался ко второму голосу, который существовал где-то в глубине гасиловского дома, словно Лидия Михайловна говорила сквозь подушку; он представил ее блестящий халат, восковую прическу, всегда блестящие, возбужденные глаза.

— Я знаю, почему ты не хочешь поговорить подробно, — сказала Людмила. — Я знаю... Нет, серьезно!

Посторонний голос усилился, зазвучал громко, торопливо, точно Лидия Михайловна бросила подушку. Она проговорила что-то сердитое, быстрое. После этого в трубке сделалось тихо, только слышалось, как дышит Людмила.

— Я знаю, что ты ходишь к Анне Лукьяненок! — сказала она. — Ты ходишь к этой развратной, мерзкой бабе! Вся деревня говорит об этом. Серьезно!

«Развратная, мерзкая баба!» — вот что значили быстрые слова Лидии Михайловны.

— Людка! — ошеломленно закричал он. — Людка!

Но телефон был уже глух, как зимняя ночь, и ему показалось, что это Лидия Михайловна прижала рычаг пальцем с золотым кольцом...

«Они сошли с ума! — подумал он. — Они сошли с ума!»

«Они сошли с ума!» — в третий раз подумал Женька, а потом поймал себя на том, что уже, оказывается, производит действия — выходит из комнаты, останавливается в прихожей, ищет на вешалке шапку, натягивает на плечи пальто...

Женька шагнул с крыльца в ростепель и туманную сырость, зубы загудели от холода и талого воздуха. Куда он шел? Зачем? Просто хотелось движений, действий, работы напряженного тела; он чувствовал, что взорвется, разлетится вдребезги, если будет стоять на месте, если не помчится по дороге...

Он споткнулся о гасиловский дом, в двух антеннах которого свистел весенний ветер. «Гасиловы! — подумал Женька и повторил: — Гасиловы!» Душила ненависть к двум антеннам, к мезонину, вознесенному над Сосновкой, к воротам, к готическому шпилю флигеля, где у Петра Петровича стоял маленький, но все же телескоп.

Ненавистный, трижды проклятый дом! Большие окна гасиловского кабинета глядели прищуренно, подозрительно, точно за ними таились глаза самого Петра Петровича.

«Развратная, мерзкая баба!» — суфлировала Лидия Михайловна дочери... Женька снова поймал себя на том, что бежит по улице...

Дом Гасиловых удалялся, чавкал под сапогами расхлюпанный снег, утишивался свист ветра в двух антеннах. Опять было трудно понять, куда его несут длинные ноги. И только минут через десять Женька понял, что бежит к Анне Лукьяненок. Зачем?.. Ему надо было видеть женщину, к которой его ревновала Людмила.

Тоненький, высокий, худой, но сильный Женька бежал к дому Анны, не думая о том, что скажет, что сделает, как посмотрит на женщину, как она встретит его.

Он взлетел на крыльцо, дробно постучал и, не дождавшись ответа, рванул дощатую дверь...

— Пришел!

После уличного света он ослеп, не мог понять, что такое — розовое и коричневое — копошится в темноте, что такое зыбкое перемещается вперед и в сторону.

— Пришел!

Точно так, как в стеклах бинокля из непонятной мути возникает четкое, цветное изображение, так Женька, словно прозрев, увидел пронзенное радостью лицо Анны, дрожащие губы, расширившиеся, как от атропина, зрачки.

— Пришел! — повторила женщина.

Вся она вместе с одеждой и бусами на длинной шее была Женькина. И кофточку, и бусы, и кольцо с дешевым камешком она надела для него; все ее цветущее тело, ноги, грудь, жили тоже для него.

— Женья...

Пахучее и теплое приблизилось, обвилось каким-то образом вокруг него, хотя Анна все еще стояла далеко. Потом она бросилась к нему, на самом деле обвила шею руками, вся трепещущая, прильнула.

— Пришел, пришел! — шептала она. — Женья, Женья...

Они незаметно двигались в сторону громадной кровати, Анна так отгибалась назад, точно падала, и он падал вместе с ней. В ту самую секунду, когда Женька понял ее медленное движение к огромной кровати, его пронзил ужас. Женька послушно шел вместе с ней, а сам чувствовал, что умирает, — бордовые круги расплывались перед глазами, сердце останавливалось у самого горла.

Вдруг что-то изменилось в комнате, за окном, во всем поселке, появился свободный воздух, пол сам собой выровнялся, хотя оставался покатым.

— Не надо! — тихо сказала Анна.

Ресницы у нее слиплись, щеки потускнели, размазанные тени траурно залегали в глубоких глазницах. Женщина, видимо, отступила назад, так как стояла в центре комнаты одинокая, сквозная, словно на ветре. Слипшиеся ресницы были опущены.

— Не надо...

Плакала Анна беззвучно, не догадываясь о том, что плачет, что текут слезы, что зубы стучат друг о друга, а голос сделался бабьим:

— Не надо мне чужого, не надо!

Женьке не хотелось жить. Оттого, что на покатам щелястом полу стояла несчастная женщина, что кровать с зеленым одеялом походила на луг, что в ненавистном флигеле глядел в небо зрачок телескопа, что у Женьки на фронте погиб отец, что отчим любил Женьку как родного сына, что мама спала мало — так много работы, что Людмила Гасилова ест так, словно

составляет одно целое с пищей, что Лидия Михайловна Гасилова говорит об Анне «развратная, мерзкая женщина», что он не поступил в институт, что его любила еще Соня Лунина, что на дворе было темно и сыро, опять придется повторять математику и физику, что его, наверное, не любит Людмила...

Анна все еще плакала, потом перестала. Женька еще немного постоял молча, затем сел на стул, дождавшись, когда она вытрет слезы, тихим голосом рассказал все...

Рассказывал Женька долго, она слушала внимательно, с поднятым лицом, и он уже не боялся открытых ног и груди с глубокой тенью...

...Анна Лукьяненко, покачав головой, отвернулась от Прохорова, плечи были узкие, руки висели вдоль тела, опавшие.

— Вот это и был мой третий раз,— глухо в стену и кровать сказала она.— Тот самый третий раз... Я чего плачу, Александр Матвеевич? Потому я плачу, что Женя меня любил... Он меня любил, а сам думал, что Людмилу... Он думал, что сильно ее любит, Александр Матвеевич! Он по-другому не умел, Женя-то...

Прохоров поежился, заставив себя посмотреть на Анну, помассировал холодными пальцами горло.

— Ему тоже трудно было,— тихо продолжала Анна.— Вокруг Жени белый свет перепутался — такой он был человек... Ведь и Людка его любит. Она любит его, хотя выходит за Петухова... Вот я опять плачу, дуреха!

...Мать Прохорова с коромыслом на плечах прошла по осклизлой дороге, скрылась за углом незнакомой хатенки; на дорогу вышла другая женщина — злая, усталая, насмешливая. Эта женщина на желтой глине оставляла следы острых каблучков, играла замысловатую роль из «Трехгрошовой оперы» Брехта, в пальцах держала острую сигарету. Ее звали Вера, она говорила, что любит Прохорова, собирается стать его женой; издевалась над ним: «Я лучше тебя знаю, Прохоров, какая женщина тебе нужна... Я тебе нужна, Прохоров!..»

На огромной кровати, похожей на луг, сидела еще одна женщина — все тоже знала о мужчинах, считала, что всякая женщина несчастна уже оттого, что она женщина, и мирилась с этим. Она была права: все несчастья происходят оттого, что мужчины не полагаются на мудрость женщин, не понимают, что для них хорошо все то, что хорошо для женщины...

— Не надо меня судить за то, что я вся баба, насквозь баба, поперек себя баба и на три шага вперед себя баба,— сказала Анна.— Женя не ко мне ехал в тот день. Я думаю, Александр Матвеевич, он в тот день от кого-то узнал, что Людмила возжается с Петуховым... Он потому и прыгал у хутора, что хотел застать их вместе...

У Прохорова были узкие, щелястые глаза. Не зря, выходит, он выяснял, по каким тропинкам любят гулять Петухов и Люд-

мила, где их черти носили в одиннадцатом часу вечера, куда вела тайная дорожка, в какую сторону загибалась она от железнодорожной насыпи, где Столетова поджидала смерть... «Браво, Прохоров!»

— Я за ними тоже следила,— сказала Анна. — Не хочу, а встану, пойду за Петуховым и Гасиловой, словно знаю, что это добром не кончится... Мне их хотелось убить! — Она покачала головой: — Нет, не за Женю!.. Хотя и за него тоже... Петухов и Гасилова вот как гуляли: идут далеко друг от друга, молчат, сами такие, словно повинность отбывают... И чего это я все плачу?

Прохоров терпеливо ждал, когда подтвердится свидетельским показанием сообщение участкового инспектора Пилипенко. Конечно, с таким лицом, как у Петухова, с воздержанием студенческой молодости, с его воловьим здоровьем, с его железной нервной системой...

— Петухов ко мне три раза приходил,— сказала наконец Анна. — Проводит Людмилу — и ко мне... В ногах валялся — просился на кровать... Я его ударила... Что это, Александр Матвеевич?

— Бумага и шариковая ручка,— ответил Прохоров. — Надо написать коротко: «Тогда-то и тогда-то Петухов Юрий Сергеевич навестил меня, Лукьяnenок Анну Егоровну, предлагал то-то и то-то. Я сказала то-то и то-то, сделала то-то и то-то... Не пишите: «Я его ударила!» Пишите: «Я ему нанесла оскорбление действием!» А ведь проза будет, Анна Егоровна!

— Будет, Александр Матвеевич!

5

Гроза была такая, что капитан Прохоров кричал от удовольствия, потирал руку об руку, а нижнюю губу выпячивал с таким выражением, точно хотел сказать: «Мать моя, что это делается! Ой-ой-ой!» Участковый инспектор Пилипенко стоял перед ним навытяжку, держа руки по швам, старался показать, что не слышит ни грома, ни дождя. Мало того, этот самый Пилипенко лицо имел бравое, томную бровь вздымал на лоб, любясь собственным голосом, самоотверженно работал на глазах у разбушевавшейся стихии.

— Докладываю, как было приказано... Петухов Юрий Сергеевич переводит матери каждый месяц пятнадцать рублей при заработной плате в триста двадцать рублей, считая северную надбавку и процент за перевыполнение. В январе и апреле прошлого года переводы не производились, остальные месяцы — регулярно!.. Жену Суворова Никиты Гурьевича зовут Мария Федоровна, рождения двадцать второго года, русская, беспартийная, образование среднее, не судимая, служащая... Гражданин Суворов ее во всем слушается, уважает... Прикажете

гражданку Суворову в кабинет вызвать или на дом к ней пойдете?

— На дом, на дом...

Прохоров насмешливо кивнул, но поглядел на участкового одобрительно. Черт знает, как удавалось этому Пилипенко вести себя так, словно он не таскал из огня каштаны для другого, а бегал по своим, пилипенковским, делам? Конечно, участковый инспектор, выполняя поручения Прохорова, попутно изучал свой собственный участок, но ведь не до такой степени, не до такой степени... «А может быть, он просто хороший работник?» — неожиданно подумал Прохоров, внимательно разглядывая участкового — старательные глаза и рот, ефрейторски стройную фигуру, большие руки солдата и рабочего парня.

— Вот что, товарищ младший лейтенант,— сказал Прохоров. — Не хочется ли вам заняться кондуктором Акимовым?.. Возьмите на себя Акимова, товарищ младший лейтенант.

— Есть взять на себя кондуктора Акимова! Сегодня прикажете им заняться?

— Можно завтра, но лучше сегодня... Уж очень меня торопит начальство...

Оглушительно гроыхнуло, окна на мгновение стали яркосиними, как будто на них пролили струю краски, в кабинете потемнело, а на столе задребезжал телефон, и от этого сделалось тревожно, точно аппарат подключили к междугородной линии. Прохоров поднял телефон, поискав место, поставил его на кипу бумаг и, глядя на Пилипенко, подумал, что не уступит полковнику Борисову ни одного дня из столетовского дела. Он, Прохоров, раскрутит происшествие так, что картина будет прозрачной, как стеклышко, соберет все, что можно собрать, наведет в деле такую ясность, что оно будет похоже вот на эту комнату, когда ее заливают ослепительный свет молнии. Кроме того, он будет таким же старательным и упрямым, как участковый инспектор Пилипенко, умным и ловким, как мастер Гасилов, осторожным, как тракторист Аркадий Заварзин, страстным, как Женька Столетов, добрым, как Андрюшка Лузгин, чутким и мудрым, как Анна Лукьяненко, и философски дальновидным, как слепой учитель Радин.

— Давайте Заварзина! — сказал Прохоров.

Когда участковый инспектор ушел в грозу и кромешный дождь, Прохоров встал, минуточку погулял по кабинету с рассеянным видом, потом затянул галстук, надел пиджак, улыбнувшись своему отражению в окне, сел за стол — прямой, высокий от высокого стула, с непроницаемо сухим лицом; он несколько раз пробующе поднял и опустил левую бровь, прищурился на вешалку, где висел его мокрый болоньевый плащ, потом поискал положение для рук — сцепил их на столе, расцепил; вытянув руки, положил их рядом, затем скрестил их на груди. «По-петуховски!» — подумал он.

Утвердившись в избранной позе, Прохоров стал терпеливо ждать Заварзина, который жил в двухстах метрах от пилипенковского кабинета. Делать Прохорову было нечего, допрос Заварзина еще вчерашним вечером был обдуман всесторонне, и можно было заниматься пустяками, то есть воображать, что происходит за стенами дома... Вот Пилипенко переходит через улицу, открывает калитку, поднимаясь на крыльцо, набатно бухает сапожищами, чтобы не было никаких сомнений в том, что квартиру тракториста собираются посетить представитель сильной централизованной власти. Лицо у Пилипенко жесткое, так как Аркадий Заварзин вчера отказался дать подписку о невыезде.

— Добрый вечер, гражданин Заварзин! Одевайтесь. Надо будет пройти к товарищу капитану!

Аркадий Заварзин поднимает на участкового предположительное лицо, спрашивает предположительным голосом:

— Допрос?

— Мы это не знаем... Товарищ капитан объяснят!

Ласковая улыбка на том же предположительном лице, нежная гримаса, сочувственные глаза: «Собачья у тебя жизнь, Пилипенко! Кто пальцем поманит, к тому и бежишь... Эх, дурочка!»

— Пройти, пройти надо, гражданин Заварзин, к товарищу капитану!

Неторопливо надевается знаменитая кожаная куртка, одна за одной застегиваются «молнии»; жена Мария и сын Петька глядят на мужа и отца из темного угла комнаты.

— Ты не плачь, не плачь, Маруся, я к тебе сейчас вернусь... — шутит тракторист. — Петьке спать надо — укладывай!

Специальной походкой опытного человека, вызванного на допрос, Аркадий Заварзин переходит дорогу, усмехаясь стихиям, бесшумно поднимается на крыльцо милицейского дома, в сенях задерживается, чтобы, переменив выражение лица, сделать его ласковым, нежным, доброжелательным.

— Разрешите ворваться, то-ва-рищ Прохоров!

— Входите, Заварзин! — ответил капитан Прохоров. — Входите, входите!

Аркадий Заварзин вошел, приостановился у порога, медленно снял с кожаной куртки плащ.

— Привет, то-ва-рищ Прохоров.

— Привет, Заварзин!

Прохоров по-прежнему разглядывал телефонный аппарат, имеющий привычку тревожно звонить от ударов грома.

— Поближе, пожалуйста, еще поближе! — попросил он. — Вот так! Спасибо, Заварзин!

Прохоров давно научился во время допроса опытных людей делать такое лицо, на котором ничего нельзя было прочесть, распрекрасно умел думать об одном, говорить о втором, видеть третье; лицо Прохорова могло выражать все что угодно, смотря по его собственному желанию.

— Ну, здравствуйте, Заварзин! — с братской улыбкой сказал Прохоров и впервые пристально посмотрел на вошедшего.

У Аркадия Заварзина было слишком красивое для мужчины лицо, такие длинные, загнутые ресницы, как у него, могла иметь только женщина, нежный, ровный цвет лица мог принадлежать только девочке-школьнице, губы должны были украсить девушку в девятнадцать лет. Картину портило только одно — твердый рисунок лица да квадратный подбородок, похожий на подбородок участкового Пилипенко, но не такой плакатный, а живой, согретый общей женственностью лица.

— А ничего себе дождишко! — прислушиваясь, сказал Прохоров. — Долго, долго собирался! Милейший Никита Суворов был у меня совсем недавно и говорил, что скоро ливанет, а ведь не сразу, не сразу... Я к Анне Лукьяненко успел сходить, от нее вернулся, пообедал, а он, дождик-то, только тогда и начался... Это что же делается, а, Заварзин? Суворов-то думает, что погоду насковзь видит, а насчет дождя ошибся... Это как получается, хотел бы я знать?

По Прохорову можно было понять, что ему скучно, нечего делать, осточертел пилипенковский кабинет, дождь и все сущее на свете. Он послал бы в таргарары Сосновку, тракториста Заварзина, дождь с громом и молнией, самого себя, если бы не зарплата, которая, знаете ли, Заварзин, все-таки нужна. Как ни говорите, Заварзин, а пить-есть надо, за частную комнатежку платить надо...

— С ума можно сойти от этого дождишка! — продолжал болтать капитан Прохоров. — Если он к половине одиннадцатого не прекратится, то, ей-богу, позвоню начальству: «Принимайте меры! На то вы и начальство, чтобы принимать меры!» Интересно, обидятся или не обидятся?.. Вы чего молчите, Заварзин? Привыкли к дождю? Ах, ах! Это привычка плохая!.. Вот майор Лютиков Василий Демидович — ха-а-ро-ший человек, а дождь тоже не любит. Не могу, говорит, во время дождя вести следствие, мне, говорит, дождь сосредоточиться мешает... Подумаешь, какая цаца! Какой, понимаешь, чувствительный!

По данным уголовного розыска, тракторист Аркадий Заварзин сидел трижды, последний раз за грабеж — отбыл в исправительно-трудовых колониях в общей сложности семь лет, так как начал тюремную карьеру лет с пятнадцати. Изучая дело Заварзина, капитан Прохоров обнаружил у своего подопечного следы твердого характера, волю, наличие некой примитивной, но все-таки философии. Заварзин никогда не был послушным исполнителем чужой воли, был инициативен и смел, прекрасно знал, чего хочет, и тот же полковник Борисов перед отъездом Прохорова в Сосновку сказал: «Сашок, Заварзин четыре года молчит, зубьев, как говорят жители среднего течения Оби, не кажет. Жалко будет, но, Прохоров, если он опять того... Ты поспрошай-ка у Демидыча. Он вел последнее дело Заварзина!»

Прохоров пошел к Демидычу, то есть к Василию Демидовичу Лютикову, и майор подтвердил: «Малый толковый. Раскалывается трудно... Если на самом деле завязал,— передай-ка ему от меня привет!»

Вот какой гусь лапчатый сидел перед капитаном Прохоровым!

— Хотите молчать, Заварзин, молчите! Вот индюк тоже молчал, молчал, а потом... Да чего я вам рассказываю про индюка, когда полковник Борисов мне запрещал философствовать... «Вы, говорит, товарищ капитан, гоните голый факт... Голый факт, говорит, гоните...» А где я ему возьму голый факт, когда у меня на допросах молчат и так на меня глядят, словно думают: «Эх, капитан, капитан, знаем мы ваши милицейские штучки! Насквозь видим! Ну что ты мне тривишь бодягу о полковнике, когда тебе интересно, не столкнул ли я, Заварзин, с подножки платформы Евгения Столетова?» Так вы думаете, Заварзин? Ну, скажите: так думаете?

— Точненько! — ответил Заварзин и улыбнулся. — Так и думаю, то-ва-рищ капитан.

Он опять жирно выделил слово «товарищ», подвел под ним красную черту, глядел капитану прямо в зрачки.

— Ну, а чего хорошего вы мне можете сказать, Заварзин? Ничего хорошего вы мне не можете сказать, Аркадий Леонидович!

— Могу! — ответил Заварзин и засмеялся. — Слышал я, что если капитан Прохор много треплется, то дело давно раскручено!.. Баланда! На мне вы, товарищ Прохоров, руки не погреете! Мне — до лампочки, что вы треплетесь, а сами думаете: «Заварзин у меня в кармане!..» Заварзин — чистый! Я на мокрые дела и раньше не ходил... Так что позвольте мне спокойно трудиться на благо нашей великой родины, товарищ Прохоров.

После этого они засмеялись оба, так как действительно был случай, когда, вернувшись в камеру после допроса у Прохорова, известный рецидивист Матюшкин грустно сказал: «Попухли мы... Прохор всю дорогу болтал... Собирайся, корешки, в тюрьму!»

Прохоров вдруг начал покусывать нижнюю губу и щуриться на кончик заварзинского носа, словно с ним что-то случилось, с этим носом.

— Вот что интересно! — бабьим голосом проговорил Прохоров. — Отчего это вы проявляете осведомленность, Заварзин? Какого дьявола вам понадобилось сообщить о том, что вы знаете мои привычки? Хотите показать, что играете в открытую? А? — Точно! Только мне нечего показывать, товарищ Прохоров.

Аркадий Заварзин поднял руку и почесал кончик носа — как раз то место, в которое был устремлен заинтересованный взгляд капитана. Потом бывший уголовник неторопливо

распустил длинную «молнию» на куртке, и под ней оказалась ярко-красная рубашка с мелкими белыми пуговицами по воротнику.

— Я тоже люблю косоворотки! — прежним бабьим голосом произнес Прохоров. — Ах, ах, с каким удовольствием я носил бы косоворотку, если бы... если бы я носил ее... Аркадий Леонидович, а, Аркадий Леонидович!

— Ну!

— Почему вы назвали сына в честь мастера Гасилова?

Дождь все усиливался, припускал с новой силой; гром, однако, приглушился, но все чаще и чаще сверкали бесшумные молнии, и все было таким, что не предвиделось конца, а ведь дождь был обязан прекратиться к половине одиннадцатого. Если дождь не перестанет к половине одиннадцатого, Прохорову придется просидеть в Сосновке еще один день, а если дождь вообще превратится в непогоду, если он, дождь, будет шуметь и в этом шуме нельзя будет различить шаги по дороге, то он, не дождь, а Прохоров, на самом деле позвонит начальству и скажет: «Я — пас!»

— На этот вопрос я отвечаю, — деловито сказал Заварзин. — Мне, товарищ Прохоров, мастер Гасилов помог завязать. Он сделал то, чего ваш Лютиков не смог... Майор — человек хороший, но дурак!..

Он вдруг нагло улыбнулся.

— Не было никогда над Арканей Заварзой власти, а Петр Петрович — мне пахан! Я у Гасилова учусь...

Это звучало так сильно и так, признаться, неожиданно, что невозмутимый Прохоров переменял позу — отклонился на спинку стула. «Петр Петрович — мне пахан!» Резало ухо сочетание гасиловской благополучности с уголовщиной, несовместимости особняка с тюремной камерой, подзорной трубы с зарешеченным окном, самого Аркадия Заварзина с Петром Гасиловым. Да, да! Все это было неожиданным, хотя вчерашним вечером, обдумывая предстоящий допрос Заварзина, капитан Прохоров шахматными фигурами расставлял на лесосеке действующих лиц сосновской трагедии. В крошечной передвижной столовой похаживал созидательный и мудрый Петр Петрович, утонув в голубой лужиче, стоял наклоненный вперед Женька Столетов, опирался спиной о щит «Степаниды» тракторист Аркадий Заварзин. Прямые линии между ними составляли треугольник, вершиной которого был Женька Столетов, основанием — Гасилов и Заварзин, и, ей-богу, Прохоров чувствовал, как крепка, неподвижна железобетонная линия между точками Гасилов — Заварзин.

— «Гасилов — мне пахан!» — медленно повторил Прохоров. — Этот тезис надо бы развернуть, Заварзин... Как это Петр Петрович мог угодить в паханы? Вот смешно-то!

Однако Заварзин даже не улыбнулся.

— Я знаю, — сказал он, — вы мне будете клеить убийство Столетова из-за личной вражды. Факты у вас есть... Даже больше, чем надо... Так я сразу... Я сразу скажу, что Столетова ненавидел... Знали бы вы, как я его ненавидел!

Восклицание Заварзина пришлось на отдаленный удар грома, в его глазах вспыхнуло отражение синей молнии, припухлости возле губ затвердели. Теперь было ясно, каким страшным может быть это девичье нежное лицо. Смертельным страхом обливались люди в темных переулках, когда случайный луч света вырывал из тьмы оскал молодых заварзинских зубов, разрисованные нежным румянцем щеки, женственное сердечко губ. О смерти думали люди, когда видели металлические бугорки возле нарисованных губ.

— Как прикажете все это понимать? — спросил Прохоров. — Вы ненавидели Столетова за то, что он ненавидел Гасилова? Так?

— Как хотите, так и понимайте! Каждый свое понимает, товарищ Прохоров, свое...

Нет, все-таки тюрьма еще давала себя знать в Аркадии Заварзине, хотя и прошло четыре мирных года: в глазах бывшего уголовника появилось сентиментальное, нежное, лирическое выражение, уже хрестоматийное в характере людей преступного мира. Прохорова, например, угораздило встретиться с человеком, который задушил собственную мать руками с татуировкой «Не забуду мать родную!».

— Столетов мешал жить хорошим людям! — нежным голосом сказал Заварзин. — Мне мешал, Гасилову мешал, всей бригаде мешал... Такую суку, как Столетов, в тюрьме или пришивают или... — Он остановился, поморгал вопросительно ресницами. — Врать не буду! Женьку пришить было нелегко — он смелый и бдительный был! Этого у него не отнимешь... Да, врать нечего: он ловкий парнюга был. С характером!

«И ты тоже с характером, Заварзин! — подумал Прохоров. — Ты тоже с характером, если признаешь силу врага! Значит, прав был полковник Борисов, не ошибался и майор Лютиков, попросивший передать тебе привет, если порвал с прошлым...»

— Вы так и не ответили, Заварзин, почему Гасилов — ваш пахан. Извольте отвечать!

— Ответа не будет! — насмешливо произнес Заварзин. — Арканя Заварза своих не выдает! — Он взял да и захохотал. — Вы только не подумайте, что Гасилов того... Он спичку не украдет... Гасилов — мужик правильной жизни...

За окнами кабинета творилось непонятное: временами казалось, что дождь перестал, так как нельзя же было принимать за шум ливня рев бешеной воды, текущей с неба сплошной массой. На дворе был еще день, стрелка только приближалась к восьми, но за окнами клубился мрак, в кабинете было темно — хоть электричество зажигай.

— Гасилов — мужик правильной жизни...

Прохоров тайно усмехнулся, в протяженности неторопливых, посторонних мыслей лениво подумал: «Заговоришь, голубчик! Так разговоришься, милашка, что сам себе удивишься...»

— Не хотите отвечать, не надо! — покладисто сказал он. — Да и что нам Петр Петрович Гасилов? Гасилов нам — тьфу! А вот декабрь прошлого года нас интересует... Так что обязательно надо будет рассказать, Заварзин, что произошло двенадцатого декабря прошлого года на лесосеке. Как я разумею, это была ваша первая стычка со Столетовым. Вот и ответьте: почему, отчего, по какому поводу?..

Когда Аркадий Заварзин задумался, капитан Прохоров согласно кивнул самому себе: «Правильно делаешь, Заварзин», — так как бывший уголовник реагировал на вопросы не сразу — задерживал ответ до тех пор, пока не заканчивал исследование не только вопроса, но и того, что могло скрываться за ним. На это каждый раз уходило не меньше минуты, в течение которой Заварзин казался состоящим только из острых ушей и осторожных глаз. Сейчас он тоже думал долго, потом тихо сказал:

— Это я могу показывать... Только опять предупреждаю: я — чистый! Сто раз буду говорить: я — чистый!.. Ну, а двенадцатого декабря мы со Столетовым здорово схлестнулись...

— Из-за трактора, поставленного дыбом?..

— Из-за этого тоже, товарищ Прохоров! Не надо удивлять меня осведомленностью, капитан. Я знаю, что Прохор есть Прохор... Вы зарплату у государства не зря получаете. Это все горюет. Так чего вы еще мельтешите? — Он ухмыльнулся. — Я думал, вы солиднее, товарищ Прохоров!

Они снова посмотрели друг на друга весело, обменялись вежливыми кивками, потом опять развели взгляды.

— Ноль один в мою пользу! — сказал Заварзин и разнял руки. — Я вам, товарищ Прохоров, не могу помешать копать дело, хотя сам не наступчу... А про двенадцатое декабря рассказать надо — не я, так другой расскажет...

Он был собран, серьезен, сосредоточен, словно выполнял мелкую, кропотливую работу.

— Мороз в декабре был такой, что сороки замерзали на лету...

За пять месяцев до происшествия

...мороз действительно был такой, что птицы замерзали на лету и по ночам в сосновских домах слышалось, как трещит обской лед; неба над деревней не было — потеряло цвет, слившись с заиндеветшей рекой и стылой снежной планетой. По ночам луну окружали дымные розовые кольца; она казалась ушедшей в центр спирали, была маленькой, сжавшейся от мороза; когда всходило солнце, морозная дымка не рассе-

ивалась, вокруг солнца опять образовывались розово-серые круги.

На лесосеке совсем не глушили моторы трелевочных тракторов, погрузочных кранов; мотористы бензопил «Дружба» отогревали моторчики в теплой столовой. По углам эстакады пылали костры, мерзлое дерево горело неохотно, дым сливался с туманом и серостью воздуха. Тайга от мороза была звучной, как тонкие весенние сосульки.

В арктическом холоде люди работали торопливо, задерживали дыхание, прятали губы в теплые бараньи воротники, чтобы не застудить легкие; рабочие не делали перекуров, не выскакивали из машин, чтобы посидеть, поговорить. Опытные люди с утра съедали по большому куску свиного сала, но все равно к концу смены, когда мороз опускал столбик термометра за сорок пять градусов, тракторист Никита Суворов жаловался: «Ну, такого морозишша я не упомню! Ведь до чего взгальный, у меня к вечеру голос делается тонкий, как у мыша, хоть и сало трескаю!»

Двенадцатого декабря, ровно в половине четвертого, вдоль эстакады прошел удивленный бригадир Притыкин Иван Михайлович в толстом овчинном полушубке, в самокатаных валенках, пышном шарфе из козьей шерсти, в шапке из молодой лайки. Бригадир Притыкин остановился в центре эстакады, выдыхая серые клубы морозного пара, подозрительно огляделся. До конца рабочей смены оставалось еще полтора часа, а шум на лесосеке стихал — из пяти тракторов два уже стояли возле передвижной столовой, третий тянул по волоку тонкие сосновые хлысты — других не было, четвертый разворачивался, чтобы тоже замереть; один погрузочный кран уже покорно склонил к мерзлой земле шею, возле него приплясывал крановщик Генка Попов, второй кран сгибался и разгибался лениво, неохотно.

— Куды завсрачиваешь, мать твою! — закричал бригадир Притыкин трактору Андрея Лузгина. — Распустили вас, мать перемать!

Притыкин обругал также и крановщика, приплясывающего возле машины, выругал костер, злобными от водки и мороза глазками еще раз оглядел всю просторную эстакаду и, внезапно угомонившись, скрылся так быстро, точно его никогда и не было на эстакаде.

А еще минут через пятнадцать из лесосеки выполз трактор Евгения Столетова, круто развернувшись, сбросил к горбушке погрузочного щита воз тонких, звенящих хлыстов. Потом «Степанида» быстро двинулась к столовой, пофыркивая мотором, еще раз развернулась и замерла, как бы выцеливая горку бревен повыше и понадежнее. Постояв несколько мгновений, прицелившись, «Степанида» рванулась вперед, реактивно гудя, поползла на бревна, задирая мотор к туманному небу и окруженному концентрическими розовыми кругами солнцу.

Когда «Степанида» встала почти вертикально, Женька Столетов выпрыгнул из кабины, весело подпрыгивая, побежал к соседнему трактору.

— Здорово, Андрюшка! — закричал он, хотя виделся с Лузгиным двадцать минут назад. — Слушай, Андрюшка, ведь такой мороз надо организовывать. Такой мороз, как говорит Никита Суворов, сам не ходит...

На Женьке и Андрюшке были одинаковые промасленные телогрейки, затянутые широкими армейскими ремнями; тот и другой носили черные, самокатные валенки, стеганные синие брюки. Женька и Андрюшка вообще с шестого класса одевались одинаково. Если мать Столетова покупала сыну клетчатую ковбойку, то такую же непременно приобретали для Андрюшки Лузгина; если родители Лузгина покупали сыну фуражку с пластмассовым козырьком, продавщица орсовского магазина оставляла такую же для Женьки Столетова. Таким образом, друзья прошли одинаковый путь от послевоенных сатиновых рубашенок до черных шерстяных костюмов и лакированных узконосых туфель конца шестидесятых — начала семидесятых годов.

— Пошли в столовую, Андрюшка!

— Пошли, Женька!

Потолкавшись в узких дверях, Женька и Андрюшка наконец оказались в полосатом, сверху изогнутом, как сундук, помещении вагонки. Середину его занимал длинный стол, по бокам — тесовые лавки, на стенах висели печатные плакаты: «В сберкассе деньги накопил, машину купил», «Уничтожайте долгоносика», «Боритесь с напенной гнилью» и «Что ты сделал для того, чтобы победить в социалистическом соревновании?». Кроме печатных плакатов на стенах висели рукописные графики, сообразительства, несколько стенгазет-«молний», а между ними — фанерная коробочка со щелью и надписью: «Для заметок в стенгазету».

— Здорово, товарищи мужики! — прокричал Женька и помахал длинной рукой. — Здорово, товарищ Притыкин... — Женькина рука упала, так как бригадира Ивана Михайловича Притыкина в вагонке не было. — Привет, привет тебе, бригадир, товарищ Притыкин, где бы ты ни находился!

В вагонке собралось человек восемь механизаторов и разнорабочих, некоторые уже сняли телогрейки; два грузчика-зацепщика пили горячий чай. На дальнем конце стола сидел в молчании и белозубой улыбке тракторист Аркадий Заварзин. На нем была кожаная куртка с «молниями», белокурые волосы были взлохмачены, на лоб падала картинная прядь, и он походил на того мужчину с плаката, который спрашивал: «Что ты сделал для того, чтобы победить в социалистическом соревновании?»

Слева от Заварзина сидел Генка Попов, из-за его плеча вызывались кудряшки Панкратия Колотовкина, прозванного

в поселке Чирком — за малый рост и нос, на самом деле похожий на небольшой клюв плюгавой утки. Спиной к Женьке и Андриюшке сидел Борька Маслов — сам с собой играл в шашки и разочарованно причмокивал, точно на доске не хватало пешек.

Висели клубы синего дыма, на коричневом линолеуме растекались темные лужицы, замерзшие окна едва светились, но в передвижной столовой было уютно; тепло в ней было печным, домашним, лица сидящих казались благодушными — мороз постепенно выходил из гудящего тела, кожу покалывали тоненькие иголочки, дыхание становилось легким, словно горло оттаивало.

— Борька, сыграем! — сказал Женька и, скинув телогрейку, уселся к шашечной доске. — За мной должок в три партии, но я тебя сегодня схарчу...

— Ты меня никогда не схарчишь! — задумчиво ответил Борька Маслов. — У тебя голова хоть и длинная, но короткая, ум у тебя хоть и большой, но маленький, логика у тебя хоть и железная, но мягкая... Глянь, братцы, как я сейчас загоню Столету в сантер!

— Ну это мы еще будем посмотреть, кому сантер!

За стенкой тоненько и радостно прокричал узкоколейный паровоз, собираясь удирать в теплую Сосновку из застывшего, как ледяной столб, леса. После паровозного крика в вагонке сделалось совсем тихо, почувствовалось, какая здесь дружественная, благодушная атмосфера — все были довольны теплом и отдыхом, не хотелось двигаться, совершать поступки, разговаривать. И только смешной мужик Панкратий Колотовкин, оказывается, что-то начал рассказывать еще до прихода Женьки и Андриюшки. Сейчас он опять покашливал за спиной Генки Попова, потом, смачно плюнув на пол, прежним, видимо, голосом произнес:

— Ну, я дальше поеду!.. Я с того места дальше поеду, что вот то-то оно и есть — завклубом баловства не любит! Я ему, конечно, говорю: «Ну чего такого, товарищ Васин, ежели мой парень немного побаловается?» А он мне свое: «А пусть твой парень дома баловается! Чего, грит, ему в клубе баловаться, ежели тута народ культурно отдыхает, а он, грит, твой парень, водкой напился, принес в клуб гармошку и давай «Барыню» откаблучивать. У нас, грит, культурная радиола играет, а он «Барыню»! Непорядок, грит!»

Панкратий Колотовкин еще раз плюнул на пол, восторженно нюхнул теплый воздух.

— Ну, тут подходит к нам обоим Петра Петрович Гасилов! — восхитенно продолжал он. — Подходит, говорю, Петра Петрович и берет Васина повыше локтя. «Чего ж это, грит, товарищ завклубом Васин, гоните из клубу народну музыку? Вы, грит, товарищ, ~~Васинь~~, ~~плражь~~ того, чтобы народну музыку из клуба ~~гнать~~, лучше бы подумали, чего ваша радиола играет!»

Панкратий Колотовкин остановился, округлил глаза, сложил губы в забавную трубочку.

— «Чего, грит, ваша радиола играт?..» Так и сказал, друзья-товарищи, так прямо и сказал... Ну, тут, конечно, завклубом стушевался, потому как радиола не поймешь каку холеру наигрывает. Только и слышать, что «ля-ля-ля» да «ля-ля-ля!»... Ну, мой парень-то и утек домой, а ведь Васин-то его сбирался к самому Филипенку тащить... Я, конечно, говорю: «Спасибо, Петра Петрович! Ты, говорю, моего парня, может быть, от пятнадцати суток увел, как Пашка в сам деле здорово поддавши...» А он, Петра Петрович, мне отвечает: «Ты, грит, эти благодарности брось, я твоего Пашку, грит, как родного сына люблю и тебя, грит, Панкратий, изо всех сил уважаю...» Хороший человек, что и говорить!

Панкратий Колотовкин опять восторженно покрутил головой, в третий раз плюнул на пол и замолк с таким видом, точно сообщил необыкновенное.

Опять было очень тихо в передвижной столовой. На клетчатой доске пешка черных пробралась в дамки, Борька Маслов ехидно улыбнулся, неожиданно снял с доски три Женькиных пешки.

— Хороший, хороший человек Гасилов! — негромко подтвердил Панкратий Колотовкин. — Не человек, а золото! Пропал бы мой Пашка без Петры Петровича...

Женька Столетов поднял голову. Пили по четвертому, наверное, стакану чая грузчики-зацепщики, по-прежнему ласково улыбался Аркадий Заварзин, дремал Генка Попов, был погружен в игру Борька Маслов, хранил спокойное молчание сильного человека Андрюшка Лузгин, а Панкратий Колотовкин сидел с благодарным, просветленным лицом. Тепло, покойно, уютно. Нет бригадира Притыкина, мастер Гасилов отдыхает в своем грандиозном особняке... «С ума можно сойти!» — обиженно подумал Женька.

Только после этого он заметил, что в темном углу вагонки, скрытый спиной Заварзина, сидит Васька Мурзин — слюнявый, истеричный парень, известный тем, что был болезненно, до самозабвения влюблен в Петра Петровича Гасилова. Он обморочно закатывал белки глаз, когда Петр Петрович только приближался к нему, ходил за мастером, как привязанный. Сейчас в темном углу вагонки углями светились фанатичные глаза Васьки, смотрел он только на Панкратия Колотовкина, и выражение лица у парня было такое, словно он осенял себя крестным знаменем. «Сойти с ума можно!» — еще раз подумал Женька.

— Сдаюсь, Борька! Всадил ты мне сантер! — досадливо сказал он и поднялся. — Ты меня разгромил в дух и прах, Борька Маслов! Слава, слава тебе!

Женька прошел вдоль стола, улыбнувшись на ходу Генке Попову, остановился против Панкратия Колотовкина так, что Васька Мурзин и ласковый Аркадий Заварзин были по правую руку от него. Слышно было, как, чавкая, пьют свой чай грузчики-зацепщики, как ходит за перегородкой по кухне мать Андрюшки Лузгина — повариха бригады. Убегающий в теплую Сосновку железнодорожный состав уже давно затих, на эстакаде теперь оставалось только два живых звука — пробовала завестись передвижная электростанция, чтобы осветить рабочее место для второй смены, да морозно хрустел кран, догружающий платформу последнего состава.

— Гасилов — чудо! — в тишине сказал Женька. — Ты бы на него помолился, дядя Панкратий, или свечечку бы поставил... Дело ведь к тому идет, что ты Петра Петровича в святые запишешь, как Васька Мурзин, который его...

Женька краешком глаза заметил, что Андрюшка Лузгин ленивым, тяжелым движением переместился поближе к нему, что Борька Маслов тоже придвинулся, что Генка Попов открыл глаза и, конечно, затрясся в кликушечьем негодовании раб святого Гасилова — преподобный Васька Мурзин; ослепительной сделалась улыбка на вызывающе красивом лице Заварзина.

— Нам одного, братцы, не хватало, — кладя руку на плечо Генки Попова, продолжал Женька. — Мороза нам не хватало, чтобы убедиться в святости Петра Петровича...

Он поднял руку с часами.

— Сейчас, братушки мои, четыре, до конца смены еще час, а мы, голубчики, уже прикрыли сменную норму. Морозец-то такой, что перекуривать не будешь, на пеньках не посидишь, над пьяным бригадиром Ванечкой Притыкиным шуточкой выкамаривать не захочешь...

Зрачки у Женьки заузились, углы губ подергивались, длинные ноги не находили удобного положения — гарцевали.

— Вот, дядя Панкратий, за что я люблю Петра Петровича Гасилова, — издевательски произнес Женька. — Я его, дядя Панкратий, тоже изо всех сил уважаю, как он тебя... Спасибо тебе за рассказ, дядя Панкратий!

Женька поклонился Панкратию Колотовкину, быстро подумал: «Сколько же, интересно, человек здесь со мной, а сколько против?»

Силы в передвижной столовой распределились так: по-прежнему ничем другим, кроме чая, не были заняты два грузчика-прицепщика, откровенная ненависть к Столетову пылала на лице Васьки Мурзина, колебался между Женькой и Гасиловым легковнушаемый Панкратий Колотовкин, ничего нельзя было понять по лицу Аркадия Заварзина.

— Не зря удирает Ванечка Притыкин! — сказал Женька. — И водку удобнее глушить, и нас не видит... — Он вдруг переменял тон. — Сыграем еще, что ли, партийку, Борька? Мне

вредно волноваться. Никитушка Суворов говорит, что я грыжу наживу, если буду сражаться с Гасиловым... Впрочем, мне что-то мерещится в морозном тумане. Вам не кажется, Борька и Генка, что открывается какая-то перспектива в сегодняшних событиях?

— Что-то проглядывает! — задумчиво сказал Генка Попов. — Ты прав, Столет!

Женька снял руку с плеча Генки Попова, ухмыляясь, вернулся на место и решительно придвинул к себе шашечную доску.

— Давай ходи! — сердито сказал он Маслову. — Нечего буркалы тарашить, когда все говорено-переговорено... Гасилов, как вечный жид, бессмертен. Ходи, черт свинячий!

— Вечного жида петлюровцы зарубили, — сказал Борька Маслов. — Надо читать Ильфа и Петрова... Я пошел! Чем вы мне ответите на это, одноглазый председатель клуба «Четырех коней»? Шибко мне интересно, голуба моя, куда вы сейчас изволите пойтить! Ежелише вы энтой пешкой пойдете, вам до сантера будет рукой подать, ежелише этой...

— Не бубни — мешаешь!

Снова тихо, приглушенно стало в теплой и уютной вагонке, только Аркадий Заварзин хрустел, шебаршил своей кожаной курткой, поднявшись, он натягивал на широкие плечи чистенькую телогрейку, застегивал металлическую «молнию». Покончив с этим, Заварзин неторопливо двинулся вдоль стола, приблизился к углубившемуся в игру Женьке, осторожно тронул его за плечо.

— Столетов, — тихо сказал Заварзин, — давай прогуляемся на улку, хотя там под пятьдесят. По твоим словам усечь можно, что ты холода не боишься. Давай погуляем! Поговорим о том о сем, международное положение обсудим...

Как только Заварзин прикоснулся к плечу, Женька поднял голову, движением спины сбросил руку, быстро поднялся. Он зло ощерился, когда начал вставать Андрюшка Лузгин, глянул на него так, что тот попятился.

— Можно и о международном положении, Заварзин! — сказал Женька. — Ты только шарф завяжи, Аркашенька! Беда, если ненароком простудишься...

Они медленно прошли сквозь настороженную тишину вагонки, плотно притворив за собой двери, двинулись в ту сторону, куда повел Аркадий Заварзин — за передвижную электростанцию.

После теплой столовой мороз показался ошеломляющим; в ушах звенело от разреженного воздуха, дышать было нечем; возле солнца оставалось всего три концентрических круга — оно было крошечным, как бы ушедшим в самое себя. Вокруг клубилась такая тишина, в которой, казалось, взрывались потрескивающие сосны.

— Ты не бойся меня, Столетов! — задумчиво сказал Заварзин, когда они зашли за стену электростанции. — Я ведь сначала разбираюсь, что к чему... Правда, насчет ножа за себя ручаться не могу... Нож, он сам на суку просится! — Он показал золотые зубы. — Здорово тебя учителя трепаться научили, Столетов. У тебя, поди, по конституции-то пятерочка была? А?

Женька ухмыльнулся. Он не боялся Заварзина, были не страшны остекленевшие от мороза и гнева красивые глаза, смешил воровской жаргон, рассчитанные на слабонервных угрозы.

— Ты смешон, Заварзин! — тоже задумчиво ответил Женька. — Смешон многозначительностью, опасной только для трусов блатной затаенностью. Я за тобой давно наблюдаю, и мне ты кажешься все несерьезнее и несерьезнее...

Он вдруг щелкнул зубами, как пес, обирающий на себе блох.

— А ножом ты мне не угрожай. Мы тоже умеем...

Женьке Столетову шел только двадцатый год; он жил еще в том возрасте, когда люди склонны к эффектам, когда любят оружие — забавляются ножами, мечтают почувствовать в руках ласково-тяжелую сталь пистолета; он был еще в том возрасте, когда человек тянется к театральным действиям, когда драмы и мелодрамы еще нравятся больше, чем трагедии. Поэтому Женька Столетов вдруг выхватил из кармана складной охотничий нож, одним движением раскрыл его, размахнулся и пустил вращающуюся сталь в ствол ближнего дерева.

— Смотри, Заварзин!

Нож дрожал, войдя сантиметра на два в мерзлую сосну. Он действительно был пущен с ловкостью дикаря, размах был понастоящему страшным, глаза Женьки сверкнули сладостью уничтожения. Все это, конечно, было не очень смешно, но Аркадий Заварзин весело, искренне захохотал; он хохотал так здорово, так непосредственно, что в уголках глаз появились и тут же замерзли две маленькие слезинки.

— Дура ты, Столетов! — прохохотавшись, сказал Аркадий Заварзин. — Нож зря из кармана не достают...

Он взял Женьку за пуговицу телогрейки, покрутил:

— У ножа два конца, Столетов. Один врагу под ребрышко идет, второй — тебе самому под сердце. Человека убить — самому умереть.

Вот теперь было страшно — от голоса Заварзина, от его ласковых глаз, на доннышке которых жил страх, от зубов с обнаженными нежными деснами. Как мог он, Женька, говорить, что Аркадий Заварзин смешон, когда мерцало смертью — облитое лаской лицо, тюремными решетками отражалось в выпуклых глазах перекрещенные ветви ближней сосны?

— Я не боюсь тебя, Заварзин! — еле слышно прошептал Женька. — Лучше умереть, чем тебя бояться... Лучше умереть, лучше умереть! — повторил он как заклинание.

— Боишься! — потя лицом на морозе, сказал Заварзин. — Не большой же ты, чтобы смерти не бояться!

Он медленно гасил улыбку, прятал обнаженные алые десны.

— Да что мы все про перышко да про перышко... Зря говорить не надо. Оно от этого как живое в кармане шевелится...

Иней окутывал длинные заварзинские ресницы. В звонком воздухе слышался каждый шорох, каждое движение было первобытно, дремуче.

— Ты чего под Гасилова копаешь? — спросил Заварзин. — Чего тебе, всех больше надо? В стахановцы ты вышел, Столетов, комсомольцы тебя в начальство выбрали, скоро орденишко на грудь получишь... Чего тебе еще не хватает, Столетов? Чего людям жить мешаешь?

Заварзин прислонился спиной к стене электростанции, мечтательно склонил голову.

— Чего ты заботишься о высокой производительности труда, Столетов? Зарплата у нас хорошая, монету за перевыполнение получаем, чего тебе еще надо?

Голос у него был издевательский, презрительный, но слышалось и любопытство, словно Аркадий Заварзин был удивлен тем, что существует человек, которому мало хорошей зарплаты, прогрессивки и будущего ордена. В существование такого человека Аркадий Заварзин, конечно, не верил, его быть не могло, но... А вдруг? Чем черт не шутит!

— Кто ты, Столетов, что хочешь добровольно больше положенного ишачить?

Нотка живого человеческого любопытства все отчетливее звучала в голосе Заварзина. Он глядел на Женьку прямо, мороз все прочнее сковывал его длинные ресницы. Женька тоже прислонился спиной к стенке электростанции, задумался.

— Кто я такой? — медленно переспросил он. — Ты хочешь знать, кто я такой...

В стилой тайге не было места мелочам, пустяковине: шевелящийся от слов нож в кармане Аркадия Заварзина, смерть, живущая в его глазах, сама планета Земля, такая же дикая и холодная в масштабах Вселенной, как и миллион лет назад, — все заставляло думать о крупном.

— Я рабочий, Заварзин, — сказал Женька. — Пролетарий, которые «всех стран, соединяйтесь»... Я не буду заботиться о высокой производительности труда, кто же будет заботиться?

— Рабочий? Пролетарий?

Заварзин переступил с ноги на ногу, высунув руку из шерстяной варежки, осторожно обобрал лед с потяжелевших ресниц, потер пылающие от мороза щеки. Ладонь закрывала его глаза, Женька не видел выражения заварзинского лица, да и голос тракториста прозвучал глухо:

— Говоришь, рабочий, пролетарий! А не можешь с одним мастером Гасиловым управиться! Салага ты, а не пролета-

рий... — Он мечтательно прищурился. — Да будь у меня нужда Гасилова скovyрнуть, я бы его одним мизинцем... Средний объем хлыста занижен? Занижен... Среднее расстояние трелевки повышено? Повышено, да еще как! Одна ездка кой-кому за две считается... Время перехода из одной лесосеки в другую умышленно растягивается? Еще бы! Как резина...

Аркадий Заварзин плюнул; плевок, не долетев до земли, превратился в лед и звонко щелкнул в кочку.

— Я бы мастера Гасилова одним ногтем... Да ни к чему мне это. И тебе не дам...

Надев рукавицу, он улыбнулся одними глазами, лениво оторвав спину от стены электростанции, пошел прочь с таким видом, точно Женьки не существовало. Заварзин почему-то сутулился, в походке отчетливо проглядывала воровская вкрадчивость, ноги были такими, словно он шел по тонкому, опасному льду. Пройдя метров пятьдесят, Заварзин остановился, повернув только одну голову к Женьке, спросил издалека:

— Ты почему трактор дыбом ставишь, Столетов?

Пауза. Улыбка.

— Не надо, Женечка, ставить трактор дыбом! Учти, родной, если еще раз поставишь, будешь иметь дело со мной! — И пошел сутуло к теплой столовой, а Женька, как пригвожденный, остался стоять на месте.

Женьке Столетову почудилось невозможное, дикое: у Аркадия Заварзина было что-то общее с Людмилой Гасиловой. Эта ленивая походка, это безмятежное лицо, замедленные, мечтательные позы...

— Заварзин тоже пасется! — стылыми губами пробормотал Женька. — Он пасется...

...Заварзин достал из кармана дешевый — из дутого серебра — портсигар, вынул папиросу, постучал мундштуком по крышке. Жадно прикусил папиросу зубами.

— Когда я уходил, Столетов что-то такое бормотал, — сказал он. — В морозном-то воздухе все хорошо слышно, так я услышал: «Заварзин тоже пасется!» Эти слова я до сих пор не понимаю... Что они могут обозначать?

Он прикурил от бензиновой зажигалки, затянувшись дымом, держал его в легких долго. Рука с крепко зажатой папиросой вздрагивала, на щеках светился рваный румянец, плечи казались сутулыми.

— Столетов хорошо сказал слово «рабочий», — продолжал он. — Я Столетова ненавижу, но он честный был... Таких бы побольше — жить можно!

Было естественно, что сильная личность Аркадий Заварзин уважительно относится к сильной личности Евгению Столетову.

— Вы что-то еще хотите сказать? — сонно спросил Прохоров. — Пожалуйста, Заварзин, пожалуйста!

— Столетов смелый был! — искренне проговорил Заварзин. — Храбрых дураков много. Они потому храбры, что в смерть не верят. Думают, что смерть только в кино да у соседей бывает... А Столетов знал, на что я способен... И все-таки пошел на Заварзина...

Он усмехнулся.

— Столетов после нашего разговора каждый раз ставил трактор на дыбки...

Дождь затихал понемножечку. Вот вспыхнула последняя фиолетовая молния, прошелся мелкими шажками по железной крыше дома умирающий гром, дождь выбирал остаточки из черных туч, а над Обью прояснился синий кусок чистого неба.

— Все это очень хорошо, Заварзин, — деловито сказал Прохоров. — Все это очень хорошо, если вы не играете в искренность... Вы и о тракторе упомянули...

Прохоров помолчал.

— Еще вопрос... — сказал он. — Вы показывали следователю Сорокину, что дрались со Столетовым на берегу озера Круглого, а мне известно, что драки на озере не было. Отчего же так, а, Заварзин? Вам надо доказать, что рубаху на Столетове вы порвали во время драки на озере, а вовсе не на...

Глядел Прохоров при этом не на Аркадия Заварзина, а на окно, и кожей лица, руками, грудью, бровями — всем, чем можно, чувствовал, что происходило с трактористом. Вот Аркадий Заварзин насмешливо усмехнулся, выдерживая длинную аналитическую паузу, не проявил ни замешательства, ни растерянности.

— Не время шутить, товарищ Прохоров! — сказал он. — Была драка на берегу озера! Как же мне было не драться со Столетовым, когда он четвертый раз при мне поставил трактор на дыбки!.. Дешевая работа, товарищ Прохоров!

Нет, не ошиблись в Заварзине полковник Борисов и майор Лютиков! Разбирался в людях, черт возьми, пижон Борисов с оперным баритоном и лакированными ногтями, знал толк в жизни тишайший майор Лютиков! Сложись по-другому судьба теперешнего тракториста, окончил бы Заварзин среднюю школу, институт, насиделся бы тот же капитан Прохоров в строгих приемных возле кабинета крупного организатора человеческой воли Аркадия Леонидовича Заварзина.

— Коли не было драки, значит, не было драки! — будто охотно согласился Прохоров. — Бог с ней, с дракой!.. — Он опять увел взгляд к окну. — Я вот еще о чем думаю... Мне мерещится, что выехали в поселок на одной тормозной площадке со Столетовым. Ведь не ошибаюсь же я, а, Заварзин?

Вот теперь можно было уловить чуть приметную растерянность в центре комнаты. На щеки, глаза, уши, волосы, грудь,

плечи Прохорова словно подуло тревогой, гладко прикоснулось к коже секундное замешательство тракториста. Но уже в следующее мгновение Заварзин раскатисто засмеялся.

— На пушку берете, товарищ Прохоров! — обидчиво сказал он. — Другим я поездом ехал...

Неожиданно для Прохорова он на этом не остановился, хотя логика поведения диктовала необходимость сделать внушительную паузу.

— Кой-какому народишку и это известно! — с великодушной улыбкой сказал Заварзин. — Если капитан Прохоров глядит в сторону, если Прохоров расстегивает и застегивает верхнюю пуговицу на рубашке — жди покупки! — Он даже хихикнул. — Я три дня назад к дружку в район смотал, о ваших привычках его расспросил... Я чистый, на мне вины нет, но мало ли куда повернет ваша братия... А мне жить охота на воле, товарищ Прохоров! Я не для того женился, сына заимел, чтобы опять в колонию уйти...

Ах ты, протобестия! Прохоров побарабанил пальцами по столешнице, но не улыбнулся.

— Хотел бы я знать фамилию дружка! — озабоченно сказал он. — Не Буян ли, а, Заварзин? А может, Қалоша?

— Пушкин! — смачно ответил Заварзин. — Александр Сергеевич!

Прохоров помигал на Заварзина, почесал переносицу и опять побарабанил пальцами по столешнице.

— Ну, ладно, Заварзин! — решительно сказал он. — Вижу, вижу, что вам палец в рот положить нельзя. Ох, нельзя! Ни указательный палец положить нельзя, ни средний, ни мизинец. Я уж не говорю о большом пальце... Именно большой палец вам в рот класть всего опаснее... Ах, ах!.. Дождик вот кончился! Того и гляди — луна вылезет на подobaющее ей положение, гитара за окном затренькает... Живи — не хочу!

Он потирал руку об руку, будучи внутренне напряженным, внешне веселился во всю ивановскую:

— А Женька-то Столетов! Женька-то наш! Так ведь и сказал: «Заварзин тоже пасется!» Это значит еще один человек пасется... Ну вот вы строите кислую физиономию, а ведь это так и есть, голубчик вы мой!.. Три человека пасутся — вы, Петр Петрович Гасилов, его дочь-раскрасавица... Ах, беда! Он ничего не понимает! Кто пасется? Почему пасется? Поди, думает: «Что я, корова?» Ах, ах! Корова пасется, овца пасется, ло-о-шадь пасется. А при чем тут я, Аркадий Заварза?

Прохоров вдруг остановился, озабоченно почесал затылок:

— Думаете, легко мне с вами разговаривать? Ого, как нелегко. Так нелегко, что и сил нет спросить вас, когда вы узнали о том, что Людмила Гасилова собирается выходить замуж за технорука Петухова?

Ага! Ага, голубчик! По лицу Заварзина прокатилась серая тень, угол рта дернулся, а на шее запульсировала быстрее обычного синяя вена — из тех, которые в первую очередь реагируют на волнение.

— Когда узнал? — выгадывая время, торопливо переспросил Заварзин. — То ли в конце мая, то ли в июне... Да не помню я этого...

«В конце мая или в начале июня»... Вот уж такого примитива капитан Прохоров от Аркадия Заварзина не ожидал! Ах, ах! Неужели было трудно, имея в распоряжении целых две секунды, сблизить события до большего правдоподобия или — на худой конец! — удивленно выпучить раскрасивые глаза: «Как? Гасилова хотела выйти замуж за Петухова?»

— Уж очень я притомился! — грустно пожаловался Прохоров. — До такой я степени, знаете ли, утомился, что зубы чистить лень. Ей-бо! Встану утром, подойду к умывальнику и стою, стою... Чистить, думаю, зубы или не чистить? Ну, думаю, почищу... Возьму щетку и опять стою, стою...

Да, теперь можно было определиться в пространстве и времени... Прохоров посмотрел на часы — нужно, заранее запланированное время; покачал носком — хороший, блестящий туфель; застегнул верхнюю пуговицу на рубашке — пришел момент для застегивания. На дворе тоже наблюдался порядок: дождь перестал, молнии если и вспыхивали, то уже как зарницы, с крыши если и текло, то тихонечко, мирно. И крупный пот на лбу Аркадия Заварзина был правильным, нужным, запланированным.

— Вот, значит, возьму щетку и стою, стою...

Капитан Прохоров театрально расслабленно откинулся на спинку стула, весь как бы развязался, и выражение лица у него было такое, словно хотел сказать: «Время позднее, дождик кончился, а ты, Заварзин — фрукт! В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

— Стою, стою со щеткой в руках, а сам думаю: «Почему это Людмила Гасилова не захотела выходить замуж за Столетова?» Нет, серьезно! Парень образованный, культурный, красивый — почему не выйти за него? Дружили с восьмого класса, писали друг другу, а тут такое вот дело... Как вы думаете, Заварзин, почему Гасилова расхотела быть женой Столетова?

Заварзин долго не размышлял.

— Гасилов не дурак, чтобы отдать дочь Столетову, — ухмыляясь, ответил он. — Столетов с его характером всю жизнь мотал бы сопли на кулак... Он бессребреничком был, Столетов ваш! А Гасиловой цигейковой шубы мало, ей каракулевую подавай...

Вот что говорил Аркадий Заварзин, человек, не выдающий

друзей. Не понимал, наивный мужик, не понимал, писанный красавец, что с головой закладывает Петра Петровича!

— Каракулевы шубы теперь не в моде,— оживленно заявил Прохоров. — Сейчас поволосатей надо, попышнее... Можно и каракулевую, но длинную, до пят... Однако такие в Сосновке еще не носят и не скоро будут носить, дорогой Заварзин... Что главное в дохе? Главное в дохе — эффект! Греть ей вовсе не обязательно. Как дамы обращаются с дохой? Сто метров до автомобиля, сто метров — от автомобиля... Нет, серьезно! Зато какой эффект!.. Серьезно...

Безмятежный Прохоров в третий раз побарабанил пальцами по столешнице, улынувшись втихомолку собственным мыслям, внезапно деловитым, «инженерно-производственным» голосом спросил:

— Слушайте, Аркадий Леонидович, а с какого рожна вы Столетову рассказывали о производственных преступлениях гражданина Гасилова? — Он сам себе согласно кивнул. — В исправительно-трудовых колониях, работая на лесозаготовках, вы лесное дело изучили до тонкостей... Вас мастером назначь — не ошибешься, а Женька Столетов, как вы выражаетесь, в лесозаготовках ни в зуб ногой... Вот и отвечайте, Аркадий Леонидович, с каких пирожков вы вооружили Столетова убийственными фактами против обожаемого вами Петра свет Петровича? А?

Он просто-напросто растерялся, этот смертельно страшный для Никитушки Суворова бывший уголовник-рецидивист, и капитан Прохоров от удовольствия начал довольно явственно и, конечно, фальшиво насвистывать: «Загудели-заиграли провода... Мы такого не видали никогда...»

— Нуте-с, отвечайте, Аркадий Леонидович!.. Вы покраснели? Исключительно выдающийся, небывалый, самоновейший факт из биографии Аркани Заварзы, как вы сами себя именуете... — Прохоров сделал паузу, иным тоном продолжал: — Ложный стыд вас заставил покраснеть, Аркадий Леонидович... Вам мерещится, что вы продали Гасилова, а на самом деле помогли мне и себе...

Прохоров дружелюбно посмотрел на Заварзина.

— У нас с вами, Аркадий Леонидович, одна задача,— серьезно сказал он. — Мы должны и обязаны доказать, что вы не сталкивали с подножки платформы Столетова... Поймите, это надо дока-за-ть! Показаниями свидетелей, фактами, цифрами, арифметическими расчетами.

Прохоров вдруг поднялся.

— Гражданин Заварзин,— резким голосом произнес капитан. — После се-го-дня-шне-го допроса я решил не брать с вас подписку о невыезде... Продолжайте жить и трудиться нормально, гражданин Заварзин... До свидания! Спокойного вам отдыха!

На первый взгляд ничего нового в большой и пустынной комнате слепого завуча Викентия Алексеевича Радина не появилось, но капитан Прохоров — кто знает, как и почему? — ощутил непривычное, незнакомое, хотя все оставалось прежним: стояли высокие разноцветные стены, лежали на круглом обеденном столе разноцветные салфетки, освещала все громадная электролампочка без абажура; слепой учитель сидел на привычном месте, Прохоров — напротив; за окнами похаживала подошвами людей ночь, лаяли знакомые уже собачьи голоса, временами тонко ржал накрепко запертый в конюшню жеребец Рогдай. Одним словом, все было прежним, знакомым, уже отчасти обжитым, но все-таки в доме Радина произошла какая-то разительная, важная и очень нужная Прохорову перемена.

Прохоров и Викентий Алексеевич уже обменялись несколькими незначительными фразами, потрепались, как говорится, о том о сем, без цели и смысла, и только, пожалуй, после этого капитан уголовного розыска понял, что переменялось в доме слепого завуча... Жена Радина — вот что было нового в большой и оригинальной комнате, так как на этот раз Лидия Анисимовна не смотрела на Прохорова враждебными глазами, плечи у нее не зауживались от ненависти, лицо было спокойное, еду она принесла и поставила на стол нормально — не швыряющим движением — и мало того, осталась в комнате, присела на третью, свободную табуретку, закурила сигарету «БТ», принялась внимательно слушать разговор мужа и милицейского капитана, и только теперь Прохоров подробно разглядел ее лицо — с фанатично выпуклым подбородком, холодноватыми глазами, таким низким лбом, что он казался закрытым челкой, хотя Лидия Анисимовна волосы собирала пучком на затылке. Была и характерная черта на ее миловидном лице — звездчатый шрам на правой щеке. Пуля, войдя в открытый рот, видимо, прошла насквозь щеку.

Стараясь быть деликатным и осторожным, Прохоров снова напомнил Радину о том, что совершенно необходимо провести следственный эксперимент для опознания Аркадия Заварзина, на что Викентий Алексеевич ответил согласным кивком, потом инспектор уголовного розыска — тоже осторожно и деликатно — коснулся вопроса о репродукциях негров, которыми Евгений Столетов заклеил всю кабину «Степаниды», и, конечно, спросил, чем можно объяснить такую особенную любовь...

Прежде чем ответить на этот вопрос, Викентий Алексеевич поднялся, уверенно, как зрячий, сходил в спальню и принес стопку репродукций, изображающих стариков негров.

— Бичер Стоу,— коротко объяснил он.— На него огромное впечатление произвела «Хижина дяди Тома», он перечитывал ее бесконечно часто и каждый раз втихомолку плакал... — Радин энергично встряхнул крупной головой.— Женя говорил, что портреты стариков негров в кабине трактора мешают ему быть восторженно-счастливым. Поверьте, Александр Матвеевич, мой молодой друг страдал, если был беспричинно счастлив. Он говорил: «Нельзя быть счастливым, если на земле...» Ну и так далее...

Радин сухо поджал губы.

— Надеюсь, вы уже понимаете, Александр Матвеевич, что я любил, уважал и высоко ценил Евгения Столетова... Мало того, я порой учился у него, если хотите, подражал ему... — Он просительно обратил лицо в сторону жены.— Лида, оставься уравновешенной!

Лидия Анисимовна едва приметно улыбнулась, подойдя к мужу, притронулась тонкими пальцами к его щеке, обращенной в сторону розовой стены.

— Я спокойна, Викентий! — мягко сказала она и повернулась к Прохорову.— Мало того, мне начинает нравиться наш городской гость... Не примите это за комплимент, Александр Матвеевич, но вы чуткий человек. Вы, пожалуй, первый, кто не расспрашивал мужа и меня о наших фронтовых ранениях... Спасибо!

Прохоров поклонился.

— И вам спасибо, Лидия Анисимовна.— И опять к Радину: — Однако продолжим наш разговор, Викентий Алексеевич... Видимо, только вы способны откровенно и объективно объяснить, что происходило на лесосеке двадцать второго мая, то есть за несколько часов до гибели Евгения. Понимаете, все, к кому я ни обращаюсь с этим вопросом, что-то скрывают... Что особенное произошло двадцать второго в течение первой смены?

Радин думал недолго. Поглаживая пальцами зеленую салфетку, он задумчиво сказал:

— Примерно за полгода до смерти у нас с Женей произошел довольно крупный и, если можно немного преувеличить, философский разговор... Да, да, хотя разговор начался с философских выкладок, Женя пришел взъерошенный, нервный, неспособный сидеть на одном месте, бледный от волнения... Это было, если я не ошибаюсь, во время трескучих декабрьских морозов...

Он по-своему, по-радински улыбнулся:

— Женя не пришел к нам, не явился, не возник неожиданно в дверях, а ворвался в дом с таким видом, словно столкнулись галактики...

За пять месяцев до происшествия

...Женька Столетов действительно ворвался в дом с таким видом, словно столкнулись галактики. На нем был короткий черный полушубок, воротник заиндевел, щеки алели от мороза, замерзшие валенки стучали по полу так, будто были металлическими. Он сбросил их у порога, оставшись в одних шерстяных носках, прошел в комнату, сел на свое обычное место и только после этого поздоровался:

— Добрый вечер, комиссар, добрый вечер, Лидия Анисимовна! Мороз, доложу я вам, оглашенный... Это, во-первых, а во-вторых, Викентий Алексеевич, позвольте доложить: я становлюсь круглым дураком. Можете поздравить вашего ученика, Викентий Алексеевич! Мне не до шуток, комиссар, я действительно дурак, так как отвык самостоятельно мыслить и принимать решения... Не понимаете? Сейчас все объясню, вот только немного отогреюсь...

На самом деле похожий фигурой и коротким, тупым носом на молодого Петра Первого, бывший ученик Викентия Алексеевича подошел к изразцовой печке, прижался к ней спиной, стал тереть руку об руку, ежась и вздрагивая от холода. Наверное, перед тем как войти в дом Викентия Алексеевича, он не меньше часа вымеривал гусиным шагом улицу, напряженно раздумывая, размахивая на ходу длинными руками, спорил и соглашался сам с собой, а когда ничего сам решить и придумать не смог, пошел к бывшему учителю — так случалось часто.

Через минуту-другую Женька Столетов отклеился от горячей печки, сев на прежнее место, начал насмешливо улыбаться и раскачиваться на стуле, чего Лидия Анисимовна терпеть не могла и что означало, что Женька на самом деле считает себя идиотом и, наверное, имеет для этого основания.

— Буду философствовать направо, — быстро, словно могли перебить, сказал он. — Забыю вам мозги, измучу, измотаю, а ответа добьюсь... Ей-богу, комиссар, меня надо вытаскивать из ямы, в которую я угодил по причине собственного...

— Что случилось, Женья? — спросил Викентий Алексеевич. — У тебя на самом деле такой вид, точно ты бредишь наяву...

— Точненько! — бурно обрадовался Женька. — У меня на самом деле вид такого человека, который говорит, думает, поступает, а сам не понимает, что говорит, о чем думает и как поступает... Перед вами робот! Металлический, на электронных и транзисторных лампах, на сопротивлениях. Робот, носящий кличку «Евгений Столетов»... Какую из кнопок изволите нажать? Не прикажете ли продолжать философствовать?

— Приказываю.

На дворе было так морозно, что слышалось, как потрескивают оконные стекла и на Оби шебаршит поземка — на реке даже при полном безветрии зимой всегда дул легкий ветер. Собаки от холода не лаяли, стояла та звонкая, буквально немая тишина, которую называют деревенской.

— Меня губит информация! — неожиданно ляпнул Женька. — В меня столько натолкали разнообразнейших знаний, сведений и фактов, что я уже не могу самостоятельно мыслить... Вы вот улыбаетесь, Викентий Алексеевич, а сегодня, думая о мастере Гасилове, я размышлял о ренте, рантье и других вещах, не имеющих никакого отношения к мастеру. А о Людмиле Гасиловой, можете себе представить, я размышлял, как об особи, которая должна в ближайшем будущем испытать воздействие вывода работы Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»... Отмирание семьи и так далее и тому подобное...

Он вскочил, забегал по комнате — длинный, худой.

— Согласитесь, Викентий Алексеевич, что переизбыток информации отучает человека самостоятельно мыслить, и он начинает оперировать заранее готовыми представлениями и выводами... Я, например, Петра Петровича Гасилова разложил по знакомым полочкам, а ведь он много сложнее, чем мне, обладающему обширной, но банальной информацией, представляется... Где полочка, на которую можно положить странную, непреоборимую, фанатическую любовь Гасилова к лошадям?

Женьке не стоялось на месте, и он опять забегал из угла в угол, продолжая потирать руку об руку.

— Куда ни сунь нос — везде информация! — злился он. — Заклеенные афишами заборы, газеты, телевизоры, радио, лекции и доклады, разговоры друзей, кино, десятки книг, спор мальчишек о преимуществах Ту-104 перед Илом-18, родной дед, прочитывающий все, что может принести в двухпудовой сумке почтальонша, мать, нафаршированная до отказа наинновейшими медицинскими знаниями, отчим, знающий все на свете, парикмахер, заводящий разговор о положении на Ближнем Востоке... И, наконец, я сам, имеющий привычку прочитывать от первой до последней строчки любую бумажку или книгу, коли попали в руки... Скажите, Викентий Алексеевич, разве я способен после этого мыслить самостоятельно?

Он остановился в центре комнаты, лихим хулиганским движением сунул руки в карманы.

— Слушайте, Викентий Алексеевич, за последние полгода, как я подсчитал, мне в голову не пришла ни одна самостоятельная мысль...

Женька наконец уселся на место, спрятал неотогревшиеся руки под мышки, заговорил нормальным голосом:

— Привожу в систему свои дикарские выкрики. — Женька

с алчным видом начал загибать пальцы. — Во-первых, так называемая массовая культура отбивает охоту, привычку и способность самостоятельно мыслить, во-вторых, нас колоссально неправильно учат в школе, введя некое пародийное политехническое образование... Чему меня научили в школе? Управлять трактором. Эка премудрость! Рычаг сюда, рычаг туда, вот это — заводная рукоятка!

— Спокойнее, Женя, ты же не на трибуне,— шутиливо сказала Лидия Анисимовна, внося поднос с крепким чаем, баранками и мелко нарезанной копченой рыбой. — Ты так вопишь, что тебя, наверное, слышит вся деревня.

Женька рассвирепел:

— И пусть слышит! Пусть все знают, что нас в жизнь пустили салажатами... Как пользоваться логарифмической линейкой, я знаю, цикл Карно помню, а вот как соотнести объем хлыста с нормой выработки на списочного рабочего — для меня темный лес.

— Чего же ты хочешь, Женя? — расставляя посуду, спросила Лидия Анисимовна. — Превратить школу в лесотехнический институт?

Женька отодвинул от себя блюдце с таким видом, точно хотел сказать: «Не буду пить ваш чай, если вы порете чупаху!» Однако через две-три секунды, устыдившись укоризненного взгляда Лидии Анисимовны, он вернул блюдечко в прежнее положение.

— Не надо устраивать из школы лесотехнический институт,— мрачно сказал Женька. — Но в век научно-технической революции нас должны учить хотя бы зачаткам экономических знаний. Я сальдо от бульдо отличить не могу, а мне бы надо уметь пользоваться простейшей электронно-счетной машиной. Вот ведь какая петрушка получается! Аркадий Заварзин и восьми классов не окончил, треть жизни провел в тюрьме, а лучше меня разбирается в экономике лесозаготовок. Это ли не парадокс? Это ли не безобразие, черт возьми!

— Евгений, перестаньте чертыхаться! — наконец рассердилась Лидия Анисимовна. — Извольте пить чай — остынет.

— Прошу простить меня, Лидия Анисимовна,— забормотал Женька,— но уж очень важный вопрос... Ой, какой вкусный чай! Вот спасибочки-то, Лидия Анисимовна.

В несколько крупных глотков выпив чашку очень горячего чая, Женька снова вскочил с места, пробежал из угла в угол комнаты, вернувшись к столу, обеими руками оперся на разноцветные салфетки.

— Аркадий Заварзин в десять раз лучше меня разбирается в экономике лесозаготовок! — опять нервно заговорил он. — А это вам не фунт изюма, так как Заварзин заодно с Гасиловым, а я... Я ни черта пока не могу понять в махинациях ма-

стера, хотя превосходно знаю, что он тунеядец, а может быть, и жулик...

Викентий Алексеевич сидел неподвижно и думал о том, что жизнь иногда выкидывает странные штуки. Только вчера жена читала ему газетную статью, в которой автор серьезно и с трезгой рассматривал полезные и вредные стороны массовой культуры, потока информации, а вот сегодня к нему домой врывается Женька Столетов и говорит о том же самом.

— Ты все преувеличиваешь, Евгений,— неторопливо сказал Викентий Алексеевич.— У массовой культуры есть, конечно, свои серьезные недостатки, но не меньше и достоинств... Тебе только кажется, что ты отвык самостоятельно мыслить. Дело в том, Женья, что сейчас ты мыслишь так широко и глубоко, что теряешь ощущение самостоятельности мышления... А что касается трактора и школы...

Викентий Алексеевич вздохнул, положил обе руки на стол. Он просидел в неподвижности довольно долго, потом сказал:

— Насчет школы и трактора ты прав, Женья... Мы выпускаем из стен школы людей совершенно беспомощных в практическом отношении. Они действительно умеют пользоваться логарифмической линейкой, но многие из них не знают, почему килограмм хлеба... А ну, быстренько отвечай, Евгений, сколько стоит килограмм орловского хлеба?

Женька громко и радостно захотал.

— Не знаю! — закричал он на весь дом.— Вот уже лет десять, как мама меня не посылает за хлебом... Не знаю! — повторил он восторженно и замахал руками.— Вы попали в точку, Викентий Алексеевич, я не знаю, почему килограмм орловского хлеба!

Прохохотавшись, Женька дисциплинированно выложил обе руки на колени. Он знал, что это движение Викентий Алексеевич уловит, и действительно слепой завуч понимающе улыбнулся:

— Хочешь исповедаться в грехах, Евгений?

— Хочу, Викентий Алексеевич... Три дня назад вы меня спросили: «Что происходит между комсомольцами и мастером Гасиловым?» Тогда я вам ничего не ответил...

Тихий, отдаленный гром послышался за окнами. Это шел на север рейсовый реактивный самолет; гром приблизился, некоторое время казался похожим на рокот обыкновенного мотора, затем опять превратился в майский ранний гром. Представлялось, как на фоне морозного, чистого и ярко-звездного неба вспыхивают предупредительные огни самолета. Когда шум самолета совсем утих, Женька смущенно, с извинительной интонацией произнес:

— Я сегодня вам ничего не расскажу о конфликте с Гасиловым... Дело в том, Викентий Алексеевич, что декабрьские

морозы, кажется, помогли нам понять Гасилова... Думаю: попался!

Самолет затих совсем, по-прежнему редко-редко лаяли собаки, печка потрескивала горячими кирпичами.

— Конфликт с мастером Гасиловым так серьезен и глубокий,— еще тише прежнего произнес Женька,— что мы, комсомольцы, чувствуем такую же ответственность, какую, наверное, чувствовали все комсомольские поколения в решающие моменты жизни... А тут еще... Понимаете, комиссар, нехорошо складывается у меня с парторгом. Смотрите, вы для меня — партия!

Женька на секунду зажмурился, потом, встряхнув головой, спросил:

— Лидия Анисимовна, нельзя ли еще чашку чая? Ей-богу, еще не согрелся...

...Прохоров расцепил руки, сложенные на груди, задумчиво наклонив голову, прошелся по комнате. За открытыми окнами мерцала разноцветными бакенами Обь, слышался знакомый стон гитары в ельнике, хохотали под старыми осокорями девчата. Была уже настоящая ночь, но прохлады она не принесла, под нейлоновой рубашкой задыхалось тело, и Прохоров подумал, что давно бы надо купить другие рубашки, да все никак не соберется...

— Женька так ничего и не рассказал о конфликте с мастером Гасиловым,— после грустной паузы сказал Викентий Алексеевич. — Он был сложным... Иногда казалось, что Евгению под сорок, порой он выглядел шестиклассником...

Прохоров вернулся на место.

— Вы хотите сказать, Викентий Алексеевич,— спросил он,— что история с Гасиловым вам кажется детской игрой?..

— Нет и нет! — быстро ответил Викентий Алексеевич. — Игрой в этой истории было только то, что ребята скрывали от всех и вся формы и методы борьбы с Гасиловым, хотя права на это не имели... Да и я, коммунист, виноват. Надо было развенчать эту игру, поговорить с Голубиным, помочь им со Столетовым понять друг друга... Еще это несчастье у Голубиня...

Капитану Прохорову было хорошо в этом доме, где разговаривали и думали точно на таком же языке, на котором разговаривал и думал сам Прохоров. Он отошел от окна, сел напротив Викентия Алексеевича и так посмотрел на его провалившиеся глазницы, словно ждал вопроса.

— Когда вы собираетесь проводить следственный эксперимент? — спросил Викентий Алексеевич.

— Дня через два-три,— ответил Прохоров, обрадовавшись тому, что в тоне вопроса не было ничего, кроме желания узнать

о времени проведения эксперимента. — Дня через два-три, Викентий Алексеевич...

Наступила пауза, после которой полагается прощаться с хозяевами, и Прохоров решительно поднялся:

— Спасибо, Лидия Анисимовна, признателен за вашу откровенность, Викентий Алексеевич. Мне пора бежать по своим милицейским делам... До свидания!

Радин тоже поднялся.

— Минуточку, Александр Матвеевич, — попросил он. — Мне хочется, чтобы вы знали о той фразе, которую преподнес мне Женька уже в мае. «...О гражданском мужестве... Вот, комиссар, какое серьезное дело — борьба с мастером Петром Петровичем!»

7

Прохоров сидел на раскладушке, шестеро парней устроились в кабинете свободно, каждый по своему вкусу; в комнате горела настольная лампа под зеленым абажуром, в окне мерцала река, разделенная лунной полосой... На тяжелом деревянном табурете сидел наверняка Борька Маслов — по морщинам на лбу видно, что прирожденный математик и отличный шахматист; тот, что переминается с ноги на ногу, этакий медведина — Мишка Кочнев; те двое — это Леонид Гукасов и Марк Лобанов — кто из них Леонид, кто Марк — понять нельзя; оба смущенно улыбаются, оба розовощеки, как новогодние поросята. А вот на подоконнике устроился Геннадий Попов — личностью явно незаурядная: хорошей лепки покатый лоб, твердые губы в трещинах, глаза премудрые, собачьи, как у мастера Гасилова, в загнутой вверх левой брови столько воли и характера, что о-го-го-го! Кремень, а не вчерашний десятиклассник! Ну, а рядом с ним посиживает Андрюшка Лузгин — громадный, добрый, растерянный, считающий себя убийцей Столетова... Вот она, основная ударная сила сосновского комсомола, друзья и приятели Женьки Столетова, целых шесть голосов за то, чтобы снять с работы мастера Гасилова.

Возле притолоки стоял участковый инспектор Пилипенко.

— Я понимаю, братцы, — задумчиво говорил Прохоров, — что трудно восстановить сумбурную речь Женьки на комсомольском собрании, но я-то, милицейская душонка, должен знать, о чем он говорил...

Прохоров был веселый, свежий, хотя стрелки часов уже соединились на двенадцати.

— Теперь модны социологические анализы, так в чем же дело? — продолжал Прохоров. — Кто нам мешает сделать вид, что мы занимаемся социологией? Я вас, братцы, собственно, и собрал для того, чтобы выяснить, отчего вы все голосовали против Гасилова... Другой цели у меня нет... Давайте высказываться свободно.

Врал Прохоров только в той фразе, которая сама собой возникла в разрыве двух правдивых фраз, то есть в словах: «Другой цели у меня нет!..» Цель у него была, да еще какая: ему хотелось послушать ребят, поглядеть на них, расположив к себе, настроив на искренность и полную утрату бдительности, огоршить самым главным вопросом. Таким образом, капитан Прохоров врал в главном: ему вовсе не требовалось сейчас знать, о чем говорил Женька на собраниях.

— Начнем с Попова! — сказал Прохоров. — Почему вы голосовали против Гасилова?

— Почему?

Попов думал недолго.

— Гасилов — человек, живущий синекурой! — ответил он.

Вот какими словечками разбрасывался крановщик из Сосновки. Это он, Генка Попов, во время первой ссоры Столетова и Заварзина держал на коленях американский роман «Вся королевская рать», второй год готовился поступить на физический факультет знаменитого Томского политехнического института. Вообще, заинтересовавшись образовательным цензом рабочих Сосновского лесопункта, Прохоров обнаружил, что из двадцати шести трактористов восемнадцать были со средним образованием, из девяти крановщиков — шесть, а среди машинистов узкоколейных паровозов был машинист с дипломом железнодорожного техникума. Начальник лесопункта Сухов закончил Лесотехническую академию.

— Я голосовал против Гасилова потому, — сказал Борис Маслов, — что Петр Петрович обскакал моего любимого Бендера. Остап Сулейман перед ним мальчишка, балаганный шут! — Он общительно улыбнулся. — Вы, наверное, не знаете, Александр Матвеевич, что Женькина речь была коллективной...

— Правильно, — вмешался Андрюшка Лузгин. — Я ему подкинул фразу о гелиоцентрической системе...

Точно! В речи Столетова была и синекура, и гелиоцентрическая система, и налет мальчишеского увлечения романами Ильфа и Петрова. Правда, в областном центре, как недавно подметил Прохоров, молодые интеллектуалы понемножку заменяли Ильфа и Петрова злыми цитатами из булгаковского романа «Мастер и Маргарита», тоскуя по новенькому, считали уже, что оперировать Ильфом и Петровым старомодно, но это ведь в областном городе, не в Сосновке же, где роман Булгакова имелся в единственном библиотечном экземпляре.

Прохоров откровенно любовался сидящей перед ним четверкой. Какие лица! Умные, скептические, уверенные. Каждый знает, что в конце концов поступит в институт, получит диплом с золотым гербом, будет жить там, где Сосновку называют «на родине», где о деревне вспоминают так: «Надо заглянуть на Обишку, посидеть недельку в Сосновке, а то поздно будет: придется на симпозиум в Бельгию ехать...»

— Продолжим, однако...— сказал Прохоров.— Поехали...

Он покосился на отдельного, грациозного по-медвежьи Михаила Кочнева, недавно демобилизованного из армии и привезшего в деревню жену-казашку. Она носила на спине длинные черные косы, похожие на витые плети, разгуливала по Сосновке в шароварах, но по-русски говорила без акцента.

— Я привык вкалывать на совесть,— сказал Михаил Кочнев.— Мне на пеньке сидеть несподручно: я классный специалист!

Прохоров покивал, продолжая разглядывать Михаила Кочнева, который, как и Гукасов с Лобановым, даже внешне был переходной ступенью между трактористом Никитой Суворовым и столетовской компанией. Они уже ушли от сапог и пиджаков из полухлопчато-полушерстяной материи, но еще не пришли к элегантным черным костюмам. Переходность чувствовалась и в лицах — нет еще той интеллигентности, что у четверки, но уже давно пройден сморщенный лобик Никиты Суворова, уже давало себя знать второе поколение рабочих Кочневых. И ожидалось приятное: от полуинтеллигентного Кочнева и казашки со средним медицинским образованием родится узкоглазый блондин с длинными ногами или черноволосая девочка с голубыми глазищами, окончит Сосновскую среднюю школу, а к девятнадцати-двадцати годам не станет уже цитировать ни Булгакова, ни Ильфа с Петровым — найдутся другие источники молодого скепсиса.

— Что скажут на окошке? — спросил Прохоров.— Кто у вас говорящая единица? Леонид или Марк?

Друзья заулыбались.

— Я разговариваю,— сказал Леонид Гукасов.— Мы проголосовали против Гасилова потому, что шибко уважали Столетова...

И по складу речи парни были переходной ступенью между Суворовым и столетовской четверкой — строились уже придаточные предложения, только слово «шибко» пробилось из нарымского говора.

— А вот хотел бы я знать, почему вы свою борьбу с Гасиловым облекли в такую тайну? Почему не обратились за помощью в партийную организацию?

Ребята переглянулись.

— Понимаете, Александр Матвеевич,— замедленно начал Борис Маслов и повторил слова Гукасова: — мы шибко уважали Столетова. А у него как-то не получалось с Голубиным. Нам всем казалось, что не верит парторг в Столетова. Не успел Голубинь в нем разобраться. Вот мы и решили доказать, на что мы, комсомольцы, способны. Разоблачим Гасилова, а потом и перед партийной организацией отчитаемся.

— Спасибо, братцы! — сказал Прохоров.— А ночь-то, ночь! Красавица!

Стрелки часов двигал первый час ночи, луна висела над старым осокорем, медленно перевертывался на ручку ковш Большой Медведицы, квартирующий рядом с Полярной звездой — покровительницей Сибири. Обь вся — от берега до берега — была залита лунностью, казалась литой, стоящей на месте, величавым покоем веяло от нее. Хотелось всю ночь напролет сидеть на виду у окна, не двигаться, ни о чем не думать.

— Успеете выспаться, не сорокалетние! — ворчливо сказал Прохоров. — А вот расскажите-ка мне, наконец, эту кошмарную историю с лектором Реутовым. Отчего переполошилась Сосновка и райцентр Криволобово?

Парни улыбались, переглядывались, устраивались получше на столе, подоконнике, на стульях, а участковый Пилипенко надменно выпячивал подбородок.

— Если нетрудно, расскажите вы, Борис!

— Хорошо! — ответил Маслов и сделал уморительно-важное лицо.

За одиннадцать месяцев до происшествия

...лектор товарищ Реутов всегда приезжал в Сосновку на сером мерине с клеймом на боку, состоящим из букв «О» и «П», что означало марку общества по распространению политических и научных знаний, хотя товарищ Реутов никаких политических знаний не распространял.

Реутов сам управлял лошадью, гордился этим перед теми, кто ездил с кучерами, получающими зарплату и командировочные.

В Сосновку товарищ Реутов на этот раз приехал в начале июня, когда наступали первые по-настоящему летние дни, свою деятельность начал еще возле околицы, останавливая мерина и приклеивая на видных местах типографским способом отпечатанные афиши: «В клубе «Лесозаготовитель» состоится лекция на тему «Мир и мироздание», лектор тов. Реутов. Начало в 7 часов. Вход свободный. После лекции кинофильм «Зеленая карета»».

Товарищ Реутов носил серую шляпу, сапоги, брюки галифе, вельветовую куртку, лет ему было около сорока пяти, под носом у него бабочкой сидели модные усы, цвет лица был превосходный; фигуру он имел коренастую, жилистую, глаза бойкие.

Член общества приехал в Сосновку, разумеется, в субботу, прибыл к зданию клуба «Лесозаготовитель» именно в тот момент, когда, обрадовавшись первому теплomu дню, вся деревенская молодежь толпилась вокруг волейбольной площадки, каталась на велосипедах и мотоциклах по просохшей дороге; гуляли по деревянному тротуару шушукующиеся девчата, мальчишки лежали на молодой траве.

На отдельной скамейке, спиной к клубу, сидели в черных костюмах и с тросточками в руках четверо друзей под предводительством Женьки Столетова. Парни лениво подняли голову на гром приближающейся двуколки, посмотрели на товарища Реутова довольно сухо и скучно, но помаленьку на лице Женьки Столетова прорезался некий интерес к тому, что совершал возле доски для объявлений товарищ Реутов.

— Гляди, народ! — медленно сказал Женька. — Лектор товарищ Реутов приехал. Интересно, я бы сказал, любопытно...

Дело в том, что лектор Реутов славился в Сосновке очень сомнительной репутацией. Был он на редкость самовлюблен, многословен, но ни ума, ни знаний почему-то не обнаруживал. Зато замечен был в делах неблаговидных. У ребят давно чесались руки сыграть с товарищем Реутовым в не очень вежливую игру.

Женька лениво поднялся со скамейки, иезуитски-медленными шагами приблизившись к товарищу Реутову, замер в позе благоговейного ужаса перед типографской красно-синей афишей. Потом Женька вежливо раскланялся с лектором.

— Во, красотища! — одобрительно сказал Женька. — Мы, товарищ Реутов, собираемся поступать в технические вузы, так что нам полезно послушать про Землю, Луну, Марс и разные другие планеты. Вас сам бог послал в Сосновку, дорогой товарищ из райцентра!

В ответ на это лектор благосклонно улыбнулся.

— Благодарю за внимание, товарищ! — сказал он. — Ваша фамилия, кажется, Столетов? Это вы мне на прошлой лекции задали вопрос о гармонии между литературным образом и жилой жизнью?

— Я! — обрадовался Женька. — Я про гармонию спрашивал... Ой, какой вы памятный да зоркий! Ребята! — по-таежному закричал он. — Подходи сюда, торопись, увальни! — Но к товарищу Реутову обратился с уважением: — Опирайтесь на нас! Прямо говорите, товарищ Реутов, чем вам помочь!

— Надо помочь афише, товарищ! — мягко ответил Реутов, когда тройка приблизилась. — Печатное слово — это хорошо, но... личные контакты! Они сильнее, ибо действуют на эмоции. Поэтому надо сочетать силу печатного слова с эмоциональным воздействием... — Он еще раз улыбнулся. — Не смогли бы мои молодые друзья обойти деревню и устно сообщить жителям о лекции «Мир и мироздание»? Надеюсь также, что вы будете моими лучшими слушателями, зададите интересные вопросы.

— Придем, зададим! — чрезвычайно обрадовался Женька. — А деревню мы мигом обежим. Ваша славная лошадка еще и к завалинке не успеет вернуться, как мы деревню облетим... Товарищ Реутов засмеялся.

— Вы очень наблюдательны! — сказал он Столетову. — Моя

лошадь действительно имеет странность... Ну, желаю вам всяческих успехов!

И он пошел устраивать на стоянку мерина, который на самом деле имел странность: эта животина нигде, кроме как вокруг культучреждений, пастись не желала. Бывало, выпустит ее товарищ Реутов у речки или спутает на сочном лужке, а она все равно припрыгает к деревенскому клубу.

— Ваши мозги подобны квашеной капусте! — заносчиво сказал Женька, как только двуколка лектора удалилась.

Он сгреб друзей за плечи, восторженно хихикая, выложил свои соображения; парни, конечно, заржали, как перестоявшиеся жеребцы, а потом все принялись уточнять и дополнять план, который в Женькиной голове созрел в смутных, эскизных приближениях.

— Ура! — наконец прокричал Генка Попов.

Вместо того чтобы бежать сломя голову по деревне, объявляя лекцию «Мир и мироздание», парни лениво обогнули клуб, улеглись на свежей травке в палисаднике. Тросточки они положили себе на животы и стали глядеть в небо, которое в про свете тополей казалось темным, и если очень прищуриться, можно было рассмотреть, словно из глубокого колодца, случайный блеск звезды — одинокой, по-дневному придуманной. У всех четверых было хорошее, несколько философское настроение; они долго лежали молча, потом Женька сказал задумчиво:

— Вот интересно, братцы, а ведь сам Реутов, наверное, не знает, что он круглый дурак... Себе он, видимо, кажется чрезвычайно умным... Трогательно!

Товарищ Реутов пришел в клуб вовремя, когда на скамейках уже чинно сидели почти все сосновские старики и старухи, чуточку разбавленные людьми среднего возраста, зато мальчишек и девчонок было в избытке. Ребятишки сидели на полу, муравьями облепили деревянные колонны и даже располагались на краешке сцены, хотя в зале было много свободных мест.

Ровно в семь часов, прогнав со сцены мальчишек и девчонок, лектор Реутов взобрался на фанерное сооружение, он единым духом выпил стакан воды, подождя, пока заведующий клубом нальет второй, поставил стакан под левую руку, чтобы правой можно было свободно перевертывать страницы лекции. После этого Реутов, не заглянув в бумаги, трибунно бросил в зал:

— Товарищи, человечество издавна интересуется миром, в котором живет. Интерес, товарищи, человечества к миру, в котором оно живет, имеет такую же длинную историю, как сама история, товарищи, человечества...

Это были единственные слова, которые Реутов помнил наизусть, за ними следовала точка, после чего он уткнулся навечно в печатный текст и голос его сразу сделался тусклым.

Женька и его приятели сидели в первом ряду, среди стариков и старух, расписные тросточки из свежего тальника стояли

между коленями; они опирались на них руками, подражая старикам. На лицах четверых было написано наслаждение; они то и дело восхищенно кивали. Парни выслушали экскурс в историю вопроса, саму историю, благожелательно отнеслись к сложному устройству мира и мироздания, были полностью на стороне Реутова, когда он начал откровенную борьбу с сегодняшними мракобесами, пытающимися достижения ракетного века связать с божественной волей. При словах «американская ультрареакционная наука» они гневно зашикали на эту самую науку.

Когда товарищ Реутов закончил и по клубу прокатился облепченный шум надежды на скорую демонстрацию кинофильма «Зеленая карета», в двери стали ломиться люди всех возрастов. Лектор товарищ Реутов с помощью заведующего клубом кое-как навел порядок и спросил с интересом:

— Какие будут вопросы, товарищи?

Как и было обещано, каждый из Женькиных друзей задал по одному вопросу. Первым, как зачинщик, поднялся Женька и произнес очень громко:

— Скажите, товарищ лектор, а нельзя ли в домашних, деревенских, так сказать, условиях поставить опыт, доказывающий, что земля — шар? Очень мы интересуемся этим вопросом.

— Спасибо, товарищ! — ответил Реутов. — Прошу вас, товарищ завклубом, зафиксировать вопрос, а вам, молодой человек, можно ответить так... — Он заскрипел сапогами за фанерной трибуной. — К большому сожалению, в условиях Сосновки подобный опыт произвести трудно. Для установки маятника Фуко требуется очень высокое здание с вознесенным, вверх куполом... Отсутствует в деревне и море, которое позволило бы в бинокль наблюдать увеличение в размерах приближающегося корабля.

— Спасибо, товарищ Реутов!

По одному незначительному вопросу, например, можно ли надеяться на открытие астрономами восьмой и десятой планет Солнечной системы, задали и трое остальных чернокостымных молодых человека, потом поднялся самый старый старик из присутствующих, собрав бороду в кулак, довольно бойко поинтересовался, будет ли конец мира.

— Не будет! — решительно ответил товарищ Реутов. — Мир, как и жизнь, бесконечен.

На этом лекция «Мир и мироздание» окончилась; очень довольный вопросами и самой лекцией, товарищ Реутов с большим трудом выбрался из толпы народа, собравшегося глядеть кино «Зеленая карета», и пошагал к мерину, который, конечно, давно ощипывал мягкую траву с клубной завалинки. Огорченный товарищ Реутов взял мерина за повод и двинулся по пустой улице — вся деревня была на фильме «Зеленая карета» — к одному из маленьких переулков, за тополями которого скрывалась тайная и опасно-привлекательная вечерняя жизнь члена общества по распространению. Шагая рядом с меринком, Реутов ста-

рался прятаться за него, сгибался, вообще вел себя очень хитро и ловко.

Однако лектор товарищ Реутов напрасно думал, что никто в Сосновке не знал о маленьком, темном доме меж тополями, куда он непременно забредал после каждой лекции. В домике жила разбитная бабенка Гутя Перестукова; замужем Гутя Перестукова никогда не была, хотя имела сына Витьку. Считая свои визиты к Гуте Перестуковой тайными, Реутов глубоко ошибался, так как знала о них вся Сосновка.

Реутов привязал мерина к двуколке, поставленной в полукилометре от дома Гути Перестуковой, и, по-прежнему боязливо, поминутно оглядываясь, начал пробираться к заветному дому. Он не пошел переулком, а, миновав два огородных перелаза, обогнул зады соседних домов и опять же огородом юркнул на крыльцо Гутиного дома...

— Все в порядке! — сказал Женька ребятам. — Раньше двух часов ночи не выйдет... Борька, не высывайся, не ровен час, заметит!

Парни посмотрели добрую половину кинофильма «Зеленая карета», погуляли со своими девчонками, развели их по домам и примерно в час ночи были на условленном месте.

Товарищ Реутов вышел из дома Гути Перестуковой без пятнадцати два, минут десять возился с повеселевшим меринком и в начале третьего уже ехал по длинной улице Сосновки в сторону райцентра. Пьян он был средне, мерин с клеймом из двух букв «П» и «О» шел спокойно, дорога накатанно блестела, вожжи Реутов прочно привязал к боку тележки, так как мерин хорошо знал дорогу, и был бы путь их усыпан лунными блестками до самой районной околицы, если бы не случилось странное: мерин вдруг остановился, призывно, ласково заржал.

— Ты чего стал, холера?! — удивился товарищ Реутов.

А клейменный мерин стоял потому, что упирался мордой в плетень из свежих тальниковых веток.

— Матушки! — воскликнул пораженный лектор и от удивления три раза икнул. — Куда же мы заехали, если здесь забор?

Не в силах поднять чугунную голову, он исподлобья оглядел залитый лунностью мир и замигал огорошенно: улица шла, как полагается идти улице, прямо и ровно, по бокам стояли, как положено, дома. Вот колодезный журавль, вот торчит за плетнем крыша пожарного депо, тянется вверх острый шпиль гасилового флигеля.

— Дура! — сердито закричал на мерина товарищ Реутов. — На тебя полагаешься, как на самого себя, а ты куда меня завез, холера? Ты ведь не в ту сторону меня везешь, скотина!

Товарищ Реутов завернул мерина обратно.

— Вот как надо ехать, леший бы тебя забрал, безмозглую скотину! Но! Но! Давай шагай!

Мерин был скотиной веселой, ему было все равно, куда везти товарища Реутова, так как общество по распространению собственной конюшни не имело, и добрый мерин поочередно жывал то в райкомхозовских владениях, то в конюшне райотдела милиции, то в геологоразведке. Чаще же всего он ночевал в окрестных деревнях, потому и не знал родного места.

Добрый конь весело прошагал по улице метров двести, затем махнул хвостом и опять остановился.

— Это еще что за фокусы, пропастина! — совсем грубо закричал товарищ Реутов. — Ты чего опять стал?..

На этих словах он прикусил язык: перед мордой коня снова торчал плетень из свежих ивовых прутьев. Это было так поразительно, что товарищ Реутов целых три минуты сидел немо и вяло, потом так вздохнул, как вздыхал мерин, когда его расседывали. После всего этого Реутов решительно выбрался из двуколки, описывая зигзаги, подошел к плетню, потрогал его пальцами и шепотом спросил:

— Это почему здесь?

На дальнейшее Реутова не хватило: неведомая сила бросила его на плетень, и он прижался к нему так страстно, словно обнимался с ивовыми прутьями. Так прошло минут пять, затем та же неведомая сила отбросила Реутова от плетня к двуколке, на мягкую дерматиновую обитость.

— Опять же неправильно поехали, охламон ты этакий! — вдруг трезво сказал Реутов. — А ну давай назад!

Реутов сызнава развернул лошадь, поехал обратно и через двести метров, естественно, уперся в плетень. На этот раз товарищ Реутов совершенно ничего не сказал, а только крепко зажмурился и стал отчаянно вертеть головой, точно сбрасывал с затылка пчелу. Мотал он головой с полминуты, затем открыл осторожно правый глаз, посмотрел им на плетень.

— Иррациональная картина! — пробормотал Реутов себе под нос и тоненько засмеялся. — Гутя, а Гутя, я, кажется, заснул нечаянно!

В тишине ночной улицы голос далеко разнесся среди сонных, темных домов, тоненький смех проверещал в глухом проулке и вернулся к товарищу Реутову басовитым демоническим хохотом, в ответ на который он еще раз тоненько засмеялся и стал клониться на бок — укладывался баиньки на ласковую дерматиновую внутренность двуколки. Он, видимо, уже спал, когда из лунной полосы, что пересекла улицу, послышался гипнотирующий, глухой по-ночному голос Женьки Столетова:

— Я же говорил, что можно доказать в домашних условиях круглость земли!

В ответ на это товарищ Реутов сонно похлопал губами, протяжно улыбнулся, сладко зевнул.

Он уронил голову на дерматин и уснул здоровым сном коренастого, жилистого человека. Ко всему привычный мерин еще

несколько раз мотнул головой, понурился и тоже сладко уснул, прижавшись мягкими губами к свежим тальниковым прутьям, пахнущим весной, заливными дугами, молодыми кобылами и ветром.

Минут через пять из глухого переулка вышли четверо друзей, подобравшись на цыпочках к двуколке, заговорили полными голосами, так как поняли, что товарища Реутова теперь пушками не добудишься — такой это был здоровый, крепкий человек.

— Может быть, уберем плетень и пужнем мерина? — спросил друзей Женька Столетов. — Жалко мне чего-то стало Реутова...

— Слабак! — съязвил Генка Попов. — Сентиментальный слюняй! Впрочем, ставлю на голосование! Кто за Женькино предложение? Все против... Решено! Оставим товарища Реутова в лапах рока. Если мерин сам пойдет, пусть себе шагает...

Они бесшумно и ловко сняли с дороги два новых ивовых плетня, чтобы не осталось улик, сбросили их в черную обскую воду и, проследив за тем, как плетни отправляются в длинный путь к Ледовитому океану, вернулись на улицу. Мерин по-прежнему безмятежно спал, Реутов храпел так, что шевелились усики-щетки, луна висела прямо над его головой, а на широком плесе Оби двигался весь в огнях пассажирский пароход, и даже без подозрительной трубы можно было заметить, что из-за отдаленности судно кажется укороченным.

— Спать, братцы, скорее спать!

Ребята торопливо разошлись по домам, а утром Сосновка увидела забавную картину: стоит посередине пустой улицы двуколка, в ней мирно похрапывает товарищ Реутов, клейменный мерин спит тоже и шевелит губами, точно щиплет свежую траву.

* * *

...Закончив рассказывать, Борис Маслов вынул из кармана пачку «БТ», прикурил от сигареты Геннадия Попова, пуская задумчивые клубы дыма, насмешливо сказал:

— Ну, и началась история с географией! Товарищу Реутову молчать бы в тряпочку, а он, такой дурак, накатал на нас жалобы во все инстанции... Естественно, заварилась каша! Генка чуть из секретарей не полетел раньше времени. И товарищ Пилипенко нас вызывал...

— А как же! — тотчас же отозвался участковый инспектор и сделал шаг вперед, как делал всегда, когда начинал говорить. — Вот вы перегородили улицу, а если бы автомашина специального назначения... К примеру, пожарная машина или наша, милицейская! Вдруг пожар или происшествие?

Он сделал шаг назад, снова спрятал в темноту плакатное героическое лицо.

В кабинете было ни тихо, ни шумно, ни весело, ни печально. Сидели в нем дружные парни, глядел на них капитан уголовного розыска, стоял свечечкой молодой участковый инспектор. Было такое чувство, что все они думают об одном.

— Что происходило на лесосеке двадцать второго мая? — безнадежно спросил капитан Прохоров. — Какая необычность вернула Заварзина на эстакаду? Почему он вернулся именно двадцать второго мая? Ведь Женька каждый день ставил трактор дыбом... Чем необычен день двадцать второго мая?

Прохорову показалось, что в комнате сделалось душно, потемнело. Борис Маслов, Геннадий Попов, Андрей Лузгин одинаковыми движениями опустили головы, Гукасов и Лобанов замерли на подоконнике со сцепленными руками, поддерживая друг друга, чтобы не выпасть из окна. Тишина была глухой, смятой, как утренняя постель; над Обью холодно посверкивала большая звезда, видимо, планета, лучи кололи зрачки.

— Этого мы вам не скажем, Александр Матвеевич! — проговорил Геннадий Попов, бесшумно слезая со стола. — Мы сами поклялись довести дело до конца... Мы сами должны это сделать!

Спустились с подоконника Леонид Гукасов и Марк Лобанов, стоял уже на ногах Борис Маслов, просторно сидел на стуле Андрюшка Лузгин.

— Вы не обижайтесь на нас, Александр Матвеевич, — сказал он. — Есть такие вещи, которые мы должны сделать сами...

— Мы после смерти Женьки не собираемся больше вместе, — сказал Генка Попов. — Мы друг на друга смотреть боимся, когда оказываемся втроем... Вы нас сегодня впервые собрали... Но мы... Мы добьемся, что Гасилова снимут с работы...

Прохоров обнаружил, что сидеть на раскладушке не так уж удобно, как представлялось раньше, — во-первых, низко и затекают ноги, во-вторых, побаливает спина и, в-третьих, лица парней видны снизу, что искажало картину: гримаса неудовольствия могла быть принята за улыбку. Прохоров встал, нашел глазами свободный подоконник — тот, который выходил на огороды, и сел на него.

— Сами, сами, — недовольно пробурчал капитан уголовного розыска. — Все они хотят сделать сами!..

Лузгин бросил взгляд на Маслова, Попов угрюмо посмотрел на Лузгина, потом трое усталились на остальных присутствующих.

— Мы пойдем, Александр Матвеевич! — угрюмо сказал Андрей Лузгин. — Завтра рабочий день... До свидания, Александр Матвеевич!

Прохоров продолжал сидеть, упираться затылком в наличник, видеть боковым зрением крутую излучину лунной Оби, чувствовать запах умытой дождем земли. Он так и не пошевелился, только негромко сказал: «До свидания, товарищи!» — когда парни тихо, по одному начали выходить из кабинета. Последним

ушел участковый Пилипенко: его металлические сапоги по крыльцу простучали бережно.

Капитан уголовного розыска Прохоров еще минут десять сидел на раскладушке, затем поднялся, медленный, но точный в движениях, как лунатик, наискосок пересек кабинет, остановившись возле стола, наклонил гудящую от усталости и тоски голову.

Одиночество становилось непереносимым, как зубная боль, и он болезненно сморщился, прикусил нижнюю губу.

«У меня сегодня был трудный день!» — думал он устало. Утренний телефонный разговор с областным начальством, звонки в районные организации, Анна Лукьяненко, Аркадий Заварзин, лектор Реутов — всего этого было так много, что могло бы хватить нормальному человеку на месяц. А Прохоров прожил все это за день, за коротенькие-семнадцать часов, и этого было много для Прохорова с его узковатыми плечами, длинной шеей, с тонкими руками и мешковато сидящим костюмом. «Вредное производство!» — размышлял он с иронией.

Прохоров глядел на телефон и думал, что Вера домой приходит поздно, иногда во втором часу — усталая, раздавленная, со следами краски на лице. Она долго лежит в горячей ванне, потом пьет чай, сосет дешевенькие леденцы и читает «Трех мушкетеров». Ложится она часа в три ночи, а сейчас Вера еще не успела залезть в ванну, еще сидит на маленьком диванчике, руки упали, волосы растрепаны... Если ей сейчас позвонить, она сразу поймет, что звонок от Прохорова: побледнеет слегка, возьмет трубку мягкой рукой. Во втором часу ночи районная телефонистка соединит с областным городом немедленно, он через минуту услышит Верин голос, ее дыхание в трубке. Она и по «Здравствуй, Вера!» поймет, как он одинок, как трудно нести на плечах дела родного уголовного розыска, как он боится идти к родителям Евгения Столетова.

Он решил наконец — осторожно поднял трубку, прислонил холодный эбонит к теплему уху, послушал вьюжное гудение.

— Первая! — свежим голосом сказала телефонистка. — Слушаю, слушаю!

Прохоров неторопливо назвал свой сосновский номер, сообщил счет райотдела милиции на телефонной станции, монотонным голосом, с остановками, назвал цифры 2—43—78. «Соединяю!» — тут же сказала телефонистка. В трубке завывало, радиоголос звенел позывными радиостанции «Маяк» — два часа ночи, — потом послышались гудки городской автоматической станции. Он насчитал шесть длинных гудков, пока, вывалившись из тартарары небытия, раздался сдавленный голос Веры:

— Это ты, Прохоров? Прохоров, это ты?

— Здравствуй, Вера! — сказал он с улыбкой. — Ты сидишь на диване?

— Ты ошибся, — ответила она. — Я уже собираюсь принимать ванну, я отсидела уже на диване.

Он привык к тому, что Вера обычным предложениям предпочитала короткие.

— Я ошибся потому, — сказал Прохоров, — что думал — половина второго, а сейчас, оказывается, ровно два... С секундами... — добавил он, подумав. — Поэтому я и ошибся, Вера.

Он представил ее — в легком коротком халате, с прямыми, как бы безвольными волосами, с опущенными чулками, которые она от усталости не могла снять до конца, с запавшими, всегда немного настороженными глазами. Она имела привычку, разговаривая по телефону, одно плечо держать низко опущенным, и ему отчего-то нравилось это.

— Ты очень устала, Вера? — спросил Прохоров трубку. — Я высчитал, что сегодня у тебя был трудный день... Премьера?

— Ты любишь меня, Прохоров? — тихо отозвалась женщина. — Отвечай немедленно, Прохоров!

— Я тебя люблю! — ответил он не сразу.

Трубка замолчала. Он видел, как Вера еще ниже опускает левое плечо, одергивает полы халата, чтобы прикрыть колени. На телефонной трубке лежат ее прямые волосы. Перед Верой — маленький туалетный стол, на нем — дорогой букет алых роз. Это подарок седого поджарого полковника из артиллерийского училища. Прохоров несколько раз встречался с полковником, разглядывая пергаментное его лицо, понимал, что он любит Веру.

— У меня здесь черт знает что делается! — сказал Прохоров весело. — Я сегодня получил такой щелчок по курносому носу, что ты б умерла от зависти...

Вера теперь в трубку дышала спокойно.

— Это значит, что ты приедешь не скоро, Прохоров, — сказала она. — Так это надо понимать... А Борисов серчает. После премьеры пришел ко мне в уборную, спросил: «Как без Прохорова?»

Полковник Борисов был именно тем человеком, который познакомил Прохорова с Верой, своей двоюродной сестрой; очень хотел, чтобы Прохоров, наконец, женился на ней. На правах человека, составившего их знакомство, и родственника Борисов позволял себе вмешиваться в их отношения, наверняка говорил Вере: «Как ты, роскошная женщина, красавица, допускаешь, чтобы капиташка шлялся бог знает где? Сидел бы в какой-то Сосновке со своей дурацкой философией!»

— Неделю мне еще, пожалуй, надо, — признался Прохоров неуверенным голосом. — Это зависит от того, надолго ли... Как прошла премьера?

— Обычно!.. Борисов сказал, что ты за Сосновку можешь досрочно получить майора...

Прохоров захохотал.

— Ну, Борисевич! — сказал он. — Ну, Борисевич! И погонями привлекает и квартиркой...

Словхватившись, Прохоров густо покраснел, чертыхнувшись, услышал, как Вера тяжело дышит в трубку.

— Он и мне про квартиру говорил,— сообщила она.

Теперь Прохорову надо было бы сказать: «Хорошо! Я подстегну сосновское дело, скоренько приеду в город, чтобы не опоздать к дележу пирога... Мы с тобой, Вера, поселимся в новой двухкомнатной квартире на проспекте Кирова... Ты бы сбегала в загс, подала бы заявление, чтобы нас немедленно расписали для права приобретения двухкомнатной квартиры»...

— Я, кажется, веду самое сложное дело в моей жизни, Вера! — сказал Прохоров. — Я бы охотно не философствовал, если бы... если бы... если бы мог не философствовать!

Он живо представил, как Вера перегибается через валик диванчика, берет со стола пачку сигарет «Столичные», вытащив сигарету, мужским движением бросает ее в рот. Вот она прикурила от маленькой газовой зажигалки — подарок седого полковника ко дню рождения, — затянулась дымом так, что щеки запали. Они у нее очень худые и бледные.

— У меня ванна стынет, Прохоров, — сказала Вера. — Звони еще, Прохоров, звони. Не стрессняйся, капитан! Пока!

Он положил на рычаг нагревшуюся трубку, боком отодвинулся от аппарата, надломив ноги, медленно упал на жалобно застонавшую раскладушку, ударившись головой — здрасьте вам! — о стенку. В абажуре настольной лампы что-то билось, трещало, отчаивалось. Посидев немножко, Прохоров неловкими безрукими движениями снял нейлоновую рубашку, но на брюки сил не хватило — так и завалился на раскладушку.

Прохоров уже засыпал, когда — далекая, чужая — пронеслась в голове выпренная мысль: «Он трус, этот капиташка Прохоров!» Больше он ни о чем не думал — уснул, как исчез с земли.

Он здорово устал, капитан уголовного розыска Прохоров.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Забив еще один красный флажок, преграждающий Аркадию Заварзину последнюю свободную сторону гона, инспектор уголовного розыска капитан Прохоров вторые сутки создавал у бывшего уголовного уверенности в том, что поверил ему.

Прохоров снова повстречался с трактористом Никитой Суворовым и, осторожно разговаривая с замученным мужичонкой, добился, что тот сам поверил, будто на берегу озера Круглого драка была — пусть смело глядит в глаза Заварзину, пусть при встрече с опасным трактористом не сутулится от страха.

Потом капитан уголовного розыска повел себя совсем странно: он потерял интерес к поискам доказательств одновременного пре-

бывания на одной и той же тормозной площадке Заварзина и Столетова. Разговор с кондуктором Акимовым, могущим подтвердить это, он целиком доверил Пилипенко, забывал спрашивать, как идут дела; сам занимался, собственно, пустяками: то посылал Пилипенко за бухгалтерскими книгами, то требовал узнать, от какого жеребца произошел Рогдай, то интересовался, где заказывает мастер Гасилов яловые головки для сапог?

Фамилия Гасилова в речи Прохорова встречалась так же часто, как слово «рыба» в рыбодобывающем тресте; от него только и слышалось: «А что Гасилов? А как Гасилов? А вы скажите, что на это ответил Гасилов?»—и участковый Пилипенко это истолковал в том смысле, что Прохоров хочет вызвать мастера в кабинет, о чем он и сказал капитану. Прохоров в ответ рассмехался:

— На веревочке?

— Для разговору, товарищ капитан!

— Не морочьте мне голову — вот что, Пилипенко!

И долго хохотал. Потом капитан Прохоров озабоченно почесал нос, походил взад-вперед по кабинету и сказал:

— Аркадюшка расколется в ту самую секунду, когда я узнаю, что происходило в лесосеке двадцать второго мая. Тут же побежит, болезный, за блюдечком с голубой каемочкой...

Еще немного подумав, Прохоров приказал участковому инспектору прогуляться по Сосновке с тем, чтобы, как он выразился, «наблюдательно наблюдая» за деревней, выяснить, не собирается ли, черт возьми, в конце-то концов выбраться из своего добровольного заточения Соня Лунина, которая через несколько дней после смерти Столетова взяла очередной двухмесячный отпуск и не выходила из дому. Двухмесячные отпуска получали все рабочие северных леспромхозов.

— Неплохо также было бы узнать абсолют-но точно, когда вернется из города парторг Голубинь... Вы понимаете, Пилипенко, абсо-о-лютно точно! Не «кажется, что завтра», и не «говорят, что послезавтра», а точно!.. Вы читаете «Тысяча и одна ночь»?

— Изучаю, товарищ капитан!

— Тогда приступайте к выполнению задания, товарищ младший лейтенант.

— Есть!

Проводив Пилипенко, капитан Прохоров посмотрел на себя в зеркало над умывальником, зачем-то потрогал пальцем нижнюю губу и решительно вышел из кабинета. Он наискосок перешел жаркую и пыльную улицу, расставив ноги, остановился против конторы Сосновского лесопункта и прищурился.

Внешне контора Сосновского лесопункта была огромной, солидной, загнутой на манер буквы «г» и вовсе не похожей на обычные конторы лесопунктов. Это объяснялось тем, что Сосновский лесопункт совсем недавно назывался леспромхозом и остался бы им по сей день, если бы в «эпоху укрупнения» не попал в

«сакраментальный» список. Однако он попал, и в один прекрасный день завхоз бывшего леспромхоза привесил слева от крыльца табличку таких же размеров и такую же золотую, как старая, но со словом «Лесопункт». Сразу же после этого произошли интересные события и возникли следствия:

а) директор Сосновского леспромхоза Гольцов немедленно переехал со своими отделами и службами в райцентр, выторговав для новой конторы давно опустевшее здание МТС и получив персональный катер для наездов в Сосновку и другие лесопункты;

б) в новый леспромхоз вошли целых три бывших леспромхоза, которые и образовали треугольник гигантских масштабов — от Сосновки до райцентра сто двадцать километров рекой и сто семь сушей, то есть болотами; от райцентра до Гаевского лесопункта водой и сушей сто семьдесят километров; от райцентра до Угаюльского лесопункта сто километров водой и во семьдесят два сушей;

в) высшее леспромхозовское начальство, отдаленное теперь от лесосек и эстакад, перешло на междугородную телефонную связь и на радиосвязь;

г) ожидаемого сокращения административно-управленческого аппарата в результате гигантомании не произошло, а совсем наоборот: при сохранении института мастерских участков, например, потребовалось назначить на каждый из трех теперешних лесопунктов техноруков, слияние же трех производственно-технических и планово-экономических отделов, отделов главного механика бывших леспромхозов дало самые могучие в истории отечественных леспромхозов производственно-технические и планово-экономические отделы, а также отделы главного механика. Правда, директор нового — размерами с Бельгию — Обского леспромхоза Гольцов сделал попытку сократить несколько человек со средним и высшим техническим образованием, но столкнулся с мощными советскими профсоюзами; в результате директора Гольцова вызвали в райком партии и спросили: «А есть возможность устроить в нашем районе на работу сокращенных специалистов со средним и высшим техническим образованием?» — «Нет!» — ответил директор Гольцов, на что ему сказали: «Так что же вы, понимаете ли?»

Итак, контора теперешнего Сосновского лесопункта имела ряд больших, казенного вида окон, два из которых были занавешены во всю длину, два — до половины, а шесть остальных занавесок не имели совсем. Очевидно было, что за полностью обзавешенными окнами сидел академически образованный начальник лесопункта Сухов, за наполовину обзавешенными — технорук Петухов, за другими — все остальные; парадный и черный входы были покрашены в такой ярко-голубой цвет, каким красят нижние половины пароходных труб. Видимо, лесопунктовский завхоз голубую краску достал у знакомого шкипера.

Старательно подумав, капитан Прохоров начал подниматься в контору по ярко-голубому парадному крыльцу; отлично ориентируясь, он несколько подготовительных минут постоял в гулком и скучном коридоре с желтыми панелями и многочисленными плакатами. Среди прочих здесь висел и такой плакат, на котором был изображен Южный берег Крыма, склон горы с виноградником, и написано «Боритесь с филлоксерой», хотя в Сосновке не было ни виноградников, ни их болезни — филлоксеры.

Разбираясь в плакатах, лозунгах и табличках, Прохоров слышал говор за дверями, шелканье счетов, трещанье арифмометров, шелест бумаги. Как он и предполагал, дверь техноруковского кабинета находилась рядом с дверью начальника Сухова, а вот такого кабинета, где было бы написано «Мастер П. П. Гасилов», в конторе не существовало, хотя Петр Петрович руководил тремя большими бригадами и мог потребовать отдельный кабинет.

Выполняя свой тщательно разработанный план, Прохоров с насмешливым лицом подошел к двери с табличкой «Технорук Ю. С. Петухов», деликатно постучав, получил вежливый ответ: — Входите!

Юрий Сергеевич Петухов сидел за небольшим современным полированным столом, на котором стояли и лежали белый телефон, черный бювар и шариковая ручка. Больше на столе ничего не было, так как Юрий Сергеевич относился к тому типу кабинетных работников, которые придерживались системы «чистого стола», когда всякая бумажка, попавшая на стол, требовала немедленной и срочной расправы. Какая из систем лучше — система чистого стола или стола, заваленного грудой бумаг, — Прохоров точно не знал.

— День-то, день какой! — поздоровавшись с техноруком, восторженно сказал он. — А я ведь к вам только на секундочку, Юрий Сергеевич!

Прохоров и сам понять не мог, отчего это со вчерашнего вечера у него было весело-ироническое настроение. Вчера перед сном, разговаривая по телефону с майором Лукомским, он ядовито высмеивал его пристрастие к прямой речи в протоколах; утром иронизировал над участковым Пилипенко, высмеивая каждое его слово и каждый его шаг, да и сейчас в кабинете технорука Петухова все видел в ироническом свете. Капитану казались смешными серый, почти белый костюм технорука, его сосредоточенно-деловой вид, кабинет, начальственный подбородок бывшего мальчишки из брянской деревни Сосны.

— Я всегда рад потолковать с вами! — радушно сказал технорук и сдвинул в сторону черный бювар, точно он мог помешать. — Готов ответить на все вопросы...

— Не надо на все, не надо! — испугался Прохоров. — Только на один-единственный вопрос!

С этими словами Прохоров проворно вынул из кармана сложенную на восемь долек бумажку и, ловко развернув ее перед

носом технорука, ткнул пальцем в жирную извилистую линию.

— Простите, Юрий Сергеевич! — жалобно воскликнул Прохоров. — Простите, что я так неумело изобразил план Сосновки и ее окрестностей...

План Сосновки и ее окрестностей на самом деле был выполнен плохо: линии и квадратики разъезжались, пунктиры плясали, деревья походили на стрелы. Зато на схеме имелось все, что требовалось Прохорову: особняк Гасилова, флигель с остроконечным шпилем, конюшня, контора лесопункта. Дом Гасилова на плане был изображен так, как рисовали здания на старинных картах городов, то есть натурально, а все остальные дома Сосновки были квадратиками и прямоугольниками. План производил такое впечатление, точно дом Гасилова — центр деревни.

— Юрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, не по этой ли дорожке вы гуляли с Людмилой Петровной в день происшествия с Евгением Столетовым? — спросил Прохоров, ведя пальцем по жирной линии. — Если это так, то ответьте на второй вопрос: как далеко вы заходили во время совместных прогулок?

В служебном кабинете технорук Петухов казался таким же благоустроенным, как в милицейской комнате Пилипенко. Все в кабинете было по-петуховски блестяще, основательно и половинчато, здесь ощущалась та же полунинтеллигентность, которую можно было видеть на лице технорука, когда оно не было мыслящим. Полированный стол и нелепый книжный шкаф, похожий на буфет, белый телефон, кресло с резными ручками, карта мира на стене и домотканый половичок под ногами — вот из каких крайностей состоял кабинет.

— Мы обычно доходили до Кривой березы, — сказал Петухов, показывая на плане. — Людмила не любит ходить пешком. Поэтому мы дальше Кривой березы обычно не заходили...

Это был исчерпывающий, полновесный, всесторонний ответ. Прохоров свернул план, положил его обратно в карман.

— Спасибо, Юрий Сергеевич! — проникновенно сказал он. — Я так и думал, что вы гуляли до Кривой березы, хотя Людмила Петровна непривычна к ходьбе...

Ну, до удивления было веселым настроение! И капитан Прохоров начал раскланиваться и расшаркиваться, улыбаясь, пятился к двери и очень радовался тому, что технорук Петухов не знал о существовании такого милицейского способа задавания главного вопроса, когда спрашивающий инсценирует уход. Если бы технорук знал об этом, он бы не листал книгу с серой обложкой, не держал бы руку на телефоне, а внимательно следил бы за Прохоровым, который, по-прежнему вежливо раскланиваясь, пятился к двери. Вот капитан решительно взялся за дверную ручку, вот дверь заскрипела, начала открываться, когда Прохоров, хлопнув себя по лбу, воскликнул:

— Да, Юрий Сергеевич, совсем забыл! Вы каждый раз после прогулки с Людмилой Гасиловой ходили к Анне Лукьяненко или не каждый?

Ах, если бы не было книги с серой обложкой, если бы рука не лежала на белом телефоне, если бы хоть краешком мысли технорук Петухов мог подумать, что у Прохорова есть еще вопросы! Но технорук не был готов к ответу, и вопрос разорвался в кабинете бомбой.

— То есть как каждый день... — пробормотал он, выдавая себя с головой. — Какой день... почему день...

Вот чем заканчивалась игра Прохорова с планом!

— ...Ну, ходил... — бормотал Петухов, — только не одновременно... ходил... Анна... Людмила...

Прохоров стоял спокойно, руки держал сложенными на груди, глядел прямо в глаза Петухову. Так прошло, наверное, с минуту, потом Прохоров громко сказал:

— А чего вы испугались, Петухов? Я уверен, что вам отдадут Людмилу даже в том случае, если вы перекочете на ее полпированную кровать прямо из постели Анны!

Выдержав небольшую паузу, Прохоров похлопал ладонью по кожаной папке, захваченной на тот случай, если Петухов будет отрицать свои попытки пробраться в кровать Анны Лукьяненко.

— Вполне допустима мысль о том, — задумчиво сказал Прохоров, — что милиции не следует совать нос в такие вещи, как интимные отношения... Однако сейчас мы имеем дело с таким случаем, когда важно знать, любили вы Людмилу Гасилкову или нет. Вы ее не любили!

Прохоров нежданно захохотал.

— Не забудьте захватить с собой сберегательную книжку. На ней семь тысяч пятьсот двадцать рублей! А вот матери вы посылаете по пятнадцать рублей в месяц... Будьте здоровы!

В коридоре Прохоров прохохотался окончательно, сделавшись вполне серьезным, выпрямился, с напружинившимся молодым телом прошел метров пять, чтобы очутиться перед дверью с большой табличкой: «Начальник лесопункта П. И. Сухов».

Вспомнив биографию начальника Сосновского лесопункта и рассказы сплетников о нем, капитан Прохоров уверенно поступался.

2

— Садитесь, где хотите, курите! — говорил начальник Павел Игоревич Сухов в ответ на прохоровские извинения насчет того, что ворвался нежданно-негаданно. — Садитесь в кресло, а не на стул. Кресло прочнее...

Оба стула в кабинете были действительно разбитыми: в комнате царил такой хаос, в котором постороннему человеку было разобраться трудно, вещи здесь пожирали и уничтожали друг

друга, и даже подоконники, заваленные книгами, чертежами, металлическими деталями, проводами, эбонитовыми плитками, фарфоровыми роликами и деревяшками, пали жертвой взаимоненависти. Стол обеденного типа прогибался под тяжестью непонятных предметов, на стенах висело такое множество таблиц, что стены казались оклеенными газетами — так мелки были цифры в таблицах. Десяти уборщицам было бы не под силу за день справиться с кавардаком суховского кабинета.

— Ну, Павел Игоревич, — насмешливо сказал Прохоров, — нужно признать, что у вас в кабинете серьезные атмосферы. Такие серьезные, что желательно чихать.

Тут Прохоров на самом деле чихнул, так как, видимо, еще с зимы окна суховского кабинета не открывались. В нем густо пахло папиросами «Беломорканал», сыростью, смешанной с запахом старой бумаги. Прохоров чихнул три раза, вытерся чистым платочком, спрятав его в карман, с интересом поглядел на огромный стальной сейф, обособленно торчащий среди хаоса. Он был не только велик, но и был самым чистым и даже кокетливым предметом в кабинете, так как к шлифованной стали неохотно льнула пыль.

— Вот это сейфище! — сказал Прохоров. — Король сейфов! Даже мне, представьте, понадобится полчаса, чтобы открыть его, — болтал Прохоров, прищуриваясь. — Два поворота направо, три зубца — на себя, еще поворот направо, легкий нажим... Остальные двадцать семь минут уйдут на подбор последней отмычки из большого джентльменского набора, как любил говаривать веселый О'Генри... Нет, это исключительно выдающийся сейф, так сказать, последний из могикан... Вы читаете Купера?

Из биографии Сухова Прохоров знал, что Павел Игоревич Сухов с отличием окончил академию и сам напросился работать в Сибирь, хотя был коренным жителем интеллигентного и туманного Ленинграда. Он был холост, не интересовался женщинами, не имел в Сосновке ни друзей, ни приятелей и соответственно всему этому вел замкнутый образ жизни, то есть большую часть суток — до восемнадцати часов — проводил в этом кабинете и в гараже лесопункта. Обедал Павел Игоревич в столовой, завтракал и ужинал в кабинете — кильками, колбасой, шоколадными конфетами и лимонами.

Замкнутый образ жизни Сухова, огромная почта со всех концов Советского Союза — все это приводило к тому, что о начальнике лесопункта в Сосновке говорили разное: во-первых, будто бы беспорядочно пьет, во-вторых, отказывается работать, чтобы его выгнали и он мог вернуться в родной Ленинград, в-третьих, от Сухова сбегала жена-красавица.

— Мой визит объясняется причинами производственного порядка, — сказал Прохоров. — Дело, которое я веду, требует, можете себе представить, анализа производственной обстановки... — Он задрал маленький подбородок. — Вот что я вам скажу, Павел

Игоревич! Сидящий перед вами милиционершка три года самостоятельно изучал лесозаготовительное дело!

Он посмотрел сквозь запыленное окно — увидел просторную реку, все тот же осокорь на берегу, синее левобережье, ребятишек... Ироническое настроение постепенно улетучивалось, увядала злость на технорука Петухова. Теперь, пожалуй, можно было понять, что происходило с ним со вчерашнего вечера, откуда взялось насмешливо-ироническое настроение: от технорука. Нельзя же было относиться к Петухову иным образом, когда он перекочевывал от одной женщины к другой; только иронией и можно было спастись.

— Речь пойдет о Евгении Столетове, — сказал Прохоров. — «Степанида», негры, задиранье мотора... Что все это значит?

Вопрос был обдуман Прохоровым несколько часов назад, в нем были учтены все причудливые стороны характера инженера Сухова, и поэтому было сладостно наблюдать, как начальник лесопункта возбужденно потирал руки. Он, как и предполагал Прохоров, был переполнен словами, напичкан идеями, нашигован фантазиями, которые Сухову еще никогда не удавалось излить на слушателей в этом захламленном кабинете. И вот пришел человек, которого интересовала непонятная связь между неграми в кабине «Степаниды» и задираньем мотора.

— Предельно интересно! — воскликнул Сухов. — Вы спрашиваете о предельно интересных вещах, но нам надо договориться...

Он вскопчил, размахивая руками, собрался было пробежаться по кабинету, но остановился.

— Вы не примите меня за сумасшедшего! — потребовал Сухов категорично. — И тогда у вас закроется удивленно открытый рот и вы перестанете глядеть на сейф, словно пришли взломать его... Итак, о чем мы договариваемся?

— О том, что инженер Сухов психически здоров! — солидно сказал Прохоров.

— Вы должны поверить, что вот этот человек, — Сухов ткнул себя в грудь, — в недалеком будущем даст стране идеальный трехколесный трактор, хотя каждому очевидно, что одиночка в двадцатом веке обречен на неудачу в конкретной борьбе с конструкторскими бюро...

Он выбросил вверх руку.

— Недавно в «Известиях» появилась статья Анатолия Аграновского, в которой он впервые поставил вопрос о противоречиях между трактором и человеком... Газеты уже пишут об этом. Газеты!

Он побежал по кабинету.

— Советская власть посадила на тракторы миллионы мужиков! Советская власть начиналась трактором, и поэтому ей сам бог велел позаботиться о снятии противоречий между человеком и машиной... Страна тракторов и электричества должна, как путь в космос, проложить стезжку к гармоничным отношениям

между человеческой личностью и машинной индивидуальностью... — Он остановился и захохотал. — Это я цитирую собственную статью, которую зарубили в областной газете. Довод: вы очеловечиваете машину! Ха-ха-ха!

Прохоров с интересом наблюдал за тем, как инженер носился по своему кабинету. Он, наверное, в одиночестве прошел по комнате не один десяток километров, так как, бегая между предметами, ни обо что не спотыкался, ни на какие острые углы не налетал: он этаким бесстыдной рыбой лавировал в хаосе вещей, привычном, как собственный костюм.

— Я не буду вас утешать азбучной истиной, гласящей, что машина всегда будет зависимой от человека! — кричал инженер Сухов. — Однако машина уже начинает мыслить, воспроизводить самое себя, умеет учиться, то есть самостоятельно накапливать информацию, навыки и способность к выбору. Это тоже общеизвестно! Нам же важно следующее: на земле не существует двух абсолютно одинаковых тракторов! А почему нам это важно, Александр...

— ...Матвеевич.

— Нам это важно потому, Александр Матвеевич, что недалек тот день, когда можно будет услышать: «Как твоя машина? Не ленится?»

Наконец-то Сухов ударился голенью о пустой деревянный ящик, со злобой пнул его и замахал руками возбужденно.

— И мы не удивимся этому, так как окажется, что в ленивом экземпляре машины плохо промыт какой-нибудь узел или грубо собрано электронно-вычислительное устройство... Знайте: уже давно доказано, что не существует зеркального подобия! Оно миф, мечта, химера! Задача состоит в том, чтобы создать машину, которая была бы психологически совместима с человеком.

Трусцой подбежав к столу, он сел, взял в руки кипу бумаг и чертежей, грозно помахал ими.

— Вот машина, которую ждут лесозаготовители! — надменно заявил Сухов. — Вот почему из академии я приехал в Сибирь, бросив к чертовой бабушке маму, папу, женщину и карьеру доктора всяческих наук! Я три года живу предельно счастливо. Я творец! Я в сутки сплю шесть часов, и мне этого достаточно! Хотите посмотреть общий эскиз машины?

Прохоров посмотрел на чертеж и пораженно задрал на лоб брови. Неужели вот этими руками, заскорузлыми от табачного пепла и машинного масла, можно было провести эти воздушные линии, вычертить эти штрихи из разноцветной туши? Кто мог поверить, что на этом столе, в этом захламленном кабинете можно было вычертить такое, что казалось напечатанным в образцовой типографии? Кто мог думать, что Сухов не оставит на белом листе ватмана ни единого темного пятнышка? И почему, черт возьми, рисунок-чертеж казался выпуклым, выступающим из бумаги, как бы существующим самостоятельно?

— Это я сделал месяц назад,— ворчливо сказал Сухов. — Есть куча новых идей, но я не тороплюсь переносить их на ватман... Успеется!

Чертеж и походил на машину и не походил на нее. Змеился некий щупальцеобразный хобот, глядели в одну точку широко расставленные глаза — фары; ластилась вкрадчивая лисья спина, по-слоновьи были расставлены солидные гусеницы, со щучьей злостью вырисовывался хищный нос. Машина казалась состоящей из нескольких знакомых машин с их разными характеристиками: хватательность экскаватора, тупая важность бульдозера, жадность скрепера, лихость реактивных закруглений самолета, приглаженность грейдера и улаженность пропашных тракторов — все это мирно и гармонично уживалось в машине.

— Увлекательно! — сказал Прохоров. — Ну, и видел это кто-нибудь из власть имущих?

Сухов ухмыльнулся.

— Вот! — сказал он насмешливо. — Вот типичный образчик современного мышления... «Видел это кто-нибудь из власть имущих?» Не видел! Я этого никому не показывал, кроме самого себя! — Он выпятил грудь. — Этот человек пока недоволен работой...

Сухов, оказывается, умел прикасаться к ватману особенными движениями черных от пепла пальцев: лист бумаги он поднял со стола воздушным прикосновением рук, перебрасывая с ладони на ладонь, как горячий уголек, спрятал чертеж в ящик стола. Упав в кресло, он задумчиво сказал:

— Столетов был одним из тех водителей, кто понимал мою идею... Будучи высокоорганизованным существом, он чувствовал, как жестоки современные тракторы... Велика загазованность кабины, чужеродны телу сиденья, велики шумы... — Он разозлился. — Писатели благоглупы, когда пишут: «Он слился с машиной, точно был ее продолжением!» Че-пу-ха! Никаким продолжением трелевочного трактора человек быть не может! Эта машина противопоказана человеку...

Сухов снова носился по кабинету, лавировал между предметами, как пожарный автомобиль в городской сутолоке.

— Мы со Столетовым были единомышленниками... Вот вам образчик его отношения к машине, вот вам только один поучительный случай! — воскликнул он. — Это произошло в сентябре прошлого года, в то время, когда Столетов еще только становился опытным трактористом...

За восемь месяцев до происшествия

...Женька Столетов был молодым трактористом, и «Степанида» была не просто «Степанидой», а еще именовалась «Степанидой Филимоновной».

В середине сентября прошлого года Женька Столетов рабо-

тал во вторую смену, то есть приезжал на лесосеку к пяти, кончал работу после полуночи. Сентябрь был отменно сухим и солнечным, и в середине месяца, казалось, вернулись погожие летние денечки. Сосны стояли на солнце барабанно-звонкие, голоса птиц были слышны за километр, земля бордовела крупными ягодами брусники, и тракторные гусеницы возвращались из лесосеки кровавыми; тайга была такой чистой, словно осень пришла по ней свистящей метлой, и во всем мире жили прозрачность, грустность, ощущение легкой тревоги.

В тот день, когда произошли смешные и тревожные события, к половине седьмого вечера Женька уже сделал четыре ездки, чокеровщики Пашка и Витька, давно работающие с ним, уже до отвала нажрались брусники и ходили с красными губами. В это время на трелевочном волоке появился начальник лесопункта Сухов — редкий гость в лесосеке. Он торопливо подошел к Женькиному трактору, движением руки остановив машину, сердито потребовал, чтобы Женька вышел из кабины. Столетов прыгнул на землю, с улыбкой подошел к начальнику и пожал ему руку.

— Здравствуйте, Павел Игоревич! Рад вас видеть!

Сухов поверх Женькиной головы заглядывал в кабину трактора, поднимался на цыпочки и по-прежнему был очень сердит. Он наконец что-то высмотрел в тракторе, опустил на каблучки и обиженно закричал:

— Слушайте, Столетов, а вы, оказывается, конструируете новое сиденье...

Обрадованные перекурком, развлечением и вообще суматохой, к трактору прискакали чокеровщики Пашка и Витька, усевшись на пеньки, радостно принялись наблюдать, как начальник лесопункта Сухов разносит, по их мнению, Столетова. Пашке и Витьке было лет по семнадцати, они из школы ушли, как только получили паспорта, и за год работы не стали взрослее.

А Сухов действительно разъярился.

— А ну показывайте, что вы там такое напортачили! — возбужденно потребовал он.

Они забрались в кабину трактора, теснясь и толкаясь, стали рассматривать самодельное сиденье из дерматина, матрасных пружин и конского волоса.

— Ну, и что это дает? — недовольно спросил Сухов. — Каким образом вы учли линии тела? Как рассчитывали высоту рычагов?

— Ничего я не рассчитывал! — мрачно ответил Женька и прыгнул на землю. — Я не знаю, как рассчитываются подобные вещи... Я, как вам известно, провалился на экзаменах в политехнический...

— Наплюйте, Столетов! — закричал Сухов. — На будущий год будете студентом...

Чокеровщики Пашка и Витька наслаждались. Витька, чавкая, ел бруснику, Пашка мстительно улыбался, и у обоих на лицах стыло блаженное выражение: не работать среди бела дня, сидеть

на пеньках, слушать непонятные фразы Столетова и начальника лесопункта — что еще человеку надо! Посмотрев на них, Женька негромко засмеялся, перестал злиться на самого себя и Сухова, показал пальцем на Пашку с Витькой:

— Вы знаете, почему они здесь? Ждут, когда вы начнете «свольнять» меня с работы. Я для них — эксплуататор!

После этого Женька и Сухов забрались еще раз в кабину, разглядывая и щупая сиденье, спокойно обсудили особенности конструкции. Потом они, отойдя от Пашки и Витьки метров на двести, сели на пеньки. Сухов вынул пачку «Беломорканала», прищуриваясь от непривычного солнечного света, деловито сказал:

— Иностранцы накопили большой опыт устройства автомобильных сидений. Они трогательно заботятся о заде автомобилиста, но их опыт нельзя применить к трелевочным машинам... — Он разочарованно поморгал. — Разные задачи, Столетов! Транспортировка человека и транспортировка сопротивляющегося груза плюс транспортировка работающего человека... Понимаете? Надо соединить заботу о заде с проблемой работающих ног и широких русских плеч...

Тонкое, интеллигентное лицо Сухова было бледно от кабинетного затворничества, постоянного курения. Начальник лесопункта не замечал, что сидит на крохотном пеньке, не видел ни солнца, ни тайги, ни брусничного ковра под ногами, и солнечные блики на его лице лежали чужеродно, и весь он был такой, словно сошел в лесосеку со страниц романа — такая мыслящая субстанция, этакий теоретический казус на фоне обыкновенных тракторов и сосновой лесосеки.

— Перестаньте дуться, Столетов! — ворчливо сказал он. — Инженерами не рождаются! Ваше сиденье, конечно, дерьмо, но постановка вопроса интуитивно правильна... Поступите в институт! Ясно?

— Ясно!

— Тогда извольте ответить, что вас заставило дать имя машине? Мне это важно... Почему трактор зовется «Степанидой Филимоновной»?

«Степанида Филимоновна», оказывается, стояла в неловкой, вымученной, неестественной позе. Неожиданно остановленная приказывающим жестом Сухова, она замерла с низко опущенным мотором, как бы уткнувшись в землю; задняя часть машины была поднятой. У «Степаниды Филимоновны» был такой вид, словно ее, напраказавшую, в наказание ткнули носом в колдобину, мучая и стыдя, как разумного щенка, оставили в обидной, унижительной позе.

— Я не очень понимаю себя, Павел Игоревич, — откровенно сказал Женька. — А вот почему вы этим интересуетесь, мне понятно... — Он помолчал, потом спросил: — Что легче ударить гачным ключом? Автомобиль или пустотелый бак неизвестного предназначения? Ухватываете мысль?

— Эка сложность! Ухватываю...

На этот раз Женька не обиделся. Он только насмешливо прищурился. На скулах привычно набухли желваки, похожие на грецкие орехи, да округлился маленький рот.

— Коли вы такой сметливый, — сказал Женька, — то учтите, что водитель наедине с машиной проводит больше времени, чем с самым близким человеком... Восемь часов — это не баран начал! Восемь часов! Вы только подумайте!.. В течение восьми часов ты видишь только приборы, которые обязан видеть, слышишь только голос машины, который обязан слушать... Вы встречали водителя, который бы не шептал забуксовавшей машине: «Ну, давай, родимая, ну, давай, голубушка!»? — Женька остановился, подозрительно покосившись на Сухова, не улыбается ли, сказал: — Моя «Степанида Филимоновна», несмотря на ее мещанское, обывательское нутро, дама решительная... Послушайте, как она сейчас сердито урчит! Недовольна, что ее оставили на среднем газу... Вы послушайте, послушайте!

В осеннем звонком лесу на самом деле слышалось, как сердито, обиженно и неуживчиво гудит мотор «Степаниды Филимоновны». Одинокая, брошенная машина не то звала к себе Женьку Столетова, не то собиралась заглохнуть на высокой сварливой ноте; в недовольном урчании слышалось металлическое позвякивание, что-то дребезжало, постукивало.

— Вы, конечно, скажете, что у «Степаниды Филимоновны» барахлит коробка скоростей, — улыбнулся Женька. — Это так и есть, но я-то ее знаю. Она, сквалыга, злится, что ее сунули носом в яму! А Никита Суворов, передавая смену, меня сегодня предупредил: «Ты ее, заразу, послушывай! Она сегодня чегой-то норовиста. Так и рвет, так и рвет, холера, чтоб ей пусто было!»

Женька захохотал.

— Никитушке не известно, что именно сегодня в цилиндры «Степаниды Филимоновны» поступает предельно насыщенный кислородом воздух.

Они помолчали, задумчиво глядя на трактор.

— Ну как не дать машине имя, если она зависит от погоды, от твоего настроения, от кладовщика Гурьяныча, выдающего то хорошее, то плохое горючее, даже от луны... Ей-богу, Павел Игоревич, «Степанида Филимоновна» лучше тянет в полнолуние, чем на ущербе. Причину этого можно объяснить, но как не впасть Никитушке в мистику? Луна — и трелевочный трактор! А как машина реагирует на балбесов Пашку и Витьку? Она их когда-нибудь шибанет за то, что плохо формируют пучки...

Хорошо было в осеннем, сквозном лесу. Золотыми свечками стояли прямые корабельные сосны, земля, вышитая крупными бисеринками брусники, лежала под ногами ковром, воздух был легок для дыхания, тени от ясного солнца, возвысив деревья, делали лес двойным, тройным, похожим на торжественный грандиозный собор. Безостановочно попискивали нежными голосами

пичуги, летал меж соснами слепой филин, потрезожженный гулом трактора.

— Здорово сердится на меня «Степанида Филимоновна», — озабоченно сказал Женька. — А эти антихристы Пашка и Витька не догадаются сбросить газ... Таких лентяев, как они, мир еще не рождал!

В эту секунду и произошло то, о чем долго говорили в Сосновке. Неожиданное, конечно, объяснялось неисправностями в коробке скоростей «Степаниды Филимоновны», но впечатление от происходящего было такое, что у Женьки пополз мороз по спине, а Сухов нервно захохотал... Работающая на средних оборотах машина вдруг железно крикнула, звук был такой, будто она подавилась металлом. Потом раздалось шелестящее гудение трансмиссии, и «Степанида Филимоновна» медленно выползла из ямины. В первую секунду Женька подумал, что это Пашка или Витька включили трактор, но, увидев их сидящими на прежнем месте, зажмурился.

— Павел Игоревич, Павел Игоревич... — пробормотал Женька. — Что же это делается?..

Иррациональным, мистическим, жутким веяло от машины, которая самопроизвольно двинулась с места в тот миг, когда инженер и тракторист разговаривали о том, что «Степанида Филимоновна» сердится. Жутковатое впечатление производил трактор, начавший самостоятельное движение оттого, что была неисправна коробка скоростей, и Женька вскочил с пенька, поглядев на инженера Сухова, совсем испугался, так как на лице начальника увидел блаженное, удовлетворенное, верующее выражение.

Трактор двигался. Приснули в стороны Пашка и Витька, сидевшие на пути машины, побежали сломя голову в тайгу, когда машина спокойно подмяла под себя молодую сосенку, замерев на секунду, уверенно двинулась вперед по трелевочному волоку, оставляя позади сизый мирный дымок.

— Павел Игоревич!

«Степанида Филимоновна» набирала скорость, так как рычаг газа от вибраций подавался назад. Трактор шел по волоку уверенной поступью человека, выполняющего свой долг.

— Какая трудолюбивая, славная «Степанида Филимоновна»! — услышал Женька насмешливый голос инженера Сухова. — Настоящая женщина!

Только после этого Женька нелепыми кенгуриными скачками бросился вслед за трактором. Он догнал «Степаниду Филимонову» за несколько секунд до столкновения с сосной-семенником, чертиком запрыгнув в открытую кабину, все-таки успел спасти трактор от крупной сосны. Когда Женька, дрожа и задыхаясь, вылез из машины, к ней подбежали Пашка и Витька, стали смотреть на Женьку с любопытством.

— Чего это вы с ней произвели, что она сама пошла? — спросил Пашка. — Пружину вставили?

— Часовую механизму они к ней приделали,— сказал Витька.— Это навроде будильника... Потикает, а потом давай звонить...

К трактору осторожно подошел Сухов, положил руку на горячий бок машины, пробормотал что-то неслышное. Он опять был такой, что не замечал мира, не видел ни тайги, ни неба, ни земли, ни Женьки Столетова, ни чокеровщиков Витьки и Пашки.

— Двадцатый век, двадцатый век,— бормотал Сухов. — Черт знает, что делается...

Не попрощавшись, Сухов задумчиво пошел по трелевочному волоку. Он сутулился, размахивал руками, разговаривал сам с собой; Женька глядел ему вслед и думал о странном, иррациональном — о том, что сейчас инженер Сухов похож на ожившую «Степаниду Филимоновну». В инженере Сухове, как в тракторе, что-то внезапно включилось, заработало, ожило.

Ничего не видящий, не слышащий, шел Сухов по трелевочному волоку, и этот путь для него был таким же неосознанно рациональным, как путь металлической «Степаниды Филимоновны». И Женька Столетов поежился. «Мистика! — насмешливо подумал он. — Вот это денек!» Он все еще не мог прийти в себя оттого, что машина вела себя, как человек, а человек — как машина...

— Так чего вы сотворили? — спросил Пашка. — Пружину или часовую механизму?

— Часовую механизму! — уверенно сказал недоросль Витька.— Пущать трактор она может, а останавливать еще не может...

...Начальник лесопункта Сухов сел на свое рабочее место, потерев подбородок сильными пальцами, поглядел на Прохорова испытующе.

— Вот вам объяснение необъяснимого факта,— сказал он. — Самопроизвольное включение трактора, вызванное стечением ряда технических неисправностей старой машины, вызвало у Столетова желание ставить трактор мотором вверх... Парень вообще был мыслящий... Сиденье-то он сочинил перспективное...

Сухов несколько секунд посидел молча, потом снова потер пальцами подбородок, покосившись на Прохорова, вдруг решительно поднялся, перешагивая через вещи, не ища обходных путей, подошел к дверям, запер их, подергал, проверяя, закрыты ли, потом вернулся к металлическому громадному сейфу и открыл бесшумные дверцы. Они, оказывается, вовсе не были заперты на хитроумный замок, а были просто задвинуты — никто ведь не догадается подергать дверцы стального сейфа. Открылось серозеленое нутро, сверкнула этикеткой бутылка с коньяком, увиделась открытая банка с кильками и аккуратно нарезанный лимон.

— Не хотите ли, Александр Матвеевич? — спокойно спросил Сухов.

— Благодарствую!

Сухов налил крохотную хрустальную рюмку, посмотрев на нее хитро, одним движением опрокинул в рот коньяк, смакуя, подержал под языком.

— У меня к вам вопрос, — насмешливо произнес Сухов, закладывая в рот ломтик лимона. — Не скажете ли вы, что произошло с родной советской милицией? Отчего она так терпима и лояльна, наша родная советская милиция? Вы правило или исключение из правил, Александр Матвеевич?

Инженер Сухов молодец на глазах — прояснились, начали блестеть круглые глаза, твердели черты лица, сильной становилась фигура, а от сейфа он отошел такой походкой, словно теперь вовсе не собирался присаживаться в опостылевшее кресло. Трех минут не прошло, а Сухов опять был готов бегать среди вещей, говорить, философствовать, бросаться штурмом на заманчивые идеи, вести себя естественно в собственном сладком раю грядущей удачи.

— А вы фрукт! — тоже насмешливо сказал Прохоров. — Хотел бы я знать, от кого это вы запираете дверь, если не робеете перед милицией?

— От уборщицы! — быстро ответил Сухов. — Только она входит в кабинет без стука.

— Понятно! — протянул Прохоров. — Уборщица способна нарушить плавное течение свободной творческой мысли, разрушить очарование воодушевляющего творческого процесса...

Прохоров полулежал в кресле, легкомысленно покачивал блестящим ботинком, но был такой, словно говорил: «Мне палец в рот не клади!»

— Вот что еще интересно! — сказал Прохоров. — Армянского коньяка нет в поселке. Уж не Петр ли Петрович Гасилов достает для вас коньяк?

Прохоров насмешничал, но уже понимал, что говорит не с человеком, а с очеловеченной идеей совершенного трелевочного агрегата. Капитан Прохоров принял все меры к тому, чтобы не показать восхищения инженером Суховым — человеком из тех, которые, по его мнению, двигают вперед технику, прогресс человечества, черт побери! Прохоров нарочно заузил губы, нахмурившись, начал считать про себя: «...пять, шесть, семь, восемь...» Он досчитал до девяти, когда Сухов выскочил из-за стола, лавируя между вещами, помчался по кабинету.

— Это хорошо, что вы мне напомнили о Гасилове! — неожиданно по-детски обрадовался он. — Этот человек подтверждает мысль о существовании психологического стереотипа, который из-за какого-то неисследованного дефекта лишен возможности контактироваться с окружающей средой... Да чего тут непонятного! — вскричал Сухов, увидев недоуменные глаза Прохорова. —

Гасилов — доведенный до абсурда тип некоммуникабельности... Тот же Столетов называл Гасилова мещанином на простейших электронных лампах. Это, если хотите знать, довольно точно отражает технический уровень Гасилова...

Прохоров склонил голову на левое плечо, посидел немножко в такой позе, выпрямился. Нет, не походил на сумасшедшего человек с ясными глазами и высоким лбом! Он был одержимым! А как хороши были слова Евгения Столетова: «Мещанин на простейших электронных лампах!» Прохоров живо представил особняк Гасилова, увидел лошадей на эстампах, телескоп под острым шпилем флигеля, философские книги на стеллажах, развернутый журнал на полированном столике.

Мещанин на простейших электронных лампах!

И все-таки пахивало сумасшедшинкой от этого кабинета и всего, что происходило в нем! Бегал среди хаоса бледнолицый, взерошенный человек, сверкал стальной сейф, свернутые в трубку чертежи походили на папирусы. А где-то существовала обычная жизнь: за пыльным окном шли двое мужчин, вовсе не похожие на машины, шаркала подошвами в коридоре уборщица, над поселком висело жаркое солнце.

— Помилуй бог! — вызывающе сказал Сухов. — Отчего вы на меня так смотрите, Александр Матвеевич? Вы не схарчите меня часом, бедного?

Прохоров не улыбнулся, а только еще раз посмотрел в окно, словно хотел убедиться, что за ним по-прежнему существовала обычная жизнь. Потом он лениво сказал:

— Убедительно прошу сесть и не перебывать меня... У меня тоже философское настроение... Хочется выяснить, прав ли человек, бросивший на произвол судьбы сто сорок живых душ во имя их будущего счастья?.. Простите за высокопарность!

Он вежливо кивнул инженеру.

— Пока вы работаете над новой машиной, Сухов, на лесопункте занижается производительность труда, развращается неустойчивая часть коллектива, а конфликт Гасилова со Столетовым кончается...

Прохоров ожесточился:

— Знаем мы этих гениальных устроителей будущей жизни! Нам уже сегодня нужна хорошая жизнь! На несовершенном пока трелевочном тракторе...

Прохоров перевел дыхание; измученный вспышкой гнева и теснотой слов, помолчал немного. Потом он с остановками, задушевым голосом продолжал:

— Из-за вас, Сухов, конфликт между Столетовым и Гасиловым зашел так далеко, что явился косвенной причиной его смерти... Из-за вас, Сухов, бывший уголовник Аркадий Заварзин считает, что можно жить, не работая и не воруя... О заде тракториста думаете, а в душу ему плюете! Да что я вас разоблачаю, когда все ясно, как дважды два — четыре!

Прикусив нижнюю губу, он гневно замолчал, так как у Сухова опять фанатически сверкнули глаза, губы радостно сморщились, а руки взлетели.

— Вы отсталый тип! — упоенно закричал Сухов. — Дважды два уже давно не четыре!

Он вскочил, зарычал:

— Новосибирские математики, развивая теорию Эйнштейна, выяснили, что близ Земли дважды два не четыре, а на три миллиардных больше... В районе Марса эта величина изменяется еще на одну сотую своей величины... В межгалактическом пространстве десятичная система счисления вообще, по-видимому, неприемнима...

Победоносно вскинув руку, Сухов хотел еще что-то добавить, но вдруг поймал взгляд Прохорова. Капитан смотрел на него такими усталыми, печальными, грустными глазами, что Сухов осторожно сел на место.

— Кажется, я увлекся, — сказал он, — три миллиардных не такая уж значительная величина, чтобы считаться с ней в практике...

А Прохоров сидел на продавленном кресле с таким выражением лица, словно только сейчас понял, что для него начинается самое трудное, самое главное, а вот человек по фамилии Сухов не хочет понять, что началось самое трудное, самое главное... Вздыхнув, Прохоров закурил, колечком выпустив дым, искал для затылка удобное положение, прислушался — на улице кричали ребятишки, солнце нескромно заглядывало в окна кабинета, над поселком летел самолет, судя по звуку мотора, АН-2. В коридоре смеялись женщины.

— Вас трудно привлечь к уголовной ответственности, товарищ Сухов, — негромко сказал Прохоров. — В кодексе, к сожалению, нет такой статьи, которая карала бы за социальную пассивность, но снять с работы вас необходимо. Хотите изобрести трактор в одиночестве, станьте сторожем!

Инженеру Сухову было бы легче, если бы капитан произносил эти слова обличительным голосом, если бы Прохоров не смотрел на него так, словно не знал, что делать. Однако капитан уголовного розыска казался по-прежнему раздавленным сложностью мира, удивленным необычными стечениями обстоятельств и был совершенно непрофессионален — ничего милицейского, специфического не было в этом небольшом, худощавом человеке. И глаза у Прохорова были незащищенными.

— Сторож — это, пожалуй, идея! — криво усмехнувшись, сказал Сухов. — Сторож при тракторном гараже... Вы правы, Александр Матвеевич, как начальник лесопункта я ничто!

Он сказал это искренне. Хорошим было его тонкое, интеллигентное лицо, в появлении на свет которого принимало участие не одно поколение российских интеллигентов; хороши были глаза, в которых читались усталость и печаль. И мир Сухова

теперь уже не был таким элементарным, что вмещался в единственный трелевочный трактор. С этим человеком уже можно было обращаться, как с живым.

— Вы меня озадачили, Александр Матвеевич,— нормальным голосом сказал Сухов.— Каким образом Гасилову удастся сдерживать производительность труда? При каких условиях?

Ну как не впасть в печаль и тоску, если на этой удивительной планете Земля существует начальник лесопункта, который спрашивает заезжего капитана уголовного розыска, почему на вверенном ему лесопункте сдерживается рост производительности труда! Как не будешь чувствовать себя травмированным, если инженер с академическим образованием, заперев себя в башне из слоновой кости, чтобы дать миллионам трактористов совершенную машину, никогда не допускал мысли о том, что возможен человек, заинтересованный в сдерживании производительности труда, и вот заезжему капитану приходится доказывать, что практически такой человек не только возможен, но существует и называется Петром Петровичем Гасиловым!

— Вы что, в самом деле пьете, Сухов?— официальным тоном спросил Прохоров.

— Чепуха. Не пью. Но коньяк держу.

— Каким образом сдерживается производительность труда — это вторая сторона дела!— устало сказал Прохоров.— Самое важное: для чего она сдерживается?

Сухов поднял на Прохорова умные глаза.

— Производительность труда занижается для того, чтобы всегда можно было получить предельно высокую премиальную оплату, не затрачивая на это силы!— прежним тоном произнес Прохоров.— Неужели за полтора года работы на лесопункте вы не заметили, что мастер Гасилов проводит в лесосеке не более двух часов в сутки? Он только встречает и провожает смену, треть рабочего времени проводит в райцентре, где в конторе леспромхоза и других районных организациях завязывает полезные знакомства, все остальное время Гасилов отдает своему особняку, телескопу, жеребцу Рогдаю и так далее.

Разозлившись, Прохоров поднялся с удобного, но допотопного кресла, пересев на табуретку, резко произнес:

— И в этом вы повинны, товарищ Сухов, так как помогли Гасилову создать себе синекуру.

— Каким образом?

— А вот таким...

Прохоров достал из кармана толстую записную книжку, открыл страницу алфавита на букве «П», посмотрев на цифры, бросил книжку на стол, чтобы Сухов мог заглянуть в нее.

— А вот таким образом, уважаемый Павел Игоревич! — повторил Прохоров.— Когда вы изволили прибыть на лесопункт, вы заметили, что на лесосеке применяется устаревшая технология... Так это?

— Да! — ответил Сухов. — Я приказал прекратить вывозку леса с кронами, перенес обрубку сучьев на нижний склад, разрешил грузить на сцены больше нормы на кубометр... А в чем дело?

Женщины в коридоре перестали смеяться, ушли, видимо, и Прохоров подумал, что среди них могла быть та, которая ему сегодня была нужна, — Мария Федоровна Суворова. Уж не начинался ли обеденный перерыв, уж не пропустил ли он возможность проводить Марию Федоровну до дома?

— Суть дела в том, товарищ Сухов, — сказал Прохоров, — что результаты улучшения технологии дали мизерное сокращение числа работающих на лесосеке. Взгляните в блокнот... На нижний склад переведено только шесть человек... Вы в книжку мою, в книжку посмотрите...

Пока инженер Сухов разбирал мелкие, ровные, занудные буквы прохоровского почерка, капитан сидел с закрытыми глазами, весь расслабился, дышал через нос.

— Прочли? — спросил он. — Все прочли?

— Прочел!

— Вот в таких условиях, — печально сказал Прохоров, — план всегда перевыполняется, а мастер Гасилов, не затрачивая сил и времени на организацию труда и руководство бригадами, ежемесячно получает предельно высокую премиальную оплату. Легкая жизнь и деньги — вот гасиловский движитель! — Он захолопнул блокнот. — Думаю, что вы сами разберетесь в тех способах и методах, какими Гасилов сохранял предельно заниженное плановое задание... Не мне вам читать лекции, товарищ Сухов... — Прохоров сдержанно улыбнулся. — Скажу одно: Гасилова подвели декабрьские морозы.

Отдохнувший за несколько секунд Прохоров теперь весело относился к тому, что в чине капитана уголовного розыска получал академически образованного начальника Сосновского лесопункта, умеющего чертить такие чертежи, которые казались напечатанными в образцовой типографии, но не слышавшего о том, что происходило в лесосеке в декабре прошлого года.

— Именно в морозные дни, — сказал Прохоров, — Евгений Столетов понял, как резко занижено плановое задание бригады...

Положение было определенно комическим, и Прохоров насмешливо улыбался.

— Бог с ними, с декабрьскими морозами! — сказал он. — Меня больше интересует такой факт. Почему девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого мая выработка на лесосеке выросла до двухсот пятидесяти процентов? Есть же связь между происшествием двадцать второго мая и тем, что в эти дни выработка возросла почти в три раза? Что вам известно об этом?

— Ничего! — после длинной паузы ответил Сухов. — О такой высокой производительности труда мне ничего не известно...

Кажется, инженер Сухов начинал понимать, как серьезно

дело, почувствовал, какой прочной и тревожной связью соединяется его кабинет с полотном узкоколейной дороги, на обочине которой белеет похожий на череп камень. Он был умен, этот инженер Сухов, и ему хватило характера для того, чтобы подняться с места, подойти к капитану уголовного розыска и спросить:

— Чем я могу теперь помочь вам, товарищ Прохоров?

— Выяснить, что произошло на лесосеке в эти три дня,— подумав, ответил Прохоров, хотя не верил в то, что Сухов поможет.— Гасилов, как вы понимаете, скрыл от вас итоги работы трех майских дней... Да и мы добрались до них не сразу...

«Надо реально отрабатывать собственное право на существование,— думал, уходя, Прохоров.— Без ежедневной пользы, на верное, такого права у человека не должно быть».

3

Почувствовав, что ему будет трудно сразу перейти из кабинета Сухова в шумное помещение бухгалтерии, Прохоров несколько минут постоял в гулком коридоре. Опять закрыл глаза, дышал через нос, задерживал воздух в легких — одним словом, все делал так, как советовали йоги и их поклонник майор Луккомский. Он постоял в пустом коридоре минут пять, то есть до тех пор, пока не почувствовал себя способным действовать решительно, умно, хитро и ловко. Он посмотрел на часы, убедившись в том, что до обеденного перерыва осталось ровно десять запланированных минут, вкрадчивым шагом пересек коридор.

Придав лицу легкомысленное, фатоватое выражение, одернув полы пиджака и поправив галстук, Прохоров осторожно открыл дверь в бухгалтерию, бесшумными шагами вошел в комнату, где сидели три женщины. Выполняя свой коварный план, он невразумительно поздоровался сразу со всеми, глядел только на Анну Лукьяненко, мало того, он подошел к ней, взяв за руку, медленно поднес к губам и поцеловал.

— Здравствуйте, Анна Егоровна! — уважительно сказал Прохоров.— Обязан доложить вам, что женщина, распространяющая по деревне клеветнические слухи, была приглашена в милицию и призналась в распространении ложных слухов... Виноватая предупреждена о том, что будет привлечена к уголовной ответственности, если осмелится клеветать в дальнейшем...

Спустив руку Анны, Прохоров подчеркнуто равнодушно поглядел на кассира Алену Брыль, так как она и была той сплетницей, которую он вчера в милицейском кабинете довел до слез и откровенного признания в клевете.

— Будет немедленно возбуждено судебное дело! — повторил Прохоров, вдруг с безнадежностью поняв, что Алена Брыль никогда не перестанет сплетничать. Как только он, Прохоров, уедет, Алена Брыль, оставив в покое Анну Лукьяненко, начнет «собирать сведения» о других жительницах Сосновки.

По мнению участкового Пилипенко, сосновские мужчины не могли оценить тонкую, плоскую фигуру Алены Брыль, и она возненавидела всех женщин. Между тем капитан Прохоров, вызвавший Алену Брыль в милицейский кабинет, подумал: «Экая итальянистая фигура!»— так как она действительно напоминала героиню итальянского современного фильма — тонкая, высокая, с узкими бедрами и крошечной грудью.

Прохоров с угрозой повторил:

— Вот так-то! Под суд пойдет дамочка, если снова осмелится клеветать!

Теперь он посматривал на главного бухгалтера Сосновского лесопункта Марию Федоровну Суворову, проверяя, какое действие оказала на нее расправа с Аленой Брыль.

Толстая бухгалтерша сидела спокойно, но с некоторой робостью в глазах, и была такой, что ее надо было специально создавать для роли жены Никиты Суворова, если исходить из того принципа, что муж и жена должны быть контрастны. «Она не такая полная, как толстая, не так похожа на слона, как на мамонта!»— развеселившись, подумал Прохоров.

— Здравствуйте, Мария Федоровна!— вдруг отдельно поздоровался с бухгалтершей Прохоров и помигал загадочно.— Значит, это вы будете являться законной женой гражданина Суворова Никиты Гурьевича? Значит, это вы и есть одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения, русская, служащая, к суду привлекались по подозрению в растрате, но оказались невиновной, на иждивении трое детей, уроженка Сосновки?..

Говоря все это, Прохоров равнодушно осматривал комнату бухгалтерии— вплотную сдвинутые конторские столы, испачканные чернилами и клеем, исписанные головокружительными цифрами бумаги, отлакированные пальцами счеты и ободраные арифмометры. Он будто бы только тем и был занят, что вдыхал запах пыли и сухой бумаги, прокисших чернил и коленикора, крахмала и плесени, но потом у капитана Прохорова сделалось такое лицо, словно он поразился тем обстоятельством, что Анна Лукьяненко и в суровой бухгалтерской обстановке сумела сохранить красоту и женственность. «Ах, красавица!»— сказали глаза Прохорова, хотя думал он о другом.

— Так вот эта женщина будет являться гражданкой Суворовой?— спросил Прохоров у смеющейся Анны и подмигнул ей незаметно, чтобы перестала смеяться.— Я правильно указал на эту гражданку, как на человека, могущего оказаться Суворовой?

Анна сидела спиной к окну, рабочее место ее ничем не отличалось от остальных двух, но отчего-то женщина казалась отдельной от бухгалтерии, отчего-то бумаги на ее столе лежали красиво, аккуратно, счеты и арифмометры не производили занудного впечатления. Все, что окружало Анну, казалось

таким же красивым, ладным, аккуратным и подобранным, как она сама. Стол, стул, бумаги, счеты, арифмометры, школьная линейка Анны в скучности и пыльности бухгалтерской комнаты казались такими же пригодными для женского существования, как ее аккуратная, современная одежда.

— До свидания, товарищи и граждане! — радушно попрощался Прохоров. — До свидания, Алена Юрьевна Брыль!

И тихонько вышел из бухгалтерии, чувствуя за спиной молчаливое смятение.

Неизвестность, таинственность — вот что было самым страшным! Собственно, и Никита Суворов боялся не реальной опасности, а вот этой жуткой призрачности, которая таилась за словами Аркадия Заварзина: «Все равно доберемся до тебя, Суворов!» А кто доберется, каким образом доберется, конечно, не сказал. И если разобраться подробненько в психологической основе страха, то, видимо, откроется... Прохоров услышал позади себя скрип двери, потом по крыльцу прошаркали тяжелые шаги, раздался басовитый кашель. «Ага, голубушка!» — подумал он и торопливо сошел с крыльца.

— Ах, ах, — проговорил Прохоров, озираясь, — Гагра скоро станет именоваться Сосновкой, а Сосновка — Нью-Гагрой!

День сегодня на самом деле вызрел такой жаркий и душный, какого еще не было этим летом. Над пыльной дорогой поднималось густое волнистое марево, над тайгой тоже струился горячий воздух, и даже над рекой перемещались блестящие чешуйки воздуха. На обочине дороги, задрав ноги, словно в витрине магазина, лежала неподвижная курица, она казалась бы мертвой, если бы не слышалось обморочное клохтанье. Жара была такая, что даже свиньи, защищенные от зноя слоем жира, лежали в тени.

Прохоров решительно развернулся, поглядел на бухгалтершу Марию Федоровну Суворову гипнотическим взглядом, озобоченно спросил:

— Вы сколько получаете, гражданка Суворова? Зарплата у вас какая?

На лице толстухи выступил рясный пот. Оно и без того было веснушчатым, а теперь казалось рябым. Дышала женщина тяжело, с перерывами, словно поднималась на крутую гору.

— Так какая у вас зарплата, гражданка Суворова?

— Сто десять! — ответила она и повторила с придыханием: — Сто десять рублей.

— А детей трое?

— Трое.

Прохоров нахмурился, зашевелил губами, словно считал.

— Мало! — воскликнул он. — Предельно мало!

В этот момент, разыгрывая сложную сцену с женой Никиты Суворова — важного свидетеля, капитан Прохоров был сам

себе до чрезвычайности противен, так как пускал в дело разные штучки-дрючки, но разве он мог поступать иначе, если именно толстая и грозная жена запретила Никите Суворову подписывать правдивые показания? Прохорову было неловко наводить страх на робкого Никитушку, и без того запуганного Заварзиным и грозной женой, а вот нагонять ужас на толстуху было сладостно: пусть бледнеет от страха, такая-сякая, пусть тоже делит сто десять рублей на троих детей и на самое себя, если не хочет помочь матери Столетова узнать, как и отчего погиб ее сын!

— Между прочим,— сказал Прохоров,— в уголовном кодексе есть статья, которая наказывает тюрьмой за отказ от дачи показаний... Можно несколько лет схлопотать!

Жарко было чрезвычайно. Они и пяти минут не простояли на солнце, а Прохоров взмок под нейлоновой — будь она проклята! — рубахой. В туфлях образовалось мокрое пекло, а лицо грандиозно толстой бухгалтерши окончательно покрылось девчоночными веснушками. Собственно, такой и представлял Прохоров бухгалтершу в детстве — веснушчатая полнушка с розовой и нежной кожей, с упитанными икрами и каменными руками; волосы она носила веночком вокруг головы, и лицо тогда походило на незрелый подсолнух. Девчонка была такая, что никогда не теряла вещи, книги обертывала в бумагу, а чернильницу-непроливашку носила в специальном мешочке и не всем позволяла макать в нее ручку. Никитушку Суворова она присмотрела на первомайском гулянье, подсчитав разницу в возрасте и образовании, решила, что он ее будет уважать и любить, хотя на руках носить не сможет. Работать в бухгалтерии она мечтала с пятого класса.

— Передачи в тюрьму тоже ой-ей-ей сколько стоят! — сказал Прохоров. — Сальца килограммов пять — положи, твердокопченой колбасы — купи, сахарिशко тоже надо... И нижнее белье, между прочим, иногда принимают...

Толстуха маялась от жары и страха, и Прохоров, сочувственно вздохнув, повернулся лицом к реке. От Оби хоть немножечко наносило прохладу, хоть вид воды позволял предполагать, что на земле бывает и прохладная погода. «Сдурела Сибирь! — подумал Прохоров с укоризной. — Нескромно ведет себя, матушка!»

— Как бы в карты не научили Никиту играть! — мрачно произнес он. — Научат, а потом оставят в чем мать родила... А если мороз?.. Тюрьма, мороз, а ты голый! Спаси и помилуй!

Прохоров отчаянно махнул рукой и пошел серединой жаркой улицы, хотя мог подняться на деревянный тротуар, схорониться в тени палисадников. Но разве могла идти речь о выборе удобного пути, когда происходили такие ужасные вещи, как засылка тихого и робкого Никитушки в тюрьму или необходимость делить злосчастные сто десять рублей на четверых

едоков? А передачи арестантику? А забота о нижнем белье? А голый Никита, обыгранный в карты?

— Товарищ милиционер, — крикнула вслед Мария Федоровна Суворова, — товарищ милиционер...

Больше она ничего не добавила — сел голос, да и Прохоров не слышал: торопился. «Сопоставимо ли одно индивидуальное благополучие с другим? — думал он. — Вот вопрос».

4

Поплутав по сосновским переулкам, чтобы Мария Федоровна Суворова думала, что он ушел заниматься судьбой ее любимого мужа, Прохоров через десяток минут опять оказался в центре поселка, шагал неспешно, страдал от жары и думал о себе самом: «Да, мне палец в рот не клади!» — так как временной график выполнялся с такой точностью, с какой работала хорошая железная дорога. Он затратил, как и предполагал, два часа на Сухова, двадцать минут на толстуху бухгалтершу, теперь точно по расписанию прибыл к орсовскому магазину, к которому через десять минут должна была прийти Лидия Михайловна Гасилова, имеющая железную привычку не доверять домашним работницам покупку хлеба. Домработницы, как сообщил Пилипенко, хватали ковриги пальцами, мяти их, и вообще хлеб был не таким уж свежим, когда к нему прикасались посторонние пальцы.

Опережая временной график на десять минут, Прохоров сидел на теневой стороне крыльца орсовского магазина, дышал запахом свежего пшеничного хлеба и занимался демагогией, то есть жалел себя и прочих городских жителей...

О, домашний, самопечный хлеб!

Пшеничная коврига, вынутая из русской печи, покрыта золотистой коркой, в пористом изломе живет захватывающий, сладкий запах; коврига такая нежная, пышная, что представляется дышащей; ломоть лежит на ладони, вздрагивая. Свежий пшеничный хлеб пахнет жизнью, все есть в этом запахе — бражная винность, осенняя прозрачность, блеск жирного чернозема, летний зной, луговая свежесть. Бедные городские люди, не знающие, что такое свежий пшеничный хлеб из русской печки! Что едите вы? Разве это еда — хлеб-кирпич! Неужели не понимаете вы прелесть ковриги, имеющей форму земли, луны, солнца; разве неведомо вам, что природа не терпит параллелепипедов, их острых углов, их унылой законченности? Хлеб должен походить на солнце, бедные городские люди! Как изменится ваше настроение, когда на стол ляжет круглая, духмяная коврига настоящего пшеничного хлеба. Вы загрустите, когда поймете, что никогда не ели настоящего деревенского хлеба, похожего на солнце. Так сделайте себя счастливыми — приезжайте в Сосновку!

Лидия Михайловна Гасилова несла в руках громадную вычурную сумку, увидев которую Прохоров поднялся с крыльца и зашел за угол магазина, чтобы можно было наблюдать Лидию Михайловну, а самому остаться незамеченным. Спрятавшись, он превесело ухмыльнулся: вычурная сумка Лидии Михайловны, как и пляжная сумка ее дочери, явно не отвечали поставленным перед ними, сумками, задачам. Если Людмила носила на пляж фруктовую сумку, то ее мать, наоборот, шла за хлебом с пляжной сумкой.

Лидия Михайловна приближалась. Несомненно, у нее когда-то были стройные, хотя и не очень длинные, ноги, несомненно, когда-то существовала очень тонкая талия, однако неумолимое время с фигурой Лидии Михайловны произвело жестокую работу: она сделалась бесформенной. Впрочем, у Лидии Михайловны оставалось свежее, красивое лицо, еще хороши были блестящие глаза, густые волосы, да и шла она по улице уверенной походкой любимой, отлично ухоженной женщины.

Когда Лидия Михайловна вошла в орсовский магазин, Прохоров последовал за ней, не боясь разоблачения. Во-первых, жена Гасилова не знала капитана милиции в лицо, во-вторых, мало ли незнакомцев появляется в Сосновке: шлялись по ней матросы с пароходов и шкиперы барж, жили районные и областные уполномоченные, приезжали на отдых родственники сосновчан. Поэтому Прохоров смело вошел в магазин, состоящий из двух половин — продовольственной и промтоварной, подойдя к витрине, стал внимательнейшим образом рассматривать расчески, бритвенные лезвия «Нева», мыло «Красная Москва» и «Сирень», разноцветные зубные щетки и широкие подтяжки с набором никелированных застёжек и украшений.

Как и ожидал Прохоров, жена мастера Гасилова начала с промтоварного отдела. В нем работала невысокая, шустренькая продавщица, которую все в деревне звали Любой и которая считала Прохорова парикмахером, приехавшим в Сосновку устраиваться на работу, а настоящего парикмахера, уволенного из городской мастерской за пьянство, принимала за капитана уголовного розыска Прохорова. Ошибка Любы, видимо, объяснялась тем, что настоящий парикмахер приходил в магазин с нахмуренным челом и по безденежью ничего не покупал, а капитан Прохоров, имеющий привычку подглядывать за нужными ему женщинами в магазине, непременно стоял у парфюмерного отдела и покупал то расческу, то щеточку для ногтей. Вчера, например, когда он наблюдал в магазине за женой тракториста Никиты Суворова, была куплена ядовито-зеленая зубная щетка.

Начиная знакомство с нужными женщинами в магазине, капитан Прохоров откровенно подражал своему бывшему наставнику полковнику Урванцеву, который любил говорить

с легкой усмешкой на бесстрастных, скучноватых губах: «Ах, Сашок, если бы эту упрямую бабенку повести в магазин, да незаметно понаблюдать за ней, да подышать тем воздухом, которым она дышит возле прилавка, да посмотреть на ее пальцы, когда она перебирает розовую кофточку!..»

Поставив пляжную сумочку на прилавок, Лидия Михайловна вежливо поздоровалась с продавщицей Любой, без нужды выпятив живот, мизинцем показала на коричневую кофточку:

— Будьте добры, Люба, покажите вот эту.

Прохоров наблюдал за ней искоса, но с таким рабочим, сосредоточенным лицом, с каким сживал в одиночестве над протоколами следователя Сорокина. И увидел он то, что ожидал увидеть: Лидия Михайловна Гасилова шупала кофточку так, словно они существовали в одинаковых масштабах — кофточка и Лидия Михайловна. В постном, вдруг потерявшем выражение лице женщины не было ни жадности, ни восхищения, ни отрицания, ни удовлетворения, ни пренебрежения, а читалось только одно: кофточка и женщина были равноценны.

Момент был такой, что капитан Прохоров снова впал в спасительную пафосность, то есть начал смотреть на материальные излишества орсовского магазина и торжественно думать... Где вы, городские любительницы заграничных товаров! Отчего не знаете вы, что в сосновском орсовском магазине на нестроганных прилавках лежит весь мир подлунный? Коричневая кофточка, которую шупала мягкими пальцами Лидия Михайловна, была изготовлена во Франции, голубая курточка с восхитительными замками и висюльками приплыла в поселок из Японии, нейлоновые рубашки были упакованы в Югославии, мужские плащи были с чешскими этикетками, чулки лежали итальянские, термосы — индийские, детские гольфы — болгарские, высокие сапоги — трепещите, женщины! — приехали из Польши, белые туфли с квадратным каблучком — из ГДР.

В Сосновку, в Сосновку, городские модницы! За пшеничным хлебом и лаковыми высокими сапогами, для которых в Сосновке нет асфальта. В Сосновку, в Сосновку, ценительницы иностранных товаров! Здесь носят отечественные резиновые и кирзовые сапоги, курткам с замками и висюльками пока предпочитают телогрейку, а черные костюмы покупают только приятели Евгения Столетова...

— Тридцать шесть рублей? — постно переспросила Лидия Михайловна, лунатическими пальцами ощупывая нежный банлон. — Тридцать шесть рублей...

Между кофтой и Лидией Михайловной не было щелочки для воздуха, солнца, воды; тесное единение вещи и Гасиловой

было таким, что лицо женщины окончательно потеряло человеческое выражение.

— Я, пожалуй, куплю кофточку! — таким голосом, каким разговаривают в потемках, сказала Лидия Михайловна. — Я ее, пожалуй, куплю... А другого цвета нет?

— Только коричневые!

Сверкающие кольцами и перстнями пальцы открыли створки пляжной сумки, но тут же замерли, нависли над открытым зевом. Они, пальцы, пошевелялись самопроизвольно и волнисто, как шупальца медузы, плывущей по воле волн, а через мгновение интимно, скромно и тайно нырнули в глубину пляжного разноцветья кожи и пластика. Еще через секунду-другую из сумки возник небольшой кошелек, совершив в воздухе пунктирный полукруг, приблизился к тяжелой груди Лидии Михайловны. Женщина низко нагнулась над кошельком, пальцы как живые задвигались, заволновались. А когда Лидия Михайловна, наконец, вынула на свет божий три ассигнации, Прохоров перевел дыхание и принял неожиданное для себя решение: купить не коробку пудры, а, наоборот, прозрачную расческу.

— Товарищ продавец, — деловито обратился он к Любе, — подайте-ка мне вот ту славенькую расческу.

Уплатив тридцать восемь копеек, он с тем же озабоченным видом пошел за Лидией Михайловной в продовольственный отдел.

Лидия Михайловна первой поклонилась старушонке с палкой и узелком, рассеянно кивнула двум женщинам поселкового вида, сухо посмотрела на дивчину в голубой майке. «Безобразия!» — сказали глаза Лидии Михайловны при виде голых плеч и полной груди дивчины производственного типа — то ли механизатора, то ли разнорабочей.

Надо было признать целиком и полностью, что у жены Гасилова имелась в наличии белая, нежная кожа, была красивая шея и великолепные волосы. Кожа на шее была еще молодой и вообще вблизи можно было понять, какой красивой была в молодости жена мастера. Гасилов, наверное, не знал, а если и знал, то не принял в расчет, что будущая его жена относилась к типу женщин-обманщиц, выращиваемых в нетрудовой обстановке мещанских домов. Женщины-обманщицы в девичестве воздушны и стройны, как призраки, славные и тихие, вызывают желание защищать их, носить на руках и хорошо кормить, но через пять-шесть лет, когда удивленный супруг замечает, что женщину на руки взять нельзя, — весит девяносто килограммов, он уже ничего изменить не может.

Женщина-обманщица стояла в очереди уже второй, и Прохоров обстоятельно обдумывал проблему покупки хлеба. Что он будет делать с ковригой, если ее придется купить из-за нетерпеливости важной Гасиловой?! Если бы женщина была проворнее, он мог бы, махнув рукой, сказать продавщице сквозь

зубы: «Ах, раздумал я покупать хлеб!» Однако Прохоров не мог поступать таким образом на глазах Лидии Михайловны, которая, купив хлеб, начнет так же аккуратно укладывать его в пляжную сумку, как укладывала банлоновую кофточку.

На ковригу пшеничного хлеба Лидия Михайловна указала не мизинцем, а средним пальцем с крупным перстнем:

— Вот эту, пожалуйста, Дуся. Только осторожно, пожалуйста-ста... — В голосе Лидии Михайловны почувствовалась неожиданная кокетливость, лицо приобрело массу всяческих выражений и оттенков. Во-первых, Лидия Михайловна извинялась за то, что выбирает ковригу из неудобного для продавщицы места — нужно подняться по лесенке; во-вторых, чувствовалось желание объяснить, почему Лидия Михайловна стоит в очереди и покупает хлеб сама, а не домработница; в-третьих, что было самым главным, решающим, жена мастера Гасилова сделалась снова мыслящим существом в тот момент, когда покупала пшеничный хлеб.

С прежней кокетливой, извиняющейся улыбкой Лидия Михайловна взяла двумя пальцами свежую дышащую ароматом ковригу пшеничного хлеба, совершив ею знакомый полукруг, вдруг бросила ковригу в раскрытую сумку. Она, конечно, не могла измять хлеб, он не мог повредиться, но все же, все же... Коричневую банлоновую кофточку Лидия Михайловна в пляжную сумку укладывала в три приема, а потом долго думала, какой стороной повернуть сверток, как добиться того, чтобы край бумажного пакета не высывался из сумки. Она, видимо, не любила носить по деревне вещи открытыми, а вот золотистый край ковриги полумесяцем высывался из пластика и кожи.

— До свидания, Марта Густавовна! — сказала Лидия Михайловна старушке с палкой и узелком, замешкавшейся возле прилавка, и Прохоров понял, что старушка-то — родная мать парторга Сосновского лесопункта Марлена Витольдовича Голубина.

— Вам чего? — удивленно спросила продавщица Дуся. — Водка кончилась.

— Что вы говорите? — обрадовался Прохоров, так увлеченный женой мастера, что пропустил такую выдающуюся подробность, как отсутствие водки на нижних полках. — А что это?

— Уксус! Разве не видите?

Через полминуты Прохоров шел неторопливо по знойной улице, но все равно скоро догнал вальжную Лидию Михайловну, склонив в полупоклоне голову, представился:

— Меня зовут Александром Матвеевичем Прохоровым. Я капитан уголовного розыска, а вы, наверное, Лидия Михайловна Гасилова?.. Если это так, то разрешите, пожалуйста, потолковать о том о сем.

Она остановилась, посмотрела на него внимательно.

— Чем могу быть вам полезной, товарищ Прохоров?

Лидия Михайловна эти слова произнесла так, что сразу почувствовалось законченное среднее образование, постоянное пребывание в довольно интеллигентной семье и внимательное чтение детективных романов, так как именно все это давало возможность спрашивать: «Чем я могу быть полезной?» А глядела она на Прохорова такими насмешливыми и отчужденными глазами, какими могла глядеть женщина, предельно далекая от уголовных розысков, происшествий, тюрем и следовательских комнат. Вся эта грязь и накипь жизни — тюрьмы и следователи — имела к Лидии Михайловне такое же отношение, как зонтик к рыбе, и Прохоров на ее величественный, недоумевающий взгляд ответил робко.

— Ах, о какой там пользе может идти речь! — сказал он. Потом подумал и весело разрешил: — Да вы не стойте, Лидия Михайловна. Вы идите, а я... Я петушком, петушком за дрожками. — И сам захотал первым. — Ах, простите меня! Я сроду такой болтун и выдумщик. Вы на меня внимания не обращайте, Лидия Михайловна!

Она небрежно пожала плечами:

— Пожалуйста!

Женщина-обманщица, женщина, умеющая в девятнадцать лет казаться созданной для бережного ношения на руках, пошла впереди капитана Прохорова как подтверждение его предсказаний — со сквозными от солнца глазами, с увядающей линией нежного подбородка, и все в ней было законченным: среднее образование, кольца и перстни, фраза: «Чем могу быть вам полезной?» Прodelав с Лидией Михайловной ту же операцию, что Прохоров прodelал с женой Никиты Суворова, представив ее девчонкой, капитан в недалекой сравнительно дали увидел Людмилу Гасилову.

— Так чем я могу быть вам полезной? — спросила она.

— Вот чем вы можете мне быть полезной, — помолчав, сказал Прохоров. — Вы должны мне объяснить, почему солгали дочери, сообщив Людмиле о связи Столетова с Анной Лукьяненко?

— Я? Я солгала дочери?

Лидия Михайловна бдительно держала Прохорова под прицелом ясных глаз, спрятанных за длинными ресницами так же тщательно, как была скрыта от взоров прохожих в пляжной сумке банлоновая кофточка. Прохоровым давно было замечено, что у некоторых женщин от юности до могилы не меняются две вещи — ресницы и голос, и в отношении Лидии Михайловны это наблюдение было точным, очень точным. Прохоров специально звонил в квартиру Гасилова несколько раз, чтобы убедиться в том, что мать и дочь разговаривают одинаковыми голосами, а ресницы у них были вполне взаимозаменяемы.

Женьке Столетову было бы от силы тридцать пять, когда однажды он обнаружил бы в кровати странную женщину с от-

даленно знакомым подбородком. Это случилось бы непременно на рассвете, в тот час, когда он завязывал бы галстук, чтобы отправиться на работу. Оставив незатянутым узел галстука, он осторожно подошел бы к кровати, нагнулся, сморщил бы лоб: кто такая? Почему эта женщина спит на их общей кровати? Отчего она так напоминает Людмилу Гасилову?

— Я солгала дочери? — с пафосом повторила Лидия Михайловна Гасилова и неожиданно снисходительно улыбнулась. — Ну, как вы можете говорить такое, товарищ Прохоров!

Она укоризненно покачала головой.

— Все это выдумки завистников! Подумайте сами, как я могла связать Женю с этой грязной, порочной до мозга костей, испорченной женщиной? Ведь Женя был чистый, порядочный. А эта женщина... Фи!

Она ничем не обставляла ложь — вот что было забавно. Жена мастера была так величественна, вальяжна, уверена в прочности своего положения, что ей даже не приходила в голову мысль придать лжи окраску правдоподобия. Она врила открыто, с упрямым самозабвенным лицом, как врут очень маленькие славные дети.

— Мы очень любили Женю! Мы к нему относились, как к родному. Уж вам-то должно быть известно, что именно Петр Петрович сказал: «Такие люди, как Столетов, не должны умирать!» Мой муж восхищался и восхищается Женей!

Ложь Лидии Михайловны Гасиловой слушала раскаленная зноем река, понурившийся осокорь на берегу, небо, петух на заборе, тайга за деревней; весь мир слушал ложь женщины с красивым еще лицом и царственными движениями мягких, небрабочих рук.

— За Людмилой, правда, немножко ухаживал Юрий Сергеевич Петухов. Он, по-моему, даже собирался делать ей предложение; но... Мы не считаем нужным вмешиваться в личную жизнь дочери...

Она вдруг сделала плачущее лицо.

— Боже, кто способен руководить детьми двадцатого века! Они так самостоятельны!..

Прохоров готов был рассмеяться. «Немножко ухаживал Юрий Сергеевич» — это значило, что приходил каждый вечер; «собирался делать предложение» — значило, что технорук и Людмила решили пожениться; «мы не вмешиваемся в личную жизнь дочери» — это значило, что жесткой рукой управляли ее поступками. Конечно, жена Гасилова не догадывалась о том, что Столетов мог услышать в телефоне ее диктующий голос, но она, если бы дала себе труд подумать, если бы на секунду потеряла вальяжность, могла бы сообразить, что ее наглая ложь позволяла Прохорову получать правдивые сведения, так как ему надо было только отнимать отовсюду частицу «не». Не го-

ворила — значит говорила, не думала — значит думала, не любила — значит любила.

— Ах, как врут календари! — печально сказал Прохоров и поглядел женщине на кончик носа. — Думаю, что и Юрий Сергеевич лжет, когда говорит о том, что именно вы, Лидия Михайловна, сказали: «Евгений Столетов не может быть мужем моей дочери. Он никогда не сделает карьеры, и поэтому моя дочь будет всю жизнь лишена материального благополучия!»

— И это ложь! — по инерции быстро ответила женщина. — Юрий Сергеевич, наверное, как-то не так понял меня...

Прохоров действовал в чрезвычайной обстановке молниеносно.

— А какие слова Юрий Сергеевич мог истолковать превратно?

Ее лицо вытянулось, посерело. Ей ли было тягаться с капитаном Прохоровым, придумавшим в момент озарения наглую ложь с фразой, якобы переданной ему техноруком? А уж разделение предполагаемой фразы на первую и вторую части вызвало у Гасиловой такое замешательство, что он с наслаждением потребовал:

— Отвечайте, пожалуйста, Лидия Михайловна!

Она смятенно пробормотала:

— Но ведь Женя действительно всегда ссорится с начальством, не умеет ладить с людьми.

Прохоров спокойно огляделся. Было жарко и душно, пыльно и желто; было обыкновенно. Сидел на заборе помертвевший от зноя петух, валялись ногами вверх куры. «Надо быть умеренным!» — подумал Прохоров. Если в чем и таилась опасность этой женщины, так это в обыкновенности.

— Спасибо, Лидия Михайловна! — вежливо поблагодарил Прохоров. — Технорук Петухов с начальством не ссорится, и, несомненно, ваша дочь будет ходить с брильянтовым перстнем на пальце... Спасибо! Огромное вам спасибо!

Гасилова стояла перед капитаном уголовного розыска с постаревшими губами. Она не могла еще понять, чем опасно ее нечаянное признание, но почувствовала приближение катастрофы, у нее было такое ощущение, словно кто-то в разбойную темную полночь подпиливал несущие столбы ее дома. Надо было защищаться, но она не знала, от чего, надо было бороться с уличным собеседником, но она не знала, как бороться с человеком, который глядел на нее сейчас грустно и жалеюще.

— Как вы думаете, — спросил Прохоров, — технорук Петухов любит вашу дочь?

Она, кажется, уже поняла, что произошло невозможное, дикое, ужасное, как кошмарный сон: в безмятежное благополучие ее дома входило то, о чем женщина только читала и слышала, — комнаты следователей, зарешеченные окна, необходимость расписываться в конце каждой страницы.

На них уже обращали внимание. Стояла на крыльце сосел-ного дома прислушивающаяся старуха, женщины, возвращав-шиеся из орсовского магазина, нарочно замедлили шаги, мель-кали смутные лица за геранями на подоконниках.

— Это допрос!—вдруг жестко произнес Прохоров.— При-мерно девятнадцатого—двадцатого апреля вам стало известно от Алены Юрьевны Брыль, что будущий муж вашей дочери Петухов посещает Анну Лукьяненко. Почему вы не сообщили об этом дочери?

Он сам чувствовал, что страшен непонятностью, грустью, всезнанием, выбором улицы, как места для допроса. А ведь на самом деле, как все неожиданно и страшно!.. Десять минут на-зад куплена банлоновая кофточка, небрежно брошена в пляж-ную сумку коврига теплого хлеба, видна уже крыша родного дома, а она стоит возле человека в мешковатом костюме, ока-завшегося капитаном уголовного розыска и задающего такие вопросы, от которых немеют кончики пальцев.

— Алена Брыль—сплетница!—приглушенным голосом ска-зала Лидия Михайловна.—Я ей не поверила...

— Резонно!—согласился Прохоров.—Но тогда возникает во-прос: почему Алена Брыль сочла необходимым сообщить именно вам о Петухове? Если между вашей дочерью и техноруком не было ничего связующего, отчего же Алена Брыль обращается к вам? Это первый вопрос... Второй таков: что вы ответили Але-не Брыль и что сделали при этом?

Боже мой! Чего хотел от нее этот человек с мальчишеским хохолком на макушке крупной головы? Он приехал в Сосновку для того, чтобы выяснить причины смерти Евгения Столетова, но почему он сказал ей, Лидии Михайловне Гасиловой: «Это до-прос!»? Какое отношение к смерти Столетова могла иметь Лидия Михайловна? Почему ее муж с появлением в Сосновке этого человека потерял покой—ходит по кабинету, не присаживает-ся, не останавливается, чтобы посмотреть на разноцветных ло-шадей?

— Что я сказала Алене Брыль?—прошптала Гасилова.—Я не помню, что сказала ей...

— Тоже возможно,—мирно согласился Прохоров.—Но вы не могли забыть про мельхиоровые сережки... Кстати, Алена Брыль выплатила уже полную их стоимость?

Лидия Михайловна сосредоточенно помолчала.

— Я не вижу ничего плохого в том, что продала Алене Брыль сережки, которые давно нравились ей,—наконец сказала она.—Я только не понимаю, почему вы спрашиваете об этом...

— Ну, это просто!—с хлебосольной улыбкой ответил Прохо-ров.—Вы ей продали сережки по сниженной цене, чтобы она не рассказала Людмиле о визитах Петухова к Анне Лукьяненко. Вы купили молчание—вот в чем суть вопроса.

Жена мастера Гасилова к этому времени растеряла не только вальяжность и выражение превосходства на белокожем лице, но и осанка-то у нее переменялась. Вялая, расслабленная, постаревшая женщина стояла на сосновской улице и просительно смотрела на капитана уголовного розыска.

— Мне надо идти, товарищ Прохоров! — тихо сказала жена мастера Гасилова. — Я опаздываю...

— Ради бога! — сказал он. — Ради бога!

Женщина удалялась, ее пляжная сумка потеряла разноцветность, а Прохоров все стоял на прежнем месте и думал о том, каким несчастным человеком был бы Евгений Столетов, если бы женился на Людмиле Гасиловой. Потом Прохоров тихонечко пошел по улице, продолжая размышлять и сравнивать... Людмила — Соня — Анна...

— Дяденька Прохоров! — услышал он мальчишеский голос и обнаружил себя сидящим на низкой скамейке возле палисадика незнакомого дома. — Дяденька Прохоров!

Дяденька Прохоров, оказывается, не только сидел в задумчивой отдыхающей позе, а успел снять пиджак и галстук, тщательно запрятаться в тень и даже обмахиваться прочитанной областной газетой.

— Дяденька Прохоров!

Перед капитаном стоял пилипенковский поклонник Слава Веретенников, малец лет десяти. Он вечно вертелся возле младшего лейтенанта, выполнял его мелкие распоряжения и был такой же важный, как сам Пилипенко. Сейчас Славка тяжело дышал, но босые ноги на земле держал строго — пятки вместе, носки врозь. Подбежав к Прохорову, он приложил руку к потрепанной кепке и вообще вел себя соответственно.

— Вольно! — сказал Прохоров и вдруг подумал: «Я, наверное, несправедлив к Пилипенко! Он просто-напросто хороший работник... Молодой, старательный, гордящийся своим милицейским положением».

— Дядя Прохоров, вам записка от дяди Пилипенко...

Младший лейтенант сообщал:

«Товарищ капитан! Кондуктор Акимов дал показания. Я уехал на лесосеку для проверки сведений товарища Лузгиной. Вернусь, как было приказано, к семи ноль-ноль».

Младший лейтенант РОМ Пилипенко.

Сообщаю также, что из города «Ракетой» прибыл парторг товарищ Голубинь. Состояние здоровья их супруги хорошее».

— Дяденька Пилипенко еще велели передать дяденьке капитану, что не надо ехать в район... Дядя Бойченко из комсомола сам приехал. Он ждет...

Славка запнулся, но закончил бойко:

— Он ждет товарища капитана в служебном расположении...
Вот!

Под командой Пилипенко находились мальчишки и постарше Славки. За незаконной торговлей — раньше времени — спирными напитками наблюдали восьмиклассники под руководством солидного Баранова; соблюдением противопожарных мер ведали подростки, расхаживающие в старых медных касках; порядком в поселковом клубе занимались почти взрослые люди — десятиклассники.

— Ты чего вылупился, Славка? — сердито спросил Прохоров. — Ты почему не дышишь?

— У меня насморк...

— В такую-то жару?

— Я перекупался...

— Тогда ты свободен!

— Есть, товарищ капитан!

5

Второй секретарь райкома ВЛКСМ Кирилл Бойченко был с головы до ног современен. Высокий рост, широкие плечи, узкие бедра, спортивная походка, каштановый цвет длинных волос, чемодан в руках — все это было из арсенала начала семидесятых годов, а форма чемодана чуточку опережала медленное сосновое время. Чемодан был черным, плоским, из числа тех чемоданов-папок, которые только недавно появились в обращении. Кирилл Бойченко наверняка привез чемодан из столицы — у него, видимо, были широкие связи в Москве. Шагая по улице, второй секретарь райкома комсомола чемоданом не взмахивал, его жесты были сдержанные, хотя ничего официального, учрежденческого в его внешности и в походке не чувствовалось.

— Называйте меня Кириллом, — попросил Бойченко после того, как вошел в кабинет и обменялся с Прохоровым крепким рукопожатием. — Так принято в комсомоле...

В черных легких брюках, в белой рубашке, ловкий в движениях, он походил на Женьку и его друзей — чуточку насмешливая улыбка, свобода в обращении, здоровая спортивность. Кириллу Бойченко отчего-то не мешал полуденный зной, в нем чувствовалась свежесть человека строгих житейских устоев, уверенность в том, что происходящее правильно, целесообразно и необходимо. Кирилл Бойченко сел на стул с таким видом, точно встреча с капитаном уголовного розыска была давно запрограммирована, хотя он узнал о желании Прохорова встретиться пятнадцать минут назад.

— Я слышал о вас, Александр Матвеевич! — сказал Кирилл. — Только вчера мы говорили о знаменитом капитане Прохорове.

Это, конечно, была не лесть, а открытое выражение доверия, словно Кирилл сказал: «Вы хороши на своем месте, капитан, мы — на своем, так давайте работать!» В нем вообще было сильным деловое начало, все было приспособлено к деятельности — одежда, чемоданчик, манеры, голос.

— Нам потребуется часа два, не больше, — задумчиво сказал Прохоров. — Еще утром я собирался ехать в район, чтобы встретиться с вами... А гора сама пришла к Магомету.

Уплатив за «знаменитого капитана», Прохоров почувствовал себя свободно.

— Меня интересует комсомольская деятельность Евгения Столетова, — сказал он. — Почему его выбрали секретарем? Это первый вопрос. А второй вопрос таков: знал ли райком комсомола о конфликте Гасилов — комсомольская организация лесопункта?

Прохоров перебрал в памяти анкету Кирилла Бойченко. Родился в сорок пятом году в семье московского инженера-химика; мать — журналистка; окончил факультет журналистики Московского университета, был назначен в областную газету сибирского города, после года работы в отделе писем увлекся комсомольскими делами — два года был инструктором обкома комсомола, потом решил перебраться в район, мотивировав это так: «Хочу начать с первооснов». Был известен как человек общительный, спокойный, твердый в отстаивании собственной точки зрения.

Сейчас Кирилл Бойченко сосредоточенно раздумывал, с чего начать, и по нему было видно, что оба вопроса были нелегкими, и Прохоров понимал, что Кирилла торопить не следует — ему сейчас было так же трудно, как за письменным столом, когда на чистом листе бумаги стоял только заголовок.

Пока Кирилл сосредоточенно молчал, Прохоров определился в пространстве и времени — было без пяти минут три. Полчаса назад приехал с лесосеки участковый Пилипенко, сообщил, что он, участковый инспектор, договорился с машинистом паровоза, который пообещал придерживаться той же скорости возле проселочной дороги на хутор, что была протокольно зафиксирована двадцать второго мая. Потом Пилипенко сказал: «Метеорологические условия будут полностью соответствовать условиям двадцать второго мая. Этот вопрос, товарищ капитан, я увязал с отчимом погибшего Столетова...»

Местонахождение Прохорова в пространстве выглядело так за окном потихоньку приходила в себя от жары Сосновка. Река Обь беззвучно и плавно текла к Ледовитому океану, несла на себе быстрый от одиночества буксирный пароход, лодки рыбаков еще не выбирались из тайных браконьерских мест, чтобы полавливать запрещенное — осетров и тайменей. На небе упрямо не существовало ни облака, ни тучи.

— Я начну с того, что Евгений Столетов был яркой лич-

ностью,— сказал наконец Кирилл Бойченко. — Он был так оригинален, что в райкоме комсомола кое-кто был против его кандидатуры в секретари...

Он помолчал, как бы давая Прохорову время обдумать сказанное, и, когда ему показалось, что собеседник способен понять и последующее, неторопливо продолжил:

— Это не похвальба, Александр Матвеевич, но самым горячим поклонником Столетова был я, курирующий организацию лесопункта... А сошлись мы с Евгением на литературе... Вы читали «Над пропастью во ржи» Селинджера?

— Читал. А что?

— Мы с Евгением однажды целый вечер говорили о ней. Вот с этого и началась наша дружба...

Черт возьми, что происходило в Сосновке и ее окрестностях! Только за год, подсчитал в уме Прохоров, шесть сельчан побывали в заграничных туристических поездках, девятнадцатилетний Генка Попов свободно говорил на английском, начальник лесопункта изобретал трактор, парторг Голубинь, уже имея одно высшее образование, заочно учился на историческом факультете педагогического института, тракторист и секретарь райкома сошлись на Селинджере!

Когда Прохорову было столько же лет, сколько сейчас Кириллу Бойченко, председатель колхоза имел четырехклассное образование, секретарь райкома ВЛКСМ ходил в драном полу пальто и спрашивал Прохорова: «Я с тобой уже поздоровкался?», заграница казалась далекой, как луна, слова «синекура» никто не знал, из американских писателей был известен только Теодор Драйзер, в районном центре бегало всего два легковых автомобиля марки «М-1» — первого секретаря райкома и начальника райотдела КГБ... Подумать только, что это было всего немногим больше двадцати лет назад!

— Селинджеровские утки потрясли Женю,— продолжал Кирилл.— Вы помните: в окружении Холдена Колфилда не нашлось человека, который мог бы ответить на вопрос подростка: «Где зимуют утки, когда замерзает пруд в центральном парке Нью-Йорка?» Женя сказал: «Хочется, чтобы всегда был человек, отвечающий на вопрос, где они зимуют».

В Кирилле, пожалуй, все-таки чувствовался Московский университет с его оттенком академичности, аристократизмом последних лет, огромной информированностью студентов и, по мнению Прохорова, отставанием от жизни.

Будучи выпускником юридического факультета Томского университета, Прохоров относился к московским коллегам с корпоративной отстраненностью.

— Меня подкупали в Столетове искренность, честность, работоспособность, умение быть верным в дружбе,— продолжал Бойченко. — Он был настоящим комсомольцем, но в силу оригинальности своего характера зачастую совершал несбдуманные

поступки, и его ошибки некоторым мешали увидеть достоинства Евгения, а они, несомненно, перекрывали его недостатки...

Кирилл вынул пачку сигарет с фильтром, повертел ее в пальцах, неторопливо распечатал целлофановую обертку.

— Много курите!— сказал Прохоров.— Полдень, а вы распечатываете свежую пачку.

— Это первая!— в ответ улыбнулся Кирилл, и капитан Прохоров сразу же подумал о том, что если человек с утра носит при себе сигареты, но не распечатывает их, то о нем можно думать как о человеке умеренных страстей. В Кирилле, наверное, жил тот легкий налет рационализма, который был свойствен некоторым парням из комсомольского руководства. Капитан Прохоров, собственно, ничего не имел против того, что ребята склада Кирилла Бойченко к жизни подходят с научными мерками, умеют и учатся раскладывать действительность по специальным полочкам. Сам Прохоров этим занимался с утра до вечера, но иногда при виде строгих костюмов и модных галстуков комсомельских вожakov элегически вздыхал по гимнастерке и телогрейке.

— Поставим точки над «i»!— сказал Кирилл.— Я поддерживал Столетова потому, что он мне казался типом комсомольца семидесятых годов. И для меня, конечно, не прошел бесследно инцидент с лектором Реутовым. Мне его впоследствии ставили в упрек...

Прохоров насторожился.

— Это, вероятно, произошло после того, как райком получил выписку из протокола собрания?

— Естественно!— ответил Кирилл.— Мне откровенно говорили: «Что посеешь, то и пожнешь... Тебя же предупреждали насчет Столетова...» Видимо, такой же упрек слышал в райкоме партии парторг участка Голубинь...

Они помолчали, потом Прохоров попросил:

— Расскажите об отчетно-выборном собрании, Кирилл... Оно, кажется, было в октябре...

— Собрание, пожалуй, было обыкновенным и состоялось действительно в октябре,— ответил Бойченко.— Большинство проголосовало за Евгения Столетова, а вот перед собранием Евгению был дан жестокий урок... Его вызвал для беседы парторг лесопункта Голубинь... В его кабинет мы вошли вместе с Женей. Парторг Голубинь сидел за маленьким письменным столом...

За семь месяцев до присшествия

...парторг Голубинь сидел за маленьким письменным столом, глядел на Женю благожелательно, задумчиво и, как всегда, был странен нездешним лицом, неожиданностью, непредугаданностью жестов. Голубинь был альбиносом, кожа на лице у него

была ярко-красная, а на шее — обыкновенная. Весной же на лице Голубиня выступали крупные частые веснушки, и это делало парторга до восхищения забавным.

— Садитесь, товарищи,— сказал Голубинь и, вместо того чтобы показать на стулья, сделал такой жест, словно отрицал что-то. — У нас есть необходимость торопиться...

Парторг был интересен Женьке... Сейчас он похаживал возле стола с таким выражением лица, которое было противоположным предстоящему разговору: речь, вероятно, должна была пойти о случае с лектором Реутовым, а у Голубиня на лице было написано совсем другое.

Кирилл Бойченко сказал:

— У райкома комсомола есть мнение рекомендовать на пост секретаря комсомольской организации Евгения Столетова... Может быть, у вас, Марлен Витольдович, будут какие-нибудь соображения, критические замечания?

Голубинь молча и неторопливо продолжал разгуливать по кабинету, хотя сам сказал, что надо торопиться.

— Предпочитаю говорить о том, чего вы ждете, товарищи! — наконец сказал Голубинь. — Мне хочется рассматривать этот вопрос не с одной стороны, а с нескольких.

Женька незаметно улыбнулся, так как все уже знали об удивительной способности Голубиня, работающего в Сосновке всего третий месяц, подходить к любому делу, даже к самому простому, с нескольких точек зрения, причем парторг иногда находил такие неожиданные стороны дела, что люди ахали.

— Мне есть необходимость подходить к делу не с одной стороны, а с нескольких потому, — сказал Голубинь, — что, видимо, райком комсомола решил взвалить ответственность на мои плечи...

То, что сказал Голубинь, было неожиданно, но еще более странно выглядел при этом сам парторг: он сделал не утверждающий, а отрицательный жест и не улыбнулся, а погрузнел.

— Я не буду говорить о той стороне, что перегораживание улицы выглядит хулиганством, — сказал Голубинь. — Нами также не может быть упущена та сторона дела, которая относится к области этики... — Он неожиданно мягко улыбнулся. — Интеллигентный человек не имеет обыкновения выставлять на обозрение общества недостатки другого человека, а проявляет при этом такт...

Было что-то мягкое, успокаивающее в том, что Голубинь, произнося правильные русские слова, забавно путался в падежах и склонениях. И смотреть на него Женьке было легко, хотя Голубинь говорил о неприятном.

— Главный сторона дела в том, что Евгений не относится к той категории людей, которые склонны предусмотреть последствия свой поступков, — по-прежнему мягко продолжал Голубинь. — Если бы он дал себе труд секундочку подумать, он бы

обнаружил, что перегораживанием улицы нанес вред антирелигиозной пропаганде.

Вот это и была та неожиданная сторона дела, когда пришлось удивленно ахать.

— Ко мне приходил тогурский поп,— неторопливо продолжал Голубинь.— Будучи очень умный и насмешливый человек, поп не упустил такую возможность, чтобы не выразить соболезнование. Поп имел большой праздник, когда товарищ Реутов, читающий антирелигиозные лекции, был скомпрометирован. Нет гарантии, что поп не выразил соболезнования райисполкому!

Голубинь мелкими шажками вернулся к столу, сделал такой жест, какой делает человек, когда собирается еще говорить, сел на место.

— Прошлое трудно исправлять,— сказал он.— Однако мы обязаны с позиции прошлого смотреть на будущее, делать коррективы в подходе к делам...

Женька сел прямо.

— После избрания на пост секретаря наш протезе будет иметь возможность расширить круг последствий необдуманных поступки,— сказал Голубинь с улыбкой и поправился: — Надо, наверное, сказать так: «Необдуманных поступков». Должность комсомольского секретаря — ответственная должность! Поэтому я хочу задать вопрос: обдумал ли наш протезе все сторона своей будущей работа?

И Женька Столетов опять увидел на лице парторга непредуганное выражение: глаза Голубиня должны были выражать желание узнать, понимает ли будущий секретарь предстоящие трудности, а на самом деле они были печальны и нерешительны. Сделав такое наблюдение, Женька вздохнул, прикрыв ладонями свои острые колени, задвинулся в угол дивана.

— Я не набиваюсь в секретари,— сказал он.— Есть Лузгин, Маслов, Соня Лунина...— Женька усмехнулся.— Зачем, собственно, меня пригласили?

Голубинь взял со стола три цветных карандаша — синий, красный, зеленый,— катая их в пальцах, сказал:

— Нам известно о желании большинства комсомольцев избрать вас секретарем.

Женька медленно поднялся с дивана.

— В школе есть смешная формула,— сказал он.— Там после очередной нотации принято спрашивать: «Ну, что ты понял, Столетов?»

Голубинь улыбнулся:

— Так что же вы поняли, Столетов?

— Я понял, что кончилась школа.

— Тогда мы имеем возможность пойти на собрание,— сказал Голубинь.

Они еще несколько секунд посидели молча, как перед дальней дорогой, затем одновременно встали...

Три часа сорок шесть минут показывал прохоровский сверхточный хронометр, когда Кирилл закончил рассказ о комсомольском собрании. Кирилл Бойченко курил уже третью сигарету, но внешне был по-прежнему спокоен, полон свежей энергии, одним словом, оставался таким же, каким вошел в кабинет.

— Против Столетова голосовало всего четыре человека,— сказал он.— Меня обрадовало, что эти четверо были отпетыми бузотерами и лентяями...—Он сделал небольшую паузу.—На второй ваш вопрос, Александр Матвеевич, ответить труднее. Вы спросили: «Что известно райкому комсомола о конфликте: Гасилов — комсомольская организация лесопункта?»

Кирилл Бойченко встал со стула, подойдя к окну, оперся спиной о наличник и посмотрел на Прохорова исподлобья.

— Райком не изучал конфликт,— медленно произнес он.— Дело в том, что многие в райкоме комсомола считали Столетова несерьезным человеком, а когда был получен протокол, в котором черным по белому стояло: «Собрание решило: усилить спортивную работу, не иметь ни одного комсомольца без комсомольского поручения и снять с должности мастера Гасилова»,— в райкоме комсомола долго веселились.

Кирилл спиной прикрывал половину окна, но Прохоров видел, как по Оби медленно двигался небольшой буксирный пароход, названный хорошо: «Лунный».

— Я тоже слишком поздно понял,— сказал Бойченко,— что за детскостью и внешним легкомыслием Евгения Столетова скрывалось настоящее, серьезное, подлинное... Поэтому вместо того, чтобы выискивать в главном, мы были заняты мелочами — разбором всяческих казусов, происходящих в организации Сосновского лесопункта.

Прохоров удивленно посмотрел на Бойченко:

— О каких казусах идет речь? Мне о них ничего не известно...

— Это естественно,— ответил Бойченко.— Мы старались не подрывать авторитет Столетова и работали с ним незаметно для окружающих...

Прохоров тоже встал, скрестив руки на груди, насупись. «Интересное кино получается,— сердито подумал он.— С человеком, жизнь которого я изучаю до тонкостей, оказывается, происходили казусы такого масштаба, что в них вмешивался райком комсомола, а я ничего об этом не знаю!»

— Кирилл,— слишком, пожалуй, громко попросил Прохоров,— вы мне должны рассказать об этом...

— Пожалуйста!— пожав плечами, ответил Бойченко.— Вскоре после отчетно-выборного собрания из комсомола был исключен Сергей Барышев, а бюро райкома не нашло в протоколе серьезных мотивов для исключения... Еще через месяц в райком поступило анонимное письмо о том, что Евгений Столетов морально разлагается — живет одновременно с тремя жен-

щинами.. Последней каплей, переполнившей чашу, было известие о забастовке наоборот. О ней мы узнали из письма того самого Сергея Барышева, который был исключен из комсомола. Я немедленно выехал в Сосновку... — Кирилл остановился. — Я приехал утром, когда Евгений Столетов уже был... Его уже не было в живых...

Они долго молчали, потом Прохоров спросил:

— Что это значит — забастовка наоборот?

— Не знаю, — ответил Бойченко. — Смерть Столетова помешала расследованию...

Кирилл Бойченко определенно нравился Прохорову. В нем не было ни капли фальши, он не играл в руководящего работника, был откровенен, когда признался, что слишком поздно поиял Евгения Столетова, и стоял он возле окна хорошо — ни веселый, ни грустный, ни настороженный.

Прохоров вышел из-за стола, протянул Бойченко руку.

— Спасибо вам за откровенный разговор, — сказал он. — До свидания, Кирилл!

Глядя на широкую, сильную и прямую спину уходящего Бойченко, капитан Прохоров думал о том, что это тоже хорошо — черный костюм из тонкой шерсти, узконосые туфли, белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей и распушенным узлом галстука. Затем Прохоров сел за стол, откинулся на спинку стула, думаяще прищурился... Исключение из комсомола Барышева, распутная жизнь и, наконец, забастовка наоборот. Что это значит, а? Не связано ли это с тем, отчего друзья Столетова замолкают в ту же секунду, как только речь заходит о событиях на лесосеке двадцать второго мая? Забастовка наоборот — что скрывается за этими двумя словами?.. Углубленный в размышления, Прохоров вздрогнул, когда на крыльце раздались тяжелые шаги и заскрипели половицы, а потом в дверь громко постучали.

— Входите, пожалуйста!

Дверь широко распахнулась, и в кабинет вошли маленький Никита Суворов и его огромная жена Мария Федоровна. Она могучей рукой держала мужа за воротник, отчего казалось, что Никита висит в воздухе. Позабыв поздороваться, Мария Федоровна зашипела рассерженной гусыней:

— Признавайся, идол, говори правду, а не то... Я не знаю, что с тобой сделаю, если ты не поможешь поймать убийца Столетова...

Заметив, что муж не пытается вырваться, она сняла руку с его воротника и подошла к столу, за которым сидел Прохоров.

— Никита готовый подписать все бумаги, — трудно проговорила она. — Я ведь чего испугалась, когда вы приходили в контору? Я думала, что вы Никиту в смертоубийстве подозреваете, а он, черт свинячий, оказывается, не хочет указать на

того человека, который Евгению смерть причинил... — Мария Федоровна шлепнула ладонью по столу. — Да ведь Столетовы нам как родные... Кто тебя от смерти спас, Никита, когда у тебя перитонит произошел? Мать Столетова... Кто нашего Андрейку от скарлатины лечил? Дед Столетова... Товарищ милиционер, доставайте ваши бумаги, Никита их подписывать готовый!

Прохоров не выдержал — улыбнулся, так как Никита стоял с таким лицом, словно его собрались вести на лобное место: маленький да еще съездившийся, он казался подростком рядом с Марией Федоровной.

— Товарищ милиционер, — в третий раз повторила Мария Федоровна, — доставайте ваши бумаги, он готовый их подписывать.

Взяв себя в руки, Прохоров с официальным видом вынул из стола протокол беседы с Никитой Гурьевичем Суворовым, положив на него шариковую ручку, строго произнес:

— Протокол вы подпишете потом, Никита Гурьевич. А сначала вы должны написать объяснение, в котором скажете, что никакой драки на берегу озера Круглого не было... Если вы не возражаете, я продиктую то, что следует написать...

Шагами лунатика Никита подошел к столу, осторожно опустился на стул, замедленным движением взял шариковую ручку. Лицо у него было несчастное, испуганное, робкое, но Мария Федоровна была непреклонна:

— Пиши, идолище, пиши!

Прохоров сел на подоконник, секундочку подумав, начал диктовать:

— Я, Никита Гурьевич Суворов, вечером двадцать второго мая этого года...

6

На следующее утро капитан Прохоров проснулся с ощущением удачи и не сразу понял, чем это вызвано, но, бросив случайный взгляд на письменный стол, улыбнулся. Ощущение удачи объяснялось просто: Никитушка Суворов дал такие показания, которые уже вели к цели.

В половине девятого Прохоров позвонил начальнику лесопункта Сухову и попросил прислать машину, о которой они договорились еще вчера.

— Машина выйдет за вами через пятнадцать минут! — деловито ответил Сухов. — Номер пятнадцать — шестьдесят три...

Прохоров завязывал галстук, когда за окном послышался звук автомобильного мотора, запыленный, пышущий зноем газик резко затормозил у крыльца. Из него медленно выбрался пожилой водитель, одетый в клетчатую ковбойку и толстые суконные брюки, на босых ногах у него были теплые домашние

тапочки. Шофер бесшумно поднялся на крыльцо, войдя в комнату, не поздоровался, а только неприветливо насупился.

— Кто тут будет Прохоров? — недружелюбно спросил он, хотя в кабинете, кроме Прохорова, никого не было. — Я спрашиваю, кто здесь будет Прохоров?

Губы шофера были брезгливо оттопырены, спина надменно пряма, в глазах читалось презрение ко всему человечеству, а теплые тапочки, надетые на босу ногу, как бы кричали: «Что хочу, то и делаю, а все вы гроша ломаного не стоите!» Увидев это и поняв водителя, Прохоров вплотную подошел к нему, замерев, начал пристально глядеть в глаза и молчал. Это походило на детскую игру в гляделки и длилось до тех пор, пока водитель не опустил взгляд.

— Значит, вы и будете капитаном Прохоровым? — пробормотал он.

Он и на этот раз не получил никакого ответа, так как Прохоров поступил просто — вышел на улицу и сел на переднее сиденье машины.

— Подвезите меня к Кривой березе, — коротко распорядился он.

На этом поединок между капитаном Прохоровым и водителем газика Николаем Спиридоновым не был завершен. Всю недолгую дорогу до Кривой березы водитель презрительно косился на Прохорова, что-то шептал про себя, а когда машину подбрасывало на ухабах и Прохоров инстинктивно хватался за металлическую скобу, мстительно ухмылялся.

Кривая береза на самом деле была кривой. Ее ствол метра на три поднимался из земли прямо, затем совершал такой крутой изгиб, что метра на полтора уходил в сторону; да, чудное это было дерево, но по-своему красивое, так как в отличие от обыкновенных берез на нем было так много листьев, что это уже казалось расточительством. Необыкновенная береза стояла в центре огромной солнечной поляны, испещренной цветами. Эта поляна была из тех полян, какие бывают в молодости каждого деревенского жителя — юноши или девушки — и о которой не забывают до последнего дня жизни... Над поляной поднималось волнистое марево, пахло разнотравьем, гудели в воздухе пчелы и осы, трава была высока — до пояса, солнце на поляне как бы растворялось, и от этого возникало желание броситься грудью на землю, пропитаться ее теплом, запахами травы и цветов, приложив ухо к земле, слушать непонятное гудение. Поляна звала гулять по ней с девушкой, рвать цветы и молчать, так как поляна сама разговаривала... «А вот у меня не было такой поляны, — с привычной грустью подумал Прохоров. — Какая там поляна, когда нельзя было высунуть голову из окопа...»

Вороной жеребец Рогдай, на котором мастер Петр Петрович Гасилов трижды в неделю совершал верховые прогулки, пасся на южном конце поляны; на нем не было ни пут, ни узды. Под-

няв голову, жеребец приглядывался к людям, ноздри раздувались, почуяв запах бензина. Это было прекрасное животное — небольшая змеиная голова, могучая выпуклая грудь, тонкие и длинные ноги, удлиненное, созданное для скорости тело. Когда Прохоров подошел к Рогдаю, жеребец потянулся к нему, осторожно и мирно переступая тонкими, ненагруженными ногами, лиловые глаза были постоно опущены, подвязанный хвост болтался, словно был лишним.

За спиной Прохорова что-то происходило. Шофер Николай Спиридонов тихонечко подошел к нему, остановился так близко, что Прохоров слышал злобное пыхтение. Молчал шофер, наверное, с полминуты, потом раздался его насмешливый голос.

— Спортили жеребца! — сказал он и мстительно захохотал. — Шестой год ничего не делает... Проездит на нем Гасилов, душеньку потешит, и опять Рогдаюшка пасется, как комолая пеструха...

Прохоров к водителю не повернулся, так как был занят другим делом — старался представить, как приходит к Кривой березе мастер Петр Петрович Гасилов. Вот он несет переброшенную через плечо красивую уздечку, седло — непременно монгольское — спрятано где-то рядом с березой; мастер шагает спокойно, лицо у него удовлетворенное, плечи горделиво развернуты. Увидев Гасилова, Рогдай призывно ржет, обрадованный, бросается к нему. Гасилов с улыбкой протягивает ладонь, на которой лежат несколько кусочков сахара, потом ласково и по-родственному похлопывает жеребца по холке...

— На трех меринов и одну кобылу жеребца выменял, — слышался за спиной по-прежнему злой голос шофера. — Четыре коняги при орсовской столовой работали, а Гасилов взял да и променял их на Рогдая... Говорит, надо товары и воду на автомобилях возить... Ну, и никто слова супротив не сказал — выше Гасилова начальства нету!

Прохоров уже видел, как Гасилов взнуздывает Рогдая, надевает седло, затягивает подпруги; глаза у него почти счастливые, голос ласковый: «Ну, постой на месте минуточку, постой, Рогдаюшка!» А вот Гасилов уже в седле. Это не просто всадник, это, черт побери, конный памятник, волнующее зрелище. «А самое обидное, — думал Прохоров, — что под Гасиловым жеребец хоть на секундочку, да превращается в Красного коня!»

— Жил-был на свете писатель Исаак Бабель, — обращаясь к жеребцу Рогдаю и солнечной поляне, сказал Прохоров. — И вот он написал: «Жизнь нам казалась лугом, лугом, по которому ходят женщины и кони». — Прохоров помолчал. — А потом появился человек и заменил в этой фразе слово «ходят» на слово «пасутся»...

Капитан Прохоров резко повернулся к шоферу, глядя снова пристально в его наглые глаза, сказал:

— Евгений Столетов не ошибся: слово «пасутся» точнее вы-

ражает суть дела... Что вы думаете насчет этого, товарищ Спиридонов?

Шофер огорошенно молчал, нижняя губа у него оттопырилась, он переступал с ноги на ногу в своих домашних тапочках.

— Так что вы думаете об этом, товарищ Спиридонов? — сухо переспросил Прохоров.

Глухо стукнули о землю некованные копыта, Рогдай медленно обошел опасное растенне вех, расставив задние ноги, лениво помочился на теплую траву. Ко всему на свете безразличный, жеребец уже не помнил о Прохорове, притерпелся к запаху бензина; он снова жил в привычной, скучной, обыденной обстановке поляны, похожей на громадный обеденный стол.

— Почему вы молчите, товарищ Спиридонов? — дружеским тоном спросил Прохоров. — Вы же сами подошли ко мне и начали разговор, а вот теперь молчите...

Прохоров про себя усмехнулся: пока он наблюдал за Рогдаем, шофер Николай Спиридонов вернулся в свое обычное состояние — плотно сжатые губы, выпяченный подбородок, презрительно сощуренные глаза, пренебрежительно прямая спина. Весь этот арсенал был пущен в бой и на этот раз не против всего человеческого рода, а только против одного Прохорова.

— Кожаная подошва или резиновая? — мирно спросил Прохоров, показывая на тапочки водителя.

Вопрос был таким будничным, простым и неожиданным, что шофер только фыркнул:

— Резиновая, где ты теперь возьмешь кожаную...

— Удобная вещь! — завистливо вздохнул Прохоров. — Шнуровать не надо, носков надевать не надо, портянки вертеть не надо... Вскочил с постели, поел наскоро — и за руль...

Собственно говоря, неторопливо размышлял Прохоров, шофера Спиридонова нельзя было целиком и полностью обвинить в том, что он презирает каждого пассажира в отдельности и все человечество в целом; с шофера не следовало взыскивать за ношение домашних тапочек в рабочее время, если мастер Петр Петрович Гасилов в рабочее время трижды в неделю совершает променаж на жеребце Рогдае.

— Презираете меня? — ласково обратился Прохоров к шоферу. — Стоите, ухмыляетесь и думаете: «Чего выламывается этот милиционершко, который не захотел пройти ножками полтора километра, а потребовал машину!» Ну, признавайтесь, что думаете так, Николай Васильевич?

Шофер был в таком возрасте, когда здоровому и загорелому человеку можно дать и тридцать лет и пятьдесят. Николаю Спиридонову, пожалуй, было пятьдесят, так как кожа на шее была уже немолодой.

— Нам все равно, кого возить и куда возить, — плюнув в сторону, ответил шофер. — Нам что поп, что попадя — один черт. Шесть часов набейт — и меня поминай как звали!

Рогдай перестал щипать траву. Понутив голову, он стоял неподвижно, и было понятно, что жеребец заснул на ходу.

— Кого вы больше любите возить, Николай Васильевич,— спросил Прохоров,— Сухова, технорука Петухова или мастера Гасилова?

— Всех ненавижу! — неожиданно быстро, горячо и громко ответил водитель. — Ненавижу! Презираю!

После этой искренней вспышки гнева и презрения шофер Николай Васильевич Спиридонов взял да и превратился в обыкновенного человека. У него были карие умные глаза, отличной формы подбородок, полные губы и волевой изгиб левой брови; у него было хорошее рабочее лицо, противопоставленное и презрительным улыбкам, и натянутой гордой спине, и тапочкам. Было ясно, что на «руководящем» автомобиле Спиридонов работает недавно, что пришел он к газику с лесовозной машины.

— Давайте отделим одного начальника от другого,— весело предложил Прохоров.— Оставим в стороне Сухова и Петухова, а останемся на Гасилове. За что вы его ненавидите?

— За все! — ответил шофер. — Когда я везу Гасилова, я из него душу вытрясаю, как вот из вас вытрясал...

— А за что вы его так ненавидите? — спросил Прохоров. — Мне хочется понять, за что вы так ненавидите мастера.

Шофер сорвал травинку, сунул ее в рот, задумался.

— Я сам не знаю, за что ненавижу Гасилова,— искренне ответил он. — Мне все противно в нем. Как он потирает руки, как здоровается, как разговаривает, как ездит на Рогдае... Он и бригадира себе подобрал... Одно слово — Притыкин...

Они помолчали, затем Прохоров сочувственно покачал головой.

— Да, такое случается,— сказал он. — Не можешь терпеть человека, а сам не знаешь, за что... У меня к вам еще один вопрос, Николай Васильевич... Кого вы везли в машине, когда первый раз в жизни вышли на работу в тапочках?

— Гасилова! — не задумавшись ни на секунду, ответил шофер.

Легкий ветер с юга пронесся над солнечной поляной, Кривая береза зашелестела и сделалась седой, так как ветер перевернул листья наизнанку. Поляна была сейчас похожа на взбудораженную реку.

— Николай Васильевич! — попросил Прохоров. — Покажите место, где погиб Евгений Столетов и по какой тропинке любит ходить к Кривой березе сосновская молодежь...

Спиридонов согласно кивнул:

— Идите за мной.

Раздвигая руками высокую густую траву, они вышли на северный край поляны, свернув налево, оказались на довольно широкой, хорошо утоптанной тропинке. Молча показав на нее пальцем, Спиридонов пошел по ней к полотну железной дороги,

где тропинка, взобравшись на полотно, перепрыгнула через рельсы и потекла дальше.

— Мы пришли на место,— тихо сказал Спиридонов.— Если вы перейдете через железную дорогу, то попадете на хутор, если пойдете обратно, то попадете к Кривой березе...

Прохоров медленно двинулся вдоль полотна железной дороги и, конечно, нашел то, что искал: лежал на высохшей от зноя земле небольшой белый камень, росла вокруг него густая и мягкая трава, полотно было песчаным, мягким, и не верилось, что, спрыгнув с поезда, человек мог удариться затылком именно об этот камень. Из миллиона различных вариантов на долю Женьки Столетова выпал самый страшный...

— Хороший был парнишка!— послышался за спиной голос Спиридонова.— Таких больше нет в деревне...

Казалось фиолетовым безоблачное небо, головки цветов и травы пошевеливались, в двухстах метрах от железной дороги стоял спал жеребец Рогдай. Было тихо, мирно, томно. В мире все было таким, что казалось: смерти не существует...

Прохоров решительно распорядился:

— Возвращаемся к машине, Николай Васильевич... Мы должны немедленно ехать на лесосеку, чтобы попасть к нужному нам поезду...

Ровно через двадцать минут капитан Прохоров приехал на лесосеку, попрощавшись с водителем, подошел к кондуктору Акимову и машинисту паровоза. Они о чем-то коротко поговорили, и Прохоров взобрался на тормозную площадку груженной платформы. Через две-три секунды после этого паровозик оглушительно тонко закричал, лязгнули игрушечными буферами платформы, состав дернулся и начал набирать скорость.

Не прошло и десяти минут, как Прохоров понял, что на ходу игрушечный паровозик и игрушечные платформы казались совсем не игрушечными; еще на выходе из лесосеки состав набрал примерно шестидесятикилометровую скорость, тяжело груженные сцепы заскрипели, застонали, в пространство между ними бросился тугой, упругий ветер, откосы дороги сливались в такую же стремительную линию, как на ходу обычного поезда, а езда на тормозной площадке узкоколейного паровоза ничем не отличалась от езды на площадке обычного, ширококолейного поезда.

Выбравшись на магистраль, узкоколейный паровозик еще прибавил скорость; ветер бешено завихрялся между платформами, а с бревнами творилось бог знает что: обхваченные цепями и крепкой проволокой, они грозно раскачивались, скрипели, скрежетали; торцы бревен казались живыми, подвижными, и было вообще непонятно, как сосновые стволы удерживаются на платформе, как не лопаются цепи, как весь состав не сходит с рельсов,

которые не только прогибались под колесами, но в иные секунды — это Прохоров видел собственными глазами — отдельные колеса оказывались висящими в воздухе, а в одно из мгновений лишилась рельсовой опоры целая вагонная тележка. Прохоров в этот момент закрыл глаза.

Однако паровозик все еще набирал скорость, воздух между платформами продолжал уплотняться, из-под неисправной тормозной колодки в серый мрак летели веселые искры; паровозик то и дело задиристо вскрикивал, и на крутых поворотах было видно, как суетливо, задыхаясь, мельтешат штоки поршней, с огромной скоростью вращаются крошечные колеса, а из трубы валит такой черный, густой дым, которого на широкой колее не увидишь, так как на ней паровозы топят не дровами, а отборным углем. Из паровозной будки высовывалась голова машиниста, он спокойненько посматривал вперед.

Перестав беспокоиться за судьбу состава и за самого себя, Прохоров устало улыбнулся, сел на откидную скамейку и закрыл глаза... Итак, он ехал той же дорогой, которой возвращался домой двадцать второго мая Евгений Столетов, сидел на той же тормозной площадке, на которой сидел погибший; платформа тоже была пятой по счету от паровоза, как в тот трагический майский день.

Время уже откусило у полной луны небольшую краюшку, луна шла на ущерб, но свет ее был еще полон и глубок; луна охотно бежала запоедом, стояла ожидающе на месте, когда поезд совершал головокружительный поворот, суетливо перепрыгивала через вершины близких к железной дороге высоких сосен. Тайга, облитая желтым светом, казалась таинственной, притаившейся, деревья сделались отчетливыми, контурными, словно их вырезали из черной бумаги и приклеили на желтое. Когда тяжелый состав вписывался в крутые повороты, впереди и позади поезда видны были две блестящие полоски рельсов, похожие на серебряные паутинки, что осенью плавают в голубом небе.

Минут через тридцать Прохоров встал, подошел к левой подножке тормозной площадки, задохнувшись от встречной струи воздуха, по километровым столбам определил, что до места происшествия оставалось чуть больше трех километров: Платформу трясло и покачивало, приходилось держаться руками за поручень и деревянную стойку, из-под левого ската впереди идущей платформы по-прежнему брызгали в стороны мелкие красноватые искры. «Вот в такой позе мог находиться Столетов перед прыжком, — размышлял Прохоров. — Он мог стоять и в другой позе, если готовился к схватке с Заварзиним. А третий вариант таков: Столетов стоял спиной к железнодорожной насыпи...» Прохоров обернулся назад, чтобы представить себе, где мог стоять Аркадий Заварзин, если он на самом деле находился на этой же тормозной площадке.

Аркадий Заварзин стоял, видимо, возле второй деревянной стойки, блестела во рту золотая фикса, были ласковыми красивые влажные глаза, профессионально ссутулены плечи. За несколько минут до рокового прыжка Столетова или за несколько минут до того, как Столетова столкнули, на тормозной площадке произошло что-то решительное, что-то изменилось в расстановке сил, возникло какое-то изменение в позах Столетова и Заварзина, в выражении их лиц, душевном состоянии... Почему Столетов прыгал с поезда недалеко от Кривой березы, было ясно и первокласснику, а вот по какой причине Аркадий Заварзин столкнул Евгения почти в конце пути, оставалось загадкой, если... если Заварзин был на самом деле виновен... Значит, происходило что-то такое, что изменило соотношение сил. Смутно все, загадочно, хотя... «Опять хочешь иметь ружье-сковороду! — остановил себя Прохоров. — Ой, сколько раз ты горел на спешке! Неужели ты ничему не научился, Прохоров?»

На последнем повороте перед Кривой березой паровоз загудел длинно, призывно, предупреждающе, словно сообщал близкой Сосновке, что благополучно возвращается из темного, страшного леса в ее уютные, светлые дома и что капитану Прохорову пора готовиться к прыжку. Перестав кричать, плавно вписавшись в поворот, поезд пошел со скоростью пятьдесят километров в час, и это была такая скорость, с какой любой состав выходил из поворота возле Кривой березы. Таким образом, обстановка была точно такой, как двадцать второго мая. Прохоров застегнул пиджак, поправил брючный ремень, приготовился — платформа по-прежнему раскачивалась, как детская люлька, убегающая назад обочина сливалась в серо-лунную полосу, ветер резал глаза.

...За минуту до прыжка Прохоров настроил себя таким образом, что спиной как бы почувствовал Аркадия Заварзина, решив, что в стуке колес и в свисте ветра можно услышать его шаги и движения, приготовился и к прыжку и к драке с бывшим уголовником. Потом капитан Прохоров ощутил всем напряженным телом, как страшно прыгать с платформы, имея за спиной вооруженного ножом Аркадия Заварзина.

Прохоров осторожно поставил левую ногу на подножку, держась правой рукой за поручень, высунулся в гудящее от ветра пространство; потом наклонился вперед так, как наклоняется перед стартом бегун. Глядя на последний вагон поезда, он дождался, когда трижды ярко вспыхнул кондукторский фонарь — это кондуктор Акимов предупреждал Прохорова о том, что через тридцать секунд надо прыгать. Он неторопливо досчитал до тридцати и расчетливо, стремительно бросился в мчащийся навстречу лунность, упругий поток воздуха, в катастрофическую неразбериху земли, неба и тайги... Затвердевшая земля ударила Прохорова по ногам, ветер полоснул по разгоряченному лицу, жутко блеснул в лунном свете небольшой камень, о который

ударился головой Евгений; потом земля и небо на секунду перевернулись, поменялись местами, и земля притянула голову Прохорова к себе, но он не хотел этого и с бешеной скоростью переставлял ноги, которые отставали от туловища и головы, и это было очень и очень опасно. Страх упасть на землю, удариться о нее с огромной силой длился две-три секунды, которые показались Прохорову вечностью, затем — неизвестно как и почему — он начал выпрямляться и выпрямился совсем, когда оказался примерно в ста метрах от белесого камня, похожего на череп.

Остановившись, запально дыша, Прохоров инстинктивно огляделся: мелькнул хвостовой вагон поезда с раскачивающимся красным фонарем; паровозик в честь удачного прыжка Прохорова восторженно запищал, а затем наступила такая тишина, в которой отчетливо слышалось учащенное биение прохоровского сердца. От волнения Прохоров не мог стоять на одном месте и поэтому пошел по откосу, хотя ему надо было идти к Кривой березе, от которой до поселка всего полтора километра. Он шел и думал о том, что Женька Столетов не мог совершить неудачный прыжок, так как, по утверждению Андрея Лузгина, они еще мальчишками прыгали с платформы возле Кривой березы.

«Куда я иду?» — наконец опомнился Прохоров и остановился. Кривая береза оставалась позади, знаменитая поляна была похожа на огромный яичный желток, жеребца Рогдая не было, так как именно сегодняшним вечером на нем гарцевал Гасилов, а после прогулки оставил Рогдая в пустой конюшне. Кривая береза в лунном свете походила не на березу, а на какое-то южное дерево и была менее красива, чем при солнечном освещении.

Кривая береза, Кривая береза! До нее доходили в совместных прогулках технорук Петухов и Людмила Гасилова; они могли стоять под березой, когда Женька Столетов спускался на подножку, потом висел над бездной и ему навстречу уже летел белый камень. Испуганно и предупреждающе вопил крошечный паровоз, Людмила безмятежно улыбалась, Петухов думал о свадьбе... Затем смерть, небытие, господь бог верхом на серебряном облаке...

Все та же надкушенная луна светила в окна пилипенковского кабинета, стрелки сходились уже на двенадцати, а Прохоров, закинув руки за голову, все лежал, лежал ничком на раскладушке. Давно затихли в деревне всяческие звуки, было тихо, лаяли только собаки, но это не нарушало тишину, а делало ее еще более емкой, так как деревенская тишина без собачьего лая казалась бы искусственной.

Сначала Прохоров думал о дорогах на хутор и к Кривой березе, которая вот уже лет пятьдесят наблюдала за всеми

влюбленными парочками поселка, потом направление мыслей менялось в сторону Петра Петровича Гасилова и Аркадия Заварзина, так как Прохоров давно, то есть три дня назад, связал их одной веревочкой, хотя сам еще отчетливо не понимал, почему это сделал... В окна струился свежий речной воздух, в кабинете горела настольная лампа, абажур которой Прохоров накрыл зеленым носовым платком. Наверное, поэтому в кабинете было по-домашнему уютно, но Прохорова не интересовал внешний мир, в котором не могло быть спокойно и уютно до тех пор, пока не решится вопрос: «Столкнули ли Евгения Столетова с тормозной площадки или он сам совершил неудачный прыжок?»

Прохоров вернулся в реальный мир только тогда, когда нервно и одновременно весело зазвенел телефон. Прохоров поднял трубку и сразу же нахмурился, так как услышал вечно игривый и насмешливый голос майора Лукомского:

— Это ты, Проша? Здорово, парнище, ступай себе мимо... Как ты там живешь-можешь?

— Здорово, Луковица! — недовольно отозвался Прохоров и тут же обругал себя самыми последними словами, ибо он вместе со всеми старыми работниками областного управления милиции радовался тому, что за последние годы в стенах кирпичного мрачного здания создалась легкая, веселая обстановка вышучивания, насмешливо-иронического отношения друг к другу, за которым скрывались приязнь и дружба. Это объяснялось тем, что за последние год-два на работу в управление пришло много молодых интеллигентных ребят, что погоны Министерства внутренних дел надевали кандидаты наук и даже доктора. Половина работников управления по вечерам занималась английским языком, ребята чаще обычного выезжали за границу, подолгу жила в Москве, повышая профессиональный уровень. Капитану Прохорову все это нравилось, он, как мальчишка, радовался притоку свежих сил, охотно и быстро сходил с неопытными оперативниками, умел жить в обстановке дружеских подначек и вышучивания. Обладавшие развитым чувством юмора, молодые работники были умны, трудились много и охотно, легче тех людей, которые чувством юмора не обладали, переносили темную изнанку милицейской жизни. Майор Радий Лукомский был из числа тех, кто пришел в управление со званием кандидата юридических наук.

— Здорово, Луковица! — перестав хмуриться, оживленно повторил Прохоров. — Рад тебя слышать, старая перечница. Ну, реки, чего тебе от меня надобно, старче.

— Мне от тебя ничего не надо, — ответил Лукомский. — Тебя вызвал Борисевич, а трубку первым я поднял. — Он помолчал. — Мы все здесь соскучились по тебе, так что приезжай скорее, дружище. На радостях преферансик сообразим... Будь здоров, Проша!

— До свидания, Луквица, спасибо за добрые слова...

Полковник Борисов трубку, видимо, взял не сразу, а сначала — вот аккуратная зануда! — распутал свернувшийся провод, положил его кольцами на стол и уж тогда начал:

— Здравствуй, Александр Матвеевич! Завидую я тебе. Сидишь, понимаешь ли, под луной, пьешь, понимаешь ли, свое любимое парное молоко, заедаешь его, понимаешь ли, барским пшеничным хлебом, а тут изгой за тебя вкальвуют... — Он, видимо, иронически улыбнулся в трубку. — Нет, серьезно, Прошенька, хотел бы я знать, что ты делаешь в Сосновке, когда, по твоим же соображениям, дело окончательно раскручено. Ты, часом, не женился там, Проша? Знакомым женщинам и друзьям не зеонишь, буквально, понимаешь ли, оторвался от коллектива.

Трубка помолчала, затем Борисов изменившимся голосом сказал:

— Вера четвертую ночь плохо спит, Прошенька, глаз до рассвета не смыкает после того, как ты с ней миленько поговорил по квартирному вопросу, а ведь тебе скоро ключики получать, уважаемый Александр Матвеевич. Комиссар позавчера сказал: «Прохорову надо обязательно двухкомнатную дать!» Вот так, Прошенька! В таком разрезе!

Прохоров отчетливо представил, что произошло после того, как Борисов замолчал, — он убрал трубку от уха и стал ею поматывать в воздухе с выражением неудовольствия на розовом сытом лице. Манипуляцию с трубкой полковник проделал потому, что она была очень громкой и все, кто в это время находился в комнате, могли услышать ответ Прохорова. Поэтому капитан ничего не ответил полковнику и дождался-таки неторопливого вопроса:

— Ты почему молчишь, Прохоров? Тебе не молчать надо, а молнией возвращаться в город... У нас тут, черт возьми, такая история заварилась, что... Трубка эту историю не выдержит, Проша! Ну, не молчи, разговаривай, упрямый и злой ослище...

— Святослав! Ты меня послушай, Святослав! — наконец негромко сказал Прохоров. — Я такое дело раскручиваю, какого у меня никогда еще не бывало... Ты прости меня, дружище, за высокие слова, но я кручусь возле важного конфликта нашего времени... Да, да, Слава, я опять философствую, но я просто не имею права закрыть дело, не узнав, кто такой Гасилов и что такое гасиловщина...

— По протоколам Сорокина никакой Гасилов не проходил, — удивился Борисов.

Прохоров засмеялся.

— По протоколам следователя Сорокина не проходит и технорук Петухов, в нем даже нет намека на начальника лесопункта Сухова... Так не прикажете ли вы мне, товарищ полковник, превратиться в следователя Сорокина?

— Не сердись ты на нас, грешных, Проша! — мирно и дружелюбно отозвался Борисов. — Я отлично понимаю тебя, верю,

что дело серьезное, а ведь тороплю потому... Ты войди-ка в мое начальническое положение. В Погарском районе вскрыт сейф с очень крупной суммой денег, а в управлении таких знатоков Погарского района, как ты, нет. Вот и лежит дело без движения, а оно взято под контроль обкома партии...

Голос полковника Борисова внезапно сделался строго официальным, зазвучали в нем начальнические, басовитые нотки.

— Прошу вас, товарищ Прохоров,— распорядился Борисов,— ежевечерне телефонировать о деле Столетова. — И после официальной паузы: — За квартиру не беспокойся, Прохоров. В случае непредвиденных затруднений поднимем на ноги комиссара и все областное управление. До свидания, товарищ Прохоров!

В трубке зашелкало, загудело, голос районной телефонистки объявил: «Разговаривали десять минут!» — потом трубка так резко заглохла, словно ее отрезали от провода. Прохоров осторожно положил трубку на рычаг, отойдя от телефона как можно дальше, посмотрел на него тоскливо. А как же он мог вести себя иначе, если он только что разговаривал с хорошими людьми, верными друзьями, умными коллегами, а сам вел себя как последний негодяй? Прохоров был заносчив и груб с друзьями, себялюбив и надменен, словно он самый лучший и самый умный, а все остальные... Он почувствовал к себе такое отвращение, что ушам стало жарко. Ведь если разобраться как следует, то окажется, что он, Прохоров, такой противный тип, которого могут переносить только очень добрые и великодушные люди. Обычный человек давно бы послал Прохорова к чертовой матери, а не заботился бы о его квартире, не узнавал бы, как спит женщина, которая любит Прохорова, не поднимал бы все управление на защиту будущей двухкомнатной квартиры этого Прохорова. И что вообще происходило вокруг Прохорова и Веры? Почему все сослуживцы, включая комиссара милиции, заботятся даже о том, чтобы Прохоров женился на Вере? Чего, собственно, хочет от жизни зануда Прохоров, избалованный удачными делами, окруженный вниманием друзей, любовью одной из самых красивых и умных женщин областного города? Кто он такой, черт побери, этот капитан Прохоров, что имеет право мучить Веру, разговаривать с ней сквозь зубы, не звонить по два дня и таким образом отвечать на вопрос о квартире, что слова могли быть истолкованы только так: «Я тебя не люблю, Вера, и не собираюсь на тебе жениться!» Зазнавшийся сухарь — вот кто такой капитан Прохоров. Всех-то он учит, всем-то он читает лекции, неодобрительно относится к новому в милицеской работе, не понимает хорошую музыку, сто лет не был в театре, хотя в нем работает Вера. Стыд! Позор! А если к этому добавить сообщение о том, что капитан уголовного розыска Прохоров — трус, то получается такая ужасная картина, какой белый свет не видывал. Да! Он трус, трус и трус! Он, Прохоров, любит Веру, но боится жениться на ней, так как она актриса, самая, пожалуй, красивая женщина в городе и...

А ведь существуют на земле люди, которые умеют любить страстно, по-настоящему, не боятся повернуться спиной к Аркадию Заварзину с его ласковой улыбкой и рукой, сжимающей в кармане нож. Имя такого человека — Евгений Столетов, ему было всего двадцать, когда он погиб, но Прохорову надо поучиться у Женьки уму, смелости, умению любить, ненавидеть, веселиться, страдать, петь, разговаривать, дружить, болеть, ходить по земле. Вот это был человек! Какие письма писал он Людмиле, как любил ее, как ненавидел все фальшивое, наносное, чужое!.. Прохоров медленно подошел к столу, бесшумно выдвинул ящик, вынул стопку писем, перетянутых Людмилой Гасиловой розовой лентой; от писем пахло девичьими духами, ломкий крупный почерк на конвертах был похож на Женьку Столетова: буквы были наклонены вперед, стремительно двигались куда-то с развевающимися закорючками; буквы были такими, что при виде их захватывало дыхание — с такой силой они выражали жажду жизни, любовь, нежность, молодость и неверие в смерть...

Луна откушенным краешком желтела в окошке, слышалось, как струится ночная Обь, как ходит по крыше дома осторожный ничейный кот...

За два года до происшествия

...«Людка, родная, хорошая!

Вот я и добрался до областных цивилизаций, вот из окна нашей комнаты виден купол университета. Сейчас по улице Фрунзе движется злодей-трамвай, скрипит по-птичьи и не дает спать деревенщине. Поэтому я встал, позавидовал Андрюшке, который дрыхнет на всю катушку, и сел за стол.

Я тебя люблю, Людка, это так же верно, как то, что я сижу в студенческом общежитии и гляжу на Андрюшкин круглый затылок. Позавчера на палубе парохода «Пролетарий» я шел вдоль борта, смотрел в воду, собирал пальцем пыль с деревянных лееров и вдруг сделался таким счастливым, что заняло сердце. Это от солнца, от воды, от чаек, от приближающегося города, а главное, от того, что живет на свете такая смешная и нелепая девчонка, как Людка Гасилова. Она любит меня, я люблю ее, и мы так счастливы, что весь мир завидует нам.

Людка, чудище сероглазое, человеку, наверное, неприлично быть таким счастливым, как я. Есть еще... Ну, нет, об этом я писать не буду, ты не любишь мою скучную философию, и ты права, права! Тебе, Людка, надо жить солнцем, лесом, рекой, старым осокорем на берегу, который я очень любил... Ты подойди-ка завтра к нему да посмотри, как себя чувствуют наши «Е» да «Л», вырезанные всего четыре дня назад. Господи, неужели это было только четыре дня назад?! Кажется, год прошел с тех пор, как я сижу на подоконнике университетского окна.

Ты, наверное, хочешь спросить, что интересного я видел в городе? Ничего еще не видел. Серьезно, как говоришь ты, серьезно — я ничего не успел разглядеть, хотя народишку вертится вокруг много. Но все это пустяки! Главное: мы любим друг друга.

Оказывается, любимая моя, не врут люди и книги, когда утверждают, что матерям пишут реже, чем таким нелепым и смешным девчонкам, как ты, родная моя. Поэтому передай моим родителям, что я жив и здоров, а если захочешь, скажи, что Женька Столетов адски скучает по любимой.

Спокойной ночи, хорошая, спи спокойно, родная моя! Есть на земле Женька Столетов, который все время думает о тебе. Идет по проспекту Ленина — думает, толчется в приемной комиссии — думает, ворчит на струсившего экзаменов Андрюшку — думает о тебе, снимает со старенькой автоматической ручки крошку табака — думает о тебе, ежится от пороссячьего трамвайного визга — думает о тебе. Привет; привет всей Сосновке! А тебя я целую сто раз. Почему над нами нет густой кроны Кривой безы?

Женька».

«Вставай, не спи, кудрявая, в цехах звеня...

С этой песней, Людмила свет Петровна, я кажинный божий день бужу всесоюзного соню Андрюшку Лузгина, уываю и одеваю его в пурпурные одежды, кормлю манной кашкой, а потом, сняв слюнявчик, веду за рученьку в читальный зал библиотеки, где в эти дни сосредоточены все будущие звезды мировой науки. Читальный зал, Людмилушка, похож на машинный зал большого завода, только вместо станков установлены крохотные двухместные столики. Ты уже, наверное, догадываешься, девочка моя хорошая, что на первой странице учебника обской богатырь Лузгин начинает похрапывать, вызывая справедливое негодование библиотечной челяди, и я сорок процентов рабочего времени трачу на приведение в чувство обского Ильи Муромца плюс Алеши Поповича плюс Добрыни Никитича.

Знаешь, Людка, как я его привожу в человеческое состояние? Я его щиплю за толстый, бронированный бок, если это не помогает, дую ему в ухо, а коли и этого мало, пальцами сдавливаю ноздри. Понятно, что окружающие нас гении покатываются со смеха, а библиотечное начальство грозит выставить меня из зала. Почему меня? Да потому, черт побери, что Андрюшка спит в позе внимательно читающего человека. Он, прохвост, и книгуто не выпускает из рук... Вот сейчас наступает момент, когда Андрюшка заснет, и я готовлюсь принимать решительные меры...

Я тебя люблю, люблю и люблю! До вечера, хорошая моя! Вечером я напишу второе письмо, и оно будет длинным, так как Андрюшка будет спать легально.

Твой Женька».

«Здравствуйте, невестушка Людмила Петровна!

В первых строках своего письма соопчаю, что мы со сватом Андреем Анатольичем живы и здоровы, чего и вам желаем. Сало у нас ишо не кончилось, маненько ишо копченых стерлядок да чебаков осталось, а варенье мы ишо и не начинали, как оно шибко сладкое. А также передавайте наш низкий поклон дружкам Борису Василичу Маслову, Геннадию Ивановичу Попову, куме Соне Луниной, хрестному Викентию Алексеевичу Радину, а также обоим матерям да папеньке с отчимом. Желаем вам здоровья, счастья, пропишите нам, не опоросилась ли Машка у Веретенниковых, а также про то, ходит ли Зорька, то ись корова Геннадия Ивановича, в стадо, как она очень уросливая и нравная, все от пастуха деда Сидора убегала, так она теперь, может, по-прежнему бегаёт. Ишо нам интересно, какой разворот получился с тою коровой, что купили сваты Лузгины, неужто попрех даёт до двадцати литров, тогда нам можно бы маслишка подбросить, как мы наострились ржаной хлебушко маслушком намазывать, горячей водой запивать, а больше ничего ишо не хотим, окромя этого. Во вторых строках соопчаем также, что очень рады за Ваш разговор с Вашей мамашей насчет того, что ежелише мы поступим в институт, то Вам позволят поехать в город, а сват Андрей Анатольевич разузнали, что женатому скубенту со временем могут дать комнату в общежитке, а если обретаться на частной фатере, то институт будет четыре рубли каждый месяц приплачивать, так что нам с Вами останется шешнадцать рублей докладать. В третьих строках своего письма соопчаем, что погоды тут стоят хорошие, картошку народишко уж давно посадил, скоро цвести будет, огурцы всходят ничего себе, дружно, насчет моркошки ничего сказать не можем, как огороды здесь все за высокими заборами. Но слыхивали мы от добрых людей, что осень назреет дождлива, так пушай мамаша свата Андрей Анатольевича картошку копать поторопится, не как в прошлом годе, что у всех убрана, а у них ишо и не копана, и что в этом хорошего, в этом хорошего ничего нету, окромя как сгноить. В четвертых строках соопчаем, что мы Вам низко кланяемся, желаем Вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни, приятных снов, а также чтобы Вы ту кофточку, котора розова, благополучно довязали, она к Вашим глазам, любезная невестушка Людмила Петровна, очень пойдёт, Вы в ней будете такие красавицы, что нам, видать, придется ненароком приехать, морды Геннадию Ивановичу и протчим начистить, пушай на Вас не глядят в три глаза, как Вы являетесь не ихней невестой, а нашей. Ишо раз Вам низко кланяемся, Ваш жених Евгений Владимирович Столетов к сему письму руку приложили».

«Людмила! Хорошая! Далекая!

Еще неизвестно, усеян ли розами наш двухнедельный путь приготишек к экзаменам по теплому городскому асфальту. В уж известном тебе читальном зале, похожем на машинный

зал, густо сидят, по словам моего революционного деда, циники, скептики и оппортунисты, которыми, предупреждал меня дед, кишмя кишит город.

К твоему сведению, Людмилушка, вот эти самые циники, скептики и оппортунисты — хорошие, умные, прекрасно образованные ребята. Добрая половина из них свободно читает и переводит английский текст, три оппортуниста болтают по-английски, как на родном языке, а Чингиз Агаларов — мальчишка из Баку — читает и переводит с немецкого, итальянского, французского и английского. Сестренки-близнецы из Барнаула еще в школе, как они выражаются, баловались квантовой механикой. Парень из Читы — токарь машиностроительного завода — так усовершенствовал технологию производства ступенчатых муфт, что о нем писали в центральной газете. Вот такие-то дела, старушка!

Это нелегко, но я все-таки должен признаться, что мы с Андрюшкой — сосновские отличники — на фоне оппортунистов и скептиков выйдем, мягко выражаясь, середняками. Я уже достаточно полно и, так сказать, на практике начинаю чувствовать еще существующие противоречия между городом и деревней. И ты бы это поняла сразу, если бы увидела, как сидит в читальном кучерявый, как негр, Чингиз Агаларов и от скуки делает бумажных петухов.

Людюшка, солнышко, человечине ты мое славное, твой Женька вовсе не падает духом, он, напротив, как никогда, готов к труду и обороне и даже еще сохраняет спасительное чувство юмора, а вчера, Людмила, я думал о том, что мы, мальчишки начала семидесятых годов, развиваемся на самом деле необычно быстро. Правы, ох как правы социологи, когда утверждают, что наше поколение, достигнув высокого интеллектуального уровня, переполнившись информацией, еще недостаточно зрело в гражданском смысле... Ты можешь объяснить толком, почему твой Женька поступает именно в технологический? Я не могу, так как не представляю, что такое технология и с чем ее едят. Ну почему я хочу заняться технологией, почему? Токарь из Читы — его зовут Витка Чернов — распрекрасно знает, почему его влечет технология, а пятьдесят процентов остальных «абиков» пожимают плечами. А рыжий парнище из Тулы вчера мне сказал: «Технология чем хороша? Отбыл восемь часов в цехе, помыл руки — и домой! С конструкторами дело сложнее! Они по ночам ишачат!»

Людмилушка, прости, что напустил на тебя тоску и грусть. А тебя люблю, постоянно о тебе думаю. Писать тебе — радость, заклеивать конверт — радость, писать на нем «Гасиловой Людмиле Петровне» — счастье. Твое последнее письмо пахнет духами, которые мы купили вместе с тобой. Это единственные духи, которые я способен узнать, и даже помню, что они называются «Быть может». Я этого не хочу, моя хорошая, родная, славная! Не «Быть может», а скоро настанет время, когда мы

с тобой пойдем на угол проспекта Ленина и переулка Батенкова, остановившись на мосту через Ушайку, будем целоваться на виду у всех. Здесь целуются, не стесняясь, Людмила! Двадцатый век на дворе! Люблю тебя, люблю, люблю, люблю...»

«Людмилушка моя, смешная девочка!

Второй день идет мелкий холодный дождь, хляби небесные разверзлись надолго, в общежитии зябко — это летом-то!

Андрюшка, махнув рукой на все сложное, поперся смотреть Альберто Сорди в кинофильме «Бум», и я сейчас один в большой пустой комнате. Мне грустно; наверное, оттого, что я вчера не мог дозвониться ни до мамы, ни до тебя, так как на переговорном пункте центрального телеграфа студенчество берет кабинки штурмом, и меня, бедного, чуть не вытолкали из очереди, но я рассвирепел и все-таки сделал вызов, но ни ты, ни мама не ответили. Неужели у вас тоже идет нудный, печальный дождь?

По физике мы с Андрюшкой получили по пятерке, преподаватель мне сказал: «Весьма!» — но все равно грустно. У меня бывают такие черные, беспросветные дни, о которых ты знаешь еще по школе. Я беспричинно впадаю в меланхолию, подлунный мир мне кажется черным, как бумага для обертки фотопластинок. Это продлится дня два-три, потом мир мгновенно делается нежным и удивительным, закружатся опять в парках карусели, и небо будет в алмазах. Поэтому я спокойно переживаю меланхолию, сижу над книгами печально, как мокрый ворон на заборе, но свои десять страниц в сутки перевариваю.

Не ругай меня за грустное письмо, я через два-три дня напишу веселое, бодрое, а вот это письмо мы будем читать внукам у камина, превратившись в седеньких старичков. Кстати, из меня наверняка выйдет сухой ворчливый старик, а ты у меня будешь красивой старушкой с буклями и ангельским характером.

Эх, Людка, если бы я два года подряд не схватывал четверки по литературе устно, если бы современный литератор Борис Владимирович Сапожников не взъелся на меня за необычную трактовку Евгения Онегина, я бы получил золотую медаль и теперь сидел бы рядом с тобой под мелким дождем. Помнишь, как мы завертывались в мой плащ, как дождь весело стучал по нему? Как было хорошо нам, помнишь?

Целую тебя, люблю, Женька».

«Ах, Людмила свет Петровна, ах, коварная!

Отчего же это я получил от тебя на четыре письма меньше, чем написал сам? Это же безобразие! Ну хорошо же, я разберусь с тобой по отдельности, как говаривал наш бывший директор Соловщин. Я такое тебе, коварная, наказание придумал, что вся инквизиция перевернется в гробу...

Докладываю, товарищ Гасилова, что математика нами сдана тоже на пятерки, и на этот раз мне экзаменатор сказал: «Любо-

пытно!» — а Андриюшеньку проводил до дверей — вот какая ему была оказана честь, ибо он в математике — Лобачевский-Лузгинский. Я за него был чрезвычайно рад, и мы сразу же пошли в киношку «Фантомас разбушевался». Киношка, как говорит Марк Лобанов, на большой! Со смеху можно было помереть, и мы похотали, как бешеные, за что нас чуть не вывели из зала, но не выгнали потому, что билетерша догадливо сказала: «Да это студентки! Наверное, сдали хорошо экзамен, вот и выпили на радостях!» А мы, честное пионерское, даже пива не брали в рот.

Зато сегодня мы были в банях, которые здесь называются Громовскими, и, представь себе, мылись в отдельном кабинете за два рубля. У нас была персональная парная, нам выдали вместо полотенца преогромные простыни, а для вытирания ног — конвертики, похожие на наволочки для маленьких подушек. Андриюшка сам запарился и меня запарил, мы не заметили, что просидели в банном номере больше часа и отдали бы еще один рубль, если бы Андриюшка не показал банщику кулак. Тот стучевался, и мы немедленно решили прокутить оный рубль. Мы пошли еще в один кинотеатр, где смотрели «Набережную туманов». Это, я тебе скажу, вещь! Я чуть не заплакал, когда... Да что говорить — прекрасный фильм!

Ты, любимая моя, хоть и отстаешь на четыре письма, очень обрадовала меня последней цидулой. Спасибо, хорошая моя, за нежность и любовь! А о том, как я тебя люблю, ты, когда мы вернемся, порасспроси Андриюшку. Я ему надоел хуже горькой редьки рассказы о том, какая ты у меня хорошая, красивая и замечательная.

Ты мое солнышко, мое счастье, моя радость! Женька».

«Милостивая государыня Людмила Петровна!

Пикантные обстоятельства сей суетной и быстротекущей жизни, столько же подчиненной провидению, сколь и человеческим страстям, повелевают Вашему рабу и соискателю руки Вашей писать оное послание в обстановке сугубо печальной. Сии длинные шатающиеся каракули имеют то происхождение, что пальцы Вашего преданнейшего поклонника дрожат и слабы, ако сорокалетняя лошадь.

С прискорбием сообщаем Вам, милостивая государыня Людмила Петровна, что рабы божии Евгений и Ондрей по языку иностранному обрели по тройке с большой натяжкой, как рек муж, экзамен принимающий. И теперь, милостивая государыня, рабы Ваши должны получить по пятерке за науку химическую, чтобы, исходя из правил арифметики Магницкого, могли получить балл, для поступления в лицей достаточный. Однако по химии как органической, так и неорганической надеждами на пятерки себя весьма тешить не смеем. Вам не хуже, чем нам, милостивая государыня Людмила Петровна, известна наша

«химиза» Варвара Константиновна, которая по причинам слабости здоровья и занятости мирскими, то есть коровьими, делами с паствой своей не столь изучала науку химическую, сколь оделяла ее богоспасительными трюечками.

Так что рабы Ваши преданнейшие дрожат дрожью великой; реченное слово «химия» воспринимают с бледностью на челе и с трепетом рук, к заветному институту протянутых.

Послание оное кончая, припадаю к Вашей благоуханной и нежной ручке, милостивая государыня Людмила Петровна. Смелостью своей пораженный и дерзостью великой обуянный, смею хранить надежду на Ваше отношение хорошее и даже — сказать боязно! — на любовь Вашу ответную даже в том случае, ежели наука химическая в печаль великую нас возведет.

Преданнейший раб Ваш, милостивая государыня, схоласт ученый со скамей университетских Евгений сын Владимира по фамилии Столетов».

«Людмила!

Мы получили тройки по химии. Теперь нас ничто не может спасти, кроме чуда. Мы можем попасть в списки зачисленных в институт только в том случае, если двенадцать человек (12!) получат двойки по истории. Оппортунисты, циники и скептики, насчет тлетворного влияния которых предупреждал меня родной дед, вся эта «мелкобуржуазная стихия» так уверенно шагает с экзамена на экзамен, что нас снедает зависть. Азербайджанец Чингиз идет совсем без четверок, Витька из Читы и сестры-близнецы — тоже! От этого Андрюшка похудел так, что вчера разгуливал в моей синей футболке, а я могу теперь работать вешалкой для платьев балерин.

Вчера был на диво ветренный день, я не пошел в читальный зал, а какими-то зелеными нитками подшивал обшлага брюк. Они у меня чертовски истоптались, так как я на ходу по-прежнему наступаю на обшлага. Это уж на всю жизнь, Людка! Придется тебе подшивать мои брюки брезентом или обивать жестью.

Ты, наверное, чувствуешь, какой я сегодня злой. Это все из-за химии, ветреной погоды, плохо подшитых брюк. У меня, представь себе, в глазах от злости чертики прыгают, плесни на меня холодной водой — зашпипит.

Я несказанно рад, что Петр Петрович не возражает против нашей женитьбы, но ты, Людмилушка, видимо, права, когда пишешь, что в нынешнем веке жениться в девятнадцать — дикость. Но что же поделаешь, родная моя, если я без тебя жить не могу, если ты мне на расстоянии не нужна. Ты мне пиши почаще, любимая; письма, конечно, тебя заменить не могут, но конверты пахнут духами «Быть может», крупные буквы разбегаются в стороны, и ты постоянно ставишь точку с запятой там, где можно обойтись одной точкой. Я тебя люблю, скучаю, без тебя жить не могу, девочка моя глупенькая и ленивая. Твой Женька».

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗИМОГОРСКИЙ РАЙОН ПОС СОСНОВКА
ТРУБОВАЯ 17 ЛЮДМИЛЕ ПЕТРОВНЕ ГАСИЛОВОЙ
ИНСТИТУТ НЕ ПРИНЯТЫ ТЧК ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ ТЧК
ОСТАЕМСЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПРИВЕДЕНИЯ ДЕЛ ПОРЯДОК
ТВОЙ ЕВГЕНИЙ»

«Лапушка моя!

Каким это образом мы умудрились семь дней не встречаться после Нового года? Что происходит? Почему ты не выбираешься из дома и не подходишь к телефону? Больна? Ты сообщи мне об этом. Людка, я хочу знать, что случилось! Ты умеешь молчать, это хорошо, но я-то беспокоюсь. Позвони немедленно».

«Людка, сумасшедшая!

Вчера я растерялся, как мальчишка, а сегодня мне смешно. Ну как ты меня могла приревновать к Анне? Нет, ты сошла с ума вместе с Лидией Михайловной!

Это письмо я опускаю в щелочку почтового ящика, так как ни на телефонные звонки, ни на звонки в дверь в твоём доме не отвечают. Приходи сегодня в клуб за полчаса до начала второго сеанса. Двадцать седьмого апреля у меня день рождения, если ты об этом помнишь».

...Капитан Прохоров уронил последнюю записку себе на грудь, массируя уставшие веки пальцами, услышал, как отчетливо тикает в ночной тишине его дорогой хронометр; было пять минут второго, луна висела в самом центре распахнутого окна, Обь казалась недвижимой, черной. Прохладная струя ночного воздуха вливалась в комнату, дышалось легко, словно кабинет наполнили одним озоном.

Прохоров лежал и неторопливо думал о том, что всеми письмами и записками Людмила Гасилова потихонечку да полегонечку предавала родного отца. Хочешь не хочешь, а стопка писем, перетянутых кокетливой розовой ленточкой, была жестоким подтверждением прохоровской версии происшествия, оружием против Петра Петровича Гасилова и его жены. Прохоров сладко потянулся, опять заложив руки за голову, досадливо подумал: «Людмила не стояла столетовского ногтя! А какие письма ей писал Женька! Черт возьми, неужели всегда хороша такая любовь, когда один любит полно, а другой слегка полюбливает?»

У Прохорова понемножечку смежались веки...

...Опять у него выдался трудный день, длиною в год; он поднялся до вершин суховского фанатизма и опускался до низин технику Петухова и жены Гасилова, барахтался в мутном болоте версий и догадок, прыгал с подножки поезда. Читая письма, Прохоров переносился из деревни в город, слушал шелканье счетов и треск арифмометров в бухгалтерии, дышал сладким конским

потом жеребца Рогдая. Вот он — двадцатый век, перегруженный информацией, эмоциями, впечатлениями. А завтра? Завтрашний день обещал быть еще напряженнее, еще труднее. Завтра Прохоров, наверное, пойдет в дом Евгения Столетова, хотя по-прежнему боится встречи с его матерью; завтра он, может быть, впервые столкнется с Гасиловым и повидается с парторгом Голубиным. Он совсем закрыл глаза — в темноте увиделись шатающиеся платформы, белый камень, пальцы Лидии Михайловны Гасиловой, нависшие над жадным зевом пляжной сумки, господь бог верхом на серебряном облаке...

Прохоров спал на животе; во сне он почему-то казался очень молодым, худеньким, одиноким среди пустой комнаты, пронизанной лунностью. У него была нежная кожа на шее, незащищенно торчащие лопатки, щуплый мальчишеский зад, но плечи были широкие, жадно охватившие подушку руки были сильными, крупными, темными от загара. Он левой щекой прижимался к подушке, правая розвала по-ночному, выражение лица во сне было таким, точно Прохоров говорил: «Не забыть бы проснуться в семь! Вы понимаете, товарищи, что мне нельзя спать долго! Вот то-то же, друзья мои!»

7

Капитан Прохоров проснулся на полчаса раньше, чем хотел. В шесть тридцать он уже, опасливо озираясь, в одних трусах спустился с крыльца во двор, юркнув за изгородь, оказался в укромном внутреннем палисаднике, где его никто видеть не мог. Здесь Прохоров, поднявшись на цыпочки, сладко потянулся, помахал беспорядочно руками и замер...

Птицы пели оголтело. На трепетной черемуховой ветке сидел дрозд, чистил кокетливо перышки, а меж этим иногда по-ораторски задирает голову, с вызовом открыв рот, издавал свой торжествующий дроздиный клич; стайка воробьев прыгала по земле — эти прохвосты неотлично походили на заводные игрушки, свои металлические прыжки совершали словно бы нехотя, по принуждению, но продвигались вперед так быстро, что за ними было трудно уследить, — вот бесхвостый воробей что-то выклевывает из чернозема, а вот уже собирает что-то под забором, на котором спокойно сидела сорока, знающая о том, что у Прохорова не то что ружья, а даже штанов нет. Поэтому она глядела на него искоса, осуждающе, как бы говоря: «Ну, чего руками машешь, дуралей, лучше бы клевал что-нибудь».

Прохоров начал утреннюю зарядку с легких дыхательных упражнений, затратил на это минут пять-шесть, потом выполнил ровно восемь статических упражнений, рассчитанных на длительное напряжение, от которых на его сухих руках и ногах набухали продолговатые, твердые, как мрамор, мускулы.

Затем началось самое важное и со стороны жутковатое... Секунду-другую капитан Прохоров стоял неподвижно, с постным

лицом, потом неожиданно утробно хэкнул, оскалил зубы и так стремительно упал на траву голой спиной, словно ему перебили ноги, но одновременно с этим он сделал руками такое движение, точно в них находилось тяжелое, извивающееся тело другого человека. Едва успев прикоснуться спиной к земле, Прохоров пружиной распрямился, повертываясь в воздухе лицом к земле, бросился на нее грудью и прилег, замер, как бы придавив намертво того воображаемого человека, который секундой раньше извивался в его руках.

— Хэк! — еще раз выдохнул Прохоров.

Он легко, но лениво встал на ноги, сделав опять постное, скужающее лицо, начал искоса поглядывать в ту точку утреннего неба, где могла находиться занесенная для ножевого удара рука невидимого противника. Определив ее место, Прохоров понемножечку сгибался, втягивал голову в плечи, глаза у него бледнели, обесцвечивались, словно из них выкачивали темную жидкость. С рукой, висящей в воздухе, видимо, что-то происходило, и он глядел на нее пустыми, ничего не выражающими глазами; затем бесшумно, как бы взлетев, ринулся вверх, повис на мгновение над землей, весь скорчившись, ухватившись обеими руками за невидимую руку, начал падать на бок, но не упал, а, наоборот, выпрямился, согнул левую ногу в колене и так держал ее, словно наступал воображаемому противнику на грудь.

— Хэк!

После этого Прохоров остановился, сам себе галантно улыбнулся, хотел погрозить удивленной сороке пальцем, но не успел — что-то случилось, и он с размаху упал на землю, в мгновение ока перекатился вправо, и отчего-то почудилось, что над его головой просвистела пуля.

— Фью! — на самом деле свистнул Прохоров.

Отдохнув немного, он широко расставил ноги, сделал руками такое движение, как будто поправлял на себе широкий тугой пояс, затем, выставив обе руки вперед, ласково, но крепко обнял невидимого противника и начал, пританцовывая, двигаться по замкнутому кругу. Он то отступал назад, то, делая ногой забавное антраша, двигался вперед, как в смешной нанайской борьбе, то цеплялся ногами за землю, не давая себя увлечь вперед; глядел при этом Прохоров на ноги воображаемого противника и все ждал чего-то, бестолково топчась и... внезапно ударил ногой ногу невидимого и стал падать вместе с тем, кого держал в руках.

— Пшш! — издал он странный звук.

После всего этого Прохоров встал на ноги, отряхнулся, поглядев на сороку, которая теперь сидела на вершине высокой черемухи.

— Видала, трескунья? Это тебе не сплетни разносить, это тебе, брат, милицейская служба... Тут только зевни, так сразу пишут: «Похоронен такой-то, погиб при исполнении служебных обязанностей...»

С этими словами Прохоров уже подходил к бочке с холодной водой, зачерпнув из нее воду ведром, занес его над собственной головой и, прежде чем облиться, закончил разговор с сорокой:

— Это тебе не сплетни разносить, а служба... Милицейская, понимаешь ли, служба... Вот так-то, уважаемая!

Ровно в восемь Прохоров уже входил в длинный и пустынный конторский коридор, рассчитав время так, чтобы встретиться с Петром Петровичем Гасиловым, который ежедневно в восемь забегал на минуточку к техноруку Петухову или изредка к начальнику Сухову.

«Ну и молодчага!»— одобрительно подумал Прохоров, когда ровно в восемь ноль-ноль из дверей петуховского кабинета вышла демократическая клетчатая ковбойка, над которой, конечно, темнело загорелое боксерье лицо, посверкивали умнейшие, мудрейшие, замечательные глаза. Увидев мастера, Прохоров широко и добродушно улыбнулся, изгибая позвоночник и почтительно наклонив голову, как бы бросился к Гасилову с распростертыми объятиями.

— Петр Петрович, дорогой Петр Петрович, я вас по всей Сосновке ищу, а вы, оказывается, у технорука товарища Петухова... Вот вы где, оказывается... Ну, здравствуйте, дорогой Петр Петрович! Как вы переносите эту погоду? Это не погода, это Крым переехал в Сосновку. Вот что наделали эти мощные перемещения воздушных масс, Петр Петрович! И не говорите...

Прохоров махнул рукой, заглянул в улыбающееся лицо мастера, слезно попросил:

— А я ведь с вами хочу встретиться, Петр Петрович! Все как-то не приходилось, а вот теперь хочу просить вас нижайше о randevu... Нельзя ли завтра, дорогой Петр Петрович; часиков бы этак в четырнадцать.. Как вы, а, Петр Петрович?

Гасилов спокойно глядел на него, лицо у мастера было безмятежное, глаза — чистые, пахло от него одеколоном «Шипр», подчеркнута демократическая одежда была стерильно чиста, прутужена, сапоги, издалека казавшиеся кирзовыми, оказались иными: голенища были сшиты из толстой свиной кожи, головки были мягкие, хромовые. В ответ на слезную просьбу милицейского капитана о randevu Петр Петрович Гасилов считающе прищурился, добродушно ответил:

— Хорошо, товарищ Прохоров. Ровно в два я буду в конторе. — И после крошечной паузы: — А теперь прошу прощения, меня ждет народ...

Слово «народ» Петр Петрович особой интонацией не подчеркивал, он вообще ничего никогда не подчеркивал, не выпячивал, как и не скрывал, не прятал; походка у Гасилова была естественной, простой, несколько по-рабочему тяжеловатой, и Прохоров смотрел на его крупную фигуру до тех пор, пока Гасилов не закрыл

за собой дверь. Капитан милиции немного постоял на месте, почесал висок мизинцем с длинным ногтем и двинулся к двери с табличкой «Парторг тов. Голубинь».

— Так! — проговорил он негромко, остановившись у дверей. — Интересно, любопытно, занимательно!

Ему не терпелось увидеть человека, который умел всякий вопрос рассматривать с одной, второй, пятой, седьмой, двадцать пятой стороны, кроме того, было любопытно, совпадает ли прохоровское видение парторга с видением второго секретаря райкома комсомола Кирилла Бойченко.

Прохоров без стука открыл дверь.

— Разрешите, товарищ Голубинь?

— Входите, товарищ! — ответил парторг, вставая.

Они сближались, внимательно и беззастенчиво разглядывая друг друга; по всему было видно, что парторг знал, кто вошел в кабинет, а капитан Прохоров узнавал описанные Кириллом Бойченко светлые волосы, рыжую кожу, глаза альбиноса, вдумчивую неторопливость и солидную основательность. Они обменялись полуулыбками, пожали друг другу руки и разместились в кабинете абсолютно правильно, то есть так, как полагалось сидеть заезжему капитану из области и хозяину: парторг сел не в свое рабочее кресло, а за маленький столик, приставленный к большому столу, Прохоров расположился на том самом диване, на котором сидел Женька Столетов перед отчетно-выборным комсомольским собранием.

— Ну, вот мы наконец и свиделись, — удовлетворенно произнес Прохоров. — Обычно я имею привычку, начиная дело, заходить сразу к партийным властям, но в данном случае... Как здоровье вашей жены?

— Все очень хорошо. Спасибо!

Парторг Голубинь в этот летний день был одет во все белое — белая рубашка, белые брюки и пиджак из рогожки, белые туфли и легкая кремовый галстук. От этого его лицо казалось еще более красно-рыжим, оно совсем не загорало на солнце, кожа была веснушчатой. Голубинь по-прежнему внимательно разглядывал Прохорова, хотя думал явно о чем-то постороннем.

— Я знаю о вашей деятельности, товарищ Прохоров, — сказал Голубинь. — Я имел возможность делать наблюдения над работой следователя Сорокина и нахожу, что ваша деятельность является более разносторонней...

Расставив точки над всеми «і», парторг Голубинь взял со стола три карандаша, сложил вместе, начал беззвучно перебирать их в пальцах; карандаши были цветные — красный, желтый, синий, — они в рыжих пальцах парторга выглядели красиво. И Прохоров, удовлетворенно кивнув, полез в карман за сигаретой.

— Меня интересует мастер Гасилов, — сказал Прохоров. — Коли вы уже все знаете, то вам наверняка известен мой интерес

к его трудовой деятельности и личной жизни. — Прохоров немного помолчал. — Может быть, вам это покажется странным, но Гасилов имеет отношение к гибели комсомольца Столетова... Именно поэтому мне хочется в беседе с вами пополнить рабочий и домашний портрет Петра Петровича Гасилова.

Парторг Голубинь спокойно слушал, и опять было понятно, что он знает о пристрастии Прохорова к личности мастера Гасилова, да и по утренней информации Пилипенко было известно, что Голубинь разговаривал с Бойченко, встречался накоротке с техноруком Петуховым, долго беседовал с Гасиловым. Таким образом, контроль за работой Прохорова был произведен до-тошно, и в словах Голубиня о том, что ему пришлось по душе деятельность Прохорова, был подведен итог. Поэтому Прохоров загаенно улыбнулся, не принужденный к тому, чтобы поддерживать непрерывный светский разговор, с любопытством подумал: «К чему это прислушивается Голубинь?» — так как парторг прислушивался к чему-то такому, что происходило не в кабинете, а за его стенами.

— Я бы хотел задать малосущественный для дела вопрос, — сказал Прохоров. — Как вы думаете, Марлен Витольдович, почему Гасилов беспартийный?

Человек, имеющий привычку рассматривать всякий вопрос с двадцати неожиданных ракурсов, перебирал в пальцах три цветных карандаша, наклонив голову, по-прежнему чутко прислушивался к чему-то.

— Я еще со вчерашний вечер, — неторопливо сказал Голубинь, — обдумывал свою речь для вас, Александр Матвеевич. Человек, который интересуется деятельностью мастера Гасилова со всех сторона, вызывает интерес... Я прошу прощения, но имею специальный бумажку для того, чтобы не упустить ни одной сторона из облика товарища Гасилова. Я тоже с некоторых пор имею пристрастие думать о нем.

Марлен Витольдович Голубинь поднялся, обогнув стол, вынул из ящика несколько маленьких квадратных листиков бумаги, пронумерованных красными цифрами, перетасовал их, как карты, сев на прежнее место, снова прислушивающе наклонил крупную голову.

— Необходимо ждать, — без улыбки, бесстрастно заговорил он, — что товарищ Прохоров спросит, куда глядела партийная организация, если товарищ Гасилов является косвенным участником гибели комсомольца Столетова? — Парторг поднес к близоруким глазам первый квадратик бумаги, мельком прочитал почти печатные буквы, еще ниже наклонил голову. — Ваш покорный слуга Голубинь имел честь стать парторгом только в середине прошлого года...

После этих слов Голубинь остановился, и Прохоров наконец понял, к чему прислушивался парторг. Где-то неподалеку от околицы двигался тяжело нагруженный автомобиль, судя по

звуку мотора — «МАЗ», который, видимо, так перегрузили, что он не мог преодолеть подъем на ту возвышенность, на которую каждый вечер поднимался Викентий Алексеевич Радин.

— Вы сейчас будете иметь полную возможность удивиться тому, что станет говорить парторг Сосновского лесопункта, но я не имею привычки скрывать от коммунистов, а особенно от такого члена партии, как вы, Александр Матвеевич, свои мнения...

Ох, какая серьезная обстановка была в кабинете парторга, обставленного тем минимумом мебели, который требовался. И шкаф с книгами, и зеленое сукно стола, неумолимое для глаз, и бювар на столе — все помогало думать, размышлять, философствовать.

— Ошибки и даже преступления мастера Гасилова есть свидетельство слабости партийной организации, — спокойно продолжал Голубинь. — Вы спросите, почему у нас слабая партийная организация, и я вам буду отвечать на этот вопрос. — Он помол в воздухе квадратиками бумаги. — Ослабление имело начало при разделении обкомов на сельский и промышленный. Я не хочу возразить против помощи сельскому хозяйству, но несколько лет назад мы передали в сельский хозяйству свой лучший коммунистический прослойка... Вот, пожалуйста! — Он четко прочел: — Председателями и бригадирами в колхоз ушли: старый член партии бригадир комплексной бригады Иван Шурыгин, главный инженер леспромхоза Петровский, член партии с сорок третьего года механик Василий Терсков, тракторист Ульянов Васильев — наш лучший рабочий и партийный организатор среднего звена, начальник административно-хозяйственной части Маламыгин и так далее...

Парторг Голубинь аккуратно положил прочитанный квадратик бумаги на зеленое сукно и вдруг устало поморщился.

— Второй беда есть в том, что укрупнение леспромхоза оставило нас на самом большом расстоянии от дирекции предприятия, — продолжал Голубинь, заглядывая во второй квадратик бумаги. — Мы самая отдаленная точка огромного леспромхозовского хозяйства...

Машина по-прежнему натужно гудела, преодолевая крутой подъем на обской яр; она, видимо, съезжала назад, разгонялась и снова бросалась вперед, преодолевала половину пути, но в десяти — двадцати метрах от вершины подъема останавливалась на пневматических тормозах, чтобы потом опять скатиться назад. Теперь Прохоров, как и Голубинь, прислушивался к звуку мотора.

— Третий беда в том, — спокойно докладывал Голубинь, — что после укрупнения леспромхозов Сосновский лесопункт имеет положение пасынка, а я... — Голубинь ткнул себя пальцем в грудь, — а я есть недоразумение!

Парторг неожиданно весело замерцал белыми ресницами.

— Я есть недоразумение: потому, что лесопункт должен иметь не парторг, а секретаря партийной организации...

Голубинь отложил в сторону третий квадратик, выйдя из-за стола, подошел к тому окну, которое было ближе к буксующему автомобилю.

— Партийная организация знает о конфликте между комсомольской организацией и мастером Гасиловым, — по-прежнему монотонно произнес Голубинь. — На ваш вопрос о партийности Гасилова я буду отвечать в самый конец разговора, а теперь скажу, что партийная организация начала интересоваться ошибками и преступлениями мастера Гасилова, но это было так поздно, что... что Евгений Столетов уже нет живой!..

Это был первый восклицательный знак в речи парторга Голубиня, он впервые изменил своей бесстрастной интонации, а слово «уже» повторил так, что у Прохорова похолодела спина.

— Вы давно имеете возможность спросить: почему Голубинь не мог раньше разобраться во всем? На этот вопрос я имею плохой ответ...

Вот и наступила первая заминка в речи Голубиня; он наклонил голову, покивал своим собственным мыслям, его лицо сделалось грустным, так как именно в это время перегруженный автомобиль в четвертый раз скатывался вниз.

— Надо уметь отвечать за случившееся и не кивать на других. Но есть необходимость сказать о моем предшественнике... Очень он любил триумфы и победный рапорт. Райком освободил его и направил сюда меня. Как я теперь понимаю, Гасилов умел воспользоваться слабостью бывшего парторга... Когда ваш покорный слуга имел возможность стать парторгом Сосновский лесопункт, он считал мастера Гасилова одним из передовых мастеров не только район, но и область... — Голубинь улыбнулся такой улыбкой, которой, наверно, улыбнулся бы сфинкс. — Я, Голубинь, был загипнотизирован славой и достижения мастера Гасилова и считал его непогрешимым.

Он снова улыбнулся каменной улыбкой.

— Основной частью того времени, что я мог уделить, я затрачивал на Евгения Столетова и начальника лесопункта Сухова... Первый совершает экстравагантные поступки, второй увлекается свои идеи и не занимается лесопунктом. В этом я видел основное зло...

Теперь они вместе слушали, как в пятый раз взбирается на крутой подъем тяжело нагруженный грузовик «МАЗ». На этот раз он, видимо, попятился дальше прежнего, наверно, спустился к самому подножию горушки и замер, замолк, готовясь к новому прыжку вперед; теперь машина, работающая на малых оборотах, была почти не слышна, и Прохоров немного успокоился.

— Я слушаю вас, Марлен Витольдович, — вежливо проговорил он.

Парторг внезапно опустил голову, тяжело вздохнул и уж после этого поднял на Прохорова тоскливые глаза.

— Я, парторг Голубинь,— печально сказал он,— не имел серьезное отношение к комсомольский вожак Столетов. Считал, что он есть легкомысленный, несолидный человек. Начало это имело с необдуманый поступок с лектором товарищ Реутов, потом исключение из комсомола Сергея Барышева, потом отношения с тремя особами женского пола.

Голубинь опять, как игральные карты, начал тасовать квадратики бумаги.

— Только теперь я имею понимание, что комсомольская работа Евгения Столетова имела сто положительных сторона... Это... — Он остановился, подбирая слова. — Метод работы Евгений Столетов имел аналогии в работа комсомольцев двадцатых годов... Вы имеете представление о том, как был исключен из комсомола Сергей Барышев? Нет? О, это небольшая, но поучительный история,— продолжал Голубинь и наконец-то улыбнулся простой человеческой улыбкой. — Это имело место в конце прошлого года, когда мы получили неожиданный подарок от природа — три теплых дня. Это было двадцать шестого декабря...

За пять месяцев до происшествия

...двадцать шестого декабря вдруг так потеплело, что, казалось, готов был хлынуть из низких скомканных туч проливной дождь. Низко над землей летали сырые вороны и сороки не кричали, а скрежетали; трактора начинали понемногу вызнуть в месиве из хвои и подтаявшего снега. Тракторист Никитушка Суворов ходил от человека к человеку и каждому говорил одно и то же:

— Это, правду тебе сказать, ихняя работа... Чья ихняя? Мерианцев! Бомбы взрывают? Взрывают. Каки-то шары пушают? Пушают... Вот тебе и лето посередь декабря. Ежели так и дальше продолжаться будет, нам ни зимы, ни лета не видать...

— Как это так? Ни зимы, ни лета?..

— А вот так, что сплошна осень будет.

Женька с товарищами трелевку закончили только после того, как трактор Андрея Лузгина напроць засел на деляне, и Андриушка первым пришагал к передвижной столовой.

— Пусть Александр Сергеевич трелоет! — ни к кому не обращаясь, мрачно изрек он и спросил еще более сердито: — А чего здесь нужно парторгу Голубиню?

Парторг действительно расхаживал возле формирующегося состава, его предупредительно провожал мастер Гасилов, и эта пара выглядела солидно — мастер и парторг были крупными, сильными людьми и ходили внушительно, тем более что оба молчали, обескураженные необычной оттепелью. Парторг

откровенно хмурился, так как завершался производственный год и оттепель могла помешать перевыполнить план, а Гасилов был по обыкновению валяжен, но тоже обескураженно качал головой: «Ай-яй-яй, что делается!»

Наконец пришел пешком с деляны Женька Столетов, тоже забуксовавший с большим возом хлыстов, подсел к Андрюшке Лузгину и сказал:

— Ты засек, Андрюшка, одну характерную черту нашего времени?

— Да ну тебя...

— Не ну меня,— серьезно ответил Женька,— надо быть наблюдательным... Отвечай на такой вопрос: «Что делают люди, когда в рабочее время им делать нечего?»

— Бьют баклуши!— сердитее прежнего ответил Андрей, а Женька в ответ на это невесело расхохотался.

— Ты большая стоеросовая дура, Лузгин!— сказал он.— Когда людям в рабочее время делать нечего, в хорошем, передовом и дружном коллективе проводится собрание... Исходя из этого, товарищ Лузгин, у меня вызрело предложение собрать экстренное комсомольское собрание и... Одним словом, на повестке дня дело Сергея Барышева.

— Ура! Ура!— шепотом прокричал Андрюшка Лузгин.— За полчаса провернем это дело, и не надо будет собирать специальное комсомольское собрание... Я пошел за Генкой Поповым и Борькой Масловым.

Столетов лениво потянулся.

— Никуда не надо ходить,— небрежно сказал он и, нехотя поднявшись, взял в руки здоровенный болт, подошел к передвижной столовой и ударил со всего размаху по рельсу, висящему на крепкой проволоке. Это было приспособление, которым бригадир Притыкин созывал рабочих на обед, объявлял начало и конец рабочего дня... Женька успел сделать всего три удара, как лесозаготовители двинулись к передвижной столовой, а мастер Гасилов и парторг Голубинь удивленно переглянулись, но тоже двинулись к столовой. Не прошло и пяти минут, как возле Женьки собралась вся бригада. Слышались возбужденные голоса:

— А чего работать, если трактора вязнут?

— По домам, ребята!

— К бабам под бочок...

Сурово насупившись, мастер Гасилов начал проталкиваться сквозь толпу к Женьке, но Столетов опередил его. Вскочив на бочку из-под горючего, он театрально-ораторским жестом выкинул руку.

— Товарищи! Граждане и гражданки! Руководящие и не-руководящие товарищи! По той причине, что в связи с оттепелью трелевка приостановлена, а наши доблестные крановщики погрузили на сцены последнее бревно, комсомольское бюро

решило провести небольшое открытое комсомольское собрание непосредственно на лесосеке, если Марлен Витольдович не возражает... Нет? Прошу членов бюро занимать места вот на этом бревне, остальную комсомолию рассаживаться на пеньках и чурбаках, а некомсомольский контингент может сидеть хоть на крыше столовой...

Все это было произнесено весело, легко, и Никитушка Суворов радостно хлопнул себя по коленкам.

— Ну уж этот Женька, ну уж этот Женька! — прокричал он. — Этот Женька такой чудной, что живот со смеху надорвешь...

Над Никитой Суворовым засмеялись все, кроме двух человек — парторга Голубиня и Аркадия Заварзина. А Женька продолжал прежним тоном:

— На повестке дня три вопроса. Первый — некомсомольское поведение тракториста Сергея Барышева. Второй вопрос — антиколлективное поведение комсомольца Сергея Барышева. Третий вопрос — антикомсомольское поведение Сергея Барышева... Члена бюро Бориса Маслова я прошу не скалить зубы, а выступить с сообщением сразу по трем пунктам повестки дня... Маэстро, извольте встать вот на этот ораторский пенек... Товарища Сергея Барышева я прошу сесть вот на этот высокий пенек, чтобы мы могли его лицезреть...

Сергей Барышев поднялся с бревна, растянул в улыбке полные, добродушные губы. Внешне он производил хорошее впечатление — высокий, широкоплечий, с карими добрыми глазами, приятным овалом лица.

— А чего я должен садиться на высокий пенек? — недоуменно и довольно весело спросил он. — Мне и на бревне сидеть хорошо.

— Садись на указанный пенек! — ласково ответил на это Андрюшка Лузгин. — Как ты понять не можешь, Серж, что общественность хочет видеть тебя в натуральном виде... Садись, садись, голуба душа!

Криво улыбаясь, Сергей Барышев сел на высокий пенек, посмотрел на простенько улыбающегося Бориса Маслова и сразу же отвел глаза.

— Ну, сел! — тихо сказал он, но его все услышали, так как люди уже почувствовали, что на их глазах происходит что-то важное и, несомненно, опасное для Сергея Барышева.

— Начинайте, маэстро! — махнул рукой Женька Столетов.

— Начинаю! — серьезно начал Борис Маслов. — Даже грудному ребенку, а не такой просвещенной аудитории, которая слушает меня, известно, что на этом довольно сносно белом свете существуют тонкомерные и толстомерные хлысты. Тому же грудному ребенку понятно, что трелевать толстые деревья в несколько раз выгоднее, чем тонкие.

Он остановился, медленно повернулся к Сергею Барышеву.

— Вам это известно, товарищ Барышев? Спрашиваю: вам это известно?

— Известно! — еще тише прежнего ответил Барышев.

— Грудному ребенку, пожалуй, неизвестно, — продолжал Борис Маслов, — о том, что, гоняясь за выгодным толстомером, означенный товарищ Барышев ломает, корежит, превращает в щепу тонкомерные хлысты, по которым он ведет трактор к толстомеру... Очевидно, что именно в силу этих преступных операций Сергей Барышев дает свои сто десять процентов сменного задания раньше всех. Дело в том, что все-то остальные треляют тонкомер, в том числе и барышевский... Я сказал все, товарищ председательствующий!

— Садитесь! — великодушно разрешил Женька Столетов. — Я имею несколько вопросов к Барышеву Сергею Васильевичу... Скажите, пожалуйста, Сергей Васильевич, сколько раз мы вас предупреждали о необходимости трелевать все хлысты, не делая никаких исключений?

Висело над эстакадой низкое грязное небо, тучи были совершенно неподвижны, снежные шапки на соснах затяжелели, и было что-то странное в том, что несколько десятков людей сидят посередине тайги и ведут разговор, а еще удивительнее было то, что никто из людей этой странности не замечал.

— Так сколько раз комсомольская организация предупреждала вас о необходимости трелевать весь лес? — переспросил Женька. — Ну, отвечайте же, Барышев!

— Один раз предупреждали, — прищурившись, ответил Барышев. — В конце ноября...

После этого началось такое, что все вороны с испуганным криком снялись с мест и стремглав улетели, а Женька заорал благим матом:

— Ти-ше! Кому говорят: ти-ше!

Когда шум понемногу смолк, Женька Столетов, потерев руку об руку, спросил:

— Геннадий Попов, вы предупреждали Барышева, чтобы он брал тонкомер?

— Предупреждал.

— Марк Лобанов, вы предупреждали?

— Предупреждал.

— Михаил Кочнев?

— Предупреждал.

— Соня Лунцова?

— Я его три раза предупреждала...

Женька поднял над головой руки.

— Есть комсомолец, который бы не предупреждал Сергея Барышева?

— Нет! — раздалось дружные голоса.

— Тогда имеет слово Генка... То есть Геннадий Попов. Ваше слово, займите место товарища Маслова.

Попов рассердился.

— Плевал я на ваши ораторские пеньки! У меня и без того голос громкий... — Он вынул из кармана клочок бумаги. — Вот расчеты... Только за последнюю неделю под трактором Барышева погублено двадцать восемь кубометров древесины, четверть которой могла бы пойти на рудстойку... Я сделал все, пусть другой сделает лучше...

Сидящие на одном бревне Гасилов и Голубинь переглянулись, но промолчали.

— Прощу вносить предложения! — прокричал Женька Столетов.

— Исключить из комсомола, — произнес Михаил Кочнев и, поразмыслив, добавил: — Просить начальство снять Барышева с трактора... Пусть полгода стоит на обрубке сучьев...

— У вас все, Михаил Кочнев? — спросил Столетов и, получив положительный ответ, потребовал: — А теперь, товарищ Кочнев, сформулируйте причину исключения из комсомола Сергея Барышева. Обоснуйте, так сказать, ваше предложение... Это же для протокола надо... Соня, ты все подробно записываешь? Спасибо! Продолжайте, товарищ Кочнев...

Кочнев бросил снежок в спину Марка Лобанова, тот обернулся, но ничего не сказал, а только погрозил кулаком.

— Пусть Сонька Лунина формулирует, — мрачно произнес Кочнев. — Или Борька Маслов — у него не язык, а мельница-крупорушка...

Под общий смех Кочнев сел на пенек, а Столетов снова обратился к собранию:

— Кто еще будет говорить?

— Я! — неожиданно вызвался Марк Лобанов и, еще не успев подняться, заговорил глубоким басом. — Таких хитрюг и пролаз, как Барышев, я еще не видел. Тонкомер он не трелюет, в столовской очереди — первый, домой ехать — лучшее место у печки займет, зарплату получать — первый в очереди, на воскресник идти — больной! — Передохнув от злости, Марк рубанул воздух рукой. — Ис-кю-чить!

— Ис-кю-чить! — неожиданно проскандировали все комсомольцы и, не дожидаясь приглашения, подняли руки. — Исключить!

— Принято единогласно, — сказал Женька и покосился на парторга Голубиня. — Как бы нам не пришили нарушение комсомольской демократии! — продолжал он. — Мы ведь не дали слова самому Сергею Барышеву...

— И не давать! — заорали ребята. — Его сто раз предупреждали... Ему не слово надо дать, а по шеям врезать...

— Правильно, Сенька! И морду хорошо было бы почистить...

— Товарищи! Товарищи!

— Чего «товарищи»? Его надо было еще год назад исключить из комсомола...

— Ничего не бойся, Женька, наше дело правое!

Бледный, с дрожащей папиросой в пальцах, Сергей Барышев немо и неподвижно сидел на своем пеньке с опущенной головой и сутулыми плечами...

Закончив рассказ, Голубинь снова поднялся, подошел к тому же окну, возле которого стоял раньше.

— Я не принял решение выступить на комсомольском собрании, — сказал он. — Комсомольская организация под руководством Евгения Столетова была беспощадна к таким людям, как Сергей Барышев... — Он опять печально вздохнул. — Понятно, что райком ВЛКСМ и даже райком партии получили жалоба на собрание, где было нарушение демократия... Я не имею основания думать, что Сергей Барышев сам писал эти жалобы...

Голубинь во второй раз улыбнулся.

— Полтора месяца было затрачено, чтобы разговаривать с Евгением Столетовым и многочисленной комиссией, которой имели задания разобратся в этих жалобах... А в этот самый время...

Перегруженный «МАЗ» разбежался: надсадно заревел мотором, завыв отчаянно, он, как в последнюю атаку, бросился на высокий подъем, с вершины которого открывалась просторная Обь, синее небо, зеленые облака над кромкой тайги, просторность Васюганских болот левобережья, пропитанных, как оказалось, насквозь жирной нефтью, забившей фонтанами уже по всей Нарымской стороне; за плесом Оби человеку с воображением мерещился Ледовитый океан, ледяная шапка полюса, холодная, сияющая вершина земли; в низовьях Оби тот же человек мог угадывать алтайские горы, теплые пески Южного Казахстана...

— А в этот самый время, — повторил Голубинь, — комсомольцы готовились к наступлению на мастер Гасилов...

«МАЗ» преодолел середину подъема, разъяренно зарычал на крутой извилине, переполнив Сосновку грохотом, шел на окончательный штурм заветной высоты... Парторг Голубинь и капитан Прохоров замерли, затаив дыхание, глядя друг на друга, стиснули зубы; они оба вдруг почувствовали, что между грузовиком и их серьезным разговором есть связь, что-то есть важное в том, поднимется ли на вершину обского яра перегруженная машина или снова отступит.

— Н-ну! — невольно шептал Прохоров. — Н-н-ну!

Грузовик миновал середину подъема, взвывая еще отчаяннее прежнего, кажется, продолжал двигаться вперед... Еще метр, второй, третий... Боже мой, есть! Грузовик победил зарокотал, освобожденный разом от всех перегрузок, заревел клаксоном, и появилось такое чувство, что в кабинет ворвался прохладный воздух и стало много легче дышать.

— Есть! — забывшись прошептал Прохоров. — Есть, черт побери!

Он мгновенно выхватил из пачки очередную сигарету, а Голубинь презрительно бросил на стол три цветных карандаша, которые вертел в пальцах — нервный человек! — когда машина штурмовала подъем. Потом они оба весело засмеялись, обменялись многозначительными взглядами и поняли, что им не надо говорить друг другу о том, что они нашли общий язык и теперь — при одинаковом понимании событий и людей — их разговор будет во много раз легче. Поняв друг друга, они теперь смотрели в разные стороны, боясь показать взволнованность, фальшиво-насмешливо улыбались, и у обоих был такой вид, словно разговаривают они о пустяках.

— Комсомольцы имели серьезную ошибку, когда считали, что Голубинь — сторонник мастера Гасилов! — оживленно сказал парторг. — На первый месяц они имели право так думать... Вот извольте посмотреть это...

Голубинь вынул из стола огромную пачку пожелтевших газетных вырезок и протянул их Прохорову.

— Нет ничего удивительного, — сердито сказал Голубинь, — что я очень интересовался мастер Гасилов и даже имел с ним некоторое время большой дружба...

Прохоров жадно просматривал газетные вырезки... «Участок мастера П. П. Гасилова первым закрывает план», «Не только мастер, но и воспитатель», «Равнение на передовых. Из опыта работы мастера тов. Гасилова», «Мастер Петр Петрович Гасилов», «Работать по-гасиловски!», «Ни дня без перевыполнения социалистического обязательства», «Опытом делится П. П. Гасилов» и так далее, и тому подобное. Со многих газетных страниц смотрело лицо Гасилова — приукрашенное ретушью, но всегда с умными, пристальными глазами.

— Мастер Гасилов — есть великий мистификатор! — горько произнес Голубинь. — Только после комсомольского собрания я имел возможность усомниться в его добросовестности.

— Вы были на комсомольском собрании? — быстро спросил Прохоров.

— Нет, я не был на комсомольском собрании, не видел даже протокол, который — мне сказали комсомольцы — еще не есть в обработанном виде. Однако весь поселок имел разговоры о том, что мастер Гасилов делает много нарушений.

Голубинь опять взял карандаши.

— Партийная организация начала изучение принципов работа мастера Гасилов, но комсомолец Столетов уже не был жив... Мы очень, очень и очень опоздали!

Несколько секунд помолчали, затем Прохоров тихо спросил:

— Отчего все-таки комсомольцы скрывали от вас решение бороться с Гасиловым?

Голубинь встал, выпрямился.

— Это есть очень сложный, больной вопрос, — медленнее обычного произнес он. — Секретарь организации Евгений Сто-

летов никогда не имел с парторгом Голубиным приятная беседа. Каждый наш встреча имела для него неприятный оттенок. На первый встреча я защищаю невежду и пьяницу лектора Реутов, на второй встреча я... как это говорится?.. О! На второй встреча я снимаю стружка со Столетов за три девушка, с которыми он имеет отношения, на третьей встреча я снимаю с него стружка за то, что Барышев исключен из комсомола при нарушении демократия, так как Барышев не имел возможность сказать ответный речь, и, кроме того, райком ВЛКСМ не имел такой случай, чтобы комсомолец имел исключение за плохой работа. Исключали за пьянство, за драка, за воровство, а за плохой работа...

Голубинь безнадежно махнул рукой и сел. От волнения его лицо еще больше покраснело, веснушки выступили ярче, волосы казались уже не белокурыми, а седыми.

— Я, парторг Голубинь,— резко сказал он,— считал Евгений Столетов плохой кандидатура на роль секретаря комсомольской организация. Я думал, он есть легкомысленный, несерьезный, несолидный человек... Думаю, поэтому Столетов и не пришел ко мне...

Парторг Голубинь замолчал. Три цветных карандаша он сначала положил веером, потом собрал в кучку, затем вытянул в одну трехцветную линию.

— Мы часто много говорим о том, что молодежи надо доверять, а на деле иногда... — совсем тихо сказал он. — Вторая ошибка такой: за маленький проступок мы перестаем видеть хорошая сторона. По русской пословица это надо сказать так: «За деревом не имеем возможность видеть леса».

За окнами кабинета, громко разговаривая и хохоча, прошла стайка мальчишек, в одном из окон мелькнуло удилище с красным поплавком.

— Я благодарю вас, Марлен Витольдович, за откровенность,— сказал Прохоров. — Хотелось бы еще знать вашу точку зрения на Сухова, как начальника участка.

И случилось неожиданное: парторг впервые засмеялся. Смех у него был негромкий, странный тем, что походил на смех подростка, а еще более тем, что глаза при этом у Голубиня оставались серьезными.

— Дирекция леспромхоза и партийная организация лесопункта не может принять никакой мера пресечения в отношении товарища Сухова,— сказал он, просмеявшись. — Товарищ Сухов ни один раз не опоздал на работа, три раза в неделю ездит на лесосека, каждый день проводит планерка... — Он с улыбкой помолчал. — Товарищ Сухов работает удивительно много, но...

Прохоров молчал, стараясь решить, нравится ему парторг Голубинь или не нравится. Была, конечно, привлекательной его

полная откровенность, точное понимание того, что произошло, но чего-то не хватало, чтобы картина сделалась полной. Прохоров опять закурил, крепко затянувшись, подумал, что они не договорили о знаменитом комсомольском собрании.

— Марлен Витольдович,— спросил он,— какие же меры приняла партийная организация после того собрания, когда вы впервые усомнились в честности Гасилова?

Голубинь ответил сразу, не сделав даже крошечной паузы.

— Никаких мера мы принять не успели,— сказал он.— То комиссии и командировочные ответственные работники: почему и какое право комсомольской организация могла принять решение о снятии с работы товарища Гасилова? Потом... смерть Столетова...

У Прохорова теперь оставался только один-единственный вопрос.

— А сейчас,— спросил он,— партийная организация убеждена в том, что мастера Гасилова надо снимать с работы?

На этот раз Голубинь молчал так долго, что Прохоров уж было собрался переспросить его, но парторг сказал:

— Мы теперь имеем убеждение, что Гасилов виновен, но снять его с работа — очень трудное дело... — Он устало покачал головой.— Много лет мастер Гасилов был знамя нашего леспромхоза...

— И все-таки? — подхватил Прохоров.

— И все-таки Гасилов надо снимать,— проговорил Голубинь.— Все-таки его надо крепко наказывать... Кстати, теперь можно отвечать на ваш вопрос, почему Гасилов беспартийный. Дело в том, что Гасилов не имеет стремления быть на виду, старается уйти в тень. Он... как это можно выразиться? Он похож на скользкий рыба налим...

Голубинь открыл стол, бросил в него три разноцветных карандаша, туго сжал губы.

— Я думаю,— после длинной паузы сказал он,— я думаю, что парторг Голубинь тоже должен получить большие неприятности... Меня тоже надо снимать с работа!

Мимо дома Столетовых капитан Прохоров всегда проходил торопливым шагом, боясь увидеть сквозь стекла женское лицо. Поэтому только теперь он подробно разглядел затененный тополями фасад, яркие голубые наличники, веселого петуха — флюгер, установленный на коньке крыши. В доме, по расчетам Прохорова, было четыре комнаты, сложен он был из прочных лиственничных бревен и вообще был одним из домов, которые были построены еще до революции и принадлежали хозяевам среднего достатка.

Прохоров медленно поднялся на крыльцо, прошел через небольшие сени, помедлив, нажал белую пуговку звонка. За дверью около минуты было тихо, потом послышались легкие шаги, и дверь открылась — перед Прохоровым стояла мать Евгения Столетова.

— Евгения Сергеевна, здравствуйте! — быстро проговорил он. — Меня зовут Александром Матвеевичем Прохоровым. Мне надо поговорить с вами.

Эта торопливая, суховатая фраза была им приготовлена заранее, чтобы после обычного «Здравствуйте» не образовалось паузы, а сразу бы последовал ответ на конкретное предложение поговорить. Кроме того, свои первые слова Прохоров произнес таким деловитым тоном, что они требовали в ответ такой же деловитости, не оставляя места на эмоции. И Прохоров добился своего...

— Проходите, товарищ Прохоров! — голосом врача, устанавливающего диагноз, произнесла Евгения Сергеевна. — В столовой, я думаю, нам будет удобнее.

Евгения Сергеевна с прямой, напряженной спиной шла впереди, открыв дверь в столовую, вошла в нее первой и приглашающим жестом показала Прохорову на кресло. Садясь и не имея времени на то, чтобы оглядеться как следует, Прохоров все-таки профессиональным взглядом заметил обитые приятными зеленоватыми обоями стены, два натюрморта, большую деревянную декоративную тарелку на стене, полосатую домотканую дорожку на крашеном полу и белые стерильно чистые занавески на окнах.

— Мне очень не хотелось идти к вам, Евгения Сергеевна, — сказал Прохоров. — Я старался не беспокоить мать Евгения, но... Мне не удалось!

Только теперь Прохоров по-настоящему рассмотрел Женькину мать. Она стояла перед ним прямая и бледная, закаменевшая, с лицом, на котором не читалось ничего, кроме удивления, словно Евгения Сергеевна не верила всему тому, что происходило вокруг. Сидел перед ней капитан Прохоров — почему, для чего, зачем? Стоял накрытый клетчатой клеенкой обеденный стол — зачем, почему? Висела декоративная деревянная тарелка — почему, для чего, зачем? Ничего из происходящего и существующего в реальности не понимала Евгения Сергеевна в те минуты, когда в доме появился человек, связанный по-своему с гибелью ее сына.

— Мне не удалось! — невнятно повторил Прохоров. — Не удалось...

У Прохорова не было слов, чтобы продолжить, так как он понял, что нет на земле человека, который бы знал, что необходимо сказать окаменевшей и удивленной женщине, до сих пор не поверившей в смерть единственного сына и продолжающей ждать, что кошмарный сон прервется. Вот-вот прокричит над

ухом кто-то добрый и знающий правду: «Просыпайся, Евгения! Пора на работу!»— и она радостно посмотрит на голубой мир сквозь ночные невзаправдашние слезы, так как в действительности не могло происходить того, что происходит: не мог сидеть перед ней до ужаса реальный капитан уголовного розыска, не могла звучать фраза: «Я старался не беспокоить мать Евгения...», не могло произойти всего того, что произошло.

У Прохорова болело горло от непродолжительной, но острой спазмы: растерянный, но внешне спокойный, непроницаемый, он чувствовал себя так, словно из просторной столовой выкачали весь воздух, и, наверное, поэтому, сам не зная, что говорит, лающим голосом произнес:

— Моему сыну было бы столько же, сколько было Евгению, если бы он родился... Но мой сын не родился... Его мать, моя бывшая жена, убила его до рождения... — Он передохнул, так как по-прежнему не хватало воздуха. — Это страшно, это невозможно — убивать сыновей до их рождения!

А с Евгенией Сергеевной происходило неожиданное, поразительное: ее глаза просветлялись, лицо начинало нежно розоветь, разжались до боли стиснутые зубы; она вся как бы раскрывалась, распахивалась, как ранним утром распахиваются навстречу солнцу большие окна большого дома. Евгения Сергеевна вдруг улыбнулась Женькиной улыбкой, знакомой Прохорову по фотографии, провела шелушащимися от частого мытья пальцами по нижней губе.

— Евгений родился здоровым, крепким ребенком, — сказала она негромко. — Он родился рано утром в воскресенье, и все женщины в палате говорили: «Ты, матушка, родила праздного человека!» Есть такая смешная примета!.. Евгений очень долго не кричал, когда был в руках врача, он очень долго не кричал, появившись на свет, но когда закричал, то уж так, что вся больница его услышала...

Евгения Сергеевна теперь держала руки таким образом, словно баюкала грудного ребенка; руки беспомощно висели в воздухе, но она не замечала этого, она даже, наверное, не знала о том, что ее руки подняты.

— Женя был спокойным ребенком! — задумчиво продолжала она, делая баюкающие движения. — Он плакал только тогда, когда хотел есть, а просыпался утром с крошечной улыбкой на крошечном лице... Представьте себе, это был спокойный ребенок, хотя очень, о-о-о-чень энергичный!

Прохоров не шевелился, потрясенный. Он представил крошечного Женьку с крошечной улыбкой на лице, увидел дрыгающие ноги, длинную спину, родимое пятнышко на боку — мальчишка весь переливался радостью бытия, на губах пузырилось материнское молоко.

— Он рос быстро, он чрезвычайно быстро рос.

Лицо Евгении Сергеевны от воспоминаний совсем порозовело, руки вдруг переменили положение — теперь они были опущены; мизинец левой руки был отставлен, точно за него ухватился крепкой ручонкой Женька, подняв к солнцу и матери лицо, поспешал за Евгенией Сергеевной, быстро-быстро перебирая ногами. Волосы тогда у Женьки были совсем льняные, рассыпающиеся, легкие, как пух.

— Женья пошел на одиннадцатом месяце, и это случилось в забавной, о-о-очень забавной обстановке... Я стояла вот тут. — Евгения Сергеевна показала на окно. — Он сидел вот тут, на дорожке, голопопый, а у меня в руках была яркая погремушка. Я бесцельно погремела ею, я ничего не хотела от Жени; но он вдруг поднял личико, осмысленно поглядел на погремушку и потянулся к ней... Представляете, он встал, качаясь, пошел вперед и стал уже падать, поэтому побежал и уткнулся мне сюда...

Евгения Сергеевна показала пальцем то место ноги, куда уткнулся Женька, и не сразу отняла руку, словно десятимесячный Женька — живой, смеющийся от радости — все еще прижился к ее ноге.

У Прохорова сохли губы, болело сердце; ему хотелось вскочить, закрыв глаза, зажав ладонями уши, броситься вон из комнаты, чтобы где-то в темном пустом углу остановиться, замереть, ничего не видеть, не слышать.

— Через две недели он уже ходил, как взрослый... Он уверенно ходил, представьте себе... — продолжала женщина. — А говорить он начал в полтора года, и прекрасно, прекрасно заговорил... О-о-очень четко, не картавя, произносил слово «ромашка». — Она долго молчала, потом продолжила: — У нас двор всегда зарастал белой пахучей ромашкой...

Евгения Сергеевна убрала руку с ноги — это значило, что сын уже сам бегал по белому ромашковому полю, впервые был свободен от материнского мизинца...

Убрав руку с ноги, Евгения Сергеевна, пожалуй, впервые за все эти минуты не увидела, а, наверное, ощутила Прохорова и как бы вернулась ненадолго в комнату из далеких мальчишеских лет сына — она уже оторвала Женьку от груди, поставила его на ноги, научила говорить и отпустила в мир, где существовали такие вещи, как люди, ромашки, дома, реки, кони, огороды, небо, звезды, трава и... капитан Прохоров. Да, да, самым реальным в мире теперь оказался капитан Прохоров, и мать Женьки Столетова наконец-то увидела его как единственно существующую действительность...

— Скажите, Евгения Сергеевна, — таким же тихим, вспоминающим голосом, каким говорила женщина, спросил Прохоров, — вы не помните, когда он узнал о том, что Людмила собирается выходить замуж за технорука Петухова?

Евгения Сергеевна медленно подняла глаза, недоуменно пожав плечами, неожиданно просто и великодушно улыбнулась.

— Это все деревенские сплетни, Александр Матвеевич! — сказала она. — Людмила вовсе не собирается выходить замуж за Петухова. Это выдумки, клевета на нее. Женя не имеет от меня тайн, я все знаю о его сердечных делах... Он очень любит Гасилову, и мы не мешаем ему, хотя понимаем, что эта девушка Жене не нужна... — Она укоризненно покачала головой. — Ах, какие трагедии бывают в жизни! Женю любит замечательная женщина, она прекрасна, она удивительно прекрасна! Представьте себе, что Женя тоже, сам того не зная, любит Анну Лукьяненко...

Прохоров стиснул зубы, впился пальцами правой руки в предплечье левой — он уже не мог больше слушать, как Евгения Сергеевна обходит прошедшее время, как она продолжает говорить о сыне в настоящем. Он знал, что ему будет трудно в доме Столетовых, но никогда не предполагал, что ему нельзя будет употреблять страшное «был».

— Он вырезал негров и любил карманные фонарики, — осторожно сказал Прохоров, оттягивая трагичную минуту окончательного возвращения Евгении Сергеевны в реальность. — Почему он делал это?

— Он с пяти лет любил негров... А карманные фонарики... — медленно ответила Евгения Сергеевна. — Я всегда любила читать ему вслух, и Жене исполнилось четыре года, когда я прочла «Хижину дяди Тома». Я читала ему «Хижину дяди Тома», а он ложился на коротенькую кушетку, ставил ноги на теплый бок печки — там до сих пор видно углубление... Мы долго-долго читали...

За шестнадцать лет до происшествия

...четырёхлетний Женька ложился на короткую кушетку, ставил ноги на теплый бок печки, мама подсовывала ему под голову две больших подушки и читала «Хижину дяди Тома». За стенкой ходил, кашлял и стучал палкой об пол молодой тогда еще дед Егор Семенович, главный врач Сосновской больницы, в маминной комнате, мастерил птичьи клетки из ивовых прутьев отчим Василий Юрьевич, мама куталась в пуховый платок, хотя в доме было очень тепло, и было приятно слушать, как завывает за окном февральская метель.

В тот вечер, когда мама заканчивала читать «Хижину дяди Тома», Женька лежал ни жив ни мертв, бледный от волнения, закусив нижнюю пухлую губу... Дяди Тома уже не было, дядя Том уже умер; за окнами выла страшная февральская метель, и Женьке было так же страшно и тревожно, как было однажды, когда дед Егор Семенович принес в дом на вытянутых руках тело девочки Лиды, попавшей под колеса автомобиля. Дед

думал, что Лида еще жива, поэтому и принес ее в дом, который был ближе, чем больница, но Лида оказалась мертвой, что было жутко и странно, так как еще вчера Лида показывала Женьке, какие красивые резинки купила ей на чулки мама: «И чулки у меня, Женька, новые, перворазнадеванные...» Сейчас было страшно так же, как и тогда... На потолке трещинки, впадинки и выпуклости образовывали усатую тигриную морду с прижатыми хищно ушами, словно тигр готовился к прыжку и прыгнул бы, если бы над книжкой не склонялось самое красивое лицо на свете — лицо мамы. У нее в волосах был ровный и теплый пробор, с покатых узких плеч падал пушистый оренбургский платок.

В печной трубе так выло, на крыше так гроыхали доски, что казалось: кто-то ходит на прямых осторожных ногах. Женька ежился, стремился свернуться в самый маленький комочек; его коротенькие вельветовые штаны открывали полные ноги в чулках с крупным рубцом и позорные девчоночьи резинки, точно такие, как у погибшей под колесами автомобиля Лиды, и от этого было еще страшнее.

Наконец мама прочла последние строчки «Хижины дяди Тома», осторожно закрыла книгу, потерев пальцами уставшие глаза, уронила книгу себе на колени. У нее было несчастное, опустошенное лицо, плечи сделались совсем узенькими, платок скатился с них и упал на пол; мама не заметила этого, сидела, словно закаменела, кожа на щеках сделалась бесцветной, и Женьке вдруг так стало жалко маму, что он бросился к ней, припал головенкой к плечу: он слышал, как часто билось сердце мамы; все было родное, до слез свое, и он замер, притаился, словно он, Женька, был мамой, а мама — Женькой.

— Я люблю тебя, люблю дядю Тома... — шептал четырехлетний Женька, все плотнее прижимаясь к плечу мамы и плача. — Ты ничего не бойся, мама, я тебя защищу, я тебя всегда защищу, если надо, и дядю Тома тоже защищу. Я сильный, я храбрый, мама, я не боюсь, что воет метель и кто-то ходит по чердаку... Я тебя защищу, мама, обязательно защищу...

Евгения Сергеевна гладила его круглую голову с нежными белокурыми волосами, вдыхала детский сонный запах, чувствовала, как бьется на ее плече то самое, что когда-то билось под сердцем; чувствовала все его маленькое, тепленькое, длинное тело с полными по-детски ногами. В глазах у Евгении Сергеевны стояли слезы, она видела завиток уха, похожего на ухо умершего первого мужа, и ей было сладко и легко плакать вместе с Женькой, который не видел ее слез, но, конечно, знал, что мама плачет.

— Мама, мама, ты не плачь,— уговаривал он. — Я тебя защищу, я тебя обязательно защищу. От волка, от Бармалея, от метели, от Петьки Гольцова, от усатого дядьки, что приез-

жает в больницу, от автомобиля, от речки, от темного леса, от мороза. Мама, мама, ты не плачь, ты не плачь, моя мама!

И Женьке казалось, что ветер за окнами утишивался, никто не ходил на прямых осторожных ногах по чердаку, и Лида — живая, здоровенькая — опять показывала Женьке новые резинки. Себе Женька сейчас казался могучим, непобедимым, добрым богатырем, и он ничего на свете не боялся, а, наоборот, плохие звери и плохие люди боялись его.

— Пора спать, Женька! — тихо-тихо сказала мама. — Хочешь, я тебе спою песенку про то, как ходит козлик возле речки?

Женька любил песню про козлика, часто требовал, чтобы мама пела ее, когда он засыпал, но сегодня решительно заявил, что про козлика слушать не хочет, что уснет сам — не маленький! Он быстро и умело, как настоящий мужчина, разделся и неторопливо поцеловал улыбающуюся маму в щеку, лег в кровать не на бок, а на спину, как делал это обычно сильный и отчаянно смелый дед Егор Семенович. Наморщив лоб, Женька озабоченно попросил маму разбудить его ровно в семь, с третьими петухами, и, так как мама продолжала смеяться и тормозила его, Женька рассердился и сердился так долго, что взял да и уснул — с озабоченным и сердитым лицом.

Евгения Сергеевна погасила свет, постояла немного над кроватью сына, взяла чулки в резинку и крошечную майку — Женька спал в одних трусиках, — на цыпочках ушла в кухню, чтобы выстирать и высушить все это за ночь. В продаже тогда еще было мало детских маек и чулок, за ними приходилось стоять в большой очереди возле орсовского магазина; не было еще такого, чтобы деревенские полки сгибались под грузом отечественного и заморского барахлишка.

Наверное, в третьем часу ночи Женька увидел сон, о котором вспомнил сразу же, как проснулся. Сон был не длинный, но четкий и, конечно, цветной...

...Женька в длинных, как у взрослых, настоящих брюках шел по светлой от солнца сосновской улице, на боку у него висела кобура, в которой хранились мыло и зубная щетка, но сама кобура была настоящей, опасной для всех врагов и особенно для Петьки Гольцова. В руках Женька держал сачок для ловли бабочек, он его все стремился нести на плече, как винтовку, но почему-то не мог поднять, хотя в руках сачок казался очень легким. Под Кривой березой, где Женька однажды гулял с отчимом Василием, летал махаон — их никогда не бывало и не могло быть в Нарымских краях, — вокруг махаона порхали белые капустницы, поднявшиеся с белой шевелящейся кочки. «Махаонище, миленький!» — вкрадчиво говорил Женька бабочке, стараясь поймать ее, и уже было накрыл махаона сачком, как бабочка вдруг превратилась в налима, который, широко открыв рот-кошелек, ворчливо сказал Женьке: «Ты сам

махаонище! Небось, любишь налимяю печенку!» Потом не стало налима и вообще ничего не стало, но сачок наконец-то охотно превратился в ружье с длинным острым штыком. Что делать с винтовкой, Женька не знал и... Он проснулся в половине седьмого и вчерашним рассерженным, солидным и мужественным взглядом посмотрел на чистые чулки и майку, висящие на высокой спинке кровати. «У тебя стиральный психоз, Евгения!» — словами деда насмешливо подумал Женька о маме, но надел чистые чулки, майку и даже позорные девчончи резинки, решив, что взрослому мужчине унижительно спорить с мамой из-за таких мелочей, как резинки, тем более что под штанами их не видно.

— Здравствуйте, здравствуйте! — неторопливой походкой входя в столовую, сказал Женька маме, деду и отчиму. — Небось, не умывались еще, проспали всю утреннюю благодать-то... Вот ты, дед, чего стоишь у окна и ковыряешь мозоль, когда на улице прекрасная погода? — Женька нахмурился и дедовым голосом продекламировал: — Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, а нынче посмотри в окно...

Не обращая никакого внимания на хохот мамы, деда и отчима, отклонив все попытки поцеловать его, Женька четким дедовым шагом прошел в умывальник, с мылом умылся, тщательно вычистил зубы и только тогда вернулся к родственникам, которые теперь уже не смеялись, а довольно серьезно смотрели на солидного Женьку.

— Ты что будешь пить, Женька? — спросила мама. — Свой чай с шестью ложками сахара или, может быть, кофе с молоком?

— Все равно, все равно! — голосом деда ответил Женька. — Меня не интересуют мелочи!

После завтрака Женька надел свою длинную, необычную для Сосновки борчатку, отороченную бараньим мехом, важный и насмешливо презрительный вышел на улицу, остановившись возле забора, внимательно осматрелся: ослепительно блестел на солнце чистый снег, дорога синей сверкающей лентой уходила на гору, за белой и огромной рекой розовел заснеженный лес, и казалось, что вечером и ночью не было никакой метели, что все окружающее было всегда таким, как сейчас. Далеко слышался скрип санных полозьев, по улице ехал на обледеневшей бочке орсовский водовоз дядя Булыга, кобыленка по имени Спесивая медленно переставляла лохматые, покрытые инеем ноги, из мягких и добрых губ кобылы вырывалось розовое от утреннего солнца облако морозного пара. Дядя Булыга, увидев Женьку, завистливо покачал головой и сказал: «Вот это шубейка, парнишша! В ней можно хоть на дальни проруби по воду ездить. Н-ну шубейка!»

Справа от Женьки, через один дом, стоял самый плохой и противный человек на всем белом свете — Петька Гольцов. Он

вечно дразнил Женьку за короткие штаны, за длиннополую борчатку, за то, что Женьку не пускали гулять, если на дворе было ниже тридцати градусов мороза. А однажды... однажды они начали драться, и Петька победил — он поставил колено на Женькину грудь и хохоча спросил: «Сдаешься?» Женька молчал, он так и не сказал «сдаюсь», но мимо дома Петьки Гольцова ходить перестал.

Сегодня Петька стоял возле ворот своего дома в коротком полушубке, в большой шапке из собачины, лихо сдвинутой набок. Увидев Женьку, самый плохой и противный человек на свете подбоченился, плюнул на снег и начал улыбаться так, словно хотел сказать: «Боишься меня, боишься? Ну и правильно делаешь!»

— Не боюсь я тебя, не боюсь! — прошептал Женька и неторопливо пошел направо, повторяя, как заклинание: — Не боюсь я тебя, не боюсь...

Петька Гольцов был на голову выше Женьки и почти на два года старше его, но сегодня Женька таким медленным, уверенным шагом прошел мимо него, сегодня у Женьки было такое лицо, что Петька Гольцов перестал улыбаться и проводил Женьку задумчивым взглядом — он даже переменял позу, то есть не стал подбочениваться.

Вечером мама и Женька пошли в клуб «Лесозаготовитель», где показывали фильм «Свадьба с приданым», и возвращались домой поздно, в десятом часу, когда Женьке уже полагалось спать.

Было темно и холодно, река совсем не виделась, огни в ближних и дальних домах было мало, так как деревня засыпала, на улице бродили собаки, замерзшие, с опущенными хвостами. Женька медленно шел рядом с матерью, держал руки за спиной, нахмутив брови, глядел себе под ноги, боясь поскользнуться на накатанной санными полозьями дороге. Чтобы сократить путь до дома, они свернули в переулок, оказались в сплошной тьме. Женька шел позади матери и вдруг тихо сказал:

— Ма, а ведь негров, наверное, ночью совсем не видно...

— Да, у них темная кожа, — рассеянно ответила Евгения Сергеевна и протянула сыну руку. — Держись, Женька, здесь ухабы...

Женька уцепился за руку матери, пошел рядом с ней широко и свободно, по-солдатски размахивая свободной рукой в остяцкой расписной рукавице с бисеринками, и они быстренько пришагали домой; мать помогла Женьке снять борчатку и развязать тесемки шапки-ушанки, проводила в детскую комнату, но тут же оставила одного, так как в стенку призывно постучал дед Егор Семенович. Наверное, что-то происходило в доме или в деревне. В доме мог появиться поздний гость, а в

деревне — большой, к которому нужно было бежать быстро-быстро.

— Ты сам ложись, Женька! — торопливо сказала мать, уходя. — Прибегу сказать тебе: «Спокойной ночи!»

— Ладно, мамуль!

Женька собрался уже было снимать куртку, как замер, закусив нижнюю пухлую губу, подумал немножко и решительно полез в угол, где были его игрушки. Наверное, минут десять он, пыхтя и посапывая, рылся в игрушках, затем приглушенно засмеялся:

— Вот ты куда спрятался, Джимми!

Женька держал в руках небольшого негритенка с матерчатым — пришитым Евгенией Сергеевной — туловищем, с гладкой головой из папье-маше и такими большими черными глазами, что все лицо игрушки казалось состоящим только из них. Женька стер с лица игрушки пыль, и оно заблестело, залучилось в электрическом свете, как лицо настоящего негра.

— Ах ты, Джимми!

Негритенок смотрел на Женьку серьезно, немного насмешливо; набитое опилками туловище у Джимми было такое хуленькое, что вызывало жалость. Поэтому Женька огорченно почмокал губами, а негритенок в ответ на это вдруг покачал головой и стал глядеть на Женьку искоса и лукаво: «Чего же это ты, Женька, не ложишься спать? Вот придет мать, она тебе покажет, где раки зимуют!» Радостно подмигнув негритенку, Женька быстро разделся, на минуточку положив Джимми на кровать, пошел к дверям, чтобы выключить электричество, но остановился. «В темноте я не увижу лицо Джимми», — рассудительно подумал он и вернулся к кукле, ободряюще похлопал ее по тощему животу, сообщил:

— Мама свет выключит. Она придет мне говорить: «Спокойной ночи, Женька!» — и выключит свет...

Джимми, видимо, согласился с Женькой, что будет лучше, если электричество выключит Евгения Сергеевна, и вид у Джимми опять был задорный: «Мне-то все равно, Женька, будет гореть свет или не будет!» Поэтому Женька бесцеремонно взял Джимми за тощие плечи, бросился на кровать и, совершив рукой с зажатой в ней куклой размашистый полукруг, почувствовал, что кукла выскользнула из пальцев; продолжая полет по кривой дуге, игрушечный негритенок головой ударился о стенку.

Бух!

Удар был сильный, но голова куклы, сделанная из папье-маше, на части распалась медленно, как в замедленных кинокадрах; осколки бесшумно рассыпались по полу, так как были почти невесомы. Самый крупный из них — щека и бровь — перевернулся, и Женька увидел химические, расплывшиеся буквы на бумажной изнанке. На все это Женька сначала глядел с любопытством, как бы интересуясь, на сколько кусочков

разделится голова Джимми, и это длилось до тех пор, пока Женька не увидел направленный прямо на него удивленный глаз.

— Джимми! — прошептал Женька. — Где же твоя щека?

Повторив вопрос кукольного глаза, Женька почувствовал тоненький укол под ложечкой, похожий на прикосновение острого металла, и как раз в этот миг в комнату быстро вошла веселая Евгения Сергеевна, энергично двинулась к сыну, чтобы поцеловать его, но остановилась и так же, как Женька, задрала на лоб брови.

— Что случилось?

Женька протянул руку, показал на кусок щеки с фиолетовыми буквами и осторожно сказал:

— Я побоялся, что его в темноте не будет видно, мам, а потом он разбился. Взял и разбился...

Через секунду Женька тонко и длинно закричал на весь дом. Это был такой тонкий и страшный крик, от которого Евгения Сергеевна пошатнулась, как от порыва ветра, бросившись к сыну, увидела, что у него такие большие глаза, что лицо казалось состоящим только из них...

В просторной столовой было тихо и пустынно, качался с мелодичным чаканьем маятник настенных часов, одинокий солнечный квадрат лежал на желтом полу.

— Повзрослев, Женя стал вырезать из журналов и книг портреты стариков негров... а потом... позднее коллекционировать карманные фонарики, — сказала Евгения Сергеевна. — Как врач, я скажу: это было немножко болезненным. У Жени слишком восприимчивая нервная система...

Прохоров понемногу разглядывал ее лицо; почти спокойный, он теперь мог сравнивать, размышлять, видеть ранее не замеченное: единственный сын Евгении Сергеевны мало походил на нее, только, пожалуй, глаза и шея у Женьки были материнскими, а все остальное — короткий тупой нос, маленькие, круглые и твердые губы, резкий профиль — было у него отцовским.

— На Женю имеет большое влияние учитель Викентий Алексеевич Радин, — между тем задумчиво продолжала Евгения Сергеевна. — Он называет историка комиссаром, подражает ему, гордится дружбой с Викентием Алексеевичем. — Она замолчала, хрустнула пальцами. — Нет ли сигареты, Александр Матвеевич?

Прикурив от прохоровской зажигалки, Евгения Сергеевна сделала длинную, сильную затяжку; видно было, что курит она давно, умеет курить и любит курить.

— Викентий Алексеевич — единственный посторонний человек, которому Женя рассказал о своем втором потрясении... — Она несколько раз кивнула: — Да, да! Было два страшных

вечера в его жизни. Тот, о котором я только что рассказала, и другой — при чтении романа Гюго... После каждого потрясения он взрослел на глазах...

Сейчас ее лицо было абсолютно спокойным, движения плавно замедленными; смотрела Евгения Сергеевна в уличное окно, поэтому в ее зрачках отражалась зелень палисадника.

— Пять лет назад с Женей произошло то непременно, что в конце концов происходит со всяким человеком, — говорила Евгения Сергеевна. — С одним это происходит рано, с другим — поздно, но непременно происходит... — Она поднесла сигарету к губам, но так и не взяла ее в рот. — Пять лет назад вечером после чтения романа Гюго «Девяносто третий год» Женя впервые понял, что когда-нибудь обязательно умрет, что это так же реально, как вот этот стол...

Евгения Сергеевна остановилась, долго молчала, потом незнакомым еще Прохорову голосом произнесла:

— Он понял, что когда-нибудь умрет...

Прохоров побледнел, так как почувствовал, что сейчас произойдет самое страшное, а он ничем не может помочь, ничего не может сделать, чтобы облегчить жизнь матери Евгения Столетова. А она, снова закаменев, уронила на колени руки, шепотом повторив еще раз последние слова, тихо, но мучительно ясно спросила:

— Скажите, его столкнули?.. Его столкнули с подножки вагона? Скажите, ради бога, Евгения убили?

Впервые в течение всего разговора соединив жизнь сына со словом «смерть», Евгения Сергеевна резко поднялась, глядя в окно, выходящее в палисадник; она поднималась так, словно что-то нужное, потерянное, давно забытое нашла среди акаций и рябин. Обеспокоенная тем, чтобы находка не исчезла, Евгения Сергеевна по дуге пошла к окну, секунду смотрела на пыльную зелень, затем повернулась к Прохорову и вяло взмахнула рукой:

— Ах, да какое это имеет значение!

Едва проговорив эти слова, Евгения Сергеевна опять пошла вперед по дугообразному пути, заложив руки в карманы платья-халата, остановилась еще раз, но теперь у дверей; возле них она стояла долго, наверное, целую минуту, потом как-то боком, очень неловко, позабыв о Прохорове, вышла из комнаты. Немного спустя скрипнула еще одна дверь, потом еще одна, и Прохоров сквозь другое окно увидел, как в том же платье-халате, со склоненной головой, с руками в карманах Евгения Сергеевна шла по деревянному тротуару. «Отправилась в больницу!» — подумал он и прислушался к тишине — в доме никого, кроме Прохорова, теперь не было: отчим Евгения Столетова все эти дни сидел на метеостанции, а дед Егор Семенович с утра уходил на ту поляну, где росла Кривая береза. «Забавно! — подумал Прохоров. — Меня бросили в пустом доме... Вот это по-

ложе!». Он усмехнулся, встав, походил немного по столовой.

Тишина столетовского дома, построенного из толстых лиственничных бревен, была абсолютной, недышащей, замурованной; такая тишина бывает только в тех домах, где недавно кто-нибудь умер... Было нетрудно представить, как в столовую входил Женька, бросал свое энергичное тело на крепкий стул, швырял на подоконник рабочую кепчонку и насмешливо растягивал тугие губы: «Дорогие предки, я хочу жрать, как дед после разгрома Колчака! Подайте голодающему черствую горбушку хлеба...» Он наполнял дом шумом, смехом, веселой толчеей, с ним почти всегда приходили — тоже голодные — друзья, сидели вот за этот стол, и Евгения Сергеевна озабоченно говорила, что хлеба обязательно не хватит, а его не только хватало, но в деревянной хлебнице оставалось еще на один обед.

Прохоров ощущал тишину даже затылком и чувствовал желание не уйти из дома, а сделать как-то так, чтобы дом ушел сам, оставив его на безлюдном пустыре. Прохоров поднял руку, провел пальцами по щеке, гладкой после недавнего бритья, и это показалось неприятным, ненужным, точно было бы лучше, если бы под пальцами заскрипела щетина. Испытывая необходимость что-то делать, говорить, он между тем стоял истуканом и думал о том, что он, Прохоров, имеет с домом Столетовых такую естественную и прямую связь, что ему не только можно, но и нужно побыть одному в пустынных комнатах, походить по всему дому, то есть вести себя так, как бы вели себя родственники Женьки; ведь теперь Евгений Столетов на всю жизнь станет близким человеком для капитана Прохорова, а семья погибшего будет родной, близкой ему... Размышляя таким образом, Прохоров незаметно для самого себя вышел в коридор, не сомневаясь в правильности пути, приблизился к узкой белой двери, бесшумно открыл ее — перед ним была комната Женьки.

Прохоров стоял у порога с таким видом, словно боялся перешагнуть его, и это было одновременно правдой и неправдой, так как как его тянуло немедленно войти в комнату и все осмотреть, все ощупать собственными руками, а с другой стороны, он был немного напуган тем, что комната походила на того Женьку Столетова, каким представлял его Прохоров. Каким образом комната могла походить на человека, — никто, наверно, объяснить бы не смог, но это было так.

Комната была узкой и длинной, всю левую стену занимал стеллаж с книгами, окно глядело прямо на реку, в углу валялись гантели и эспандер, на правой стене висел портрет покойного отца, возле этой же стены стояла металлическая больничная кровать. Огромный фотографический портрет Людмилы Гасиловой (работа Борьки Маслова) висел над письменным столом. Стояла короткая черная кушетка, прислоненная к теплему боку печи тем концом, на котором находились ноги лежащего.

Переступив порог, Прохоров подошел к голландке, чтобы увидеть то, что давно хотел увидеть,— углубления, оставленные на боку печи Женькиными каблуками. Они появились от того, что, ложась с книгой на кушетку, Женька непременно задирает ноги и упирался ими в печную стенку, и, сколько ни протестовала против этого Евгения Сергеевна, ничего не помогало, так как Женька в другой позе книги читать не мог.

Углубления на боку голландской печки... По ним капитан Прохоров мог проследить всю жизнь Женьки Столетова, начиная с шестилетнего возраста. Самая нижняя ямочка относилась к тому времени, когда мальчишка только учился читать, она была маленькой и незаметной; углубления на вершок выше были сделаны Женькой между десятью и двенадцатью годами, когда жизнь в книгах казалась в миллион раз интересней, чем в Сосновке,— со страниц раздавались пушечные залпы пиратских кораблей, бродил по земле Маленький оборвыш, качалась на ветке плюшевая обезьяна. Ямка, оставленная этими годами, была глубокой, но еще не такой, какую Женька пробил каблуками между двенадцатью и шестнадцатью годами. Это было самое крупное углубление, которое несколько раз замазывали глиной, но не могли замазать, так как между двенадцатью и шестнадцатью годами Женька особенно сильно долбил кирпичи нетерпеливыми ногами. Летом он пролеживал на кушетке по двенадцать часов в сутки, зимой — по восьми. Пираты уже отстрелялись, ушел в свое несчастье Маленький оборвыш, плюшевая обезьяна надоедливо верещала. Со страниц книг теперь мчался навстречу мельницам Дон Кихот, лукаво подмигивал Санчо Панса, устраивался на пустом и голом острове Робинзон Крузо, ходил по земле веселый и несчастный Тиль Уленшпигель, кутался в серую накидку Человек в футляре, гордо носил турецкую феску Тартарен из Тараскона... Следующие углубления в кирпичах были помельче, так как ноги Женьки стали длиннее. Это было время «Хождения по мукам», «Дамы с собачкой», хохочущего над всем миром Швейка, гостиной в доме Ростовых, где Наташа целовалась с Борисом, душегно «Декамерона» и страшного «Золотого осла», иронического Франса, благодушно усмехающегося О'Генри... Выше углублений на печке не было.

Прохоров подошел к стеллажу, на котором стояли те книги, которые оставили след на печи, машинально протянул руку к первому попавшемуся томику, но не взял, так как со стеллажа на Прохорова смотрели негры, много негров. И еще Прохоров увидел карманные электрические фонарики; они висели на стене, валялись на стеллаже, на подоконнике; среди них были круглые, плоские, квадратные, с подзарядкой от электросети, с пружинным механическим динамо. Фонариков было так же много, как и портретов негров, и Прохоров поморщился, словно у

него отчаянно болели зубы. Он перевел взгляд на портрет Женькиного отца: тот же короткий тупой нос, те же разлетающиеся волосы, тот же наклон вперед, который делал сына похожим на стремительно идущего царя Петра со знаменитой картины.

Дальше Прохоров действовал почти механически, профессионально и назойливо точно. Ему надо было знать, какую книгу Евгений Столетов читал вечером двадцать первого мая, и Прохоров спервоначала протянул руку в средней полке, где на свободном пространстве одиноко лежала книга с зеленой закладкой. Это был томик Чехова, а закладка лежала на той странице рассказа «Ионыч», которая начинается словами: «Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнил, ожирел, тяжело дышит и уже ходит откинув назад голову...» Держа в руках книгу, Прохоров старался представить, когда и в каком состоянии Евгений мог читать Чехова. Это было, наверное, в один из тех дней, когда Столетов впервые поспорил с Людмилой Гасиловой. А что, если?..

...Перебрав еще несколько книг, Прохоров на самом деле уловил в их расположении некую систему. Оказалось, что именно на средней полке, в самом центре стеллажа, книги стояли в беспорядке, совсем не так, как на других полках, где том следовал за томом, иностранные книги отделялись от отечественных и так далее. На средней же полке лежали только те книги, которые Женька читал в последнее время и не успел расставить по местам. У самой перегородки лежала зачитанная «Как закалялась сталь».

Продолжая перебирать книги на средней полке, Прохоров видел Женькину непоследовательность, резкую смену настроений: он то хохотал вместе со Швейком, то закладывал промокшей страницы в «Хромом барине». Итак, хаос, неразбериха, но в этом-то и была система, которая позволяла по книгам, сравнивая их с записками к Людмиле, проследить смену отношений Женьки и дочери Гасилова.

Он читал «Испанскую балладу», видимо, тогда, когда Людмила ревновала его к Анне Лукьяненко. Женька взялся за «Королей и капусту» О'Генри в тот вечер, когда написал Людмиле: «Вчера я растерялся, как мальчишка, а сегодня мне смешно...» Женька начал перечитывать «Обыкновенную историю» Гончарова в тот вечер, когда допоздна занимался математикой и физикой, а потом думал о своей — пока обыкновенной и скучноватой жизни... Женька взял в руки «Остров пингвинов» Франса, когда... Прохоров взял синенький томик, машинально открыл его, и на пол, колыхаясь и кружась, упало несколько блокнотных листков бумаги. Он их поднял — одна из страниц начиналась словами: «Ах, как он хорош, Петр Петрович Гасилов, когда на заре, ранним утром отправляется с рабочими на лесосеку!..»

Это была речь Женьки Столетова на знаменитом комсомольском собрании, принадлежащая четырем авторам, но написанная столетовским почерком, в котором все — и клинообразные высокие буквы, и точки в три раза жирнее нормальных, и почему-то мелкие запятые, и четкое «в» — принадлежало Женьке, и не случайным было то обстоятельство, что именно в «Острове пингвинов» лежала речь. Находясь в иронически-скептическом настроении, Женька должен был снять со стеллажа только Анатоля Франса.

...Дочитав выступление, Прохоров аккуратно сложил блокнотные страницы, покачав головой, подумал: «Ах, ах, технорук товарищ Петухов!» Потом он осторожно положил на стеллаж синий том Анатоля Франса, а шесть страниц сунул в нагрудный карман пиджака...

Окно Женькиной комнаты, как и все окна в доме, было распахнуто настежь, на подоконник упала ветка черемухи с беленькими завязями будущих ягод, от нее терпко пахло, — наверное, поэтому Прохорову теперь не хотелось двигаться, думать, что-то делать, и он застрял на одной примитивной мысли: «Ты умеешь врать, товарищ Петухов!» Между тем приближалось обеденное время, скоро должен был вернуться домой Женькин дед Егор Семенович, и Прохоров не знал, что сделает воинственный старик, найдя в доме постороннего человека. С другой стороны, до возвращения Егора Семеновича Прохоров не мог уйти.

Было без пятнадцати час, когда на крыльце раздалися шаркающие шаги, удары палки о дерево, и Прохоров неторопливо вышел из комнаты, чтобы встретить Егора Семеновича в прихожей; капитан милиции знал, что старик интересуется им давно, порывается иногда встретиться с Прохоровым, но все откладывает встречу, потому что, как объяснил участковый инспектор Пилипенко, «шибко сердится на следователя Сорокина». Наверное, поэтому Прохоров представлял Егора Семеновича высоким, полным и громкоголосым стариком-пенсиейером из числа тех, что сидят на лавочках и все примечают, а потом рассылают письма в разные инстанции.

Прохоров ошибся на все сто процентов: перед ним стоял сгорбленный, маленький, тщедушный старичок с дорогой палкой в руках и уныло повисшими мягкими усами, сплошь седыми; ничего командирского, партизанского не было в его мальчишеской фигуре, руки вовсе не походили на руки хирурга, хотя Егор Семенович в маленькой Сосновке еще несколько лет назад делал трудные, неотложные операции. Глаза у старика были водянистые, совершенно бесцветные, и он был так согнут, раздавлен горем, убит, что, увидев Прохорова, только негромко поздоровался, волоча по полу ноги и палку, двинулся к своей комнате, вялым движением подав Прохорову знак следовать за ним.

Комната старика была точно такой же по величине, как комната внука, но книги на стеллаже были только медицинские, стола не существовало вообще, вместо кровати стояло низкое, похожее на топчан сооружение, покрытое клетчатым пледом. Старик опустился на это сооружение, пригласив взглядом Прохорова сесть на табуретку, уронил голову на руки, положенные на трость. Он минуту молчал, тяжело дыша, борясь с хрипами в горле, потом очень тихо и медленно сказал:

— Мы все эти дни следим за вами, товарищ Прохоров, кажется, вы хороший работник и человек... А я... Я ничего не помню! Я ничего не знаю! Мне семьдесят девять лет...

За полтора месяца Егор Семенович потерял двенадцать килограммов веса (так сообщил Пилипенко), состарился мгновенно, как это часто бывает с бодрыми стариками, выбитыми из привычной колеи каким-нибудь чрезвычайным происшествием. Немного оставалось жить Егору Семеновичу на этой круглой и теплой земле, и вся Сосновка уже по-бабы пригорюнивалась, когда он волочил ноги и палку по длинной улице деревни, в которой прожил около пятидесяти лет, и не было в деревне человека, к которому не прикоснулись бы руки старого врача.

Егор Семенович постепенно приходил в себя от полуденной жары, от цветущей поляны возле Кривой березы, куда каждый день вели его старческие ноги, чтобы постоять немножко возле полотна железной дороги, обводя взглядом белый камень.

За окном на молодой буйной рябине пел самозабвенно скворец, славил день, и было странно, что такое маленькое существо способно петь так громко, что его, наверное, слышала вся улица. Скворец подражал звуку какой-то торжественной трубы, подслушанной, видимо, у громкоговорителя, и восклицательный его вскрик взрывал тишину опустевшего столетовского дома.

— Я никак не мог добраться до вас, — почти шепотом сказал Егор Семенович, — у меня не хватает сил на это... Но я хочу вам сказать, товарищ Прохоров, что моего внука не могли сбросить с поезда... — Он сделал попытку выпрямиться, дерзко посмотреть капитану милиции в глаза, но от боли в пояснице приглушенно застонал и снова шепотом закончил: — Мой внук сам сорвался с подножки...

Это был тот самый старик, который всего два месяца назад сделал операцию по поводу перитонита матросу проходящего парохода, а на третий день после этого пешком — ни одна машина не проходила — отмахал двадцать километров до охотничьего зимовья, где от простейшего аппендицита погибал охотник-остяк.

— Моя песня спета! — прежним голосом ответил старик на тоскливый взгляд Прохорова. — Но мне надо было умереть раньше Женьки...

Он опять уронил голову на руки, помедлил, отдыхая.

— Евгения не верит в смерть сына, я не могу подражать ей. Я солдат, я врач, я знаю... Смерть всегда выбирает лучших...

И он заплакал медленными, экономными стариковскими слезами, не стесняясь Прохорова, себя самого, портретов на стенах, трех ружей, шашки в облезлых ножнах; сидел перед капитаном уголовного розыска плачущий большевик, которого не мог себе представить поэт Маяковский, плакал седоусый старик, а по широкой Оби сейчас где-то шел буксирный пароход с буквами на вздернутом носу — «Егор Столетов».

— Женька предпоследний... Он предпоследний... — старушечьим голосом говорил Егор Семенович. — Со смертью моего старшего сына умрет последний Столетов. У старшего сына нет сыновей... — Он уже не считал себя живым, он уже зачислил себя в мертвые, коли говорил только о старшем сыне. — Погодите, не уходите! — попросил он, хотя Прохоров сидел немо и неподвижно. — Не уходите... Я наберусь сил... Я должен, я обязан рассказать все...

Скворец не замолкал на буйной рябине, она, рябина, была вся огненно-красной, хотя еще было много-много дней до осени, — так освещало ее солнце, так самозабвенно пел в ее ветвях славящий день и жизнь скворец. Рябине и скворцу не было никакого дела до старика, который медленно поднимал голову, не вытирая слез, старался выпрямиться и не мог, так как его сильной и жесткой воли сегодня хватило только на поход к Кривой березе, а сейчас только на то, чтобы держать трясущуюся голову на узких согбенных плечах. Вот оно, вот! Пришло время, когда плечи ощутили годы каторг и тюрем, революции, гражданскую и Отечественную войны. Все собралось в смертельный кулак в ту ночь, когда пришло известие о гибели внука.

— Я был неправ... — хрипло сказал Егор Семенович. — Женья, его приятели... Они хорошие, никакие не инфантильные, они настоящие человеки... — Он глядел на прохоровские колени, болезненно морщился. — А я произносил лозунги, тешился мелко-травчатой философией... Вы понимаете, товарищ Прохоров, грош цена отцам, если они кричат наследникам: «Вы инфантильны!»

Егора Семеновича все эти полтора месяца мучило сознание вины перед погибшим внуком; он ходил по лесу, и, наверное, постоянно разговаривал с Женькой, и мучился жестоко, когда понимал, что внук никогда не услышит этих слов. Прохоров был первым человеком, которому Егор Семенович рассказывал о своей вине перед Женькой, и старику становилось чуточку легче.

— Мои лозунговые крики только мешали Женьке, — горько говорил Егор Семенович. — Он... Эх, да что говорить! — старик покачал головой. — Как я ему мешал жить! Это я заставлял Женьку бесцельно ходить к Гасилову, стоять перед этим пикардийским быком безоружным. У внука было еще мало фактов,

он лез на штурм с голыми руками... А все я! Я! «Чего ты медлишь, Женька? Чего ждешь? Почему не борешься с Гасиловым?»

Теперь Егор Семенович сидел прямо, смотрел в зеленое окно, за которым пел торжествующий скворец, но старик не слышал его, не догадывался о том, что трубный звук, переполняющий комнату, принадлежит птице, даже не знал о том, что глядит в окно.

— Он был прав, сто раз прав, мой внук!.. Однажды он сказал: «Дед, мой революционный дед, как ты не понимаешь, что тебе было легче! Этот белый, этот красный, этот зеленый, этот фиолетовый в крапинку... А Гасилов — бесцветный! Он даже не серый, он никакой!» — говорил старик пронзительно. — Это было в тот вечер, когда Евгений в очередной раз ходил к Гасилову, и тот ушел от драки, величественно пренебрег схваткой с моим внуком... Знаете, что сказал мне Женька? Он пришел печальный и сказал: «Дед, мне очень хотелось играть с Гасиловым в подкидного дурака. Я люблю играть в подкидного дурака!» Вы бы слышали, как я кричал на него, вы бы только слышали! «Циник! Оппортунист! Скептик!»

Егору Семеновичу не хватало воздуха.

— А Женька тогда еще был безоружен. Он шел на танк с детским пугачом... И вы посмотрите, чем это кончилось. Чем это кончилось!

Старик держался за палку, как за последнюю свою опору на земле, по-прежнему обращенный лицом к окну, он глядел в него слепыми глазами.

— Это кончилось вот чем... — Егор Семенович опустил голову. — Гасилова не сняли с работы, пикардийский бык процветает, а Женька... О, господи! Гасилов везде говорит: «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать!» Это же оскорбление! А все я! Я. Я торопил внука, мешал ему вооружиться... А что я вытворял в октябре, когда состоялось отчетно-выборное комсомольское собрание. Что я вытворял, боже мой!

Егор Семенович повернулся к Прохорову, впервые пристально и длинно поглядел на него.

— Отчетно-выборное собрание проходило в середине октября...

За семь месяцев до происшествия

...в середине октября, когда кончились ostatние теплые денечки, проходило отчетно-выборное собрание. Поддувал уже с Обской губы злой сиверко, по ночам беззвездное небо сливалось с землей, река была темной, незаметной, осенняя грусть насквозь пропитала шуршащие листья, воду у берегов, дневное вылинявшее небо. Собаки по ночам лаяли осторожно, по-октябрьскому грустно.

В день комсомольского собрания Женька Столетов на лесосеку не ездил — сидел дома с температурой. Накануне мать нашла ему на грудь и спину сердитые горчичники, напоила чаем с малиновым вареньем, а утром не велела выходить во двор, угрожая воспалением легких. После утреннего приема мать прибежала домой с пилюлями, потом поставила Женьке термометр, велела держать ровно пять минут, а не минуточку, как привык нетерпеливый сын.

Женька грустно, как нахохлившаяся курица, сидел с градусником под мышкой, кривил губы и шепотом ругался, когда из своей отдаленной комнаты приперся дед Егор Семенович и еще в дверях устроил скандалчик.

— Это что за мода, — закричал дед, — не пускать Женьку на комсомольское собрание из-за пустяшной температуры! Евгения, ты мне не порть внука!

После этого он, конечно, не удержался от хвастовства:

— Мы ходили на комсомольские собрания с кровотокающими ранами...

И тут же рассказал историю про своего давнего друга Оскара Орбета, который, будучи уложенным в госпиталь с сорокаградусной температурой, ночью спустился со второго этажа по водосточной трубе и в одном белье, с открытым лбом, на котором от высокой температуры кипели дождевые капли, двинулся в тридцатикилометровый путь к родному полку. Он добрался к месту с нормальной температурой.

— Нас лечили не пилюли, а революционный энтузиазм! — разорялся дед, стуча по полу палкой с медными инкрустациями. — Мы горчицу употребляли по назначению... Я мог съесть за один прием три фунта мяса! Вот какими здоровыми и жадными к жизни делала нас революционность! — хвастался щуплый дед с лицом подростка. — Я кому говорю, Евгения, вынь из Женьки термометр...

— Я его сам выну! — рассудительно ответил Женька и объяснил: — Во-первых, прошло пять минут, а во-вторых, дед, я не загораюсь революционным энтузиазмом при мысли о нашем комсомольском собрании... Ну вот! Тридцать семь и четыре... Антиреспективно, чего скажут по сему поводу мои мамы?

Мать рассердилась:

— Не пойдешь на комсомольское собрание! Это безумство идти на собрание, когда по всей стране свирепствует среднеазиатский грипп!

Дед грозно прошествовал в столовую, усевшись в любимое кресло, от злости уронил тяжелую трость Женьке на ногу, но даже не заметил, что внук зашипел от боли.

— Почему же ты, Женечка, — сладким голосом спросил дед, — не хочешь идти на собрание? Что с тобой произошло, дражайший внучатко?

— А то произошло, — тоже ласково ответил Женька, — что

меня ладят избрать секретарем комсомольской организации. И Кирилл Бойченко подкатывается, и Генка Попов радуется, что ему не придется каждый месяц бегать в сберкассу с комсомольскими взносами...

Женька радостно захохотал.

— А чего это вы, Егор Семеныч, на меня братскими глазами смотрите? У вас палка, часом, не стреляет крупной картечью?

Дед Егор Семенович на самом деле смотрел на внука стреляющими, ужасно надменными глазами, а пальцем правой руки распушивал лихой разлет чапаевских усов.

— Я хотел бы знать,— полушепотом сказал он,— отчего мой внук не хочет быть секретарем организации КСМ? Я же говорил вам, что наш Евгений болен. Да-с, Евгения, наш сын и внук болен, но болезнь не из области медицины...

Дед погрозил им палкой.

— У нашего сына и внука социальная болезнь... Да, да, голубчики!

Дед ткнул палкой Женьке в живот.

— Общение с отпетыми циниками и тунеядцами, со скептиками — вот источник заражения! — Дед палкой пригвоздил к полу ковер. — Коридоры так называемого технологического института, наверное, пропахли мелкобуржуазной стихией... И вот вам результат-с! Мой внучок отказывается быть секретарем организации КСМ!.. Собирай, Евгения, плоды либерализма! Полубуйся на этого мило улыбающегося представителя современного нигилизма!

Женька на самом деле мило ухмылялся, голову склонил набок, руки скрестил на груди.

— Давай, дед, давай! — приободрил он сердитого старика. — Дальше валяй!.. Про узкие брюки скажи, о всеобщем мраке, который наступает на планете оттого, что мы рассказываем веселые анекдоты. И про то скажи, что нынешняя молодежь — это сборище транзисторных приемников...

С дедом бог знает что творилось — он то обиженно моргал короткими ресничками, то грыз левый ус, то пораженно откидывался на спинку кресла.

— Кошунство! — наконец просипел он. — Евгения, выйди! Я хочу наедине поговорить с человеком, который по крови является моим внуком, но, видимо, так проникся философией мелкобуржуазной стихии, что опасен для людей социально неустойчивых... Евгения! Прошу не улыбаться.

Он замолк оттого, что внук и невестка глядели на него ласковыми, любящими глазами, так как дед был человеком добрым, мягким и чистым, точно новорожденный. Достигнув почти восьмидесятилетнего возраста, он не удосуживался отказаться от модели мира, в которой отрицательными персонажами были лишь классовые враги, идейные противники, которых надо уничтожать с подобающим уважением к их позиции.

— Ты, дедуля, сообрази-ка, что произойдет, если меня изберут секретарем,— мирно сказал Женька.— Работать плохо я не умею, а там будь здоров как надо вкалывать... Комсомольские дела у нас чи-и-ри-извычайно запущены! А мне, как и Генке, надо готовиться в институт. Ты же сам подчеркивал, что коммунистом можно стать только тогда, когда овладеешь...— Женька подхалимски улыбнулся деду.— Ты лучше меня знаешь Ленина.

Хорошо сейчас было в гостиной. Горела настольная лампа под матерчатым абажуром, хвастался дороговизной ковер, было так чисто, как бывает только в приемных покоях больниц. Дед сидел в кресле с миролюбивым видом, мама улыбалась, сам Женька глядел на них с нежностью: «Хорошие ребята!»

— Все это так, Женька,— после паузы сказал дед.— В твоих доводах есть, конечно, рациональное зерно, но... Если тебя изберут секретарем организации КСМ, ты отправишь комсомолию на Петра Гасилова.

Имя и фамилию мастера дед произнес с насмешкой и пренебрежением, вздернув костлявое плечо, посмотрел на внука мудрыми глазами полковника.

— Нельзя упускать такую возможность, Женька,— сказал дед.— Это было бы неправильно тактически и стратегически...

Женька ничего не ответил, так как печально думал о том, что спокойствие и выдержка — великие вещи. Любимый дед, перестав кричать и стучать палкой, из необузданного мальчишки превратился в того человека, которым был на самом деле. Теперь в кресле сидел умный и остроглазый старик семидесяти восьми лет, совсем не такой шуплый, как представлялось в тот момент, когда бушевал,— был просто сухощавым, подобранным.

— Гасилов плевал на комсомолию!— грустно сказал Женька.— Нашего среднего образования не хватает, чтобы разобратся в делах лесопункта.

Он усмехнулся.

— Помоги, дед, выдвинуть обвинения против Гасилова.

— Изволь! — с широкой улыбкой ответил дед.— Пункт первый: омещанивание! Пункт второй: отход от борьбы! Пункт третий: перерожденчество!

— Расстрелять! — сказал Женька.— Расстрелять из станкового пулемета системы «Максим», ныне снятого с вооружения!

В гостиную-столовую неторопливо вошел отчим, сел рядом с Женькой и деловито сказал:

— Женьку ищет Голубинь. Сию секунду прибежал гонец... Интересно, что у них там стряслось?

С приходом отчима возникло ощущение, что в гостиную внесли громоздкий старинный шкаф спокойных и уютных очертаний, и сделалось светлее, так как отчим даже зимой умудрялся носить белое — он был в кремовых брюках и рубашке с закатанными рукавами.

— Циклон слабеет,— сказал отчим таким тоном, словно это он заставил циклон утихомириться. — Вот увидите, дело идет к прояснению... Давай, Женька, иди к Голубиню.

Когда Женька тепло и тщательно одевался в прихожей, мать, дед и отчим стояли рядом; мама помогала ему закутывать горло, дед глядел на него с одобрением и надеждой, а отчим советовал «не лезть в бутылку», если Голубинь вспомнит о лекторе Реутове...

— Моего внука избрали секретарем организации КСМ,— сказал Егор Семенович,— и с этого самого дня я натравливал его на Гасилова, хотя у Евгения было еще мало фактов... О, как я портил жизнь родного внука! Как я ее портил...

Егор Семенович откинулся на спинку кресла, во второй раз длинно и внимательно посмотрел на Прохорова такими глазами, словно ждал от него подтверждения. Наверное, поэтому Прохоров переменял позу, то есть выпрямился и поднял голову.

— Егор Семенович,— спросил он,— вы не помните, когда Евгений узнал о том, что Людмила Гасилова собирается выйти замуж за технорука Петухова?

Егор Семенович ответил не сразу — ему надо было совершить большой путь от осенних событий до того мгновения, в котором существовал Прохоров, зеленое окно, скворец за ним и тяжелая трость в собственных руках. Когда же старик понял вопрос, на его губах появилась тонкая презрительная усмешка.

— Гасилова верна моему внуку,— резко произнес он.— Сплетни о ее замужестве — обыкновенное проявление идиотизма деревенской жизни...

После этого Егор Семенович снова вернулся в свою собственную реальность — опять его мучил кошмар невозможности рассказать внуку о своей горькой вине, опять он мысленно разговаривал с Женькой, каялся перед внуком, и это было жестоко по отношению к самому себе, убивало окончательно, и кожа на лице Егора Семеновича казалась неживой, пергаментной.

— Они были хорошими ребятами,— прошептал Егор Семенович.— Мой внук и его отец — мой младший сын Володя... Да, да, они были хорошими ребятами! — повторил он и полуприкрыл глаза.— Володя умер через пять лет после окончания войны, а внук...

Старик замолк, остановившись, и даже руки с тростью перестали дрожать; в такой позе он просидел долго, может быть, минуту, затем снял правую руку с трости, порывшись во внутреннем кармане чесучового пиджака, протянул Прохорову треугольник солдатского письма.

— Нател! — тихо сказал старик.— Пожалуйста, не читайте при мне... Все эти дни я ношу письмо Володи в кармане, перечитываю его ежедневно, думаю... — Он снова остановился,

махнул рукой. — Неважно, о чем я думаю... Мне просто нельзя не думать...

Прохоров неловко втокнул бумажный треугольник в карман и снова стал глядеть на старика и слушать, как надрывается в ветвях рябины скворец. Егор Семенович тоже сидел молча, обе руки опять лежали на трости, старик снова так наклонился, словно готовился уронить голову на руки. «Как помочь ему?» — подумал Прохоров, хотя знал, что ничем нельзя помочь человеку, которого судил самый высший суд на этой теплой и круглой земле — суд собственной совести, который не признает ни малых вин, ни больших, ни средних.

— Неужели человек создан для того, чтобы совершать ошибки?! — прошептал Егор Семенович. — Неужели это так?

9

Капитан Прохоров шагал быстро, испытывая желание немедленно выпить до дна горе семьи Столетовых, в которой погиб самый молодой, спешил к восточной окраине Сосновки, где в соснах маячили радиоантенны, проглядывало через листву что-то белое — это была метеорологическая станция. Там все полтора месяца безвыездно сидел отчим Женьки Столетова метеоролог Василий Юрьевич Покровский, там хранилась тайна Женькиного сыновьего отношения к чужому человеку, скрывался последний из семьи, с кем Прохоров еще не разговаривал.

Начинался третий час дня, давно пора было обедать, но при мысли о столовых, клеенчатых скатертях и вечной осетрине у Прохорова начиналась изжога, не только не хотелось есть, но сам процесс еды казался отвратительным. Солнце старалось вовсю, наверное, действительно перемещались огромные пласты воздушных течений, что-то происходило с климатом, если такая необычная жара стояла в Нарымском крае. Термометр в двенадцать часов показывал тридцать четыре выше нуля — это было для Сосновки необычным.

Минут через пятнадцать Прохоров углубился в лес, прошагав метров сто кедром, остановился перед большой поляной, занятой антеннами, вышками со щелястыми ящиками, будочками, похожими на волейбольные судейские трибуны, шестами, громадными термометрами и другой метеорологической механикой, покрашенной в белое. Темным на поляне был только кукольный домик; он желтел масляной краской стен, был расписным, как елочная игрушка, казался соблазнительным, как цветной праздничный торт, а трехрогая антенна представлялась вилкой, воткнутой в него.

Таким же белым, цветным, веселым казался Василий Юрьевич Покровский, расхаживающий между шестами, антеннами и вышками. На нем был широкий белый халат, серые брюки, коричневые ботинки, цветная рубашка без галстука, а на голове

плотно сидел противознойный пробковый шлем. Прохоров еще только подходил к метеорологу, но уже знал, что Василий Юрьевич говорит басом, обладает деревенским здоровьем, несокрушимой нервной системой и, конечно, переизбытком оптимизма. Таким Покровский выглядел в рассказах о нем, таким он и был в действительности; и эта крупная голова, казавшаяся совсем гигантской от пробкового шлема, и румянец на щеках, умудряющийся пробиваться сквозь загар, и квадратный подбородок, и крупный нос, и богатырский рост — все говорило о том, что Василий Юрьевич Покровский человек спокойный, добродушный, не очень разговорчивый, но и не молчаливый, одним словом, человек нормальный, без того, что капитан Прохоров мысленно называл «выбросом».

— Здравствуйте, Александр Матвеевич! — пророкотал метеоролог действительно басом и крепко стиснул руку капитана. — Я давно ждал вас. Лучше будет в доме, не так ли?

И говорил он тоже нормально, и строй речи был энергичным. Покровский, видимо, любил ясную определенность и определенную ясность, как, впрочем, и полагалось такому крупному человеку, как он. Вежливо сопровождая Прохорова, он молча провел его на цветную веранду кукольного дома, усадил на плетеный стул, и Прохоров сразу увидел следы странного хобби Василия Юрьевича, увлекающегося плетением корзин из ивовых прутьев. На веранде дома, на завалинке, на земле лежали разнообразные изделия из прутьев, такие же цветные, яркие, веселые, как дом, поляна, метеоролог.

— Квас, чай, воду? — энергично спросил Покровский, не замечая интереса Прохорова к корзинам. — Квас делаю сам. Настаиваю на смородиновых листьях или на горчице. Горчичный квас! Забавно! А?

Когда Прохоров выбрал горчичный квас, метеоролог быстро скрылся в доме, загредев чем-то звонким, вернулся ровно через минуту с расписным кувшином в руках. Прохоров отпил глоток холодного, до ломоты в зубах квасу и чуть не улыбнулся тому, что квас был таким же ярким, расписным, веселым, как все окружение Покровского; напиток отдавал крепостью горчицы, духмяностью смородины, солнечностью укропа и домашностью пережаренного хлеба. Допив кружку до конца, не оставив ничего на доннышке, но отказавшись от добавки, Прохоров еще раз огляделся по сторонам и негромко спросил:

— Вы совсем не бываете дома, Василий Юрьевич? Мне говорили, что вы сутками сидите на метеостанции...

Нетактичная жестковатость вопроса капитана Прохорова объяснялась тем, что слишком уж резким был переход из темной комнаты Егора Семеновича к расписному раю метеорологической станции, что слишком здоров и энергичен был Василий Юрьевич Покровский, румянец на щеках которого вблизи казался трехслойным: первый слой — румянец нормального человека,

второй слой — румянец человека крепкого здоровья, третий слой — румянец самоуверенного и жестковатого оптимиста. Поэтому Прохоров отвечал жесткостью на предполагаемую жесткость крупного мужчины.

— Вы абсолютно правы, Александр Матвеевич! — спокойно ответил Покровский. — Я полтора месяца сижу на станции. Я только дважды был дома. Мне там нечего делать. Забавно! А?

Этот человек, оказывается, вставлял словечко «забавно» в свою речь точно так, как вставляла кстати и некстати слово «серьезно» Людмила Гасилова, но лишнее слово у Покровского звучало совсем не так, как «серьезно» Гасиловой, хотя Прохоров пока не мог понять, отчего метеорологу надо было пользоваться так часто словом «забавно» и вопросительным «а»; однако за этим лежало что-то значительное, и Прохоров откинулся на плетеный стул, сделанный Василием Юрьевичем прочно, красиво, удобно для тела.

— Второй вопрос такой, — мило улыбнувшись, проговорил Прохоров: — Когда вам стало известно о том, что Людмила Гасилова выходит замуж за технорука Петухова?

Капитан Прохоров вложил так много своего в этот важный сейчас вопрос, был так вкрадчив и осторожен, как на самом трудном допросе; он сейчас глядел на Покровского точно такими холодными глазами, какими глядел на Аркадия Заварзина, когда задавал бывшему уголовнику самый решительный и трудный вопрос.

— Клевета! — после секундного молчания резко ответил Покровский. — Не верьте деревне! Она иногда бывает жестокой. — Он улыбнулся. — Редко привозят кино... Забавно! А?

После этого капитан Прохоров окончательно убедился в том, что по-настоящему удобно было сидеть в разноцветном плетеном кресле производства Василия Юрьевича. На веранде было нежарко, отсюда солнечная поляна казалась совсем яркой, веселой, вышки на ней казались прищельцами, навес веранды закрывал солнце, и было покойно, тихо, славно. Капитан Прохоров пошевелился в кресле, пожалев, что отказался от второй кружки горчичного квасу, замороженным голосом сказал:

— Понятно, Василий Юрьевич! Спасибо за откровенность... А ловко вы разделали деревню-то...

Вот и третий человек из дома Столетовых отказывается верить правдивым слухам о том, что Людмила Гасилова собирается стать женой технорука Петухова. Час назад об этом со слезами говорил несчастный дед Женьки Столетова, два с лишним часа назад об этом же капитан Прохоров слышал от матери погибшего, не верящей до сих пор в смерть единственного сына... Капитан Прохоров энергично задвинулся в кресле, поглядывая на кувшин с квасом, с надеждой спросил у Покровского:

— А там еще осталось горчичное питье?

— Хоть ведро!

После второй кружки горчичного кваса Прохоров расстегнул еще одну пуговицу на воротнике рубашки, перестав наблюдать за крупным румяным лицом Покровского, уверенный в том, что Василий Юрьевич сам заговорит о нужном, снова откинулся на сладостно изогнутую спинку стула.

— Вы расспрашивали в деревне обо мне, я знаю, — ставя кружку на край стола, заговорил Покровский. — Так позвольте прояснить картину... — Он сделал крошечную паузу, но тут же энергично встряхнул головой. — Я любил приемного сына уже потому, что его звали Евгений. Женя! Женечка!.. Ему дали имя в честь матери, а я любил ее с сорок первого года. Забавно! А? — Он быстро встал, но тут же сел на место и, коротко взмахнув атлетической рукой, вопросительно усмехнулся. — Вам известно, что друга покойного мужа жены тоже зовут Владимиром? Нет! Жене тоже неизвестно! Забавно! А? Я ведь по паспорту Владимир, а не Василий!.. Ну разве не забавно все это? А?

Он был громадный, весь белый, пышущий здоровьем, этот самый спокойный человек в Сосновке. Как он был уверен в правильности каждого своего движения, слова, откровения, как был щедр на отдачу, на искренность, как смело шел навстречу щекотливым вещам!..

— Вот вам наша странная, если хотите, драматическая история! — с размаху бросил майор в отставке Покровский под ноги капитану Прохорову. — Мы с Володей учились в одном отделении военного училища, спали на соседних койках... Однажды Володя позвал меня в гостиную, где жил приехавший из Сосновки его отец... У нас было увольнение!.. — Он каждое короткое предложение обрывал, словно отрезая ножницами кусок металла. — Отец Володи представил нас студентке медицинского института, дочери его друга по гражданской войне... Это была Женя... Забавно! А?

Он наконец поднялся, прислонившись боком к стойке веранды, стал четко-белым на фоне зеленого кедра. Пробковый шлем Василий Юрьевич снял, русые волосы лежали на его богатырской голове гладко; густые, без единой сединки. Голова казалась большой, похожей на голову греческой скульптуры.

— Мы оба полюбили Женю, — энергично продолжал Покровский. — Однако она замечала только Володю-маленького... — Он усмехнулся. — Мы, два Володи, возненавидели рассказ Чехова «Володя-большой и Володя-маленький». А я? Я устранился из банального треугольника. Женя не запомнила меня... Забавно! А? Потом мы, два Володи, поехали на фронт. — Он повернулся спиной к веранде. — Володя-маленький был ранен в ста километрах от Берлина. Володя-большой за четыре года войны не получил даже пустяковой царапины...

Кедр за спиной Покровского оказался коренастым, широким, приземистым, так как стоял один на большой поляне, и

Прохоров, как давеча у столика, подумал: «Я сегодня вижу только то, что мне надо».

— Два Володи! — усмехнулся Покровский. — Да в одном нашем отделении было шесть Володь. Мы все родились в двадцать втором году... Володя-маленький умер через пять лет после окончания войны. Осколочек, крохотный осколочек стали лежал у него в миллиметре от сердца, оперировать было невозможно, и вот однажды... За три дня до смерти он позвал меня и... Володя-маленький был очень русским человеком... Он попросил меня позаботиться о Жене... Быть ее мужем, если она захочет... Он знал о моей любви... — Покровский вернулся на прежнее место, прислонился к верандной стойке затылком. — Забота о любимой женщине в секунду смерти в традициях русского человека... Помните ямщика, который замерзает в степи? Забавно! А? Типично русская черта!.. Через два года после смерти Володи-маленького я женился на Жене, но до сих пор она не знает, что меня зовут тоже Володей... Много лет я прячу от нее паспорт, сообщил всем друзьям, чтобы на конвертах они не писали мое настоящее имя. Забавно! А?

Прохоров, кажется, начинал понимать, для чего Покровскому требовалось слово «забавно» и вопросительное «а». Этим самым сильный, решительный, волевой человек прикрывал растерянность и горе; он прятался от мира в зыбкую насмешливость слова «забавно», искал подтверждение возможности быть насмешливым, когда отрывисто спрашивал «А?».

— Почему я не иду домой? Почему сижу на станции? — спросил у кедр Покровский и крепко прижался затылком к острому ребру верандной стойки. — Кому я нужен, такой здоровый, цветущий и молодой? Забавно! А? Кому нужен человек, который на фронте не получил ни одной царапины и ни разу в жизни не болел?.. Почему смерть опять выбрала Столетова, а не Покровского? Забавно! А?

Он болезненно усмехнулся.

— Женя сутками работает в больнице... Зачем ей нужен Володя-большой?.. Ей не нужны живые... А Женьки нет! Нет Женьки!.. — Покровский до боли прижимался затылком к режущей кромке стойки. — Такие люди, как наш Женька, не должны умирать... Он должен был жить долго, на радость людям... Хотите, я вам расскажу, как пятилетний Женька вернулся из дома Андрюшки Лузгина? — спросил он, но опять не обратил внимания на реакцию Прохорова. — Был поздний апрель, у пятилетнего Женьки были дырявые ботинки...

За пятнадцать лет до происшествия

...у пятилетнего Женьки были дырявые ботинки. Их не успели вчера отдать сосновскому сапожнику, безногому фронтовику дяде Косте, который уже сегодня, за несколько дней до Перво-

мая и Дня Победы, запил горькую. Евгения Сергеевна натягивала на ноги сына шерстяные носки, клала на стельку толстую картонку, но ботинки все равно пропускали воду.

Весна в тот год была ленивой — за десять дней до Первомая повсюду лежал мокрый, твердый снег, толстый лед на Оби стоял так прочно, словно не собирался в путь к Ледовитому океану, над деревней не было ни темных, злых туч, ни ясного неба, ни солнца, а так себе — морока, непогода, серенькое быт-ишко с мокрыми воронами и губчатым снегом... Маленький Женька с утра попытался гулять, походил возле дома минут пятнадцать и вернулся обратно печальный, задумчивый, с мокрыми ногами... Жили тогда Столетовы в двух комнатах дома счетовода леспромхоза Суворовой. По ночам всегда было слышно, как Мария Федоровна басом разговаривает как будто сама с собой, хотя бранилась с мужем Никитой, голос которого через бревенчатые стены не слышался.

Женька осторожно заглянул любопытным круглым глазом в дверь комнаты. Мамы не было дома, она была на работе, дед тогда жил отдельно в крошечном собственном доме на берегу реки, и в комнате был только отчим, который сидел за столом и что-то быстро писал. Было скучно, серенько, тихо, и хотелось не то спать, не то есть. Женька вошел в комнату матери и отчима, печально и молча сел на высокий дубовый сундук, и так как отчим его не заметил, мешать ему не хотелось. Наконец отчим в последний раз умакнул ручку в чернильницу-непроливайку, написал последние слова, потягиваясь, поднялся.

— Ага, голубчики! — сказал он. — Вам не гуляется!

Голос у отчима был веселый. Он, как всегда, шутил, поглядывая на Женьку разновеликими насмешливыми глазами, но парнишка от желания не то спать, не то есть веселый тон отчима не принял.

— Ты все написал, Василий? — грустно спросил он.

— Все! А почему это тебя интересует?

Женька ответил не сразу, а сначала спрыгнул с дубового сундука, на цыпочках подошел к отчиму, задрал голову, чтобы посмотреть на его далекое лицо... Женька тогда был не худой и длинный, а, наоборот, короткий и круглый; у него тогда были белокурые волосы, синеватые глаза и выпуклый, важный живот. Ходил мальчишка, переваливаясь как утка, любил закладывать руки за спину, солидно моргать глазами.

— Почему это меня интересует? — задумчиво переспросил Женька. — А потому, Василий, что мне хочется пойти к Андрюшке Лугину... Мне хочется, а мама не велит одному далеко гулять.

Пятилетний Женька был не только важным, но и рассудительным. Он страстно любил серьезные длинные разговоры, непременно сидел в комнате матери и отчима, когда они возвращались с работы, а когда приходил взбудораженный дед,

заставлял его читать медицинскую энциклопедию. В те времена Женька был очень хозяйственным — игрушек у него тогда было мало, но хранились они в образцовом порядке; он ежедневно стирал с них пыль, укладывал на предназначенные места, укоризненно качал головой.

— Мама не велит одному далеко гулять,— повторил Женька и похлопал ресницами. — А я, знаешь, Василий, еще ни разу не был у Андрюшки Лузгина. Я не знаю, где он живет. А ты знаешь, Василий?

Минут через пятнадцать отчим и Женька шли по апрельской деревне, обходя лужи, старались ступать дырявыми ботинками по сухому, но это не всегда удавалось, так как в Сосновке тогда еще не было деревянных тротуаров. На отчине шуршала тугая офицерская шинель без погон, кирзовые сапоги, тоже промокнув, хлюпали, зимняя шапка так вытерлась, что проглядывала матерчатая основа; горло у отчима было открытое, так как он отдал свой офицерский шарф Женьке. И перчаток у отчима тоже не было.

По обе стороны дороги лежала черная от непогоды, мокрая, скучная, дряхлая Сосновка. В деревне не было еще новых домов, школа стояла одноэтажная, в больнице имелось всего три большие комнаты, не было еще поселковой электростанции. В деревню с фронта не вернулось около ста мужчин, по улицам шли преимущественно старики и подростки, много женщин средних лет, а еще больше — молодых. У магазина стояла длинная очередь, пожилые женщины кутались в дырявые платки, на молодых были толстые телогрейки и кирзовые сапоги, ставшие в войну униформой российских жительниц сел и деревень.

— У меня пока нет друзей, Василий,— говорил Женька, шагая рядом с отчимом и стараясь не ступать в лужи. — А ты сам говоришь, что человеку надо дружить... Я бы познакомился с Петькой Гольцовым, но он дразнится: «Доктор едет на свинье с докторенком на спине!» А я разве виноват, Василий, что у меня мама — доктор и дедушка — доктор... Я же не дразню Петьку Гольцова: «Тракторист, тракторист, у тебя на ж... лист!»

Высокий отчим двигался немного впереди Женьки. Услышав про тракториста, он замедлил шаги, но остановился только после того, как странно повел шеей да пощипал пальцами нижнюю губу; уже после этого Василий Юрьевич повернулся к Женьке, наклонился, очень запахнув махоркой, сказал:

— Ты бы не употреблял, Женька, неприличные слова! Ну, сказал бы хоть «попа», что ли...

— А это одно и то же, Василий! — рассудительно заметил Женька. — Вот и мама ругается, что я говорю такие слова...

Они пошли дальше. Вскоре у Женьки совсем промокли ноги, но мальчишка не обращал на это внимания, так как был рад идти к Андрюшке Лузгину. Пятилетний Женька познакомился с ним в больнице, когда пришел навестить маму и деда. Анд-

рюшка сидел в очереди с перевязанной щекой и говорил так: «А у тебя есть рогабулька?» Мальчишка был круглоглазый, как сова, на Женьку глядел исподлобья; сразу было видно, что он очень добрый и сильный...

— Ты лучше не заходи в дом, Василий,— сказал Женька, когда они подошли к дому Лузгиных,— а то они подумают, что ты меня за руку вел... Андрюшка сам ходит по всей деревне. Ты лучше подожди.

Женька самостоятельно пошел к дому Лузгиных... Маленький, в шерстяных чулках выше колен, в телогрейке, переделанной из дедовской, в шапке, сшитой охотником-остяком — другом Егора Семеновича — специально для него, с рукавицами на вевочках.

Василий Юрьевич присел на лавку, стоящую возле дома, поеживаясь от сырости, завернул из махорки толстую «козью ножку», так как еще не мог привыкнуть к папиросам, которыми иногда угощал его Егор Семенович. Махорку отчим Женьки завертывал в газетную бумагу, сложенную специальным образом. Отрывая длинную полосу, он прочел четкие буквы: «...развязав войну в Корее, американский империализм пытается, как и встарь...». Приготовив «козью ножку», Василий Юрьевич достал из кармана коробку спичек, повернул ее к себе этикеткой и увидел слова: «Помните о Хиросиме!» — грибовидный взрыв, перекосенное лицо, пальцы-кости...

Женька вышел на улицу вместе с Андрюшкой Лузгиным, одетым тоже в телогрейку, прожженную в нескольких местах, до смешного длинную, в шапчонке. Андрюшке тогда было четыре года, но в отличие от Женьки будущий сосновский богатырь был еще тоненьким, прозрачным и длинноногим. Под его взрослой телогрейкой было трудно угадать многообещающую ширину плеч, прочность короткой мощной шеи. На ходу Андрюшка подпрыгивал, вел себя несолидно, как говорят в Нарыме, мельтесился, и это было особенно заметно потому, что за ним шел медленный, печальный, важный толстяк Женька.

— Драсте, дядя Вася! — сказал Андрюшка.

Ответив на забавное приветствие мальчишки, Василий Юрьевич поднялся со скамейки и, поглядев на понурого Женьку, понял, что в доме Лузгиных что-то произошло — такой тот был задумчивый, медленный, как черепаха; синие глаза были широко открыты, рот округлился, налитые щеки возбужденно розовели.

— Ну, ладно, двинули, солдатня! — сказал отчим. — Не отставать!

Обратный путь по деревне был еще более трудным: несколько минут назад по улице проволочился к шпалозаводу тяжело нагруженный газогенераторный лесовоз, расквасил дорогу в непроходимое болото. Обеспокоенный отчим уже было повернулся к Женьке, чтобы взять его на руки, но увидел, что Андрюшка

шлепает по воде калошами, надетыми на самые настоящие, взаправдашные онучи. Василий Юрьевич ухмыльнулся, нагнувшись, бесцеремонно подхватил обоих мальчишек и понес их на руках дальше.

Сначала Женька и Андрюшка пытались вырваться, обиженно пищали, но вскоре притихли, сидели нахохлившись, как мокрые галчата, лица у парнишек были сосредоточенные, словно они считали про себя шаги Василия Юрьевича. Он их живенько доволоч до дома, сгрузив мешками на высокое крыльцо, сказал наставительно:

— Я сбегаю на работу, а вы у меня... Смо-о-о-трите!

Вернулся Василий Юрьевич часа через два, когда уже смеркалось, по-холодному сияли продутые ветром торосы на Оби, на мутное небо напоззала синяя дымка от деревенских труб, лужи покрывались сальной ледяной коркой.

Еще на крыльце Василий Юрьевич услышал голоса жены и приемного сына, обрадовавшись, что Женья дома — а это случилось не часто, — с хорошим, деловым и умиротворенным настроением открыл перекошенную дверь. Жена и приемный сын действительно были дома; сидели за столом, на котором уже стояла большая чашка с дымящимся картофелем, лежали три ломтя черного хлеба, и — представьте себе — возле каждой тарелки белели накрахмаленные салфетки из такого тисненого, украшенного вензелями полотна, из которого ничего полезного сшить было нельзя. Жена, в ситцевом халатике, умытая, гладко причесанная, посвежевшая и очень красивая, сидела на хозяйском месте, Женька громоздился на высоком детском стуле, похожем на трон. Он был мирный, солидный, рассудительно-деловой.

— Здорово, мужики! — приветствовал их Василий Юрьевич и, не снимая шинели, стал подходить к столу крадущейся походкой. — Ну, держитесь! Вы у меня сейчас — бряк!

Загадочно улыбаясь, согнувшись, как под обстрелом, он вдруг состроил равнодушное лицо и выложил на стол большую селедку, завернутую в районную газету «Советский Север».

— Кто живой остался, того я счас доконаю! — грозно сказал Василий Юрьевич. — Второе орудие! Пли!

На стол лег небольшой, но толстый кусок сала с налипшими кусками соли.

— Третье орудие! Огонь!

Василий Юрьевич выложил на стол — о чудо! — граммов двести шоколадных конфет в блестящих обертках.

— Ты гляди, мать, Женьки уже нетути! — жалостливо сказал Василий Юрьевич. — Они уже изволили почить...

Женька сидел на тронном стуле ошеломленный, вытянувшийся, с потончавшей от этого шеей, но с закрытыми глазами, точно боялся поверить, что на столе действительно лежали шоколадные конфеты. Глаза у него были закрыты так плотно, что

лицо казалось ровным,— не было провалов глазниц. Потом Женька поднял ресницы, посмотрел на конфеты еще раз: лежат и даже посверкивают картинками, на которых был изображен салют Победы.

— Конфеты — всем поровну, а фантики — мои... — солидно произнес Женька. — Ты, Василий, на фантики-то не зарься. Не маленький! Кого тебе с фантиками-то делать?

Мать и отчим захохотали. «Кого тебе с фантиками делать» — это был след пребывания в доме Андрюшки Лузгина. Интонация у Женьки была тоже забавная, по-нарымски напевная, весьма подходящая к его солидности и рассудительности. В голосе прозвучала и хозяйственность, и забота о фантиках, и уважение к отчиму, имеющему право на фантики, как человеку, доставшему конфеты.

— Пусть будет так! — торжественно объявил Василий Юрьевич и поцеловал жену в висок. — Пир объявляю открытым...

Они сели ужинать, и было светло за столом, хотя горела только коптилка-бутылочка с опущенным в нее фитилем. В те послевоенные времена в такой деревне, как Сосновка, еще свободно не продавали керосин, но им все равно было славно сидеть за семейным столом, на котором стояла дымящаяся картошка, лежали селедка, сало, двести граммов конфет с салютом Победы и горела в коптилке нефть с Каспийского моря. Жене Покровского тогда было тридцать два, самому Василию Юрьевичу — тридцать три, а Женьке — пять.

На полочке Женькиного трона лежали пять конфет, и он изредка поглядывал на них с озабоченным видом, но не притрагивался к сладостям перед картошкой, салом и селедкой — такой был сознательный. На груди у Женьки болталась коричневая большая клеенка, светлые волосы лежали на круглой голове шапкой, голые руки были сплошь в ямочках, а нос — тупой и короткий — глядел на мир фигой.

В комнате, где они празднично ужинали, было царственно пусто: стояла одна, не очень широкая деревянная кровать, комод из красного дерева — подарок Егора Семеновича — и молодой фикус в большой кадке; на окнах висели белые мадаполамовые занавески, на стене — портрет Сталина в мундире генералиссимуса. Не считая обеденного и рабочего стола отчима, в комнате больше ничего не было.

— Раздавай селедку, мать! — сказал Василий Юрьевич. — Эх, братцы, знали бы вы, как я мечтаю о ней!

Женьке достался кусочек средней части с белесым жирком внутри; подражая матери, он взял его двумя пальцами, положил на свежий газетный лист и, сладко облизав губы, обстоятельным голосом сказал:

— Андрюшка Лузгин очень бедный... У них даже картошка кончается! — Женька захлопал длинными ресницами и укориз-

ненно поглядел на отчима. — Ты мне, Василий, читал, что у нас бедных не бывает, а Андрюшка бедный. Мам, а что значит: «До июля сдюжить»?

Мать Женьки поднесла ко рту селедку, как и сын, быстро моргала, а Василий Юрьевич уже жевал селедочный хвост, и Женька опять укоризненно покачал головой.

— Вот и ты, мам, не знаешь, что значит «До июля сдюжить». И Андрюшка не знает... — После этого он поднес селедку к острым зубам и пообещал невнятно: — Я вырасту, стану большим, как Василий, так сделаю, чтобы бедных не было...

Отчим Женьки Столетова энергично оборвал рассказ, верный своему обыкновению строить короткие, энергичные предложения, поставил после конечной фразы жирное многоточие. Его белый халат был распахнут, виднелся широкий офицерский ремень, прoderнутый сквозь штрипки штатских брюк; у него намечался животик, и Василий Юрьевич жестоко стягивал его железной кожей армейской сбруи.

— Я любил Женьку больше, чем родного сына, — резко сказал он. — Я сам не хотел иметь второго ребенка. Забавно! А? Страшно, когда в семье есть родные и неродные...

Он сел на прежнее место, забыв о Прохорове, налил себе горчичного квасу, пил большими глотками, закинув назад голову, — на сильной, атлетической шее мерно, но напряженно билась крупная артерия. Покровский одним духом выпил весь квас из кружки, пристукнув доньшком по столу, сказал зло:

— Чувство собственности — вот главный враг человечества! Забавно! А?

Прохоров был сейчас почему-то совершенно спокойным, хотя не было никаких оснований для этого. Однако еще во время рассказа Покровского о пятилетнем Женьке он почувствовал, как проходит ощущение его вечной неуверенности в себе, как тихая и мудрая философичность бесшумно гасит нетерпение. Что-то в отчине Евгения было такое, что казалось крупнее обычного, и эта крупность, философичность не позволяли суесться, жить мелкими заботами, проявлять элементарные и примитивные эмоции. Поэтому Прохоров неторопливо выпрямился, оторвав спину от плетеной благодати, размеренным, тускловатым голосом спросил:

— Василий Юрьевич, а как вы оцениваете мастера Гасилова, с которым Евгений вступил в непримиримый конфликт? Что вы можете сказать о его человеческой сущности?

Покровский задумался. Он в первый раз за все это время прищурился от солнца, полуопустил голову, сомкнул крупные, почти негритянские губы. Он, наверное, сейчас представлял себе Гасилова и его окружение, шел мимо роскошного особняка, видел дочь Гасилова, жену Гасилова.

— Гасилов мне неинтересен,— спокойно ответил Покровский.— Он мещанин, а это банально и привычно, как восход солнца... — Покровский неожиданно улыбнулся.— Знаете, как Евгений именовал Гасилова? Он его называл мещанином на электронных лампах, предполагая, что где-то на высшем уровне существует мещанин и на транзисторах.

Оказалось, что кедровые деревья тоже умеют шелестеть своими твердыми иголками,— приземистое дерево возле веранды пошумливало, на каждой иголке лежал солнечный блик, весь кедр с восточной стороны казался зелено-золотым. Могучее дерево так прочно вцепилось в землю, что образовало вокруг себя выпуклый бугор, мало того, стремясь к еще большему могуществу, кинуло поверх земли длинные и прочные корни-щупальца. Он прочно стоял на земле, этот сибирский кедр с зелеными фонарями шишек на концах ветвей. «Раскручу я завтра Заварзина! — неожиданно подумал Прохоров.— А потом вытащу из мутной воды Гасилова-налима...»

— Вы скупердядя и плохой хозяин,— обратился Прохоров к метеорологу,— отчего бы это, хотел бы я знать, вы в одиночестве пьете свой горчичный квас, а измученных сыщиков не угощаете? — И плотоядно потер руку об руку.— Ну-к, налейте мне холодного кваску, да я побегу по следам мещанина на электронных лампах...

10

Найденную «хоть из-под земли» участковым инспектором Союю Лунину капитан Прохоров пригласил посидеть вместе с ним на скамейке, что находилась под старым осокорем, и поступил правильно, так как с Оби дул влажный ветер, могучее дерево успокаивающе шелестело листвой, солнце только наполовину спряталось за горизонт, и от этого по реке растекалась розовая волнистая полоса.

Соня Лунина была точно такой, какой ее построило воображение Прохорова при чтении протокола знаменитого комсомольского собрания: вся она была светлой, как молодой, недавно народившийся месяц. У третьей женщины, связанной с именем Евгения Столетова, не было трагедийности и привлекательной женственности Анны Лукьяенок, броской и яркой красоты Людмилы Гасиловой, а все было таким, что начинало казаться прекрасным только по истечении некоторого времени. Она была маленькая, тонкая, у нее были густые волосы, толстые русые косы, точеный нос тропининской «Кружевницы» и при тонкой талии, при узких покатых плечах, при небольшом росте красивые длинные ноги. Да, Соня не казалась красивой сразу, с первого взгляда, но чем больше Прохоров всматривался в ее лицо, тем больше понимал, что она хороша, очень хороша.

Прохоров уже минут пятнадцать разговаривал с девушкой, убедился в том, что Соня Лунина на самом деле плохо написала протокол из-за любви к Столетову — она забывала о бумаге и ручке, когда Женька произносил свою веселую речь, ей было не до писанины, когда собрание восторженно вопило. Прохоров уже успел сообщить Соне о том, что нашел запись речи Столетова, и добавил, что они — Прохоров и Соня Лунина — теперь могут восстановить течение комсомольского собрания со стенографической точностью, но сделают это немного позже, то есть после того, как Соня расскажет о своем отношении к Евгению Столетову. Капитан Прохоров думал, что девушка смутится, когда пойдет речь о ее любви к погибшему, но Соня Лунина спокойно сказала:

— Женья с восьмого класса знал о моей любви к нему. Както на первомайском празднике мы затеяли игру в почту, и я написала Жене записку, в которой сказала все...

Об этой записке Прохоров знал от Андрюшки Лузгина, помнил даже ее текст, но он, конечно, не перебивал девушку, уже не удивлялся ее простоте и непосредственности, а просто слушал, глядел в добрые глаза, следил за пухлыми молодыми губами.

— Почтальон Андрюшка Лузгин нашел меня в коридоре, куда я убежала, испугавшись своей смелости, вручил мне ответ Жени и сразу ушел... — продолжала девушка. — А я долго смотрела Андрюшке в спину... Знаете, я считала странными, непонятными друзей Жени. Всех их — Андрюшку Лузгина, Бориса Маслова, Генку Попова... — Она немного помолчала. — Мне казалось странным, что они все время общаются с Женей — разговаривают с ним, смеются, ходят вместе, сидят, купаются, катаются на лыжах и не замечают этого... Им было так же привычно общаться с Женей, как чистить зубы или ходить в школу. А я...

Она уже не глядела на Прохорова, а только на реку, на тонкие зеленые лучи, хорводящиеся по горизонту вязальными спицами; по реке шел тяжело нагруженный баржами буксир, хлопали по воде суетливые плищи, над пароходом вились чайки, кричали гортанно на всю реку. Буксир назывался «В. Маяковский», он уже зажег все сигнальные огни и казался нарядным, как новогодняя елка.

— А я боялась Женю! — сказала девушка совсем тихо. — Он был простой, веселый, общительный, а мне казался недоступным, как директор школы.

Вспоминая, Соня то и дело меняла положение правой руки: то проводила пальцами по щеке, то ненужно поправляла прядь тяжелых прямых волос, то крутила пуговицу на белой кофточке.

— Я боялась с ним встретиться глазами, сразу бледнела, а он краснел... Я теперь понимаю, почему он краснел! — Она летуче вздохнула. — В его ответе на мою записку все было доб-

рым. Женя написал: «Соня, ты самая лучшая девчонка на свете! Давайте пойдем домой все вместе: ты, я, Людка, Андрюшка!»

Белая кофточка на Соне была из тех, которые можно носить с темным бантом, на ней топорщились опять входящие в моду складки и оборки, сквозь кофточку просвечивали смуглые плечи. Глаза девушки блестели, правая рука опять искала занятие и успокоилась тем, что стала теревить оборку на кофточке.

— Для меня радостным было даже самое мелкое, незначительное. Я, например, старалась прийти в класс первой, чтобы в одиночестве подойти к списку учащихся и найти фамилию Жени... — Соня, казалось, видела стенку, на которой висел список фамилий. — Там было написано только «Е. Столетов», а я могла стоять возле списка целый час...

Слушая ее, Прохоров думал о Вере, вспоминал их последний разговор по телефону, потом увидел Веру так ясно, точно она была рядом...

...Вера стояла возле окна тесной прохоровской комнаты, болезненно щелкая суставами пальцев, говорила почти то же самое: «Я терпеть не могу твоего веселенького майора Лукомского, не терплю Миронова, готова растерзать Сергованцева, когда он приходит к тебе и молча пьет рислинг... Ты мой, только мой!»

— Мне хотелось выйти из класса,— негромко продолжала Соня,— когда литератор читал вслух сочинения Жени. Он их читал часто, Женя хорошо писал. А я... Я... не могла слушать! Мне казалось, что Женя в эти минуты принадлежит всем, кто слушает его сочинение...

Девушка была не только умна, но и тонка: она предугадывала вопросы Прохорова, опережала его на одну-две ассоциации и поэтому шла впереди него, как пароход «В. Маяковский», ведущий на буксире три огромных баржи. Они — пароход и баржи — двигались навстречу мощному обскому стрежню отчаянно медленно, со скоростью километров пять-шесть в час, и Прохоров подумал, что «В. Маяковский» прибудет в Ромск недели через полторы, когда он, Прохоров, уже вернется, увидит Веру, поговорит с ней, посидит в ее пропахшей гримом и духами комнате...

— Я ходила за Женей, как нитка за иголкой,— говорила Соня Лунина. — Не знаю, зачем я это делала, но я ходила за ним и тогда, когда Женя вернулся из города и решил жениться на Гасиловой. Наверное, я все на что-то надеялась, как герой одного из рассказов Генри. Помните, тот все ждал, что священник перепутает и обвенчает с невестой его... Очень смешно все это. Я понимаю.

Прохоров ничего смешного в ее рассказе не находил, продолжая наблюдать за буксирным пароходом, вспомнил Сонину записку дословно. Она писала: «Я хочу с тобой дружить, потому что люблю тебя, как в кино «Лейла и Меджнун». Гаси-

лова тебя не любит, она дружит с тобой потому, что ты отличник и очень красивый». Ее чувство так и выплескивалось из глубины ее темных глаз.

— Я ходила за Женей до последнего его часа, как ходила за ним и Анна Лукьяненко... Мне ее было жалко. Она много старше Жени и такая несчастная! Живет на кровати... — Соня Лунина нащупала пальцами пуговицу на воротнике кофточки, начала нервно крутить ее. — За Женей ходил и самый страшный его враг Аркадий Заварзин...

Соня закрыла глаза, словно ничего не хотела видеть наяву, а шла узкой извилистой тропинкой за Людмилой Гасиловой и техноруком Петуховым.

— Аркадий Заварзин, как и я, первым в деревне узнал о прогулках Людмилы Гасиловой и технорука Петухова, хотя они старались встречаться незаметно...

Услышав это, Прохоров выпрямился, заглянул девушке в лицо. Почувствовав и услышав его движение, Соня открыла глаза.

— Да, это было так, Александр Матвеевич! — подтвердила она. — Петухов и Людмила скрывали свои отношения... Иногда мне казалось, что я смотрю пьесу Островского.

Рассеянным, отсутствующим взглядом Соня смотрела на реку. По Оби по-прежнему черепашью ходом шел буксир «В. Маяковский», плыла рыбацкая лодка с розовыми от закатного солнца веслами, висела в зените легкая вечерняя тучка, иссиня-розовая, просквозженная насквозь солнечным светом. Соня вздохнула, задумчиво пообещала:

— Сейчас объясню, почему все это походило на пьесу Островского... Людмила и Петухов всегда гуляли молча, им нечего было сказать друг другу, и поэтому было видно, что они гуляют не по своему желанию... — Она смущенно улыбнулась. — Я плохо объясняю, Александр Матвеевич, но только Петухов время от времени произносил несколько ничего не значащих слов... А однажды он сказал: «Мы сможем построить отличный дом в областном центре...» Людмила улыбнулась, но ничего не ответила... Только тогда я поверила сплетням, которые разносила по поселку сплетница Алена Брыль. Она говорила, что Петухов женится на Людмиле из-за денег и сам тоже богатый... Ну, разве это не Островский?

Еще раз легуче вздохнув, Соня Лунина замолчала. Пальцы правой руки опять нашли пышную оборку на белой кофте, стали тереть ее, поблескивая кольцом с розовым камешком. Прохоров был почти уверен, что на внутренней стороне кольца выгравированы инициалы Столетова — так Соня однажды посмотрела на кольцо, и надето оно было на тот палец, на который надевают обручальное.

— Спасибо, Соня! — ласково поблагодарил девушку Прохоров. — От вас я узнал очень важную деталь и совсем не осуж-

даю вас за то, что вы следили за Женей и его окружением... — Он посмотрел на девушку просительно. — Я знаю: вы много пережили, пока рассказывали о Петухове и Гасиловой, но все-таки попрошу вас подробно рассказать о комсомольском собрании.

Прохоров достал из нагрудного кармана шесть небольших блокнотных страниц, протянув их Соне, отвернулся от девушки с таким видом, точно его в этот момент больше всего на свете интересовал буксир «В. Маяковский». Пока Соня читала крупные прыгающие буквы, Прохоров старался понять, как это не надоело пароходу почти на одном месте буравить встречный обской стрежень, отчего не бросается со скуки в воду штурвальный или вахтенный начальник, по-петушину сидящий на боковом леере с ненужным мегафоном в руках. Разглядывая пароход и удивляясь терпению речников, Прохоров слышал бережный шелест блокнотной бумаги, легкое, прерывистое дыхание, потом наступила такая тишина, словно Соня не сидела на скамейке рядом с Прохоровым.

— Да, это та самая речь, — сказала наконец Соня, — после нее большинство комсомольцев и проголосовало за снятие мастера Гасилова... Я почти ничего не записывала, я сильно волновалась. Мне речь Жени казалась слишком легкомысленной, но он не мог вести себя иначе, а потом я поняла, что Женя и не должен был быть серьезным — это превратило бы его речь в злословие...

Камня на камне не оставалось от того, каким представлял себе внутренний мир Сони Луниной капитан Прохоров. Да, внешне она подтвердила его прогнозы, но в остальном он ошибся — рядом с ним сидела вовсе не птичка божья, не белокурая простушка, а умная девушка, хорошо понимающая, что речь Столетова на комсомольском собрании была написана в единственно возможном варианте. Ведь редкий человек мог серьезно представить, что в одном из лесолунктов страны процветает и здравствует мастер, который сдерживает производительность труда, чтобы легко жить и всегда получать максимальные премиальные за перевыполнение заниженного планового задания. Да, такое представить было трудно, и Евгений Столетов, чтобы не казаться по-настоящему смешным, произнес веселую и даже легкомысленную речь.

— Соня, — еще раз попросил Прохоров, — расскажите мне о комсомольском собрании... Вы обрисуете обстановку, а я в нее вставлю речь Евгения. Таким образом мы получим цельную картину...

Соня слушала так, словно ожидала этого вопроса, и сразу же начала неторопливо вспоминать.

— Это было в середине апреля, двенадцатого, как записано в протоколе, но ранняя весна была в разгаре... — задумчиво

сказала Соня. — Я видела Женю, когда, опаздывая, он бежал на комсомольское собрание... Да, да, было тепло, если Женя бежал без пальто и кепки по сухому тротуару...

За месяц до происшествия

...Женька Столетов без пальто и кепки бежал по высохшему и от этого звонкому тротуару; было по-весеннему тепло и солнечно, хотя в Лягушачьем болоте лежал рыхлый черный снег, дул пропитанный влагой ветер. Обь собиралась вот-вот двинуться в свой длинный путь к Ледовитому океану и по ночам потрескивала уже грозно, сухо, предупреждающе, как сосновые стойки в шахте перед обвалом. Торосы на реке были такими же синими, как ветер, и цвет неба был голубым.

До начала собрания оставалась минута, когда Женька ворвался в контору, окунувшись в шум и гром, понял, что действительно чуть-чуть не опоздал. Комсомольское собрание сделали открытым, и Женька увидел многих несоюзных парней.

Не останавливаясь, Женька влетел в красный уголок, где за длинным столом в скучном молчании сидели члены бюро — Генка Попов рисовал на клочке ватманского листа длинновязую фигуру опаздывающего секретаря комсомольской организации; Борька Маслов, по ночам штудирующий английский, сладко дремал; Андрюшка Лузгин мастерил из бумаги кораблики; недавно демобилизованный солдат Мишка Кочнев и замужняя комсомолка Зоя Радищева просто скучали.

— Начинаем, начинаем! — на ходу закричал Женька. — Давай заходи, братцы!

Минут через пять красный уголок был наполнен до отказа. Как и полагается всякому председательствующему, Женька постучал карандашом о графин, призывая к порядку, объявил собрание открытым.

— На повестке дня два вопроса, — сообщил он серьезно. — Первый вопрос: «Почему мы работаем недостаточно хорошо, когда можно работать достаточно самоотверженно», второй вопрос: «Надо ли принимать в комсомол Николая Локтева, который гонит самогон?»

В зале захохотали, хотя именно так и было написано на большой афише, нарисованной акварельными красками Генкой Поповым и прибитой на бревенчатую стену у входа в клуб.

— Кто за предложенную повестку дня, — прошу голосовать! Против нет, воздержавшихся — двое: чокеровщики Пашка и Витька... Слово для сообщения имеет Евгений Столетов, — объявил Евгений Столетов и встал за фанерную трибуну. — Регламент, братцы, устанавливать не будем. Я в десять минут думаю уложиться... Пашка и Витька, притихните, а то будете позорно удалены.

Взгромоздившись на шаткую фанерную трибуну, Женька Столетов многозначительно помолчал и, ухмыльнувшись, выкинул руку ораторским жестом.

— Милостивые государи и милостивые государыни! Комсомольцы и некомсомольцы!

В зале опять дружно захохотали, и Женька удовлетворенно подумал, что они, то есть комсомольское бюро, правильно сделали, когда решили открытое собрание провести весело, как бы несерьезно, чтобы решение о мастере Гасилове было неожиданным.

— Понимая, что вы удивлены столь изысканным обращением,— продолжал Женька,— я вскорости перейду на удобоваримый язык комсомольских собраний, но, как говорится, во первых строках своей эпохальной речи допущу пафос и словоблудие, ибо разговор пойдет о нашем благодетеле и добром наставнике Петре Петровиче Гасилове, да святится имя его!

После этого Женька вынужден был сделать паузу, так как в зале сделалось шумно и перекричать собрание было невозможно. Зарычали от восторга радующиеся всякому скандалу чокеровщики Пашка и Витька, завопил истерично влюбленный в Гасилова юродивый Васенька Мурзин, по-настоящему грозно орал заступник мастера Сережка Блохин, а комсомольцы просто хохотали.

— Какой же вопрос я хочу задать в первых строчках своей речи? — уморительно-серьезно спросил Женька. — Я бы хотел спросить вас, братцы-комсомольцы и граждане несоюзный народ, зачем нужен капитан Сегнер мирозданию и что он такое, капитан Сегнер, по сравнению с красотами природы?.. Этой цитатой из горячо любимого мною «Бравого солдата Швейка» я хочу обозначить место Петра Петровича Гасилова в научно-техническом прогрессе, материальном производстве и в борьбе за повышение борьбы...

Женька сам звучно захохотал, когда увидел, что приверженцы мастера Васенька Мурзин и Сережка Блохин ничего не поняли из сказанного.

— Товарищи! — с новой энергией загремел Женька. — Используя предложенную сидящим здесь товарищем Поповым формулировку, я вынужден заявить прямо: «Что называется синекурой, если нельзя назвать синекурой положение нашего достопочтенного мастера?» Специально для Васечки Мурзина я переведу сказанное на русский... Василь Денисович, я утверждаю, что Петр Петрович филонит, а не работает...

Опять, конечно, раздался вой и рев, Васечка Мурзин заверещал как зарезанный, Блохин заорал: «Долой!», а чокеровщики Пашка и Витька подпрыгивали на скамейках и восторженно аплодировали жестяными от стальных тросов ладонями. Шум еще не утих, когда бесшумно открылись двери и в красный

уголок вошел, как всегда, изысканно одетый, театрально озабоченный и деловой технорук Петухов. Заметив его, Женька специально для технорука со смаком повторил последнюю фразу, а слово «синекура» произнес по слогам. Потом он краешком глаза заглянул в блокнотный листок, склонив голову набок и мечтательно округлив глаза, произнес:

— О, как он хорош, как он прекрасен, наш Петр Петрович, когда ранним утром едет в лесосеку со своим замечательным рабочим классом! Вспомните, как он мирно улыбается, какой у него созидательный вид, как он величественно держит голову, как мудры начальственные глаза, когда он по-отечески заботливо обнимает кого-нибудь из нас за плечи и говорит сердечно: «А сегодня, дружок, тебе надо поработать лучше, чем вчера и позавчера!» И мы дружной шеренгой идем в лес и работаем сегодня точно так, как работали вчера, а Петр Петрович первым же поездом уезжает в деревню, чтобы появиться в лесосеке только к концу смены и, опять обняв кого-нибудь за плечи, произнести: «Спасибо, дружок, за хорошую работу!» Таким образом, товарищи комсомольцы и некомсомольцы, Петр Петрович в лесосеке проводит в сутки не более двух часов. Он знает, что норма будет выполнена и перевыполнена, а мы с вами выполняем нарочно заниженное сменное задание, ибо при нормальном задании глубокоуважаемый Петр Петрович не смог бы в целях сохранения спортивной формы кататься на жеребце Рогдае и заботиться о своем драгоценном здоровье.

Мне пришлось бы, товарищи комсомольцы и некомсомольцы, нагнать на вас скуку,—весело продолжал Женька,—если бы я стал подробно рассказывать, как и какими методами Петр Петрович занижает плановое задание, но могу сообщить, что ни разу за три последних года его мастерский участок не выполнил норму менее чем на сто десять процентов. В зной и холод, в дождь и распутицу Петр Петрович Гасилов получал премиальные за перевыполнение плана, а каждый из здесь сидящих знает, что в конце марта мы работали по три дня в неделю... Откуда взялись эти сто десять процентов? Об этом, если понадобится, расскажет выдающийся математик Борька Маслов, а я авторитетно заявляю, что анкета Петра Петровича выглядит так: «Род занятий — стремление не потеть при строительстве коммунизма. Профессия — никаких профессий. Социальное положение — никакого социального положения!» Да, да, никакого социального положения, ибо ничем не занятый Петр Петрович не принадлежит ни к рабочему классу, ни к трудовому крестьянству, ни к технической интеллигенции...

Он сделал паузу оттого, что Соня Лунина, увлеченная происходящим, ничего не записывала, а только смотрела на него. Заметив Женькин взгляд, она смущенно улыбнулась и склонилась над протоколом.

— Бюро комсомольской организации,— неожиданно серьезно, как и было предусмотрено заранее, сказал Женька,— бюро комсомольской организации тоже не сразу пришло к пониманию происходящего. Мы чувствовали что-то неладное, удивлялись мастеру, почти не бывающему в лесосеке, но в чем дело, не понимали. Нам помогли декабрьские морозы...

В зале теперь было абсолютно тихо, уgomонились даже чоке-ровщики Пашка и Витька.

— Вспомните, друзья,— простым, не ораторским тоном обратилсЯ Женька к собранию,— что во время морозов, спеша в тепло, каждый из нас за два часа до смены выполнял задание, хотя никто из нас, пардон, пуп не надрывал... Вот после этого мы и поняли, что Гасилов — фокусник...

Женьке уже не нравилась та серьезность, с которой слушало его собрание, так как, по его мнению, расправу над Гасиловым надо было чинить в веселой, юмористической обстановке. Поэтому он снова смешно выкинул руку, голосом лектора Реутова, считаящего необходимым иногда встряхивать слушателей остротой, пискливо выкрикнул:

— Спящие, проснитесь! Сейчас я использую мысль сосновского Капабланки, то есть уважаемого Бориса Маслова, который утверждает, что Остап Бендер, знающий более двухсот способов увода и отъема денег, бледнеет перед Гасиловым, умудряющимся иметь трижды упитанного тельца.

Теперь Женьке был интересен только технорук Петухов, слушающий его речь спокойно, внимательно, но с таким лицом, на котором абсолютно ничего нельзя было прочесть, и Женька удивленно подумал: «А он верен себе!»

— Заключая эту короткую коллективную речь,— иронически продолжал Женька,— я хочу отдать должное будущему техноруку, но астроному по хобби Андрею Лузгину.— Он поднял вверх палец.— Гелио — это солнце. Так вот, по мысли товарища Лузгина, существует не только гелиоцентрическая система, но и гасиловоцентрическая система, система ничегонеделания. По крайней мере на двести — триста километров в округе нет второго такого человека!

Женька опустил руку и будничным тоном сказал:

— Исходя из вышеизложенного, я обращаюсь к вам, братцы, с призывом вынести решение с просьбой к райкому комсомола помочь нам в снятии с должности мастера товарища Гасилова... Я все сказал, пусть другой скажет лучше!

Под возгласы, аплодисменты и хохот Женька слез с трибуны, раскланиваясь с членами президиума — авторами коллективной речи, занял свое председательское место и оглушительно заорал на весь зал:

— Прошу не трепаться попусту, а высказываться с фанерки... Давай, давай! Кто там первый крикун?

Соня Лунина закончила свой рассказ, потрогав напоследок пальцами пуговицу на кофточке, нервно повела плечами. Она была мужественна и терпелива: за ее скромной внешностью скрывался сильный характер, который угадывался далеко не сразу.

— Чем кончилось собрание, вы знаете, — сказала Соня, немного отдохнув. — Большинство комсомольцев проголосовало за предложение Жени... А по второму вопросу... — Она, не сдержавшись, улыбнулась. — Николая Локтева все-таки приняли в комсомол, хотя поначалу большинство было против. Но Николай Локтев всего лишь один раз гнал самогон, он хорошо работал, и поэтому слово взял Гена Попов. Он сказал, что Николая надо принять в комсомол. Я хорошо помню его последние забавные слова: «Мы не имеем права, товарищи, стоять на пути технического прогресса! Применение двух обыкновенных тазов для получения самогона вместо устаревшего змеевика свидетельствует о том, что Николай Локтев стремится не отставать от космического века. Поэтому я предлагаю все-таки принять его!» Взяв слово с Николая прекратить самогоноварение, его приняли в комсомол.

От буксира «В. Маяковский» на обском плесе оставались только разноцветные сигнальные огни, зажглись уже лампочки на маленьком дебаркадере, так как ночь на землю спускалась быстро, словно задерживали темную штору. Туча, повисшая в зените, не увеличилась, а только потемнела, как и вода в Оби...

— У нас в организации было весело при Жене, — по-вечернему тихо сказала Соня. — Мы здорово работали, дурачились, выпускали смешную стенгазету «Точка и — ша!». Нам было хорошо! Такого уже теперь, наверное, не будет...

Темнело быстро, очень быстро. Тот невидимый, что задерживал штору, старался не оставить ни единой щелочки, заботливо укутывал в черный бархат реку, небо, тайгу, деревню. На небе черный бархат прореживался звездами; деревня освещенными окнами накладывала заплаты; река разрезала темноту оловянной полосой. Луна еще не поднялась, но уже над зубцами тайги появлялся тонкий росчерк ее будущего могущества.

Наблюдая за игрой света и теней, Прохоров думал о том, что жизнь до смешного не организована и запутана, что самые элементарные вещи в ней, в жизни, становятся такими сложными, что порой кончаются катастрофами... Ах, жизнь, жизнь! Соня Лунина ходит по тропинкам за Женкой Столетовым, за Соней Луниной ходит влюбленный в нее Андрюшка Лузгин; к Анне Лукьяненко, которая не может жить без Столетова, бегают технорук Петухов, решивший жениться на Людмиле Гасиловой — столетовской возлюбленной.

— Это верно, что Евгений походил на молодого царя Петра? — неожиданно для самого себя спросил Прохоров.

— Очень походил! — после паузы ответила Соня. — Это первой заметила я, сказала Андрюшке Лузгину, а он — всем... Еще в школе, когда мы проходили петровскую эпоху и Викентий Алексеевич принес на урок картину Серова. Я посмотрела и охнула: от меня, в глубине картины, с палкой в руках уходил Женя... — Голос Сони приглушился. — Это было после того, как я написала Жене записку...

Бог ты мой! Как все сходилась в плотный клубок, как одно цеплялось за другое и как все сложнее и сложнее делалось прохоровское положение, так как вместо одной задачи перед ним возникало сто задач, требующих немедленного решения.

— Соня, а Соня, — с надеждой произнес Прохоров, — уж вы-то мне расскажете, что происходило на лесосеке двадцать второго мая? Какое выдающееся событие потрясло все основы?

Прохоров не успел досказать последние слова, как девушка, видимо, непроизвольно отодвинулась от него, поджала губы и опустила в землю взгляд.

— Так что произошло двадцать второго мая?

— Ничего не произошло, — ответила девушка. — Абсолютно ничего!

Соня Лунина не умела врать, и Прохоров досадливо поморщился: «И эта не говорит! Вот положеньице-то!»

Краешек луны уже показался над горизонтом.

11

Тракторист Борис Маслов пришел в девятом часу вечера, сразу после работы: в брезентовой спецовке, кирзовых сапогах, за широким ремнем торчали истрепанные рукавицы; в светлых волосах Бориса зеленели сосновые хвоинки, пахло от него всеми таежными запахами, соляркой, брусничными листьями. Устало поздоровавшись с Прохоровым, он тяжело опустился на табуретку, руки сунул в карманы.

Борис Маслов среди четырех неразлучных друзей считался самым спокойным, здравомыслящим, по-житейски мудрым, да и внешне все в этом парне вызывало доверие — невысокая крепкая фигура, прямые плечи, широкий лоб, крупные губы и выражение лица такое, какое бывает у людей, хорошо знающих, чем кончится сегодняшний день и чем начнется завтрашний.

— Я пришел к вам, Александр Матвеевич, — заговорил Борис, — хотя совсем не понимаю, что происходит. — Он поднял на Прохорова серые немигающие глаза. — Нам трудно понять, почему вы занимаетесь только Гасиловым, а Заварзин вас ни капельки не интересуется...

Он вопросительно замолчал, и Прохоров подумал, что из таких парней, как Борис, со временем получают директора заводов или знаменитые хирурги, способные одним своим появлением внушать больным веру в спасение; стремительный, им-

пульсивный, эмоционально переполненный, Женька Столетов был, несомненно, плохим шахматным партнером для Маслова.

— Откровенность за откровенность, Борис,— серьезно сказал Прохоров.— Я, естественно, не имею права рассказывать вам о ходе следствия, но между гибелью Евгения Столетова и мастером Гасиловым существует прямая связь. Поэтому для меня чрезвычайно ценно все то, что раскрывает их отношения. Каждая встреча, каждое слово, если хотите, каждый жест... Гасилов — это та печка, от которой я пляшу... Слушайте, Борис, да снимите к чертовой матери эту вашу брезентовую куртку! Будем заниматься каждый своим делом: я — потеть от напряжения, слушая вас, а вы — наслаждаться отдыхом...

Борис неторопливо снял куртку, аккуратно расправив ее, повесил на деревянную вешалку, вернувшись на место, закурил.

— Что вас интересует, Александр Матвеевич? Я готов ответить на любой вопрос, кроме...

Прохоров заулыбался, легкомысленно махнул рукой:

— Знаю, знаю...

— Тогда спрашивайте, Александр Матвеевич.

— Что произошло между Гасиловым, Столетовым и вами двадцать первого апреля, когда вы беседовали с мастером в конторе лесопункта?

В распахнутое настежь окно струился влажный речной ветер, отчетливо слышалось, как по Оби, мелодично поскрипывая уключинами, движется многовесельная лодка — это возвращались из Заречья, с лодочной прогулки те самые молодые люди, которые поздними лунными вечерами грустили под стон неумелой, но трогательно-старательной гитары. Сейчас гитарист тоже, наверное, терзал струны, но музыка не слышалась.

Борис Маслов сказал:

— Мы пошли с Женькой к Гасилову по решению комсомольского бюро... Это была последняя попытка договориться с мастером, в которой я должен был играть роль арифмометра и огнетушителя... — Он помолчал. — Александр Матвеевич, вам, наверное, тоже кажется, что я самим богом создан для этих двух ролей... Когда-то я и сам думал так, но с Женькой мы дружили с первого класса и...

Борис тонко улыбнулся.

— Короче говоря, перед вами сидит Женька Столетов, подключенный к замедляющему реле... Вы видели, как я вешал куртку?

— Видел.

— Я каждое движение проделал в пять раз медленнее, чем это сделал бы Женька,— вот и вся разница... Вы понимаете, зачем я об этом говорю?

Прохоров сделал такое лицо, словно его сейчас больше всего интересовала скрипучая многовесельная лодка. «Дрянной мальчишка! — ворчливо подумал он о Борисе Маслове, — Кого

это он держит за дурака? Самого капитана Прохорова?» Разве он, Прохоров, с самой первой встречи с друзьями погибшего тракториста не заметил, что Андрюшка Лузгин делает такой жест руками, словно хочет оттолкнуть от себя все брненное и ненужное (поза Евгения Столетова на школьной фотографии), что Генка Попов, взволнованный, ходит так, словно его подгоняет сильный ветер, что Соня Лунина иногда по-столезовски задирает подбородок, и даже забавный мужичонка Никита Суворов — сменщик Столетова — незаметно для самого себя по-ленькиному округляет хохочущий рот.

— Рассказывайте о беседе с Гасиловым, — досадливо попросил Прохоров.

— Мы поймали Гасилова в кабинете технорука Петухова, — неторопливо начал Маслов. — Они сидели на диване и разговаривали так тихо, что даже при открытой двери мы не слышали, о чем. Увидев нас, Гасилов и Петухов повели себя так, как мы и предполагали: технорук поднялся, крепко и дружески пожал руку мастера, и, даже не поглядев на нас, изящной походочкой вышел из своего собственного кабинета, а мастер Гасилов... Мастер Гасилов за считанные секунды превратился в того самого Петра Петровича, которого хотелось ласково называть папой и каяться перед ним в самых мелких полупридуманных грехах... Одним словом, на диване сидел человек...

За месяц до происшествия

...в кабинете технорука Петухова на современном поролоновом диване сидел человек с отечески добрым, ласковым, доброжелательным, веселым лицом. Не говоря ни слова, он взял Женьку Столетова за руку, не сильно потянув, посадил рядом с собой, а Борису Маслову показал место по другую сторону от себя. Пахло от Петра Петровича чем-то теплым и домашним, крупные складки упитанного лица источали уют и покой, в мягких сапогах, стоящих на дешевеньком учрежденческом ковре, было что-то такое, отчего вспоминалось детство, пресные калачи, сказочный свист зимнего ветра в печной вьюшке, ласковая тяжесть отцовской руки на взъерошенной голове. Сказками Андерсена, историями о том, как жили-поживали старик со старухой, как по щучьему велению ходили ведра на тонких ножках, а печь плыла к царевне-красавице, — вот чем веяло от мастера Гасилова, ласково положившего руки на плечи Женьки Столетова и Борьки Маслова. Самый опытный физиономист, психолог с седой головой и мировой известностью не обнаружил бы в поведении Петра Петровича ни капельки фальши, ни грамма театральщины. «Эх, ребята, ребята! — говорили мудрые глаза мастера. — Вы даже не подозреваете, какой вы хороший, замечательный, какой славный народ! А как хороша жизнь, ребяташки! Боже, как она хороша, эта самая жизнь!..

Ну, улыбнитесь, друзья мои, скажите Петру Петровичу, что хорошо жить на свете — сидеть на поролоновом диване, слушать апрельскую капель, думать о близкой весне...»

— Борька! — жалобно проговорил Евгений Столетов, согнувшийся под тяжестью ласковой руки мастера. — Борька!

Напрасно! Сидел, присмирив, Борька Маслов, считающий себя способным играть роль огнетушителя и арифмометра, страдал от приступа любви и добра к Гасиллову Женька Столетов, и не знали они, такие молодые и неопытные, что делать и говорить, если на плече дружески лежит рука человека, с которым ты начал борьбу. Однако жизнь, хорошая или плохая, отсчитывала секунду за секундой, и, конечно, наступило время, когда Петр Петрович Гасиллов с неохотой снял руки с плеч трактористов, и кабинет превратился в обыкновенный кабинет, диван — в диван, репродукция с репинских «Бурлаков» — в обыкновенную дрянную репродукцию. Еще рука мастера, медленно соскользнув с Женькиного плеча, висела в воздухе, а Столетов уже стоял в центре кабинета, его маленький подбородок с заосчивой ямкой уже задрался, фигура была наклонена вперед так сильно, словно его в спину толкал плотный морской воздух.

— Петр Петрович, — волнуясь и торопясь, заговорил Столетов, — Петр Петрович, мы пришли к вам, чтобы... — Он по-детски приложил длинные руки к груди. — Я не верю, что люди не могут договориться. Если вы, Петр Петрович, поймете нас, а мы — вас, все будет хорошо, все образуется... Петр Петрович, не надо, не улыбайтесь так, словно перед вами дети! Петр Петрович...

Женька ошибался: мастер не улыбался, а беззвучно и весело хохотал. То самое лицо, которое минутой раньше было по-отцовски ласковым и добрым, теперь буквально лучилось бесшабашным весельем; по всему было видно, что запальчивость и волнение Столетова мастер не может принять и никогда не примет всерьез, что к Женьке Столетову он по-прежнему относится с отцовской нежностью, а смеется оттого, что молодой тракторист ему нравится. По тому, как Гасиллов смеялся, было ясно, что на человеческом языке не существует слов, которые могли бы вывести Гасилова из состояния добродушия и веселости, что ему действительно хорошо и счастливо жилось в эти секунды. Он, видимо, по-настоящему наслаждался отдыхом на мягком поролоновом диване, с радостью прислушивался к звону апрельской капели, у него, наверное, счастливо пощипывало под сердцем, когда из форточки в кабинет врывается воздух, пахнувший прелыми листьями.

Женьке на секунду показалось, что он совершает кощунство, ведет себя, как последний негодяй, когда с угрожающе поднятыми кулаками врывается в жизнь счастливого, не чувствующего за собой никакой вины человека. Женька ощутил такое,

словно-он разбойной, безлунной ночью тайным лазом пробирается в дом безмятежно спящих людей.

— Петр Петрович, Петр Петрович! — потерянно шептал Женька. — Ведь нам надо, надо обязательно поговорить...

Продолжая беззвучно и ласково смеяться, Петр Петрович лениво поднялся с дивана, крупный, похожий на потешного медведя, приученного показывать, как ребятишки воруют на огороде горох, мягко прошелся по кабинету — добрый отец, благожелательный наставник, опытный старший товарищ.

— Говорить, говорить, говорить, — задумчиво произнес он и встряхнул гривастой головой. — Боже мой, сколько мы говорим, сколько произносим лишних слов, а ведь все так просто и понятно... Евгений, Борис, вы еще так молоды, что еще верите в слова, в их силу и значение!.. Поверьте, друзья, моему опыту: слова редко помогают людям понять друг друга...

Он остановился, задумался, привычным движением заложил руки за спину; в его фигуре, позе, лице по-прежнему не было ничего такого, что могло бы вызвать протест, раздражение, желание противоречить; и крупность Гасилова, и его брыластые боксерьи щеки, и большая умная голова, и мудрые глаза — все вызывало симпатию. Стоял в центре кабинета немолодой уже человек, спокойно и доброжелательно размышлял о жизни, был прост и естествен, как апрельская торосистая Обь за окном, были ему чужды суетность, мелкость, житейская обыденность. С таким человеком трудно было разговаривать о хлыстах и трелевках, тракторах и погрузочных кранах, сдельных расценках и премальной оплате.

— Слова, слова! — с легкой горечью продолжал Петр Петрович. — Мудрый сказал о них, как о самой лучшей упаковке для правды и лжи... «Мысль изреченная есть ложь...» Да вам ли рассказывать об этом, друзья мои!

В три могучих шага Петр Петрович Гасилов подошел к единственному окну петуховского кабинета, бросив на него мгновенный лихо-бесшабашный взгляд, одним-единственным ударом волосатого кулака выбил внутреннюю раму двойного окна, приклонив ее к стенке, вторым ударом распахнул летнюю раму. В кабинет ворвался клуб синего пара, одуряюще запахло талым снегом, черемуховой корой, льдистым запахом заторосившейся реки.

— Весна, друзья мои, весна! — дрогнувшим голосом сказал Гасилов, и Женька заметил, как молодо и жадно раздулись ноздри его прямого крупного носа. — Весна идет, друзья мои, а мы тратим время на слова, которым грош цена...

Казалось, что в дурно обставленный, разностильный, с претензией на городской шик кабинет технорука Петухова по волнистой струе синего и зябкого ветра вплыл апрель; трижды тинькнула и, словно испугавшись самое себя, замолкла синица, опрометью метнулась с крыши кособокая сорока, профыркала

крыльями большая стая повеселевших воробьев, загалдели на улице обрадованные оттепелью ребяташки — весна и вправду шаталась, захмелев от радости, по сосновским улицам и переулкам, развешивала по крышам сосульки, подгрызала сугробы, продувала до драгоценной голубизны торосы на реке; бродя по улицам и переулкам, захаживая в дома и нескромно заглядывая в окна, весна была как раз такой, каким сейчас видел Женька Столетов мастера Гасилова, — счастливой до одурения.

— Петр Петрович, Петр Петрович, — снова потерянно пробормотал Женька Столетов и сделал шаг к мастеру. «А чего на самом деле я хочу?» — с удивлением спросил он себя и огляделся с таким недоумением на лице, точно никогда в жизни не видел петуховского кабинета, Борьку Маслова, Петра Петровича Гасилова.

Чего, ну чего он хочет от жизни, Женька Столетов?! Зачем ему нужны трактора, и краны, электропилы и платформы, когда на самом деле на улице творит свое счастливое дело захмелевший от собственной радости апрель? К чему все это, если он может, сделал всего два шага вперед, взяв за добрую, теплую руку Петра Петровича Гасилова, заглядывая в его отечески-добродушное лицо, сказать, что они пошутили — не было никакого комсомольского собрания, никто с рулеткой не ходил по лесосеке, не измерял расстояния трелевки, и, наконец, никто — ни он, ни Борис Маслов — не собирается ни о чем разговаривать с Петром Петровичем... Апрель! Весна! Жениться поскорее на Людмиле Гасиловой, построить большой дом, родить детей, купить телескоп, теплыми вечерами кататься на жеребце Рогдае, чтобы возвращаться в Сосновку в те минуты, когда солнце садится и жеребец превращается в красного коня... Жить! Дышать, двигаться, спать, просыпаться, засыпать...

— А разговаривать мы все-таки будем! — неожиданно слышался скучный, занудный и отчего-то сдавленный голос Бориса Маслова. — Мы просто обязаны разговаривать... Разрешите!

Подчеркнуто занудными движениями, с лицом постным, как понедельник, Борис Маслов подошел к окну, распахнутому Гасиловым, не обращая внимания на мастера и даже слегка потеснив его плечом, закрыл обе створки, и таким же манером, то есть с брезгливым лицом и потухшими сонными глазами, вернулся на прежнее место.

— Петр Петрович, — искоса глядя на дурацкую трехцветную люстру, подвешенную к высокому потолку, сказал Борис Маслов. — И вам и нам будет удобнее, если вы сядете...

Продолжая беззвучно смеяться, оставаясь прежним, Петр Петрович Гасилов с потешной торопливостью сел на первый попавшийся стул, повернувшись к Борису Маслову, положил на колени руки так, как это делает старательный ученик, собираясь слушать обожаемого учителя.

— Хорошо смеется тот, кто смеется последним,— тяжело двигая челюстями, словно их сдавливали, продолжал Маслов.— Вы смеетесь сейчас, товарищ Гасилов, вы умирали, говорят, от хохота, когда узнали о решении комсомольского собрания, и, если говорить откровенно, вам можно позавидовать... Не каждому дано сохранить такой заряд оптимизма в вашем возрасте.

На все возможные и невозможные ухищрения шел Борис Маслов, чтобы заставить мастера Гасилова хоть на мгновение сделаться серьезным,— и неестественно хмурил брови, и угрожающе перебирал в пальцах вынутую из кармана пачку хрустящих листов бумаги, и вольнодумно положил ногу на ногу, и лексикон употреблял концелярски-бюрократический, но с Петром Петровичем никаких благожелательных перемен не происходило — благодушествовал, беззвучно посмеивался, продолжал глядеть на Борьку обожающим взглядом: «Давай, давай разговаривай, мой молодой, мой строгий и беспощадный судья, мой смешной и, бог знает почему, такой сердитый приятель...» И даже сейчас, даже после того, как Маслов все-таки заговорил, Гасилов оставался по-прежнему естественным, правдивым; опять в его позе, движениях, выражении лица невозможно было уловить фальши, разглядеть неискренность. Хороший, отличный, замечательный человек сидел на стуле, полный доброжелательной готовности слушать Бориса Маслова.

— Продолжайте, продолжайте! — проговорил этот человек с ожиданием и любопытством. — Продолжайте, Борис, я жду...

Женьке показалось, что Борька Маслов уменьшался в размерах, как пробитый шилом футбольный мяч. Почувствовав острую боль за друга, Женька инстинктивно сделал порывистое движение к нему, но остановился, так как почувствовал, что с ним происходит то же самое, что с Борисом,— гневное клотание в груди утишивалось, голова сама собой опускалась, руки принимали покорное ученическое положение, шея — вот этого нельзя было и представить! — казалась, укорачивалась.

— Жень, Боря! — словно из-за толстой стены, из пространства другого измерения послышался голос Гасилова. — Говорите же, я жду...

Столетов и Маслов печально переглянулись. Они были молоды, неопытны, плохо знали жизнь, но вот сейчас поняли, что были с ног до головы опутаны и связаны тщательно скрываемой, глубоко затаенной, жестокой и несгибаемой волей Гасилова. Сколько таких мальчишек, как они, видели его выпуклые глаза, сколько раз за десятки прожитых лет он в жестокой борьбе отстаивал свои «стада и поля», сколько раз ему приходилось намертво вцепляться в свой особняк, в вороного жеребца Родая, в нежное и белое тело медленно стареющей жены! Перед такими ли людьми, как Женька и Борис, сиживал Гасилов, такими ли бумагами шелестели перед его носом! И как ему было не улыбаться, не хохотать беззвучно, когда этот щенок Борька

Маслов цедил сквозь молодые, неизъеденные зубы: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» Комариное жужжание, детский крик на улице — вот что происходило сейчас в петуховском кабинете.

При закрытом окне в кабинете нечем было дышать, густо и настырно пахло неизвестным гасиловским одеколоном, мягкие его сапоги попирали ковер с уверенностью и силой, в складках лица синеватой тенью залегла ликующая безнаказанность.

Борис Маслов поднялся, осторожно, точно боялся обронить, поднес к глазам листок бумаги, близоруко сощурившись, сказал:

— Десять последних дней мы занимались тем, что играли в бухгалтерию... Канцелярские счета — вещь, оказывается, удобная, и мы довольно легко подсчитали, что на триста километров в округе существует только один мастер лесозаготовок, который за последние пять лет ежемесячно получает премиальные в размере заработной платы... Я еще раз прошу тебя, Женька, сесть и не махать руками...

Мастер Гасилов весело крутил головой, глаза блестели, на стуле он сидел так непрочно, как молодой, шустрый воробей на электрическом проводе. Ему определенно нравилось, как нервничал Женька, доставлял удовольствие вымученный голос Маслова, и снова, черт побери, на всем его облике было крупно и ярко написано: «Ах, ребята, ребята, вы не представляете, какая это хорошая штука — жизнь!»

Маслов продолжал:

— Опыт работы мастерских участков нашего леспромхоза и соседнего — Петровского — показал, что ни один из них не может из месяца в месяц перевыполнять плановые задания. Распутица, двухметровой толщины снежные сугробы, поломки механизмов, невыходы рабочих на лесосеку из-за болезней — сто причин существует для того, чтобы хоть в одном месяце мастерский участок не смог перевыполнить, а то и выполнить план. С мастером Гасиловым этого никогда не случалось... Волшебство? Техническая гениальность?.. Женька, я немедленно уйду, если ты не сядешь на место и не будешь вести себя нормально!

— Сижу. Молчу.

Через одинарное, плохо закрытое окно апрель настырно врывается в комнату. Ребятишки на улице уже не кричали, а вопили; грохоча и чихая, шел гусеничный трактор с плохо отрегулированным мотором, на клубном здании — будь он неладен! — сверхмощный динамик ревел во всю мощь о том, что «не кочегары мы, не плотники...».

— Из чего складывается задание комплексной бригады? — спросил самого себя Борис Маслов и вытянул руку, чтобы было удобнее загибать пальцы. — Из среднего объема хлыста на лесосеке, из среднего расстояния трелевки и, наконец, из количества рабочих дней, необходимых на трелевку в расчетный период... Правильно?

Гасилов утвердительно закивал.

— Совершенно правильно! — горячо подтвердил он и озабоченно почесал затылок. — Было бы, однако, неплохо, Борис, если бы вы к этим трем важным факторам добавили еще хорошую эстакаду и чистые трелевочные волокна... — Он спохватился: — Прошу простить меня, Борис, я прервал логический ход ваших размышлений...

— Вы не нарушили логический ход моей мысли, — по-мальчишески сердито ответил Маслов. — Этого сделать нельзя, так как осталось сказать всего несколько слов... В нашей комплексной бригаде вами, товарищ Гасилов, всегда занижен средний объем хлыста, преступно увеличено расстояние трелевки по сравнению с реально существующим и уменьшено количество рабочих дней за счет фиктивного увеличения времени на переходы из одной лесосеки в другую...

Мальчишки, они и на этот раз оказались в западне! Борис Маслов только начал говорить обличительные слова, как Петр Петрович Гасилов с хлопотливой готовностью выхватил из нагрудного кармана шариковую ручку, блокнот, развернув страницы, с огорченным и разгневанным лицом нацелился острием ручки на чистую бумагу. «Безобразия! Преступление! — было написано на всей массивной фигуре мастера. — Всех разоблачу, всех уволю... Боже, боже! Неужели все это может происходить на мастерском участке, которым я руковожу?» И в третий раз за все это время Женька Столетов мог бы поклясться, что в поведении Гасилова не было ничего театрального: он был правдив и только правдив.

Побледнев от напряжения, Борис Маслов тихо продолжал:

— Все эти преступления совершаются для того, чтобы вы, товарищ Гасилов, всегда получали предельно крупные премиальные... Это — раз! Во-вторых, обман и махинации вам нужны для того, чтобы не тратить никаких усилий на руководство участком... Каждый мальчишка в поселке знает, что больше двух-трех часов в день вы на лесосеке не проводите. Вы сознательно тормозите производительность труда на своем участке. Вы умело это делаете, вы прекрасно знаете, что о таких ловкачах не раз предупреждала партия.

Как только Борис замолчал, шариковая ручка повисла в воздухе, Петр Петрович поднял голову, укоризненно покачал головой, нетерпеливо проговорил:

— Продолжайте, продолжайте, Борис! Вы и представить не можете, какими ценными фактами вооружаете меня... Эх, Притыкин, Притыкин! Сколько раз я говорил тебе...

После этого и произошла катастрофа: с перекошенными губами, бледным, дергающимся лицом, Женька Столетов вскочил со стула, размахивая руками, бросился к Гасилову и не закричал, а сдавленным до боли в горле шепотом проговорил:

— Подлец! Негодяй! Подлец!

Наконец-то, наконец на лице мастера Гасилова появилась неискренняя, фальшивая, театрально-ослепительная улыбка: мастер лесозаготовок улыбался так, как, наверное, улыбается нетерпеливый охотник, когда слышит долгожданные звуки рожков, которыми загоняют зверя в смертельное кольцо. Гасилов четкими привычными движениями спрятал блокнот и ручку, застегнул какую-то пуговицу на теплой стеганой куртке, с рассеянным и отсутствующим видом поднялся со стула. Неизвестно для чего, Гасилов подошел к письменному столу технорука, подумав, закрыл тяжелой крышкой медную чернильницу, а потом с озабоченным и деловитым видом вышел из кабинета, притворив дверь за собой так плотно и окончательно, словно в комнате никого не оставалось...

— Борька... — потерянно прошептал Женька Столетов. — Я не хотел тебе мешать, Борька...

— Ты мне не помешал, — ответил Маслов. — Ты просто избавил меня от сотни ненужных слов...

Прохоров удобно сидел на кончике письменного стола, Борис Маслов смотрел на сверкающий ботинок капитана уголовного розыска, сам Прохоров, в свою очередь, глядел в окно, и это было как раз такое состояние, в котором и должны были находиться они после того, как Маслов кончил рассказывать. Несколько спокойных минут они молчали, затем Прохоров спустился со стола, подмигнул Маслову, неожиданно весело спросил:

— И после этого вы перешли в атаку? Я вас правильно понял, Борис?

— Вы меня поняли правильно...

Многовесельная лодка давным-давно причалила к обскому берегу, веселая компания уже минут десять пребывала в заветном молодом ельнике и гитара в тысячный раз пела о том, что «во дворе, где все играла радиолоа, где пары танцевали, пыля, ребята уважали очень Леньку Королева, присвоив ему званье короля...».

— И вы перешли в атаку! — повторил Прохоров. — Перешли в а-та-ку...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Дождь пошел неожиданно, сразу после обеда, хотя утро не предвещало никакого дождя: небо было безоблачно-мирным, солнце палило по-вчерашнему, река — гладкая и синяя — катилась да катилась на свой холодный север. И все-таки в третьем часу дня, неизвестно откуда, набежали перистые облака, поплавав по небу, сгрудились в тучки, приспустившись к земле, за-

стелили солнце, и сразу же после этого затарабанили по земле крупные дождевые капли. Первые из них, упав в пыль, превращались в серые шарики, подвижные, как пролитая ртуть, но скоро дождь припустил так сильно и отчаянно, что пыль уже превращалась в обыкновенную грязь. Только в седьмом часу на низком небе начали появляться голубоватые просветы, тучи, расплзаясь, поднимались вверх, и появлялась надежда, что через час-другой дождь окончится.

Так оно и произошло. В восьмом часу, когда капитан Прохоров, вдоволь надышавшись свежим дождевым воздухом, сидел на подоконнике, тучи расплзлись так быстро, словно им дали команду, и над Сосновкой опять засияло промытое, бодрое солнце. Воспользовавшись этим, Прохоров сходил зачем-то к особняку Гасилова, минут десять постоял возле больших, окованных железом ворот, затем отправился в контору лесопункта, где часа полтора ворошил бумаги, принесенные по его просьбе женой Никитушки Суворова. Перебрав двадцать с лишним папок с тесемками, он записал в блокнот всего несколько цифр, но по усмешке, появившейся на его брезгливо сложенных губах, можно было понять, что Прохоров нашел очень важные факты.

Пригласив уборщицу, занятую приведением в порядок конторы, Прохоров попросил ее запереть красный уголок, в котором он сидел, и вышел на улицу. Было уже темно и по-хорошему прохладно, в ельнике постанывала все та же неумная гитара, реку пересекала волнистая лунная полоса, в одном из домов хрипела радиолка, рассказывая о том, как «дороги подмосковные вечера». Прохоров энергично зашагал по деревянному тротуару и в десять часов с минутами поднялся на крыльцо милицейского дома. Здесь он застегнул на все пуговицы пиджак, подтянул узел галстука и, сделав непроницаемое лицо, неторопливо вошел в кабинет.

— Добрый вечер, товарищи!

На табуретках, на единственном стуле и на подоконнике размещались те люди, которых Прохоров велел Пилипенко собрать на десять часов вечера. На подоконнике сидели неразлучные Лобанов и Гукасов, стоял недавний солдат Михаил Кочнев, трое ближайших друзей погибшего — Попов, Лузгин и Маслов — занимали табуретки и единственный стул. Отдельно от всех, в углу, широко расставив ноги и сверкая фиксой в зубах, стоял бывший уголовник Аркадий Заварзин и насмешливо, исподлобья наблюдал за происходящим. На приветствие Прохорова он ответил вежливым поклоном, преисполненным спокойствия и доброжелательства, хлебосольно улынулся. Вся его фигура, лицо, глаза были такими, словно Аркадий Заварзин наслаждался тем, что совершалось вокруг него, а появление капитана Прохорова было самым дорогим и долгожданным подарком.

Зафиксировав все это быстрым, летучим взглядом, Прохоров молча подошел к столу, вынул из ящика несколько листов дрянной газетной бумаги и выпрямился так резко, словно собирался щелкнуть каблуками.

— Не будем рассиживаться по кабинетам, товарищи! — сухо произнес он. — Сейчас пятнадцать минут одиннадцатого... Пока то да се — будет и половина... — Полуобернувшись к Аркадию Заварзину, он тихим, но тугим голосом приказал:

— Вам придется пройти с нами, гражданин Заварзин! Я обвиняю вас в убийстве Евгения Владимировича Столетова! Потрудитесь пройти на место следственного эксперимента!

В комнате сделалось тихо, как в глубоком, высохшем колоде. Ребята на подоконнике подались назад, Андрюшка Лузгин слегка побледнел — он еще не видел такого Прохорова, не подозревал даже, что глаза разговорчивого капитана могут быть такими опасными. Прохоров действительно был жутковат, как нож с пружиной, выскочившей из тайного гнезда. Что-то такое открылось в капитане уголовного розыска, что было упрятано далеко, запечатано семью печатями, хранилось до поры до времени, до такого вот нужного мгновения.

— Прошу выходить из кабинета! — уверенно командовал Прохоров. — Андрей, пожалуйста, закройте дверь на ключ... Остальных прошу следовать... Вы идите впереди меня, Заварзин! Вот так!

Они вышли на улицу. Висела в небе полная луна, деревня благоухала сладкой ночной сыростью, в огромных лужах, как в мокром асфальте, отражались, двоились, троились огни, на темном плесе Оби двигался освещенный разноцветными огнями пароход. Виделось, как старательно, чисто ливневый дождь промыл жаркую и пыльную от зноя Сосновку, до светлоты выхлестал деревянные тротуары.

— Прошу не отставать, товарищи!

Они шли по той дорожке, по которой несколько дней назад Прохоров гулял с Викентием Алексеевичем, подымались на тот же взгорок. Когда подъем кончился, луна, словно по просьбе Прохорова, окончательно выпуталась из проредившихся лохмотьев туч, засияла на свободе, причем показалось, что, восторжествовав, она как бы скачком поднялась еще выше, чем была минутами раньше. Вскоре идущие увидели на высоком обском яре две освещенные луной человеческие фигуры: это стояли участковый Пилипенко и учитель Викентий Алексеевич Радин.

— Добрый вечер! — поздоровался Прохоров. — Товарищ Пилипенко, разъясните принцип выбора участников следственного эксперимента.

Участковый инспектор Пилипенко сделал четкий шаг вперед, рапортовым голосом произнес:

— Среди участников следственного эксперимента в наличии трое граждан, которых товарищ Радин знает. Это товарищи Маслов, Лузгин и Попов... Далее... С одним из граждан —

Михаилом Кочневым — товарищ Радин мог встречаться, не зная его по фамилии. Трех граждан — Заварзина, Гукасова и Лобанова — товарищ Радин не знает... У меня все, товарищ капитан!

— Спасибо, младший лейтенант! — ответил Прохоров и повернулся к Аркадию Заварзину. — Таким образом, вы находитесь в равном положении с Гукасовым и Лобановым, гражданин Заварзин! Товарищи Маслов, Лузгин и Попов приглашены для того, чтобы продемонстрировать точность опознавания, Михаил Кочнев — чтобы еще раз подтвердить очевидное... Вы готовы, Викентий Алексеевич?

— Готов.

— Еще раз прошу простить милицию, Викентий Алексеевич!

— Начинайте, Александр Матвеевич!

Луна горела в полную меру; круглая, большая, покрытая морщинами, она казалась прозрачной, похожей на колобок из детской книжки; река Обь под высоким яром лежала спокойно, притихшая, отдохнувшая, охлажденная дождем; с деревьев капало, пахло отцветшей черемухой — все вокруг было таким знакомым, понятным и мирным, что всем участникам следственного эксперимента, исключая Прохорова и Пилипенко, происходящее на высоком обском яре казалось не то длинным, пока непонятным сном, не то театральным представлением. Андрюшка Лузгин сутулился и втягивал голову в плечи, Маслов и Попов старались держаться в тени, Михаил Кочнев старательно играл в спокойствие, Гукасов и Лобанов неслышно шептались, а Аркадий Заварзин улыбался прежней хлебосольной улыбкой.

— Следуйте за мной! — распоряжался между тем Пилипенко. — Начинаем тянуть жребий — кому идти первому, кому второму и так далее... Не теряйте времени, граждане, не теряйте! Бояться нечего, товарищ Маслов, вам ничего не будет... Не робейте. Айда-айда!.. Вы почему стоите, Заварзин?.. Я спрашиваю: почему не идете за нами, Заварзин?.. Товарищ капитан...

Жутковатое, невероятное, театральное действие продолжалось. Молчаливые ребята выстроились в цепочку, согласно жребию. Викентий Алексеевич Радин с закинутой назад головой встал на то место, где имел привычку долго отдыхать во время каждодневных прогулок. Было тихо, слышалось, как шелестит под яром великая сибирская река, как лает одинокая собака.

— Заварзин! — негромко произнес Прохоров. — Заварзин!

Все замерло, притихло, так как Аркадий Заварзин на самом деле стоял с таким видом, словно и не собирался идти вслед за Пилипенко, чтобы продемонстрировать ночной проход перед Викентием Алексеевичем.

— Гражданин Заварзин! — еще раз выкрикнул участковый Пилипенко. — Прошу следовать!

На высоком обском яре все происходило так, как предполагал Прохоров. Бывший уголовник Аркадий Заварзин медленно

вынул руки из карманов, погасив блеск фикса и улыбку, поворовски ссутулился. Было серым и вдруг похудевшим его лицо; согнутый, он казался перебитым в позвоночнике, руки болтались, как пришитые на живую нитку. Он сделал шаг к Прохорову, занес было ногу для следующего шага, но остановился, наверное, потому, что ноги были тяжелыми, словно их отлили из свинца.

— Ну, ну, гражданин Заварзин! — резко прикрикнул на него капитан Прохоров. — Не молчите, Заварзин, и не стойте на месте!

Еще две-три секунды длилась страшная голая тишина, потом послышался хриплый голос Заварзина:

— Ехал я одним поездом со Столетовым, ехал...

Прохоров боковым зрением заметил, как подались вперед трое близких друзей погибшего, как сжал кулаки вчерашний солдат Михаил Кочнев и как испуганно отстранились Лобанов и Гукасов, а слепой завуч Викентий Алексеевич Радин быстрым движением полез в карман за сигаретами. Прохоров скорее привычно-профессионально, чем осмысленно, продолжал действовать.

— Товарищ Полипенко, — распорядился он, — проводите гражданина Заварзина в свой кабинет.

Он не успел закончить эти слова, как Аркадий Заварзин, еще больше ссутулившись, заложил руки за спину, то есть проделал сам то, что ему должен был приказать Полипенко. И как только произошло это, показалось, что на обском яре поваяло холодом. Не имея возможности наблюдать за всеми участниками эксперимента, Прохоров посмотрел только на одного Андрея Лузгина и прочел на его лице то, что и следовало прочесть: «Убийца! Это живой убийца!»

— Действуйте, действуйте, Полипенко! — торопил события Прохоров. — Все участники эксперимента могут быть свободными.

Полипенко и Заварзин уже давно исчезли в темноте, уже затих стук сапог участкового инспектора, а парни все еще неподвижно и немо стояли на месте, словно ни один из них не слышал Прохорова... Небо окончательно прояснилось, набухали, пульсируя, крупные звезды, круглая луна светила торжественно, велеречиво; душный запах травы и перегноя поднимался от земли; и это тоже был торжественный, молодой запах и наплывало такое чувство, словно и земля, и небо, и река, и деревья только что родились, чистые и непорочные.

По одному, как будто сразу потеряли связь друг с другом, участники эксперимента, забыв пощипаться с Прохоровым и Радиным, исчезали в темноте; двигались они бесшумно, отчего-то по-заварзински ссутулясь. Когда исчез последний из них, Прохоров подошел к Радину, осторожно прикоснулся пальцами к его локтю.

— Спасибо, Викентий Алексеевич! — сказал он. — Спасибо, и еще раз простите милицию.

В прилегающем, ловко пригнанном к высокой фигуре костюме, простоволосый, пахнувший дождем и свежестью, освещенный луной, Викентий Алексеевич казался таким же молодым и чистым, как все вокруг; тени в глубоких глазницах делали его лицо зрячим, туго затянутый ремень придавал Радину офицерский лоск, и было件нятно, что перед Прохоровым стоит тот самый политрук сибирского батальона, о котором писали все армейские газеты зимой сорок второго года.

— Знаете что, Александр Матвеевич, — сказал Радин, — мы с вами не виделись всего несколько дней, но вы за это время сделались ярко-красным... Вы даже не красный, вы пунцовый! Как это вам удалось, Александр Матвеевич?

2

Вооруженный неопровержимыми фактами, логикой развития событий, капитан Прохоров спокойно и твердо сидел за столом, глядя в угол кабинета, выдерживал необходимую, по его мнению, паузу. Потом, когда время истекло, Прохоров медленно сказал:

— Никакой драки, Заварзин, на берегу озера Круглого не было! Вы запугали Суворова, навязали ему драку возле озера, чтобы оправдать порванную рубаху на погибшем. Таким же образом вы запугали кондуктора Акимова, который видел, как вы сажались на тот же поезд, с которым ехал из лесосеки Столетов... — Он опять допустил паузу, но крошечную. — Я имею доказательства и того, что вы ехали на одной тормозной площадке с погибшим... Дело в том, что и Суворов и Акимов дали показания.

Только после этого Прохоров, глядящий в угол, перевел взгляд на лицо Аркадия Заварзина. Бывший уголовник сидел на краешке табурета, во рту торчала погасшая сигарета, лицо казалось таким же серым и похудевшим, как во время следственного эксперимента.

— Пилипенко! — позвал Прохоров. — Введите свидетелей Суворова и Акимова...

Заранее предупрежденный участковый инспектор нарочито медленно поднялся с места, растягивая во времени абсолютно все движения, пошел к дверям таким шагом, словно его кто-то удерживал. Он уже брался за дверную ручку, когда Аркадий Заварзин негромко проговорил:

— Не надо свидетелей! Ехал я со Столетовым на одной площадке... Я все расскажу, только не держите за моей спиной соловья...

— Вот так-то лучше! — сказал Прохоров и приказал: — Идите отдыхать, Пилипенко!

— Есть идти отдыхать! — козырнул участковый. — Счастливо оставаться, товарищ капитан!

Прохоров подумал, что Заварзин на воровской жаргон перешел именно потому, что его приперли к стенке, и где-то в темном мире, то есть за окном, куда он сейчас глядел, уже мерещилась Заварзину решка, как называют тюремную решетку в преступном мире и где соловей — это милиционер. Именно поэтому Прохоров, ненавидящий уголовный жаргон, не поправил Заварзина, а только кисло поморщился да придвинул к себе стопку отвратительной газетной бумаги.

— Замазался я! — тихо признался Заварзин. — Однако я бармить буду, что не сбрасывал Столетова на железку. Сука буду, что не сбрасывал!

И Прохоров опять не прервал поток жаргонных слов, и только потому, что на блатном языке Заварзину было труднее лгать, и капитан уголовному розыска больше верил «сука буду», чем обыкновенному «клянусь!». Кроме того, Прохорову было тяжело глядеть на теперешнего Заварзина. Куда девалась его золотозубая нагловатая улыбка, как могло произойти, что густой загар на лице сменился серой бледностью, отчего он сейчас казался узкоплечим и низкорослым? Оттого ли произошло это, что Заварзин столкнул Столетова с тормозной площадки, или оттого, что был невиновен?

— О деле Столетова мы поговорим позже, Заварзин! — задумчиво сказал Прохоров. — А пока вы решаете, признаваться или не признаваться в убийстве, давайте-ка поговорим о более легком. Например, о вашем друге и учителе Гасилеве. Вопрос простой: за что вы любите его? И честно, честно, Заварзин! Теперь мне врать опасно! Я уже примерно знаю, когда вы врете, а когда — нет! Так не лгите больше, Заварзин, себе повредите!

Да, Прохорову теперь на самом деле нельзя было врать! Отбросив всяческие профессиональные приемы вроде фальшивого глядения в окно или безалаберной болтовни, притупляющей бдительность допрашиваемого, капитан снова был таким, как во время следственного эксперимента, — глядел на Заварзина прямо, жестко, обнажающе и был опасен, очень опасен.

— Поехали, Заварзин!

И они поехали. Поехали издалека, так как Аркадий Заварзин прищурился, покусал белыми зубами нижнюю губу и долго посмотрел в окно, где сияла яркая, благоухающая дождевой свежестью одна из тех летних ночей, ради которых стоило родиться и жить. Такие ночи много лет спустя, возникнув в памяти, заставляют сердце сжиматься от боли и страха, что это уже никогда не повторится. Все, все на белом свете сейчас было таким, что Аркадий Заварзин заговорил ночным, приглушенным голосом.

— Еще в последней исправительно-трудовой колонии я решил завязать! — сказал он. — Причин было много, вам это не-

важно, это к делу не относится, но я решил рвать из уголовщины... Сказано — сделано! Я написал письмо Марии, которую знал с детства, получил ответ, что ждет, если не обману с завязкой, и приехал в Сосновку...

Он говорил медленно, тяжело двигал подбородком, точно жевал тугую резинку, глаза возбужденно блестели, но на губах уже появилась насмешливая и скептическая улыбка над самим собой. Нужно отдать должное Заварзину: он, несомненно, обладал всегда спасительным чувством юмора, как огня боялся пафосности, открытого проявления добрых чувств, и в этом, как в зеркале, отражалась вся его трагическая и трудная биография. Хорошо было и то, что ни на первом допросе, ни сегодня Прохоров не уловил в голосе Заварзина ни одной сентиментальной нотки — этой непрременной черты уголовного мира.

— Трактора я знал давно, — медленно продолжал Заварзин. — И, приехав в Сосновку, не сразу, но все-таки получил машину и... — он опять остановился, снова сам себе насмешливо улыбнулся. — И начались мои мучения! Работать не хотелось, как умереть. Через неделю я возненавидел трактор до того, что однажды навернул его кувалдой... Мария не хотела выходить за меня... Одним словом, я запсиховал!

Прохоров удовлетворенно кивнул. До сих пор он не услышал ни одной фальшивой интонации, верил каждому сказанному слову; ему в эти минуты просто-напросто нравился Заварзин — и поза его, и голос, и улыбка, и большие, рабочие руки, положенные на колени.

— Психовал я долго, — еще медленнее прежнего продолжал Заварзин. — А потом — понемножечку да полегонечку — стал притихать, так как увидел, что на лесосеке-то пуп работой не надрывали... Кто хотел, восьмичасовую норму делал за шесть часов, а кто не хотел — тянул до конца. Перекуривали, трепались, ходили в гости к друзьям по тракторам... А зарплата идет! На третий месяц я получил триста пятьдесят... Ничего себе зарплатка за шесть часов шаляй-валяй! Кто же, думаю, дал такую сладкую житуху?

Заварзин очень точно шел к цели, ничего не забывая на пути, пробираясь опасной дорожкой, крепко держался за спасительный поручень юмора, но после слов о «сладкой житухе» на его лице уже начала вырывать та ослепительно-ласковая улыбка, которая делала Заварзина страшным. Именно с таким лицом и с такой улыбкой Заварзин темной ночью подкрадывался к той двадцатилетней девушке, которую раздел буквально донага, не сказав ни одного слова и не имея в кармане даже перочинного ножа.

— Кто, думаю, дал такую сладкую житуху? — повторил Заварзин и ослепительно-ласково улыбнулся. — Пригляделся — Петр Петрович Гасилов! — Он сделал короткую, как бы прицеливающуюся паузу. — Он-то и заставил меня завязать окон-

чательно!.. Не надо подымать брови, товарищ Прохоров, я сам объясню... Я на полуправде не живу, товарищ Прохоров! Я уж до конца хожу...

Показав зубки, бывший уголовник снова ухватился за спасительный поручень.

— Я всякую власть ненавижу! — смешливо произнес он. — Мне власть — хуже ножа! А вот с Советской властью я мог бы жить душа в душу, если бы не этот хреновский принцип: «Кто не работает, тот не ест!»

Прохоров тоже улыбнулся. Сколько раз, черт побери, он слышал такое же на допросах, и каждый из тех, кто не соглашался с основным принципом Советской власти, думал, что он — единственный. Вот и Заварзин победно задрал подбородок, гордясь собственной смелостью, вызывающе выпрямился.

— Я тогда завязал, — наглым голосом произнес Заварзин, — когда понял, что есть на свете человек, который не ворует, не грабит, не работает, а ест... Советская власть против эксплуатации человека человеком, а Гасилов нашел способ, не эксплуатируя человека, эксплуатировать саму Советскую власть... Вот у кого, думаю, надо учиться! Можно жить и не работая и не воруя... После этого я и стал называть Гасилова своим паханом...

Заварзин замолк. Несколько секунд стояла полная тишина, потом за окном раздался тихий женский смех, по тротуару зацокали туфли на высоком каблуке, шаги мужчины были глуше и нерешительней, но голос прозвучал приятно, когда мужчина позвал: «Аленка!» И опять наступила тишина, в которой слышалось, что Прохоров щелкает замком шариковой ручки. Он задумчиво глядел в переносицу Аркадия Заварзина, медленно думал о том, что обнаженная правдивость допрашиваемого опасна возможностью скрыть что-то самое главное, самое нужное для следствия.

— Продолжайте, Заварзин! — попросил Прохоров.

— А я все сказал! — весело ответил Заварзин.

Прохоров закрыл замок шариковой ручки, поняв, что нервничает, достал из кармана маленькие четки; их можно было перебирать одной рукой незаметно для собеседника, и он осторожно перекатил по нитке круглую бусинку.

— Съедем еще раз с большака, — подчеркнуто мирно предложил он. — Вы утверждаете, что завязали только потому, что нашли человека, умеющего, не работая, сидеть на самом удобном месте возле государственного пирога. Отчего же тогда, Заварзин, вы последние полгода были на втором месте в социалистическом соревновании трактористов? — Он вынул из кармана свой дешевенький блокнот. — Вот же данные, Заварзин! Январь — сто двадцать семь процентов, февраль — сто двадцать шесть, март — сто двадцать девять и апрель — сто сорок два... Сто сорок два, Заварзин, а у погибшего Столетова — сто сорок

шесть... Не Гасилов же вас заставлял работать, а? Отчего же вы так хорошо работали, Заварзин?

Бывший уголовник молчал. Он опять глядел в окно, тонкие ноздри трепетали, ослепительно-ласковая улыбка казалась приклеенной к его лицу, неестественной, театральной.

— Долго думаете, Заварзин,— сказал Прохоров.— Но так как я знаю, почему вы хорошо работали последние полгода, извольте-ка рассказать подробненько, что произошло на берегу озера Круглого. И так же искренне, как о Гасилове... Ну, поехали на берег озера Круглого...

На прохоровских четках было сорок две бусины, пятнадцать из них имели выпуклый ободок, пятнадцать были гладкими, десять имели два выпуклых ободка, и две бусины мастер сделал пупырчатыми— седьмую и семнадцатую. Когда Прохоров добирался успокаивающими пальцами до пупырчатых бусинок, он имел обыкновение загадывать желание или задавать самый главный вопрос; загадывал он желание тогда, когда пупырчатая бусинка приходилась седьмой, и считалось исполненным, если четки шли в сторону семнадцатой пупырчатой бусинки, а не в обратном порядке.

— Крупный разговор был на берегу озера Круглого,— тихо сказал Заварзин.— Я точно не помню, в котором часу это было, я вернулся в лесосеку поездом...

— В семь тридцать две...

— Этим поездом, если вы, товарищ Прохоров, лучше меня знаете, когда я приехал... Ну, Столетов все еще разговаривал с Гасиловым, так что пришлось немного подождать... — Заварзин помолчал.— Я совсем немного ждал, минут пятнадцать... Светло еще было, стояла еще высоко балдоха...

На этот раз Прохоров перебил его.

— Без жаргона! — попросил он.— Без жаргона, Заварзин! Вам еще рано переходить на жаргон. Так что давайте уж солнце называть солнцем, а не балдохой... Итак, было еще светло, солнце стояло высоко...

За полтора часа до происшествия

...было еще светло, солнце еще не опускалось за тупые вершины сосен, а в тайге все еще лежал снег, хотя шел конец мая, и в Сосновке парни уже неделю ходили в водних рубашках; цвела черемуха, самые отчаянные мальчишки купались в Оби. А двадцать второго мая внезапно захолодало, наступило такое межонное время, когда на солнце было жарко, а в тайге — холодно в телогрейке.

В резиновых сапогах, в суконной куртке и шапке Женька Столетов медленно спустился с лестнички вагонки, оглянувшись, приветливо кивнул буфетчице, поварихе и официантке столовой — матери Андрея Лузгина, которая глядела на него

через окошко кухни. Заметив ее удивленные глаза, махнул рукой, словно хотел сказать: «Зря беспокоитесь, тетя Лиза, все у нас идет хорошо!» После этого Женька огляделся — давно уже работала вторая смена, из тайги доносился то смутный, то приближающийся гул тракторных моторов, отчаянно, точно обещая взорваться, трещали бензопилы «Дружба», краны неустанно сгибались и разгибались. В двадцати метрах от вагонки сидел на пне отчего-то не уехавший домой полупьяный бригадир Притыкин и удивленно осматривался. Он не мог понять, отчего эстакада перегружена хлыстами, почему вот уже полтора часа к вагонке не приходил ни один человек, чтобы лениво покурить и поболтать с товарищами, почему в его, притыкинскую, смену, по словам учетчицы, сменное задание выполнено на двести шесть процентов.

Женька Столетов двинулся к автокрану, на котором работал Генка Попов, и работал так, что механизм ни на секунду не прерывал движения. Увидев друга, Генка Попов остановил кран, высунившись из стеклянной кабины, закричал, чтобы перекрыть шум мотора:

— Не хватит цепов! Вот об этом мы не подумали, Женька!

О сцепах они действительно не подумали, да и кому могло прийти в голову, что при нормальной, ритмичной работе уже в конце первой смены железная дорога окажется перегруженной, а к восьми часам вечера некуда будет валить хлысты? Это обстоятельство было интересным, обещало дать отличные результаты, и Женька, хочоча, прокричал в ответ:

— Вали лес на обочину!

Кран Попова дернулся и заскрежетал, мотор обиженно взвыл, так как крановщик с лета подхватил большой пучок бревен, размахнувшись стрелой, как занесенной рукой, бросил эти бревна небрежно на обочину железной дороги и пошел дальше хватать и хватать лес, а уже шел на самой высокой скорости из лесосеки трактор Борьки Маслова, выглядывающего из кабины с таким лукавым и подначивающим лицом, как выглядывает нахал воробей из захваченного им скворечника; захлебываясь восторгом, выли на валке леса бензопилы «Дружба» в руках Гукасова и Лобанова, и вслед за Борькой Масловым тяжело, гудя на одном точном и напряженном звуке, лез на эстакаду трактор Мишки Кочнева, недавно демобилизованного танкиста... Гремела, пела, ликовала лесосека, и бригадир Притыкин по-прежнему не мог понять, что происходит вокруг него.

— Вали лес на обочину! — во второй раз ликующе прокричал Женька.

В этот день работа угрожающе гремела тракторными моторами, самозабвенно выла пилами «Дружба», размахивала руками кранов, летала в Сосновку, постукивая на стыках стремительными платформами, хлестала по теплой и круглой зем-

ле умирающими на лету деревьями, хватала жадно весеннюю землю стальными траками машин; она, эта работа, эта «заба-ставка наоборот», кричала Петру Петровичу Гасилову о том, что приближается время, когда он, потеряв солидный и созидательный вид, выбежит из теплой вагонки, поняв, что случилось, замрет от предчувствия конца.

Счастливым от такой работы, Женька запахнул куртку, пощупав, не вывалился ли из кармана электрический фонарик, быстро пошел к погрузочной площадке, где кран тихого и незаметного комсомольца Петрова заканчивал загрузку сцепа с тормозной площадкой. Женька уже поставил ногу на подножку платформы, взялся уже за поручни, чтобы бросить тело вверх, но остановился, так как за спиной раздался тихий голос:

— Постой-ка, Столетов! Погоди-ка, доро-оогой!

В кожаной куртке на «молниях», с золотом во рту, с ослепительной улыбкой на красивом лице и руками в карманах стоял за спиной Женьки тракторист Аркадий Заварзин, который уехал вместе с Андрюшкой Лузгиным в деревню, но вот, оказывается, вернулся и специально подкарауливал Женьку.

— Я за тобой, Столетов!— ласково сказал Аркадий Заварзин.— Я, может быть, и не вернулся бы, но ты сам сказал: «Глаза ты мне попозже выдавишь, Заварзин! Попозже!» Вот я и пришел!— Он поднял к глазам руку с часами, поглядел на них неторопливо и внимательно.— Вот, думаю, и пришло время, Столетов. Или еще рано тебе глаза выдавливать? Ты-то сам как считаешь, Столетов?

На предельной скорости уходили в лесосеку трактора Борьки Маслова и Михаила Кочнева; из своей стеклянной будки Генка Попов, загороженный составом, не мог видеть Столетова и Заварзина,—бывший уголовник выбрал отличное место. Вдвоем были они, Столетов и Заварзин, наедине друг с другом, и только машинист и кондуктор могли наблюдать за ними, да, пожалуй, мог увидеть молчаливую парочку тракторист Никита Сувсров, как раз в этот момент подъезжавший к эстакаде.

— Заступничков ищешь!— засмеялся Заварзин.— Так их нет, заступничков-то! Так что пошли, дорогой, прогуляемся до озера Круглого... Айда, Женечка, айда!

Стараясь не бледнеть, продолжая цепко держаться за поручень платформы, чтобы не дрожали руки, Женька глядел в глаза Заварзину и чувствовал, что уши делаются тонкими, как бы сквозными.

— Не умирай раньше смерти, Столетов!— заботливо попросил Заварзин.— Говоришь про себя: «Пролетарий!»— а обыкновенного накидыша боишься... Пролетарии, они с булыжником против пулеметов ходили. А ты с ножом боишься идти против Аркани Заварзы...

Боже, неужели было время, когда он, Женька Столетов, был таким глупым и наивным, что не боялся Аркадия Заварзина, что на его глазах достал из кармана складной нож и, думая, что жизнь — это игра в оловянные солдатики, бросил крутящуюся смерть в железную от мороза сосну? Только теперь он понимал, что смерть вовсе не крутится в воздухе блестящей рыбкой пиратского ножа, пронзающего грудь венецианского купца, что смерть не всегда похожа на факел летящего к земле самолета капитана Гастелло, не была прикрывающей весь мир грудью Матросова, вовсе не таилась в романтической тяжести и ласковой воронености пистолета, а, напротив, смерть умела улыбаться, и рядом с нею стояли трактора и деньги, проценты выработки и барский особняк Гасилова, сплетни об 'Анне Лукьяенок и убийственные записки Людмилы Гасиловой. Смерть была такой же будничной, как движение трактора Никиты Суворова, так же чумаза, как машинист паровоза, высунувшийся из своей будки.

— Ты пойдешь, Столетов, или не пойдешь?

Надо было идти на озеро Круглое. Этого требовали отцовские письма, отцовская смерть, жизнь матери, несчастье отца, буксирный пароход «Егор Столетов», морщинистые лица негров, электрические фонарики, селедка послевоенных лет, любовь к нему Анны Лукьяенок и Софьи Луниной, его любовь к Людмиле Гасиловой.

— Пошли, Заварзин! — проглатывая горькую слюну, сказал Женька. — Пошли на Круглое.

Они двигались рядом, держа руки в карманах, молча и быстро, шли тем путем, который избрал Аркадий Заварзин, то есть по такой извилистой и хитрой тропинке, которая скрывала их от посторонних глаз. По-северному быстро темнело, тайга источала льдистый холод, проглядывали в полусумраке белые снега, пахнувшие холщовым бельем; сосны желтели по-весеннему, смеялся над самим собой зяблик, стрекотала сорока, не упустившая, конечно, возможности поглядеть, куда это идут два загадочных человека, — она, опережая Столетова и Заварзина метров на пятьдесят, с криком перелетала с дерева на дерево, спешила предупредить весь лес о вторжении в него двух человеческих существ. Женька и Заварзин шли быстро, следили за каждым движением друг друга, и Женька думал, что было бы хорошо не останавливаться — идти вот так и идти, до тех пор, пока не покажутся деревня, люди, река.

Однако до озера Круглого было рукой подать, оно из-за частых сосен вынырнуло неожиданно, точно по волшебству, — небольшое, метров триста в диаметре, без единой морщинки на застекленевшей поверхности. Озеро среди глухой тайги было таким неожиданным, что полоснуло по глазам голубизной и розовостью, и Заварзин с Женькой невольно остановились.

— Вот и пришли, — вздохнул Женька.

Сорока села справа от Заварзина, поверещав, замолкла и склонила набок голову. От озера исходил голубовато-розовый свет, пространство освобожденной от тайги земли было светлым, вольным, легким для дыхания; сюда все-таки доносились звуки тракторных моторов и бензопил, скрежет кранов, задирный писк узкоколейного паровоза. «Я не боюсь Заварзина,— на глазах у голубовато-розового озера подумал Женька.— Это он должен бояться меня!»

— Ну, ладно, Столетов! — сквозь зубы сказал Заварзин и перестал двигать пальцами в кармане. — А ты все-таки молодец, что не струсил, пошел в тайгу...

Глаза Заварзина возбужденно светились, красивое лицо с каждой секундой темнело, словно наливалось черной, венозной кровью, и это длилось до тех пор, пока не задержалось в тике веко правого глаза.

— Если бы ты знал, Столетов, как я тебя ненавижу! — прошептал Заварзин. — Если бы знал!

Он скрипнул зубами, пальцы в кармане брюк, видимо, до судороги сжали рукоять ножа с выскакивающим лезвием.

— Если бы ты знал, Столетов, как я тебя ненавижу...

Аркадий Заварзин закусил нижнюю губу, на ней появились пупырышки пены; дрожа от ярости, задыхаясь, он наклонился к Женьке, глядя ему прямо в зрачки, не сказал, а выдохнул:

— Я так тебя ненавижу, Столетов, что не сплю ночами, хожу днем, как чумной: все вижу твою ненавистную харю.

Женька Столетов чувствовал истерическое напряжение Заварзина, понял, что бывший уголовник не может владеть собой, и почувствовал облегчение, свободу, радость. Женька понимал, что с таким лицом, какое сейчас было у Заварзина, не бросаются на противника с ножом, что самый страшный Заварзин — ласково и мило улыбающийся — потонул в истерической ненависти, которая сейчас водопадом обрушалась на Женьку.

— Как я тебя ненавижу, Столетов! — словно в полуобмороке шептал Заварзин. — Я так тебя ненавижу, что вкалываю, как ишак, ставлю рекорды... Я сегодня с твоими подонками двести пятьдесят процентов сделал. Я себя презираю, а тебя, Столетов, ненавижу, ненавижу... Ненавижу! — неожиданно выкрикнул он, и показалось, что Заварзин не видит Женьку, что ненависть затмила все на свете, и он кричал не Женьке, а самому себе, чтобы прокричаться, освободиться от душной, мешающей жить ненависти. — Отойди, Столетов, уйди от греха, сука! Порезу!

Он уже не мог пустить в дело нож, этот потерявший себя от ненависти человек, так как чрезмерная ненависть, как и чрезмерная любовь пустопорожни, словно стрекотание сороки, которая на крик Заварзина ответила оглашенной трелью.

— Хорошо, я отойду, Заварзин! — спокойно сказал Женька и действительно сделал три шага назад. — Просишь, отойду.

Заварзин мелко дрожал, лицо по-прежнему темнело, глаза обморочно закатывались.

— Я одно хочу знать! — прижимая к груди обе руки, ссутулясь, говорил Заварзин. — Хочу знать, для чего ты все это делаешь, Столетов! Ведь в справке для института тебе не напишут, как ты работал... Отыщачил три года, и все! Все! Так зачем ты вкалываешь? Зачем? Ты сейчас тягаешь такую доньгу, что больше не бывает. Зачем же ты вкалываешь все больше и больше?!

Вот как мучился этот Аркадий Заварзин, человек, не способный понять, что можно и нужно жить иначе, не пастись на зеленом и веселом лугу жизни; ему и в голову не приходило, что существует на земле сила большая, чем деньги, слава, любовь к комфорту, к ломтю хлеба с черной икрой. Заварзин так мучился, что Женьке Столетову стало жалко его дрожащих от возбуждения рук, непонимающих, опустошенных глаз, увядшего рта; пораженный Женька тоже прижал руки к груди, взволнованный, страстно сказал Заварзину:

— Да пойми ж ты, Аркашка, я — пролетарий! Рабочий! Я же говорил тебе...

Мальчишечье обращение «Аркашка» с Женькиных губ сорвалось совершенно случайно, от школьной привычки обращаться так к сверстникам, от того, что Заварзин мучился, не находя ответа на такой простой, само собой разумеющийся вопрос. Мальчишечье окончание серьезного и несколько торжественного имени Аркадий прозвучало у Женьки тепло, по-братски, в нем вылилась вся его мальчишечья доброта к жизни, к людям, вся биография человека, еще не выдавшего и тысячной доли той страшной изнанки жизни, которую с ранних лет познал Аркадий Заварзин. И все это было произнесено так искренне, что бывший уголовник вдруг замолчал, согнувшись и подавшись вперед, заглянул в Женькино лицо снизу вверх.

— Пролетарий, говоришь...

— А ты думал!.. Тебе глаза застит особняк Гасилова, его Рогдай. Ты не видишь, что он только своему бараклу служит по-настоящему, ему молится...

Женька весь, с ног до головы и с головы до ног, был правда! Его никогда не лгавшие глаза глядели на Заварзина по-доброму, но смело, лицо забавно морщилось, маленький подбородок торчал вызывающе, как бы спрашивая: «Да как ты смеешь, Аркашка, не верить мне?» Весь, весь Женька Столетов был правдой, искренностью, открытостью, и Аркадий Заварзин, человек так же остро чуткий к правде, как и ко лжи, выпрямился, замер в такой позе, точно не зная, что делать и что говорить.

— Дай папиросу,— неожиданно попросил он Женьку.— Дай! У меня кончились...

— Я не курю,— тихо сказал Женька.— Пробовал, но так и не научился...— И огорченным голосом мальчишки добавил:— Горько, и голова кружится...

Молчала тайга, на которую уже опускался настоящий вечер, начавший тушить краски и на лесном озере: мало уже было розового, а голубое густело до синего, зеркальные отражения деревьев в воде расплывались, и от этого озеро как бы немного сокращалось в размерах, терялось ощущение его глубины; разгуливал по воде вечерний ветер, рябил ее, взбаламучивал.

— Ты ж добьешь моего пахана, Столет!— криво улыбнувшись, сказал Заварзин.— Если бригада недельку поработает так, как я сегодня, на пункт прибежит вся твоя родная Советская власть... Что случилось? Откуда взялись двести процентов?— Он помсчал.— Ты насмерть бьешь, Столет! А это разве по-комсомольски?

— По-комсомольски, Аркадий!— мягко ответил Женька.— Сдерживать выработку—воровство из государственного кармана... Вот какие дела!—И заулыбался радостно.— Мы это назвали «забастовкой наоборот»... Лихо придумано, а? Вот какие дела, Аркашка!

Быстро темнело! Так быстро, что черты Женькиного лица расплывались и хорошо виделись только глаза—возбужденные, яркие, сияющие...

— Вот и все!—сказал Аркадий Заварзин и так криво улыбнулся, как улыбался, наверное, на берегу озера Круглого.— Мы еще минут десять потрепались и пошли на эстакаду... По пути Столетов рассказал мне о комсомольском бюро, на котором они решили добить Гасилова своим, видите ли, честным, самоотверженным трудом.

Бывший уголовник по-прежнему глядел в открытое окно, успокоился, и все, что последовало дальше, было закономерно, правильно, естественно. Аркадий Заварзин медленным движением разнял руки, сложенные на груди, сунув их в карманы, искренне сказал:

— Я тогда понял, что Столетов для себя выгоды не искал...—Он задумался, потом, как бы забыв о Прохорове, самому себе сказал:—Я опустел.—Я опустел, когда Столетов не стало... Он умер, а я пустой... Пустой я— вот в чем беда...

Темнело за спиной Заварзина третье окно кабинета, заглядывала в него одинокая крупная звезда; капитан Прохоров сидел с опущенной головой. Тихо было на деревенской улице, неустанно трудилась могучая река Обь, неся на своей выпуклой груди два встречных судна и катер, шелестели на берегу старые осокори, с чем-то мирно соглашаясь.

— Мы тебя и ненавидя любим, мы тебя и любя ненавидим,— прочел наизусть Прохоров и со вздохом добавил:— Максим Горький.

Он поднялся, на мягких ногах приблизился к Заварзину, коротко выдохнул:

— Ну! Ну, я говорю!

Аркадий Заварзин молча вынул из кармана нож, взвесил его прощающимся жестом на ладони, протянул Прохорову со словами:

— Некондиционный! Не придеретесь... Я же завязал!

Нож, которого боялся Женька Столетов, на самом деле был из тех ножей, которые не подлежат изъятию милицейскими властями,— он выскакивать-то выскакивал из гнезда, но длину имел не криминальную, он блестел отличной сталью, но не был заточен с двух сторон, он имел наборную ручку из цветного плексигласа, но не было усиков, предохраняющих руку от лезвия. Конечно, в лесу и на платформе Аркадий Заварзин мог иметь другой нож, но кто знает, кто знает... Капитан Прохоров правду еще не знал и поэтому вернулся за двухтумбовый стол, садясь, осторожно вынул из кармана четки.

— Последний вопрос, Заварзин! Зачем вы ходили в вагон-столовую, когда вместе со Столетовым пришли с озера Круглого?

Этот вопрос для Аркадия Заварзина был настолько неожиданным, что бывший уголовник слегка подался назад и, исподлобья посмотрев на Прохорова, снова превратился в опытного преступника, умеющего вести себя на допросах.

— Не надо долго думать, Заварзин,— простодушно усмехнулся Прохоров. — Мне нужны только факты. Ну!

— Я рассказал обо всем Гасилову...

Ничего удивительного в этом не было. Действуя по инерции, не способный еще к решительным переменам, Заварзин должен был непременно зайти к мастеру и подробно рассказать ему то, что узнал от Женьки Столетова: уж слишком необычной была ситуация на берегу озера Круглого. Прохоров цепко ухватился за пупырчатую бусинку на четках, ощупав ее пальцами со всех сторон, задумчиво спросил:

— Вчера праздновали день рождения Петра Петровича... Отчего не пригласили вас, Заварзин?

Попадание было таким точным, словно капитан Прохоров послал пулю между цифрами мишенной «десятки». Аркадий Заварзин стиснул зубы, побагровел скулами, туго отвернул голову от окна; наверное, он не один месяц мучился пренебрежительным и холодным отношением к нему Гасилова, понимая, что мастер умышленно держит его на расстоянии — человека, скомпрометированного тюрьмой, колониями, опасного для Гасилова. В разных профсоюзах как бы состояли они — Петр Петрович Гасилов и тянувшийся за ним Аркадий Заварзин.

— Будем отвечать?

— Не будем!

Прохоров уже отсчитал на четках от пупырчатой костяшки шесть бусинок с одним и двумя ободками, оставалось еще четыре до счастливого совпадения, и можно было на некоторое время остановить пальцы, чтобы отдалить поражение или победу. Подумаешь, четыре костяшки: долго ли их перебрать, если Заварзин и дальше будет говорить правду!

— О чем еще шла речь в вагоне-столовой?— спросил Прохоров. — Вы, Заварзин, вышли от Гасилова с перекошенным лицом... Я уверен, что именно после этого разговора с вами что-то произошло... Вот и отвечайте, о чем еще шла речь?

Стосвечовая лампочка без абажура высвечивала каждую морщинку на лице уставшего Заварзина, так жестоко освещала его, что трудно было пропустить даже незначительный оттенок выражения, мимолетное замешательство, и Прохоров удовлетворенно хмыкнул, когда у Аркадия снова запульсировало в тике левое веко.

— Опять не будем отвечать?— легкомысленно спросил Прохоров.

— Почему? Теперь будем... Больше в столовой ничего не говорилось!

Это была наглая ложь.

— Добре! — мирно сказал Прохоров. — Вы арестованы, Заварзин... Встать!

Вот такие трудные вещи капитан Прохоров никогда не готовил заранее, всемерно оттягивая ту секунду, когда надо было произносить тяжкое слово, так как арестовать человека — это такое дело, которому никогда не научишься. Надо самому не побледнеть и не дрогнуть, когда человек твоею волей вдруг отделяется от лунной реки за окном, от шелестящего осокоря, синего кедрача, от славного мальчишки в детском саду, от верной и преданной жены Марии. Надо крепко держать себя в руках, когда за спиной арестованного тобой человека уже мерещится клетчатый мир, видный через тюремную решетку.

— Встать!

Аркадий Заварзин поднимался медленно — с замороженным лицом, с перекошенной нижней губой, с бледной кожей на сразу похудевшем лице.

Выпрямившись, он покачнулся, как сделал бы каждый человек, забывший при вставании раздвинуть ноги.

— Я сам не обыскиваю, Заварзин! Ну!

На столе появились финский нож кондиционной длины с выскакивающим лезвием, с усиками и коричневый кошелек с деньгами, паспорт, водительские права мотоциклиста, ключи от мотоцикла и квартиры, чистый носовой платок, потрепанная записная книжка, расческа в сером чехольчике, пачка папирос

«Беломор» и спички; пилочка для ногтей, шариковая ручка с тремя цветными стержнями, квитанция о квартплате, часы «Заря» и две конфеты «Снежинка». На столе лежало все, что принадлежало товарищу Заварзину, но не могло принадлежать арестованному гражданину Заварзину.

— По моим расчетам, Заварзин,—раздельно сказал Прохоров,—по моим расчетам, Столетов не только сорвался с подножки, но ему и помо-о-огли сорваться... Садитесь! И как вам не стыдно, Заварзин, брать с собой два ножа! Вы ведь не мальчишка, чтобы считать всех придурками... На этот нож будет составлен отдельный протокол...

Он произносил эти необязательные, лишние и пустопорожние слова, потому что не узнавал Заварзина. Откуда эта покорность и даже растерянность? Отчего подследственный ведет себя так, точно, не признаваясь в преступлении, все-таки чувствует вину? Что лежит за покорностью Заварзина? Что вообще происходит с этим Заварзиным, который при аресте ведет себя и как человек, совершивший преступление, и как не совершавший его?

— Садитесь, садитесь, гражданин Заварзин!

Заварзин сел, сложив руки ладонями друг к другу, затолкал их между коленями и стиснул крепко, до боли, до полной неподвижности рук; глаза у него отрешенно блестели, губы стиснуты, кожа на щеках совсем обвисла; глядел он опять в окно, за которым был детский сад, казенная квартира, свой трактор, добытый с таким трудом.

— Защищайтесь, гражданин Заварзин,—сказал Прохоров.—Доказывайте, что не сталкивали Столетова с подножки... Защищайтесь, Заварзин!

А Аркадия Заварзина не было в пыльном кабинете участкового инспектора... Неторопливо бродил он по зеленым заливающим лугам, примыкающим к родной деревне Сосновке, где пятнадцать лет назад остался круглым сиротой, где совершил первую кражу—утащил из кладовой пять пар кожаных рукавиц; обвиняемый Заварзин, глядящий в окно с пустым и спокойным лицом, брел по улице, останавливался на бугорке утрамбованной земли, где когда-то стоял его отчий дом, шел к своей тепешней квартире, нес в детские ясли две конфеты «Снежинка»; он мысленно вошел в свой вечерний дом, обнял сонную и теплую жену Марию...

— Заварзин, а Заварзин!

Только после этого громкого призыва Заварзин медленно повернулся к сотруднику уголовного розыска, с трудом разлепив губы, сказал:

— Я только на вас надеюсь, гражданин капитан! Вся кода бармит, что вы еще никого зря не взяли в бедность...

Прохоров вздохнул, встав, подошел к Заварзину и протянул ему носовой платок, папиросы и спички. Вернувшись на

место, он таким тоном, каким говорят люди, зная, что им соврут, все-таки спросил еще раз:

— О чем еще говорил в столовой Гасилов? Вы, наконец, скажете правду, Заварзин?

— Ни о чем больше речи не было...

Заварзин врал и врал так открыто, что Прохоров ухмыльнулся, когда вспомнил, что с Заварзиным по поводу последнего дела один из приятелей Прохорова возился два с половиной месяца. «Недели достаточно»,— самодовольно подумал Прохоров и почти ласково посмотрел на Заварзина, который в эту минуту сидел на табуретке спокойно и так глядел на Прохорова, словно целиком и полностью верил его профессионализму, добросовестности и честности. Это, конечно, было очень тонкой, ювелирной работой, но это было так, и не считаться с этим Прохоров не мог.

— Значит, ни о чем больше речи не было?

— Не было.

— Ну и хорошо, ну и отлично!— добродушно согласился Прохоров и крикнул: — Пилипенко!

Капитан Прохоров и в этом случае не ошибся: отосланный домой спать Пилипенко, естественно, бродил возле дома и через три-четыре секунды после того, как его позвали, монументом вырос на пороге.

— По вашему приказанию прибыл, товарищ капитан!

— Вот что, товарищ Пилипенко,— встав на ноги, сказал Прохоров.— Гражданин Заварзин арестован. Обеспечьте охрану и питание. Это раз! А во-вторых, объясните, почему сейчас в деревне так тихо и даже гитара не бренчит?

— Сегодня исполнилось ровно два месяца со дня смерти Столетова,— ответил Пилипенко.— Вся молодежь ушла на кладбище...

На дворе действительно было двадцать второе июля, стояла необычная для нарымских краев жара, целую неделю люди, животные и растения изнывали от южного зноя, температура в Оби к вечеру поднималась до двадцати градусов, и только полудни прошел дождь — бурный, но короткий.

— Уведите арестованного!— приказал Прохоров и вытер пот со лба. После дождя уже парило, и, судя по всему, снова обещала вернуться жара.

Оставшись наедине с самим собой, Прохоров подошел к окну, забравшись на подоконник с ногами, медленно и сладко закурил. Не менее десяти минут он сидел с безупречно пустой головой, так как обдумывал вопрос о том, сможет он или не сможет ходить босиком по колючей земле, потом постепенно, хотя сейчас и не хотел этого, вернулся к делу Евгения Столетова... «Забастовка наоборот», а?! Ах вы, такие-разэдакие! — думал Прохоров о друзьях Столетова.— Ах вы, черти полосатые! Ну, держитесь у меня, охломоны!»

Подойдя к дверям, Прохоров выключил электричество, в кромешной тьме прошел через сени, остановившись на крыльце, не меньше минуты привыкал к темноте, так как на луну в это время напоззла, может быть, самая последняя тучка из тех, которые днем пролили на Сосновку долгожданную благодать. Прохоров уже ходко шел к околице, когда тучка освободила луну, и все вокруг волшебным образом проявилось — небольшой дом, за секунду до этого казавшийся развалюхой, превратился в аккуратное строение, от завалинки до конька крыши покрытое искусной резьбой по дереву; то, что раньше казалось Прохорову длинным колхозным сараем, превратилось в хорошо устроенные ремонтные мастерские, а то, что Прохоров принимал за мостик через небольшой ручей, оказалось узенькой полоской молодой капусты, перечеркнутой широкой тропинкой.

Освободившаяся от туч луна была такой же чисто промытой и свежей, как все вокруг, тени от нее были резки и чеканны, никакой расплывчатости теням домов и деревьям луна не позволяла, и поэтому справа от Прохорова переставлял, плоско лежа на земле, десятиметровые ноги второй капитан Прохоров.

Луна светила так ярко, что кладбищенские березы были желто-голубоватые, словно их покрасил человек, никогда не видевший настоящих берез.

Шел второй час ночи, совсем немного оставалось времени до того момента, когда восточная сторона неба посветлеет и раздается предутренний птичий хор. Наступая на собственную тень, Прохоров прошел в низенькие кладбищенские ворота и остановился, чтобы услышать шум, который всегда создают люди, собравшиеся в одно место, но ничего, кроме совиного ленивого уханья, не услышал. Тогда капитан огляделся и увидел, что сквозь молодые рясные березы яичным желтком пробивается ровный, немигающий свет.

Возле свежей могилы Евгения Столетова, заросшей короткой травой и осыпанной венками, сидели человек тридцать и, глядя на могилу, светили на нее электрическими карманными фонариками. Ни единого человека без карманного фонаря здесь не было, и капитан Прохоров остановился далеко от могилы, скрытый густой тенью.

Комсомольцы на земле сидели молча и неподвижно, карманные фонарики в их руках не меняли положения, лучи скрещивались в одном месте, и Прохоров зябко поежился.

Страшным казалось то, что нельзя было разглядеть ни одного лица — только фонарики, только одни фонарики...

Луна уже стояла в зените, кедровые рощи казались синими. Обь, залитая желтым светом, как бы вздыбилась из темного провала берегов, в деревне было совсем тихо, когда Прохоров,

грустно опустив голову, подходил к служебному помещению участкового инспектора; было около двух часов ночи, день опять выдался трудным, но главное по делу Столетова оказалось позади, на завтрашний день, то бишь уже на сегодняшний, оставался последний и решающий допрос Заварзина, тяжелая, но окончательная беседа с Людмилой Гасиловой и ее отцом, встреча накоротке с техноруком Петуховым, и все. Все, все! Наверно, поэтому Прохоров сейчас походил на гостиничного постояльца, который бесцельно бродит по городу перед утренним отъездом и не хочет возвращаться в номер, где в центре комнаты стоят упакованные чемоданы, на полу валяются бумажки, обрывки веревок.

Прохоров подошел к дому медленно, считая ступеньки, поднялся на крыльцо, задумчиво повернулся лицом к реке. По ней, оказывается, шел пароход — на этот раз пассажирский, ночной, тихий, казалось, совершенно густой, так как на нем все замерло, как на «Летучем голландце». Пароход был из новых, не колесный, а винтовой, он со сдержанным монотонным гудением мощных дизелей стремительно разрезал сильное встречное течение, и под этот гул пассажирам, наверное, хорошо спалось в современных каютах. Только тогда, когда пароход поравнялся с Прохоровым, он заметил на палубе двух женщин, стоящих на противоположных концах верхней палубы. Обе женщины держались руками за металлические стойки, поодинаковому прижались к ним щеками, и это отчего-то показалось таким многозначительным, что Прохоров тяжело вздохнул и решительно потянул на себя сенную дверь, которую, как и внутреннюю, по рассеянности оставил открытой.

Войдя в кабинет, Прохоров включил электричество и вздрогнул от неожиданности.

— Вот это да! — глупо воскликнул он.

На белой раскладушке, подперев подбородок руками, сидела Вера. Глядя на оторопевшего Прохорова ясными, счастливыми глазами, она поднялась, сделала два шага вперед, остановилась под яркой лампочкой, освещающей невероятно красивое, невозможно красивое лицо.

— Ну, здравствуй, ассенизатор и водовоз! — негромко сказала Вера. — Здравствуй, Прохоров, мы не виделись целую вечность.

Высокая женщина стояла посреди комнаты, вся она была тонкая, рвущаяся вверх, как ракета, в ее фигуре не было ничего лишнего, как в боевом оружии; женщина была такой, что куда-то сразу пропала раскладушка, серая запыленность комнаты, канцелярский стол, дремучесть заброшенной, давно не протапливаемой русской печки; от одного присутствия этой женщины служебное помещение казалось торжественным и ярким, как театральная сцена.

— Я возненавидела твоего Пилипенко! — весело сказала Ве-

ра.— Я ему: «Где Прохоров? Подавайте мне его, живого или мертвого!»— а он свое: «Они заняты!»

Прохоров неподвижно стоял у порога, стараясь сдерживать учащенное биение сердца и желание броситься к Вере, прижать ее к груди и долго-долго рассказывать о том, как ему, Прохорову, плохо живется без нее, что почти каждую ночь он видит ее во сне, а проснувшись, клянет себя за то, что боится превратить сон в явь. И Прохоров бросился бы к Вере, если бы в последнее мгновение еще раз не увидел, как она прекрасна, невозможно красива.

— Надо читать детективные романы, моя милая!— тусклым голосом проговорил Прохоров.— В каждом из них детектив не успевает ходить с женой в театр...

Он, наверное, потому упомянул о театре, что произошло обычное— все, что окружало Веру, уже казалось декорацией. Русская печка была построена декоратором специально для того, чтобы высветить современность женщины, двухтумбовый стол приспособлен был для того, чтобы отделить женщину от всего мирского, обычного, будничного, а раскладушка декоратору была нужна для того, чтобы подчеркнуть великодушие этой бесстыдно-красивой женщины, рискнувшей появиться в бревенчатом деревенском доме.

Прохоров широко расставил ноги, наклонился вперед и, досадуя на то, что туфли, запорошенные деревенской пылью, не блестя, наставительно сказал:

— Нельзя, моя милая, быть такой красивой! Это— безобразия, вот что я тебе скажу.

Произнося эти слова, Прохоров так любил Веру, что потемнело в глазах и еще сильнее прежнего хотелось броситься к ней, положив голову на плечо, хныкать и рассказывать, какой у него был трудный день, как он боялся идти в дом Столетовых и как ему вообще плохо живется. Но вместо этого Прохоров на шаг отступил от Веры, сделав ироническую гримасу, насмешливо проговорил:

— Мисс Область, ассенизатор и водовоз из Сосновки приветствует вас!

Ох, как это было глупо, подло, мелко, не по-мужски, но Прохоров ничего не мог поделать с собой и стоял перед Верой с дурацкой улыбкой на лице и тяжелым взглядом.

— Эх, Прохоров, Прохоров!— безнадежно вздохнула Вера.— Неужели все ушло в любовь к хорошей обуви?

Стремительная космическая фигура женщины надломилась, лицо мгновенно потеряло яркость; отвернувшись от Прохорова, Вера подошла к окну, сутулилась; из-за ее правого плеча в комнату заглядывала луна. Минуту-две Вера молчала, потом медленно повернулась к Прохорову, тоскливо покачав головой, спросила:

— Откуда у тебя комплекс неполноценности, Прохоров?

Отчего ты такой слабый?— Она по-бабьи вздохнула.— Это я, Прохоров, пропадаю от комплекса неполноценности, но я актриса, я с шестнадцати лет живу в нервной, суетной и неверной обстановке борьбы за успех, а ты-то.. Ты-то почему защищаешься?.. Офицер, человек, делающий мужское, важное дело... Это ведь мне надо защищаться от твоей нерешительности, от страха потерять тебя...

Она опять повернулась к окну, еще больше ссутулилась, и луна теперь висела, как серьга на мочке ее уха.

— Я знаю, я уверена в том, что ты любишь меня,— глухо говорила Вера.— Такие вещи, как любовь, женщины чувствуют за версту... Вот и я знаю: ты любишь меня, но боишься моей красоты... А она мне не нужна, Прохоров, если тебя нет...

Он неотступно глядел ей в спину, видел жалкие плечи, трогательно согнутую длинную шею, безвольно опущенные руки. Вера казалась ниже, чем была на самом деле, и от этого пилипенковский кабинет уже не казался декорацией: русская печка была только русской печкой, двухтумбовый стол оставался канцелярским столом, а бревенчатые стены не были чужеродными женщине, умеющей вздыхать по-бабьи горько.

— Погибаю я без тебя, Прохоров!— сказала в ночь Вера.— Совсем погибаю... Как мне нужны твоя мужская слабость и нестроенность... О, какой сильной стала бы я, если бы ты перестал защищаться от меня! Я бы горы передвигала, Прохоров, я бы стала самой лучшей актрисой на свете...

Прохоров осторожно подошел к Вере, мягко обнял за плечи, прижался щекой к теплomu затылку... Родной запах чистых волос, польских духов «Быть может», длинная нервная спина, любимый завиток волос на шее. Вера осторожно выпрямилась, боясь выскользнуть из прохоровских рук, повернулась медленно, чуточку потеснив его, сама прижалась щекой к его плечу. Голова Веры долго лежала неподвижно, потом он почувствовал, как на плече задвигался ее теплый и нежный подбородок.

— До каких пор я буду завидовать всем твоим друзьям?— тихо спросила она.— Они могут звонить тебе в любой час, видеть тебя, когда захотят...

Совпадение было таким разительным, что Прохоров замер в неподвижности, так как Вера почти буквально повторила слова Сони Луниной, завидовавшей всем друзьям Столетова. А голова Веры продолжала лежать на плече Прохорова, и Вера была так спокойна и блаженно уравновешенна, словно сумела забыть о жарких и больных для глаз огнях рампы, о декорациях, пахнущих известкой и клеем, о зыбкости успеха, о подругах, которые не понимали ее любви к капитану Прохорову, о бесприютном одиночестве маленькой комнаты и о себе самой, как о женщине, которой хотелось иметь ребенка.

— Ты у меня молодец, старушка!— сказал он, глядя на полную луну.— Ты молодец, что приехала!

Луна, похожая на высокий уличный фонарь, хорошо освещала серую тучу, по-прежнему висящую в небе; у тучи были отороченные серебром края, посередине темнело дождевое пятно, а под тучей распласталась Обь, на взгляд неподвижная, мертвая, как озеро.

Вера порывисто бросилась к Прохорову, схватив его голову обеими руками, отстранила от себя его лицо, засмеялась приглушенно и, радостная, счастливая, начала долго и часто целовать Прохорова в глаза, губы, уши, шею, подбородок; одной рукой теперь она гладила его по волосам, рука дрожала, а Вера смеялась и была такой счастливой, какой Прохоров ее не видел никогда, и такой красивой, какой не может быть живая женщина.

— Дурачок ты мой, глупенький ты мой!— говорила Вера, прижимая к себе Прохорова, как ребенка.— Я все понимаю, я все чувствую... Ты сегодня видел мать погибшего... Я все, все понимаю... Я люблю тебя, люблю...

Потом Вера сквозь смех заплакала, потом бросилась к раскладушке, сорвала с нее белое пикейное одеяло, перевернула подушку, поправила сбившуюся простыню, вернувшись к Прохорову, прежним счастливым голосом приказала ему раздеваться.

— Ложись спать!— командовала хохоча Вера.— Ложись спать, Прохоров! А я сегодня ложиться не буду, я буду сидеть рядом с тобой. Не проси меня, ничего не поможет... Я буду, буду сидеть возле тебя, пока ты не уснешь...

Увидев, что Прохоров медлит с раздеванием, Вера подбежала к нему, расстегнула пуговицы, сняла с Прохорова рубаху, отвернувшись, так как Прохоров стыдился длинных трусов, со смехом заставила снять ботинки и брюки и лечь в постель. Когда он выполнил все это, Вера закрыла его до подбородка простыней, присев на край раскладушки, притихла — счастливая, с материнской улыбкой на полных губах.

— Спи, Прохоров, спи и ни о чем не думай...

Ошеломленный ее натиском, Прохоров тоже вначале посмеивался, уверенный в том, что долго не уснет, загодя лег на спину и сразу же после этого — вот уж чудо из чудес! — почувствовал, что болезненно, до ломоты в костях, до зеленых точек в глазах хочет спать. Сон шел по кабинету Вериными бесшумными шагами, сон хранился в ее немного опущенной голове, сон источала Верина рука, положенная на руки Прохорова. Глаза Прохорова закрывались, Вера расплывалась, раздваивалась, и Прохоров, еще раз по-детски вздохнув, слепым движением поднес ее руку к своим губам, поцеловав, оставил лежащей на груди. Затем он в последний раз сделал попытку открыть глаза, но из этого ничего не вышло, так как веки были тяжелы, как гири.

Последнее, что он почувствовал, был запах духов «Быть может», и, видимо, поэтому он привычно подумал: «Красивая женщина!»—но не понял, что еще раз целует руку Веры.

Прохоров уснул. Утомленное восемнадцатичасовым рабочим днем его лицо было спокойным, умиротворенным, на щеках проступил ночной здоровый румянец, веки, наоборот, побледнели... Неподвижная Вера неотрывно глядела на спящего Прохорова, и впервые за два года их знакомства ей было легко, она не чувствовала себя человеком, подглядывающим в щелочку за чужой тайной жизнью, как это бывало раньше, если она видела Прохорова спящим. Сегодня Вера материнскими глазами смотрела на него и была счастлива тем, что способна на такое чувство. Непонятно, почему и отчего, но она знала, что вскорости произойдет какое-то важное событие, которое положит конец их трудным отношениям. Ощущение перемены к Вере пришло не сейчас, когда она глядела на спящего Прохорова, оно только усилилось в эти минуты, а впервые возникло тогда, когда пароход причаливал к темному обскому берегу. С ярко освещенной верхней палубы Сосновка почти не была видна, проступал в темноте только ряд ближних домов, пахло дымом и свежескошенной травой, и Вера вдруг вся — с ног до головы — затрепетала от предчувствия счастья. «Я приехала в его молодость!»— подумала она и, чтобы не заплакать, заставила себя думать о том, что ей придется в этой крошечной темноте искать Прохорова.

Минут через пятнадцать после того, как Прохоров уснул и перевернулся на бок, Вера осторожно поднялась, смеясь сама над собой, подкрасила перед маленьким зеркалом губы — это глубокой ночью-то — и бесшумно пошла к дверям. Спустившись с крыльца, оказавшись сразу на глазах у гигантской облитой желтизной Оби, под бесконечно величественным небом, с непривычным для Веры низким горизонтом, она, всю жизнь прожившая в городах, стискивающих мир стенами и улицами, переулками и башнями; антеннами и подстриженными деревьями, почувствовала себя такой маленькой, точно ее поднял на ладони Гулливер... Все в этом — прохоровском — мире вздымалось вверх, все стремилось к небу: и река, словно море поднимающаяся вверх, и кроны осокорей, и удлиненные лунными тенями дома, и светлая дорога, взбирающаяся на крутой яр, и даже собачий лай казался звучащим не на земле. Она почти на цыпочках пошла по дощатому тротуару — он мог скрипеть и тем самым мешать волшебству, которое творила на земле ночь. Вера спустилась с тротуара и по непривычно мягкой, упругой земле пошла по берегу Оби, и с каждым шагом в мире прохоровской молодости предчувствие счастливых перемен сменялось уверенностью в близком счастье...

Прохоров проснулся, как обычно, в шесть часов, верный манере проверять самого себя, одним глазом посмотрел на часы — было точно шесть, — сладко потянулся и открыл второй глаз, чтобы немного полежать в бессмысленной неге, когда утренний отдохнувший мозг перерабатывает только приятное и незначительное. Сначала он подумал о том, что в столетовском деле оставалась неясной только одна деталь и что он близок к тому сладкому моменту, когда схватит за воротник милашку Гасилова, затем... Он вдруг вскочил с заохавшей раскладушки, больно ударился пятками о крашенный пол. Боже мой, ведь к нему приехала Вера! Прохоров неверяще оглядел пустую комнату — может быть, все это он видел во сне! — но на табуретке лежала лакированная дамская сумка, а в кабинете пахло духами «Быть может», и Прохоров вспомнил все: и про свой непобедимый сон, и о руке Веры, которую он оставил на своей груди, и про ее счастливый смех, и про то, что он впервые за время их знакомства без тоски подумал: «Красивая женщина!»

В пять минут одевшись и побрызгав на лицо холодной колодезной водой, Прохоров схватил сумочку Веры, ничего не замечая на пути, забывая здороваться с уже знакомыми стариками, спозаранок вышедшими сидеть на своих уличных скамейках, бегом бросился к пристани... Веры на причале не было. Здесь возился с канатами начальник пристани, три женщины в теплых головных платках сидели на мешках, тонкая черноволосая девушка стояла у кромки воды, парень в дымчатых очках дремал, а вот Веры не было, хотя уже на длинном прямом плесе Оби точечкой был замечен самый ранний пароход «Пролетарий». Сообразив, что за ночь других пароходов, идущих до Ромска, не было и не могло быть, Прохоров только для самого себя, для того, чтобы успокоиться, крикнул начальнику пристани:

— Иван Спиридонович, а сегодня после двух часов ночи были посудины вверх?

— Откуда им взяться, товарищ Прохоров! — прокричал в ответ старик. — Это же тебе не пятница...

Прохоров медленно пошел к тому концу пирса, на котором никого не было, сел на низкий деревянный кнехт, стал глядеть, как в розово-зеленой утренней воде ходят веселые, похожие на запятые мальки: иногда между ними тенью пронеслось что-то большое, темное, извивающееся, и тогда мальки ошалело брызгали в стороны. Вода всегда успокаивала Прохорова, и, посидев над ней две-три минуты, он понял, а скорее всего почувствовал, куда ушла и чем занята Вера. Он посмотрел на обыкновенную лакированную сумку, которую она оставила в комнате, потом перенес взгляд на реку, на противоположный далекий берег, на утреннее небо, на котором и следа не осталось от вчерашней угрюмой тучи. Было хорошо, сладко сидеть на деревянном кнехте, у самой кромки воды, отчего река казалась уже не просто широкой, а совсем похожей на море. Она плавно уходила

ла как бы к несуществующему левобережью, над водой кружились розовые чайки, река была тоже розовой и от этого казалась теплой, хотя в шесть часов утра вода была холодна. Сейчас, ранним утром, все краски была приглушены розовостью, мир был промыт росой до молодой свежести белобочких огурцов, и солнце, висящее над Обью, тоже казалось новеньким, словно только минуту назад было сотворено.

Прохоров услышал шаги Веры метров за пятьдесят, не обертываясь, старался понять, что она несет к нему с гордо поднятой, как всегда на людях, головой, что выговаривают туфли на модных высоких каблуках. Очень скоро выяснилось, что в деревенской тишине каблуки выстукивают незнакомое — в ритме не было ни подчеркнутой резкости, ни вечерней усталости, ни ночной растерянности, ни утренней расслабленности лежащейся спать на рассвете актрисы. Туфли шли по деревянному пирсу так, как никогда не ходили раньше, и, как это ни странно, приближающаяся, невидимая еще Вера казалась такой же розовой и свежей, как все кругом. Чудеса, но и звук ее шагов казался розовым... Вот Вера остановилась за спиной Прохорова, наступила гулкая тишина, потом на его плечо легла теплая рука Веры и раздался такой голос, которого Прохоров ни разу не слышал.

— Доброе утро! — сказала Вера. — Смотри, идет мой пароход. — Он обернулся. Перед ним стояла незнакомая женщина. Она была на полголовы ниже актрисы Лужиной, у нее было другое лицо, руки, плечи, ноги, и глаза у нее были вовсе не черные, а карие. Боже мой, что произошло? Всего шесть-семь часов назад капитан Прохоров считал, что актриса Лужина одета безукоризненно модно, а сейчас заметил, что костюм на ней давно вышел из моды, туфли были не только пыльными, но и поношенными, еще прошлым вечером он не видел на лице Веры ни единой морщинки, поражался сохранности ее густых волос, а сейчас видел, что у нее под глазами сеточка морщинок, что в волосах поблескивают белые паутинки.

— Здравствуй, Вера! — еле слышно ответил Прохоров. — Ты сядь, пароход пристанет только минут через двадцать...

Прохоров уже понял, что произошло. Он взял Веру за руку, непрерывно глядя в ее лицо, погладил по волосам таким движением, каким гладила его вчера Вера. Прохорову хотелось не то смеяться, не то по-бабьи расплакаться, а больше всего он желал того, чтобы Вера уже никогда не исчезала, чтобы всегда была рядом с ним, чтобы не увозил ее пароход «Пролетарий».

— Вера, Вера, — проговорил Прохоров, — а ты знаешь, что за два года мы никогда не видели друг друга при дневном освещении...

Он прижался щекой к ее руке, протяжно вздохнув, сказав: — Я тебя люблю, Вера.

Женщина замерла, перестала дышать, словно не поверила, и тогда Прохоров повторил:

— Я тебя люблю, Вера.

Она сидела тихая, чуть-чуть грустноватая, как бывает со всяким человеком, когда в одно мгновение свершается то, чего долго ждал. Человек счастлив, готов обнять весь мир, но ему все-таки немножко грустно оттого, что ждать уже нечего. А Прохоров все глядел в ее лицо и думал о том, что рядом с ним сидела такая женщина, которую он искал всю жизнь и вот нашел наконец на берегу Оби.

— Пошли, Вера! — сказал Прохоров, когда пароход уже подходил к пирсу.

Он взял ее под руку, она легонечко прижала локтем его кисть к своему бедру, понимая, что не надо говорить ни слова, пошла рядом с Прохоровым к пароходу.

Приставая к берегу, «Пролетарий» басовито гудел; он не делал разворота, так как речные пароходы делают разворот только тогда, когда идут вниз по течению...

4

Опять наступила жара великая, солнце не светило и не грело, а палило нещадно, листья черемухи свертывались в трубочку, знакомый Прохорову скворец, забившись в густую тень, не закрывал раскрытый клюв, дышал тяжело, словно разгрузил баржу с мукой. Обь в полдень никакого цвета не имела, так как на нее смотреть вообще было невозможно, как на солнце, и Прохоров с наслаждением разделся бы до трусов, если бы его гостьей не была сама Людмила Гасилова.

Людмила сидела в центре пилипенковского кабинета на простой, некрашеной табуретке, в розовом сарафане и почти не существующих босоножках. Она сидела и, к удивлению Прохорова, ни капельки не страдала от жары. Ее лицо без косметики было свежо, загорелые руки и ноги казались выточенными из дерева редкой породы, светлые глаза, сейчас такого же непонятого цвета, как река, были безмятежны.

В кабинет Людмилу, конечно, привел не участковый инспектор Пилипенко, ее, естественно, не вызвали повесткой, а сам капитан Прохоров до тех пор прогуливался неподалеку от гасиловского особняка, пока девушка не вышла из дому. Заметив ее, Прохоров разыграл радость нечаянной встречи и, узнав, что Людмила идет к подруге, а подруга живет неподалеку от пилипенковского кабинета, набился к ней в попутчики и, шагая рядом, галантно брал Людмилу за прохладный локоток, если на деревянном тротуаре обнаруживалась гнилая или шаткая доска. Они проходили мимо милицейского дома, когда Прохоров заявил, что не отпустит Людмилу к подруге до тех пор, пока не угостит ее выдающимся холодным квасом.

— Догадайтесь,— хитро прищуривая левый глаз, спросил Прохоров,— откуда у приезжего милиционерушки появился холодный квас домашнего приготовления?.. Нет, нет, ни за что не догадаетесь!

Он снова взял ее осторожно за локоток и заговорщически шепнул:

— Взятка! Типичная взятка! Квас мне принесла семипудовая гражданка Суворова, и взамен она коленопреклоненно умоляла больше не вызывать на допросы ее Никитушку... Можете себе представить, Людмила Петровна, что после каждой встречи со мной Никитушка Суворов, оказывается, не может уснуть до тех пор, пока супруга не выдаст ему четвертинку водки...

В ответ на все эти прохоровские штучки-дрючки Людмила добродушно улыбалась, предложение попробовать холодный квас приняла охотно и вот теперь со стаканом в руках сидела в центре комнаты, так как другого места не было — Прохоров заранее вынес в сени все остальные табуретки, а на единственном стуле сидел сам.

— Отличный квас,— сказала Людмила и хотела подняться, чтобы поставить пустой стакан на стол, но Прохоров опередил ее — взял стакан и сам отнес его на место. После этого он сел и пожаловался:

— Жарко, а, Людмила Петровна, до того, понимаете, жарко, что... Во! Посмотрите на человека, который не способен придумать мало-мальски приличного сравнения... Сказать, что в Сосновке жарко, как в Сахаре,— банально, как в бане,— неэстетично...

Огорченно почесав затылок, Прохоров просительного прижал руки к груди.

— Людмила Петровна,— жалобно произнес он,— а вы не обидитесь, если я вас задержу на минуточку?

Она посмотрела на него удивленно.

— Да что вы, Александр Матвеевич,— сказала Людмила. — Я вовсе никуда не тороплюсь... Я ведь всегда опаздываю... Серьезно! И в кино опаздываю, и в школу опаздывала. Выйду, кажется, вовремя, а все равно опоздаю... Серьезно.

Не слушая девушку, Прохоров думал о том, что, оказывается, Людмила Гасилова не умеет сидеть на обыкновенной деревянной табуретке, и Андрюшка Лузгин не выдумывал, когда рассказывал, что Людмила в школе подкладывала на сиденье парты подушечку, набитую конским волосом. Да и сам Прохоров вспомнил, что в тот день, когда он вместе с Людмилой попал в особняк Петра Петровича, девушка ни одной минуты не сидела — она то полулежала на диване, то свертывалась кошечкой, то забиралась с ногами в большое удобное кресло.

На простой, некрашеной табуретке Людмиле Гасиловой сидеть было до того неудобно и непривычно, что она все время меняла положение рук и ног, едва не опрокидывалась на

спину, когда, забывшись, стремилась откинуться на несуществующую спинку; она успокоилась только после того, как поставила локти на колени, а на руки положила подбородок — выражение сладкой безмятежности и естественной правильности всего того, что происходило на белом свете, снова появилось на ее красивом лице.

— Полчаса назад, Людмила Петровна, — легко и просто соврал Прохоров, — на этой самой табуретке сидел Юрий Сергеевич Петухов — ваш будущий муж...

Как он и ожидал, на лице у Людмилы не отразилось ни удивления, ни радости, ни огорчения — абсолютно ничего не было нового на лице девушки, кроме удовлетворения по поводу того, что ей удалось сравнительно хорошо устроиться на неудобной табуретке.

— Да, да, — стараясь держать себя в руках, повторил Прохоров, — полчаса назад здесь сидел Юрий Сергеевич и рассказывал о том, как вы решили пожениться... Знаете, Людмила Петровна, оказалось, что ваш суженый — можно мне его так называть? — никогда не читал Бабея...

Прохоров открыл стол, вынул небольшую серую книгу, положил ее перед собой. Бабея он любил, время от времени возвращался к нему в трудные минуты жизни и сейчас боролся с самим собой, понимая, как это кощунственно — Людмила Гасилова на деревянной табуретке и зачитанный серый томик... Прохоров закрыл глаза — где-то сейчас шипел паром и тонко прокрикивал на перекатах старенький пассажирский пароход «Пролетарий», в каюте первого класса не могла заснуть от усталости и нервного перенапряжения самая лучшая женщина на всем белом свете, грустная и счастливая одновременно, а здесь...

— Это Женина книга, — вдруг сказала Людмила, поднимая голову. — Он давал мне ее почитать, я ее куда-то дела и еле нашла, когда книга понадобилась Жене... — Она улыбнулась. — Посмотрите, там есть Женин экслибрис... Очень смешной! Серьезно.

Экслибрис был плохонький, художник явно подкачал, но это был тот экслибрис, который должен был принадлежать именно Столетову — четыре руки сцепились в крепком пожатии, фоном был пучок света от электрического фонарика, а внизу было написано: «Мы будем петь и смеяться, как дети».

— Здорово смешно! — повторила Людмила без улыбки. — Я долго смеялась, когда впервые увидела рисунок... Серьезно!

Прохоров насторожился — что-то новое, совсем незнакомое и неожиданное прозвучало в голосе девушки. Людмила сейчас была грустна и задумчива, быллинный овал ее классически русского лица как-то потускнел. «Надо сделать так, — жестоко подумал Прохоров, — чтобы ей было больно. Очень больно, как

Столетову, когда он узнал, что она выходит замуж за Петухова...»

— Евгений ошибся, когда считал, что рассказ Бабеля «История одной лошади» кончается словами: «Жизнь нам представлялась лугом, лугом, по которому пасутся женщины и кони»,— негромко сказал Прохоров.— У Бабеля не «пасутся», а «ходят»... И знаете, кто в этом виноват, Людмила Петровна?

— Кто?— еле слышно спросила она.

— Вы!— резко сказал Прохоров и поднялся.— Но это не все, далеко не все, Людмила Петровна... Я стопроцентно убежден в том, что Евгений Столетов по-настоящему любил не вас, а Анну Лукьяненко, хотя думал, что любит вас. Да, он женился бы на вас, если бы вы захотели, но этот брак был бы непродолжительным...

Он приблизился к Людмиле, выдержав холодную паузу, сказал:

— А вы, Людмила, любили Столетова и всю жизнь будете любить, так как таких людей не разлюбивают...

Вот он и разрушил сладостно-безмятежный мир Людмилы Гасиловой! Раздавленная, пронзенная тоской, понимающая, что прежней радости уже не будет никогда, точно так, как нельзя вернуть к жизни Евгения Столетова, она бледнела, словно была близка к обмороку, и ей было больнее, чем этого хотел Прохоров.

— А теперь, гражданка Гасилова,— садясь на свое место, официальным тоном произнес он,— вы мне расскажете, когда, как и при каких условиях вы дали согласие на брак с Петуховым.

Твердой рукой, по-прежнему не испытывая ни капельки жалости к девушке, Прохоров налил в стакан квас, подойдя к ней, молча вложил стакан в ее дрожащие пальцы.

— Итак,— повторил Прохоров,— когда и при каких условиях вы дали согласие на брак с Петуховым?

Людмила теперь на табуретке сидела прямо, бледная, дышала тяжело.

— Прошу отвечать на заданный вопрос...

Дочь Петра и Лидии Гасиловых беззвучно и горько заплакала и, как все плачущие красивые женщины, казалась до того изменившейся, что совсем не походила на самое себя. Плакать Людмила не умела и не привыкла, крупные слезы она вытирала неловко— тыльной стороной ладони,— длинные ресницы слиплись, и от этого она казалась незрячей. Прохоров терпеливо ждал, когда девушка проплачется. «Ничего, ничего,— думал он.— Человек должен отвечать за свои поступки...»

— Вы бы не сидели здесь и не плакали, Гасилова,— сказал Прохоров,— если бы не позволили сделать из себя предмет купли и продажи... Как могло случиться, что Евгения

Столетова вы променяли на Петухова? Вы не ребенок, вам двадцать лет...

Людмила прошептала: -

— Я сама не знаю, как это произошло...

Она в последний раз вытерла слезы, поежившись, ссутулилась.

— Все решилось первого марта,— сказала Людмила,— хотя папа мне и раньше запрещал встречаться с Женей... А в этот раз... В этот раз в доме с самого утра творилось что-то непонятное...

За два месяца и двадцать два дня до происшествия

...в особняке Гасиловых с самого утра происходило что-то непонятное. Домработница уже дважды бегала в орсовский магазин, Лидия Михайловна временами выбегала из кухни с испачканными мукой руками, взглянув на часы, опять скрывалась, а Петр Петрович Гасилов, вернувшийся из лесосеки к девяти часам утра, сидел в своем кабинете тихо, словно его и не было дома. Все это походило на приготовления к встрече важного гостя, но когда Людмила спросила у матери, кого ждут, Лидия Михайловна оглядела дочь с головы до ног, вздохнула и сказала:

— Ах, я и сама ничего не знаю... — И деловито посоветовала: — Ты сегодня должна быть красивой... Вымой голову и сделай высокую прическу...

Часа в два дня на лестнице появился Петр Петрович и громко позвал:

— Людмила, зайди ко мне.

В кабинете девушка села с ногами в большое кожаное кресло, свернувшись в комочек, приготовилась слушать отца, который бесшумно расхаживал по толстому ковру.

Крупная голова Петра Петровича была задумчиво склонена, руки он заложил за спину, бархатная стеганая куртка придавала ему мирный домашний вид. Не останавливаясь и не глядя на дочь, Петр Петрович наконец сказал:

— Я давно готовился к этому разговору... Я, наверное, находил по этому ковру километров двадцать, пока привел в порядок мысли...

Он подошел к дочери, погладил ее по голове. Брыластое лицо Гасилова было добрым, нежным, растроганным; оно выражало такую любовь и заботу, что Людмила перехватила руку отца, прижалась к ней щекой.

— Я слушаю тебя, папа,— прошептала девушка,— говори...

Петр Петрович осторожно вынул руку из пальцев дочери, еще раз медленно и бесшумно прошелся по кабинету, прислушался: за громадным окном хулигански посвистывал влажный мартовский ветер, флюгер на остроконечной башне вращался

с жестяным скрипом, на первом этаже суётливо хлопали двери.

— Людмила! — чуточку излишне торжественно сказал Петр Петрович. — Я хочу с тобой говорить о таких вещах, о которых говорить трудно да и не всегда нужно... Мне раньше казалось, что ты сама разберешься во всем, но ты... Ты не разобралась!

Он вернулся к дочери, сел рядом с ней в такое же кресло, в каком уютно пригласилась Людмила, внимательно посмотрев в ее лицо, неторопливо продолжал:

— Еще раз прости меня за то, что вмешиваюсь в твои сердечные дела, но ты у меня одна, и я не могу допустить, чтобы моя дочь совершила непоправимую ошибку... Я хочу говорить о Евгении Столетове и... еще об одном человеке...

Петр Петрович еще раз проверяюще посмотрел в лицо дочери — оно было безмятежно-ласковым, спокойным, на нем легко читалось: «Я тебя люблю, папа, я тебе верю, говори все, что хочешь!» Тоже успокоенный, Петр Петрович поднялся, прошел из одного угла кабинета в другой; оказавшись в центре, он остановился...

— Я неплохо отношусь к Евгению Столетову, — сказал Петр Петрович. — Он умный, честный и добрый парень...

Гасилов сделал многозначительную паузу, в третий раз проверил действие своих слов на дочь и, не заметив ничего тревожного, повторил:

— Евгений умный, честный, добрый парень, но его жизнь будет тяжелой...

За оттаявшим грандиозным окном жил синий мартовский день, с крыш свисали ранние для нарымских краев сосульки, река поблескивала на солнце голубыми торосами, а в палисаднике на большом кусте черемухи сидели сразу три красавицы сойки.

— Я ничего, Людмила, не имею против так называемых правдолюбов, — шутиливо сказал Петр Петрович. — Мир без них был бы, наверное, немножечко хуже, чем он есть на самом деле, но мне, прости, доченька, не хочется, чтобы твоим мужем был один из представителей этого беспокойного племени...

Петр Петрович глядел в окно, на реку, и его умное лицо казалось еще умнее от иронической улыбки, а тело было таким, каким его представлял Викентий Алексеевич Радин, — мудрым и ловким.

— Чтобы быть понятным, я должен сделать некоторый экскурс в родословную твоей матери и твоего отца... — шутиливо и весело проговорил он. — Основные, так сказать, вехи тебе, конечно, известны, но я хочу обратить твое внимание на то обстоятельство, что в наших семьях женщины никогда не работали...

Петр Петрович подошел к дочери сзади, положил руки на ее плечи, подбородком прижался к пышным волосам.

— Женька Столетов непременно заставит тебя работать,— с заботливой угрозой проговорил Петр Петрович.— А что ты умеешь делать, дочь моя? Институт тебе ни за какие коврижки не окончить, да и поступить-то в него не сможешь, и что же выпадет на твою необразованную долюшку? — Он осторожно засмеялся.— Одно тебе останется: быть при Женечке домработницей, так как сей правдолюбец всю жизнь будет ходить в драных штанах...

Петр Петрович расхохотался, продолжая обнимать дочь за плечи, сделался серьезно-комичным.

— Хочешь, Людка,— предложил он,— я тебе нарисую картину вашей будущей жизни с Евгением? Хочешь?

— Хочу! — откликнулась Людмила.

Петр Петрович отошел от дочери, сел на стул и нахмурился, насупился, закатенел.

— Все начнется еще в институте,— пророческим басом загрохотал он.— В один прекрасный день твой еще более прекрасный муженек приходит в крохотную комнатку, которую вы снимаете на мои деньги, и объявляет гордо: «А меня собираются выгонять из института!» И ты последней в областном городе узнаешь, что твой чудо-муженек на факультетском собрании разнес в пух и прах декана за попытку завесить студенческие оценки или произвести нечто еще более криминальное.— Петр Петрович лукаво подмигнул.— Теперь предположим, что твоему правдолюбцу удалось каким-то чудом окончить институт и он работает на заводе. Уже через три недели твой милый Женечка разносит на клочок начальника цеха, через полгода — директора... По выше означенным причинам квартиру вы получаете в последнюю очередь, твой принципиальный муженек третий год ходит в мастерах, и, мало того, его обратно же собираются увольнять из-за профнепригодности, а это такая штука, что легче верблюду влезть в угольное ушко, чем доказать обратное...

Сложив губы бантиком, Петр Петрович широко развел руки и замер, как городничий в финале «Ревизора».

— Вот, значит, увольняют твоего сударя за профнепригодность, а он с этим, конечно, не согласен и собирается ехать жалобой в Москву, а денег-то у него нетути! — смеясь, продолжал он.— И тогда твой Женечка едет в столицу на товарняке... А что в это время делает моя родная дочь, которая ничего делать не умеет? Моя родная дочь в это время пытается заштопать последнюю кофту, купленную еще отцом-матерью. А потом,— Петр Петрович от ужаса зажмурился,— даже я боюсь заглядывать в потом, когда появится на свет мой внук или внучка...

Петр Петрович снова сложил губы жеманным бантиком, смеясь только одними глазами, скрестил руки на груди и театрально насупился. Это было смешно, очень смешно, и Людмила захохотала, а Петр Петрович помахал перед ее носом толстым пальцем.

— Не смеяться! — трагическим шепотом приказал он. — Как можно смеяться, если мой родной внук ходит в школу в шубе на рыбьем меху?.. А что касается любви, что касается любви, то...

Петр Петрович мгновенно снял с лица улыбку и привел в нормальное состояние губы.

— Любовь в шалаше, Людмила, проходит гораздо быстрее, чем в особняке. А по Фрейду — читывали и мы в молодости кой-чего — всякая любовь длится не более двух с половиной лет...

Над Сосновкой с мощным ровным гулом пролетел реактивный пассажирский самолет, на мгновение вой турбин достиг такой силы, что стекла в окне зазвенели, затем гул моторов неожиданно быстро и ладно смешался со свистом шустрого мартовского ветра, и уж потом со звоном упала на землю и разбилась крупная сосулька, выросшая под высокой крышей гасиловского особняка.

— Ты любишь Столетова? — внезапно быстро и резко спросил Петр Петрович.

Людмила осторожно переменяла позу, наморщила ясный, слегка прикрытый волосами лоб, задумчиво поглядела в окно; молчание длилось долго, наверное, минуты две, затем девушка повернула к отцу привычно уравновешенное, бездумное лицо.

— Я точно не знаю, папа, — тихо сказала она. — Иногда мне кажется, что я без Жени не могу прожить и часу, а когда он появляется, чувствую себя перед ним виноватой... Нет, нет, ты не подумай, папа, что Женя груб или слишком требователен, — этого нет, он любит меня, но в его присутствии я всегда чувствую себя перед ним виноватой...

— За что?

— За все! — прежним голосом ответила Людмила. — За то, что я не способна поступить в институт, за то, что я изнежена, ленива, за то, что долго ем, за то, что я часто молчу, словно мне нечего сказать... Иногда мне кажется, что я виновата за то, что родилась...

— Значит, ты его не любишь?

— Не знаю, папа! Может быть, люблю, а может быть, нет...

Теперь они молчали вместе. Людмила при этом опять смотрела в окно, отец — в лицо дочери. В нем было мало его, гасиловского, но отец-то умел находить свое среди материнского и дедовского: немножко скошенный подбородок, коротковатая и слишком крепкая для тоненькой и хрупкой фигуры шея.

— Ты меня понимаешь, Людмила? — вкрадчиво спросил Петр Петрович. — Ты согласна с моими доводами?

И снова дочь долго и бездумно молчала.

— Я не знаю, что тебе ответить, папа! — наконец призналась она. — Я, наверное, не умею думать, папа. — Людмила ясно и ласково улыбнулась. — За меня всегда думал кто-нибудь другой... И в школе, и дома...

Ни волнения, ни радости, ни тревоги за свою судьбу — ничего не выражало лицо Людмилы, в которое изучающе, словно в первый раз, вглядывался Петр Петрович Гасилов. Он, естественно, давно знал, что Людмила — послушная дочь, но и предполагать не мог, что послушность дочери достигнет такого безмятежного и холодного равнодушия.

— Людмила, — тихо спросил Петр Петрович, — ты понимаешь, чего я хочу?

— Конечно, понимаю, — не отрывая глаз от окна, не пошевелившись, ответила дочь. — Вы с мамой хотите, чтобы я вышла замуж за Юрия Сергеевича Петухова...

Бог знает, что Людмила высматривала в окошке, но глаза у нее были такие, словно самое главное, самое важное сейчас происходило не в кабинете отца, а за голубоватым стеклом; она так смотрела в окошко, что Петр Петрович невольно повернулся к нему, но ничего интересного и нового там не обнаружил.

— Сегодня вечером Юрий Сергеевич придет к нам, — с досадой сказал Петр Петрович. — В домашней обстановке ты поближе познакомишься с ним и, может быть, поймешь, что он тот человек, который тебе нужен...

— Хорошо, папа!

...Технорук лесопункта Юрий Сергеевич Петухов пришел в гости с опозданием на десять минут, то есть как раз на столько, на сколько мог себе позволить человек, стоящий на одну служебную ступеньку выше хозяина. И все же, раздеваясь в передней, он долго и настойчиво просил у Лидии Михайловны прощение за опоздание и только после того, как хозяйка пообещала «рассердиться на деликатного гостя», вошел в гостиную.

— А нельзя ли сменить обувь? — попятившись, с многозначительной улыбкой спросил Петухов.

— Вам — нельзя! — тоже многозначительно ответила Лидия Михайловна и взяла технорука за руку. — Проходите, проходите, Юрий Сергеевич, сейчас спустятся сверху Петр Петрович и Людмила...

Незаметно оглядывая гостиную, технорук улыбался, раскланивался, еще раз «от всего сердца» благодарил Лидию Михайловну за теплый и радушный прием. Опустившись в низкое кресло, Петухов по привычке собрался было искать самую удобную для сидения позу, но оказалось, что этого делать не

надо, так как стоило ему только откинуться на спинку кресла, как он оказался в предельно удобной позе:

Петухов на несколько секунд поднялся, когда в гостиную вошли Петр Петрович и Людмила. Мастер крепко пожал руку техноруку, похлопал его по спине, затем отступил в сторону, чтобы Петухов мог поздороваться с дочерью... Людмила и технорук, конечно, были знакомы и раньше, они десятки раз встречались на улицах и в клубе, но ни разу не разговаривали, а вот сейчас держались так, словно расстались несколько часов назад, причем Людмила сама не догадалась бы вести себя таким образом, если бы Петухов не подал пример. Увидев Людмилу, он сдержанно улыбнулся, подойдя к ней очень близко,— видно было, как чисто выбриты его щеки,— взял ее руку в свою и не отпускал до тех пор, пока этого не заметили ее родители.

— Вы хорошо выглядите, Людмила Петровна!

Сам Петухов выглядел не просто хорошо, а отлично: от него за версту пахло здоровьем, силой, удачливостью, самодовольством, которое он тщательно скрывал, но именно поэтому казался особенно самодовольным. Одет Петухов был в шерстяной костюм спортивного покроя, галстук шириной в ладонь переливался радугой, меховые французские ботинки вкрадчиво поскрипывали.

— Проходите, Юрий Сергеевич, проходите в столовую! — пела Лидия Михайловна.— Милости просим, милости просим!

— Пожалуйста, пожалуйста! — снисходительным баском подпевал Петр Петрович.

Наконец вся четверка оказалась в столовой, где был накрыт обильный и по сосновским масштабам изысканный стол. Горели солнечные искорки в дорогом хрустале, просвечивала насквозь посуда из старинного фарфора, туго накрахмаленная скатерть напоминала блестящий снежный наст; лежали на блюдах различной величины и формы соблазнительные закуски, столовое серебро как бы подчеркивало разнообразие блюд, в центре стола возвышалось серебряное ведерко с замороженным шампанским.

— Проходите, проходите, Юрий Сергеевич, будьте, как дома, у нас все попросту, у нас все по-семейному, без церемоний...

Лидия Михайловна незаметно подталкивала Петухова к тому стулу, где ему было предназначено сидеть.

— Вот сюда сеньки, вот сюда сеньки! — шутиливо выговаривала она.— Здесь вам будет хорошо, и не дует из окна.

Пока хозяйка устраивала гостя, Петр Петрович и Людмила тоже сели, и, конечно, получилось, что Петухов оказался подле Людмилы, а Петр Петрович вплотную придвинул свой стул к стулу Лидии Михайловны. Образовалось тесное семейное застолье, в котором главное место сегодня принадлежало не Петру Петровичу, а Петухову.

— Ну-с!— потирая руку об руку, проговорил Гасилов.— Начнем, пожалуй... Юрий Сергеевич, выруливайте на старт.

Технорук Петухов — человек, начавший жить в искалеченной войной бедной брянской деревне Сосны, сделавшийся инженером ценой полуголодного студенческого быта, за гасиловским застольем вел себя еще как дикарь. Он и предположить не мог, что в небольшом поселке существует такое изысканное гостеприимство. Пораженный, никогда еще не бывавший в таких домах, Петухов на некоторое время растерял самого себя в сверкании хрусталя, в пестроте иностранных этикеток на разнокалиберных бутылках, в тесноте закусок, солений и варений... Минуту другую за столом сидел деревенский парень с блестящими от восторга глазами, в которых легко читались две четких, откровенно бесстыдных, голых мысли — восторженное: «Вот как надо жить!» и мрачное, почти угрожающее, непоколебимое: «Ладно, ладно! Я скоро буду жить еще лучше!»

— Ну-с, граждане,— веселым домашним голосом сказал Петр Петрович и поднял бокал с шампанским.— Не выпить ли нам попервости за самих себя?.. Дай нам бог здравствовать!

Четыре бокала сошлись в центре стола, осторожно прикоснувшись друг к другу, неторопливо разъехались в стороны. Когда шампанское было выпито, Лидия Михайловна, прижав пальцы рук к вискам, ужаснулась:

— Людмила, ты плохо ухаживаешь за Юрием Сергеевичем! Он сильный, большой мужчина — разве можно ему есть так мало? Ах, ты ничего не понимаешь!.. Ну-ка, Юрий Сергеевич, дайте мне вашу тарелочку, я покажу Людмиле, как надо кормить настоящих мужчин...

К этому времени Петухов успел прийти в себя, то есть проделал все те манипуляции, которые считал обязательными для руководящего инженерно-технического работника и над выработкой которых он трудился еще на последнем курсе института. Технорук выпрямился, поднял подбородок с волевой ямочкой, прищурился, свел брови на переносице и надменно-иронически задрал уголки губ. Он легким, чуть-чуть снисходительным кивком поблагодарил Лидию Михайловну, твердо посмотрел в глаза Петра Петровича, а Людмиле улыбнулся покровительственно.

— Вы любите шампанское?— светским голосом спросил он девушку.

— Оно вкусное,— подумав и пожав плечами, ответила Людмила, которая с первой секунды встречи с Петуховым ничуть не изменилась: сидела, двигалась и делала все так, словно ужин на четверых был обычным, будничным явлением. «За столом сидит Юрий Сергеевич Петухов? Так в чем дело?.. Ах, какие пустяки! Стол накрыт, как для большого праздника? Так в чем дело? Ах, какие пустяки! Папа хочет, чтобы я стала женой технорука? Так в чем дело? Ах, какие пустяки!» Глядела Людми-

ла в пространство, катала в пальцах комочек черного хлеба и на самом деле походила на сытую молодую корову, которая бродит по траве, выбирая самые лакомые растения.

— Закусывайте, закусывайте, Юрий Сергеевич,— старалась Лидия Михайловна.— Попробуйте вот эти огурчики — они прелестны!.. Вы знаете, Юрий Сергеевич, наша домработница — величайший мастер по засолке грибов. У нее про-о-сто грибной талант...

— Спасибо, спасибо, я вовсе не стесняюсь...

На первое подали бульон с гренками, после бульона домработница принесла баранье жаркое, потом на столе появилось мороженое, и выяснилось, что она так же хорошо умеет делать мороженое, как и солить грибы, и что мороженица у Гасилова хранится с тех пор, как умерли родители Лидии Михайловны. Одним словом, интимный, по-домашнему непринужденный ужин продолжался и кончался так, как полагалось, по мнению хозяев, в аристократическом доме, и технорук Петухов — способный малый! — уже понял, как надо вести себя: ел с ленцой, улыбался сдержанно, разговаривал равнодушно и, несмотря на то, что из кухни уже доносился аромат кофе, не удивлялся тому, что никто не начинал того важного, серьезного и решающего разговора, ради которого родители Людмилы поставили на белую скатерть черную и красную икру, семгу, копченую осетрину и стерлядь. За весь ужин Людмила не произнесла ни слова, почти ничего не ела, а все катала в пальцах хлебный шарик. Разговаривала за столом только хозяйка дома, Петр Петрович ей поддакивал, а Петухов отделялся восклицаниями: «Спасибо!», «Признателен вам!», «Нет, нет, больше не надо!», «Очень, очень вкусно!» и так далее.

Ответственный разговор начался только тогда, когда домработница принесла кофейные чашечки и вычурный серебряный кофейник. Держа небольшую чашечку в руке, отпив всего два или три глотка, Лидия Михайловна вдруг тяжело вздохнула и грустно потупилась; сейчас у нее был смиренный, монашеский вид, золото и камни в ее перстнях и кольцах, казалось, потеряли блеск.

— Вы бы знали, Юрий Сергеевич,— печально произнесла она,— как мы с Петром Петровичем завидуем вам!.. Подумать только, вам тридцать, вы дипломированный инженер и, конечно, не будете всю жизнь торчать в этой проклятой Сосновке! А я... Откровенно вам признаюсь, Юрий Сергеевич, я до сих пор больна от невозможности стать горожанкой...

Все, что сейчас говорила Лидия Михайловна, было правдой и только правдой.

— Мы так и не сумели перебраться в город,— продолжала она.— У Петра Петровича нет высшего образования, на одной городской зарплате мы не смогли бы существовать... Да и времена были другие...

В столовую опять бесшумно вошла домработница, выключила верхний свет, и теперь только торшер и бра освещали четверых, сидящих за столом; полусвет, полумрак были приятны после сияния хрустальной люстры с подвесками, обстановка в комнате сделалась уютной, располагающей к откровенной беседе.

— Да, да, было такое дело!— задумчиво проговорил Петр Петрович.— Я ведь Лиду привез из города; она так хотела вернуться в город и так ненавидела деревню, что иногда неделями не выходила из дому...— Он улыбнулся краешками губ.— Можете себе представить, Юрий Сергеевич, каково мне было войти в комнату затворницы... Летающие тарелочки — это не вымысел!

Они сдержанно похихотали.

— Человек ко всему привыкает!— после паузы вздохнула Лидия Михайловна.— Только я не хотела бы, чтобы моя дочь повторила горькую судьбу матери...

Людмила покосилась на мать, потом на отца, но ничего не сказала, а, наоборот, стала еще более спокойной: «Ты хочешь, чтобы я жила в городе? В чем же дело? Ах, какие пустяки!»

— Слушайте, Юрий Сергеевич,— вдруг решительно сказал Гасилов,— а не удалиться ли нам в мой кабинет? Как, Юрий Сергеевич, а?

— С большим удовольствием!— неожиданно холодновато ответил Петухов и резко поднялся.— С превеликим удовольствием, Петр Петрович!..

Людмила Гасилова опять поставила локти на колени, на ладони удобно устроила подбородок и от этого сделалась такой, какой была перед тем, как заплакать, и это было правильно, естественно, так как дочь Петра и Лидии Гасиловых не была способна долго страдать.

А Прохоров сидел на кончике стола, подравнивал ногти изящной пилочкой, вынутой из дорожного набора, висящая нога у него раскачивалась так, словно он напевал про себя что-то. Может быть, это был фокстрот времен его молодости, может быть, твист, которому его как-то, дурачась, научила Вера. Когда Людмила кончила рассказывать, Прохоров не изменил позу, а только бросил на Людмилу короткий взгляд.

— Это все?— спросил он.— Вы все рассказали?

— Все! Все, Александр Матвеевич... Серьезно.

Прохоров поднялся и спрятал пилочку, выглянул на двор — было не просто жарко, дышать было нечем. Вот до чего довели родные нарымские края беспорядочные массовые перемещения воздуха!

— Людмила Петровна,— бесцветным голосом сказал Прохоров.— Людмила Петровна, ну кто вам поверит, что вы не

подслушивали разговор Петра Петровича с техноруком Петуховым? Ведь в первой нашей беседе вы признались, что подслушивали беседу отца и Столетова. Что вам помешало в тот раз поступить так же?

— Ничего,— коротко подумав, ответила Людмила.— Я на самом деле их подслушивала... Серьезно!

Ни крошечного пятнышка стыдливого румянца не появилось на ее щеках, голос не дрогнул. Не меняя позы, выражения лица, Людмила несколько секунд вспоминая молчала, затем сказала:

— Папа и Юрий Сергеевич говорили о доме, который они хотят построить для нас, то есть для Юрия Сергеевича и меня, в областном городе... Они долго рядились...

— Рядились?

— Да, рядились,— подтвердила девушка.— Папа давал десять, а Юрий Сергеевич — пять и при этом хотел, чтобы папа увеличил сумму до пятнадцати тысяч... Он все говорил, что у него и пяти-то тысяч нет, но он их наскребет, если папа даст на дом пятнадцать тысяч... Рядились они долго, наверное, часа два, а чем дело кончилось, я не знаю, так как меня мама позвала к телефону...

Остановившись, Людмила бросила на Прохорова один из тех взглядов, которые он уже знал. «Вы — Прохоров, я — Людмила Гасилова! Так в чем же дело? Ах, какие пустяки!» Однако Прохорову сейчас было не до улыбок, так как он старательно высматривался в окно, чтобы отделаться от кошмара, которым повеяло от рассказа Людмилы... Прохоров взглянул на реку — течет себе, родная, течет; перевел взгляд на два старых осокоря — стоят себе, изнывая от жары; пригляделся к соседним домам — хорошие, простые и удобные дома. Одним словом, все на белом свете находилось на своих местах, но — не кажется ли это Прохорову? — на его глазах происходило невозможное... За спиной вот этой девушки отец и жених рядились о приданом, это ее, почти не знавшую Петухова, отдавали ему в жены, это она безмятежно подчинялась воле отца и матери, чтобы по-прежнему можно было пастись на лугу, заросшем высокой и сочной травой... Черт возьми, да если бы Прохорову кто-нибудь рассказал, что видел и слышал это наяву, Прохоров не поверил бы, но вот теперь...

— Вы все рассказали? — рассеянно спросил Прохоров.— Если все, то вам придется все рассказанное записать...

Он протянул девушке шариковую ручку, кипу бумаги, жестом приказал ей сесть за стол. Людмила подчинялась ему беспрекословно, все делала так, как он хотел, но как только начала писать первые слова, выражение отвращения и скуки появилось на ее лице.

— Не мешкайте, Людмила Петровна, не мешкайте!..

Капитан Прохоров, энергично шагающий к дому мастера Петра Петровича Гасилова, вдруг решил на несколько минут задержаться на берегу Оби. Захотелось постоять на берегу и посмотреть, как на небе созревает опасная дождевая туча. Все было четко, как школьное наглядное пособие под названием «Откуда берутся тучи и почему на землю льется дождь»... С реки в небо волнистым маревом поднимались испарения, добирались до центра голубого купола и здесь натыкались на крохотное безобидное облачко; постепенно они образовывали в центре облака все увеличивающуюся темноту, которая, в свою очередь, медленно превращалась в темное и грозное дождевое ядро. Вот оно-то и было способно изрыгать гром и молнию, сделаться ливнем или обернуться нудным, нескончаемым дождем.

Стоя на берегу великой сибирской реки, Прохоров думал о том, что сосновское дело, как, впрочем, и всякое другое, похоже на тучу, вот уж много дней пытающуюся разразиться громом и молнией. Вторую неделю Прохоров собирал по капелькам влагу фактов и наблюдений, концентрировал заряды, накапливал электричество, чтобы разразиться громом и молнией... Переполненный мыслями, предчувствием близкой грозы, стоял на высоком берегу родной реки капитан Прохоров, и было ему хорошо. Так прошло минут десять, потом Прохоров повернулся, пренебрежительный к мелочам и снисходительный к людской суете Сосновки, легкой ногой двинулся к дому Петра Петровича Гасилова. Машинально поздоровавшись с женой мастера и понявший лишь одно слово «дома», он как бы пропустил мимо себя удивленную Лидию Михайловну, ковры и хрустальные бра, винтовую лестницу и лошадиные эстампы; постучавшись и получив разрешение войти, он с силой рванул на себя двери кабинета и, оказавшись в нем, заговорил сам, опять пропуская мимо себя удивление Гасилова и его самого.

— Здравствуйте, здравствуйте, Петр Петрович!— не слыша себя, говорил Прохоров.— Убедительно прошу простить меня за то, что я изменил место и время нашей встречи, но, знаете ли, человек предполагает, а бог располагает... Еще и еще раз простите меня за самовольное вторжение...

Садясь в кожаное кресло, Прохоров неожиданно для самого себя решил отказаться от привычной чепуховой болтовни, которой он еще десять минут назад собирался заморочить Гасилова. Он с неудовольствием проглотил заранее приготовленную длинную фразу, удобно разместил спину на кожаной упругости кресла, ноги утопил в ворсистом ковре и решил немножко помолчать, чтобы еще и как следует рассмотреть мастера лесозаготовок.

По внешности и по манере держаться Петр Петрович Гасилов отнюдь не походил на человека, который всю жизнь пасет-

ся среди сочной и сладкой травы, в нем уже чувствовалось ленивое и небрежное удовольствие высокой степени сытости. Это объяснялось, видимо, тем, что Петр Петрович уже привык скрывать чувство радости и наслаждения бездельем, ощущением незыблемости избранного им образа жизни. Мало того, он сумел выработать тот созидательный вид, который все окружающие воспринимали за деловитость, вечную занятость и неистребимую работоспособность. Отец тем и отличался от дочери, что она по молодости лет еще не научилась тайно пастись по дармовому лужку,— не умела скрывать безмятежного вида, радости бездумного бытия, вальяжности и даже сытости. Она, бедная дурочка, не скрывала уверенности в том, что никогда не опоздает к праздничному пирогу, так как вся ее жизнь уже была торжественным застольем. Наверное, поэтому на лице и во всем облике дочери Гасилова еще не было и намек на то выражение созидательности, которым ее отец прикрывал свою истинную сущность. Все это должно было прийти к Людмиле позже, в годы замужества, когда мужу понадобится ее фальшивая внешность и привычно-ложное поведение.

Да, Петр Петрович Гасилов давно привык рядиться в чужие одежды, но капитан Прохоров — и не такое видывали! — играючи раздевал Петра Петровича до последней нитки... Клетчатая ковбойка; сапоги с будничными головками, простенькие часы на руке — камуфляж под рабочего, и даже крупные, значительные складки на лице Гасилова, делающие его похожим на пса боксера, тоже были камуфляжными, маскировали молодую, крепкую и гладкую кожу здорового, отлично сохранившегося человека. Ну зачем, спрашивается, нужны Гасилову философски значительные и глубокие морщины на лбу, с каких пирожков могли появиться горькие складки возле губ? Камуфляж и еще раз камуфляж!..

— Дело Евгения Столетова, — неожиданно весело заявил Прохоров, — потребовало, чтобы я, Петр Петрович, немножко поспрашивал вас... Извините, но я, например, хочу знать, за что вас любит и даже обожает тракторист Аркадий Заварзин?

Едва произнеся последнее слово, Прохоров вдруг пожалел, что не пришел к Гасилову в форме. Эх, как неплохо сейчас было бы сидеть в тугом кителе с твердыми от погон плечами, сиять красным кантом пехотных офицерских брюк, как ловко лежала бы на правом колене фуражка общеармейского образца — ведь Прохоров был не капитаном милиции, а офицером внутренней службы МВД СССР.

— Я слушаю вас, Петр Петрович. Вопрос, на мой взгляд, простой...

— Вопрос на самом деле простой, — тоже с улыбкой согласился Гасилов. — Вы, наверное, позже, как следователь Сорокин, будете выяснять, не был ли пьян Евгений Столетов, так я отвечу сразу. Нет, нет и нет!.. А насчет Заварзина просто... —

Он добродушно прищурился:—Я ему помог достать трактор... Видите ли, общественность довольно долго не доверяла ему сложную машину, а я рискнул и выиграл...

Прохоров прищурился точно так же, как это делал мастер Гасилов,—и вот это полное соответствие допрашиваемому было Прохоровым задумано заранее, так как он железно решил не подарить Гасилову ни одной собственной интонации, ни единого собственного выражения лица и ни одной собственной позы. Полное соответствие допрашиваемому, подыгрывание под него по опыту Прохорова давало отличные результаты: допрашиваемый при этом пребывал только в собственных переживаниях и словах.

— Спасибо, Петр Петрович,—вежливо поблагодарил Прохоров. — Не имея намерения ничего скрывать от вас, я объясню свой вопрос... Тракторист Аркадий Заварзин имеет дока-а-занное отношение к смерти Столетова, и естественно, что я интересуюсь его связями...— Он немедленно убрал правую руку с колена, так как то же самое сделал Гасилов.— Вообще у меня к вам, Петр Петрович, накопилась тьма вопросов. Да вы и сами можете представить, как много хочется спросить у мастера капитану уголовного розыска...

Прохоров допустил маленькую передышку только потому, что в его груди отчетливо разрасталось опасное для дела грозное облако. Оно вбирало в себя — заряд за зарядом — электричество со складок собачьего лица мастера, собирало будущее пушечный гром с лошадиных эстампов, заполнивших стены кабинета.

— Второй вопрос несколько щекотливый,—спокойным голосом Петра Петровича сказал Прохоров.— Если не захотите, можете не отвечать. Отчего вы не член партии?

Трудный и сложный момент переживал Прохоров. Ему нужно было подражать Гасилову, не упускать ни одного изменения психологического состояния мастера, укрощать накапливающиеся гнев и ненависть против Гасилова и в это же время через окно наблюдать за настоящей тучей, которая становилась все опаснее и опаснее.

— Почему я не член партии? — задумчиво переспросил Гасилов. — Да потому, что недостоин пока быть коммунистом... Вы, наверное, помните цитату из товарища Ленина о том, что коммунистом можно стать только тогда, когда овладеешь знанием всех тех богатств, которые выработало человечество... — Гасилов посмотрел на свои большие руки, покрытые камуфляжными морщинами. — А у меня только среднее образование...

Говорил Петр Петрович спокойно, веско, с видом создателя, измученного временным творческим бессилием. «Понимаете, товарищ Прохоров,—проникновенно говорило лицо Петра Петровича,—как трудно жить человеку, не овладевшему

знанием всех богатств, которые выработало человечество! Можете себе представить, товарищ Прохоров, каким полезным человеком был бы я для общества, если бы овладел всеми богатствами?»

— Хочу задать серию мелких неделикатных вопросов,— с гасиловской улыбкой сказал Прохоров.— Для чего вы купили телескоп? Почему расхотели иметь зятем Евгения Столетова? Для чего создали собственную теорию посредственности?

Прохоров действовал так потому, что ему надо было понаблюдать за Петром Петровичем в тот момент, когда после телескопа прозвучит вопрос о Столетове. Может же быть и такое, что среди собачьих морщин гасиловского лица появится нечто чужеродное, например, беглая заминка, так как природа гасиловской лжи резко отличалась от бабьего вранья Лидии Михайловны и целесообразной профессиональной лжи Аркадия Заварзина. Ведь Петр Петрович Гасилов, если разобраться по существу, не лгал, не обманывал, не скрывал правду, он давно забыл о том, что существуют ложь и правда, в сознании праздного мастера давным-давно стерлись все грани между ложью и правдой, между понятиями «честность» и «бесчестность», и все это было так же естественно, как привычка жить, ничего не делая.

— Повторить вопросы?

— Не надо... У меня хорошая память!

Гасилов поднял правую руку, на глазах у Прохорова демонстративно загнул указательный палец.

— Телескоп купил по случаю, а вот астрономией интересуюсь с детства... Евгений Столетов был бы моим зятем, если бы не погиб... На последний вопрос ответить труднее...

Он спокойно замолк, а Прохоров обидно выругал себя за то, что не мог сообразить сразу, почему Гасилов не удивляется неделикатным дурацким вопросам. «Дура ты, капиташка!— подумал он.— Гасилов не удивляется потому, что вообще никогда ничему не удивляется... Ну, чем можно удивить такого человека, как Гасилов,— умного и всегда готового к любым неожиданностям? Кроме того,— размышлял Прохоров,— мастер Гасилов ничего не боится, он присвоил себе славу передовика производства и считает себя вправе безнаказанно отхватывать большие куски от государственного пирога».

— Продолжайте, Петр Петрович,— любезно попросил Прохоров.

— Только философствующий на пустом месте Сухов может назвать мои случайные слова теорией посредственности,— осторожно сказал Гасилов.— Однако в моих словах есть доля правды... Вы же не станете отрицать, что гениев-одинок стало меньше, что времена энциклопедистов прошли...

Прохорову было важно знать, как Гасилов произносит слово «энциклопедисты», «гении», как строит речь в отвлеченном

разговоре; судя по корешкам книг в шкафу, Гасилов довольно много читал... Значит, телескоп, чтение, легкая философия на досуге...

— Суховы теперь редки,— увереннее продолжал Петр Петрович.— Боюсь, что ему не удастся изобрести современный трактор... Это под силу только коллективу, целой группе людей, связанных одной целью. Коллективность вообще теперь становится нормой жизни...

«Конечно, конечно! — веселился Прохоров.— Бездельнику Гасилову весь мир должен казаться состоящим из посредственностей, кто же, если не посредственности, позволяют ему превратить жизнь в бесконечный пир!..» Прохоров оживленно повозился в мягком кресле, нашел удобную ямочку и для левого плеча.

— Я не думаю, что коллектив непременно должен состоять из посредственностей,— будто прочел мысли Прохорова Гасилов,— что личность в коллективе непременно нивелируется... Однако в социалистическом обществе гений — это коллектив!

Как ловко все-таки Петр Петрович Гасилов оперировал всеми этими «нормами коллективной жизни», «личностью в коллективе»! Высокие слова с его твердых губ слетали легко, как подсолнечная шелуха, выражение лица было постным.

— И это правильно, что творцом научно-технического прогресса становится коллектив,— легко говорил мастер, привычно собирая на лбу крупные складки.— Если творцом революции, истории давно стал коллектив, то это правило надо распространить и на технику...

Постой, постой! Да ведь вся эта философия, все торжественные слова — тоже камуфляж! Рассуждениями о высоких материях, философствованием, употреблением таких слов, как «личность», «коллектив», «общество», Гасилов маскировал пустоту, цинизм, лицемерие. О! Можно было себе представить, какое впечатление на некоторых работников райкомов и райисполкомов, на корреспондентов газет, на командированных из треста и комбината производил на первый взгляд обыкновенный мастер. В какой восторг, наверное, приходили разные инструкторы, а корреспонденты газет дрожащей от радости рукой писали в блокноты: «Приметы нового.., Высокий культурный уровень нашего рабочего класса можно показать на примере мастера Гасилова...»

— Спасибо, Петр Петрович! Я вас понял...

Прохоров проник во все обнаруженные им удобные ямки кожаного кресла, полуприкрыв глаза, внутренне хохотал, хотя лицо оставалось по-гасиловски постным... Он был истинным чудом, этот роскошный Петр Петрович Гасилов! Камуфляж! Везде камуфляж!..

— После смерти Евгения Столетова вы, Петр Петрович, сказали: «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны уми-

раты!» Какой смысл вы вкладывали в слово «такие»? — спросил Прохоров. — Что вы хотели сказать этим?

Мастер на мгновение задумался, потом уверенно сказал:

— Столетов был великолепным образцом современного молодого человека. Честность, искренность, работоспособность, доброта — вот далеко не полный перечень его достоинств.

Петр Петрович печально вздохнул, потупившись, долго не смотрел на Прохорова, который тоже вздохнул и потупился, думая о том, что Гасилов не врал, перечисляя достоинства Женьки Столетова; он искренне оценивал погибшего, и не хватало только одной-единственной фразы: «Столетов — человек хороший, но не для моей дочери!»

— За четыре часа до смерти, — бесстрастно сказал Прохоров, — Евгений Столетов имел с вами серьезный разговор. Я хотел бы знать, о чем.

Капитан уголовного розыска Прохоров впервые в жизни сидел в таком кресле, которое было словно специально приспособлено для наблюдений за лицом собеседника, и, будьте уверены, он не пропустил ничего: заметил и нервный тик правого века, и растерянность, и лишнюю собачью складку возле губ.

— Ваш разговор со Столетовым случайно слышала позариха Лузгина. Каждое слово этого разговора запротоколировано и подписано Лузгиной, — охотно объяснил Прохоров. — Все это имеет прямое отношение к смерти Столетова, и мне хочется услышать этот разговор из ваших уст...

Теперь весь внешний облик мастера служил камуфляжем трусости; по-обывательски умный, правильно понявший слова «имеет прямое отношение к смерти Столетова», знающий от Заварзина, что произошло на тормозной площадке, Гасилов никогда не думал, что его разговор со Столетовым и Заварзиным — второй разговор был, видимо, важнее первого — станет через Лузгину известен работнику уголовного розыска, и не надо было иметь большого воображения, чтобы представить внутреннее состояние Гасилова. Это был откровенный страх!

— Я жду, Петр Петрович!

— Столетов зашел ко мне после смены, — глухо сказал Гасилов. — Он зашел ко мне после смены, чтобы... Он хотел со мной поговорить как с мастером и как с отцом Людмилы... Это было... это было часов в пять вечера...

За четыре часа до происшествия

...стремительно, словно его подгонял сильный ветер, просто-волосый, радостно возбужденный удавшимся «экспериментом» Женька Столетов подбежал к мастеру Гасилову и положил руку на его локоть. Заглянув в его лицо и поразившись в

который уже раз, что Людмила все-таки здорово походила на отца, Женька просительно и мягко сказал:

— Петр Петрович, давайте поговорим...

За спиной Женьки Столетова стоял неопасный из-за соседства Андрюшки Лузгина золотозубый Заварзин; лицо холодил весенний ветер, трактора гудели оглушительно, на эстакаде рабочие еще хохотали над дураком Притыкиным, Женькина «Степанида» должна была через минуту ожить, к ней уже шел его сменщик Никита Суворов, в Сосновке было тепло и сухо — чего еще не хватало Женьке Столетову для полного счастья?

— Поговорим, Петр Петрович! — повторил он ласково. — Пойдем в вагонку и поговорим...

Мастер Гасилов тоже улыбнулся, не вынимая локоть из Женькиной руки, охотно повернулся к вагонке. Его забавное собачье лицо обросло добродушными морщинами, было тоже ласковым, и Женьке вновь показалось, что все происходящее между ним и Гасиловым — пустяк, недоразумение, результат какого-то дурацкого непонимания. Вот сейчас они войдут в столовую, сядут рядом, поглядят друг на друга и... засмеются. Бог ты мой! Что им было делить, когда на дворе весна, когда живет на земле дочь мастера Людмила, когда ты дружен со всем миром, а мир с тобой! Да, да! Все их конфликты надуманны, несерьезны; они ссорятся только потому, что просто не понимают друг друга, а вот сегодня, сейчас Петр Петрович наконец поймет, что Женька Столетов не хочет ему зла, что он, Женька, стремится к тому же, к чему Петр Петрович: лучше работать, веселее и дружнее жить. Конечно, конечно, вот сейчас они объяснятся, и Петр Петрович окончательно станет своим, понятным, родным человеком — он все-таки отец Людмилы, не чужой Женьке человек.

— Идемте, идемте, Петр Петрович!

Радуясь и от этого торопясь, Женька первым поднялся в вагонку, дождавшись, когда Петр Петрович тоже войдет и сядет на скамейку возле стола, поглядел на мастера по-весеннему просветленно.

— Петр Петрович, — горячо заговорил Женька. — Петр Петрович, ведь это смешно, что мы с вами целых две недели не разговариваем... Разве можно, Петр Петрович, производственные дела переносить на личные отношения?.. Почему вы смеесться, Петр Петрович? Вы считаете, что все это просто забавно?

Однако Петр Петрович Гасилов не только весело смеялся, он хохотал во все горло. Мастер даже вытянул по полу большие ноги, поблескивающие хромовыми головками, но похожие на кирзовые, руками уперся в скамейку. Плечи у него тряслись, на глазах выступили слезы; он смеялся смехом здорового, спокойного и добродушного человека и смеялся так долго, как ему

хотелось. Потом Гасилов неторопливо достал из кармана большой носовой платок, обстоятельно вытер слезы и так же неторопливо спрятал платок.

— Женья, роднулечка моя! — проникновенно сказал мастер. — Чего же это ты, лапушка, переносишь с больной-то головы на здоровую? Кто это не здороваётся? Я или ты? Ну-ка скажи, кровиночка моя, кто сегодня отвернул мордолизацию, когда я уже пошел навстречу? Александр Сергеевич Пушкин или ты, роднуля?

Женька попятился и тоже сел на лавку, так как с мастером он сегодня встретился впервые и ни о каком «отвернул мордолизацию» не могло быть и речи.

— А что касается производственных вопросов, лапушка, — весело продолжал Петр Петрович, — то могу сообщить тебе приятную новость. Юрий Сергеевич Петухов и я разработали мероприятия, направленные на то, чтобы увеличить темпы заготовки и вывозки древесины... Вот, пожалуйста, касатик!

Под нос ошеломленного Женьки легла клетчатая страница большого формата, вырванная из конторской книги.

— Вот, дорогой Женечка! — добродушно сказал Гасилов. — Мы наметили укрепить трудовую дисциплину, покончить с простоями техники по вине заправщиков и слесарей, путем тщательной очистки пневматических бортов с напеченной гнилью и навсегда ликвидировать захламленные волокна... Вот так реагировала администрация на ваше комсомольское собрание... Так кто из нас не здороваётся?!

Женька сразу понял, что мероприятиям Гасилова грош цена, но они все-таки были выработаны, записаны и тем самым представляли собой документ.

— Вот такие-то дела, Женечка! — снисходительно пробасил мастер. — Советую тебе не горячиться, больше думать, не торопиться с решениями... — Он покровительственно улыбнулся. — Вот и Людмила на тебя жалуется. Говорит, что ты не умеешь ладить с людьми, бываешь груб... Женщины, братец ты мой, любят спокойных, положительных, основательных...

Наклонив голову, Женька думал о том, что его родному деду Егору Семеновичу неплохо было бы послушать сейчас Гасилова, ложью и ханжеством получившего право и на снисходительный тон и на поучительную интонацию.

— И ревнив ты больно, Женечка! — не унимался Петр Петрович. — Людмила приболела, а ты осаждаешь ее записками, обрываешь телефонный провод, ругаешься по телефону. Откуда ты взял мысль, что Людмила переменила отношение к тебе? Женщины, брат, ревности не любят. Им надо доверять, тогда они благодарны за доверие, привязанны, верны, нежны... Женщина тоже человек, братец ты мой! — Он зевнул, сладко потянулся. — А еще глупее ревновать женщину, когда она разлюбивает... Тогда уж женщину не удержишь... Да ты небось

читал «Обыкновенную историю» Гончарова! Превосхо-о-о-одная вещьца!

Женька сидел молча, глядел на цветной плакат с призывом хранить деньги в сберегательной кассе и грустно думал о том, что он все-таки глупый и нервный мальчишка, если его можно заставить молчать наглой и откровенной ложью, если он терялся от этого.

— Я думаю, хватит меня учить уму-разуму, Петр Петрович,— негромко сказал Женька.— Да, я молод и неопытен, но это не значит, что со мной можно обращаться снисходительно. Это во-первых! А во-вторых, бумажка с вашими мероприятиями заставляет нас самих разбираться с производственными делами...

Женьке стало немного легче, когда он услышал через тонкие стены вагонки веселый и непрерывающийся шум тракторов, судорожный треск бензопил, металлический скрежет крана Генки Попова — «забастовка наоборот» шла по лесосеке бульдозером, сметала все; что стояло на ее пути, а напыщенно-самоуверенный мастер еще не понимал, что происходит.

— Будьте здоровеньки, Петр Петрович!

Женька неторопливо поднялся, еще раз посмотрел на румяное лицо гражданина, призывающего хранить деньги в сберегательной кассе, сдержанным кивком попрощался с Гасиловым и пошел к выходу.

Неохотно и вяло произносящий слова Гасилов замолк, ожидая очередного уточняющего вопроса Прохорова, мрачно посмотрел в его лицо, обращенное к окну.

— Теперь, пожалуйста, расскажите о визите Заварзина,— медленно попросил Прохоров.— Зачем он заходил к вам? Что он сказал?

Прохоров все еще глядел в окно — старый, шаблонный метод! — но чувствовал и как бы видел всего Гасилова. У мастера опять затрепетало веко, дыхание на мгновение прервалось, поза сделалась такой, словно Петр Петрович судорожно вцепился руками в кожаное кресло.

— Зачем пришел Заварзин и что сказал?

— Заварзин был какой-то странный и куда-то торопился. Однако он сообщил мне о том, что комсомольцы начали какую-то «забастовку наоборот»...

— Дальше!

Прохоров на глазах Гасилова вынул из кармана четки, которые имел обыкновение прятать от собеседника, нащупал напряженными пальцами костяшку с двумя ободками, резко перекатил ее влево, чтобы следующей оказалась пупырчатая бусинка; она, конечно, оказалась другой — с одним ободком, но это теперь не имело никакого значения.

— Я прошу вас идти дальше, Гасилов... По протоколу Лузгиной!

— Я сообщил Заварзину о том,— выдавил из себя Гасилов,— что моя дочь собирается зарегистрироваться с Петуховым...

Боже ты мой! Даже капитан Прохоров до этой последней секунды не верил, что такое могло произойти.

— Вы могли бы мне этого и не говорить, Гасилов!— холодно сказал Прохоров.

Сидящий на фоне окна-стены Гасилов словно бы растворялся в солнце и речном сиянии, подробности его лица исчезли, и Прохорову показалось, что он разговаривает не с человеком, а с его силуэтом.

— Вы знаете, Гасилов,— спросил он,— как на языке преступного мира называется лошадь?.. Скамейка!.. Скамейкой кличут лошадь матерые уголовники...

Прохоров обвел взглядом сонмище цветных лошадей на эстапах. Он вдруг всем телом ощутил тужелую двухэтажность гасиловского особняка, почувствовал кожей траурность тишины и кажущегося покоя, понял, как холодно огромному дому оттого, что в кресле сидит притихший, неподвижный, по-настоящему испуганный хозяин.

— Это вы, Гасилов, столкнули с подножки вагона Евгения Столетова!— медленно произнес капитан Прохоров и поднялся.— Через час я точно узнаю, как это произошло, а вам предлагаю прибыть к шести часам в контору лесопункта.

Он пошел к дверям, но остановился:

— Я только сейчас понял, что такое уголовник, но вы узнаете об этом позже... До шести часов вечера, гражданин Гасилов!

6

В кабинете Пилипенко было накурено и очень жарко, так как полуденное солнце через окна успело уже нагреть пол, стены, громадную русскую печь, но здесь все равно дышалось легче и веселее жилось, чем в кабинете Гасилова, хотя бывший уголовник Аркадий Заварзин неподвижно сидел на табурете, а участковый инспектор стоял гранитным часовым за его профессионально ссутуленной спиной.

Бвалившись в комнату, Прохоров со злостью и радостью сорвал с себя пиджак и галстук, облегченно вздохнул, потребовал, чтобы ему сию же минуту дали ледяной колодезной воды. Когда Пилипенко исчез, Прохоров на свое место садиться не стал, а подошел к Заварзину и, капризно оттопырив губу, заявил:

— Когда я уезжал в Сосновку, майор Лютиков, который вел ваше последнее дело, Заварзин, просил вам передать привет,

если вы по-настоящему расстались с прошлым... Так вот! Не буду я вам передавать привет от Лютикова! — Прохоров расвирепел. — Показания гражданина Гасилова уличают вас в даче лживых показаний и сокрытии правды...

Только сейчас Прохоров разглядел на лице арестованного Заварзина новое выражение, которого сразу не увидел. Ясно, что арестованный по-прежнему был тосклив и бледен, данные допроса Гасилова, несомненно, вызвали страх, но новым было то, что в глазах Заварзина читалась лихорадочная надежда. Он как бы повторял уже однажды произнесенную фразу о том, что Прохоров никогда еще не доводил до тюрьмы невинного человека. «У меня нет никакой надежды на спасение, кроме вас, Прохоров, — умоляли глаза Заварзина. — Не может, не может быть такого, чтобы вы взяли невинного!»

Непонятно улыбнувшись, Прохоров сел на свое место как раз в тот момент, когда в кабинет с ведром воды ввалился Пилипенко.

— Есть ведро колодезной воды! — шелкнув каблуками, доложил он. — Будете пить, товарищ капитан?

— Продолжаю допрос, — после того, как все напились, сказал Прохоров. — Итак, вернувшись вместе со Столетовым с Круглого озера, вы вошли в столовую, чтобы повидать Гасилова и рассказать ему о комсомольском «эксперименте». Правильно?.. Теперь скажите, что еще вами было сообщено Гасилу?

— Ничего.

— Великолепно! А что вам сообщил Гасилов?..

На лице арестованного не было сейчас никакого выражения, и всякий человек, но не Прохоров удивился бы тому, что лицо живого человека может быть таким опустошенным. Однако у Аркадия Заварзина было именно такое лицо — бескрасочное, безглазое, плоское и неподвижное, как маска.

— Так что вам сообщил Гасилов?

— Он как бы смехом сказал, что его Людмила расписывается с Петуховым! — безголосо ответил Заварзин. — Я его спросил, зачем приходил Столетов, а он взял да и ответил: «Странный человек этот Столетов! Людмила собирается регистрироваться с техноруком, а он все талдычит о высокой производительности труда!»

Ах, вот, оказывается, еще как! Оказывается, что с глазу на глаз со своим уголовным продолжением Петр Петрович Гасилов изволил перейти на заварзинский язык. Он, умеющий так веско и вкусно произносить слова «социализм», «энциклопедисты», в благодарность за услугу употребил словечко «талдычит». Ах, ах, как не стыдно, дорогой Петр Петрович!

Старательно скрывая радость по поводу такого важного признания, Прохоров несколько раз шелкнул замком шариковой ручки, затем легкомысленным тоном спросил:

— Почему вы утаили от меня эти данные на предыдущем допросе, арестованный?

— Забыл!

— Да что вы говорите! — удивился Прохоров. — Главное забыли, а!..

Вот и наступил тот редкий момент, когда на обветренном, костистом, загорелом и немного узкоглазом лице альпиниста и теннисиста Прохорова проявились голубые глаза богобоязненной, умиленной чудом жизни и всеобщей человеческой красотой старушки; эта старушка с радостью просыпалась на заре, осеняла себя крестным знаменем и до самого позднего вечера не переставала благодарить бога за то, что он позволил ей прожить еще один день на этой теплой и круглой земле... Вот какие глаза глядели со смирением и любовью на арестованного Заварзина, и в них уже можно было читать оторопь перед тем, что существовала тормозная площадка, стоял на ней Аркадий Заварзин, мчался поезд, во мраке белел камень, похожий на человеческий череп. «Да не может быть этого! — жалобно молили голубые глаза старушки. — Никаких камней не бывает, никакой смерти нет!» Под прицелом этих глаз арестованный вздохнул, тыльной стороной ладони по-детски вытер губы и замер в такой позе, которой и хотел добиться Прохоров, — смотрел не в угол комнаты, а на Прохорова.

— Вы не могли забыть, Заварзин, самый важный факт, сообщенный вам мастером, — тихо сказал Прохоров. — Видимо, весть о замужестве Людмилы играет какую-то роль в происшествии, если вы утаиваете этот единственный факт... А это жаль!

И опять начало работать, как выражался майор Лукомский, «высшее достижение мальчика с полноводной Оби» — старушечьи глаза Прохорова. По-прежнему полные счастливого удивления перед добротой и сказочностью мира, не верящие в то, что могут существовать лживые люди, они с испугом и недоумением как бы говорили: «Этого не может быть, чтобы вы врали, Заварзин! Это недоразумение, вопиющая ошибка! И я верю: вы сейчас скажете, что это действительно была ошибка и глупое недоразумение».

— Так как же, Заварзин, забыли или утаили?

Прохорову вдруг показалось, что Аркадий Заварзин вместе с табуреткой сидит на самом краешке бездонной пропасти и вот сейчас, в одно напряженное мгновение, решает — упасть в пропасть или удержаться на ее краешке... Секунда молчания растягивалась в минуту, минута начинала казаться часом, тишина в кабинете сделалась звонкой и прохладной, а в глазах Прохорова с еще большей силой прорезалось верующее, иконное, по-матерински бабье...

— Не забыл... — прошептал Заварзин. — Утаил... Дайте еще воды. Я все расскажу, все! Мы вместе со Столетовым...

За пятьдесят минут до происшествия

...Женька Столетов вместе с Аркадием Заварзиным стояли на тормозной площадке мчавшегося поезда, прятались от пронзительного завихряющегося между платформами ветра, а когда поезд с таежного «уса» вырвался на простор главной магистрали и еще добавил скорости, на них неожиданно пахнуло весенним теплом и самым радостным запахом на всем белом свете — запахом начинающей цвести черемухи. Уже было сумрачно, узкоколейный паровозик раздвигал темень желтым светом лобового прожектора, но все равно кусты черемухи, отороченные свадебной белизной, проклевывались в темноте, и чем дальше поезд уходил от лесосеки, тем чаще мелькали кусты, а иногда и сливались в сплошную линию.

Счастливый стоял на тормозной площадке Женька Столетов. Еще несколько часов назад он не поверил бы, если бы ему сказали, что в десятом часу вечера он поедет на одной тормозной площадке с Аркадием Заварзиным и будет чувствовать его локоть, нечаянно прикоснувшийся к Женькиному бедру, видеть белое в темноте лицо с полоской белых зубов, раздвинутых улыбкой... Жизнь вообще была счастьем. И этот суетливый паровозик с весело снующими штоками поршней, похожих на согнутые ноги кузнечиков, и этот желтоватый свет большого прожектора, и свадебный наряд черемухи, и мысли о том, что скоро он встретится с Людмилой, действительно нездоровой и поэтому не отвечающей на его записки, — все было прекрасным. Они с Людмилой пойдут смотреть фильм «Этот безумный, безумный, безумный мир», сядут на заднюю скамейку, и он скажет, когда кончатся титры: «Я тебя люблю так, как в кино!» Это значило бы, что он держал ее руку в своей, смотрел на экран ее глазами, смеялся ее смехом, удивлялся ее удивлением, а когда ловил на себе ее взгляд, то с губами происходило странное: они так плотно смыкались от нежности, что потом не хотелось их разжимать.

Паровозик, тоненько посвистывая, плевался паром, на поворотах выбрасывал из-под котла новогодний фейерверк искр, звезды и луна вращались вместе с небом — и это все тоже было таким, что Женька Столетов не мог долго молчать. Он еще раз посмотрел на кособокую луну, хватив ноздрями острый черемуховый запах, дружески положил руку на плечо Заварзина.

— У тебя славный пацаненок, Аркаша! — весело прокричал он. — Недавно твоя жена приводила его к моей матушке, так твой Петька насмешил всю больницу.

Женька сам во все горло захохотал:

— Матери в тот день помогал лысый фельдшер Марвич, так твой оголец потрогал пальцем его лысину и спросил: «Дядя, а дядя, где же у тебя голова? Все лоб да лоб!»

— Мне Мария рассказывала об этом,— откликнулся Заварзин и тоже захохотал.— Ты не стой, Женька, на ветру, сдай немного к центру...

Между тем паровозик все прибавлял и прибавлял скорости, луна понемножечку становилась все больше и больше, а звезды, наоборот, гасли, уступая место лунному сиянию.

— Он забавный, этот фельдшер Марвич! — кричал Женька.— Вот человек, который никогда не улыбается, как участковый Пилипенко. Однажды приходит к нам, молча садится на стул и говорит деду: «Егор Семенович, не обращайтесь на меня внимания! Мне надо просмеяться, тогда я скажу, зачем пришел...» А у самого лицо, как у покойника.— Женька прыснул в кулак.— Ну, ты знаешь моего деда! Это, брат, не сахар! Дед, конечно, рассвирепел, бухнул палкой в пол и спросил: «А над чем или над кем вы смеетесь, любезный?» — «Как над кем? — удивился фельдшер.— А кинофильм «Верные друзья», который мы просматривали вчера?»

Рассказывая, Женька оживленно жестикулировал, надувал щеки и морщил многозначительно лоб, чтобы походить на фельдшера Марвича, и Аркадий Заварзин смеялся вместе с ним, но что-то странное, непонятное слышалось Женьке в его хохоте, словно что-то мешало Заварзину смеяться. От усиливающегося света луны его лицо все сильнее бледнело, щеки ввалились, плотно сжатые губы погасили золотой блеск зубов. Одним словом, Заварзину было не так весело, как он стремился показать, и Женька, огорченный за него, хотевший, чтобы все люди сейчас были счастливы, наклонился к уху Заварзина.

— Аркаша, ты не думай, что мы хотим плохого Гасилову,— с детской интонацией и откровенностью сказал Женька.— Мы убедим всех в правильности нашей позиции и... если Гасилов станет работать по-новому, мы ему поможем... Да боже мой! Петр Петрович! Ну ты подумай, Аркадий, разве я могу желать ему лиха, если он отец Людмилы... Ты только подумай — отец Людмилы!

Женька замолк так резко, словно ему в рот забили тупой кляп, тихонечко ойкнул и даже попятился, так как лицо Аркадия Заварзина было перекошено, бледно и так же страшно, как возле озера, когда он задыхался от ненависти к Женьке Столетову. У бывшего уголовника было такое лицо, с каким выхватывают из кармана нож...

Когда арестованный Заварзин замолк с закушенной нижней губой и косящими от напряжения глазами, капитан Прохоров нагнулся над столом, отложив в сторону все лишнее, принялся читать что-то написанное на листках квадратной плотной бумаги, и его опущенные глаза снова умиротворенно соглашались с правильностью и необходимостью всего, что происходит

в этом лучшем из миров. «А вот это может быть! — говорили старушечьи глаза Прохорова. — Это не только может быть, но так и должно быть и не может быть иным, так все хорошо и славно в этом прекрасном мире...»

А бывший уголовник Аркадий Заварзин снова качался вместе со стулом на крошечном кончике бездонной пропасти, и существовал человек, который был способен толкнуть Аркадия Заварзина в бездну, или, схватив за руку, вытащить на солнечный простор. Этого человека звали Александром Матвеевичем Прохоровым, он что-то читал, а когда закончил, поднял на арестованного глаза ласковой, верующей, доброй ко всему миру старушки.

— До сих пор все было правдой, — медленно сказал он. — Теперь надо закончить правдой... Да вы посмотрите мне в глаза, Заварзин! Я не кусаюсь... Прямо, прямо!

И когда Заварзин посмотрел в глаза Прохорова, он снова увидел иконное, верующее, истовое, словно капитан радостным шепотом говорил: «На белом свете не бывает таких людей, которые врут. Это ошибка, недоразумение, так как человек не создан для того, чтобы врать...»

— Итак, вы смотрели на Столетова с ненавистью, у вас было, как вы сами почувствовали, перекошенное лицо, и Столетов с испугом отшатнулся.

За минуту до происшествия

...у Заварзина было перекошенное, страшное лицо, глаза в свете луны горели желтой кошачьей ненавистью, закушенная губа дрожала; весь Заварзин в эту страшную минуту походил на эпилептика за секунду перед припадком, и Женька испуганно отшатнулся от него, молниеносно приняв решение бить Заварзина длинным ударом в подбородок, замер... А Заварзин уже изменился — все ненавистное и больное вдруг мгновенно исчезло с его красивого лица, вместо этого. — так же мгновенно — появилась красивая, плакатная, ласковая улыбка, сверкающая золотом. Это было еще страшнее прежнего, и Женька, забыв обо всем на свете, начал замах, когда бывший уголовник заговорил.

— Я не тебе, Женька, глаза выдавлю, а Гасилову, — с ослепительной улыбкой сказал Заварзин. — Он меня уже хуже тюрьмы поломал. Он и тебя сломать хочет... Людмила-то через неделю с Петуховым расписывается...

Оглушительно стучали хлысты на передней платформе, срываясь с них упругий ветер, ударив в лицо Женьке, он растрепал волосы и прикрыл ими глаза.

— Врешь! — крикнул Женька приглушенно.

— Не вру! — прокричал в ответ Заварзин. — Сейчас Петухов с Людмилой возле Кривой березы гуляет...

— Врешь!

Женька бросился к Заварзину, схватив его обеими руками за лацканы кожаной куртки; так приблизил к себе его лицо, что их лбы соприкоснулись. Женька трясся, как в лихорадке.

— Врешь!

Заварзин не врал. Доведенный тюрьмой, допросами, страхом до неврастения, он вдруг отвернулся от Женьки с заслезились глазами, опустил голову и повис в руках Столетова. Он упал бы на пол площадки, если бы Женька не поддержал Заварзина инстинктивным движением и не прислонил бы его к стене. Когда же у Женьки освободились руки, он, развернувшись, пошел к подножке, забыв о Заварзине, о себе, о скорости поезда, о скользких резиновых сапогах... Женька не услышал крика пришедшего в себя Заварзина, не почувствовал, как его схватили за рукав, так что затрещала рубаха.

— Стой! Остановись!

Женька не остановился — шагнул в духовитую темень и теплоту черемуховой поляны с Кривой березой в самом центре...

У арестованного Аркадия Заварзина в глазах стояли слезы; он действительно так износил к двадцати семи годам нервную систему, что уже не мог владеть собой ни в ненависти, ни в горе, ни в любви. Он низко наклонился, чтобы Прохоров не видел его лица, достав из кармана носовой платок, приложил его к глазам и так, не разгибаясь, сидел долго. Потом глухо в платок сказал:

— Это я угробил Женьку! Если бы я ему тогда не сказал про Петухова и Гасилову, он бы жил... Но я ему потому сказал, что он счастливый был, как ребенок. Таких людей нельзя обманывать! Это все равно что ребенка обворовать...

Чтобы не щипало в глазах, Прохоров через окно рассматривал тучу, которая за это время выросла и распухла, в черном ядре ее перемещались иссиня-розовые космы, похожие на дым пожарища, и скоро, очень скоро туча обещала закрыть надолго солнце.

— Верните арестованному вещи! — приказал Прохоров участковому инспектору. — Следствие стопроцентно убеждено в том, что гражданин Заварзин не оказывал механического воздействия на прыжок Столетова. Наоборот, он пытался удержать погибшего...

Наступила недолгая тишина, затем в ней послышались твердые шаги — это участковый Пилипенко, покинув свой пост за спиной Заварзина, пошел за вещами арестованного. С места Прохорову казалось, что центр комнаты опустел, словно не было ни Заварзина, ни табуретки — ничего! Вопиющая пустота образовалась в центре кабинета, хотя Аркадий Заварзин уже подавал еле заметные признаки жизни: на левой руке, висящей

вдоль туловища, вздрогнули пальцы, одно плечо поднялось выше другого, словно Заварзина что-то изгибало, корежило.

— Вы свободны, товарищ Заварзин.

Тракторист сжал пальцы в кулак, подержав их немного в таком положении, разжал; мелкие капельки пота поблескивали на его меловом лбу, подбородок заострился. Впрочем, в комнате действительно было так душно, как бывает перед близкой грозой — воздух был неподвижен и густ; слышалась уже ни на что не похожая предгрозовая тишина, белые занавески на окнах от влажного воздуха висели прямо, тяжело.

— Вы свободны, Заварзин! — уже абсолютно спокойно повторил Прохоров и с легкомысленным видом помахал над столом одним из плотных квадратных листов бумаги. — Жаль, Заварзин, — убежденно сказал он, — жаль, что вы до сих пор даете показания и даже разговариваете на воровском жаргоне... Вот в протоколе Сорокина сказано: «Я вернулся из лесосеки до десяти часов вечера. Это все соседи могут подтвердить. У меня квартира одноходка...»

Прохоров потрогал подбородок пальцами, ничего лишнего не обнаружив, продолжал:

— Одноходка — это квартира с одними дверями... Вся человеческая жизнь, Аркадий Леонидович, тоже своего рода одноходка. Одни есть двери в жизнь — трудовые! Все иное — чердачные ходы и оконные лазы...

В кабинете сделалось опять тихо: не шелестел в предгрозовой неподвижности воздуха старый осокорь на берегу, замерли рябины и черемухи, птицы куда-то исчезли, черная туча уже откусила от солнца небольшой кусочек.

— Можете идти, Заварзин! — вставая, сказал Прохоров. — Идите, идите, Аркадий Леонидович, пока не началась гроза...

Табуретка под Заварзиным тонко закрипела, деревянные ножки заелозили по полу, затем шаркнули подошвы тяжелых кирзовых сапог, замолкли, потом опять шаркнули... После этого шаги уходящего из кабинета Аркадия Заварзина стали напоминать начало сильного дождя... Вот цокотнула о сухую твердую землю первая капля, за ней с треском шлепнулась вторая, потом сразу две, затем три-четыре и — пошла писать губерния!.. Из досок крыльца каблук Аркадия Заварзина выбили отчаянную барабанную дробь, а по деревянному тротуару стучали беспорядочно, жутковато, как птица в силке.

— Филипенко, немедленно догоните Заварзина, — быстро проговорил Прохоров, — догоните и проводите до дому...

— Так точно, товарищ капитан! Поставлена задача проследить за тем, чтобы Заварзин не пошел к Гасилу и... и не шлепнул бы его...

— Исполняйте!

— Есть исполнять!

И понес плакатную улыбку к двери кабинета, просквозил ею темные сени, вынес на деревянный тротуар — и дальше, дальше, по всей деревне, видимо, до Аркадия Заварзина, шагов которого уже не слышалось в кабинете.

— Черт полосатый! — выругался Прохоров. — Он все-таки личность, этот Пилипенко...

Солнце почти совсем скрылось за тучей. Теперь был виден только розовый мутный диск, и все окрест порозовело: река, осокорь на берегу, собака, которая, задрав хвост, легонько трусилась по тротуару с озабоченным видом, наверное, бежала брехать на волков к околице деревни, коли среди бела дня, в пятом часу пополудни наступала ночь из-за темной, грозовой тучи...

7

В строгом полупустом кабинете парторга Марлена Витольдовича Голубиня темные шторы на окнах были раздвинуты до конца, но было все равно сумрачно, сосновский день в пятом часу казался вечером при выщербленной луне, и, наверное, поэтому на лице технорука Петухова, сидящего за маленьким столом, приставленным торцом к большому, лежала как бы двойная тень — от скудного освещения и внутреннего состояния. На подоконнике зыбко сидел начальник лесопункта Сухов и чистил ногти обгоревшей спичкой. На дерматиновом диване с полуприкрытыми, как бы зашторенными, глазами посиживал капитан Прохоров, а на отделенном стуле расположился Петр Петрович Гасилов, совершенно не похожий на самого себя. Это объяснялось тем, что мастер сейчас был одет в строгий, черный костюм, замшевые туфли, белую рубашку с бордовым галстуком. Этот маскарад, по мнению Прохорова, был ошибкой Гасилова, так как свидетельствовал о том, что Петр Петрович придавал особенное значение происходящему, и значит, праздновал труса, хотя сам мастер, наверное, считал, что непривычное для обыкновенного рабочего дня облачение придаст ему большую значительность. Этого, однако, не произошло. Обычные для него клетчатая ковбойка и сапоги создавали впечатление бодрой создающей основательности, а черный, строгий костюм неожиданно придал Гасилову канцелярско-бюрократический вид. И другое: черный костюм дал совершенно неожиданный эффект — вкупе с бордовым галстуком он сгладил, сделал менее заметными камуфляжные боксерьи складки и морщины на лице мастера и тем самым уничтожил выражение спокойной и вальжной мудрости. Одним словом, Петр Петрович Гасилов проигрывал во всех отношениях, сменив ковбойку и сапоги на костюм и рубашку с галстуком.

На часах было пятнадцать минут пятого, когда парторг Голубинь перебирая в пальцах три цветных карандаша, сказал:

— По причине окончания следствия по делу Евгения Столетова капитан Александр Матвеевич Прохоров имеет желание сказать несколько слов... Пожалуйста, Александр Матвеевич...

— Спасибо!

Прежде чем говорить, Прохоров незаметно для себя самого осмотрел кабинет таким внимательным взглядом, каким, наверное, окидывает боевые порядки командир перед боем. Поле сражения представляло собой обыкновенную комнату с картой СССР на стене, с двумя приставленными друг к другу столами, ковровой дорожкой и черным телефоном на свободном от бумаг столе.

— Я хочу объяснить свое присутствие в этом кабинете,— негромко сказал Прохоров и тускло улыбнулся. — Как известно, советская милиция существует для того, чтобы бороться с уголовно-преступными элементами и для профилактической работы по предупреждению преступлений...

Проговорив эти слова привычно-заученно, Прохоров остановился и так посмотрел на Гасилова, словно хотел спросить: «Помните, я вам обещал объяснить, что такое уголовник?» На лице Гасилова не появилось никакого любопытства, поэтому Прохоров официальный тон переменял на будничныи.

— Как-то бессонной сосновской ночью,— сказал он,— я родил, простите за хвастовство, следующий афоризм: уголовник — это мещанин, доведенный до абсурда.

Прохоров лицемерно вздохнул.

— В Уголовном кодексе Российской Федерации нет п-о-к-а статьи, преследующей мещанство, поэтому я,— он с легкомысленным видом ткнул себя пальцем в грудь,— могу заняться только профилактической работой...

После этого Прохоров почувствовал необходимость посмотреть, что произошло со слушателями, пока он занимался этой, по его мнению, пустопорожней болтовней. Перемен было немного, но они были существенны: во-первых, мастер Гасилов подъехал со стулом к маленькому столику, чтобы спрятать ноги и поставить локти на столешницу, во-вторых, технорук Петухов с независимым видом положил ногу на ногу и принялся мечтательно глядеть на грозовую тучу; начальник лесопункта Сухов по-прежнему сидел вялый, потный, скучный без своих чертежей.

— Я считаю,— сказал Прохоров,— что мне необходимо объясниться сначала с товарищем Петуховым... Ей-богу, Юрий Сергеевич, я не повинен в том, что трое коммунистов отозвали рекомендации, по которым вы должны были стать кандидатом в члены партии... Правда, ход расследования дела Евгения Столетова мог повлиять на позицию рекомендующих, но... Без моей подсазки, товарищ Петухов, без моей подсазки...

Прохоров сделал еще одну длинную паузу, чтобы убедиться в том, что его слова не произвели никакого впечатления на тех-

норука Петухова, — он по-прежнему глядел на темную тучу, лицо у него по-прежнему было мечтательным, словно технорук говорил: «Хороший будет дождичек! Такой хороший, что просто прелесть!» А положение петуховского тела, находящегося в самом удобном положении для этого момента, было откровенно вызывающим. «Мели, Емеля, твоя неделя!» — вот что выражала барская поза технорука.

Прохоров почувствовал щекочущий холодок в груди, что с ним происходило всегда, когда встречался, как говорится, крепкий орешек. Прохоров тоже положил ногу на ногу, тоже начал мечтательно глядеть на черную тучу.

— Мне думается, — таким тоном, каким говорят о давно решенном деле, сказал Прохоров, — что и администрация леспрохоза не останется в стороне, когда узнает о том, что дипломированный инженер из личных побуждений скрывал, на мой взгляд, преступное занижение производственных планов и возможные приписки к плану... Кстати, последним фактом в ближайшие дни займется ОБХСС.

Технорук Петухов, черт бы его побрал, и после этого ни на йоту не переменялся. Мало того, он в стекле распахнутого во всю ширь окна заметил, что широкий узел галстука ослаб, и неторопливым четким движением устранив беспорядок, снова замер в прежней позе.

Прохоров ярко улыбнулся.

— Не выпячивайте челюсть, Петухов! — насмешливо сказал он. — На вашем лице легко читается мыслишка: «Не удалось на этот раз, удасться в другой!» Знаю: вы упрямы и работоспособны, как вол, но... во имя чего кладете свои силы?.. Неужели вы так наголодались в детстве, что на всю жизнь страсть приобрели: только хапать да жрать?.. Евгений Столетов тоже вырос не в барских хоромаш... Так какого же черта вы ступаете по человеческим головам?! Они не ступеньки, ведущие вверх!.. — Прохоров забавно выпятил нижнюю губу и быстро спросил: — Однажды в присутствии Андрея Лузгина вы назвали Анну Лукьяненко, любви которой безуспешно домогались, проституткой. Так это или не так? Я к вам обращаюсь, Юрий Сергеевич. Да или нет?

Теперь Прохорову приходилось держать в поле зрения сразу двух человек — технорука и мастера.

— Так это или не так?

Мастер Гасилов бросил на технорука вопросительный взгляд, а сам технорук, продолжавший смотреть в окно, заметно побледнел, однако не сделал ни одного движения. «Гасилов знает об Анне Лукьяненко!» — подумал Прохоров, уже имеющий сведения о том, что мастер слышал о визитах Петухова к вдове. И если раньше Прохоров раздумывал, верить или не верить слухам, то теперь ни капельки не сомневался в их подлинности.

— Да или нет, гражданин Петухов?

— Да,— резко и злобно ответил технорук.

— Так кто же из вас проститутка? Анна, отказавшая вам, или вы?

Парторг Голубинь разложил веером на столе три цветных карандаша, движения пальцев были спокойными, но левая бровь нервно приподнялась. Поэтому Прохоров сделал длинную, успокоительную паузу, потом вздохнул и сказал:

— Вы, наверное, тяжелобольной человек, Петухов, и с вами полагается говорить осторожно... Простите меня за прокурорский тон!

Прохоров действительно так обозлился, что потерял ощущение реальной обстановки. «Мало меня били! — сердито подумал он о себе. — Увлекаюсь, как мальчишка, и хвастлив, как мальчишка...»

— Вы определенно больны, Петухов! — тихо и спокойно сказал Прохоров. — У Джека Лондона есть рассказ «Любовь к жизни». Если не читали, прочтите... Герой этого рассказа, пройдя через огонь и медные трубы, на спасшем его корабле ворует и прячет галеты, чтобы наперед не случилось голода. Он набивал галетами матрац, прятал их под подушку... Рассказ кончается фразой: «Скоро это все прошло»... Кончайте и вы копить галеты! Россия сейчас уже хорошо ест... Какого же дьявола...

Прохоров не закончил фразу, так как инженер Сухов, спрыгнув с подоконника, щелкнул языком, выбросил вперед и вверх ораторско-философским жестом руку. Он не заговорил, а так горячо и громко закричал, словно в кабинете нескончаемо долго спорили о степени накормленности России.

— Вот! Святая правда! — восторженно завопил Сухов. — Когда я сопоставлял параметры будущей трелевочной машины с параметрами водителя, то расчеты показали одну прелюбо-о-о-пытнейшую деталь. Прелюбопытнейшую!

В кабинете на полу ничего лишнего не было, никаких деталей, чурбаков, железных листов, и возбужденный инженер забегал по кабинету освобожденной веселой рысью.

— Прелюбо-о-о-пытнейшую деталь я обнаружил, товарищи! — по своему обыкновению орал Сухов. — Усредненный вес сосновского тракториста ныне превышает тот вес, который считался предельным в пятидесятые годы... Вы же понимаете, что я не могу конструировать трактор, не зная среднего веса и среднего роста водителя! — Он изумленно округлил глаза. — Я не могу, не могу без этого, товарищи!.. И вот обнаруживается, что вес усредненного сосновского тракториста на четы-ы-ре килограмма превышает вес того же усредненного тракториста в пятидесятые годы. Четыре лишних килограмма! А кондиционер воздуха, который для машины обязателен, должен весить не больше одиннадцати килограммов. Каково?! А!

Бегающий по кабинету Сухов все-таки нашел, обо что споткнуться; он зацепился ботинком за край ковровой дорожки, потеряв равновесие, чуть не упал на Прохорова, но чудом удержался и, зло пнув дорожку, продолжил:

— Как быть? Что делать? Я бегу к местному врачу Столетовой, усаживаю ее против себя и начинаю выяснять, отчего средний вес тракториста так резко увеличился... Врач Столетова сказала, что...

Внезапно, словно он наткнулся на стенку, Сухов остановился, опустив руки, пораженно посмотрел на Прохорова и, обнаружив на лице Прохорова то, что искал, зябко повел плечами.

— Насколько я понимаю, местный врач Столетова — это, видимо, родственница Евгения Столетова? — неуверенно проговорил он. — Скажите, пожалуйста, они однофамильцы или родня? Кто она? Тетка, сестра или... или мать Евгения Столетова? Не однофамилец?

— Мать! — сказал Прохоров. — Мать!

Инженер Сухов, траурно опустив голову, вернулся почти на цыпочках к своему насиженному подоконнику, но не сел, а остановился и обернулся к Петухову. Он смотрел на технорука точно такими же удивленными глазами, как смотрел на капитана Прохорова несколько секунд назад, когда узнал, что местный врач Столетова — мать погибшего тракториста. Удивленное молчание длилось довольно долго, потом Сухов сказал:

— По Малинину и Буренину получается, что вы, Петухов, косвенный соучастник гибели Евгения Столетова... А?!

— Как и вы, товарищ Сухов! — прозвучал в тишине голос Прохорова. — Как и вы!

И наступила такая тревожная тишина, в которой было невозможно следить за тем, как черная, зловещая туча поглощает остатки света и тепла. Если полчаса назад солнце еще давало знать о себе похожими на пожар лохматыми космами, то теперь оно скрылось совсем, и сделалось так темно, как бывает при солнечном затмении.

— А ведь это только начало, Павел Игоревич! — сказал Прохоров, когда инженер осторожно примостился на краешек подоконника. — Это только самое-самое начало...

Прохоров пересел на валик дерматинового, грандиозно большого дивана, произведенного на свет в конце сороковых или в начале пятидесятых годов.

— Так как суда по делу Столетова не будет, — монотонно проговорил он, — то мне необходимо сообщить присутствующим те детали дела Столетова, которые в случае судебного разбирательства вошли бы в частное определение...

Прохоров успел заметить, что Гасилов опять бросил на Петухова быстрый взгляд, которого технорук не пожелал заметить. Да и вообще за все это время Петухов не только ни

разу не посмотрел на Гасилова, а, напротив, вел себя так, словно мастера в кабинете не было.

— Итак, начинаю,— неохотно и вяло произнес Прохоров.— Гасилов Петр Петрович, русский, социальное положение...— Прохоров замолк и вопросительно посмотрел на Гасилова.— Социальное положение требует специального исследования,— неохотно признался он.— Поэтому не удивляйтесь, что я буду пользоваться мыслями и определениями покойного Евгения Столетова.— Он загнул указательный палец.— Утверждать, что Гасилов — рабочий, нельзя по той причине, что он не имеет никакого отношения к орудиям труда. Служащим, то есть работником конторского типа, назвать товарища Гасилова тоже нельзя. К руководящему составу товарища Гасилова причислить нельзя по той причине, что он никак и ничем не руководит, возложив все функции на бригадира Притыкина.— Прохоров загнул очередной палец.— К технической интеллигенции Петр Петрович не может быть отнесен по элементарной причине: мастер нигде не учился после десятилетки.

Петр Петрович чуточку наклонился вперед, ноги расположил удобно и прочно, голову втянул в плечи, а лицо у Гасилова было таким маловыразительным, точно вокруг него не было ни единой живой души. Мастер, несомненно, был тысячекратно умнее технорука Петухова, открыто демонстрирующего независимость от всего того, что происходило в кабинете парторга.

— Гражданин Гасилов,— сказал Прохоров,— вы имеете право отказаться отвечать на мои вопросы, покинуть кабинет или просто-напросто послать меня туда, куда Макар телят не гонял...— Он покосился на технорука.— К слову сказать, на это же имеет право и гражданин Петухов...

На улице по-прежнему было темно, как вечером, в грозовой туче уже безостановочно и бесшумно метались молнии, вспышка следовала за вспышкой, но ни одна из них не вызвала громовых раскатов, слышалось только, как в туче что-то басовито урчало, точно безуспешно заводили мотор реактивного самолета. В темном, тревожном мире неожиданно светлой, голубой и яркой казалась река, и Прохоров этим не был удивлен: он давно заметил, что река перед грозой всегда бывает самой светлой частью земли и неба. А в кабинете было душно, очень душно...

— До свидания! — послышался спокойный голос.— Я с большим удовольствием уйду отсюда...

Технорук Петухов поднялся, поблескивая синтетическим заграничным костюмом — прямой, стройный, независимый, — неторопко пошел к дверям, без скрипа открыл их — и был таков! Только легкий запах какого-то мужского одеколona остался в кабинете парторга от инженера Петухова. Капитан Прохоров усмехнулся.

— Эффектный уход! — сказал он и обратился к Гасилову: — Вы тоже уйдете?

— Нет, нет! — проговорил мастер таким голосом, точно ему предлагали покинуть кинозал в тот момент, когда еще не закончился детективный фильм и не было известно, кто совершил преступление. — Я дослушаю вас, товарищ Прохоров... Вольному — воля, спасенному — рай!

Прохоров еще раз усмехнулся.

— Пожалуй, я недооценил вас, Гасилов, — раздумчиво сказал он. — А это опасно...

Прохоров в который уж раз погасил гнев, распирающий грудь и мешающий дышать и без того душным воздухом.

— Состав вашего преступления, Гасилов, не предусмотренного Уголовным кодексом РСФСР, таков... Во-первых, вы не соблюли основной принцип социализма и коммунизма: «Кто не работает, тот не ест!» Во-вторых, и это главное, вы едва ли не прямой виновник гибели Евгения Столетова...

Прохоров поднялся, так как больше не мог сидеть на дерматиновом диване, к которому липли брюки и от которого смрадно пахло столярным клеем; не надеясь получить облегчения, Прохоров все-таки подошел к окну, боком прислонился к нему, сунул в рот потухшую сигарету, сквозь зубы проговорил:

— Третье ваше преступление, гражданин Гасилов, состоит в том, что вы исковеркали жизнь собственной дочери, уничтожив ее как личность... Мне известно, что Людмила, согласившись на брак с Петуховым, каждый день тайно от вас ходит на могилу Евгения Столетова...

Капитан Прохоров потихоньку да понемножку бледнел. Он ведь воевал целых четыре года, сразу после войны начал работать в уголовном розыске, неудачно женился, заработал язву желудка в дрянных столовых и забегаловках, расшатал нервы на адской милицейской службе.

— Дочь уже жестоко, но пока неосознанно мстит за свои несчастья отцу! — сдерживаясь, сказал Прохоров. — Это Людмила сказала мне, что первого марта вы и Петухов по-купечески долго и жадно рядились о сумме, которую тому и другому следовало внести на строительство дома для молодоженов в Ромске.

Он отошел от окна, подумав, присел на петуховский стул.

— Четвертое ваше преступление, Гасилов, в том, что вы позволили бывшему уголовнику Аркадию Заварзину на какое-то время укрепиться на антиобщественных позициях. Дело, видите ли, в том, что Заварзин неосознанно подтолкнул Столетова к прыжку как раз в тот момент, когда сам переживал окончательное освобождение от гасиловщины.

Прохоров почувствовал, что у него дрожат руки и горячий комок ярости подкатывает под сердце.

— Минуточку! — сказал он, сам у себя испрашивая передышку. — Только одну минуточку...

Он посмотрел на часы — время материально существовало и даже двигалось вперед; обратил взгляд на инженера Сухова — тот сидел живой, невредимый; покосился на Голубиня — парторг все три заветных карандаша держал в пальцах. «Спокойствие, спокойствие! — сам себя приглушил Прохоров. — Научиться спокойствию — значит научиться быть мыслящим существом!»

— Все остальные аспекты дела Столетова имеют философскую, нравственно-этическую окраску, — сказал Прохоров, — а мне кажется, что гражданин Гасилов... не дорос до их понимания...

Он встал, прошелся по ковровой дорожке, вынул из кармана пачку сигарет, но тут же забыл об этом.

— Такие парни, как Евгений Столетов, в минувшую войну бросались грудью на дыты... — негромко, но так, что все слушатели замерли, сказал Прохоров. Только после этого он вспомнил о сигарете, слепым движением нашел в кармане газовую зажигалку и вынул ее.

Зажигалка загорелась не сразу: видимо, и на кремень действовала духота и влажность, и зубчики кресала увлажнились, так что только после третьей попытки из зажигалки вырвался жаркий огонек, подсветивший бледное лицо Прохорова.

— Евгений не бросался на дот, — медленно продолжал Прохоров. — Он погиб в борьбе с мещанством, которое в его сознании отожествлялось с гасиловщиной..

Наливалось кровью, как бы распухало большое лицо мастера.

Привычный в жаркие дни ходить налегке по своему прохладному домашнему кабинету, давно отвыкший работать в жаркие дни, он сейчас жестоко страдал от духоты и жары в своем черном костюме, надетом для большей представительности, а на самом деле превратившем его в заштатного канцеляриста.

— Гасиловщина! — с энергией произнес Прохоров. — Она страшна, как осколочная бомба, ибо бьет с одинаковой силой во всех окружающих...

Капитан Прохоров сел, откинулся на спинку стула с облегченным видом человека, исправно выполнившего свой долг, но собирающегося сделать еще что-то внеплановое. Он потянулся к пепельнице на маленьком столике, чтобы стряхнуть пепел с сигареты, и посмотрел на лицо Гасилова вблизи. Затем, опять откинувшись на спинку стула, смерил мастера взглядом с ног до головы и внезапно увидел, какой он весь дряблый, какой, оказывается, мутноглазый, кукольный и, если вдуматься, несерьезный... Нет, не прошла даром для Петра Петровича Гасилова паразитическая, неактивная жизнь, не могло пройти

бесследно пассивное существование! Старый, с настоящими морщинами на круглом лице человек сидел перед Прохоровым, не вызывая у него ни жалости, ни сострадания.

— Гасиловщина!— снова с силой произнес Прохоров. — Гасиловщина!

А дождь все еще не начинался, хотя казалось, что в гигантской теперь туче ревели на полную мощность моторы реактивного самолета, огромная сеть молний ежесекундно опутывала все небо, старый осокорь шелестел тревожно... «Круто сегодня будет жеребцу Рогдаю»,— подумал Прохоров и представил, как жеребец испуганно прядает ушами. Потом Прохоров услышал желчный голос суховского шофера: «Спортили жеребца, сволочи».

— Я вам уже говорил, Гасилов,— сказал Прохоров,— что на языке уголовников лошадь называется скамейкой... Клянись,— тихо закончил он,— клянись, что не успокоюсь до тех пор, пока из-под ваших ног, Гасилов, не будет выбита скамейка!

Инженер Сухов вытер мокрый лоб рукой и с болезненной, жалкой grimасой посмотрел на Гасилова.

— Слушайте, товарищ Гасилов,— неуверенно проговорил он,— слушайте... Ведь получается, что вы... Вы обманывали всех, в том числе и меня... Да как вы смели лгать и комбинировать?!

В голосе начальника лесопункта было столько оторопи и удивления, что даже невозмутимый Голубинь уронил свои три цветных карандаша на стол, а Прохоров укоризненно покачал головой.

— Мне больше нечего сообщить гражданину Гасилову,— брезгливо сказал Прохоров.— Если у вас, Марлен Витольдович, нет вопросов, мне бы хотелось остаться втроем.

— Мне тоже,— ответил Голубинь.

Встав со стула, но не подымая головы, Гасилов пошел по ковровой дорожке к дверям. От уходящего технорука Петухова мастер отличался тем, что не бравировал, не показывал безразличия к тому, что произошло в кабинете.

Не попрощавшись и не обернувшись назад, Гасилов прямой рукой распахнул двери и растворился, исчез, дематериализовался, так как по коридору, видимо, пошел на цыпочках или, что тоже возможно, подслушивающе застыл у дверей.

Трое оставшихся в кабинете долго молчали. Сухов по-прежнему вытирал лоб тыльной стороной ладони, Голубинь снова перебирал пальцами три цветных карандаша, а капитан Прохоров снова подошел к окну.

— Я бы хотел, как говорится, поставить точки над «i»,— сказал Прохоров.— Необходимей всего, пожалуй, понять, что же может способствовать торжеству его преподобия мещанства.

Вынужденный избегать прокурорского тона в разговоре с Петуховым и Гасиловым, капитан Прохоров не считал нужным

быть сдержанным в присутствии Сухова и Голубиня. Поэтому он сделал резкое рубящее движение правой рукой и повернулся к Сухову.

— Гасиловщина пробирается в любую щелочку, если есть хотя бы малейшее попустительство!.. — Прохоров сделал паузу и объяснил: — Термин «гасиловщина» изобретен Евгением Столетовым... — И опять к Сухову: — И вот еще что надо помнить, товарищ Сухов. Нельзя любить завтрашнего человека, не любя сегодняшнего!

Прохоров опять помолчал.

— Прошу простить меня за напыщенное философствование, но ведь именно вы, товарищ Сухов, помогли утвердиться Гасилову в его доморощенной теории посредственности... А как же! Посредственность, считая всех других тоже посредственностями, знает о гении только то, что он имел три жены или пил горькую... — Прохоров обозлился. — Как же Гасилову было не утвердиться в этой своей теории, когда талантливый инженер не замечает, что его, как мальчишку, обводят вокруг пальца. Да не только талантом должен быть обделен инженер Сухов, если, подписывая сводки, не понял, что происходит на лесосеке, какой там проводится «эксперимент»! Вот такие пирожки, товарищи!

Походило на то, что дождь и не собирался идти. Правда, молнии все еще беззвучно прошивали зловещую черноту, середина тучи все еще была исполосована нитевидными космами, правда, старый осокорь призывно шелестел в ожидании влаги и пролады, черемухи, наоборот, замолкли, но вот робко чирикнул в листве воробей, за ним — второй, третий и начался хулиганский воробьиный концерт в предгрозовом мраке.

— Я имею возможность по вашему лицу видеть, Александр Матвеевич, что вы уже кончили разговор, — сказал Голубинь, поднимая со стола три цветных карандаша. — Если это так, то я позволю себе рассказать вам маленькую историю... Мой дядя, — задумчиво сказал он, — мой дядя Круминш, бывший красноармеец латышского полка, имел честь после революционных событий служить начальником ЧК города Ромска... — Голубинь согласно кивнул Прохорову. — Да, да, это тот самый Круминш, о котором вы можете знать, Александр Матвеевич...

Прохоров наконец понял закономерность в обращении парторга с цветными карандашами: красный, синий, зеленый, затем наоборот — зеленый, синий, красный. Таким образом, синий карандаш — самый нейтральный — всегда оказывался в центре.

— Мой дядя Круминш имел роковой ошибка с колчаковским офицером Колбиным, — невозмутимо продолжал Голубинь. — От этой ошибка Колбин получил возможность бежать... — Он сделал еще одну большую паузу. — После ошибка

с колчаковский офицер мой дядя Круминш подавал в отставку...— Специально для Прохорова парторг улыбнулся, а потом решительным жестом положил карандаши на стол.

— Я три дня назад тоже подавал в отставка,— сказал Голубинь, и его рыжеватое-белое, сухощавое лицо осветила очередная вспышка молнии из тучи, не хотящей проливать на землю такой нужный, освежающий дождь.— Подавал в отставка,— повторил Голубинь.— Но сейчас не двадцатые, сейчас семидесятые годы. И в райкоме сказали, что свои ошибки надо исправлять самому, не передавать другому... Партийная комиссия вела здесь в мое отсутствие работу. Завтра мы будем смотреть первые итоги... Если вы сможете, товарищ Прохоров, я прошу вас принять участие...

— Вот как,— тихо проговорил Сухов.— Ах, вот как...

Гроза не началась и в седьмом часу вечера, когда Прохоров, опустив голову, шел по длинной деревенской улице. Туча по-прежнему грозно висела над поселком, изредка бенгальским огнем вспыхивала остывающая молния, но уже на западном склоне неба желтел едва приметный сноповидный пучок солнечных лучей. На полпути к поселковой больнице Прохоров встретил знакомого старика Кулемина, работающего сторожем на нефтебазе, и старик так поздоровался с Прохоровым и покачал головой, что было понятно: дождь не состоится.

Прохоров шел в больницу оттого, что у него не хватило бы выдержки и мужества еще раз встретиться с матерью Евгения Столетова в домашней обстановке. Занятая делом, живущая чужими горестями и бедами, среди палат и врачебных кабинетов, Евгения Сергеевна, представлялось Прохорову, должна была легче перенести последний визит сотрудника уголовного розыска. Думая об этом, Прохоров в накинутом на плечи халате осторожно прошел по длинному коридору больницы; постучав и получив разрешение войти, открыл дверь с табличкой «Главный врач».

За двое суток Евгения Сергеевна еще похудела, кожа на лице была сухой и желтой, глаза ввалились, а белый, туго накрахмаленный халат делал ее высокой и совсем худой. Узнав Прохорова, Евгения Сергеевна резко поднялась, кивнув в ответ на прохоровское «Здравствуйте!», сняла с груди фонендоскоп и принялась смотреть на Прохорова округлившимися немигающими глазами, и через несколько секунд звучного молчания Прохоров понял, что в больнице мать Столетова верила в смерть сына. Среди белого полотна, лекарств, никелированных режущих и колющих инструментов, страданий и страха смерти Евгения Сергеевна не могла не верить в жуткую реальность происшедшего.

— Прямых виновников смерти Евгения нет! — глядя в пол,

сказал Прохоров. — Однако Гасилов получит по заслугам, а Людмила не станет женой Петухова...

Евгения Сергеевна закинула назад голову, руки осторожно сунула в карманы халата, между бровей у нее прорезалась трагическая мужская складка.

Сейчас перед Прохоровым стояла такая женщина, какой и должна была быть мать Евгения Столетова и вдова командира разведвзвода, врач-хирург.

— Я многому научился у Евгения, — сказал Прохоров. — В деревне, пожалуй, нет человека, который бы не испытал светлого влияния вашего сына, Евгения Сергеевна... Спасибо вам за Женьку, — тихо продолжал он. — Прощайте, Евгения Сергеевна!

На скрипучем крыльце больницы Прохоров вынул пачку сигарет, дрожащими пальцами прикурил от газовой зажигалки, жадно затянувшись сладким и крепким дымом, внезапно почувствовал, что теряет ощущение времени и пространства. Такое с капитаном Прохоровым случилось довольно часто, и он сразу понял значение случившегося как тягу к перемещению. Не замечая черной, все еще опасной тучи, не обращая внимания на торжественные пучки солнечных лучей, возникшие на востоке, точно так, как это бывает, когда заканчивается затмение, капитан Прохоров тяжелым крупным шагом начал подниматься на возвышенность, по которой любил ночами гулять Викентий Алексеевич Радин. Живя одновременно утром, днем, вечером и ночью, Прохоров через неопределенность пространства перемещался в прошлое, и он не мог бы ответить, когда и каким образом оказался возле могилы Женьки. Он стоял возле железной оградки серо-стального цвета. Пятиконечная красная звезда венчала металлический, сваренный из толстых листов памятник; земляная крыша последнего Женькиного дома уже обросла молодой травой, осторожно и робко покачивались дикие сибирские колокольчики, среди которых казались особенно яркими чуточку увядшие букеты, положенные на могилу человеческой рукой... Лежали анютины глазки — букет Анны Лукьяненок, тихие саранки — подарок Софьи Луниной, парниковые тюльпаны — след тайного визита Людмилы Гасиловой.

Прохоров вошел в металлическую оградку, сел на кедровую скамейку, врытую в теплую землю; по-прежнему затерянный в пространстве и времени, замер. Тишина покачивала его, как на волнах, время, казалось, струилось волнами через Прохорова, и если бы его сейчас спросили, какой сегодня день недели, месяц, год, Прохоров не понял бы вопроса... Женька лежал близко — внизу, в двух с половиной метрах от Прохорова... Легкий озноб катился по спине... Прохоров поднялся, криво усмехнувшись, вынул из заднего кармана тяжелый пистолет; стараясь не греметь металлом, он вынул из пистолета обойму,

нагнувшись, резким движением вонзил ее глубоко в землю возле подножия памятника. Заросшая травой крыша последнего Женькиного дома была еще мягкой, не слежавшейся, и обойма с патронами исчезла бесследно. После этого он опять ощутил, как тело покачивает тишина, как легким не хватает воздуха, и опять почувствовал жадность к движениям, потребность перемещаться в пространстве, чтобы не плыть по воле тишины и безвременья. Ему было все равно, куда идти, но прежде чем сделать шаг, он все-таки поднял голову и увидел, что по слегка розовеющей Оби с двумя баржами на буксире медленно движется пароход «Егор Столетов». Прохоров все дни пребывания в поселке ожидал встречи с пароходом, носящим имя Женькиного деда, и часом раньше поразился бы маловероятной встрече с ним на обском плесе, но сегодня, сейчас, он смотрел на пароход как на необходимую деталь его, прохоровского, существования. Буксир «Егор Столетов» шел довольно ходко, споро боролся с сильным обским стрежнем, и это тоже было естественным и необходимым.

Прохоров не вернулся в реальность и тогда, когда поймал себя на том, что с опущенной головой и руками, заложенными за спину, шагает по длинной деревенской улице — куда и зачем, неизвестно! Однако он не заметил, что навстречу ему идут четверо очень знакомых людей...

Будто не замечая друг друга, двигались Андрей Лузгин, Борис Маслов, Геннадий Попов и Соня Лунина. Шли они в таком порядке: по центру улицы шагал с тросточкой в руках Борис Маслов, по левому деревянному тротуару вышагивал с ленцой Геннадий Попов, по правому — Андрюшка Лузгин, далеко отстав от них, шла Соня Лунина. Четверо друзей Евгения Столетова вели себя так, словно не были знакомы, но при случае могли бы охотно познакомиться, а когда все четверо увидели Прохорова, то начали понемножечку сближаться.

Утративший ощущение пространства и времени Прохоров между тем мыслил четко, ясно и широко. Сближаясь с друзьями Столетова, он неторопливо обдумывал фразу, произнесенную Андреем Лузгиным: «Мы после смерти Женьки в глаза друг другу смотреть не можем, мы боимся собраться вместе!» Потом он обиделся за капитана Прохорова, от которого друзья Столетова скрывали свой «эксперимент». Видимо, именно в эти секунды капитан Прохоров и поравнялся с четырьмя друзьями погибшего, так как ему, Прохорову, пришлось подняться на деревянный тротуар, чтобы обойти сближающуюся четверку. Он прежним шагом двигался вперед, когда из безвременья утраченного пространства услышал знакомое:

— Александр Матвеевич, а Александр Матвеевич!

Скорее всего из любопытства, чем по необходимости, Прохоров замедлил шаги, а потом и совсем остановился. Отчужденно глядя в лица четверых и совершенно не связывая лица

с именами и фамилиями, Прохоров скрипучим голосом — так он слышал себя сам — гневно произнес:

— Мальчишки! Сопляки! — Он ткнул себя пальцем в грудь, под сердце, болящее от недоверия и обиды. — Мальчишки! — с силой повторил он. — Вы думаете, что только вам принадлежит счастье борьбы с гасиловщиной... Ну, а я?! Я на это разе не способен? А Голубинь? А все мое поколение? Мы вас этому научили!

Он еще злее и громче прежнего выругался:

— Мальчишки!

Пошел медленный теплый дождь — вот чем разразилась страшная грозовая туча! С низкого неба падали на землю продолговатые дождевики, похожие на пунктирные линии.

Прохоров задрал голову, подставив лицо под дождь и не закрывая глаз, скоро добился желаемого — дождевые струи начали казаться неподвижными, а Прохоров стал подниматься по кривой линии вверх; ощущение полета было так реально, что закружилась голова и сердце сжала сладкая боль...

Обь родимая! Плавают на заре тонкие туманы, кукует над тобой, пророча грядущие тысячелетия, кукушка, глядят в тебя осокори с седыми головами мудрецов; ночами ты вздымаешься к небу, пронзенная звездами; чайки над тобой как белые молнии, небо — сияющая чаша. Обь родимая! Парит над тобой острокрылый баклан, пасутся на твоих лугах трактора, ходят по лугам женщины и кони... Будь благословенна, Обь родимая!

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕРНЫЙ ЯР. <i>Повесть</i>	5
СКАЗАНИЕ О ДИРЕКТОРЕ ПРОНЧАТОВЕ. <i>Повесть</i>	187
И ЭТО ВСЕ О НЕМ... <i>Роман</i>	367

Виль Владимирович Липатов

ЧЕРНЫЙ ЯР. СКАЗАНИЕ О ДИРЕКТОРЕ ПРОНЧАТОВЕ. И ЭТО ВСЕ О НЕМ...

М., «Советский писатель». 1977, 720 стр. План выпуска 1977 г., № 99.

◆

Художник *И. И. Блюх*. Редактор *Г. А. Блистанова*. Худож. редактор *Е. И. Балашева*. Техн. редактор *Л. П. Полякова*. Корректоры *Л. И. Жиронкина* и *И. Ф. Сологуб*.

◆

Сдано в набор 27/X 1976 г. Подписано к печати 16/II 1977 г. А09723. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. тип. № 2. Печ. л. 45,0. Усл. печ. л. 45,0. Уч.-изд. л. 49,31. Тираж 100 000 экз. Заказ № 899. Цена 3 р. 12 к.

◆

Издательство «Советский писатель». Москва, Г-69, ул. Воровского, 11.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

